



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

WID-LC

PG

2950

.G3

1880

Tom 1

Odjel 2

Tom 2

EX LIBRIS

TRANSFERRED
TO
HARVARD COLLEGE
LIBRARY

GIFT OF
Professor STEFAN PANARETOV,
First Bulgarian Minister in Washington.

AMERICAN COLLEGE
LIBRARY

63.

ИСТОРИЯ
РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ,
ДРЕВНЕЙ И НОВОЙ.

THE
STANDARD OF
THE

THE

ИСТОРИЯ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ,

ДРЕВНЕЙ И НОВОЙ.

СОЧИНЕНИЕ

А. Галахова.

Издание второе, съ перемѣнами.

ТОМЪ I.

Отдѣлъ 2: отъ Петра I до Карамзина.

Рекомендована Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, какъ пособіе для гимназій и прогимназій.



САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

Печатано въ типографіи Морскаго Министерства, въ Главномъ Адмиралтействѣ.

1880.

WID-LC

PG

2950

G3

1880

TOM 1

0+del 2

TOM 2

✓

77*2



І. ЭПОХА ПЕТРА І.

§ 1. Восемнадцатый вѣкъ открывается реформой государственнаго устройства, по мысли и волѣ Петра. Первая его четверть, называемая «эпохою преобразованія», имѣетъ смыслъ не всецѣлаго, кореннаго разрыва между старымъ и новымъ, а только ускореннаго перехода Россіи отъ ея особнаго существованія къ непосредственному общенію съ Европой. Она есть начальный моментъ того періода въ историческомъ развитіи, который долженъ завершиться органическимъ союзомъ собственныхъ силъ народа съ достояніемъ другихъ народовъ и такимъ образомъ національные элементы жизни возвести на степень общечеловѣческихъ.

Главнымъ предметомъ и орудіемъ реформы служило образованіе, въ которомъ различаются двѣ стихіи: прежняя, или средневѣковая, и новоевропейская. Первая господствовала преимущественно въ Кіевѣ, подкрѣпляясь польскимъ вліяніемъ; вторая была результатомъ прямыхъ сношеній съ Европою, завязанныхъ Петромъ. Оба направленія существовали одновременно, не исключая себя взаимно и тѣмъ обнаруживая историческую связь предъидущей эпохи съ эпохою преобразованія. Петръ І завелъ свѣтскія школы; но и послѣ ихъ учрежденія духовныя училища дѣйствовали на основаніи прежнихъ уставовъ. Академія въ Москвѣ даже была преобразована по примѣру кіевской. Изъ среды югозападныхъ ученыхъ, образовавшихся до реформы, Петръ выбиралъ себѣ сотрудниковъ. Учебныя руководства относятся къ двумъ разрядамъ: одни написаны по тѣмъ предметамъ, которые не были преподаваемы до реформы; другія сохраняли прежнее назначеніе, хотя нѣкоторыя изъ нихъ и подверглись въ своемъ составѣ ея дѣйствию, такъ что иное оставлено въ нихъ неизмѣннымъ, а иное припоровлено къ новымъ потребностямъ. Внѣ учебной литературы тоже явленіе: рядомъ съ переводами и сочиненіями, вызванными реформой, продолжались перепечатка старыхъ и изданіе новыхъ книгъ, которыя отвѣчали характеру прежняго образованія и нуждамъ прежняго

чтенія. Поэтому, говоря объ успѣхахъ образованія при Петрѣ, было бы противно истинѣ видѣть въ нихъ нѣчто такое, что лишено всякихъ связей съ прежнею, до-петровскою Россіею, или что порвало ихъ окончательно и насильственно.

Главнѣйшимъ орудіемъ реформы служило образованіе, а изъ образовательныхъ мѣръ первое мѣсто занимало заведеніе школъ. Такъ какъ разные роды службы требовали людей, спеціально знающихъ свое дѣло, то первыя училища были спеціальныя. По обстоятельствамъ времени, царь обращалъ особое вниманіе на образованіе военного сословія. Заботясь о флотѣ, онъ основалъ въ Москвѣ школы Математическую и Навигацкую (навигационную), а въ Петербургѣ Морскую Академію. Въ Навигацкой школѣ первыми преподавателями были англичане. Трудъ одного изъ нихъ (Фарварсона) «Эвклидовы элементы, выбранныя изъ двѣнадцати Невтоновыхъ книгъ», переведенъ на русскій языкъ (1739). Въ помощники къ иностраннымъ преподавателямъ былъ опредѣленъ Леонтій Магницкій, авторъ «Ариметики, или науки числительной (1703)», составленной по разнымъ источникамъ, иностраннымъ и «старопреводнымъ славянскимъ». За тѣмъ явились школы инженерная и артиллерійская. Въ школѣ при московскомъ госпиталѣ, молодые люди, знающіе латинскій языкъ, обучались медицинѣ (анатоміи и хирургіи). По указу 1814 г. опредѣлено послать во всѣ губерніи по нѣскольку человѣкъ изъ школъ математическихъ, для обученія дворянскихъ дѣтей цыфiri и геометріи, причемъ положенъ таковой штрафъ: не позволять жениться до тѣхъ поръ, пока не выучатся этимъ предметамъ. Въ 1721 г. было предписано учредить школы, въ которыхъ дѣти приказныхъ людей могли бы пріобрѣтать познанія, нужныя хорошему подъячему; дѣти же дворянскихъ фамилій обучались «экономіи и гражданству» въ особыхъ школахъ, устроенныхъ при коллегіяхъ. Указы 1708 и 1723 г.г. имѣютъ предметомъ образованіе блага духовенства: первымъ повелѣно дѣтямъ священниковъ и дьяконовъ учиться въ школахъ греческихъ и латинскихъ, а которые не захотятъ того, тѣхъ въ попы и дьяконы не посвящать, въ подъячіе и никуда не принимать кромѣ служилого чина; второй указъ поставилъ ученіе обязательнымъ для дѣтей священно-и-церковнослужителей. Кромѣ того еще въ 1714 г. велѣно было дьячихъ, подьяческихъ, поповыхъ и прочаго церковнаго чина, архіерейскаго дома и монастырскихъ слугъ дѣтей, кромѣ дворянскихъ, отъ 10 лѣтъ до 15 учить цыфiri и геометріи (въ школахъ цыфирныхъ).

Начавъ устройство народной образованности заведеніемъ спеціальныхъ школъ, Петръ I кончилъ его учрежденіемъ Академіи

наукъ, открытой послѣ его смерти, при Екатеринѣ I (29 января 1726 г.). По особенному состоянію и нуждамъ Россіи, на Академію возложена была тройкая обязанность, которую въ другихъ государствахъ несли три различныя учрежденія, иже, какъ сказано въ указѣ 28 января 1724 г., слѣдуетъ «учинить такое зданіе, чрезъ которое не токмо распространилась бы слава государства для размноженія наукъ, но и обученіемъ оныхъ была бы польза въ народѣ». Поэтому Академія заключала въ себѣ «собственно академію», члены которой обязаны были производить открытія и усовершенствованія въ наукахъ; «университетъ», для публичнаго обученія молодыхъ людей наукамъ; наконецъ «гимназію», гдѣ преподавались начальныя основанія наукъ для подготовки учащихся къ слушанію университетскихъ лекцій или къ учительскому званію. Такимъ образомъ, будучи высшей ученой корпораціей, Академія въ тоже время была и высшимъ учебнымъ заведеніемъ, и педагогическимъ институтомъ, и гимназіей.

Для знакомства съ спеціальными предметами знанія издаваемы были особыя книги. Это—большею частію переводныя руководства къ навигаціи, артиллеріи, фортификаціи и кораблестроенію; наприм.: «Книга морскаго плаванія, Деграфа» (1701), «Основаніе и практика артиллеріи, Брауна» (1709), «Новое крѣпостное строеніе, Кугорна» (1709), «Воинскія правила, како непріятельскія крѣпости силою брати, барона Боргсдорфа» (1709), «Архитектура воинская, Штурма» (1709), «Новое голландское корабельное строеніе, Аларда» (1709), «Географія или краткое земнаго круга описаніе» (1710), «Новая манера укрѣпленія городовъ, Блонделя» (1711), «Истинный способъ укрѣпленія городовъ, Вобана» (1724), и др. Вообще книги, изданныя по повелѣнію Петра, образуютъ особый научно-литературный отдѣлъ, замѣчательный по своей цѣлесообразности преобразовательнымъ планамъ, имѣвшимъ цѣлью съ одной стороны снабдить школы учебными пособиями, а съ другой—распространить полезныя свѣдѣнія между любознательными людьми, не знавшими иностранныхъ языковъ. Еще въ 1700 году, въ пребываніе свое въ Голландіи, Петръ далъ привилегію Тессингу на заведеніе русской типографіи. Помощникъ Тессинга, занимавшійся потомъ самостоятельно типографскимъ дѣломъ, Илья Копіевскій, или Копіевичъ, издалъ много переводовъ и учебниковъ, между прочимъ «Руководеніе въ Грамматику» (1706). Въ 1707 г. онъ прибылъ изъ Амстердама въ Россію и привезъ съ собою три азбуки новоизобрѣтенныхъ русскихъ литеръ. Первою книгою, напечатанною этимъ шрифтомъ, была «Геометрія, славенски Землемѣріе (1708)», а второю—«Приклады, како пишутся ком-

плементы (1708)», т. е. образцы писемъ поздравительныхъ, соборно-изъяснительныхъ и другихъ, переведенные съ нѣмецкаго и положившіе начало новому эпистолярному стилю, по обычаю образованныхъ, или, какъ тогда выражались, «политичныхъ» народовъ. Далѣе слѣдовали: «Исторія о разореніи града Трои (1709)», «Квинта Курція о дѣлахъ Александра Великаго (1709)», «Краткое описаніе о войнахъ, изъ книгъ Юлія Цезаря (1711)», «Апоѳегмата, т. е. краткихъ, витѣватыхъ и правоучительныхъ рѣчей книги три (1712)», «Разговоры Эразма (1716)», «Юности честное зерцало или показаніе къ житейскому обхожденію (1717)», содержащее въ себѣ наставленія юношамъ, какъ они должны вести себя въ обществѣ и дома.—Видя, что сочиненія для первоначальнаго обученія писались «славянскимъ высокимъ діалектомъ, а не просторѣчіемъ», отчего и оставались непонятными для дѣтей, Петръ I повелѣлъ издать для народнаго употребленія книгу, которая содержала бы въ себѣ, кромѣ буквъ и слоговъ, толкованіе закона Божія, символа вѣры, молитвы Господней и десяти блаженствъ евангельскихъ. Это повелѣніе исполнилъ Теофанъ Прокоповичъ, составившій «Первое учение отрокомъ (1720)»: книга эта была введена во всеобщее употребленіе при обученіи не только духовныхъ, но и мірянъ. Любя бесѣдовать съ учеными людьми, Петръ I захотѣлъ узнать, откуда язычники ведутъ начало своего многобожія и есть ли о томъ какое сочиненіе. Ему указали на «Аполлодора, грамматика аѳинейскаго или о богахъ», и онъ повелѣлъ перевести эту книгу на русскій языкъ и напечатать. Изданіе ея (1725) обставлено приложеніями, нужными для уразумѣнія автора (указатель собственныхъ греческихъ именъ, съ обозначеніемъ употребленія ихъ на русскомъ языкѣ; экстрактъ изъ книги «сумнѣнныхъ» рѣчей); предисловіе написано Теофаномъ, а за предисловіемъ слѣдуетъ предъувѣщаніе отъ переводчика Алексѣя Барсова. Важнѣйшія европейскія произведенія, изъ которыхъ одни, на основаніи началъ, добытыхъ развитіемъ науки и политико-общественнымъ ходомъ жизни, полагали основы реформамъ и въ жизни и въ наукѣ, а другія сообщали свѣдѣнія о политическомъ устройствѣ государствъ, ихъ законахъ, исторіи и настоящемъ состояніи, также перешли къ намъ въ переводахъ, частію изданныхъ, частію оставшихся въ рукописяхъ. Таковы: Пуффендорфа «Введеніе въ исторію европейскихъ государствъ (1718)»; его же «О должностяхъ человѣка и гражданина»: обѣ книги переведены Гавріиломъ Бужинскимъ, но переводъ второй, начатый при Петрѣ, конченъ послѣ его смерти и напечатанъ въ 1726 г. Далѣе: «О законахъ брани и мира», Гуго Гроція; «Увѣщанія и приклады политическіе», Юста Липсіа; «Деньги и ку-

печество», разсужденіе До (Law); «О правахъ французскихъ»; «Историческій и Географическій Словарь», Морери; «Исторія о настоящемъ управленіи Турецкой Имперіи», и многія другія. Царь не ограничивался заказами той или другой работы, но дѣлательно слѣдилъ за трудившимися, давалъ имъ совѣты, часто просматривалъ и исправлялъ ими сдѣланное. Сознавая самостоятельную важность науки, независимо отъ примѣненія ея къ жизни, онъ однакожъ, будучи занятъ преобразованіемъ, цѣнилъ преимущественно, на первыхъ порахъ, ея служебное отношеніе къ государственнымъ дѣламъ. Онъ ясно различалъ какъ сущность знанія отъ «примѣнныхъ вещей» въ немъ, такъ и прямое содержаніе книги—то, что служить къ наученію—отъ лишннихъ ея разглагольствій. Въ одной запискѣ его синоду о церковныхъ поученіяхъ требуется единственно изъяснять «прямой путь», чтобы люди знали, въ какой именно силѣ принимать пункты христіанскаго ученія. Съ понятіемъ о существенномъ въ знаніи Петръ связывалъ понятіе о простотѣ, краткости и внятности изложенія. Ему были противны искусственные приемы схоластики и многоглаголаніе, вводимое для расширенія книги. Въ словесномъ выраженіи не допускалъ онъ «праздной красоты», а если и разрѣшалась «сладость рѣчи», то лишь подъ условіемъ, чтобы она облегчала достиженіе прямой цѣли, т. е. уразумѣнія существеннаго содержанія. Просторѣчіе предпочиталось высокому славянскому діалекту. Языкъ самого Петра отличался сжатостію и точностію, которымъ дивился Домоносовъ въ похвальномъ ему словѣ. Тѣхъ же качествъ Петръ требовалъ отъ авторовъ и переводчиковъ. Замѣтивъ въ переводѣ вышеупомянутаго сочиненія Блонделя: «Новая maniera укрѣпленію городовъ» нѣкоторую темноту и непонятность, онъ писалъ переводчику, Конону Зотову: «не надлежитъ рѣчь отъ рѣчи хранить въ переводѣ (*т. е. переводить слово въ слово, буквально*), но точію, сіе (*содержаніе*) вырази́тъ въ, на свой языкъ уже такъ писать, какъ внятнѣе можетъ быть» (1).

Вмѣстѣ съ учрежденіемъ школъ и печатаніемъ книгъ Петръ позаботился о сообщеніи русскимъ людямъ свѣдѣній о томъ, что дѣлается въ ихъ отечествѣ и за границей. До него иностранныя извѣстія передавались «курантами», т. е. рукописными извлеченіями изъ посольскихъ донесеній и переводами нѣкоторыхъ статей изъ иностранныхъ газетъ, преимущественно голландскихъ. Тѣмъ и другимъ завѣдывали переводчики посольскаго приказа, откуда ку-

1) Пекарскаго: Литература и наука въ Россіи при Петрѣ Великомъ, 2 т. (1862).

ранты поступали къ царю и самымъ главнымъ сановникамъ, оставаясь для публики невзвѣстными. Въ бытность за границею, Петръ видѣлъ, какимъ важнымъ значеніемъ, политическимъ и нравственнымъ, пользуется тамъ періодическая пресса: и потому изъ государственной тайны, какою были куранты, задумалъ обратить ихъ въ правительственный органъ, предавать гласности важѣйшія свѣдѣнія о западной Европѣ и своемъ государствѣ. Онъ основалъ «Русскія Вѣдомости», первый листъ которыхъ вышелъ 2 января 1703 г. Свѣдѣнія касательно Россіи шли впереди извѣстій иностранныхъ. Государь самъ отмѣчалъ статьи въ газетахъ для перевода; даже самъ правилъ корректуру перваго листа вѣдомостей, которая и хранится въ Московской синодальной типографіи ⁽¹⁾.

Выше сказано о новоизобрѣтенной русской гражданской азбукѣ, которая называлась также амстердамскою, по мѣсту отлитія шрифта. Въ основу ея былъ принятъ употребляемый въ Европѣ алфавитъ латинскій. Съ 1708-го года, когда первые двѣ книги были напечатаны этимъ шрифтомъ: «Геометрія» и «Приклады», она, съ теченіемъ времени, нѣсколько измѣнялась. Въ 1709 г. русскіе наборщики подали челобитную, въ которой просили за наборъ гражданскимъ шрифтомъ платить, какъ за наборъ шрифтомъ славянскимъ, потому что первый выходилъ убогистѣе. Въ 1710 г. они представили Петру I экземпляръ Азбуки съ изображеніемъ древнихъ и новыхъ письменъ славянскихъ, печатныхъ и рукописныхъ. Государь перечеркнулъ въ азбукѣ какъ заглавныя, такъ и прописныя славянскія буквы, болѣе фигурныя и потому трудныя для начертанія, и оставилъ только буквы шрифта гражданского, надписавъ на внутренней сторонѣ переплета слѣдующее: «сими литеры печатать историческія и мануфактурныя книги, а которыя подчеркнены, тѣхъ въ вышеписанныхъ книгахъ не употреблять» ⁽²⁾.

Наконецъ Петръ I возстановилъ театръ, устроенный его отцемъ и упраздненный при его братѣ Θεодорѣ Алексѣевичѣ. Сценическія представленія изъ царскаго дворца (Верха) были перенесены на Красную площадь въ особо устроенный «комидійный домъ» и сдѣланы доступны для всякаго чина людей. Въ 1702 г. пріѣхалъ въ Москву изъ Данцига Іоганнъ Кунштъ съ своею труппой стран-

¹⁾ Вѣдомости начаты съ января 1703 г. и кончены декабремъ того же г. Изданіе состоитъ изъ 39 №№, выходившихъ въ неопредѣленные сроки и различающихся объемомъ. Печатались въ числѣ 1000 экз. Полныхъ экземпляровъ сохранилось только два—въ И. П. Библиотецѣ, которая издала ихъ въ 1855 и послала Московскому университету, въ столѣтній юбилей его существованія.

²⁾ Азбука съ исправленіями Императора Петра Великаго и указомъ его о введеніи въ употребленіе гражданского шрифта. Сиб. 1877.

ствующи́хъ актеровъ. Условіемъ піесъ поставленъ былъ русскій языкъ, почему взятъ въ посольскій приказъ для ученія комидійныхъ дѣйствъ подъячіе разныхъ приказовъ. Репертуаръ Кунштовой труппы составляли піесы, служившія дальнѣйшимъ развитіемъ англійскихъ комедій, т. е. изображавшія важныя и государственныя дѣйствія (Haupt-und-Staatsactionen), но осложненныя новыми элементами подъ вліяніемъ оперы и балета. Дѣйствующими лицами въ этихъ піесахъ выступали герои, цари, великіе завоеватели, тираны, знаменитые разбойники. Главнымъ же героемъ оставался шутъ: Пивельгерингъ англійскихъ комедій, Гансвурстъ нѣмецкихъ. Въ списокъ піесъ, переведенныхъ для московской комедіальной хранины и хранившихся въ посольскомъ приказѣ, значатся слѣдующія: «О Александрѣ Македонскомъ»; «О графинѣ тріерской Геновевѣ»; «О честномъ измѣнникѣ»; «О Франталпелѣ, королѣ эпирскомъ, и о Мирандонѣ, сынѣ его»; «Тюрьмовый заключникъ, или принцъ Пивельгерингъ»; «Сципіи Африканскій»; «Два завоеванные города, въ ней же первая персона Юлій Цесарь»; «Порода Геркулесова, въ ней же первая персона Юпитеръ»; «О Баязетѣ и Тамерланѣ»; «О докторѣ битомъ (докторъ принужденный)». Петръ I не былъ, однакожъ, удовлетворенъ труппою Куншта. Ему хотѣлось видѣть на сценѣ «тріумфальныя» комедіи, т. е. представленіе своихъ побѣдъ. Театръ долженъ былъ служить ему тѣмъ, чѣмъ была для него проповѣдь Теофана Прокоповича: онъ долженъ былъ разъяснять народу смыслъ дѣяній преобразователя ⁽¹⁾.

Торжества по случаю побѣдъ, прославленіе Петра и его сподвижниковъ, привѣтствія начальникамъ и разныя другіе случаи дѣйствительно вызвали панегирики и хвалебныя вирши. Такъ по взятіи Азова думный дьякъ Андрей Виніусъ произносилъ поздравительныя стихи Лефорту и Шейну. Главное участіе въ сочиненіяхъ этого рода по поводу тріумфовъ принимала Славяно-греко-латинская академія: учителя описывали празднества и объясняли значеніе аллегорическихъ картинъ. Сюда принадлежитъ «Преславное торжество свободителя Ливоніи (1704)», составленное префектомъ Іосифомъ Туробойскимъ и учителями, съ предисловіемъ, въ которомъ говорится, почему сюжетъ для украшенія вратъ заимствованъ не отъ божественныхъ писаній, а отъ мірскихъ исторіковъ или отъ стихотворцевъ, при чемъ показывается что такое аллегорія. Въ 1709 г. по случаю полтавской битвы, или «преславной вѣкторіи надъ хицероподобными дѣвами—гордынею, неправдою и хищеніемъ свейскимъ», Московская академія праздновала «По-

¹⁾ Первое пятидесятилѣтіе русскаго театра, Н. Тихонравова.

литиколѣпную Апоееозисъ (т. е. прославленіе) великороссійскаго Геркулеса, Петра I: посвященіе подписано тѣмъ же Туробойскимъ со всею злѣино-славено-латинскою академіею. Въ изображеніяхъ аллегорическихъ авторъ воспользовался гербомъ Швеціи (левъ) и Станислава Лещинскаго (голова буйвола): «написахомъ льва, буйвола и змѣя, въ едино ярмо впряженныхъ и землю папущихъ, на ней же финиковыя вѣтви и вѣнцы побѣдительныя возрастають, яже геніуши (геніи) собирають на щитахъ, именемъ и гербомъ его царскаго величества украшенныхъ; надписахомъ же слова Овидіевы: *sic vos pop vobis*—такъ вы не себѣ (пашете). Это знаменуетъ свѣтскую коллигацію (союзъ) съ Лещинскимъ и съ измѣнниками подъ побѣдительное иго его царскаго величества впряженныхъ, отъ ихъ же побѣжденія торжественная слава его царскаго величества возстаетъ и неувядающая пребудетъ». Въ честь Меншикова написана Иваномъ Кременецкимъ, обучавшимся въ Московской духовной академіи: «Лавреа или Вѣнецъ безсмертныя славы (1714)». Въ посвященіи Меншиковъ сравнивается съ солнцемъ и блескъ его славы ставится превыше сіянія драгоценныхъ каменьевъ; панегирикъ заключается риторическимъ возгласомъ: «Тя Эвксинъ, ты Понтъ славятъ, ты величаетъ царская милость, ты философійская уставленія достойна почтоша, ты изряднѣе красноглазыхъ любомудрственныхъ витійствъ языка ублажиша, а въ воздаяніе вѣчныя памяти славу твою написаша». Въ 1717 г., по возвращеніи Петра изъ поѣздки за границу, напечатаны привѣтствія ему и Екаторинѣ I отъ служителей типографіи: первое прославляетъ подвиги царя на пользу Россіи; второе состоитъ изъ похвалъ царицѣ за то, что она оказала мужество въ затруднительномъ положеніи русской арміи при Прутѣ и сопровождала своего супруга въ путешествіяхъ его по иностраннымъ государствамъ. Торжественныя вѣзды Петра въ Москву по заключеніи Ништатскаго мира (1721) и по возвращеніи изъ персидскаго похода (1722) были воспѣты Московскою академіею въ двухъ пѣсняхъ.

Кромѣ книгъ, оригинальныхъ и переводныхъ, издававшихся въ Россіи и для русскаго народа, издавались книги также за границею, для иностранцевъ. Въ 1705 г. Петръ отправилъ въ Германію Гюйсена, учителя царевича Алексѣя, съ порученіемъ напечатать опроверженіе брошюры Нейгебауера, которое и вышло на нѣмецкомъ языкѣ (1706) подъ заглавіемъ: «Пространное обличеніе преступнаго и клеветами наполненнаго пасквиля: Искреннее письмо знатнаго нѣмецкаго офицера». Обращая вниманіе на то, что пишется въ Европѣ о его дѣлахъ, Петръ не хотѣлъ оставлять безъ

отвѣта какихъ-либо невѣрныхъ мнѣній, умышленно искажающихъ правду или смотрящихъ на событія не съ надлежащей точки зрѣнія. Такъ сочиненіе одного шведа (Краткое изложеніе войны между Швеціей и Россіей) заставило Петра поручить вице-канцлеру барону Шафирову опровергнуть превратные толки иностранца: это опроверженіе и составляетъ предметъ историко-политическаго «Разсужденія о причинахъ войны съ Карломъ XII (1717)». Въ немъ три части: первая разсматриваетъ причины, заставившія Петра начать войну съ Карломъ XII; вторая слагаетъ на шведскаго короля отвѣтственность за продолженіе войны; третья доказываетъ, что со стороны Россіи война была ведена съ умѣренностью, по обычаю просвѣщенныхъ народовъ. Заключеніе содержитъ въ себѣ отвѣтъ на толки о томъ, не лучше ли бы было вмѣсто долговременной и тягостной войны заключить миръ, хотя бы и съ уступкою. Нѣкоторыя мѣста этого отвѣта написаны самимъ Петромъ, а заключеніе (отъ словъ: «тако, любезный читателю») все принадлежитъ его перу. «Разсужденіе» замѣчательно, какъ первый опытъ русской публицистики, дающей отвѣтъ на современные толки иностранной печати о честолюбивыхъ замыслахъ Россіи.

Путешествія, совершенныя при Петрѣ, принадлежатъ также къ новымъ явленіямъ книжнаго дѣла. Отъ древнерусскихъ хожденій онѣ отличаются особою цѣлью: тогда русскіе люди отправлялись за границу преимущественно для поклоненія святымъ мѣстамъ; начиная съ Петра, они ѣздили въ чужія земли для знакомства съ Европою. Вниманіе путешественниковъ останавливалось главнѣйше на томъ, чѣмъ европейское отличалось отъ отечественнаго. Рѣзкія отличія и были для нихъ тѣми достопримѣчательностями, которыя они считали обязанностію занести въ свой дневникъ, напоминающій нѣкоторыми чертами разсказъ стариннаго паломника или оффиціальныи докладъ статейнаго списка, а съ другой стороны представляющій новое не только въ содержаніи, но и во взглядѣ на иновѣрцевъ.

Графъ Борисъ Петровичъ Шереметевъ ѣздилъ за границу, по собственной охотѣ, для наблюденій надъ военнымъ искусствомъ. Петру Великому былъ пріятенъ добровольный вызовъ приближеннаго къ нему лица на такое дѣло, которое согласовалось съ его видами: онъ снабдилъ Шереметева грамотами къ разнымъ дворянамъ, гдѣ почетно встрѣчали русскаго путешественника, пріобрѣтшаго извѣстность своими воинскими подвигами. Путешествіе продолжалось около двухъ лѣтъ (1697—99). Въ это время Шереметевъ посѣтилъ Краковъ, Вѣну, Венецію, Римъ, Неаполь, Мальту. Путевыя записки его сухи и безцвѣтны, заключаая въ себѣ по

облѣнной части простой перечень мѣстъ и лицъ, имѣ видѣнныхъ. Въ нихъ разсказаны: представленіе Шереметева польскому королю Августу, австрійскому императору Леопольду, папѣ, флорентинскому герцогу, пребываніе въ Венеціи, гдѣ онъ встрѣтилъ многихъ Русскихъ, посланныхъ туда для науки, и между ними двухъ своихъ братьевъ, и на островѣ Мальтѣ, гдѣ онъ былъ радушно принятъ мальтійскими кавалерами и посвященъ ими въ санъ рыцаря, поклоненіе въ городѣ Барѣ мощамъ св. Николая чудотворца, посѣщеніе іезуитской коллегіи въ Неаполѣ и проч.

Въ одно время съ Шереметевымъ ѣздилъ за границу графъ Петръ Андреевичъ Толстой для изученія морскаго дѣла. Дневникъ его путешествія по Италіи, на островѣ Мальтѣ и въ Венеціи описываетъ предметы, преимущественно съ вѣйшей ихъ стороны, причемъ главное вниманіе останавливаетъ на монастыряхъ, церквахъ, святыняхъ всякаго рода, вѣроисповѣданіи жителей и порядкѣ ихъ богослуженія. Говоря о чужеземныхъ нравахъ и обычаяхъ, Толстой больше всего отмѣчаетъ тѣ изъ нихъ, которыми иностранцы отличаются отъ его соотечественниковъ. Такъ въ Варшавѣ онъ записалъ, что жены и дочери польскихъ сенаторовъ не ставятъ себѣ въ зазоръ ѣздить по городу въ каретахъ, что жены и дочери богатыхъ горожанъ также не считаютъ безчестіемъ сидѣть въ лавкахъ за всякими товарами. Венеціане поразили Толстова своею трезвостью, своими «невозбранными» публичными увеселеніями, вольнымъ и покойнымъ житьемъ, безъ страха, обиды и тягостныхъ податей. Онъ присутствовалъ въ неаполитанскомъ судѣ, гдѣ судились два челоуѣка: «подтѣчій записывалъ ихъ слова, подобно тому какъ и на Москвѣ»; но вотъ что для москвича было удивительно: судящіеся «говорили чинно, съ великою учтивостію, а не врикомъ».

Гр. Андрей Артемоновичъ Матвѣевъ описалъ свою поѣздку (1705) изъ Гаги въ Парижъ, для заключенія торговаго договора съ Франціей. Въ путевомъ дневникѣ его отмѣчены, между прочимъ, ясно проведенное разграниченіе королевской державы отъ должностей вельможъ, невмѣшательство послѣднихъ въ дѣла народныя, смертный законъ о взяткахъ съ народа, общественное значеніе женщинъ и обхожденіе ихъ съ мужчинами, общее безъ изъятія воспитаніе юношества, гуманное обращеніе учителей и родителей съ дѣтьми (1).

¹) Певарскаго: «Поѣздка гр. А. А. Матвѣева въ Парижъ» (Соврем. 1856, № 6). Путешествіе гр. В. П. Шереметева издано сыномъ его Петромъ Борисовичемъ (1773). Рукопись путешествія гр. П. А. Толстаго хранится въ бібліотекѣ

§ 2. Изъ духовныхъ лицъ Петрова времени самыми видными были Стефанъ Яворскій, митрополитъ рязанскій (1658—1722), и Ѳеофанъ Прокоповичъ, архіепископъ новгородскій (1681—1736).

Слова и проповѣди Яворскаго, по своему литературному значенію, представляютъ всѣ главныя особенности югозападнаго проповѣднаго стиля, о которомъ говорилось въ первомъ отдѣлѣ тома, при сужденіи о Галатовскомъ, Радивиловскомъ и Лазарѣ Барановичѣ. Они отличаются изысканною постройкой и часто, оставляя въ сторонѣ прямое содержаніе темы, заняты предметами и обстоятельствами побочными: существенное отходить на задній планъ, уступая свое мѣсто случайному; тексты насильственно примѣняются къ событіямъ или развиваемымъ мыслямъ. Такъ въ Словѣ на текстъ: «Пріимите Духъ Святъ», проповѣдникъ не раскрываетъ главнаго предмета своей рѣчи—внутренняго дѣйствія Духа Святаго на человѣка, а даетъ слушателямъ цѣлый рядъ изысканныхъ примѣненій, избрѣтая для каждаго чина и сословія приличный образъ, въ которомъ воспринимается ими Духъ Святый. Такъ еще въ Словѣ о призваніи апостоловъ изъ рыболововъ, онъ входитъ въ искусственныя и пространныя сравненія людей съ рыбами. Въ Словѣ на Полтавскую битву, выразивъ чувство радости, Яворскій остановился на сравненіяхъ Карла XII съ Петромъ I, превосходство котораго ему хотѣлось показать. Эти сравненія не что иное, какъ своего рода общія мѣста, удобоприлагаемыя къ разнымъ предметамъ; въ нихъ нѣтъ ничего отличительнаго, характеристичнаго. Король шведскій ушодобленъ льву, Голіаѳу, апокалипсическому звѣрю, древу видѣнному во снѣ Новуходоносоромъ; семь главъ звѣря и вѣтви древа суть шведскіе генералы, листья—воины, плоды разсыпанные—знамена и воинскіе доспѣхи. Петръ же Великій представленъ въ видѣ орла, которымъ растерзанъ левъ, новаго Израиля, поразившаго Голіаѳа, сѣкеры посѣкающей дерево. Яворскій усвоилъ многіе приемы польскихъ іезуитскихъ проповѣдей: по ихъ примѣру любилъ онъ маскировать свои рѣчи—притчами и прилогами прикрывать обличенія лицъ и ихъ дѣйствій. Манера произнесенія поученій отличалась театральностью: оно было исполнено быстрыхъ, неожиданныхъ переходовъ и эффектовъ и сопровождалось рѣзкими тѣлодвиженіями, почему и дѣйствовало на слушателей раздражительно. Вотъ отзывъ современника о декламаторствѣ Яворскаго: «Онъ имѣлъ удивительный даръ витійства, и

казанскаго университета. Оно изложено Н. А. Поповымъ въ 7 и 8 №№ Атеней 1869 и въ статьѣ: «Гр. П. А. Толстой, біографическій очеркъ» (Древняя и новая Россія, 1875, т. I).

едва подобныя ему во учителяхъ російскихъ обрѣстися могли; ибо мнѣ довольно случися видѣть въ церкви, что онъ могъ во ученіи слушателей привести—плавать или смѣяться, которому (чему) движеніе его тѣла и рукъ, помаваніе очей и лица иремѣненіе весьма помогствовало, которое ему природа дала. Онъ, когда хотѣлъ, то часто отъ ярости забывалъ свой санъ и мѣсто гдѣ стоялъ». — Что касается до отношенія словъ Яворскаго къ преобразовательной дѣятельности Петра, то онъ не принадлежалъ къ ея сторонникамъ, не поддерживалъ ее, какъ первенствующее лице въ духовной іерархіи, т. е. какъ блюститель патриаршаго престола. Въ словахъ его на побѣды Петра выражаются официальные похвалы, но другія, болѣе искреннія поученія не соответствовали видамъ реформы, почему возбуждали неудовольствіе царя, а самого проповѣдника заставляли представлять свои объясненія и оправданія. Между «казаньями» послѣдняго рода наиболѣе впечатлѣнія и говора произвело слово «о храненіи заповѣдей Господнихъ», произнесенное на второй недѣлѣ великаго поста (17 марта 1712 г.), въ Успенскомъ соборѣ. Текстъ выбранъ изъ книги пророка Исаи: «аще хотите и послушаете мене, благая земли снѣсте; аще не хотите, ниже послушаете, мечъ вы поястѣ». Показавъ, какую изду примутъ нехранищія заповѣдей, разорители закона Божія, Стефанъ обращается къ слушателямъ съ такими словами: «Того ради не удивляйтесь, что многоятежная Россія наша доселѣ въ кровныхъ буряхъ волнуется; не удивляйтесь, что по толикихъ смятеніяхъ доселѣ не имамы превожделѣннаго мира. Миръ есть согровище неоцѣненное; но тѣи только симъ согровищемъ богатыяся, которые любятъ Господень законъ, а кто законъ Божій разоряетъ, отъ того миръ далече отстоитъ». Въ другомъ мѣстѣ слова заключается сильная выхода противъ учрежденія оберъ-фискала, которому, въ числѣ его обязанностей, предписано было смотрѣть надъ судьями въ патриаршемъ и архіерейскихъ приказахъ. Изобразивъ непорочность закона Господня, проповѣдникъ показываетъ великое различіе между нимъ и законами человѣческими: «законъ Господень непороченъ, а законы человѣческіе бывають порочны. А какой ми то законъ, напримѣръ: поставити надзирателя надъ судами и дати ему волю, кого хочетъ обличити, да обличитъ; кого хочетъ обезчестити, да обезчеститъ; поклепъ сложить на ближняго судію, вольно то ему; а хотя того не доведетъ, о чемъ на ближняго своего клеветать, то за вину не ставить, о томъ ему и слова не говорить: вольно то ему. Не тако подобаетъ симъ быти: искалъ онъ моея главы, поклепъ на меня сложилъ, а не довелъ: пусть положитъ свою голову; сѣтъ мнѣ скрылъ: пусть самъ ввязнетъ въ

узкую; ровъ мнѣ ископалъ: пусть самъ впадетъ въ оны, сынъ погибельный, чужою бо мѣрою мѣрять. А то какова слова ему ни говорити, зачинаеть за безчестіе». Въ заключеніи, проповѣдникъ обратился съ молитвою къ св. Алексію, Божію человѣку: «О угодинче Божій! не забуди и тезоименника твоего, а особеннаго заповѣдей Божіихъ хранителя и твоего преисправнаго послѣдователя (1). Ты оставилъ еси домъ свой: онъ такожде по чужимъ домамъ скитается; ты удалился еси родителей: онъ такожде; ты лишенъ отъ рабовъ, слугъ и подданныхъ, друзей, сродниковъ, знаемыхъ: онъ такожде; ты человѣкъ Божій: онъ такожде истинный рабъ Христовъ. Молимъ убо, святче Божій! покрый своего тезоименника, нашу едину надежду, покрый его въ кровѣхъ врылъ твоихъ, яко любимаго своего птенца; яко зѣнницу, отъ всякаго зла соблюди невредимо. Дай намъ видѣти его вскорѣ всякимъ благополучіемъ пзобилующа, и его же нынѣ тѣшимся воспоминаніемъ, дай возрадоватися счастливымъ и превосхвалѣннымъ прасутствіемъ». Слово это возбуждало живѣйшее любопытство современниковъ; царевичъ Алексѣй переписалъ его для собственной бібліотеки; а Петръ I обратилъ вниманіе на выписанныя мѣста (о разорителяхъ закона Божія, о фискалахъ и о царевичѣ Алексѣѣ). Дѣло козчилось оправдательнымъ письмомъ проповѣдника и не имѣло для него дурныхъ послѣдствій. И въ другихъ казаньяхъ Яворскаго встрѣчаются неодобрительные отзывы о времени Петровской реформы, которое онъ называлъ временемъ изнеможенія вѣры. Гдѣ изнемогаетъ вѣра, тамъ все изнемогаетъ, говорится въ одной изъ его проповѣдей (2): «Мнози скоро отъ своея православныя вѣры каеолическія подвижутся и предлагаются и чуждыя богомерзкія, еретическія, пространнымъ путемъ во адъ влекуція вѣры похваляютъ; свою же, юже отъ отецъ и праотецъ воспріяша, назданную на основаніи Христовомъ, воспріають отъ апостоловъ, ругаютъ, осмѣиваютъ и уничтожаютъ. Многимъ случается, яко, едва чуждыя узрятъ земли, отлучившися отъ своего отечества, и отъ вѣры удаляются». Примѣромъ того, что нѣкоторые выходки Яворскаго могли быть примѣняемы современными слушателями къ извѣстнымъ личностямъ, можетъ служить еще слѣдующій, введенный въ поученіе разговоръ Іоанна Крестителя съ Иродомъ. Словъ (говорить Стефанъ, пользуясь книгами, описывающими нравы животныхъ), когда приходитъ къ водѣ пить, возмущаетъ ее, чтобы не видать своего мерзкаго образа. Тоже дѣ-

1) Царевича Алексѣя Петровича, находившагося почти три года въ чужихъ краяхъ.

2) Слово въ недѣлю третью на десятъ по Св. Дусѣ.

лаеть и верблюдь. Таже поступають и тѣ, которые обличаемы бывають проповѣдью: «возмущають ю, да не увидятъ себе п своимъ прегрѣшенія, да мерзостей и дѣлъ своихъ беззаконныхъ не увидятъ. Баше сицевъ верблюдь Иродъ четверовластникъ, иже, егда слыша Іоанна Крестителя иныхъ обличающа о сицевыхъ вещахъ, которыя его не касася, въ сладость послушаше его. Когда глаголетъ Іоаннъ: пресвѣтлѣйшій государь! въ томъ дому сходятся пьяницы, картежники, блудники, убійства, татьбы, клеветы творящія: слѣдуетъ его въ сладость Иродъ, аби посылаетъ слуги, разгоняетъ безчинниковъ, рассыпаетъ, казнитъ. Глаголетъ Іоаннъ: тамо на прельщеніе многымъ творятся соблазны, тамо младіи безчинствуютъ, тамо безвременные крики и вопли. На сіе Иродъ: разрушу совѣты ихъ, вскорѣ соборище ихъ искореню, заключу въ темницахъ. Глаголетъ Іоаннъ: невинніи страдаютъ, въ узахъ и оковахъ напрасно заключени; многихъ бьютъ напрасно на праведѣ; мнози обидими отъ сильнѣйшихъ. Глаголетъ Иродъ: осужду, испущу, освобожду ихъ. Коснуся послѣ Іоаннъ и самаго безобразія Иродова, осызавъ раны его, отвори гробъ его мерзостнѣйшій: наше величество! ты и самъ еси отъ другихъ злѣйшій, понеже ты подданнымъ своимъ злѣйшій образъ подаеши, отъ тебя мнози соблазняются. Почто ты удерживаеши жену братнюю? Не подобаетъ тебѣ держати жену брата твоего. Здѣ Иродъ тотчасъ говоритъ Іоанну: молчи! въ темницу его! за дерзость казнь да приметъ!»

Стефанъ Яворскій своимъ словомъ дѣйствовалъ противъ лютеранства вообще и противъ протестантскаго направленія нѣкоторыхъ русскихъ въ частности, или, какъ онъ самъ выразился, противъ «развращенія нѣбныхъ отъ нашего православія лишенниковъ (отверженниковъ), ихъ же сатана, всякихъ расколовъ начальникъ, хоботомъ вражнихъ своихъ навѣтовъ, аки звѣзды небесныя отъ неба церковнаго сими времени отторже въ путь заблужденія погибельный». Онъ и Теофана Прокоповича обвинялъ въ томъ же направленіи. Книга его «Камень вѣры», изданная (1729) послѣ его смерти архіепископомъ тверскимъ Теофилактомъ Лопатинскимъ, была написана по поводу появленія, 1713-го г., въ Москвѣ, между нѣкоторыми русскими послѣдователей лютеранства, что происходило отъ сожителства съ иновѣрными въ Россіи и въ чужихъ странахъ: «смѣсишася языкомъ и навывоша дѣломъ ихъ». Изъ этихъ русскихъ, увлекшихся ученіемъ Лютера, особенно извѣстенъ Твритиновъ. Сочиненіе названо «Камнемъ вѣры», по смыслу изреченій Священнаго Писанія, въ которыхъ Спаситель именуется камнемъ созиданія и возстанія и вѣстѣ камнемъ претиканія и соблазна (слова Симеона Богопримца: се лежатъ на паденіе и на

возстаніе многих). Отсюда вытекает содержаніе и раздѣленіе книги: состоитъ она въ изложеніи догматовъ вѣры, причемъ разсмотрѣніе каждаго догмата дѣлится на двѣ части, изъ коихъ въ первой «писано отъ камня вѣры и созиданія духовнаго на утвержденіе православнымъ, а во второй обнаруживается камень преткновенія на опасеніе и сохранное блюденіе православнымъ». Все сочиненіе дѣлится на три части: въ первой три догмата—о святыхъ иконахъ, о честномъ крестѣ, о мощахъ святыхъ; во второй четыре—о евхаристіи, о призваніи святыхъ, о душахъ святыхъ, о благодѣланіи преставльшимся; въ третьей четыре—о предазачіи, о литургіи, о постахъ, о близкихъ дѣлахъ. «Камень вѣры» при своемъ появленіи вызвалъ горячую и ожесточенную полемику и кромѣ того важенъ по своему отношенію къ проповѣдному слову времени императрицы Елисаветы, о чемъ скажется ниже (1).

Проповѣдная дѣятельность Теофана Прокоповича была совершенною противоположностью такой же дѣятельности Яворскаго. Онъ не просто проповѣдникъ—онъ проповѣдникъ Петрова времени. Искренно преданный преобразовательнымъ планамъ Петра и самъ являя въ себѣ сильныя стремленія къ реформаторству, онъ въ своихъ поученіяхъ разъяснялъ народу истинный смыслъ дѣйствій царя, возбуждая къ нимъ сочувствіе, утверждая сознаніе ихъ необходимости и пользы. Эти поученія, согласно со взглядомъ Преобразователя, служили правительственнымъ видамъ, имѣли важное значеніе для государства: они или готовятъ слушателей къ мѣрамъ преобразованія, объясняя ту выгоду, какую онѣ имѣютъ принести отечеству, или оправдываютъ мѣры, указывая выгоды, уже ими принесенныя. Въ томъ и другомъ случаѣ Теофанъ обнаруживаетъ большое искусство. Исходнымъ пунктомъ своихъ доводовъ онъ выбираетъ вѣру, что и слѣдовало дѣлать въ его положеніи. Какъ пастырь церкви, онъ былъ обязанъ прежде всего доказать согласіе Петровыхъ дѣлъ съ духомъ Священнаго Писанія и съ уставами Церкви, очистить ихъ отъ мнимаго противорѣчія религіозному долгу и чувству. Это согласіе и составляло существенный вопросъ для паствы, которая въ новыхъ явленіяхъ боялась видѣть отступленіе отъ закона Божія. За тѣмъ Теофанъ переходилъ къ другимъ доказательствамъ: онъ раскрывалъ общественную

1) Н. Тихонравова: «Московскіе вольнодумцы начала XVIII в. и Стефанъ Яворскій»; Исторія Россіи, Соловьева, т. 16; Исторія царствованія Петра В., Устрялова, т. 6; Стефанъ Яворскій и Теофанъ Прокоповичъ, какъ проповѣдники, Ю. Самарина; Труды Кіевской Академіи, 1865, т. 1; Незаданныя проповѣди Стефана Яворскаго, Чистовича (Христ. Чтеніе, 1867).

и частную пользу преобразований; указывалъ ихъ пользу въ практическомъ смыслѣ, наиболѣе способномъ помирить съ ними недовольныхъ и сомнѣвающихся; излагалъ утилитарное понятіе о наукѣ, единственно нужное современному большинству, которое еще не могло цѣнить ея значенія самостоятельнаго, независимо отъ примѣненій къ жизни, а измѣряло ея достоинство тою помощью, какую она приносила на службѣ или въ обществѣ. Примѣры такой живой связи съ современною дѣйствительностью представляютъ многія слова Теофана. Такъ въ Словѣ на рожденіе царевича Петра Петровича (1716) онъ исчисляетъ подвиги отца его и сравниваетъ старую, до-петровскую Русь съ Россіею новою, петровскою, одолженною своимъ превосходствомъ европейскому образованію. Поѣздки Петра за границу и посылка туда же молодыхъ дворянъ для ученія возбуждали ропотъ многихъ, видѣвшихъ въ этомъ дѣлѣ нарушеніе исконнаго обычая: Теофанъ, по случаю возвращенія государя изъ чужихъ краевъ (1717), произнесъ два слова, въ которыхъ объяснилъ законность и пользу путешествій для всѣхъ вообще, для правителей царствъ въ особенности. Одно изъ нихъ выставляетъ главную пользу странствій: познаніе Творца отъ познанія тварей, чѣмъ приобрѣтается мудрость. Эту-то мудрость или философію разумѣлъ Антоній Великій, когда на вопросъ языческихъ философовъ, гдѣ книги его, отвѣчалъ, указывая на весь міръ: вотъ моя книга! «Кто же, спрашиваю, лучше читаетъ сію книгу: тотъ ли, для котораго міръ оканчивается тамъ, гдѣ онъ обозрѣваетъ свой горизонтъ, или тотъ, который, странствуя, видѣлъ рѣки и моря, и земель различіе, и время разнствіе, и дивныхъ естествъ множество? Не даромъ Гомеръ, желая похвалить Улисса, нарицаетъ его опытнымъ мужемъ, посѣтившимъ многіе города и видѣвшимъ многіе обычаи». Отъ общей пользы путешествія проповѣдникъ переходитъ къ пользѣ частной—для государей: оно даруетъ имъ правительственный разумъ и есть лучшая и живая школа политики, потому что предлагаетъ не на картѣ, а на самомъ дѣлѣ, не слуху, но самому зрѣнію обычаи и дѣятельность народовъ. Узнавъ эту пользу собственнымъ опытомъ, блаженный Иеронимъ совѣтуетъ для надлежащаго уразумѣнія греческихъ историковъ и стихотворцевъ посѣтить Целопонесъ и Аттику, а для уразумѣнія ветхозавѣтной исторіи осмотрѣть Іудею и Сирію. Однимъ словомъ, странствованіе въ немногіе годы дѣлаетъ челоѣка мудрѣйшимъ, чѣмъ многолѣтняя старость. Особенно же путешествіе обучаетъ дѣлу военному: на географическихъ картахъ не видно, какова та или другая вѣрность, въ чемъ ея надежная сторона и въ чемъ слабая, какія мѣста удобны или не-

удобны для переправы, расположение стана, боевых действий. Путешествие все это показывает, какъ на ладони, начертываетъ живую географию въ памяти.—Морская побѣда, одержанная кн. Голицынымъ надъ шведской эскадрой при островѣ Гренгамѣ (1720), дала оратору поводъ сочинить похвальное слово русскому флоту и убѣдительно выяснитъ необходимость морскихъ силъ для такой державы, какъ Россія. Ссылаясь на Шестодневъ Василя Великаго, онъ доказываетъ самимъ Богомъ предначертанную необходимость взаимнаго дружелюбія челоѣковъ, съ которыми нельзя согласить обособленнаго, замкнутаго національнаго быта. Не для того ли, спрашиваетъ онъ, между различными странами устроены моря и рѣки, чтобы по нимъ народы сообщались другъ съ другомъ, сопрягались любовнымъ, общечеловѣческимъ союзомъ? Перенесеніе начала новаго года съ сентября на январь также оправдано Теофаномъ въ особомъ словѣ (1725). Короче, всѣ главнѣйшія событія и уставы Петровой эпохи находили въ немъ громкаго о себѣ проповѣдника. Онъ былъ горячимъ панегиристомъ просвѣщенія, посредникомъ между властію и подданными, цѣнителемъ двухъ временъ—отходящаго и наступившаго, между которыми завязалось состязаніе. Большою извѣстностью пользовалось слово Теофана при погребеніи Петра (1725), начинающееся горестными воззваніями къ слушателямъ: «Что се есть? до чего мы дожили, о Россіяне? что видимъ, что дѣлаемъ? Петра Великаго погребаемъ!» Оно выражаетъ чувство скорби, поразившей отечество, величіе утраты. Въ немъ нѣтъ полнаго исчисленія дѣяній Петра: «краткимъ словомъ нельзя объять безчисленной его славы, а распространяться не допускаетъ печаль, заставляющая проливать слезы и испускать стенанія». Поэтому Теофанъ ограничивается краткими похвалами, въ которыхъ просвѣтитель Россіи сравнивается съ Самсономъ, Іафетомъ, Моисеемъ, Соломономъ, Давидомъ, Константиномъ. Утѣшеніемъ въ печали служитъ то, что великій монархъ, по своему отшествію въ вѣчность, не оставилъ насъ убогими: «При насъ безмѣрное богатство его силы и славы. Какову Россію онъ сдѣлалъ, такова и будетъ: сдѣлалъ добрымъ любимую—любима и будетъ; сдѣлалъ врагамъ страшную—страшна и будетъ; сдѣлалъ на весь міръ славною—славною и быть не престанетъ... Оставляя насъ разрушеніемъ тѣла своего, оставилъ намъ духъ свой».

Теофанъ отличается отъ Яворскаго и литературнымъ характеромъ церковнаго слова. Слова его и поученія хотя и напоминаютъ нѣкоторыми чертами прежнюю школу, такъ какъ онъ получилъ образованіе одинаковое съ своими современниками и потому иногда невольнаго подчинялся вкусу своего вѣка, но они отступили

отъ схоластическаго направленія гомилетики, отъ искусственной постройки, отъ обычая пользоваться матеріаломъ, почерпнутымъ изъ разнородныхъ источниковъ, приискивать хитрыя аллегоріи и символы, играть словами, толкуя ихъ по произволу. Развѣтѣ выбраннаго текста состоитъ у Теофана въ указаніи пріямнаго его смысла. Раздѣленіе слова на части условлено самимъ содержаніемъ; каждая часть наполнена матеріаломъ дѣйствительно ей принадлежащимъ; доказательства заимствуются преимущественно изъ Священнаго Писанія или твореній св. отцевъ. Однимъ изъ многихъ примѣровъ характера Теофановыхъ поученій можетъ служить Слово по случаю Полтавской побѣды. Другіе проповѣдники, говоря на тотъ же предметъ, ограничивались выраженіемъ или чувстварадости, или чувства благодарности къ Богу: отъ этого содержаніе ихъ словъ страдаетъ общностью и неопредѣленностью, ибо всякое торжество надъ врагомъ возбуждаетъ сказынныя чувства. Теофанъ поступилъ иначе. Хотя онъ тоже имѣетъ цѣлю внушить Россіянамъ благодарность къ Богу, какъ подателю побѣды, но для достиженія этой цѣли разсматриваетъ величіе средствъ, приготовленныхъ непріателемъ, истребленіе ихъ Полтавскою битвой и слѣдствія битвы. Такимъ образомъ Слово раскрыло передъ слушателями прямое значеніе того, чѣмъ именно была и что именно произвела Полтавская побѣда, а не побѣда вообще. Теофанъ осудилъ многое въ манерѣ польскихъ казнодѣвѣвъ и ихъ подражателей, какъ это явствуетъ изъ Введенія въ богословскую систему (глава 10: о законномъ толкованіи Священнаго Писанія), изъ статьи Духовнаго Регламента о проповѣдникахъ и изъ отдѣльнаго сочиненія: «Вещи и дѣла, о которыхъ духовный учитель народу христіанскому проповѣдовати долженъ». Во главѣ церковнаго слова поставлено испытаніе слова Божія: «Испытывалъ бы проповѣдникъ отъ Священнаго Писанія (говорится въ Регламентѣ), что есть воля Божія, святая, угодная и совершенная, и то бѣ говорилъ». Кромѣ того, Регламентъ запрещаетъ читать казнодѣишковыхъ легкомысленныхъ, каковы наипаче польскіе бывають, а велитъ имѣть творенія Іоанна Златоустаго и по нимъ учиться слагать чистѣйшее и яснѣйшее слово. Нѣкоторыя регулы (правила) направлены противъ Яворскаго. Таковы 4-ое и 9-ое: «Обычай нѣкимъ проповѣдникамъ есть, аще кто его въ чемъ прогнѣвить, на проповѣди своей мститъ оному, хотя не именно терзая славу его, обаче такъ говоря, что можно слышателямъ знать, о комъ рѣчь есть: и такыя проповѣдники самыя бездѣльники суть». — «Не надобно проповѣднику шататься вельми, будто въ судиѣ весломъ гребеть. Не надобно руками спляскивать, въ бока упиратися, подскакивать,

сбѣяться, да не надобѣ и рыдать; но, хотя бы и возмущился духъ, надобѣ, елико мощно, утихать слезы: вся бо сія лишняя и неблагообразная суть и слышателей возмущаютъ».

Преслѣдуя главную задачу своего краснорѣчія—разъясненіе и оправданіе реформы—Оеофанъ нерѣдко принужденъ былъ отражать доводы невѣжества, упорно стоявшаго на томъ, что дѣла Петровы не только общественный вредъ, но и грѣхъ противъ Бога. Отсюда въ его словахъ двойственность: положительное убѣжденіе въ истинѣ чередуется съ отрицаніемъ мнѣній, противныхъ этому убѣжденію. Отсюда же сатирическія выходы проповѣди, сходныя съ нѣкоторыми мѣстами Кантемировыхъ сатиръ: у Оеофана встрѣчаются портреты ханжи, нападки на формализмъ, преданный наружному исполненію церковныхъ правилъ, на безнечность духовенства, на невѣжество знатныхъ родовъ и раскольниковъ. Связанною двойственностію отличается и «Духовный Регламентъ (1720), написанный Оеофаномъ и исправленный Петромъ. Хотя онъ принадлежитъ не къ литературнымъ, а законодательнымъ памятникамъ, имѣя прямою задачею—«исправленіе чина духовнаго»—и слѣдовательно подлежа вѣдѣнію исторіи русской церкви; но при Петрѣ администрація и авторство, государственные уставы и словесныя произведенія, положеніе регулъ и выраженіе мыслей, будучи упорно направляемы къ однѣмъ цѣлямъ, тѣсно связывались между собою, почему и дополняютъ или объясняютъ себя взаимно. Онъ состоитъ изъ трехъ частей: первая показываетъ причины, почему учреждается духовная коллегія, и ея преимущество предъ управленіемъ, ввѣреннымъ одному лицу; вторая—предметы коллегіальнаго управленія; третья—обязанности правителей. Занимаясь своимъ собственнымъ предметомъ, онъ выражаетъ характеръ реформы вообще и характеръ новой образованности, и кромѣ того нѣкоторыми пунктами состоитъ въ связи съ исторіей литературы. Полагая регулы, доказывая ихъ необходимость и пользу, онъ въ тоже время отвергаетъ все имъ противорѣчащее. Похвала новымъ постановленіямъ есть вмѣстѣ и порицаніе упраздненныхъ. Порицаніе часто переходитъ въ сильныя, даже сатирическія, выходы противъ суевѣровъ, ханжей, невѣждъ, формалистовъ. Такъ, на примѣръ, исчисляя причины коллегіальнаго духовнаго управленія, Регламентъ раскрываетъ его преимущество предъ управленіемъ «единоличнымъ». Таковы еще статьи: о мѣрѣ чести епископской; о держаніи епископовъ при посѣщеніи епархій и объ архіерейскихъ слугахъ; о неучахъ, вкусившихъ «привидѣннаго и мечтательнаго ученія», т. е. о мнимыхъ мудрецахъ. Отношеніе Регламента къ народной литературѣ высказано тѣми его мѣстами, которыя пора-

жаютъ все, что только можетъ назваться именемъ суевѣрія, помрачающаго чистоту теологiи. Въ ряду суевѣрiй поставлены апокрифическія житiя святыхъ и другіе вымыслы, ведущіе человѣка къ «недоброй практикѣ», предлагающіе ему «лестный» способъ ко спасенiю. Регламентъ осуждаетъ здѣсь нѣкоторые повѣрья и обычаи, нашедшіе свое выраженіе въ литературныхъ и устныхъ апокрифахъ и другихъ памятникахъ двоевѣрной народной поэзіи. Таковы: обычай проводить въ праздности пятницу на томъ основанiи, что Пятница гнѣвается на несправедливыхъ; соблюденіе поста въ двѣнадцать «именныхъ» пятницъ, приносящее будто бы многіа тѣлесныя и духовныя пріобрѣтенiя; поклоненіе дубу и раздача вѣтвей его народу; вожденіе простоволосой жонки, подѣ именемъ Пятницы, въ церковномъ ходу и воздаваніе ей чести и даровъ. Всѣ эти и другіа «непотребныя или вредныя церемонiи» Регламентъ уподобляетъ снѣжнымъ сугробамъ, возбраняющимъ идти правымъ путемъ истинны, отравѣ, предлагаемой людямъ вмѣсто здоровой духовной пищи и дающей поводъ «инославнымъ» порицать православіе (1).

§ 3. Убѣжденiя Теофана, какъ передоваго дѣятеля новаго времени, раздѣлялись нѣкоторыми лицами духовнаго чина. Рядомъ съ его именемъ стоитъ имя архимандрита новоспасскаго монастыря, Теофила Кролика († 1732), нѣсколько лѣтъ проведеннаго въ Прагѣ, куда онъ былъ посланъ для перевода Буддеева нѣмецкаго лексикона на русскій языкъ. Оба они, принадлежа къ образованнѣйшимъ людямъ своего времени, видѣли въ государственной реформѣ полезный прогрессъ; оба привѣтствовали благосклонно сатиры Кантемира, не смотря на то, что сатирикъ не щадилъ темныхъ сторонъ ихъ собственнаго званiя. Переводчикъ «Увѣщанiй политическихъ, Липсiа», iеромонахъ Симонъ Кохановскiй былъ также сторонникомъ новыхъ воззрѣнiй. Слово въ день Благовѣщенiя, произнесенное имъ въ Ревелѣ (1720), замѣчательно силою полемическаго элемента. Оно осуждаетъ ханжество, лицемеріе и наружное благочестіе тѣхъ, которые «отъ честнаго гражданскаго сожительства» бѣгутъ въ лѣса и пустыни не ради душевнаго спасенiя, возможнаго и въ мірѣ, а ради того только, чтобы избыть служебныхъ трудовъ. За тѣмъ проповѣдникъ ратуетъ противъ раскола съ его «мушицкой богословiей», противъ суевѣрія или злочестiя, причисляя къ нему «сказки бездѣльныя»; онъ сходится съ Теофаномъ и понятiемъ объ основахъ духовнаго краснорѣчiя.

(1) Стефанъ Яворскiй и Теофанъ Прокоповичъ, Ю. Самарина (1844); Теофанъ Прокоповичъ и его время, И. Чистовича (1868).

Главное дѣло (разсуждаетъ онъ) въ томъ, что проповѣдуется: если кто учить отъ своего мозга, а не отъ Слова Божія—не слушай и не приѣми, кто бы онъ ни былъ; а если будетъ согласоваться съ Словомъ Божиимъ—слушай и приѣми, не взирая на санъ и лице. Гавріилъ Бужинскій, епископъ рязанскій († 1731), былъ также, по стихотворному выраженію, «глашатаемъ великихъ Петровыхъ дѣлъ». Служа оберъ-іеромонахомъ во флотѣ и сопутствуя государю въ походахъ, Бужинскій большею частію говорилъ слова на событія изъ эпохи преобразованія, наприм.: на побѣды при Полтавѣ и Гангутѣ, на взятіе Шлиссельбурга, на основаніе новой столицы, и пр. По тогдашнимъ обстоятельствамъ, пастырское ученіе соединялось у него или съ политическимъ отзывомъ, или съ разъясненіемъ того, что совершалъ преобразователь. Такъ Слово на морскую побѣду при Гангутѣ оправдываетъ желаніе Петра доставить Россіи превосходство на морѣ. Подобно «Разсужденію о войнѣ съ Карломъ XII» оно даетъ отпоръ европейскимъ и частію отечественнымъ толкамъ о чрезмѣрномъ властолюбіи русскаго монарха, доказывая, что война съ Карломъ XII была самою законною, которую необходимо было предпочесть унижительному миролюбію. Бужинскій перевелъ сочиненія Пуффендорфа: «Введеніе въ исторію европейскихъ государствъ (1718)» и «О должностяхъ человѣка и гражданина (1726)» и Стратемана «Театронъ или позоръ историческій (1724)». Предисловіе, написанное имъ къ послѣднему, замѣчательно духомъ терпимости и взглядомъ на чтеніе иностранныхъ книгъ. Послѣдователи другихъ христіанскихъ вѣроисповѣданій называются христіанами, а не смѣшиваются съ еретиками и богоотступниками, какъ бывало прежде. Свидѣтельствами святыхъ отцевъ переводчикъ доказываетъ пользу чтенія не только христіанскихъ авторовъ, хотя и равноудруствующихъ съ нами, но и языческихъ: все, противное въ нихъ здравому ученію (говорить переводчикъ), оставимъ или лучше будемъ читать, съ тѣмъ чтобы выучиться отражать ложные догматы. Къ небольшому кружку лицъ, сочувствовавшихъ дѣятельности Теофана, принадлежали образованнѣйшіе воспитанники Петрова времени, сатирикъ Кантемиръ и историкъ Татищевъ. Когда Кантемиръ написалъ первую свою сатиру (1729), Теофанъ привѣтствовалъ ее одобрительнымъ посланіемъ, за что авторъ посвятилъ ему особую сатиру (третью). Извѣстно также стихотворное посланіе Теофана къ Кантемиру, во время преслѣдованій отъ Георгія Дашкова, архіепископа ростовскаго, и утѣшительный отвѣтъ сатирика. Во взглядахъ у Татищева было много сходнаго съ Теофаномъ. Одинъ изъ ихъ разговоровъ далъ поводъ Теофану къ сочиненію разсужденія: О книгѣ

Соломоновой, нарицаемой «Пѣснь пѣсней». Съ своей стороны Татищевъ, въ своей Исторіи, съ большою похвалою ссылается на указанія и замѣтки Теофана. Подъ вліяніемъ бесѣды съ послѣднимъ, историкъ написалъ разговоръ «о пользѣ наукъ» (1).

Сторонники реформы уступали, конечно, въ числѣ тому разряду недовольныхъ, которые въ новомъ видѣли измѣну авторитетамъ и преданіямъ. Лица, думавшіе и мыслившіе согласно началамъ преобразованія, были для нихъ «нечестивымъ сборищемъ»: Теофана они называли «ересіархомъ», Бужинскаго «евреаниномъ», Кролика «зловѣрнымъ». И хотя ихъ ропотъ не могъ при Петрѣ имѣть дѣйствія, однакожъ нѣкоторые между ними сочли долгомъ заявить опасность, которою грозили такъ называемыя ими «книги еретическія». Изъ этихъ книгъ наиболѣе возбудили полемику «Первое ученіе отрокомъ» и «Регламентъ», вмѣстѣ съ прибавленіемъ къ нему «правилъ причта церковнаго и чина монашескаго». Маркелъ Радышевскій, архимандритъ новгородскаго юрьевскаго монастыря (въ послѣдствіи архіепископъ корельскій) доказывалъ, что «Ученіе отрокомъ» наполнено «мѣстами примрачными», несогласными съ православіемъ, что авторъ его—«новоизобрѣтатель, древняго обычая истребитель». Мысли Маркелла находили сочувствіе не только въ духовномъ чинѣ, но и между мірянами. Директоръ петербургской типографіи, Аврамовъ, тоже писалъ пункты на Теофана, выставляя его «провинности къ святой церкви» и стараясь уклонить читателей отъ вѣры въ новонаданныя имъ книги (2).

§ 4. Къ историческимъ трудамъ Петрова времени относятся: «Ядро Россійской Исторіи», Манкіева (1715), и Записки гр. Матвѣева, сына Артемона Сергѣевича Матвѣева, о первомъ стрѣлцкомъ бунтѣ, бывшемъ въ 1682 г.

Сочинитель «Ядра», Манкіевъ—секретарь или переводчикъ, состоявшій при кн. Хилковѣ, посланникѣ нашемъ въ Швецію, вмѣстѣ съ которымъ раздѣлялъ онъ восемнадцатилѣтнее заключеніе, отъ начала шведской войны. Въ посвященіи своей книги Петру, авторъ указываетъ нравственную пользу Исторіи: изучающій эту науку находитъ въ ней безъ труда все, что многіе собирали съ трудомъ; изъ нея узнаетъ онъ добродѣтели благихъ, пороки злочестивыхъ, различныя перемѣны человѣческаго житія, непостоянство міра, стремглавыя паденія нечестивыхъ; однимъ словомъ, она показываетъ наказаніе злыхъ дѣлъ и награду за дѣла доб-

1) И. Чистовича: Теофанъ Прокоповичъ и его время.

2) Ibid. и Пекарскаго: Наука и литература въ Россіи при Петрѣ I.

рия. Сочиненіе это, долго служившее учебникомъ, излагаетъ въ простомъ и обстоятельномъ разсказѣ отечественныя событія, хотя и не свободно отъ ошибочныхъ показаній. Оно гораздо выше предшествовавшихъ опытовъ систематической обработки лѣтописныхъ сказаній въ XVII в., а именно: «Краткаго повѣствованія» дьяка Федора Грибоѣдова и «Синописа» (обозрѣнія, очерка) Иннокентія Гизіела. Книга Манніева, говоритъ Соловьевъ, стройнѣе. Послѣ описанія татарскаго нашествія разсказъ событій по княженіямъ почти вездѣ правиленъ, и встрѣчаются нѣкоторые любопытныя извѣстія, до сихъ поръ не находимыя въ источникахъ. Съ большими подробностями разсказываетъ авторъ о взятіи Новгорода Деладарді; причина тому заключается въ тогдашнемъ положеніи пѣлаго русскаго народа, отчаянно боровшагося со шведами, и въ положеніи самого автора въ особенности: настоящая вражда и «полонное терпѣнье» заставили живѣе припомнить непріязнь древнюю. Книга заключается похвалою Петру, который «всю Русь художества и вѣдѣніемъ просвѣтилъ и будто снова переродилъ» (1).

По взгляду на одно и то же событіе Записки гр. Матвѣева рѣзко отличаются отъ Записокъ Сильвестра Медвѣева, ученика Симеона Полоцкаго и приверженца царевны Софіи, казненнаго въ 1691 г. Достоинство послѣднихъ Записокъ состоитъ въ томъ, что онѣ отчетливо передаютъ подробности современнаго событія: Медвѣевъ находился въ сношеніяхъ съ Шакловитымъ и стрѣльцами и пользовался актами, не всѣмъ доступными. Историкъ Татищевъ, называетъ его Записки «пристрастными», такъ какъ писавшій ихъ видимо держитъ сторону Софіи. Гр. Матвѣевъ имѣлъ, напротивъ, важныя причины смотрѣть на фактъ и дѣйствующія лица совершенно иначе: его отецъ былъ убитъ стрѣльцами, и самъ онъ, принадлежа къ числу Петровыхъ людей, видѣлъ въ замислахъ царевны вредную помѣху реформамъ. Записки его, по отзыву Татищева, также пристрастны, но здѣсь пристрастіе опредѣлялось другими побужденіями. Составленныя много послѣ стрѣлецкаго бунта (во время котораго автору было только 16 лѣтъ), эти «Записки» лишены свѣжести впечатлѣній: онѣ смотрятъ на прошлое издали, когда уже миновался современный интересъ. Поэтому Матвѣевъ вдаётся въ отступленія, стараясь или раскрыть причины и слѣдствія фактовъ, или вывести какія-либо нравственныя поученія. Притомъ авторъ не довольствовался безыскусственнымъ разсказомъ: ему

¹⁾ Исторія Россіи, Соловьева, т. XX; его же: Писатели русской Исторіи XVIII в. (Архивъ историко-юридич. свѣдѣній, Калачова, кн. II, половина 1).

хотѣлось выказать свое образованіе и способомъ изложенія, и вѣтievатымъ языкомъ ⁽¹⁾.

§ 5. Реформа возбуждала мысль и дѣятельность не только такихъ людей, которые, принадлежа въ духовному чину или дворянскому званію, по сравнительно болѣе образованности, могли наблюдать и хорошія и дурныя стороны того, что вокругъ нихъ происходило, но и людей грамотныхъ изъ простаго народа, одаренныхъ отъ природы здравымъ умомъ и желавшихъ высказать свои понятія о государственномъ устройствѣ. Самымъ замѣчательнымъ представителемъ взглядовъ того престонароднаго грамотнаго меньшинства, которое сочувствовало Петру и его преобразовательной дѣятельности, является крестьянинъ подмосковнаго села Покровскаго, Иванъ Посошковъ († 1726). Онъ былъ человѣкъ зажиточный: имѣлъ домъ въ Петербургѣ и крестьянъ или по крайней мѣрѣ заводъ съ приписанными къ нему крестьянами и землею, и выдалъ дочь за полковника воронежскаго гарнизона. Достаткомъ своимъ онъ былъ одолженъ торговымъ и промышленнымъ предпріятіямъ, особенно винокуренію, почему и называетъ себя «купецкимъ» человекомъ. Эти дѣла и предпріятія заставляли его совершать поѣздки въ разныя области Россіи, чѣмъ приобрѣлъ онъ знакомство съ разными сословіями. Школьнаго образованія онъ не получилъ: «азъ весьма мизиренъ и ученію школьному неискусенъ, и какъ по надлежащему достоинъ писать, ни слѣда нѣсть во мнѣ, ибо самый простецъ есть». Но сочиненія его: «Зерцало» и «Отеческое завіщаніе сыну» свидѣтельствуютъ о большой начитанности, о знаніи Св. Писанія и многихъ произведеній духовной литературы; эта начитанность, вмѣстѣ съ житейскимъ опытомъ и дѣловыми занятіями, служила ему своего рода школой, которая, благодаря большому природному уму, принесла богатые плоды. Нѣкоторое время «хромалъ онъ раскольникимъ недугомъ», т. е. крестился двуперстнымъ сложеніемъ, и вмѣстѣ съ большинствомъ выражалъ жалобы на молодого царя, но скоро освободился отъ того и другаго, сталъ ревнителемъ православія и сторонникомъ Петра. Сильно интересуясь дѣятельностью царя, онъ занимался вопросами нравственныхъ, экономическихъ и юридическихъ реформъ, входилъ въ сношенія съ высокими духовными лицами и вельможами и старался дѣйствовать на нихъ для осуществленія своихъ проектовъ, для проведенія предлагаемыхъ имъ коренныхъ преобразованій. Стефану Яворскому подаетъ онъ записку о духовныхъ дѣ-

¹⁾ Цыгарекаго: Русскіе мемуары XVIII в. въ 4 и 5 ММ Современника 1815; Наука и литер. въ Россіи при Петрѣ I (т. 1, гл. XI).

лахъ, а **Θ. А. Головину** о ратномъ поведеніи; кромѣ того ведетъ сношенія съ князьями **Д. М. Голицынымъ** и **Ю. Я. Хилковымъ**, съ митрополитомъ новгородскимъ **Іовомъ**, который далъ ему рекомендательное письмо къ **кн. Я. Θ. Долгорукому**. **Св. Димитрій Ростовскій** хвалилъ «Зерцало», какъ хорошее опроверженіе расколичныхъ заблужденій и въ письмѣ къ монаху **Θеологу** просилъ дать свѣдѣнія объ авторѣ: «живъ ли онъ? если живъ—стану писать къ нему; если умеръ—стану его поминать».

Главный трудъ **Посошкова**—книга о «скудости и богатствѣ». Онъ занимался ею три года (1721—1724), «утаенно отъ зрѣнія людскаго», изъ «презельной любви къ отечеству», единственно побуждавшей его братья за перо. По его собственнымъ словамъ, онъ согласился бы скорѣе понести бѣдствіе, чѣмъ умолчать при видѣ чего-либо безполезнаго. Означенная книга есть всестороннее изслѣдованіе о состояніи Россіи при **Петрѣ I**, обсужденіе разныхъ государственныхъ и общественныхъ вопросовъ, указаніе неустойчивъ и неправдъ, укоренившихся въ Россіи, и предложеніе мѣръ къ водворенію порядка и справедливости во всѣ отрасли управления и народнаго быта. Слѣдя со вниманіемъ за современнымъ ему движеніемъ въ администраціи и законодательствѣ, хорошо зная положеніе нѣкоторыхъ общественныхъ классовъ, особенно крестьянскаго и купеческаго, онъ, какъ ревностный приверженецъ **Петра**, хотѣлъ съ своей стороны оказывать посильную помощь реформѣ, тѣмъ, болѣе, что ясно видѣлъ, какъ немного такихъ, которые содѣйствуютъ ея преуспѣянію, и какъ, напротивъ, много такихъ, которые противодѣйствуютъ ей: «нашъ монархъ на гору самъ—десять тинетъ, а подъ гору тянутъ миллионы; то какъ дѣло его споро будетъ?». Сочиненіе состоитъ изъ девяти главъ, по числу предметовъ, о которыхъ авторъ имѣлъ возможность писать основательно, съ знаніемъ дѣла. За краткимъ вступленіемъ, главы слѣдуютъ въ такомъ порядкѣ: о духовенствѣ, о воинскихъ дѣлахъ, о правосудіи, о купечествѣ, о художествѣ (мануфактурной промышленности), о разбойникахъ (уголовныхъ дѣлахъ), о крестьянствѣ, о дворянахъ, крестьянахъ и земельныхъ дѣлахъ, о царскомъ интересѣ. Недостаткомъ правильнаго образованія объясняются веровности сочиненія, въ которомъ рядомъ съ разумными мѣрами предлагаются другія, показывающія въ авторѣ самоучку. Но относительно многихъ важныхъ вопросовъ этотъ «простецъ», какъ онъ самъ себя называетъ, далеко предупредилъ своихъ современниковъ. Нѣкоторыя его мысли и планы частію уже приведены въ исполненіе, частію ожидаютъ еще осуществленія и даже служатъ предметомъ правительственныхъ заботъ нашего времени. Предста-

вимъ главѣйшія изъ нихъ. И въ письмѣ къ Яворскому о духовныхъ дѣлахъ, и въ книгѣ «о скудости и богатствѣ» указывается низкій уровень образованія духовенства, согласно со многими другими свидѣтельствами, какъ прежде бывшими, такъ и современными Посошкову, о томъ же предметѣ: «не только отъ лютерскія или отъ римскія ереси, но отъ самаго раскола не знаютъ, чѣмъ оправити себя, и не то чтобы кого отъ невѣрія въ вѣру привести, но и того не знаютъ, что то есть реченіе *отра*, и церковныя службы како прямо отправить не знаютъ». Виною такихъ явленій ставится архіерейская оплошность, ибо архіереи полагаются на служебниковъ своихъ въ поставленіи поповскомъ; отъ пресвитерскаго небреженія много російскаго народа въ ереси уклонилось, а есть и такіе пресвитеры, которые потакають уклонившимся: «я видѣлъ многихъ стариковъ, что на исповѣди лѣтъ по сорока не бывали, ради непонужденія пресвитерскаго». Другая вина—малое книжное ученіе: поэтому надобно завести училища по епархіямъ для дѣтей священнослужителей и казеннымъ содержаніемъ обезпечить священниковъ, чтобы они, не завися отъ прихожанъ, заботились болѣе о паствѣ, чѣмъ о пашнѣ.—Самъ будучи крестьяниномъ, Посошковъ отлично понималъ положеніе крестьянскаго сословія, почему его мысли о неурядицахъ и потребностяхъ простонароднаго быта поражаютъ своею вѣрностью. Онъ насчитываетъ три причины скуднаго житія крестьянъ: лѣность ихъ, насилие и небрежность помѣщиковъ, и отсутствіе правительственнаго надзора. Помѣщикамъ рекомендуется смотрѣть за гуляками и лежебоками и строго наказывать таковыхъ, чтобы они отъ лѣности въ скудость не приходили, и въ воровство и пьянство не уклонялись. Но виноваты и сами помѣщики, своимъ произволомъ въ отношеніи къ оброкамъ и повинностямъ: «Помѣщики на крестьянъ своихъ налагають бремена неудобъ носимыя, ибо есть такіе безчеловѣчныя дворяне, что въ работную пору не даютъ крестьянамъ своимъ ни единого дня, еже бы ему на себя что сработать. И тако пахатную и сѣнокосную пору всю и потеряють у нихъ; или что наложено на ихъ крестьянъ оброку или столовыхъ запасовъ, и то положенное забравъ, еще требуютъ съ нихъ излишняго побору, и тѣмъ излишествомъ крестьянство въ нищету пригоняють; и который крестьянинъ станетъ мало-мало посылѣ бытъ, то на него и подати прибавяють. И за такимъ ихъ порядкомъ крестьянинъ никогда обогатится не можетъ. Отъ таковыхъ нужды дома свои оставляють (*крестьяне*) и бѣгутъ иные въ низовые города, иные жъ въ украинскіе, а иные и въ зарубежныя: тако чужія страны населяють, а свою пусту оставляють». Чтобы

ограничить помѣщичій произволъ, Посошковъ требуетъ точнаго опредѣленія повинностей и оброковъ съ крестьянъ путемъ законодательнымъ. Онъ подвергаетъ критикѣ и подушную подать, называя ее «душегубствомъ», предлагая замѣнить ее поземельнымъ сборомъ, который при томъ долженъ быть общою повинностью всѣхъ землевладѣльцевъ, безъ исключенія. Правильному и прибыльному ходу сельскаго хозяйства мѣшали черезполосныя владѣнія: Посошковъ предлагаетъ уничтожить ихъ генеральнымъ ижеваніемъ (въ главѣ о дворянахъ, крестьянахъ и земляныхъ дѣлахъ). Такъ какъ по безграмотности своей крестьяне терпѣли много разныхъ бѣдъ, то Посошковъ находитъ необходимымъ неотложное, обязательное ученіе ихъ чтенію и письму. «Не малая пакость чинится крестьянамъ и отъ того», говоритъ онъ, «что грамотныхъ людей у нихъ нѣтъ.... Какой въ нимъ ни прійдетъ съ указомъ или и безъ указа, да скажетъ что указъ у него есть, то тому и вѣрять, и оттого пріемлютъ себѣ излишніе убытки, потому что всѣ они слѣпые, ничего не видятъ, не разумѣютъ... И ради охраненія отъ таковыхъ напрасныхъ убытковъ, видится, не худобъ крестьянъ и *поневолятъ*, чтобъ они дѣтей своихъ, десяти лѣтъ и ниже, отдавали дьячкамъ въ наученіе грамоты и, науча грамотѣ, учили бы ихъ писать... И положить имъ крѣпкое опредѣленіе, чтобы безотложно дѣтей своихъ отдавали учить грамотѣ, и положить имъ срокъ года на три или на четыре. А буде въ 4 года дѣтей своихъ не научать, также кон робята и впредь подрастутъ, а учить ихъ не будутъ, то какое ни есть положить на нихъ и *страхованіе*». Наконецъ онъ ясно понималъ различіе между поденнымъ и урочнымъ трудомъ, и народно-экономическія выгоды урочной рабочей платы.—Въ главѣ о купечествѣ Посошковъ описываетъ неправильное веденіе торговли, и его соображенія по этому предмету отличаются большимъ знаніемъ дѣла, основательностью и разумностью. Онъ прямо говоритъ, что ложь и обманъ въ нашей торговлѣ могутъ считаться общимъ правиломъ: «Купечество у насъ ведется вельми неправо: другъ друга обманываютъ и другъ друга обидятъ, товары худые заворачиваютъ добрыми и вмѣсто добрыхъ продаютъ худые, а цѣну берутъ непрямую».... Посошковъ хотѣлъ стройной организаціи купеческаго дѣла и указывалъ выгоды торговли товариществами (компанейской), какъ вѣрнаго способа застраховать ее отъ непредвидѣнныхъ случайностей. Всего болѣе Посошковъ жалуется на отсутствіе правосудія, такъ какъ правду считалъ онъ основою матеріальнаго благосостоянія государства. Въ началѣ книги «о скудости и богатствѣ» онъ говоритъ: «то бо (правда) есть самое царство украшеніе и прославленіе»

ніе и честное богатство. Аще правда, яко въ земскихъ лицахъ, тако и въ мизирныхъ, насадится и твердо вкоренится, и вси, яко богати, тако и убози, между собою любовію имуть жить, то всякихъ чиновъ люди по своему бытію въ богатствѣ довольни будутъ: понеже правда никого обидить не пускаетъ, а любовь принудить другъ другу въ нуждахъ помогати». Всѣ писанія Посошкова имѣють цѣлю уничтожить, выжечь старую неправду, и онъ твердо вѣрилъ въ радикальную силу предлагаемыхъ имъ средствъ: кагъ только они приведутся въ исполненіе, такъ все измѣнится къ лучшему—«вся Россія яко со сна пробудится» (¹).

§ 6. Выше (стр. 7) были исчислены піесы, переведенныя для московской комедіальной храмины. Кромѣ того, въ Кіевѣ и въ Москвѣ представлялись школьныя драмы. Въ Кіевской Академіи издавна существовалъ обычай занимать учащихся драматическими дѣйствами, во время лѣтнихъ рекреаций. Обязанность приготовить ежегодно комедію или трагедію лежала на преподавателѣ поэзіи. Представленія производились подъ открытымъ небомъ—на горѣ, среди рощи, въ долинѣ. Москву съ школьными драмами впервые познакомилъ Симеонъ Полоцкій. Въ славяно-греко-латинской академіи развились онѣ съ начала XVIII в., когда греки уступили въ ней свое мѣсто кіевскимъ ученымъ, вызваннымъ Стефаномъ Яворскимъ, и когда преобладаніе греческаго языка уступило господству языка латинскаго, вообще образованію латинскому, согласно съ повелѣніемъ Петра: «завести въ академіи ученія латинскія», что и исполнилъ Яворскій, которому было поручено ея преобразование. Здѣсь представленія давались въ академической залѣ для торжественныхъ собраній. Обычай занимать воспитанниковъ драмами узаконился потомъ Духовнымъ Регламентомъ, предписавшимъ давать два раза въ годъ комедіи. Школьная драма въ Московской Академіи приняла при Петрѣ панегирическое направленіе: она славилъ важныя дѣянія преобразователя, его побѣды, торжественныя въѣзды въ столицу, празднества въ семейномъ царскомъ кругу и т. п. Аллегоріи и символы, частію языческіе, частію христіанскіе, которыми она изобиловала, сближали ее съ средневѣковыми *moralityés*. Примѣняясь къ текущимъ, внѣшнимъ и внутреннимъ обстоятельствамъ, прославляя мірскія дѣла и вещи, драма на глаза многихъ могла казаться преступною новостью,

¹) Сочиненія Посошкова издавъ Погодинымъ въ 2 томахъ (1842 и 1863). Отеческое завѣщаніе къ сыну издаю А. Поповымъ въ 1873 г. См. изслѣдованіе о Посошковѣ въ статьяхъ А. Бриннера (Ж. М. Н. П. сентябрь и октябрь 1875, январь, февраль, мартъ, апрѣль, май и іюль 1876).

почему предисловіе къ ней иногда считало долгомъ объяснять небывалую вещь примѣрами другихъ христіанскихъ странъ и тутъ же кстати обличать домашнихъ невѣждъ, «ничего не знающихъ, ничего не видящихъ и не слышащихъ, но неисходно пребывающихъ подъ своею клятвѣю и при каждомъ новомъ явленіи открывающихъ непотребныя словеса». Вотъ нѣсколько примѣровъ тому, какъ религіозные сюжеты выводились на сцену вмѣстѣ съ политическими событіями. «Страшное изображеніе втораго пришествія Господня на землю» (представлена 1702 г.) выставяетъ характеръ польскаго сейма подъ видомъ «Самолюбія» и «Гордыни»: они разрѣшаютъ подданныхъ отъ послушанія королю Августу, желавшему соединиться съ Петромъ противъ Карла XII; «Геній», рачитель пользы королевства польскаго, приходитъ въ сенатъ, но ему не внимаютъ; «Королевство Польское» укоряетъ магнатовъ за междоусобныя распри; наконецъ «Фортуна» вручаетъ «Марсу Росоланскому» (Петру) знаменія побѣды. — «Преславное торжество освободителя Ливоніи (1705)», на ряду съ Моисеемъ, Ангелами, Благочестіемъ, Ревностью, Хищеніемъ, выводитъ Юпитера и Феба, потомъ Ингерманландію и Ливонію, которыя отходятъ въ достояніе Россіи. — Побѣда при Полтавѣ, измѣна и бѣгство Мазепы представлены въ піесѣ: «Божіе уничижителъ гордыхъ уничиженіе» (нап. 1710): въ этой піесѣ есть насмѣшки надъ хромотою — намекъ на рану, полученную Карломъ XII въ ногу, при его ночномъ наѣздѣ на казаковъ.

Изъ всѣхъ школьныхъ піесъ начала XVIII в. наиболѣе выдается трагедокомедія «Владиміръ (1705)», написанная Теофаномъ Прокоповичемъ по официальной обязанности, такъ какъ онъ былъ въ то время учителемъ поэзіи въ Кіевской Академіи. При ея сочиненіи онъ руководствовался тѣми правилами, которыя передавалъ своимъ слушателямъ и которыя самъ вынесъ изъ іезуитской коллегіи — мѣстъ своего образованія. Трагедокомедія или трагикомедія, по его опредѣленію, есть смѣшанный родъ поэзіи изъ трагедіи и комедіи, т. е. такой, въ которомъ смѣшное и забавное смѣшиваются съ серьезнымъ и трогательнымъ, и лица незначительныя съ знаменитыми. Авторъ много отступилъ отъ тина піесъ, рабски воспроизводившихъ формы и приемы западныхъ школьныхъ драмъ. Тогда какъ въ Кіевѣ содержаніе брали преимущественно изъ Священнаго Писанія и житій святыхъ, а въ Москвѣ выдвинулось содержаніе панегирическое, обусловленное политическими современными событіями, Прокоповичъ обратился къ древнерусской исторіи и взялъ важнѣйшее событіе изъ жизни Владимира — принятіе имъ христіанства. Предметъ піесы — внутренняя

борьба князя передъ великимъ подвигомъ и его побѣда надъ тремя силами, враждебными новой религіи: міромъ, плотію и дьяволомъ. Дѣйствующія лица: Владиміръ, Философъ греческій, объясняющій ему христіанскій законъ, три жреца: Жериволь, Куроядъ и Піаръ, изображающія самыми именами характеристическія особенности касты: обжорство, лакомство и пьянство, военачальники: Мсти-славъ и Храбрый. Нѣтъ ни героевъ, ни божествъ классическаго міра, но есть небывалое въ школьной драмѣ лице—*духъ* Ярополка, погибающій отъ зависти къ брату и вызываемый невѣдомою силою изъ ада въ Кіевъ, какъ только дошла до него вѣсть, что Владиміръ хочетъ водворить въ этомъ городѣ христіанство. Актвъ пять. Въ первомъ, монологъ Ярополкова духа напоминаетъ мѣстами монологъ тѣни Тантала въ трагедіи Сенеки «Θіεсть»; духъ вознѣщается Жериволу, какъ главному представителю язычества въ Кіевѣ, предстоящую бѣду, и Жериволь готовится вступить въ борьбу съ намѣреніемъ Владиміра. Слѣдующіе за тѣмъ акты представляютъ развитіе дѣйствія: второй—завязку; третій—препятствія дѣлу и замѣшательства; четвертый—тяжелую внутреннюю борьбу въ душѣ Владиміра; пятый—катастрофу, т. е. сокрушеніе идоловъ и воспріятіе Христова закона. Піеса оканчивается хоромъ апостола Андрея съ ангелами. Комическій элементъ разлитъ по всей трагикомедіи. Нѣкоторыя черты жрецовъ несомнѣнно заимствованы изъ быта современнаго духовенства, чего не отрицаютъ и самъ авторъ. Свобода мысли, жажда новаго, смѣлость и рѣзкость слова отличаютъ піесу. Ея герой — реформаторъ древней Россіи; ея интересъ сосредоточивается на борьбѣ новаго просвѣщенія съ старымъ невѣжествомъ; всѣ симпатіи автора обращены къ приверженцу новаго закона—Владиміру, который видитъ источникъ зла и религіозныхъ заблужденій въ отсутствіи просвѣщенія:

Родъ нашъ жестокъ и безсловный
И письменъ ненавидѣй есть сему виновный ⁽¹⁾.

Народная жизнь не была чужда школьной драмѣ. Она является въ такъ называемыхъ «интермедіяхъ» или «интерлюдіяхъ», которыя разыгрывались между отдѣльными актами или сценами. Неподдѣльный юморъ и меткая сатира составляютъ ихъ главное достоинство. Правда, комическое остается въ нихъ на первой своей ступени, наивной или непосредственной, воспринимаясь на-

¹⁾ Н. Тихонравова: «Трагедокомедія Теофана Прокоповича «Владиміръ» (Ж. М. Н. Пр. 1879, май).

и болѣе вѣшними чувствами и угождая неразвитому вкусу; не имѣютъ онѣ также того, что называется завязкой и развязкой дѣйствія и что необходимо для полноты его развитія: каждая интерлюдія есть рядъ забавныхъ сценъ, не связанныхъ единствомъ мысли. Но въ этихъ отдѣльныхъ сценахъ выступаютъ живыя лица, съ ихъ дѣйствительными характерами, съ ихъ современными интересами и простою, разговорною рѣчью. Нѣкоторые интерлюдіи написаны виршами; въ другихъ стихи чередуются съ прозой. Самая форма ихъ показываетъ, что онѣ слагались людьми книжными, получившими школьное образованіе, но вмѣстѣ близкими къ народу и наблюдавшими теченіе современныхъ дѣлъ. Нѣсколько рукописныхъ интерлюдій сохранилось до нашего времени. Въ одной изъ нихъ являются: раскольникъ, дьячокъ, ставленникъ, подьячій, цыганъ, литвинъ, лѣварь съ слугою, маркизъ, грекъ, барышникъ, мошенники, могильникъ (копающій могилу отцу) и кобыльникъ (отыскивающій пропавшую кобылу). Раскольникъ жалуется на жестокую жизнь въ послѣднія времена міра, когда многіе старцы уже видѣли антихриста; когда, вмѣсто долгополаго платья, православные стали носить кургузый кафтанъ и круглый картузь, и брить бороды; когда на головахъ явились парики, будто у нѣмцевъ поганныхъ. Эти обстоятельства опредѣляютъ время сочиненія піесы: указы о ношеніи иностранной одежды и о бритвѣ бородъ и усовъ послѣдовали въ 1706 г. Второй указъ особенно возбудилъ сильное недовольство, такъ что св. Димитрій Ростовскій долженъ былъ по этому поводу написать трактатъ «объ образѣ и подобіи Божиѣмъ въ человѣкѣ». Извѣстно также, что знаменія антихристова пришествія раскольники относили къ реформамъ Петра. Другое лицо интерлюдіи, дьячекъ, оплакиваетъ судьбу дѣтей своихъ, которыхъ надобно отдать въ семинарію. Вотъ новыя данныя и для хронологіи піесы и для ея историческаго значенія: мы видѣли, что указами 1708 и 1710 г.г. велѣно было дѣтей священно-и-церковнослужителей записывать въ греческія и латинскія школы; кто отказывался отъ ученія, того не ставили ни въ попы, ни въ дьяконы, а принимали рядовымъ въ военную службу. Лихонимство подьячихъ также выставлено въ интерлюдіи: объявивъ указъ дьячеу и взявъ съ него взятку, они хотѣли освободить его дѣтей отъ школы, но не выполнили обѣщанія и ушли. Потомъ мошенники вкрадутъ у ставленника мошну въ то самое время, какъ онъ долженъ расплачиваться съ маркизъ за съѣденные пироги; далѣе жидъ и раскольникъ выйдутъ на ученый споръ. Сценическое правдоподобіе піесы выигры-

ваетъ еще отъ того, что лица разныхъ націй (цыганъ, грекъ, литвинъ) ведутъ разговоръ на разныхъ говорахъ ⁽¹⁾.

II. ОТЪ СМЕРТИ ПЕТРА I ДО ЛОМОНОСОВА.

§ 7. Въ періодъ времени отъ смерти Петра I до начала дѣятельности Ломоносова выдающимися лицами по своему научному и литературному образованію должны были быть, разумѣется, ученики преобразователя и сторонники его реформы. Это—тѣ самые люди, которые составляли небольшой интеллигентный кружокъ, имѣя во главѣ своей Теофана Прокоповича, не только какъ ревностнаго сподвижника Петровыхъ дѣлъ, извѣстнаго богослова и духовнаго оратора, но и вообще какъ писателя, сочувственно относившагося къ новымъ, на почвѣ реформы возникавшимъ явленіямъ въ области литературы и науки.

На первомъ мѣстѣ между этими немногими лицами стоитъ Татищевъ (Василій Никитичъ, 1686—1750), представляющій почтенный, достойный примѣръ русскаго человѣка, который, при замѣчательномъ образованіи, сохранилъ за собою всѣ существенныя стихіи своей народности, остался истиннымъ сыномъ своей страны и на пользу ея употреблялъ таланты и пріобрѣтенныя знанія. Ученіе, начатое въ московской артиллерійской и инженерной школѣ, находившейся въ завѣдываніи Брюса, онъ довершилъ въ Германіи, гдѣ пробылъ два года (1713 и 1714) и вполне овладѣлъ нѣмецкимъ языкомъ. Серьезная умственная подготовка дала ему возможность выказать многостороннюю дѣятельность и въ администраціи и въ наукѣ: онъ былъ начальникомъ горныхъ уральскихъ заводовъ, управляющимъ Оренбургскимъ краемъ, губернаторомъ астраханскимъ, историкомъ и географомъ. Первымъ поводомъ къ занятіямъ русскою исторіей послужило представленіе, сдѣланное Брюсомъ Петру Великому о необходимости подробной географіи Россіи. Обремененный многими служебными обязанностями, Брюсъ передалъ возложенную на него царемъ работу

¹⁾ О старинномъ театрѣ въ Россіи см. XIV-ую главу 1-го тома сочиненія Цеварскаго: Наука и литература въ Россіи при Петрѣ I. — Русскія интерлюдіи первой половины XVIII в., съ предисловіемъ Н. Тихонравова, въ 3 книгѣ Лѣтоп. Рус. Лит. (1959). Его-же выше цитированная статья о трагедокомедіи «Владиміръ».

состоявшему при немъ Татищеву. Послѣдній, сознавая необходимость полной и вѣрной исторіи для успѣшнаго исполненія дѣла принялся собирать историческіе матеріалы. Особенно высказалась въ немъ страсть къ исторіи, когда онъ въ 1724-мъ г. былъ отправленъ Петромъ I въ Швецію для наблюденія за горнымъ дѣломъ и политическимъ состояніемъ сосѣдней намъ страны, Здѣсь Татищевъ вошелъ въ сношенія съ учеными, узналъ о существованіи важныхъ матеріаловъ для русской исторіи и составилъ планъ надлежащаго изъ нихъ выбора. Татищевъ принималъ участіе въ событіяхъ 1780 г., когда дѣйствія членовъ верховнаго совѣта, предложившихъ императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ условія, возбуждали повсюду негодованіе и опасенія дворянства. Имъ составлена была записка (Произвольное и согласное разсужденіе русскаго шляхетства), въ которой онъ доказывалъ незаконность предложенныхъ условій и необходимость монархическаго правленія для Россіи. Въ царствованіе Елисаветы онъ былъ отрѣшенъ отъ должности астраханскаго губернатора (1745 г.) и остальные годы жизни провелъ въ своей деревнѣ, доканчивая свой историческій трудъ.

«Духовная» Татищева сыну содержитъ въ себѣ руководство для жизни, во всѣхъ ея возрастахъ.

Обязанный самому себѣ рѣдкимъ по тому времени образованіемъ, всю жизнь проведеній на службѣ и въ ученыхъ трудахъ, опытомъ наученный многому, что не преподается въ школахъ и чего не вычиташь изъ книгъ, Татищевъ является въ Духовной человѣкомъ разумнымъ и осторожнымъ, не способнымъ на крайности, но умѣющимъ выбрать лучшую между ними дорогу. Его уроки обнимаютъ все пространство нашей жизни: воспитаніе, службу, семейный бытъ, управленіе имѣніемъ и пр., согласно съ тѣми понятіями, которыя составляли образъ мыслей Петровыхъ птенцовъ, и тѣми потребностями, которыя вызвала реформа. Это, по выраженію Соловьева, Домострой преобразовательной эпохи.

Узнавъ на самомъ дѣлѣ важность науки для государственнаго устройства, равно какъ для частныхъ и общественныхъ нравовъ, Татищевъ рекомендуетъ ее особенно вниманію своего сына. Совѣты его начинаются съ религіознаго образованія. Чтобы приобрѣсть основательныя познанія въ законѣ Божіемъ, нужно читать, во-первыхъ, Библію, катихизисъ и церковныхъ учителей, особенно Златоуста; во-вторыхъ, книги, составленныя Прокоповичемъ: Изъясненіе десяти заповѣдей и блаженствъ (Первое ученіе отрокомъ) и Юности честное зерцало. Первая книга, по отзыву Духовной,

можетъ служить за катихизисъ, а вторая есть лучшее правоучительное руководство. Чтеніе миней и прологовъ разрѣшается лишь тому, кто искусялся въ Священномъ Писаніи. Татищевъ боялся въ этомъ случаѣ недоразумѣній, которыя легко возникаютъ въ душѣ человѣка малоразсудительнаго, еще плохо заправленнаго въ мышленіи. Видно также, что отъ чтенія духовныхъ книгъ онъ наиболѣе требовалъ умственной пищи, подчиняя ей назидательный интересъ, и что, говоря о богословіи, разумѣлъ въ особенности догматическую его сторону. Утвердясь въ ученіи восточной церкви, надобно потомъ читать и несогласныя съ нимъ книги: лютеранскія, кальвинскія и папешскія, для того, что, имѣя всегдашнее обхожденіе съ иностранцами, Русскіе часто заводятъ съ ними разговоръ о вѣрѣ. Отъ незнанія чужихъ догматовъ легко подвергнуться соблазнамъ, особенно отъ папистовъ, весьма въ томъ коварныхъ и тѣмъ болѣе опасныхъ, что они по многимъ наружнымъ или чиновнымъ обстоятельствамъ (обрядамъ) близки къ нашему исповѣданію. Здѣсь Татищевъ напоминаетъ Курбскаго, который, опасаясь высшей образованности и діалектической ловкости іезуитовъ, тоже убѣждалъ православныхъ избѣгать религіозныхъ съ ними споровъ. Но и съ одновѣрцами не слѣдуетъ препираться о вѣрѣ, если не хочешь подать дурнаго о себѣ мнѣнія людямъ или даже потерпѣть бѣды отъ нерассудныхъ. Въ примѣръ Татищевъ приводитъ самого себя: его почитали не только еретикомъ, но и безбожникомъ. Заступники старины причисляли его къ «сборищу нечестивыхъ» за точное раздѣленіе догматизма отъ обрядности, за ясный взглядъ на неизмѣнное и временное въ священнѣхъ уставахъ, за критику суевѣрій, которымъ многіе предавались, какъ истинной вѣрѣ. — Отъ вѣроученія Духовная переходитъ къ свѣтскимъ наукамъ. Важнѣйшимъ изъ свѣтскихъ знаній она ставитъ правильное и складное писаніе; послѣ того идутъ: арифметика, геометрія, артиллерія, фортификація и другія части математики, нѣмецкій языкъ, «необходимый для извѣстія о состояніи государства нашего», русская исторія и географія, гражданскіе и военскіе законы, для чего нужно читать уложеніе, сухопутный и морской уставы, и другіе, новѣйшіе печатные указы. — Рядъ семейныхъ обязанностей отърывается важнѣйшею изъ нихъ — чтеніемъ сына къ родителямъ. Татищевъ проситъ его любить и уважать мать, не быть судьей ея слабостей, но великодушно извинять ихъ. Для вступленія въ бракъ назначенъ тридцатилѣтній возрастъ. Главныя достоинства жены — хорошее состояніе, разумъ и здоровье. Отношенія къ ней мужа должны занимать средину между грубымъ взглядомъ старины на женщину и новымъ, проти-

воположеннымъ тому обычаемъ. Жена, говорить Татищевъ, не раба мужу, а товарищъ, помощница; однакожъ стыдно мужу и находиться подъ властію жены, какихъ примѣровъ нынѣ уже довольно видимъ. Въ слѣдъ за этимъ Духовная выражаетъ сильное негодование противъ этихъ новыхъ, высокопарныхъ или, вѣрнѣе, глупыхъ женъ, которыя своею безумною гордостью, подлыми пересмѣшками, пустой болтовней, дурацкою ревностью безвинно поносить честныхъ людей и причиняютъ имъ вредъ; такихъ женъ всегда окружаетъ ватага ханжей, бродягъ и тому подобныхъ потаскушъ и вѣстоношей, которыхъ надобно беречься, какъ злѣйшаго ада: эти звонкіе колокольчики готовы за деньги продать не только другихъ, но и себя.—Совѣты Духовной касательно службы начаты исчисленіемъ общихъ ея обязанностей: быть вѣрнымъ государю и отечеству во всякомъ дѣлѣ; о пользѣ общей радѣть, какъ о своей собственной; государю, какъ отъ Бога поставленной власти, отдавать честь и повиновеніе. Главное же повиновеніе собственно состоитъ въ слѣдующемъ: «ни отъ какой услуги, куда бы тебя ни опредѣлили, не отрицайся, и ни на что самъ не называйся». Этими словами Татищевъ былъ напутствованъ отъ своего родителя, снаряжаясь на службу. Когда я исполнялъ ихъ безусловно (говорить онъ)—и въ тягчайшихъ трудностяхъ благополучіе видѣлъ; а когда чего прилежно искалъ или отрекался—всегда о томъ сожалѣлъ. Обстоятельства, которыми сопровождалось вступленіе Анны Іоанновны на престолъ, заставили его въ Духовной повторить то самое, что онъ изложилъ въ упомянутой запискѣ: «съ хвалящими вольности другихъ государствъ и ищущими власть монарха уменьшить никогда не согласуясь, понеже оное государству крайнюю бѣду нанести можетъ». Обязанности службы различны по разнымъ родамъ ея: военной, гражданской и придворной. Въ совѣтахъ воинъ является снова золотая середина: почтеніе всего храбрость, но запальчивость не лучше робости; опрометчивостію можно погубить даже подчиненныхъ своихъ, а робость для воина поношеніе: надобно сохранять середину. Гражданская служба была болѣе знакома Татищеву, и потому онъ говорить о ней подробнѣе. Къ числу вопросовъ, возникшихъ въ ея кругу, относился вопросъ о взяткахъ. Татищевъ имѣлъ свой взглядъ на взяточничество, который объяснялъ лично Петру и которому далъ также мѣсто въ Духовной, стараясь оправдать его частію авторитетомъ, частію собственными доводами, почерпнутыми изъ многолѣтней дѣловой практики. Съ помощью своей теоріи проходилъ онъ самъ и думалъ провести сына посреди двухъ крайностей: неправеднаго кормленія, туго набивающаго карманы администратора, и безвы-

*

ходной бѣдности чиновника, не обезпеченнаго порядочнымъ жалованьемъ. Любопытно, какъ, въ разговорѣ съ Петромъ, онъ различалъ лихоимство отъ законной мзды за рѣшеніе дѣлъ: «лихоимство есть неправо взятое, а мзда принадлежитъ дѣлающему по должности; если я, и ничего не взявъ, противу закона сдѣлаю—повиненъ; если ради мзды присоединится къ законопреступленію лихоимство—долженъ сугубаго наказанія; когда же право и порядочно сдѣлалъ и отъ праваго вознагражденіе приму—ничѣмъ осужденъ быть не могу».—Пора деревенской жизни наступаетъ для дворянина въ 50 лѣтъ, изъ которыхъ не меньше 30 проведены имъ на службѣ. Надворъ за нравственностью крестьянъ долженъ требовать первыхъ заботъ его. Для этого Духовная совѣтуетъ имѣть священника ученаго, способнаго еженедѣльными поученіями наставлять прихожанъ въ добродѣтели и обезпеченнаго приличнымъ жалованьемъ, а не пашнею, чтобъ онъ охотнѣе прилежалъ къ церкви, нежели къ землѣ и сѣнокосу. Характеристика сельскаго духовенства яркими красками изображаетъ то состояніе, въ которое оно доведено было бѣдностью, необразованностью и лѣнью. Кромѣ того Духовная настаиваетъ на обученіи крестьянъ грамотѣ, посредствомъ которой они узнаютъ законъ и страхъ Божій, на приглашеніи искуснаго лѣвара, на заведеніи бань и аптекъ, для того чтобы народъ не гибнулъ отъ безумныхъ лѣкарствъ обманщиковъ, ворожей, шептуновъ и колдуновъ.

По характеру «Духовной» можно заключать о характерѣ другаго, важнѣйшаго сочиненія Татищева—«Исторіи Россійской». Въ совѣтахъ его сыну видны постоянное и осторожное исканіе средины во всѣхъ вещахъ, запретъ добровольныхъ порывовъ, которые часто заставляютъ человѣка напрашиваться на одни дѣла и отказываться отъ другихъ, распредѣленіе жизни единственно по расчетамъ здраваго смысла, не довѣряющаго голосу чувствъ. Всѣ эти качества убѣждаютъ, что у Татищева умъ былъ преобладающею духовною способностію и что его историческій талантъ выкажется по преимуществу въ сужденіяхъ о возможности, значеніи и внутреннемъ смыслѣ событій. Дѣйствительно, «Исторія Россійская», стоявшая ему тридцатилѣтнихъ трудовъ, подтверждаетъ такое убѣжденіе. Въ строгомъ смыслѣ ее нельзя назвать прагматическимъ изложеніемъ событій: это—критическій сводъ лѣтописей, снабженный примѣчаніями, въ которыхъ, равно какъ въ «Предъизвѣщеніи объ исторіи вообще и о русской собственно», выражены взгляды автора. Татищевъ первый обратилъ надлежащее вниманіе на предметъ своихъ изслѣдованій, показавъ, что такое русская исторія и какія средства существуютъ для ея изу-

ченія. Но перевѣсъ ума надъ другими способностями отразился сухостью изложенія и односторонностью взгляда: подчиняя логическимъ соображеніямъ всѣ побужденія къ дѣйствіямъ, Татищевъ не могъ оцѣнить достойнымъ образомъ тѣ моменты въ исторіи, когда энтузіазмъ овладѣваетъ не только отдѣльными личностями, но и цѣлыми массами, и устремляетъ ихъ на подвиги, вопреки благоразумію. Въ примѣчаніяхъ же включены богословскія, философскія и политическія идеи автора—плодъ его знакомства съ Гоббсомъ, Белемъ, Локкомъ, Пуффендорфомъ, Махіавелемъ. Хотя въ одномъ мѣстѣ онъ и называетъ ихъ творенія болѣе вредительными, чѣмъ полезными; однакожъ слѣды ихъ вліянія замѣтны на многихъ его взглядахъ. Зная Беля, учившаго всѣхъ и во всемъ сомнѣваться, прочитавъ книгу Фонтенеля объ оракулахъ, которая полагаетъ правиломъ прежде вопроса о причинѣ каковаго-либо явленія спрашивать о возможности этого явленія, Татищевъ подвергаетъ критической пробѣ многое, что для другихъ было предметомъ непосредственнаго признанія. Подобно Теофану, онъ осуждалъ пристрастіе къ формализму въ дѣлахъ вѣры, фарисейство, суевѣріе. Сличая по этому поводу прошедшее съ современнымъ, онъ не удерживался отъ порицаній послѣдняго, когда замѣчалъ, что христіане, лѣнясь изучать Священное Писаніе и «вольныя науки», не оградили себя отъ языческихъ или полуязыческихъ понятій. Не диво, говоритъ онъ, передавая сказаніе Нестора о волхвахъ, что тогда народъ, не имѣвшій довольно ума и просвѣщенія, такимъ безумнымъ баснямъ вѣрилъ, но удивительнѣе нынѣ видѣть суевѣровъ, которые рассказы и враки ханжей или пустосвятовъ паче святаго писанія и ученія мудрыхъ людей почитаютъ, каковы, напримѣръ, старовѣры или, лучше сказать, пустовѣры.... Не удивляюсь, когда люди, къ знавію Закона Божія не прилежащіе и къ разсужденіямъ невнимательные, почитаютъ за истину суевѣрныя бабьи басни и безумныхъ наукъ толкованія: дивнѣе всего, когда слышимъ ихъ отъ нѣкоторыхъ, властію избранныхъ на проповѣдь Закона Божія, на поученіе народа истинной вѣрѣ Христовой и благонравію; когда эти нѣкоторые не хотятъ ни сами разумѣть Законъ Божій, ни обучать ему народъ; когда они преданія и узаконенія человѣческія, для своихъ лакомствъ вымышленныя, передаютъ, какъ необходимо-нужное для спасенія... Критически относясь къ тому направленію, въ которомъ истина смѣшивалась съ ложью, или ложь принималась за истину, Татищевъ, какъ онъ самъ упоминаетъ въ Духовной, навлекъ на себя подозрѣніе въ вольнодумствѣ и даже безбожіи. По этой причинѣ его Исторія явилась въ печати спустя много времени послѣ того,

какъ была написана. Политическіе взгляды Татищева выразились въ той главѣ его Исторіи, гдѣ онъ говоритъ «о древнемъ правительствѣ русскомъ и другихъ въ примѣръ». Показавъ различіе трехъ формъ правленія: монархіи, аристократіи и демократіи, онъ приходитъ къ одному выводу съ вышеупомянутымъ «Разсужденіемъ шляхетства» (1).

§ 8. Другимъ замѣчательнымъ птенцомъ Петрова времени былъ Антіохъ Кантемиръ (1708—1744), сынъ господара молдавскаго Димитрія, который въ 1711 г., послѣ Прутскаго похода, перешелъ въ подданство Россіи, получилъ отъ Петра I богатыя помѣстья и жилъ сначала въ Харьковѣ. Молодой Кантемиръ находился въ положеніи исключительномъ, сравнительно съ положеніемъ благороднаго (дворянскаго) русскаго юношества. Онъ еще дома получилъ такое образованіе, какое русскій могъ приобрести только за границей. Отецъ его, замѣчательно просвѣщенный человѣкъ своего времени, авторъ многихъ сочиненій и членъ Берлинской Академіи, и мать, урожденная княжна Кантакузенъ, изъ рода греческихъ императоровъ, заботливо наблюдали за воспитаніемъ своихъ дѣтей. Въ наставники къ нимъ былъ выбранъ ученый грекъ Кондонди (въ послѣдствіи Аѳанасій, епископъ вологодскій). Съ раннихъ лѣтъ Антіохъ приступилъ къ основательному изученію древнихъ и новыхъ языковъ, давшихъ ему богатыя средства для дальнѣйшаго самообразованія, которое онъ и завершилъ въ Петербургѣ слушаніемъ академическихъ лекцій по математикѣ, физикѣ, исторіи и нравственной философіи. Последняя особенно привлекла любознательнаго юношу и осталась навсегда любимѣйшимъ предметомъ его занятій. Эти лекціи имѣли для него значеніе высшей школы, такъ что, не выѣзжая изъ Россіи, онъ усвоилъ разнообразныя и солидныя научныя знанія и представилъ собою примѣръ европейски образованнаго человѣка, хотя желаніе его учиться въ чужихъ краяхъ и не исполнилось. Понятно, что при такой богатой умственной подготовкѣ онъ не остался безъ видной служебной дѣятель-

1) Татищевъ и его время, Н. Попова (1861); «Русскіе историки XVIII в.», С. Соловьева (Архивъ историко-юридич. свѣдѣній о Россіи, Н. Калачова, т. 2); его же Исторія Россіи, т. XX (1870); Новыя извѣстія о В. Н. Татищевѣ, П. Пезарскаго (Приложеніе къ IV т. Записокъ Ак. Наукъ, 1864); В. Н. Татищевъ, администраторъ и историкъ первой половины XVIII столѣтія, К. Бестужева-Рюмина (Древняя и Новая Россія, 1875, т. 1).—Духовная Т—ва сыну его Еуграфу изд. въ 1773 г.; «Исторія Россійская съ самыхъ древнѣйшихъ временъ, чрезъ тридцать лѣтъ собранная и описанная», состоитъ изъ пяти книгъ: первыя три изданы Миллеромъ (1768—1774), 4-ая въ 1784 г., пятая нап. въ Читеніяхъ въ Обществѣ Исторіи и Древностей рос. (годъ 8, книги 4, 5 и 9).

ности: двадцати двухъ лѣтъ, онъ получилъ мѣсто резидента въ Лондонѣ, а черезъ шесть лѣтъ былъ назначенъ полномочнымъ министромъ при французскомъ дворѣ. И тамъ и здѣсь онъ выказалъ достоинство какъ учеными занятіями, такъ и веденіемъ дипломатическихъ сношеній. По своему образованію онъ стоялъ на одномъ уровнѣ съ государственными сановниками и учеными наиболѣе цивилизованныхъ странъ. Въ Парижѣ онъ сблизился съ Монтескье и съ математикомъ Мопертюи: оба они отдавали полную справедливость превосходнымъ качествамъ его ума и многосторонности его знаній.—Кантемиръ стоялъ особнякомъ и въ другихъ отношеніяхъ. «Не русакъ» (родомъ), по его собственнымъ словамъ ⁽¹⁾, онъ былъ совершенно чуждъ многихъ обычаевъ, предразсудковъ и понятій, которые природными русскими всасывались съ матернимъ молокомъ и становились ихъ второю натурой. Ему не предстояло надобности отрѣшиться отъ многого, что коренилось въ русской жизни и отъ чего она могла освободиться лишь путемъ долгаго и труднаго развитія. Наконецъ, по своему общественному положенію, Кантемиръ вращался въ сферѣ высшей, имѣя дѣла и сношенія съ вліятельными сановниками и важнѣйшими духовными лицами; низшіе слои разныхъ сословій и званій оставались для него въ сторонѣ, незнаемые имъ и не возбуждавшие къ себѣ вниманія. Всѣ указанныя обстоятельства, конечно, возвышали его надъ современниками въ смыслѣ образовательномъ, но они же, какъ увидимъ дальше, невыгодно отразились на его литературной дѣятельности, сообщивъ ей одностороннее направленіе.

Въ эпоху преобразования обнаружилось много явленій, которые служили матеріаломъ сатирѣ. Общество представляло разнообразные классы людей, не сходявшихся ни въ понятіяхъ, ни въ интересахъ. Съ одной стороны приверженцы старины, съ ихъ враждою къ новому образованію, питали надежду воротиться къ прежнимъ порядкамъ; съ другой—легкомысленные представители петровской Россіи, усвоивъ только внѣшніе признаки европеизма, въ сущности оставались невѣждами и отличались новыми недостатками, неизвѣстными ихъ предкамъ, хотя наравнѣ съ ними не находили никакой пользы въ наукѣ. Эти два класса не могли не поразить мыслящаго наблюдателя, каковымъ былъ Кантемиръ, и не возбудить его сатирическаго дарованія. Сатира еще до него существовала у насъ. Она входила, какъ элементъ, во многія произведенія и народной,

¹⁾ Сочиненія Кантемира, изд. Глазунова (1867), т. I, стр. 189 (вторая эпитафия).

и культурной словесности. Мы видѣли, что Теофанъ и въ Духовномъ Регламентѣ и въ проповѣдяхъ давалъ свободу своему раздраженію и обличительнымъ выходкамъ; что интерлюдіи выводили на посмѣяніе многіе типы до-петровскаго и петровскаго времени. Поэтому открывать исторію русской сатирической поэзіи именемъ Кантемира значитъ позабывать однородныя произведенія предшествовавшей и современной ему словесности. Если онъ долженъ быть названъ первымъ нашимъ сатирикомъ, то лишь въ томъ смыслѣ, что онъ первый далъ намъ образцы сатиры, какъ особаго вида дидактической лирики, возникшаго у римлянъ. Подражая Горацию и Буало, къ которымъ надобно еще присоединить Ренье, предшественника Буало, и Ювенала, онъ началъ писать, выражаясь о немъ словами Теофила Кролика, «рогатые, бодливые стихи» (*cornutum satmen*), бывшіе до тѣхъ поръ незнакомыми русскимъ читателямъ и заслужившіе ему отъ Теофана Прокоповича имя «рогатаго пророка» (*corniger vates*) (1):

Не знаю, кто ты, пророче рогатый;
Знаю, коинкой достоинъ ты славы.
Да почтожъ было имя укрывать? (2).
Знать тебѣ страшны сильныхъ глупцовъ нравы.
Плюнь на ихъ грозы, ты блаженъ трикраты.
Благо, что далъ Богъ умъ тебѣ толь адревый;
Пусть весь міръ будетъ на тебя гнѣвливыи,
Ты и безъ счастья довольно счастливый».

Кантемиръ сочинилъ девять сатиръ силлабическими стихами, въ періодъ времени отъ 1729 по 1739 г. Онѣ выражаютъ просвѣщенное негодованіе, произведенное съ одной стороны противниками дѣлъ Петровыхъ; съ другой—невѣжественными послѣдователями реформы. Кантемиръ преимущественно имѣетъ дѣло съ первыми, считая ихъ болѣе опасными для успѣховъ цивилизаціи, тогда какъ вторые представляли наблюдателю преимущественно комическія послѣдствія лжеобразования. Притомъ сатирикъ началъ писать въ самое неблагопріятное для наукъ время—при Петрѣ II, когда начаткамъ европейскаго образованія грозилъ серьезная опасность: когда Долгорукіе, самыя приближенные къ царю лица, вмѣстѣ съ другими властными лицами, не радѣли о продолженіи дѣлъ Петровыхъ; когда сторонники реформы—самъ авторъ, Прокоповичъ и подобныя имъ—должны были потерять

1) Vates—поэтъ и пророкъ.

2) Сатиры Кантемира ходили по рукамъ его пріятелей въ рукописи, безъ имени ихъ автора.

свое значеніе, скрываться въ тѣни, состоять какъ бы подѣ опалой. Человѣку, убѣжденному въ пользу того, что дѣлалъ Петръ Великій, прискорбно было видѣть поворотъ въ противоположную сторону. Какъ литераторъ, онъ рѣшился отстаивать интересы просвѣщенія, отъ развитія и крѣпости котораго зависѣли развитіе и крѣпость литературы.

Предметами Кантемировыхъ сатиръ служатъ послѣдствія невѣжества, замѣченныя авторомъ въ окружающей его средѣ. Первая сатира (1729), имѣющая двойное названіе: по формѣ (къ уму своему) и по содержанію (на хулящихъ ученіе), осмѣиваетъ нелюбовь къ наукѣ—главнѣйшее зло тогдашней эпохи. Выведенныя въ ней лица суть представители тѣхъ классовъ общества, которые дѣлами или мнѣніями обнаруживали эту нелюбовь. Таковы: ханжа Критонъ, помѣщикъ Сильванъ, гуляка Лука и щеголь Медоръ. Критонъ нападаетъ на ученіе изъ религіозной ревности, разумѣя подѣ религіей единственно обряды: онъ называетъ науку матерью ересей и расколовъ, источникомъ безбожія, рушительницей древнихъ обычаевъ; ставитъ ей въ вину пытливость, желаніе доискиваться причинъ и слѣдствій; приписываетъ ея успѣхамъ упадокъ прежняго значенія духовенства. Короче, въ доводахъ своихъ Критонъ пользуется давно извѣстнымъ орудіемъ: еще Максимъ Грекъ обличалъ тѣхъ, которые ставили еретичество на одну доску съ истиннымъ знаніемъ и въ чтеніи Библии видѣли прямой путь къ сумасшествію. Почти одновременно съ Кантемиромъ, Теофанъ, въ Регламентѣ, разсуждалъ о заблужденіи многихъ, почитавшихъ науку виною ересей, а въ проповѣдяхъ своихъ защищалъ реформу отъ упрековъ въ противорѣчіи вѣрѣ и уставамъ церкви. Другое лице—дворянинъ Сильванъ, думающій единственно о приращеніи доходовъ, порицаетъ науку за то, что она не ведетъ къ богатству: порицаніе естественное въ устахъ того, кто «обыкъ считать злато за крайнее добро» и способенъ понимать только прикладное достоинство знаній, ихъ очевидную, непосредственную пользу для матеріальнаго быта. Независимо отъ этого, дворянство, приневоленное къ труду, имѣло особенные резоны разглашать о бесполезности службы и ученія, пригоднаго, по ихъ мнѣнію, только духовенству да подбѣжимъ. Весельчаки и гуляки, подобные Лукѣ, говорили, что ученіе губитъ здоровье, расторгаетъ людское содружество, мѣшаетъ пріятностямъ жизни. Щеголь Медоръ, побывавшій въ чужихъ краяхъ, гдѣ заразился страстію къ модамъ, смотритъ на ученыхъ съ презрѣніемъ, предпочитая портнаго Сенекѣ, а парикмахера Виргилію. Эти четыре типа не обнимали однакожъ всего числа враговъ просвѣщенія. Было много и другихъ, съ новыми

поводами къ жалобамъ. Многие пастыри говорили: «что въ наукѣ? такая отъ нея польза церкви? иной, сочиняя проповѣдь, забудетъ выписъ (1), отчего доходамъ (2) вредъ». Судьи, спавшіе въ то время, какъ дьякъ читалъ имъ выписку изъ дѣла, негодовали на стѣсненіе лихоимства, на обязанность изучать законы и по нимъ вершить дѣла. Нѣкоторыя мѣста первой сатиры выражаютъ элегическое чувство, вызванное какъ направленіемъ общественной мысли, неблагоприятнымъ успѣху реформы, такъ и личными обстоятельствами автора, который находился въ стѣсненномъ положеніи:

Къ намъ не дошло то время, въ коемъ председа
Надъ всѣмъ мудрость и вѣнцы одна раздѣляла,
Будучи способъ одна къ высшему восходу,
Златой вѣкъ до нашего не достигнулъ роду;
Гордость, лѣнь, богатство—мудрость одолѣло;
Науку невѣжество мѣстомъ ужъ посѣло:
Подъ митрой гордится то (3), въ шитомъ платьѣ ходитъ,
Судить за краснымъ сукномъ, смѣло полки водитъ.
Наука ободрана, въ доскутахъ обшита,
Изъ всѣхъ почти домовъ съ ругательствомъ сбита,
Знахся съ нею не хотятъ, бѣгутъ ея дружбы,
Какъ въ морѣ страдавшіе корабельной службѣ.
Всѣ кричатъ: никакой плодъ не виденъ науки;
Ученыхъ хоть голова полна, пусты руки.

Древніе роды, привыкнувъ пользоваться мѣстами и почестями за одно происхожденіе отъ именитыхъ предковъ, считали права свои незаконно нарушенными, когда Петръ I на самомъ дѣлѣ уничтожилъ силу разрядныхъ книгъ, поставивъ правиломъ награждать только личныя заслуги. Поэтому вторая сатира: «На зависть и гордость злонравныхъ дворянъ», въ формѣ разговора между Филаретомъ (любящимъ добродѣтель) и Евгеніемъ (благороднымъ), изображаетъ генеалогическое высокомѣріе тѣхъ, которые, не принося никакой пользы отечеству, роптали на возвышеніе лицъ, «собою начавшихъ свой знатный родъ». Въ предисловіи къ ней авторъ объясняетъ ея связь съ первой сатирой. «Найдутся читатели», говоритъ онъ, «которые отъ одного заглавія сатиры взбунтуются противъ сатирика. Недовольно было того (скажутъ они), что онъ хулилъ неохотниковъ до науки: теперь еще безъ панциря на дворянъ наступаетъ. Прошу терпѣливо выслушать мои резоны. Въ первой сатирѣ я защищалъ науку отъ невѣждъ, которые не

1) Выписка какой-либо статьи изъ дѣла, выдаваемая изъ судебного мѣста.

2) Отъ монастырскихъ имуществъ.

3) Невѣжество.

только ничего не знают, но и ничего знать не хотят, и для того преслѣдуютъ всякое знаніе, проповѣдую его бесполезность и даже вредъ народу. Если я не согрѣшилъ тогда, защищая одну добродѣтель, то виноватъ ли теперь, когда всѣ добродѣтели вмѣстѣ защищаю? ибо я не имѣю намѣренія хулить благородіе, а устремляюсь противъ гордости и зависти дворянъ вонравныхъ, чѣмъ самымъ защищаю всякое благоправіе». Последнія слова указываютъ смыслъ сатиры, выраженный также однимъ изъ ея стиховъ: «благороднымъ дѣлаетъ насъ одна добродѣтель», и эпиграфомъ, взятымъ изъ Лабрюйера: «хорошо быть благороднымъ, но столько же хорошо быть такимъ, чтобъ тебя не спрашивали, благороденъ ли ты». Къ лучшимъ мѣстамъ сатиры относятся, во-первыхъ, изображеніе знатности и силы Евгеніева отца, къ которому съ утра стекались на поклонъ въ чаяніи его милости, и во-вторыхъ портретъ современнаго щеголя, празднаго и грубаго, не смотря на заграничную поѣздку, нарисованный въ противоположность его предкамъ, пріобрѣтшимъ знатное имя дѣятельною службою отечеству.

Въ невѣжествѣ коренился и расколъ. Сатира съ двойнымъ заглавіемъ: «На состояніе свѣта сего» (по содержанію) или «Къ солнцу» (по формѣ) смѣется надъ «богословскими рѣчами» мужика, только-что оставившаго соху; надъ ученіемъ «мнимыхъ мудрецовъ, бродящихъ по грамотѣ и сѣющихъ въ простонародѣ крамолы»; надъ грубымъ суевѣріемъ тѣхъ лицъ, которыхъ интерлюдіи выводили подъ именемъ ставленника; надъ фальшивою набожностью купца, который сегодня кладетъ земные поклоны передъ иконою, а завтра сидитъ въ тюрьмѣ за то, что воровски провозилъ товары безъ пошлины; надъ подъячимъ, высохшимъ съ коварства и завистой злобы отъ удачъ другихъ взяточниковъ, и надъ многими иными явленіями общества, въ которыхъ забытъ «божій и земскій страхъ». Она же преслѣдуетъ старья, покрытыя плесенью тетради, т. е. суевѣрныя, апокрифическія книги, бывшія въ ходу у раскольниковъ и возникшія подъ вліяніемъ народныхъ преданій.

Наконецъ дѣйствія реформы могли получить прочную осядлость не насильственными мѣрами, а силою разумнаго воспитанія: и Кантемиръ, въ «Посланіи къ кн. Н. Ю. Трубецкому» (сатира на дурное воспитаніе), развиваетъ ту мысль, что большая часть нашихъ свойствъ и поступковъ, приписываемыхъ природѣ, оказывается, по зрѣломъ разсужденіи, дѣломъ воспитанія, при чемъ предлагаетъ и правила въ руководство воспитателю. Такъ какъ хулителю книжной мудрости противопоставляли ей житейскій опытъ, говоря, что жизнь научитъ человѣка всему нужному и что слѣдо-

вательно можно обойтись без школы, какъ и обходилась наши предки, бывшіе не глупѣе насъ, то Кантемиръ счелъ долгомъ выставить односторонность такого обветшалого понятія. Раздѣляя взглядъ Теофана, «Посланіе къ Трубецкому» доказываетъ, что человѣкъ становится умнѣе не столько отъ числа прожитыхъ лѣтъ, сколько отъ числа приобрѣтенныхъ познаній; что жизнь обогащаетъ насъ опытомъ въ позднюю пору, а наука дѣлаетъ насъ искускими и въ молодости; что старые, но неученые люди знаютъ только предметы и явленія, а ученые, хотя и молодые, понимаютъ причины явленій и сущность предметовъ. Въ этой тирадѣ, равно какъ и во многихъ другихъ, ей подобныхъ, случилось дидактическое, или поучительное, направленіе сатиръ. Кантемиръ имѣлъ цѣлю не только осмѣивать невѣжество и ложное образованіе, но вмѣстѣ доказывать необходимость и важность ученія. Онъ часто распространяется о пользѣ знаній для личныхъ и государственныхъ потребностей. Одна изъ сатиръ его подробно разсматриваетъ, съ утилитарной точки зрѣнія, важность алгебры, геометріи, морского искусства, физики, астрономіи, медицины, грамматики, риторики, философіи.

Выше было сказано, что особенности воспитанія Кантемира, возвысивъ его образовательное значеніе среди русскихъ людей, были, съ другой стороны, причиною односторонности его сатиры. Эта односторонность заключается въ томъ, что онъ смотрѣлъ на недостатки современнаго ему общества съ точки зрѣнія цивилизаціи вообще, упуская изъ виду ту степень цивилизаціи, на какой стояла тогда Россія. Сатира его равно взыскательна какъ относительно личностей, которыя, по своему положенію и вліянію, могли вредить и дѣйствительно вредили успѣхамъ просвѣщенія, такъ и относительно такихъ личностей, которыя были неповинны въ своемъ невѣжествѣ и нравственной загрубѣлости. Она не различаетъ вѣняемости преступленій отъ ихъ невѣняемости, не указываетъ причинъ дурнаго образа жизни, не признаетъ облегчающихъ обстоятельствъ при судѣ надъ безнравственностью или невѣжествомъ. Осуждая гордыхъ и честолюбивыхъ пастырей, въ родѣ Георгія Дашкова, имѣвшихъ право и обязанность распоряжаться въ своихъ епархіяхъ, наблюдать за ходомъ церковныхъ дѣлъ, устраивать судьбу подлежащаго его вѣдѣнію чернаго и бѣлаго духовенства, Кантемиръ въ равной мѣрѣ не щадитъ ни монаховъ, ни священнослужителей: онъ выставяетъ на показъ малознаніе послѣднихъ, чревоугодіе, бражничество, любовь къ поборамъ за требы. Въ сатирѣ «на состояніе свѣта сего» читаемъ слѣдующую тираду:

Вонъ на пастырей взглянемъ,
Такъ тутъ-то ужъ развѣ дивиться станемъ.
Хочетъ ли кто Божьихъ словъ въ церкви поучиться
Отъ пастыря, то я въ томъ готовъ поручиться,
Что, ходя въ церковь, не разъ по томъ обольется,
А чуть ли о томъ отъ нихъ и слова добьется.
Еслижъ бы онъ подошелъ къ попу на кружало,
То ужъ тамъ однихъ ушей будетъ ему мало,
Не переслушаешь рѣчь его медоточну:
Опишетъ онъ тамъ кругомъ церковь всю восточну,
Да какъ? Не ученіемъ вѣдь здравымъ и умнымъ,
Но суевѣрнымъ и мозгомъ своимъ съ вина шумнымъ;
Плететь тутъ безъ размотру и безъ стыда враки:
Во первыхъ, какъ онъ искусенъ всѣ свершать браки,
Сколько разъ коло (1) стола обводити знаетъ
И какой стихъ за всякимъ ходомъ припѣваетъ.
То все это рассказавъ, станетъ поучати,
Какъ съ честью его руку должно цѣловати.
Не знаю, говорить, какъ тѣ люди спасутся,
Что давать намъ на церковь и съ деньгами жмутся.
Вѣдь не съ добра моя въ заплаткахъ-де ряса;
Вонъ дома на-завтра нѣтъ на что купить мяса,
Все-де чертъ склонилъ людей и съ нѣмцами знаться.

Тоже самое видѣли и Посошковъ, и Татищевъ, если не точно также рассказывали о видѣнномъ; но они, какъ истинные русскіе, хорошо знавшіе жизнь и обычаи своихъ соотечественниковъ, вникали въ причины неустройствъ, матеріальныхъ и нравственныхъ, почему и не обвиняли безусловно, и кромѣ того предлагали средства для ихъ устраненія. Имъ было извѣстно, что сельскому священнику, не обеспеченному содержаніемъ, состоявшему въ двоякой зависимости—отъ помѣщиковъ и крестьянъ—трудно было не дѣлать уступокъ первымъ и не сближаться со вторыми; что ему, можетъ быть, не получившему въ школѣ «умнаго и здраваго ученія», не доставало времени на духовное образованіе и на приготовленіе поученій; что необходимость принуждала его заботиться болѣе о паствѣ, чѣмъ о пашнѣ; что, наконецъ, нѣтъ ничего удивительнаго, если человѣку, круглый годъ осужденному съ своей семьей на скудныя яства, не имѣющему на что купить мяса, желательно при случаѣ воспользоваться хорошимъ обѣдомъ. Но всего этого Кантемиръ какъ бы не зналъ или, зная, не принималъ въ расчетъ, единственно руководствуясь требованіемъ цивилизаціи и нравственности въ ихъ безусловномъ, отвлече-

1) Около.

ченномъ отъ времени и мѣста значенія. Поэтому Тредьяковский имѣлъ право назвать Кантемира «чужестраннымъ» человекомъ, когда этотъ въ одномъ письмѣ опровергалъ «Способъ къ сложенію российскыхъ стиховъ» (Тредьяковскаго),—имѣлъ право потому, что Кантемиръ, какъ «не русакъ» родомъ, не чувствовалъ ухомъ несвойственности силлабическихъ виршъ нашему языку и потому отвергалъ тоническую систему версификаціи.

Нравственное ученіе Кантемира изложено въ сатирѣ «объ истинномъ блаженствѣ» (1738) и въ «Письмахъ о природѣ и человѣкѣ» (1742). Идеаль счастья жизни—спокойствіе и довольство духа, а основаніемъ тому служить добродѣтель. Съ младенчества, говорить сатирикъ, привыкли мы бояться нищеты или презрѣнія толпы: отъ этого ударяемся въ другую крайность—въ стяжаніе богатства, въ исканіе почестей, тогда какъ во всѣхъ вещахъ должно знать прямую мѣру, златую средину. У всякаго дѣла свои границы: кто перейдетъ ихъ, или кто не дойдетъ до нихъ — равно глупы. Къ истинной славѣ ведутъ немногія средства: живи тихо, стремись къ тому, что честно, что полезно тебѣ и другимъ. Награда добра въ самомъ добрѣ.

Историческое значеніе Кантемировыхъ сатиръ заключается въ ихъ отношеніи къ современному обществу. Предметъ ихъ вполне національный—русскіе нравы извѣстной эпохи, почему онѣ и служатъ важнымъ источникомъ для историка Россіи. Но въ изложеніи своего предмета Кантемиръ подражалъ латинскимъ и французскимъ сатирикамъ, заимствуя у нихъ нерѣдко планъ и приемы, а по мѣстамъ мысли и даже выраженія. Такъ первая сатира (къ уму своему) есть подражаніе сатирѣ Боало: «*A son esprit*»; а вторая (объ истинномъ благородствѣ) — подражаніе 8-ой сатирѣ Ювенала, или 5-ой Боало, который также подражалъ Ювеналу. Оба элемента: національный (по содержанію) и подражательный (по формѣ изложенія) указаны самимъ авторомъ въ предисловіи, гдѣ говорится, что онъ послѣдовалъ наиболѣе «Горацію и Боало, отъ которыхъ много занялъ, къ нашимъ обычаямъ присовнѣвъ», и въ сатирѣ «къ Музѣ своей», гдѣ къ именамъ Боало и Горація прибавлены имена Ювенала и Персія, съ такимъ признаніемъ: «я топчу ихъ слѣды».

Въ литературномъ отношеніи сатиры Кантемира принадлежатъ не къ художественно-лирическимъ произведеніямъ, свидѣтельствующимъ о сильной творческой способности и мощномъ чувствѣ, а къ дидактическимъ стихотвореніямъ умнаго и многообразованнаго человѣка. Онъ не былъ способенъ на рѣзкое обличеніе недостатковъ: онъ сражался съ ними насмѣшкой, часто меткой и остроумной,

и поученіемъ, всегда требовавшимъ образованія и нравственности. Поэтому тонъ его сатиры не карающій, не ювеналовскій, а спокойный и ровный. Она нигдѣ не возвышаетъ голоса, никогда не поддается паэосу. Это согласовалось и съ характеромъ автора, и съ его ученіемъ о «золотой срединѣ вещей», и съ его взглядомъ на сатиру, которая, по словамъ его, имѣетъ цѣлю—«исправленіе нравовъ», а средствомъ къ тому—«осмѣяніе злонравія забавнымъ слогомъ». Онъ былъ убѣжденъ, что враги гражданскихъ успѣховъ «боятся больше посмѣянія, чѣмъ гнѣва» (1).

§ 9. Въ жизни Тредьяковского (Василія Кирилловича, р. 1703, у. 1769) былъ также исключительный случай, сообщившій его дѣятельности отличительную особенность: онъ первый изъ Русскихъ получилъ научно-литературное образованіе во Франціи, и именно въ Парижѣ. Сынъ священника, онъ началъ обучаться, въ мѣстѣ своего рожденія (Астрахани) словеснымъ наукамъ на латинскомъ языкѣ у католическихъ монаховъ Капуцинскаго ордена, поселившихся въ городѣ съ цѣлю пропаганды, въ слѣдъ за армянами, которые получили отъ нашего правительства разныя льготы въ видахъ расширенія торговыхъ сношеній съ востокомъ. Затѣмъ онъ поступилъ (1723) въ московское Законоспасское училище (славяно-греко-латинская академія), гдѣ пробылъ два года, до конца риторическаго курса (1725). Неизвѣстно, какимъ образомъ и по какому поводу выбрался онъ отсюда за границу. Самъ онъ объясняетъ этотъ фактъ желаніемъ окончить науку въ «европейскихъ» странахъ, особенно въ Парижѣ; но по другому свидѣтельству (истинность котораго, впрочемъ, не доказана) онъ принужденъ былъ бѣжать изъ училища, боясь наказанія за то, что написалъ подложный паспортъ іеродіакону спасскаго монастыря (при которомъ находилось училище и отъ котораго оно получило свое названіе), «приличившемуся» въ воровствѣ. Какъ бы то ни было, а въ 1726 г. Тредьяковскій находился уже въ Голландіи и жилъ у посланника Ивана Гавриловича Головкина, занимаясь французскимъ языкомъ. Слѣдующимъ годомъ (1727) прибылъ въ Парижъ—по его словамъ, «пѣшкомъ, ради крайней бѣдности». Здѣсь принялъ его къ себѣ въ домъ посланникъ кн. Александръ Борисовичъ Куракинъ, въ качествѣ наставника для своего сына Александра. Въ Парижѣ, «при щедромъ содержаніи отъ благодѣтелей»;

1) См. по поводу смирдинскаго изданія «Сочиненій Кантемира» мою статью въ Отеч. Зап. 1848 г., т. LXI, и С. Духовнина въ Современникѣ 1848, т. XII; «Князь Антиохъ Кантемиръ», В. Стоюнина (Сочиненія кн. А. Д. Кантемира, изд. Глазунова); Исторія Россіи, Соловьева, т. XX, стр. 276—290.

т. е. Куракиныхъ, онъ обучался богословскимъ наукамъ въ Сорбонѣ, а математическимъ и философскимъ въ университетѣ, гдѣ будто бы слушалъ лекціи Роллена (что едва ли справедливо, такъ какъ Ролленъ, заподозрѣнный въ яansenизмъ, принужденъ былъ, въ 1711 или 1712 г., удалиться на покой). Тредьяковскій былъ въ восторгѣ отъ Франціи и французовъ. Особыми стихами воспѣлъ онъ похвалы Парижу:

Красное мѣсто! драгой берегъ Сенски!
Тебя не лучше поля Елисейски!

Въ Парижѣ, говорить онъ, не смѣетъ явиться «деревенскій манеръ», ибо все держитъ себя благородно; этотъ городъ есть жилище, свойственное богамъ и богинямъ:

Кто ты не любишь? развѣ бѣ былъ духъ звѣрски!
А я не могу никогда забыть,
Пока имѣю здѣсь на землѣ быть!

Обработанность французскаго языка прельщаетъ его. Говоря о многочисленномъ изобрѣтателѣ поэзіи, онъ сравниваетъ его стихи съ французскими водевилями. Онъ и самъ писалъ недурные французскіе стихи, въ тогдашнемъ вкусѣ (галантномъ), по примѣру Шолье и Лафара (1). Возвратясь въ отечество (1730) послѣ трехлѣтняго пребыванія въ Парижѣ, Тредьяковскій скоро заслужилъ извѣстность вѣрностью и точностью своихъ переводовъ, изъ коихъ первымъ былъ переводъ аллегорическаго романа: «Ѣзда въ островъ любви» (2) (1730), содержащій въ себѣ описаніе различныхъ степеней любви къ женскому полу. Въ 1734 г. поступилъ на службу въ Академію Наукъ съ титуломъ секретаря, но безъ назначенія исполнять эту должность: обязанностью его было «вычищать русскій языкъ, сочиняя какъ стихами, такъ и не стихами», и переводить съ французскаго что потребуется. Когда президентъ Академіи Наукъ, баронъ Корфъ, учредилъ при ней (1735) Россій-

1) Совершенно инымъ образомъ относился Ломоносовъ къ французамъ, называя ихъ въ насмѣшку «нѣжными господами», и къ французской поэзіи. «Французы», говоритъ онъ, во всемъ хотятъ натурально поступать, однако почти всегда противно своему намеренію чинять... Пристойнымъ весьма символомъ французскую поэзію нѣкто изобразилъ, представивъ оную на театрѣ подъ видомъ нѣкоторыхъ женщинъ, что, сугорбившись и распарывавшись, при музыкѣ играющаго на скрипкѣ Сатиръ танцуетъ» (Письмо о правилахъ русскаго стихотворства).

2) Подлинникъ: *Le Voyage de l'Isle d'amour*, par. Paul Tallement (1668).

ское Собрание изъ переводчиковъ, Тредьяковскій открылъ его рѣчью «о чистотѣ російскаго языка», въ которой высказалъ, что члены (переводчики) должны не только заботиться объ усовершенствованіи природнаго языка, въ стихахъ и прозѣ, но и заняться составленіемъ Грамматики, Риторики, Стихотворной Науки и Словаря. Въ этомъ же собраніи Тредьяковскій предложилъ свой «Новый и краткій способъ къ сложенію російскихъ стиховъ (1735)», давшій основаніе тонической версификаціи для замѣны несвойственныхъ намъ силлабическихъ виршъ. Профессорство въ Академіи онъ занялъ на переборъ академической конференціи, не хотѣвшей, по его словамъ, впустить русскаго въ свою «компанію». Получивъ отказъ въ опредѣленіи его профессоромъ «элоквенціи» російской и латинской, онъ обратился въ синодъ съ просьбой — освидѣтельствовать его въ способности къ преподаванію означенныхъ предметовъ. Синодальные члены выдали ему удовлетворительный аттестатъ, въ силу котораго онъ подалъ въ сенатъ доношеніе съ изложеніемъ въ немъ своихъ правъ на званіе академика. Благодаря предствательству сената и главное — покровительству вице-канцлера, гр. М. Л. Воронцова, Императрица Елисавета пожаловала ему званіе профессора (1745). Передъ вступленіемъ въ эту должность читалъ онъ въ академическомъ собраніи, на латинскомъ языкѣ, «Слово о богатомъ, различномъ, искусномъ и несходственномъ витійствѣ». Лекціи его, несомнѣнно, приносили пользу русскому юношеству; двое изъ его слушателей, Поповскій и Барсовъ, сдѣлались извѣстными литераторами и занимали профессорскія катедры въ московскомъ университетѣ. Кромѣ профессуры, онъ имѣлъ много другихъ занятій: сочинялъ разсужденія по предметамъ словесности и исторіи и подавалъ отзывы о чужихъ сочиненіяхъ, переводилъ и поправлялъ переводы другихъ переводчиковъ, участвовалъ въ тогдашнихъ періодическихъ изданіяхъ. Трудолюбіе его было образцовое. Уволенный по прошенію изъ Академіи (1759), онъ до самой смерти не прекращалъ своей учено-литературной дѣятельности, которая, повторяемъ, оказала несомнѣнную пользу русскому образованію. Тредьяковскій заслуживаетъ признательности и за то, что онъ радѣлъ о замѣщеніи профессорскихъ и академическихъ мѣстъ природными русскими. На этомъ пунктѣ онъ сходился съ Ломоносовымъ, хотя и не жилъ съ нимъ въ ладу. Онъ требовалъ, чтобы Академія поступала въ точности по проекту Петра о ея учрежденіи. Получивъ отказъ въ вышесказанной просьбѣ своей, онъ въ доношеніи академической канцеляріи, между прочимъ, пишетъ слѣдующее: «обязан-

ность профессоръ (академическихъ) не въ томъ состоятъ, чтобы не допускать російскаго человѣка до профессорской степени, на которой онъ можетъ стоять съ честію, но чтобы только освидѣтельствовать, достоинъ-ли проситель того, чего требуетъ». Отказу придаетъ онъ значеніе отговорки: «хотя бы онъ (*русскій*) былъ и достоинъ профессорства, однако онъ намъ не надобенъ, для того что въ нашу компанію вмѣшается *русскій*». Когда Таубертъ, адъютантъ и совѣтникъ Академіи, присутствовавшій въ комиссіи для сочиненія новаго ея уложенія, представилъ свои предположенія объ улучшеніи состоянія ученаго учрежденія, Тредьяковскій протестовалъ противъ одного параграфа, какъ обиднаго національному самолюбію предпочтенія иноземныхъ ученыхъ русскимъ ихъ сотоварищамъ. Онъ находить, что этотъ параграфъ и противенъ естественной правотѣ, по которой каждый любитъ прежде себя самого, а потомъ уже другого; и обиденъ нынѣшнимъ дѣйствительнымъ русскимъ членамъ и впредь быть имѣющимъ; и неоснователенъ, потому что дѣлаетъ изъятіе изъ общихъ узаконеній единственно въ предпочтеніе однородцамъ (нѣмцамъ) и въ вѣчное предосужденіе природнымъ русскимъ. Но когда требовалось подать мнѣніе о достоинствѣ или недостаткѣ сочиненій академиковъ, Тредьяковскій не обращалъ вниманія на національность автора: имѣя въ виду единственно научную истину, онъ давалъ отзывъ по своему крайнему разумѣнію, какъ это и видимъ изъ дѣла, возникшаго по поводу рѣчи академика Миллера: «происхожденіе народа и имени російскаго». Тредьяковскій не нашелъ въ ней никакого предосужденія Россіи.

Сочиненія Тредьяковскаго были долгое время предметомъ односторонней критики, которая обратила его имя въ синонимъ самаго несчастнаго, бездарнѣйшаго писателя. Причина тому понятна. Публика знала Тредьяковскаго только по его стихотвореніямъ; на другіе его труды она не обращала вниманія, да и не могла судить о нихъ. Легко было смѣяться надъ творцемъ «Тилемахиды» и «Деидаміи»; труднѣе было оцѣнить значеніе лекцій этого творца и достоинство его ученыхъ сочиненій по исторіи и словесности. Впрочемъ въ пользу Тредьяковскаго раздавались голоса очень почтенныхъ и авторитетныхъ людей какъ въ его время такъ и въ послѣдствіи—голоса Татищева, Новикова, Радищева, Пушкина. Тѣмъ его могла, наконецъ, утѣшиться. Вотъ что говорить о немъ Новиковъ: «Сей мужъ былъ великаго разума, многого ученія, обширнаго знанія и безпримѣрнаго трудолюбія; весьма знающъ въ латинскомъ, греческомъ, французскомъ, италіанскомъ и въ своемъ природномъ языкѣ, также въ философіи, богословіи, красно-

рвѣн и въ другихъ наукахъ. Не обинаясь къ чести его сказать можно, что онъ первый открылъ въ Россіи путь къ словеснымъ наукамъ, а паче къ стихотворству, при чемъ былъ первый профессоръ, первый стихотворецъ и первый, положившій толико труда и прилежанія въ переводѣ на російскій языкъ преподѣльных книгъ» (¹). По отзыву Пушкина, изученіе Тредьяковскаго приноситъ болѣе пользы, нежели изученіе прочихъ нашихъ старыхъ писателей; Сумароковъ и Херасковъ не стоятъ его (²).

Сочиненія Тредьяковскаго двоякаго рода: ученныя и литературныя. Къ сочиненіямъ ученымъ, имѣющимъ предметомъ словесность, относятся: «Способъ къ сложенію російскихъ стиховъ», «О древнемъ, среднемъ и новомъ російскомъ стихотвореніи», «О началѣ поэзіи и стихотворства», «Разговоръ объ ореографіи», «Предъизясненіе объ иронической піимѣ». Всѣ они выказываютъ въ авторѣ большую начитанность и многостороннія знанія.

«Способъ къ сложенію російскихъ стиховъ (1735)» заключаетъ въ себѣ теорію тоническаго стихосложенія. Оно введено къ намъ Тредьяковскимъ. «Поздравленіе барону Корфу», написанное имъ въ 1734 г., есть первый опытъ русскихъ тоническихъ стиховъ. Тредьяковскій первый созналъ несвойственность метрической и силлабической просодіи нашему языку. Стихи, построенные по правиламъ греческой и римской версификаціи, называетъ онъ дикими, а вирши, заимствованныя у поляковъ — прозаическими строками, или риемованной прозой. Русское стихосложеніе, учить онъ, должно быть основано на удареніи (тонѣ). Тоническое количество слоговъ есть душа и жизнь нашихъ стихотворныхъ метровъ. Къ этой вѣрной мысли Тредьяковскій пришелъ посредствомъ разбора народныхъ русскихъ пѣсенъ. Вотъ его слова: «Всю силу сего новаго стихотворенія (*т. е. стихосложенія*) взялъ я изъ самыхъ внутренностей свойства, нашему стиху приличнаго... Поэзія нашего простаго народа къ сему меня довела... Всѣ званія, при стихѣ употребляемая, занялъ я у французской версификаціи, но самое дѣло у самой нашей природной, наидревнѣйшей простыхъ людей поэзіи.... Французской версификаціи я долженъ мѣшкомъ, а старинной російской поэзіи всѣми тысячами рублями. Франціи я обязанъ за слова, но искреннѣйше благодарю, россиянинъ, Россію за самую вещь». О пригодности «Способа» можно заключать по свидѣтельству одного изъ современниковъ автора: «мы не можемъ

¹) Опытъ истор. словаря о рос. писателяхъ (въ Матеріалахъ для исторіи рус. литературы, изданіе П. Ефремова, 1867).

²) Соч. Пушкина, изд. Анненкова, VI, 88.

(пишетъ онъ) достаточно возблагодарить Тредьяковскаго за изданія имъ правила стихотворства, которыя были руководствомъ въ искусствѣ поэзіи для тѣхъ, кому неизвѣстны иностранныя языки, и пособіемъ въ сужденіяхъ о произведеніяхъ вкуса для любителей вообще». Конечно не Тредьяковскому, а Ломоносову принадлежала честь водворенія у насъ тоническаго размѣра, но это уже зависѣло отъ недостатка таланта, а не отъ недостатка знанія: иное дѣло теоретически доказать истину нововведенія, а иное—оправдать нововведеніе на практикѣ хорошими образцами, дать читателямъ почувствовать его превосходство, утвердить его господство въ литературѣ. Для послѣдняго у Тредьяковскаго не хватало силъ.

Разсужденіе «о древнемъ, среднемъ и новомъ стихотвореніи російскомъ (1755)» есть историческій обзоръ трехъ періодовъ нашего стихосложенія: древняго, средняго (съ XVI в.) и новаго, или тоническаго (съ 1735 г.). Къ древнему Тредьяковскій относитъ простонародныя пѣсни; къ среднему—вирши; къ новому—тоническій стихъ, имъ начатый и другими писателями утвержденный. Обзоръ отличается дѣльнымъ изложеніемъ фактовъ и основательными взглядами на свойства разныхъ родовъ стихосложенія.

Въ «Мысли о началѣ поэзіи и стиховъ» замѣчательно развитіе мысли, что поэтъ и стихотворецъ не одно и то же; что поэзія состоитъ не въ простомъ подражаніи природѣ, а въ творчествѣ; что поэтический вымыселъ есть не ложь, а разумное представленіе предметовъ, какими они могутъ или должны быть. Такимъ разсужденіемъ ясно отличена поэзія отъ стихотворства, художественные вымыслы отъ мѣрной рѣчи, служащей вышнимъ ихъ выраженіемъ.

Столь же замѣчательны сужденія о гексаметрѣ, въ «Предъизъясненіи о героической пѣмѣ», приложенномъ къ его «Телемахидѣ» (1766), т. е. переводу Фенелонова романа: «Приключенія Телемаха». Здѣсь основательно показано превосходство этого, величаво-благороднаго стихотворнаго метра передъ другими, его приличіе эпосу, равно какъ неприличіе ему рѣчѣ, которая называется «шумихой», «отроческой игрушкой», «дѣтискою сопелькой». По ученію Тредьяковскаго, гексаметръ—достояніе грековъ и римлянъ—также свойственъ языку русскому; имѣющему свободное, не стѣсняемое опредѣленнымъ порядкомъ словорасположеніе. Природа, говоритъ онъ, даровала славяно-русской рѣчи богатство и сладость языка греческаго, важность и сановитость латинскаго: поэтому неприлично ей обречь себя добровольно на скудость и ограниченность французскаго. Въ слѣдствіе такого взгляда, «Телемахъ», написанный

прозой, но по характеру рассказа принадлежащий къ эпическимъ повѣствованіямъ, переложень гексаметромъ. Эта любовь къ Фенелопову эпосу, по замѣчанію Пушкина, дѣлаетъ переводчику честь, а самый выборъ стиха доказываетъ необходимонное въ то время чувство изящнаго.

«Разговоръ объ орографіи (1748)» имѣетъ предметомъ установить русское правописаніе не на словопроизводствѣ, а на словопроисхожденіи. Доказательства свои онъ основываетъ на томъ, что каждая буква есть условный знакъ «звона» (членораздѣльнаго звука): слѣд. писать надобно «по звонамъ» (по выговору). Съ этимъ правиломъ «Разговоръ» связываетъ преобразование нашего алфавита. Такъ какъ буквы служатъ къ означенію членораздѣльныхъ звуковъ человѣческаго голоса, то русская азбука должна заключать въ себѣ столько знаковъ, сколько находится разныхъ звуковъ въ русскихъ словахъ. Посему, разсмотрѣвъ основательно оба алфавита наши: церковно-славянскій и гражданскій, Тредьяковскій исключаетъ изъ послѣдняго шесть буквъ: з, ѡ, ѡ, ѡ, ѡ, ѡ, вмѣсто ѡ оставляя только і, а з и ѡ замѣняя знаками : (зѣло) и ѡѡ. Не смотря на ученую обстановку выводовъ и на авторитетъ Квинтиліана, стоявшаго за правописаніе по выговору, Тредьяковскій не достигъ своей цѣли. Причина тому въ шаткости основнаго начала, по которой самъ авторъ невольно отступалъ отъ него, т. е. писалъ многія слова не по выговору, а по принятому обычаю, и тѣмъ заподозривалъ вѣрность своей системы. Произношеніе словъ измѣняется по физиологическимъ и климатическимъ условіямъ: одни и тѣже слова въ разныхъ мѣстностяхъ выговариваются различно; допустивъ выговоръ за основу орографіи, мы получимъ столько орографій, сколько областныхъ выговоровъ. Притомъ въ рассужденіяхъ Тредьяковского потеряна изъ виду историческая основа нашего правописанія, которое коренится на письменномъ употребленіи языка церковно-славянскаго и до того противится попыткамъ принять всякое другое основаніе, что начертаніе словъ по выговору равнозначительно безграмотности.

Понятіе объ употребленіи языковъ церковно-славянскаго и русскаго, соотвѣтственно различному содержанію сочиненій, выражено Тредьяковскимъ еще въ предисловіи къ книгѣ: «Ѣзда на островъ любви». Славянскимъ языкомъ, говоритъ онъ, надобно писать церковныя книги; для книгъ же гражданскихъ (мірскихъ) нуженъ самый простой, разговорный русскій языкъ. «Языкъ славянскій въ нынѣшнемъ вѣкѣ очень теменъ и многіе его не разумѣютъ; онъ жестоко моимъ ушамъ слышится, хетя прежде сего не только я имъ писывалъ, но и разговаривалъ, за что прошу

прощенія у всѣхъ, при которыхъ съ моимъ глупословіемъ хотѣлъ себя показывать особымъ славенскимъ рѣчеточцемъ».

Изъ множества переводовъ Тредьяковскаго одни служили руководствомъ къ изученію словесности и исторіи; другіе доставляли чтеніе грамотному классу, не знавшему иностранныхъ языковъ. Наибольшую пользу (по словамъ современника) принесла Боалова «Наука о стихотвореніи и поэзін»; съ благодарностію и одобреніемъ публика приняла также «Древнюю (10 ч., 1744—62) и Римскую исторію (16 том., 1761—67 г.) Роллена, въ дополненіе къ которой была переведена «Исторія о римскихъ императорахъ, Криве и Роллена» (4 т., 1767—69). Тредьяковскій переложилъ прозой и другой поэтической кодексъ — «Посланіе Горация къ Пизонамъ». Выше сказано, что вѣрностію и точностію переводовъ онъ скоро приобрѣлъ себѣ извѣстность, отличался отъ другихъ переводчиковъ тѣмъ, что хорошо зналъ не только языкъ, на которомъ написана книга, но и самое ея содержаніе.

Стихотворенія Тредьяковскаго относятся къ разнымъ родамъ поэзін: онъ писалъ духовныя и похвальные оды, эпистолы, басни, элегіи и другія лирическія піесы и сочинилъ трагедію: «Дендамія» (нап. 1775). Какъ стихотворецъ, Тредьяковскій является совершенно въ иномъ видѣ, чѣмъ ученый. Не имѣя вовсе творческой способности, онъ наполнялъ свои произведенія уродливыми образами. У него не было даже на столько вкуса, чтобы видѣть неблагообразіе антипоэтическихъ представленій. На внѣшнемъ выраженіи отразилась внутренняя нестройность: стихи его чрезвычайно тяжелы и грубы; прочесть страницу Тилемахиды, выучить нѣсколько строкъ вмѣнялось въ наказаніе; удачные стихи, находимые въ этой обширной поэмѣ, почитались какимъ-то чудомъ. Главная тому причина—отсутствіе поэтическаго таланта; второстепенная—тогдашнее состояніе стихотворнаго искусства, не представлявшаго хорошихъ образцовъ. Французскіе стихи того же Тредьяковскаго легки и гладки, потому что языкъ французскій, будучи обработанъ, свободно покорялся требованіямъ версификаціи, да и самая версификація, основанная на количествѣ слоговъ, менѣе затрудняла писателей. Впрочемъ, и въ дѣлѣ стихотворства, Тредьяковскій оказалъ нѣсколько услугъ русской словесности. Мы уже знаемъ, что ему первому принадлежитъ введеніе у насъ тоническихъ размѣровъ. Знаемъ также, что отъ него идетъ начало русскаго гексаметра, хотя этотъ стихъ вышелъ въ Тилемахидѣ до того неуклюжимъ, что послѣ долгое время не рѣшались употреблять его, находя его совершенно несвойственнымъ русскому языку. Только черезъ 50 лѣтъ переводчикъ Иліады, Гнѣдичъ,

рѣшился, какъ онъ выражается, «отвязать отъ позорнаго столба стихъ Гомера и Виргилія, прикованный къ нему Тредьяковскимъ».

Тредьяковскій занимался также исторіей. Замѣчательны его «Три разсужденія о трехъ главнѣйшихъ древностяхъ россійскихъ: о первенствѣ славянскаго языка предъ тевтоническимъ; о первоначалѣ Россовъ; о варяго-россахъ славянскаго званія, рода и племени (1773)». Здѣсь онъ впервые, еще до Ломоносова, является поборникомъ славянскаго происхожденія Руси, въ противоположность ученію академиковъ Байера и Миллера о ея происхожденіи скандинавскомъ. По мнѣнію его, Русь—померанскіе ружане, и отечествомъ Рюрика былъ островъ Рюгенъ (на Балтійскомъ морѣ). Выводы разсужденій отличаются научнымъ изложеніемъ. Тредьяковскій приступилъ къ рѣшенію вопроса съ знаніемъ нужныхъ для того условій и съ большою начитанностью, о которой можно судить по ссылкамъ на многія, древнія и новыя, сочиненія. Доказательства его двоякаго рода: историческія свидѣтельства и филологическія сближенія. Послѣднія любопытны натянутымъ, на сходствѣ звуковъ основаннымъ производствомъ иностранныхъ словъ, особенно историческихъ и географическихъ именъ, отъ русскихъ, съ цѣлю доказать первенство нашего языка предъ тевтоническимъ. Вотъ нѣсколько тому примѣровъ: Варяги—предварители (отъ «варяю»—предварю), Скифы—скиты («скитаться»), Кельты—желты (народъ «свѣтлорусый»), Британія—пристанія (давшая «пристань» кельтамъ), Сибирь—Сивирія или Сиверія (страна, лежащая на-сѣверѣ), Испанцы или Иберы—уперы («упертые» морями), Германія—Холманія (страна «холмистая») или Ярманія (отъ слова «ярмо»—страна земледѣльческая), Норвегія—Новерхія или Наверхія (лежащая «на-верхъ» къ сѣверу), Италія—Удалія («удаленная» отъ сѣвера) или Выдалія («выдававшаяся» косою въ Средиземное море), и т. п. Подобныя сближенія словесныхъ звуковъ были тогда въ общемъ ходу, при несуществованіи сравнительнаго языковеденія. Байеръ слѣдовалъ такому же приему въ своихъ толкованіяхъ. «Для насъ», говоритъ С. М. Соловьевъ, «Тредьяковскій имѣетъ значеніе, какъ противникъ Байера и Миллера, основатель ученія, которое съ немногими измѣненіями продолжается до сихъ поръ; если мы сравнимъ изслѣдованія Тредьяковскаго съ изслѣдованіями современныхъ намъ поборниковъ славянскаго происхожденія варяговъ то увидимъ, что у нихъ и методъ одинакій, и выводы тѣже» (1).

¹⁾ Изданія сочиненій Т.—го: 1-ое, въ 2 ч. (1752); 2-ое, Смирдинское, въ 3 ч. (1849); «Избранныя сочиненія, издаваемыя П. Перевѣскимъ». — Житио-описаніе Тредьяковскаго, во 2 т. Исторіи Академіи Наукъ, П. Петарскаго, (1878).

§ 10. Изъ мемуаровъ первой половины XVIII в. особеннаго вниманія заслуживаютъ Записки княгини Натальи Борисовны Долгорукой и Записки Неплюева.

Судьба Натальи Борисовны, дочери графа Бориса Петровича Шереметева и супруги Ивана Алексѣевича Долгорукова, фаворита Петра II, была предметомъ многихъ позднѣйшихъ разсказовъ, которые справедливо видѣли въ ней идеалъ женскаго героизма. Но одни изъ нихъ вредили исторической истинѣ сентиментальной аффектаціей, другіе вымыслами воображенія или прикрасами риторики: и потому не внушаютъ такого сочувствія къ жизни героини, какъ ея собственная повѣсть, простая и вѣрная, чуждая малѣйшихъ притязаній на парадную выставку трагическихъ превратностей. Хотя Записки писаны въ 1767 г., черезъ сорокъ лѣтъ послѣ придворной катастрофы, но память давно прошедшаго до такой степени сохранилась въ нихъ живо, нравственная физиогномія лица, повѣствующаго о своей жизни, выступаетъ въ нихъ съ такою цѣльностью и чистотою, что читателю и на мысль не приходитъ заподозрить хотя на минуту ихъ правдивой, сердечной наивности.

Записки начинаются разсказомъ о жизни Долгорукой въ родительскомъ домѣ и закончены извѣстіемъ о прибытіи ея въ Березовъ, куда она, шестнадцати лѣтъ отъ роду, добровольно отправилась съ своимъ опальнымъ мужемъ и гдѣ провела одиннадцать лѣтъ среди всевозможныхъ лишеній и душевныхъ страданій. Неизвѣстно, почему она остановилась на самомъ интересномъ періодѣ своихъ приключеній. Полагаютъ, что дальнѣйшія событія были слишкомъ тягостны ея сердцу и что она не имѣла силъ говорить о тѣхъ новыхъ бѣдахъ, «которыя невозможно было бы перенести смертному, еслибъ не поддерживала его свыше сила Господня». Принявшись за описаніе своей жизни въ то время, когда уже постиглась въ одномъ изъ кіевскихъ монастырей, Долгорукая снисходительно смотритъ на прошлое, далеко отодвинутое назадъ и числомъ лѣтъ, и еще болѣе обѣтомъ забыть все земное. Разсказъ ея не дозволяетъ себѣ ни горькихъ жалобъ на злополучную долю, ни ѣдкихъ упрековъ людямъ. Она сама говоритъ, что «намѣрена свою бѣду писать, а не чужіе пороки обличать». Не могла она, конечно, вполне владѣть собой отъ порывовъ скорби, вспоминая людскую несправедливость, особенно измѣну фортуны въ придворныхъ переменѣхъ: «лучшебъ», восклицаетъ она, «не родиться на свѣтъ тому человѣку, кому назначено на время быть великимъ, а послѣ придти въ несчастіе!» Но главное чувство, покрывающее всѣ иныя чувства—это христіанское, отреченіемъ отъ

міра сдержанное сѣтованіе страдальцы, которою «счастіе довольно поиграло» и которая была счастлива только 26 дней. отъ ея сговора съ Долгорукиимъ по кончину Петра II. «За 26 благополучныхъ дней (пишетъ она) я стражду 40 лѣтъ. На каждый счастливый день приходится безъ малаго по два года счастливыхъ; да еще надобно вычесть шесть дней. Можетъ быть, и они дополнятся, если продолжится страдальческая жизнь моя. Кто знаетъ будущее?» Съ честной откровенностью, но безъ всякаго тщеславія, Долгорукая говоритъ о своей любви «къ сострадальцу»: «Во всѣхъ злополучіяхъ я была своему мужу товарищъ, и теперь скажу самую правду, что, будучи во всѣхъ бѣдахъ, никогда не рассказывалась, для чего я пошла за него. Богъ тому свидѣтель: любя мужа своего, сносила, сколько мнѣ можно было; еще и его подкрѣпляла». Нигдѣ не выражаетъ она даже намекомъ, что ея отношенія къ мужу могли бы быть иныя, а не тѣ, которыя прославили ея имя; еще менѣе могла она, зная свое достоинство, умалчивать о немъ ради ложнаго стыда—этого порожденія превратной цивилизаціи. Въ героизмъ жены она видитъ очень понятную необходимость сердца, влагаемую въ человѣка природой, и вмѣстѣ необходимость долга, предписаннаго закономъ Божиимъ и гражданскимъ. Въ умѣ ея не существовало понятія о разладѣ между этими двумя основами супружеской вѣрности. И потому-то смущало ее поведение новыхъ женъ. Въ двухъ-трехъ мѣстахъ Записокъ, говоря о себѣ самой, жившей по старинѣ, не могла она не коснуться сличенія прежнихъ и позднѣйшихъ обычаевъ. Описывая затворническую жизнь свою по смерти матери, она замѣчаетъ: «въ тогдашнее время не такое было обхожденіе: очень примѣчали поступки молодыхъ или знатныхъ дѣвушекъ; тогда нельзя было такъ мыслиться, какъ въ нынѣшній вѣкъ». Совѣтъ родныхъ—отказать жениху, потерявшему значеніе при дворѣ, привелъ ее въ негодованіе. Она отдаетъ свое дѣло на судъ свѣта, какъ бы снова испытывая то самое, что переживала въ первой молодости: «Войдите въ разсужденіе, какаѣ мнѣ это радость и честная ли это совѣсть: когда онъ былъ великъ, такъ я съ удовольствіемъ за него шла, а когда онъ сталъ несчастливъ—отказать ему! Я такому безсовѣстному совѣту согласія дать не могла; и такъ положила свое намѣреніе, отдавъ одному сердцу, жить или умереть вмѣстѣ, а другому уже нѣтъ участія въ моей любви. Я не имѣла такой привычки, чтобъ сегодня любить одного, а завтра другаго; въ нынѣшній вѣкъ такая мода, а я доказала свѣту, что я въ любви вѣрна». Этотъ героизмъ женской любви и составляетъ главную идею Записокъ, а наивный, душевный разсказъ о немъ—ихъ

главное литературное достоинство. По нравственному чувству, въ нихъ разлитому, онѣ должны занимать не послѣднее мѣсто въ избранной библіотекѣ для дѣвицъ, какъ сама героиня заняла мѣсто въ ряду знаменитыхъ россиянокъ.

Записки Неплюева (1693—1773), сенатора и конференцъ-министра въ царствованіе Екаторины II, обнимають всю долготѣнную жизнь его. Истинный воспитанникъ Петра, проведенный имъ «сквозь огонь и воду», Неплюевъ, вмѣстѣ съ другими даровитыми сторонниками преобразованій, питалъ къ нему горячую, доходившую до обожанія, привязанность. Въ реформѣ онъ видѣлъ новое рожденіе отечества, а въ реформаторѣ—второго творца его: «на что ни взгляни въ Россіи, все его началомъ имѣеть, и чтобы впредь ни дѣлалось, отъ сего источника черпать будутъ». Эта мысль, что Россія единственно Петру обязана своими силами, матеріальными и умственными, лежитъ въ основѣ Записокъ Неплюева. Она долгое время господствовала въ обществѣ, литературѣ и наукѣ. Администраторы, проповѣдники, историки и стихотворцы согласно повторяли ее. При поднесеніи Петру императорскаго титула, канцлеръ гр. Головкинъ сказалъ ему: «твоимъ единымъ руководствомъ мы изъ тмы ничтожества и невѣдѣнія вступили на театръ славы и присоединились къ образованнымъ государствамъ». Феофанъ Прокоповичъ возвеличилъ новую Россію надъ древнею, до-петровскою. Предисловіе къ Запискамъ Крекшина, новгородскаго дворянина, еще громче славословить дѣятельность Петра: «Ты воскресилъ Россію полумертвую, воздвигнулъ спящую, изъ малосильной сотворилъ, по своему имени, подобную камню, возведя ее отъ тмы къ свѣту, отъ незнанія къ знанію, отъ безчестія къ славѣ... Все, что видимъ цвѣтущее и славимое въ Россіи, все сіе заботы, труды и дѣла Петра Великаго.... Отче нашъ, Петръ великій! ты насъ изъ небытія въ бытіе привелъ». Поэты называли Петра полубогомъ или богомъ: «онъ богъ, онъ богъ былъ твой, Россія». Извѣстные стихи въ честь Невтона прилагались къ личности русскаго монарха: Россія была погружена во тмѣ; Богъ рекъ: да будетъ въ ней свѣтъ—и явился Петръ. Слова: «пробужденіе», «воскресеніе», «павибытіе», сдѣлались синонимами реформы; ими выражался взглядъ извѣстнаго времени на великій подвигъ преобразователя. Восторженныя похвалы реформѣ не отдѣлялись отъ прославленія обычаевъ и нравовъ ея времени. Воспитанники Петра, проведенные имъ «сквозь огонь и воду», должны были въ началѣ бороться съ до-петровскою Русью; но потомъ, при встрѣчѣ съ порядками и отношеніями, возникшими въ послѣдующіе періоды, эти, нѣкогда новые, дѣятеля стали защитниками петровской эпохи. Они думали

по-старому, несогласно съ новымъ образомъ мыслей. Къ числу такихъ стародумовъ принадлежалъ Неплюевъ. Замѣчательнѣе отвѣтъ его Екатерины II, когда она соглашалась уволить его отъ службы не прежде, какъ онъ порекомендуетъ ей, вѣсто себя, человѣка такихъ же достоинствъ: «вѣтъ, государыня, мы Петра Великаго ученики; проведены имъ сѣвось огонь и воду; инако воспитывались, инако мыслили и вели себя; а нынѣ инако воспитываются, инако ведутъ себя и инако мыслятъ: я не могу ни за кого, ниже за сына моего, ручаться». Въ словахъ Неплюева рѣзче и опредѣленнѣе обозначено сопоставленіе «прежняго съ нынѣшнимъ», примѣры котораго уже попадались намъ въ Духовной Татищева и Запискахъ Долгорукой.

§ 11. Дѣятельность Академіи наукъ, въ первый періодъ ея существованія, представляетъ нѣкоторые факты, имѣющіе не только ученое, но и литературное значеніе. Мы уже говорили, что въ 1735 г., въ президентство барона Корфа, учреждено было при академіи, для особыхъ занятій языкомъ и словесностью, «Россійское собраніе». Изъ воспитанниковъ академіи «славянскаго рода» приобрѣлъ достойную извѣстность профессоръ ботаники Крашенинниковъ (1713—55), авторъ любопытнаго и обстоятельнаго описанія Камчатки (нап. 1755), которое онъ сочинилъ, дѣятельно участвуя во второй камчатской экспедиціи, снаряженной въ 1733 году, и которое было тогда же переведено на французскій, нѣмецкій и англійскій языки. Описаніе это, въ научномъ отношеніи, до сихъ поръ сохраняетъ свое достоинство. Языкъ его, равно какъ языкъ и другаго труда Крашенинникова—перевода Курціевой Исторіи Александра Македонскаго (1750),—отличался по тому времени замѣчательной правильностію, чистотою и пріятностію.—Съ 1728 г. Русскія Вѣдомости начавшіяся при Петрѣ I, перешли въ вѣдѣніе академіи. Миллеръ, бывшій въ то время адъюнктомъ, принявъ на себя ихъ редакцію, началъ издавать къ нимъ «Историческія, генеалогическія и географическія примѣчанія», которыя и продолжалъ по 1742 г. Главными предметами статей, какъ показываетъ самое названіе, служили: политическая исторія, генеалогія и географія. Но редакторъ этимъ не ограничивался: онъ сообщалъ свои мнѣнія о древнихъ и среднихъ временахъ, о тогдашнемъ состояніи земель и государствъ, о естествознаніи, исторіи церкви и исторіи просвѣщенія. Такимъ образомъ «Примѣчанія» имѣли въ виду, соединяя полезное съ пріятнымъ, объяснять все то, что въ Вѣдомостяхъ предлагалось какъ извѣстіе, но что, по своему интересу, возбуждало любопытство публики, нуждавшейся въ просвѣщенныхъ и научныхъ понятіяхъ о разныхъ предметахъ. Они при-

носили несомнѣнную пользу публикѣ, сообщая ей полезныя свѣдѣнія, приучая ее къ разсужденію о всякихъ дѣлахъ. Образцами и вмѣстѣ источниками «Примѣчаній» служили иностранныя періодическія изданія, въ особенности Аддисоновъ «Зритель», выходившій въ 1711—12 г.г. Отсюда заимствованы статьи: «о суетѣ-ринъ», «о полезномъ употребленіи времени», «о добромъ нравѣ», и пр. Изъ другаго англійскаго изданія, подъ названіемъ «Опекунъ» (1713), Примѣчанія перевели «Описаніе Сентъ-сирскаго училища» (1).

III. ОТЬ ЛОМОНОСОВА ДО КАРАМЗИНА.

§ 12. Ломоносовъ, Михаилъ Васильевичъ, именемъ котораго обозначается особый періодъ новой русской литературы, родился на дальнемъ сѣверѣ нашего отечества (Архангельской губерніи, Холмогорскаго уѣзда, въ деревнѣ Денисовѣ), какъ бы въ доказательство того, что появленіе генія, какъ выразился о немъ Шлегель, не зависитъ отъ географической широты и долготы мѣста. Родъ его рожденія показывается различно: 1709, 1710 и 1711; по собственной автобіографической запискѣ—1712, а по ревизской сказкѣ даже 1715. До шестнадцати лѣтъ помогалъ онъ въ работахъ своему отцу, крестьянину, промысломъ рыбаку, ходившему на галіотѣ по Двиѣ, Бѣлому морю и Сѣверному океану для рыбныхъ промысловъ и занимавшемуся также перевозкою казенныхъ и частныхъ запасовъ изъ Архангельска въ Пустозерскъ, Соловецкій монастырь, Колу, по берегамъ Лапландіи, на рѣку Мезень. Суровая жизнь благотворно дѣйствовала на юношу: величественныя явленія сѣверной природы давали пищу его любознательности и пробуждали въ немъ поэтическое чувство; труды не позволяли ему предаваться празднымъ мечтамъ; препятствія и опасности, укрѣпляя его волю, служили къ образованію той «благородной упрямки», съ которою онъ въ послѣдствіи стоялъ за право русскаго человѣка на умственную самостоятельность. Русской грамотѣ выучился онъ у крестьянина и скоро сдѣлался лучшимъ чтецомъ въ приходской церкви. Когда мать его умерла, отецъ женился на другой женѣ, которая не влюбила своего пасынка. Ломоносовъ воспоминаетъ объ этомъ въ письмѣ къ И.И. Шувалову: «имѣлъ я

¹⁾ Объ ученыхъ сборникахъ и період. изданіяхъ. Ал. Н., съ 1726 по 1853, с. Кунига (Учен. Зап. Ал. Н. по I и III отд., т. 1, вын. 1).

отца, хотя по натурѣ добраго человѣка, однако въ крайнемъ невѣжествѣ воспитаннаго, и злую и завистливую мачиху, которая вслѣдствіи старалась произвести гнѣвъ въ отцѣ моемъ, представляя, что я всегда сижу по пустому за книгами. Для того многократно я принужденъ былъ читать и учиться, чему возможно было, въ уединенныхъ и пустыхъ мѣстахъ, и терпѣть стужу и холодъ». Первыми недуховными книгами, прочтенными Ломоносовымъ, были Славянская Грамматика Смотрицкого, Арифметика Магницкаго и Псалтирь, переложенная въ стихи Симеономъ Полоцкимъ. Въ послѣдствіи онъ называлъ эти книги «вратами своей учености».

Страстное желаніе учиться и невозможность удовлетворить ему на родинѣ, а также нелюбовь и наговоры мачихи побудили Ломоносова покинуть домъ отца своего и отправиться въ Москву. Получивъ паспортъ отъ управляющаго въ Холмогорахъ земскими дѣлами и взявъ у одного изъ сосѣдей китайское полушафтанье и замаскированно три рубля, онъ тайно ушелъ 7 декабря 1730. Прибылъ въ Москву въ январѣ 1731 г. Здѣсь онъ сначала короткое время обучался арифметикѣ въ школѣ при Сухаревой башнѣ, затѣмъ былъ принятъ въ Заиконоспасское училище. Вотъ собственный разсказъ его о жизни въ Москвѣ въ письмѣ къ И. И. Шувалову (1753 г.): «Обучаясь въ Спасскихъ школахъ, имѣлъ я со всѣхъ сторонъ отвращающія отъ наукъ пресильныя стремленія, которыя въ тогдашнія лѣта почти непреодолимую силу имѣли. Съ одной стороны отецъ, никогда дѣтей кромѣ меня не имѣя, говорилъ, что я, будучи одинъ, его оставилъ, оставилъ все довольство (по тамошнему состоянію), которое онъ для меня кровавымъ потомъ нажилъ и которое послѣ его смерти чужіе расхищать. Съ другой стороны несказанная бѣдность: имѣя одинъ алтынъ въ день жалованья, нельзя было имѣть на пропитаніе въ день больше, какъ на денежку квасу, прочее на бумагу, на обувь и пр. Такимъ образомъ жилъ я пять лѣтъ и наукъ не оставилъ. Съ одной стороны пишутъ, что, зная моего отца достатки, хорошіе тамошніе люди дочерей своихъ за меня выдадутъ, которые и въ мою тамъ бѣдность предлагали; съ другой стороны школьники малые ребята кричатъ и перстами указываютъ: смотри-де, какой болванъ лѣтъ въ двадцать пришелъ латинѣ учиться!»... Эта любовь къ знанію, переселивъ всѣ «отвращающія отъ наукъ стремленія», сохранилась въ Ломоносовѣ на всю жизнь. Въ похвальную оду императрицѣ Елисаветѣ, 1747 г., онъ вставилъ извѣстное переложеніе изъ Цицерона: «науки юношей питаютъ». И позднѣе (1752), въ Письмѣ къ Шувалову о пользѣ стекла, онъ выразилъ неизмѣнную преданность наукѣ:

Велика сердцу скорбь лишиться чтенія книгъ:
Скучнѣе вѣчной тьмы, тяжелѣе веригъ!

Въ 1735 г. начальникъ Академіи наукъ баронъ Корфъ вошелъ въ сенатъ съ ходатайствомъ о выборѣ изъ школъ такихъ учащихся, которые, по своимъ познаніямъ, могли бы съ пользою слушать лекціи академическихъ профессоровъ. Въ числѣ двѣнадцати человѣкъ, привезенныхъ въ Петербургъ (1736) изъ Славяно-греко-латинской академіи, находился Ломоносовъ. По совѣту саксонскаго горнаго совѣтника Генкеля послать въ Германію для изученія горнаго дѣла нѣсколько человѣкъ изъ русскихъ, Корфъ назначилъ Ломоносова и двухъ его товарищей, которые и были отправлены (1736) для предварительнаго образованія въ Марбургскій университетъ, славившійся тогда профессоромъ Христіаномъ Вольфомъ. Они должны были заниматься подъ надзоромъ знаменитаго философа. Инструкція предписывала имъ, кромѣ наукъ, изучать языки: латинскій, нѣмецкій и французскій, не оставляя упражненій и въ русскомъ. Въ исполненіе предписаннаго, Ломоносовъ въ 1738 г. послалъ донесеніе на нѣмецкомъ языкѣ о лекціяхъ, которыя онъ посѣщалъ, разсужденіе по предмету физики на латинскомъ и стихотворный переводъ Фенелоновой оды (Уединеніе) на русскомъ. Изъ аттестата, выданнаго Ломоносову въ 1739, видно, что онъ слушалъ у Вольфа математику, физику и философію. Въ томъ же году студенты вышли изъ Марбурга и прибыли во Фрейбергъ къ Генкелю для изученія практической металлургіи. Взятіе Минихомъ турецкой крѣпости Хотина дало поводъ Ломоносову написать похвальную оду, тоническимъ размѣромъ, въ которой онъ подражалъ частію одѣ Гюптера (на миръ Австріи съ Турціею въ 1718 г.), а частію одѣ Буало (на взятіе Намура Людовикомъ XIV въ 1692 г.). Къ одѣ было приложено и «Письмо о правилахъ русскаго стихотворства». Въ 1740 г., поссорившись съ Генкелемъ, Ломоносовъ уѣхалъ изъ Фрейберга въ Марбургъ, гдѣ женился на Елисаветѣ Цильхъ, дочери члена городской думы и церковнаго старшины. Того же года Академія наукъ, узнавъ отъ Генкеля о затруднительныхъ обстоятельствахъ Ломоносова, положила возвратить его въ Петербургъ. Есть извѣстіе, что, изъ опасенія попасть въ тюрьму за долги, Ломоносовъ рѣшился тайно бѣжать изъ Марбурга въ Голландію и что на дорогѣ въ Дюссельдорфъ онъ встрѣтился съ прусскими вербовщиками, которые, напоивъ его, уговорили вступить въ военную службу и отвели въ крѣпость Везель, откуда онъ ночью спасся бѣгствомъ (1).

¹⁾ Случай этотъ послужилъ сюжетомъ для піесы кн. Шаховскаго: «Ломоносовъ, или рекрутъ стихотворецъ (1816)».

Воротился Ломоносовъ въ Петербургъ 1741 г. Въ 1742-мъ получилъ мѣсто адъюнкта химіи, съ жалованьемъ по 860 р. въ годъ, считая въ томъ числѣ квартиру, отопленіе и освѣщеніе. Стѣсненныя обстоятельства препятствовали ему въ теченіи двухъ лѣтъ вызвать къ себѣ изъ Марбурга жену: она пріѣхала въ 1743 г. съ дочерью. Въ 1745 г., за ревностные труды и разныя къ пользѣ и чести Академіи оказанныя услуги, назначенъ профессоромъ химіи, съ жалованьемъ въ 660 руб. Профессорская жизнь Ломоносова представляла съ одной стороны неутомимую ученую и литературную дѣятельность, а съ другой постоянныя заботы объ образованіи русскаго юношества и вообще о распространеніи просвѣщенія въ Россіи: стремясь къ этой послѣдней цѣли, онъ велъ борьбу съ «непріятелями наукъ россійскихъ, которые не давали возрастать свободно насажденію Петра Великаго». Главнымъ непріателемъ была академическая канцелярія, захватившая въ свои руки управленіе и хозяйственными и учеными дѣлами Академіи, такъ что ученая корпорація академиковъ находилась у нея въ зависимости и не имѣла самостоятельности; другого непріятеля выдѣлялъ онъ въ Тепловъ, написавшемъ, по порученію президента академіи гр. К. Г. Разумовскаго, новый академическій уставъ (1747), который подалъ поводъ ко многимъ несправедливостямъ, такъ какъ имъ была утверждена незаконная власть канцеляріи, мѣшавшая успѣхамъ Академіи; наконецъ къ непріятелямъ принадлежали и вообще тѣ иностранцы, которые, пользуясь разными льготами и преимуществами въ Россіи, не только относились равнодушно къ ея пользамъ, но даже выказывали высокомерное презрѣніе къ русскимъ и всегда и всюду давали чувствовать свое превосходство. На такихъ людей Ломоносовъ смотрѣлъ какъ на своихъ личныхъ враговъ и велъ съ ними борьбу съ увлеченіемъ и запальчивостью, которыхъ не могли истребить ни лѣта, ни стороннія соображенія. О трудолюбіи Ломоносова можно судить по письму его къ И. Шувалову (1753 г.): «Кто по своей профессіи читаетъ лекціи, дѣлаетъ опыты новые, говоритъ публично рѣчи и диссертациі (на академическихъ актахъ), и внѣ оной сочиняетъ разныя стихи и прозѣты къ торжественнымъ изъясненіямъ радости, составляетъ правила къ краснорѣчію на своемъ языкѣ и исторію своего отечества, отъ того я ничего больше требовать не имѣю». Позднѣе (1762), въ прошеніи на Высочайшее имя откровенно поставилъ онъ на видъ свои заслуги: «Состоя на службѣ тридцать одинъ годъ, обращался я въ наукахъ со всякимъ возможнымъ раченіемъ и въ нихъ пріобрѣлъ такое знаніе, что, по свидѣтельству разныхъ академій и великихъ ученыхъ людей, принесъ ими

(пишетъ онъ) достаточно возблагодарить Тредьяковскаго за изданія имъ правила стихотворства, которыя были руководствомъ въ искусствѣ поэзіи для тѣхъ, кому неизвѣстны иностранныя языки, и пособіемъ въ сужденіяхъ о произведеніяхъ вкуса для любителей вообще». Конечно не Тредьяковскому, а Ломоносову принадлежала честь водворенія у насъ тоническаго размѣра, но это уже зависѣло отъ недостатка таланта, а не отъ недостатка знанія: иное дѣло теоретически доказать истину нововведенія, а иное—оправдать нововведеніе на практикѣ хорошими образцами, дать читателямъ почувствовать его превосходство, утвердить его господство въ литературѣ. Для послѣдняго у Тредьяковскаго не хватало силъ.

Разсужденіе «о древнемъ, среднемъ и новомъ стихотвореніи російскомъ (1755)» есть историческій обзоръ трехъ періодовъ нашего стихосложенія: древняго, средняго (съ XVI в.) и новаго, или тоническаго (съ 1735 г.). Къ древнему Тредьяковскій относитъ простонародныя пѣсни; къ среднему—вирши; къ новому—тоническій стихъ, имъ начатый и другими писателями утвержденный. Обзоръ отличается дѣльнымъ изложеніемъ фактовъ и основательными взглядами на свойства разныхъ родовъ стихосложенія.

Въ «Мнѣніи о началѣ поэзіи и стиховъ» замѣчательно развитіе мысли, что поэтъ и стихотворецъ не одно и то же; что поэзія состоитъ не въ простомъ подражаніи природѣ, а въ творчествѣ; что поэтическій вымыселъ есть не ложь, а разумное представленіе предметовъ, какими они могутъ или должны быть. Такимъ разсужденіемъ ясно отличена поэзія отъ стихотворства, художественные вымыслы отъ мѣрной рѣчи, служащей внѣшнимъ ихъ выраженіемъ.

Столь же замѣчательны сужденія о гексаметрѣ, въ «Предъизъясненіи о героической пѣмѣ», приложенномъ къ его «Телемахидѣ» (1766), т. е. переводу Фенелонова романа: «Приключенія Телемаха». Здѣсь основательно показано превосходство этого, величаво-благороднаго стихотворнаго метра передъ другими, его приличіе эпосу, равно какъ неприличіе ему рвемы, которая называется «шумихой», «отроческой игрушкой», «дѣтискою сопелкой». По ученію Тредьяковскаго, гексаметръ—достояніе грековъ и римлянъ—также свойственъ языку русскому; имѣющему свободное, не стѣсняемое опредѣленнымъ порядкомъ словорасположеніе. Природа, говоритъ онъ, даровала славяно-русской рѣчи богатство и сладость языка греческаго, важность и сановитость латинскаго: поэтому неприлично ей обречь себя добровольно на скудость и ограниченность французскаго. Въ слѣдствіе такого взгляда, «Телемахъ», написанный

прозой, но по характеру рассказа принадлежащій къ эпическимъ повѣствованіямъ, переложенъ гексаметромъ. Эта любовь къ Фенелову эпосу, по замѣчанію Пушкина, дѣлаетъ переводчику честь, а самый выборъ стиха доказываетъ необыкновенное въ то время чувство изящнаго.

«Разговоръ объ ороографіи (1748)» имѣетъ предметомъ установить русское правописаніе не на словопроизводствѣ, а на словопроисхожденіи. Доказательства свои онъ основываетъ на томъ, что каждая буква есть условный знакъ «звона» (членораздѣльнаго звука): слѣд. писать надобно «по звонамъ» (по выговору). Съ этимъ правиломъ «Разговоръ» связываетъ преобразование нашего алфавита. Табъ какъ буквы служатъ къ означенію членораздѣльныхъ звуковъ человѣческаго голоса, то русская азбука должна заключать въ себѣ столько знаковъ, сколько находится разныхъ звуковъ въ русскихъ словахъ. Посему, разсмотрѣвъ основательно оба алфавита наши: церковно-славянскій и гражданскій, Тредьяковский исключаетъ изъ послѣдняго шесть буквъ: з, ѡ, ѡ, ѡ, ѡ, ѡ, вмѣсто ѡ оставляя только і, а з и ѡ замѣняя знаками ѡ (зѣло) и ѡѡ. Не смотря на ученую обстановку выводовъ и на авторитетъ Квинтиліана, стоявшаго за правописаніе по выговору, Тредьяковский не достигъ своей цѣли. Причина тому въ шаткости основнаго начала, по которой самъ авторъ невольно отступалъ отъ него, т. е. писалъ многія слова не по выговору, а по принятому обычаю, и тѣмъ заподозривалъ вѣрность своей системы. Произношеніе словъ измѣняется по физиологическимъ и климатическимъ условіямъ: одни и тѣже слова въ разныхъ мѣстностяхъ выговариваются различно; допустивъ выговоръ за основу ороографіи, мы получимъ столько ороографій, сколько областныхъ выговоровъ. Притомъ въ разсужденіяхъ Тредьяковского потеряна изъ виду историческая основа нашего правописанія, которое коренится на письменномъ употребленіи языка церковно-славянскаго и до того протѣвится попыткамъ принять всякое другое основаніе, что начертаніе словъ по выговору равнозначительно безграмотности.

Понятіе объ употребленіи языковъ церковно-славянскаго и русскаго, соотвѣтственно различному содержанію сочиненій, выражено Тредьяковскимъ еще въ предисловіи къ книгѣ: «Бада на островъ любви». Славянскимъ языкомъ, говоритъ онъ, надобно писать церковныя книги; для книгъ же гражданскихъ (мірскихъ) нуженъ самый простой, разговорный русскій языкъ. «Являя славянскій въ нынѣшнемъ вѣгѣ очень темень и многіе его не разумѣють; онъ жестокъ моимъ ушамъ слышится, хотя прежде сего не только я имъ писывалъ, но и разговаривалъ, за что прошу

былъ не только ревностнымъ сподвижникомъ просвѣщенія и патриотомъ, но и замѣчательнымъ характеромъ. Въ то время, когда общественное положеніе и ученаго, и литератора было незавидно, онъ держалъ себя благородно и мужественно: никто не могъ бы безнаказанно оскорбить его какъ человѣка. Онъ умѣлъ, говоритъ Пушкинъ, за себя постоять и не дорожилъ ни покровительствомъ своихъ меценатовъ, ни своимъ благосостояніемъ, когда дѣло шло о его чести, или о торжествѣ его любимыхъ идей. Вотъ что писалъ онъ къ Шувалову (1761), когда этотъ, ради шутки, вздумалъ было мирить его съ Сумароковымъ, — такимъ человѣкомъ, который «ничего другаго не говоритъ, какъ только всѣхъ бранить, себя хвалить и бѣдное свое ризничество выше всего человѣческаго знанія ставить» (1): «не тою у стола знатныхъ господъ или у какихъ земныхъ владѣтелей дуракомъ быть не хочу, но ниже у самого Господа Бога, который далъ мнѣ смыслъ, пока развѣ отниметь». Не всегда, конечно, Ломоносовъ былъ правъ въ борьбѣ съ тѣми или другими лицами, но въ своихъ обличеніяхъ и полемикѣ онъ всегда имѣлъ высокія побужденія: любовь къ наукѣ и къ просвѣщенію согражданъ. Онъ не могъ молчать при видѣ злоупотребленій академической канцеляріи: «Я бы охотно молчалъ и жилъ въ покоѣ (писалъ онъ къ Теплову, 1761 г.), да боюсь наказанія отъ правосудія и всемогущаго Промысла, который не лишилъ меня дарованія и прилежанія въ ученіи, далъ терпѣніе и благородную упрямку и смѣлость къ преодолѣнію всѣхъ препятствій къ распространенію наукъ въ отечествѣ, что мнѣ всего дороже.... За общую пользу, а особливо за утвержденіе наукъ въ отечествѣ, и противъ отца своего роднаго возстать за грѣхъ не ставлю.... Я къ сему себя посвятилъ, чтобъ до гроба моего съ неприятели наукъ россійскихъ бороться, какъ уже борюсь двадцать лѣтъ: стоялъ за нихъ смолода, на старость не покину» (2).

Въ исторіи русскаго просвѣщенія имя Ломоносова стоитъ какъ имя перваго у насъ представителя европейской науки, перваго ученаго, въ томъ смыслѣ, въ какомъ это слово понималось на западѣ. Кантемиръ, при всѣхъ своихъ разнообразныхъ знаніяхъ, не былъ ученымъ по профессіи; ученіе Тредьяковскаго при всемъ его трудолюбіи не имѣло ни опредѣленной системы, ни твердаго заката. Напротивъ, Ломоносовъ, при необыкновенныхъ дарованіяхъ, при страстной любви къ ученію и твердой волѣ къ дости-

1) Слова Ломоносова.

2) Указанное жизнеописаніе Л.—ва, въ Исторіи Академіи Наукъ, П. Печарскаго, т. 2.

женію предположенныхъ цѣлей, получилъ высшее, университетское образованіе, которое одно доставляетъ способъ не только основательно усвоивать научныя знанія, но и расширять ихъ предѣлы новыми изслѣдованіями. «Между Петромъ I и Елизаветиною II (говоритъ Пушкинъ) Ломоносовъ одинъ является самобытнымъ сподвижникомъ просвѣщенія: онъ былъ первымъ нашимъ университетомъ», какъ бы совмѣщая въ своемъ лицѣ два факультета: наукъ естественныхъ и наукъ словесныхъ. Главнымъ предметомъ его замятій были химія и физика; вообще онъ имѣлъ большую наклонность къ естествознанію, чѣмъ къ наукамъ словеснымъ, но и въ этихъ послѣднихъ совершенно имъ многое, что сдѣлало имя его незабвеннымъ и съ давняго времени заслужило ему имя «отца руссійской словесности»: онъ дѣйствовалъ на нихъ пользу теоретичности и прагматически — учеными сочиненіями и литературными образцами. Поэтому новый періодъ русской словесности собственно начинается съ Ломоносова, ибо въ искусствѣ недостаточно одной доктрины, хотя бы она отличалась полною истинностью: нужно оправдать ее примѣрами, которые дали бы не только знать, но и почувствовать читателю, что новое дѣйствительно лучше прежняго. Предшественники Ломоносова не имѣли для этого достаточныхъ средствъ.

Литературная дѣятельность Ломоносова выразилась въ его стихотвореніяхъ и двухъ похвальныхъ словахъ: Петру I и Елизаветѣ. Онъ писалъ во всѣхъ родахъ стихотворства: лирическомъ, эпическомъ и драматическомъ, но преимущественно извѣстенъ, какъ авторъ одъ. Характеръ его лирики, равно какъ двухъ трагедій: «Тамира и Селимъ» и «Демофонтъ» и двухъ пѣсенъ поэмы «Петръ Великій» — ложноклассическій, надолго имъ укрѣпленный за нашей поэзіей.

Ложный классицизмъ (псевдоклассицизмъ), названный такъ въ отличіе отъ истиннаго, античнаго (греко-римскаго) классицизма, называется еще иногда классицизмомъ «французскимъ», по высшему, блестящему его развитію во Франціи, откуда онъ проникъ и въ другія страны, такъ что литература каждой изъ нихъ болѣе или менѣе долгое время состояла подъ его влияніемъ. Онъ появился у французовъ въ эпоху возрожденія, со второй половины XVI в., какъ результатъ знакомства съ наукой и литературой древнихъ народовъ, въ особенности грековъ. Ихъ поэтическія творенія, по своему художественному совершенству, поставлены были за образецъ и для поэтического творчества новаго, христіанскаго міра. Памятники собственной, національной литературы были отвергнуты

*

и заботы, какъ грубыя произведенія среднихъ вѣковъ, недостойныя подражанія. Но при этомъ увлеченіи образцами чуждой поэзіи, остался нерѣшеннымъ вопросъ: что значить подражать въ искусствѣ? Подражать поэзіи древнихъ значить заимствовать изъ нея общечеловѣческія понятія и чувства, а не то, что въ древности было исключительно національнымъ и что не допускаетъ никакого соглашенія съ духомъ ново-христіанскихъ народовъ. Этотъ общечеловѣческій элементъ, нашедшій себѣ художественное выраженіе въ твореніяхъ древности, соотвѣтственно умственному и нравственному состоянію того времени и характеру національности, можетъ восприниматься и обрабатываться новымъ художникомъ, но уже по требованіямъ своего времени, согласно съ характеромъ своего народа, съ возрѣніями христіанскаго міра, отличными отъ возрѣній міра языческаго. Матеріалъ—одинъ и тотъ же, но представленіе его выйдетъ иное. Не въ такомъ смыслѣ было понято въ XVI в. подражаніе древнимъ. Оно состояло, такъ сказать, въ буквальномъ перенесеніи поэтическаго достоянія грековъ и римлянъ въ поэзію новыхъ народовъ. Слова Буало о Ронсарѣ († 1585), главномъ дѣятелѣ при образованіи псевдоклассицизма, что «муза его говорила на французскомъ языкѣ по-гречески и по-латыни», характеризуетъ не только языкъ подражательныхъ произведеній XVI-го столѣтія, въ который вводились греческія и латинскія слова, но и весь строй ихъ: содержаніе новаго міра облекалось въ античную форму, или на оборотъ античный сюжетъ являлся въ новой формѣ. Такимъ образомъ возникло, развилось и утвердилось насильственное сочетаніе разнокачественныхъ предметовъ, что и послужило причиной неправдоподобныхъ изображеній дѣйствительности, которая являлась не въ настоящемъ своемъ видѣ, освѣщалась ложнымъ свѣтомъ, пронизывалась несвойственнымъ ей духомъ. Поэзія не была уже воспроизведеніемъ жизни, потому что теряла главную свою основу—истинность.

Образецъ похвальной лирики псевдоклассики взяли у Пиндара и перенесли изъ его одъ поэтическій матеріалъ въ свои произведенія того же рода. Главной статьей этого матеріала была мифологія. Что для древнихъ составляло систему религіозныхъ вѣрованій и представленій, то для стихотворцевъ христіанскаго міра обратилось въ безжизненный, механическій приборъ, который они и употребляли въ дѣло безъ всякаго сочувственнаго отношенія къ богамъ и богинямъ, не вѣруя въ ихъ существованіе, а часто и не понимая ихъ значенія. Если бы они пользовались этимъ мифологическимъ элементомъ, какъ простымъ сравненіемъ, введеннымъ для бѣльшей наглядности и понятнымъ каждому образован-

ному человѣку, умѣстность его не подлежала бы сомнѣнію. Такъ Пушкинъ, описавъ наводненіе 1824 г. (въ Петербургѣ), прибавилъ:

И всплылъ Петрополь, какъ Тритонъ,
По поясъ въ воду погружень.

Но въ слѣдующей строфѣ оды Ломоносова Елисаветѣ (1747 г.):

И се Минерва ударяетъ
Въ верхи Рифейски копіемъ,
Сребро и золото истекаетъ
Во всемъ наслѣдіи твоемъ.
Плутонъ ⁽¹⁾ въ разсѣлинахъ мается,
Что Россамъ въ руки предается
Драгой его металлъ изъ горъ,
Который тамъ натура скрыла;
Отъ блеску дневнаго свѣтила
Онъ мрачный отвращаетъ взоръ.

языческія божества выступаютъ уже съ своими атрибутами и чудодѣйственными силами, которыхъ за ними не признаетъ ни самъ авторъ, ни читатели и которыя поѣтому служатъ только безжизненной прикрасой, доказывая неискренность одушевленія. Подобное тому находится и въ благодарственной одѣ Елисаветѣ (1750): нимфа (олицетвореніе рѣки Славянки) въ девяти строфахъ рассказываетъ Невѣ о преобразованіи Царскаго Села, объ уграшеніи его садами и разными произведеніями искусствъ. Ода есть лирика сильнаго одушевленія, возбуждаемаго великими мировыми силами и явленіями. Восторженное чувство выражается образами, въ которыхъ поэтъ видитъ соотвѣтствіе съ предметомъ, его произведшимъ. Заимствуются эти образы изъ окружающей поэта дѣйствительности, который при ихъ выборѣ руководствуется современнымъ ему понятіемъ о томъ, что истинно велико. Мѣриломъ истиннаго величія не могутъ служить мифологическіе образы, ничего намъ не говорящіе и ничего не внушающіе. У Пиндара мифъ составлялъ часть сюжета. Легендарные рассказы находились въ исторической связи съ темою стихотворенія: они напоминали героевъ, бывшихъ главою семьи побѣдителя или главою государства, къ которому онъ принадлежалъ. При томъ, во времена Пиндара, греки питали живую вѣру въ героическій міръ, да и самъ поэтъ твердо держался своихъ религіозныхъ воззрѣній.

Свойства пиндарической оды, какъ разумѣла ея французская пѣтика, изложены Буало въ «Науки о стихотворствѣ» и въ «Разсужденіи объ одѣ». Это изложеніе въ послѣдствіи было развито

¹⁾ По ошибкѣ вм. Плутуса, бога богатства.

подробнѣе. Теоретики хотѣли начертать точный путь изліанію одушевленнаго чувства: опредѣлили, изъ сколькихъ частей должна состоять ода, съ чего ее начинать, чѣмъ оканчивать. Ей слѣдовало имѣть приступъ, предложеніе, отступленіе, цареніе, названіе «лирическимъ беспорядкомъ». Ученіе о послѣднемъ всего больше доказываетъ, что сущность оды не была понята настоящимъ образомъ. Въ одѣ господствуетъ сила одушевленія и смѣлый полетъ фантазіи, которая не рисуетъ образы съ эпической отчетливостью, а переходитъ отъ одного изъ нихъ къ другому; эти переходы или скачки представляютъ только кажущійся беспорядокъ, на самомъ же дѣлѣ они подчиняются единству вдохновенной мысли. Ошибка псевдоклассическихъ одъ въ томъ и заключалась, что вмѣсто этого подчиненія являлись у нихъ намѣренные разрывы содержанія, что переходы отъ одного образа къ другому — искусственные, а не естественные сообразно развитію чувства — обозначались большею частію фигурами вопрошенія и восклицанія: «но что я вижу?» «какое зрѣлище представило!» и т. п. Короче, являлась риторическая величавость или напыщенность вмѣсто поэтическаго одушевленія.

Но если, принадлежа по формѣ къ ложноклассическому направленію лирики, похвальные оды Ломоносова не были одобрены Пушкинымъ, который называлъ ихъ «утомительными и надутыми», то по живленію своему своему содержанію онѣ представляютъ несомнѣнно большія достоинства. Этимъ содержаніемъ неизмѣнно служатъ тѣ мысли и желанія автора, объ исполненіи которыхъ онъ всю жизнь мечталъ и заботился. Существенный интересъ для него — наука; душевная дума его — насажденіе и развитіе наукъ въ отечествѣ. Въ своихъ одахъ онъ всего болѣе раскрываетъ пользу просвѣщенія для Россіи и восхваляетъ тѣ лица, которымъ оно одолжено своимъ успѣхомъ. Петръ I, Елисавета и наука — таковы постоянные предметы ихъ похвалъ: Петръ I потому, что положилъ начало русскому просвѣщенію; Елисавета потому, что продолжаетъ дѣло, начатое Петромъ, но задержанное при Петрѣ II и Аннѣ Іоанновнѣ; наука потому, что она даетъ средства къ вышнему и внутреннему благосостоянію страны, къ раскрытію природныхъ дарованій русскаго народа, способнаго производить такихъ же ученыхъ, какихъ вынуждаетъ къ себѣ изъ чужихъ странъ. Всѣ три предмета (Петръ I, Елисавета и наука) нераздѣльны въ умственномъ представленіи лирика: нераздѣльно и стихотворное ихъ чествованіе. Ода 1747 г., начинающаяся описаніемъ «тишины, ограды царей и царствъ», изображаетъ благодатныя слѣдствія мира, какъ питателя наукъ; она высказываетъ желаніе, чтобы науки изслѣдовали наше обшир-

ное отечество, богатое произведеніями всякаго рода, и дали ему способы найти у себя все, что получается изъ отдаленныхъ странъ. Ода 1750 г. (благодарственная за награду, полученную Ломоносовымъ отъ императрицы) также раскрываетъ пользу наукъ для Россіи: механики, химіи, метеорологіи. Въ нихъ говоритъ искреннее чувство ученаго, не затмиваемое покушеніемъ на лесть. Похвалы Петру и его дочери воздаются за ихъ дѣятельность на пользу науки. Величіе Петра есть для Ломоносова величіе образователя Россіи: «онъ просвѣтилъ насъ и сталъ великъ черезъ науки»; слава Елисаветы есть слава государыни, продолжающей дѣло образованія.

Духовныя оды Ломоносова почерпали свое содержаніе или изъ библейскихъ книгъ или изъ области естествознанія. Сюда относятся: переложеніе псалмовъ и нѣкоторыхъ мѣстъ изъ книги Іова, два Размышленія (утреннее и вечернее) о Божіемъ величествѣ. Въ нихъ есть превосходныя мѣста, свидѣтельствующія о силѣ чувства и воображенія. Но эти мѣста внушены научными изслѣдованіями, суть плодъ сознательнаго одушевленія тѣми истинами, которыя добываетъ пылливый умъ. Въ ученомъ сказывается поэтъ, и на оборотъ: поэтъ обличаетъ въ себѣ ученаго. «Размышленіе о Божіемъ величествѣ по случаю сѣвернаго сіянія» есть лучшая ода Ломоносова потому, что въ ней поэтическія представленія имѣли своей основой естествознаніе; величіе Творца сознано посредствомъ научнаго знакомства съ величіемъ природы, какъ {Его творенія. Связь между натуралистомъ и поэтомъ въ лицѣ Ломоносова видна еще изъ того, что въ «Словѣ о явленіяхъ воздушныхъ, отъ электричества происходящихъ», онъ ссылается на «Вечернее размышленіе», какъ на доказательство, что мнѣніе о сѣверномъ сіяніи уже давно было имъ составлено. Да и самое названіе оды «Размышленіемъ» даетъ знать, что картина сѣвернаго сіянія, равно какъ и чувства ею возбужденныя, имѣли своимъ источникомъ научное знаніе. Первая строфа «Размышленія» описываетъ наступившую ночь, въ которой всего болѣе изумляетъ стихотворца звѣздное небо: мысль его цѣпенѣтъ и теряется отъ безчисленности звѣздъ, отъ небесной бездны, не имѣющей дна (2-ая строфа). Что такое эти звѣзды? какъ думаютъ о томъ премудрые (ученые)? Каждая звѣзда есть солнце, образующее съ своей системой (планетами и ихъ спутниками) особый міръ; въ этомъ мірѣ живутъ народы, совершается теченіе времени (кругъ вѣковъ); одни и тѣже законы управляютъ однимъ и тѣмъ же естествомъ:

Для общей славы Божества
Тамъ равна сила естества.

Отъ мірозданія Ломоносовъ переходитъ къ отдѣльному явленію, видя въ немъ какъ бы нарушение неизмѣннаго міроваго строя:

Но гдѣ жъ, натура, твой законъ?
Съ полночныхъ странъ встаетъ заря (1)!
Не солнце ль ставить тамъ свой тронъ?
Не льдисты ль мещутъ огонь моря?
Се холодный пламень насъ покрылъ!
Се въ ночь на землю день вступилъ!

Любознательный авторъ снова обращается къ ученымъ, знающимъ «пути всѣхъ планетъ», и проситъ ихъ объяснить происхождение сѣвернаго сіянія (5 стр.), а въ слѣдующихъ за тѣмъ двухъ строфахъ (6 и 7) исчисляетъ существовавшія въ то время гипотезы о причинѣ этого явленія, которое поражало автора еще въ дѣтствѣ и изслѣдованіемъ котораго занимался онъ потомъ, какъ ученый. Последняя строфа (8-ая) заключается мыслью, указанною въ заглавіи стихотворенія—мыслью о величествѣ Божіемъ; явленномъ въ твореніяхъ.

Изъ другихъ стихотвореній Ломоносова, «Посланіе къ Шувалову о пользѣ стекла (1752)» цѣнилось какъ очень хорошій образецъ такъ называемой дидактической поэзіи. Въ немъ замѣчательно выраженіе глубокой любви къ знанію вообще, къ познанію природы въ частности. Природа, по словамъ автора, была для него матерью. Естественныя науки плѣняли его, независимо отъ пользы и самостоятельнаго значенія, своею поэтическою стороною. Грозные и величественные предметы видимаго міра: громъ, огонь, происхожденіе свѣта, зарожденіе металловъ въ нѣдрахъ земли и т. п. обращаютъ на себя особенное вниманіе его пытливаго ума. Кромѣ того, «Посланіе» изображаетъ алчность, свирѣпость и фанатизмъ испанцевъ при завоеваніи Перу и Мексика, и кромѣ того разъясняетъ понятіе объ отношеніяхъ науки къ религіи, въ отпоръ безсмысленнымъ толкамъ лицемеровъ и слабоумныхъ:

Вели всегдашнюю брань съ наукой *лицемеры*:
Дабы она, открывъ величество небесъ
И разность дивную невѣдомыхъ чудесъ,
Не показала всѣмъ, что непостижна сила
Единого Творца весь міръ сей сотворила;
Что Марсъ, Нептунъ, Зевесъ, все сонмище боговъ
Не стоятъ тучныхъ жертвъ, ниже подъ жертву дровъ;

¹⁾ Сѣверное сіяніе—аурора borealis (сѣверная, иначе полярная, заря).

Что агнецъ и воловъ жрецы ѣдятъ напрасно...
 Сіе одно, сіе казалось быть опасно:
 Оттолѣ землю всѣ считали посредѣ ⁽¹⁾.

Что можетъ смертнымъ быть ужаснѣе удара,
 Съ которымъ молнія изъ облакъ блещетъ яра?
 Услышавъ въ темнотѣ внезапный трескъ и шумъ
 И видя быстрый блескъ, митется слабый умъ;
 Отъ гнѣвнаго часа желаетъ гдѣ бѣ укрыться;
 Причины онаго изслѣдовать страшится;
 Дабы истолковать, что молнія и громъ,
 Такія мысли всѣ считаетъ онъ грѣхомъ.
 На бить, онъ говоритъ, я посмотрѣть не смѣю.
 Когда грозить Отецъ намъ яростію своею.—
 Но какъ Онъ насъ казнить, подыавъ въ пучинѣ валь,
 То грѣхъ ли то сказать, что вѣтромъ онъ нагналъ?
 Когда въ Египтѣ хлѣбъ довольный не родился,
 То грѣхъ ли то сказать, что Нилъ тамъ не разлился?
 Подобно надлежитъ о громѣ разсуждать.

Испытаніе природы, напротивъ, ведетъ человѣка къ познанію всемогущества Божія и въ великомъ и маломъ, что и выражено слѣдующими двумя стихами эпистолы:

Великъ Создатель нашъ въ огромности чудесной!
 Великъ въ строеніи червей—судеи тѣсной!

Отношеніе религіи къ наукѣ опредѣленнѣе изложено въ «Словѣ о происхожденіи свѣта» слѣдующими словами: «испытаніе натуры трудно, однако приятно, полезно, свято».

а) Прежде всего Ломоносовъ заботился о примѣненіи науки къ потребностямъ матеріальнаго быта: «испытаніе природы полезно». Знаніе, отрѣшенное отъ жизни, не удовлетворяло его: онъ хотѣлъ, чтобы наука была не отвлеченностью, а орудіемъ несомнѣнныхъ выгодъ. Практическая сторона его дѣятельности выразилась многими сочиненіями, которыя онъ предлагалъ, какъ средства къ возвышенію народнаго благосостоянія — къ сохраненію здоровья и жизни, къ обезпеченію прибытковъ, къ обилѣйшему добыванію нужныхъ вещей. Важнѣйшее изъ этихъ сочиненій—«Письмо къ И. И. Шувалову о размноженіи и сохраненіи російскаго народа». Ломоносовъ завелъ фабрику для дѣланія разноцвѣтныхъ стеколъ; самъ занимался мозаикой и образованіемъ мастеровъ мозаичной работы, самъ вызвался учить молодыхъ людей пробирному искус-

¹⁾ Т. е. не хотѣли признать, что солнце есть центръ, вокругъ котораго обращаются земля и другія планеты.

ству. Посвящая свое время ученымъ изслѣдованіямъ, какъ дѣятельный академикъ, онъ въ тоже время подаетъ мнѣнія о лучшемъ устройствѣ академій; читая лекціи, какъ профессоръ, пишетъ проектъ основанія университета; выбранный въ члены академій художествъ, произноситъ рѣчь о связи между искусствомъ и наукой, о приложеніи науки къ искусству. Въ этомъ утилитарномъ взглядѣ на знанія видимъ естественное продолженіе того же взгляда, который образовался въ эпоху реформы. Кромѣ того, съ малолѣтства привыкшій къ дѣятельности, Ломоносовъ, и въ ученомъ санѣ, требовалъ сближенія науки съ жизнью. Самый родъ его занятій укрѣплялъ практическое направленіе учености: естественныя науки не мыслимы безъ опытовъ и наблюденій; онъ имѣлъ дѣло съ тою областью предметовъ, которая подлежитъ внѣшнимъ чувствамъ, и потому не допускаютъ чисто-отвлеченнаго, созерцательнаго направленія. Выставляя важность науки для улучшеній матеріальнаго быта, Ломоносовъ, подобно Кантемиру, опровергалъ противное тому мнѣніе; но разница между нимъ и Кантемиромъ, въ этомъ отношеніи, значительна: послѣдній только-что «показывалъ» пользу знаній, тогда какъ Ломоносовъ «доказывалъ ее на дѣлѣ» — предложеніемъ самыхъ средствъ обратить умственное достояніе въ вещественный капиталъ и употребленіемъ ихъ на дѣлѣ. Онъ не скрывалъ подъ снудомъ ничего, что могло служить потребностямъ общества. Патріотическое усердіе заставляло его предпринимать труды, которые казались безплодными въ настоящемъ, но отъ которыхъ онъ ожидалъ успѣховъ въ будущемъ, «слѣдуя примѣру рудонискателей, которые иногда безъ всякой вѣроятности сладкою надеждою питаются, и не всегда же тщетно».

б) Кромѣ пользы, Ломоносовъ ставилъ высоко самостоятельное значеніе науки: «испытаніе природы пріятно». Красота знаній въ ихъ собственной сферѣ, независимо отъ практическаго примѣненія, служила для него веселіемъ ума, душевнымъ наслажденіемъ. «Слово о пользѣ химіи» кратко, но ясно выражаетъ это понятіе о наукѣ, какъ о такомъ предметѣ, котораго цѣль заключается въ немъ самомъ, это блаженство ума, которое онъ испытываетъ, находя пищу своимъ любознательнымъ стремленіямъ, и котораго не должно смѣшивать съ другими житейскими благами, доставляемыми знаніемъ.

в) Отношеніе науки къ религіи выражено словами: «испытаніе природы свято». Мысли Ломоносова объ этомъ предметѣ изложены по поводу его наблюденій надъ прохожденіемъ Венеры передъ солнцемъ въ 1761 г. Краткій отчетъ о наблюденіяхъ сопровождается «Прибавленіемъ», написаннымъ съ цѣлію разсвѣтъ возникшіе тогда

суевѣрные толки, вредные общему спокойствію и неблагопріятные наукѣ. Съ одной стороны легковѣрные, непросвѣщенные, учениемъ головы смущались пустымъ страхомъ; съ другой—грамотники осуждали занятія астрономіей, находя ихъ противными закону Божию. Ломоносовъ умалчиваетъ о первомъ разрядѣ лицъ, такъ какъ они принадлежали больше къ простонародію; но второй разрядъ состоялъ «изъ чтецовъ писанія и ревнителей православія, которое святое дѣло само по себѣ похвально, если бы иногда своимъ излишествомъ не мѣшало приращенію наукъ»: ихъ-то и имѣетъ въ виду «Прибавленіе», содержаніе котораго дополняется мыслями, разсѣянными во «Второмъ прибавленіи къ Металлургіи» и въ «Посланіи о пользѣ стекла». — Отдаленная причина мѣшанія, по которому испытаніе природы, какъ тайны Божіей, должно было быть запрещаемо, восходитъ къ схоластическимъ средневѣковымъ понятіямъ, когда въ изученіи естества видѣли колдовство, чернокушніе, сношеніе съ бѣсами. Намъ извѣстно, что Крижаничъ, не смотря на свое образованіе, относилъ естественныя науки къ «дѣвольскимъ ересямъ». Нѣкоторые открытія, представлявшія противорѣчіе буквальному смыслу библейскихъ книгъ, бросали тѣнь на естествоиспытателей. Мнимое несогласіе между вѣрованіемъ и знаніемъ давало поводъ совершенно отвергать послѣднее, какъ тяжкій грѣхъ. Средневѣковой взглядъ на природу не исчезъ и при Ломоносовѣ, хотя Петръ I старался искоренять всякое суевѣрное предубѣжденіе, которымъ задерживается успѣхъ науки, и хотя еще до реформы Петра въ литературѣ югозападной Руси существовали переводы такихъ книгъ, какова, напр., «Священная теорія земли», Бюрнета, представившая даже опитъ толковать библейскую исторію помощію естествознанія. Ломоносовъ рѣшился съ своей стороны разъяснить взаимное отношеніе науки и религіи. Онъ видитъ тѣсную ихъ связь, тогда какъ другіе полагали между ними вражду. Чѣмъ больше разумъ постигаетъ природу, говоритъ онъ, тѣмъ яснѣе открываетъ всемогущество, величіе и премудрость Міровдателя. Правда (истина) и вѣра суть двѣ родныя сестры, дщери одного всевышняго Родителя, которыя никогда не могутъ приходить въ распрю другъ съ другомъ. Благоразумные обязаны изменять способы къ объясненію и обращенію мнимой вражды между ними, кажушагося междоусобія. Тѣ, кто откровенія естественныхъ наукъ почитаетъ соблазномъ для вѣры, называются, на энергическомъ языкѣ Ломоносова, «ссорщиками, производящими вражду между Божіею дщерію—натурою и вѣстою Христовою—церковью», «полномъ сварѣльныхъ невѣждъ, которые желали бы приготовить ученимъ казнь Прометея»; «за-

вистниками, прикрывающими себя прокровомъ святости», «суевѣрами и слабоумными, боящимися вникать въ таинства природы». Природа служитъ однимъ изъ двухъ способовъ удостовѣряться въ бытіи Бога и Его благодѣяніяхъ; другой способъ—откровеніа. Человѣческому роду, продолжаетъ Ломоносовъ, даны двѣ книги: въ одной Создатель показалъ свое величество, въ другой—свою волю. Первая книга—видимый міръ, Имъ созданный: смотря на огромность, красоту и стройность твореній, человѣкъ признаетъ божественное всемогущество. Вторая книга—Священное Писаніе, возвышающее путь ко спасенію. Тамъ физики, математики и астрономы изъясняютъ божественныя дѣйствія, влияющія въ натуру; здѣсь церковные учителя толкуютъ слова богодухновенныхъ пророковъ и апостоловъ. Тамъ открывается храмъ божеской силы и великолѣпія, изыскиваются способы къ временному нашему блаженству, соединенному съ благоговѣніемъ и благодарностью ко Всевышнему; здѣсь указывается путь къ добродѣтели, представляется награда праведнымъ, наказаніе законопреступнымъ, счастье жизни, согласной съ Божьею волей. Сущность этихъ разсужденій сводится къ двумъ главнымъ мыслямъ. Первая показываетъ равночинное отношеніе науки и религіи. У каждаго изъ этихъ двухъ предметовъ есть особенная область и особенные способы дѣйствія. Вводить науку въ предѣлы непосредственнаго вѣрованія, и наоборотъ—значить не понимать ни того, ни другаго: «не разсудителенъ математикъ, ежели онъ хочетъ Божескую волю вымѣрять циркулемъ; таковъ же богословинъ учитель, если онъ думаетъ, что по псалтири можно научить астрономіи или химіи». Такимъ взглядомъ признана самостоятельность знанія: Ломоносовъ отрѣшилъ философію отъ ея служенія догматикѣ, на которое она была обречена схоластицизмомъ. Вторая мысль относится къ родственному союзу двухъ равночинныхъ предметовъ: «истина и вѣра—дщери одного всевышняго Родителя». При всемъ различіи способовъ, цѣль, ими достигаемая, одна и таже: удостовѣреніе въ бытіи Бога, раскрытіе его всемогущества, премудрости и благости. Дѣйствительныхъ противорѣчій между откровеніемъ вѣры и свидѣтельствомъ науки нѣтъ и быть не можетъ. Если «достойны помянуты тѣ люди, которые, подобно инымъ католическимъ философамъ, держатъ по физикѣ изъяснять непонятныя чудеса Божіи и самыя страшныя христіанскія тайны», то не менѣе смѣшна и другая крайность—«почитать открытія естественныхъ наукъ противными христіанскому закону». Ученые должны подражать «богомудрому святителю и глубокому философу Василию Великому, показавшему довольные примѣры, какъ содружать спорныя по-видимому со Свя-

ценнымъ Писаніемъ натуральныхъ правды». Здѣсь Ломоносовъ является ученикомъ Христіана Вольфа, который былъ послѣдователь Лейбница, развившій и приведшій въ систему его философское ученіе. Но одинъ изъ главнѣйшихъ пунктовъ этого ученія состоялъ въ единствѣ знанія и вѣры. Безъ сомнѣнія, Вольфъ на своихъ лекціяхъ часто касался предмета, близкаго ему по отношенію къ началамъ Лейбницевоу философіи, которая нашла въ немъ своего толковника.

Въ двухъ пѣсняхъ неконченной поэмы «Петръ Великій» (1760), Ломоносовъ слѣдовалъ Виргилію и въ планѣ, и въ частностяхъ. Первая пѣсня есть сокращенное подражаніе первымъ двумъ пѣсанямъ: подобно Энею, Петръ I претерпѣваетъ бурю; какъ Эней рассказываетъ Дидонѣ о разореніи Трои, такъ русскій царь рассказываетъ настоятелю Соловецкаго монастыря о стрѣльцкихъ бунтахъ. Двѣ трагедіи «Демофонтъ» (1750) и «Тамира и Селимъ» (1751) написаны не по свободному побужденію, а по желанію Шувалова. Онѣ холодны, бѣдны дѣйствіемъ и характерами, что зависѣло отъ недостатка драматическаго таланта въ авторѣ. Преобладающій въ нихъ элементъ—эпическій и лучшія мѣста принадлежать или къ описаніямъ или къ разсказамъ.

Похвальныя слова Ломоносова Елисаветѣ (1747) и Петру Великому (1755) относятся къ псевдоклассическому краснорѣчію. Они написаны по правиламъ схоластической риторики, въ тѣхъ формахъ, которыя были ею установлены, какъ пригодныя для всякихъ восхваляемыхъ предметовъ, и при помощи тѣхъ средствъ, какия она предлагала оратору на всевозможныя похвалы. Построенное по такой системѣ слово всегда выходило произведеніемъ искусственнаго, условнаго ораторства: вмѣсто одушевленнаго краснорѣчія являлась холодная декламация, вмѣсто искренней страсти—риторическій паеосъ. Декламаторскій духъ господствуетъ и въ словахъ Ломоносова, особенно въ первомъ (Елисаветѣ), котораго постройка чисто схоластическая. Задачею этого слова долженствовало быть восхваленіе дѣяній Императрицы, а различные виды ея дѣятельности должны были служить основой для дѣленія слова на части. Вмѣсто того Ломоносовъ прославляетъ семь добродѣтелей Елисаветы: благочестіе, мужество, великодушіе, мудрость, человеколюбіе, милосердіе и щедрость, а въ заключеніи выражаетъ желаніе, чтобы она украшалась этими добродѣтелями, какъ великими дарами Вышняго. Задача и постройка слова напоминаютъ подобный трудъ братьевъ Перекрестовыхъ: «Дары Духа Святаго (1688)», т. е. описаніе семи добродѣтелей царевны Софіи: мудрости, разума, совѣта, крѣпости, благочестія, видѣнія въ законѣ Господнемъ, страха

Божія. Похвальное слово Петру состоитъ изъ трехъ частей: въ первой изображены важнѣйшія дѣла преобразователя, во второй—препятствія, имъ преодоленныя, въ третьей—добродѣтели, которыя были ему необходимы для совершенія великихъ подвиговъ. Хотя оно также несвободно отъ декламаторства, но нѣкоторыя мѣста его выражаютъ искреннее чувство. Таково, напримѣръ, мѣсто, въ которомъ говорится о неутомимой и многосторонней дѣятельности Петра:

Я въ полѣ межъ огнемъ; я въ судныхъ засѣданіяхъ межъ трудными разсужденіями; я въ разныхъ художествахъ между многоразличными машинами; я при строеніи городовъ, пристаней, каналовъ, между безчисленнымъ народа множествомъ; я межъ стенаніемъ валовъ Бѣлаго, Чернаго, Балтійскаго, Каспійскаго моря и самого Океана духомъ обращаюсь: вездѣ Петра Великаго вижу, въ потѣ, въ пыли, въ дыму, въ пламени: и не могу самъ себя увѣрить, что одинъ вездѣ Петръ, но многіе; и не краткая жизнь, но лѣтъ тысяча.

Что же касается до другаго мѣста (уподобленія Петра Богу), которое считалось образцовымъ, то оно страдаетъ несообразностью. Ломоносовъ заимствовалъ его изъ Плиніева панегирика Траяну, вообще оказавшаго значительное вліяніе на похвальное слово Петру. Но естественное и понятное въ устахъ римскаго панегириста становится фальшивымъ въ устахъ панегириста русскаго. Римляне причисляли своихъ великихъ людей, даже при ихъ жизни, къ богамъ и ставили ихъ изображенія въ храмахъ; христіанство не допускаетъ такого обожествленія человѣка. Языкъ обоихъ похвальныхъ словъ исполненъ славянизмами; рѣчь, по преимуществу періодическая, построена на образецъ латинскихъ ораторскихъ словъ. То и другое сообщило панегирикамъ искусственную величавость, которая не можетъ замѣнить естественнаго, истиннаго краснорѣчія. Эта искусственность и была причиною отзыва Пушкина о Ломоносовѣ, какъ стихотворца и прозаика: «Ломоносовъ», говоритъ онъ, «не поэтъ, вдохновенный свыше, не ораторъ, мощно увлекающій. Однообразныя и стѣснительныя формы, въ кои онъ отливалъ свои мысли, даютъ его прозѣ ходъ утомительный и тяжелый».

Историческое значеніе похвальныхъ одъ и словъ Ломоносова состоитъ въ ихъ отношеніи къ современной эпохѣ. Оно дало Ломоносову имя «пѣвца Елисаветы». Воцареніе этой императрицы было для Русскихъ «воздвиженіемъ Петрова племени», незаконно устраненнаго отъ престолонаслѣдія. На время отъ смерти Петра II до паденія Анны Леопольдовны они смотрѣли какъ на печальный историческій эпизодъ, какъ на чужеземное господство, недоброжелательное

отечеству. Цѣлое дѣсятилѣтіе, по словамъ ихъ, Россія пребывала «въ школѣ неблагополучія», наказанная, за грѣхи свои, многими бѣдами. Вмѣстѣ съ истинной наслѣдницей престола, жившей подъ строгимъ надзоромъ, точно въ опалѣ, терпѣли и подданные «отъ хищныхъ совѣ и нетопырей, сидѣвшихъ въ гнѣздѣ орла русскаго и мыслившихъ злое государству». Но Елисавета положила юнецъ частнымъ и вреднымъ перемѣнамъ: вступивъ на престолъ, она одержала побѣду надъ врагами, освободила отечество отъ чужихъ рукъ—отъ оковъ, наложенныхъ на него Бирономъ, Остерманомъ, Минихомъ и ихъ «снудниками и эмиссаріями». По мнѣнію лицъ, официально слѣдившихъ за ходомъ событій, съ ея времени наступила новая эра, которая обнаружилась и внутри Россіи и въ ея внѣшней политикѣ особыми явленіями. Во внутреннемъ управленіи, которое собственно нужно для нашего предмета, новый порядокъ обозначился паденіемъ иностранцевъ: одни изъ нихъ лишились мѣстъ; другіе, кромѣ того, потерпѣли строгія наказанія. «Петръ I», разсуждали тогда, «пользовался ихъ службою съ цѣлію даровать просвѣщеніе своимъ подданнымъ, приготовить Русскихъ для всѣхъ родовъ служебной дѣятельности. Но при его преемникахъ, особенно при Аннѣ Іоанновнѣ, эта цѣль была упущена изъ виду и самая память о преобразователѣ неблагоприятно предана забвенію: чужеземные люди заняли важнѣйшія административныя мѣста и пользовались особымъ покровительствомъ, а на Русскихъ мало обращали вниманія, даже явно пренебрегали ими». Перевѣсъ нѣмецкой партіи, при дворѣ и въ администраціи, оскорблялъ народную гордость. Съ Елисаветой отношеніе партій измѣнилось: торжество перешло на сторону людей русскихъ—Бестужева-Рюмина, Воронцова, Шуваловыхъ, Разумовскихъ. Съ этимъ вмѣстѣ и низшія степени администраціи раздаваемы были преимущественно Русскимъ. Предметы Петровой дѣятельности становятся обязательными и для правительства Елисаветы. Въ разныхъ актахъ его видно постоянное намѣреніе выдвинуть впередъ «природныхъ Русскихъ». Новый регламентъ Академіи Наукъ (1747) требуетъ, чтобы впредь академія состояла «изъ природныхъ русскихъ ученыхъ», чтобы «во всѣхъ состояніяхъ, какъ военномъ, такъ и гражданскомъ, внутри и внѣ государства, образованы были ученые русскіе». Медицинская канцелярія положила тѣмъ изъ русскихъ лѣкарей, которые, обучась хирургіи и фармаціи, оказываютъ успѣхи на службѣ, не только производить награды, но «всегда предъ чужестранными чинить преимущество къ наилучшему одобренію». Въ одномъ письмѣ къ Гальвецію (отъ 27 іюля 1761 г.), И. И. Шуваловъ сѣтовалъ на правительство Анны

за его бездѣйствіе касательно народнаго образованія: «первыя шѣста въ государствѣ были заняты иностранцами, которые не радѣли о распространеніи наукъ и искусствъ въ странѣ имъ чуждой; ихъ намѣренія не позволяли имъ мыслить и дѣйствовать съ ревностью патріотовъ. Такая небрежность остановила успѣхи просвѣщенія; ревность къ ученію совершенно была погашена во многихъ изъ моихъ соотечественниковъ».

Внѣшнія и внутреннія перемѣны, произведенныя воцареніемъ Елисаветы, не только были объясняемы депешами иностранныхъ посланниковъ, но и нашли выраженіе въ литературѣ. Сильнѣе и откровеннѣе другихъ возвысило голосъ духовенство, имѣвшее много причинъ, общихъ и личныхъ, столько же ликовать при новомъ царствованіи, сколько сѣтовать на прежнее время. Проповѣди сороковыхъ годовъ (1741—51) достойны двоякаго вниманія: какъ историческій документъ и какъ литературныя произведенія. Восхваляя монархиню за благочестіе, за освобожденіе Россіи «отъ враговъ внутреннихъ и согражденныхъ», т. е. отъ нѣмецкой партіи, онѣ съ тѣмъ вмѣстѣ воспоминають замыслы протестантизма и скорбь, нанесенную имъ православію и его служителямъ. «Нынѣ совершилось наше спасеніе!» говоритъ одна изъ рѣчей на коронованіе Елисаветы: «низложенъ сатана и всѣ его аггелы!... Ты принесла намъ въ гостинецъ истинную, православную, каеолическую церковь!» Общія причины недовольства церкви указаны Димитріемъ Сѣменовымъ († 1767), митрополитомъ новгородскимъ, въ словѣ въ день Благовѣщенія (1742): «было то неблагополучное время, когда враги наши до того вознесли свою главу, что дерзнули порочить догматы святой вѣры, догматы христіанскіе, отъ которыхъ вѣчное спасеніе зависитъ: Ходатайницу спасенія нашего на помощь не призывали и заступленія ея не требовали; святыхъ угодниковъ Божіихъ не почитали; иконамъ святымъ не кланялись; знаменемъ креста святаго гнушались; преданія апостоловъ и святыхъ отцевъ отвергали; добрыя дѣла, которыми снискивается вѣчная мзда, отменяли; въ святые посты пожирали мясо, а объ умерщвленіи плоти и слышать не хотѣли; надъ поминовеніемъ усопшихъ смѣялись; существованію геенны не вѣрили». Короче: это тѣ самые догматы, о которыхъ разсуждаетъ Камень Вѣры, обличавшій лютеранъ. Отсюда понятно, почему запрещеніе книги Яворскаго при Биронѣ и судъ надъ Теофилактомъ Лопатинскимъ, разрѣшившимъ ея изданіе, были важнѣйшимъ обвинительнымъ пунктомъ противъ тѣхъ людей, которые держали въ рукахъ власть при Аннѣ Іоанновнѣ, и однимъ изъ предметовъ хвалы новой государынѣ, освободившей Теофилакта изъ заключенія: «книгу Ка-

мень Вѣры, во тѣмъ невѣдѣніи заключенную, на свѣтъ произвестъ и освободить повелѣла», говорилъ архіепископъ новгородскій Амвросій Юшкевичъ († 1745): «которая книга, какъ напримѣръ всякому искусному маистеру инструменты, воину оружіе, плавающему корабленику на морѣ кормило, такъ оная намъ нужная, полезная и весьма потребная... Уже къ тому приходило», продолжаетъ Юшкевичъ, «что въ своемъ православномъ государствѣ о вѣрѣ своей и устѣ отворить опасно было: въ тотъ часъ бѣды и гоненія надѣйся». Понятно также, почему «винны» лютеранства, исчисленныя «Камнемъ Вѣры»: несоблюденіе постовъ, непочитаніе святыхъ и непоклоненіе ихъ иконамъ и др., служили почти постоянными темами проповѣдей при Елисаветѣ. Отъ лютеранскихъ притязаній на русскую церковь проповѣдники часто переходятъ ко вреду, причиняемому иностранцами Россіи вообще: релігіозная ревность находила новую пищу въ патриотизмѣ. Слово Юшкевича въ день рожденія Елисаветы (1741) раскрываетъ эту «ухищренную политику пришлецовъ, губителей отечественнаго счастья»: «Быль ли кто изъ Русскихъ искусный, напримѣръ: художникъ, инженеръ, архитектъ, или содѣлать старшій, а наипаче ежели онъ былъ ученикъ Петра Великаго,—тутъ они тысячу способовъ придумывали, какъ бы его уловить, къ дѣлу какому-нибудь привязать, подъ интересъ подвести и такимъ образомъ или голову ему отсѣчь, или послать въ такое мѣсто, гдѣ надобно необходимо и самому умереть отъ глада, за то одно, что онъ инженеръ, что архитектъ, что ученикъ Петра Великаго.... Всѣхъ людей добрыхъ, простосердечныхъ, государству доброжелательныхъ и отечеству весьма нужныхъ и потребныхъ, подъ разными претекстами губили, разоряли и вовсе искореняли, а равныхъ себѣ безбожниковъ, безсовѣстныхъ грабителей, казны государственныя похитителей, весьма любили, ублажали, въ ранги великіе производили, отчинами и денегъ многими тысячами жаловали и награждали.... Только тѣнью, только тѣломъ здѣсь, а сердцемъ и душою внѣ Россіи пребывали. Всѣ свои сокровища, всѣ богатства, въ Россіи неправдою нажитыя, вонъ изъ Россіи за море высылали, и тамо иные въ банки, иные на проценты многіе милліоны полагали. Ежели кто сему не хочетъ вѣровати, поиди въ Голландію, въ Англію—тамо лучше увѣдаешь». Слово Кирилла Флоринскаго, ректора московской академіи († 1743), произнесенное по тому же поводу и въ тотъ же самый годъ, отличается еще большею откровенностью: оно указываетъ прямо на лица, называя ихъ собственными именами—Остерманомъ, Минихомъ. Кромѣ общихъ причинъ недовольства, проповѣди вспоминаютъ частныя, собственно къ духовному чину

относившіяся въ то «железное время, когда неправда царствовала, а правда за карауломъ сидѣла». Турецкая кампанія 1736—39 г.г. похитила многія тысячи церковниковъ, которые, отъ 15 до 40 лѣтъ, безъ разбора были взяты въ военную службу «для нынѣшней нужды въ комплектованіи арміи и гарнизоновъ», какъ сказано въ одномъ изъ указовъ. Многіе пастыри пострадали въ эпоху Виронова могущества. «Колпное гоненіе на самыхъ благочестіа защитителей, на самыхъ священныхъ тайнъ служителей!» восклицаетъ Свѣченоевъ: «архіереевъ, священниковъ, монаховъ мучили, казнили, разстригали; непрестанныя почти и водою и сухимъ путемъ отвозятъ ихъ въ дальніе сибирскіе города, въ Охотскъ, въ Камчатку, Оренбургъ; и тѣмъ такъ устрашили, что уже и самые проповѣдники слова Божія молчали и устъ не смѣли о благочестіи отверсты. И правда, духъ бодръ, а плоть немощна: не всякому-то благодать мученичества посылается».

Приведенные отрывки знакомятъ съ литературнымъ характеромъ духовнаго краснорѣчія при Елисаветѣ. Живое отношеніе къ современности, яркая картина текущихъ или недавно протекавшихъ событий, наивность и грубость многихъ выхонокъ, рѣзкія обличенія, переходящія то въ шутку, то въ страстную сатиру, сообщали ему интересъ, какой рѣдко находимъ и въ произведеніяхъ свѣтской словесности. Стоя за общерусское дѣло, и кромѣ того вовлеченный въ него личными побужденіями, пастырь церкви всенародно изливаетъ ропотъ, который долго таился въ его душѣ и въ душѣ его слушателей. Особенный талантъ выдается въ Свѣченоевъ. Его поученія: въ день Благовѣщенія (1742) и въ день явленія иконы Казанской Богоматери (1742), принадлежатъ къ самымъ характеристичнымъ явленіямъ проповѣднаго слова. Противоположность нашей жизни христіанскимъ обязанностямъ, наполняющая цѣлую половину втораго поученія, отличается смѣлымъ, оригинальнымъ изображеніемъ пороковъ и простотою разговорнаго языка. Таковы же многія мѣста и перваго поученія. Вотъ какъ проповѣдникъ описываетъ безпечность христіанъ о душѣ и ихъ заботливость о тѣлѣ: «Поносимъ праотца нашего, что за яблоко душу продалъ; а мы за чарку винца, за ласкательство, за честишку, за малую славицу, въ судѣ за гостайнецъ, въ торгу за копѣйку, въ постѣ святой за курочку душу нашу промѣниваемъ. Поднеси чарку винца, поласкай, пошепчи во ухо: я тебя не оставлю; вовеми и душу, готовъ и правду потерять, готовъ и вѣры отступить, готовъ и благочестіе отвергнуть. Не смѣхъ ли? имѣнія наша, мѣдь, серебро, ихъ же тля тлитъ и ржа свѣдаетъ, замѣнами и стражами утверждаемъ; а душа наша, вся отъ хитраго злодѣя діавола ограждена,

въ нищету пришла: нѣтъ въ ней ни красоты, ни любви, ни богемскія, ни правды, ни жалости — о томъ и не смотримъ». Духовныя слова и рѣчи первыхъ лѣтъ царствованія Елисаветы по тону своему могутъ быть слываемы съ проповѣдями католической лги (1577). И тѣ и другія не скупились на крупныя эпитеты врагамъ. Остерманъ и Мпннхъ называются дьявольскими эмиссарами, вѣзшими съ собою совѣщенье въ Россію; челоѣкоудными птицами, мечавшими блтъ и терзать сѣннолиственное древо, что возрасло изъ Петрава сѣмени; златица бумирами, которые дакъ кліенты не устыдились молвляться и приносить жертвы, какъ болванамъ; свудельными идолами, ихъ же сокрушилъ Господь; образами и жрецами Ваала; чадами и наследницами геенны; душепагубными министрами беззаконія. Особенно прилежалъ неподованіе Остерманъ, за «зловѣское укрывательство тестамена, Екаторины I»; проповѣдники угодбляютъ его «Хрисанію емуху, еретику хитрокозвенному», «окаянному Симону волхву, хреному душею, совѣстію и ногами» (наметъ на лодатру Остермана). Стиль проповѣдей, въ мострой и пріемахъ, южно-руескій: томе смѣшеніе именныи съ сервезными, возвыщеннаго съ тривіальными. Схоластическая теорія духовнаго ораторства, наложивъ донать евою даме на частности, каковы, напримѣръ, распространеніе проповѣди чрезъ толкованіе именъ, чрезъ сближеніе временъ событій. Развивая мысль, что «Богъ еще въ рожденіи Елисаветы оправдиль ей державу», Юнкеничь основываетъ еднѣ изъ аргументовъ на томъ, что въ этотъ день (18 декабря) церковь празднуетъ память св. мученика Севастіана, «а это греческое имя толкуется на нашемъ языкѣ: достоинъ чести». Слово Флоринскаго мѣлодѣть знаменательнымъ день воцаренія «Петровой» дочери (25 ноября), югда церковь совершаетъ память священномученика Петра Александрійскаго. Встрѣчается также безразборчивое употребленіе иностранныхъ словъ въхото русскими или церковно-славянскими: Овченость называлъ Іоанна Дамаскина «философін» и богородицу прахрабрнѣй каналеромъ, монашескииъ лировъ генераломъ».

Лирика Ломоносова была отголоскомъ тѣхъ же самыхъ чувствъ, которыя выражала и духовная, и свѣтская литература — отъ академическихъ рѣчей до надписей на гравюрахъ. Если разебравъ составъ его похвальныхъ одъ, то содержаніе каждой изъ нихъ свадетель въ такому ряду мыслей: стѣсненное положеніе Елисаветы и печальное состояніе Россіи по смерти Петра и Екаторины, желаніе видѣть на престолѣ Петрово племя, сѣгованіе о томъ, что желаніе долго не исполнялось, радость при желаніи исполненномъ. Выраженіе этихъ мыслей немногимиъ отличается отъ оборотовъ

проповѣднаго слова: «Елисавета была оставлена судьбою»; «Россія пребывала въ глубокомъ мракѣ», или: «оскорбленный народъ сидѣлъ въ печальнѣйшей вочѣ»; «для русскихъ музъ наступило грозное время: онѣ обречены были на страхъ и горькія слезы»; «съ Елисаветой ночь перемѣнилась на полдень»; «подобно Астрей, она ввела къ намъ златныя лѣта»; «Богъ въ гнѣвѣ своемъ хотѣлъ казнить Россію потопомъ бѣдъ, но ради Елисаветы, новаго Ноя, преложилъ гнѣвъ на кротость». Что для Ломоносова «Ной и Вавилонъ бѣдъ», то для духовнаго оратора «Моисей и египетскій плѣнъ»: смыслъ сравненій — одинъ и тотъ же. Есть и другіе пункты сходства между похвальными словами Ломоносова и проповѣдями 1741—51 годовъ. Въ праздникъ коронованія императрицы, Ломоносовъ произноситъ слово Петру на томъ основаніи, что она есть истинная наслѣдница дѣлъ своего отца: слѣдов., говоритъ ораторъ, похваляя Петра, похвалимъ и Елисавету. Нераздѣльность двухъ лицъ гораздо прежде была указана Флоринскимъ: «Егда услышите мя словожѣ, пишуща образъ отца великаго, въ томъ же да усматриваете и дочь великую; а егда услышите о великой дочери, тогда да разумѣвайте оживотворяющася Петра Великаго и Елсатерину въ Елисаветѣ». Мы знаемъ, что Юшневичъ подтверждалъ свою мысль толкованіемъ имени: Ломоносовъ также придавалъ особенную важность имени «Елисавета», означающему «тишину». Оближеніе событій, обычный приемъ схоластическаго ораторства, встрѣчается у Ломоносова, какъ онъ уже встрѣчался у Флоринскаго: послѣдній находилъ знаменательнымъ день вступленія Елисаветы на престолъ; первый выводилъ знаменательное заключеніе изъ того обстоятельства, что Елисавета родилась въ годъ Полтавской битвы.

Но, при видимомъ сходствѣ, есть и существенное различіе. Главное чувство проповѣдниковъ — религіозная ревность, и важнѣйшее для нихъ достоинство новаго царствованія — возстановленіе благочестія. Главный интересъ Ломоносова — наука, и преимущественная заслуга государыни — возстановленіе просвѣщенія, начатаго Петромъ. Хотя онъ восхваляетъ и набожность Елисаветы, но гораздо больше хвалитъ ее за покровительство музамъ. Забота о размноженіи ученыхъ соотечественниковъ никогда его не покидала. Въ похвальномъ словѣ Елисаветѣ, онъ представляетъ себѣ, что государыня обратилась къ русскимъ юношамъ съ тѣми словами, которыя находится въ академическомъ регламентѣ: обучайтесь прилежно: «я видѣть Россійскую Академію изъ сыновъ Россійскихъ состоящую желаю». Поэтому однѣ всего болѣе раскрываютъ пользу просвѣщенія для Россіи. Взглядъ на Петра, какъ на идеаль

монарховъ, господствуетъ также въ приступахъ и заключеніяхъ академическихъ словъ: это — своего рода панегирики монарху, который, «принявъ Россію, удаленную отъ свѣта ученія, поставилъ ее на пути яснаго сознанія», даровалъ ей «новое рожденіе». Какъ древніе поэты имѣли обычай начинать и оканчивать свои стихотворенія призываніемъ боговъ или похвалою героевъ, къ богамъ причисленнымъ, такъ и Ломоносовъ (по собственнымъ словамъ его) начиналъ и оканчивалъ свои ученые разсужденія похвалами «богоственному Петру, общему примѣру и предводителю».

Ученныя сочиненія Ломоносова, какъ по физикѣ и химіи, такъ и по словесности, отличаются строгой и стройной системой, подведеніемъ частныхъ фактовъ подъ законы. По свойству ума своего, онъ всегда стремился къ обобщеніямъ. Онъ умѣлъ примирять крайности методовъ опытнаго и умозрительнаго, взаимно ихъ ограничивалъ и дополнял. Хотя онъ понималъ важность наблюденій и опытовъ, однакожъ чуждался той практики, которая довольствуется одними фактами и не даетъ никакихъ общихъ выводовъ. Въ «Словѣ о происхожденіи свѣта» онъ удивляется тѣмъ, которые, съ похвалою обращаясь въ одной химической практикѣ, выше угля и пеплу головы своей поднять не смѣютъ: «для чего же толь многіе учинены опыты въ физикѣ и химіи? для чего толь великихъ мужей были труды и жизни опасныя испытанія? для того ли толь, чтобы, собравъ великое множество разныхъ вещей и матерій въ беспорядочную кучу, глядѣть и удивляться ихъ множеству, не размысливъ о ихъ расположеніи и приведеніи въ порядокъ?» Съ другой стороны Ломоносовъ хотя любилъ строить теоріи, но всегда основывалъ ихъ на опытахъ и наблюденіяхъ. Нилучшимъ способомъ въ ученыхъ изслѣдованіяхъ почиталъ онъ слѣдующій: «изъ наблюденій устанавливать теорію, чрезъ теорію исправлять наблюденія». Расположеніе мыслей отличается у него логическою послѣдовательностью, которую онъ хвалитъ въ учителѣ своемъ Вольфѣ, не оставшемся безъ вліянія на ученика въ методическомъ изложеніи знаній.

Сочиненій Ломоносова по теоріи словесности четыре: Письмо о правилахъ русскаго стихотворства (1789), Риторика (1748), Грамматика (1756) и Разсужденіе о пользѣ книгъ церковныхъ, въ русскаго языка (1755).

«Письмо о правилахъ русскаго стихотворства» прислано Ломоносовымъ изъ Германіи, вмѣстѣ съ его одой на вѣстіе, что при Академіи наукъ, о которомъ говорено выше. Тонъ его полемическій, такъ какъ оно содержитъ въ себѣ критическія замѣтки на способъ къ сложенію русскаго

стиховъ» Тредьяковскаго. Сходясь съ Тредьяковскимъ въ понятіи о главныхъ основахъ русской версификаціи, Ломоносовъ положительно расходился съ нимъ въ другихъ пунктахъ. Такъ «Способъ» полагалъ, что русскій гексаметръ не можетъ имѣть ни больше, ни меньше тринадцати слоговъ, и притомъ долженъ быть раздѣленъ на два полустіхія: (въ первомъ семь слоговъ, во второмъ шесть); что ямбическіе стихи хуже хорическихкихъ; что мужскія рѣзны неумѣстны въ нашемъ стихосложеніи. «Письмо», напротивъ, не видѣть причины, почему гексаметры и другіе стихотворные размѣры должны быть ограничены опредѣленнымъ числомъ слоговъ; дозволяетъ тринадцатисложнымъ стихамъ имѣть и не имѣть цесуры; находитъ, что ямбическіе стихи усугубляютъ благородство и величольіе предмета, ими выражаемаго. Всѣ эти теоретическія замѣтки были приняты русскою литературою, послѣ того какъ онѣ были оправданы и утверждены на практикѣ стихотворными образцами самого Ломоносова.

«Риторика» Ломоносова—первая на русскомъ языкѣ, потому что въ школахъ преподавали эту науку на языкѣ латинскомъ—не есть трудъ самостоятельный. Она одного покроя съ школьными риторическими руководствами, по которымъ самъ авторъ обучался въ Славяно-греко-латинской академіи. Источники ея правилъ и примѣровъ уже указаны въ риторикахъ Кауссина, Помея и Готшеда (у послѣдняго заимствована глава о возбужденіи страстей); логическія понятія (о сопряженіи простыхъ идей, объ изобрѣтеніи доводовъ) взяты у Вольфа; всего же болѣе, по содержанію и расположенію, она сходна съ русской риторикой, хранящейся въ Императорской Публичной Библіотекѣ въ рукописи XVII в. Ломоносову принадлежитъ группировка заимствованнаго и примѣры какъ русскіе, такъ и переводимые изъ древнихъ и новыхъ авторовъ. Въ числѣ первыхъ многіе выбраны изъ сочиненій самого автора; переводы показываютъ искуснаго переводчика: они точны и близки къ подлиннику.

Соотвѣтственно характеру древне-русской литературы, преимущественно духовной по содержанію и церковно-славянской по языку, до Ломоносова существовали только грамматики «славянскія», за исключеніемъ одной русской (студента Ададунова), «весьма несовершенной и во многихъ мѣстахъ неисправной». Главнѣйшею изъ этихъ церковно-славянскихъ грамматикъ была Малетія Смотрицкаго (1619 г.), составленная по образцу греческихъ и латинскихъ грамматикъ и послужившая во многомъ Ломоносову. Какъ древнерусскіе азбучовники, или словари, имѣли цѣль благочестивую—истолкованіе непонятныхъ рѣчей въ Св. Писаніи,—такъ и грамматика дол-

дня была служить для исправленія церковныхъ книгъ и для правильного, ихъ уразумѣнія: «грамотное ученіе есть дѣло Божіе. Кто пренебрегаетъ имъ, даже въ чтеніи, спѣшиа и ошибаясь въ удареніяхъ, тотъ творить грѣхъ». Такимъ образомъ церковно-славянскія грамматики имѣли значеніе «служебное», состоящее въ пользованіи ими при чтеніи священныхъ книгъ и пониманіи ихъ смысла. Ломоносовъ, первый, освободилъ эту науку отъ исключительнаго приложенія къ церковному дѣлу и возвелъ ее въ область самостоятельнаго, независимаго знанія. За норму русскаго языка, подлежащаго изслѣдованію въ его этимологическихъ и синтаксическихъ законахъ, онъ принялъ «разсудительное его употребленіе»: каждая грамматическая форма разсматривается, какъ существующій фактъ, который долженъ быть объясненъ, но который не можетъ быть измѣненъ по требованіямъ теоріи. Разлагая литературный языкъ на составныя части, Ломоносовъ приводитъ двѣ главныя ихъ группы: областныя нарѣчія (просторѣчіе) и языкъ церковно-славянскій. Изъ областныхъ нарѣчій онъ отдалъ предпочтеніе московскому, «не токмо для важности столичнаго города, но и для его отиѣнной красоты». Между просторѣчіемъ и церковно-славянскими формами проведены имъ границы, опредѣляемыя какъ существомъ языка, такъ и литературнымъ его употребленіемъ: онъ отмѣтилъ нѣкоторые славянизмы въ противоположность соответствующимъ руссизмамъ, такъ что Грамматика его имѣетъ право быть названа «сравнительной».

Показавъ въ Грамматикѣ различіе языковъ русскаго и церковно-славянскаго по грамматическимъ формамъ, Ломоносовъ раздѣляетъ ихъ и въ отношеніи лексикологическомъ въ разсужденіи: «о пользѣ церковныхъ книгъ въ російскомъ языкѣ». Сущность разсужденія состоитъ въ слѣдующемъ: Какъ предметы, изображаемые словомъ, различны по своей важности, такъ и русскій языкъ, чрезъ употребленіе славянскихъ словъ, имѣетъ разныя степени: высокій, средній и низкій. Эта разностепенность зависитъ отъ трехъ родовъ русскихъ словъ: къ первому относятся слова, общія славянскому и русскому языкамъ (*Богъ, слава, мнѣ...*); ко второму — славянскія, хотя и мало употребительныя, но каждому грамотному понятныя (*Господень, отверзая, насажденный...*); къ третьему — русскія (*юворю, ручей, катарый, пока, мнѣ*). Отъ разсудительнаго употребленія этихъ трехъ родовъ реченій происходятъ три стили: высокій, средній и низкій. Высокій стиль образуется изъ словъ славяно-русскихъ, т. е. находящихся въ обоихъ языкахъ, и словъ славянскихъ, вразумительныхъ русскому; средній изъ словъ русскихъ, съ осторожнымъ прибавленіемъ словъ славянскихъ; низкій — изъ

словъ русскихъ. Кромѣ словъ, Ломоносовъ принимаетъ въ соображеніе и формы ихъ (причастныя и дѣепричастныя). Такимъ образомъ, усвоивъ ученіе Аристотеля и Квинтиліана о трехъ родахъ слога, Ломоносовъ въ славянскомъ языкѣ видитъ средство «къ сильному изображенію идей важныхъ и высокихъ», стихію образующую высокій стиль.—Мнѣніе Ломоносова о пользѣ церковно-славянскаго языка привело, однакожъ, къ противоположному результату. Слѣдовавшіе за нимъ писатели, подчиняясь его авторитету, не умѣли соблюдать того «осторожнаго введенія славянскихъ словъ», которое должно соотвѣтствовать матеріи. Они думали писать высокимъ слогомъ, наполняя свою рѣчь славянщиной, такъ что подъ перомъ ихъ образовался особый литературный языкъ, названный въ насмѣшку «славено-россійскимъ» и вызвавшій, какъ увидимъ, реформу Карамзина. Впрочемъ, въ самой основѣ разсужденія о пользѣ церковныхъ книгъ заключается ошибка. Не говоря уже о произвольномъ дѣленіи стиля на три степени, оно ставитъ высокій стиль въ зависимость отъ славянскаго элемента. Внѣшнее выраженіе есть оболочка внутренняго, т. е. содержанія: послѣднимъ опредѣляется первое. Дѣло не въ выборѣ важной матеріи (предмета), а въ важности того, что оказалось при изслѣдованіи или созерцаніи этого предмета. Если умъ пораженъ мыслями, открытыми при изученіи предмета, если чувство возбуждено его истинностью или красотою, если онъ произвелъ сильное воодушевленіе въ мыслителя или поэта, тогда содержаніе, добытое мыслителемъ или поэтомъ, будетъ непременно велико и потребуетъ соотвѣтственнаго ему словеснаго выраженія. Весь вопросъ, слѣдовательно, сводится на соотвѣтствіе рѣчи содержанію, т. е. мыслямъ и чувствамъ. А на такое соотвѣтствіе русскій языкъ такъ же способенъ, какъ и славянскій: за чѣмъ же послѣднему отдавать въ этомъ отношеніи преимущество и предписывать правило, когда и въ какой мѣрѣ смѣшивать его съ первымъ? Каждое слово хорошо, если соотвѣтственно передаетъ выражаемое. Арханизмъ и неологизмъ, варваризмъ и руссизмъ, областное слово и общепринятое въ литературномъ языкѣ съ равнымъ правомъ могутъ быть употребляемы для наиболѣе удачнаго выраженія предмета или понятія, т. е. наиболѣе согласнаго съ ихъ сущностью или съ производимымъ ими впечатлѣніемъ. Самъ Ломоносовъ не рѣдко отступалъ отъ своей теоріи, поддаваясь природному чутью. Доказательствомъ служить первая строфа «Вечернаго размышленія о Божіемъ величествѣ», гдѣ нѣтъ ни одного славянскаго слова, а между тѣмъ описаніе наступившей ночи производитъ величественное впечатлѣніе, особенно послѣдніе два стиха:

Открылась бездна, звѣздъ полна:
Звѣздамъ числа нѣтъ, безднѣ дна.

Было бы не трудно русскія слова: *открылась*, *нѣтъ*, замѣнить славянскими: *отверзлась*, *нѣсть*, но авторъ этого не сдѣлалъ, понимая или чувствуя, что элементъ величественнаго заключается здѣсь въ мысли о неизмѣримости міроздавія и что эта мысль нисколько бы не выиграла отъ двухъ славянизмовъ. Но «Разсужденіе о пользѣ книгъ церковныхъ» не ограничиваетъ пользы славянскаго языка лишь тѣмъ, что онъ «высокія мысли сугубо возвыситъ»; оно указываетъ еще двѣ другія его выгоды: приобрѣтеніе умѣнья соблюдать ровность слога и устраненіе «дикихъ и странныхъ словъ негѣпостей» (варваризмовъ), заимствуемыхъ изъ языковъ западныхъ. Съ этой стороны справедливость взглядовъ Ломоносова не подлежитъ сомнѣнію. Вторженіе иностранныхъ словъ, пестрившіихъ и искажавшихъ рѣчь нашихъ писателей, и послужило, какъ надобно думать, поводомъ къ «Разсужденію». Оно было въ большемъ ходу въ XVII в. между малорусскими учеными, которыхъ сочиненія наполнялись латинизмами и полонизмами, но приняло усиленные размѣры со времени Петровской реформы и продолжалось при Петрѣ II и Аннѣ Іоанновнѣ, какъ доказывается обиліемъ реченій, взятыхъ изъ западныхъ языковъ и безъ разбора употреблявшихся какъ въ книжной, такъ и разговорной рѣчи. Нужно было не только указать зло, но и дать средство къ его уничтоженію. Ломоносовъ и предложилъ для этого — «старательное и осторожное употребленіе сроднаго намъ кореннаго славянскаго языка куще съ російскимъ».

Литературные образцы, данные Ломоносовымъ, не отступаютъ отъ правилъ, предложенныхъ имъ въ ученыхъ сочиненіяхъ по словесности. Между ними и не могло быть противорѣчій, такъ какъ первые (образцы) принимались не только въ соображеніе, но и въ основаніе при постановкѣ вторыхъ (правилъ). Объяснивъ пользу церковныхъ книгъ для языка русскаго, Ломоносовъ, въ концѣ разсужденія, совѣтуетъ любителямъ отечественнаго слова съ прилежаніемъ читать эти книги, *утѣрся своимъ искусствомъ* въ общей и частной пользѣ, какая отъ того воспослѣдуетъ.

Стихъ Ломоносова, построенный согласно съ его «Письмомъ о правилахъ російскаго стихотворства», былъ для своего времени явленіемъ необыкновеннымъ, даже безъ сравненія съ стихотвореніями Кантемира и Тредьяковскаго. Онъ выразителенъ, мужественъ и благозвученъ. И теперь, по истеченіи почти полутора столѣтій, многія строфы его одъ (особенно въ Одѣ избранной изъ Іова) на

потеряли своего достоинства. Такова, наприм., наивѣстная строфа о пользѣ наукъ въ одѣ 1747 («науки юношей питають»), или въ одѣ 1746 г.:

Намъ въ ономъ ужасѣ (1) казалось,
Что море въ ярости своей
Съ предѣлами небесъ сражалось,
Земля стенала отъ зыбей,
Что вихри въ вихри ударились,
И тучи съ тучами спирались,
И устремился громъ на громъ,
И что надуты водъ громады
Текли покрыть пространны грады,
Сравнять хребты горъ съ влажнымъ дномъ.

Создавъ стихотворную рѣчь, Ломоносовъ создалъ и языкъ, нужный для изложенія знаній, который отличается у него ясностью, точностью, выразительностью, яснымъ доказательствомъ чего служить его «Первыя основанія Металлургіи» (1763). Онъ имѣлъ право сказать о себѣ, что его «разнаго рода надлежащими до наукъ сочиненіями стиль российский вычистился и сталъ способенъ къ выраженію идей трудныхъ». Надобно жалѣть только, что немногіе изъ послѣдовавшихъ за нимъ естествоиспытателей старались подражать его ученому слогу.

Отношеніе «Риторики» Ломоносова къ его сочиненіямъ доказывается уже тѣмъ однимъ, что онъ приводилъ въ ней многіе выбранныя изъ нихъ примѣры, въ подтвержденіе предлагаемаго ученія. И дѣйствительно, историческое ея значеніе состоитъ въ томъ, что она служитъ лучшимъ комментариемъ къ литературнымъ произведеніямъ автора, особенно похвальнымъ словамъ и одамъ. Прозаическая рѣчь Ломоносова была, такъ же какъ и стихотворная, великимъ шагомъ впередъ по своей чистотѣ и строю, хотя нельзя не замѣтить, что въ этомъ строѣ, по направленію того времени, много искусственнаго и условнаго.

Что касается до «Разсужденія о пользѣ книгъ церковныхъ въ российскомъ языкѣ», положившаго различіе между тремя родами слога и указавшаго, въ какихъ именно сочиненіяхъ долженъ быть употребляемъ каждый изъ этихъ родовъ, то Ломоносовъ не отступалъ отъ рекомендуемыхъ имъ правилъ: высокимъ стилемъ написаны у него трагедіи, оды, похвальные слова, поэма Петръ Великій; среднимъ—разсужденія, Письмо къ Шувалову о пользѣ сте-

¹⁾ Говорится о печальномъ состояніи Россіи при Аннѣ Іоанновнѣ (Ода 6-ая, на восшествіе на престолъ Елисаветы).

кла; низкимъ (простымъ) — письма къ Шувалову и другимъ лицамъ.

Историческій трудъ Ломоносова: «Древняя Россійская Исторія отъ начала русскаго народа до кончины Ярослава I», дѣлится на двѣ половины: одна содержитъ въ себѣ изслѣдованіе о древностяхъ, другая — изложеніе событій. Авторъ поставилъ свою задачу — открыть свѣту древность русскаго народа и славныя дѣла государей, въ противоположность тѣмъ сочиненіямъ иностранцевъ, которыя «высматривали пятна на одеждѣ русскаго тѣла». Это намѣреніе видно изъ самихъ названій нѣкоторыхъ главъ Исторіи: «о величествѣ славянскаго народа», «о дальней древности славянскаго народа». Для рѣшенія предложенной задачи было естественно искать сходства между исторіею отечественною и исторіею грековъ и римлянъ, такъ какъ они служили образцами нововропейскому міру. Ломоносовъ находитъ его «въ порядкѣ дѣяній русскаго народа съ римскими»: «владѣніе первыхъ королей соответствуетъ числомъ лѣтъ и государей самодержавству первыхъ самовластныхъ великихъ князей русскаго народа»; гражданское въ Римѣ правленіе подобно раздѣленію нашему на разныя княженія и на вольные города, нѣкоторымъ образомъ гражданскую власть составляющему; потому единоначальство кесарей согласно самодержавству государей московскихъ». Такое чисто внѣшнее оближеніе двухъ различныхъ исторій объясняется чувствомъ патріотизма, отношеніями Россіи къ Швеціи, которая не могла забыть сѣверной войны, и враждою двухъ партій въ Академіи наукъ: нѣмецкой и русской. Мнѣнія академиковъ Байера и Миллера о скандинавскомъ происхожденіи Руси, «предосудительныя для русскаго народа», оскорбили Ломоносова. Онъ, равно какъ и другіе Русскіе, не могъ примириться съ тою мыслию, что славяне водвореніемъ у нихъ порядка и государственнымъ устроившемъ одолжены не себѣ самимъ, а иностранцамъ, и въ добавокъ еще нашимъ врагамъ (Шведы — скандинавскаго племени). Поэтому вопросъ: «кто были варяго-руссы?» рѣшается имъ иначе: онъ ведетъ ихъ, вмѣстѣ съ пруссами, отъ славянскаго рода; думаетъ, что и языкъ ихъ славянскій, только чрезъ смѣшеніе съ другими языками отдѣлившійся отъ своего корня, что самое слово «Пруссія» составлена изъ существительнаго «Русь» и предлога «по» (Порусь, Порусіа), и что Рюрикъ, первый русскій князь, славянскаго, а не скандинавскаго рода, происходитъ отъ римскаго императора Августа. Если русскія дѣла и русскіе дѣятели унижали передъ греческими и римскими, то «причина этому — бывшій нашъ недостатокъ въ искусствѣ, каковымъ историки Греціи и Рима своихъ героевъ въ полной славіи продали вѣч-

ности». Въ слѣдствіе сказаннаго, Ломоносовъ смотрѣлъ на свой трудъ со стороны искусства. Онъ долженъ былъ представить краснорѣчивое изложеніе отечественныхъ событій и, для выполненія обязанности, перелагалъ разказы лѣтописей на языкъ и тонъ похвального слова. Поэтому въ его исторіи риторическій элементъ преобладаетъ надъ научнымъ, историческимъ. Инаго и нельзя было требовать отъ Ломоносова: онъ ваялъ за трудъ безъ надлежащей къ нему подготовки, единственно по порученію Шувалова. Сочиненіе книги обратилось для него въ дѣло официальное (1).

§ 18. «Установителемъ русскаго театра» считаютъ Сумарокова (Александра Петровича, 1718—1777). При Аннѣ Іоанновнѣ были двѣ труппы—италіанская и нѣмецкая: первая давала оперы-буфы, вторая—комедіи и фарсы. Переводомъ италіанскихъ комедій и интермедій занимался Тредьяковский; въ 1736 г. напечатана переведенная имъ съ французскаго «драма на музыкѣ», т. е. опера, «Сила любви и ненависти». Въ царствованіе Елисаветы, съ котораго началось французское вліяніе на жизнь, литературу и языкъ образованнаго класса Русскихъ, открыло свои представленія французское общество актеровъ, приглашенное изъ Касселя и обязавшееся играть трагедіи и комедіи; независимо отъ этого, при дворѣ находились и нѣмецкій театръ, и италіанская опера. Но русскій театръ впервые явился не въ столицахъ, а въ провинціальномъ городѣ Ярославѣ. Основателемъ его былъ Федоръ Григорьевичъ Волковъ (1729—1763), сынъ костромскаго купца, по смерти отца переселившійся въ Ярославль, гдѣ мать его вышла во второй разъ за-мужъ за богатаго кожевеннаго заводчика Полушкина. Образовавъ изъ своихъ братьевъ и знакомыхъ купцовъ и подъячихъ небольшую труппу, онъ, въ именины своего вотчина, представилъ драму «Есепрь». Сценою служилъ кожевенный сарай. Игра и декорации привели въ восторгъ зрителей. Тогдашній ярославскій воевода Мусинъ-Пушкинъ вмѣстѣ съ помѣщикомъ Майковымъ уговорили ярославскихъ дворянъ и купцовъ завести театръ. Устройствомъ его занимался Волковъ, человѣкъ, выходившій изъ

1) Жизнь описаніе Л—ва въ I т. Исторія Ак. Н., П. Пекарскаго (1873); Brisse v. Christian Wolff (1860); Л—въ, студентъ Марбургскаго университета, Сухомлинова (Рус. Вѣст. 1861, № 1); Л—въ, какъ натуралистъ и филологъ, Будиловича (1869) и его же: Л—въ, какъ писатель (1871); Матеріалы для біографіи Л—ва, Биларскаго (1865); Очеркъ академической дѣятельности Л—ва, Я. Грота (1865); М. В. Л—въ, біограф. очеркъ, В. Ламанскаго (1864); Л—въ и Петербургская Академія наукъ, его же (1865); Празднованіе столѣтней годовщины Л—ва въ Моск. университетѣ (1865); Къ столѣтней памяти Л—ва, Булича (1865); юбилейныя торжества по тому же случаю въ другихъ университетахъ.

ряда людей обывновенныхъ, по свидѣтельствамъ Новикова и Фонъ-Визина: послѣдній отзывается о немъ, какъ о «мужѣ глубокаго разума, исполненномъ достоинствъ, имѣвшемъ большія знанія и даже способнымъ быть государственнымъ человѣкомъ». Узнавъ объ ярославскомъ театрѣ, Императрица приказала, въ 1752 г., отправить въ Петербургъ братьевъ Волковыхъ, какъ «заводчиковъ» драматическихъ представлений, и ихъ товарищей (Дмитревскаго, двухъ Поповыхъ, Шумскаго и другихъ). Того же года «ярославцы» дебютировали на дворцовомъ театрѣ, въ присутствіи государыни и нѣкоторыхъ знатныхъ персонъ, въ комедіи: «О покаяніи грѣшнаго человѣка». Игра ихъ понравилась, но такъ какъ они не имѣли надлежащаго образованія, то ихъ (именно: Федора и Григорія Волковыхъ, Дмитревскаго и Алексѣя Попова) помѣстили въ кадетскій корпусъ для обученія иностраннымъ языкамъ и словесности.

Въ Петербургѣ, представленія русскихъ драмъ начались въ кадетскомъ корпусѣ, благодаря дѣятельности Сумарокова. Въ учебномъ курсѣ этого заведенія, гдѣ воспитывался Сумароковъ, литературное образованіе стояло на первомъ мѣстѣ. Кадеты устроили общество любителей русской словесности, въ которомъ читали опыты своихъ сочиненій и переводовъ. Сюда-то являлся и Сумароковъ съ своими стихотвореніями: нѣкоторыя изъ нихъ были напечатаны корпуснымъ начальствомъ, въ поощреніе таланта и въ награду за успѣхи. По выходѣ изъ корпуса (1740) познакомился онъ съ драматическими произведеніями Корнеля, Расина и Вольтера и задумалъ испытать собственныя силы въ трагическомъ родѣ. Трагедія его Хоревъ (1747) была первымъ обращеніемъ ложно-классической драмы. Кадеты сыграли эту пьесу сначала въ корпусѣ (1749), а потомъ (1750) на дворцовомъ театрѣ. За Хоровомъ слѣдовали другія трагедіи: Гамлетъ, Оливеръ и Труворъ, Артагона, Семира, Ярополкъ и Димизъ, Вышеславъ, Димитрій Самозванецъ, Мстиславъ. Рядомъ съ трагедіями шли комедіи. Въ 1756 г. последовало учрежденіе русскаго театра. Директоромъ его былъ назначенъ Сумароковъ, занимавшій эту должность около пяти лѣтъ.

Французско-классическая трагедія, образцы которой впервые даны намъ Сумароковымъ, возникла подъ двумя вліяніями: во-первыхъ, подъ вліяніемъ антической теоріи Аристотеля и греческихъ трагедій; во вторыхъ, подъ вліяніемъ національнаго характера французовъ и состоянія ихъ общественной жизни въ XVII и XVIII вѣкахъ. Понятно, что трагическая система, сложившаяся подъ дѣйствіемъ такихъ разнородныхъ элементовъ, должна была выйти не естественнымъ и оригинальнымъ явленіемъ искусства, а искусствен-

нимъ и ложнымъ. Въ основѣ ея лежатъ двѣ цивилизаціи: античная и новохристіанская, отдѣленныя одна отъ другой многими вѣками, различныя во всѣхъ отношеніяхъ, не допускающія никакого соглашения, или допускающія соглашеніе насильственное. Заимствуя мифологическія и историческія сюжеты греческой трагедіи, французскіе писатели измѣняли ихъ по требованіямъ своего вѣка и тѣмъ искажали какъ мифологію, такъ и исторію. Дѣйствующія лица, въ противоположность ихъ національному характеру, изображались по идеалу героическаго величія, какъ онъ сложился въ представленіи французскаго общества, въ эпоху Людовика XIV, при дворѣ котораго ложноклассическая трагедія достигла своего цвѣтущаго состоянія. Являясь не въ своемъ настоящемъ видѣ и духѣ, греки и римляне не были однакожъ и чистокровными французами. Примѣры отступленій французской трагедіи отъ ея подлинниковъ весьма часты. Такъ одна французская трагедія, имѣющая сюжетомъ судьбу Эдипа, измѣнила своему подлиннику (Эдипу Колонейскому, Софокла) въ той сценѣ, гдѣ Полиникъ приходитъ вымаливать прощеніе у оскорбленнаго имъ отца. Софоклъ Эдипъ, согласно понятіямъ своего времени о родительскомъ авторитетѣ, не только не прощаетъ сына, но даже отсылаетъ его отъ себя съ проклятіемъ. Напротивъ подражатель Софокла, какъ христіанинъ, заставилъ Эдипа изречь прощеніе, и такимъ отступленіемъ отъ подлинника искажилъ образъ страдальца: въ самомъ дѣлѣ, если главное лице пьесы дѣйствительно Эдипъ, то оно не могло простить Полиника; если же это лице простило, то оно не Эдипъ. Вотъ еще нѣсколько примѣровъ. Ахиллъ, въ Расиновой трагедіи «Ифигенія въ Авлидѣ», вовсе не похожъ на Гомерова Ахилла: въ послѣдствіи нѣтъ и тѣни того рыцарскаго духа, той деликатности чувствъ и изящной вѣжливости, какою отличается первый. Да и трудно вообразить подобныя качества въ такую эпоху народной жизни, когда еще существовало принесеніе людей въ жертву. При изображеніи легендарныхъ сюжетовъ, французскіе драматисты старались обходить чудесное, какъ суевѣріе, несогласное съ здравымъ смысломъ, и тѣмъ самымъ выступали изъ круга античныхъ религіозныхъ воззрѣній въ область разсудочности. Такъ въ одной трагедіи Тезей, на вопросъ придворнаго, правда ли, что онъ сходилъ въ царство тѣней, отвѣчаетъ, что здравомыслящій человѣкъ не долженъ вѣрить такой наглости и что этотъ слухъ былъ имъ распущенъ изъ политическихъ видовъ. Тотъ вкусъ, тѣ нравы, обычаи и свѣтскія приличія, которые образовались въ вѣпшемъ французскомъ обществѣ подъ влияніемъ двора Людовика XIV и соблюденіе которыхъ было обязательно въ литературѣ, вообще противорѣчатъ

сущности трагического. Трагизмъ состоитъ въ сильной душевной борьбѣ, изъ которой нѣтъ исхода. Дѣйствующія лица одушевлены или нравственной идеей, или страстью, и въ такомъ положеніи открыто изливаютъ свои мысли и чувства, забывая всѣ нныя отношенія, кромѣ общечеловѣческихъ. Въ трагедіяхъ французскихъ, на оборотъ, господствуютъ строгій порядокъ, сдержанность, этикетъ; сложность дѣйствія или быстрые переходы однихъ ощущеній къ другимъ воспрещаются ими, какъ оскорбленіе мѣры; онѣ избѣгаютъ патетическаго: пафосъ замѣняется у нихъ риторствомъ, ровное теченіе котораго только по временамъ, и то съ расчетомъ, возмущается страстными выходами. Главный законъ трагической системы французовъ заключается въ трехъ единствахъ (дѣйствія, времени и мѣста), «изъ которыхъ нѣтъ спасенія» (*hors des trois unites il n'y a point de salut*): единое дѣйствіе, изображаемое въ шестѣ, должно, отъ начала до конца, происходить въ одномъ и томъ же мѣстѣ, въ теченіе 24-хъ часовъ. Онѣ основаны на не вѣрно истолкованномъ ученіи Аристотелевой пѣтики и на одностороннемъ знакомствѣ съ трагедіями грековъ. Другою основою служило ложное понятіе французской теоріи о такъ называемомъ очарованіи, подъ которымъ она разумѣла не полноту и силу впечатлѣнія, производимаго на зрителей представленіемъ пьесы, а обманъ, т. е. приведеніе зрителей въ такое состояніе, чтобы они вымыселъ автора приняли за дѣйствительность и чувствовали бы себя не въ театрѣ, а въ жизни, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ происходило событіе. Но такое самонабвеніе невозможно: какого бы совершенства ни достигли механическая и декоративная части театра, такимъ бы искусствомъ ни отличалась игра актеровъ, пьеса, при первомъ же поднятіи завѣсы, представитъ зрителю многія неправдоподобныя вещи и слѣдовъ разочаруетъ его: наприхѣръ, зритель услышитъ, что греки говорятъ не на своемъ языкѣ, а на чужомъ, и говорятъ стихами, а не прозой, чего не было и не бываетъ. Между тѣмъ малая мѣра времени, отведенная французскими теоретиками трагедіи, отбросила объемъ дѣйствія и сдѣлала невозможнымъ всестороннее раскрытіе характеровъ. Дѣйствующія лица являются въ нихъ не какъ цѣльныя личности, съ многообразными качествами, а только одною своею стороною, съ однимъ чувствомъ или страстью (любовь, ненависть, честолюбіе, великодушіе...), которая и остается при нихъ во все продолженіе дѣйствія. Это и неестественно и утомительно. Чтобы познакомить зрителя съ тѣмъ, что предшествовало событію, служащему сюжетомъ драмы, французы болѣею частію посвящали первый актъ экспозиціи, т. е. изложенію завязки. Такое изложеніе образуетъ

эпическую часть піесн и своимъ характеромъ противорѣчить сущности драмы, которая требуетъ дѣйствія, а не разсказа о дѣйствіи, требуетъ овладѣть воображеніемъ зрителя съ первой же сцены. При главныхъ дѣйствующихъ лицахъ состоятъ очень часто ихъ наперсники и наперсницы: они, какъ довѣренныя лица, выслушиваютъ или повѣствованіе о судьбѣ героя и героини или ихъ исповѣдь чувствъ и мыслей—тоже эпическій элементъ, непригодный въ драмѣ, которая какъ о внѣшней исторіи, такъ и о внутреннемъ мірѣ всѣхъ лицъ даетъ знать зрителю посредствомъ ихъ дѣйствій и соотвѣтственныхъ рѣчей. Къ эпическому же элементу относятся донесенія вѣстниковъ о томъ, что происходило внѣ сцены; въ этомъ случаѣ французскіе трагики любили выказывать свое стихотворное искусство и потому удлинняли разсказъ не въ мѣру: въ Федрѣ (Расина) Тезей выслушиваетъ долгій разсказъ объ ужасной смерти Ипполита, а въ Гораціяхъ (Корнеля) Камилла столь же долгій разсказъ о смерти Куріацевъ. Разсказчики какъ бы забыли, въ какомъ душевномъ положеніи должны были находиться и отецъ при вѣсти о гибели сына, и дочь Горація при вѣсти о гибели любимого ею жениха. Разсудочность, преобладающая стихія въ духовномъ складѣ французовъ, внесла въ трагедію элементъ резонерства: страсть не мѣшаетъ героямъ и героинямъ расчитывать и размѣривать свое собственное положеніе, останавливаться съ запросами надъ своимъ чувствомъ.

Въ трагедіи дѣйствіе производится двумя дѣятелями: характерами лицъ и положеніями (ситуаціями), въ которыхъ лица находятся. Взаимное отношеніе этихъ дѣтелей, внутренняго (характера) и внѣшняго (положенія), даетъ начало двумъ трагическимъ системамъ: въ одной—положенія обусловлены характеромъ, въ другой—характеръ опредѣляется положеніями. Французско-классическая трагедія слѣдовала второй системѣ. Трагики выбирали необычайныя положенія, ставили среди нихъ личность и завязывали борьбу между ея чувствами съ одной стороны и данными обстоятельствами съ другой. Въ ряду страстей, овладѣвающихъ душею человѣка, они останавливали свое вниманіе чаще всего на любви. Она являлась у нихъ даже тамъ, гдѣ не была извѣстна ни исторія, ни преданія: Расинъ надѣлилъ ею Ипполита (въ Федрѣ), тогда какъ у Еврипида (въ трагедіи Ипполитъ), которому подражалъ Расинъ, оригинальность Тезеева сына и состоитъ именно въ свободѣ сердца. Выше сказано, что герои и героини французскихъ трагедій выступали передъ зрителями не въ полнотѣ своего характера, а только съ одною его стороною: поэты авторы и употребляли все свое искусство на изображеніе этой стороны. Отъ

достоинства изображенія зависѣло достоинство пьесы. Этой-то французской трагической системѣ подражалъ Сумароковъ, слѣд. все, о ней связанное, примѣняется и къ его пьесамъ. Онъ самъ гордился тѣмъ, что «явилъ Расиновъ театръ Россамъ». Сущность подражательныхъ его трагедій—представленіе одной какой-либо страсти, а не цѣльнаго характера—была опредѣлена еще Карамзиннымъ, сказавшимъ, что «Сумароковъ болѣе описывалъ чувства, нежели изображалъ характеры въ ихъ естественной и нравственной истинѣ». Главное мѣсто между этими чувствами занимаетъ любовь. Изъ ея столкновенія съ долгомъ образуется борьба, на которую нерѣдко указываютъ сами дѣйствующія лица, приведенныя въ необходимость выбрать одно изъ противоположныхъ влеченій и восклицающія въ припадкѣ отчаянія: «о должность (долгъ)! о любовь!» Крупные таланты, какъ напримѣръ Расинъ, умѣли съ успѣхомъ бороться съ стѣснительными условіями системы; у нихъ одна и та же страсть принимала, смотря по лицу, различный характеръ: любовь Герміоны (въ трагедіи Андромаха) отлична отъ любви Роксаны (трагедія Вазетъ), и ревность Федры отлична отъ ревности Герміоны. И въ изображеніи одного лица они представляли полное развитіе страсти со всѣми ея перипетіями, отъ первой вспышки до катастрофы. Сумароковъ не владѣлъ такимъ искусствомъ: Оснельда въ Хоревѣ, Семира въ трагедіи того же имени, Ильмена въ Синавѣ и Труворѣ и любятъ и выражаютъ свою любовь одинаково. Всепоглощающее дѣйствіе страсти доведено имъ до крайности въ Димитріи Самозванцѣ. Этотъ чудовищный тиранъ и думаетъ и говоритъ только о злодѣяствахъ, хотя на самомъ дѣлѣ онъ вовсе не такъ страшенъ, какъ бы слѣдовало ожидать по его словамъ. Онъ злобствуетъ и на себя самого: онъ желалъ бы «самъ съ собою раздѣлиться», чтобы наслаждаться собственной мукой; умирая, онъ восклицаетъ: «ахъ, если бы со мной погибла вся вселенная!» Такой «врагъ людей и естества», какъ называется себя Самозванецъ, стоитъ дѣйствительно «виѣ природы» и производитъ скорѣе комическое, чѣмъ трагическое впечатлѣніе. О вѣрности лицъ временнымъ и мѣстнымъ отличіямъ и говорить нечего: ихъ рѣчи, мысли, чувства и поступки несогласны ни съ характеромъ эпохи, въ которую они жили, ни съ характеромъ народа, къ которому принадлежали. Не смотря на свои варяжскія или славяно-русскія имена, они еще дальше отстоятъ отъ нашей исторіи, чѣмъ истинные греки и римляне отъ грековъ и римлянъ французской трагедіи.—Въ пьесахъ Сумарокова можно указать многія заимствованія изъ Расина и Вольтера. Ильмена походитъ на Альяру (въ трагедіи Вольтера того же имени); рассказъ Вѣст-

ника о смерти Трувора (3-ье явленіе 5-го акта) напоминаетъ разсказъ Терамена о смерти Иполита, въ Федрѣ; Синавъ и Труворъ, Мстиславъ и Ярославъ, какъ братья-соперники по любви, имѣли образцами Митридата, Британника, Никомеда и другія французскія драмы. Положеніе Ростислава, въ борьбѣ между любовью къ Семиру и долгомъ къ отцу и отечеству, подобно положенію Брутова сына, Тита, который измѣняетъ Риму изъ любви къ Тулліи, дочери Тарвиніи (въ трагедіи Вольтера: Брутъ). Сумарокову извѣстенъ былъ и Шекспиръ въ псевдо-классическихъ передѣлкахъ, какъ видно по трагедіи Гамлетъ и по нѣкоторымъ мѣстамъ въ другихъ пьесахъ: монологъ Самозванца «Не твердо на главѣ моей лежитъ вѣнецъ» (7-ое явленіе 2-го акта) есть подражаніе монологу Ричарда III; слова Ильмены о загробной жизни: «Ты самъ меня, ты самъ сей смертью поражаешь» (3-ье явленіе 5-го акта) сходны съ тревожными сомнѣніями Гамлета въ знаменитомъ монологѣ: «быть или не быть?»

Было бы излишнимъ почетомъ для Сумарокова ставить его лицомъ къ лицу съ Расиномъ, «котораго театръ явилъ онъ Россамъ», но столь же было бы одинакомъ несправедливо отрицать въ немъ драматическое дарованіе и его заслуги русской сценѣ. Пьесы его—первыя въ своемъ родѣ, и нѣкоторыя изъ нихъ содержатъ въ себѣ эффектныя сцены; въ нихъ есть движеніе—необходимая принадлежность драмы, котораго чужды эпико-лирическія трагедіи Ломоносова, почему послѣднія и не имѣли сценическаго успѣха, тогда какъ трагедіи Сумарокова нравились и образованному обществу, находившему въ нихъ знакомыя имъ свойства французской драмы, и публикѣ малообразованной, для которой онѣ были пріятной новостью и которая приходила отъ нихъ въ восторгъ и заучивала наизусть лучшія трагическія тирады. Должно поставить въ заслугу Сумарокову и то, что за трагическими сюжетами онъ большею частію обращался къ отечественной исторіи, а не къ греческой и римской. Наконецъ несомнѣнное достоинство трагедій Сумарокова заключается въ ихъ отношеніи къ идеямъ XVIII вѣка. Дѣйствующія лица часто разсуждаютъ о томъ, что обращало на себя вниманіе образованныхъ людей у насъ и въ Европѣ. Голосъ «просвѣтительной эпохи» всего слышнѣе въ монологахъ и сентенціяхъ, написанныхъ подъ вліяніемъ Вольтера, влагавшаго въ уста героевъ свои собственныя мнѣнія. Такъ Димитрій Самозванецъ бесѣдуетъ съ своимъ наперсникомъ Парменомъ о злоупотребленіи папскаго могущества, о бѣдствіяхъ, причиненныхъ фанатизмомъ въ новомъ свѣтѣ. Мысль Монтескье о чести, какъ основѣ героическихъ дѣлъ, высказана въ «Мстиславѣ»: трагедія эта, благодаря

выраженію возвышенныхъ мыслей, долго держалась на сценѣ. По разнымъ мѣстамъ разсѣяны изреченія касательно правъ и обязанностей власти. Статья современнаго журнала: «*Meusire de France*» (апрѣль 1755 г.), разбирая Синава и Трувора, видитъ особенную заслугу Сумарокова въ томъ, что онъ славить правосудіе и чело-вѣколюбіе, ополчается противъ неправды и жестокости. Піесы пер-ваго нашего трагика игрались и при дворѣ, и на публичномъ театрѣ, и въ школахъ: способствуя распространенію вкуса къ сце-ническому искусству, какъ одному изъ высшихъ удовольствій чело-вѣка, онъ съ тѣмъ вмѣстѣ возбуждали въ зрителяхъ чувства па-тріотизма, правды, чести, великодушія, гуманности.

Другая сторона литературнаго таланта Сумарокова высказа-лась въ сатирѣ, имѣвшей цѣлю, какъ онъ самъ говорить, «обли-чение презрительныхъ вещей». Къ этому роду его сочиненій, кромѣ собственно сатиръ, относятся: комедіи, нѣкоторыя басни и пѣсни, полемическія и многія другія статьи, въ стихахъ и въ прозѣ. Комедіи его, по отзыву современниковъ, не пользовались большимъ успѣхомъ: онѣ бѣдны содержаніемъ, исполнены несообразностей въ дѣйствіи и переносятъ чужіе нравы на русскую цѣну; но за то въ нихъ много смѣхотворной остроты, искренне-горячаго, наив-наго раздраженія, которое было свойственно нраву сатирика, и вѣрныхъ указаній на современные недостатки. Какой бы образецъ ни имѣлъ передъ собою писатель, онъ все же сынъ своего вре-мени, видитъ окружающія его явленія и не можетъ не воспроиз-водить ихъ, хотя часто и отступаетъ отъ дѣйствительности, под-чиняясь вліянію иностранной литературы. Басни, большею частію переведенныя изъ Лафонтена и почитавшіяся «сокровищемъ рос-сійскаго Парнасса», сами по себѣ не имѣютъ значенія; достоин-ство ихъ заключается въ указаніяхъ на современные нравы: это—также сатиры, только въ формѣ апологовъ.

Основные тѣмы Кантемировыхъ сатиръ: невѣжество и лжеобра-зованіе, перешли по наслѣдству къ дальнѣйшимъ сатирикамъ, съ тѣми, конечно, измѣненіями, которыя приносятъ съ собою жизнь общества, смѣняющая одни его недостатки другими, и развитіе понятій о качествахъ истиннаго просвѣщенія. «Презрительныя вещи» времени Сумарокова происходили также или отъ великаго невѣжества, или отъ самонадѣянной, поверхностной цивилизаціи. Въ первомъ ихъ отдѣлѣ стоятъ: несправедливость судей, лобдни-чество, высокоуміе знатныхъ родовъ, ханжество, суевѣріе, внима-ніе незаконныхъ процентовъ ростовщикамъ, незаконное «домо-строительство»; во второмъ: невѣріе, бессмысленное подражаніе иностранцамъ, литературный педантизмъ.

«Эпистола къ неправеднымъ судьямъ», «Сатира о худыхъ судьяхъ», «Письмо о заразительной болѣзни», «Почтеніе автора къ приказному роду», многія мѣста комедій и другихъ сочиненій преслѣдуютъ недостойныхъ исполнителей закона за ихъ безграмотность, злонамѣренную запутанность дѣлъ и лихоимство. Источникомъ судейской неправды Сумароковъ признаетъ невѣжество: «бездѣльство полагаетъ основаніе храма ея, безумство созидаетъ оный, непросвѣщенная сила, а иногда и смѣсившаяся съ пристрастіемъ, укрѣпляетъ оный». Бездѣльника кража для него предпочтительнѣе вѣздомъ: «судья-грабитель хуже вора, гаже всѣхъ тварей». Вся кровь его волновалась при мысли о богатствѣ, нажитомъ похитителями правосудія, когда онъ видѣлъ великолѣпныхъ господъ, которыхъ «отцы ходили въ чирикахъ, дѣды въ лаптяхъ, а прадеды босикомъ». Раздраженіе противъ подъячихъ выливалось у него то въ комической, то въ серьезной формѣ. Онъ называлъ ихъ «хамовымъ отродьемъ», «крапивнымъ сѣменемъ», «наперсниками бѣсовъ»; онъ справедливо думалъ, что обличеніе неправедныхъ судей должно извлекать слезы:

Сатирой ли сіи я строки нареку,
Коль слезный ими токъ у бѣдныхъ извлеку?

Стрѣлы его сатиры падали не на одну приказную мелочь: въ «Письмѣ» объ утѣсенной истинѣ (1759) онъ ропщетъ на Юпитера, который поразилъ громомъ низшихъ подъячихъ, пощадивъ главныхъ грабителей. Вмѣстѣ съ обличеніемъ козней ябеды, сатирикъ предлагалъ и средства искоренить ихъ. Первымъ средствомъ должно было служить образованіе приказнаго рода; вторымъ— систематическій сводъ законовъ. Въ «Похвальномъ словѣ Екаторинѣ II», Сумароковъ обращается къ ней съ такими словами: «Повели предъ писцами разогнута книгу естественныя грамматики, начало нашего предъ прочими животными преимущества, которыя многіе наши писцы и по имени не знаютъ. Повели имъ научиться изображать дѣла ясно, мыслить обстоятельно и порядочно, дабы знало общество, что написано.... Я, какъ сынъ и членъ отечества, не того желаю, чтобы древніе законы испровержены, а новыя установлены были, но чтобы они при случаяхъ исправляемы были. На что нѣтъ закона, или не обстоятеленъ законъ, или не ясенъ, на то бы законъ сочинился, исправился и изъяснился.... Участвія (частныя) законовъ [исправленія въ нѣсколько лѣтъ соберутъ къ совершенному уложенію довольно вещества].

Въ слѣдъ за Кантемиромъ и Ломоносовымъ, Сумароковъ показываетъ вредное вліяніе ханжества и суевѣрія на истинную добро-

дѣтель и на истинное просвѣщеніе. «Похвальное слово Петру» (1759) исчисляеть пользу паденія суевѣровъ: «возсіяло благочестіе въ полной истинѣ и стрѣлы ненасытныя злобы притупилися». Эти стрѣлы, «защищая невѣжество, корысть тунеядцевъ, легкомысліе тщетныхъ людей, устремлялись противъ ученія и премудрости, противъ разума и совѣсти, противъ благополучія подданныхъ и противъ законной власти обладателей». «Ода наслѣднику престола, Павлу Петровичу (1771), выхваляетъ его законоучителя, митрополита Платона, который, какъ новый Теофанъ, украшаетъ разумъ правдой, не внемля наглому лицемѣрству и не повинуюсь суевѣрію. Самые рѣзкія черты означенныхъ недостатковъ видимъ въ рѣчахъ Чужевата (ком. Опекунъ). Напротивъ, Тимантъ (въ ком.: Мать-совѣстница дочери) есть образъ человѣка, который не можетъ быть ни суевѣромъ, ни атеистомъ, потому что имѣетъ основательное понятіе о Богѣ и о природѣ.

Величаніе знатымъ родомъ, при отсутствіи полезной дѣятельности, осмѣяно въ сатирѣ о благородствѣ и въ нѣкоторыхъ комедіяхъ. Такихъ людей Сумароковъ ставитъ на одну доску съ тунеядцами. Перемѣну въ понятіяхъ о человѣческомъ и гражданскомъ достоинствѣ онъ ведетъ отъ реформы Петра: «Въ то время, когда Петръ I началъ преобразование Россіи, нагое (т. е. лишенное всякихъ заслугъ) благородство было главное достоинство, а украшеніе благородства гордость: преобразователь уничтожилъ значеніе такой гордости». Въ противоположность дворянской спеси, истинное благородство представлено въ лицѣ Валерія (ком. Опекунъ) и Октавія (ком. Нарцисъ).

Кашей (комедія Лихоимецъ), представляетъ, въ подражаніе Мольерову Гарпагону, скупаго и въ тоже время ростовщика, закупающаго за ссуду денегъ свыше указныхъ шести процентовъ. Онъ беретъ по двѣнадцати и по пятнадцати со ста, вопреки уставу о банкахъ (1754). На положеніе устава жалуется и другое лице, Салидаръ, въ комедіи «Приданое обманомъ»: «прежде сего брали по 15, по 20 руб. и больше со ста, а нынѣ только по 6 руб. приказано брать; не разоренье ли это?»

«Домостроительствомъ» (въ статьѣ того же названія) Сумароковъ называетъ «пріумноженіе изобилія». Если оно состоитъ «въ блаженствѣ не одного помѣщика, а всей деревни», тогда оно законно; если же, обогащая одного помѣщика, въ конецъ разоряетъ крестьянъ, тогда оно есть «ядъ имперіи» и должно быть названо «доморазорительствомъ». Тотъ въ большомъ заблужденіи, кто почитаетъ экономомъ жаднаго помѣщика, который на свое великолѣпіе, на заточеніе золота и серебра въ сундуки, на заведе-

ніе мануфактуръ и другихъ вымысловъ отягощаетъ крестьянъ: такая экономія противна моральному и политическому праву, раздражаетъ Божество и человѣчество. Утвердимъ же нашу помѣщичью власть на человѣколюбіи. Тѣло безъ головы быть не можетъ, однако и мизинецъ ноги есть членъ тѣла. Будучи главою своихъ подданныхъ, помѣщикъ обязанъ беречь и мизинецъ, ибо голова и мизинцу состраждеть».

Самонадѣянной, поверхностной цивилизаціи сатирикъ приписываетъ болѣе вреда, чѣмъ великому невѣжеству. Она поражаетъ невѣріе, которое хуже суевѣрія: «атеисты тоже, что сумасшедшіе и не могутъ быть честны; суевѣры добродѣтель колеблутъ, ханжи разрушаютъ, атеисты истребляютъ». Сумароковъ отличаетъ людей, не познающихъ Божества по недоумѣнію, отъ такихъ, которые становятся безбожниками въ слѣдствіе излишнихъ умствованій: «истинное образованіе увѣряетъ насъ въ бытіи Бога и его премудрости; ложная образованность ведетъ къ противоположному». Невѣрующіе суть «непросвѣщенные умствователи, отторгнутые злосердіемъ и коркою науки отъ добродѣтели и отъ естественнаго простоты. Не пустившіеся въ море отъ берега люди (простые, необразованные) видятъ единый берегъ; достигшіе другого берега люди (вполнѣ образованные) знаютъ оба берега; а посреди водъ безъ кормила носимые бурей (полуобразованные) не видятъ ни единого берега и, заблуждаясь по глубинѣ морской, о первомъ берегѣ не мыслятъ, а другого не знаютъ и, плыва безъ кормила, ждуть ежеминутно своей гибели». Такъ какъ безвѣріе по большей части заражало умъ, знакомые съ ученіемъ французскихъ энциклопедистовъ, то Сумароковъ нападаетъ вообще на излишество философій и въ частности на современную философію во Франціи. Комедія: «Ядовитый», въ лицѣ Герострата, указываетъ слѣдствія вредныхъ умствованій, эгоизмъ лжефилософа.

Въ современныхъ петиметрахъ Сумароковъ порицаетъ развращенное сердце, легкомысленныя понятія о нравственности, пристрастіе къ французскимъ модамъ и французскому языку, незнаніе языка роднаго, пренебреженіе всѣмъ отечественнымъ. Петиметръ Дюлижъ (ком.: Чудовища и Пустая ссора) есть достойный выродокъ внѣшняго, поверхностнаго образованія. Онъ тоже въ кругу мужчинъ, что Минодора (Мать-совмѣстница дочери) между женщинами. Преслѣдуя глухихъ модниковъ, Сумароковъ нерѣдко смѣшивать читателей наивными выходками своего запальчиваго гнѣва. Такъ, напримѣръ, дѣйствіе реформы на петиметровъ онъ полагаетъ лишь въ томъ, что они «изъ человѣковъ ненапудренныхъ превратились въ напудренную скотину».

Въ нѣкоторыхъ сочиненіяхъ Сумарокова выставлены слабыя стороны современныхъ литераторовъ, особенно педантизмъ, не смотря на то, что онъ самъ былъ педантъ, «ставившій, по выраженію Ломоносова, свое риемичество выше всего человѣческаго знанія». У него происходили частія столкновенія съ Ломоносовымъ и съ Тредьяковскимъ: и потому какъ порицанія такъ и похвалы собратамъ по ремеслу обуславливались у него расположеніемъ духа въ текущую минуту. Въ одной эпистолѣ онъ совѣтуетъ молодымъ стихотворцамъ подражать Ломоносову, и осмѣиваетъ Тредьяковского, подъ именемъ Штивеліуса:

И съ пышнымъ Пиндаромъ взлетай до небеси,
Иль съ Ломоносовымъ гласъ громкій вознеси:
Онъ нашихъ странъ Малгербъ ⁽¹⁾, онъ Пиндару подобенъ;
А ты, Штивеліусъ, лишь только врать спосособенъ.

Въ другой же эпистолѣ (о русскомъ языкѣ, 1748) тотъ же самый русскій Малербъ, русскій Пиндаръ, задѣтъ за похвальныя оды, на раду съ Штивеліусомъ:

Одинъ (Ломоносовъ), поспѣвая несвойственному складу,
Влечетъ въ Германію Россійскую Палладу
И мня, что тѣмъ онъ ей пріятства придаетъ,
Природну красоту съ лица ея беретъ.
Другой (Тредьяковский), не выучась такъ грамотѣ, какъ должно,
По-русски, думаетъ, всего сказать не можно
И, взявъ пригоршни словъ чужихъ, считаетъ рѣчь
Языкомъ собственнымъ, достойну только смѣчь;
Иль слово въ слово онъ въ слогъ русскій переводитъ,
Которо на себя въ обновѣ не походитъ.

Замѣчательны выходы Сумарокова противъ громкихъ одъ и надутого слога, какъ противодѣйствіе стихотворческому риторству. Онъ требовалъ простоты и естественности, къ которымъ стремился самъ по влеченію здраваго смысла. «Всего болѣе», говоритъ онъ, «совѣтую несмысленнымъ стихотворцамъ упражняться въ одахъ; ибо многіе читатели, да и сами нѣкоторые лирическіе стихотворцы, разсуждаютъ тако, что нивагъ невозможно, чтобъ была ода великолѣпна и ясна: по моему мнѣнію, пропади такое великолѣпіе, въ которомъ нѣтъ ясности». Подъ именемъ «вздорныхъ одъ» Сумароковъ писалъ пародіи на торжественную лирику. Строфа четвертой оды (1743) Ломоносова, начинающаяся стихами:

Фиссонъ шумитъ, Багдадъ пылаетъ....

1) Малербъ (Malherbe).

дала поводъ сатирику сочинить подобную оду, гдѣ также есть строфа:

Атлантъ горитъ, Кавказъ пылаетъ....

Требованіе природной простоты отъ поэтовъ изложено имъ въ статьѣ: «о неестественности». Въ письмѣ къ Шувалову (16 октября 1753 г.), Ломоносовъ оправдывалъ находимыя у него «надутыя выраженія» примѣрами древнихъ и новыхъ стихотворцевъ, сочиненія которыхъ исполнены «высокопарныхъ мыслей». Тредьяковский выведенъ также въ комедіи «Трессотиніусъ» (1750) ухаживающимъ за одной молодой дѣвицей и подносящимъ ей пѣсенку:

Красоту на вашу смотря, распалился я, ей, ей!
Изволь меня избавить ты отъ страсти тѣмъ моей!
Бровь твоя меня пронзала, голосъ кровь зажогъ,
Мучишь ты меня, Климена, и стрѣлою шибила съ ногъ, и т. д.

Въ этой же піесѣ Трессотиніусъ вступаетъ въ споръ съ другимъ педантомъ Бобембіусомъ о буквѣ *т* (*твердо*), какъ правильнѣе писать ее—о трехъ ли ножкахъ, или объ одной (Тредьяковский, печатавъ свои сочиненія, держался втораго начертанія).

Трессотиніусъ. Я содержу, что *твердо* объ одной ногѣ правильнѣе, ибо у грековъ, отъ которыхъ мы литеры получили, оно объ одной ногѣ, а треножное *твердо* есть нѣкакій уродъ.

Бобембіусъ. Мое *твердо* о трехъ ногахъ и для того стоитъ твердо, его оно твердо; а твое *твердо* нетвердое, его оно не твердо. Твое *твердо* слабое, ненадежное, а потому презрительное, гнусное, позорное, скверное.

Кромѣ того Тредьяковский является еще въ комедіи «Чудовища», подъ именемъ «Критиціондіуса», т. е. придирчиваго критика-педанта.

Въ характерѣ Сумарокова заключались многія условія его сатирическаго таланта. Раздражительный, тщеславный и хвастливый, онъ постоянно являлся съ этими качествами и въ семейномъ кругу, и въ общественной жизни, и въ своемъ авторствѣ. Письма его—столь же вѣрное зеркало его личности, сколько и надежный ключъ къ его сочиненіямъ—исполнены страстныхъ выходовъ досады и гнѣва, которыя, по замѣчанію Екатерины II, умѣстны въ трагедіи, а не въ корреспонденціи. Скроменностью онъ не отличался. Онъ безъ церемоніи ставилъ свое имя подлѣ имени Вольтера. Его наивныя слова: «неужели Москва болѣе повѣрять поддѣчному,

нежели Вольтеру и мнѣ?»—въ своемъ родѣ классическія и потому обратились въ пословицу. Самохвальство, которому подвержены были и Тредьяковский и Ломоносовъ, доходило у него до комизма каждый разъ, какъ только онъ касался своихъ заслугъ русскому театру и русской литературѣ: «Что только видѣли Афины и видитъ Парижъ, то нигдѣ Россія стараніемъ моимъ увидѣла... До чего въ Германіи многими стихотворцами не достигли, до того я одинъ, и въ такое еще время, въ которое у насъ науки словесныя только начинаются и нашъ языкъ едва чиститься началъ, однимъ своимъ перомъ достигнуть могъ» (статья: о «копистахъ»). «Каково мое перо, о томъ и по худымъ переводамъ всѣ ученѣйшіе въ Европѣ знаютъ и ту мнѣ похвалу соплетаютъ, которая превосходитъ желаніе авторовъ и тѣхъ народовъ, въ которыхъ науки совърши и утвердились... Если бы такимъ перомъ, каково мое, описана была вся Европа, не дорого бы стоило Россіи, ежели бы она и триста тысячъ рублей на это безвозвратно употребила (статья: «о путешествіяхъ»). Задорное самолюбіе сатирика находило также нищу въ затрудненіяхъ и хлопотахъ, которыя онъ встрѣчалъ, какъ директоръ театра; въ бѣдныхъ средствахъ для жизни, или, по его словамъ, «въ крайнемъ убожествѣ», изъ котораго онъ не могъ выбиться, хотя для русской сцены «трудился побольше Расина и Вольтера»; наконецъ въ современномъ состояніи общества, которое хотя и признавало громкую славу иныхъ литераторовъ, но не давало литературѣ равныхъ правъ съ другими сферами дѣятельности. Ироніей и горечью отзывается его жалоба Шувалову на стѣснительныя обстоятельства: «мои упражненія ни съ придворными, ни съ статскими ни малѣйшаго сходства не имѣютъ, и ради того я ни у кого не стою на дорогѣ, а труды мои ни чьихъ не меньше и нѣкоторую пользу приносятъ, ежели словесныя науки на свѣтѣ пользою называются» (письмо 15 ноября 1759). Не меньше горечи и въ отвѣтѣ на вопросъ: что бы я дѣлалъ, еслибы былъ великій человѣкъ и малый господинъ? «Я бы, по многому моему старанію показывать моему отечеству и свѣту заслуги, никого бы никакою доукою не озягощалъ и полагалъ бы надежду на достоинство свое и на заслуги отечеству; а когда бы въ томъ обманулся, такъ бы я по многому своему терпѣнію сошелъ съ ума и былъ бы такой человѣкъ, какіе не только ничего не дѣлаютъ, но и ни о чемъ не думаютъ». Поставленный вниманіемъ двора и нѣкоторыхъ вельможъ въ среду высшаго круга и частію самъ принадлежа къ нему по своему рожденію (онъ былъ сынъ дѣйствительнаго тайнаго совѣтника), Сумароковъ имѣлъ много поводовъ выказывать черты своего нрава. Живая натура его не

могла сносить ни пренебреженія къ наукѣ и словесности, ни нападокъ на собственную личность, ни похвалъ литературнымъ со-
вмѣстникамъ. Большихъ усилій стоило ему воздерживаться отъ
споровъ, которые могли быть ему неприятны или которые другимъ
могли доставить неудовольствіе. Тѣ случаи, когда онъ оказывался
«смирнымъ», почитали рѣдкимъ явленіемъ. Всѣ эти стороны ори-
гинальнаго темперамента Сумарокова отразились на его сатирѣ—
искренней, рѣзкой, полной огня и движенія и представляющей
живыя связи съ дѣйствительностью. Въ этомъ ея достоинство.
Она не страдаетъ отвлеченностью, имѣющею мѣсто тамъ, гдѣ
сатирикъ занятъ изображеніемъ безнравственныхъ явленій, свой-
ственныхъ человѣку вообще, безъ различія времени и мѣста.
Напротивъ, она обличаетъ современныя ей «презрительныя вещи»,
которыя не только поражали, но и раздражали ея автора. Сочув-
ствіе и антипатія, равно горячія, выказывались у Сумарокова
торопливо и тревожно. Онъ также легко передавалъ бумагѣ свои
чувства, какъ легко заражались они въ душѣ его по слѣдамъ
событій. Такое наблюденіе и представленіе темныхъ сторонъ со-
временности заслужили его сатирамъ названіе «общественной кри-
тики», а самому автору «критика общественныхъ нравовъ». Кн.
Вяземскій справедливо находить въ немъ съ этой стороны нѣко-
торое сходство съ Бомарше.

Сатирами и трагедіями не ограничивалась дѣятельность Сума-
рокова. Онъ писалъ во всѣхъ родахъ словесности, поэтическихъ
и прозаическихъ, сколько по характеру тогдашняго авторства,
которое стремилось къ универсальности, столько жъ изъ соперни-
чества съ Ломоносовымъ, который трудился по разнымъ отраслямъ
науки и литературы, а равно изъ желанія подражать Вольтеру,
этому «всеобъемлющему уму», какъ его тогда величали. Въ длин-
номъ спискѣ сочиненій Сумарокова читатель встрѣчаетъ лириче-
скія и драматическія піесы всѣхъ видовъ, ораторскія рѣчи, статьи
историческія, нравственно-философическія, филологическія, крити-
ческія и пр. Такое разнообразіе дѣятельности, хотя и бывающее
въ ущербъ ея внутреннему значенію, какъ нельзя больше прихо-
дилось ко времени. При развитіи вкуса къ чтенію и театральнымъ
зрѣлищамъ, большинство грамотныхъ нуждалось не въ кабинет-
ной учености, а въ живомъ, впечатлительномъ талантѣ, который
любитъ являться въ обществѣ, чтобы людей посмотреть и еще
болѣе себя показать, которому не сильное, но многостороннее
образованіе даетъ возможность сближаться съ публикой, угадывать
ея наклонности и доставлять ей популярный матеріалъ для чте-
нія. Такимъ талантомъ былъ именно Сумароковъ. Онъ, по сло-

ванъ Карамзина, сильнѣе дѣйствовалъ на массу читателей, чѣмъ Ломоносовъ, потому что избралъ обширнѣйшую сферу, потому что масса любитъ наиболѣе того, кто ей по плечу, кого она легко понимаетъ. Этимъ объясняется громкая слава Сумарокова и всѣ наименованія его «русскимъ Расиномъ», «русскимъ Лафонтеномъ» и т. п. У него были поклонники между видными лицами: такъ Елагинъ величалъ его «открытелемъ тайнства любовной лиры, защитникомъ истины, гонителемъ пороковъ». Съ другой стороны имѣлъ онъ и хулителей. Одно изъ французскихъ стихотвореній гр. Андрея Шувалова обидно характеризуетъ его какъ трагика: «ce copiste insensé des défauts de Racine». Ломоносовъ, свысока смотрѣвшій на преемничество Сумарокова, смѣялся надъ нимъ, что онъ «сочинялъ любовныя пѣсни и тѣмъ весьма счастливъ, для того, что вся молодежь, т. е. пажи, юнкерскіе юнкера, кадеты и гвардіи направили такъ ему послѣдуютъ, что онъ передъ многими изъ нихъ самъ на ученика походить». Сумароковъ могъ бы отвѣчать своему сопернику, что надобно же что-нибудь читать и молодежи; что молодежь, по лѣтамъ или образованію, не въ силахъ читать сочиненій ученыхъ, которыя могутъ быть цѣнными только учеными, составляющими небольшую долю общества (¹).

§ 14. Изъ сношеній Петра Великаго съ Лейбницемъ видно, что послѣдній указывалъ на Москву, Кіевъ, Астрахань и Петербургъ, какъ на такіе города, которые преимущественно должны быть выбраны для учрежденія академій, университетовъ и гимназій. Согласно этому совѣту, Петръ I успѣлъ основать только въ Петербургѣ Академію Наукъ, при которой находились университетъ и гимназія. Но академическій университетъ «не имѣлъ», какъ говорить Ломоносовъ, «не только дѣйствія, но даже имени», а гимназія, въ царствованіе Елисаветы, «пришла еще въ худшее противъ прежняго состояніе: въ семь лѣтъ ни одинъ школьникъ въ достойные студенты не доучился». Впрочемъ, и при надлежащемъ устройствѣ курсовъ, университетъ едва ли приносилъ бы ожидаемую пользу по своей отдаленности отъ центральныхъ и южныхъ губерній и по своей зависимости отъ Академіи. Болѣе и болѣе сознаваемая необходимость высшаго образованія требо-

¹) Очерки жизни и избраннѣйшія сочиненія С—ва, издавныя С. Глинкой (1841); С—въ и современная ему критика, Н. Булича (1854); С—въ, В. Стожанина (1856); Новые матеріалы для біографіи С—ва, ст. Лебедева (Библ. Записки 1858, №№ 14 и 15); Письма Лом—ва и С—ва къ И. Шувалову, Я. Грота (Приложеніе къ 1 т. Записокъ Ан. Н. 1862). — Полное собраніе сочиненій С—ва издаю Н. Новиковымъ (1781—82; 2-ое изд. 1787).

вала новаго, самостоятельнаго учрежденія, и въ виду этой потребности, стараніями И. И. Шувалова, возникъ Московскій университетъ (1755). Основаніе его, какъ въ проектѣ, такъ и въ утвердившемъ его именномъ указѣ, связано съ мыслью о пользѣ просвѣщенія, даннаго Россіи Петромъ: посредствомъ наукъ Петръ Великій возвысилъ наше отечество; науками одни народы пріобрѣтають себѣ славу и превосходство надъ другими, дикими и необразованными; источникъ всякаго добра есть просвѣщенный разумъ, а источникъ всякаго зла—невѣжество; распространеніемъ знаній истребляются суевѣрія, расколы и ереси. Кромѣ главной цѣли, университетское образованіе имѣло также въ виду готовить русскихъ наставниковъ въ замѣнъ иностранцевъ, которымъ родители ввѣряли обученіе дѣтей своихъ и нравственный надзоръ за ними, но которые почти всегда оказывались неспособными ни къ тому, ни къ другому. Въ началѣ своего существованія, новоучрежденный университетъ состоялъ изъ трехъ факультетовъ: юридическаго, медицинскаго и философскаго. Понеченіе о богословскихъ наукахъ предоставлено было синоду. Но университетъ безъ гимназій «тоже, что пашня безъ сѣмянъ», писалъ Ломоносовъ въ Шувалову; въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, приготавливающихъ юношество къ слушанію лекцій, заключается «главное дѣло, основаніе и начало къ происхожденію ученыхъ Россіянъ»: и потому въ одинъ годъ съ университетомъ были открыты въ Москвѣ двѣ гимназій—для дворянъ и для разночинцевъ.

Заслуги Московскаго университета для науки и литературы такъ важны, что его исторія есть въ тоже время исторія русскаго образованія. Онъ былъ центромъ умственной дѣятельности, простиравшей свое вліяніе на всѣ концы нашего отечества. Въ немъ по-преимуществу зачиналось и поддерживалось движеніе просвѣтительныхъ началъ, которыя давали ростъ и крѣпость общественному сознанію. Благодаря ему, древняя столица Россіи сдѣлалась вождемъ ея высшихъ, духовныхъ интересовъ. Его столѣтній юбилей (1855) имѣлъ значеніе не областнаго, а всероссійскаго торжества, понятнаго каждому патриоту. Состоя своимъ началомъ въ связи съ Ломоносовымъ, «первымъ русскимъ университетомъ», по выраженію Пушкина, онъ въ дальнѣйшемъ своемъ дѣйствіи связанъ и съ исторіей другихъ нашихъ университетовъ, и съ важнѣйшими моментами въ исторіи русской науки, русской литературы, русскаго слова. По всѣмъ этимъ предметамъ онъ несъ ревностную службу и богатъ почетными преданіями. Излагая науки, университетскія лекціи приносили пользу и отечественной словесности: послѣдняя озарялась тѣмъ свѣтомъ, который исходилъ отъ первой. Между

именами самихъ профессоровъ мы встрѣчаемъ имена достойныхъ литераторовъ. Первый профессоръ изъ русскихъ, Поповскій (1730—1760), столько же принадлежитъ исторіи Московскаго университета, сколько и исторіи русской литературы. Онъ преподавалъ философію и краснорѣчіе, которое самъ слушалъ у Тредьяковскаго и Ломоносова. Философическія лекціи онъ открылъ «рѣчью о пользѣ и важности философіи». Наука наукъ представлена точнымъ изображеніемъ храма вселенной. Предметъ ея—«главнѣйшія и самыя общія правила, строгое доказательство каждой истины, раздѣленіе правды отъ неправды». Необходимость ея изученія состоитъ въ томъ, что она дѣйствуетъ на атеистовъ, убѣждая ихъ въ бытіи Бога «правильнымъ и необманчивымъ познаніемъ натуры». Этотъ возвратъ невѣрующаго къ вѣрѣ путемъ знанія напоминаетъ извѣстный намъ взглядъ Ломоносова на родственныя союзы науки и религіи. Другая часть рѣчи касается изложенія философіи. Разсуждая обо всемъ, что ни есть въ мірѣ, философія не можетъ довольствоваться латинью; профессоръ русскаго университета долженъ передавать ее слушателямъ на языкѣ рускомъ, способномъ выражать всевозможныя мысли: «нѣтъ такой мысли, кою бы по-русскійски изъяснить было невозможно». Замѣчательны, по своей новизнѣ и смѣлости, эти нападки на латинскій языкъ, общепринятый въ тогдашнемъ ученomъ мірѣ, это желаніе излагать философскія истины отечественнымъ словомъ и тѣмъ дѣлать ихъ доступнѣе и популярнѣе для русскаго юношества. Литературныя труды Поповскаго носятъ на себѣ явственный характеръ дидактизма. Достоинство ихъ въ ясномъ и точномъ выраженіи истинъ, къ которому только и былъ способенъ ихъ авторъ, лишенный поэтическаго дара, и которое цѣнили онъ выше другихъ качествъ, какъ ученый. Наука не вдохновляла его, какъ Ломоносова, но давала ему поводъ излагать ея содержаніе въ правильномъ, выразительномъ стихѣ. «Посланіе къ Шувалову о пользѣ наукъ и о воспитаніи юношества (1756)» написано въ стилѣ «Посланія о пользѣ стекла», хотя и уступаетъ ему достоинствомъ. Бѣдность оригинальной литературы обратила вниманіе Поповскаго на переводы иностранныхъ сочиненій. Занятія этимъ предметомъ онъ справедливо называлъ настоятельнымъ, достохвальнѣйшимъ дѣломъ. Вѣрный своему направленію, онъ выбиралъ для перевода дидактическія поэмы и другія стихотворенія въ томъ же родѣ. Особенно прославилъ его «Опытъ о человѣкѣ, Попа (1757)», переданный не съ подлинника, а съ французскаго перевода, и имѣвшій нѣсколько изданій. Современники высоко цѣнили умѣнье Поповскаго находить точныя и образныя выраженія для мыслей ан-

гійскаго стихотворца. Переводъ «Гораціева Посланія къ Пизонамъ (1763)» отличается еще большимъ искусствомъ въ версификаціи и большею обработанностью языка.

Другимъ профессоромъ изъ русскихъ былъ Барсовъ (1730—1791). Сначала приглашенный на кафедру математики, а потомъ занявшій мѣсто Поповскаго, онъ, при самомъ открытіи Московскаго университета, произнесъ рѣчь о пользѣ его учрежденія. Здѣсь изложена польза университетскаго, т. е. «весь кругъ просвѣщающаго разумъ ученія», особенно философіи. Во взглядѣ на этотъ предметъ, онъ, подобно своему предшественнику въ преподаваніи краснорѣчія, сходится съ Ломоносовымъ—признаетъ содружество науки и вѣры. Онъ говоритъ: «Было время, когда разумъ нашъ достаточенъ былъ къ совершенному познанію нашего благополучія, воля покорялась разуму безъ упорства и самое благополучіе въ рукахъ нашихъ находилось. Нынѣ преступленіемъ прародца нашего, громкимъ паденіемъ высоты естества нашего, мы лишены толикихъ преимуществъ». Чѣмъ же человѣкъ можетъ вознаградить уронъ, причиненный грѣхопадениемъ? Науками: онѣ должны «возвратить намъ первоначальное естество наше, возвратить насъ естеству нашему». Изъ учебныхъ сочиненій Барсова замѣчательна доселѣ остающаяся въ рукописи «Обстоятельная Россійская Грамматика». Авторъ хотѣлъ въ ореографіи слѣдовать своему учителю, Тредьяковскому, т. е. основывать ее «на звонахъ». Онъ возстаетъ противъ производства словъ, потому что излишняя къ нему привязанность даетъ мѣсто не только затрудненіямъ, но даже нелѣпостямъ: «было бы странно, говорить онъ, писать «стлой», вм. «слой» (отъ глагола «стелю»), «стлянка» вм. «склянка» (отъ сущ. «стекло»), «одинадесать» вм. «одиннадцать», и пр. Производство часто подчиняется употребленію вообще, и особенно употребленію, основанному на благозвучіи, хотя такое подчиненіе можетъ довести языкъ до того, что и не узнаешь, откуда произвести какое слово». Барсовъ пытался также, по примѣру Тредьяковскаго, сдѣлать нѣкоторые измѣненія въ нашей азбукѣ. Одна выписка изъ его рукописей: «Сводъ бытій россійскихъ», напечатанная въ Московскомъ Журналѣ 1792 г., даетъ понятіе о задуманной имъ реформѣ: буква и вездѣ замѣнена буквою і, для которой принятъ знакъ съ краткимъ; буква з въ концѣ словъ уничтожена, а въ серединѣ замѣнена апострофомъ. Эти ореографическія новизны не были приняты публикою, которая держалась прежняго обычая, да и самъ нововводитель въ послѣдствіи отъ нихъ отказался (1).

1) Исторія Моск. университета, соч. Шевырева. Жизнь и дѣятельность Поповскаго и Барсова въ Біографич. Словарѣ профессоровъ Моск. Универс-

§ 15. Къ мемуарамъ времени императрицы Елисаветы относятся: записки князя Шаховскаго, Нащокина и Данилова.

Записки кн. Якова Петровича Шаховскаго (1705—1772), доведенныя до 1766 г., интересны какъ содержаніемъ, такъ и доброю нравственнымъ впечатлѣніемъ. Въ періодъ сороколѣтней службы своей, онъ имѣлъ сношенія съ важнѣйшими людьми временъ Анны и Елисаветы: Вирономъ, Волынскимъ, Минихомъ, Головкинымъ, Шуваловыми, которые, и въ славѣ и въ паденіи, обстоятельно изображены его разсказомъ. Онъ не только былъ свидѣтелемъ придворныхъ перемѣнъ и государственныхъ событій, но и самъ участвовалъ въ важныхъ дѣлахъ духовнаго и гражданскаго вѣдомства, по званію оберъ-прокурора синода и оберъ-прокурора сената: подавалъ проэкты, останавливалъ злоупотребленія, заботился о справедливѣйшемъ ходѣ администраціи. Нравственное впечатлѣніе Записокъ производится благороднымъ образомъ мыслей и дѣйствій ихъ автора, для котораго совѣсть и гражданскій долгъ служатъ главнѣйшими основами жизни. Будучи отъ природы «неробкаго духа», Шаховской еще болѣе укрѣпили его строгими правилами воспитанія—стыдиться всего дурнаго, всему предпочитать добродѣтель и справедливость, твердо слѣдовать примѣру людей, оставившихъ по себѣ похвальную память. Нравственныя внушенія принесли свои плоды: Шаховской не измѣнялъ правдѣ во все время своего служебнаго поприща, о которомъ говорить открыто, съ сознаніемъ его достоинства. Не взирая на лица, не соблазнялся выгодами, онъ думалъ единственно о пользѣ отечества, о точномъ исполненіи законовъ. Неподкупный патріотизмъ и уваженіе къ законности нажили ему многихъ враговъ: по неудовольствію съ гр. Петромъ Ивановичемъ Шуваловымъ, сильнымъ вельможею при дворѣ Елисаветы, онъ незаслуженно подпалъ гнѣву императрицы, но изъ всѣхъ невзгодъ вышелъ чистымъ, съ спокойствіемъ и ровностію духа, отличающими достойнаго человѣка.

Большая часть сухихъ и краткихъ Записокъ Нащокина (1707—1761) относится также къ царствованію Елисаветы. Онъ отмѣчалъ въ нихъ «достопамятные случаи», которые самъ видѣлъ или о которыхъ дошли до него слухи. Иногда приводятся выписки изъ книгъ о замѣчательныхъ событіяхъ, наприм.: о поимѣ сирены въ

тѣта, 2 ч. (1855); о Барсовѣ еще въ 4 т. Исторіи Рос. Академіи, М. Сухолинкова (1878). Сношенія Петра съ Лейбницемъ въ 1 т. Исслѣдованія Пекарскаго: Наука и лит. при Петрѣ (гл. 2). О самомъ Шуваловѣ см.: Жизнь Шувалова, писателя племянникомъ его, кн. О. Н. Голицынымъ (Москва. 1858, № 6); Благодарное воспоминаніе о Шуваловѣ, рѣчь проф. С. Соловьева, 12 января 1855; И. И. Шуваловъ, г. Бартенева (Рус. Бесѣда, 1857, № 1).

Ютландіи, о смерти профессора Рихмана, убитого молнією во время опытовъ надъ грозовымъ электричествомъ. Последняя статья достойна вниманія, какъ свидѣтельство чувствъ, возбужденныхъ печальной кончиной естествоиспытателя между людьми малообразованными, хотя и любившими чтеніе. Въ то время, какъ Ломоносовъ, въ письмѣ къ Шувалову, скорбитъ объ участи своего товарища по академіи и его семейства, боясь, чтобъ этотъ случай не былъ перетолкованъ противъ любезныхъ ему наукъ, разсказъ Нащокина отзывается не только неуваженіемъ къ опаснымъ трудамъ ученаго, но даже насмѣшкою надъ ними. Судьбу Рихмана, «старавшагося машиною удержать громъ и молнію», Нащокинъ сравниваетъ съ судьбою Эсхила, который также погибъ «чрезъ астрономію, когда сидѣлъ внѣ града на открытомъ мѣстѣ и когда орелъ, принявъ его лисую голову за камень, опустил на нее пойманную черепаху». Такимъ образомъ «вымыселъ Рихмана, какъ и греческій трагикъ, получилъ печальный конецъ», заключаетъ авторъ Записокъ, принадлежавшій, какъ надобно полагать, къ числу тѣхъ грамотниковъ, которыхъ разумѣлъ Ломоносовъ, говоря о согласіи вѣры съ наукой.

Для исторіи нравовъ въ царствованіе Анны и Елисаветы очень важны «Записки артиллеріи майора Данилова (1722—1790)», писанныя имъ въ 1771 г. Семи лѣтъ посадили его за азбуку: слѣд. ученіе его относится ко времени Петра II и Анны. Авторъ обстоятельно знакомитъ съ характеромъ этого ученія, состоявшаго въ механическомъ затверживаніи уроковъ. Первымъ наставникомъ его былъ пономарь Филиппъ Брудастый—типъ старинныхъ дидаскаловъ, вооруженныхъ розгой, въ которой они видѣли единственное образовательное средство. Потомъ Даниловъ поселился въ домѣ тетки своей, Матрены Петровны, и продолжалъ «словесное ученіе, состоявшее изъ двухъ книгъ: Часослова и Псалтыри», подъ надзоромъ двороваго человѣка, который соединялъ въ своемъ лицѣ должности наставника и компаньона. Тетка была въ своемъ родѣ Простакова. Портретъ ея стоитъ комическаго характера: «Она грамотѣ не знала; только всякій день, разогнувъ большую книгу на столѣ, акаенствъ Богородицѣ всѣмъ въ слухъ громко читала. Вдова охотница великая была кушать у себя за столомъ щи съ бараниной; только, признаюсь, сколько времени у ней я ни жилъ, не помню того, чтобъ прошелъ хотя одинъ день безъ драки: какъ скоро она приметъ свои щи любимыя за столомъ кушать, то кухарку, которая готовила тѣ щи, притаща люди въ ту горницу, гдѣ мы обѣдаемъ, положить на полъ и стануть съѣчь батожьемъ немилосердно, и потуда съѣдутъ и кухарку кричить, пока не пере-

станеть вдова щи кушать; это такъ ужъ введено было во всегдашнее обыкновеніе, видно для хорошаго аппетита». Въ родномъ племянникѣ Матремы Петровны, товарищѣ Данилова по ученію, готовился своего рода Митрофанъ (лице въ комедіи «Недоросль»): не онъ былъ наказываемъ за проступки, а Даниловъ и челядинецъ-учитель, въ страхъ провинившемуся. Однажды, послѣ такой шемакинской расправы, вдова, поцѣловавъ своего роднаго племянника, сказала ему: «чайтельно ты, Иванушка, давеча испугался, когда сѣкли твоихъ товарищей; не бойся, голубчикъ, я тебя никогда сѣчь не стану». Интересно также изображены въ «Запискахъ» гр. Петръ Ивановичъ Шуваловъ и жена его.

§ 16. Василій Григоровичъ (1702—1747), болѣе извѣстный подъ именемъ «Барскаго», по волынскому городу Бару, гдѣ жили его предки, служить образцомъ самаго усерднаго пилигримства. Получивъ образованіе въ академіяхъ Кіевской и Львовской, онъ изъ Львова отправился (1723) на востокъ для обозрѣнія св. мѣстъ. Послѣ десятилѣтняго странствованія по Италіи, Греціи, Палестинѣ, Египту и Аравіи, принялъ монашество въ Дамаскѣ и по собственному его желанію уволенъ для продолженія наукъ на островъ Патмосъ, гдѣ пробылъ шесть лѣтъ. Около года занимался на Аeonѣ описаніемъ монастырей и другихъ достопримѣчательностей. Отсюда ходилъ въ греческія области и потомъ черезъ Царьградъ воротился въ отечество. Во время своего путешествія Григоровичъ часто мѣнялъ свою фамилію, называясь то «Барскимъ», то «Кіевскимъ» по родинѣ, то «Плакою» по гречески, или «Албовымъ» по латинѣ, отъ фамиліи Бѣляевъ. Записки его изданы въ 1778 г. литераторомъ Рубаномъ, подъ заглавіемъ: «Пѣшеходца Василя Григоровича Барскаго-Плаки-Албова, уроженца кіевскаго, монаха антиохійскаго, путешествіе къ св. мѣстамъ, въ Европѣ, Азій и Африкѣ находящимся, предпріятое въ 1723 и оконченное въ 1747 г.». Самая значительная часть ихъ посвящена описанію горы Аeonской. Въ XVIII в. онѣ служили для многихъ классовъ публики такимъ же интереснымъ чтеніемъ, каковымъ для древнерусскаго періода служило «Хожденіе Даніила». Онѣ долгое время оставались рукописными. Списки ихъ особенно были распространены въ Малороссіи и сопредѣльныхъ съ нею губерніяхъ. Напечатанныя по порученію и на издженіи Потемкина, онѣ имѣли потомъ нѣсколько изданій. Успѣхъ ихъ объясняется теплымъ чувствомъ вѣры, которое не покидало странника среди всѣхъ опасностей и лишеній, интересомъ содержанія и безпристрастіемъ разсказа. Иностранцы, посѣщавшіе Палестину и другія святыя мѣста,

или вовсе умалчивали о православномъ богослуженіи, или отзывались о немъ недоброжелательно, выхваляя только своихъ одновѣрцевъ. Григоровичъ же, по замѣчанію издателя его Записокъ, «и собственныхъ слабостей не скрываетъ, и доброе у чужеземцевъ хвалить, и чудесъ не опровергаетъ, и суетвѣріемъ своей собѣсти не помрачаетъ».

§ 17. Разсматривая похвальные оды Ломоносова, мы опредѣлили характеръ духовнаго ораторства при Елисаветѣ. Къ именамъ Амвросія Юшкевича, Кирилла Флоринскаго и Дмитрія Овченова надобно присоединить еще имя псковскаго епископа, Гедеона Криновскаго (1726—1763). Лучшее изъ его словъ произнесено по случаю лиссабонскаго землетрясенія (1755). Пораженные грознымъ событіемъ, современные философы и богословы смотрѣли на него съ разныхъ точекъ зрѣнія. Вольтеръ написалъ дидактическую поему: «Разрушеніе Лиссабона», въ которой отвергаетъ оптимизмъ, распространенный англійскими мыслителями и изложенный Попомъ въ «Опытѣ о человѣкѣ». Проповѣдникъ слова Божія взглянулъ на ужасы природы въ духѣ религіознаго ученія. Различны бѣдствія, равно какъ и всѣ другія явленія въ жизни человѣка и вещественнаго міра, имѣютъ источникомъ не естество (какъ думала школа французскихъ энциклопедистовъ), а противо-христіанское поведеніе наше: такова тема слова. Криновскій, подобно Златоусту, объять страхомъ не ради землетрясенія, а ради вины землетрясенія; онъ боится не того, что разрушаются города и гибнутъ ихъ жители, а того, что Богъ гнѣвается на землю: ибо вина землетрясеній есть гнѣвъ Божій, а вина гнѣва Божія—наши грѣхи. Отъ картины современныхъ бѣдствій ораторъ переходитъ къ мысли о страшномъ судѣ, которому они какъ бы служатъ предвѣстниками.

§ 18. Первымъ учено-литературнымъ журналомъ въ Россіи были «Ежемѣсячныя сочиненія, къ пользѣ и увеселенію служащія» (1755—1764) (1). Поводомъ къ его изданію служило предложеніе академика Миллера, извѣстнаго своими важными трудами по русской исторіи. Въ этомъ предложеніи академической конференціи объяснялось, что издаваемая академіею на русскомъ языкѣ «Содержанія ученыхъ разсужденій», по своей специальности, приносятъ незначительную пользу только части русской публики и что большинству любознательныхъ читателей нужно другое, полное и все-

1) Такъ назывался онъ въ первые три года изданія (1755—1757): потомъ (1758—1762) «Сочиненія и переводы, къ пользѣ и увеселенію служащія»; наконецъ (1763—1764) «Ежемѣсячныя сочиненія и извѣстія о ученыхъ дѣлахъ».

стороннее, періодическое изданіе, которое доставляло бы имъ пищу для ума и средства къ дальнѣйшему саморазвитію. Академія согласилась съ мыслию Миллера и возложила на него редакцію.

Самое названіе журнала показываетъ, что онъ наполнялся статьями серьезнаго и легкаго содержанія, по образцу иностранныхъ повременныхъ изданій, которыя старались соединять полезное съ пріятнымъ: въ Гамбургѣ, Ганноверѣ и другихъ мѣстахъ также выходили «сочиненія, къ пользѣ и увеселенію служація». Программа Миллерова ежемѣсячника обстоятельно изложена въ «предупрежденіи». «Мы будемъ», говоритъ издатель, «предлагать всякія сочиненія, какія только обществу полезны быть могутъ, а именно: не одни только разсужденія о собственно такъ называемыхъ наукахъ, но и такія, которыя въ экономіи, въ купечествѣ, въ рудокопныхъ дѣлахъ, въ мануфактурахъ, въ механическихъ руководствіяхъ, въ архитектурѣ, въ музыкѣ, въ живописномъ и рѣзномъ художествѣхъ и въ прочихъ какое ни есть новое изобрѣтеніе показываютъ или къ поправленію чего-нибудь поводъ подать могутъ... Одни токмо тѣ сочиненія выключены, кои ради глубокаго ихъ смысла не всѣмъ ясны и вразумительны бывають; ибо мы за правило себя приняли писать такимъ образомъ, чтобъ всякій, какова бы кто званія или понятія ни былъ, могъ разумѣть предлагаемыя матеріи... Стихотворческія сочиненія принимаемъ мы наименѣе для того, что въ нихъ многое весьма сильнѣе и пріятнѣе изображается, нежели простымъ слогами; къ тому жъ мы за должность свою признаваемъ писать не токмо для пользы, но и для увеселенія читателей... Есть еще другія пятическія сочиненія, которыя не требуютъ, чтобъ написаны были стихами, а именно: правоучительныя притчи, сны, повѣсти и подобныя тому описанія. Изображенныя такимъ простымъ слогами пятическія вымысленія не менѣе полезны, коль и пріятны: того ради намѣренны мы временемъ сообщать и такія сочиненія, а притомъ чаемъ, что и переводы всякихъ полезныхъ и пріятныхъ матерій, взятыхъ изъ иностранныхъ книгъ, не непріятны будутъ читателямъ». Эти слова знакомятъ насъ съ цѣлью, направденіемъ и составомъ «Ежемѣсячныхъ сочиненій». Мы узнаемъ, что рядомъ съ оригинальными статьями они предлагали и переводы, которые въ то время, при незначительномъ еще развитіи нашей литературы и науки, имѣли гораздо большее значеніе, чѣмъ теперь; что тѣ и другія статьи должны были отличатся общедоступнымъ изложеніемъ; что хотя онѣ не группировались на отдѣлы, какъ въ журналахъ позднѣйшей эпохи, а печатались одна за другою, безъ всякой заранѣе опредѣленной классификаціи, однакожъ могутъ быть сведены къ

трьох разрядахъ: а) на первомъ планѣ стояли сочиненія ученія, собственно къ пользѣ служащія; б) за ними слѣдовали стихотворенія, служащія для увеселенія читателей; в) оредину между тѣми и другими занимали статьи полезно-увеселительныя, то есть «изображенія простымъ слономъ пінтическія вымышленія». Послѣдніе два отдѣла составляли литературный элементъ журнала, уступающій въ объемъ и достоинствѣ элементу ученому, которому посвящался первый отдѣлъ.

Въ ряду статей первого отдѣла, относящихся ко всѣмъ отраслямъ знанія, главное мѣсто отведено исторіи нашего отечества. Твердо убѣжденный, что все русское должно быть интересно для Русскихъ, Миллеръ преимущественно заботился о такихъ сочиненіяхъ, которыя имѣють предметомъ прошлое и настоящее Россіи: ея исторію, географію и статистику. На страницахъ его журнала встрѣчаемъ критическія изслѣдованія объ отдѣльныхъ вопросахъ исторіи и опыты прагматическаго изложенія событій; сочиненія, обнимающія исторію всей Россіи и историческія монографіи ея областей или городовъ; описаніе политическаго состоянія государства, или внутренняго быта нашихъ предковъ и т. п. Наибольшая часть трудовъ по этимъ предметамъ принадлежитъ самому издателю. Таковы, наприкладъ: «о лѣтописи Нестора и ея продолжателей», «о началѣ и происхожденіи казаковъ», «извѣстія о запорожскихъ казакахъ», «опытъ новѣйшей исторіи о Россіи», «краткое извѣстіе о началѣ Новгорода и о происхожденіи російскаго народа», нѣсколько главъ «Сибирской исторіи». Назначая свое изданіе не для спеціалистовъ, а для массы читателей, Миллеръ необходимо долженъ былъ заботиться о томъ, чтобы ученія статьи выходили общезанимательными по содержанію и простыми по формѣ. Онѣ имѣли цѣлю не столько обогащеніе науки новыми свѣдѣніями и открытіями, сколько распространеніе въ средѣ общества тѣхъ вѣстий, которыя уже были доказаны и приняты ученымъ міромъ. Поэтому спеціальныя и сухія изслѣдованія не могли найти себѣ мѣста въ «Ежемесячныхъ сочиненіяхъ». Исключеніе изъ этого правила было допущено только для изслѣдованій о прежней судьбѣ и современномъ бытѣ Россіи. Здѣсь, ради важности предмета, извинялись спеціальность содержанія и сухость изложенія. Къ первому же отдѣлу журнала слѣдуетъ причислить статьи критическія и библіографическія, которыя Миллеръ помѣщалъ подъ именемъ «извѣстій о ученыхъ дѣлахъ» и которыя заключаютъ въ себѣ обзоры замѣчательнѣйшихъ книгъ, иностранныхъ и русскихъ.

По второму отдѣлу «Ежемесячныхъ сочиненій» главными со

трудниками Миллера были Ломоносовъ, Сумароковъ, Херасковъ и другіе извѣстѣйшіе писатели того времени. Ихъ-то разумѣло «предувѣдомленіе», объявляя, что «такіе стихотворцы, какихъ Россія нинѣ имѣетъ, достойны, чтобъ потомкамъ въ примѣръ поставлены были». Большую часть стихотвореній доставилъ Сумароковъ.

Отдѣлъ полезен - увеселительныхъ сочиненій соотвѣтствовалъ тому, что въ современныхъ журналахъ извѣстно подъ именамъ беллетристики. Онъ наполнился не романами и повѣстями, представляющими художественное изображеніе дѣйствительности, а статьями дидактическаго направленія, посвященными развитію нравственно-философскихъ идей, преимущественно въ аллегорической формѣ, т. е. въ формѣ сновъ, притчъ, сказокъ и т. п. Нѣкоторыя статьи даже озаглавлены словомъ «аллегорія». Дидактизмъ господствовалъ въ европейской словесности XVIII в. и всего болѣе выразился особымъ видомъ сатиры, которая только своимъ внѣшнимъ видомъ относилась къ литературнымъ произведеніямъ, а по содержанію входила въ область науки. Эта сатира имѣла дѣлю преслѣдовать не какіе-либо особенные недостатки извѣстной страны въ извѣстную эпоху, а пороки и слабости общечеловѣческіе, существующіе во всѣ времена и у всѣхъ народовъ. Характеръ ея нѣсколько опредѣляется самими заглавіями статей, наприм.: «сонъ о порокахъ и жалобахъ человѣческихъ», «разговоръ между любовью и разумомъ», «сонъ о роскоши», «о благоразуміи», «о людяхъ, обѣщаній своихъ не исполняющихъ», и др. За подобными «пѣтическими вымыслами» Миллеръ обращался къ иностраннымъ источникамъ. Англійскіе журналы: «Говорунъ», «Зритель» и «Опеунъ», издававшіеся Стилемъ и Аддисономъ, доставили ему значительное количество матеріаловъ. Оригинальныхъ статей въ третьемъ отдѣлѣ немного. Знаменитый Суворовъ сочинилъ для него два разговора въ царствѣ мертвыхъ: одинъ, между Кортесомъ и Монтезумой, доказываетъ, что героямъ потребны благость и милосердіе; другой, между Александромъ Великимъ и Геростратомъ, различаетъ истинную любовь къ славлѣ и простое желаніе извѣстности.

Миллеръ выполнилъ свою журнальную программу съ умомъ, знаніемъ дѣла и крайнею добросовѣстностію. «Ежедневныя сочиненія» имѣли большой успѣхъ: они совершенно прилипли по вкусу публики, удовлетворяя дѣйствительнымъ ея потребностямъ, и потому публика читала ихъ съ жадностію, какъ свидѣтельствуєтъ митрополитъ Евгеній. Отражая въ себѣ до нѣкоторой степени все состояніе тогдашней словесности, иностранной и оте-

чественной, они передавали любознательнымъ людямъ множество полезныхъ свѣдѣній по всѣмъ отраслямъ наукъ. Нѣкоторые изслѣдованія, помѣщенные въ первомъ ихъ отдѣлѣ, сохраняютъ цѣну и въ настоящее время.

Съ 1756 г. при московскомъ университетѣ началось изданіе «Московскихъ Вѣдомостей». Первыми редакторами ихъ были Поповскій и Барсовъ. Онѣ содержали въ себѣ извѣстія о замѣчательныхъ событіяхъ въ Россіи и западной Европѣ, о промышленной и общественной жизни въ Москвѣ. Черезъ нихъ, какъ черезъ свой органъ, университетъ знакомилъ публику со всѣми новостями касательно курсовъ ученія, профессоровъ, студентовъ и академическихъ торжествъ. Впрочемъ, въ первые семь лѣтъ своего существованія (1755—1762), Московскія Вѣдомости имѣли чисто-официальный характеръ. Литературныхъ статей въ нихъ почти не было. — Подражая Миллеру, Сумароковъ, въ 1759 г., издавалъ ежемѣсячникъ, подъ названіемъ: «Трудолюбивая Пчела». Большая часть статей, здѣсь помѣщенныхъ, принадлежитъ самому издателю. Въ то время литераторъ, принимавшій на себя изданіе журнала, долженъ былъ нести дѣйствительную, а не номинальную отвѣтственность передъ публикой. При маломъ числѣ пишущихъ, онъ не всегда могъ рассчитывать на стороннюю помощь и часто одинъ несъ бремя журнальной работы. Поэтому неудивительно читать въ примѣчаніи къ майской книгѣ Трудолюбивой Пчелы: «весь сей мѣсяцъ сочиненія Александра Сумарокова». Лучшую часть журнала, вообще слабого, составляли прозаическія статьи издателя, принадлежащія къ области сатиры, которая имѣетъ предметомъ не общечеловѣческіе недостатки, какъ въ «Ежемѣсячныхъ сочиненіяхъ», а недостатки современнаго русскаго общества. Сотрудники Сумарокова доставляли ему преимущественно переводы съ древнихъ языковъ: изъ Горация, Овидія, Ливія, Лукана, Лукіана, Ксенофонта, Віона. Переведено также нѣсколько статей изъ англійскаго «смотрителя» (т. е. Аддисонова Зрителя). — Между другими журналами, выходившими въ 1759—63 г.г., наиболѣе замѣчательнъ журналъ Рейхеля, профессора московскаго университета: «Собраніе лучшихъ сочиненій къ распространенію знанія и къ произведенію удовольствія», выходившій въ 1762 г., по книгѣ черезъ каждыя три мѣсяца. Уже самое названіе сборника даетъ знать, что издатель его намѣревался слѣдовать по пути, указанному Миллеромъ, т. е. соединять въ своемъ изданіи полезное съ пріятнымъ. Намѣреніемъ его было передать на русскій языкъ лучшія иностранныя сочиненія по физикѣ, экономіи, правоученію, политической и ученой исторіи. Особенно заботился онъ о тѣхъ

читателяхъ, «которые не имѣютъ склонности къ глубокомысленнымъ разсужденіямъ». Переводчиками были студенты московскаго университета, между которыми нерѣдко встрѣчается имя Фонъ-Визина (¹).

§ 19. Литература времени Екатерины II, сохраняя, по формѣ, ложноклассическое направленіе, данное ей Ломоносовымъ, въ то же время, по содержанію, становится органомъ просвѣтительныхъ идей и стремленій XVIII вѣка, которыми интересовались всѣ мыслящіе и образованные люди и которые стали выражаться еще въ царствованіе Елисаветы, какъ это мы видѣли, говоря о трагедіяхъ Сумарокова. Такимъ образомъ двойное вліяніе французской литературы на нашу, начавшееся въ сороковыхъ годахъ прошлаго столѣтія (вліяніе по формѣ и по образу мыслей) со вступленія на престолъ Екатерины II принимаетъ большую силу и большіе размѣры. Сама Императрица подала тому примѣры своими сочиненіями, изъ коихъ «Наказъ» стоитъ на первомъ планѣ, налагающаго начала, выработанныя современною наукою. Къ нему примыкаютъ другія ея произведенія, связанныя съ нимъ и между собою согласіемъ основныхъ воззрѣній. Первымъ дѣломъ Екатерины, по ея вступленіи на престолъ, было даровать Россіи новую, органическую систему законовъ. Чтобы узнать истинныя нужды народа, она повелѣла учредить въ Москвѣ комиссію изъ депутатовъ отъ всѣхъ званій и сословій, для сочиненія проекта новаго уложенія. Въ руководство же комиссіи при ея работахъ написала инструкцію или «Наказъ», заключающій въ себѣ положенія, на которыхъ долженствовала воздвигнуться законодательная система. Содержаніе его заимствовано изъ Монтескье («о духѣ законовъ») и Беккариа («о преступленіяхъ и наказаніяхъ»). Оно отвѣчало современной потребности—примѣнить къ законамъ начала истины и челоуколюбія. Карамзинъ, въ похвальной словѣ Екатеринѣ, опредѣляетъ характеръ ея царствованія такими словами: «Екатерина уважала въ подданномъ санъ челоука, нравственнаго существа, созданнаго для счастья въ гражданской жизни. Петръ I возвысилъ насъ на степень образованныхъ людей; Екатерина хотѣла обходиться съ нами, какъ съ людьми образованными». Въ манифестѣ «объ учрежденіи комиссіи для сочиненія проекта новаго уложе-

¹) «Очерки русской журналистики, В. Милутина» (Современникъ 1851 г., т. т. XXV и XXVI); «Редакторъ, сотрудники и цензура въ русскихъ журналахъ 1755—1764 г.г., П. Пешарского» (въ приложеніи къ XII т. Записокъ А. Н., 1867); Историческое разсужденіе о рус. современныхъ изданіяхъ и сборникахъ за 1708—1802 г., А. Неурстоева (1874).

нія» она объявила желаніе—видѣть русскій народъ столько довольнымъ и счастливымъ, сколь далеко человѣческое довольство и счастье простираются могутъ. «Наказъ», данный ею комиссіи, поставляетъ предметомъ самодержавія—наивозможно большее благо Россіи: «Мы думаемъ и за славу себѣ вѣнчанъ сказать, что Мы сотворены для нашего народа. Боже сохрани, чтобы былъ какой народъ больше процвѣтающъ на землѣ».

Но возможное совершенство гражданскаго благоденствія существуетъ только при народной нравственности. Только тотъ народъ имѣетъ право имъ пользоваться и дѣйствительно пользуется, въ которомъ развито чувство долга, законности, справедливости, который свои дѣйствія уклоняетъ отъ зла, какъ источника бѣдствій, и направляетъ къ добру, убѣжденный въ его необходимости для счастья. Чтобы нравственно возвысить народъ, надобно ему дать надлежащее воспитаніе. Императрица въ этомъ пунетѣ, равно какъ и во многихъ другихъ, держится ученія Монтескье и Беккари. Слѣдуя первому, «Наказъ» говоритъ, что «правила воспитанія суть первыя основанія, приготавлиющія насъ быть гражданами»; слѣдуя второму, онъ видитъ въ воспитаніи самое надежное, хотя и самое трудное средство не только отвращать людей отъ преступленій, но и дѣлать ихъ лучшими. Требованіе современной философіи—замѣнить многосложныя и традиціонныя постановленія, управлявшія обществомъ, простыми, здравыми правилами, извлеченными изъ природы человѣка, легло въ основаніе и новой педагогической системы. Авторитетами въ ея области были Локкъ и Руссо. Воспитаніе, устроенное по ихъ руководству, служило радикальной отмѣной прежняго, перевоспитаніемъ. Оно должно было произвести полную реформу общества, создать «новую породу людей».

Мысль о созданіи новой породы людей силою воспитанія обращалась въ кругу фізіократовъ. Кене смотритъ на общественное воспитаніе, какъ на единственное средство противъ злоупотребленій: послѣднія невозможны, если нація просвѣщена. Государство, по ученію фізіократовъ, обязано не только управлять народомъ, но и давать ему извѣстный видъ, не только преобразовывать людей, но и вполне измѣнять ихъ. Воспитывая гражданъ, оно можетъ дѣлать изъ нихъ все, что ему угодно. Этотъ взглядъ подробнѣе развитъ французскимъ министромъ Тюрго въ запискѣ его, поданной Людовику XVI (1775). Пораженный печальнымъ состояніемъ современной жизни, Тюрго полагаетъ корень зла въ отсутствіи плотнаго государственнаго состава. Общество состоитъ изъ различныхъ классовъ, дурно между собою связанныхъ. Каж-

дый занять только собственнымъ интересомъ, никто не выполняетъ своихъ обязанностей, не знаетъ своихъ отношеній къ другимъ. Чтобъ уничтожить духъ разъединенія и безурядицы, замѣнивъ его духомъ порядка и единства, необходимо направить силы націи къ общему благу, сплотить всѣ части государства по опредѣленному плану, такъ чтобы отдѣльные граждане были крѣпко привязаны къ семейству, семейства къ деревнѣ или городу, города и деревни къ округамъ, округи къ провинціямъ, провинціи къ цѣлому государству. Наилучшее для этого средство — новая, централизованная система воспитанія. Тюрго предлагаетъ учредить «совѣтъ народнаго образованія», который дѣйствовалъ бы въ одномъ духѣ и по однимъ началамъ; и въ вѣдомствѣ котораго находились бы всѣ ученія и учебныя заведенія, отъ академій до элементарныхъ школъ. Въ томъ же духѣ слѣдуетъ составить учебныя руководства, чтобы изученіе обязанностей гражданина, какъ члена семейства и вѣсть члена государства, было краеугольнымъ камнемъ для всѣхъ прочихъ знаній. Въ этомъ воспитательномъ механизмѣ обращается вниманіе на два коренные недостатка дотошъ существовавшей педагогической системы: во первыхъ, на развитіе спеціальнаго образованія въ ущербъ общему гражданскому ученію; во вторыхъ, на отсутствіе нравственнаго элемента. Тюрго жалуется на слабость той науки, которая излагаетъ общественныя обязанности человѣка. У насъ, говоритъ онъ, есть методы и учрежденія для образованія геометровъ, физиковъ, живописцевъ, и нѣтъ ничего подобнаго для образованія гражданъ. Всѣ усилія напп. стремятся къ приготовленію ученыхъ. Не достигшіе этой цѣли остаются безъ вниманія и становятся ничѣмъ. Новая система воспитанія должна образовывать на всѣхъ ступеняхъ общества людей добродѣтельныхъ и полезныхъ, души правдивыя, сердца чистыя, ревностныхъ гражданъ. Но еще прежде Тюрго мыслящіе люди во Франціи поставляли на видъ недостатокъ общаго и нравственнаго элемента въ образованіи, иначе: недостатокъ воспитанія при многостороннемъ ученіи. Протанъ жего вооружался Дюбло (†1772), въ *Considérations sur les moeurs de ce siècle*. Отзвѣвъ его перефразировалъ фонъ-Визининъ, въ «Письмахъ изъ Франціи»: «Воспитаніе во Франціи ограничивается однимъ ученіемъ. Нѣтъ генеральнаго плана воспитанія, и все юношество: учится, а не воспитывается. Главное стараніе прилагаютъ, чтобъ одинъ сталъ богословомъ, другой живописцемъ, третій столяромъ; но чтобъ каждый изъ нихъ сталъ человѣкомъ, того и на мысль не приходитъ».

Съ педагогическими воззрѣніями физиократовъ имѣетъ много сходнаго генеральный планъ воспитанія, задуманный Елатериномъ. Оф-

фіціальное его наложеніе содержится частью въ Наказѣ (въ статьѣ: о воспитаніи) и полнѣе въ докладахъ Бецкаго (†1795), президента академіи художествъ, которому Екатерина поручила выполненіе воспитательныхъ реформъ; неофіціальное — въ литературныхъ произведеніяхъ. Подобно фзіократамъ, Бецкій признаетъ могущество воспитанія, которымъ «даруется новое бытіе и производится новый родъ подданныхъ»; подобно имъ, возлагаетъ на государство обязанность воспитывать народъ; подобно имъ, отъ новой педагогической системы ждетъ искорененія двухъ главнѣйшихъ недостатковъ прежней: односторонности спеціального образованія и пренебреженія нравственнымъ началомъ при развитіи человѣческихъ способностей. Не слѣдуетъ однакожъ заключать отсюда, что Бецкій заимствовалъ свои понятія у фзіократовъ. Этого не могло быть уже и потому, что первый докладъ Бецкаго о воспитаніи юношества обоего пола относится къ 1764 г., слѣдов. предшествовалъ не только запискѣ Тюрго, поданной въ 1775 г., но даже книгѣ Дюло, изданной въ 1765 г., и тѣмъ сочиненіямъ французскихъ экономистовъ, которые разсуждаютъ объ устройствѣ центрального, взятаго на себя правительствомъ воспитанія. Мы указали на сходство педагогическихъ воззрѣній въ двухъ различныхъ странахъ, какъ на замѣчательный фактъ общаго настроенія мысли въ той средѣ образованнаго класса, которая усвоивала философическіе взгляды XVIII в.

Правила воспитанія изложены Бецкимъ: въ упомянутомъ докладѣ 1764 г.; въ разсужденіяхъ, служащихъ руководствомъ къ новому уставу сухопутнаго кадетскаго корпуса (1766); въ краткомъ наставленіи о воспитаніи дѣтей отъ рожденія ихъ до юношества (1766), и въ генеральномъ планѣ воспитательнаго дома (1763 и 1767). Всѣ эти работы, вмѣстѣ со многими другими постановленіями, изданы отдѣльною книгою, въ 3 ч.: «Собраніе учрежденій и предписаній, касательно воспитанія въ Россіи обоего пола благороднаго и мѣщанскаго юношества (1789—91)». Извлекаемъ изъ нихъ сущность педагогическихъ реформъ.

Образованіе при Петрѣ и ближайшихъ его преемникахъ имѣло свою задачу — усвоить европейскую цивилизацію на столько, на сколько она была пригодна для матеріальныхъ потребностей государства. Это было собственно «ученіе», т. е. приобрѣтеніе спеціальныхъ знаній, какъ средствъ для успѣшнаго отправленія той или другой службы. Образованіе, въ исключительныхъ видахъ практической пользы, не только страдало односторонностью, но оказалось несостоятельнымъ даже въ своей ограниченной сферѣ. Недостаточные его успѣхи объясняетъ Бецкій слѣдующимъ образомъ:

«Хотя съ давняго времени Россія имѣтъ академію и разныя училища, и много издержано на посылку юношества въ чужіе края для обученія наукамъ и художествамъ; однакожъ мало получено отъ того существительныхъ (существенныхъ) плодовъ. Причина этому не въ недостаткѣ способностей у русскаго человѣка: напротивъ, провидѣніе щедро надѣлило его дарами; а въ недостаткѣ средствъ къ достиженію цѣли или въ выборѣ средствъ дурныхъ. Дворяне, отправленные за границу еще при Петрѣ I, скоро и хорошо выучились тому, чему должны были выучиться; но по возвращеніи въ отечество, увидѣвъ открытую имъ дорогу почестей, на которыя они имѣли право по образованію, перестали заниматься науками. Другіе, взятые въ ученіе изъ простаго народа, также оказали быстрые успѣхи, но потомъ еще скорѣе обратились къ прежнему невѣжеству». Отъ внѣшняго усвоенія европейской цивилизаціи произошла въ послѣдствіи другая односторонность: въ замѣну стариннаго невѣжества, возникло невѣжество иного рода—ложное, превратное образованіе. Удаляясь отъ простоты своихъ предковъ, новое поколѣніе вмѣстѣ съ нею теряло и благонравіе. Еще Кантемиръ вооружался противъ пороковъ; сопутствующихъ полуобразованности, и требовалъ истиннаго благородства, честности, гражданскихъ заслугъ. На нихъ-то обратила вниманіе Екатерина. Доклады Бецкаго сѣтуютъ на упущеніе изъ виду нравственности—главнѣйшаго предмета педагогическихъ заботъ: «Опытъ доказалъ, что одинъ только украшенный или просвѣщенный разумъ не производитъ еще добраго, прямого гражданина; напротивъ, онъ становится вреднымъ для того, у кого съ юныхъ лѣтъ не вкоренена въ сердце добродѣтель. Отъ небреженія нравственности, отъ ежедневныхъ дурныхъ примѣровъ привыкаетъ онъ къ мотовству, своевольству, безчестному лакомству, непослушанію. При такомъ недостаткѣ нравственнаго воспитанія напрасно ласкать себя ожиданіемъ истинныхъ успѣховъ въ наукахъ и искусствахъ».

Какимъ же образомъ уничтожить слѣдствія мнимаго просвѣщенія, состоящаго въ одностороннемъ стремленіи къ европейской цивилизаціи? Одно ученіе безсильно производить истинно-хорошихъ людей, истинно полезныхъ гражданъ: кромѣ просвѣщенія ума наукой, необходимо облагороженіе сердца. Необходимо поставить въ первомъ планѣ воспитаніе нравственное, посредствомъ котораго знаніе не только соединяется съ добродѣтелью, но и подчиняется Добродѣтели. Таково и было намѣреніе Екатерины: она хотѣла, «чтобы съ изыщнымъ разумомъ соединялось изыщное сердце». Руководствуясь Локкомъ, она хотѣла, чтобы молодой человѣкъ выходилъ изъ школы или изъ родительскаго дома не столько

ученимъ, сколько благовоспитаннымъ. Надлежащее воспитаніе долженствовало быть всестороннимъ развитіемъ способностей человека—тѣлесныхъ, умственныхъ и нравственныхъ, но такъ, чтобы элементъ нравственный (благоправіе) занималъ первое мѣсто. Успѣхамъ въ наукахъ предпочиталось хорошее поведеніе: въ «Уставѣ академіи художествъ» предписано «наче всего разсматривать похвальное поведеніе и благоправіе учениковъ; «Разсужденія, служащія руководствомъ въ новому уставу кадетскаго корпуса», объявляютъ, что главное намѣреніе при заведеніи училищъ—«не науки только и искусства умножать въ народѣ, но въоружать въ сердца добронравіе». Тоже самое въ планѣ коммерческаго училища (1772): первымъ и главнымъ предметомъ, съ начала приѣма и до выпуска, — физическое и нравственное, т. е. приведеніе дѣтей въ твердость сложенія тѣлеснаго и направленіе сердца и разума къ добродѣтели».

Воспитаніе, обязанное произвести «новую породу людей», не достигнетъ своей цѣли (такъ разсуждалъ Бецкій), если дѣти останутся при породѣ старой—при своихъ родителяхъ, которые воспитывались иначе или не воспитывались никакъ. Умъ прежняго поколѣнія, зараженнаго ложными понятіями, и нерѣдко его дурная нравственность оказали бы вредное вліяніе на поколѣніе молодое. Поэтому педагогическій планъ Бецкаго могъ быть исполненъ не иначе, какъ учрежденіемъ особыхъ воспитательныхъ училищъ, которыя принимали бы дѣтей въ самомъ раннемъ возрастѣ и удерживали бы ихъ до 18 или 20 лѣтъ, не допуская сообщеній съ другими, такъ чтобы и съ ближайшими родственниками дѣти могли видаться только въ назначенные дни и въ присутствіи надзирателей или надзирательницъ. Обязанность начальства въ этихъ «закрытыхъ воспитательныхъ заведеніяхъ» опредѣлялась характеромъ новаго воспитанія. Оно должно было, по наставленію «Наказа», «вселять въ юношество страхъ Божій, утверждать юныя сердца въ похвальныхъ склонностяхъ, приучать ихъ къ основательнымъ и приличнымъ ихъ состоянію правиламъ, возбуждать въ нихъ охоту къ трудолюбію, чтобы они страшились праздности, какъ источника всякаго зла и заблужденія, научать пристойному въ дѣлахъ и разговорахъ поведенію, учтивости, благопристойности, сдоблѣзнованію о бѣдныхъ, несчастныхъ, отвращенію отъ всякихъ дерзостей; обучать домостроительству, отвращать отъ мотовства, въоружать склонность къ опрятности и чистотѣ, однимъ словомъ—наставлять всѣмъ добродѣтелямъ и качествамъ, которыя образуютъ прямыхъ гражданъ, полезныхъ обществу членовъ, служащихъ ему украшеніемъ».

Новое воспитаніе должно было произвести у насъ и среднее сословіе, или «людей третьяго чина», къ которому «Наказъ» причисляетъ: а) не дворянъ и не хлѣбопашцевъ, упражняющихся въ художествахъ, наукахъ, мореплаваніи, торговлѣ и ремеслахъ; б) не дворянъ, вышедшихъ изъ воспитательныхъ домовъ и училищъ духовныхъ и свѣтскихъ; в) дѣтей приказныхъ. Бецкій, указавъ малую пользу отъ образованія людей, взятыхъ изъ «подлости» (простаго званія), прибавляетъ: «отъ сего и людей такого состоянія, которое въ другихъ мѣстахъ третьимъ чиномъ или среднимъ называютъ, Россія до сего времени и произвести не могла». Въ видахъ образованія этого сословія учреждены были при кадетскомъ корпусѣ и при академіи художествъ воспитательныя мѣщанскія училища. Воспитанники ихъ, равно какъ питомцы воспитательнаго дома и коммерческаго училища, отличные по поведенію и успѣхамъ, получали потомственную свободу. По поводу званія, къ которому должно готовить питомцевъ воспитательнаго дома, Бецкій говоритъ: «Извѣстно, что въ государствѣ (русскомъ) два чина только установлены: дворяне и крѣпостные; но какъ по привилегіямъ, жалованнымъ сему учрежденію, воспитанники и потомки ихъ вольными пребудутъ, то они слѣдовательно составятъ третій чинъ въ государствѣ».

Устройство новаго воспитанія, какъ основа общественному благоденствію, составляло, по мнѣнію современниковъ, высшую степень въ развитіи нашей гражданственности. Правительство и образованные люди сознавали его важность. Это сознаніе выражено обращеніемъ Бецкаго къ Екатеринѣ, въ генеральномъ планѣ воспитательнаго дома: «Петръ Великій создалъ въ Россіи людей; Ваше Величество влагаете въ нихъ души». Тоже самое сказано Сумароковымъ въ «Надписи къ статуѣ Петра I»:

Петръ далъ намъ *бытіе*, Екатерина *душу*,

и Херасковымъ, въ эпилогѣ къ повѣсти «Нума»:

Почтенія къ тѣмъ святымъ словамъ я ввѣкъ не рушу:

Петръ Россамъ далъ *тѣла*, Екатерина *душу*.

Обширный планъ воспитанія по указаннымъ идеямъ началъ приводиться въ исполненіе учрежденіемъ новыхъ училищъ и преобразованиемъ прежнихъ. Въ Петербургѣ основано было воспитательное общество для благородныхъ дѣвицъ при воскресенскомъ (смольномъ) монастырѣ (1764) и при немъ такое же общество для дѣвицъ мѣщанскаго сословія (1765); преобразованы: академія художествъ, при которой учреждено воспитательное училище для мѣщанъ (1764), и сухопутный кадетскій корпусъ (1766), при кото-

ромъ также учреждено училище для образованія мѣщанскихъ дѣтей (1772). Въ Москвѣ училища Екатерининское (1764) и Коммерческое (1772). Помощникъ Бецкаго былъ профессоръ Барсовъ: имъ написанъ уставъ воспитательнаго дома, учрежденнаго въ Москвѣ (1763) по образцу уставовъ воспитательныхъ домовъ въ Голландіи, Франціи и Италіи, которые видѣлъ Бецкій во время своего путешествія.

Но такъ какъ намѣреніе правительства основать закрытыя воспитательныя училища во всѣхъ важнѣйшихъ городахъ Россіи не могло осуществиться за недостаткомъ денежныхъ средствъ и нужнаго числа наставниковъ, то въ послѣдствіи прибѣгли къ учрежденію «народныхъ училищъ». Это были не воспитательныя, а учебныя заведенія, хотя они отрывались на однихъ и тѣхъ же началахъ съ первыми. И тамъ и здѣсь исходною точкою служили понятія, что въ воспитаніи юношества заключается единственное средство для утвержденія гражданскаго счастья; что воспитаніе, просвѣщая разумъ, украшаетъ душу и, склоняя волю къ добру, дѣлаетъ человека благонравнымъ; что сѣмена полезныхъ знаній необходимо насаждать въ сердцахъ отроковъ съ младенчества, дабы они въ юношествѣ возрасли, а въ возрастъ мужества созрѣли и приносили обществу достойный плодъ. Особая коммиссія (1782) сочинила планъ народныхъ училищъ, пріискала преподавателей, составила учебныя руководства. Уставъ, ею изданный (1786), образуетъ первый періодъ въ исторіи учебныхъ заведеній, подвѣдомственныхъ министерству народнаго просвѣщенія. Народныя училища были двухъ родовъ: «главныя», или «четыреклассныя», и «малыя», или «двуклассныя». Первые находились въ губернскихъ городахъ; вторыя въ уѣздныхъ. Для подготовки учителей была назначена учительская семинарія, въ Петербургѣ. Устройствомъ учебной части занимался преимущественно Янковичъ де Миріево (1741—1814), родомъ сербъ, бывшій директоромъ темесварскихъ училищъ и вызванный въ Россію, по рекомендаціи Іосифа II.

§ 20. Начала новаго воспитанія, указанныя одною статьею «Наказа» и «докладами» Бецкаго, подробнѣе раскрыты педагогическими сочиненіями самой императрицы, изъ которыхъ одни содержатъ въ себѣ ея понятія о воспитаніи, а другія, согласно этимъ понятіямъ, даютъ матеріалъ для дѣтскаго чтенія. Къ первому роду сочиненій относится «Инструкція кн. Н. И. Салтыкову» при назначеніи его воспитателемъ великихъ князей Александра Павловича и Константина Павловича; ко второму—дѣтская бібліотека, написанная для ея внуковъ: «Сказка о царевичѣ Февѣѣ», «Сказка о

царевичъ Хлоръ», «Выборныя російскія пословицы», «Записки, содержащія въ себѣ рассказы и разговоры», и «Гражданское начальное ученіе». Если, при составленіи «Наказа», Екатерина обращалась къ Монтескье и Беккаріи—главнымъ авторитетамъ въ законодательствѣ, то педагогическая ея система держится на ученіи Монтеня и преимущественно Локка. Монтень, французскій философъ XVI в. († 1592), въ своихъ «Опытахъ» показалъ недостатки современнаго ему воспитанія и предложилъ средства замѣнить его другимъ, болѣе раціональнымъ; Локкъ († 1704), въ книгѣ «о воспитаніи», построилъ новую педагогическую систему.

Недостатки воспитанія, въ XVI и XVII в., происходили, съ одной стороны, отъ непониманія дѣтской природы, а съ другой — отъ непониманія будущаго назначенія дѣтей. Исключительное вниманіе обращалось на приобрѣтеніе знаній, именно—на изученіе древнихъ языковъ, въ особенности латинскаго; укрѣпленіе же тѣла и образованіе нравственнаго чувства были совершенно выпущены изъ виду. Способъ обученія подавлялъ всякую возможность самостоятельнаго умственнаго развитія: уроки затверживались наизусть механически, такъ что память играла важнѣйшую роль, не давая никакого простора другимъ способностямъ. Строгая дисциплина служила необходимою принадлежностію ученія: въ грубомъ обращеніи съ дѣтьми, въ тѣлесныхъ наказаніяхъ видѣли наилучшее средство къ успѣхамъ; педагогъ являлся не снисходительнымъ другомъ юношества, а строгимъ дидаскаломъ, вооруженнымъ указкою и розгой. Монтень и Локкъ выходятъ изъ другихъ, совершенно противоположныхъ тому требованій. Они расширяютъ сферу воспитанія, разумѣя подъ нимъ развитіе всѣхъ элементовъ чело- вѣческаго состава: тѣлеснаго, умственнаго и нравственнаго, и только измѣняя ихъ относительную важность. Главными условіями образованія полагаются естественность и свобода. Механическое приобрѣтеніе знаній замѣнено нормальнымъ развитіемъ мыслитель- ной способности, которая отъ того становится самостоятельною, способною легко усвоить все, что ей ни сообщаютъ. Воспитатель долженъ быть только помощникомъ, руководителемъ юношества. Тѣлесныя наказанія и вообще грубыя принудительныя мѣры, поселяющія въ дѣтяхъ робость или упрямство, устранены вовсе. Мѣсто ихъ заступаютъ благородныя побужденія: «честь», стремящаяся къ приобрѣтенію и сохраненію любви ближнихъ, и «стыдъ», происходящій отъ сознанаго невниманія или превръщенія ближнихъ. Главная цѣль воспитанія—развить нравственное чувство и укрѣпить тѣло; ученіе стоитъ на послѣднемъ планѣ. Каждый чело- вѣкъ долженъ быть не столько ученымъ, сколько благовоспитан-

нымъ; а высшее достоинство благовоспитаннаго — добронравіе, добродѣтель. Педагогическая система Екатерины II построена на тѣхъ же основаніяхъ, т. е. на естественности, свободѣ, терпимости и кроткомъ обхожденіи. Исключительное развитіе ума замѣщено образованіемъ всестороннимъ, воспитаніемъ. Главнѣйшій долгъ наставника—склонять волю дѣтей къ благимъ дѣйствіямъ, направлять ихъ къ жизни добродѣтельной. За тѣмъ слѣдуютъ заботы объ укрѣпленіи тѣла, такъ чтобы оно было способно выносить труды и лишения: «здоровое тѣло и умонаклоненіе къ добру (сказано во введеніи къ «Инструкціи») составляютъ все воспитаніе». Собственно ученіе лишено самостоятельности. Екатерина смотритъ на него, какъ на дополненіе къ нравственному образованію: «ученіе, или знаніе, да будетъ единственно отвращеніемъ отъ праздности, способомъ къ познанію естественныхъ способностей, привычкой къ труду и прилежанію». Необходимымъ условіемъ развитія постановлено возбужденіе дѣтской самостоятельности. Дѣло воспитателя ограничивается разумною, въ извѣстныхъ предѣлахъ заключенною, помощью: онъ старается, чтобы воспитанники сами доходили до познанія нужныхъ вещей, а не прямо показывалъ эти вещи. Суровое обхожденіе съ дѣтьми не только бесполезно, но и вредно: оно уничтожаетъ бодрость духа и веселость нрава—драгоценнѣйшія качества всѣхъ возрастовъ. Наказаніе должно заключаться въ стыдѣ, а награда въ чести: «хвалы, даваемые хорошему поведенію, хулы и пренебреженія — достойному хулы, суть тѣ способы, коими поощряется хорошее и отвращается дурное поведеніе».

Книги для дѣтскаго чтенія, написанныя Екатериною, выражаютъ педагогическія начала въ формѣ наставленій или разсказовъ. Онѣ относятся къ «Инструкціи», какъ примѣры къ правиламъ, или какъ изъясненіе и повтореніе правилъ. Въ нихъ представлены лица, образованныя по извѣстной системѣ, разсказаны дѣйствія этихъ лицъ и даны совѣты, вытекающіе изъ основныхъ понятій о воспитаніи. Аллегорическая «сказка о Хлорѣ (1782)», сынѣ русскаго царя, жившаго еще до временъ кievскаго князя Кіа, повѣствуетъ, какъ этотъ царевичъ былъ похищенъ киргизскимъ ханомъ, который плѣнился его красотою, умомъ и дарованіями и заставилъ его искать розу безъ шиповъ, т. е. добродѣтель, доставляющую человѣку полное, ничѣмъ неотравляемое наслажденіе. Фелица, жена хана, руководствуетъ царевича. Она даетъ ему въ спутники своего сына, Разсудокъ. Съ помощью честности и правды, Хлоръ преодолѣлъ всѣ препятствія и на вершинѣ горы нашелъ желанную розу. Нравственный смыслъ сказки въ томъ, что истин-

ное счастье приобретается добродѣтелью, которая невозможна безъ путеводства разума. И въ главной мысли и въ частностяхъ сказка тѣсно связана съ Инструкціей. Главная мысль—исканіе добродѣтели—указываетъ на основную цѣль воспитанія, которое должно было развивать умонаклоненіе къ добру, вкоренять въ сердце добронравіе. Нашедъ розу, царевичъ болѣе и болѣе заслуживалъ любовь, отъ того что болѣе и болѣе укрѣплялся въ добродѣтели. Что въ Инструкціи говорится о дѣтскихъ забавахъ, веселости права, смѣлости, самодѣтельности, пустомъ страхѣ, добромъ примѣрѣ наставниковъ, то самое встрѣчаемъ въ сказкѣ. Царевичъ надѣленъ именно тѣми качествами, какихъ требуетъ Инструкція отъ воспитанниковъ: не смотря на дѣтскій возрастъ свой, онъ смѣется надъ недѣльными угрозами киргизцевъ—оборотить его въ летучую мышь или коршуна; самъ идетъ къ хану, не дозволяя нести себя на рукахъ; вошедъ въ ханскую кибитку, удивилъ всѣхъ присутствующихъ учтивствомъ и благопристойностью.

Содержаніе сказки «о Февей красномъ солнышкѣ (1782)» самое простое и немногосложное: она описываетъ воспитаніе, свойства и дѣла царевича, который жилъ въ послушаніи при своихъ родителяхъ, потомъ женился и мудрымъ правленіемъ заслужилъ себѣ славу и народную любовь. Физически и нравственно Февей воспитанъ по правиламъ Инструкціи: его не членили, не кутали, не баякали, не качали; игрушки сообщали ему познаніе обо всемъ окружающемъ, что не превышало его дѣтскаго понятія; въ болѣзни приучился онъ быть терпѣливымъ; лѣтомъ и зимою гулялъ на открытомъ воздухѣ: умѣлъ ѣздить верхомъ, стрѣлать изъ лука и ружья, метать въ цѣль копьемъ и проч. Сердце имѣлъ царевичъ доброе: былъ жалостливъ, щедръ, учтивъ, привѣтливъ, всѣмъ доброхотенъ; вездѣ и всегда повиновался истинѣ и здравому разсудку; любилъ говорить и слушать правду; лжи гнушался до того, что не прибѣгалъ къ ней даже въ шуткахъ. Ласкательства онъ не терпѣлъ. Когда стихотворцы, по случаю его выздоровленія, написали пѣсни, исполненныя необычайныхъ похвалъ, онъ обратился къ приставамъ съ такими словами: «не дайте возгордиться душѣ моей, и для того ежедневно, какъ только пробудусь отъ сна, говорите мнѣ: Февей, вставай съ одра и помни, что ты такой же человѣкъ, какъ и мы». Эти черты Февеева права дополняетъ бояринъ Рѣшмыслъ, мудрый совѣтникъ его отца: «разговаривая съ кѣмъ либо, Февей ведетъ свою рѣчь такъ, будто ищетъ благоволенія, и не даетъ ни малѣйшаго знака, что говорить изъ одной милости; въ немъ нѣтъ надменности: онъ любитъ

ближняго, какъ самого себя, и, будучи самъ человѣкъ, всегда помнить, что разговариваетъ съ человѣкомъ».

«Гражданское начальное ученіе (1783)» есть собраніе краткихъ изреченій, вопросовъ и отвѣтовъ. Вопросы и отвѣты сообщаютъ нѣкоторые познанія; въ изреченіяхъ же передаются нравственные правила. Названіемъ книжки опредѣляется ея цѣль—дать понятіе о предметахъ, нужныхъ гражданину, и объ его обязанностяхъ. Нѣкоторыя изреченія взяты прямо изъ «Наказа», наприм.: «законы можно назвать способами, коими люди соединяются и сохраняются въ обществѣ и безъ которыхъ бы общество разрушилось»; «равенство всѣхъ гражданъ состоитъ въ томъ, чтобы всѣ подвержены были тѣмъ же законамъ»; «вольность есть право все то дѣлать, что законы дозволяютъ»; «все, что въ законѣ называется наказаніе, дѣйствительно не что иное есть, какъ трудъ и болѣзнь», и пр. Есть нѣсколько мѣстъ общихъ съ «Инструкціей»; таковы: раздѣленіе жизни человѣческой на возрасты; мысль о любви къ ближнему и справедливости—двухъ великихъ путяхъ, принадлежащихъ человѣку; мысль о томъ, чѣмъ дитя оказываетъ благодарность родителямъ, и пр.

«Выборныя русскія пословицы (1782)» относятся также къ разряду нравственныхъ изреченій и правилъ. Выборъ сдѣланъ не случайно: имъ управляло намѣреніе—представить такія пословицы, которыя соотвѣтствуютъ условіямъ и требованіямъ воспитанія. Поэтому мысли выбранныхъ пословицъ приводятся и въ «Гражданскомъ начальномъ ученіи», и въ «Инструкціи», иногда одними и тѣми же словами. Такъ, напримѣръ, въ «Гражданскомъ ученіи» говорится: «долгъ родителей есть дать дѣтямъ ученіе»; «ученіе въ счастіи человѣка украшаетъ, въ несчастіи же служитъ прибижищемъ»; «кто говоритъ, что хочетъ, тотъ услышитъ, чего не хочетъ»; а въ «Выборныхъ пословицахъ»: «умѣлъ дитя родить, умѣй и научить»; «ученье въ счастіи красота, а въ несчастіи прибижище»; «кто говоритъ, что хочетъ, услышитъ, чего не хочетъ». Отношеніе пословицъ къ «Наказу» указываютъ тѣ изъ нихъ, которыми дается понятіе о законахъ и ихъ исполнителяхъ: «всѣ законы писать, когда ихъ не исполнять»; «гдѣ добрые судьи поведутся, и ябедники переведутся»; «милость—хранитель государства». Въ иныхъ пословицахъ выставлены тѣ качества, какія, по Инструкціи, слѣдовало поселять въ сердцахъ дѣтей: кроткое обращеніе не только съ людьми, но и съ животными, привѣтливость, скромность, послушаніе (наприм.: «добрый привѣтъ и кошкѣ пріятенъ»; «кто ласково принимаетъ, того любви всякій желаетъ»;

«кто смиреніемъ себя украшаетъ, тотъ честностію укрѣпляетъ»; «упрямство есть порокъ слабого ума») (1).

§ 21. Сатирическія статьи императрицы Екатерины, извѣстныя подъ псевдомъ «Былей и небылицъ», печатались въ «Собесѣдникѣ любителей русскаго слова (1783—1784)», — сборникѣ сочиненій въ стихахъ и прозѣ, который издавался отъ академіи наукъ, по желанію ея директора, княгини Екатерины Романовны Дашковой (см. ниже). Онѣ продолжали дѣло журнальной сатиры семидесятихъ годовъ, дополняя ее новыми картинами общественныхъ недостатковъ. Въ нихъ, какъ показываетъ названіе, смѣшаны дѣйствительность и вымыслы, но такіе, которые не лишены правдоподобія. Содержаніе ихъ, по словамъ самого автора, взято «изъ обширнаго моря естества»; онѣ наполнены тѣмъ, что «въ людяхъ водятся»; короче, описываютъ «умоположеніе человѣческое». Подъ вѣточнымъ словомъ «умоположеніе» или «умствованіе» разумѣется то самое, что Монтескье называетъ «*esprit général*» и что, по его ученію, занесенному въ «Наказъ» (§ 46), рождается отъ вѣры, климата, законовъ и другихъ условій народной жизни. Характеръ изображеній въ «Быляхъ и небылицахъ» — легкій и веселый. Онѣ избѣгали всего «гнусаго», «отвращающаго», и потому отказались отъ изображенія ябедника и издѣльника, которое предложилъ Фонъ-Визинъ (см. Письмо къ сочинителю Былей и небылицъ) и которое своимъ темнымъ цвѣтомъ не согласовалось бы съ легкой ясностію ихъ описаній. Авторъ ихъ ограничился насмѣшкой и шуткой, строго исключивъ все, что «не въ улыбателномъ духѣ», что можетъ возбудить или горестъ или скуку. На основаніи двухъ пословицъ: «съ людьми браниться нигда не годится» и «съ грѣхами бранись, а съ людьми мирись», онѣ имѣли дѣло только съ пороками и слабостями, думая исправить ихъ насмѣшкой. Но, будучи веселыми и забавными, «Были и небылицы» однакожъ отвергаютъ пустые предметы, которые не стоятъ ни вниманія публики, ни правительственныхъ заботъ; «глубокомысліе» и «полномысліе» предпочитаютъ онѣ другимъ качествамъ сочиненій: только первое требуется облечь ясностію, а второе легкостію слога. Форма ихъ состоитъ въ передачѣ собственныхъ разсказовъ, мыслей и взглядовъ автора какому-то дѣдушкѣ (почему онѣ назывались также «Разговорами дѣдушки») и двумъ друзьямъ его, изъ которыхъ одинъ, какъ Демокритъ, «болѣе смѣется, нежели плачетъ», а другой, какъ Гераклитъ, «болѣе плачетъ, нежели смѣется».

¹⁾ О педагогическомъ значеніи сочиненій Екатерины Великой, Н. Лавровскаго (1856), и мой отчетъ объ этой книгѣ въ 12 № Отчет. Зан. 1856 г.

Искусственность, высокопарность, темнота совершенно изгнаны; въ «завѣщаніи», окончательной статьѣ «Былей и небылицъ», написано «за смѣхомъ, за умомъ, за прикрасами не гонаться», «ходухей не употреблять, гдѣ ноги могутъ служить», «краснорѣчіе допускать лишь въ томъ случаѣ, когда само собою явится». Разнообразію сатирическихъ замѣтокъ помогаютъ умышленныя уклоненія отъ главной мысли, переходы отъ важныхъ предметовъ къ неважнымъ, и на оборотъ. Въ этомъ случаѣ Екатерина подражала манерѣ англійскихъ юмористовъ. Стернь, въ одной главѣ своего романа «Тристрамъ Шанди», признается, что онъ часто убѣгалъ отъ предмета на далекое разстояніе, стараясь однако, чтобы въ его отсутствіе дѣло не остановилось. Замѣчательны совѣты «завѣщанія» касательно языка «Былей и небылицъ»: оно требуетъ слога гладкаго, легкаго; краткія и понятныя выраженія предпочитаетъ длиннымъ и кругловатымъ; запрещаетъ пользоваться безъ нужды иностранными словами, которыя легко могутъ быть замѣнены словами русскаго языка, сильнаго и богатаго; реченія и обороты, сами собою представляющіеся, какъ бы текущіе, должны брать верхъ надъ другими. Въ этомъ отношеніи «завѣщаніе» сходится съ главою «Наказа» о составленіи и слогѣ законовъ. Наконецъ особый пунктъ «завѣщанія» возбраняетъ прибѣгать къ стихотворческимъ «изображеніямъ и воображеніямъ», чтобы не заходить въ чужія межи. Это касается собственно императрицы, которая не писала стиховъ, чѣмъ и объясняется стихъ Фелицы, оды Державина: «коня парнасска не сѣдлаешь». Когда нужно было дать ей мыслямъ стихотворную форму, какъ напр. въ операхъ, она поручала эту работу своимъ статсъ-секретарямъ: Елагину, Храповицкому. Въ «Инструкціи кн. Салтыкову» сказано, чтобы и великихъ князей не учить ни музыкѣ, ни виршамъ. То и другое Екатерина находила бесполезнымъ, почему и помѣстила въ Гражданскомъ начальномъ ученіи рассказъ объ Александрѣ Македонскомъ, гдѣ между прочимъ читаемъ: «началъ было онъ учиться музыкѣ съ успѣхомъ, но когда отецъ его спросилъ, не стыдно ли ему столь искусно играть, — уменьшилъ охоту въ такой наукѣ, на которую много времени для полученія искусства теряется безъ пользы иной, окромѣ забавы» (1).

О драматическихъ своихъ піесахъ Екатерина II отзывалась скромно, хотя и признавала въ себѣ нѣкоторое дарованіе. Посылая Вольтеру французскій переводъ комедій: «О время! (1772)» и

1) См. кон. статью о Быляхъ и небылицахъ (Отеч. Зал. 1856, № 10); Я. Гротъ: Сочетаніе Екатерины II въ Собесѣдникѣ.

«Именины госпожи Ворчалкиной (1772)», она писала: «у автора много недостатковъ; онъ не знаетъ театра; интриги его пьесъ слабы. Нельзя того же сказать о характерахъ: они взяты изъ природы и выдержаны. Кромѣ того, у него есть комическія выходы; онъ заставляетъ смѣяться; мораль его чиста и ему хорошо извѣстенъ народъ». Но бѣдность поэтическаго значенія ея драмъ выкупается ихъ отношеніемъ къ современной эпохѣ. Императрица пользовалась ими, какъ орудіемъ сатиры, какъ литературной формой для выраженія своихъ идей. Съ этой стороны современные писатели и находили ихъ «достойными почтенія и благодарности». Комедія «О время!» побудила Новикова приписать ея автору журналъ «Живописецъ». «Вы первый», говорится въ посвященіи, «съ такимъ удовольствіемъ и острою заставили слушать ѣдкость сатиры съ пріятностію и удовольствіемъ; вы первый съ такою благородною смѣлостію напали на пороки, въ Россіи господствовавшіе». Отвѣтъ автора, помѣщенный въ томъ же журналѣ, замѣчаетъ: «при сочиненіи комедіи не бралъ я находящихся въ ней умоначертаній ни откуда, кромѣ собственной моей семьи (т. е. Россіи), слѣд., не выходя изъ дому своего, нашелъ въ немъ одномъ къ составленію забавнаго позорища довольно обширное поле для искуснѣйшаго пера, а не для такого, каковымъ я свое почитаю».

Цѣль комедіи: «О время!»—осмѣять ханжество, суевѣріе и страсть къ вѣстямъ и сплетнямъ, представленныя въ лицѣ трехъ женщинъ: Ханжахиной, Чудихиной и Вѣстниковой. Съ характеромъ Ханжахиной знакомитъ ея слуганка Мавра: «она наполнена пустосвятствомъ, весьма зла, добродѣтелей ищетъ въ долгихъ молитвахъ и наружныхъ обыкновеніяхъ и обрядахъ, наблюдаетъ строго дни праздничныя, къ обѣдѣ всякій день ѣздитъ, свѣчу передъ праздникомъ всегда ставитъ, мяса по ностамъ не ѣстъ, ходитъ въ шерстяномъ платьѣ и ненавидитъ всѣхъ тѣхъ, кои ея правиламъ не слѣдуютъ». У Чудихиной каждый день новья примѣты; всего она боится, отъ всего обмираетъ; суевѣрная до безконечности, она, кромѣ того, безстыдная ссорщица и сплетница. Вѣстникова — жеманная, высокомерная, злорѣчивая вѣстовщица, любящая на старости наряды.

Ханжество и суевѣріе должны были казаться автору комедіи смѣшными и нелѣпыми уже потому одному, что они противорѣчили разуму, которому просвѣщеніе XVIII в. старалось доставить торжество и въ знаніи, и въ жизни. Вредя истинѣ, они могли также вредить человѣколюбію, т. е. возбуждать нетерпимость, готовую на странныя или опасныя обвиненія. Въ одномъ письмѣ

своемъ (1766), Екатерина выразила необходимость оградить общественное спокойствіе отъ всего, что входитъ въ область пустыхъ вѣрованій и нетерпимости. Къ числу правилъ, «весьма важныхъ и нужныхъ», «Наказъ», въ § 497, относитъ осторожность при изслѣдованіи дѣлъ о волшебствѣхъ и еретичествѣхъ: обвиненіе въ сихъ двухъ преступленіяхъ можетъ чрезмѣрно нарушить тишину, волюность и благосостояніе гражданъ и быть еще источникомъ безчисленныхъ мучительствъ, если въ законахъ предѣловъ оному не положено; ибо какъ сіе обвиненіе не ведетъ прямо къ дѣйствіямъ гражданина, но больше къ понятію, воображаемому людьми о его характерѣ, то и бываетъ оно очень опасно по мѣрѣ престонароднаго невѣжества.—Если корень суевѣрія—невѣжество, то оно должно искореняться наукой и воспитаніемъ: «Инструкція» требуетъ «отдалять отъ глазъ и слуха питомцевъ все, что устрашаетъ мысли, всякія пугалища, стѣсняющія умъ и душу»; при свидѣтельствѣ московскихъ школъ и пансіоновъ, по указу 1785, повелѣно было смотрѣть строго, чтобы въ нихъ не были терпимы соблазны, развратъ и *суевѣріе*. Преслѣдуя послѣднее, философія старалась объяснять необычайныя явленія жизни законами природы: поэтому на всѣ доводы, что суевѣріе есть порокъ, что «нравоученіе закона запрещаетъ вѣрить нелѣпнымъ баснямъ», Ханжахина отвѣчаетъ: «такъ, вы ничему пынче не вѣрите; у васъ все натура!»

Ханжахина заражена не однимъ пустосвятствомъ, но и скупостью: она очень часто твердитъ своей прислугѣ о постѣхъ и воздержаніи, особенно при раздачѣ мѣсячины и указаго; занявъ у купца деньги по шести процентовъ, сама отдаетъ ихъ въ ростъ по шестнадцати. Комедія смѣется надъ этимъ недостаткомъ, но вмѣстѣ порицаетъ и роскошь, которая втягивала дворянство въ долги и заставляла его обманывать займодавцевъ. Она слышитъ искренность и простоту прежняго времени съ новыми обычаями, и перевѣсь оказывается не на сторонѣ послѣднихъ: «Что касается до нынѣшней роскоши», говоритъ одно изъ дѣйствующихъ лицъ (Непустовъ), «я и самъ ея не люблю, равно какъ и старинную искренность почитаю. Похвальна, весьма похвальна старинная вѣрность дружбы и твердое наблюденіе даннаго слова, дабы въ несодержаніи его не было стыдно. Жаль, поистинѣ жаль, что нынѣ ничего не стыдятся, и многіе молодые молодцы, произнося ложь и обманывая займодавцевъ, а болыриньки, дерзко противъ мужей поступаая, мало отъ чего когда краснѣются». Злостная или вынужденная несостоятельность дворянскаго слова часто обличается сочиненіями Екатерины II. Въ «Именинахъ госпожи Ворчалкиной», Гергуловъ бьетъ палкой Фярялюфюшкова за неплатежъ долга, приговаривая: «не обма-

нѣвай честныхъ людей; держи данное свое слово; не дозволяй поступать съ собою какъ съ бездѣльникомъ; плутовъ бьютъ, обманщиковъ бьютъ, бездѣльниковъ бьютъ». По поводу этой сцены Екатерина писала Новикову (въ Живописцѣ): «Дошло до меня, что нѣкоторые критики за неприличное поставляютъ, что г. Фирлюфюшкова за безстыдное словонесдержаніе палкою наказанъ. Я не стану приводить здѣсь, бывало ль таковое гдѣ-нибудь дѣйствіе или нѣтъ, ниже хочу извинять поступокъ Геркулова: онъ, дѣйствительно, въ обыкновенномъ обществѣ жестокъ. Но себя я легко могу оправдать, сославшись на самое Уложеніе. Въ немъ господа критики найдутъ, чему за несдержаніе слова и за бездѣльность люди подвергаются». Самъ Геркуловъ и другое лице той же комедіи, Спесовъ, зараженный барскою спесью, не лучше Фирлюфюшкова: они также промотали свое имѣніе, также жили въ долгъ, также прибѣгали къ обманамъ для поправленія разстроенныхъ дѣлъ. «Были и небылицы» описываютъ трехъ барынь, изъ которыхъ одна до того бережлива, что даже кредиторамъ не платить; другая три года оставалась должна разнощику за апельсины; а третья ничего не находила по своему вкусу на биржѣ, потому что ей ничего не хотѣли дать въ долгъ. Въ томъ же сочиненіи говорится о какомъ то «обществѣ незнающихъ». Одинъ изъ его членовъ, на вопросъ: откуда и какъ имѣетъ пропитаніе? отвѣчалъ, что живетъ въ долгъ; а на вопросъ: какъ и когда платить намѣренъ? отвѣчалъ, что о томъ нисколько не заботится. Все это меткія черты сатиры, согласной, и въ выборѣ предмета, и во взглядѣ на предметъ, съ указаніями другихъ современныхъ сочиненій. Къ числу новыхъ обычаевъ, противныхъ строгости прародительскихъ нравовъ, принадлежалъ нравственный безпорядокъ домашней жизни. Въ модникахъ явились развратные мужья, въ модницахъ невѣрныя жены, «дерзкія боярыньки», потерявшія способность краснѣть отъ своего зазорнаго поведенія. Число тѣхъ и другихъ было значительно: «всѣхъ ихъ не перечесть», по словамъ ком. «Вѣстникова съ семьей». Поэтому служанка Ханжахиной даетъ такой совѣтъ жениху своей барышни: «чуръ не жить съ ней по модѣ; берегитесь, а то вы будете заплачены тою же монетою, какъ и другіе». По расчету «Былей и небылицъ», отношеніе добродетельныхъ супруговъ къ дурнымъ мужьямъ и женамъ весьма неутѣшительно. Легкомысленнымъ дѣвушкамъ, мечтающимъ о привольномъ замужествѣ, комедіи Екатерины II иногда ставятъ въ примѣръ дѣвицъ скромныхъ и разумныхъ. Въ ком. «Недоразумѣнія (1788)», одно дѣйствующее лицо говоритъ другому: «Не увѣришь ты меня никакъ, чтобъ было лучше выйти за природнаго дурака,

нежали за разумнаго человѣка. Сбыслава воспитана честно; она по замужествѣ чрезъ нѣсколько недѣль мужа не покинетъ, какъ недавно слышно было, что сотворила таковой соблазнъ дочь нашего сосѣда, дерзко вышедъ съ умысломъ, чтобъ погнѣуть мужа».

Кромѣ главныхъ своихъ предметовъ, ком. «О время!» касается недостатковъ современнаго воспитанія. Она выставляетъ, съ одной стороны, строгое обращеніе съ дѣтьми и держаніе дѣвицъ въ полномъ невѣжествѣ; съ другой, модное воспитаніе женскаго пола, образующее «новосвѣтскихъ госпожъ». Сынъ Чудикиной—одичъ изъ предшественниковъ Недоросля. Безотчетно привязанная къ старинѣ, руководясь не здравымъ разсудкомъ, а предубѣжденіями, она увѣрена, что свѣтъ сталъ превратенъ съ тѣхъ поръ, какъ врагъ принесть къ намъ чужія науки. На новыя учрежденія, особенно воспитательныя, она смотритъ непріязненно: «На что дѣвокъ учить грамотѣ? имъ ни къ чему грамота не надобна: меньше дѣвка знаетъ, такъ меньше вретъ. Я принуждена была матушкѣ своей побожиться, что до 50 лѣтъ пера въ руки не возьму. Да полно что! нынче и дѣвокъ-то всему, сказываютъ, въ Питерѣ учатъ. Быть добру!» Въ этихъ словахъ слышится голосъ Простаковой, явившейся черезъ десять лѣтъ послѣ Чудикиной.

Ком.: «Имянины г-жи Ворчалкиной», въ главномъ лицѣ своемъ, отъ котораго и получила названіе, изображаетъ недовольство настоящимъ временемъ, легковѣріе и ворчливость. У ней собирается общество тѣхъ людей, «кои весь свѣтъ на словахъ перелить въ состояніи, людей мыслей высокихъ и съ остронозными выдумками, словомъ—людей праздношатающихся». Ворчалкина осуждаетъ всѣ учрежденія и дѣйствія правительства. Когда зашелъ разговоръ о новой комедіи (О время!), въ которой будто бы описаны ея кума и сватья, и когда знакомый ея замѣтилъ, что піеся, выводящихъ на сцену личности, не дозволили бы играть, она отвѣчала: «И, батюшка! свѣтъ нынче таковъ: всему дурному потачка есть. Кому смотрѣть? кому запретить? и сами тѣ, комубъ не допускать-то надобно было, хохочутъ изъ всей мочи, когда руганье другимъ слышать». Воспитательные дома также ей не нравятся: «видишь, каковъ нынѣ свѣтъ-атъ развратенъ! подкидышковъ.... что ужъ этого больше?... подкидышковь подбирають, да кормятъ, да за ними ходятъ, какъ будто за благородными!» Все, что ни дѣлается на пользу государственнаго устройства, толкуетъ она въ дурную сторону: «Какой нынче кредитъ! казна только что грабятъ: а съ нею никакого дѣла имѣть не хочу! И такъ я,

бѣдная вдова, принуждена была за пятнадцать лѣтъ заплатить какую-то педонку вмѣсто покойнаго мужа моего. Съ мертвыхъ деруть: теперь ужъ онъ умеръ, а какъ взяли, такъ взяли». Екатерина II не могла одобрить тѣхъ строгихъ судей, которые порицали проекты и дѣйствія правительства ради одного порицанія, не умѣя или не желая замѣчать въ нихъ ничего добраго. Она ихъ сравниваетъ съ «плачущими Маремьянами», по пословицѣ: «Маремьяна старѣца за весь міръ печальщица». Эти недовольные «обо всемъ въ мірѣ криво и косо пекутся, и отъ нихъ уже въ десяти шагахъ слышенъ духъ скрытой зависти противъ ближняго». Въ «Былахъ и небылицахъ» одинъ чудакъ остановился на тѣхъ понятіяхъ о вещахъ, какія имѣлъ сорокъ лѣтъ назадъ, хотя вещи существенно измѣнились: «онъ не ѣдетъ жить въ деревню, боясь разбойниковъ по большой дорогѣ, и о бывшихъ говоритъ, какъ будто нынѣ состоялись; нынѣ жалуется еще на несправедливость воеводъ и ихъ канцеларій, коихъ однако ужъ нигдѣ нѣтъ; жалуется на внутреннія пошлины по городамъ, какъ притѣсняющіе торги, хотя сняты съ 1753 г.; вотчинную и юстицъ-коллегіи приплетаетъ ко всякимъ спорамъ, тяжбамъ и ябедамъ, мануфактуръ-коллегію къ фабрикамъ, камеръ-коллегію къ доходамъ». Изъ отвѣтовъ Екатерины на вопросы Фонъ-Визина видно, что она осталась недовольна послѣдними. Она видѣла въ ихъ авторѣ недовѣрчивость «ко времени и знаніямъ, истребляющимъ всевозможные недостатки», которые происходятъ или «отъ того, что вездѣ, во всякой землѣ и во всякое время родъ человѣческій совершеннымъ не родится», или отъ того, что молодой народъ не можетъ выказывать доблестей, свойственныхъ установившейся цивилизаціи и чуждыхъ цивилизаціи устанавливающейся. Одна изъ дочерей Ворчалкиной, Олимпиада, есть образецъ модной барышни. Она считаетъ обязанностью окружать себя поклонниками. Ея рѣчь испещрена словами изъ лексикона щеголихъ: «славенъ безпримѣрно», «ужестъ», «болванчикъ» (обожатель), «маханье» (любезничанье, волокитство), «давать себѣ воздуха» (*se donner des airs*). Моды, вредныя какъ побужденіе къ метовству и какъ свидѣтельство нашей переимчивости, были, кромѣ того, смѣшны своимъ безвкусіемъ. Обильное употребленіе румянъ и бѣлизъ, высокая головная уборка, растрепанная прическа отличались уродливостію. Сами французы начали, подъ конецъ, смѣяться надъ дамскимъ туалетомъ ихъ изобрѣтенія, особенно надъ головной уборкой, какъ бы нарочно придуманной для того, чтобы отнять у лица всякое выраженіе или превратить его въ каррикатуру. «Настало время, что лице съ трудомъ отыщешь въ кудряхъ, на которыхъ невѣдомо-что нахлобочено: свади

головы-четыреугольникъ преширокій, спереди-треть лица закрыта; со лбомъ же всѣ поссорились: покрытъ онъ весь волосами; у иной брови къ тому еще размазаны колесомъ, какъ будто мостъ отъ носу къ вискамъ» (ком. Недоразумѣнія). «Были и небылицы» часто задѣваютъ моды своими насмѣшками. Онѣ описываютъ узкіе башмаги дочери архангельскаго купца, на высоченхъ и тонкихъ каблукахъ, подобно гуликовой шейкѣ; приводятъ выдержки изъ «записной книжки двоюродной сестры», которая встаетъ съ постели въ первомъ часу по полудни, съ гордостью говорить: «у насъ въ Парижѣ», мечтаетъ о балахъ, ужинахъ, любовникахъ. «Парикмахеръ», отмѣтила она въ своей книгѣ, «сегодня чесалъ мнѣ волосы такъ порядочно, что я принуждена была болѣе часа растрепываться, чтобъ въ люди можно было показаться». Подъ пару Олимпіадѣ, выведенъ въ комедіи Фирлюфюшковъ: жалкій пети-метръ, воспитанный, какъ и сынъ Бригадира, гувернерами и мѣшающій русскія фразы съ французскими; трусъ, желающій казаться храбрымъ; обманщикъ, толбующій о чести и благородствѣ.

Комедія: «Недоразумѣнія (1788)» названа отъ недоразумѣній, возникшихъ между двумя лицами: женихомъ и его невѣстой. Главный здѣсь характеръ—госпожа Гостякова. Въ ея лицѣ представлено помѣшательство дворянъ на проэктахъ, безъ малѣйшаго значія дѣла. Къ такимъ-то дворянамъ относятся слова слуги Антипа, въ «Именинахъ Ворчалбиной»: «много видалъ я на своемъ вѣку, какъ господа, ухватившись за проэктъ, чтобъ скорѣе разбогатѣть, закладываютъ деревни, а потомъ проэктъ не удался, деревни пропали и господинъ пошелъ по міру». У Гостяковой двѣ-три фабрики и нѣсколько заводовъ; она заставляетъ крестьянъ своихъ бороться, когда вездѣ пашутъ, и пахать, когда надобно бороться; румяны, приготовляемыя на ея заводѣ, нейдутъ съ рукъ, потому что для богатыхъ людей нехороши, а для бѣдныхъ дороги; полотняная фабрика стоитъ безъ дѣйствія, за неимѣніемъ пряжи; вздумала она разводить ревенъ и хлопчатую бумагу, но ихъ бьютъ морозы; наконецъ, желая достать денегъ, велѣла разломать старый домъ свой въ Можайскѣ и кирпичи продать въ Москвѣ. Выведенный изъ терпѣнія пустыми затѣями госпожи, дворецкій говоритъ о ней: «Затѣи новыя всякій часъ! вчера приказала лѣнъ и иеньку сѣять на лучшихъ земляхъ, а на изнуренныхъ десятинахъ безъ удобренія велѣла сѣять рожь: кто слыхалъ подобное? Ея бы дѣло принимать гостей». На помощь промотавшимся дворянамъ являлись проидохи или глуицы, завѣряя ихъ въ успѣхѣ предлагаемыхъ выдумовъ. Одинъ изъ такихъ проектеровъ—Некопѣйловъ

(въ Именинахъ Ворчалкиной), проторговавшійся гонецъ, который хотѣлъ было устроить свои дѣла на счетъ заимодавцевъ и азартныхъ игроковъ, но остался съ пустымъ карманомъ: онъ толкуетъ объ употребленіи крысыныхъ хвостовъ съ пользою, о постройкѣ секретнаго флота, объ устройствѣ въ Китаѣ вольной и безпошлинной гавани, и пр. Есть другое лице въ пьесѣ, замѣчательное по отношенію къ дурному воспитанію: это Иготинъ. Учитель-иностронецъ, которому онъ съ малолѣтства попалъ въ руки, совершенно исказилъ его, или, говоря словами комедіи, «исковеркалъ». Постоянно слыша отъ своего наставника, что надобно стараться быть лучше другихъ, и въ тоже время привыкнувъ къ безразборчивому осмѣянію и опорочиванію ближнихъ, Иготинъ началъ и думать и поступать по-своему, на перекоръ всему, что ни замѣчаетъ: отсюда духъ нестерпимаго противорѣчія и упорства, грубое и надменное обхожденіе, презрительный разговоръ. Другой наставникъ Иготина, Потакинъ, былъ лицомъ рѣзъ, ласкатель и въ добавокъ стихотворъ: онъ во всемъ потакалъ своему питомцу, заи́нняя ему, въ случаѣ нужды, и шута. Воспитаніе служитъ также предметомъ комедіи «Вѣстникова съ семьей». Здѣсь, кромѣ гвернера, бывшаго прежде кучеромъ, выведена молодая дѣвушка, глуповатая отъ природы и еще болѣе отупѣвшая отъ побоевъ: мать, за дѣло и за бездѣлье, безпрестанно тузила ее въ голову и таиннымъ обращеніемъ слабоумную дочь свою сдѣлала полоумной.

Комедія: «Вотъ каково имѣть корзину и бѣлье! (1786)» есть воляное переложеніе или передѣлка на русскіе нравы Шекспировыхъ «Виндзорскихъ кумушекъ». Дѣйствующія лица названы русскими именами (напр. Фальстафъ—Полкадовымъ). Пьеса имѣетъ цѣлю выставить смѣшную и вмѣстѣ вредную сторону путешествій, совершаемыхъ молодыми людьми, не съ тѣмъ, чтобы учиться, а съ тѣмъ, чтобы праздно проводить время, сыпая деньги на удовольствія и проматывая имѣніе. Драматическая пословица: «Путешествія Промотаева (1788)», самымъ именемъ главнаго лица показываетъ, какъ путешественникъ употребилъ свое время въ отечества; а заключительныя слова ея: «хорошо тому лгать, кто пріѣхалъ издалека», относятся къ тѣмъ небылицамъ, которыя онъ рассказывалъ въ отечествѣ послѣ своихъ странствій. За Полкадовымъ тотъ же грѣхъ и еще нѣкоторые другіе: онъ тщеславно повторяетъ «chez nous à Paris»; изъ поѣздки по Европѣ вывезъ онъ запасъ свѣдѣній единственно о завивкѣ кудрей по послѣдней модѣ, о новѣйшемъ покрое фракковъ, объ удобнѣйшей запряжкѣ восьмерика, о красивой обуви и картежной игрѣ. Екатерина до-

пускала пользу путешествій, но только на извѣстныхъ условіяхъ. Въ ком.: «Разстроенная семья осторожками и подозрѣніями» (1787), отецъ даетъ такой отвѣтъ сыну на его просьбу побывать въ чужихъ земляхъ: «никто изъ своего отечества не долженъ ѣхать, не избравъ себѣ напередъ образъ жизни и службъ, въ пользу которой и ѣзда расположена быть должна, дабы она обратилась въ добро какъ ѣдоку, такъ и общему дѣлу». Прежде чѣмъ отправиться въ путешествіе, царевичъ Февей долженъ доказать на опытѣ послушаніе отцу, душевную твердость, терпѣніе въ несчастіи, умирность въ счастіи, смѣлость и щедрость, великодушіе и кротость.

Любя русскую исторію, Екатерина брала изъ нея сюжеты для представленія ихъ въ драматической формѣ. Къ такимъ піесамъ относятся: «Историческое представленіе изъ жизни Рюрика (1786)» и «Начальное управленіе Олега (1786)», написанныя, въ подражаніе Шекспиру, «безъ сохраненія обыкновенныхъ театральныхъ правилъ», т. е. безъ соблюденія трехъ единствъ; по образцу ложноклассическихъ французскихъ трагедій. Идея первой піесы—величіе и торжество милосердія. Правленіе Рюрика есть правленіе мудраго, кроткаго, человѣколюбиваго монарха, по образцу Наказа: онъ любитъ правду, милосердіемъ побѣждаетъ враговъ и въ виновномъ видитъ человѣка, который рожденъ со страстями, слабостями и пороками, и совершаетъ преступленія иногда по легкомысленности. Онъ прощаетъ Вадима, Гостомыслова внука, поднявшаго противъ него новгородскую область. Нѣкоторыя рѣчи дѣйствующихъ лицъ одного духа съ правилами Инструкціи и Гражданскаго ученія: онѣ (какъ сказано въ примѣчаніяхъ ко 2-му изданію драмы) «изъявляютъ собственное сердце и душу автора; въ нихъ, какъ въ зеркалѣ, читатель находитъ свойства его характера, черты его умствованій, наклонностей и желаній». Слова Рюрика новгородскому посаднику Добрынину, что «любящій истину почитаетъ ее даже и въ томъ случаѣ, когда она непріятна», перешли въ піесу изъ Гражданскаго ученія: «правду любящій не отвращаетъ друзей говорить истину, слушаетъ и терпитъ непріятныя рѣчи и про самого себя». Когда супруга Рюрика, Эдвинда, говоритъ ему: «не наказанъ ли Вадимъ ужъ тѣмъ, что не имѣлъ въ своихъ намѣреніяхъ успѣха и что подверженъ всеародному осужденію», то въ этой рѣчи слышимъ и голосъ законодателя, который въ Наказѣ положилъ правиломъ, что наибольшая кара за злое дѣло состоитъ въ изобличеніи, и голосъ Инструкціи, что никакое наказаніе не можетъ быть полезно, если не соединено со стыдомъ, что учинили дурно. Вообще послѣднія сцены пятаго акта явно

внушены статьими Наказа о преступленіяхъ и наказаніяхъ. — «Начальное управленіе Олега» представляетъ дѣйствія этого князя: заложеніе Москвы, устройство Кіева, женитьбу Игоря и походъ къ Цареграду. Піеса написана не безъ мысли о восточномъ, или греческомъ, проектѣ, главнымъ ревнителемъ котораго былъ Потемкинъ. Олегъ прибываетъ Игоревъ щить къ столбу на ипподромѣ, чтобы узрѣли его тутъ позднѣйшіе потомки. Кромѣ того, въ пьесѣ отражается нравственное ученіе Екатерины. Олегъ не суевѣръ, хотя и язычникъ: онъ почитаетъ обманчивыми примѣты жрецовъ. Какъ Инструкція требуетъ вселять въ воспитанниковъ бодрость духа; какъ Гражданское ученіе полагаетъ между качествами великодушнаго человѣка бодрость духа, терпѣніе въ печали, болѣзни и несчастіи: такъ и Олегъ восхваляетъ это свойство героевъ: «Человѣкъ аки шаръ; счастье и несчастіе, играющія между собою, ищадутъ его изъ угла въ уголъ къ стѣнамъ горницы; не повреждается душевно отъ того лишь тотъ, кто довольно имѣетъ въ себѣ твердости, чтобы бодрость духа его не понесла урона отъ чрезвычайной скорби, или же не позабылась при безмѣрной радости» (1).

§ 22. По поводу педагогической системы Екатерины II явились многія произведенія, разъяснявшія и укрѣплявшія новыя начала воспитанія. Голоса ихъ сливались во едино съ голосомъ правительства. «Слово на отертіе Академіи художествъ», Сумарокова, какъ бы повторяетъ мысль Бецкаго о превосходствѣ благонравныхъ людей предъ учеными: «Воссіяли науки и погибла естественная простота, а съ нею и чистота сердца. Полезнѣе быть неученымъ прежнихъ незлобивыхъ вѣковъ, нежели нынѣшнихъ ученымъ и ко вреду общества безъ воспитанія возвращеннымъ. Лучше безумный (т. е. неумный) и честный человѣкъ, нежели разумный и безчестный». «Слово о воспитаніи (1765)», митрополита Платона, развиваетъ мысль о томъ, что воспитаніе есть предуготовленіе къ добродѣтели. Проповѣдникъ опредѣляетъ его и отрицательно, и положительно. «Оно не состоитъ въ нѣжностяхъ тѣлесныхъ, въ увеселеніяхъ чувственныхъ, въ обученіяхъ, которыя только своею наружностію поражаютъ обывли; оно состоитъ въ должности быть прилежну, въ домостроительствѣ тщательну, въ трудахъ нелѣностну, къ бѣдности другихъ сожалительну, въ счастья не возносливу, въ несчастіи не унылу, къ общей пользѣ ревностну, во всѣхъ обхожденіяхъ быть искренну, ласкову, снисходительну: въ семъ состоитъ существенная воспитанія сила».

1) Драматическія сочиненія Екатерины II, М. Лонгинова.

Медикъ Леклеркъ въ разсужденіи о воспитаніи, произнесенномъ въ началѣ курса передъ кадетами, говорить: «человѣческое сердце подобно корню; о устройствѣ его надлежитъ имѣть неусынное попеченіе; наставленіе есть, такъ сказать, стебель онаго, а полезныя познанія—отрасли. Добронравіе есть первое или наипаче единое вещественное (существенное) свойство, требуемое въ наставникѣ, но оное въ нынѣшнемъ вѣкѣ столь же рѣдко, сколь науки сдѣлались общими». Слова эти, показывая, что добродѣтель и ученость рѣдко совмѣщаются, вмѣстѣ съ тѣмъ отводятъ ученію подчиненное мѣсто въ дѣлѣ воспитанія: познанія—только отрасли, корень же—хорошо (т. е. добродѣтельно) устроенное сердце. «Въ сей философскій вѣкъ поспѣшествовали не мало ученію тѣмъ, что доказали, что прежде всего надлежитъ укрѣпить тѣло, исправить чувства, дабы послѣ можно было понятія наши привести въ совершенство. Сіе открытіе есть драгоцѣннѣйшій даръ, учиненный философіею общественному порядку». Воспитаніе, разсуждаетъ княгиня Е. Р. Дашкова, состоитъ не въ однихъ внѣшнихъ талантахъ, не въ одномъ знаніи иностранныхъ языковъ, даже не въ одномъ научномъ образованіи. Истинное, совершенное воспитаніе заключаетъ въ себѣ три, соединенныя въ одно цѣлое, начала: воспитаніе физическое, нравственное и школьное или классическое. Послѣднее, по понятію Дашковой, требуетъ прежде всего изученія отечественнаго языка, потомъ языковъ древнихъ съ цѣлію заниматься высокія мысли и красоты изъ греческихъ и римскихъ писателей, наконецъ нѣмецкаго, французскаго или англійскаго для сношеній съ иностранцами (').

Но наилучшее представленіе новыхъ педагогическихъ началъ видимъ въ комедіяхъ Фонъ-Визина: «Бригадиръ (1764)» и «Недоросль (1782)». Онѣ служатъ блистательными памятниками дѣятельности ихъ автора, достоинство которой есть достоинство просвѣщеннаго, сознательнаго ея отношенія къ предметамъ гражданского благоустройства, въ особенности къ воспитанію. Первая изображаетъ внѣшній лоскъ европеизма, сообщаемого французскими гувернерами и пребываніемъ въ Парижѣ; вторая—невѣжественное ученіе дома, подъ вліяніемъ родителей грубыхъ или ослѣпленныхъ животною любовію къ своимъ дѣтямъ.

Сюжетъ первой комедіи незначителенъ: ея завязка—взаимная любовь Добролюбова и дочери Совѣтника, Софьи, которую, противъ воли, положили выдать за Бригадирова сына, Иванушку, и забавныя отношенія Бригадира и сына его къ Совѣтницѣ, а Совѣтника

') Исторія Рос. Академіи, М. И. Сухомлинова, I, 26.

къ Бригадиршѣ; развязка — обнаруженіе этихъ отношеній, въ слѣдствіе чего предполагаемый бракъ не состоялся, и Софья становится невестой Добролюбова. Но, при неважности сюжета, важенъ смыслъ комедіи, ея содержаніе. Оно не отвѣчаетъ ея названію, ибо главное лице въ ней вовсе не Бригадиръ. Равнымъ образомъ не указывается оно и заключительными словами Совѣтника, съ которыми онъ, какъ съ правоученіемъ, обратился къ партеру: «говорятъ, что съ совѣстью жить худо; а я самъ теперь узналъ, что жить безъ совѣсти всего хуже». Сентенція эта, вполне справедливая, относится къ вѣкоторымъ только лицамъ и наиболѣе къ самому Совѣтнику; но она не касается ни Добролюбова, ни Софьи, ни Бригадирши. За объясненіемъ смысла пьесы надобно обратиться къ тѣмъ безпѣвнымъ въ драматическомъ значеніи лицамъ, которыя справедливо называются резонерами, такъ какъ ихъ роль ограничена единственно разсужденіями. Имъ авторъ передалъ право толковать идею сочиненія. Въ «Бригадирѣ» это право предоставлено Добролюбову. Онъ и Софья образуютъ второй рядъ дѣйствующихъ лицъ, совершенно отличный отъ перваго, болѣе многочисленнаго — Бригадира съ женой и спномъ, Совѣтника и Совѣтницы. Слѣдуя французскимъ драмамъ, Фонъ-Визинъ разставлялъ своихъ героинь и героевъ въ симметрической противоположности, подобно шашкамъ на шахматной доскѣ: на одной сторонѣ все хорошее, на другой — все дурное. Добролюбовъ — портретъ, написанный въ противоположность портрету Иванушки. По его фамиліи видно, что онъ любитъ добро; а внушеніе этой любви, «благодравіе», образуетъ, какъ мы знаемъ, главную цѣль новаго воспитанія. Когда Иванушка, поссорясь съ отцемъ, обратился къ Добролюбову съ словами: «вы, конечно, сами знаете много дѣтей, которыя дѣлаютъ честь своимъ отцамъ»; послѣдній отвѣчалъ: «а еще больше такихъ, которыя имъ дѣлаютъ безчестіе; правда и то, что всему причиной воспитаніе». Это дурное воспитаніе, какъ причина безчестія, представлено въ лицѣ Бригадирова сына: избалованный глупою матерью, онъ былъ отданъ въ пансіонъ, содержимый какимъ-то французскимъ кучеромъ, и завершилъ свое образованіе въ Парижѣ. «Онъ сдѣлался повѣсою», говоритъ его отецъ: «и тѣмъ хуже, что сдѣлался онъ повѣсою французскою; худы русскіе, а французскіе еще хуже». Иванушка гордится тѣмъ, что по духу онъ принадлежитъ Франціи, хотя его тѣло родилось въ Россіи. Влюбленный въ Совѣтницу, онъ находитъ въ ней единственный, но за то неисправимый недостатокъ: «все несчастье мое состоитъ въ томъ, что ты Русская». Совѣтница, относительно понятія о томъ, какова должна быть женщина «новой породы людей», тоже, что Иванушка

по отношенію къ идеалу добродѣтельнаго, благонаправнаго мужчины: она съ претензіями на свѣтскость, поклонница модъ, кокетка, зараженная пристрастіемъ ко всему французскому и легко смотрящая на обязанности супруги. Это—виѣшность европейской жизни, быстро усвоенная русскою женщиной, безъ всякой мысли о томъ, что такое истинно-европейское образованіе, и безъ малѣйшаго знакомства съ своимъ отечествомъ. Совсѣмъ другое дѣло Софья, столько же благоразумная и нравственная, сколько Совѣтница неразумна и безнравственна. Софья не выходитъ изъ повиновенія родителямъ, хотя и понимаетъ ихъ несправедливые съ собой поступки; не измѣняетъ слову, которое дала жениху своему, хотя и не предвидитъ благопріятнаго оборота въ своей судьбѣ.

«Отверзая новыя врата просвѣщенію, монархиня въ то же время и тѣмъ же самымъ полагаетъ новую преграду ябедѣ и коварству»: такъ говоритъ Фонъ-Визинъ въ письмѣ къ «Сочинителю былей и небылицъ», т. е. къ самой Екаторинѣ. Однимъ изъ первыхъ ея распоряженій, по вступленіи на престолъ, были мѣры противъ взятчиковъ. Въ указѣ 1762 г. іюля 18 значится: «Съ истиннымъ огорченіемъ отъ давняго времени слышали довольно, а нынѣ и дѣломъ самымъ увидали, до какой степени въ государствѣ нашемъ лихоимство возрасло, что едва ли есть малое самое мѣсто правительства, въ которомъ бы божественное сіе дѣйствіе, судъ, безъ зараженія сей извы отправлялся: ищеть ли кто мѣста—платить; защищается ли кто отъ клеветы—обороняется деньгами; клевететь ли кто на кого—всѣ происки свои хитрые деньгами подрѣзываетъ. Многіе судящіе освященное свое мѣсто, въ которомъ они именемъ нашимъ должны показать правосудіе, въ торжище превращаютъ, вѣняя себѣ вѣренное отъ насъ званіе судіи безкорыстнаго и нелицепріятнаго за пожалованный будто бы имъ доходъ въ поправленіе дома своего, а не за службу, приносимую Богу, намъ и отечеству, и ждопріимствомъ богомерзнымъ претворяютъ клевету въ праведный доносъ, разореніе государственныхъ доходовъ въ прибыль государственную, а иногда нищаго дѣлаютъ богатымъ, а богатаго нищимъ». За указаніемъ сильно распространеннаго зла послѣдовали вскорѣ нѣкоторые мѣры къ его прекращенію: манифестомъ 15 декабря 1763 г. предписано «наполнить судебныя мѣста достойными и честными людьми, положивъ имъ довольное жалованье». «Бригадиръ», по поводу этого предмета, также представляетъ просвѣщенное отношеніе къ современнымъ нравамъ и современнымъ понятіямъ объ улучшеніи нравовъ. Въ лицѣ Совѣтника выведенъ старинный подьячій,—прямая приказная строка, по отзыву его жены. Онъ бралъ и съ виноватаго и съ

праваго: съ виноватаго за вину, съ праваго за правоту. Послѣ вышесказаннаго указа о лихоимствѣ, онъ вышелъ въ отставку и удалился въ деревню, несправедливо имъ нажитую. Чтобы выразить нѣсколько мыслей о поднятомъ тогда вопросѣ, комедія навязала Добролюбову какой-то процессъ. Въ разговорѣ съ Совѣтникомъ, онъ показываетъ, что прошло то время, когда «всякій, и съ правымъ, и съ неправымъ дѣломъ, шелъ въ приказъ и могъ, подружась съ судьей, получить милостивую резолюцію»; что «если корыстолюбіе нашихъ лихоимцевъ перешло всѣ предѣлы, то всякій, не находившій въ учрежденныхъ мѣстахъ своего права, могъ идти прямо къ высшему правосудію». Но страхъ наказанія за лихоимство породилъ другую бѣду, указываемую Добролюбовымъ—судейскія проволочки: «большая часть судей нынче взятокъ хотя и не берутъ, да и дѣлъ не дѣлають». Есть также указаніе на безграмотность подьячихъ, какъ на одну изъ многихъ причинъ дурнаго состоянія правосудія, обратившагося въ кривосудіе: «сколько у насъ исправныхъ секретарей (говоритъ Совѣтникъ), которые экстракты сочиняють безъ грамматики! любо—дорого смотрѣть! У меня на примѣтъ есть одинъ, который, что когда напишетъ, такъ иной ученый и съ грамматикою вовѣки того разумѣть не можетъ». Такимъ образомъ идея комедіи какъ бы двоятся: съ одной стороны (и это главное) въ ней изображены вредныя и смѣшныя послѣдствія ложнаго образованія, сообщаемаго иностранцами; съ другой стороны—лихоимство и ябедничество, которымъ правительство старалось положить преграды.

Литературная критика справедливо находитъ въ «Бригадирѣ» много недостатковъ. Главный изъ нихъ тотъ, что между сюжетомъ комедіи и ея основною мыслью нѣтъ внутренней связи. Дурное воспитаніе и лихоимство могли быть представлены помимо любви Добролюбова и Софьи,—любви, въ которой не было никакой надобности и которая служитъ не болѣе, какъ общимъ мѣстомъ французскихъ драмъ XVIII в. Отсюда и происходитъ, что лица, нужныя для завязки и развязки пьесы, совершенно не нужны по отношенію къ идеѣ, тогда какъ лица Бригадира, Бригадирши, Иванушки, Совѣтника и Совѣтницы, второстепенныя относительно сюжета, необходимы для выраженія идеи, и слѣдов. по отношенію къ ней главные. Другой недостатокъ — неорганическое развитіе дѣйствій и характеровъ. Лица выходятъ на сцену и сходятъ со сцены по волѣ автора, а не въ силу естественнаго, необходимаго хода дѣйствія; характеры ихъ какъ явились съ перваго раза, такъ и сохранили тотъ же видъ. Постановка ихъ очень удачна, но дальнѣйшаго движенія въ нихъ нѣтъ: они обращены къ зри-

ист. рус. сл. т. I, отд. 2.

телю постоянно одною стороною и не выказываютъ другихъ сторонъ; притомъ же они проводятъ время не столько въ дѣйствіи, сколько въ разговорахъ. Наконецъ піеса переступила мѣру смѣшного. Кн. Вяземскій справедливо замѣтилъ, что Бригадиръ болѣе комическая каррикатура, нежели комическая картина. Увлекаемый комическимъ настроеніемъ и желая во что бы ни стало смѣшнить зрителей, Фонъ-Визинъ иногда заставляеть дѣйствующихъ лицъ говорить то, чего они не могли бы сказать по своему характеру или положенію. Поэтому въ одномъ мѣстѣ піесы даже оказалось странное противорѣчіе: Совѣтникъ вышелъ и чрезвычайно худымъ и чрезвычайно дороднымъ. Бригадирша замѣчаетъ ему, что онъ «съ поста и молитвы скоро будетъ походить на усопшаго»; а чрезъ нѣсколько времени онъ самъ рассказываетъ Бригадиру, что въ коллегіи, гдѣ онъ служилъ президентомъ, былъ одинъ канцеляристъ чуть не въ-пятеро его толще: и Бригадиръ не вѣритъ такой невиданной толщинѣ. «Но», какъ замѣчаетъ кн. Вяземскій, «каррикатурный отпечатокъ Бригадира не признакъ безвкусія, а выраженіе ума оригинальнаго, поэзія веселости». Дѣйствительно, комедія исполнена забавныхъ, истинно-комическихъ положеній. Лучшее лице ея—Бригадирша, описанная авторомъ съ дѣйствительности. Подлинникомъ этого лица послужила мать одной дѣвушки, которую Фонъ-Визинъ былъ заинтересованъ—«дура набитая». Бригадирша, по словамъ гр. Н. И. Панина, часто слушавшаго чтеніе комедій, «всѣмъ родня: никто не можетъ сказать, чтобы не имѣлъ у себя подобной или бабушки, или тетушки, или какойнибудь свойственницы». Онъ же называлъ «Бригадира» первою комедіею въ русскихъ нравахъ. Благодаря живому отношенію къ современности, воплощенной въ нѣсколькихъ живыхъ лицахъ, «Бригадиръ» имѣлъ великій успѣхъ. «Вліяніе, имъ произведенное (таковъ отзывъ кн. Вяземскаго), можно опредѣлить тѣмъ, что отъ нея званіе бригадира обратилось въ смѣшное нарицаніе. Наричаніе пережило и самое званіе: бригадировъ уже нѣтъ по табели о рангахъ, но есть еще (или по крайней мѣрѣ былъ) родъ свѣтскихъ старовѣровъ, къ которымъ имя сіе примѣняется».

Если послѣднія слова, которыми Совѣтникъ заключаетъ комедію «Бригадиръ» не указываютъ существеннаго ея смысла, то въ «Недорослѣ», напротивъ, такія же слова прямо идутъ къ дѣлу. При видѣ отчаяннаго положенія Простаковой, матери Митрофана (Недоросля), восклицаящей: «погибла я совсѣмъ! отъ стыда нигуда глазъ показать нельзя! нѣтъ у меня сына!», Стародумъ, дядя Софьи, жившей въ домѣ Простаковыхъ, говоритъ: «вотъ злонравія достойные плоды!» Именно такъ, а не иначе, потому что цѣль

пѣси—представить дурное воспитаніе, невѣжество и злоупотребленіе домашней власти. Послѣдніе два предмета коренятся въ первомъ: причина ихъ—дурное воспитаніе или отсутствіе воспитанія; отсюда необходимо проистекаетъ злонравіе, тогда какъ хорошее воспитаніе есть источникъ благонравія. Тотъ же самый Стародумъ желаетъ, чтобы при наукахъ не забывалась главная цѣль всѣхъ знаній человѣческихъ—благонравіе: «какъ скоро всѣ увидятъ, что безъ благонравія никто не можетъ выйти въ люди, тогда всякій найдетъ выгоду быть благонравнымъ и всякъ хорошъ будетъ». Такъ какъ въ противоположность злонравной Простаковой выведена Софья, то, разумѣется, послѣдняя отличается благонравіемъ. Въ разговорахъ съ нею, Стародумъ постоянно напираетъ на это качество: «прямую цѣну уму даетъ благонравіе»; «какого воспитанія ожидать отъ матери, потерявшей добродѣтель? какъ ей учить благонравію, котораго въ ней нѣтъ?» На вопросъ Софьи, отъ чего происходятъ страшныя несчастія въ семейной жизни, Стародумъ отвѣчаетъ: «отъ того, что при нынѣшнихъ супружествахъ рѣдко съ сердцемъ совѣтуются. Дѣло о томъ, знатенъ ли, богатъ ли женихъ, хороша ли, богата ли невѣста; о благонравіи вопросу нѣтъ. Никому и въ голову не приходитъ, что добродѣтель все замѣняетъ, а добродѣтели ничто замѣнить не можетъ». Такимъ образомъ Фонъ-Визинъ положительно ставитъ ученіе ниже нравственнаго образованія и не придаетъ никакой цѣны уму, если онъ не соединенъ съ благороднымъ сердцемъ. Въ разговорахъ между Стародумомъ, Правдиннымъ и Софьею, то и дѣло повторяется мысль о воспитаніи, какъ средствѣ внушить человѣку добродѣтель. «Прямое достоинство въ человѣкѣ есть душа. Безъ нея просвѣщенѣйшая умица—жалкая тварь. Невѣжда безъ души—звѣрь... Съ великимъ просвѣщеніемъ можно быть великому скверу... Умъ, коль онъ только что умъ, самая бездѣлица. Съ пребѣжными умами видимъ мы худыхъ мужей, худыхъ отцовъ, худыхъ гражданъ. Прямую цѣну уму даетъ благонравіе: безъ него умный человѣкъ—чудовище... Наука въ развращенномъ сердцѣ есть лютое оружіе дѣлать зло. Просвѣщеніе возвышаетъ одну добродѣтельную душу». Вѣра въ силу воспитанія, которое искореняетъ общественные недостатки и творитъ достойныхъ гражданъ, была общимъ убѣжденіемъ передовыхъ людей Екатеринина времени. «Припомните слова мои», говоритъ императрица въ Выляхъ и небилцахъ: «всѣ теперешніе пороки ничего не значатъ; они сложн на стекающее полноводіе; вода же, пришедъ въ прежнія границы и берега свои, возымѣетъ теченіе естественнѣе прежняго: берега суть воспитаніе». Взглядъ Фонъ-Визина выра-

*

женъ въ одной сценѣ между Стародумомъ и Правдинымъ (дѣйствіе V, явленіе I), которая, по замѣчанію кн. Вяземскаго, приносить честь и писателю, и государю, въ царствованіе коего она написана: «Гдѣ государь мыслить, гдѣ онъ знаетъ, въ чемъ его истинная слава, тамъ человѣчеству не могутъ не возвращаться его права; тамъ всѣ скоро ощутятъ, что каждый долженъ искать своего счастья и выгоды въ томъ, что законно... Великій государь есть государь премудрый. Его дѣло показать людямъ прямое ихъ благо. Слава премудрости есть та, чтобъ править людьми, потому что управляться съ истуканами нѣтъ премудрости. Достойный престола государь стремится возвысить души подданныхъ. Мы это видимъ своими глазами... Несчастіямъ людскимъ, конечно, причиною собственное ихъ развращеніе; но способы сдѣлать людей добрыми въ рукахъ государя. Чтобы въ достойныхъ людяхъ не было недостатку, прилагается нынѣ особливое стараніе о воспитаніи. Оно и должно быть залогомъ благосостоянія государства».

Въ «Недорослѣ», какъ и въ «Бригадирѣ», главные лица разставлены симметрично: на одной сторонѣ идеалы, на другой—крайнія отступленія отъ идеаловъ. Къ первому разряду лицъ относятся: Стародумъ, Правдинъ, Софья и Милонъ; ко второму: Простаковы (мужъ и жена), Митрофанъ и Скотининъ. Представимъ краткую характеристику тѣхъ и другихъ, начавъ съ Недоросля, не потому только, что онъ далъ свое названіе комедіи, но и потому, что онъ дѣйствительно главное лицо въ ней, служа по преимуществу къ выраженію ея идеи—дурнаго воспитанія. Такъ какъ недорослей не существуетъ уже болѣе, то и слѣдуетъ, за объясненіемъ ихъ значенія, обратиться къ исторіи. Матеріалы для знакомства съ ними находятся частію въ официальныхъ актахъ, частію въ литературныхъ памятникахъ. Недоросли ведутъ свое начало отъ реформы Петра: его грозными указами повелѣно было дворянскимъ дѣтямъ явиться на службу немедленно; въ случаѣ неповиновенія, высылкой ихъ распоряжалось мѣстное начальство; не получившіе свидѣтельства въ томъ, что выучились наукѣ, не могли ни поступать на службу, ни жениться. По смерти Петра, правительство также постоянно озабочивалось судьбою недорослей: въ 1727 г. состоялся сенатскій указъ о высылкѣ ихъ изъ герольдмейстерской конторы въ адмиралтейскую коллегію; возрастъ былъ назначенъ отъ 12 до 17 лѣтъ; молодые дворяне, ничему не научившіеся, отдавались въ матросы. Императрица Анна подтвердила это распоряженіе сената (указами 1736 и 1737 г.). Всѣхъ малолѣтнихъ дѣтей, начиная съ семи лѣтъ, должно было представлять на экзаменъ, или «смотръ»—въ Петербургѣ въ герольдію, а въ

Москвѣ и другихъ городахъ къ генералъ-губернаторамъ и губернаторамъ для повѣренія возраста и для испытанія, чему мальчикъ дома учился. За тѣмъ, въ двѣнадцать лѣтъ, онъ долженъ былъ явиться на второй смотръ и доказать, что онъ умѣетъ «совершенно читать и чисто писать». Послѣ этого родители могли держать недоросля дома не иначе, какъ давъ письменное обязательство, что онъ, кромѣ одного изъ двухъ иностранныхъ языковъ (нѣмецкаго или французскаго) и закона Божія, будетъ обучаемъ арифметикѣ и геометріи. Въ пятнадцать лѣтъ молодой человѣкъ подвергался новому смотру и могъ быть отпускаемъ къ родителямъ только подъ тѣмъ условіемъ, что сверхъ арифметики и геометріи будетъ учиться географіи, исторіи и артиллеріи. Въ двадцать лѣтъ онъ обязанъ былъ поступить непременно на службу. Указы о недоросляхъ при Елисаветѣ относятся къ 1742 и 1747 гг. Многіе родители не хотѣли разстаться съ своими дѣтьми, держали ихъ при себѣ дома, какъ можно болѣе отдаляя срокъ поступления ихъ на службу или думая о томъ, какъ бы скорѣе выручить ихъ изъ службы. Такъ было и въ то время, когда явилась комедія Фонъ-Визина. Изъ современныхъ свидѣтельствъ о жизни и воспитаніи недорослей самымъ вѣрнымъ служатъ «Записки маіора Данилова», о которыхъ сказано выше. Въ племянникѣ Матрены Петровны, по безнравственному баловству ея, готовился своего рода Митрофанъ. Много яркихъ указаній на образъ жизни дворянъ и ихъ дѣтей-недорослей встрѣчается въ сатирическихъ журналахъ 1769—74 г.г. и другихъ литературныхъ произведеніяхъ. Такъ «Всякая всячина» (1769), въ одномъ изъ своихъ еженедѣльныхъ листовъ, содержитъ разсказъ епифанскаго дворянина объ ученіи его сначала у дьячка, съ которымъ онъ въ четыре года могъ съ нуждою разбирать букварь, а потомъ у французъ, который былъ выгнанъ изъ дому за то, что хотѣлъ принуждать тринадцатилѣтняго ребенка. Слѣдствія такого воспитанія изображены въ «Живописцѣ» (1774). Это же изданіе заключаетъ въ себѣ письма къ Фалалеевѣ отъ его матери, отца и дяди, чрезвычайно похожихъ на Простакову, Простакова и Скотинина. Къ журналамъ присоединяются комедіи Екатерины. Хотя ни одна изъ нихъ не имѣла прямого намѣренія выставить недорослей; однакожъ нѣкоторыми сценами онѣ даютъ понятія о той средѣ, въ которой росли и выросли лица, подобныя Митрофану. Такъ въ комедіи: «О время!» (1772)», изъ разсказа госпожи Чудихиной о ея восемнадцатилѣтнемъ сынѣ Николашкѣ узнаемъ многія черты молодого провинціального дворянства: Николашка всю зиму не сходилъ съ лежанки; въ болѣзни ничего не ѣлъ, кромѣ блиновъ

и сластей; мать спала у него въ головахъ, чтобы ночью чего-нибудь ему не причудилось; онъ только что кончилъ азбуку, но часослова не начиналъ; въ Питеръ не ѣздилъ и числился въ уѣздной командѣ; за малограмотность не давали ему и капральства, хотя мать его и даривала, кому надлежить. Приведенныя свидѣтельства достаточно объясняютъ лице недоросля. Мы видимъ, что онъ не только существовалъ дѣйствительно, но и былъ предметомъ законодательныхъ мѣръ съ одной стороны, литературныхъ изображеній съ другой. Эти изображенія предшествовали комедіи Фонъ-Визина, которая повтому состоитъ съ ними въ исторической связи, но превосходить ихъ художественнымъ достоинствомъ: въ преемственныхъ характеристикахъ одного и того же типа, Митрофанъ занимаетъ между ними первое мѣсто. Какъ представлено его образованіе въ комедіи? Грамотѣ, часослову и псалтири онъ учится у дьячка Кутейкина, ариметикѣ, или цыфри, у отставнаго сержанта Цыфиркина, по-французски и всѣмъ наукамъ у Вральмана, который «ребенка (Митрофану 16 лѣтъ) не неволить». Вральманъ оказался кучеромъ, что не выходитъ изъ предѣловъ вѣроятія. Подобные случаи могли быть и прежде и послѣ «Недоросля». Иванушка воспитывался въ пансіонѣ, содержимомъ французскимъ кучеромъ: чѣмъ же сынъ Простаковой лучше бригадирова сына? Въ комедіи: «Госпожа Вѣстникова съ семейю (1772)», императрица Екатерина заставляетъ старую Вѣстникову такъ отзываться о наставникѣ своего внука: «Ужась какъ мнѣ хочется выгнать эту харю изъ дому. Да ужъ и обѣщали мнѣ достать какаго-то другаго учителя, который гдѣ-то былъ скороходомъ; а этотъ пусть себѣ по прежнему опять пойдетъ въ кучера къ кому-нибудь». При родителяхъ-невѣждахъ легко было являться учителямъ-самозванцамъ. «Записки Порошина» (1764—65) рассказываютъ, что къ одному московскому дворянину поступилъ въ учителя чухонецъ, выдавъ себя за француза, и выучилъ дѣтей его вмѣсто французскаго языка чухонскому. Но какъ ни плохо шло образованіе Митрофана, все же оно было шагомъ впередъ. Родители и дядя недоросля совершенно безграмотны: Скотининъ отъ роду ничего не читывалъ; Простаковъ воспитанъ, какъ красная дѣвица старыхъ временъ; Простакова гордится тѣмъ, что она можетъ получать письма, но читать ихъ всегда велитъ другому, и потому понятна ея ненависть къ новому образованію женскаго пола: «вотъ до чего дожили! къ дѣвушкамъ письма пишутъ! дѣвушки грамотѣ знаютъ!» Дѣдъ Митрофана не хотѣлъ и слышать о школѣ: «прокляну ребенка», кричалъ онъ, «который что-нибудь перейметъ у бусурмановъ, и не будь тотъ Скотининъ, кто чему-нибудь учиться за-

хочетъ». Въ противоположность семейству Простаковыхъ, Милонъ и Софья служатъ образцами людей «новой породы», произведенныхъ добрымъ воспитаніемъ. О Софьѣ мы уже говорили. Что касается до Милона, то, при всей его молодости, Стародумъ видитъ въ немъ и почитаетъ добродѣтель, украшенную разсудкомъ просвѣщеннымъ; другими словами, Милонъ соединяетъ «съ изящнымъ умомъ изящное сердце».

Стародумъ и Правдинъ—резонеры. Они прикомандированы къ пьесѣ, а не входятъ въ нее, какъ живые члены драматическаго организма. Грѣша противъ условій драмы, обѣ роли весьма важны своимъ служебнымъ отношеніемъ къ идее и цѣли комедіи. Стародумъ особенно былъ для того нуженъ: ему авторъ «Недоросля» передалъ свой обличительный голосъ. Читатели нашего времени могутъ находить его рѣчи утомительными и скучными, но въ эпоху Екатерины II онѣ выслушивались съ напряженнымъ вниманіемъ, потому что правдивой и смѣлой сатирой обличали самые видные недостатки. Авторъ понималъ силу резонерства Стародума, почему и говоритъ въ письмѣ къ этому вымышленному лицу (1788): «Я долженъ признаться, что за успѣхъ комедіи моей одолженъ я вашей особѣ. Изъ разговоровъ вашихъ съ Правдинымъ, Милономъ и Софьею составилъ я цѣлыя явленія, кои публики и донныя съ удовольствіемъ слушаютъ». Потому-то, задумавъ издавать «періодическое сочиненіе, посвященное истинѣ», Фонъ-Визинъ назвалъ его именемъ «Стародума». Поэтому же Стародумъ, въ отвѣтъ на письмо, разумѣлъ самого себя, выражая открыто и благородно, что «человѣкъ съ дарованіемъ можетъ въ своей комнатѣ, съ перомъ въ рукахъ, быть иногда полезнымъ совѣтвателемъ государю, а иногда спасителемъ согражданъ своихъ и отечества». Значеніе Стародума видно изъ его имени: это—человѣкъ, «думающій по-старому», въ противоположность людямъ Екатеринина вѣка, которые думаютъ и поступаютъ по-новому. Теперь не въ обычаѣ предвзительно знакомить зрителя съ дѣйствующими лицами посредствомъ ихъ именъ или фамилій; но тогда было почти общимъ правиломъ отмѣчать названіемъ лица его характеръ, его нравственную фizioномію. Отецъ Стародума «служилъ Петру Великому и далъ своему сыну наилучшее воспитаніе по тому времени, когда еще не умѣли чужимъ умомъ набивать пустую голову». Это воспитаніе состояло въ одномъ правилѣ: «имѣй сердце, имѣй душу—и будешь человѣкъ во всякое время». Есть основаніе думать, что черты стародумства Фонъ-Визинъ припоминалъ въ почтенныхъ качествахъ отца своего, «кои въ нынѣшней обращеніи свѣта едва ли сохранять можно» (Чистосердечное признаніе въ дѣлахъ

моихъ и помышленіяхъ). Человѣкъ стараго вѣка среди людей новосвѣтскихъ, «гдѣ всего чаще первая встрѣча бываетъ—умы, раз-
 вращенные въ своихъ понятіяхъ, сердца, развращенныя въ сво-
 ихъ чувствіяхъ»: вотъ кого представилъ Фонъ-Визинъ въ Старо-
 думѣ, кто бы ни служилъ ему оригиналомъ. Стародумъ есть иде-
 аль нравственнаго совершенства, прямо-противоположный безнрав-
 ственному состоянію, возникшему изъ превратной цивилизаціи,
 которая не лучше стариннаго невѣжества и на которую указывалъ
 Бепкій въ своихъ докладахъ. Въ чемъ же заключается высшее
 достоинство человѣка? По мнѣнію Стародума, или Фонъ-Визина
 (что одно и то же), оно заключается въ честности. Стародумъ гор-
 дится этимъ качествомъ и называетъ себя «другомъ честныхъ
 людей». Тоже названіе Фонъ-Визинъ хотѣлъ перенести на журналъ
 свой. Въ племянникѣ своей Стародумъ видитъ «сердце честнаго
 человѣка»: наилучшая похвала, какую только онъ могъ ей сдѣ-
 лать. Милонъ возбуждаетъ къ себѣ его сочувствіе, между про-
 чимъ, и тѣмъ, что онъ племянникъ графа «Честана». И въ дру-
 гихъ сочиненіяхъ, авторъ Недоросля остался вѣренъ своему взгляду
 на честность, какъ на высшую степень нравственности. «Каллис-
 еенъ», главное лицо греческой повѣсти того же имени, можетъ
 быть сравниваемъ съ Стародумомъ. На письмѣ его къ Аристо-
 телю послѣдній положилъ такую отмѣтку: «вотъ что честный че-
 ловѣкъ въ два дня сдѣлать можетъ!» Въ «Жизни гр. Н. И. Па-
 нина», Фонъ-Визинъ не могъ придумать ему лучшаго панегирика,
 какъ сказавъ, что «гласомъ цѣлой націи было дано ему титул
 честнаго человѣка». Наконецъ одинъ изъ «Вопросовъ», предложен-
 ныхъ имъ Екатеринѣ II, начинается слѣдующимъ образомъ:
 «Имѣя монархію *честною* человѣка», и пр. Будучи главнѣй-
 шимъ достоинствомъ сердца, честность нераздѣлима и совмѣщаетъ
 всѣ другія хорошія качества: «умнаго человѣка легко извинить
 можно, если онъ какого-нибудь качества не имѣетъ; честному
 человѣку никакъ простить нельзя, если недостаетъ въ немъ ка-
 кого-нибудь качества сердца: ему необходимо всѣ имѣть надобно.
 Честный человѣкъ долженъ быть совершенно честный человѣкъ».
 Изложенное понятіе Фонъ-Визина не принадлежитъ собственно
 ему, а заимствовано или прямо изъ упомянутаго сочиненія Дюло:
 «*Considérations sur les mœurs de ce siècle*», который различаетъ
 слова: «*probité*», «*vertu*», «*honneur*», или изъ словаря француз-
 скихъ синонимовъ, принявшаго это различеніе на свои страницы.
 Фонъ-Визинъ воспользовался имъ въ «Опытѣ россійскаго сослов-
 ника», съ тою пережѣвою, что на первомъ планѣ поставилъ

честь, возвысивъ ее и надъ добродѣтелью, и надъ безпорочностью:

Безпорочный бываетъ таковымъ по воспитанію, для собственныхъ выгодъ и повинуюсь законамъ; *добродѣтельный* слѣдуетъ часто въ дѣлахъ своимъ разсужденію; но *честный* человекъ не закону повинуется, не разсужденію слѣдуетъ, не примѣрамъ подражаетъ: въ душѣ его есть нѣчто величавое, влекущее его мыслить и дѣйствовать благородно. Онъ кажется самъ себѣ законодателемъ. Въ немъ нѣтъ робости, подавляющей въ слабыхъ душахъ самую добродѣтель. Онъ никогда не бываетъ орудіемъ порока. Онъ въ своей добродѣтели самъ на себя твердо полагается.

Въ отношеніи къ логикѣ здѣсь повторена ошибка французскаго автора: видовое понятіе (честь) смѣшано съ родовымъ (добродѣтель). Но Фонъ-Визину было нужно не точное разграниченіе и размѣщеніе понятій, а представленіе высшаго достоинства человека. Честность не видъ добродѣтели или безпорочности, предметъ не подчиненный имъ и даже не равночинный, а возвышающійся надъ ними; образцовый, примѣрный человекъ есть человекъ честный: такъ онъ думалъ, побуждаемый извѣстнымъ намѣреніемъ, въ силу котораго допустилъ логическую несообразность. А намѣреніемъ его было выставить дурно-воспитанныхъ дворянъ. Слова Правдина: «надобно, чтобъ всякое состояніе людей имѣло приличное себѣ воспитаніе», согласны съ правиломъ Инструкціи: «всякое доброе воспитаніе учреждено быть должно, смотря на того, кому оно дается». Митрофанъ—дворянинъ; дворянству въ особенности вмѣняется «Наказомъ» честь и воспрещены унижительныя дѣйствія; совершенство же сохраненія чести состоитъ «въ любви къ отечеству и наблюденіи всѣхъ законовъ и должностей» (Нак. §§ 373—374). Потому не удивительно встрѣтить въ рѣчахъ Стародума рѣзкія выходки противъ недостойныхъ дворянъ вообще, противъ знатныхъ дворянъ въ частности, которые, не смотря на свою знатность, «владѣли искусствомъ проманивать, т. е. не исполнять обѣщаемаго, питая одною тщетою надеждою». Изъ 13-го вопроса Екатерина II видно, что въ сердцахъ дворянъ поселилась безчувственность къ достоинству благороднаго званія, что титулъ дворянина не было уже знакомъ душевнаго благородства. Надлежало «возвысить упавшія души дворянства». Но чтобы достигнуть этого, надлежало возвысить понятіе о чести, какъ главной принадлежности дворянства. Фонъ-Визинъ—самъ дворянинъ—то и сдѣлалъ: честь поставлена имъ на первомъ планѣ; добродѣтель и безпорочность отодвинуты на второй планъ. Нравственный упадокъ дворянства представленъ

Фонъ-Визини въ многихъ мѣстахъ, между прочимъ въ письмѣ къ Екатеринѣ по поводу «Вопросовъ». Увидѣвъ изъ ея отвѣтовъ, что она осталась недополна нѣкоторыми вопросами, въ томъ числѣ и 13-мъ, Фонъ-Визинъ даетъ такое объясненіе: «Мнѣ случилось по своей землѣ поѣздить. Я видѣлъ, въ чемъ большая часть носящихъ имя дворянина полагаетъ свое любочестіе. Я видѣлъ множество такихъ, которые служатъ или паче занимаютъ мѣста въ службѣ для того только, чтобы ѣздить на парѣ. Я видѣлъ множество другихъ, которые пошли тотчасъ въ отставку, какъ скоро добились права впрягать четверню. Я видѣлъ отъ почтеннѣйшихъ предковъ презрительныхъ потомковъ. Словомъ, я видѣлъ дворянъ раболовствующихъ. Я дворянинъ,—и вотъ что растерзало мое сердце». Однимъ изъ крупныхъ недостатковъ современнаго дворянства Стародумъ признаетъ отсутствіе надлежащаго, прямого разума, и въ слѣдствіе того непониманіе смысла въ словѣ «должность»: «Непрямой разумъ полагаетъ свое счастье не въ томъ, въ чемъ надобно»; а «должность есть тотъ священный обѣтъ, которымъ обязаны мы всѣмъ тѣмъ, съ кѣмъ живемъ и отъ кого зависимъ». Еслибъ у людей былъ прямой разумъ; «еслибъ такъ должность исполняли, какъ объ ней твердятъ: всякое состояніе людей осталось бы при своемъ любочестіи и было бы совершенно счастливо. Дворянинъ, напримѣръ, считалъ бы за первое безчестіе не дѣлать ничего, когда ему есть столько дѣла: есть люди, которымъ помогать; есть отечество, которому служить. Тогда не было бы такихъ дворянъ, которыхъ благородство, можно сказать, погребено съ ихъ предками. Дворянинъ, недостойный быть дворяниномъ,—подлѣе его ничего не знаю». На замѣчаніе Софьи, что люди согласились полагать счастье въ богатствѣ и знатности, Стародумъ отвѣчаетъ: «Степени знатности рассчитываю я по числу дѣлъ, которыя большой господинъ сдѣлалъ для отечества, а не по числу дѣлъ, которыя нахваталъ на себя изъ высокоумія; не по числу людей, которые шатаются въ его передней, а по числу людсѣ, довольныхъ его поведеніемъ и дѣлами».

Согласно своимъ понятіямъ о достоинствѣ и обязанностяхъ дворянъ, Фонъ-Визинъ распорядился съ недорослемъ. Правдинъ говоритъ послѣднему: «съ тобой, дружокъ, знаю, что дѣлать,—ступай-ка служить». Тоже самое говорилъ Бригадиръ своей женѣ объ Иванушкѣ: «жена, не балуй ребенка; запишемъ его въ полкъ; пусть онъ, служа въ полку, ума набирается». Другаго исхода Митрофану и не было, по тогдашнему времени. Дальнѣйшее пребываніе при родителяхъ сдѣлало бы его окончательно злоярнымъ. Въ воспитательныя заведенія, находившіяся подъ управле-

пиемъ Бецкаго, онъ поступить не могъ, какъ потому, что служилъ бы дурнымъ примѣромъ для другихъ, тогда какъ цѣль Бецкаго состояла именно въ устраненіи всякаго вреднаго вліянія на воспитанниковъ, такъ и потому, что Митрофану было 16 лѣтъ, а въ означенныя заведенія принимали дѣтей ранняго возраста, когда семейная среда не оставила еще замѣтныхъ слѣдовъ на юномъ умѣ и сердцѣ. Народныя училища еще не существовали. Если бы Митрофанъ и пристроился гдѣ-нибудь, то безъ надежды на успѣхъ: ему не давалась даже грамота, не говоря уже о наукахъ. Оставалось слушать. Служба имѣла большую важность для Фонъ-Визина въ то время, когда «у насъ было не стыдно *ничего не дѣлать*» (12-ый вопросъ Екаторинѣ); когда главное стараніе большей части дворянъ состояло въ томъ, чтобы поскорѣе сдѣлать дѣтей своихъ, *не служа*, гвардіи унтеръ-офицерами» (7-ой вопросъ); когда всякій только и смотрѣлъ, какъ бы на покой. Праздность, коренной порокъ многихъ дворянъ Екаторинина вѣка, вставляла ихъ бояться должности какъ огня. «Что за радость выучиться?» замѣчаетъ Простакова Правдину. «Мы это видимъ своими глазами и въ нашемъ краю. Кто помышляетъ, того свои же братья выберутъ еще *съ какую-нибудь должность*». Нападая на дворянское ничегонедѣланіе, Фонъ-Визинъ мѣтилъ не въ небывалое, а въ дѣйствительное, сильно распространенное зло, которое привело его въ строгому, исключительному правилу: дворянину позволяется выйти въ отставку только въ томъ случаѣ, когда онъ увѣренъ, что его служба не приноситъ отечеству прямой пользы.

Кромѣ невѣжества и дурнаго воспитанія, «Недоросль», сказали мы, изображаетъ также неизбѣжный результатъ ихъ—злоупотребленіе помѣщичьей власти, въ лицѣ Простаковой, «презлой фурии, которой адскій нравъ дѣлаетъ несчастье цѣлаго дома». Эту домашнюю тиранію останавливаетъ отъ имени правительства чиновникъ Правдинъ. Чуждый внутренняго отношенія къ сюжету, онъ важенъ, какъ органъ «человѣколюбивыхъ видовъ высшей власти». Ему предписано «замѣчать тѣхъ злонравныхъ невѣждъ, которые, имѣя надъ людьми своими полную власть, употребляютъ ее во зло безчеловѣчно». Онъ беретъ въ опеку домъ и деревни Простаковой, такъ какъ ея «злонравіе въ благоустроенномъ государствѣ терпимо быть не можетъ»; вмѣстѣ съ тѣмъ предостерегаетъ и Скотинина, приказывая ему повѣстить всѣмъ Скотининнымъ, чтобы они людей своихъ побольше любили, или бы по крайней мѣрѣ не трогали ихъ. Распоряжаясь такимъ образомъ, онъ дѣйствовалъ по силѣ «Наказа» и «Учрежденія для управленія губерній (1775)».

Въ Наказѣ говорится: «какого бы рода покорство ни было, надлежитъ, чтобы законы гражданскіе злоупотребленія рабства отвращали (§ 254)»; «Петръ I узаконилъ въ 1722 г., чтобы безумные и подданныхъ своихъ мучащіе были подъ смотрѣніемъ опеки: по первой статьѣ сего указа чинится исполненіе, а послѣдняя для чего безъ дѣйства осталася—неизвѣстно (§ 256)». Приведеніе этой мѣры въ дѣйствіе учинено Учрежденіемъ о губерніяхъ. Въ разговорѣ съ Милономъ, Правдинъ указываетъ на связь своей роли съ этимъ законодательнымъ памятникомъ: «Ты знаешь образъ мыслей нашего намѣстника. Съ какою ревностію помогаетъ онъ страждущему человечеству! Съ какимъ усердіемъ исполняетъ онъ тѣмъ самымъ человѣколюбивые виды высшей власти! Мы въ нашемъ краю сами испытали, что гдѣ намѣстникъ таковъ, каковымъ изображенъ намѣстникъ въ Учрежденіи, тамъ благосостояніе обитателей вѣрно и надежно». Въ «Учрежденіи» же о намѣстникѣ говорится слѣдующее: «Намѣстникъ не есть судья, но оберегатель изданнаго узаконенія, ходатай за пользу общую и государеву, заступникъ угнетенныхъ и побудитель безгласныхъ дѣлъ. Носія ина государева намѣстника, долженъ онъ показать въ поступкахъ своихъ доброхотство, любовь и соболѣзнованіе къ народу... Онъ имѣетъ пресѣкать всякаго рода злоупотребленія, а наипаче роскошь безмѣрную и разорительную, обуздывать излишества, безпутства, мотовство, тиранство и жестокости».

И содержаніемъ, и драматическимъ достоинствомъ «Недоросль» выше «Бригадира», хотя нѣкоторыми сценами и лицами отступаетъ отъ требованій истинной комедіи. И здѣсь также главная погрѣшность—внѣшнее отношеніе идее къ завязкѣ. Милонъ и Софья введены безъ всякой пользы для дѣйствія, изъ одного желанія показать лица прямо противоположныя семейству Простаковыхъ; взаимная любовь ихъ нисколько не вяжется съ ходомъ пьесы, угождая только обычаямъ ложно-классицизма. Другой недостатокъ «Недоросля» кн. Вяземскій находитъ въ неподвижности событія, иначе въ отсутствіи драматизма: изъ всѣхъ явленій, говоритъ онъ, едва ли найдется треть, и то короткихъ, входящихъ въ составъ самого дѣйствія и развивающихся изъ него какъ изъ клубка. Развязка есть своего рода *deus ex machina*: она производится не ходомъ обстоятельствъ, а волею Стародума, по праву родства, или волею Правдина, по силѣ закона. Дѣйствующія лица могутъ быть раздѣлены на нѣсколько категорій. Къ истинно-комическимъ относятся: Простаковъ, Простакова, Митрофанъ, Еремеевна и Тришка. Лучшій характеръ, выдержанный до конца — Простакова. Сдотининъ, Вральманъ, Кутейкинъ и Цыфиркинъ, также взятые изъ

русской жизни, переходить въ карикатуру. Первый изъ нихъ, по остроумному замѣчанію кн. Вяземскаго, нарисованъ въ родѣ театральныхъ героевъ классической трагедіи и говоритъ о любви своей къ свиньямъ, какъ Дмитрій Самозванецъ Сумарокова о любви къ злодѣйствамъ. Кутейкинъ не могъ такъ наивно рассказывать о своихъ неудачахъ въ ученіи: надобно было черезъ чуръ глупымъ, чтобы хвалиться плохимъ аттестатомъ, а онъ вовсе не такой дуракъ. Вральманъ неправдоподобенъ не тѣмъ, что онъ изъучено поналъ въ учителя: дѣло въ то время возможное, а тѣмъ, какъ онъ отзывался о себѣ и о Митрофанѣ. Наконецъ Стародумъ и Правдинъ—резонеры: этимъ словомъ достаточно указывается ихъ противорѣчіе сущности драмы, которая выводитъ лица для дѣйствія, а не для разсужденій. Успѣхъ «Недоросля», говоритъ кн. Вяземскій, былъ рѣшительный. Нѣкоторые изъ именъ дѣйствующихъ лицъ сдѣлались нарицательными и донныя употребляются въ народномъ обращеніи. Нравственное вліяніе пьесы заключается въ сознаніи образа дѣйствій, противоположнаго тому, которое въ ней изображено: «авторъ, въ начертаніи картины, далъ лицамъ смѣшное направленіе, но смѣшное хотя у него на первомъ планѣ, не мѣшаетъ разглядѣть гнусное, ненавистное въ перспективѣ. Въ семействахъ Простакowychъ трагическія развязки не рѣдки. Архивы уголовныхъ дѣлъ нашихъ могутъ представить тому многочисленныя доказательства». Общественное значеніе «Недоросля» такъ важно, что эта комедія (обращаемся снова къ мнѣнію кн. Вяземскаго) есть не только хорошее сочиненіе, но и доброе дѣло, патріотическая заслуга. Служа примѣромъ благороднаго согласія между литературою и видами правительства, она въ то же время представляетъ примѣръ полезнаго взаимодѣйствія литературы и общества. Ея авторъ имѣлъ право отнести къ себѣ тѣ самыя слова, которыя онъ заставилъ написать Старокума и часть которыхъ мы привели выше: «въ томъ государствѣ, гдѣ писатели наслаждаются дарованною намъ свободою, имѣютъ они долгъ возвысить громкій гласъ свой противъ злоупотребленій и предрасудковъ, вредящихъ отечеству, такъ что человѣкъ съ дарованьемъ можетъ въ своей комнатѣ, съ перомъ въ рукахъ, быть иногда полезнымъ совѣтователемъ государю, а иногда и спасителемъ согражданъ своихъ и отечества».

Другія сочиненія Фонъ-Визина также служатъ свидѣтельствомъ той высоты, которой достигаетъ литература, будучи сознательнымъ выраженіемъ просвѣщенныхъ стремленій общества. Они имѣютъ предметомъ не матеріальное могущество Россіи, не политическое ея значеніе, не славу побѣдъ и завоеваній, а задачи и дѣла внут-

ренняго устройства, успѣхи гражданственности. И въ этомъ кругу гражданскихъ интересовъ они обращаютъ вниманіе не столько на фактическую сторону, сколько на смыслъ и основаніе фактовъ. Ни одинъ изъ современныхъ вопросовъ не былъ ими обойденъ или незамѣченъ. Во всѣхъ мнѣніяхъ Фонъ-Визина слышится голосъ передоваго человѣка своей эпохи, а въ нѣкоторыхъ и голосъ замѣчательнаго публициста. Намъ уже извѣстно, какъ онъ смотрѣлъ на воспитаніе, правосудіе, обязанности дворянства, отношеніе помещиковъ къ крестьянамъ. «Письмо Вяземскаго», хотя и вымышленное, не хуже подлинныхъ документовъ даетъ понятіе о потворствѣ беззаконію и плутнямъ. «Разговоръ у кн. Халдиной», рассуждая о средствахъ приготовить достойныхъ судей и адвокатовъ, предлагаетъ учредить въ университетѣ катедру политической науки, подъ которой разумѣется наука о «благочиніи, коммерціи и государственныхъ доходахъ». Гласность должна была съ своей стороны оградить законное теченіе дѣлъ, устрашая неправду приговоромъ общественнаго мнѣнія, какъ видно изъ 5-го вопроса Екатеринѣ: «отъ чего у насъ тяжущіеся не печатаютъ тяжбъ своихъ и рѣшеній правительства?» По поводу отвѣта императрицы: «отъ того, что вольныхъ типографій до 1782 г. не было», Фонъ-Визинъ писалъ къ ней: «Отвѣтъ вашъ подаетъ надежду, что размноженіе типографій послужитъ не только къ распространенію человѣческихъ знаній, но и къ поддержанію правосудія. Спосособомъ печатанія тяжбъ и рѣшеній гласъ обиженнаго достигнетъ во всѣ концы отечества. Многіе постыдятся думать то, чего дѣлать не страшатся. Всякое дѣло, содержащее въ себѣ судьбу имѣнія, чести и жизни гражданина, купно съ рѣшеніемъ судившихъ, можетъ быть извѣстно всей безпристрастной публикѣ: воздастся достойная хвала праведнымъ судіямъ; возгнушаются честныя сердца неправдою судей безсовѣстныхъ и алчныхъ». «Письмо отъ Стародума (1788)» показываетъ истинную причину малаго у насъ числа свѣтскихъ ораторовъ. Эта причина заключается не въ недостаткѣ національнаго дарованія, которое способно ко всему великому, не въ недостаткѣ русскаго языка, котораго богатство и красота удобны ко всякому выраженію, а въ недостаткѣ случаевъ, при которыхъ можетъ выказываться даръ политическаго краснорѣчія. Знаменитые «Вопросы Екатеринѣ II» затрогиваютъ важнѣйшіе государственные и общественные интересы. Вѣроятно по порученію начальства, Фонъ-Визинъ перевелъ съ французскаго языка книгу о среднемъ сословіи и сочинилъ о томъ же разсужденіе; ему также, какъ свидѣтельствуется кн. Вяземскій, принадлежитъ одно политическое сочиненіе, написанное, по заказу гр. Н. И.

Павла, для наследника престола, великого князя Павла Петровича. Не смотря на свою образованность, заимствованную съ запада, Фонъ-Визинъ различалъ дурныя стороны европейской жизни и видѣлъ вредъ, наносимый отечеству легкомысленнымъ усвоеніемъ ея виѣшности. Дѣятельность его была всегда направлена на раскрытіе сущности и пользы тѣхъ началъ, безъ которыхъ, по современнымъ понятіямъ, не могли совершиться улучшенія ни въ государствахъ, ни въ обществахъ, ни въ семейномъ быту. Поэтому Фонъ-Визинъ болѣе чѣмъ кто-нибудь имѣетъ право называться литераторомъ Екатеринина вѣка: мѣры правительства, состояніе и потребности общества находили въ немъ разумнаго истолкователя. Независимо отъ своего содержанія, литературныя труды Фонъ-Визина облачаютъ рѣдкій талантъ сатирика. Въ его сатиры не остроуміе только, но и сила, которая клеймитъ недостатки ума или нравственности. «Чистосердечное признаніе въ дѣлахъ моихъ и помышленіяхъ», къ сожалѣнію не конченное, есть примѣръ любопытной автобіографіи, которая не останавливается на одной семейной жизни автора, но даетъ понятіе о характерѣ тогдашняго университетскаго образованія, о замѣчательныхъ современникахъ, объ увлеченіи общества французскими энциклопедистами. «Письма изъ Франціи къ П. И. Панину (1777—1778)» представляютъ положеніе этого государства не задолго до революціи. «Письмо къ Бозодавлеву о планѣ русскаго словаря (1784)» содержитъ въ себѣ много дѣльных и остроумныхъ замѣчаній о языкѣ и грамматикѣ. «Всеобщая придворная грамматика (1788)», по меткости и замысловатости сатиры, можетъ стать на ряду съ капитальными произведеніями въ этомъ родѣ. «Стародумъ, или другъ честныхъ людей», судя по нѣсколькимъ статьямъ, заготовленнымъ для этого изданія (1788), вышелъ бы однимъ изъ лучшихъ органовъ нашей журналистики. «Поученіе, говоренное въ Духовъ день іереемъ Василіемъ (1783)», служа критикою на сельскихъ проповѣдниковъ, виѣсть съ этимъ даетъ примѣръ, хотя и односторонній, какъ и о чемъ должно говорить съ простонародьемъ въ церковныхъ бесѣдахъ. «Слово на выздоровленіе в. к. Павла Петровича (1771)» предлагаетъ ему совѣты въ духѣ «Наказа» и вообще воззрѣній XVIII в.

Фонъ-Визинъ род. 1743 г. въ Москвѣ, гдѣ отецъ его состоялъ на службѣ. Отъ природы получилъ онъ доброе сердце, чрезвычайную чувствительность и острый умъ. Когда онъ выучился грамотѣ, отецъ заставлялъ его читать церковныя книги на всенощной службѣ, отправлявшейся на дому: «этому чтенію», говоритъ онъ въ своихъ мемуарахъ (Чистосердечное признаніе въ дѣлахъ моихъ и помышленіяхъ),

обязанъ и знаніемъ русскаго языка, котораго невозможно знать безъ языка славянскаго. Одиннадцати лѣтъ отдали его въ гимназію при московскомъ университетѣ, только что основанномъ: адѣсь онъ пріобрѣлъ нѣкоторыя познанія въ языкахъ латинскомъ и нѣмецкомъ, а также въ словесности; французскому языку выучился онъ позднѣе. Въ 1758 г. директоръ университета, И. И. Мелиссино, отправляясь въ Петербургъ, взялъ съ собою десять лучшихъ воспитанниковъ для представленія куратору (попечителю) И. Шувалову. Въ числѣ ихъ находился и Фонъ-Визинъ. Въ домѣ дяди своего онъ познакомился съ нѣвѣстными актерами: Волковымъ и Дмитревскимъ. Театръ привелъ его въ восхищеніе, особенно игра комика Шумскаго. Произведенный въ студенты (1759), поступилъ на философскій факультетъ, гдѣ слушалъ лекціи логики у профессора Шадена. Въ тоже время занимался онъ переводами, изъ коихъ напечатаны: «Басни Гольберга» (1761) и «Жизнь Снеа, царя египетскаго» (1762—1768). Въ 1762 г. Фонъ-Визинъ поступилъ на службу въ гвардію, но вскорѣ перешелъ въ иностранную коллегію. Канцлеръ гр. Воронцовъ поручалъ ему, какъ знающему иностранные языки, переводъ важнѣйшихъ бумагъ. Въ 1763 г. онъ былъ прикомандированъ для нѣкоторыхъ дѣлъ къ кабинетъ-министру И. П. Елагину, который также любилъ словесность и оказывалъ покровительство молодымъ писателямъ. Самимъ Елагинымъ Фонъ-Визинъ былъ доволенъ, но много испыталъ непріятностей отъ своего сослуживца Лукина, драматическаго автора того времени, который старался ему вредить во мнѣніи ихъ общаго начальника. Служба не мѣшала литературнымъ занатіямъ Фонъ-Визина: онъ написалъ комедію «Бригадиръ» и перевелъ ноему Битобѣ: «Юсифъ». Комедія была читана и передъ императрицею, и у наслѣдника престола, и у многихъ вельможъ. Авторъ читалъ ее мастерски, потому что «имѣлъ даръ принимать на себя лице и говорить голосомъ весьма многихъ людей». Она понравилась всѣмъ и была оцѣнена по достоинству. Въ концѣ 1769 г. Фонъ-Визинъ перешелъ отъ Елагина къ гр. Н. И. Панину, который управлялъ иностранными дѣлами и кромѣ того былъ воспитателемъ наслѣдника престола, Павла Петровича. Отношенія къ нему новаго начальника оставались самыми дружелюбными съ начала и до конца служебнаго поприща. Фонъ-Визинъ, состоя при немъ въ званіи секретаря, удостоенъ былъ полной его довѣренности и былъ непоколебимо ему преданъ. Переписка его со многими дипломатами того времени служить свидѣтельствомъ и непосредственнаго участія его въ дѣлахъ, и уваженія снисканнаго имъ независимо отъ мѣста. Въ 1773 г. состояніе его увеличилось. Гр. Панинъ, окончивъ воспитаніе наслѣдника и получивъ отъ императрицы въ награду 9000 душъ, отдалъ половину изъ нихъ тремъ своимъ секретарямъ. Фонъ-Визину досталось 1180 душъ. Кромѣ того онъ женился на богатой вдовѣ, что дало ему возможность жить привольно, приглашать и угощать своихъ друзей, въ числѣ которыхъ находились Державинъ, Домашневъ, Богдановичъ, Книжнинъ, Козодавлевъ, Дмитревскій... Литературными же противниками его были А. С. Хвостовъ и кн. Горчаковъ. Но нелегко было вести съ нимъ литературную войну, такъ какъ онъ обладалъ сильнымъ остроуміемъ и чрезвычайною находчивостью какъ въ разговорѣ, такъ и на письмѣ. Фонъ-Визинъ три раза ѣздилъ за границу. Первое путешествіе

(1777—1778) было предпринято по нездоровью жены его; целью поѣздки былъ Монпелье, въ которомъ онъ оставался около двухъ мѣсяцевъ, и кромѣ того прожилъ нѣсколько мѣсяцевъ въ Парижѣ. Этой поѣздкѣ одолжены своимъ появленіемъ «Письма изъ Франціи къ гр. П. И. Панину», замѣчательныя какъ по изображенію состоянія французскаго общества, за десять лѣтъ до революціи, такъ и по отзывамъ объ энциклопедистахъ, которымъ Фонъ-Визинъ не сочувствовалъ, потому что ихъ «ученіе хотя и уничтожаетъ предрассудки, но въ тоже время вырываетъ съ корнемъ добродѣтель». Въ 1782 г. явилась комедія «Недоросль», имѣвшая необычайный успѣхъ; этого же года напечатаны въ «Собесѣдникѣ любителей русскаго слова» его знаменитыя «Вопросы», съ отвѣтами на нихъ автора «Былей и Небылицъ» (Императрицы Екатерины II), и объяснительное или оправдательное письмо его къ тому же автору. Смерть гр. Н. И. Панина (1783) сильно подѣйствовала на здоровье Фонъ-Визина: онъ вышелъ въ отставку и поѣхалъ въ Италію, гдѣ прожилъ около восьми мѣсяцевъ (1784—1785). По возвращеніи въ Москву, былъ пораженъ апоплексическимъ ударомъ, лишившимъ его языка, лѣвой руки и ноги. Для поправленія здоровья совершилъ онъ третье путешествіе (1786—1787) въ Вѣну, Карлсбадъ, Тренцианъ (въ Венгрію). Изъ всѣхъ своихъ путешествій Фонъ-Визинъ вынесъ очень невыгодное мнѣніе о заграничной жизни и состояніи заграничнаго общества. Въ 1788 г. намѣревался издавать журналъ: «Другъ честныхъ людей, или Стародумъ», но не получилъ на то разрѣшенія. Смерть Потемкина (1791) внушила ему «Размышленіе о суетной жизни человѣческой». Умеръ 1792 г. Представитель благороднаго образа мыслей въ свое время, Фонъ-Визинъ отличался самостоятельнымъ характеромъ и держалъ себя независимо. Онъ былъ «другомъ честныхъ людей», потому что главное достоинство человѣка полагалъ въ честности. Эта мысль выражена имъ въ разныхъ мѣстахъ его сочиненій ⁽¹⁾.

§ 23. Раскрытію предрассудковъ и злоупотребленій Екатеринина вѣка были посвящены многія періодическія изданія. Наибольшее движеніе сатирической журналистики относится къ 1769—1774 г. Въ это семилѣтіе явились: Всякая всячина (1769—1770), И то и се (1769), Ни то ни се (1769), Поденщина (1769), Смѣсь (1769), Трутень (1769—1770), Адская почта (1769), Полезное съ пріятнымъ (1769), Парнасскій Щепетильникъ (1770), Пустомеля (1770), Трудолюбивый Муравей (1771), Старина и новизна (1772—1773), Вечера (1772), Живописецъ (1772),

¹⁾ Фонъ-Визинъ, ин. П. А. Вяземскаго (1848); Разборъ Смирд. изданія сочиненій Фонъ-Визина, С. Дудышина (От. Зап. 1847, № 8 и 9); Замѣтки по поводу Смирд. изданія рус. авторовъ, Н. Тихонравова (Моск. Вѣд. 1852, № 6); О жизни и сочиненіяхъ Фонъ-Визина, г. Пятковскаго, въ Глазунов. изд. сочиненій Фонъ-Визина, подъ редакціей П. Ефремова (Рус. писатели XVIII в., 1866).

Мѣшанина (1773), Кошелевъ (1774). Впрочемъ, сатирическое направленіе журналистики продолжалось и послѣ 1774 г., хотя съ меньшею противъ прежняго силою, въ Разсвѣщающіхъ забавныхъ басенъ (1781), Почтѣ духовъ (1789), Зритель (1792). Своимъ содержаніемъ и частію заглавіемъ означенныя изданія состоятъ въ связи съ журналами Миллера и Сумарокова. «Полезное съ пріятнымъ», «Смѣсь», предлагающая чтеніе серьезное и легкое, даютъ знать о Ежемѣсячныхъ сочиненіяхъ, «въ пользѣ и увеселенію» служащихъ; «Трудолюбивый муравей» указываетъ на «Трудолюбивую пчелу». Кромѣ статей обличительныхъ, какъ главнаго своего элемента, журналы 1769—74 г. заключаютъ въ себѣ статьи, писанныя собственно для увеселенія. Издатель «Всякой всячины» поставилъ себѣ двоякую цѣль: «иногда дать читателямъ полезныя наставленія, иногда заставить ихъ смѣяться». Сочиненія, имѣвшія цѣлью возбудить смѣхъ, образовали сатирической, преобладающей отдѣлъ журнала; нѣзъ наставленій, облеченныхъ въ легкую форму, составилъ отдѣлъ поучительный. Моральный характеръ этого втораго отдѣла, общій у журналовъ 1769—74 г. и Миллерова ежемѣсячника, виденъ уже изъ того, что заглавія многихъ статей выражались правоучительными сентенціями, наприм.: «неблагодарность вреднѣйшій есть порокъ», «упрямство есть порокъ слабаго ума», «привычка есть второе естество», и т. п. Но при этомъ сходствѣ есть и значительныя различія. Содержаніе Миллерова ежемѣсячника разнообразнѣе. Какъ учено-литературное изданіе, онъ предлагалъ статьи двоякаго рода: наукѣ отведено было главное мѣсто; стихотворенія и моральная сатира стояли на заднемъ планѣ. Напротивъ, журналы Екатеринина вѣка, чисто-литературныя, дали первенство сатирѣ; за нею слѣдовали сочиненія поучительныя; а наука заходила въ нихъ какъ бы случайнымъ образомъ. Второе различіе опредѣляется характеромъ сатирическаго отдѣла: сатира Ежемѣсячныхъ сочиненій общая и отвлеченная, тогда какъ журнальная сатира второй половины прошлаго столѣтія имѣетъ предметомъ недостатки современнаго ей русскаго общества. По этому качеству журналы 1769—74 г. родственны «Трудолюбивой пчелѣ», но берутъ надъ нею верхъ многосторонностью обличеній. Въ подражательной формѣ излагали они собственный матеріалъ, или же, заимствуя содержаніе изъ иностранной литературы, примѣняли его въ отечественнымъ нравамъ. Такъ, напримѣръ, статья Аддисонова Зрителя «о суетвѣринѣ» передѣлана «Всякой всячиной» въ рассказъ «о суетвѣрной жительницѣ замоскворѣчья».

Общее направленіе журналовъ 1769—74 г. различалось по ихъ

взгляду на значеніе, цѣль и условія сатиры. Одни, принявъ за правило «цѣлить не въ личности, а единственно въ пороки», требовали отъ автора «добросердечія», по которому онъ изрѣдка касается нравственныхъ недостатковъ, изъ боязни оскорбить чело-вѣчество, и главное вниманіе обращаетъ на примѣры людей, украшенныхъ совершенствами. По мнѣнію другихъ, сатира должна была быть открытою и рѣзкою, затѣмъ что снисхожденіе къ порокамъ есть не чело-вѣколюбіе, а пороколюбіе; что больше чело-вѣколюбивъ тотъ, кто исправляетъ ближнихъ, нежели тотъ, кто попускаетъ ихъ проступкамъ; что вымыслы, далекіе отъ дѣйствительности, и отвлеченная мораль не приведутъ ни къ чему. Оба взгляда переходили иногда въ крайность: полемизируя съ издателемъ «Всякой всячины», «Трутенъ» уполномочивалъ сатиру «критиковать» не порокъ вообще, безъ отношенія его къ лицу, а самое лицо порочнаго (скрывая однакожъ его имя), на томъ основаніи, что «зеркало не виновато, коли рожа крива». Но какъ бы ни смотрѣли означенные журналы на обязанности сатирика, всѣ они оказали пользу современникамъ, выполняя прямое назначеніе литературы быть не только зеркаломъ общества, каково оно есть, но и указателемъ того, какимъ оно должно быть. Они честно служили и дѣлу европейскаго образованія, которое, по примѣру Петра, водворяла у насъ Екатерина, и дѣлу русской національности, которая нуждалась въ защитѣ отъ односторонности и крайности чужеземныхъ вліяній. Изъ трехъ задачъ, предложенныхъ «Всякой всячинѣ» ея издателемъ, первыя двѣ, какъ намъ уже извѣстно, требовали сатиры и наставленій, а послѣдняя состояла въ томъ, чтобы «говорить Русскимъ о Русскихъ, не представляя имъ умоначертаній, которыхъ они не знаютъ». Искоренять невѣжество и водворять въ отечествѣ западную цивилизацію, но только на основахъ національныхъ, съ сохраненіемъ своей самобытности и уваженія къ родной странѣ и ея исторіи: вотъ чего хотѣли журналы 1769—74 г. Мнѣю ихъ успѣховъ въ этомъ предпріятіи измѣряется ихъ достоинство. Къ лучшимъ изъ нихъ, по литературному и общественному значенію, принадлежать: «Всякая всячина», «Трутенъ» и въ особенности «Живописецъ». Издателемъ перваго журнала былъ Козицкій († 1775), адъюнктъ академіи наукъ, а въ послѣдствіи статсъ-секретарь Екатерины, извѣстный многими переводами и сотрудничествомъ въ «Трудолюбивой пчелѣ»; издателемъ двухъ остальныхъ—Новиковъ, о дѣятельности котораго на пользу русскаго образованія будетъ сказано ниже.

Независимо отъ своего главнаго направленія, нравоучительно-сатирическіе журналы Екатериніна вѣка представляютъ и другія

*

замѣчательныя особенности, которыя дали имъ значеніе, сходное съ значеніемъ англійскихъ и частію нѣмецкихъ періодическихъ изданій того же рода. Въ Англіи, еженедѣльные журналы: Болтунъ, Зритель и Опекунъ, издававшіеся Стилемъ и Аддисономъ въ 1709—1714 г., служили противодѣйствіемъ ложно-классическому вкусу Драйдена и Попа и рѣшительнымъ поворотомъ англійской литературы отъ французскаго вліянія къ народности. Заимствуя содержаніе изъ дѣйствительной жизни, отличаясь трезвымъ на нее взглядомъ и вѣрнымъ ея изображеніемъ, изящные по формѣ, они оказали сильное дѣйствіе на понятія и нравы общества. Нѣмецкія подражанія Стилю и Аддисону, далеко уступающія своимъ образцамъ, относятся къ 1721—29 г. Въ это время издавались: «Разсужденія живописца» и его продолженіе—«Живописецъ правовъ», «Патріотъ», «Разумныя обличительницы» и «Честный человѣкъ». Исчисленные еженедѣльные листы давно были извѣстны нашей журналистикѣ. Начавъ изданіе примѣчаній къ Вѣдомостямъ съ 1728 г., Миллеръ, въ предисловіи, говоритъ: «По примѣру моралическихъ понедѣльныхъ писемъ (die moralischen Wochenschriften), «Патріотъ» (ревнитель о пользѣ отечества) усталъ отъ соребнованія; «Хулительницы» (которыя всѣ недобродѣтели хулятъ) перестали хулить; а какъ долго «Бидерманъ» (честный человѣкъ, такожде о добрыхъ и злыхъ дѣлахъ разсуждающій) роптать будетъ, время покажетъ». Въ одномъ номерѣ «Всякой всячины» упомянуто о журналахъ англійскихъ (Зритель, Пустомеля) и французскихъ (Новый Менторъ, Мизантропъ), на которыхъ она походитъ. Больше другихъ славился и вызывалъ подражанія Зритель. Его названіе, равно какъ и названіе Болтуна, перенесены были на наши изданія (Пустомеля, Зритель). Можетъ быть и «Живописецъ» одолженъ своимъ именемъ нѣмецкому «Живописцу правовъ» (Der Maler der Sitten). Слѣдуя Стилю и Аддисону, наши нравоучительно-сатирическіе журналы выбрали предметомъ своихъ изображеній обыкновенную домашнюю жизнь, которая не смѣла являться въ поэзіи при шумѣ торжественныхъ одъ и блескѣ героическихъ сюжетовъ на сценѣ. Этимъ они отрѣшились отъ ложно-классическихъ условій и вывели нашу литературу изъ тѣсной сферы высшаго общества въ просторную область средняго класса. Предисловіе къ пятому изданію «Живописца» (онъ имѣлъ шесть изданій) объясняетъ его успѣхъ тѣмъ, что «онъ пришелъ на вкусъ мѣщанъ нашихъ; ибо у насъ тѣ только книги третьими, четвертыми и пятими изданіями печатаются, которыя симъ простосердечнымъ людямъ, по незнанію ихъ чужестранныхъ языковъ, нравятся». Въ подтвержденіе своего мнѣнія, Новиковъ

ссылается на тѣ книги, «кои отъ просвѣщенныхъ людей никакого уваженія не заслуживаютъ и читаются только мѣщанами: Троянская исторія, Синописистъ, Юности честное зеркало, Совершенное воспитаніе дѣтей, Азовская исторія и другія; напротивъ того, книги, на вкусъ нашихъ мѣщанъ не попавшія, весьма спокойно лежатъ въ хранилищахъ, почти вѣчною для нихъ темницею назначенныхъ». Изъ этихъ словъ видно, что Живописецъ, на ряду съ прочими журналами 1769—74 г., для мѣщанской среды читателей имѣли значеніе народныхъ книгъ, изъ которыхъ одна (Троянская исторія) даже попала въ списокъ сочиненій, указанныхъ предисловіемъ. Издатель журналовъ: «И то и се» и «Парнаскій Щепетильникъ», Чулковъ, обозначилъ это мѣщанское направленіе еще яснѣе и рѣшительнѣе: стараясь придать своимъ статьямъ характеръ простонародности, онъ наполнялъ ихъ поговорками и пословицами, сообщалъ извѣстія о повѣрьяхъ и обычаяхъ народа, и нѣкоторые его праздники описалъ въ шутливыхъ стихахъ. Изображенія повседневнаго русскаго быта въ изданіяхъ 1769—74 г. освобождены отъ всякой идеализаціи: онъ показывается ими въ своемъ настоящемъ видѣ, съ неподдѣльными достоинствами и недостатками, не обманывая читателя ложнымъ цвѣтомъ или ложнымъ тономъ. Прямой взглядъ на общество спасалъ издателей отъ украшеній и преувеличеній. «Живописецъ» смѣется надъ «пастушескими сочиненіями», въ которыхъ поэтъ на нѣжной лирѣ воспѣваетъ небывалое и невозможное блаженство, какой-то златой вѣкъ, находя его у поселянъ, а самъ постоянно пребывая въ городѣ по двумъ причинамъ: «во-первыхъ за тѣмъ, что въ нашихъ долинахъ зимою бываетъ много снѣга; во-вторыхъ потому, что еслибъ идиликъ туда переселился, то совершенно позабылъ бы блаженство жизни». Чтобы показать, «какъ весело живутъ русскіе пастушкі», «Вечера» помѣстили эклогу-сатиру на фальшивое представленіе сельской жизни въ идилияхъ Дезульеръ и Флоріана и русскихъ имъ подражателей.

Журналы 1769—74 г. выбирали цѣлю своихъ нападокъ тѣ явленія въ жизни общества, которыя противорѣчили гуманнымъ началамъ XVIII в., оскорбляя въ человѣкѣ достоинство его личности. Филантропическій характеръ ихъ наиболѣе виденъ въ статьяхъ о матеріальномъ и нравственномъ состояніи крестьянъ. «Отрывокъ путешествія въ ***», И. Т.» и «Письмо уѣзднаго дворянина къ Оалалею (въ Живописцѣ), «Копія съ крестьянскихъ отписокъ» и «Копія съ помѣщичья указа» (въ Трутнѣ), «Рѣчь о существѣ простаго народа» и «Сатирическое письмо отъ ламчадала» (въ Смѣси), при различіи формъ и тона, выражаютъ равно сочувствіе

къ низшимъ классамъ общества, или, какъ тогда ихъ называли, къ «подлымъ» людямъ. Живописецъ осуждаетъ это названіе, получившее отъ времени обидный смыслъ: «подлыми людьми», говоритъ онъ, «должны называться тѣ, которые дѣлають худая дѣла». Не порывая связи съ Кантемиромъ, журнальная сатира семидесятихъ годовъ продолжаетъ начатую имъ войну противъ упорнаго сопротивленія наукѣ и противъ модной переничивости иноземнаго. Подобно Кантемиру, она сопровождаетъ свои портреты «благородныхъ невѣждъ» разсужденіями о пользѣ знаній, образующими ея дидактическій элементъ; подобно ему, отвергаетъ мнѣніе, что опытъ житейскій служить замѣной образованія, въ которомъ поэтому будто бы и нѣтъ надобности. Многія статьи въ журналахъ Екатериннина времени посвящены воспитанію, какъ средству приготовить гражданъ и устроить благоденствіе. Теоретическими сужденіями объ этомъ предметѣ (въ изданіи: «Пріятное съ полезнымъ») подкрѣпляются извѣстные намъ педагогическіе взгляды Наказа и Бецкаго. Они совѣтуютъ съ самаго малолѣтства вкоренять въ юное сердце понятіе о чести и справедливости; внушать дѣтямъ наклонность къ труду; вротеніемъ съ ними обращеніемъ приучать ихъ къ человеколюбію: «если кто хочетъ сдѣлать своихъ дѣтей честными людьми, тотъ долженъ быть имъ истиннымъ родителемъ, а не строгимъ и жестокосерднымъ судьей; надлежитъ имъ доказать, что ихъ любишь: ибо когда они въ томъ удостовѣрятся, то и тебя взаимно любить будутъ; они тебя будутъ бояться не такъ, какъ властелина, но какъ любезнаго друга, коего почитаютъ: и опасаются оскорбить». Картины воспитанія, въ духѣ обычаевъ и правилъ до-петровской старины, принадлежатъ къ лучшимъ страницамъ Всякой всячины, Трутня, И то и се, Живописца. Мы уже имѣли случай упомянуть о нѣкоторыхъ, поставивъ ихъ въ связи съ комедіей Фонъ-Визина. Въ дополненіе къ нимъ прибавимъ: разсказъ о Степанидѣ Богдановѣ, которая позволяла своимъ дѣтямъ бить людей и мучить животныхъ (Всякая всячина); письмо дворянина о дурномъ его воспитаніи въ домѣ родителей, тирански поступавшихъ съ прислугой (Живописецъ); описаніе ученія грамотѣ у особаго рода учителей, называвшихся «мастерами» (И то и се). Много также картинъ той среды, которая благопріятствовала дурному воспитанію. «Всякая всячина» изображаетъ старинный обычай дворянства окружать себя большою дворней, держать въ дому, для «потѣшнаго дѣла», приживалокъ, барскихъ барынь, сказочниковъ, дураковъ и дуръ; «Письма къ Фавалю» (въ Живописцѣ) предлагаютъ вѣрно-схваченныя типическія черты людей, закоснѣлыхъ въ невѣ-

жествъ, суевѣрій, ложной набожности и грубости. Часто преслѣдуетъ сатира деревенскихъ трутней, поспѣшавшихъ оставить службу и удалявшихся въ свое помѣстье на покой. «Съ тѣхъ поръ», пишетъ «Смѣсь», «какъ российское дворянство подарено вольностию, многимъ захотѣлось отвѣдать сего пріятнаго подарка: такое лакомство завело нѣкоторыхъ въ неограниченную праздность, гдѣ они въ самомъ дѣлѣ доказываютъ, что они вольны». Для примѣра, какъ не должно жить дворянину, журналъ этотъ упоминаетъ объ Отдыхаловѣ и Досужниковѣ: одинъ почти не сходитъ съ голубятни, другой почти безъ просыпу спитъ. Обличенія лихоимства, ябеды, судейскихъ проволочекъ и приказной безграмотности прибиваютъ новыя факты къ исторіи той «застарѣлой неправды», противъ которой писали Посошковъ, Кантемиръ, Сумароковъ, Фонъ-Визинъ. «Нравоучительныя заповѣди подьячимъ» (Всякая всячина) остроумно излагаютъ десять главныхъ грѣховъ «крапивнаго сѣмени». Гуманныя понятія объ уголовномъ судѣ нашли себѣ отголосокъ въ рассказѣ «Трутня», какъ одинъ судья пыталъ невиннаго, подозрѣвая его въ покражѣ часовъ. Авторъ рассказа замѣчаетъ между прочимъ: «видно, судья не заглядывалъ въ тѣ указы, кои безпристрастнымъ быть повелѣваютъ. О просвѣщеніе, даръ небесный! расторгни скорѣе завѣсу незнанія и жестокости для защищенія человѣчества!» Этими словами указано вѣрнѣйшее средство противъ несправедливаго судопроизводства. Должность прокурора, который былъ «окомъ правосудія», надзираа за точнымъ исполненіемъ законовъ, вызвала жалобы крычкотворцевъ: наставительное письмо дяди къ племяннику (Трутень) отзывается о молодомъ и ученомъ прокурорѣ, какъ о выскочкѣ, серьезно смотрѣвшемъ на судейскую науку, тогда какъ она состоитъ въ умѣннѣ «искусно пригибать указы по своему желанію».

Крайности иноземнаго, преимущественно французскаго вліянія, были преслѣдуемы журнальною сатирою съ особннымъ негодованіемъ. «Кошелекъ», посвященный «отечеству», поставилъ исключительною своею цѣлію защиту русскихъ отъ мнѣнія тѣхъ людей, «кои, оболъщени будучи нѣкоторыми снаружи блестящими дарованіями иноземцевъ, не только что чужія земли предпочитаютъ своему отечеству, но еще, ко стыду цѣлой Россіи, и гнушаются своими соотечественниками, и думаютъ, что Россіянинъ долженъ заимствовать у иностранцевъ все, даже и до характера, какъ будто бы природа, устроившая всѣ вещи съ такою премудростію и надѣлившая всѣ области свойственными климатамъ ихъ дарованіями и обычаями, столько была несправедлива, что одной Россіи, не давъ свойственнаго народу ея характера, опредѣлила ски-

таться по всѣмъ областямъ и занимать клочками разныхъ народовъ разные обычаи, чтобы изъ сей смѣси составить новый, никакому народу несвойственный характеръ». Названіе журнала должно было объясниться въ обѣщанной имъ, но не помѣщенной, статьѣ: «Превращеніи русскаго кошелька во французскій»; вѣроятно, Новиковъ разумѣлъ введеніе «кошельковъ», которые привязывались къ парикамъ, и другихъ французскихъ модъ, за что дорогою цѣною расплачивались кошельки русскихъ петиметровъ. Самое вредное дѣйствіе галломаніи оказывалось на воспитаніи русскаго юношества невѣжественными или безнравственными гувернерами и гувернантками: поэтому тѣмъ и другимъ, равно какъ и довѣрчивымъ родителямъ, часто достается отъ журналовъ. Патриотическая сатира ихъ на этомъ предметѣ примыкаетъ непосредственно къ правительственнымъ мѣрамъ, къ «Бригадиру» Фонъ-Визина и голосамъ другихъ просвѣщенныхъ людей, старавшихся охранять нашу молодежь отъ вліяній, противныхъ характеру и достоинству русскаго народа. Въ указѣ объ основаніи московскаго университета сказано, что «у большей части помѣщиковъ жили на дорогомъ содержаніи учителя, изъ которыхъ многіе не только преподавали науки, но и сами ничего не знали; иные же родители, не имѣя знанія въ наукахъ или по необходимости не ссылавъ лучшихъ учителей, принимали такихъ, которые лакеями, парикмахерами и другими подобными ремеслами всю жизнь свою препровождали». Другимъ указомъ (1757) предписано экзаменовывать всѣхъ иностранцевъ, принимающихъ на себя обученіе дѣтей. При Екатеринѣ II (указъ 1784 г.) должны были также подвергнуться испытанію всѣ содержатели частныхъ пансіоновъ и школъ. Въ рѣчи профессора московскаго университета Шадена: «о правахъ родителей касательно воспитанія дѣтей», есть сильная выходка противъ гувернеровъ-иностранцевъ: «Врагами дѣтей своихъ готовы мы назвать тѣхъ отцовъ и матерей, которые, желая принскать учителя, рассылаютъ своихъ слугъ по перекресткамъ и площадямъ, какъ будто добрый и образованный наставникъ такая мелочь, что его можно найти вездѣ! Что удивительнаго, если слуги находятъ сразу воспитанія, людей работливыхъ, негодныхъ тварей, носящихъ только образецъ человѣческій!» Мессельеръ, членъ французскаго посольства при нашемъ дворѣ въ царствованіе Елисаветы, и графъ Сегюръ, извѣстный дипломатъ и писатель, съ крайнимъ изумленіемъ и жалостью говорятъ о непростительной довѣрчивости, съ которою Русскіе принимали къ себѣ въ домъ зазорныхъ выходцевъ изъ Франціи. Путешествія за границу дѣтей вельможъ и богачей, безъ надлежащей къ тому подготовки, стоили иноземнаго воспи-

танія. Предоставленные самимъ себѣ, молодые люди жадно бросались на удовольствія парижской жизни, забывая главную цѣль поѣздки — образованіе, и большею частію возвращались на родину съ пустою головою, развращеннымъ нравомъ и привычкою къ роскоши. Они, по словамъ «Бригадира», выходили французскими повѣсами, несравненно худшими русскихъ. «Трутень» жалуется, что наша молодежь вывозила изъ чужихъ земель только свѣдѣнія о томъ, какъ тамъ одѣваются, какія бываютъ вѣрлища и увеселенія, а никто не расскажетъ о нравахъ, учрежденіяхъ и законахъ просвѣщенныхъ народовъ. Онъ же, какъ бы въ подражаніе Сумарокову, уподобившему петиметра напудренной скотинѣ, помѣстилъ въ своихъ сатирическихъ вѣдомостяхъ замѣтку о «россійскомъ поросенкѣ, который ѣздитъ по чужимъ землямъ для просвѣщенія своего разума, а воротился совершенной свиньею, и котораго желающіе могутъ видѣть безденежно по многимъ улицамъ города. Господство моды, со всѣми ея атрибутами въ обращеніи и костюмѣ, служило предметомъ частаго осмѣянія въ разныхъ формахъ. Журнальной сатирѣ особенно не нравилось вліяніе моды на родное слово; она негодовала на разговорный языкъ великосвѣтскихъ людей, представлявшій «смѣсь французскаго съ нижегородскимъ»: иностранныя реченія и фразы или цѣликомъ вставлялись въ русскую рѣчь, или переводились буквально на перекоръ ея слогаду; общеупотребительнымъ русскимъ словамъ придавался новый смыслъ; искажались даже грамматическія формы отечественной рѣчи. Еще въ «Бригадирѣ» разговоры Совѣтницы пересыпаны словами: сентименты, пассія, коммодіѣ, капабельно, диспутировать и др. «Живописецъ» напечаталъ «опытъ моднаго словаря щегольскаго нарѣчія»: здѣсь объяснены нѣкоторые слова въ томъ смыслѣ, какой имъ придавался петиметрами и модными женщинами. Этими «новоманерными» словами испещрено «письмо Щеголиха къ Живописцу». Изъ вышесказаннаго о «Былихъ и небылицахъ» Екатерины II видно, что въ предметахъ своей сатиры онъ сходился съ сатирическими изданіями. «Почта Духовъ (1789)» и «Зритель (1792)» также относятся къ нимъ, по своему направленію. Первый изъ этихъ журналовъ издавался И. Крыловымъ (баснописцемъ) по образцу «Адской почты», т. е. въ формѣ переписки между вымышленными безплотными существами: водяные, воздушные и подземные духи сообщаютъ одному волшебнику извѣстія обо всемъ, ими видѣнномъ. Предметъ ихъ сообщеній — пороки, слабости и смѣшныя стороны современнаго общества. «Духи», говорится въ «извѣстіи» о журналѣ, «не любить кривчотворцевъ, ростовщиковъ и лицемеровъ, не жалуютъ

щегольства, волокитства и мотовства, и потому не могут ужиться въ нынѣшнемъ просвѣщенномъ вѣкѣ видимыми». Половина писемъ принадлежитъ Крылову; другія написаны А. Радищевымъ. Обличенія Крылова направлены преимущественно противъ французскаго вліянія на дворянское сословіе. «Зритель» выходилъ подъ редакціей Крылова и Клушина. Его задачею было «представлять пороки во всей его гнусности, дабы всякъ получилъ въ немъ отвращеніе, а добродѣтель во всей красотѣ, дабы плѣнить ею читателя»⁽¹⁾.

§ 24. На ряду съ Фонъ-Визинымъ, по тѣсному соотношенію съ эпохой Екатерины II, слѣдуетъ поставить Державина (1743—1816). Сочиненія его изображаютъ всѣ важнѣйшія событія и всѣхъ главнѣйшихъ дѣятелей ея царствованія, почему современники и называли его «пѣвцомъ Екатерины», — названіе, навсегда оставшееся при его имени. Самъ онъ смотрѣлъ на себя съ той же точки зрѣнія. «Превознесу тебя, прославлю, *тобой* бессмертенъ буду *самъ*», говоритъ онъ въ «Видѣніи мурзы», не отдѣляя такимъ образомъ своей извѣстности отъ величія государыни. Въ «Приношеніи» (посвященіи) ей собранія своихъ сочиненій, онъ называетъ свое бессмертіе отголоскомъ ея славы: «лира моя пребудетъ громкою подъ твоимъ именемъ»:

Ты славою—твоимъ я *эхомъ* буду жить.

Этимъ «эхомъ» по преимуществу служили оды и другія стихотворенія, соотвѣтственно лирическому таланту, которымъ Державинъ былъ одаренъ въ сильной степени. Они могутъ быть названы «поэтическою лѣтописью» царствованія Екатерины. Цѣнность этой лѣтописи, независимо отъ ея внутренняго значенія, возвышается еще тѣмъ обстоятельствомъ, что поэтъ былъ крупнымъ лицомъ въ администраціи и занималъ видное мѣсто въ высшемъ обществѣ: самъ сановникъ, онъ коротко зналъ и многихъ другихъ сановниковъ, состоялъ съ ними въ непосредственныхъ, близкихъ сношеніяхъ, имѣлъ средства наблюдать ихъ жизнь и характеръ, видѣть побужденія, которыми они руководствовались, опѣивать пользу или вредъ ихъ административныхъ распоряженій, достоинства и недостатки ихъ нравственныхъ качествъ. Кромѣ того, по своему горячему темпераменту, который часто не зналъ сдержки, Державинъ не любилъ молчать, а напротивъ любилъ высказывать и высказываться. Все это сообщало его произведеніямъ жизненность, такъ что они даютъ читателю возможность ознакомиться и съ ха-

1) А. Демасьева: Русскіе сатирическіе журналы прошлаго вѣка (1859). О Крыловѣ, какъ сатирикѣ, сказано подробнѣе во II т. И. Р. С.

ракторомъ времени, и съ характеромъ самого автора, почему справедливо объ нихъ сказано, что, изображая факты Екатерининской эпохи, они сами по себѣ составляютъ замѣчательный ея фактъ, который занимаетъ почетное мѣсто не только въ исторіи русской словесности, но и въ исторіи Россіи вообще.

Поэзія Державина, въ своемъ развитіи, представляетъ два направленія: первое идетъ отъ начальныхъ опытовъ въ стихотворствѣ (1770) до оды «Успокоенное невѣріе (1779)», которая служитъ переходомъ ко второму, вполне раскрывшемуся въ одѣ «Фелица» (1782). О томъ и другомъ мы имѣемъ свидѣтельство самого Державина: «Правила поэзіи почерпалъ я изъ сочиненій Тредьяковскаго, а въ выраженіи и слогѣ старался подражать Ломоносову, но такъ какъ не имѣлъ его таланта, то это и не удавалось мнѣ. Я хотѣлъ парить, но не могъ постоянно выдерживать, изящнымъ подборомъ словъ, свойственныхъ одному Ломоносову великолѣпія и пышности рѣчи. Поэтому, съ 1779 года, избралъ я совершенно особый путь, руководствуясь паставленіями Батте и совѣтами друзей моихъ, Львова, Капниста и Хемницера, причемъ наиболѣе подражалъ Горацію». Совѣты такихъ людей, безъ сомнѣнія, могли указать Державину невѣрность избраннаго имъ пути, который неминуемо велъ къ насильственному паренію, ложной величавости: Н. А. Львовъ въ поэзіи выше всего ставилъ простоту и естественность, зналъ цѣну народнаго языка и сказочныхъ преданій; Хемницеръ, какъ въ жизни, такъ и въ стихотворствѣ, отличался простотою; Капнистъ, подобно другимъ писателямъ изъ малоросовъ, менѣе чѣмъ великорусскіе авторы, подчинился искусственнымъ приемамъ и болѣе слѣдовалъ влеченію къ природѣ и дѣйствительной жизни. Гораціанскія оды не остались также безъ вліянія на перемѣну направленія: не зная латинскаго языка, Державинъ знакомился съ ними по нѣмецкимъ переводамъ, или по русскимъ, которые дѣлалъ для него Капнистъ. Лучшее изъ стихотвореній перваго періода—«Пѣснь Петру Великому» (1776), написанная по поводу изготовленія ему памятника Фальконетомъ. Она очень уважалась масонами за выраженныя въ ней похвалы качествамъ преобразователя: человеколюбію, смиренію, христіанскому братству и равенству. На переходѣ отъ перваго періода къ Фелицѣ явились стихотворенія, положившія основаніе громкой извѣстности поэта: «На рожденіе въ свѣрѣхъ порфиророднаго отрока» (Александра I), «На смерть кн. Мещерскаго» (объ 1779 г.), «Къ первому сосѣду» (1780) и «Властителямъ и судьямъ» (1780). Последнее, заимствованное изъ 81-го псалма, особенно выдается

силою стиха, смѣлостью мысли и даже художественной мѣрой, такъ рѣдко встрѣчающейся у Державина.

Сущность втораго направленія опредѣлена самимъ поэтомъ въ стихотвореніи «Памятникъ» (1796), заключающемъ его поэтическую дѣятельность въ царствованіе Екатерины. Здѣсь, подражая одѣ Горация «Къ Мельпоменѣ», онъ объясняетъ свою славу и право на безсмертіе тѣмъ, что первый дерзнулъ

..... въ забавномъ русскомъ слогѣ
О добродѣтеляхъ Фелицы возгласить,
Въ сердечной простотѣ бесѣдовать о Богѣ
И истину царямъ съ улыбкой говорить.

И такъ «забавный русскій слогъ», которымъ поэтъ возглаголъ о дѣлахъ Екатерины, и «улыбка», которою онъ сопровождалъ свои правдивыя наставленія царямъ: вотъ характеристика его поэзіи. Она подтверждается многими другими піесами Державина, равно какъ и присоединенными къ нимъ поясненіями. «Видѣніе Мурзы» говоритъ тоже самое, только замѣняя улыбку шуткой, а истину правдой:

И въ шуткахъ правду возвѣщу;

а въ примѣчаніяхъ къ «Памятнику» прямо указано, что «Державинъ былъ первый изъ русскихъ писателей, сочинявшій лирическія піесы въ забавномъ слогѣ». Это сочетаніе двухъ противоположныхъ тоновъ, возвышеннаго и забавнаго, и составляетъ отличіе его лирики. Мѣстами оно пробивалось въ самыхъ первыхъ его піесахъ, но со всею ясностью обнаружено «Фелицей» (1782), въ которой достоинствамъ царевны противопоставляются недостатки и слабости самого пѣвца, принадлежавшія собственно приближеннымъ императрицы: Потемкину, гр. Орлову, кн. Вяземскому и др. Оригинальность его такъ пріятно поразила современниковъ, что они тотчасъ же ее замѣтили и оцѣнили по достоинству. Вскорѣ за появленіемъ «Фелицы», напечатано было нѣсколько похвальныхъ стихотвореній ея автору. «Письмо къ Ломоносову», Козодавлева, говоря о новомъ парнаасскомъ пути, проложенномъ Державиннымъ, прибавляетъ, что

.....кромѣ пышныхъ одаъ,
Во стихотворствѣ есть «иной хорошій родъ».

Признаки «инаго стихотворнаго рода» указаны его противоположностью «пышнымъ одамъ». «Оды», замѣчаетъ одна статья «Собесѣдника», въ первой книгѣ котораго напечатана «Фелица», «на-

похищенные именами баснословныхъ боговъ, наскучили и служатъ пищею мышамъ и крысамъ; «Фелица» написана совсѣмъ инымъ слогомъ, какъ прежде такого рода стихотворенія писались». Костровъ, въ «Письмѣ въ Державину», привѣтствовалъ поэта за обрѣтеніе имъ непротопаннаго пути, за умѣнье безъ лиры и Пегаса воспѣть Фелицины дѣла, за небывалое искусство въ одно и тоже время «и важно пѣть и играть на гудѣхъ». Онъ признается, что нашъ слухъ почти оглохъ отъ громкихъ тоновъ: пора оставить облака, чтобы, летя съ высоты, не сломать себѣ рукъ и ногъ; пора заводить болѣе скромныя пѣсни, слѣдуя за Державинимъ, «установителемъ новаго вкуса» въ стихахъ.

Какимъ бы именемъ ни означали особенность той стихіи, которою отличается лирика Державина: забавнымъ ли тономъ, простотою ли слога, или шуткой,—фактъ остается неизмѣннымъ при всѣхъ возможныхъ эпитетахъ. Онъ первый низвелъ хвалебныя пѣснопѣнія съ мнимо-олимпійской высоты, показавъ на дѣлѣ, что простота и естественность, которыхъ они чуждались, такъ же приличны одѣ, какъ и всѣмъ прочимъ родамъ и видамъ поэзіи. «Разъясъ анатомическимъ ножомъ слогъ Державина», говоритъ Гоголь, «увидишь необыкновенное соединеніе самыхъ высокихъ словъ съ самыми низкими и простыми, на что бы никто, кромѣ его, не отважился. Кто бы посмѣлъ, кромѣ его, выразиться такъ, какъ выразился онъ въ одномъ мѣстѣ о величественномъ мужѣ, въ ту минуту, когда онъ все уже исполнилъ, что нужно на землѣ:

И смерть, какъ гостью, ожидаетъ,
Крути, задумавшись, усы?

Кто, кромѣ Державина, осмѣлился бы соединить такое дѣло, каково ожиданіе смерти, съ такимъ ничтожнымъ дѣйствіемъ, каково крученіе усовъ?» Въ сочетаніи двухъ тоновъ, величественнаго и забавнаго, послѣдній нерѣдко восходитъ у Державина до строгаго обличенія и грозной кары, что и породило особня, двухстихійныя стихотворенія, которыя могутъ быть названы «одами-сатирами», или «сатирами-одами», смотря потому, на сторонѣ какой стихіи оказывается преимущество. Въ нихъ, съ картиною важныхъ отступленій отъ нравственнаго идеала, представлена картина достоинствъ, въ большей или меньшей мѣрѣ идеальныхъ. Такъ «Вельможа» (1794) изображаетъ черты истинной знатности, противопоставляя ее ложному барству; такъ и въ «Фелицѣ» доблести киргизъ-кайсацкой царевны ярче выступаютъ въ сравненіи съ недостатками окружающихъ ее особъ. Обличенія сатиры умѣряются образами государ-

ственного величія, мужественнаго патріотизма и нравственной стойкости. Передъ лицомъ человѣка, который есть ложь и клевета на человѣчество, возвышается «прямой герой», строгій къ самому себѣ, крѣпкій своею правдой, недвижимый ни страстями, ни несчастіями. Къ этимъ одамъ-сатирамъ, составляющимъ характеристическій отдѣлъ Державинской лирики, относятся, сверхъ «Вельможи», стихотворенія: «На счастье» (1789), «Мой истуканъ» (1794) и нѣкоторыя другія.

Къ стихотвореніямъ втораго періода должны быть отнесены прежде всего тѣ, которыя имѣютъ своимъ предметомъ прославленіе Екатерины II: «Фелица», «Благодарность Фелицѣ» (по полученіи подарка за первую оду), «Видѣніе Мурзы» (гдѣ отражаются обвиненія, взведенныя на автора за ту же оду), «Изображеніе Фелицы». За тѣмъ слѣдуютъ: «Рѣшмыслу» (въ честь Потемкина), «Осень во время осады Очакова», «Памятникъ герою» (кн. Н. В. Репнину), «Ко второму сосѣду», «Водопадъ» (на смерть Потемкина), «Приглашеніе къ обѣду» и др.—Не слѣдуетъ, однакожъ, думать, что Державинъ, ступивъ на новый путь, совершенно простился съ торжественной лирикой: онъ шли своимъ чередомъ, какъ доказываютъ оды «На взятіе Измаила», «На взятіе Варшавы», «На побѣды Суворова въ Италіи», «На переходъ Альпійскихъ горъ». Слова императрицы: «я по сіе время не знала, что *труба* ваша такъ же громка, какъ и *мира* пріятна», сказанныя Державину во дворцѣ, по прочтеніи оды «На взятіе Измаила», даютъ знать, что она и современники ея отличали тѣ произведенія, въ которыхъ являлся забавный, или шуточный слогъ, отъ собственно похвальныхъ стихотвореній, настроенныхъ на высокій тонъ. Въ тѣхъ одахъ, которыя славятъ подвиги Суворова, выказывается вліяніе Оссіановой поэзіи. Такъ картина полуночи на Эвксинскомъ пунктѣ (на взятіе Измаила, 1791) снята съ картинъ, часто встрѣчающихся въ древне-шотландскихъ пѣсняхъ, собранныхъ и изданныхъ Макферсономъ. Первые двѣ строфы оды «На побѣды въ Италіи» (1799) изображаютъ пиршество скальдовъ и туманный ликъ героя, внимающаго ихъ пѣснямъ. Въ одѣ «На переходъ Альпійскихъ горъ» (1799) прямо говорится объ Оссіанѣ, «пѣвцѣ тумановъ и морей», котораго любилъ читать Суворовъ въ посвященномъ ему переводѣ Кострова ('). Вѣроятно, тотъ же самый переводъ познакомилъ съ образами сѣверной поэзіи и Державина, хотя для знакомства могли служить и другіе, прежде изданные

¹⁾ Оссіанъ, снѣгъ Фингаловъ, бардъ третьяго вѣка (1792).

источники, напริมѣръ «Поэмы древнихъ бардовъ, въ переводѣ А. Дмитріева (1788). Прибавимъ, что «Разсужденіе Державина о лирической поэзіи» даетъ краткую характеристику пѣсенъ, приписанныхъ барду третьяго вѣка. Излагая ея свойства у разныхъ народовъ, авторъ говоритъ: «скальдъ шкотовъ (шотландцевъ) видитъ въ облакахъ летающія тѣни своихъ предковъ, мечи на ихъ бедрахъ изъ сѣвернаго сіянія, мрачную, безмолвную природу и кровавыя брани.»

Кромѣ «возглашенія о добродѣтеляхъ Фелицы» и «шутливаго высказыванія правды царямъ», «Памятникъ» ставитъ Державину въ заслугу его «бесѣды о Богѣ». Здѣсь разумѣется его религиозная поэзія, или духовныя стихотворенія. Объ одномъ изъ нихъ (Властителямъ и судьямъ) уже было сказано. Другое—«Богъ» (1784)—наиболѣе возбудило похвалъ и всегда почиталось образцовымъ. Этой одѣ и одѣ «Фелица» поэтъ одолженъ упоченіемъ своей литературной славы: его нерѣдко величали пѣвцомъ Фелицы или пѣвцомъ Бога. Въ послѣднемъ пѣснопѣніи онъ изображаетъ вѣчность, безконечность, всемогущество и другія свойства Творца, входящія въ катехизическое опредѣленіе Непостижимаго, противопоставляя имъ ничтожество человѣка—существа скоропреходящаго, ограниченнаго, слабаго, которое лишь потому не есть ничтожество, что въ немъ отражается образъ и подобіе его Создателя. Величіе образовъ и сила поэтическаго взмаха справедливо отвели этому гимну почетнѣйшее мѣсто въ отдѣлѣ духовной лирики. Къ этому же отдѣлу принадлежать тѣ пѣсы, въ которыхъ выраженъ религиозный скептицизмъ, навѣянный вліяніемъ французской литературы XVIII в., но недолго владѣвшій умомъ поэта. Таковы: «Успокоенное невѣріе», «Истина», «Безсмертіе души», «Правосудіе», «На безбожниковъ», «Громъ», «Тлѣніе и Нетлѣніе». Въ первой пѣсѣ говорится, что человѣческая жизнь невыносима, если она такова, какъ представляютъ ее атеисты. Поэтъ хочетъ внимать не имъ, а голосу Творца, повелѣвающаго надѣяться, вѣрить и быть счастливымъ. Доказательствамъ безсмертія и опроверженію противной тому мысли посвящено «Безсмертіе души» (нач. 1785, кон. 1796). «Живъ Богъ—жива душа моя!» увѣренно восклицаетъ поэтъ. Можетъ ли, спрашиваетъ онъ, умереть духъ—тонкій, мудрый, сильный, сущій въ единый мигъ и тамъ и здѣсь, неосязаемый, незримый, въ желаніѣ, памяти и умѣ содержимый непостижимо, живущій внутри и внѣ человѣка? Рядъ вопросовъ, наполняющихъ нѣсколько строфъ этого духовнаго стихотворенія, имѣетъ сходство съ рѣчью Братановскаго на погребеніе Бецкаго (1795). Можетъ статься, Державинъ и подражалъ проповѣднику, который

въ то время славился своимъ краснорѣчіемъ. Подражательность еще болѣе замѣтна въ «Тлѣніи и Нетлѣніи» (1813),—піесѣ, служащей какъ бы дополненіемъ оды «На смерть Кутузова» (1813). Державинъ употребляетъ тотъ же оборотъ, которымъ пользовался упомянутый духовный ораторъ: онъ не можетъ помирить заслугъ героя съ мыслию о тлѣніи, какъ Братановскій изъ необходимости увѣнчать подвиги добродѣтели вывелъ необходимость нетлѣнія, или безсмертія. Державинъ сыплетъ укоры вольнодумцамъ, не признающимъ надъ собою всевышней власти, думающимъ, что все творить слѣпой случай (На безбожниковъ 1804 и Громъ 1807): имъ противопоставляется мужъ вѣрующій, твердый надеждою на Бога и потому не боящійся грозныхъ временъ. При всемъ религіозномъ настроеніи, Державинъ какъ бы по неволѣ поддавался иногда скептицизму. Духъ сомнѣнія кроется въ нѣкоторыхъ стихахъ оды-элегіи «На смерть кн. Мещерскаго». Онъ слышенъ въ восклицаніи: «о горе намъ, рожденнымъ въ свѣтъ!» Онъ знаетъ, гдѣ персть умершаго, и не знаетъ, гдѣ его душа. Онъ же заставилъ Державина съ такимъ сожалѣніемъ смотрѣть на судьбу человѣка, по поводу смерти Кутузова:

Вотъ геній блестящій вѣкъ!
Гдѣ умъ? гдѣ духъ? гдѣ блескъ и сила?
И что такое человѣкъ,
Когда вся цѣль его—могила,
А сущность—горсть одна земли!

А съ другой стороны, религіозное настроеніе, подъ конецъ жизни Державина, переходитъ въ мистицизмъ. Его одражлѣвшая поэзія занималась «дивами, непонятными мыслямъ», видѣла повсюду знаменательные символы, имена и числа, и толковала ихъ примѣнительно къ современнымъ событіямъ. Первая половина «Диропическаго гимна на прогнаніе Французовъ изъ отечества» (1812) заключаетъ въ себѣ «тайнственный глаголъ» о Наполеонѣ и Александрѣ. Что такое Наполеонъ? звѣрь апокалипсическій, седьмглавый Люциферъ, увѣнчанный десятью рогами: въ его имени содержится число звѣрино—666; семь главъ означаютъ семь королей, имъ поставленныхъ, а десять роговъ—десять подвластныхъ ему народовъ. Агнець бѣлорунный представляетъ Александра Благословеннаго, вступившаго на престолъ въ мартѣ мѣсяцѣ, когда солнце находится въ знакѣ овна. Слова пророка Даніила: «возстанетъ Михаилъ, князь великій», отнесены къ Кутузову. Стихотвореніе «Христось» (1814), испещренное ссылками на разные мѣста Св. Писанія и почему-то высоко-цѣнившееся польскимъ

потому Мининичежь, может быть названо теологическим трактатомъ въ стихахъ, а не свободнымъ актомъ творчества!

Тѣ стихотворенія Державина, въ которыхъ преобладаетъ моральный элементъ, дидактизмъ, получили названіе нравственно-философическихъ одъ и считались лучшими его одами, какъ наиболѣе свойственными его таланту и потому самыми характеристичными. Изъ одного примѣчанія къ одѣ: «На умеренность» (1792), видно, что лирикъ нашъ вообще любитъ соединять поэзію съ нравоученіемъ. «Эпистола И. И. Шувалову» (1777) прямо говоритъ о пользѣ наставленій въ стихотворствѣ:

Согласіе стиховъ безъ истины — Пирецъ;
Божественныя слова на похвалу людскую;
Вся масленица, а не есть вредный снѣгъ.

Въ Запискахъ своихъ Державинъ замѣчаетъ, что духъ его всегда былъ склоненъ къ морали. Действительно, мораль видна въ самыхъ первыхъ его стихотвореніяхъ (Всемирнѣ, 1770. и Нинѣ, 1770). Поэзія, вышній даръ боговъ (сказано въ «Видѣніи Мурзы») должна быть обращена «не къ тѣнной похвалѣ человѣковъ, а къ поученію ихъ путей». «Разсужденіе о лирической поэзіи» развиваетъ мысль подобно: «поэзія, если языкъ борется, ищетъ истины, лирикъ — герольдъ неба, органъ истины: Величіе, блескъ и слава сего міра проходятъ; но правда пребываетъ и пребудетъ во вѣки. Посему-то, думаю я, болѣе, а не по чему другому, дошли до насъ оды Пиндара и Горация, что и въ первомъ блещутъ искры богопочтенія и наставленія царямъ, а во второмъ, при сладости жизни, правила любомудрія»: въ разсужденіи чего нравоученіе, кратко, истинно и хорошо сказанное, не только не портитъ высокихъ лирическихъ мыслей, но даже ихъ и украшаетъ». Эти правила заставляютъ Державина искать счастья въ себѣ самомъ, а не въ коловратномъ свѣтѣ, цѣнить болѣе всего міръ совѣсти и тишину доброй жизни: «Блаженъ, кто доволенъ

Въ семъ свѣтѣ жребіемъ своимъ,
Обилень, здравъ, покоенъ, воленъ
И счастливъ лишь собой самимъ;
Кто сердце чисто, совѣсть праву
И твердый правъ хранить въ свой вѣкъ,
И всю свою въ томъ ставитъ славу,
Что онъ лишь добрый человѣкъ.

Дѣла и страсти прошлыхъ вѣковъ, изображаемыя исторіею, дѣла и страсти настоящаго времени, извѣданныя поэтомъ въ жизни

придворной и столичной, даютъ ему сильнѣе чувствовать блаженство того, кто, «почивъ въ тихомъ заливѣ совѣсти,

Ума на акорѣ глубокомъ
Стагъ въ челнѣ и спокойнымъ окомъ
На суету мірскую зрѣть».

«Жизнь Званская» (1807), изображая идеалъ счастья, всегда посившійся въ душѣ поэта, проникнута элегическимъ чувствомъ, свойственнымъ опытному мужу, который, окончивъ службу и окончивая поэтическое поприще, удалился въ уединеніе:

«Все суета суетъ!» я, вздыхая, мню;
Но, бросивъ взоръ на блескъ свѣтла полуденна:
«О, коль прекрасенъ міръ! Чтожъ духъ мой бремени?
Творцемъ содержится вселенна....

Да будетъ на землѣ и въ небесахъ Его
Единого во всемъ вселѣйствующа воля!
Онъ видитъ глубину всю сердца моего,
И стронется моя Имъ доля....

Онъ корни помысловъ, Онъ зрѣть полетъ всѣхъ мечтъ
И поглумляется безумству челоуковъ;
Тѣхъ освѣщаетъ мракъ, тѣхъ помираетъ свѣтъ,
И днешнихъ, и градушихъ вѣковъ».

Къ дидактическимъ піесамъ, кромѣ того, относятся посланія къ Капнисту и Храповицкому, Похвала сельской жизни и др.

Пріятности жизни и правила любомудрія, которыми, по словамъ Державина, блещутъ Гораціевы оды, были любимыми темами и нашего поэта, почему нравственно-философическія его стихотворенія назывались также «гораціанскими». Даже сочетаніе двухъ тоновъ, важнаго и шутливаго, Мерзляковъ почиталъ свойствомъ заимствованнымъ Державиннымъ у римскаго сатирика. Державинъ часто подражалъ ему или переводилъ изъ него (Памятникъ, Капнисту, Похвала сельской жизни, Лебедь, Пиррръ, Весна и многія другія піесы). Въ посланіи «Рѣшему» (1783) онъ называетъ свою музу «подругою Флакка». «Средь музъ съ Гораціемъ пою», говоритъ онъ въ одѣ: «На умѣренность» (1792). Таже ода прославляетъ завидное состояніе челоука, выбравшаго златую средину, не восхищаемаго мечтаніемъ благъ и не ужасаемаго тмоу бѣдъ. Средняя стезя—самый надежный путь, средственная доля—самый счастливый удѣлъ. Устроить жизнь къ покою, не гоняясь за преходящимъ или ложнымъ счастіемъ, вкушать только тѣ удовольствія, которыя не ведутъ за собою раскаянья: вотъ постоян-

и не совѣтъ его гораціанской философіи. Эта философія вовсе не пасмурна: она любитъ веселье и даже не прочь отъ эпикуреизма. «Часы веселья—братки, а минута скуки—дѣлный вѣкъ» (Стейнбоку, 1806): что же изъ этого слѣдуетъ? надобно умножить число веселыхъ часовъ и уменьшить число скучныхъ минутъ; надобно, если есть возможность, непрерывно веселиться. Въ посланіи «Къ первому сосѣду» (1780), поэтъ приглашаетъ его пить, ѣсть и веселиться,

Доколь текутъ часы золотые
И не присѣли скорби злыя....
На свѣтъ жить намъ время срочно.

«Живи и жить давай другимъ»: такъ начинается ода на рожденіе царицы Гремиславы, т. е. Екатерины (1796). Она посвящена Л. А. Нарышкину, извѣстному остроумцу и весельчаку. Державинъ видитъ въ немъ истинно-счастливаго человѣка:

Что нужды мнѣ, кто, все зефиромъ
Съ цвѣтка лишь на цвѣтокъ летя,
Доволенъ былъ собою, міромъ,
Шутя, рѣзвился, какъ дитя?
Но если онъ съ столь легкимъ правомъ
Всегда былъ добрый человѣкъ,
Всегда жилъ весело, пріятно
И не гонялся за мечтой;
Жаль, о тѣхъ, кто жилъ развратно,
Плсать и самъ подъ токъ чужой:
Хвалю тебя,—ты въ смыслѣ здравомъ
Пресчастливо провелъ свой вѣкъ.

По отношенію къ эпикурейскому взгляду на жизнь замѣчательно стихотвореніе: «Аристиппова баня» (1811). Здѣсь изложено моральное ученіе Сократова ученика, Аристиппа, котораго главное правило состояло въ томъ, что человѣкъ долженъ владѣть удовольствіями, но что удовольствія не должны владѣть имъ. Кто, услаждая чувства, услаждаетъ съ ними и духъ, тотъ истинно мудръ и счастливъ. Пользованіе благами природы законно; незаконенъ только излишекъ пользованія:

Жизнь мудраго—жизнь наслажденья
Всѣмъ тѣмъ, природа что даетъ.
Не спать въ свой вѣкъ,—и съ попеченья
Не чахнуть, коль богатства нѣтъ;
Знать малымъ пробавляться скромно;
Жить съ незаконными законно;

Читъ доблестъ, ае любить пороки;
Со вѣми и всегда ужиться,
Но только съ добрыми дружиться:
Вотъ въ чемъ былъ Аристипповъ толкъ!

Изъ той же мысли, что «человѣкъ рождается для жизни и что веселье—его стихія», вытекло сочувствіе Державина въ Анакреону, пѣвцу земныхъ радостей. Другимъ источникомъ служила «влюбчивость» поэта, почему большая часть стихотвореній этого рода—эротическія. Название «Анакреонтическія пѣсни», вышедшія отдѣльной книжкой (1804)—не совсемъ точное, такъ какъ между ними есть подражанія Гомеру (Пѣснь пѣсовой), Сафо, Платону, Діонисію Сиракузскому, Горацию, Петраркѣ. Все, что выходило изъ героическаго, нравственно-философическаго или сатирическаго тона, что выражало безпечное воззрѣніе на міръ и похвалу удовольствій, или что по формѣ своей было небольшою, легкою пѣсней, то Державинъ относилъ къ «золотымъ пѣснямъ Леліа» (такъ называлъ онъ подражанія Анакреону). Въ числѣ ихъ помѣщена и ода «На рожденіе въ сѣверѣ порфиророднаго отрока». Ясно, что, кромѣ «приличности содержанія», которымъ служить особое понятіе о жизни, авторъ принималъ въ расчетъ и внѣшнія отличія стихотвореній, особенно «легкій слогъ». Не зная греческаго языка, онъ пользовался нѣмецкими переложеніями Анакреона, а также и русскимъ его переводомъ Н. Львова (1794). Со времени изданія этого перевода, начинаются собственно анакреонтическія пѣсни Державина. Число ихъ увеличивается въ 1797 г., когда на престолѣ уже не было Фелицы, когда «Задунайскій кончилъ свой вѣкъ, а Суворовъ скрылся тьмою (т. е. жилъ въ деревнѣ), какъ неславный человѣкъ». Переладимъ же струны, говоритъ поэтъ; откажемся пѣть героевъ и начнемъ пѣть любовь (Къ лирѣ, 1797). Къ затишью героическихъ дѣлъ присоединились непріятности по службѣ. Если міръ не жалуетъ тѣхъ, кто идетъ прямою стезей, то нѣтъ надобности предаваться суетѣ и нести бремя должностей (Къ самому себѣ, 1798):

Музамъ, женщинамъ любовенъ
Можетъ пылкій богъ Эротъ.
Стану нынѣ съ нимъ водиться,
Сладко есть, и пить, и спать:
Лучше, лучше мнѣ лѣниться,
Чѣмъ алодѣвъ наживать.

И вотъ Державинъ идетъ по слѣдамъ «тінскаго пѣвца»: онъ хочетъ забавлять свѣтъ и мѣнять лиру на багалайку; Пиндомъ

его будетъ Званка (Тишина, 1801). Чѣмъ же, «тиисскій пѣвецъ» правился нашему поэту? Тѣмъ, что онъ чичамъ и богатству предпочиталъ свободу, покой и любовь. «Вѣнецъ бессмертія» (1802), приобретенный Анакреономъ, увѣнчаетъ и его подражателя: онъ соплетется русскими красавицами, которыя будутъ слушать пѣсни любви у камелька, въ морозъ. На другой годъ по выходѣ изъ службы (1803) Державинъ надаетъ анакреонтическія стихотворенія. Въ предисловіи къ нимъ, между прочимъ, сказано: «Въ Аѳинахъ запрещалось упражняться въ издѣвочныхъ сочиненіяхъ только ареопагитами; но какъ я уже свободенъ отъ должности, то и осмѣлился предать ихъ тисненію». Здѣсь же объяснены и другія побужденія, заставившія русскаго стихотворца подражать Анакреону, независимо отъ сочувствія къ тому взгляду на жизнь, выраженіемъ котораго служили пѣсни греческаго поэта. «По любви къ отечественному слову», говоритъ Державинъ, «желалъ я показать его изобиліе, гибкость, легкость и вообще способность къ выраженію самыхъ нѣжнѣйшихъ чувствованій, законовъ въ другихъ языкахъ едва ли находятся. Доказательствомъ его изобилія и мягкости служить нѣсколько пѣсень, въ которыхъ буквы *р* совсѣмъ не употреблено» (Анакреонъ въ собраніи, Желаніе и др.). Но не смотря на достоинства нѣкоторыхъ отдѣльных «пѣсень Деля», онѣ не могли выдти удовлетворительными, по отсутствію художественной граціи, которая необходима для стихотвореній этого рода и до которой талантъ Державина, при всей своей силѣ, никогда не могъ возвыситься.

Однимъ изъ главныхъ достоинствъ Державинской лиры служить ея стремленіе къ народности, которая выражается и во взглядѣ на предметы, и въ выборѣ коренныхъ русскихъ оборотовъ и реченій. Не только шуточные стихотворенія, но и «прямые» однѣ представляютъ образцы національнаго элемента, допуская простымъ разговорнымъ словамъ и пословицамъ стоять подлѣ возвышенныхъ словъ и книжныхъ фразъ, на что пѣтика налагала строгое *veto*. Примѣровъ тому очень много. «Царь-Дѣвица» по содержанію и выраженію близко подходитъ къ памятникамъ народной поэзіи. Въ сатирѣ «На счастье» также чисто-русскій складъ: счастье «машетъ волшебною ширинкой», «въ издѣвку» обращаетъ свой взоръ на человѣка, «катаетъ кубаремъ» весь міръ. Цѣлыя строфы наполнены образами, употребительными въ простолудѣ, напр.:

Стамбулу бороду ерошишь,
На Таврѣ ѣдешь чехардой,
Задать Стокгольму перцу хочешь,
Берлину фабришь ты усы,
.....

А Тензу въ фижмы наряжаешь,
Хохолъ Варшавѣ раздуваешь,
Коптишь голландцамъ колбасы.

Ни въ сказкахъ складно рассказать,
Ни написать перомъ красиво....

..... Вельможи,
И такъ и сякъ нахмура рожи,
Тузять инова инова....

И громъ за тридцать земель
Несетъ на луно государство...

Бывало, подъ чужимъ нарядомъ,
Съ красоткой чернобровой рядомъ....

Безъ латъ я горе-богатырь....

Бояре понадули пузы....

Слети ко мнѣ, мое драгое,
Серебряное, золотое...

Народный элементъ встрѣчается во многихъ другихъ піесахъ: «Крезовъ Эроть», «Бой», «Къ Эвтерпѣ», «Кружка», «Хоръ сельскихъ дѣвушекъ», «Истуканъ», «Вельможа», и пр. Въ примѣчаніи къ «Волхву Злогору» сказано, что это стихотвореніе взято изъ новгородской мѣлологіи. Первая строфа «Зимы» есть подражаніе русской пѣснѣ, по складу стиховъ и отдѣльнымъ выраженіямъ. «Прологъ на рожденіе въ сѣверѣ порфиророднаго отрока» (1797) почерпнутъ «изъ древняго варяго-русскаго баснословія; въ театральномъ представленіи «Добрыня» (соч. 1804, нап. 1808) поэтъ воспользовался многими старинными сказочными преданіями. Въ то время, какъ стихотворцы обыкли изображать знаменитыхъ соотечественниковъ по образу древнихъ божествъ и героевъ, Державинъ, для прославленія подвиговъ Суворова, обратился къ народнымъ былинамъ. Русскій полководецъ является у него въ видѣ сказочнаго богатыря, надѣленнаго сверхъестественною силою: тѣнь отъ его чела, съ посвиста пыль, впереди его—молніи бѣгутъ отъ взоровъ, позади—дубы ложатся грядою. Съ точки зрѣнія народнаго эпоса, нѣтъ гипербола въ извѣстныхъ стихахъ:

Ступить на горы—горы трещать;
Лижетъ на воды—воды кипятъ;
Граду коснется—градъ упадетъ;
Башни рукою за облакъ бросаетъ.

По отношенію къ народности замѣчательно посланіе «Атаману и войску донскому» (1807), гдѣ, между прочимъ, видно и вліяніе Слова о полку Игоревомъ. Обращаясь къ Платову, поэтъ изображаетъ быстроту и ловкость казаковъ:

Въ травѣ идешь—съ травою ровень;
Въ лѣсу—и ровень лѣсъ съ главой;
На конь вскокнешь—конь тихъ, не нравень,
Но вихремъ мчится подъ тобой;
По камню ль черну амѣмъ чернымъ
Ползешь ты въ ночь—и слѣду нѣтъ;
По влагѣ ль бѣлой гусемъ бѣлымъ
Плывешь ты въ день—лишь струйка слѣдъ;
Орломъ ли въ мглѣ паришь сгущенной—
Стрѣлу съчешь ей въ слѣдъ пущенной,
И, броса петли округъ шей,
Фазановъ удишь какъ ершей.

Чтожъ сталъ?—Борза ль коня не стало?
Возьми коверъ свой самолетъ.
Ружейнаго ль снаряду мало?
Махни ширинкой—лѣсъ падеть, и пр.

И въ анакреонтическія пѣснь Державинъ вводилъ славянскія божества, вмѣсто греческихъ и римскихъ, для показанія, что можемъ и своею мифологіею украшать нашу поэзію: Лель (богъ любви), Зимстерла (весна), Зинчъ (май), Лада (богиня красоты), Усладъ (богъ роскоши) являются у него то какъ дѣйствительныя существа, то какъ риторическія прикрасы.

По всѣмъ стихотвореніямъ Державина проходитъ одна мысль, которая сообщаетъ имъ особую цѣнность, независимо отъ ихъ историческаго значенія. Эта мысль—достоинство человѣка, какъ человѣка, въ его отрѣшеніи отъ всѣхъ иныхъ, временныхъ и мѣстныхъ, достоинствъ. Державинъ опредѣляетъ истинную цѣну каждаго лица не тѣми званіями, въ которыхъ оно находилось по волѣ судьбы, а единственно тѣмъ, сохранило ли оно на всякомъ мѣстѣ и во всякое время священное званіе человѣка, неподвластное никакимъ превратностямъ судьбы. Суета суета! часто восклицаетъ стихотворецъ: вся наша жизнь—пустое мечтаніе; главное дѣло—быть человѣкомъ, а все прочее тлѣнь и прахъ. Восклицаніе естественное въ устахъ того, кто и вчужѣ видѣлъ и на себѣ испыталъ непрочность земныхъ благъ вообще, общественныхъ положеній въ частности. Передъ его глазами непрерывно вертѣлось колесо фортуны, представляла тщету величія и славы. Придворная жизнь, блескъ и пышность вельможъ, побѣдныя торжества и роскошныя

шири, въ-требованія политическія и общественныя устремленія его мысль отъ шума и грома къ тишинѣ, отъ превратности людской къ тому, что въ людяхъ должно оставаться несокрушимымъ и неприкосновеннымъ. Съ особенною силою возникаетъ эта мысль при какихъ-нибудь разительныхъ ударахъ судьбы: при опалѣ случайнаго лица, при разгромѣ обширныхъ замисловъ, при смерти вельможи, который сарданапаловски наслаждался жизнью, но и кончилъ ее гибельно, какъ Сарданапалъ. Тогда-то, Державинъ ищетъ притона и спасенія «въ заливѣ совѣсти», которая должна сказать ему, не потемнѣлъ ли въ немъ человекъ. Уваженіемъ къ сану человека проникнуты всѣ его оды. Привѣтствуя появленіе въ свѣтъ «пурпуророднаго отрока», онъ даетъ ему совѣтъ «быть на тронѣ человѣкомъ»; изображая Фелицу, заставляетъ ее сказать о себѣ: «я человѣкъ». Чувство человѣчности, сознаніе достоинства человека—преобладающій мотивъ поэзіи Державина.

Въ чемъ же заключается это главное достоинство? Гимнъ «истинѣ» (1778) доказываетъ бытіе Бога міромъ физическимъ и духовнымъ существомъ нашимъ. Богъ въ истинѣ, говоритъ Державинъ; истина же является и внутри и внѣ человека: внутри какъ совѣсть, внѣ какъ правда. Отъ истины рождается добродѣтель; безъ правды рушатся царства. Слѣдов. истина, или правда (которыя иногда различаются поэтомъ, а иногда сливаются въ одномъ понятіи), и ея плодъ—добродѣтель—составляютъ главное достоинство человека, который есть образъ и подобіе Бога. Потому-то слова гени: «будь на тронѣ человѣкъ!» произнесены имъ въ то время, какъ онъ зараждалъ въ царственномъ отрогѣ «добродѣтель». Потому-то и главная обязанность каждаго человека—истина, правда. Поэтъ въ особенности долженъ быть глашатаемъ правды (Капнисту, 1797), «ея поборникомъ и другомъ, твердымъ щитомъ и сподвижникомъ». Державинъ такъ и понималъ свое призваніе. Какъ поэтъ, онъ съ удивительною силой говорилъ царямъ истину, въ шуткахъ возвышалъ правду, возносилъ добродѣтели Фелицъ. Такимъ образомъ справедливо сужденіе профессора Шевырева что въ поэзіи Державина выражается «идея правды». Гимномъ правды (или правосудію), «безъ которой рушатся царства, служить «Введеніе Соломона въ судилище» (1798), сочиненное по случаю введенія императоромъ Павломъ великаго князя Александра въ присутствіе сената. И всѣ другія сочиненія Державина проникнуты этою идеей; онъ постоянно гнулъ одному и тому же: что лишь истина даетъ вѣдн; основаніе приведеннаго (человѣка, шедшаго стезею правды) свѣтъ, и лишь въ этомъ вѣдн міра тогда велики, когда любите правду, и она тогда велика, на сколько любите правду. Въ «Водопадѣ»

(1794) и «Памятникъ герою» (1791) начертать идеальнаго правдиваго, честнаго мужа, рачителя общей пользы, котораго обелискъ грѣшекъ добродѣтели, котораго сокровища—спокойный духъ и чистая совѣсть, для котораго долгъ—царь, а правда—богъ. Поэтъ и самъ стремится достигнуть идеальнаго совершенства (Мой истуканъ, 1794):

Хочу я человекомъ быть,
Котораго страстей отрава
Безвредна сердце развратить;
Кого ни мада не ослѣпляетъ,
Ни санъ, ни месть, ни блескъ порфирь;
Кого лишь правда научаетъ,
Любя себя, любить весь міръ
Любовью мудрой, просвѣщенной,
По добродѣтели священной.

Сила лирическаго таланта Державина не подлежитъ сомнѣнію. Онъ одаренъ былъ могучей фантазіей, и потому въ его произведеніяхъ русское стихотворство впервые стало поэзіей. Хотя онъ и ставилъ административную свою дѣятельность на первомъ планѣ, говоря, что пишетъ только въ свободное отъ служебныхъ занятій время, но въ сущности выходило на оборотъ: истиннымъ его призваніемъ и настоящею службой было именно писаніе стиховъ. Такъ онъ и самъ смотрѣлъ на себя, такъ понимали его и другіе. Онъ самъ высказалъ, чѣмъ воздвигъ себя «памятникъ», въ чемъ его право на безсмертіе; стихотвореніе: «На смерть графини Румянцевой», сочиненное подъ впечатлѣніемъ непріятностей съ тамбовскимъ намѣстникомъ гр. Гудовичемъ, оканчивается слѣдующими строками:

Меня ничто вредить не можетъ:
Я злобу твердостью вотру;
Враговъ моихъ червь кости сглохнетъ,
А я пою—и не умираю.

Природный зовъ заставлялъ его посвящать свое время любимому занятію и въ тѣсномъ казарменномъ помѣщеніи, и въ походной жизни, и въ канцелярскомъ быту; не измѣнять поэзіи, не смотря на преслѣдованія его начальника кн. Вяземскаго, на брань и насмѣшки чиновнаго люда. Слова Екатерины: «пусть пишетъ стихи», сказанныя Храповицкому о Державинѣ, послѣ того какъ она осталась имъ недовольна на аудіенціи, даютъ знать, что она цѣнила его болѣе, какъ автора Фелицы и другихъ произведеній, чѣмъ какъ администратора. Даже нѣкоторые изъ близкихъ къ нему

людей отзывались о немъ, какъ о выходящемъ изъ ряду стихотворѣ, но плохомъ губернаторѣ.

Но самородный талантъ Державина не достигъ той степени поэтическаго творчества, на которой оно производитъ художественныя творенія. Причинъ тому надобно искать прежде всего въ самомъ поэтѣ—въ его темпераментѣ, въ качествѣ его духовныхъ способностей и въ образовательномъ ценсѣ, а потомъ уже въ дѣйствіи среды, въ которой онъ вращался, и въ общемъ состояніи современной ему эпохи. По собственному сознанію, онъ былъ «горячъ», и потому легко поддавался страстнымъ порывамъ своего пылкого нрава какъ въ жизни, такъ и въ поэзіи. Съ этой стороны онъ не похожъ на Пушкина, который въ свѣтской жизни нерѣдко выступалъ изъ предѣловъ благоразумія, но въ моменты вдохновенія становился совершенно инымъ человекомъ, такъ что его созданія отличаются художественной мѣрой. Державинъ, напротивъ, оставался вѣрнѣе самому себѣ на всѣхъ путяхъ своей дѣятельности. «Мудрость заключается въ срединѣ крайностей», писалъ онъ въ одномъ письмѣ къ Дмитріеву; но самъ онъ не приобрѣлъ такой мудрости даже въ поздніе годы: онъ часто впадалъ въ крайности, чѣмъ и объясняется главный недостатокъ его поэзіи — гиперболизмъ. Мы видѣли, что нѣкоторые гиперболическія представленія могутъ быть оправданы подражаніемъ народному эпосу, но большинство другихъ ничѣмъ инымъ не объясняется, кромѣ природной наклонности поэта къ преувеличеніямъ; примѣровъ тому не мало, особенно въ одѣ на взятіе Варшавы, начиная съ самыхъ первыхъ строкъ.

Пошелъ—и гдѣ тристаты злобы?
Къ чему коснулся—все сразилъ;
Поля и грады стали гробы;
Шагнулъ—и царство покорилъ.

Духовныя способности Державина не находились въ равновѣсіи. Его умъ былъ ниже воображенія, чѣму и слѣдуетъ главнѣйшимъ образомъ приписать отсутствіе художественной мѣры. Стихотворенія его болѣею частію говорятъ болѣе того, сколько было бы нужно сказать для выраженія мысли и потому страдаютъ длиннотою. Иногда піеса двоятся по двойственности сюжета: такъ въ «Водопадѣ» (на смерть Потемкина) прославляются и Потемкинъ и Румянцевъ. Иногда поэтическіе образы приводятся въ излишествѣ, недостаточно обдуманые, и подъ частъ не изящные, за неимѣніемъ у автора вполне изощреннаго эстетическаго вкуса. Не только въ поэтическихъ представленіяхъ, но и въ отдѣльныхъ

стихахъ и выраженіяхъ замѣчается нерѣдко отсутствіе художественной обработки, могущей явиться лишь при дружномъ союзѣ воображенія съ разумомъ. Самыя лучшія произведенія Державина не чужды указанныхъ недостатковъ. Въ одѣ «На смерть кн. Мещерскаго» нельзя похвалить такихъ стиховъ, какъ

*Зіяетъ время славу стертъ...
Глотаетъ царства ачна смерть...,*

потому что *зіяніе* (раскрытіе рта, зѣва)—непригодное средство для *стиранія* чего нибудь, особенно славы, а *глотаніе царствъ*—непріятная гипербола. Другіе стихи той же піесы:

*И зѣзды ею (смертью) сокрушася,
И солнцы ею потушася,
И всѣмъ мірамъ она грозитъ,*

показываютъ, что поэтъ считалъ *зѣзды, солнцы и міры* тремя различными предметами, тогда какъ они суть одно и тоже, — погрѣшность, происшедшая, вѣроятно, отъ незнакомства съ космографіей. Піеса: «Потопленіе» начинается противорѣчіемъ:

*Изъ-за облакъ мѣсяць красный
Всталъ и смотрится въ рты,
Сквозь туманъ и мракъ ужасный
Путникъ ѣдетъ въ челнокѣ.*

Красный мѣсяць, отражающійся въ водѣ, трудно согласить съ *ужаснымъ мракомъ*. Странно представить себѣ и «Сибирь, *наклонившуюся надъ столами*», и океаны, *трясущіеся челами*, и другія подобныя изображенія въ Описаніи Потемкинскаго праздника:

*Богатая Сибирь, наклоншись надъ столами,
Разсыпала по нимъ и злато и серебро;
Восточный, западный—сѣдые океаны—
Трясая челами, держали рѣдкихъ рыбъ, и т. д.*

Есть неточнымъ выраженіемъ, совмѣщающимъ несовмѣстимое, и потому мѣшающимъ ясности пониманія или созерцанія, принадлежать и слѣдующіе стихи:

*Да дѣлъ твоихъ въ потомствѣхъ зюжи,
Какъ въ небѣ звѣзды, возблестятъ....*

Или:

Шепчетъ въ-слухъ страннику, въ дали какъ тайный громъ.

Короче: въ каждомъ произведеніи Державина видишь превосходныя

частности, чувствуешь несомненное дарование поэта и силу его лирического взмаха, но вместе съ тѣмъ видишь, какъ искреннее, могучее настроеніе духа ниспадаетъ потомъ въ искусственный, риторическій пафосъ, или замѣняется дидактическимъ элементомъ. Введеніе послѣдняго въ поэзію Державина объясняется его любовью къ гораціанскимъ одамъ и кромѣ того взглядомъ на лирику въ частности и на поэзію вообще. Поэзія, по его ученію, какъ вышній даръ боговъ, должна быть обращена къ поученію людей; лирикъ есть герольдъ неба, органъ истины. При такомъ взглядѣ подъ истинной разумѣлась, конечно, не художественная правда въ выраженіи чувства, а правила любомудрія, нравоученіе, которое онъ считалъ наилучшею приправою стихотворства. Короче, цѣльновыработанное, художественное представленіе идеи рѣдко встрѣтишь въ произведеніяхъ Державина; къ наиболее отдаленнымъ или удавшимся относятся: «Властителямъ и судіямъ», «На кончину графа Орлова», «Памятникъ», «Богъ». Да и нельзя было требовать совершенства формы въ то время, когда еще не различались не только поэтическое отъ художественно-поэтического, но и поэзія отъ простаго стихотворства. Батте, съ своимъ принципомъ искусства, какъ механическаго подражанія природѣ, скорѣе могъ вредить непосредственному таланту, чѣмъ принести ему пользу. Сверхъ того, образованіе нашего лирика было поверхностное. Въ гимназій, по его собственнымъ словамъ, онъ отличался живостью и воображеніемъ, а не точностью и усидчивостью. Единственно пригодное знаніе, внесенное имъ изъ школы, состояло въ знакомствѣ съ нѣмецкимъ языкомъ. Хотя Державинъ и старался въ послѣдствіи вознаградить недостатки своего ученія, но эти старанія ограничивались чтеніемъ книгъ, безъ разбора, такъ что, безъ нарушенія истины, можно сказать, что онъ навсегда остался самоучкой.

Кромѣ литературнаго недостатка, въ произведеніяхъ Державина есть нравственный изъянъ, какъ результатъ невѣрнаго понятія о нравственности; причины же невѣрности заключались прежде всего въ скудости образованія, потомъ во влияніи среды, окружавшей поэта, которая не находила ничего унижительнаго въ поступкахъ, осуждаемыхъ точной, хотя и строгой истиной, и вообще въ патковомъ и легкомысленномъ взглядѣ людей его времени на должное и недолжное. Въ послѣдней строфѣ оды «Рѣшемуслу», т. е. Потеминну (1783), обращаясь къ Музѣ, Державинъ говорить:

Конечно, ты своимъ перомъ

Желаешь достигнуть лишь знаменитости

но послѣднему стиху противорѣчатъ другія произведенія Державина. «Видѣніе Мурзы», написанное въ одинъ годъ съ «Рѣшительнымъ», говоритъ Фелицъ:

Довольно золотыхъ кумировъ,
Безъ чувствъ могаз что пѣсни чѣй;

знатки, пахвалы расточались иногда людямъ недостойнымъ, но возбуждавшимъ въ себѣ уваженія и любви. Авторъ сознавать свои отступленія отъ правды, какъ видно еще изъ его посланія къ Храповицкому (1793):

Ты самъ со временемъ осудишь
Меня на злыя стѣны.

И Храповицкій осудилъ его дружескимъ посланіемъ, въ которомъ между прочимъ говоритъ: «я люблю твои стихотворства, но иногда ты

поми ложишь (1).

Я твой же стихъ напоминаю
И самъ по истинѣ не знаю,
Зачѣмъ ты такъ, мой другъ, пишешь.

Достойны громкой славы звуковъ
Пожарскій, Мининъ, Долгоруковъ
Ива огунаетъ храбрый Негръ;
Но Зубовыхъ дѣла не громки,
И спрячь Потемкиныхъ въ потемки:
Какъ пузырей, ихъ свѣтъ вѣтръ ...
И Зубовъ, ставши разумдиренъ,
Для всѣхъ россиянъ только смѣхъ

Твоею творческой рукою
И пылкою стиховъ краскою
Достойныхъ должно прославлять,
Великихъ, мудрыхъ, справедливыхъ,
Но случается слѣпнымъ очастливыхъ
Въ забвеньи вѣчною оставлять.

По поводу этихъ стиховъ написано Державиннымъ второе, замѣчательное посланіе къ Храповицкому. Оно содержитъ въ себѣ оправданіе или извиненіе «грѣха» современнымъ общественнымъ настроеніемъ, по которому лесть, угодничество и другіе нечистые поступки, какъ сказано выше, не считались унижительными, и громъ того выражаетъ взглядъ на отношеніе «слова» къ «дѣлу», — взглядъ, подтверждающій ту мысль, что авторъ не имѣлъ истиннаго понятія о нравственности:

¹⁾ Выраженіе Державина въ одѣ «На ужьренность» (1792).

Извини, мой другъ, коль лестно
Я кого гдѣ воспѣвалъ:
Днесь скрывать мнѣ тѣхъ безчестно,
Разъ кого я похвалялъ.
*За слова — меня пусть маютъ,
За дѣла — самими чинятъ.*

Но «слова поэта суть уже его дѣла», справедливо возразилъ Пушкинъ. Это возраженіе послужило Гоголю предметомъ для статьи «о томъ, что такое слово» ⁽¹⁾. Здѣсь сказано слѣдующее: «Державинъ слишкомъ повредилъ себѣ тѣмъ, что не сжегъ цѣлой половины своихъ одъ... Опасно шутить писателю со словомъ. Слово гнило да не исходитъ изъ устъ его». Конечно такъ, хотя — замѣтимъ мимоходомъ — самъ Гоголь позволялъ себѣ шутить съ словомъ, по крайней мѣрѣ въ своихъ письмахъ. Но Державинъ добросовѣстно признавалъ свою вину и объяснялъ ее силою общаго положенія: бывають времена, въ которыя, говоритъ онъ, «со всею честностью и правотою души, и при всемъ желаніи слѣдовать законамъ, не всегда можно устоять въ правдѣ». Его автохарактеристика: «горячъ и въ правдѣ чортъ», конечно, не согласуется съ истиннымъ благоразуміемъ, которое требуетъ, любя правду и служа ей искренно, все таки оставаться человекомъ, а не быть чортомъ; но за то выходами своего горячаго темперамента онъ вредилъ собственно себѣ только, а не другимъ: онъ наживалъ себѣ непріятелей и не пользовался расположеніемъ тѣхъ, отъ кого зависѣла его прочная карьера. Вопросъ лишь въ томъ, дѣйствительно ли было правдой то, что Державинъ считалъ правдой. Отвѣтъ, конечно, будетъ отрицательный, не дающій впрочемъ права бросать въ правдолюбца камень, такъ какъ ошибка истекала изъ убѣжденія, хотя и невѣрнаго. За убѣжденія не преслѣдуютъ. А что эти убѣжденія были искренни, ручательствомъ служатъ нравъ Державина: онъ не умѣлъ маскироваться и лукавить; по отзыву С. Р. Воронцова, онъ «нисколько не прикрывалъ лицемѣріемъ того, что онъ дѣлаетъ, и всѣми своими дѣйствіями представлялъ на показъ свой неуживчивый и бѣшеный характеръ». И прочитавъ «Записки» нашего лирика, несомнѣнно выносите изъ нихъ то впечатлѣніе, что, при всѣхъ его несовершенствахъ, онъ все же былъ лучше тѣхъ лицъ, которыя въ его воспоминаніяхъ являются передъ читателемъ. По крайней мѣрѣ онъ не былъ способенъ на ухищренія и козни, къ чему многіе и многіе прибѣгали

¹⁾ Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями.

какъ въ средству для достаженія своихъ личныхъ, корыстныхъ цѣлей, дажь которыхъ ничего не хотѣли знать.

Общее значеніе поэзіи Державина давно опѣнено безпристрастно и вѣрно Бѣлинскимъ: «Поэзія Державина (говорить онъ по поводу изданія его сочиненій въ 1843 г.) въ лучшихъ ея проявленіяхъ есть прекрасный памятникъ царствованія Екатерины. Нечего жалѣть, что онъ не былъ поэтомъ-художникомъ; лучше издивиться тѣмъ свѣтозарнымъ проблескамъ поэзіи и художественности, которыми такъ часто и такъ ярко вспыхиваетъ поэзія этого могучаго таланта.... Мы видимъ въ немъ блестящую зарю нашей поэзіи» (¹). Вторая опѣнка сдѣлана академикомъ Гротомъ, біографомъ Державина и издателемъ его произведеній, послѣ всесторонняго и безпристрастнаго разсмотрѣнія его жизни и дѣятельности: «Когда еще не была выработана у насъ простая и легкая разговорная рѣчь, Державинъ заговорилъ новымъ по звучности и складу русскимъ стихомъ; онъ пробуждалъ въ читателѣ возвышенныя чувства и ставилъ передъ ними идеалы въ живыхъ примѣрахъ отечественныхъ героевъ и сановниковъ, напоминая въ яреихъ образахъ святую истину, вѣчные законы добра и чести» (²).

Родъ Державина (Гавріила Романовича, 1743—1816) происходитъ отъ племени Багряна, выхвѣстнаго, въ княженіе Василия Темнаго (XV в.), изъ Орды служить на Руси и крещеннаго самимъ княземъ. Сынъ одного изъ потомковъ Багряна, Держава, началъ службу въ Казани. Отецъ нашего поэта служилъ въ разныхъ гарнизонныхъ полкахъ и нѣмъ чинъ полковника. Онъ принадлежалъ къ небогатымъ дворянамъ и жилъ съ женою то въ Казани, то въ деревнѣ, въ 40 верстахъ отъ города. Въ этой-то деревнѣ и родился нашъ поэтъ, а по другому преданію—въ Казани, которую онъ называетъ «*колыбелью* своихъ первоначальныхъ дней» (въ стихотвореніи «Арфа»).

Выучась чтенію у матери и дѣда, семи лѣтъ былъ представленъ въ Оренбургскую губернскую канцелярію на «смотръ», которому, по указу, подвергались дворянскія дѣти этого возраста, и по просьбѣ отца былъ отданъ ему для обученія до 12 лѣтъ, когда слѣдовало явиться на второй «смотръ» или экзаменъ недорослямъ. Въ 1752 г. отецъ Державина переселился въ Оренбургъ, куда въ то время ссылали каторжныхъ въѣсто Сибири, чтобы имѣть достаточное число рабочихъ для городскихъ построекъ. Въ числѣ ссыльныхъ находился нѣмецъ Розе, заведшій школу, куда и отдали Державина. Здѣсь, черезъ два или три года, онъ выучился читать, писать и говорить по нѣмецки. Знаніе нѣмецкаго языка, который тогда считался такою же принадлежностью образованнаго дворянина, какъ позднѣе французскій, дало возможность

¹ Сочиненія Бѣлинскаго, т. VII.

² Жизнь Державина (т. VIII-й академическаго изданія его сочиненій).

Державину читать въ подлинникъ Галлера, Гателорна, Козекартена, Клейста и другихъ писателей классическаго періода нѣмецкой литературы. Ни французскимъ, ни латинскимъ языкомъ онъ не владѣлъ, такъ что древніе авторы были ему извѣстны только по нѣмецкимъ или русскимъ переводамъ. По смерти отца, мать его, принужденная вести тяжбу съ сосѣдними помѣщиками, захватившими у нея родовую собственность, при тогдашнемъ беззаконномъ мещеваніи земель, испытала много хлопотъ и униженій отъ судей. Печальныя впечатлѣнія этого времени не только запади въ душу ея сына, который, по его словамъ, съ тѣхъ поръ не могъ равнодушно смотрѣть ни на какую справедливость, особенно на притѣсненіе вдовъ и сиротъ; но и нерѣдко выражались въ его произведеніяхъ, наприм. въ Вельможѣ:

А тамъ—вдова стоитъ въ слѣзахъ
И горькія слезы проливаетъ,
Съ груднымъ младенцемъ на рукахъ
Покрова твоего желаетъ.

Арифметику и Геометрію, нужныя для экзамена на второмъ смотрѣ, преподавалъ ему ученикъ гарнизонной школы, но какъ учитель (въ родѣ Цыфиркина) самъ плохо зналъ «цыфирь», то и ученикъ его на всю жизнь остался плохимъ математикомъ.

Въ 1759 г., по учрежденіи двухъ казанскихъ гимназій (для дворянъ и для разночинцевъ), Державинъ поступилъ въ первую изъ нихъ, и въ трехлѣтнее пребываніе въ ней выказалъ особенную охоту къ рисованію, музыкѣ и поэзіи. Гимназистомъ, которыхъ чертежи и рисунки представлены были куратору Московскаго университета, Ю. И. Шувалову, онъ записалъ въ гвардію, и въ 1762 г. Державинъ долженъ былъ явиться въ преображенскій полкъ. Двѣнадцать лѣтъ военной службы составляютъ безотрадный періодъ въ его жизни. Началъ онъ ее солдатомъ, а не съ офицерскаго чина, какъ другіе или по крайней мѣрѣ съ унтеръ-офицера: причина тому—неимѣніе протекторства. Поэтскія стихи его въ казармѣ съ рядовыми; онъ ходилъ на ученье, стоялъ на караулахъ, отправлялъ наряду съ солдатами разныя черныя работы. При постоянныхъ ротныхъ и батальонныхъ ученіяхъ, при неудобствѣ казарменнаго помѣщенія, ему нельзя было и думать о серьезномъ самообразованіи; только по ночамъ читалъ онъ кой-какія книги, да копировалъ стихи. Люди и обстоятельства, среди которыхъ, во время отпусковъ на родину, пришлось ему жить въ Москвѣ, вовлекли бы его въ глубокое нравственное униженіе, но онъ рѣшился наконецъ вырваться изъ этой среды и тѣмъ спасти себя. На это указываетъ піеса «Раскаяніе»:

Я въ роскоши забавъ
Искупилъ ужъ мой некороткій нравъ,
Испортилъ, разрабталъ, въ тѣху скаредетъ погрузился—
Повѣса, мотъ, буланъ, картежники оутился.

При назначеніи Библикова для усмиренія пугачѣвскаго бунта (1773), Державинъ явился къ нему и просилъ взять его въ «секретную ком-

мисію» для слѣдственныхъ дѣлъ о сообщникахъ Пугачева. Библиковъ поручилъ ему вести журналъ всей дѣловой переписки по бунту, съ описаніемъ и мѣръ, принимаемыхъ къ его прекращенію. Когда императрица, слѣдуя казанскому дворянству, положившему образовывать конный корпусъ, повелѣла взять по рекруту съ каждаго двухъ сотъ душъ по своимъ удѣльнымъ имѣніямъ и назвала себя «казанской помѣщицей», Державинъ, отъ лица дворянства, сочинилъ благодарственную рѣчь—первый опытъ малыхъ своихъ способностей, по его выраженію. Исполняя разные порученія начальства, онъ провелъ весну и небольшую часть лѣта 1774 и 1775 г. г. въ завожскихъ колоніяхъ, около Саратова: здѣсь-то частію сочинены, а частію переведены имъ изъ сочиненій Фридриха II нѣсколько одъ при горѣ Читалагаѣ (возвышенномъ холмѣ, противъ колоній Шагаузенъ), почему онѣ и названы Читалагайскими» (1774). За службу во все время пугачевщины награжденъ чиномъ коллежскаго совѣтника и тремя стана душъ въ Бѣлоруссіи (1777). Затѣмъ семь лѣтъ (1777—1784) служилъ подъ начальствомъ генералъ-прокурора кн. Вяземскаго, и въ домѣ его познакомился со многими лицами, которые въ послѣдствіи занимали важныя административныя мѣста. Собственно же дружескій кружокъ его состоялъ изъ А. Н. Львова, Капниста и Хемницера, къ коимъ позднѣе присоединились И. Дмитріевъ и Карамзинъ. Съ 1778 сдѣлался онъ постояннымъ сотрудникомъ С. П. бургскаго Вѣстника, издававшегося «обществомъ любителей наукъ»; здѣсь появились: «Пѣсни Петру Великому», «На смерть кн. Мещерскаго», «На рожденіе въ сѣверѣ порочнаго отрока», «Къ первому сосѣду», «Властителямъ и судьямъ...». Нѣкоторыя изъ помѣщенныхъ піесъ были потомъ перепечатаны въ «Собесѣдникѣ любителей русскаго слова», основанномъ кн. Дашковой въ 1782 г., и кромѣ того вошли въ него новыя оды: «Фелица», «Благодарность Фелицѣ», «Видѣніе Мурзы», «Рѣшмыслу», «Богъ». Награды, полученныя авторомъ отъ императрицы (за Фелицу), поимено его начальника, были непріятны послѣднему, который къ тому же нисколько не уважалъ литераторовъ, считая ихъ людьми, совершенно негодными для дѣлъ. Отсюда обоюдное недовольство, и Державинъ, вышедъ въ отставку, того же года (1784) былъ назначенъ исправляющимъ должность олонеккаго губернатора. Но здѣсь онъ не прослужилъ и года, потому что не поладилъ съ намѣстникомъ Тутолминымъ. Непріятности его служебнаго положенія выражены въ стихотвореніи: «Уповающему на свою силу». Обозрѣвая губернію, видѣлъ рѣку Суву и водопадъ Кивачъ, описаніемъ котораго начинается «Водопадъ». По возвращеніи въ Петербургъ получилъ мѣсто тамбовскаго губернатора (1783), на которомъ оставался съ 1786-го по конецъ 1788-го. Тамбовъ многимъ омоложенъ заботливости Державина объ успѣхахъ образованія и общежитія: онъ открылъ свой домъ для обученія мѣстныхъ жителей, особенно дворянъ, и пригласилъ учителей, устроилъ у себя любительскіе театры, а потомъ городскій театръ, открылъ училища какъ въ самомъ Тамбовѣ, такъ и въ нѣкоторыхъ уѣздныхъ городахъ, и завелъ типографію. Но и на новомъ мѣстѣ возникли у него непріятности съ намѣстникомъ, гр. Гудовичемъ, кончившіяся тѣмъ что его повелѣно было отдать подъ судъ. Изъ стихотвореній его ко времени тамбовскаго губернаторства относятся: «На смерть гр. Руман-

цевой», и «Осень во время осады Очакова» Отрѣшенные отъ должности, Державинъ прїѣхалъ въ Москву (1789) для суда надъ нимъ сената. Здѣсь онъ написалъ: «Побѣдителю» (Потемкину), «Величество Божіе», «На счастье». Последняя ода исполнена намековъ на тогдашнія политическія событія, на черты современной общественной жизни и на нѣкоторыхъ представителей высшей администраціи, кромѣ того содержитъ въ себѣ игривое изображеніе дѣятельности Екатерины и автобіографическія данныя. По прїѣздѣ въ Петербургъ того же года, благодаря представительству Потемкина, Безбородки и Воронцова, былъ милостиво принятъ государыней, которой, по ея словамъ, было «трудно обвинить автора «Фелицы». Но на аудіенціи она спросила его: «не имѣете ли вы въ правѣ чего-нибудь строптиваго, что ни съ кѣмъ не уживаетесь? отчего разошлись съ Вяземскимъ? отчего не поладили съ Тутолминскимъ? какая причина ссоры съ Гудовичемъ?» А потомъ дала о немъ Храповицкому такой отзывъ: «въ третьемъ мѣстѣ не могъ ужиться; надобно искать причины въ себѣ самомъ; пусть пишетъ стихи». Судъ кончился благопріятно: подсудимый былъ оправданъ и велѣно было выдать ему неполученное жалованье и впредь производить до полученія новаго мѣста, котораго, впрочемъ, пришлось ему ждать два года съ половиной. Въ это неслужбное время явились: «Изображеніе Филицы», «На взятіе Иманла», «Описаніе торжества въ домѣ Потемкина», «Водопадъ». Съ 1791 г. въ теченіи почти двухъ лѣтъ состоялъ при императрицѣ для принятія прошеній, но не умѣлъ угодить ей какъ по неспособности быть уклончивымъ, выражать свои мысли осторожно и прилично, такъ и по своей неловкости и горячности. Пришлось къ ней цѣлыми кипы бумагъ, онъ обременялъ ее чтеніемъ оныхъ, принималъ безъ разбора прошенія о деньгахъ, «лѣзъ къ ней со всякимъ валоромъ», какъ она выразилась Храповицкому. Въ 1793 г. назначенъ сенаторомъ. Важнѣйшія стихотворенія, написанныя съ этого времени до воцаренія Павла, суть слѣдующія: «Ласточка» (памяти первой жены), «Мой истуканъ», «Вельможа» (передѣланная изъ оды «На знатность» — одной изъ «Читалагайскихъ одъ»), «На взятіе Варшавы», «Приглашеніе къ обѣду», «На рожденіе царицы Грениславы» (Л. А. Нарышкину), «На кончину гр. Орлова» (Федора), «Аѳинейскому витязю» (А. Орлову), «Памятникъ». При Павлѣ назначенъ былъ правителемъ канцеляріи совѣта императора, но вскорѣ «за необузданность языка», какъ сказано въ «Запискахъ Болотова», опять отосланъ въ сенатъ; затѣмъ (1800) получилъ званіе президента коммерцъ-коллегіи и въ томъ же году втораго министра при государственномъ казначействѣ и наконецъ государственнымъ казначеемъ. Въ 1802 назначенъ министромъ юстиціи, но не расположилъ къ себѣ императора Александра своимъ противодѣйствіемъ новымъ, либеральнымъ идеямъ. Въ вопросѣ о крѣпостномъ правѣ онъ былъ самымъ крайнимъ консерваторомъ и намѣреніе освободить крестьянъ отъ рабства называлъ предразсудкомъ. Въ 1803 г. вовсе уволенъ отъ службы, и на этотъ случай написалъ стихотвореніе «Свобода» (1803). Сошедши съ поприща 42-хъ лѣтней службы, онъ въ остальные годы своей жизни сохранилъ враждебное отношеніе къ эпохѣ Александра I и самъ находился какъ бы въ опалѣ. Притомъ же онъ чувствовалъ приближеніе зимы своей. Не было уже друзей его:

Львовъ, Хемницеръ въ гробѣ скрытъ;
За Днѣпромъ Баянствъ ливеть;
Вельяминовъ, лиръ любитель ⁽¹⁾,
Богатырь, кѣвецъ въ кругу,
Беззаботный свѣта житель,
Согнуть скорбями въ дугу.

Со времени отставки, поселился въ имѣніи своемъ Званкѣ (Новг. губ.), а зиму проводилъ въ Петербургѣ. Сельскія занятія его описаны въ стихотвореніи «Жизнь званская» (1807). Впрочемъ Державинъ не оставилъ своихъ любимыхъ занятій. «Привыкнуши къ безпрестаннымъ трудамъ», говоритъ онъ, «я не могъ быть безъ упражненій, и для того занимался литературою, написалъ нѣсколько лирическихъ сочиненій, которыхъ вышло 4 части (1808) и еще наберега, можетъ быть, одна, сочинилъ трагедіи: «Иродъ и Маріамна», «Евпаксія», «Темный», комическую оперу «Дурочка умнѣ умныхъ», нѣсколько прозаическихъ статей, эпиграммы и «Разсужденіе о лирической поэзіи». Последнее напечатано въ изданіи: «Чтеніе въ Бесѣдѣ любителей русскаго слова»—литературномъ обществѣ, основанномъ Шишковымъ вмѣстѣ съ Державинымъ, который подчинился вліянію славянофила и такимъ образомъ сдѣлался орудіемъ въ борьбѣ противъ Карамзинской школы ⁽²⁾.

§ 25. Съ именами Ломоносова и Сумарокова критика постоянно соединяла имя Хераскова (Михаила Матвѣевича, 1738 — 1807), образуя какъ бы особый поэтический триумvirатъ на томъ основаніи, что каждый изъ нихъ служилъ представителемъ особаго рода поэзии. Какъ Ломоносовъ былъ первый нашъ лирикъ, а Сумароковъ—установитель нашего театра, такъ отъ Хераскова ведетъ свое начало нашъ искусственный эпосъ: онъ первый далъ намъ героическую поэму—«Россіаду», которая хотя и не ввела цѣлца въ обѣщанный ему «храмъ безсмертія», однакожъ долгое время удерживала за нимъ славу «русскаго Гомера», доказывая тѣмъ, по словамъ одного изъ критиковъ Россіады, что въ литературѣ «имена» бываютъ болѣе долговѣчны, чѣмъ «творенія», ибо первыя находятся въ устахъ ученыхъ, а послѣднія ни у кого не находятъ въ рукахъ.

Будучи эпическимъ твореніемъ, которое должно отражать въ себѣ внутренній характеръ и внѣшній образъ цѣлой эпохи, героическая поэма предполагаетъ какъ въ творцѣ своемъ, такъ и въ своихъ слушателяхъ или читателяхъ, если не вѣру въ дѣйствительное существованіе этой эпохи, то по крайней мѣрѣ не со-

1) Тамбовскій помещикъ, писавшій также стихи.

2) Я. Гротъ: «Жизнь Державина (въ VIII т. академическаго изданія его сочиненій).

всѣмъ порванное согласіе съ ея воззрѣніями, нравами, вообще духовнымъ настроеніемъ. Поэтическое воспроизведеніе эпохи невозможно, если она ничѣмъ уже не напоминаетъ о себѣ ни мысли, ни чувству настоящаго времени. Хотя Иліада и Одиссея явились черезъ нѣсколько вѣковъ по разрушеніи Трои, но въ этотъ долгій промежутокъ греческая жизнь не представляла существенныхъ измѣненій, которымъ она подверглась послѣ персидскихъ войнъ; поэзія воспѣвала гнѣвъ Ахилла и долгія странствованія Улисса въ то время, когда то и другое еще было предметомъ народныхъ бесѣдъ по всей Греціи. Энеида изображаетъ міръ, не похожій на вѣкъ Августа; но интересъ происхожденія того, что сдѣлалось столь обширнымъ и могущественнымъ, живыя преданія, обращавшіяся въ народѣ, могли уничтожить это несходство и связать темную старину съ настоящимъ. Божественная Комедія проникнута духомъ того времени, въ которое она явилась; по отношенію къ понятіямъ и вѣрованіямъ, она есть картина ближайшаго и непосредственнаго быта Італіи. Освобожденный Іерусалимъ отдѣляется большимъ пространствомъ времени отъ того движенія, которымъ было вызвано событіе, воспѣтое Тассомъ; но сущность поэмы—религіозный духъ среднихъ вѣковъ, увѣренность въ величіи и важности крестовыхъ походовъ,—не утратила своего значенія и въ XVI вѣкѣ, по крайней мѣрѣ въ Італіи, какъ средоточіи католицизма. Сверхчужденный міръ, изображенный Мильтономъ, вопросъ о происхожденіи зла, раскрываемый его поэмой, обращали на себя особое вниманіе англичанъ въ срединѣ XVII в., и потому предметъ Потеряннаго Рая былъ предметомъ интереса дѣйствительнаго и современнаго, а не вымышленнаго или потерявшаго всякое значеніе. Подобныхъ отношеній къ предмету Россіады не существовало ни въ душѣ автора, ни въ душѣ его читателей. Покореніе Казани Грознымъ было «дѣломъ давно минувшихъ дней», которое учащійся узнавалъ изъ отечественной исторіи, но съ которымъ и прощался на школьной скамьѣ. Тотъ народъ, что сложилъ пѣсню «про взятіе казанскаго царства», не имѣлъ и понятія о Россіадѣ. Если поэма могла представлять какой-либо интересъ, то не общій, а частный, для извѣстнаго круга публики, не по внутренней связи XVI-го столѣтія съ XVIII-мъ, а по внѣшнему сопоставленію событія, въ ней воспѣваемаго, съ современностью, по особому на него взгляду автора и подобныхъ ему лицъ. Въмѣсто поэтическаго замысла выступили здѣсь искусственныя примѣненія и тенденціи, объясняемыя исторіею тогдашней эпохи, именно восточнымъ вопросомъ, о которомъ говорили и писали открыто какъ въ Россіи, такъ и за границей, и рѣшеніе

котораго предполагалось въ изгнаніи турокъ изъ Европы и возстановленія греческой имперіи. Херасковъ принадлежалъ къ категоріи многихъ образованныхъ людей своего времени, питавшихъ сочувствіе къ Греціи. Еще за восемь лѣтъ до Россіяды, въ описательномъ стихотвореніи: «Чесменскій бой (1771)», исчислилъ онъ причины нашей войны съ турками: бѣдственное положеніе обновѣрныхъ намъ грековъ, разрушеніе церквей, притѣсненія христіанъ мусульманами, тѣмъ невѣжества, покрывшую мѣста, гдѣ нѣкогда сіяло просвѣщеніе. Но, сказалъ онъ въ заключеніи,

.... близко, можетъ быть, приходъ златыхъ вѣковъ,
И греки изъ своихъ исторгнуты оковъ.

Эта мысль сохранена и въ Россіадѣ. Какъ христіанинъ, какъ патріотъ, какъ ревнитель наукъ, Херасковъ въ поклонникахъ Магомета видѣлъ враговъ истинной вѣры, своего отечества и просвѣщенія. Основнымъ его взглядомъ опредѣлились и выборъ эпическаго сюжета, и самое названіе поэмы, превышающее размѣръ содержанія. Взятіе Казани получило въ глазахъ его особенную важность: оно было торжествомъ креста надъ луною и выѣстъ торжествомъ Россіи надъ кровавыми врагами. Въ «историческомъ предисловіи» къ Россіадѣ читаемъ: «Воспѣвая разрушеніе казанскаго царства, со властію державцевъ ордынскихъ, я имѣлъ въ виду успокоеніе, славу и благоденствіе «всего руссійскаго государства», знаменитые подвиги «всего руссійскаго воинства», возвращенное благоденствіе не одной особѣ, но «цѣлому государству»... Горе тому руссіанину, который не почувствуетъ, сколь сладкую тишину и сколь великую славу приобрѣло наше отечество отъ разрушенія казанскаго царства!» Отъ Іоанна IV Херасковъ ведетъ начало крутой перемѣны въ Россіи—перехода ея изъ слабости въ крѣпость, изъ уничиженія въ силу, изъ порабощенія въ господство; грозный царь стоитъ въ срединѣ между бѣдственнымъ ея состояніемъ, около трехъ вѣковъ продолжавшимся, и новою, славною ея жизнію. Не одинъ Херасковъ придавалъ такую важность нашей борьбѣ съ татарами. Въ предисловіи къ Морскому уставу (1720), Петръ I освобожденіе Россіи отъ татаръ уподобляетъ «второму крещенію»: «Иванъ Васильевичъ Владимірово вредное дѣло (раздѣленіе Руси на удѣлы) исправилъ и расточенную махину паки въ гору собралъ и, яко новымъ крещеніемъ, силою воинскою христіанство отъ варваровъ (татаръ) свободилъ и утвердилъ, и оныхъ отъ ближняго сосѣдства отогналъ». Сообразно изложенному взгляду, поэма начинается такимъ двустихіемъ:

Пою отъ варваровъ Россію свободенну,
Поправну власть татаръ и гордость низложенну.

Критика уличала Хераскова въ незнаніи исторіи, такъ какъ Россія освободилась отъ татаръ до Іоанна Грознаго; но дѣло не въ исторической точности, а въ томъ, что, для Хераскова, взятіе Кавани было сильнымъ пораженіемъ магометанства, враждебнаго христіанамъ, цивилизаціи и Россіи. Притомъ же давноминувшій фактъ оварился новымъ блескомъ отъ успѣшныхъ дѣйствій Екатерины въ восточномъ вопросѣ, отъ ея побѣдъ надъ турками, подвигавшихъ впередъ замышленное возстановленіе Греціи. Такимъ образомъ событіе XVI в. приняло въ умѣ автора огромные размѣры, какъ по отношенію къ его религіознымъ, патріотическимъ и просвѣщеннымъ стремленіямъ, такъ и по отношенію къ политикѣ Екатеринына вѣка.

«Предисловіе къ Россіадѣ» и «Взглядъ на эпическія поэмъ», ей предпосланный, показываютъ, что Херасковъ слѣдовалъ ложно-классической пѣтигѣ, отъ которой не отступалъ до конца. Давая наставленія стихотворцу, въ піесѣ «Поэтъ (1805),» онъ совѣтуетъ ему читать Горациево «Посланіе къ Пизонамъ» и «Эпистолу о стихотворствѣ», Сумарокова, а главное—имѣть «всегда на памяти и часто на устахъ» науку о стихотворствѣ Буало. Ложно-классическая теорія эпоса требовала отъ него тѣхъ же принадлежностей, какія находила въ Илиадѣ, Одиссеѣ, Энеидѣ: она требовала важнаго событія, героическихъ характеровъ, обширнаго плана, вмѣщающаго въ себѣ значительное количество предметовъ, разнообразія эпизодовъ, которыми украшается главное дѣйствіе, чудеснаго въ языческомъ или христіанскомъ смыслѣ. Всѣ эти условія выполнены Херасковымъ по-возможности. Предметъ Россіады (покореніе Кавани), событіе само по себѣ важное, еще болѣе возвеличено взглядомъ на него автора. Дѣйствующія лица: самъ Іоаннъ, его сподвижники и противники, отличены необыкновенными качествами и подвигами. Чудесное есть—и языческое, и христіанское: пророческіе сны, явленіе тѣней, небесныя знаменія, чародѣйство и т. п. Нерѣдко вводятся олицетворенія естественныхъ и нравственныхъ предметовъ: зимы, корыстолюбія, стыда и пр. Объемъ поэмъ обширенъ: она состоитъ изъ 12 пѣсень, какъ и Энеида, которую Херасковъ называлъ «несравненною», чего не удостоились ни Илиада, ни Одиссея. Соблюдены также и второстепенныя принадлежности: возвышеніе избраннаго сюжета, начатое обычнымъ словомъ «пою»; два воззванія: къ духу стихотворства и къ вѣчности; наконецъ экспозиція, дающая знати читателю отношеніе Кавани къ Россіи до начала войны.

Вѣрно-поэтическаго воспроизведенія нѣтъ и не могло быть въ Россіадѣ, какъ таковой поэмы, которая сшита изъ подражаній Илиадѣ, Энеидѣ, Освобожденному Іерусалиму и Генріадѣ, и потому вышла смѣсью разнородныхъ элементовъ, не относящихся ни къ определенной національности, ни къ определенной исторіи. Отсюда всѣ недостатки ея дѣйствій, характеристикъ и чудеснаго. Недостатки дѣйствія: нѣтъ главнаго узла, счастливое разрѣшеніе котораго совершалось бы ходомъ событія; нѣтъ серьезныхъ препятствій, въ борьбѣ съ которыми главное лице могло бы выказать свою силу: зной, голодъ, чары, духи тьмы и другія противодействующія силы не наносятъ дѣятелю вреда и уничтожаются какъ бы сами собою. Недостатокъ въ представленіи характеровъ: Іоаннъ, русскіе князья и защитники Казани являются то въ видѣ греческихъ или троянскихъ героевъ, то въ видѣ крестоносцевъ. Въ Іоаннѣ видишь черты и Энея и Годфреда, въ Курбскомъ—Ринальда, въ Сумбелѣ—Дидоны и Армиды вмѣстѣ. Курбскій говоритъ даже о храненіи рыцарскаго чина; татарскій витязь Гидромиръ наблюдаетъ рыцарскій уставъ; Троекуровъ, словно одинъ изъ воиновъ Илиады, снимаетъ доспѣхи съ убитаго врага; Эдигеръ, слѣдуя іудейскому обычаю, раздираетъ свою одежду и посыпаетъ пепломъ главу. Недостатокъ въ чудесномъ: оно состоитъ или въ хододномъ олицетвореніи понятій, которое служитъ только риторической прикрасой, или въ противосмысленномъ сочетаніи древняго съ новымъ, языческаго съ христіанскимъ. Какъ у Виргилія Анхизъ, въ елисейскихъ поляхъ, показываетъ Энею его потомковъ; какъ у Вольтера св. Людовикъ открываетъ въ сновидѣніи Генриху IV рядъ королей, имѣющихъ за нимъ послѣдовать: такъ и Херасковъ заставляетъ пустыпника Вассіана вести Грознаго на гору, въ храмъ добродѣтели, и въ книгѣ судебъ читать ему будущую судьбу Россіи. Обвороженный казанскій лѣсъ есть копія съ такого же лѣса, описаннаго Тассомъ: что въ Освобожденномъ Іерусалимѣ Исменъ, то въ Россіадѣ Нигринъ. Божества, духи, существа аллегорическія являются большею частію въ сновидѣніяхъ и дѣйствуютъ въ пользу той или другой стороны по безотчетному замышленію стихотворца, а вовсе не на основаніи какой-либо определенной системы вѣрованій. Вѣншее выраженіе Россіады почти вездѣ искусственно. Отсутствіемъ простаго, естественнаго разсказа авторъ думалъ сообщить поэмі эпическое величіе, и сообщилъ ей монотонную высокопарность и надутость. Большая часть описаній сухи и однообразны. Нѣкоторыя изъ нихъ (напр. описанія казанскаго лѣса, зной, Батыевой могилы, зимы, которую Нигринъ приводитъ изъ

Кавказской горы) удачны по языку. Въ послѣднемъ описаніи замѣчательнѣе стихъ, изображающій владычество и суровость стужи:

Тамъ зримы кажутся вѣщаемы слова.

Вообще стихъ Хераскова для своего времени можетъ назваться хорошимъ. Если въ немъ нѣтъ энергіи и полета, то есть плавность и достаточная обработка.

За четыре года до Россіады, явилась романтическая поэма или повѣсть «Душенька» (1775). Авторъ ея, Богдановичъ (Ипполитъ Ѳедоровичъ 1743—1803), подражалъ Лафонтену въ разсказу: «Любовь Психеи и Купидона» (русскій переводъ 1769 г.); Лафонтенъ же подражалъ латинскому писателю Апулею, жившему во II в. по Р. Х. и написавшему романъ: «Превращеніе, или Золотой оселъ» (русскій переводъ, Кострова, 1780—1781).

Основная идея мифа, знаменующаго стремленіе души (Психеи) къ высочайшему благу—любви (Купидону), первоначально возникла на востокѣ, откуда вошла въ греческія мистеріи. Платоническій философъ Апулей разсказалъ этотъ мифъ, измѣнивъ его нѣсколько по духу своего времени, въ означенномъ сатирическомъ романѣ, который умно и оригинально изображаетъ недостатки современнаго общества: повсемѣстное суевѣріе, наклонность къ чудесамъ и магіи, обманы жрецовъ, дурную полицію въ римской имперіи. Въ основѣ всѣхъ превращеній «Золотаго осла» лежитъ идея души, погрязшей въ чувственности, матеріи, и потомъ, посвященіемъ въ таинства, очищенной и преображенной. Исторія Психеи скрываетъ, подъ покрываломъ вымысла, то ученіе, которое представлялось въ символическихъ обрядахъ таинствъ. Она есть образъ души, которая изъ горнила страданій выходитъ свѣтлою, причастною высшаго блаженства. Кромѣ того, въ ней являются мистеріи собственно-эротическія: душа женщины (Психея), утративъ свою невинность, долженствовала, какъ невольница любви (Венеры), пройти рядъ суровыхъ испытаній, чтобы стать достойною невѣстой небеснаго жениха Эроса (Купидона). Такимъ образомъ въ Апулеевомъ разсказѣ аллегорически представлены и очищеніе души вообще, и очищеніе души женской въ особенности.

Лафонтенъ отнесся къ своему оригиналу свободно: онъ заимствовалъ у Апулея матерію и ходъ басни, но измѣнилъ обстоятельства сообразно вкусу времени и своему собственному. Современный же вкусъ, по словамъ Лафонтена, стремился «къ шуткѣ и любезничаванью» (*se portait au galant et à la plaisanterie*). Един-

ственным его цѣлью было нравиться читателямъ; а для этого слѣдовало, отъ начала до конца, шутить и любезничать. На миеологию смотрѣлъ онъ, какъ на сплетеніе басенъ, «способныхъ только забавлять дѣтей». Миеъ, это своего рода поэтическое созданіе, воплощающее религіозную идею въ извѣстную форму, не возбуждаетъ его сочувствія. Лафонтенъ смѣется надъ идеей, потому что въ миеологическомъ чудесномъ видитъ дѣтскую забаву; а форма не пѣняетъ его на столько, чтобы онъ могъ питать къ ней артистическое уваженіе. Отсюда понятно значеніе Лафонтеновой повѣсти. Существенный недостатокъ ея—легкомысленный взглядъ на миеологию, искаженіе классической красоты. Достоинствъ же надобно искать внѣ художественнаго воспроизведенія миеа, т. е. въ предметахъ второстепенныхъ и постороннихъ. Сюда относятся: остроуміе, угождавшее тогдашнему вкусу публики, и поэтическое, хотя и не въ греческомъ духѣ, изображеніе нѣкоторыхъ частей миеа, каковы, напримѣръ, плаваніе Венеры, портреты Купидона и Психеи. Иногда, увлекаясь красотою подлинника, Лафонтенъ какъ бы забывалъ свою задачу—смѣшить и забавлять читателей, и рисовалъ граціозныя картины, на которыя нельзя смотрѣть безъ удовольствія.

Значеніемъ Лафонтеновой повѣсти опредѣляется и значеніе «Душеньки», въ которой, сверхъ того, есть нѣкоторыя особыя отличія. Богдановичъ взялъ у Лафонтена и понятіе о миеологии, и невѣрное представленіе античныхъ сюжетовъ: какъ у французскаго баснописца Психея вышла француженкой, такъ у нашего автора она обратилась въ русскую дѣвицу. У Лафонтена также заимствованы и цѣль—угождать направленію современнаго вкуса, который «стремился къ любезностямъ и шуткѣ», и весь составъ сказки, отъ появленія на сцену Психеи до ея брака съ Амуромъ. Но Лафонтенъ, замѣтили мы, красоту древняго искусства замѣнялъ въ иныхъ мѣстахъ изображеніями въ духѣ искусства псевдо-классическаго, у которыхъ есть своя, условная, красота; угодничество современному вкусу не доводило его до пренебреженія изящнымъ вообще; въ остроумномъ разсказчикѣ нерѣдко сказывался поэтъ. Напротивъ, Богдановичъ совершенно поддался шуткѣ, такъ что его «Душенька», если прилагать къ ней строгія требованія художественной критики, вышла какъ бы комической пародіей миеа, въ которомъ нѣтъ ничего комическаго, Психеей, «вывороченной на изнанку», тогда какъ Апулеевъ разсказъ о судьбѣ царской дочери, прослывшей за красоту свою второю Венерой, трогателенъ и граціозенъ. Если же рассматривать «Душеньку» только по отношенію къ непосредственному образцу ея, т. е. къ Лафонтеновой

повѣсти, то и съ этой стороны критика окажется для нея невыгодною, по двумъ причинамъ: во-первыхъ, задавшись желаніемъ смѣшнить читателей, Богдановичъ умышленно искажалъ каждый изящный образъ прибавкой какихъ-нибудь неизящныхъ подробностей; во вторыхъ, не умѣя передать подлинникъ съ такою и точною стихотворною рѣчью, онъ распространялъ его совершенно лишними чертами, отъ чего поэма вышла по объему больше Лафонтенова разсказа, если исключить изъ послѣдняго всѣ вставки, не принадлежащія собственно къ исторіи Купадона и Психеи. Для подтвержденія этихъ словъ, достаточно слѣдить описаніе морскаго плаванія Венеры у обоихъ стихотворцевъ. Богдановичъ не ограничился однимъ жемчугомъ, посвященнымъ Веперѣ: онъ заставилъ Тритона «тащить» всѣ морскія сокровища; другому далъ онъ должность форейтора, который «бранится со встрѣчными» и велитъ имъ сворачивать съ дороги; третій «давить» дерзостныхъ чудовищъ; четвертый трубить въ коралловый рогъ; пятый несетъ на-мѣсто зеркала «отломокъ горъ хрустальныхъ» (у Апулея—просто зеркало, у Лафонтена—un miroir fait de cristal de roche). Чтобы защитить Венеру отъ солнечныхъ лучей, нашъ авторъ велѣлъ одному изъ тритоновъ «пускать къ-верху водные ключи», а сиренамъ «махать опахаломъ» (у Апулея—тритонъ умѣряетъ жаркіе лучи шелковой сѣткой; у Лафонтена—просто защищаетъ богиню отъ зноя). Уподобленіе зефировъ «пшеничному сѣмени»; выраженія: «пышать» въ трудахъ, «свиститъ» любовь на ухо, «дуетъ въ очи и уста», нарушаютъ изящество какъ постановкою неграціозныхъ образовъ, такъ и низведеніемъ серьезнаго міра мифологій до шутки и смѣхотворства. Наконецъ шумъ, возня и многочисленность Венериной свиты отвѣчаютъ ли тому очарованію, которое должнаствовала разливать вокругъ себя воплощенная прелесть, заставившая самого Иракла промѣнять палицу на веретено? Мы говорили о распространеніяхъ, которыя позволялъ себѣ Богдановичъ, въ ущербъ поэзіи. Условія стихотворной рѣчи (метръ и рима) принудили его жертвовать точною мѣрою изображеній. У Лафонтена храмы Венеры «поросли травой»; у Богдановича—«травой и лѣсомъ». Къ «утесамъ, гидрамъ и драконамъ» подлинника, находившимся въ пустынной горѣ, жилищъ дракона, русское подражаніе прибавило «бугры, пески, рвы, пещеры, глубины, львовъ, мегеръ, перберовъ и дромадеровъ». Въ подлинникѣ «музыка, улаждавшая Психею, была восхитительна, какъ будто бы управляли ею Орфей и Амфіонъ»; въ переложеніи, явилось еще третье лицо—Аполлонъ. У Лафонтена: «снovidѣніе представило ей супруга въ

образъ юноши, пятнадцати или шестнадцати лѣтъ, боговиднаго, прекраснаго, какъ Амуръ»; у Богдановича:

Явилъ супруга ей со всею красотою,
Со стройствомъ, нѣжностью, дородствомъ, бѣлизною,
Съ румянцемъ, краше багреца:
Явилъ подобіе младаго Аполлона
Иль, можно такъ сказать, прекрасна Купидона
Въ восемнадцать лѣтъ, иль такъ почти,
Что былъ онъ близко двадцати,
И былъ во всей красѣ и славѣ.

Не смотря на свои недостатки, Душенька имѣла чрезвычайный, вполне заслуженный успѣхъ. Понятія о миѳологіи и поэтическомъ творчествѣ стояли при Богдановичѣ на такой степени, что невѣрности поэмы относительно этихъ двухъ предметовъ не только не считались противорѣчіемъ дѣйствительности или возможности, но даже вмѣнялись въ большую заслугу. Для читателей Екаторина была переложеніе чужаго на родные обычаи и нравы было именно тѣмъ, чего они особенно желали и что имъ нравилось по преимуществу. Безъ принаровки къ новому не нашли бы они удовольствія въ старомъ. Молодость общества, подобно молодости отдѣльнаго человѣка, выказывается тѣмъ, что оно во всемъ хочетъ видѣть себя и обо всемъ судить по себѣ. Душенька въ русскомъ сарафанѣ казалась несравненно милѣе гречанки Психеи. А забавный рассказъ и шутливый тонъ, конечно, цѣнились выше преданій и мнѳовъ, въ которыхъ философія XVIII в. видѣла только плоды суетвѣрія или выдумки жрецовъ. Кромѣ того, въ Душенькѣ есть положительныя достоинства, которыя сводятся къ одному—освобожденію поэтическаго рассказа отъ условныхъ, стѣснительныхъ формъ и правилъ, наложенныхъ на стихотворство обычаемъ и теоріей. Поэма Богдановича есть первое капитальное произведеніе въ такъ называемой легкой поэзіи, противоположной тому роду, который явился съ одной стороны въ эпическихъ повѣствованіяхъ, а съ другой въ торжественной лирикѣ. «На нашемъ языкѣ нѣтъ подобнаго рода стихотвореній», говоритъ издатель Душеньки, Ржевскій, въ предисловіи къ своему изданію (1783). И поэмы и оды строились на искусственно-возвышенный тонъ. Богдановичъ осмѣиваетъ риѳмоторческую напыщенность, говоря, что на Парнасъ

... отъ сѣвера бываетъ часто стужа,
И у Кастальскихъ водъ
Нерѣдко замерзалъ народъ.

Царевна чувствовала ужасную скуку, читая тяжеловѣсные стихи; по ея приказу, амуры должны были снова перевести «исправнымъ» неудобопонятные переводы «извѣстнѣйшихъ творцовъ». Напротивъ, Душенька сложена «въ простотѣ и вольности». Легкій рассказъ, свободный тонъ пріятно поражали читателей, запуганныхъ надутымъ слогомъ эпиковъ и одописцевъ. Шутливому тону отвѣчало самое стихосложеніе. вмѣсто александрійскаго стиха, усвоеннаго поэмой и драмой, и четырехстопнаго ямба, ставшаго обычнымъ размѣромъ одъ, Богдановичъ употребилъ вольный стихъ, разнообразный по количеству стопъ и сочетанію риемъ, «не безпокая себя формой строкъ и не строя мѣрныхъ пѣсней». Этотъ разномѣрный стихъ отличался, по тогдашнему времени, рѣдкою чистотою, пріятностью, игривостью. Къ лучшимъ мѣстамъ поэмы, въ этомъ отношеніи, принадлежать: комическое изображеніе Сатурна, лирическое обращеніе къ Душенькѣ («Во всѣхъ ты, Душенька, нарядахъ хороша»), рѣчь ея Змѣю-Горнычу, сошествіе въ адъ, и пр. Успѣху повѣсти сильно содѣйствовали вольныя картины, которыя пріятно ласкали фантазію и чувство читателей, совершенно приходясь по вкусу времени, направленному «къ забавѣ и любезностямъ». Отзывъ Ржевскаго въ упомянутомъ предисловіи объясняетъ успѣхъ Душеньки именно этими качествами: «непринужденная вольность стиля, чистота стиховъ, удачный выборъ приличныхъ словъ по роду сей поэмы, а паче изобиліе поэтическихъ воображеній (разумѣется, по тогдашнимъ понятіямъ о поэзіи), мнѣ понравились».

Херасковъ, предки котораго произошли отъ рода валахскихъ бояръ Хереско, родился въ Переяславѣ (полтав. губ.), воспитывался въ корпусѣ, по выходѣ изъ котораго (1751) сначала поступилъ въ армию, а потомъ (1755) перешелъ въ гражданскую службу—ассесоромъ при конференціи Московскаго университета и завѣдывалъ университетскою типографіей. Около него стали группироваться воспитанники университета, имѣвшіе охоту къ словеснымъ наукамъ: Богдановичъ, Фонъ-Визинъ (двое братьевъ), Каринъ, Домашневъ, Булгаковъ, П. Потемкинъ... Сюда же примыкали Нарышкины, Ржевскій и другіе нѣсколько старшіе ихъ молодые люди. Всѣ они сотрудничали въ издававшихся Херасковымъ журналахъ: «Полезное увеселеніе» (1760—1761) и «Свободные часы» (1763). Въ томъ же 1763 г. былъ назначенъ директоромъ университета, а съ 1778 по 1801 занималъ должность куратора. Во время кураторства основалъ благородный пансіонъ при университетѣ (1779) и педагогическую семинарію (для приготовленія учителей, 1779), сдалъ Новикову въ аренду на десять лѣтъ университетскую типографію, книжную лавку и изданіе Московскихъ вѣдомостей, открылъ «собраніе университетскихъ питомцевъ» (1781). Херасковъ пользовался большимъ уваженіемъ современниковъ не только за свое авторство, но и за нрав-

ственные качества. Благородство характера, искренняя любовь къ просвѣщенію, доброе покровительство даровитымъ молодымъ людямъ, преданнымъ наукѣ и литературѣ, заслужили ему справедливую благодарность. Тогдашніе московскіе литераторы рѣдко что выпускали въ печать, не прочитавъ ему предварительно своего сочиненія. Онъ получилъ даже прозвище «старосты русской литературы» (1).

Богдановичъ род. въ Малороссіи. Въ 1734 г. привезли его въ Москву и опредѣлили въ юстицъ-коллегію юнкеромъ. Первые его стихотворенія, написанныя на 15-мъ году отъ роду, обратили на него вниманіе Меліс-сено, директора москов. университета, и Хераскова. По совѣту послѣд-наго, онъ записался въ университетъ вольнымъ слушателемъ. Съ этого времени онъ пользовался особымъ покровительствомъ творца «Росси-ады», который помѣстилъ его въ своемъ домѣ, давалъ направленіе первымъ его литературнымъ трудамъ и опредѣлялъ надзирателемъ надъ университетскими классами. Кн. Е. Р. Дашкова, знавшая Болга-новича по стихотвореніямъ, которые печатались въ «Полезномъ Уве-селеніи», «Свободныхъ часахъ» и «Невинномъ упражненіи» (1763), до-ставила ему мѣсто переводчика въ иностранной коллегіи (1763). Черезъ нѣсколько лѣтъ онъ былъ опредѣленъ секретаремъ посольства при са-ковскомъ дворѣ и отправился съ министромъ, кн. Бѣлосельскимъ, въ Дреденъ. Знаменитая картинная галерея этого города, безъ сомнѣнія, не осталась безъ вліянія на нѣкоторыя сцены и картины Душеньки. По возвращеніи въ отечество (1768), Богдановичъ, не оставляя службы, посвятилъ себя литературѣ. Вышедъ въ отставку (1795), уѣхалъ къ роднымъ въ харьковскую губ. и ум. въ Курскѣ (2).

§ 26. Переходимъ къ обзору поэтическихъ произведеній по ро-дамъ ихъ, начиная съ лирики. Лирическая поэзія со времени Ло-моносова быстро возрастала въ количественномъ отношеніи, не представляя важныхъ перемѣнъ въ своемъ характерѣ до появле-нія Державина. Между разными ея видами первенствовала ода, особенно похвальная. Восемнадцатый вѣкъ былъ цвѣтущимъ пери-одомъ ея европейскаго развитія; но когда въ западной Европѣ она стала уступать господство другимъ формамъ лирики, у насъ она еще не выходила изъ моды. Безъ одъ не появлялся ни одинъ журналъ того времени. Роспись отдѣльнымъ ихъ изданіямъ зани-маетъ большое мѣсто въ каталогахъ. Кромѣ того, ихъ много на-печатано въ собраніяхъ сочиненій нашихъ авторовъ. Какое бы ни было специальное дарованіе русскаго стихотворца, но оно непре-мѣнно чинило набѣги на область торжественной лирики. Безъ одъ оставался въ его сочиненіяхъ замѣтный пробѣлъ, который онъ

¹⁾ Черты частной жизни Хераскова (Москвит. 1850, № 4); Краткая біографія и списокъ его сочиненій, М. Лонгинова (Рус. Архивъ 1873); Разсказы о немъ, Ю. Вартемова (ib. 1879, кн. 3).

²⁾ О Богдановичѣ и его сочиненіяхъ, Карамзина (въ 10 № Вѣст. Евр. 1803 г.); Автобіографія, напечатанная г-мъ Геннадіемъ въ 4 № Отеч. Зап. 1833).

старался наполнить, какъ бы охраняя славу своего имени. Онъ былъ къ тому побуждаемъ не однимъ желаніемъ заявить универсальность своей дѣятельности, но и почетнымъ значеніемъ оди, которому, по словамъ Буало, поэтъ поддерживаетъ общеніе съ богами.

Въ литературѣ подражательной, гдѣ трудный процессъ органическаго зарожденія и развитія весьма часто замѣняется простымъ накопленіемъ фактовъ, исторія того или другаго рода словесныхъ произведеній представляетъ особыя явленія. Что легко перенесено извнѣ, не встрѣчая противодѣйствій внутри, то легко и распространяется, но, распространяясь, поддается скорому оскудѣнію, или даже искаженію. Первая прививка заимствованнаго отдѣляется небольшимъ періодомъ времени отъ ея крайностей; едва явятся удачныя опыты подражаній, какъ уже надобно бояться ихъ вырожденія въ варрикатуру; по слѣдамъ увлеченій и пристрастія идетъ сатира, которая смѣется надъ тѣмъ, чему недавно работали. Такъ случилось и съ нашею ложно-классической одой. Въ то самое время, какъ являлись оды Ломоносова, Сумароковъ писалъ уже на нихъ пародіи, подъ именемъ «вздорныхъ» одъ. Начиная съ этихъ пародій и до сатиры И. Дмитріева «Чужой толкъ» (1796), пиндарическая лирика служила постоянною цѣлью насмѣшекъ, которыя были направлены на три предмета: на самый характеръ лирики, искусственной и однообразной, на бездарность пѣснопѣвцевъ и на злоупотребленіе поэтическаго вида, которое обращало каждый случай, важный и неважный, въ поводъ къ стихотворному славленію. Понятно, какъ должны были смотрѣть на оду сатирическіе журналы (1769—74 г.). Простому ихъ вкусу не могъ нравиться «громкій и высокій бредъ, въ которомъ стихотворъ лѣзъ на облака». Этими словами опредѣляетъ лироманію «Парнассскій Щепетильникъ», поставившій главною своею цѣлью осмѣивать бездарныхъ пѣвцовъ. Стихотвореніе: «Мысли» (въ «Вечерахъ»), даетъ проныческіе совѣты непризваннымъ послѣдователямъ Ломоносова, идущимъ вопреки природѣ: одописцы должны стараться о наборѣ стиховъ, которыхъ не понималъ бы никто, которые «гремѣли бы безъ разума». О замашкѣ риемачей становить вселенную вверхъ дномъ въ минуты ихъ восторга, взятаго на провѣтъ, говорить «Посланіе Княжнина къ вв. Дашковой». Его стихотвореніе, вѣроятно, переводное: «Отъ дяди стихотворца Риемоскрипа», есть одна изъ лучшихъ сатиръ, напоминающая «Посланіе Попа къ доктору Арбутноту» (переводъ И. Дмитріева) и достойная статья рядомъ съ «Чужимъ толкомъ»:

Хоть скучный Риемоскрипъ, поэзы навьюча строчкѣ,
Его терпѣнію (и) сто тысячъ одъ подносить,
Онъ плодородіе его—хвалою навозить;
И, сердцемъ данъ платя препакостнымъ стилямъ,
Хотя исподтишка въ кулакъ зѣваетъ самъ,
Но восхищается онъ лвно каждой строчкой,
И всѣмъ любитъ—и запятой, и точкой.
«Куда», онъ говоритъ, «какъ это все умно!»
Инымъ покажется запутано, темно;
Но то и хорошо: одни лишь низки слоги
Понятны всякому: а кто, равно какъ боги,
Высоко говоря, на крыліяхъ парить,
Тотъ долженъ не понять и самъ, что говорить.
То честь ли, коль творца такъ мало почитаютъ,
Что безъ разбора всѣ его стихи читаютъ,
Что приступъ всякому свободный, легкій къ нимъ,
Что чернь безчеститъ ихъ понятіемъ своимъ?.....

Крыловъ (баснописецъ) къ безсмыслию одъ присоединяетъ ихъ
дерзкую лживость. Онъ выставляетъ безправственный поступокъ
стихотворца, который, на перекоръ истинѣ, отводитъ непремѣн-
ныя квартиры добродѣтелямъ тамъ, куда онъ заглянуть боится,
и ставитъ престолъ разуму въ такой головѣ, къ которой свищетъ
сквозной вѣтеръ (повѣсть Канбъ, 1792). «Чужой толкъ» можно
назвать панихидою громкой и пухлой одъ. Не всѣ, конечно, оды
подвергались осмѣянію, а только тѣ, въ которыхъ были презрѣны
«и умъ простой, и чистый смыслъ», и которые спокойно лежали
на книжныхъ полкахъ, «не осверняемые дерзкою рукою читате-
лей». Осуждая плодовитую бездарность, сатирики дѣлали оговорку
въ избѣжаніе превратныхъ сужденій. При одномъ стихѣ «Чужаго
толка», авторъ замѣчаетъ, что этотъ стихъ не можетъ относиться
къ произведеніямъ Петрова, Хераскова, Державина. Приговоръ
надъ одописцами, или одохватами, какъ ихъ тогда называли, не
исключалъ похвалы, иногда заслуженной, а иногда и превышав-
шей заслуги, тѣмъ стихотворцамъ, которые продолжали дѣло Ло-
моносова. На пространствѣ между нимъ и тою переменю, кото-
рая произведена въ нашей лирикѣ Державиннымъ, стоятъ Петровъ
и Костровъ.

Если въ сочиненіяхъ Петрова обращать вниманіе только на его
торжественныя оды, то къ нему справедливо прилагается толкъ
старика, въ указанной сатирѣ Дмитріева. Онъ страдаютъ напы-
щенностью и холодностью. Риторство заступаетъ въ нихъ мѣсто

1) Терпѣнію человека, хвалящаго всѣхъ все, въ томъ числѣ и оды.

поэтического одушевленія. «Опыт историческаго словаря (1772), Новикова, имѣлъ право отозваться неблагопріятно о Петровѣ, даже послѣ того, какъ онъ написалъ прославленную оду «На побѣду россійскаго флота надъ турецкимъ, при Чесмѣ» (1770). «Въ сочиненіяхъ своихъ», говоритъ Словарь, «Петровъ напугается идти по слѣдамъ россійскаго лирика (Ломоносова); и хотя нѣкоторые и называютъ уже его вторымъ Ломоносовымъ, но для сего сравненія надлежитъ ожидать важнаго какого-нибудь сочиненія и послѣ того заключительно сказать, будетъ ли онъ второй Ломоносовъ, или останется только Петровымъ и будетъ имѣть честь слыть подражателемъ Ломоносова». Не оды, которыя недостатокъ лиризма старались замѣнить искусственнымъ напряженіемъ и обиліемъ славянскихъ словъ, а посланія выказываютъ талантъ Петрова. Въ посланіяхъ онъ развязнѣе излагалъ свой образъ мыслей и его слогъ менѣе черствъ и тяжелъ. Одни изъ нихъ дидактическаго рода, другія относятся къ сатирамъ. На содержаніи первыхъ замѣтно вліяніе англійской литературы. Петровъ, воспитанникъ московской духовной академіи, былъ отправленъ (1770) Екатериною II въ Англію для образованія, гдѣ и прожилъ нѣсколько лѣтъ. Здѣсь онъ познакомился съ сочиненіями англійскихъ поэтовъ и ученыхъ. Особенно нравился ему Адиссонъ, какъ авторъ трагедіи «Катонъ». Въ посланіи къ Силову, сотоварищу по заграничной жизни, Петровъ, желая, чтобы «лучъ британскихъ умовъ озарилъ русскую грудь», упоминаетъ и о Катонѣ, монологахъ котораго, будучи выраженіемъ стоицизма, заучивались наизусть любителями нравственной философіи:

Межъ сладкихъ твоего глаголовъ Адиссона,
Межъ истинъ грознаго добротой Катона,
Дай мѣсто симъ строкамъ....

Есть современное свидѣтельство о вліяніи англійской науки и словесности на Петрова. Изъ него мы узнаемъ, что «разговоръ Петрова былъ свободенъ безъ разборчивости; что лѣтъ двѣнадцать назадъ толковалъ онъ катихизисъ, а нынѣ, кажется, способенѣе толковать Лукреція; что по его образу мыслить и чувствовать замѣтно, что онъ жилъ въ Англіи». А онъ жилъ тамъ въ то время, когда Локкова философія уже возымѣла полное дѣйствіе на умы, когда деизмъ совершилъ кругъ своего развитія и шотландская школа философовъ утвердила систему новой нравственной философіи. Хотя тоже свидѣтельство думаетъ, что Петровъ приносилъ чувствительность въ жертву разуму, т. е. что преобладающій элементъ его лирики — рефлексія; однакожъ его посланія къ Потем-

книгу отличаются отъ посланій другихъ стихотворцевъ къ меценатамъ искренней привязанностью и дружескимъ тономъ: въ нихъ нѣтъ ни раболовства, ни холодной торжественности. Петровъ называетъ его «своимъ другомъ», хвалитъ въ немъ доступнаго вельможу, любителя литературы и поэзіи, находившаго удовольствіе бесѣдовать съ нимъ о важныхъ предметахъ:

Ты преняя весть со мной о промыслѣ и рокѣ,
О смерти, бытіи и жѣломъ міра токѣ.

Неизвѣстно, когда и по какому случаю Петровъ сблизился съ Потемкинымъ. Вѣроятно, это было вскорѣ по выходѣ послѣдняго изъ московскаго университета. Потемкину онъ былъ обязанъ мѣстомъ кабинетнаго переводчика и чтеца Государини (1769), почему въ письмѣ къ ней изъ Лондона (1774) говоритъ: «я имѣлъ честь нѣкогда слыть карманнымъ вашего величества стихотворцемъ». Сатирическій талантъ Петрова виденъ въ посланіи его «Къ...., изъ Лондона», составляющемъ какъ бы отвѣтъ на отзывъ «Историческаго словаря». Здѣсь остроумно осмѣяны метроманія и восхваленіе стихотворцевъ пріятелями или невѣждами-патронами. Нѣкоторые мѣста направлены противъ Новикова, какъ издателя Словаря, противъ Сумарокова, не терпѣвшаго чужихъ успѣховъ въ литературѣ и, вѣроятно, доставившаго въ Словарь мнѣніе о Петровѣ, и противъ Аблесимова, также писавшаго критики на современные произведенія поэзіи. Другая сатира Петрова: «Примеченіе Густава III, короля шведскаго» (1788), любопытная, какъ выраженіе тогдашнихъ чувствъ по поводу войны съ шведами, не представляетъ ни поэтическаго, ни стихотворнаго достоинства: слогъ ея неуклюжъ, остроуміе натянуто.

Въ первыхъ лирическихъ стихотвореніяхъ (до 1780 г.), Костровъ слѣдовалъ Ломоносову, подражая главнымъ отличіямъ его торжественныхъ одъ. Съ появленія «Фелицы», Костровъ отступилъ отъ напряженно-риторическаго тона лирики и началъ думать о болѣе простомъ и естественномъ выраженіи своихъ чувствъ. Измѣнилась самая внѣшность его піесъ: четырехъ-стопный ямбъ, укрѣпленный Ломоносовымъ за одой, уступилъ мѣсто другимъ стихотворнымъ метрамъ. Въ послѣдствіи, Костровъ даже написалъ сатиру на громкія, парящія оды, хотя и продолжалъ сочинять ихъ на разные случаи отъ имени московскаго университета, будучи его привилегированнымъ, офиціальнымъ поэтомъ. Нѣкоторые особенности его стихотвореній, сравнительно съ однородными стихотвореніями Ломоносова, Сумарокова и Петрова, объясняются вліяніемъ переводовъ, которыми онъ занимался. Апулеевъ романъ и пісни

Оссіана сообщили имъ элементъ нѣжности; среди ихъ громко-торжественныхъ тоновъ слышны порою идиллическіе или эротическіе мотивы; наряду съ величественными образами Юпитера, Нептуна, Марса, Минервы являются образы другихъ языческихъ божествъ: Венеры, Зефировъ, Амура, Грацій, Нимфъ, Нереидъ и т. п. Такъ «Эпистола къ Суворову, на взятіе Измаила», подлѣ грознаго бога войны ставитъ Зефировъ и Венеру; такъ и въ «Письмѣ къ Державину», Нимфы внимаютъ стихамъ «Фелицы»: онѣ вышли изъ Невы, «нимѣ волосы, украшенные кораллами, и нѣжно колеблѣсь поверхъ зыбей». Подражаніе Апулеевой Психеѣ или Душенькѣ Богдановича наиболѣе замѣтно въ эллогѣ «Три граціи» (въ день рожденія в. к. Александры Павловны), въ идилліи «Каллидоръ» (въ именины И. И. Шувалова) и въ эротическихъ піесахъ. Въ похвалахъ отъ земли, произносимыхъ Евфросиной, читатель узнаетъ описаніе Душенькина сада, а похвала отъ лица моря, произнесенная другой граціей (Таліей), есть не что иное, какъ измѣненное описаніе морской поѣздки Венеры. Гораздо слабѣе подражаніе Оссіану; оно сказывается въ двухъ-трехъ мѣстахъ, не болѣе: въ уподобленіи россиянъ высокому холму, которое принадлежитъ къ частымъ мотивамъ Оссіанова эпоса, и въ обращеніи къ солнцу (Ода на открытіе губерніи въ Москвѣ, 1782), заимствованномъ изъ пѣсни барда Уллина по возвращеніи Фингала съ брани.

Непосредственное вліяніе англійской науки видно также на Михаилѣ Муравьевѣ (1757—1807), литераторѣ, получившемъ основательное и многостороннее образованіе. Знаніе древнихъ и новыхъ языковъ (греч., лат., франц., нѣм., англ. и итал.) доставило ему возможность читать въ подлинникахъ классическія произведенія ученыхъ и поэтовъ, переводить Горациа и Виргиліа и подражать имъ. По назначенію императрицы Екатерины II, онъ преподавалъ ей внукамъ, великимъ князьямъ Александру и Константину, русскую словесность, русскую исторію и нравственную философію. Содержаніе его уроковъ по этимъ предметамъ кратко изложено въ небольшихъ статьяхъ, изданныхъ подъ заглавіемъ: «Опыты исторіи, письменъ и правоученія» (1796). Въ руководство къ послѣдней наукѣ, Муравьевъ принялъ труды шотландскихъ философовъ: Адама Смита, Гютчесона, Фергюсона, Рида, Лорда и Кемса. Наиболѣе ссылается онъ на «Теорію нравственныхъ чувствованій», Смита, который выводитъ все ихъ многообразіе изъ одного начала—симпатіи, соединяющей насъ съ обществомъ и человечествомъ. За тѣмъ онъ пользовался изслѣдованіями Гютчесона «о происхожденіи идеи красоты и добродѣтели», доказавшими

существованіе врожденнаго нравственнаго чувства, которому также свойственно различать добродѣтель, какъ глазу свѣтъ и краснѣ. «Есть красота физическая, поражающая чувства наши въ твореніяхъ природы и искусствъ; есть и красота нравственная, ощутительная одному разумѣнію нашему, въ нравахъ, въ поступкахъ людей, въ ихъ чувствованіяхъ и словахъ... Не могутъ намъ нравиться недостатки тѣлесные, дурное обращеніе, глупость отвратительная; равно пороки внушаютъ ненависть». Лордъ Шефтсбюри сообщилъ Муравьеву раздѣленіе страстей на «корыстолюбивныя», имѣющія въ виду частное благо, и доброжелательныя которыми мы «переносимся въ состояніе другихъ и присвоаемъ себѣ счастье ближняго», равно какъ и оправданіе первыхъ, если только онѣ «не побуждаютъ пріобрѣтать частнаго блага посредствомъ общаго». У того же писателя заимствовано оптимистическое воззрѣніе на міръ: «самое зло, которое приключается намъ часто, ежели оно обращается во благо цѣлой, нами необъемлемой системы существованія, не заслуживаетъ именованія зла и не прекословить благодти Вышняго Существа». Понятія о добродѣтели, какъ высочайшемъ благѣ, о согласіи страстей съ разумомъ, о повсемѣстности счастья, разлитаго по всей природѣ, перешли въ сочиненія Муравьева изъ «Опыта о человѣкѣ».

Эти основы, или «черты», нравовченія отразились на чисто-литературныхъ трудахъ Муравьева. Чему училъ онъ въ своихъ урокахъ, то самое встрѣчается въ его стихахъ и прозѣ. Слѣдую Сниту, онъ самую благородною независимостію называетъ «независимость отъ внѣшнихъ случаевъ и отъ внутреннихъ колебаній и страстей»; слѣдую Попу, полагаетъ верховное счастье въ добродѣтели, а главное достоинство добродѣтельнаго человѣка во владѣтельствѣ надъ самимъ собою. Нравственное одобреніе, т. е. одобреніе совѣсти, ставитъ онъ выше всѣхъ возможныхъ наградъ, и потому требуетъ, чтобы отъ вниманія человѣка ни на одну минуту не урывался его «внутренній человѣкъ, сей полубогъ, живущій въ груди его», чтобы «очаи сего величественнаго обитателя онъ игралъ на все, до него касающееся». Нѣкоторые уроки Муравьева, освобождаясь отъ догматизма, принимали тонъ гораціанскаго посланія или гораціанской оды. Таковы статьи: «о блаженствѣ» и «о владѣтельствѣ надъ самимъ собою».

«Сочиненія Муравьева, говоритъ Карамзинъ, «изображаютъ прекрасную, нѣжную душу его, исполненную любви къ общему благу. Какъ онъ былъ въ мысляхъ и чувствованіяхъ, таковъ и въ дѣлахъ. Страсть къ ученію равнялась въ немъ съ страстію къ добродѣтели». Не всѣ знали и знаютъ его частную жизнь, но всѣмъ

образованнымъ Рускимъ должны быть извѣстны его общественныя, гражданскія заслуги. Императоръ Александръ I, по вступленіи на престолъ, приблизилъ къ себѣ своего бывшаго наставника. Состоя (1801) при особѣ государя у принятія прошеній, подаваемыхъ на высочайшее имя, Муравьевъ имѣлъ возможность высказывать постоянно одушевлявшую его любовь къ ближнимъ. Исторія народнаго просвѣщенія съ благодарностью отмѣчаетъ его дѣятельность, какъ товарища министра (1803), а въ исторіи московскаго университета онъ навсегда останется памятнымъ, какъ его попечитель, управленіе котораго дало новую жизнь этому учебному учрежденію. Ходатайству Муравьева Карамзинъ былъ обязанъ званіемъ историографа, которое позволило ему заняться «дѣломъ, славнымъ для самого автора и не безславнымъ для Россіи». Гдѣ предстояла надобность трудиться для успѣховъ искусствъ и наукъ, драгоценныхъ его сердцу, тамъ онъ почиталъ трудъ своимъ долгомъ, наградой и счастьемъ. Онъ былъ, употребляя его выраженіе, «всегда и вездѣ готовъ на пользу общую».

Костровъ (Ермилъ Ивановичъ, † 1796), сынъ государственнаго крестьянина вятской губ., учился сначала въ вятской семинаріи, потомъ въ московской духовной академіи, наконецъ въ московскомъ университетѣ, гдѣ получилъ степень бакалавра. Кромѣ стихотвореній на замѣчательныя событія, извѣстенъ какъ переводчикъ восьми съ половиною пѣсень *Иліады* (александрійскими стихами), Апулеева романа: «Превращеніе, или золотой оселъ», и гальскихъ стихотвореній: «Осіанъ, сынъ Фингаловъ, бардъ III вѣка» (Моя статья о сочиненіяхъ Кострова и Аблесимова, въ Отеч. Зап. 1831, № 9; «Костровъ», въ Филологическихъ Запискахъ 1876 г.).

Петровъ (Василій Петровичъ) обучался въ московской духовной академіи, гдѣ, по окончаніи курса, былъ преподавателемъ. Рекомендация Потемкина, товарища его по ученью, доставила ему въ 1769 г., мѣсто кабинетнаго переводчика и чтеца государыни. Потомъ былъ отправленъ въ Англію для образованія. По возвращеніи въ Петербургъ, опредѣленъ придворнымъ библіотекаремъ. Вышелъ въ отставку 1780 г. Сочиненія его изданы въ 1811 г.—Сатирическое его стихотвореніе: «Приключеніе Густава III, короля шведскаго, 1788 г. іюля 6», нап. въ Рус. Старинѣ 1878 г., т. 23.

М. Н. Муравьевъ род. въ Вологдѣ, воспитывался въ москов. университетѣ, гдѣ слушалъ лекціи философіи у Барсова и Шадена; признательность имъ выражена въ «Посланіи къ И. П. Тургеневу, товарищу его по ученью и другу. По окончаніи курса, служилъ въ гвардіи. Въ 1783 г. поступилъ въ число воспитателей при в. к. Александрѣ Павловичѣ и Константинѣ Павловичѣ. Въ 1800 г. назначенъ сенаторомъ, а въ 1801 состоялъ при императорѣ Александрѣ I у принятія прошеній, подаваемыхъ на высочайшее имя. Въ 1803 г. назначенъ товарищемъ министра народнаго просвѣщенія и попечителемъ московскаго университета, въ како-

номъ званіи и находился до самой смерти. Изданія его сочиненій, въ 2 ч. (1819, 1847, 1856).

Капнистъ (Василій Васильевичъ 1757—1824) род. въ имѣніи отца своего—деревнѣ Обуховкѣ (полтав. губ. миргородскаго уѣзда), которую изобразилъ въ особомъ стихотвореніи, подражая Горацию (кн. II, ода 18). Начальное воспитаніе получилъ дома, при чемъ хорошо ознакомился съ франц. языкомъ. Затѣмъ отвезенъ въ Петербургъ и помѣщенъ въ школу измайловскаго полка. Въ послѣдствіи перешелъ въ статскую службу (въ почтовомъ департаментѣ подъ начальствомъ Беабородки), но скоро вышелъ въ отставку и поселился въ деревнѣ. Капнистъ былъ знакомъ съ древними языками и любилъ особенно Горация. Замѣчательно его мнѣніе о способѣ переводить Гомера на рус. языкъ. Лирическія его стихотворенія (изданіе 1806) содержатъ въ себѣ оды духовныя, торжественныя, нравоучительныя, элегическія, горацианскія и анакреонтическія. Но онъ болѣе извѣстенъ какъ авторъ комедій Ябеда, чѣмъ какъ лирикъ. Собраніе его сочиненій издано Смирдиннымъ (1849).

§ 27. Репертуаръ нашего театра, до семидесятихъ годовъ, держался преимущественно на трагедіяхъ Сумарокова, комедіяхъ Мольера и другихъ піесахъ того же направленія, частію переводныхъ, частію принаровленныхъ къ русскимъ нравамъ. Подрывъ довѣрія къ ложно-классической системѣ, въ теоріи или на практикѣ, былъ бы сочтенъ за явный признакъ безвкусія. Петербургская сцена въ особенности хранила вѣрность преданіямъ французской Мельпомены. Сумароковъ, и до переѣзда своего въ Москву, и послѣ переѣзда, ревниво отстаивалъ неприкосновенность героической трагедіи, взирая на себя, какъ на присяжнаго ея цѣнителя и стража. Онъ могъ величаться этимъ дѣломъ, общимъ для него и для Вольтера, которому, подъ конецъ жизни, пришлось также обличать упадокъ драматической поэзіи во Франціи. Слова нашего сатирика: «ужели Москва повѣритъ болѣе подъячему, нежели г. Вольтеру и мнѣ?» имѣли значеніе, при всей ихъ комичности: они показывали однородность литературныхъ явленій въ двухъ разныхъ странахъ. Но это однообразіе театральнаго репертуара начинается, со второй половины прошлаго вѣка, оживляться притокомъ свѣжихъ элементовъ. Трагедіи и комедіи французскаго покроя, владѣвшія до того времени исключительнымъ вниманіемъ публики, встрѣчаютъ протитовѣсіе въ драмахъ инаго содержанія и иной формы. Новыя піесы переводятся и сочиняются болѣею частію въ Москвѣ; московская сцена охотно оказываетъ имъ радужный пріемъ, къ крайнему неудовольствію тѣхъ любителей театра, для которыхъ Расинъ и Мольеръ были единственными образцами. Восполняя односторонность прежняго направленія, давая болѣшій просторъ сценическому искусству, новыя піесы содѣйствовали успѣ-

камъ нашего театра и кромѣ того представляютъ извѣстный интересъ въ исторіи нашихъ эстетическихъ понятій.

Прежнее направленіе драмы поддерживалось столько же переводами, сколько подражаніями и оригинальными сочиненіями. Въ теченіе семидесятихъ и восьмидесятихъ годовъ перешли въ нашу литературу почти всѣ главнѣйшія піесы Корнея, Расина, Вольтера, Мольера. Нѣкоторые изъ нихъ были переводимы два и три раза; многія достигали втораго изданія. Княжнину (1742—1791) приписываютъ переложеніе бѣлыми стихами трагедій Корнея: Сидъ, Смерть Помпея и Цинна. Въ исторіи нашей драмы онъ слѣдуетъ непосредственно за Сумароковымъ, какъ его преемникъ. Въ трагедіяхъ своихъ: Дидона (1769), Владиміръ и Ярополкъ (1772), Рославъ (1784), Титово милосердіе (1785), Софонисба (1786), Владисанъ (1786) и Вадимъ (1789), онъ слѣдовалъ трагической системѣ французовъ. Ни въ содержаніи, ни въ формѣ ихъ нѣтъ того, что исторія поэтическихъ родовъ считаетъ существеннымъ успѣхомъ или по крайней мѣрѣ замѣчательнымъ видоизмѣненіемъ. Княжнинъ уступалъ своему предшественнику въ трагическомъ дарованіи, необходимомъ для самобытной дѣятельности каковаго бы то ни было размѣра. Пушкинъ былъ правъ, назвавъ его «переничивымъ». За исключеніемъ Рослава и Вадима, въ каждой піесѣ его очевидно подраженіе, которое иногда малымъ чѣмъ отличалось отъ перевода и доходило «до несправедливаго присвоенія чужой собственности»: такъ образцами «Дидоны, служили «Оставленная Дидона», Метастазія, и «Дидона», Лефрана-Помпильяна; въ «Ярополкъ и Владиміръ» скопирована Расинова «Андромаха»; «Софонисба» заимствована у Триссина и Вольтера, изъ піесъ того же названія; «Владисанъ» повторяетъ Вольтерову «Меропу». О «Титовомъ милосердіи» говорить нечего: оно почти цѣликомъ принадлежитъ Метастазію. Трагедіи Княжнина отличаются отъ трагедій Сумарокова несущественными, внѣшними свойствами, которыхъ, однакъ, не слѣдуетъ называть дѣйствительными преимуществами. Первое изъ этихъ отличій относится къ выраженію: Княжнинъ превосходитъ Сумарокова чистотою языка и болѣе складнымъ строеніемъ стиха, но за то въ его діалогѣ нѣтъ движенія, которое замѣтно у Сумарокова. Шумные монологи Княжнина поражаютъ читателя съ перваго раза, но не оставляютъ за собою внутренняго отголоска: это не драматизмъ, а риторика. Новостью у Княжнина былъ также сюжетъ Рослава, «гдѣ не обыкновенная страсть любви, которая на русскіихъ театрахъ только одна была представляема, но страсть великихъ душъ, любовь къ отечеству, изображена»; но эта новость касается перемѣны въ выборѣ трагической страсти, а

не эстетическаго выполненія. По выполненію, Рославъ вышелъ такимъ же сверхъестественнымъ чудомъ героизма, какъ Дмитрій Самозванецъ сверхъестественнымъ чудомъ зла. Важнѣйшимъ отличіемъ трагедій Княжнина служить, какъ намъ кажется, внушенное ему Корнелемъ стремленіе изображать качества «великихъ душъ». Долгу, которымъ заявляется гражданское величіе, отдаетъ онъ преимущество надъ любовью, въ которой женская натура выказываетъ свое торжество. Рославъ говоритъ:

Тиранка слабыхъ душъ, любовь—раба героя.
Коль счастья съ должностью не можно согласить,
Тогда пороченъ тотъ, кто хочетъ счастливъ быть.

Одипионъ, олицетвореніе суроваго Рима, безжалостно объявляетъ Массиниссъ (въ траг. Софонисба):

Священной должности я твердый исполнитель,
Для сей я должности и твой теперь мучитель.

Свадаль, вельможа Ярополга, облеченъ «жестокостью благонравія». Онъ положилъ влечь братьевъ-соперниковъ «отъ стыда къ славѣ», т. е. «отъ страсти къ должности». Онъ не измѣнитъ своимъ правиламъ, хотя бы отъ того рушился міръ. Человѣческая личность важна для него на столько, на сколько она способна къ героизму. Задумавъ исцѣлить Владиміра отъ злой страсти, онъ радостно восклицаетъ:

Исчезнетъ человѣкъ—останется герой!

Но величественное выражается въ трагедіяхъ Княжнина не столько дѣлами, сколько словами, и въ этихъ словахъ больше пышности и грома, чѣмъ истинной, душевной силы. Мерзляковъ, въ разборѣ Рослава, справедливо замѣтилъ, что этотъ герой, какъ молотомъ, поражаетъ датскаго короля Христіана громкими изреченіями, заимствованными у Корнеля, Расина и Вольтера (въ III явленіи 3-го дѣйствія).

По отношенію къ эпохѣ, трагедіи Княжнина стоятъ на ряду съ лучшими произведеніями современной имъ литературы. Въ нихъ разсѣяны здравыя понятія о человѣколюбіи, гражданскомъ долгѣ, истинной чести, высокомъ патріотизмѣ, составлявшія, такъ сказать, нравственный катихизисъ каждаго, кто причислялъ себя къ русскимъ европейцамъ XVIII в. Разговоры дѣйствующихъ лицъ выражаютъ благородный образъ мыслей автора, его безупречное служеніе музамъ:

Однѣ заслуги чтѣ, моя не подла муза;
Бѣжа порочнаго со лестію союза,
Въ терпѣніи своемъ несчастна, но тверда.
Не приносила жертвъ «фортуны» никогда.

Княжнинъ, говоря его словами, измѣрялъ заслуги «не по восторгу, а по уму», и оттого похвалы имъ «исполнены у него правды, а не мечты». Эту правдивую, умную похвалу видимъ въ «Титовомъ милосердіи», гдѣ римскій императоръ нерѣдко заступаетъ мѣсто русской царицы. Современные зрители такъ и понимали его дѣла и рѣчи. Они имѣли право ссылаться на кроткія мѣры «Наказа» противъ преступленій, когда слушали монологи о прощеніи порочному человѣку, сознавшему свои пороки, или о презрѣніи къ клеветникамъ, которые желали ложными слухами возстать Римъ противъ его владыки, или о томъ, что «нерѣдко въ строгости законы суть неправы». На дары, собранные отъ подвластныхъ народовъ, римляне хотѣли воздвигнуть Титу храмъ; сенатъ предложилъ ему имя отца отечества. Титъ не принялъ священнаго титула, довольный тѣмъ, что заслужилъ его, а дары велѣлъ раздать пострадавшимъ отъ изверженій Везувія. Прекрасный стихъ его:

Да будетъ храмъ мой—Римъ, алтарь—сердца гражданъ,

могъ быть примѣняемъ къ сходственнымъ событіямъ въ царствованіи Екатерины: она также отклонила отъ себя титулы «великой, премудрой и матери отечества», поднесенные ей общимъ собраніемъ депутатовъ (1767), замѣтивъ, въ отвѣтной рѣчи, что почитается за долгъ свой любить врученныхъ ей Богомъ подданныхъ и что быть отъ нихъ любимомъ есть ея желаніе; она же опредѣлила (1780) внести въ приказъ общественнаго призрѣнія, на полезныя дѣла, тѣ деньги, которыя собралъ дворянство петербургской губерніи, желавшее устроить торжественную ей встрѣчу по возвращеніи ея изъ поѣздки въ Бѣлоруссію.

Какъ человѣкъ образованный, искренно любившій словесность, какъ секретарь Бецкаго по управленію воспитательными учрежденіями, Княжнинъ былъ вполнѣ и открыто преданъ гуманнымъ идеямъ своего времени: поэтому въ его сочиненіяхъ нерѣдко встрѣчаемъ то самое, что намъ уже знакомо изъ другихъ авторовъ. Такъ «Рѣчь, произнесенная имъ въ академіи художествъ при первомъ выпускѣ ея питомцевъ (1779)», говоритъ о важности новаго воспитанія, которымъ «упадшее челоѣчество возводится на степень челоѣчества», о вредѣ разума безъ благонравія, этого «украшенія народовъ», о намѣреніи создать въ Россіи среднее

сословіе,—невиданную у насъ дотолѣ степень гражданства». «Послание къ потомкамъ свободныхъ художествъ (1783)», признавая необходимость просвѣщенія для художника, который «безъ наукъ равенъ ремесленнику», въ тоже время положительно утверждаетъ, что «исправленные нравы важнѣе наукъ», что «прежде всякихъ талантовъ намъ нуженъ человекъ». Въ эпоху литературной дѣятельности Княжнина, настроеніе умовъ или, выражаясь языкомъ тогдашняго времени, «умоположеніе» писателей было одинаковое. Каждый изъ нихъ старался, въ той или другой формѣ, заявить свои начала и тенденціи. Трагедія служила однимъ изъ лучшихъ къ тому средствъ: ея сюжеты сильнѣе дѣйствовали на воображеніе; ея стихи прочнѣе удерживались памятью. Вольтеръ давно уже показатъ, какъ можно сцену обратить въ трибуну и заставить трагическое чувство служить не искусству, а цѣлямъ, ему постороннимъ и отъ него не зависящимъ. Примѣръ его нашелъ подражателей въ Сумароковѣ, Княжнинѣ и другихъ, менѣе талантливыхъ авторахъ. Въ числѣ послѣднихъ долженъ быть упомянуть Николевъ (1758—1815). Москва видѣла въ немъ опаснаго соперника Княжнину. Особенный шумъ произвела его трагедія «Сорена (1785)», благодаря сильнымъ стихамъ (*des vers à retenir*), написаннымъ въ духѣ Вольтерова «Брута».

Въ комедіяхъ Княжнина много остроумія и соли; они принаровлены къ русской жизни, хотя и не могутъ назваться оригинальными; нѣкоторые изъ лицъ знакомятъ насъ съ современными нравами. По этимъ качествамъ, двѣ главныя его комедіи: «Хвастунъ (1786)» и «Чудаки (соч. 1790, нап. 1793)», долго держались на сценѣ и дали поводъ къ подражаніямъ, изъ которыхъ упомянемъ о «Новыхъ чудакахъ (1798)», кн. Алексѣя Голицына.

Сюжетъ «Хвастуна» заимствованъ изъ комедіи де-Врюйе: «*L'important de soug*». Идея комедіи—тщеславіе, стараніе «казаться, а не быть», стремленіе завѣрить другихъ въ своей знатности, въ величіи общественнаго положенія, въ силѣ вліянія на дѣла и людей. Средство, для того употребляемое—ложь, хвастовство, отъ чего пьеса и получила названіе: Верхолетъ (хвастунъ) хвалится своимъ значеніемъ при дворѣ, множествомъ должностей, имъ занимаемыхъ, властью раздавать какія-угодно мѣста, даже сенаторскія, перепиской съ королями. Цѣль хвастовства—жениться на дочери богатой и глупой госпожи Чванкиной, легко идущей на приманку тщеславія, какъ видно по ея фамиліи. Завѣявъ Хвастуна полагаетъ конецъ полиціи: благочинный уничтожаетъ его мнимое графство, отгрызаетъ всѣмъ глаза и сажаетъ обманщика въ сми-

рительный домъ. Служанка Марина заключаемъ піесу нравствен-
нымъ урокомъ:

Чтобъ глуно не упасть и чтобъ не осрамиться,
Такъ лучше не въ свои намъ сами не садиться.

Въ комедіи есть нѣкоторыя вѣрныя черты современныхъ нравовъ.
Запуганная Верхолетомъ, Чванкина боится признать Честона Чес-
тономъ, хотя и знаетъ его какъ самое-себя:

Такъ чтожъ, что ты Честонъ? хоть знаю, да не вѣрю.

Ея увѣренность, что «тотъ вѣчно не вздыхаетъ и постоянно ве-
сель, кто не глядѣлъ въ книги»; ея совѣты дочери, что «долженъ
завсегда чинъ чина почитать», и потому въ сердцѣ молодой дѣ-
вушки,

Чтобъ не подвергнуться законовъ строгихъ штрафу,
Такъ долженъ уступитъ дворянчикъ мѣсто графу;

досада Простодума на Честона, который не вѣритъ знатности
Простодума и котораго за то называетъ «сущимъ атеистомъ», при-
надлежать къ комическимъ сценамъ и выходкамъ и не остались
безъ подражанія. Для чего Простодуму (дядѣ Верхолета) хочется
сенаторскихъ креселъ? Что побуждаетъ его занять ту должность,

Въ которой, дѣйствуя, онъ только что вредитъ;
Не дѣйствуя, смѣшонъ, за то, что пнемъ сидитъ?

Конечно, не жажда полезной дѣятельности, а мелкое желаніе за-
дать страху сосѣдямъ-помѣщикамъ, удивить ихъ своимъ вельмо-
жествомъ:

Когда у насъ о томъ услышать въ деревняхъ,
Всплеснувъ руками, всѣ дворяне скажутъ: ахъ!
Которые себѣ въ богатствѣ мѣръ не ставятъ,
Которые меня своею спесью даятъ,
Увида пыхи тамъ вельможески мои,
Опустятъ крылышки, какъ мокры воробьи....
Я также ихъ пожму во время сенаторства
И покажу мои имъ разныя проворства.
Покрѣпче буду ихъ держать въ моихъ рукахъ
И, какъ на собственныхъ, на ихъ косить лугахъ.

Такъ точно въ комедіи «Ревизоръ» городничему хочется «влѣзть въ
генералн», чтобы имѣть удовольствіе обѣдать вмѣстѣ съ губерна-
торомъ и безъ задержки получать почтовыхъ лошадей.

Покровительство Верхолета обходится дядѣ не дешево: послѣдній предлагаетъ ему три тысячи рублей, которые скопилъ

Не хлѣбомъ, не скотомъ, не выводомъ телятокъ,
Но кстаги въ рекруты торгуючи людьми.

Любопытны прошенія, поданныя Верхолету (дѣйствіе II, явленіе 4): въ одномъ представленъ сочинитель похвальныхъ одъ, начертанный и Крыловымъ въ повѣсти «Канбъ», и Клупинимъ въ «Портретахъ», подъ именемъ Одохвата (Зритель, 1792); въ другомъ является Мерсье де ла Ривьеръ, приглашенный Екаториною въ Россію (1775) для совѣтовъ по законодательству, но по своимъ прозектамъ, самолюбію и тщеславію оказавшійся смѣшнымъ, почему и былъ выведенъ въ пьесѣ: «Управляловъ», написанной графомъ Кобенцелемъ, австрійскимъ посланникомъ при нашемъ дворѣ. На подобныхъ искателей фортуны указываетъ также статья Зрителя: «Передняя знатнаго барина».

Вторая комедія Княжнина имѣетъ много общаго съ «Страннымъ челоѣкомъ» (*L'homme singulier*), Детуша, но отличается отъ французской пьесы тѣмъ, что выставляетъ не одного чудака, а цѣлую галерею чудаковъ, почему и заключена такими стихами:

...Всякій, много ли въ мало, но чудакъ,
И глупость, предстои при каждаго рожденьѣ,
Намъ всѣмъ дурачиться даетъ благословенье.

«Чудаки» собственно не комедія, т. е. не органическое развитіе единого комическаго дѣйствія, а собраніе характеровъ или портретовъ, съ которыми зритель знакомится въ отдѣльных сценахъ, не представляющихъ внутренней необходимости и связи. Первый между ними — Лентягинъ, сынъ кузнеца, недавно вышедшій изъ дворянство, владѣлецъ «несмѣтнаго богатства». Онъ пріѣхалъ изъ провинціи въ столицу для пріискаванія достойнаго жениха своей дочери Улинькѣ. Подражая Детушу, Княжнинъ сдѣлалъ Лентягина философомъ, ведущимъ жизнь по-своему, совершенно иначе, чѣмъ всѣ другіе. Какъ у Детуша «Странный челоѣкъ» называетъ своего слугу «monsieur», обнимаетъ его и самаетъ съ собой рядомъ, одѣвается по старомодному, уѣзжаетъ въ деревню на зиму, когда всѣ сѣзжаются въ городъ, и остается въ городѣ въ то время, когда всѣ живутъ на дачахъ, не провожаетъ никогда своихъ гостей, находя вѣжливость пустымъ обычаемъ, среди столицы ведетъ отшельническую жизнь и не хочетъ посылать за нотариусомъ для подписанія контракта, безъ котораго не можетъ обойтись дѣло: такъ и у Княжнина Лентягинъ смѣется надъ всѣми

общественными условіями и обычаями, не хочет писать рядной, говорить слугѣ своему (Пролазу) «вы» вмѣсто «ты», называетъ его другомъ и наконецъ простираетъ свою любовь къ нему до того, что хочетъ не только передать ему все свое имѣніе, но даже и выдать за него свою единственную дочь—хотя не прошло еще и одного дня, какъ Пролазъ нанялся къ нему въ услуженіе. Ясно, что странности Лентягина изъ рукъ вонъ и становятся дикими, чудовищными каррикатурами. Онѣ не могутъ быть оправданы никакими побужденіями — ни умственными, ни нравственными. Его «философствованіе по своему» есть просто самодурство. Лентягина, тревожимая бѣсомъ тщеславія — другой экземпляръ Чванкиной, только поумнѣе: у ней, по словамъ ея мужа, «лихорадка спеси и знатности». Вѣтрамахъ, одинъ изъ претендентовъ на руку Улиньки—хвастунъ и петиметръ, помѣшанный на чванствѣ своей знатною породой и на галломаніи. Другой искаатель Улинькиной руки, Пріятъ, представляетъ пасторальный сентиментализмъ. Онъ принадлежитъ къ числу тѣхъ юношей, которые, начитавшись идиллій и романовъ, мечтали устроить себя по образу аркадскихъ пастушковъ. Вотъ его портретъ:

Во фракѣ мердоа и въ розовомъ платочкѣ,
По вечерамъ одинъ задумчивъ и смущенъ,
Такъ томенъ и унылъ, какъ будто селадонъ,
По рощамъ и лугамъ съ овечками гуляетъ,
Иль подъ окномъ своимъ по холоду пылаетъ.

Разговоръ Пріята—«чепуха сладкихъ словъ»; его желаніе—«вздыхать у ногъ своей возлюбленной

На магенькихъ лугахъ между цвѣтовъ у рѣчки,
Пасутся издали невинны гдѣ овечки».

Имя «Семень» кажется ему жесткимъ, почему онъ и не рѣшается принять его даже на время, даже для собственной пользы:

Не лучше ль Филимонъ, иль Тирсизъ, или Арсамъ,
Или хотя Аркасъ?

Буколическая чувствительность вычитывалась нашими юношами и дѣвками изъ эклогъ и романовъ, которыхъ, до появленія «Чудаковъ», уже достаточно было въ нашей литературѣ. — Оригинальная комическая опера: «Несчастіе отъ кареты (1779)», имѣла большой успѣхъ, какъ по сюжету, такъ по веселости и комизму. Княжнинъ представилъ въ ней роскошь и мотовство знатныхъ бояръ, ихъ пристрастіе къ парижскимъ модамъ и французскому языку въ лицѣ

господина Фирюлина и его супруги. Фирюлину понадобилась къ празднику новая карета, вывезенная изъ Парижа, и по этому случаю онъ пишетъ прикащику: «О ты, котораго глупымъ и варварскимъ именемъ Клементія донинѣ безчестили! изъ особенной моей къ тебѣ милости за то, что ты большую часть крестьянъ одѣлъ по французски, жалую тебя Клеманомъ.... Ты мнѣ писалъ, что хлѣбъ не родился: это дѣло не мое, и я не виноватъ, что и земля у насъ хуже французской. Я тебѣ приказываю и прошу, не погуби меня; найди, гдѣ хочешь, денегъ. Теперь уже ты Клеманъ и носишь, по моей сеньерской милости, платье французскаго барина. И такъ должно быть тебѣ умнѣе и проворнѣе. Мало ли есть способовъ достать денегъ! Напримѣръ, нѣтъ ли у васъ на продажу годныхъ людей въ рекруты? Нахватая ихъ и продай». Исполняя господскую волю, прикащикъ схватилъ самаго рослаго парня, Лукьяна, влюбленнаго въ Анюту. «Самъ виноватъ!» говорить бѣднягѣ барскій шутъ: «ты выросъ такъ, что можно на тебя купить около трети кареты; не выростать было такъ дорого». Но, посмѣясь надъ ростомъ Лукьяна, шутъ спасаетъ его отъ бѣды. Онъ выучилъ и его и Анюту двумъ-тремъ французскимъ словамъ. Фирюлины, прїѣхавъ въ деревню, восхитились такою рѣдкостью. «*Parbleu!*» говорить Фирюлинъ: «я этому бѣ не повѣрилъ, чтобы и русскіе люди могли такъ нѣжно любить. Я внѣ себя отъ удивленія! Да не во Франціи ль я? Что онъ чувствуетъ любовь, тому не такъ дивлюсь,—но онъ говорить по французски!» Такимъ образомъ, по замѣчанію шута, «два французскія слова вытасили жалость, оставленную во Франціи». Лукьяна не только не продаютъ въ рекруты, но женятъ на Анютѣ и берутъ въ камердинеры. А карета? «Развѣ вы изволили отдумать карету покупать?» спрашиваетъ прикащикъ своего барина. «Нѣтъ», отвѣчаетъ баринъ, «но у меня еще много людей и безъ него».

Переходимъ къ новымъ явленіямъ театральнаго репертуара. Между ними первое мѣсто занимаетъ такъ называемая мѣщанская трагедія». Этотъ видъ драмы, почти одновременно возникшій въ Англіи и Франціи, былъ естественнымъ слѣдствіемъ переменъ, произведенной въ гражданскомъ быту этихъ странъ упадкомъ феодализма и возвышеніемъ средняго сословія. Ни романтическія повѣсти, ни греческій котурнъ не плѣняли уже болѣе того общества, основами котораго сдѣлалось развитіе личности, благосостояніе всѣхъ и каждаго, нравственное достоинство частной жизни, и для котораго страданія и радости окружающей среды, маловажныя, но тѣмъ не менѣе законные случаи повседневности представляли больше интереса, чѣмъ приключенія грековъ и римлянъ. Непо-

средственнымъ выраженіемъ этого прозаическаго, но честнаго образа мыслей и поступковъ, этого мѣщанства, добившагося своихъ правъ и отличнаго по своему характеру и жизни отъ феодаловъ, этой степенности домашняго быта, смѣнявшей распущенность великосвѣтскихъ нравовъ, служили съ одной стороны изданія Стиля и Аддисона, а съ другой тѣсно съ ними связанныя семейныя романы. Тоже самое моральное направленіе стало предметомъ и трагедій, которая, будучи занята новымъ сословіемъ, а не дворомъ и аристократизмомъ, получила названіе мѣщанской. Она поставила себѣ цѣлью содѣйствовать нравственному облагороженію зрителей и съ перваго же раза объявила открытую вражду законамъ и условіямъ ложно-классицизма. Лилло, авторъ первой мѣщанской трагедіи: «Георгъ Барнвелъ или лондонскій купецъ (1781)», десятью годами опередившей Ричардсонову «Памелу (1740)» и имѣвшей чрезвычайный успѣхъ, писалъ прозой не потому только, что этотъ видъ рѣчи свойственнѣе сюжету его піесъ, но и потому, что французскіе трагики пренебрегали прозой; онъ часто мѣнялъ время и мѣсто дѣйствія не потому только, что того требовало дѣйствіе, но и вопреки правилу о знаменитыхъ трехъ единствахъ. За Лилло слѣдовали Муръ, авторъ «Игрока (1758)», и Кумберландъ, авторъ трехъ піесъ: «Враты», «Американецъ» и «Жидъ». Хотя всѣ эти трогательныя піесы лишены глубокой художественной идеи; хотя сожалѣніе, ими производимое, не одно и тоже съ чувствомъ трагическаго состраданія; хотя недостатокъ идеальнаго представленія есть такая же ихъ односторонность, какъ недостатокъ истины есть односторонность французской драмы: но тѣмъ не менѣе онъ принадлежать къ замѣчательнымъ фактамъ въ развитіи драмы, какъ одинъ изъ его моментовъ. Выбравъ своимъ предметомъ среднее сословіе, бывшее до того времени добычею сатирическаго глумленія, мѣщанская трагедія отвела ему въ поэзіи такое же почтенное мѣсто, какимъ оно начало пользоваться въ обществѣ; сообщивъ своимъ представленіямъ нравоучительный характеръ, она противодѣйствовала скандалу тѣхъ піесъ, которыя при послѣднихъ Стюартахъ служили зеркаломъ вольныхъ нравовъ; пренебрегнувъ въ своей постройкѣ правилами и преданіями лжеклассицизма, обратила театръ къ народности, забытой литераторами.

Одинаковыя причины произвели и одинаковыя слѣдствія на театрѣ французскомъ, который не могъ уже отвѣчать новымъ потребностямъ. Прежде рѣзкимъ различіемъ родовъ и лицъ, трагическихъ, или комическихъ, выборомъ сюжетовъ, составомъ дѣйствія, онъ въ точности изображалъ то отборное, изящное общество, гдѣ аристократія задавала тонъ и направляла вкусъ. Но когда

дворянство начало грубѣть и падать, а среднее сословіе сознавать свою силу и возвышаться; когда общественные классы сближались по образованію: тогда и въ драмѣ, какъ такомъ родѣ поэзіи, который по преимуществу выражаетъ общество, должны были произойти перемены. Героническая трагедія держалась еще авторитетомъ Вольтера. Онъ и послѣ него Дюси старались сдѣлать въ ней нѣкоторыя преобразованія, не сомнѣваясь однакожъ въ ея превосходствѣ и долговѣчности. Но рядомъ съ этими попытками Вольтера возникаетъ драма иного содержанія и иной формы. По содержанію, она выводитъ на сцену мѣщанство; по формѣ, расширяетъ узкія рамки классицизма и стремится къ естественности изображеній, къ живописи подробностей. Мариво, Детушъ и Лашоссе положили основаніе этому новому роду драмы, подъ именемъ «слезной комедіи» или семейной трагедіи, такъ какъ она изображала частную жизнь съ ясно выступающею моральною тенденціей—трогать и улучшать. Внутренняя связь между «слезной комедіей» и «мѣщанской трагедіей» объясняется какъ однородностью общественныхъ явленій въ Англіи и Франціи, такъ частію и подражаніемъ. Многія произведенія англійской словесности были переведены на францужскій языкъ; французскіе литераторы (Прево и Детушъ) посѣтили Англію; по примѣру Аддисонова Зрителя, Мариво издавалъ «Французскій Зритель». Теорія новаго вида драматической поэзіи изложена Дидро. Между двумя, строго разграниченными родами, трагедіей и комедіей, онъ вводитъ средній, соотвѣствующій особенному настроенію духа, среднему между радостью и скорбію. Сюда онъ относитъ трогательную, или слезную, комедію и мѣщанскую трагедію. Теорію свою Дидро подкрѣпилъ двумя піесами: «Побочный сынъ (1757)» и «Отецъ семейства (1758)». За нимъ слѣдовали Седенъ, Бомарше и Себастьянъ Мерсье. Бомарше написалъ «Евгенію (1767)» и «Мать преступницу». Въ предисловіи къ первой піесѣ изложена имъ теорія серьезной драмы, занимающей средину между героической трагедіей и шутивой комедіей. Здѣсь въ первый разъ слезная комедія названа «драмой»: названіе это и сохранилось въ пятнадцатомъ словарѣ для означенія третьяго рода драматической поэзіи. Лессингъ, усвоивъ взгляды Дидро, возвелъ мѣщанскую трагедію на высоту художественнаго созданія: его «Минна фонъ Барнхельмъ (1767)» и «Эмилія Галотти (1772)» имѣютъ идеальную, общечеловѣческую подкладку. Въ послѣдствіи Ифландъ, Шрёдеръ и Коцебу обогатили нѣмецкій репертуаръ множествомъ трогательныхъ піесъ, не отличающихся ни глубиною содержанія, ни поэтическимъ достоинствомъ.

Время появленія мѣщанскихъ драмъ въ нашей литературѣ совпадаетъ также со временемъ періодическихъ изданій 1769—74 г. Еще до этой эпохи были переведены: «Лондонскій купецъ, или приключенія Георга Барневеля» (1764), Детушева «Притворная Агнеса» (1764), Дидро «Чадолюбивый отецъ», т. е. «Père de famille» (1765), и «Побочный сынъ». Переводъ «Евгенія», Бомарше, напечатанъ въ 1770 г. Французская передѣлка піесы Мура: «Игрокъ», подъ заглавіемъ «Беверлей, взятымъ отъ имени главнаго лица, явилась у насъ въ переводѣ автора Дмитревскаго (1773). За послѣднее тридцатилѣтіе прошлаго вѣка въ литературу нашу перешли и другія драмы вышеуказанныхъ писателей: Мариво—«Игра любви и случая» (1769) и «Вторично ввравшаяся любовь» (1773); Седена—«Deserteur», въ двухъ переводахъ («Бѣглецъ», 1781, и «Бѣглый солдатъ», 1793); Мерсье—«Женневаль, или французскій Барневель» (1778), «Ложный другъ» (1779), «Бѣглецъ» (1784), «Укусникъ» (1785), «Судья» (1788), «Зоя» (1789) и «Наталія» (1794); Лессинга—«Сара Сампсонъ» и «Эмилія Галотти», въ двухъ переводахъ (1784 и 1788), изъ которыхъ второй принадлежит Карамзину. За переводами слѣдовали подражанія и оригинальныя піесы въ томъ же родѣ. «Адская почта» отозвалась съ похвалою о театральныхъ сочиненіяхъ Н. (можетъ быть Семена Нарышкина, автора комедіи «Истинное дружество»), написанныхъ во вкусѣ Дидро. Комедія Верекина «Такъ и должно» (1773), рассчитывала больше на трогательный эффектъ, чѣмъ на комическій, какъ объяснилъ самъ авторъ въ ея посвященіи. Между сочиненіями Хераскова есть двѣ слезныя драмы: «Другъ несчастныхъ» (1774) и «Гонимые» (1775). Къ 1776 г. относится мѣщанская трагедія: «Человѣколюбіе, или картина бѣдности». Сюжетъ другой мѣщанской трагедіи, подъ названіемъ «Бѣдство, произведенное страстію» (1781), заимствованъ изъ повѣсти Арно: «Адельсонъ и Сальвини». Въ драмѣ «Друзья соперники» (1782), по словамъ «Драматическаго Словаря», «добродѣтель, благодарность, дружба и любовь представлены блестящими, а лицемерство и злоба гнусными.»

При нѣкоторомъ сходствѣ въ исторіи мѣщанской драмы на нашей сценѣ съ ея исторіей въ Англіи и Франціи, нельзя объяснять его тѣми самыми обстоятельствами, какія имѣли мѣсто на западѣ. Тамъ она была дѣйствительнымъ выраженіемъ переменъ, происшедшей въ положеніи общественныхъ классовъ; у насъ такой переменъ не существовало. Дворянство, какъ и прежде, стояло у насъ во главѣ образованности; о созданіи «третьяго чина» начали только думать, какъ намъ извѣстно изъ разсужденій Еватеринны и

Безаго и нѣкоторыхъ принятыхъ къ тому мѣру. Объясняя успѣхъ «Живописца» тѣмъ, что онъ пришелъ на вкусъ нашихъ «мѣщанъ», Новиковъ разумѣлъ подъ этимъ словомъ не среднее сословіе (въ смыслѣ tiers-état), а среднюю и низшую степени грамотныхъ людей. Появленіе мѣщанскихъ, или гражданскихъ, трагедій въ нашей литературѣ и благосклонный приемъ ихъ публикою имѣли однакожъ свои основанія, между которыми подражательность занимала, конечно, важное мѣсто. Успѣхъ извѣстныхъ-либо піесъ во Франціи служилъ уже достаточнымъ поводомъ и для нашего къ нимъ вниманія. Черезъ три года послѣ того, какъ «Евгенія» была представлена на парижской сценѣ, она переводится и разыгрывается въ Москвѣ. Однообразие въ содержаніи и формѣ классической трагедіи также заставило зрителей желать смѣны ея другимъ видомъ драмы, болѣе простымъ и естественнымъ. Елагинъ справедливо писалъ Сумарокову, что, давая однѣ его трагедіи, онъ боится наскучить публикѣ. Само собою разумѣется, что и гуманныя начала XVIII в. не остались безъ замѣтнаго вліянія на успѣхъ нашей мѣщанской драмы, которая имѣетъ своимъ предметомъ жизнь и нравы большинства, а не подвиги немногихъ героевъ. Русская публика чувствовала то самое, что говорилъ Лессингъ въ предисловіи къ одной изъ своихъ піесъ: «несчастія близкихъ къ намъ людей сильнѣе дѣйствуютъ на душу; имена полубоговъ и царей сообщаютъ піесѣ блескъ и величіе, но не производятъ такого трогательнаго впечатлѣнія». Переводчикъ «Побочнаго сына» (1788) обратился къ читателю съ такими словами: «Неужели несчастія однихъ токмо знатныхъ людей, героевъ, завоевателей имперій, или разорителей многихъ народовъ, заслуживаютъ общую чувствительность, а участь прочихъ добрыхъ людей нашего вниманія недостойна и никакихъ впечатлѣній въ насъ произвести не можетъ? Предразсужденіе управлять нравами. Но не должно ли, чтобы разумъ когда нибудь хотя слегка просвѣщалъ оныя?» Замѣчательно, что мѣщанскія драмы пользовались особеннымъ успѣхомъ въ Москвѣ, гдѣ больше того сорта людей, которыхъ Новиковъ называлъ мѣщанами; онѣ, по словамъ Сумарокова, «вползли уже въ этотъ городъ, не смѣя появиться въ Петербургѣ.»

Какъ во Франціи Вольтеръ поддерживалъ классическую трагедію, такъ у насъ Сумароковъ принялъ подъ свою защиту «Мольеровъ и Расиновъ вкусъ». Въ предисловіи къ «Димитрію Самозванцу», онъ честитъ слезныя комедіи «пакостнымъ родомъ», а сочувствіе къ нимъ москвичей «скарёднымъ вкусомъ, не принадлежащимъ въку великія Екатерины». Раздраженный успѣхомъ новыхъ піесъ, онъ, въ письмѣ къ Вольтеру, излилъ свою жалобу на упадокъ русской

Мельпомены и Талии. Отвѣтъ Вольтера (1769 г.) повторяетъ прежнее его мнѣніе о мѣщанской драмѣ, какъ о незаконномъ вырождѣ поэзіи: «*ces piéces batardes ne sont ni tragédies, ni comédies; quand on n'a point de chevaux, on est trop heureux de se faire traîner par des mulets*». Получивъ такое сильное подкрѣпленіе, Сумароковъ, въ томъ же предисловіи, напалъ и на переводчика Евгениі, и на посѣтителей театра за рукоплесканіе актерамъ. Онъ говоритъ: «*сіе рукоплесканіе переводчикъ оныя драмы, какой-то подъячій, до небесъ возноситъ; соплетая зрителямъ похвалу и утверждая вкусъ ихъ. Подъячій сталъ судіею Парнаса и утвердителемъ вкуса московской публики!* Конечно, скоро преставленіе свѣта будетъ. Но не ужели Москва болѣе повѣрить подъячему, нежели г. Вольтеру и мнѣ? и не ужели вкусъ жителей московскихъ сходитъ со вкусомъ сего подъячаго?.. А ежели ни г. Вольтеру, ни мнѣ нитю въ этомъ повѣрить не хочетъ, такъ я похваляю и такой вкусъ, когда щи съ сахаромъ кушать будутъ, чай пить съ солью, кофе съ чеснокомъ, и съ молебномъ совокупять панихиду. Между Талии и Мельпомены различіе таково, каково между дня и ночи, между жара и стужи, и какаа между разумными зрителями драмы и между безумными. Не по количеству голосовъ, но по качеству утверждается достоинство вещи; а качество имѣетъ основаніе на истинѣ:

Достоинной похвалы невѣжи не умалятъ;
А то не похвала, когда невѣжи хвалятъ..

Не смотря на угрозы именемъ Вольтера и насмѣшки, Москва продолжала восхищаться мѣщанскими драмами. Антагонизмъ между столичными театрами, изъ которыхъ на одномъ еще господствовала классическая драма, а на другой «вползли новыя скаредныя піесы», отразился въ журналахъ. Такъ, напримѣръ, московская публика любила представленія Эмилиі Галотти. Разборъ ея, написанный, вѣроятно, самимъ переводчикомъ (Карамзинимъ) и помѣщенный въ первомъ году издававшагося имъ Московскаго журнала (1791), показываетъ въ критикѣ живое чувство истины, здравыя эстетическія понятія. Не таковы были понятія «Сп.бурскаго Меркурія». Къ переводу Вольтерова «разсужденія объ англійской трагедіи», въ томъ мѣстѣ, гдѣ піесы Шекспира названы чудобразными игрищами, Клушинъ дѣлаетъ слѣдующую замѣтку: «что же бы сказалъ г. Вольтеръ о многихъ нѣмецкихъ драматическихъ твореніяхъ, сихъ безобразныхъ вырождахъ литературы, въ которыхъ нѣтъ никакихъ правилъ, даже самаго важнѣйшаго—единства дѣйствія? Чтобы сказалъ онъ о сихъ удивительныхъ піесахъ,

которыя суть ни трагедіи, ни комедіи, гдѣ смѣшанъ цѣль съ смѣхомъ безъ всякой нужды; гдѣ эпизоды затмѣваютъ самое дѣйствіе; гдѣ разговоры пустые и слабые, дѣйствующія лица карриатурныя; гдѣ все обезображиваетъ вкусъ и правила? О піесахъ, каковы суть: Разбойники (Шиллера, пер. 1793), Сара Сампсонъ, Эмилія Галотти, Ненависть къ людямъ и раскаяніе (Коцебу, пер. 1792), и пр. и пр.? Ежели не болѣе, то, конечно, тоже, что говоритъ Гораций въ посланіи къ Пизонамъ. И есть люди, которые предпочитаютъ нѣмецкія драмы французскимъ! Отъ чего же? Отъ того только, что, читая послѣднія, не понимаютъ, какимъ образомъ играть ихъ. Что думать о сихъ знатокахъ? Или что они не знаютъ правилъ театральныхъ, какъ и того, что значить самая драма, или слѣпое имѣютъ пристрастіе къ нѣмцамъ.

Постепенное освобожденіе русскаго театра отъ стѣснительныхъ правилъ лжеклассицизма могло совершаться не одними слезными комедіями, которыя, за исключеніемъ піесъ Лессинга, страдаютъ скудостью поэтическаго достоинства. Были и другія средства для того, чтобы обнаружить односторонность французскаго вліянія. Намлучшее между ними состояло въ знакомствѣ нашей литературы съ первоклассными драматургами Англіи и Германіи. Выше былъ упомянутъ переводъ «Разбойниковъ» Шиллера, но за нѣсколько лѣтъ до этого мы уже имѣли переводы изъ Гете и Шекспира, котораго называли Шавеспеаромъ, Шекеспиромъ и даже Чексперомъ. Переводъ драмы Гете «Клавиго» нап. въ 1780 г.; одна трагедія Шекспира: «Жизнь и смерть Ричарда III, короля англійскаго» переведена была въ Нижнемъ-Новгородѣ 1783 (нап. 1787), а другая: «Юлій Цесарь», въ Москвѣ, Карамзиннымъ, 1786 (нап. 1787). Кромѣ «Евгенія», въ 1787 представлена была другая, знаменитая піеса Вольтера: «Фигарова женитьба». Самая попытка увлечься отъ господствующаго вкуса и находить драматическія красоты въ «чудообразныхъ игрищахъ» того трагика, котораго Вольтеръ называлъ «дикаремъ», требовала извѣстнаго мужества. Тѣмъ болѣе чести литераторамъ, которые рѣшились плыть противъ общаго теченія, перевода Шекспира, или подражая ему, или разясняя художественное значеніе его піесъ. Труды ихъ имѣли свою долю вліянія и на успѣхъ нашей сцены, и на очищеніе нашихъ эстетическихъ понятій отъ исключительно-французской теоріи. Мы уже знаемъ, что Шекспиръ былъ извѣстенъ Сумарокову въ псевдо-классическихъ передѣлкахъ; что одинъ монологъ Самозванца есть подражаніе монологу Ричарда III; что комедія Екатерины: «Вотъ каково имѣть корзину и бѣлье!» заимствована изъ Шекспировыхъ «Вандзорскихъ вумушекъ»; что «Историческое представленіе изъ

жизни Рюрика» и «Начальное управление Олега» написаны ею, въ подражаніе Шекспиру,» безъ сохраненія обыкновенныхъ правилъ». Въ сужденіяхъ своихъ о достоинствахъ и недостаткахъ англійскаго трагика журналы наши раздѣлились на два противные лагеря. Большинство критиковъ вторило Вольтеру о немъ приговору, изложенному Карамзинимъ въ предисловіи къ переводу Юлія Цесаря, а именно: что Шекспиръ писалъ безъ правилъ; что творенія его суть и трагедіи и комедіи вмѣстѣ, или траги-коми-лирико-пастушьи фарсы безъ плана, безъ связи въ сценахъ, безъ единствъ, непріятная смѣсь высокаго и низкаго, трогательнаго и смѣшнаго, истинной и ложной остроты, забавнаго и безсмысленнаго; что они исполнены такихъ мыслей, которыя достойны мудреца, и притомъ такого вздора, который только шута достоинъ; что въ нихъ рядомъ съ картинами, которыя принесли бы честь самому Гомеру, являются и каррикатуры, которыхъ устыдился бы и самъ Скарронъ. Адская Почта хотя и признаетъ въ Шекспирѣ «высокомысліе, остроуміе и ученость», но въ то же время находитъ, что онъ былъ «упрямъ и не хорошаго вкуса»: «въ его трагедіяхъ», говоритъ она, «характеры людей безъ разбору описаны и переиъшаны; въ его Юліи Кесарѣ шутки, римскимъ грубымъ художникамъ приличныя, введены въ важнѣйшую сцену Брута и Кассія». Гораздо непочтительнѣе обошелся съ Шекспиромъ «Зритель (1792)». По поводу споровъ, завязанныхъ статью «о театрѣ и о свойствахъ россійскихъ душъ», авторъ этой статьи, Плавильщиковъ, возражая своему антагонисту, говоритъ: «А для героевъ вы хотите, чтобъ родился у насъ Чексперъ?... Вотъ изряднаго нашли вы опредѣлителя вкуса! и видно вы, его начитавшись, заключаете вкусъ въ тѣсныя предѣлы рынковъ и кабаковъ». Когда съ такими взглядами на драму и великаго ея представителя мы сравнимъ предисловіе Карамзина къ переводу Юлія Цесаря и нѣкоторыя мѣста его путевыхъ писемъ, подъ 1790 г., то ясно увидимъ, насколько онъ, двадцатилѣтній юноша, стоялъ выше современныхъ ему цѣнителей изящнаго по уму, образованію и эстетическому вкусу. Мнѣніе его о сущности трагедіи, основанное на знакомствѣ съ литературами нѣмецкой и англійской, не поколебалось ни отъ авторитета Вольтера, ни отъ общаго стремленія къ французскому классицизму. Восторженное сочувствіе его къ первому трагику выражено также въ стихотвореніи «Поэзія» (1787):

Шекспиръ, натуры другъ! кто лучше твоего
Позналъ сердца людей? Чья кисть съ такимъ искусствомъ
Живописала ихъ? Во глубинѣ души
Нашелъ ты ключъ къ великимъ тайнамъ рока,

И свѣтомъ своего безсмертнаго ума,
Какъ солнцемъ, озарилъ пути ночные жизни.

Стремленіе къ самобытности было третьимъ новымъ явленіемъ въ исторіи нашей драмы Екатеринана вѣка. Хотя оно больше высказывалось теоретически, чѣмъ осуществлялось на дѣлѣ, однакожъ самое недовольство театромъ, который держался переводами и подражаніями, служило добрымъ знакомъ, обнаруживая сознание литературной односторонности и заявляя требованія болѣе развитаго вкуса. Честь перваго мнѣнія о необходимости народнаго элемента въ драмѣ принадлежитъ Владиміру Лукинну. Предисловія къ его сочиненіямъ и переводамъ (2 ч., 1765) содержатъ въ себѣ критику современной комедіи, какъ таковой, которая цѣликомъ переноситъ чуждые нравы на русскую сцену. Не допуская подражанія иностраннымъ піесамъ, онъ допускаетъ ихъ передѣлку на слѣдующемъ основаніи: «Подражать и передѣлывать—великая разница. Подражать значить брать или характеръ, или нѣкоторую часть содержанія, или нѣчто весьма малое и отдѣленное и такъ нѣсколько заимствовать; а передѣлывать значить нѣчто включить или исключить, а прочее, т. е. главное, оставить и склонять на наши нравы». Ясно, что критикъ подъ передѣлкой понимаетъ склоненіе нерусской піесы на русскіе нравы, т. е. внесеніе въ нее національнаго элемента. Въ передѣлкѣ онъ видитъ успѣхъ комедіи, которой, по тогдашнимъ понятіямъ, вмѣнялось въ обязанность имѣть моральную цѣль; а этого она могла достигнуть не иначе, какъ представляя знакомые зрителямъ характеры, имена, костюмы, рѣчи. «Мнѣ всегда несвойственно казалось», говоритъ Лукинъ, «слышать чужестранныя реченія въ такихъ сочиненіяхъ, которыя должны изображеніемъ нашихъ нравовъ исправить не только общіе всего свѣта, но болѣе участные нашего народа пороки; и неоднократно слыхалъ я отъ нѣкоторыхъ зрителей, что не только ихъ разсудку, но и слуху противно бываетъ, ежели лица, хотя по нѣскольку на наши нравы подходящія, называются въ представленіи Клитандромъ, Дорантомъ, Цитадиномъ и Кладіномъ и говорятъ рѣчи, не наше поведеніе знаменующія. Негодованіе сихъ зрителей давно почиталъ я правильнымъ... Многіе зрители отъ комедій въ чужихъ нравахъ не получаютъ никакого поправленія: они мыслятъ, что не ихъ, а чужестранцевъ осмѣиваютъ; да и то имъ примѣтно, что осмѣиваемые образцы не только несвойственно нашимъ нравамъ изъясняются, но и одѣты въ незнакомыя имъ одежды... Всякій невныщенный, т. е. на нравы того народа, предъ коимъ онъ представляется, несклоненный въ драмѣ образецъ покажется на театрѣ не что иное, какъ

смѣсю, иногда русской, иногда французской, а иногда обоихъ сихъ народовъ характеры вдругъ въ себѣ имѣющей». Средствомъ для избѣжанія этого недостатка Лукинъ почитаетъ передѣлку, при которой «надлежитъ не столько красоте и силу чужестраннаго писателя показывать, сколько исправлять пороки». Отъ общаго взгляда онъ переходитъ къ частнымъ примѣрамъ, «не наше поведеніе знаменующимъ», отискивая ихъ въ русскихъ драмахъ. Онъ удивляется рѣшимости комика ввести въ свою піесу нотариуса или подъячаго, для заключенія брачнаго контракта, вовсе намъ неизвѣстнаго: «нотариусъ у насъ только вексели протестуетъ, а подъячій только по должности своей дѣла въ томъ приказѣ исправляетъ, откуда даютъ ему жалованье». Требуя отъ русской комедіи чего-нибудь «русскаго», Лукинъ разумѣлъ подъ этимъ словомъ «народное» не только въ обширномъ его смыслѣ, обнимающемъ всѣ классы народа, но и въ тѣсномъ, относящемся къ одному только его классу—простонародію. Въ слѣдствіе этого онъ перевелъ заглавіе французской піесы: «Le bijoutier» словомъ «щепетильникъ», и въ предисловіи объяснилъ тому причину: «не взирая на то, что подвергнуся хулѣ несмѣтному числу мнимыхъ въ нашемъ языкѣ знатоковъ, взялъ я къ тому старинное слово «щепетильникъ», потому что всѣ наши бушцы, торгующіе перстнями, серьгами, кольцами, запонками и прочимъ мелочнымъ товаромъ, называются «щепетильниками». По той же причинѣ, въ «Щепетильникѣ» введены лишнія противъ оригинальной піесы лица—простые работники изъ Галича (костромской губ.), говорящіе своимъ мѣстнымъ нарѣчіемъ. Чтo же касается до собственныхъ сочиненій Лукина, которыми слѣдовало бы подтверждать теорію, то они служатъ новымъ доказательствомъ давнишней истины, что критика гораздо легче творчества. Для творчества нуженъ талантъ, а его-то и не имѣлъ критикъ современной комедіи. Піесы его, заимствованныя изъ Ренъяра, Кампистрона и Буасси, хотя и переложены на русскіе нравы, но выказываютъ очень мало истиннаго комизма и народности. Лучшая его комедія: «Мотъ, любовью исправленный», заключала бы въ себѣ, по справедливому отзыву ин. Вяземскаго, довольно занимательности и движенія, если бы все происходило въ дѣйствіи, а не въ разсказахъ, и еслибъ она была искуснѣе построена. Впрочемъ, и имѣя талантъ, Лукинъ едва ли бы произвелъ что-либо замѣчательное. Тотъ способъ, которымъ онъ думалъ устремить нашу комедію къ самобытности и народности, не предлагалъ ручательства въ успѣхѣ. Передѣлка или подражаніе, какъ тонко ни разграничивая эти дѣйствія, не приведутъ ни къ чему положительному, какъ въ поэтическомъ достоинствѣ драмы,

такъ и въ національномъ ея значеніи. Намъ извѣстно, что значить «склонять» чужіе нравы на отечественныя: въ результатъ «склоненія» выходить дѣйствительная смѣсь, которую и Русскій и не-Русскій откажутся принять на свой счетъ. Такимъ образомъ за Лукинимъ остается только заслуга критика: онъ первый вооружался противъ ложнаго направленія современной комедіи и первый заявилъ необходимость народнаго элемента въ русской драмѣ.

Хотя Лукинъ и не пользовался благосклонностію журналовъ 1769—74 г., однакожъ нѣкоторые изъ нихъ раздѣляли его взгляды на отечественный театръ. Самая задача «Всякой всячины» — «говорить Русскимъ о Русскихъ, а не представлять имъ умоначертанный чужестранныхъ, конхъ они не знаютъ» — обязывала издателя быть послѣдовательнымъ. «Я думаю», говоритъ онъ въ концѣ своего изданія, «что не въ однихъ книгахъ должно держаться сего правила, но и въ позорищахъ: ибо марьясъ на русскомъ театрѣ уши деретъ, а ко свадебному контрафту тетушка моя и смысла не призываетъ. Она хочетъ видѣть то, что ее ежечасно окружаетъ и чѣмъ она привыкла забавляться; знакомые же гости не столь забавны, какъ знакомые. Я нахожу вкусъ тетушкинъ со здравымъ разсудкомъ схожій, и для того съ нею согласенъ». «Кошелекъ» также утверждалъ, что Детушвы и другія комедіи мало принесутъ намъ пользы, и что на театрѣ народномъ должны быть разыгрываемы такіе пьесы, которыя главною своею цѣлью имѣли бы народную забаву. По поводу вопроса о народномъ театрѣ, въ Зритель (1792) завязалась интересная полемика между Плавильщиковымъ, сочинившимъ статью: «Нѣчто о врожденномъ свойствѣ душъ российскихъ», и неизвѣстнымъ авторомъ «Письма въ издателямъ изъ Орла». Плавильщиковъ осуждаетъ распространенное въ обществѣ мнѣніе, будто у насъ, Русскихъ, нѣтъ ничего собственнаго и будто мы не что иное, какъ перенимчивыя обезьяны, живущія чужимъ умомъ. Выхваляя особенныя качества соотечественниковъ, доказывая ихъ способность во всѣхъ родахъ дѣятельности, онъ преимущественно останавливается на театрѣ: критикуетъ иностранный вкусъ на нашей сценѣ и порицаетъ тѣхъ драматическихъ писателей, которые берутъ сюжеты для своихъ пьесъ не изъ родной исторіи, а изъ исторіи грековъ и римлянъ, не изъ среды своего народа, а изъ жизни другихъ націй. Мысль справедливая, но Плавильщиковъ не умѣлъ провести ее надлежащимъ образомъ. Въ патристическомъ усердіи своимъ онъ зашелъ слишкомъ далеко, выдумывая «небывалыя достоинства» у себя дома и не умѣя быть справедливымъ въ истинно-хорошему

вчуѣ. Онѣ, говоря словами «Письма», содержащаго въ себѣ умную, хотя и одностороннюю критику пристрастныхъ и голословныхъ сужденій, «слѣпилъ свой панегирикъ изъ малыхъ мыслей и большихъ словъ». «Я согласенъ», замѣчаетъ авторъ «Письма», «что Козьма Мининъ и князь Пожарскій могутъ со временемъ украшать русскую Мельпомену; но, не во гнѣвъ вамъ, мнѣ также пріятно видѣть «тающую Дидону и бѣснующагося Ямба». Когда у насъ выдумаютъ басни, похожія на Гомерову Илиаду и Виргиліеву Энеиду, тогда будьте увѣрены, что чрезъ 2000 лѣтъ на театрахъ цѣлаго свѣта станутъ читать наши поэмы и представлять нашихъ героевъ въ трагедіяхъ.... Желаніе видѣть своихъ предковъ, подающихъ примѣры мужества, великодушія и пр., есть общее самолюбіе всѣхъ народовъ, и оно имѣетъ свои похвалныя стороны. Но запрещать чужимъ героямъ нравиться на нашей сценѣ, когда мы еще не имѣемъ ни сочинителей трагическихъ, ни актеровъ,—такого самовластия нигдѣ не видано, кромя папской инквизиціи. Изъ милости позвольте намъ восхищаться сладкою нѣжностію Расина, мужественною высотой Корнеля и многообразнымъ блескомъ Вольтера; и пока Козьма Мининъ не заставитъ насъ плакать, не запрещайте намъ ходить въ представленія Федры, Азазіи, Ифигеніи, Сиды, Гораціевъ, Цинны, Магомета, Запры, Кесаря, а иногда и Титова милосердія.... Вы меня мучите вопросами: «для чего не создать въ Россіи на театрѣ вкуса, приличнаго нашему свойству?» Я у васъ спрашиваю: для чего бы не постронть домъ безъ работниковъ и безъ припасовъ? Вы сами признаетесь, что мы съ вами плохіе работники и что господа «Зрители» печатаютъ насъ развѣ изъ одного снисхожденія или для наполненія листовъ своихъ. Припасовъ много, но и тѣ не годятся для составленія, по желанію вашему, русскаго вкуса. Зрѣлище есть картина большаго свѣта; сельской жизни или любопытныхъ приключеній древнихъ героевъ. Большой свѣтъ у насъ больше иностранный, нежели русскій; сельскіе жители наши копятся въ дыму, и надобно быть страшнымъ охотникомъ до романовъ, чтобы недостатки природы дополнить силою воображенія и сплести шалашъ какому-нибудь Ивану изъ миртъ и розовыхъ вустовъ. И такъ намъ остается только общество героевъ. Но между тѣмъ, пока не родится у насъ Шекспиръ, который бы расширилъ и опредѣлилъ границы русскаго вкуса, вы сами разберите, въ какихъ тѣсныхъ предѣлахъ будетъ оный заключаться: на площадяхъ, на рынкахъ и въ кабакахъ». Справедливость требованій народнаго театра была подтверждена и публикой и драматическими писателями. Публика встрѣчала съ особеннымъ удовольствіемъ тѣ піесы, которыя въ

дѣйствіи, характерахъ или другихъ, менѣе важныхъ принадлежностяхъ представляли что-либо національное; писатели, принаравливаясь къ ея вкусу, стали, подобно Лувину, перекладывать иностранныя драмы на отечественныя нравы или брать сюжеты прямо изъ отечественной жизни. Такъ были переложены комедіи: «Выборъ по разуму (1773)» и «Виндзорскія кумушки (1786)». Переводчикъ польской передѣлки Дегушева «Мета или расточителя (1778)» «выѣстилъ» въ свой переводъ русскія пословицы. Комическія оперы служили переходомъ отъ подражаній или передѣлокъ къ собственно русскимъ піесамъ. Въ 1772 г. явились на сценѣ: «Анюта», Михайлы Попова, и «Любовникъ-колдунъ» (нап. 1774); послѣдняя возбуждала сочувствіе публики голосами русскихъ пѣсень. Матинскій, вѣрностной человѣкъ гр. Ягужинскаго, путешествовавшій по Италіи, сочинилъ двѣ ком. оперы: «Перерожденіе» (пред. 1777, нап. 1779) и «Гостинный дворъ» (нап. 1792). Опасаясь, что публикѣ, привыкшей къ комедіямъ Мольера и Сумарокова, не понравятся «забавныя зрѣлища» другого рода, въ которыхъ выводятся болѣе простая и близкая къ намъ жизнь, дирекція московскаго театра рѣшилась дать «Перерожденіе» не прежде, какъ испросивъ дозволенія у зрителей сочиненнымъ на этотъ случай разговоромъ между «большою» (т. е. высокою, серьезною) комедіею и комическою оперою. Представленіе «Гостиннаго двора», по словамъ «Драматическаго словаря (1787)», доставило содержателю вольнаго театра больше прибитка, чѣмъ какая-либо другая піеса. Эта опера понравилась публикѣ «спекталемъ подъяческой свадьбы въ древнихъ російскихъ правахъ», характеромъ жениха-подъячаго и его пѣсню:

Ахъ, что нынѣ за время!
Взятокъ брать не велеть.

«Несчастіе отъ кареты», Княжнина, относится также къ попыткамъ оживить русскую драму содержаніемъ, взятымъ изъ русскаго простонароднаго быта. Хотя писатели наши, мало знакомые съ низшимъ сословіемъ, большею частію надѣляли его несвойственнымъ ему образомъ мыслей, чувствъ и рѣчи, въ которомъ безъ особеннаго труда узнавалъ себя образованный классъ; но одно уже намѣреніе выдти изъ подъ началъ французскаго вкуса заслуживаетъ похвалу. Чрезвычайный успѣхъ имѣла ком. опера: «Мельникъ, колдунъ, обманщикъ и свать (1779)», сочиненная Аблесимовымъ (1742 — 1783). Ее играли сряду 27 разъ, и театръ всегда былъ полонъ. Успѣхъ объясняется тѣмъ, что въ содержаніи «Мельника» дѣйствительно есть національный элементъ; его пѣсни и

куплеты, русскіе по складу и напѣвамъ, перешли даже на улицу. Мельникъ вызвалъ нѣсколько подражаній: «Розана и Любимъ (1781)», Николева, гдѣ зрителямъ особенно нравилась роль Семена Лѣснива; «Судьба деревенская (1772)», Прокудина-Горскаго, написанная въ сельскихъ нравахъ; «Сбитеньщикъ (1783)», Княжина, съ двумя аріями: «Все на свѣтѣ можно» и «Счастье строить все на свѣтѣ», бывшими въ большой модѣ; «Колдунъ, ворожея и сваха (1786)», Ювина. Въ 1793 г. Плавильщиковъ написалъ комедію: «Мельникъ и Сбитеньщикъ, соперники», въ которой принимаетъ сторону «Мельника», находя въ піесѣ Аблесимова больше своего, роднаго, чѣмъ въ піесѣ Княжина, подражавшаго Мольеровой «Школѣ мужей». Другая его піеса «Бобыль (1792)» пользовалась большою извѣстностью, благодаря сюжету и положеніямъ, взятымъ изъ простонароднаго быта. Кн. Д. Горчаковъ написалъ двѣ ком. оперы: «Счастливая тоня (1786)» и «Баба-Яга (1788)», которыя, вмѣстѣ съ третьей его піесой: «Калифъ на часъ (1786)», долго держались на сценѣ. Говоря о стремленіи нашего театра къ народности, нельзя пройти молчаніемъ піесы Екатерины, «составленныя по русскимъ сказкамъ и пѣснямъ», или имѣвшія цѣлю изобразить крестьянскій бытъ. Таковы комическія оперы: «Февей (1786)», «Новгородскій богатырь Боеславичъ (1786)», «Храбрый и смѣлый витязь Архидъвичъ (1786)», «Горе-богатырь Косометовичъ (1788)» и «Федулъ съ дѣтьми (1790)». Въ послѣдней, пѣсня Дуняши: «Во селѣ, селѣ Покровскомъ», сдѣлалась общезвѣстной. Кромѣ того, въ 3-мъ дѣйствіи «Начальнаго управленія Олега» представлена старинная свадьба и введены народныя свадебныя пѣсни и обряды. Сочиненіемъ этихъ піесъ Екатерина обнаружила свою любовь и уваженіе къ родной старинѣ и къ простонародному «умоначертанію», равно какъ отступленіемъ отъ «обыкновенныхъ театралныхъ правилъ», въ подражаніе Шекспиру, она заявила литературную терпимость, рѣдкую въ то время. Для представленія піесъ, которыя приходились на вкусъ «мѣщанъ», былъ даже открытъ въ Петербургѣ особый, народный театръ (1765), существовавшій впрочемъ недолго. Простой народъ посѣщалъ его съ большою охотою платя 50 коп. за мѣсто. Актеры-охотники изъ подъячихъ, мастеровыхъ, наборщиковъ, фабричныхъ и т. п. давали здѣсь: «Генриха и Пернилу», ком. Гольберга, пер. Андрея Нартова (пред. 1760, нап. 1764); «Лекаря по неволѣ», Мольера; «Скуплаго», его же, пер. Ивана Кропотова (пред. 1757); «Новопріѣзжихъ», ком. Леграна, пер. Александра Волкова (пред. 1759); «Чадолюбіе», оригинальную комедію того же автора; «Привидѣніе съ барабаномъ или пророчествующій женатый», пер.

Андрея Нартова (пред. 1759, нап. 1764), и «Щепетильникъ», Лукина.

Нѣкоторые переводныя піесы выдавались за оригинальныя, на что нападалъ Чулковъ, въ своемъ журналѣ: «И то и се»; другія, заимствованныя изъ иностранной литературы, «склонялись» на русскіе нравы; третьи были дѣйствительно русскія сочиненія. Изъ всего этого значительнаго количества драмъ немногія выходятъ надъ общимъ уровнемъ посредственности. Таковы комедіи Веревкина, Ефимьева, Клушина, Капниста и Судовщикова.

Въ комедіи Веревкина (1732—1795): «Такъ и должно», самъ авторъ цѣнилъ больше драматическій ея интересъ, чѣмъ комическій. Онъ хотѣлъ представить «отличныя дѣйствія добродѣтели; которыя, не только въ жизни встрѣчаемыя, но и въ книгахъ описанныя, приводятъ насъ въ восторгъ и нерѣдко извлекаютъ слезы». Поэтому дѣйствующія лица дѣлятся у него на двѣ категоріи: трогательныя и забавныя. Къ первымъ относятся двое Доблестинныхъ: дядя и племянникъ; ко вторымъ: Афросинья Сисоевна, уѣздная дворянка, страшно недовольная настоящимъ временемъ, въ которомъ видитъ только мотовъ, безбожниковъ и «фармазоновъ»; домовый дуракъ ея Фока; Урываи Алтынниковъ, съ приписью подъячій; воевода Протазанъ Безсчетный, вѣдающій и засыпающій въ судѣ при чтеніи дѣлъ. Сцены, когда молодой Доблестинъ узнаетъ въ колодникѣ-нищемъ своего дядю и потомъ требуетъ его освобожденія изъ тюрьмы, въ которую онъ былъ посаженъ по одному подворѣнію, написаны во вкусѣ Дидро. По теоріи этого философа, любившаго въ своихъ драмахъ разсуждать о любви, добродѣтели, правахъ человѣчества и другихъ предметахъ, Веревкинъ также далъ мѣсто нѣсколькимъ декламаторскимъ тирадамъ. Лучшая часть піесы именно та, которую авторъ цѣнилъ меньше. Лица дворянки, воеводы и подъячаго доказываютъ несомнѣнный комическій талантъ, наблюдательность и умѣнье находить меткую, свободную отъ книжныхъ формъ, живую рѣчь для каждаго характера.

Комедія Ефимьева (1768—1804): «Преступникъ отъ игры, или братомъ проданная сестра» (1788), принадлежитъ также къ «слезнымъ», какъ видно по самому названію. Главное лице піесы—молодой офицеръ Безразсудовъ, предавшійся игрѣ. Проигравъ все имущество, онъ рѣшился продать свою сестру Прелесту, выдавъ ее за крѣпостную дѣву. Но это преступленіе осталось безъ трагическихъ послѣдствій: покупатель нашелся въ Честонѣ, влюбленномъ въ Прелесту, на которой онъ женится, уничтоживъ купчую и заплативъ долги Безразсудова. Примѣръ игрока-преступника ставится на видъ всѣмъ игрокамъ, какъ нравоучительный выводъ ко-

медіи. Послѣдніе стихи показываютъ, что піеса легко могла бы кончиться неутѣшительной развязкой:

Плоха матерія преступниковъ закона!
Не всякій попадетъ на нашего Честона.

Все достоинство комедіи Ефимьева состоитъ въ немногихъ сценахъ, частію трогательныхъ, частію комическихъ, въ извѣстной долѣ остроумія и въ удачныхъ стихахъ.

Въ «Примѣчаніи» на комедію Клушина († 1804): «Смѣхъ и горе (1793)», Крыловъ, соредакторъ автора по изданію С.-п.-бургскаго Меркурія, основательно высказалъ достоинства и недостатки его піесы, принятой публикою съ большимъ одобреніемъ. Къ достоинствамъ отнесены: изображеніе нѣкоторыхъ характеровъ (Вадоровой—пожилой кокетки, Вѣтрона—моднаго повѣсы), хорошіе стихи, остроумная и ѣдкая сатира. Главный недостатокъ заключается въ томъ, что «сатира не соединена съ дѣйствіемъ». Цѣль піесы—осмѣять пороки двумя противоположными способами: смѣхомъ и плачемъ, почему и выведены Хохоталинъ и Плаксинъ. Но эти лица, имѣющія значеніе Демокрита и Гераклита, являются передъ зрителями для того только, чтобы выставить различныя точки зрѣнія на одни и тѣже предметы; они говорятъ, а не дѣйствуютъ; они сатирики, а не характеры; ихъ можно уволить изъ піесы, какъ лица эпизодическія, выходящія на сцену и сходящія со сцены безъ участія въ дѣйствіи.

«Ябеда» (пред. 1796, нап. 1798), комедія Капниста (1757—1824), достойна стоять въ одномъ ряду съ «Недорослемъ». Она принадлежитъ къ числу тѣхъ комедій, которыя, по важности своего содержанія, носятъ названіе «общественныхъ», обличающихъ господствующій недостатокъ цѣлаго общества или какого-либо его сословія въ извѣстную эпоху. Чѣмъ вреднѣе порокъ дѣйствуетъ на нравы и чѣмъ обширнѣе его вліяніе, тѣмъ болѣе возвышается значеніе піесы, отдающей его на судъ и посмѣянье свѣта. У строптивыхъ людей разныя нравы, говоритъ Капнистъ въ посвященіи піесы императору Павлу: иному не страшна казнь, но онъ боится злой славы; и потому, желая обезславить мздоимство и ябеду, онъ написалъ комедію, въ которой изображено то и другое. Что въ очеркахъ и отрывкахъ разсѣяно по сатирамъ Каптемира, по сочиненіямъ Сумарокова и журналамъ 1769—74 г. г., то въ Ябедѣ образуетъ цѣльную картину, нарисованную яркою кистью. Двойкій предметъ узнается какъ изъ посвященія, такъ и изъ первой сцены перваго акта. Лице злаго ябедника Праволова, подкупность, плутовство и грабительство чиновниковъ метко описаны

повытчикомъ Добровымъ, единственно честнымъ человекомъ изъ всѣхъ членовъ гражданской палаты, въ его разговоръ съ полковникомъ Примиковымъ. Нѣкоторыя характеристики сдѣланы типическими поговорами, наприм.:

..... Гражданскій предсѣдатель
Есть сущій истинны Іуда и предатель.—

..... Прокуроръ,
Чтобъ въ рѣшѣ мнѣ сказать—существеннѣйшій воръ.
Вотъ прямо въ точности всевидящее око:
Гдѣ плохо что лежитъ, тамъ зѣтитъ онъ далеко.—

А о секретарѣ, дуракъ, кто слово утратить:
Хоть голъ будь какъ лапоть, онъ что-нибудь да схватитъ.—

Соотвѣтственно двумъ предметамъ піесы, и нравственный выводъ ея относится во-первыхъ къ ябедѣ, а потомъ къ лихоимству. «Что ни говори, а дѣло плоховато»! восклицаетъ предсѣдатель Кривосудовъ, попавшій въ уголовную вмѣстѣ съ прокуроромъ Хватайко, секретаремъ Кохтиннымъ и другими членами палаты. Это плоховатое дѣло произошло, по объясненію служанки, отъ того, что ея «господинъ» «жилъ ябедой и тѣмъ, что взято, то свято». Сюжетъ «Ябеды», по обычаю французскихъ комедій, не обходится безъ любви и свадьбы. Есть и niezbѣжная Софья, дочь Кривосудова, въ которую влюбленъ Примиковъ, но которую хотятъ выдать за Праволова. Сцена пирушки у предсѣдателя, по случаю именинъ его жены и сговора дочери, превосходно представляетъ безцеремонное обращеніе чиновниковъ съ законами: не стѣсняясь ни чѣмъ, служители Океиды цинически высказываютъ свой образъ мыслей и дѣлъ. Особенно славилась піесня прокурора:

Бери, большой тутъ нѣтъ науки;
Бери, что только можно взять:
На чтожъ привѣшены намъ руки,
Какъ не на то, чтобъ брать?

Комедія оканчивается торжествомъ правды и наказаніемъ порока. сенать, узнавъ продѣлки Праволова, подписалъ посадить его въ тюрьму, а членовъ палаты предать суду; Примиковъ является въ минуту невзгоды, упавшей на отца Софьи, и предлагаетъ ей свою руку: предложеніе, конечно, принято съ радостью. Но какъ дѣйствительность часто идетъ наперекоръ моральнымъ тенденціямъ юморика, то и здѣсь довѣріе къ удовлетворительной, по видимому, развязкѣ подрывается замѣчаніемъ служанки, которая говоритъ Доброву:

Авось-лабо и все намъ съ рукъ сойдетъ слегка;

Добровъ отвѣчаетъ:

Впрямь: моетъ, говорятъ, вѣдь руку-де рука;
А съ уголовною гражданская палата,
Ей, ей, частехонько живетъ за панибрата.
Не то, при торжествѣ уже какомъ ни есть,
Подъ милостивый васъ подвинуть манифестъ.

Успѣхъ «Ябеды» былъ чрезвычайный. Публика принимала ее съ шумными рукоплесканіями; но тѣ изъ зрителей, къ которымъ относились слова Доброва:

..... законы святы,

Но исполнители—лихіе супостаты,

были въ такой же степени ею недовольны. Язвительная сатира, живые, схваченные съ натуры характеры, сильные стихи долго удерживали эту комедію на сценѣ и сохраняютъ за ней и теперь право называться однимъ изъ лучшихъ произведеній нашей драматической литературы.

Комедія Судовщикова: «Неслыханное диво, или честный секретарь», по своему предмету имѣетъ сходство съ «Ябедой». Она представляетъ лихоимство въ лицѣ председателя Кривосудова и честное, правдивое служеніе законамъ въ лицѣ секретаря Правдина. До появленія своего въ печати (1802), она долгое время ходила въ рукописи. Нѣкоторое вліяніе на нее «Ябеды» доказывается самими именами лицъ: Кривосудовъ, Пряниковъ; кварталный Крючкострой, удачно начертанный, занимаетъ мѣсто Праволова, Правдинъ—Доброва, Милена (дочь Кривосудова)—Софья. Стихи гладки и по мѣстамъ исполнены сатирическихъ выходовъ.

Княжнинъ (Яковъ Борисовичъ) род. въ Псковѣ. До 15-ти лѣтъ учился дома. Въ 1757 привезли его въ Петербургъ и отдали къ профессору Ак. Н., Модераху; здѣсь онъ узналъ франц., нѣм. и итал. языки. Окончивъ ученіе, началъ служить въ иностранной коллегіи, а потомъ въ канцеляріи о строеніи домовъ и садовъ. Затѣмъ перешелъ въ военную службу, къ фельдмаршалу К. Г. Разумовскому. Трагедія Дидона (1769) сдѣлала его извѣстнымъ публикѣ. Того же года поѣхалъ въ Москву, представилъ свою піесу Сумарокову и женился на его дочери Екатеринѣ, также писавшей стихи. Разстройство имѣнія и какія-то другія неспріятныя обстоятельства «растерзали его чувствительную душу», по словамъ одной біографіи: онъ вышелъ въ отставку (1772), уединился въ семействѣ и предался исключительно литературѣ. Къ этому-то времени относятся его переводы, которыми онъ занимался по заказу стихотворцевъ и которые служили ему пособіемъ при разстроенныхъ дѣлахъ. Въ 1779 г. онъ снова вступилъ въ службу секретаремъ къ Бецкому и кромѣ того преподавалъ въ кадетскомъ корпусѣ русскую словесность (Краткое начертаніе жизни Княжнина, при 3-мъ изд. его сочиненій, 1817; Словарь свѣт. писателей, Евгений; статьи В. Стоюнина:

«Я. Б. Книжнинъ», въ 5, 6 и 7 ММ Библ. для чтенія 1850; мои статьи о сочиненіяхъ Книжнина въ 4, 8 и 12 М От. Зап. 1850; Книжнинъ и трагедія его «Вадимъ», М. Лонгинова, въ 4 М Рус. Вѣст. 1860; Еще о Книжнинѣ и трагедія его Вадимъ, В. Стоюнина, въ 10 М Рус. В. 1860; «Матеріалы для полнаго собранія сочиненій Книжнина», М. Лонгинова, въ 11 и 12 ММ Рус. Архива 1866).

Лукинъ (Владиміръ Игнатьевичъ) служилъ секретаремъ при И. П. Елагинѣ, кабинетъ-министрѣ Екатерины II. Въ биографіи Фонъ-Визина мы уже видѣли, что между ними и Лукинъ были самыя непріятныя отношенія. Другіе писатели также не любили Лукина, почему онъ и комедіи его часто подвергались нападка въ журналахъ, особенно въ «Трутѣ» и «Венной Волчкѣ», которую издавалъ Кошкинъ, пріятель Сумарокова. Причины такого нерасположенія надобно искать частію въ характерѣ Лукина, вѣроятно тяжеломъ и неуживчивомъ, частію и въ томъ, что онъ выражалъ свои мнѣнія прямо и рѣзко, не стѣсняясь литературными авторитетами, къ числу которыхъ принадлежалъ Сумароковъ. Главная изъ его піесъ—«Мотъ, любовью исправленный» (представлена 1766). Она написана въ назиданіе тѣмъ, кто въ молодости предается шуткѣ, какъ это случилось съ самимъ авторомъ, и имѣла большой успѣхъ. Другія, недражательныя комедіи: «Пустомѣля» и «Щепетильникъ» (о Лукинѣ, статьи А. Пыпина въ 8 и 9 ММ От. Зап. 1853).

Аблесимовъ (Александръ Онисимовичъ) служилъ сначала въ лейбъ-компанейской канцеляріи при Сумароковѣ, сочиненія котораго часто переписывалъ на бѣло, что и возбуждало въ немъ склонность къ стихотворству. Потомъ опредѣлился въ комиссію проекта новаго уложенія, а отсюда перешелъ въ военную службу, адъютантомъ къ генералу Сухотину, дослужился до капитанскаго чина и былъ экзекуторомъ при московской управѣ благочинія. Умеръ въ величайшей бѣдности, употребляя получаемое жалованье на воспитаніе единственной дочери. Сочиненія его: нѣсколько стихотвореній въ «Трудолюбивой Пчелѣ» (1759); Сказки въ стихахъ (1769); Стихотворенія и прозаическія статьи въ Трутѣ (1769—70); «Подвѣческая пирушка», ком. въ 5 д. (не нап.) Мельникъ, додунъ, обманщикъ и сватъ. (предст. 1779); «Походъ съ непремѣнныхъ квартиръ» (не нап. и не дошла до насъ, хотя часто была играна); Счастье по жеребью, оп. въ 1 д. (1780); «Странники», діалогъ на открытіе москов. петровскаго театра (1780); Разсказчикъ забавныхъ басенъ, стихами и прозою (1781). Аблесимовъ, по отзыву современниковъ его, былъ одинъ изъ тѣхъ немногихъ русскихъ писателей, которые вѣднѣ понимали характеръ своего народа и сильно содѣйствовали его развлеченію. Въ другихъ комическихъ операхъ (Управителѣ, Несчастіи отъ кареты и т. п.) много заимствованнаго; Аблесимовъ не могъ заимствовать, потому что не зналъ ни одного языка, кромѣ роднаго.

Веровкинъ (Михаилъ Ивановичъ) воспитывался въ Сухонутномъ корпусѣ, откуда поступилъ въ военную службу (1742 г.). При открытіи Московскаго университета (1756) опредѣленъ въ него ассессоромъ, а въ 1758 г. директоромъ казанской гимназіи. Исполненіемъ своихъ педагогическихъ обязанностей онъ оправдалъ выборъ начальства: заботился объ успѣхахъ учащихся, приискивалъ годныхъ учителей и

хлопоталъ о приобрѣтеніи учебныхъ пособій, старался возбудить въ гимназістахъ любовь къ чтенію, заставлялъ ихъ выучивать наизусть сочиняемыя преподавателями на разныхъ языкахъ рѣчи, представлять трагедіи Сумарокова, танцовать и фехтовать. По доносу учителей на разные безпорядки, Шуваловъ (кураторъ москов. университета) отставилъ его отъ директорства (1761). Въ 1763 г. состоялъ при Кабинетѣ у перевода иностранныхъ книгъ на рус. языкъ, а во время пугачевского бунта—директоромъ походной канцеляріи гр. П. И. Панина. Послѣ того служилъ еще въ разныхъ мѣстахъ по гражданскому вѣдомству; вышелъ въ отставку 1781 г. Вережкинъ былъ уменъ и остеръ, считался очень образованнымъ человекомъ для своего времени и обращалъ на себя вниманіе, какъ литераторъ. Онъ отличался способностью блистать въ обществѣ разговоромъ. «Когда онъ пріѣзжалъ въ Петербургъ (говорить кн. Вяземскій), то, съ шести часовъ утра, приходящая его наполнялась присланными съ приглашеніями на обѣдъ, вечеръ; хозяева сывали гостей «на Вережкина». Отправляясь на вечеринку или обѣдъ «говорить», онъ спрашивалъ у товарищей своихъ: «какъ хотите — заставить ли мнѣ сегодня слушателей моихъ плакать, или смѣяться?» И съ общаго назначенія то морилъ со смѣху, то приводилъ въ слезы». — Вережкинъ отличался замѣчательнымъ трудолюбіемъ. Онъ былъ однимъ изъ самыхъ плодовитыхъ переводчиковъ и сочинителей. Главнѣйшій переводъ его: Исторія о странствіяхъ вообще, сокращенная Лагарпомъ изъ Исторіи Прево, 22 ч. (1782—87). Онъ имѣлъ даже намѣреніе перевести всю французскую Энциклопедію (Дидро). Кромѣ «Такъ и должно», онъ написалъ еще комедіи: Именинники (1774) и Точь въ точь (1785) («М. И. Вережкинъ», Рус. Бесѣда 1860, № 1).

§ 28. Кромѣ героическаго эпоса, мы имѣли пародіи на него или эпосъ комическій, который можетъ быть двоякаго рода: или маловажный предметъ воспѣвается тономъ какого-либо важнаго эпическаго произведенія; или послѣднее представляется въ противоположномъ, т. е. смѣшномъ видѣ, «выворачивается на изнанку». Образцы того и другаго представляютъ «Энеида», вывороченная на изнанку Осиповымъ и Котельницкимъ (1791—1808); «перелицованная» на малорусскій языкъ Котляревскимъ (1789); «Похищеніе Прозерпины», Котельницкаго (1795); поэмы Майкова: «Игрокъ ломбера» (1763) и «Елисей, или раздраженный Вакхъ» (1769). Эпосъ-пародія, или такъ называемая ирон-комическая поэма (ироническая по тону и внѣшней формѣ, комическая по содержанію), тогда только становится достойнымъ памятникомъ поэзіи, когда движется въ средѣ глубокой сатиры или свободнаго юмора; иначе она служитъ простою забавой, какъ смѣшотворная повѣсть, которая своимъ цѣлью не выкупаетъ посягательства на красоту художественнаго созданія. Но и въ послѣднемъ случаѣ комическій эпосъ можетъ имѣть зна-

ченіе, если онъ осмѣливаетъ господство ложнаго литературнаго вкуса, или даетъ таланту, надъ которымъ тяготеетъ враждебное ему вліяніе, способъ вырваться на просторъ и заявить свою оригинальность, или, наконецъ, героевъ и событія чуждаго міра заимствуетъ дѣлами и лицами, хотя и мелкаго разбора, но домашними, интересными для насъ, какъ наша собственность. Сочиненія Майкова (1728—1778) доказываютъ, какъ много выигрываетъ дарованіе, отрѣшаясь отъ предвзятой теоріи и сознавая свойственную ему дѣятельность. Въ одѣ «на вкусъ», онъ восхваляетъ Сумарокова, какъ высшій образецъ его, и хочетъ летѣть за нимъ во слѣдъ; а между тѣмъ своею извѣстностью одолженъ стихотвореніямъ, которыя написаны вовсе не въ Сумароковскомъ вкусѣ. Не зная ни одного иностраннаго языка, онъ переложилъ «съ російской прозы въ стихи» Вольтеру Меропу и, вѣроятно, подобнымъ же образомъ «перевалъ» стихами «Овидіевы превращенія» и «Военную науку» Фридриха II; сочинилъ, въ ложно классическомъ вкусѣ, трагедіи: «Агриону» и «Фемисту и Иеронима»; писалъ оды, басни и другія стихотворенія. Но изъ всего, имъ написаннаго, исторія словесности отличаетъ только его комическія поэмы, въ которыхъ онъ обнаружилъ талантъ, остроуміе, искреннюю веселость, наблюдательность. По своей оригинальности онъ стоитъ въ сторонѣ отъ обычной манеры современныхъ пѣснопѣвцевъ, утѣвшихъ «хитро ломать естество», какъ выразился Майковъ. «Игрокъ Ломбера» есть шуточный разсказъ сновидѣнія, представившаго всѣ перипетіи карточной игры; чудесное состоитъ въ олицетвореніи старшихъ картъ.—Герой другой поэмы: «Елисей или Раздраженный Вахъ» — ямщикъ изъ Зимогорья. Вахъ, въ гнѣвѣ на откупщиковъ за дороговизну вина, выбираетъ его орудіемъ своего мщенія. Мститель вводится Силеномъ въ домъ одного откупщика, оскорбляетъ честь его жены, опустошаетъ погребъ и потомъ начинаетъ разорять другихъ откупщиковъ; но такая дерзость прогнѣвляетъ Зевса, который собираетъ совѣтъ боговъ и по суду его Елисей отдается въ солдаты. Въ poemѣ выступаетъ на сцену русское простонародье; всѣ ея дѣйствія пародируютъ дѣйствія серьезнаго эпоса: валдайцы и зимогорцы, подобно гребамъ и троянамъ, образуютъ два воинства; кулачные бои и драки первыхъ соответствуютъ битвамъ вторыхъ; они дерутся за сѣнокосъ, какъ будто за Трою или за тѣло Патрокла; гнѣвъ Елисея есть своего рода Ахилловъ гнѣвъ; похождения его въ Калининомъ домѣ, связь съ тамошней начальницей и тайный выходъ оттуда напоминаетъ пребываніе Энея у Дидоны; какъ Эней повѣствуетъ кареагенской царичѣ свою про-

шедшую судьбу, такъ Елисей рассказываетъ начальницѣ прядильнаго дома о борьбѣ зимогорцевъ съ валдайцами. И во всемъ составѣ поэмы видно соблюденіе ложно-классическихъ правилъ и приемовъ: она начинается словомъ «пою» и обращеніемъ къ лирѣ и Скаррону (образцу Майкова, автору «Энеиды, вывороченной наизнанку»). Современникамъ правилась такая вѣрность ложно-классическимъ требованіямъ отъ комическаго эпоса; они хвалили «Елисея», какъ первую правильную у насъ шутиливую поэму. Но, разумѣется, не въ этомъ главное достоинство забавной пародіи: она, какъ проявленіе своеобразнаго таланта, есть протестъ противъ односторонней торжественности искусственной поэзии. Если уже переложеніе чужаго на родные обычаи и нравы привлекало сочувствіе читателей, то Майковъ пошелъ дальше: онъ почерпалъ матеріалъ для своихъ произведеній непосредственно изъ русской жизни, почему и былъ любимымъ въ свое время писателемъ; его читали люди не одного высшаго общества, но и «средняго рода», что и служить лучшимъ доказательствомъ его дѣйствительной популярности, какою немногіе пользовались въ XVIII вѣкѣ (1).

Изъ разныхъ видовъ повѣстей и романовъ явились у насъ прежде всего философско-политическіе, имѣвшіе дѣлю служить руководствомъ въ наукѣ правленія. Прототипомъ ихъ былъ «Телемакъ», Фенелона, котораго первое изданіе вышло у насъ въ 1747, хотя ему предшествовали рукописные переводы. Тредьяковскій переложилъ его гексаметрами, подъ названіемъ «Телемахида» (1766); но еще прежде того (1751) онъ познакомилъ насъ съ «Аргенидой» (2), Іоанна Барилла, политическимъ романомъ, содержащимъ въ себѣ аллегорическое изображеніе состоянія Франціи и другихъ западныхъ государствъ въ эпоху лиги. Успѣхъ «Телемахида» вызвалъ множество подражаній Фенелону, изъ коихъ укажемъ слѣдующія: «Жизнь Сиса, царя египетскаго», аббата Террасона, переводъ фонъ-Визина (1762—68), «Велпсарій» Мармонтеля и «Нука Помпиль», Флоріана, также переведенные на русскій языкъ (первый былъ переводимъ нѣсколько разъ, и въ томъ числѣ «разными знатными особами на Волгѣ», сопровождавшими Екатерину II во время ея путешествія въ Казань, нап. 1768 г.; второй—1788).

1) «О жизни и сочиненіяхъ В. И. Майкова», Л. Майкова (Сочиненія и переводы В. И. Майкова, въ изданіи Глазунова: Русскіе писатели XVIII и XIX ст., подъ Редакціей П. Ефремова).

2) Имя вымышленной сицилійской царяцы, подъ которой, какъ полагали, разумѣлась Франція или династія Валуа.

Подражателемъ романовъ этого рода явился Херасковъ. Ему принадлежатъ: Нума, или процвѣтающій Римъ (1768), Кадмъ и Гармонія (1786), Полидоръ, сынъ Кадма и Гармоніи (1794), Царь, или спасенный Новгородъ (1800). При всей своей безцѣльности и длиннотѣ, они не чужды указаній на тѣ предметы, которые, въ періодъ двухъ царствованій (Екатерины и Павла), интересовали вниманіе образованнаго класса. Текущіе событія не только служили поводомъ къ ихъ появленію, но и отразились въ нихъ извѣстнымъ образомъ и въ извѣстной степени.

«Нума, или процвѣтающій Римъ», изображаетъ, въ лицѣ римскаго царя, Екатерину II, правленіе которой составляетъ второй періодъ въ исторіи новой, или петровской, цивилизаціи, какъ сказано въ эпилогѣ къ этому эпическому повѣствованію. Всѣ дѣйствія Нумы касательно воспитанія, законодательства и другихъ предметовъ внутренняго устройства вытекаютъ изъ началъ истины, добродѣтели и правосудія, бывшихъ лозунгомъ XVIII вѣка; почему Херасковъ и заключаетъ свое сочиненіе такими словами: «Можно теперь сказать съ божественнымъ Платономъ: счастливы тѣ народы, у которыхъ философъ государемъ бываетъ, или государь философомъ сдѣлается». Какъ «Нума» относится къ началу царствованія Екатерины II, такъ «Полидоръ» (1794) касается событій, занимавшихъ правителей и общество въ послѣдніе годы ея жизни. Хотя повѣствованіе о сынѣ Кадма и Гармоніи есть по преимуществу нравоучительное, доказывающее возможность изъ каждаго добра и зла извлекать пользу, однакожъ въ немъ высказываются не одни нравственныя, но и политическія мнѣнія автора. Многія мѣста представляютъ государственный переворотъ, совершившійся во Франціи. Представленіе особенно ясно въ третьей главѣ, описывающей посѣщеніе Полидоромъ какаго-то острова Терзита на Атлантическомъ океанѣ. Въ жителяхъ этого острова (соименника «презрительному Терзиту» Илиады) является народъ, зараженный вольнодумствомъ, жаждою свободы и равенства, разрушившій всѣ прежнія основы общества. Полидоръ рѣшается возстановить и дѣйствительно возстановляетъ порядокъ у терзитянъ, доказывая право своего вѣншаательства тѣмъ, что «народы, сами собою управляющіе, больше пекутся о частномъ своемъ благѣ, а цари, правящіе государствами, обязаны пецись о благѣ всего свѣта». «Царь, или спасенный Новгородъ», изображаетъ двѣ картины: въ одной представлены «ужасъ безначалія, бѣшенство мнимой свободы и безумное алканіе равенства»; въ другой—счастіе государствъ и народовъ. По цѣли и направленію эта стихотворная

*

повѣсть тѣсно связана съ «Полидоромъ». Оба сочиненія написаны подъ вліяніемъ идей и намѣреній, которыми руководствовалась тогдашняя политика европейскихъ державъ. Какъ Полидоръ усмиряетъ терзителей, а Рюрикъ новгородцевъ, такъ цари должны возстановить порядокъ въ взволнованной Франціи. Этотъ долгъ, по убѣжденію Хераскова, въ особенности лежалъ на императорѣ Павлѣ, которому повѣсть посвящена и въ которомъ она видитъ укротителя революціи, возстановителя престоловъ, какъ бы новаго Полидора, даващаго государственное устройство терзителямъ:

Когда я Рюрика и Гостомысла пѣлъ,
Тебя въ душѣ моей и въ мысляхъ я имѣлъ:
Ты также, какъ они, престоломъ обладаешь,
Чертогъ народнаго блаженства совидаешь.....
Но паче ихъ сердца, Монархъ, увеселяешь,
Что громомъ зло разишь, престолы возставляешь.

Изъ романовъ моральнаго направленія пользовались большою извѣстностью произведенія аббата Прево (Prevost d'Exiles): «Приключенія маркиза Г.... или жизнь благороднаго человѣка, оставившаго свѣтъ», переводъ И. Елагина и В. Лукина (1756—1765); «Философъ Англической или житіе Клевеланда побочнаго сына Кромвелева, самимъ имъ писанное» (1760—1767); «Настоятель Килеринской» (1765—1781). Они пришлись по вкусу нашихъ переводчиковъ, которые отъ вымышленныхъ повѣствованій требовали не забавы только, но и пользы. Беллетристика должна была, по тогдашнему взгляду, и научать и поучать, сообщая нужныя знанія, внушая правила доброй нравственности. Кромѣ моральнаго урока, выводимаго изъ судьбы героинь и героевъ, читатель выслушивалъ назидательныя размышленія и правила, которыя почитались самой здоровой приправою книги: такъ «Настоятель Килеринской» (Doyen de Killerine) названъ «*нравоучительною повѣстью*, снабженной всѣмъ тѣмъ, что можетъ учинить чтеніе ея полезнымъ и пріятнымъ». А какъ торжество добродѣтели и наказаніе порока всего лучше могутъ выказаться въ превратностяхъ человѣческой жизни, то содержаніемъ романа обыкновенно служили разнообразныя приключенія или похождения. Выборъ такого сюжета представлялъ удобство и потому еще, что, заставляя героя странствовать въ разныхъ краяхъ, романистъ достигалъ и второй своей цѣли—удовлетворялъ любознательности читателя описаніемъ государствъ и народовъ. Форма изложенія — всегда почти разсказъ самого лица, отъ чего такіе романы могутъ быть причислены къ мемуарамъ: «Приключенія маркиза Г....» въ подлинникѣ называются: «*Memoires de Marquis****

ou aventures d'un homme de qualité qui s'est retiré du monde»; «Настоятель Киллеринской» сочиненъ также «изъ *замисокъ* одной знатной ирландской фамиліи». Означенные романы Прево заслужили похвалу современныхъ французскихъ критиковъ: одни хвалили его за разнообразіе вымышленныхъ походженій и картинъ, за пламенное изображеніе страстей; другіе за то, что онъ исполнилъ прямую обязанность романиста, ибо «въ романахъ, какъ и въ драмахъ, порокъ долженъ быть всегда наказанъ, а добродѣтель всегда награждена». У насъ они читались также съ большимъ удовольствіемъ. «Приключенія маркиза Г***» имѣли три изданія; дѣйствующее лице обратилось въ маркиза «Глаголя», по прежнему обычаю называть буквы славянскими ихъ именами. Какъ этотъ романъ, такъ и «Житіе Клевеланда» обращались даже въ низшемъ кругу грамотныхъ людей: въ комедіи Крылова «Урокъ дочкамъ» слуга Семенъ присвоиваетъ имя маркиза Глаголя, по совѣту горничной Даши, видно читавшей романъ, а въ комедіи «О время» Ханжахина обзываетъ свою горничную басурманкой за то, что она иногда читаетъ Клевеланда. Переводчики наши смотрѣли на эти романы, какъ на поучительное чтеніе и ожидали отъ нихъ пользы для нравственного чувства. Предисловіе къ Клевеланду объясняетъ ее такимъ образомъ: въ романахъ «изображаются нравы человѣческіе, добродѣтели ихъ и немощи; показываются отъ разныхъ пороковъ разныя бѣдствія въ примѣрахъ, то причиняющихъ ужасъ, то собогѣзнованіе и слезы извлекающихъ; и между цѣпью нанасройшимъ порядкомъ совокупленныхъ приключеній наставленія къ добродѣтели полагаются». И читатели сознавали доброе вліяніе романическаго чтенія. По крайней мѣрѣ, такъ думали Карамзинъ и Дмитріевъ. Первый говоритъ: «герои и героини, не смотря на многочисленныя искушенія рока, остаются добродѣтельными, всѣ злодѣи описываются самыми черными красками; первые наконецъ торжествуютъ, послѣдніе, какъ прахъ, исчезаютъ». Второй съ похвалою отзывается о маркизѣ Глаголѣ и Клевеландѣ: «они возвышали мою душу, были antidotomъ противу всего низваго и порочнаго».

Разказы о приключеніяхъ явились у насъ изъ подражанія господствовавшей въ иностранныхъ романахъ модѣ водить читателей, какъ говорится, за тридевять земель въ тридесятое царство. Къ такимъ разказамъ принадлежатъ сочиненія Федора Эмина (1735—1770), издателя «Адской почты». Его собственная жизнь была своего рода романомъ. Родомъ полякъ, Эминъ долго странствовалъ по свѣту. Въ Турціи, по какому-то несчастному съ нимъ приключенію, онъ былъ вынужденъ принять магометанство и поступить

въ яничары. Успѣвъ тайно отплыть изъ Константинополя въ Лондонъ, явился къ русскому посланнику кн. Голицыну и перешелъ въ православіе. По прибытіи въ Петербургъ (1761) былъ учителемъ въ сухопутномъ кадетскомъ корпусѣ и переводчикомъ сначала въ Коллегіи иностранныхъ дѣлъ, а потомъ въ Кабинетѣ. «Спадши съ колесницы фортуны и охромѣвши въ счастіи», Эминъ «началъ подпираться перомъ своимъ», т. е. сочинять и переводить. Не смотря на разнорѣчивость его показаній о себѣ самомъ, несомнѣнно то, что онъ былъ человѣкъ съ дарованіями и начитанный, зналъ нѣсколько языковъ, легко и скоро выучился русскому, видѣлъ на своемъ вѣку многое, и романы его читались охотно, равно какъ сатирическій журналъ «Адская почта» и назидательная книга «Путь ко спасенію». Лучшій романъ Эмина—«Непостоянная фортуна или походженіе Мирамонда», имѣвшій три изданія (первое 1763) и посвященный графу Г. Г. Орлову, котораго авторъ называетъ своимъ «спасителемъ, благоволившимъ отогнать отъ очей его непросвѣтлый мракъ противнаго магометанскаго закона и озарить ихъ божественнымъ свѣтомъ евангельскія истины». Романъ исполненъ хитросплетенныхъ злоключеній, приличныхъ «свѣтоврителю», каковымъ былъ самъ Эминъ, девять лѣтъ проведеній въ странствованіяхъ. Главное лице романа—Мирамондъ, сынъ министра турецкаго султана, отправленный отцемъ въ чужія государства для изученія политики, подъ надзоромъ ментора Азыза и въ товариществѣ съ Феридатомъ, подъ именемъ котораго авторъ представилъ себя самого: «сія внижица истинныя Мирамондовы приключенія и мое несчастное походженіе въ себѣ заключаетъ». Цѣль сочиненія двоякая, согласно тому, что сказано о романахъ этого рода: во первыхъ—«описанныя здѣсь страны, по которымъ чрезъ нѣсколько лѣтъ носилъ меня рокъ, къ совершенству достигающихъ (читателей) любопытство удовлетворять могутъ»; во вторыхъ—«сплетенныя приключенія, здѣсь изображенныя, того къ добродѣтели привѣтствуютъ (привлекаютъ), кто съ точнымъ разсужденіемъ околнжности оныхъ разбирать станетъ».—«То правда», говоритъ въ другомъ мѣстѣ авторъ, «что многія здѣсь сыщутся мыслями монми сплетенныя приключенія; однако ни одно изъ нихъ безъ намѣренія не написано, и каждое изображаетъ въ себѣ нѣчто или удовольствіе тебѣ (читателю) приносящее, или совѣсти твоей полезное». Обращеніе къ читателю, въ концѣ романа, выказываетъ искреннее элегическое чувство, заставляющее вѣрять предположенію, что въ судьбѣ Феридата Эминъ описалъ приключенія своей жизни:

Если Феридатовы злосчастія какого-либо собогъанованія достойны, то онъ (сочинитель) тебя униженно просить, чтобы ты разсуждать изволилъ съ сожалѣніемъ о его горестныхъ злключеніяхъ. Знай то, что онъ и нынѣ въ мысляхъ своихъ часто бываетъ несчастенъ, стѣшаетъ и въздыхаетъ, воспоминая о минувшемъ, трепещетъ и ужасается, размышляя о неизвѣстности предбудущаго. Философія злосчастному и многими лзвми сердце зараженное имѣющему не въ пользу бываетъ, потому что чѣмъ наше сердце съ младолѣтства напоено, то не скоро изъ онаго истребить возможно. Прошу и увѣщаваю тебя, имѣй сожалѣніе о бѣдныхъ, ибо предвидѣть того не можешь, что завтра съ тобой стать можетъ; мы всѣ перемѣнамъ подвержены, постоянности ни въ чемъ нѣтъ, и если сегодня нашъ ближній утопаетъ въ бѣдствіи, то завтра и мы оному подлежать можемъ. Ни достоинство, ни богатство—никого отъ злосчастія искупить не можетъ; и хотя я всякому желаю совершеннаго благополучія, однако самъ разсудя, благосклонный читатель, могутъ ли человѣческія желанія перемѣнить опредѣленія Всевышней власти. И такъ самъ собою старайся заслужить себѣ благополучіе, а о томъ не позабывай, что козъ трудно сухоща. вому быть толстымъ, толь легко толстому похудѣть.

И независимо отъ сходства своего положенія съ положеніемъ дѣйствующаго лица въ романѣ, Эминъ любилъ не забывать себя и при случаѣ являться передъ читателемъ съ какою-нибудь выходкой, иногда элегической, а иногда юмористической. Такъ, напри- мѣръ, сказавъ, что Мирамондъ началъ умиствовать послѣ утраты своего благополучія, онъ прибавляетъ: «и я, хотя межъ умныхъ себя поставить не могу, однако какъ бѣдность меня прижала, принялся къ сему моему сочиненію, началъ разсуждать философически, въ разныхъ переводахъ и чтеніи разныхъ книгъ на разныхъ языкахъ упражняться и быть доволенъ малымъ, когда большаго нѣтъ».

Изъ романовъ, относящихся къ одному роду съ сочиненіями Эмина, заслуживаетъ вниманія «Несчастный Никаноръ, или приключеніе жизни російскаго дворянина Н***» (1), хотя и справедлива замѣтка Карамзина, что онъ, по литературному достоинству, принадлежитъ къ самымъ посредственнымъ. У «Никанора» былъ свой, и не малый, кругъ читателей, находившихъ повѣсть автора чувствительною и занимательною, и ся дѣйствіе большею частію совершается въ предѣлахъ отечества, а не въ Азіи и Африкѣ. Кроме того, приключенія злосчастнаго російскаго дворянина не сплошной вымыселъ: это ясно по нѣкоторымъ обстоятельствамъ, дѣйствительно бывшимъ, и по нѣкоторымъ лицамъ, дѣйствительно

1) Первое изданіе въ одной части (1775), второе въ 2 ч. (1787). третья часть—1789 г.

существовавшимъ, даже историческимъ. Здѣсь говорится о генераль-фельдцейхмейстерѣ князѣ Рѣпинѣ (Василѣ Анikitичѣ, умершемъ 1748 г.), объ Ильѣ Александровичѣ Бибиловѣ (отцѣ Александра Ильича, извѣстнаго по дѣйствіямъ противъ Пугачева) и Иванѣ Ивановичѣ Свѣчинѣ, изъ которыхъ Бибиловъ былъ полковнымъ командиромъ Никанора, а Свѣчинъ его двоюроднымъ братомъ, о смоленскомъ губернаторѣ Аршеневскомъ, о московскомъ докторѣ Кондонди, о посѣщеніи Москвы дворомъ и пр. Трудно допустить, чтобы авторъ рѣшился съ такою точностію обозначать имена и фамиліи лицъ, безъ всякаго ихъ отношенія къ судьбѣ своего героя. Эта судьба сплетена изъ разныхъ несчастій. Единственный сынъ богатаго помѣщика, владѣвшаго четырьмястами душъ въ одной изъ низовыхъ губерній, Никаноръ, на восьмомъ году возраста, поступилъ въ инженерный корпусъ, откуда выпущенъ кондукторомъ. Вскорѣ по выпускѣ онъ былъ командированъ изъ Петербурга въ Цесарію (точнѣе во Франконію), по случаю нашего вмѣшательства въ вопросъ объ австрійскомъ наслѣдствѣ, на основаніи оборонительнаго договора съ Англіею, коимъ Императрица Елисавета положила оказать помощь Маріи Терезіи въ ея войнѣ съ французами. Слѣдовательно, дѣйствіе романа открывается въ 1747 г. Съ прибытія Никанора въ Ригу, начались его злоключенія, о которыхъ онъ въ послѣдствіи рассказываетъ по вечерамъ какой-то княгинѣ. Вся жизнь его проходила въ любви. Одна страсть смѣнялась другою, но не изъ прихоти или вѣтренности, а по какой-то горемычной долѣ, словно на роду ему написанной. Онъ не имѣлъ и тѣни сходства съ Донъ-Жуаномъ или Фоблазомъ; напротивъ, онъ былъ человѣкъ мирнаго нрава, тихаго обхожденія, искательный, довѣрчивый, готовый на услуги и угожденія. До какой степени простиралась его безотвѣтность, можно судить по словамъ жены его: «мнѣ кажется (закричала на него она однажды), если кто съ тебя не только рубашку сниметъ, но и кожу сдеретъ, ты и тогда огорченъ не будешь». Обращеніе его съ прекраснымъ поломъ отличалось особеннымъ нѣжносердечіемъ. Даже на старости лѣтъ онъ всѣми силами старался служить дамамъ со всякимъ усердіемъ и почитаніемъ: «игралъ съ ними въ маленькую игру, для препровожденія времени, въ кадриль и въ ломберъ; употреблялъ всякія пристойныя шутки; пѣлъ и сочинялъ пѣсни и всякіе увеселительные стишки; смотрѣлъ имъ на руки, будто-бы ученъ онъ былъ хиромантіи и въ издѣвкахъ обнадеживалъ каждую изъ нихъ особливимъ благополучіемъ; сказывалъ имъ сказки и исторіи; на святкахъ производилъ съ ними всякія игры и гаданія; въ маскарадахъ одѣвался въ женское платье; словомъ ска-

зять, все то дѣлалъ, что въ угодность имъ служило». Кромѣ пѣсанъ и увеселительныхъ стишковъ, Никаноръ сочинялъ оды и подносилъ ихъ Екатеринѣ II: одна изъ нихъ, написанная вскорѣ по вступленіи Императрицы на престолъ, помѣщена въ самомъ романѣ. За то «благородныя женщины и дѣвицы города», въ которомъ Никаноръ пріютился, «такъ его принимали, какъ будто бы своего ближняго, но притомъ недостаточнаго родственника; и всякая старалась чѣмъ нибудь по бѣдности его наградить; и столько много они его любили, что всегда желали имѣть его при себѣ въ своей компаніи». У Никанора и не лежало сердце къ мужской компаніи; въ теченіи цѣлаго романа онъ постоянно обращается въ кругу прекраснаго пола, хотя отъ него-то и сдѣлался «несчастливымъ». Несчастія свои приписываетъ онъ не самому себѣ, а «горестному сложенію смертныхъ». Виновенъ ли я состою тѣмъ», восклицаетъ онъ однажды, «что *вложено въ меня слабое, необоронимое сердце*»? И вотъ слабосердечіе завлекаетъ Никанора изъ одной напасти въ другую. Ради любви—единственного своего времяпровожденія—онъ даже рѣшался на безнравственные поступки, въ которыхъ потомъ раскаивался: обманулъ отца ложнымъ паспортомъ, будто бы выданнымъ ему отъ полковаго командира; хотѣлъ увезти съ собой въ армію чужую крѣпостную дѣвку; вмѣсто того, чтобы отправиться къ мѣсту своего назначенія, пробирался за границу. Послѣ нѣсколькихъ романическихъ похожденій—любви къ двумъ, находившимся у него въ услуженіи дѣвушкамъ, которымъ онъ предлагалъ свою руку, но которыя отказали ему не потому, чтобы сами не чувствовали къ нему привязанности, а потому, что считали себя недостойными такой чести,—Никаноръ наконецъ женился и имѣлъ двухъ дѣтей, вымышленныя имена которыхъ (Огорчена и Правосудъ) портятъ достовѣрную обстановку повѣсти. Но жена бросила его, какъ только онъ лишился имѣнія «обманомъ своей тетки», а дочь, служившая ему отрадой, умерла. И остался онъ одинъ одинешенекъ, безъ семейства и имѣнія, доживать свой вѣкъ, въ отдаленномъ отъ столицы городѣ, у какого-то добраго человѣка, рассказывая знакомымъ свои приключенія и выводя изъ нихъ такую мораль: «теперь-то я нахожу себя благополучнымъ, когда далече отъ благополучія моего я самъ отдался; теперь считаю я себя богатымъ, когда всего моего имѣнія безъ остатку лишился; теперь я признаю себя счастливымъ, когда всѣ мои злоключенія и печали удары свои на мнѣ уже совершили; теперь могу назвать остатки дней моихъ, препровождаемые въ здѣшнемъ городѣ, златымъ я вѣкомъ, когда ни о чемъ

уже больше попеченія не имѣю; теперь ничто меня не беззастѣнливо и ничто не трогаетъ». Чтобы дать понятіе о языкѣ и характерѣ разсказа, приводимъ изъ него небольшой отрывокъ:

И я взялъ смѣлость подойти къ Елеонорѣ (такъ имя той дворянской дочери); она, съ великою ласкою поцѣловавъ меня въ високъ, подала мнѣ свою руку; я, принявъ ее, послѣдовалъ предъидущимъ. И какъ вошли мы въ садъ, тогда капитанъ-поручикъ пошелъ передъ нами съ хозяиномъ, ведучи хозяйку за руку; а позади ихъ шелъ я Елеонору; а за нами слѣдовали товарищъ мой Алексѣй Е. съ племянникомъ хозяйскимъ. И каждый, шедши изъ насъ своею партіею, особенные имѣли разговоры: капитанъ-поручикъ разговаривалъ съ хозяиномъ и съ хозяйкою о расположеніи мѣста того сада; а Алексѣй Е. съ племянникомъ хозяйскимъ вошли въ разговоръ о военныхъ дѣлахъ и наукахъ; а мы съ Елеонорою продолжали рѣчь о нѣжной пріятности случившагося тогда воздуха. И такъ шли мы проспектомъ прямо къ одной галереи; но Елеонора сказала мнѣ, чтобъ я пошелъ съ нею въ лѣвую сторону въ куртину того сада, гдѣ можетъ она нарвать хорошихъ яблокъ. Я весьма охотно повелѣніямъ ея повиновался. И какъ вошли мы съ нею въ ту куртину, тогда Елеонора, сорвавъ хорошее яблоко и вынувъ изъ кармана складной ножичекъ, коимъ, разрѣзавъ оное, поднесла ко мнѣ и просила меня, чтобъ я отвѣдалъ, каковы яблоки въ ихъ саду. Я, съ великимъ удовольствіемъ принявши, съѣлъ яблоко и сказалъ ей: я въ жизнь мою, милостивая государыня, нигдѣ и никогда такихъ пріятнаго вкуса яблокъ еще не ѣдалъ. Ахъ, господинъ Никаноръ! сказала она, чрезвычайная похвала составляетъ опорочиваніе. Клянусь вамъ въ томъ, милостивая государыня, сказалъ я, что не лестою объ ономъ я вамъ докладываю; да и какой бы притомъ ни былъ хотя изъ всѣхъ родовъ лучшій фруктъ, то оной такъ вкусенъ и пріятенъ для меня быть не можетъ, какъ это яблоко, котораго сладость не только гортань, но и сердце ощущаетъ. А! сказала Елеонора: такъ вы, можетъ быть, иначе разумѣете вкусъ этого яблока, для того что оно сорвано съ моей любимой яблони и что я вамъ сдѣлала почтеніе поднесла его изъ своихъ рукъ; я бѣ желала, чтобъ вы навсегда съ таковымъ вкусомъ наслаждались плодомъ моей любимой яблони. Счастливъ бы я назваться могъ, милостивая государыня, сказалъ я, еслибъ я удостоенъ былъ именоваться садовникомъ родителя вашего сада: я бѣ вашу любимую яблоню не только хранилъ, но и обожалъ бы навсегда.

Въ прибавленіе къ Никанору замѣтимъ, что наша литература XVIII вѣка знаетъ еще другаго російскаго дворянина, бывшаго, въ удивительныхъ превратностяхъ своей жизни, «то сыномъ счастья, то несчастію преданнымъ рабомъ». Описаніе этихъ перемѣнъ, имъ самимъ сочиненное на испанскомъ языкѣ (?), перевели потомъ на нѣмецкій, а съ нѣмецкаго на русскій, подъ заглавіемъ:

«Странныя приключенія Дмитрія Могушкина (1), російскаго дворянина» (2 ч., 1796). Разсказъ начинается торжественнымъ образомъ, *ab ovo*—со дня рожденія героя: «Пространное и отдаленнымъ народамъ долгое время бывшее неизвѣстнымъ „россійское государство произвело родъ мой со многими другими изъ нѣдръ южной своей части: городъ Воронежъ, наименованіе свое имѣющій отъ рѣки того же имени, орошающей его, есть отечество моихъ родителей». Могушкинъ явился на свѣтъ 1667 г., «въ то самое время, когда благородная наша нація праздновала масленицу предъ великимъ постомъ». Отецъ его, бояринъ Василій Никоновичъ, воронежскій губернаторъ (?), пользовался отъ царя Алексѣя Михайловича великою знатностью и милостью, за свои заслуги. При Федорѣ же Алексѣевичѣ, онъ, по завистливымъ наговорамъ, былъ отрѣшенъ отъ должности; однакожъ ему дали въ команду полкъ, съ которымъ онъ отличился въ сраженіи съ турками подъ Чигиринимъ (1678), что и доставило ему знатное мѣсто въ этомъ городѣ. Приключенія молодого Могушкина дѣйствительно странны. Въ самый день крестинъ, когда и господа и прислуга перепились на радости, загорѣлся домъ: родильница съ трудомъ была спасена, а кормилица, испугавшись медвѣдя, котораго держали забавы ради и который сорвался съ цѣпи въ общей суматохѣ, бросила новорожденнаго на дворѣ, гдѣ поднялъ его какой-то литовскій служитель и принесъ къ хозяину своему, тоже литвину, жившему въ пригородной слободѣ. Такимъ образомъ, изъ боярскаго и губернаторскаго сына Могушкинъ сдѣлался сыномъ крестьянина. Съ тѣхъ поръ судьба играла имъ какъ мячикомъ. Подвергая его диковиннымъ случайностямъ, бросая его изъ одного мѣста въ другое, она забросила его наконецъ въ Испанію. Отсюда онъ прибылъ въ Венецію, поступилъ на службу Венеціанской республикѣ и «донынѣ тамъ находится». Самымъ важнымъ фактомъ въ жизни Могушкина было его троженство, чему онъ самъ несказанно дивился и что главнѣйшимъ образомъ понудило его написать свои жемурны. Впрочемъ, казусное дѣло не имѣло такихъ горькихъ послѣдствій, какъ въ баснѣ Крылова «Троженецъ». Напротивъ, герой нашъ благополучно устроился, не смотря на то, что всѣ три его супруги сошлись у него въ одно время. Двухъ онъ оставилъ при себѣ: Лумиллу, первую по счету и старшую лѣтами, въ видѣ матерн, а Мумеху, какъ супругу; третью же, Амазиру, съ ея согласіемъ, уступилъ своему пріятелю, который былъ влюбленъ

1) Такъ стоитъ въ заглавіи, но въ самомъ разсказѣ онъ называется Могушкинымъ.

въ нее. Все это не невозможно, при всей своей странности. Но сомнѣніе въ томъ, что имени Могушкина нѣтъ между воронежскими воеводами ни въ статьѣ митрополита Евгенія: «Воронежъ» (Словарь Географическій Россійскаго Государства, Щекатова), ни въ «Разрядныхъ книгахъ», ни въ указателяхъ къ «Актамъ», ни даже въ «Древнихъ грамотахъ и другихъ письменныхъ памятникахъ, касающихся Воронежской губерніи» (собранныхъ Второвымъ и Александровымъ-Дальникомъ). Значить, герой-авторъ вывелъ себя подъ вымышленнымъ именемъ, имѣя на то свои причины, и всю историческую и топографическую обстановку разсказа—событія и ихъ годы, города: Чигиринъ и Воронежъ, рѣки: Донецъ и Оскюль (Осколь) и проч., придумалъ только въ интересахъ достовѣрности. Не думаю также, чтобы сочиненіе принадлежало русскому перу и выдано за переводъ для какого-нибудь «прикрытія», какъ говорилось прежде. Русскій не назвалъ бы воеводу губернаторомъ, а Чигиринъ—Чехриномъ, если только не предполагать, что переводчикъ, по незнанію русской исторіи и географіи, оставилъ эти слова въ томъ видѣ, въ какомъ они, быть можетъ, находятся въ подлинникѣ. Принимая въ соображеніе, что между приключеніями описываются частныя набѣги татаръ и ихъ стычки съ русскими, что дѣйствіе долгое время происходитъ въ Литвѣ и Польшѣ, и что въ разсказѣ попадаются латинскія изреченія, нельзя ли «Странныя приключенія Могушкина» почитать произведеніемъ польской литературы?

Охотники до соблазнительнаго чтенія, не знавшіе французскаго языка, могли у насъ читать переводы нѣкоторыхъ романовъ временъ Людовика XV и революціи. Важнѣйшій между ними, «Фоблазъ», имѣлъ два перевода: петербургскій (Приключенія Шевалье де Фоблаза, 1792—96) и московскій (Жизнь и приключенія кавалера Фоблаза, 1793). Второе его изданіе, равно какъ переводъ другаго романа того же автора (Дуве де Кувре): «Емилія Вармонтъ или разводъ по нуждѣ», относятся къ началу нынѣшняго столѣтія (1805). Не то дурно, что авторъ изображалъ безнравственныя явленія жизни: эпохи герцога орлеанскаго и Дюбарри не походили на вѣкъ невинности; литература есть зеркало общества, и, конечно, «не зеркало виновато, если рожа крива». Дурно то, что безнравственныя явленія изображены сочувственно, какъ идеаль. Наши сочинители романовъ—надобно отдать имъ справедливость — не заражались такимъ недостойнымъ сочувствіемъ: ихъ отношеніе къ порочному чуждо французской легкомысленности; они смотрѣли на него глазами гнѣвной сатиры или, по крайней мѣрѣ, съ комической точки зрѣнія. Для примѣра укажемъ оригинальную повѣсть М. Чулкова,

остановившуюся на первой части: «Пригожая повариха или похищеніе развратной женщины» (1770) (1). Въ свое время она имѣла большой успѣхъ; кромѣ того, ея заглавіе связано съ анекдотомъ о Суворовѣ (2). Слово «развратная» показываетъ, что авторъ не выдаетъ кривду за плѣнительное дѣло, а указываетъ ея прямое свойство. Конечно, въ разсказѣ своихъ веселыхъ и пикантныхъ приключеній, героиня не отличается стыдливостью и не щадитъ стыдливости читателей; откровенность ея иногда безцеремонна; иногда и совѣсть не зазираетъ ее по той причинѣ, что «есть на свѣтѣ люди гораздо ея отважнѣе, которые въ одну минуту надѣлаютъ больше худаго, нежели она надѣлала въ три дня»; ея мнѣнія о себѣ самой отзываются съ одной стороны равнодушіемъ къ тому образу жизни, который она вела, а съ другой сомнѣніемъ въ лучшемъ качествѣ людей вообще, какъ будто разрѣшающимъ ея грѣхи; по временамъ она играетъ своими сужденіями, говоря, на примѣръ, что если бы «непостоянство и роскошь не побуждали порочныхъ женщинъ, то онѣ были бы добродѣтельнѣе ростовщица и скупаго»: однакожъ, при всемъ этомъ, она не тщеславится своими продѣлками, принимая ихъ за продѣлки; безъ утайки причисляетъ себя къ порочнымъ женщинамъ; въ своихъ бѣдахъ видитъ послѣдствіе своего поведенія, которое по малой мѣрѣ, иронически называетъ не совсѣмъ изряднымъ; и вина людей, сбывающихся ближняго съ пути и потомъ не въ мѣру взыскательныхъ къ ближнему, она, въ то же время, не оправдываетъ и себя, согласно съ пословицей: «неправъ медвѣдь, что корову стѣлъ, неправа и корова, что въ лѣсъ забрела». Морально-обличительный элементъ повѣсти выражается большею частію въ подобныхъ пословицахъ, которыми авторъ, по любви своей къ нимъ, пересыпалъ разсказъ пригожей поварихи.

Прямѣе и строже отнесся къ общественной безнравственности А. Измайловъ въ романѣ: «Евгеній или пагубныя слѣдствія дурнаго воспитанія и сообщества» (2 ч., 1799—1801). Это — сатира на легкомысленную, полную недостойныхъ явленій жизнь нѣкоторыхъ помѣщиковъ. Она замѣчательно-вѣрно представляетъ бытовую сторону нашего полуобразованнаго общества во второй поло-

¹⁾ Содержаніе этого романа наложено г. Лонгиновымъ въ его «Библиографическихъ запискахъ» (Современникъ 1856, № 6).

²⁾ Однажды гр. Растининъ желалъ узнать мнѣніе Суворова о знаменитыхъ военнахъ и военныхъ книгахъ. Суворовъ перечислялъ всѣхъ извѣстныхъ полководцевъ и писателей, и при каждомъ имени крестился. Наконецъ, сказавъ Растинину на ухо: «Юлій Кесарь, Аннибалъ, Вонапартъ, Домашній лечебникъ, Пригожая повариха», заговорилъ о химіи.

винѣ прошлаго вѣка. Всѣ ея лица ясно выказываютъ себя не только своими поступками, но даже фамиліями: Негодяевъ, Развратинъ, Вѣтровы, Лицемѣрина, Подлянковы, губернёръ Pendard (бездѣльникъ), губернатка Sans-pudeur (безстыдная). Молодые еще хуже старыхъ. Родители какъ бы по завѣщанію передали дѣтямъ всѣ качества негодной своей натуры, которыя потомъ усилены и закрѣплены негоднымъ воспитаніемъ. Хорошаго не найдешь въ нихъ и съ фонаремъ. Единственная ихъ забота состоитъ въ томъ, чтобы удовлетворять животнo-эгоистическимъ наклонностямъ. При выборѣ къ тому средствъ они не задумываются нисколько: все хорошо, что ведетъ къ цѣлямъ. А этихъ цѣлей не мало: успѣхи свѣтскаго волопитства и чувственныхъ наслажденій, состояніе на службѣ съ увольненіемъ себя отъ всякихъ служебныхъ обязанностей, легкое добываніе денегъ на мотовство, возліанія Бахусу, возмутительное обращеніе съ крестьянами и прислугой. Нѣтъ ни религіознаго чувства, ни понятія о долгѣ, ни патриотизма, ни истиннаго самолюбія; ни гражданской и семейной чести, ни любви и почтенія къ родителямъ, которые приходятъ на память лишь въ то время, когда необходимо выпросить у нихъ денегъ, нажитыхъ безъ труда, обманомъ или беззаконнымъ ростовщичествомъ. Подобное скопленіе отвратительныхъ личностей и дѣлъ въ небольшомъ романѣ, конечно, вредить его достоинству, какъ преднамѣренная односторонность; но каждая личность и каждое дѣло, взятыя порознь, не противорѣчатъ ни психологической возможности, ни исторической правдѣ. Герой романа, Евгений Негодяевъ, немногимъ умнѣе Иванушки (въ комедіи «Бригадиръ») и многимъ хуже его въ нравственномъ отношеніи: въ немъ изъ подъ вѣншей цивилизаціи постоянно пробиваются грубныя, безсердечныя черты Скотинина и Митрофана. Сынъ бригадира просто смѣшонъ, а Евгений отвратителенъ съ самаго дѣтства. Наперсникъ Негодяева, Развратинъ, умѣлъ съ несказаннымъ искусствомъ жить на счетъ другихъ и принадлежалъ къ числу вольтеріанцевъ: «онъ не наблюдалъ ни естественнаго закона, ни христіанскаго, хвасталъ какъ педантъ, пилъ какъ ремесленникъ, игралъ на бильярдѣ какъ маркеръ и злословилъ какъ богомолва». Исторія его рассказана не безъ искусства. Однимъ словомъ, повѣсть отличается чувствомъ дѣйствительности, которое должно быть поставлено въ заслугу автору, тѣмъ болѣе, что онъ писалъ ее, имѣя только восемнадцать лѣтъ отъ роду.⁽¹⁾ и въ эпоху увлеченія Вѣдною Лизой. Са-

1) Самъ Иванъ говоритъ:

Восемнадцать, не больше, лѣтъ

Грѣха этого я произвелъ на свѣтѣ.

тирическое дарованіе взяло у него верхъ надъ приманками сентиментализма. Правда и то, что онъ имѣлъ передъ собою хорошіе образцы — сатирическіе журналы 1769—74 гг. Многія характеристики лицъ, равно какъ и многія картины домашняго и свѣтскаго быта живо напоминаютъ статьи Всякой всячины, Трутня, Живописца. Такова, напримѣръ, переписка Евгенія съ родителями, видимо внушенная письмами отца, матери и дяди Фалалея Трифоновича. Кромѣ того, въ романѣ Измайлова выказалась особенность его пера — цинизмъ изображенія и выраженія, заслужившій ему имя русскаго Тенъера № 1, которое онъ принималъ охотно, съ сознаниемъ своего отличительнаго достоинства, и которое въ самомъ дѣлѣ было достоинствомъ. Авторъ находилъ удовольствіе подбирать такія слова и краски, которыя отвѣчаютъ изображаемымъ предметамъ и событіямъ. Безцеремонность и наивная грубость послѣднихъ отражаются на слогѣ и рисовѣ ихъ повѣствователя. Будучи сатирой, «Евгеній» въ то же время принадлежитъ къ отдѣлу нравоучительныхъ романовъ: онъ имѣетъ цѣлю, какъ говоритъ заглавіе, показать «пагубныя слѣдствія дурнаго воспитанія и общества». Авторъ надѣялся, что книга его можетъ быть не только пріятна, но и полезна, т. е. что нине родители, прочтавъ ее, приложатъ рачительнѣйшее стараніе о воспитаніи своихъ дѣтей. Послѣдняя глава играетъ роль Небезиды: всѣ лица несутъ заслуженную кару. Самъ Негодяевъ вошелъ въ неоплатные долги, былъ посаженъ, по просьбѣ заимодавцевъ, въ магистратъ, занемогъ тамъ горячкою и умеръ на 24-мъ году отъ рожденія; Вѣтровы продали половину своихъ крестьянъ и вмѣстѣ съ кредитомъ потеряли названіе «хорошо живущихъ людей»; дочь ихъ, увезенная Распутнымъ и потомъ брошенная имъ, сокрыла въ рѣкѣ свой стыдъ; Распутинъ занемогъ въ то самое время, какъ хотѣлъ жениться на другой дѣвушкѣ, и похороненъ въ тотъ день, въ который думалъ праздновать свадьбу; у Лиценѣркиной тысячь съ тридцать пропало на должникахъ, да тысячь съ двадцать утратъ у нея неблагодарный слуга Степка и бѣжалъ съ ними не вѣдомо куда; у Тысящаникова, мучителя своихъ крестьянъ, пожаръ истребилъ весь хлѣбъ; monsieur Pendard (Евгеніевъ учитель) добываетъ серебро и золото изъ нерчинскихъ рудниковъ; madame Sans pudeur попала на какую-то суконную фабрику, гдѣ и прядетъ шерсть весьма искусно. Короче, пороки наказаны, и если добродѣтель не торжествуетъ, то потому единственно, что добродѣтельныхъ въ романѣ нѣтъ.

Современники Сумарокова особенно уважали его басни, видя въ нихъ «согровище російскаго Парнасса». Восторженные хвалители

подносили ему двойной вѣнецъ—Расина и Лафонтена. Если онъ не превзошелъ французскаго баснописца, говорили они, то, безъ сомнѣнія, сравнялся съ нимъ. Но изъ множества притчъ, переведенныхъ и сочиненныхъ Сумароковымъ, хороши именно тѣ, которыя ни по формѣ, ни по содержанію не имѣютъ ничего общаго съ баснями, и дурны большею частію тѣ, которыя относятся къ разряду басенъ. Сумароковъ былъ сатирикъ: сатирическое направленіе и составляетъ особенность и вмѣстѣ достоинство нѣкоторыхъ его притчъ, или другихъ стихотвореній, неизвѣстно почему помѣщенныхъ между притчами. Впечатлительный авторъ съ трудомъ покорялся условіямъ посредственнаго представленія жизни. Ему не доставало самообладанія, нужнаго для того, чтобы отъ начала до конца выдержать аллегорію. Онъ нетерпѣливо отбрасывалъ покровъ ея, и уже прямо, а не иносказательно, выговаривалъ, что у него было на сердцѣ. Поэтому въ притчахъ его много открытыхъ указаній на современные нравы, случаи, даже лица. Само собою разумѣется, что при такой откровенности нравоученіе, разоблачающее смыслъ басеннаго разсказа, становилось совершенно бесполезнымъ. Съ этой-то точки зрѣнія, Карамзинъ почиталъ басни Сумарокова лучшимъ его твореніемъ: онъ правились ему «рѣзкою сатирой, сильными, безпощадно-язвительными стихами».

Не съ Сумарокова, а съ Хемницера (1744—1784) слѣдуетъ вести начало нашей искусственной басни. Басни его дѣлятся на переводныя и оригинальныя. Зная нѣмецкій языкъ, онъ переводилъ не Лафонтена только, но и Геллерта, который въ своихъ басняхъ былъ тѣмъ же, чѣмъ и на каедрѣ—профессоромъ морали: нравоученіе сильно выступаетъ впередъ, занимая иногда цѣлую, даже большую половину басни. Хемницеръ умѣлъ избѣгать этого недостатка. Понимая, что длинная мораль рѣдко бываетъ хороша и что авторъ обязанъ предоставлять иные выводы собственной догадкѣ читателей, онъ частію опускалъ, частію сокращалъ много-рѣчивыя нравоученія Геллерта. Простота изложенія, и замисловатая, подъ часъ очень злая, наивность, при всей кажущейся безхитростности, служатъ главными отличіями его басенъ. И онъ самъ, и друзья его сознавали эти отличія. Въ посвященіи своихъ басенъ Дьяковой (сестрѣ второй жены Державина), онъ проситъ ее извинить «простой» ихъ слогъ. Слово «простой» относится не къ одному слогу, но и къ изобрѣтенію, составу и изложенію каждой басни. Надпись къ портрету баснописца говорить о не простотѣ, какъ главномъ его качествѣ:

Въ природѣ, въ простотѣ онъ истину искалъ;
Какъ видѣлъ, такъ ее списалъ.

Басни Хемницера служатъ вѣрнымъ отраженіемъ его характера и жизни: вотъ въ чемъ ихъ несомнѣнное достоинство. Хемницеръ, сколько намъ извѣстно изъ его біографіи, постоянно находился въ стѣсненныхъ обстоятельствахъ. Честный, добросовѣстный, правдивый, онъ чувствовалъ цѣну своего ума и образованія, но, по врожденной ему простотѣ и скромности, никогда не представлялъ ихъ на-показъ ни начальству, ни публикѣ, ни даже друзьямъ. По смерти отца, онъ остался съ матерью и двумя сестрами, которыхъ долженъ былъ содержать своимъ трудомъ. Но трудъ человѣка, дѣлающаго свое дѣло безъ шума и блеска, а единственно по чувству долга или по внутреннему призванію, рѣдко получаетъ достойное вознагражденіе. Такъ было и съ Хемницеромъ. Онъ очень хорошо зналъ, какъ легко живется на свѣтѣ глущу или богачу, и какъ трудно пробивать себѣ дорогу умнымъ бѣднякамъ, которыхъ все имущество, и наслѣдственное и благопріобрѣтенное, состоитъ въ нравственныхъ качествахъ, да въ образованности. Это горькое знаніе выражено его баснями. Существенное ихъ содержаніе сводится къ двумъ мыслямъ: печальной долѣ ума и бѣдности, привольному житію богатства и глупости. Нравоученіе «Умирающаго отца» безъ оговорокъ утверждаетъ, что о глущѣ нечего заботиться:

Дуракъ ужъ, вѣрно, сыщеть средство
Счастливымъ въ свѣтѣ быть.

Элегическій мотивъ басни: «Пожилой гадатель», показываетъ, что сочинитель ея имѣлъ въ виду свое личное дѣло. Молодой человѣкъ пожелалъ узнать, какова будетъ его жизнь—счастливая или несчастная; онъ призвалъ гадателя:

Гадатель былъ старикъ и строго честь любилъ,
Онъ зналъ людей и въ свѣтѣ жилъ,
Дѣтинѣ этому печально отвѣчаетъ:
Немного жизнь твоя добра предвозвѣщаетъ;
Ты къ счастью, кажется, на свѣтѣ не рожденъ:
Ты честенъ, другъ, да ты жъ уменъ.

Послѣдніе четыре стиха, опущенные при новомъ изданіи басенъ, содержатъ въ себѣ отвѣтъ старику:

Печальный прорекатель!
Какой стойческій урокъ!
Но къ счастью, что ты гадатель,
А не пророкъ.

Напрасное утѣшеніе! Молодой человѣкъ ошибся: старикъ былъ не пророкъ, а угадчикъ. Печальное гаданье повторяется на разные лады

ист. рус. сл. т. I, отд. 2.

въ басняхъ, указывая то блаженство глупости, то невзгоды и бѣдствія ума, честности, правды, трудовой жизни. Въ другой разъ, вѣроятно, тотъ же самый «дѣтина» спросилъ старика о средствахъ сдѣлаться знатымъ (Совѣтъ старика). Будь храбръ, мой другъ, отвѣчалъ ему старикъ, отложи покой и забавы, трудомъ приобрѣтай себѣ честь и славу, отличайся отъ другихъ глубокимъ знаніемъ.—Какъ это трудно! нѣтъ ли другихъ, болѣе легкихъ способовъ войти въ чины и почести?—

Ужъ легче нѣтъ того, какъ дураномъ прожить.

Басня: «Богачъ и бѣднякъ» также построена на элегическій тонъ, вызванный неправымъ почетомъ богатству и столь же неправымъ презрѣніемъ къ бѣдности, поклоненіемъ мѣшку, набитому деньгами, а не внутреннимъ достоинствамъ человѣка. Но если свѣтъ не цѣнитъ послѣднихъ, то Хемницеръ зналъ ихъ самостоятельную, независимую отъ свѣтскихъ сужденій цѣнность. Умъ и глупость, невѣжество и образованіе часто противопоставляется въ его басняхъ. Исторія «мѣщанина въ баронствѣ» (Баронъ, изъ Геллерта) доказываетъ ничтожность богатства безъ образованія. Нравоученіе басни «Попугай» считаетъ бѣдою для умнаго человѣка попасться въ домъ невѣжды. Скромная работница, Пчела, уподобляется наукѣ, а Курица, носящаяся съ своимъ ищомъ, хвастливому невѣждѣ (Пчела и курица). Этотъ умъ, которымъ такъ дорожитъ баснописецъ, не долженъ, по его мнѣнію, заходить за разумъ. Простой по праву и образу жизни, простой въ своемъ авторствѣ, Хемницеръ любилъ тоже качество въ сужденіяхъ и въ наукѣ. Здравомысліе предпочиталъ онъ умствованію, приемы безхитростнаго мышленія діалектическимъ тонкостямъ. Басня «Метафизикъ» есть сатира противъ тѣхъ швольныхъ вралей,

Которые съ ума на разъ людей сводили,
Неистолкуемымъ давая толкъ вещамъ.

Въ другой баснѣ (Буквы) являются «ученые отцы», любящіе въ самыхъ незначительныхъ словахъ открывать тайный смыслъ: такое направленіе учености басня называетъ сумасбродствомъ, доводящимъ и другихъ до безумія. «Лисица и сорока» замѣчаетъ, что у людей

Чѣмъ кто глупѣе,
Тѣмъ въ доказательствахъ сильнѣе.

«Ереси и спорныя слова, разсѣяныя въ законахъ», погубили множество народа, по словамъ басни «Слѣпцы». Кто скромнѣе въ мыс-

ихъ и желаніяхъ, тотъ не заносится высоко, а любитъ осторожно ступать по землѣ, «ловить, что сыщется подъ ногами, а не то, что летаетъ надъ головой» (Собака и муха). Хитроуміе ведетъ къ заблужденіямъ: умствуя, мы зовемъ счастье несчастіемъ и влинемъ истинное благо, почитая его зломъ (Крестьянинъ съ ношею). И потому-то именно, что Хемницеръ смотрѣлъ себѣ подъ ноги, онъ лучше хитроумныхъ видѣлъ людскія злоупотребленія и неправду, особенно неправду на службѣ. Басня «Воинъ» представляетъ честнаго служиваго, обойденнаго наградою, но не напоминающаго о томъ начальству. Пускай, говоритъ онъ, лучше мнѣ скажутъ,

За что креста я не прошу,
А не за что я крестъ ношу.

«Часовая стрѣлка» показываетъ искусство нѣкоторыхъ особъ получать отличія за труды подчиненныхъ: какъ «иной дѣлецъ чужими чванится дѣлами». «Оплошала Лисица» есть образъ тѣхъ людей, которые, вѣря пословицѣ: «отъ добра добра не ищутъ», не запасаются на всякій случай двумя тремя служебными мѣстечками:

Сталъ новый командиръ изъ мѣста выжимать:
Другое есть, куда пристать.
Хоть впрочемъ иногда случится,
Гдѣ статскій чинъ сидѣлъ, военный очутится;
Да дѣло здѣсь о томъ: когда пришла бѣда,
Что надобно бѣжать,—такъ было бы куда.

Дополнимъ наши указанія еще двумя баснями: «Великанъ и карлики» и «Паукъ и мухи». Гдѣ карлики не находили дна, тамъ великанъ перешелъ рѣку въ бродъ; такъ и въ дѣлахъ: иному океанъ—лужица, а иному и лужица—океанъ. Ту паутину, въ которую мушкетеръ попадаетъ сплошь и рядомъ, большая муха легко прорываетъ:

А это и съ людьми бываетъ,
Что маленькимъ, куда
Ни обернись, бѣда.
Воръ, напримѣръ, большой, хоть въ кражѣ попадетъ,
Выходитъ правъ изъ подъ суда;
А маленький наказанъ остается.

Какъ же искоренять безпорядки и злоупотребленія? Хемницеръ оставляетъ этотъ вопросъ безъ отвѣта. Онъ знаетъ только, что ихъ не искоренишь тѣмъ способомъ, который всегда почти употребляется, т. е. начиная считать соръ съ нижнихъ ступеней лѣстницы (басня «Лѣстница»):

*

На что бы походило,
Когда бъ въ правленіи, въ какомъ бы то ни было,
Не съ вышнихъ степеней, а съ нижнихъ начинать
Порядокъ наблюдать?

Ясному отраженію личности автора въ его сочиненіяхъ, полныхъ отношеній къ его жизни семейной и служебной, мы частію приписываемъ боязнь Хемницера выпустить въ свѣтъ свои басни. Иалишая совѣстливость мѣшала ему выставять передъ публикой свою собственную личность, которою онъ, по скромности и простотѣ, мало занимался, всенародно исповѣдовать свои чувства и мысли, дѣлиться съ читателемъ наблюденіями и намеками, изъ которыхъ иные, какъ онъ самъ говорилъ друзьямъ, будутъ, кромѣ того, приняты въ дурную сторону и могутъ повредить его службѣ. Хемницеръ всегда твердилъ своимъ баснямъ «жить правдою и говорить правду»: какъ же было имъ явиться въ общество, которое и жило и говорило иначе? какъ, напримѣръ, Вѣдникъ, извѣдавшій на опытѣ неправоe презрѣніе къ бѣдности, рѣшился бы еще дать ей въ спутницы суровую правду? «Посвященіе» раскрываетъ эти личныя опасенія Хемницера, который не только писалъ басни, но и часто описывалъ въ нихъ себя самого. Вмѣшательство личности сообщило имъ извѣстную задуховность, такъ что нѣкоторые изъ нихъ могутъ быть названы баснями-элегіями. но вмѣстѣ и пугало автора, не желавшаго сдѣлаться предметомъ толковъ и догадокъ. Потому-то, склонясь на просьбу Львова и Капниста напечатать сочиненія, онъ скрылъ свое имя и взялъ съ друзей слово не выдавать его.

Майковъ (Василій Ивановичъ) провелъ свое дѣтство въ отцовскомъ помѣстьѣ, близъ Ярославля. Отецъ его былъ друженъ съ ярославскимъ воеводою Мусинымъ-Пушкинымъ и вмѣстѣ съ нимъ покровительствовалъ театральнымъ начинаніямъ Ѳ. Г. Волкова. Образование молодой Майковъ получилъ ограниченное: онъ не зналъ ни одного иностраннаго языка. Но отсутствіе гувернеровъ, домашнее обученіе по церковнымъ книгамъ и самая семейная обстановка имѣли для него большую выгоду: они дали его природнымъ дарованіямъ возможность развиваться лицомъ къ лицу и въ сочувствіи съ русскою дѣйствительностью и простонароднымъ бытомъ, слѣды чего и отразились въ его произведеніяхъ. Службу Майковъ началъ (1747) въ Семеновскомъ полку, а вышелъ въ отставку 1761 г. Въ теченіи ея, онъ познакомился съ нѣкоторыми представителями просвѣщенной петербургской молодежи: Сумароковымъ, Влагиннымъ, Мелиссино, и сблизился съ своими земляками, актерами Волковымъ и Дмитревскимъ, которые помогали ему своими совѣтами. По выходѣ въ отставку поселился въ Москвѣ, гдѣ занялъ должность товарища губернатора (1766). Первые печатныя его произведенія появились 1762 и 1763 г.г. въ журналахъ

Хераскова: «Полезное увеселеніе» и «Свободные часы»; поэма «Игрокъ Домбера» (1763) всего болѣе содѣйствовала его извѣстности. Переселился въ Петербургъ 1768 г. и занялъ мѣсто прокурора военной коллегіи (1770). Въ 1771 г. вышла въ свѣтъ поэма «Влассей или Раздразненный Вакхъ», ходившая прежде въ рукописяхъ и имѣвшая большой успѣхъ между современными писателями. Въ 1775 г. оставилъ Петербургъ и поселился въ Москвѣ. Такъ какъ должность его (члена въ конторѣ оружейной палаты) была не обременительна, то онъ полнѣе отдался литературнымъ занятіямъ. Онъ вступилъ въ среду масоновъ, и съ 1777 г. стихотворенія его, помѣщенные въ изданіи Новикова «Утренній свѣтъ», выражаютъ нравственное ученіе масонства (*Л. Майкова: О жизни и сочиненіяхъ В. И. Майкова*).

Иванъ Ивановичъ Хемницеръ, или Хемнитцеръ, какъ онъ самъ писалъ свою фамилію отъ города Хемница (Chemnitz — въ Саксоніи), по происхожденію былъ нѣмецъ. Отецъ его, въ царствованіе Петра Великаго выѣхавшій въ Россію, занималъ, въ 40-хъ годахъ прошлаго столѣтія, должность военного штабъ-гѣкаря и проживалъ въ астраханской губерніи. Здѣсь, въ Енотаевской крѣпости (нынѣ Енотаевскъ) родился нашъ баснописецъ (1745 г.). Начальное образованіе получилъ дома, а потомъ учился въ Астрахани у лютеранскаго пастора и одного инженернаго офицера: послѣдній преподавалъ ему ариметику и геометрію. По переводѣ отца въ Петербургъ (1755) былъ помѣщенъ къ учителю латинскаго языка при врачебномъ училищѣ (въ послѣдствіи медико-хирургическій институтъ). Отецъ готовилъ его къ медицинскому поприщу, но подготовка не привела къ цѣли: молодой Хемницеръ, задумавъ искать счастья въ военной службѣ, поступилъ въ солдаты Нотенбургскаго полка, былъ въ походахъ въ семилѣтнюю войну, состоялъ нѣкоторое время адъютантомъ при генералахъ: Остерманѣ и князѣ Голицынѣ, и выпущенъ въ отставку поручикомъ, послѣ двѣнадцати лѣтъ службы (1757—1769). Служба эта также мало удовлетворила Хемницера, какъ и занятіе медициной, такъ что въ послѣдствіи онъ сравнивалъ военное поприще съ анатомическимъ театромъ, отъ котораго бѣжалъ. Изъ арміи перешелъ въ горное вѣдомство, которымъ управлялъ тогда Соймоновъ: мѣстомъ этимъ онъ одолженъ своему другу, А. Н. Львову, родственнику его начальника. Собственная охота, вліяніе друзей (особенно Львова), а частію и нужда побудили Хемницера заняться литературой. Онъ началъ серьезно изучать русскій языкъ (съ дѣтства говорилъ онъ дома по нѣмецки, и до зрѣлаго возраста писалъ еще нѣмецкіе стихи). Въ 1770 г. напечатано было первое его стихотвореніе—плохая ода на взятіе турецкой крѣпости Журжи. Около 1774 г. явился переводъ героиды Доръ (Dorat): «Письмо Барнебеля къ Труману изъ темницы». Съ учрежденіемъ при горномъ училищѣ ученаго собранія (1774), въ число его членовъ назначенъ и Хемницеръ. Въ 1776 г. ѣздилъ за границу съ Соймоновымъ. Около года употребили они на посѣщеніе Германіи, Голландіи и Франціи. По возвращеніи съ новымъ жаромъ предался научнымъ и литературнымъ занятіямъ: къ первымъ относятся переводы съ нѣмецкаго нѣсколькихъ сочиненій по минералогіи; ко вторымъ—басни и сказки, вышедшія первыми изданіемъ въ 1779 г. По выходѣ Соймонова въ отставку, онъ тоже покинулъ службу (1781) при горномъ корпусѣ, но, не имѣя ни-

какого состоянія, долженъ былъ искать новой. При помощи Львова, служившаго подъ начальствомъ гр. Безбородки, онъ получилъ мѣсто генеральнаго консула въ Смирнѣ, куда и отправился въ 1782 г. Разлука съ родиною и съ друзьями, рѣзкая переменѣ климата и тяжелые труды быстро разстроили его здоровье: онъ умеръ на 40-мъ году жизни (1784); тѣло его было перевезено въ Россію и погребено въ Николаевѣ (*Я. А. Гротъ: Сочиненія и письма Хамницера, 1878*).

§ 29. Говоря о Сумароковѣ, мы замѣтили, что при всей подражательности нашихъ авторовъ иностраннымъ литературамъ, въ особенности французской, все же ихъ произведенія, такъ или иначе, отражаютъ въ себѣ родную жизнь. Отраженіе имѣло различныя степени. Были такіа произведенія, которыя напоминали русскій міръ только русскими именами дѣйствующихъ лицъ. За этимъ, самымъ бѣднымъ проявленіемъ народнаго элемента слѣдовало такъ называемое переложеніе заимствованнаго на отечественные нравы. Но подобныя передѣлки очень часто выходили неудачными, такъ какъ въ нихъ совмѣщалось несомвѣстимое: на ряду съ тѣмъ, что у насъ есть или было, оказывалось многое совершенно намъ чуждое; смѣсь двухъ разнородныхъ элементовъ бросалась въ глаза читателю и непріятно поражала его чувство истинны. Далѣе идутъ представители стремленій къ дѣйствительности, почерпавшіе матеріалъ для своихъ сочиненій непосредственно изъ русской жизни и съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ знакомившіе соотечественниковъ съ ея явленіями. Эти лица намъ извѣстны: Фонъ-Визинъ, Капнистъ (въ Ябедѣ), Майковъ, Аблесимовъ, издатели сатирическихъ журналовъ времени Екатерины и другіе, о которыхъ скажется ниже. Они, хотя частію своей авторской дѣятельности, прокладываютъ путь къ литературѣ народной, въ обширномъ смыслѣ послѣдняго слова, и относятся къ литературѣ народной въ тѣсномъ смыслѣ (т. е. къ простонародной) иначе, чѣмъ большинство людей образованныхъ.

Какъ же относилось большинство этихъ людей къ народной словесности и народнымъ книгамъ, составлявшимъ любимое чтеніе средняго и низшаго общественныхъ классовъ?

Если въ древней Руси народная словесность возбуждала недовольство духовныхъ лицъ, которыя не могли примирить ея двоявѣрія съ догматами вѣры и церковными требованіями, то въ Россіи новой она долгое время оставалась въ загонѣ у литераторовъ и ученыхъ, потому что своимъ содержаніемъ разногласила съ началами науки и цивилизаціи, а своею формою не подходила подъ условія литературной теоріи. Прежде осужденіе народной поэзіи произносилось отъ имени религіозныхъ истинъ;

послѣ она осуждается съ высоты научныхъ и нравственныхъ интересовъ. Народныя книги, народныя пѣсни и сказки заключали въ себѣ предрассудки и ложныя понятія или съ сочувствіемъ изображали обычаи старины: просвѣщенные люди Екатеринына времени, почитая ихъ съ этой стороны опасными для разумныхъ идей, для началъ новой гражданственности, и будучи не въ состояніи оцѣнить ихъ поэтическое, самостоятельное, нераздѣльно связанное съ исторіей и духомъ народа значеніе, часто относились къ нимъ съ пренебреженіемъ и сатирой. Сумароковъ нападалъ на нихъ съ точки зрѣнія стилистической. Бова Королевичъ, Петръ Златне-Ключи заслужили его гнѣвъ тѣмъ, что написаны «неисправнымъ слогомъ» (эпистола о русскомъ языкѣ). Журналъ «И то и се» иронически называетъ произведенія дубочной литературы «весьма славными сочиненіями, подъ которыми господа авторы для вѣчной и безсмертной себѣ славы не ставили своихъ именъ». Впрочемъ, не всѣ раздѣляли такое гордое мнѣніе о народной словесности. Императрица Екатерина любила пословицы и сдѣлала изъ нихъ выборъ съ педагогическою цѣлью, Нѣсколько ея драмъ написано на пословицы, которыя и служатъ заглавіями пьесъ, и заканчиваютъ ихъ, какъ моральные выводы. По ея порученію, Богдановичъ составилъ сборникъ русскихъ пословицъ, распредѣливъ ихъ на отдѣлы по нравственному смыслу и, кромѣ того, дозволивъ себѣ своевольное съ ними обращеніе. Взглядъ собирателя на пословицы изложенъ въ предисловіи: «до введенія письменъ, онѣ служили изустнымъ преданіемъ законовъ; въ послѣдствіи, народный разумъ распространилъ ихъ на всѣ части благонравія и благоповеденія». По этой причинѣ, Богдановичъ расположилъ пословицы по различію пороковъ и добродѣтелей, по статьямъ хорошаго и дурнаго поведенія, не замѣчая, что понятіе объ одномъ моральномъ направленіи чрезвычайно: сузило кругъ народной мудрости, выражаемой въ пословицахъ. Но важнѣйшая ошибка Богдановича—измѣненіе ихъ текста. Онъ переложилъ ихъ въ стихи, увѣренный, что поступаетъ разсудительно, что будто въ первобытномъ своемъ реченіи «всѣ пословицы составлены были правильными стихами: ямбомъ, хореемъ или дактилемъ, хотя не вездѣ снабжены богатыми приемами; въ послѣдствіи, переходя изъ устъ въ уста, чрезъ долгое теченіе временъ онѣ должны были естественнымъ образомъ претерпѣть много измѣненій и поврежденій». И подъ вліяніемъ такого взгляда, Богдановичъ измѣнилъ почти каждую пословицу, чтобы облечь ее въ стихотворную форму, а стихи надѣлать богатою римой. Приводимъ примѣры подобныхъ измѣненій. Вмѣсто пословицы: «Богъ не выдастъ, свинья не

съѣсть», «живой живое и думаетъ», «сытый голоднаго не разумѣть», «въ семьѣ не безъ урода», «и на старуху бываетъ про-
руха», читаемъ:

Какъ Богъ не дастъ,
Свинья не съѣстъ.

Живой живое размышляетъ
И вѣкъ, какъ лучше, пробавляетъ.

Сытый голоднаго не разумѣть,
Когда, какъ безъ хлѣба, голодный кофетъ.

Отъ рыцарскаго рода
Въ роднѣ не безъ урода.

Бываетъ грѣхъ и на старуху;
Впадаетъ-скать и дѣдъ въ проруху.

Не нужно говорить, что подобныя переѣмны тождественны иска-
женію. Обстоятельствомъ, облегчающимъ проступокъ Богдановича,
можетъ служить то, что въ его время даже первоклассные умы
не совсѣмъ понимали сущность народной поэзіи. Фонъ-Визинъ, въ
«Письмѣ къ Козодавлеву о планѣ руссійскаго словаря», всѣ по-
словицы, гдѣ есть Сенюшки и Фили, называетъ весьма низкими
умомъ и выраженіемъ, и желаетъ, чтобъ онѣ вовсе были забыты.
Мудрено ли, что и Богдановичъ долженъ былъ извиняться передъ
публикой за имена Оомы, Кузьмы, Вавилы и тому подобныя, «подъ
которыми осмѣяны пороки и которыя могутъ показаться досади-
тельны» своимъ тевгамъ? Иначе отвесся къ творческой фантазіи
народа Н. Львовъ въ предисловіи къ «Собранію» русскихъ пѣсенъ,
положенныхъ на музыку Прачемъ (1790). Въмѣсто того, чтобы въ
безыскусственной поэзіи видѣть «лепетъ младенца» (какъ тогда
любили выражаться), недостойный занимать человѣка образован-
наго, онъ, напротивъ, ставить ее предметомъ серьезнаго изученія
и ожидаетъ отъ него полезныхъ результатовъ. Львовъ понималъ,
что народъ-младенецъ не одно и то же съ младенцемъ-человѣкомъ;
что въ жизни перваго, какъ бы она ни была молода, уже суще-
ствуютъ преданія, вѣрованія, убѣжденія, находящія свое полное
отраженіе въ поэзіи. Онъ справедливо хвалитъ мелодію нашихъ
пѣсенъ, надѣясь, что композиторы воспользуются ихъ мотивами
для оперъ и тѣмъ доставятъ любителямъ музыки новыя пріятно-
сти. Собраніе пѣсенъ будетъ весьма пригодно и для философа:
по характеру народнаго пѣнія онъ можетъ заключать о характерѣ
самого народа. Русскій человѣкъ не имѣетъ причины бояться

этихъ заключеній, подтверждаемыхъ исторіей: минорные тоны протѣжныхъ пѣсенъ доказываютъ нѣжность, чувствительность и то расположеніе духа къ меланхоліи, которое производитъ великихъ людей и во всѣхъ родахъ дѣятельности. Столько же и выгоднымъ окажется для насъ и содержаніе пѣсенъ; онѣ обнаружатъ доблестныя качества: привязанность и почтеніе къ родителямъ, тѣсный союзъ родства между братьями и сестрами, неутѣшную горестъ дѣвцы о потерѣ милаго друга. Авторъ предисловія отдаетъ преимущество русскимъ пѣснямъ и относительно ихъ стопосложенія, такъ какъ онѣ представляютъ многообразныя по роду и мѣрѣ стихи. Львовъ замѣчаетъ въ этихъ стихахъ правильность просодіи, согласіе ея съ музыкой, пріятную для слуха плавность, частныя, но естественныя отдохновенія для голоса. Конечно, въ этомъ лествомъ для русскихъ пѣсенъ мнѣніи нѣтъ еще истинно-научнаго взгляда, который и не могъ имѣть мѣста при маломъ знакомствѣ съ существенными отличіями народнаго творчества, но по крайней мѣрѣ оно выказываетъ сочувствіе образованнаго литератора къ поэтической старинѣ. Изъ сочиненій Львова извѣстны: «Добрыня, богатырская пѣсня» и «Ботаническое путешествіе на Дудерову гору». Первое написано стариннымъ тоническимъ размѣромъ; въ немъ есть неподдѣльное остроуміе и счастливыя стихи. Такъ напр. русскій духъ, изгнанный изъ образованнаго общества, говорить:

Поклонился я приворотницамъ,
Поселился жить въ чистомъ воздухѣ
Посреди поля съ православными.
Я прижалъ къ сердцу землю русскую
И ношу ее припѣваючи;
Пововутъ меня—я откликнуся,
Оглянусь, но .. незнакомъ никто
Ни одеждою, ни поступками.

Или другое мѣсто, гдѣ авторъ требуетъ богатыря чисто-русской породы, а не выходца изъ чужой стороны:

Дайте русскаго мнѣ витязя!
Я Бову королевича
Не хочу пѣть; не Русскій онъ;
Онъ изъ города Антона,
Сынъ какого-то Гвидона,
Макароннаго царя;
О пустомъ не говоря,
Хлѣбъ ему нашъ полюбился,

Такъ онъ къ намъ переселился
И давно въ Москвѣ учился
Щи варить и хлѣбы печь;
Тутъ онъ взялъ и русску рѣчь.

Въ сочиненіяхъ Львова постоянно отражается сочувствіе къ крестьянскому быту и къ народности. Его разговоръ съ крестьяниномъ, какъ строить изъ земли избу, есть твореніе неопѣненное по словамъ его біографа (Ө. Львова). Шутливое «путешествіе на Дудерову гору» написано частью прозой, частью стихами, въ подражаніе путешествію, которое сочинили сообща Башомонъ и Шапель, славившійся піесами въ легкомъ родѣ поэзіи, критическимъ вкусомъ и эпикурейскимъ правомъ: потому-то и Львовъ, какъ знатокъ многихъ искусствъ (поэзіи, живописи, музыки, особенно архитектуры), въ кругу своихъ друзей-литераторовъ былъ прозванъ «новымъ Шапелемъ».

Памятники народной повѣствовательной литературы XVII-го и первой половины XVIII в. не были забыты и въ царствованіе Елизаветы. Составляя нѣкогда достояніе не одного простонародья, но и высшаго класса общества, они, съ теченіемъ времени, спустились въ нѣншій и средній слои, которыхъ понятія приходились въ уровень съ ихъ содержаніемъ и формой. О нихъ-то сказалъ Новиковъ, что они не заслуживаютъ никакого уваженія просвѣщенныхъ людей и читаются одними только мѣщанами. Новые изданія этихъ «мѣщанскихъ» повѣстей доказывали живую въ нихъ потребность и значительную массу ихъ читателей. Кромѣ печатныхъ книгъ, ходили по рукамъ ихъ списки. Въ журналѣ «И то, и се» говорится о подъячемъ, который, по прекращеніи приказной службы, кормился переписываніемъ «Бовы-Королевича, Петра златыхъ-ключей, Еруслана Лазаревича, Франца Венеціанина, Геріона, Евдона и Берен, Арсаса и Размѣра, Россійскаго дворянина Александра, Фрола Скобѣева и прочихъ полезныхъ исторій, продававшихъ на рынкѣ». Между новыми народными книгами этого времени особенно популярностью пользовались переведенныя съ польскаго «Похожденія новаго увеселительнаго шута и великаго въ дѣлахъ любовныхъ плута Совѣстдрала, большаго носа» (1788). Въ искаженномъ словѣ «Совѣстдралъ» трудно открыть первоначальный его видъ: «совнно зеркало» (Eulenspiegel), сокращенно «сове зрцadlo». Названіе это объясняется пословицей: «человѣку также трудно замѣчать свои собственные недостатки, какъ совѣ видѣть въ зеркалѣ свое безобразіе». Книга одолжена своимъ происхожденіемъ Германіи, гдѣ была напечатана въ XV в. и съ того времени сдѣлалась характеристическимъ образцомъ народнаго остроумія. Впро-

чемъ, важнѣйшія проказы и шутки Совѣстдрала принадлежали собственно не ему, а героямъ другихъ народныхъ повѣстей, откуда и перенесены на его личность. Кромѣ того многія его забавныя выходы и рѣчи составляли наслѣдственное достояніе сословія и ремесленныхъ цеховъ. Возникшая съ самимъ ремесломъ, повторявшаяся въ многоразличныхъ видахъ, прошедшая чрезъ нѣсколько поколѣній, вся эта игра народнаго остроумія и юмора дала книгѣ о Совѣстдралѣ свою сущность, свою несомнѣнную комическую силу, свою почтенную долговѣчность, какими рѣдко могутъ хвалиться остроумныя произведенія отдѣльныхъ лицъ. Къ народнымъ книгамъ относится также «Письмовникъ», Николая Курганова, содержащій въ себѣ науку русскаго языка со многими присовокупленіемъ разнаго учебнаго и полезнаго веществословія (1769).» Это своего рода энциклопедическій сборникъ, основнымъ фондомъ котораго служитъ грамматика, такъ какъ преждеизданное руководство въ этой наукѣ не удовлетворяло составителя, желавшаго преподавать ее своимъ дѣтямъ; все же остальное содержаніе, какъ учебное (научное), такъ и полезно-забавное, размѣщено въ восьми особыхъ «присовокупленіяхъ». Сюда входятъ пословицы, загадки, краткія замысловатія повѣсти, достопамятныя рѣчи, хорошія мнѣнія, поучительныя разговоры, стихотворенія, разноязычный словарь, всеобщій чертежъ наукъ и художествъ (исторія священная и свѣтская, исторія естественная, размышленія о физикѣ, о системѣ міра и многое другое). «Письмовникъ» соотвѣтствуетъ древне-русскому сборнику «Пчела», съ тѣмъ различіемъ, что содержаніе его многостороннѣе и объемъ обширнѣе. Апоегмы, замѣнившія въ XVII вѣкѣ «Пчелу», составляютъ въ сборникѣ Курганова только половину одного (третьяго) присовокупленія; другая половина заключаетъ въ себѣ правила Эпиктетовой морали съ толкованіемъ. Вѣдая, что различность веселитъ, обогащаетъ мысли и просвѣщаетъ разумъ, Кургановъ наполнилъ свою книгу множествомъ «благопристойныхъ вещей», пріятныхъ и полезныхъ людямъ всѣхъ званій:

Духовный ли, мірской ли ты? прилежно се читай:
Все найдешь здѣсь—тотъ и другой, но разумѣть смекай.

Въ умѣннѣ смекать читатель подражаетъ хитрости пчелъ, которыя и съ ядовитыхъ цвѣтовъ берутъ медъ.

Произведенія повѣствовательной литературы XVII в. не только сохраняли свою роль для низшихъ классовъ народа, но и возбуждали дѣятельность нѣкоторыхъ писателей. Старый литературный запасъ обновлялся подъ перомъ ихъ, принимая въ свое

содержаніе новыя подробности и получая иную, болѣе облагороженную форму. Эта полезная дѣятельность приходилась, по выраженію Новикова, на вкусъ простосердечныхъ людей среднего класса. Такъ, напримѣръ, исторія о Фролѣ Скобѣевѣ передѣлана была Иваномъ Новиковымъ въ изданной имъ книгѣ: «Похожденіе Ивана Гостиваго сына и другія повѣсти и сказки» (1785—86). Исторія получила здѣсь другое названіе: «Новгородскихъ дѣвушекъ святочной вечеръ сыгранный въ Москвѣ свадебнымъ». Кромѣ того она рассказана съ нѣкоторыми переиѣнами и болѣшими подробностями, и въ новомъ своемъ видѣ представляетъ любопытныя черты стараго московскаго быта. Изложеніе въ иныхъ мѣстахъ гораздо рѣзче, нежели въ оригиналѣ. Дѣйствующимъ лицамъ даны другія имена; характеры ихъ болѣе развиты. Изъ ловкаго приказнаго, какимъ былъ Фролъ Скобѣевъ, вышелъ плутъ Селуянъ Сальниковъ. Издатели сатирическихъ журналовъ (1760—74) также имѣли въ виду народное чтеніе. Мы знаемъ, чему Новиковъ приписывалъ успѣхъ своего Живописца. Особенное трудолюбіе выказано по этому поводу Михаиломъ Чулковымъ, издателемъ журналовъ: «И то и се» и «Парнасскаго Щепетильника». Во многихъ сочиненіяхъ своихъ онъ описываетъ старину, или собираетъ памятники народной поэзіи, или самъ ихъ пересказываетъ. Таковы: «Собраніе разныхъ пѣсень» (4 ч., 1780); «Русскія сказки о славныхъ богатыряхъ» (10 ч., 1780); «Абевега русскихъ суевѣрій» (1782); «Пересѣшникъ, или славенскія сказки» (5 ч., 1783); «Вечерніе часы или древнія сказки славянъ древлянскихъ» (3 ч., 1787—88).

Львовъ (Николай Александровичъ, † 1803) не получилъ основательнаго образованія, но, чрезвычайно даровитый и любознательный, одолженъ своимъ развитіемъ собственно себѣ. Онъ много читалъ; служба въ иностранной коллегіи доставила ему возможность побывать, по дипломатическимъ дѣламъ, въ Германіи, Франціи, Италіи и Испаніи. Эти поѣздки обогатили его дѣятельный умъ многоразличными знаніями. Главное вниманіе обращалъ онъ на произведенія искусствъ (живописи, архитектуры, музыки) и умѣлъ цѣнить ихъ, какъ знатокъ. Обыкновенное его общество составляли Державинъ, Хемницеръ, Капнистъ, Елагинъ, Храповицкій, А. Хвостовъ. Первые двое были много одолжены его умнымъ совѣтамъ: благодаря ему, Державинъ настраивалъ свою лиру на болѣе естественный и простой тонъ; Хемницеръ (говорится въ одной біографіи Львова) не пускалъ ни одной своей басни въ свѣтъ, не прося объ ея пропускѣ Львова, который или снабжалъ таковымъ проѣздомъ, или отказывалъ въ ономъ. Право совѣтника и руководителя въ кругу друзей давалъ ему вѣрный и замѣчательно развитый вкусъ.

Чулковъ (Михаилъ Дмитріевичъ, †1793) обучался въ московскомъ университетѣ, а потомъ служилъ секретаремъ въ сенатѣ. Не смотря на поверхностное образованіе и служебныя обязанности, онъ, по особенной любви къ литературѣ, много потрудился на пользу народнаго чтенія. Труды его, какъ издателя двухъ журналовъ («И то, и се», «Парнасскій Щепетильникъ»), какъ собирателя русскихъ народныхъ пѣсень, сказокъ и повѣрій, заслуживаютъ полнаго вниманія.

Кургановъ (Николай Гавриловичъ, 1726—1796), сынъ унтеръ-офицера, обучался сначала въ Навигацкой школѣ (въ Москвѣ), а потомъ въ Морской Академіи (въ Спб.). По окончаніи курса, произведенъ въ подмастерья математическихъ и навигацкихъ наукъ, далѣе переименованъ въ учителя, черезъ нѣсколько лѣтъ былъ профессоромъ, и наконецъ инспекторомъ, въ которой должности и оставался до самой смерти. Около 50 лѣтъ занимаясь преподаваніемъ въ Морскомъ кадетскомъ корпусѣ, Кургановъ частію сочинилъ и частію перевелъ цѣлую математическую морскую учебную энциклопедію.

§ 30. Переводная литература Екатерининна времени оказала несомнѣнное вліяніе и на образованіе, и на литературу. Извѣстнѣйшія творенія всѣхъ почти древнихъ и новыхъ авторовъ перешли въ намъ во второй половинѣ прошлаго вѣка. При академіи наукъ учреждено было особое собраніе, подъ названіемъ «переводнаго департамента» (1767), которому отпускалось ежегодно по 5000 руб. для уплаты переводчикамъ. Занятія его продолжались до основанія Россійской Академіи (1783). Упраздненный въ это время, онъ былъ потомъ возобновленъ стараніями академика Протасова (1790). Главное мѣсто между переводами занимаютъ сочиненія французскихъ писателей XVIII и нѣкоторыхъ англійскихъ XVII—XVIII в. Особеннымъ преимуществомъ пользовался Вольтеръ; за нимъ слѣдуютъ: д'Аржансъ, Вольней, Гельвецій, Гоббесъ, Даламберъ, Дидро, Локкъ, Рейналь, Ж. Ж. Руссо, Фридрихъ II и пр. Что сочиненія Вольтера были значительно распространены въ русской публикѣ, это доказывается неоднократными ихъ изданіями. Его читали не одни Русскіе высшаго общества, хорошо знакомые съ французскою литературой, но и тѣ, которые не знали французскаго языка и которымъ слѣдовательно необходимы были переводы. Имя его, съ прибавкою слова «господинъ», произносилось на русскій ладъ: «господинъ Вѳльтеръ». Начитавшіеся Вольтера слыхи «вольтеріанцами». Еще въ первой четверти нынѣшняго вѣка легко было встрѣтить многихъ «вольтеріанцевъ» не только между аристократами, но и въ среднемъ классѣ, между помѣщиками и чиновниками. Главнымъ пунктомъ ихъ образа мыслей были не столько политическія, сколько религіозныя понятія, склонявшіяся къ деизму. Этимъ и объясняются слова одного изъ русскихъ пи-

сателей, который самъ заплатилъ дань французской философіи: «отступники откровенной религіи дѣлали доселѣ болѣе вреда въ Россіи, нежели непризнаватели бытія Божія—атеисты; таковыхъ у насъ мало». Разговоръ Фонъ-Визина съ Тепловымъ различаетъ два класса тогдашнихъ русскихъ скептиковъ: одни — глупцы и невѣжды, которые считали предразсудкомъ все, чего ихъ слабый разсудокъ былъ понять не въ силахъ; другіе—умствователи, старавшіеся доказать доводами справедливость своихъ мнѣній. На скептицизмъ, какъ видно изъ того же разговора, сходились крайности нашего общества: съ одного конца унтеръ-офицеры гвардіи, а съ другаго—синодальный оберъ-прокуроръ (Признаніе въ дѣлахъ мовъ и помышленіяхъ). Если не безвѣріе, то кощунство было въ модѣ, какъ плодъ легкомысленнаго обращенія съ важнѣйшими предметами ума и чувства. Этой модѣ послужилъ и Фонъ-Визинъ «Посланіемъ къ слугамъ своимъ», въ чемъ послѣ искренно раскаивался. Біографія Ушакова, написанная Радищевымъ (1789), даетъ понятіе о томъ, какъ сильно подѣйствовала книга Гельвеція «о разумѣ» на русскую молодежь, обучавшуюся за границей. Переводчики наши нерѣдко обращались къ Энциклопедіи Даламбера и Дидро: многія статьи ея или отдѣльно изданы, или помѣщены въ журналахъ. Веревкинъ даже собирался перевести ее всю. Кромѣ того, есть выбранныя мѣста изъ сочиненій французскихъ философовъ. Эти сборники получали названіе «духа» такого-то писателя (Духъ Вольтера, Духъ Гельвеція, Духъ Руссо, и пр.). Не говоримъ о множествѣ переводовъ, разсѣянныхъ по журналамъ, гдѣ иногда не означалось имени подлинника.

О значеніи русской переводной литературы во второй половинѣ прошлаго столѣтія можно судить по слѣдующему списку авторовъ, которыхъ сочиненія, вполнѣ или частію, явились у насъ въ первый разъ или въ новыхъ переводахъ: Авль Геллій, Бернарденъ де Сень-Шьеръ, Боннетъ, Вюффонъ, Верто, Геснеръ, Гольбергъ, Гольдони, Гольдсмитъ, Гуго Гроцій, Демосеенъ, Джонсонъ, Діодоръ Сицилійскій, Эразмъ Роттердамскій, Исократъ, Кондильякъ, Конфуцій, Крамеръ, Кребильонъ, Ксенофонтъ, аббатъ де Лапортъ, Лесажъ, Линней, Лукіанъ, Мабли, Маллетъ, Мармонтель, Мейснеръ, Миллотъ, Мопертюи, Овидій, Оксенштирнъ, Павсаній, Пеннъ (Вильгельмъ), Пиронъ, Плиніи младшій, аббатъ Прево, Рабенеръ, Реньяръ, Ричардсонъ, Робертсонъ, Саллюстіи, Светоній, Свифтъ, Сенека, Скарронъ, Стернъ, Тацитъ, Теренцій, Фенелонъ, Фильдингъ, Флешье, Флоріанъ, докторъ Циммерманъ, Цицеронъ, Юмъ, Юнгъ... Къ этому списку слѣдуетъ еще прибавить сочиненія, указанныя выше при исторіи поэтическихъ родовъ или при изложе-

ній дѣятельности нашихъ литераторовъ. Переводы нѣкоторыхъ книгъ были сдѣланы по повелѣнію императрицы; таковы: «Политическія наставленія Вильгельма» (1768—1775) и «Истолкованія англійскихъ законовъ Блэкстона» (1780—1782). Переводомъ первой книги занимался профессоръ Барсовъ, вмѣстѣ съ кн. Ѳеодоромъ Шаховскимъ, подъ наблюденіемъ московскаго университета; переводомъ второй—профессоръ того же университета Десницкій. Блэкстонъ впервые знакомилъ русскую публику съ образомъ правленія того народа, которому Екатерина оказывала «несуемое предпочтеніе» и уваженіемъ котораго «дорожила во всю свою жизнь», какъ она сама говоритъ въ письмѣ къ доктору Циммерману (автору знаменитой нѣкогда книги «объ уединеніи»), писанномъ въ то время, когда Густавъ III началъ войну съ Россіей и когда посланникъ его при французскомъ дворѣ, Сталь, склонялъ и Англію на сторону своего короля (1791). Истолкователь государственнаго быта англичанъ пользовался должнымъ уваженіемъ нашихъ ученыхъ правовѣдovъ и вообще людей мыслящихъ. Одинъ изъ нихъ замѣчаетъ, что «не худо бы русскимъ судьямъ имѣть Блэкстона и заглядывать въ него чаще, нежели въ мѣсяцесловъ».

Само собою разумѣется, что вольномысліе французскихъ философовъ не могло у насъ остаться безъ отпора, который прежде всего находимъ въ сочиненіяхъ духовенства. Орудіемъ православнаго богословія пастыри русской церкви обличали все несогласное съ догматами вѣры. Началамъ деизма они противопоставляли истину откровенной религіи, законамъ естества—пути провидѣнія, материалистическому взгляду на мораль, приводимую въ движеніе единственно эгоизмомъ—строгость христіанской морали, основанной на самоотреченіи. Платонъ, митрополитъ московскій, въ нѣкоторыхъ проповѣдяхъ своихъ доказываетъ необходимость искупленія, которое не признавали натуралисты; рассуждаетъ объ управленіи міра Творцемъ, который можетъ измѣнять естественное теченіе природы; опровергаетъ доводы людей, не признававшихъ безсмертія. Другой проповѣдникъ, Анастасій Вратановскій, въ надгробныхъ словахъ Бецкому (1795) и Шувалову (1797), изъ недостаточности земныхъ наградъ добродѣтели выводитъ заключеніе, что эти награды предоставлено ей вкупать въ будущемъ вѣгѣ. Доказывая свою тему, онъ въ тоже время отвергаетъ противоположныя ей понятія; догматизмъ идетъ у него рядомъ съ полемикой, весьма понятной при тогдашнемъ вліяніи энциклопедизма. Тотъ же духовный писатель, съ цѣлію подорвать ученіе философовъ XVIII в., перевелъ съ французскаго двѣ книги: «Предохраненіе отъ безвѣрія и нечестія» (1794) и «Истинный Мессія, или

доказательство о божественномъ пришествіи въ міръ І. Х. и Его божествѣ» (1801). Изъ прочихъ переводовъ и сочиненій укажемъ на слѣдующіе: «Безсмертіе души, основательно противъ безбожниковъ и скептиковъ доказанное» (1779); «Посрамленный безбожникъ и натуралистъ» (1787); «Торжество вѣры надъ невѣрующими и вольномыслищими» (1792), и пр. Свѣтская литература вступала также въ борьбу съ энциклопедистами. Хотя сатирическіе журналы 1769—74 г. часто помѣщали на своихъ страницахъ переводы Вольтеровыхъ сочиненій, но въ то же время и не щадили ихъ, если они легкомысленно и враждебно относились къ тѣмъ предметамъ, которые русскій человѣкъ привыкъ почитать какъ святую истину. Такъ нѣкоторыя статьи «Адской Почты» направлены противъ Вольтера. Объ анти-философическомъ духѣ изданій Повикова, во вторую половину его дѣятельности, будетъ сказано дальше. Въ «Недорослѣ», Стародумъ совѣтуетъ своей племянницѣ читать Фенелона, а не нынѣшнихъ мудрецовъ, которые, уничтожая предразсудки, воротятъ съ ворнемъ и добродѣтель. Такъ какъ Вольтеръ былъ наибольшою силой между философами XVIII в., главнымъ представителемъ ихъ ученія, то неудивительно встрѣтить переводныя книги, подъ слѣдующими заглавіями: «Вольтеръ обнаженный» (1787), «Вольтеръ изобличенный» (1792), «Вольтеровы заблужденія» (1793). Государственный переворотъ во Франціи далъ поводъ и правительству строже наблюдать за распространеніемъ сочиненій, которые до того времени могли свободно обращаться къ публикѣ: такъ въ 1789 г., извѣстясь, что въ Москвѣ задумали перевести всѣ сочиненія Вольтера, императрица повелѣла не печатать перевода безъ цензуры и апробаціи митрополита Платона (Письмо Екатерины къ Еропкину, 23 сентября 1789 г.).

Другимъ средствомъ къ изученію европейской науки и литературы служила посылка молодыхъ людей за границу. Многіе изъ нихъ довершали свое образованіе въ иностранныхъ университетахъ, которые славою своихъ лекцій привлекали юношество со всѣхъ концовъ Европы: профессора Третьяковъ и Десницкій въ Глазгоу, Леонинъ и Карамышевъ въ Уисагъ подъ руководствомъ знаменитаго Линнея, Веніаминовъ и Змбелинъ въ Кенигсбергѣ, а потомъ въ Лейденѣ. В. Петровъ и Силовъ, какъ мы уже знаемъ, обучались въ Англіи. Между студентами кильскаго университета находилось нѣсколько русскихъ еще при Елисаветѣ. Въ началѣ царствованія императрицы Екатерины (1766 г.) поступили туда кн. Александръ Борисовичъ Куракинъ и Алексѣй Григорьевичъ Толловъ, сынъ Григорья Николаевича, статсъ-

секретаря и автора многих сочинений. Въ тридцатилѣтній періодъ времени (1750—1780) Русскіе чаще, нежели прежде или послѣ того, посѣщали университетъ лейпцигскій, наиболѣе тогда славившійся. Тамъ воспитывался гр. Владиміръ Григорьевичъ Орловъ, младшій братъ извѣстныхъ въ нашей исторіи Орловыхъ—Григорія и Алексѣя (Чесменскаго). По возвращеніи его въ отечество (1766), определено было послать въ Лейпцигъ двѣнадцать молодыхъ людей для изученія правъ. Между ними замѣчательны: Ѳеодоръ Ушаковъ, Алексѣй Кутузовъ и Александръ Радищевъ. Всѣ трое принадлежали къ даровитымъ, любознательнымъ и благонамѣреннымъ молодымъ людямъ и всѣ трое были жертвами несчастныхъ обстоятельствъ, частію созданныхъ судьбою, а частію навязанныхъ ими самими. Ушаковъ (Ѳеодоръ Васильевичъ), воспитанный статсъ-секретаря Теплова, служилъ при немъ секретаремъ до поѣздки въ Лейпцигскій университетъ. Здѣсь онъ готовилъ диссертацию «о смертной казни», но не успѣлъ ее кончить изъ болѣзни и умеръ въ 1768 г. (1). Кутузовъ (Алексѣй Михайловичъ) извѣстенъ въ литературѣ переводомъ первыхъ десяти пѣсень Мессіады (1785—87). По возвращеніи изъ Лейпцига, онъ поступилъ въ общество масоновъ и былъ отправленъ (1787) изъ Москвы въ Берлинъ, къ тамошней братіи, для изученія алхиміи. Письма его къ Лопухину и кн. Трубецкому (2) выказываютъ мистико-меланхолическое настроеніе духа. Умеръ въ Берлинѣ. Радищевъ (Александръ Николаевичъ, 1749 — 1802) воспитывался въ пажескомъ корпусѣ и въ 1766 былъ отправленъ въ лейпцигскій университетъ; по возвращеніи (1771) служилъ въ разныхъ вѣдомствахъ и наконецъ занялъ мѣсто совѣтника при с.п.бургской таможнѣ. Службу свою, по отзыву Безбородки, исправлялъ безкорыстно. Графы Воронцовы (Александръ Романовичъ и Семенъ Романовичъ) оказывали ему особенное расположеніе. Вообще онъ обращалъ на себя вниманіе, какъ человѣкъ умный, мыслящій и начитанный. Причиною его несчастія послужило изданное имъ сочиненіе: «Путешествіе изъ Петербурга въ Москву (1790)». Оно возбудило гнѣвъ Екатерины II и сочинитель по суду сената, былъ сосланъ въ Илимскій острогъ (3). Освобожденный императоромъ Павломъ, жилъ въ своемъ имѣніи до вступле-

1) Радищевъ написалъ его біографію (Жизніе Ѳ. В. Ушакова, съ приобщеніемъ некоторыхъ его сочиненій, 1789).

2) Рус. Старина, т. IX (изъ ст. Русскіе вольнодумцы въ царствованіе Екатерины II).

3) Теперь заштатный городъ въ Киренскомъ уѣздѣ Иркутской губ.

нія на престолъ Александра I, который вызвалъ его въ столицу, возвратилъ чины, орденъ, дворянское достоинство и помѣстилъ въ комиссію для составленія законовъ. Здѣсь Радищевъ трудился надъ проектомъ гражданскаго уложенія. Взволнованный размоловкою съ гр. Завадовскимъ, предсѣдателемъ комиссіи, онъ заболѣлъ и въ припадкѣ ипохондріи выпилъ стаканъ крѣпкой водки, отъ которой и умеръ на 53-мъ году отъ рожденія.

Въ книгѣ своей Радищевъ указалъ темныя стороны современной ему дѣйствительности и предложилъ нѣсколько проектовъ, которые, по его мнѣнію, могли вести къ улучшенію неудовлетворительнаго общественнаго состоянія. Главный изъ этихъ проектовъ имѣетъ предметомъ отиѣну крѣпостнаго права. Историкъ Россіи, безъ сомнѣнія, воздастъ справедливую похвалу филантропіи и гражданскому мужеству автора, который не только доказывалъ вредъ рабства въ нравственномъ отношеніи, но и предложилъ мѣры постепеннаго освобожденія крестьянъ. Сущность этихъ мѣръ состоитъ въ слѣдующемъ: изъ двухъ видовъ крѣпостнаго состоянія—сельскаго (собственно крестьянъ) и домашняго (дворовыхъ)—надобно сначала упразднить второй, запрещая брать во дворъ поселенъ и всѣхъ по деревнямъ написанныхъ въ ревизіи; участки земли, обрабатываемыя крестьяниномъ, обратить въ его собственность; даровать ему гражданскія права; дозволить пріобрѣтать какъ недвижимое имѣніе (т. е. землю), такъ и вольность, платя господину извѣстную сумму за отпускную; судъ надъ нимъ, въ случаѣ его распри съ другими земледѣльцами, производить равными (на мірской сходкѣ); возбранить произвольное наказаніе безъ суда. Нельзя не отнестись съ полнымъ сочувствіемъ къ такой реформѣ, которая, по волѣ нашего Монарха, окончательно совершена положеніемъ 19 февраля 1861 г. Мысль Радищева получаетъ еще болшую цѣнность, если припомнить, съ какою осторожностью подходилъ къ рѣшенію того же вопроса Руссо. Авторъ «Общественнаго договора» и «Началъ неравенства между людьми» пугался спѣшности ея осуществленія, которое—какъ ему было хорошо извѣстно — не одно и то же съ изложеніемъ ея на бумагѣ. «Освобожденіе крестьянъ», говоритъ онъ въ одномъ изъ небольшихъ своихъ сочиненій, «есть дѣло прекрасное и великое, но вмѣстѣ смѣлое и опасное. Надо приступать къ нему не кое-какъ, а съ предосторожностями, между которыми главнѣйшая состоитъ въ томъ, чтобы людей, назначаемыхъ къ освобожденію, сдѣлать достойными свободы и способными ею пользоваться. По-заботьтесь прежде всего объ этомъ; не освобождайте ихъ тѣла, прежде нежели освободите ихъ душу: безъ этого предваритель-

наго акта, ваша операція будетъ имѣть дурной исходъ». Но въ книгѣ Радищева есть другая сторона, говорящая не въ ея пользу и не въ пользу авторской серьезности. Подобно многимъ, увлечшимся идеями европейской цивилизаціи, онъ думалъ только о выраженіи того, что вычиталъ въ книгѣ, не принимая въ соображеніе строя жизни, выработаннаго исторіей, которую не сломишь ни разсужденіями, какъ бы они ни были справедливы, ни заявленіемъ желаній, какъ бы они ни были благонамѣренны. Прочестъ книгу Гельвеція не значить еще сдѣлаться философомъ, равно какъ прочестъ книгу Рейналя не значить еще сдѣлаться политикомъ. Легко вращаться въ сферѣ общаго и отвлеченнаго; главное и самое трудное дѣло въ томъ, какъ общее воплотить въ частномъ, отвлеченное перевести въ практическое. О возможности примѣненія теорій къ практикѣ Радищевъ не подумалъ: онъ какъ будто не зналъ или не хотѣлъ знать тѣхъ препятствій, которыя представляютъ ему тогдашнее умоначертаніе общества, характеръ народнаго быта, сущность государственнаго устройства. Поэтому естественъ вопросъ: съ какою цѣлію издалъ онъ свою книгу и чего надѣялся достигнуть ею? Покровители и друзья его справедливо отрицали при этомъ какой-либо злой умыселъ, но также справедливо называли его поступокъ проступкомъ, который объясняли необдуманностью, легкомысліемъ, непредвидѣніемъ имѣющихъ быть за то послѣдствій и частію тщеславіемъ. На послѣдній поводъ самъ Радищевъ напиралъ въ отвѣтахъ на предложенные ему вопросы: «главное мое намѣреніе въ сочиненіи сей книги состояло въ томъ, чтобы прослыть писателемъ и заслужить въ публикѣ гораздо лучшую репутацію, нежели какъ обо мнѣ до того думали». Кромѣ того совнается онъ въ «смѣломъ и дерзновенномъ выраженіи», заявляя, впрочемъ, открыто, что сердце его непорочно, совѣсть не упрекаетъ его и разумъ свободенъ отъ злоумышленности.—Переходя къ другимъ мнѣніямъ книги, видимъ въ нихъ, во первыхъ, слѣды ученія Гельвеція, который единственнымъ двигателемъ нашей дѣятельности ставилъ эгоизмъ; далѣе, въ сужденіяхъ о естественномъ правѣ человѣка и объ его правахъ въ обществѣ, видно вліяніе Руссо. Радищевъ смѣется надъ масонами, или мартинистами; равно не принадлежалъ онъ ни къ атеистамъ, ни къ деистамъ, замѣчалъ, что послѣдніе причинили болѣе вреда, чѣмъ «непризнаватели бытія Божія, которыхъ у насъ мало»; онъ подражалъ многимъ авторамъ, но въ этой подражательности не пристроился ни къ одной системѣ; короче, въ книгѣ его—смѣшеніе доктринъ, или, скорѣе, вычитанныхъ мыслей разнаго значенія и характера, что и слѣдовало ожидать отъ человѣка, получив-

наго хотя и заграничное, но не солидное образованіе. Поэтому нельзя не согласиться съ отзывомъ Пушкина, не смотря на его строгость: «Въ Радищевѣ отразилась вся французская философія его вѣка: скептицизмъ Вольтера, филантропія Руссо, политическій цинизмъ Дидро и Рейналя; но все въ нескладномъ видѣ, какъ всѣ предметы криво отражаются въ кривомъ зеркалѣ. Онъ есть истинный представитель полупросвѣщенія. Невѣжественное отношеніе ко всему прошедшему, слабоумное изумленіе передъ своимъ вѣкомъ, слѣпое пристрастіе къ новизнѣ, частныя, поверхностныя свѣдѣнія, на-обумъ приноровленія ко всему—вотъ что мы видимъ въ Радищевѣ. Книга его есть очень посредственное произведеніе». Что касается до формы «Путешествія», то авторъ за образецъ ея выбралъ «Сентиментальное путешествіе Стерна». Изложеніе чрезвычайно утомительно какъ въ сатирѣ, такъ еще болѣе въ сентиментально-риторскихъ мѣстахъ; многорѣчивость способна вывести изъ терпѣнія самаго терпѣливаго читателя; слогъ неустроенный, варварскій. Послѣдній пунктъ служитъ, между прочимъ, сильнымъ возраженіемъ на то мнѣніе, что половина писемъ въ «Александровской Почтѣ» принадлежитъ перу Радищева. Эти письма написаны не дурнымъ языкомъ. Не могло же одно и тоже лицо почти въ одно и тоже время, выражаться двумя различными стилями—довольно хорошимъ и очень нехорошимъ ⁽¹⁾.

§ 31. Правильное соотношеніе двухъ предметовъ: народнаго самопознанія съ одной стороны и усвоенія того, что выработано духовными усилиями всего человѣчества съ другой, и составляетъ задачу истинной образованности. Эта задача вытекаетъ изъ понятія о народѣ, который, будучи самостоятельнымъ общественнымъ тѣломъ, живя собственною, индивидуальною жизнью, есть въ тоже время и необходимый членъ всенародной семьи. Въ его историческомъ развитіи дѣйствуютъ двѣ стихіи: національная и общечеловѣческая. Первая стихія образуетъ его личность, называемую народностью, по которой онъ отличается отъ другихъ народовъ и есть именно такой-то народъ, а не какой-либо другой; вторая ставить его въ общеніе со всѣми прочими націями, дѣлаетъ его необходимымъ звеномъ въ цѣпи всего человѣчества. Обѣ стихіи народнаго развитія остроумно уподобляютъ силамъ центробѣжной и центростремительной, дѣйствующимъ въ небесной сферѣ. Сила

¹⁾ «Александръ Радищевъ», Пушкина (Сочиненія, изд. Исакова, т. V); «А.Н. Радищевъ», Корсунова (Рус. Вѣст. 1858, т. XVIII); Подлинные документы, относящіеся къ дѣлу Радищева (Чтенія въ Общ. ист. и древ. рос., 1865, кн. 3); «Радищевъ и его книга», М. Лонгинова (Рус. Арх. 1868).

центробѣжная (національная) охраняетъ особое существованіе народа, удерживаетъ за нимъ его личность и самостоятельность; сила центростремительная (общечеловѣческая) влечетъ народъ къ единенію съ другими народами, не дозволяя ему совершать свою исторію въ отрѣщенной отъ нихъ области, жить исключительною, въ себѣ самой замкнутою жизнью. Какъ отъ правильнаго соотношенія силъ, въ жизни солнечной системы, зависитъ невозмущаемое теченіе планетъ: такъ отъ правильнаго соотношенія стихій въ жизни народа зависитъ его невозмущаемое развитіе. Господство или перевѣсъ одной какой-либо стихіи мѣшаетъ нормальному устройству народной судьбы. Если бы народъ подчинился дѣйствію національности, нераздѣльному и единственному, онъ осудилъ бы себя на китайскую неподвижность; если бы онъ могъ отречься отъ своихъ національныхъ отличій и жить единственно иноземнымъ вліяніемъ, — онъ представилъ бы примѣръ чудовищнаго космополитизма, который и въ отдѣльныхъ личностяхъ возмутителенъ для каждаго живаго человѣка. Цѣльное, гармоническое развитіе народа состоитъ въ возведеніи присущихъ ему началъ на степень общечеловѣческихъ; оно тогда только возможно, когда народъ, оставаясь вполнѣ самостоятельнымъ, усваиваетъ духовныя приобритенія другихъ націй и въ свою очередь самъ становится участникомъ общечеловѣческаго развитія.

Осуществленіе этой формулы требуетъ длиннаго ряда вѣковъ. Прежде чѣмъ стать на чреду народовъ историческихъ, имѣющихъ всемірное значеніе, народъ проживаетъ нѣсколько послѣдовательныхъ періодовъ: періодъ исключительной національности, заботливо сторонящейся отъ всего чуждаго; періодъ сближенія съ другими народами, подражательности иноземному, которая весьма часто не знаетъ мѣры заимствованій и упускаетъ изъ виду свое собственное; наконецъ періодъ разумной самостоятельности, когда обѣ силы, національная и общечеловѣческая, приходятъ въ должное равновѣсіе, сохраняя свои законныя права и дѣйствіе.

Восемь столѣтій съ половиною Россія пребывала въ первомъ періодѣ и была выведена изъ него реформой Петра. Чѣмъ дольше общество жило особнякомъ, безъ рѣшительнаго сближенія съ другими народами, хотя и чувствуя потребности иной, болѣе просторной жизни, но только частными преобразованиями удовлетворяя этимъ потребностямъ, тѣмъ сильнѣе въ немъ боязнь потерять родную почву развитія, тѣмъ недоувѣрчивѣе встрѣчаетъ оно новыя порядки, наступающіе со времени втораго періода, и тѣмъ упорнѣе готово отвергать ихъ. Противодѣйствіе можетъ быть заявлено двоякимъ образомъ: дѣломъ и мыслію. Противодѣйствіе дѣломъ

выражается въ приверженности быта къ исключительно-національному строю жизни; противодѣйствіе мыслию—въ особомъ ученіи, которое стремится къ національному, самостоятельному, боясь искаженія существенныхъ особенностей народа отъ потока чужеземныхъ вліяній, быстро разливающагося въ періодъ подражательности. Такое ученіе означено у насъ неточнымъ, позднѣе составленнымъ именемъ «славянофильства», т. е. любви къ славянамъ вообще, которая включаетъ въ себѣ любовь къ русскимъ славянамъ въ особенности. Направленіе, противоположное славянофильству, называлось «европеизмомъ», такъ какъ жизнь европейскихъ народовъ, сложившаяся изъ элементовъ древняго (греко-римскаго) и новаго (христіанскаго) міра, сдѣлалась источникомъ и образцомъ для общечеловѣческаго развитія. Слова: «европейцы» и «славянофилы», замѣнялись позднѣе словами: «западники» и «восточники» по той причинѣ, что Россія, по своему географическому положенію въ старомъ свѣтѣ, служитъ какъ бы звеномъ, соединяющимъ его западную и восточную половины. При Петрѣ I-мъ и въ ближайшее за нимъ время, когда нѣмцы были нашими учителями, слово «нѣмецъ» имѣло такое же значеніе какъ и слово «европеецъ», или «западникъ». Если славянофилы ищутъ самостоятельнаго, на коренныхъ началахъ русской природы основаннаго развитія, то западники видятъ идеалъ народнаго развитія въ началахъ европейской образованности, проходящей по всей исторіи запада и вполне удовлетворительной для высшихъ требованій просвѣщенія. Карамзинъ обозначилъ крайность западничества, сказавъ, что главное дѣло быть не славянами, а людьми, что все національное ничто предъ челоуѣческимъ. Славянофильство противопоставало тому другую крайность, утверждая, что западъ одряхлѣлъ въ жизни, мышленіи и образованности, что надобно одухотворить его инымъ, новымъ началомъ, подобно тому, какъ греко-римскій міръ, изжившій свое развитіе, былъ одухотворенъ началомъ германскимъ.

Вопросъ о народной самобытности пріобрѣталъ у насъ особое значеніе и силу каждый разъ, когда совершались важныя внутреннія реформы или завязывалась серьезная борьба съ Европою. Въ первомъ случаѣ, стремленіе къ западнымъ идеямъ и учрежденіямъ, которыя, со времени Петра, сдѣлались нашимъ идеаломъ, вызывало реакцію. Славянофильство являлось съ сомнѣніями и запросами, направлявшими общественную мысль въ противную сторону: это усвоеніе чуждой образованности согласно ли съ природою русскаго челоуѣка и его дѣйствительными нуждами? нѣтъ ли въ нашемъ прошломъ и настоящемъ какихъ-либо элементовъ, неизвѣданныхъ или забытыхъ, которыми возможно улучшить

прежній строй общества безъ всякой посторонней помощи? Сами дѣтели и защитники европейской цивилизаціи отступали иногда отъ своего собственнаго дѣла при видѣ тѣхъ крайностей, въ которыя она ударялась. Изъ нововводителей они обращались въ стародумовъ, переноси свой идеалъ въ періодъ русской жизни, болѣе или менѣе отдаленный отъ современности. Такъ для Стародума, въ комъ «Недоросль», этимъ идеаломъ служить эпоха Петра, противоположаемая состоянію русскаго общества при Елизаветѣ. Въ эпоху международной непріязни, славянофильскія мнѣнія возбуждались и руководились патриотизмомъ. Народная гордость отвергала всякій союзъ съ народомъ-врагомъ и не хотѣла быть ему одолженной никакими дарами, ни матеріальными, ни умственными. У себя дома она искала способовъ для всѣхъ видовъ преуспѣянія. Противные тому взгляды осуждались не просто какъ ложное направленіе мысли, но и какъ измѣна отчизнѣ, что весьма понятно при общемъ патриотическомъ воодушевленіи. Примѣръ такого явленія увидимъ въ русской литературѣ 1812 года.

Пока реформа не ввела Россію въ среду европейской цивилизаціи, до тѣхъ поръ не было у насъ мѣста означеннымъ возвращеніямъ. Они могли возникнуть только при выходѣ ея изъ періода исключительной національности. Славянофильство и западничество порождены Петромъ. Впрочемъ, сходственные съ ними, если не однородныя имъ, явленія представляла и до-петровская Русь. И тогда встрѣча съ чужеземными обычаями или чужеземною наукой тревожила ревнителей чисто-русской жизни и мысли. Исторія Максима Грека показываеъ, какъ большинство книжныхъ людей относилось къ исправленію перевода богослужебныхъ книгъ: ученый некогъ былъ заподозрѣнъ въ неправославіи. Симеонъ Полоцкій казался въ Москвѣ опаснымъ нововводителемъ. Въ XVII в., каждый русскій, умѣвшій читать латинскія книги и говорить по-польски, и кромѣ того усвоившій нѣкоторые польскіе обычаи, могъ возбуждать опасенія въ тѣхъ лицахъ, для которыхъ византійская ученость служила единственнымъ кормиломъ, исключавшимъ всякія другія руководства. Эта исключительность, отъѣчая познѣйшему славянофильству, давала противнымъ ей взглядамъ названія бусурманства, иновѣрія, ереси и т. п.

Начиная съ Петровой реформы, въ исторіи славянофильства различается нѣсколько степеней или періодовъ. Выступая подъ тѣмъ или другимъ знаменемъ, оно обозначалось тѣмъ или другимъ именемъ. При Петрѣ оно имѣло религіозную подкладку, чѣмъ доминировало свою связь съ древне-русскою нетерпимостью всего чужеземнаго: сторонники преобразованій обвинялись въ иновѣрїи и ере-

тичествъ, а сторонники до-петровской Руси въ лицѣмърин, формализмъ и старовѣрствѣ. Въ царствованіе Елисаветы, славянофильскія тенденціи приняли патріотическій характеръ, возбужденныя рѣчью академика Миллера «о происхожденіи народа и имени Русовъ», въ которой развивалось мнѣніе Байера, что варяго-русь — народъ скандинавскаго племени. Особыя обстоятельства сообщили научному предмету политическую важность. Взаимныя отношенія Швеціи и Россіи не могли быть искренно-дружелюбными, не смотря на вѣчный миръ, заключенный въ Або (1743): Швеція не могла забыть, чего она лишилась въ сѣверную войну, а Россія съ своей стороны понимала, что ея бывшая соперница не откажется и впредь отъ соперничества, въ надеждѣ возвратить потерянное и вновь занять мѣсто первоклассной державы. Доказывать, при такомъ характерѣ между-народныхъ отношеній, что Рюрикъ и его братья были одного племени съ нашими врагами, шведами, значило оскорблять народное самолюбіе. Рѣшеніе вопроса о способѣ водворенія варяго-русовъ было также неблагоприятно русскому чувству. Допустивъ, что они, будучи призваны только на время для защиты границъ отъ норманскихъ нашествій, утвердили свое господство надъ славянами, должно было согласиться, что славяне не могли сами ни отразить враговъ, ни вытѣснить чужеземцевъ послѣ оказанной имъ помощи. Изъ гипотезы о добровольномъ подчиненіи славянъ варяго-руссамъ вытекало слѣдствіе, что предки наши неспособны были къ самоуправленію, что не они сами начали свою государственную исторію, что въ странѣ ихъ, богатой и обильной, установленъ порядокъ вышней силы. Позднѣе, наука истолковала выгоднымъ для насъ образомъ тотъ самый фактъ, который смущалъ русскихъ ученыхъ XVIII в.: въ добровольномъ призваніи варяго-русовъ она увидѣла самое счастливое преимущество нашей исторіи и ея существенное отличие отъ исторіи другихъ государствъ, основанныхъ путемъ завоеванія, которое положило вражду между побѣжденными и побѣдителями. Но при Елисаветѣ подобныя воззрѣнія еще не имѣли мѣста. Русская партія академиковъ съ ея представителемъ, Ломоносовымъ, не могла относиться равнодушно къ мнѣніямъ нѣмецкихъ академиковъ. Упомянутая рѣчь казалась ему предосудительною для русскаго имени, а ея автора почиталъ онъ зложелателемъ, «высматривающимъ одни темныя пятна на одеждѣ Россійскаго тѣла». Чувству патріотизма одолжены своимъ появленіемъ историческіе труды Ломоносова и Тредьяковскаго: первый приравняетъ русскую исторію исторіи римской; второй доказываетъ

первоначаліе Россіи и славянскаго языка предъ тевтоническимъ; и оба предлагаютъ ученіе о славянскомъ происхожденіи Руси.

Изъ вопроса Фонъ-Визина Собесѣднику: «какъ истребить два сопротивныя и вредныя предразсудки: первый—будто у насъ все дурно, а въ чужихъ краяхъ все хорошо; второй—будто въ чужихъ краяхъ все дурно, а у насъ все хорошо?» видимъ, что славянофильство и западничество не только существовали у насъ во второй половинѣ XVIII в., но и доходили до предразсудковъ. Сатирическіе журналы (1769—74) старались избѣгать такихъ крайнихъ воззрѣній. Задача объ отношеніяхъ народнаго къ общечеловѣческому должна была рѣшаться, по ихъ мнѣнію, путемъ электичсскимъ, т. е. заимствованіемъ хорошаго отсюду, гдѣ бы оно ни встрѣчалось, и сочетаніемъ его съ собственнымъ хорошимъ. Такъ, напримѣръ, редакторъ «Всякой Всячины» замѣчаетъ, по поводу одной статьи, что «еслибы къ французскому кафтану прибавить, что у него недостаетъ, или у русскаго платья убавить все лишнее, то можно бы составить одежду, приличную климату и согласную съ здравымъ разсудкомъ». Но что такое хорошее въ сферѣ народнаго развитія? чѣмъ и какъ оно опредѣляется? опредѣляется ли оно независимо отъ органическихъ особенностей народа, или подъ условіемъ этихъ особенностей? Другой примѣръ беремъ изъ «Писма Люберуссова» (Трудолюбивый Муравей), содержащаго въ себѣ, между прочимъ, такіа строки: «говорю я по-русски, а другихъ языковъ хотя нѣсколько разумѣю, но говорить на оныхъ не могу, да и не хочу, ибо кажется мнѣ, будто они противъ нашего недостаточны, да и расположеніе ихъ чудно». Но еслибы народы разсуждали подобно автору писма, то не одному изъ нихъ пришлось бы отказаться отъ своего роднаго языка за его бѣдность и «чуждое расположеніе». На самомъ дѣлѣ этого никогда не бываетъ и быть не можетъ: значитъ, есть иная мѣра такъ называемому хорошему, когда говорится о народной организаціи. Означенные журналы захватывали предметъ не глубоко: они думали успокоиться на внѣшнемъ сопоставленіи національнаго съ чужеземнымъ, на механическомъ прилаживаніи одного къ другому, какъ будто народъ машина, изъ которой можно вынуть непригодныя части (наприм.: языкъ, складъ ума и пр.) и замѣнить ихъ болѣе совершенными. Заслуга ихъ не въ рѣшеніи вопроса и даже не въ постановкѣ его, а въ избѣжаніи предразсудковъ, указанныхъ Фонъ-Визинымъ. Славянофильство являлось въ нихъ подъ формою преслѣдованія чужеманіи, особенно француземаніи. Ревнители прогрессивныхъ мѣръ Екатерины, они не щадили темныхъ сторонъ русскаго быта, защищавшихъ до-петровской стариной, но выѣстъ съ тѣмъ не ща-

дили и тѣхъ, какія возпили по слѣпому пристрастію къ иноземнымъ обычаямъ. Нападая на поверхностный европеемъ и неразборчивость при выборѣ гувернеровъ, они въ тоже время относились съ чувствомъ полнаго уваженія къ европейской наукѣ и ея представителямъ. Нѣкоторые между ними, напр. Кошелевъ, преимущественно обличали пристрастіе русскихъ къ Франціи. Въ немъ помѣщено ироническое письмо какого-то защитника французскихъ нравовъ. Упомянутое же письмо Люборуссова невронически защищаетъ народность, хвали русскаго человѣка, русскія кушанья, русскую одежду и русскій языкъ.

Патріотическая основа славянофильства Екатеринина времени выказалась по поводу сочиненій о Россіи, написанныхъ иностранцами и имѣвшихъ предметомъ ея исторію или современное ея состояніе. Въ 1761 году, аббатъ Шаппъ (*Chappe d'Auteroche*), членъ парижской академіи наукъ, былъ отправленъ въ Сибирь, чтобы наблюдать прохожденіе Венеры передъ солнцемъ. Записки его путешествія и ученыхъ наблюденій изданы въ 1768 г. (*Voyage en Sibérie*). Онъ описываютъ наши нравы, обычаи, образъ нашего правленія и частію касаются нашей исторіи—описаніе невѣрное, одностороннее и легкомысленное, такъ какъ путешественникъ рѣшительно судить и рѣшить о томъ, чего не могъ осмотрѣть порядочно въ торопливой поѣздкѣ своей отъ Петербурга до Москвы. Национальные предразсудки мѣшали ему находить что-либо хорошее въ той странѣ, которая такъ не похожа на его отечество и которую почиталъ онъ варварскою. Книга его подверглась осужденію со стороны Гримма и Дидро, но болѣе серьезная критика ея содержанія, приписываемая Екатеринѣ II, издана въ Амстердамѣ, подъ заглавіемъ: «*Antidote, ou examen du mauvais livre, superbement imprimé, intitulé: Voyage en Sibérie*» (1771). Эта критика, опровергая невѣрные показанія аббата, раскрываетъ съ тѣмъ вмѣстѣ недостатки французскаго общества. Главная мысль ея состоитъ въ томъ, что современная Франція, подъ скипетромъ Людовика XV, не имѣетъ права гордиться передъ современной Россіей, управляемой творцемъ Наказа. Въ перепискѣ своей съ Вольтеромъ (1763 — 1777), Екатерина также беретъ на себя защиту своего отечества. Она часто останавливаетъ опрометчивыя понятія философа, который легкомысленно относился о государственныхъ учрежденіяхъ и вѣковыхъ обычаяхъ русскаго народа, думая, что то и другое удобно преобразовывается или даже уничтожается книжными идеями и административными мѣрами. О чемъ бы ни заводили рѣчь его письма—объ изгнаніи турокъ изъ Европы, о церковныхъ дѣлахъ или о законахъ, составляемыхъ

въ духѣ Налаза — вездѣ видишь незнаніе мѣстныхъ условій исторіи, настоящаго положенія страны, которой онъ рѣшился подавать совѣты изъ своей фернейской обители. Императрица, которую онъ постоянно угодоблялъ мнелогическимъ божествамъ и древнимъ героинямъ, сдержанно отвѣчала на его нетерпѣливые запросы объ успѣхахъ русской цивилизаціи, видя въ нихъ любопытство кабинетнаго человѣка, соединенное съ поверхностнымъ пониманіемъ самыхъ важныхъ и трудныхъ предметовъ. Между прочимъ, онъ часто освѣдомлялся о ходѣ законодательныхъ работъ, понуждая торопиться ихъ окончаніемъ. Екатерина писала ему на это изъ Казани (1767): «Подумайте только, что эти законы должны служить и для Европы и для Азіи: какое различіе климата, жителей, привычекъ, понятій! Я теперь въ Азіи и вижу все своими глазами. Въ Казани двадцать разныхъ народовъ, одинъ на другаго не похожихъ. Однакожъ необходимо сшить каждому пригодное платье. Легко положить общія начала; но частности? подробности? Вѣдь это цѣлый, особый міръ: надобно его создать, сплотить, охранять». Переписка иногда касалась сравненія Россіи съ Франціей: въ такихъ случаяхъ, Екатерина постоянно доказывала, что послѣдняя страна, при всемъ своемъ просвѣщеніи, не можетъ служить безотносительнымъ мѣромъ для первой, хотя только что начавшей просвѣщаться.

Какъ въ критикѣ на путевыя записки Шапна отстаетъ настоящее Россіи, такъ въ «Запискахъ касательно російской исторіи» отстаетъ ея прошедшее. Занимаясь ими, Екатерина имѣла въ виду—изображеніемъ древнихъ доблестей и судебъ русскаго народа уронить клеветы, взведенныя на него иностранцами писателями. Съ этою цѣлію всѣ факты освѣщаются выгоднымъ для нихъ свѣтомъ и во всемъ сочиненіи господствуетъ мысль о древности и великомъ значеніи славянъ и русскихъ, о важности ихъ языка и исторіи. При такомъ преднамѣренномъ освѣщеніи нельзя, конечно, соблюсти исторической истины: многія событія и лица получили не тотъ видъ, какой они имѣли въ дѣйствительности. Но въ Запискахъ своихъ авторъ преимущественно думалъ о выполненіи своей задачи: каково бы ни было ихъ достоинство, говорить онъ, по крайней мѣрѣ «ни нація, ни государство въ нихъ не унижены». Надобно было показывать, что у русскаго народа нѣтъ причинъ краснѣть передъ другими націями за свою прошлую жизнь. Эта мысль опредѣленно выражена въ предисловіи къ Запискамъ: «если сравнить какую-нибудь эпоху русской исторіи съ одновременными ей событіями въ Европѣ, то безпристрастный читатель усмотритъ, что родъ человѣческій вездѣ одинакій имѣлъ

страсти, желанія, намѣренія и къ достиженію употребляютъ нерѣдко одинакіе способы».

Самымъ рѣшительнымъ выраженіемъ превосходства Россіи надъ другими странами служатъ заграничныя письма Фонъ-Визина. Здѣсь онъ заплатилъ богатую дань тому самому предрасудку, о которомъ позднѣе говорилъ въ 20-мъ вопросѣ Екатерина, т. е. мнѣнію, «будто въ чужихъ краяхъ все дурно». Фонъ-Визинъ недоволенъ почти ничѣмъ, что видѣлъ во Франціи, Германіи, Италіи, и почти всегда свое родное ставитъ выше чужеземнаго. «Если кто изъ молодыхъ моихъ согражданъ, имѣющій здравый разумъ (ишетъ онъ къ гр. П. И. Панину, изъ Франціи, 1777—78 г.), вознегодуешь, вида въ Россіи злоупотребленія и неустройства, и начнетъ въ сердцѣ своемъ отъ нея отчуждаться, то, для обращенія его въ должную любовь къ отечеству, нѣтъ вѣрнѣе способа, какъ скорѣе послать его во Францію. Здѣсь, конечно, узнаетъ онъ самымъ опытомъ очень скоро, что люди вездѣ люди, что прямо умный и достойный человѣкъ вездѣ рѣдовъ, и что въ нашемъ отечествѣ, какъ ни плохо иногда въ немъ бываетъ, можно быть столько же счастливу, сколько и во всякой другой землѣ, если совѣсть спокойна и разумъ правитъ воображеніемъ, а не воображеніе разумомъ». Впечатлѣніе, произведенное на Фонъ-Визина Германіею, также невыгодно, какъ видно изъ его писемъ къ сестрѣ: «здѣсь во всемъ генерально хуже нашего; люди, лошади, земля, любиліе въ нужныхъ сѣбѣстныхъ припасахъ,—словомъ, у насъ все лучше, и мы больше люди, нежели нѣмцы; это удостовѣреніе вкоренилось въ душѣ моей, чтобъ что ни изволилъ говорить». Еще болѣе нерасположенъ путешественникъ къ италіянцамъ. Во Флоренціи, говоритъ онъ, образъ жизни италіянскій, т. е. «весьма много свинства»: поля каменные и грязные; бѣлье мерзкое; хлѣбъ, какого у насъ не ѣдятъ и нѣщіе; чистая ихъ вода то, что у насъ мошокъ. И сады на сѣверѣ лучше; петербургскія оперы не хуже италіянскихъ; что же касается до Рима, то это земной адъ для човѣчества». Короче, воляжъ доказалъ Фонъ-Визину истину пословицы: славны бубны за горами. Мнѣніе, вынесенное имъ изъ знакомства съ Европою, служитъ переходомъ отъ либеруссовъ Екатеринына времени къ исторіи славянофильства въ сороковыхъ годахъ нашего столѣтія: «Если здѣсь прежде насъ начали жить, то, по крайней мѣрѣ, мы, начиная жить, можемъ дать себѣ такую форму, какую хотимъ, и избѣгнуть тѣхъ неудобствъ и золъ, которыя адъ вкоренились. Nous commençons et ils finissent. Я думаю, что тотъ, кто родится, посчастливѣе того, кто умираетъ».

Упомянутыя статьи «Зрителя»: «Нѣчто о врожденномъ свойствѣ

душъ російскихъ» и «Письмо къ издателямъ изъ Орла», показывають примѣръ столкновенія между двумя взглядами. Обѣ онѣ внутреннимъ патріотизмомъ, хотя и направлены въ разныя стороны. Авторъ первой статьи, Плавильщиковъ, на столько же превосходитъ соотечественниковъ, на сколько понижаетъ иностранцевъ: «Письмо» находитъ, что самовосхваленіе даетъ поводъ въ ложнымъ понятіямъ о нашихъ достоинствахъ и недостаткахъ. «Вы не прочь отъ романовъ», замѣчаетъ неизвѣстный его сочинитель, «когда увѣраете насъ, какъ будто китайцевъ, что въ Россіи не слыхать про бѣлаго солдата. Или нельзя хвалить свое отечество, не сплетая чудесъ въ его славу? Скоро вы станете божиться, что въ дѣлой Россіи нѣтъ ни плутовъ, ни дураковъ... Нѣкоторые листомаратели, думая тѣмъ угодить своему отечеству, непрерывно выхваляютъ его просвѣщеніе, и въ глазахъ нашихъ, среди Россіи, составляютъ недѣльные романы, которые называютъ ободреніемъ російскихъ дарованій. Прекрасное средство ободрять науки, говоря, что намъ не нужно болѣе учиться! Не лучше ли, изъ любви къ соотечественникамъ, показывать имъ ихъ недостатки и, утишая ихъ томную сонливость, воспламенить желаніе углубляться въ науки, дабы слава нашего непритворнаго просвѣщенія сравнялась съ славой російскаго оружія».

Въ вышеприведенныхъ заявленіяхъ славянофильства мы не встрѣчаемъ того, что понадѣе сдѣлалось главнымъ пунктомъ его ученія. Оттуда ни поднимались голоса противъ иноземнаго вліанія, всѣ они выражаютъ глубокое уваженіе къ Петру и признають необходимость его реформы. Никому не приходила мысль о несамостоятельности русскаго развитія съ общеевропейскимъ просвѣщеніемъ. Напротивъ, Петръ, какъ и прежде, оставался божествомъ Россіи, и Европа все также должна была служить намъ образцомъ. Сомнѣніе въ непогрѣшимости Петровыхъ дѣлъ началось съ того времени, когда славянофильство выступило подъ знаменемъ нравственности, какъ реакція такимъ явленіямъ общественной и частной жизни въ XVIII вѣкѣ, которыя возникли и развились при односторонней наклонности къ чужому. Вольность нравовъ, народненная поверхностнымъ европеизмомъ, была новымъ невѣжествомъ, противъ котораго слѣдовало также вести войну, какъ прежде вели войну съ невѣжествомъ старымъ, до-петровскимъ. Эта старина сдѣлалась безопасною для преусиѣнія на томъ пути, по которому преобразователь повелъ Россію. Не было уже никакой возможности отречься намъ отъ Европы и снова жить исключительно національною жизнью. Но опасность угрожала съ другой, противоположной стороны—со стороны вѣрнаго увлеченія иноземнымъ и

преенебреженія отечественнымъ. И потому, замѣчая упадокъ нравственности, стали обращать благопріятныя взоры на старину и пользоваться ею какъ орудіемъ въ борьбѣ съ новымъ врагомъ. Добрыя качества предковъ выставлялись въ примѣръ и узоръ ихъ потомкамъ. Недовольство современнымъ направленіемъ общества и примиреніе съ до-петровскою стариною и составляютъ основный взглядъ новаго вида славянофильства. Взлѣвъ на себя цензуру общественной и частной нравственности, славянофилы приписывали ей упадокъ преимущественно вліянію Франціи: поэтому французскій образъ жизни и французская философія служатъ главными предметами ихъ обличеній. Но какъ это вліяніе было дѣйствительнымъ послѣдствіемъ нашего перваго знакомства съ Европой, то отвѣтственность за новое зло, не имѣвшее мѣста въ древней Руси, должна была пасть частію и на реформу: отсюда нѣкоторый поворотъ во мнѣніи о Петрѣ. Если не осужденіе его дѣйствій, то уваженіе ихъ односторонности встрѣчаемъ еще въ докладахъ Бецкаго. Хотя «Наказъ» и думаетъ, что Петръ I, вводя нравы и обычаи европейскіе въ европейскомъ народѣ, нашелъ такія удобства, какихъ онъ и самъ не ожидалъ», т. е. что его преобразованія «сходствовали съ климатомъ»; но этотъ взглядъ принадлежитъ не «Наказу», а Монтескье, который большое участіе въ народоустройствѣ приписывалъ климату. Екатерина измѣнила нѣкоторъ свое понятіе, какъ это видно изъ ея разговора съ Густавомъ III объ опасности посѣщавшихъ или преждевременныхъ реформъ, равно какъ изъ ея письма къ Мордвинову (1790), касательно предложенія французскаго эмигранта, Сенака де-Мельяна, написать русскую исторію XVIII в. Письмо требуетъ, чтобы эмигрантъ отрекся отъ предубѣжденій противъ Россіи, свойственныхъ большей части иностранныхъ писателей—все видѣтъ съ дурной стороны, не обращая вниманія на происходившее въ тоже время въ другихъ государствахъ, и утверждать, «что Россія до Петра I-го не имѣла ни законовъ, ни устройства, между тѣмъ какъ существовало совсѣмъ тому противное». Въ Запискахъ кн. Дашковой помѣщенъ любопытный разговоръ ея съ австрійскимъ министромъ Кауницемъ о значеніи Петровыхъ преобразованій. Министръ называлъ преобразователя творцемъ Россіи. Книгиня отвергала это мнѣніе, приписывая его предразсудкамъ и невѣжеству иностранныхъ писателей, которые, восхваляя Петра, хвалили самихъ себя, такъ какъ онъ вызвалъ въ Россію множество иностранцевъ и съ ихъ помощію совершилъ свое «мнимое твореніе». Главная ошибка его, по словамъ княгини, состояла въ томъ, что онъ не хотѣлъ цѣнить достопочтенныхъ качествъ нашихъ пред-

ковъ и оригинальность ихъ характера показали введеніемъ чуждыхъ нравовъ и обычаевъ, которые такъ высоко ставилъ надъ юреними русскими обычаями и правами. Этого возвратъ къ древне-русской жизни, это сочувствіе къ простотѣ и степенности нашихъ до-петровскихъ предковъ всегда противоположались той вольности въ мысляхъ и нравахъ, которая тщеславно выставляла себя на-показъ въ XVIII в. Новиковъ, издатель Древней Россійской Библіотеки, въ предисловіи къ ней (1773), благодаритъ Бога за то, что «не всѣ еще у насъ заражены Францією, но что есть много такихъ, которые съ великимъ любопытствомъ будутъ читать описанія нѣкоторыхъ обрядовъ, въ житіи предковъ нашихъ употреблявшихся, съ неменьшимъ удовольствіемъ увидать нѣкое начертаніе нравовъ ихъ и обычаевъ и съ восхищеніемъ познають великость духа ихъ, украшеннаго простотою».... Затѣмъ предисловіе отзывается такимъ образомъ о русскихъ галломанахъ: «напоенные сенскимъ воздухомъ сограждане наши стануть, можетъ быть, пересмѣхать суевѣріе и простоту или по ихъ глупости нашихъ прапрадѣдовъ; но одинъ ли Россіине подверженъ былъ суевѣрію? Пусть припомнятъ господа наши полу-французы день св. Вароламея: тогда не должно будетъ удивляться, что у насъ нѣкоторые частные люди отъ суевѣрія пострадали. Но я прекращаю сіе, дабы не навлечь на себя гнѣва отъ сихъ подражателей клеветъ А. де Ш.» (т. е. аббата Шампа). Отъ полу-французовъ Новиковъ обращается къ любителю Россійскихъ древностей, прося его не смотрѣть на молодыхъ кошуновъ, которые и самыя добродѣтели предковъ своихъ пересмѣхаютъ и презираютъ. Тѣ же возрѣнія стала раздѣлять и литература. Въ нѣкоторыхъ ея произведеніяхъ изображается патріархальность того племени, къ которому принадлежатъ русскіе. Драма Богдановича «Славяне» привала Александра Македонскаго къ этому народу, заставила его полюбить Доброславу, дочь воеводы города Славенска, восхищаться простодушіемъ добрыхъ людей, еще не вышедшихъ изъ эпического періода народной жизни, и отдавать имъ преимущество предъ аэнидами, у которыхъ съ утонченною цивилизаціей явились и ея злыя послѣдствія. Знаменитый завоеватель говоритъ Пармениону: «По правамъ грековъ не должно судить о всѣхъ прочихъ. Посмотри на славянъ: добронравіе, простота и вѣрность между ними предупреждаютъ повелѣнія. Природа, кажется, ошиблась, произведши въ Греціи Аристидовъ и Сократовъ; здѣсь бы они гонимы не были». Въ другомъ мѣстѣ, послѣ разговора съ огородницею Потапьевной, доброй и легковѣрной, Александръ высказываетъ снова свое славянофильство: «Вотъ какъ простымъ и добрымъ лю-

дамъ вадорными разсказами набиваютъ головы! Простодушная огородинца говорить, что слышала; однако ея невѣдѣніе нравится мнѣ лучше, нежели высокій разумъ, во зло употребляемый. О, какъ далеки правами отъ славянъ аѳиняне! Другъ мой, Парменионъ, много ошибается, почитая аѳинянъ своими добрыми учителями. Со всею своею премудростію, Аѳиняне недовольны, безпокойны и всегда несчастій опасаются. Славяне, въ счастливой простотѣ своей, не разумѣе ли мудрецовъ, которые любятъ часто химерамъ слѣдовать? Пускай аѳиняне, какъ хотять, толкуютъ: я ставлю простоту и добронравіе выше аѳинской премудрости. Понятно, что вмѣсто словъ: «аѳиняне», «аѳинскій», надобно читать: «французы», французскій», и что Парменионъ на столько же западникъ, на сколько Александръ—славянофилъ.

Славянофильство, исходящее изъ нравственнаго начала, отчетливѣе раскрыто тремя сочиненіями: «О поврежденіи нравовъ въ Россіи», кн. Щербатова; «Примѣчанія на Русскую исторію Леллера», Болтина; «Мысли о Россіи, или нѣкоторыя замѣчанія о гражданскомъ и нравственномъ состояніи Русскихъ до царствованія Петра Великаго», неизвѣстнаго автора.

Въ сочиненіи своемъ, имѣющемъ характеръ мемуаровъ, кн. Щербатовъ (1733—1790), историкъ и публицистъ, признаетъ, что мы въ людскости и нѣкоторыхъ предметахъ оказали удивительные успѣхи, и «исполнили шагами шествовали въ поправленію нашихъ вѣнностей, но тогда же гораздо съ вѣнщей скоростію бѣжали въ поврежденію нашихъ нравовъ». Сѣтуя на упадокъ общественной и семейной нравственности, онъ указываетъ его причины и исторію, отъ самаго начала печальнаго явленія до «настоящей (современной) развратности». Главными причинами зла онъ почитаетъ сластолюбіе и ослабленное значеніе родовой знати. Отъ сластолюбія, подъ которымъ разумѣется все то, что питаетъ чувственную сторону человѣческой природы, произошла роскошь въ убранствѣ домовъ, одеждѣ, экипажахъ, столѣ. Разрушенное земѣстничество, не замѣненное никакимъ новымъ правомъ для знатныхъ родовъ, «истребило мысли благородной гордости въ дворянахъ; ибо стали не роды почтенны, но чины, и заслуги, и выслуги, и тако каждый сталъ добиваться чиновъ; а не всякому удается прямыя услуги учинить, то за недостаткомъ заслугъ стали стараться выслуживаться, всякими образами льстя и угождая». Первому источнику зла, сластолюбію, кн. Щербатовъ противопоставляетъ незатѣливую, простую жизнь до-петровской Руси; а второму источнику—признанію личныхъ заслугъ и способностей единственнымъ правомъ на участіе въ государственной дѣятельности—

прежнее начало, т. е. раздачу мѣстъ и чиновъ по рожденію. Когда же зародилось поврежденіе нравовъ, дошедшее до «настоящей развратности»? Оно было слѣдствіемъ реформы, хотя и явилось помимо воли Петра. Потому-то исчисленіе успѣховъ нашихъ по разнымъ отраслямъ государственнаго устройства при Петрѣ вн. Щербатовъ заключаетъ слѣдующими словами: «но тогда же искренняя привязанность къ вѣрѣ стала исчезать, твердость уменьшилась, уступая мѣсто нагло стремящейся лести, роскошь и сластолюбіе положили основаніе своей власти, а симъ побужденіемъ и корыстолюбіемъ къ разрушенію законовъ и ко вреду гражданъ начало проникать въ судебныя мѣста». Впрочемъ вн. Щербатовъ былъ убѣжденъ въ необходимости преобразованій, и осуждалъ только крутыя мѣры, посредствомъ которыхъ они были совершаемы, да недостатокъ уваженія къ преданіямъ старины.

«Исторія древней и новой Россіи», французскаго медика Леклера, вышедшая въ Парижѣ на франц. языкѣ (6 т., 1783—94), дала Волтину поводъ написать «Примѣчанія» на первые ея томы (1788). Цѣль «Примѣчаній» — защищеніе правды и отечества. Изъ любви къ тому и другому Волтинъ принялся за перо, «чтобъ уличить и устыдить» иностраннаго писателя, въ сочиненіи котораго нашелъ онъ «ложь, клевету, пристрастіе, наглость, нелѣпость разсужденій, пустоту доводовъ, безчисленныя и грубыя во всѣхъ родахъ ошибки». Мнѣнія русскаго критика, отвергая все, служащее къ нареканію чести и славы нашего отечества, выражаютъ яснымъ образомъ его понятія о реформѣ и объ отношеніи древней Россіи къ новой. Въ торопливомъ сближеніи нашемъ съ Европою онъ видитъ вредную ошибку, требующую исправленія. Упадокъ нравственности есть для него очевидный фактъ, который ведетъ свое начало съ того времени, какъ множество стали посылать въ чужіе края и вѣрять его воспитаніе чужестранцамъ. Новую образованность людей своего времени онъ прямо называетъ мнимымъ просвѣщеніемъ. Неразумному ходу отечественной жизни, ея внѣшнему европеизму, производящему французо-русскихъ петиметровъ, «Примѣчанія» постоянно противопоставляютъ древне-русскій бытъ съ его строгими правилами, здравымъ взглядомъ на вещи, твердымъ, хотя и медленнымъ, поступаніемъ впередъ. Основной образъ мыслей Волтина высказанъ въ замѣткѣ на слѣдующее мѣсто изъ исторіи Леклера: «чтобъ познанія другихъ народовъ, ихъ науки и ихъ искусства не могли проникнуть въ Россію, запрещено было (до Петра) ученымъ другихъ племенъ вѣзжать въ нее, а Русскимъ ѣздить къ нимъ для просвѣщенія своего». Критикъ нашъ отвѣчаетъ, что для заграничныхъ путешествій требовались зрѣлый

разумъ и твердость въ вѣрѣ и нравахъ: «Людямъ молодымъ, надежнаго ума и поведенія, не дозволяемъ былъ выѣздъ, изъ мудрыхъ предосторожности, чтобъ не заразить ихъ вредными новостями. Сіе самое послѣ сбылося. Съ тѣхъ поръ, какъ юношество свое стали мы посылать въ чужіе края и воспитаніе ихъ ввѣрять чужестранцамъ, нравы наши совсѣмъ перемѣнились; съ мнимымъ просвѣщеніемъ насадились въ сердцахъ нашихъ новыя предубѣжденія, новыя страсти, слабости, прихоти, кон предкамъ нашимъ были неизвѣстны: погасла въ насъ любовь къ отечеству, истребилася привязанность къ отеческой вѣрѣ, обычаямъ, и пр. И такъ мы старое позабыли, а новаго не переняли, и, ставъ не похожими на себя, не сдѣлались тѣмъ, чѣмъ быть желали. Сіе все произошло отъ торопливости и нетерпѣнія: захотѣли сдѣлать то въ нѣсколько лѣтъ, на что потребны вѣки; начали стронуть аданіе нашего просвѣщенія на песокъ, не сдѣлавъ прежде надежнаго ему основанія. Петръ Великій думалъ, что для просвѣщенія дворянства довольно будетъ заставить ихъ путешествовать по иностраннымъ государствамъ; но опытъ оправдалъ стариковъ нашихъ мнѣніе, что вмѣсто ожидаемой пользы вышелъ изъ того вредъ. Большая часть изъ посланныхъ имъ возвратились не просвѣщеніе, не умѣе, но пороциѣе и смѣшнѣе, нежели были. Тогда позналъ Петръ Великій, что надобно начать хорошимъ воспитаніемъ, а кончить путешествіемъ, чтобъ видѣть желаемый плодъ. Нынѣ предприимются ко исправленію поврежденнаго благопріятѣйшія средства». Сравнивая старое съ новымъ, историческая критика Болтина большею частію склоняетъ вѣсы свои на сторону перваго. При замѣткѣ французскаго автора, что Уложеніе Алексѣя Михайловича даетъ тиранскую власть мужу надъ женой, Болтинъ описываетъ современный бытъ въ Россіи и доказываетъ, что, благодаря новому образу жизни, мужъ сталъ рабомъ жены. Невыгодный отзывъ о русскомъ языкѣ, будто бы недостаточномъ для выраженія мыслей, потому что сами Русскіе употребляютъ въ разговорѣ иностранныя слова, Болтинъ объясняетъ истиннымъ толкованіемъ факта, подмѣченнаго, но непонятаго Леклеркомъ: «Въ царствованіе Елисаветы введено было въ языкъ русскій множество словъ французскихъ, не по пуждѣ, а по буйственному пристрастію ко всему, что называется французскимъ, но лѣтъ съ двадцать странный сей вкусъ началъ выходить изъ употребленія. Не взирая, однакожъ, на всеобщее осмѣяніе и уворизну, довольно еще осталось таковыхъ, кон, будучи воспитаны въ рукахъ французскихъ и научась отъ нихъ отъ юности все русское презирать, не стараются или не хотятъ узнать природнаго своего языка, и по не-

обходимости, не умѣя на немъ объясняться, мѣшajúть въ разговорѣ своемъ половину словъ иностранныхъ... Можетъ быть, г. Лекеру случилось такихъ французо-русскихъ петиметровъ слышать разговаривающихъ между собою, а по ихъ разговорамъ заключить, что и всѣ такимъ же страннымъ языкомъ говорятъ, какъ они.... Главная мысль, проводимая Болтиннымъ, видна и въ примѣчаніяхъ его ко 2-му изд. «Историческаго представленія изъ жизни Рюрика». По поводу словъ одного изъ дѣйствующихъ лицъ: «прилично въ семъ случаѣ начать дѣло приношеніемъ жертвы богамъ», Болтинъ хвалитъ обычай нашихъ предковъ—призывать Бога на помощь въ каждомъ случаѣ, а затѣмъ переходитъ къ новому времени: «недавно сей обычай, посредствомъ французскаго воспитанія, между благородныхъ людей началъ истребляться, или, лучше сказать, астребился, но между невѣжественныя черни и поднесъ существуетъ: они всякое дѣло начинаютъ молитвою и возложеніемъ на себя знаменія крестнаго; а просвѣщенные люди, видя ихъ то дѣлающихъ, съ презрѣніемъ надъ ними смѣются, для того что у французовъ то не въ обычаяхъ».

«Мысли о Россіи» написаны около 1791 или 1792 г., въ чужихъ краяхъ, на французскомъ языкѣ, для нѣкоторыхъ знатныхъ особъ, которыя часто спрашивали автора объ его отечествѣ. Имя его неизвѣстно. Статья, къ сожалѣнію не конченная, содержитъ въ себѣ немногія о немъ извѣстія: онъ занималъ должности, оставлявшія ему мало свободнаго времени; жилъ за границей для излеченія болѣзни; надѣялся получить отсрочку своему отпуску и въ Вѣнѣ снова заняться воспоминаніями о Россіи; наставникомъ его былъ Иннокентій, архіепископъ рижскій и псковскій. Цѣль статьи—сравненіе древней Россіи съ новою. Авторъ открыто выражаетъ сочувствіе къ до-петровскому быту, основанное на томъ, что «до Петра русскій народъ былъ единообразенъ въ своихъ обычаяхъ, твердъ въ правилахъ, благоразуменъ, проворливъ и осмотрителенъ въ своихъ дѣйствіяхъ; наслажденія его состояли въ простыхъ произведеніяхъ здраваго смысла; незнакомы были ему изступленія и мечты распаленнаго воображенія, равно какъ и его очарованія; никто не выказывалъ себя знающимъ то, чего не вѣдалъ, и всѣ довольны были тѣмъ, что знали; промышленность ограничивалась предѣлами родной страны, и Русскіе не желали наслажденій искусственныхъ и удовольствій новоземныхъ; народъ имѣлъ собственный характеръ, суровый, можетъ быть, для нашего вѣка, но характеръ прямой и честный, умѣвшій чувствовать свое достоинство». Въ Алексѣѣ Михайловичѣ статья видитъ идеальнаго государя мудраго, кроткаго, благочестиваго и бодрого въ трудахъ.

Онъ управлялъ царствомъ безъ шуму и тщеславія и «первый въ Россіи созвалъ государственныхъ чиновъ». Его Уложеніе, написанное кратко, просто и общепонятно, доказываетъ «доброту» всего общественнаго состава. Во всѣхъ идеяхъ узаконеній онъ совѣтовался чрезъ мудрыхъ своихъ бояръ на Красной московской площади съ духомъ народа. Каждый день доносили ему, что замѣчательное было говорено на площади и какъ народъ о томъ думаетъ. Онъ умѣлъ направлять умъ къ полезнымъ цѣлямъ, одобрять добрыхъ и возвращать заблудшихъ къ духу общественному, котораго зналъ цѣну и важность. Сынъ его Феодоръ наслѣдовалъ тѣже чувства, тоже вниманіе къ единообразности обычаевъ, тоже раченіе образовывать, поощрять, исправлять, совершенствовать духъ народа и возвышать моральную его натуру чрезъ добросовѣстное поведение вельможъ и свое собственное. До конца его царствованія Россія была спокойна и счастлива. Съ реформы начался, по мнѣнію автора, совершенно другой порядокъ. Хотя онъ и признаетъ въ дѣлахъ Петра «творческое подражаніе», но думаетъ, что еслибы всѣ его преемники были подражателями, то Русскіе стали бы обезьянами. Направлять умъ народа къ иноземнымъ нуждамъ значитъ засвѣтать въ немъ сѣмена порока, портить его, дѣлать несчастнымъ. Охотники до преувеличеній, часто говорящіе о томъ, что имъ вовсе неизвѣстно, французскіе писатели назвали Петра творцемъ Россіи, а между тѣмъ забыли древнюю пословицу: «ex nihilo nihil»; одинъ только всемогущій Творецъ могъ все произвести единымъ словомъ. Таково свойство ума человѣческаго! замѣчаетъ авторъ: быстрое движеніе и смѣлые порывы болѣе поражаютъ его, нежели ходъ спокойный и ровный; государи, которые съ кроткимъ благоразуміемъ управляютъ ходомъ великихъ и мало-важныхъ случаевъ, нечувствительно предуготовляютъ событія, доставляющіе намъ тихія, но продолжительныя наслажденія, — такіе государи дѣлаютъ менѣе впечатлѣнія на историковъ, нежели грозныя исполненія судорожными движеніями вводимыхъ новостей, — исполненія, двигающіе вдругъ цѣлыми массами. И въ сочувствіи своемъ, и въ недовольствѣ авторъ, одинаково съ кн. Щербатовымъ, руководствуется началомъ естественнаго и нравственнаго развитія народа: онъ видитъ, какъ это начало постоянно дѣйствовало въ жизни предковъ нашихъ, и не видитъ его дѣйствія въ жизни современной, изъ чего и заключаетъ о превосходствѣ до-петровской Руси надъ петровскою. Идиллическая похвала правленію, нравамъ, обычаямъ, воспитанію при царѣ Алексѣѣ противопоставляется темной картинѣ тѣхъ же предметовъ въ современной эпохѣ. Разность между нравами просвѣщенныхъ людей нынѣшняго времени и нра-

вами тогдашнихъ Россіянъ, которыхъ господа умники называютъ варварами, убѣдительно показываетъ, до чего довели современнаго человѣка понятія французскихъ философовъ вообще, парижскихъ вольнодумцевъ въ частности. Въ этой философіи скрывается, по словамъ автора, корень зла. Какой же выводъ даютъ всѣ его разсужденія? Если реформа есть важная историческая ошибка, то необходимо ее исправить. Екатерина II то и дѣлала и дѣлаетъ: она знала, что всякое существо, физическое и политическое, цѣнно и долговѣчно по собственной своей натурѣ; что отношенія случайныя, чуждыя этой натурѣ, иногда ослѣпляютъ простой народъ, но никогда не составляютъ сущности общества: напротивъ, они непримѣтно разстроиваютъ натуру и мало по малу вовсе ее разрушаютъ. Собственными только силами растутъ всѣ существа: и Екатерина II обратила націю къ свойственному ей бытію и природнымъ ея силамъ посредствомъ разныхъ установленій и перемѣнъ въ обширной своей имперіи.

Но почти въ то самое время, какъ неизвѣстный авторъ «Мыслей о Россіи» неблагоприятно смотрѣлъ на реформу Петра, возвысился умный голосъ въ защиту преобразования. Путешествуя по Европѣ, Карамзинъ встрѣтилъ въ парижской академіи надписей и словесности члена ея Левека, семь лѣтъ жившаго въ Петербургѣ (1773—1780), куда онъ былъ вызванъ Екатериною II, по рекомендаціи Дидро, и преподавалъ кадетамъ словесныя науки. Возвратясь на родину, Левекъ написалъ Русскую Исторію (8 т., 1782—1783), въ которой не признаетъ за Петромъ гениальности государственнаго дѣятеля на томъ основаніи, что Петръ, желая образовать свою націю, умѣлъ только подражать другимъ народамъ. Карамзинъ опровергаетъ это мнѣніе, которое часто слышалось и отъ Русскихъ. Въ путевыхъ запискахъ своихъ (мая 1790) онъ доводитъ до крайности свой взглядъ на реформу, совершенно несогласный съ предъидущими на нее взглядами: «Путь образованія или просвѣщенія одинъ для народовъ; всѣ они идутъ имъ въ слѣдъ другъ за другомъ. Иностранцы были умнѣе Русскихъ: и такъ надлежало отъ нихъ заимствовать, учиться, пользоваться ихъ опытами.... Избирать во всемъ лучшее есть дѣйствіе ума просвѣщеннаго; а Петръ Великій хотѣлъ просвѣтити умъ во всѣхъ отношеніяхъ.. Всѣ жалкія іереміады объ измѣненіи русскаго характера, о потерѣ русской нравственной физіогноміи или не что иное какъ шутки, или происходятъ отъ недостатка въ основательномъ размышленіи. Мы не таковы, какъ брадатые предки наши: тѣмъ лучше! Грубость наружная и внутренняя, невѣжество, праздность, скука были ихъ долею и въ самомъ высшемъ состояніи:

для насъ открыты всѣ пути къ утонченію разума и къ благороднымъ душевнымъ удовольствіямъ. Все народное ничто предъ человѣческимъ. Главное дѣло быть людьми, а не славянами. Что хорошо для людей, то не можетъ быть дурно для Русскихъ; и что англичане или нѣмцы изобрѣли для пользы, выгоды человѣка, то мое, ибо я человѣкъ». Въ послѣдствіи Карамзинъ отступилъ отъ этого взгляда, какъ такого, въ которомъ забыты и коренныя отличія народности, и ея историческое развитіе (1).

§ 22. Философія энциклопедистовъ, возбуждая косвенное недовольство людей, порицавшихъ недостатки самостоятельнаго развитія Россіи, встрѣтила прямое и рѣшительное противодѣйствіе въ масонскомъ ученіи.

Когда именно явилось у насъ масонство, въ точности неизвѣстно. По иностраннымъ сочиненіямъ о масонствѣ, въ 1731 г. капитанъ Джонъ Филипсъ былъ провинціальнымъ великимъ мастеромъ (гроссмейстеромъ) въ Россіи, а въ 1741-мъ—Яковъ Кейтъ, генералъ русской службы. Первое свидѣтельство о томъ, что наше правительство стало обращать вниманіе на масоновъ, относится къ 1747 г., когда графа Николая Головина, служившаго въ прусскомъ войскѣ волонтеромъ и подозрѣваемаго въ исполненіи порученій Фридриха II при его дипломатическомъ агентѣ въ Петербургѣ, по повелѣнію императрицы допрашивали, кто изъ русскихъ въ масонахъ. Головинъ назвалъ себя и двухъ графовъ Чернышевыхъ (Захара и Ивана). Въ одномъ дѣлѣ съ допросомъ находится показаніе Михайлы Олсуфьева (относящееся къ 1756 г.), которому императрица повелѣла дознать основанія масонской секты и открыть ея членовъ. Масонство, по этому дознанію, есть «ключъ дружбы и братства»; между членами его, рядомъ съ знатными фамиліями, стоятъ лица всякаго званія: музыканты, танцевальный учитель, купецъ; большую часть членовъ дало военное сословіе (вн. Михайлъ Щербатовъ, Иванъ Болтинъ, Мелиссино); гроссмейстерскій стулъ занималъ гр. Р. И. Воронцовъ, отецъ княгини Е. Р. Дашковой. Одинъ изъ указанныхъ членовъ, полковникъ Мелиссино имѣлъ въ Петербургѣ (1765) такъ называемый капитулъ и распространялъ свои особенныя мнѣнія, получившія названіе «системы Мелиссино». Въ 1772 г. основана первая русская Великая Ложа, и И. П. Елагинъ назначенъ, отъ великой англійской ложи, провинціальнымъ гроссмейстеромъ въ русской имперіи.

1) О значеніи взглядовъ Болтина см. С. Соловьева: «Рус. историкъ 18-го в.» (Калачова «Архивъ историко-юридич. свѣдѣній о Россіи» т. 2); Сочиненіе Щербатова: «О поврежденіи правовъ въ Россіи», разобрано проф. Ешевскимъ (Атеней, 1868, № 3); «Мысли о Россіи» изд. въ 1 и 2 ММ Вѣст. Евр. 1807 г.

Система, которой слѣдовали масоны этой ложи въ своихъ работахъ, стала извѣстна подъ именемъ «Елагинской», хотя въ сущности она была англійскою, болѣе другихъ системъ сохранявшею масонство въ его первоначальномъ, чистомъ видѣ. Другія новотверждаемыя ложи вводили систему шведскую. Сильнѣйшее развитіе масонской дѣятельности въ Москвѣ началось съ переездомъ въ этотъ городъ, 1779 года, Новикова (1744—1816), который занимаетъ почетное мѣсто не только въ исторіи русскаго масонства, но и въ исторіи русскаго просвѣщенія, какъ его ревнитель. Онъ началъ свое образованіе въ московскомъ университетѣ и въ 1758 г. показанъ въ спискѣ учениковъ, достойныхъ награжденія, но черезъ два года, неизвѣстно почему, исключенъ, вмѣстѣ съ Потемкинымъ и другими семьюдесятью учениками и студентами. Состоя на службѣ въ измайловскомъ полку (1762—1770), онъ, въ 1767—68 г., занимался въ комиссіи о составленіи проекта новаго уложенія, а потомъ (1769—70) издавалъ «Трутепъ». Въ отставкѣ преданъ книжному и журнальному дѣлу. За «Трутепъ» слѣдовали сатирическіе журналы: «Живописецъ» (1772—73) и «Кошелекъ» (1774), мистическій «Утренній свѣтъ» (1777—78) и «Сп.бурскіи ученныя Вѣдомости». Самымъ важнымъ изданіемъ его было десять частей «Древней Россійской Библіотеки» (1773—75) ⁽¹⁾, матеріалы для которой, равно какъ и денежное пособіе на печатаніе, доставляла сама императрица, приказавъ исторіографу Миллеру сообщать издателю копіи съ хранившихся въ архивѣ описаній посольствъ, равныхъ старинныхъ обрядовъ и пр. Къ другимъ изданіямъ петербургскаго періода жизни Новикова относятся: «Опытъ историческаго словаря о руссійскихъ писателяхъ (1772)» — трудъ, исполненный при участіи трагическаго актера Дмитревскаго; «Повѣствователь древностей руссійскихъ (1776)»; «Исторія о заточеніи боярина Матвѣева (1776)»; первая часть «Скинской Исторіи, Лылова» (1776) ⁽²⁾. Что касается до масонства, то есть извѣстія, что Новиковъ принятъ въ него 1775 г. и что слѣдующимъ годомъ была основана для него и друзей его ложа Немида.

Такимъ образомъ, до переезда въ Москву Новиковъ уже приобрѣлъ себѣ извѣстность какъ издатель лучшаго сатирическаго журнала и важнаго для русской исторіи сборника. Переселись въ Москву, куда за годъ передъ тѣмъ кураторомъ университета былъ назначенъ Херасковъ, онъ взялъ на десятилѣтній откупъ универ-

¹⁾ Продолженіе ея состоитъ изъ 20 частей.

²⁾ Всѣхъ частей три.

ситетскую типографію. Это десятилітіе показываєть, что может совершить энергическій человекъ, когда онъ одушевленъ любовью къ отечеству и безкорыстно дѣйствуетъ отъ имени твердыхъ началъ, имѣя въ виду потребности гражданъ. Безъ надлежащаго ученія, не знавшій ни одного иностраннаго языка, «не читавшій никакихъ школьныхъ философъ», Новиковъ привлекъ къ себѣ любовь и уваженіе всѣхъ людей, для которыхъ нравственное возвышеніе общества составляло главную задачу цивилизаціи. Цѣлью всѣхъ стремленій его было — распространить образованіе Россіи во всѣхъ сословіяхъ. Его дѣло было подвигомъ, заслужившимъ общественную благодарность и навсегда оставшимся въ нашей исторіи. Важность его заслугъ указаны Карамзинимъ въ запискѣ, представленной императору Александру 1-му, въ 1818 г. Къ счастью для своего дѣла, онъ дружески сошелся съ профессоромъ Шварцемъ, пріѣхавшимъ въ Россію въ 1776 г. († 1784). и поступившимъ въ университетъ профессоромъ нѣмецкаго языка. Труды того и другаго служили взаимнымъ дополненіемъ. Шварцъ имѣлъ значеніе учителя и наставника, а Новиковъ, вмѣстѣ съ другими, распространялъ его воспитательно-образовательныя мысли въ обществѣ посредствомъ изданія книгъ. Основательный педагогъ, проникнутый глубоко-религіозными убѣжденіями, Шварцъ дѣйствовалъ какъ профессоръ: онъ преподавалъ исторію философій студентамъ педагогической семинаріи, основанной въ 1779 г. и которой онъ былъ ректоромъ, и кромѣ того у себя на дому, по воскресеньямъ, читалъ «для людей всякаго рода и званія» лекціи о трехъ родахъ познанія: любопытномъ, пріятномъ и полезномъ. Подъ любопытнымъ познаніемъ разумѣется такое, которое пытается разумъ и приноситъ пользу въ жизни, но не есть необходимо для будущаго блаженства; познаніе пріятное, къ которому относятся изысканія искусства, удовлетворяетъ зрѣнію и слуху, и воображеніемъ занимаетъ нашу познавательную способность; познаніе полезное научаєть насъ истинной любви, молитвѣ, стремленію духа къ высшимъ понятіямъ: его-то человекъ долженъ достигать по преимуществу, такъ какъ онъ въ земной своей жизни только путешественникъ, а въ будущей гражданинъ. Мистико-религіозное направленіе лекцій Шварца благотворно дѣйствовало на молодыхъ людей, предохраняя ихъ отъ невѣрія, ставя на мѣсто современнаго легкомыслія твердыя, строгія начала жизни и мышленія. Слушатели съ благодарностію вспоминали своего наставника. «Главное и для тогдашняго времени поразительное явленіе было то (говорить одинъ изъ нихъ), съ какою силою простое слово профессора

исторгло изъ рукъ многихъ соблазнительныя и безбожныя книги, въ которыхъ, казалось, тогда весь умъ заключался, замѣнивъ ихъ Библіею. Шварцъ учредилъ «Собраніе университетскихъ питомцевъ» (1781), гдѣ они читали и обсуживали свои собственные литературныя опыты. Собраніе имѣло двѣ цѣли: одна «относилась къ просвѣщенію», другая — «къ исправленію порочныхъ склонностей». Для достиженія первой, воспитанники упражнялись въ сочиненіяхъ разнаго рода и переводахъ лучшихъ мѣстъ изъ древнихъ и новыхъ писателей; для достиженія второй, при началѣ каждаго собранія произносились членами рѣчи о какихъ-либо нравственныхъ предметахъ. Въ 1782 г. открыта, при университетѣ, филологическая, или переводческая, семинарія, для переложенія лучшихъ авторовъ и нравоучительныхъ сочиненій на русскій языкъ. Ею также завѣдывалъ Шварцъ. Труды воспитанниковъ университета и двухъ семинарій поступали въ журналы, изданіе которыхъ предназначалось въ пользу бѣдныхъ.

Изъ круга людей, близкихъ къ Новикову и Шварцу, образовалось «Дружеское ученое общество», открытое въ 1782 г. и поставившее своею обязанностью облагороженіе нравовъ и распространеніе полезныхъ знаній. Занятія его изложены въ приглашительной запискѣ къ членамъ, написанной Шварцемъ. Записка предлагаетъ обществу найти полезное занятіе въ свободныя отъ гражданскихъ обязанностей часы, по примѣру Сципіона Африканскаго, «мудрѣйшаго и счастливѣйшаго человѣка, который всего менѣе былъ празденъ въ то время, когда освобождался отъ государственныхъ дѣлъ; а умѣть пользоваться досугомъ есть самая трудная вещь, по словамъ одного изъ греческихъ мудрецовъ». Задачею общества должно быть нравственное, взаимною помощью членовъ-друзей производимое возбужденіе къ труду. Особенному вниманію его указаны три предмета: а) печатаніе разнаго рода книгъ, особенно ученыхъ, и разсылка ихъ по училищамъ; б) содѣйствіе къ успѣхамъ тѣхъ наукъ, въ которыхъ Рускіе мало упражнялись: греческаго и латинскаго языковъ, знанія древностей, знанія качествъ и свойствъ вещей въ природѣ, химіи; в) занятія филологическою, или переводческою семинаріей. На открытіи общества присутствовалъ главнокомандующій въ Москвѣ графъ З. Г. Чернышевъ, принадлежавшій къ масонскому ордену, какъ мы видѣли изъ допроса гр. Головину. Архіепископъ Платонъ принялъ его подъ свое покровительство, какъ такое учрежденіе, котораго программа была согласна съ духомъ христіанства. Между членами общества, кромѣ Новикова и Шварца, при-

надлежали къ наиболѣе дѣятельнымъ и вліятельнымъ И. В. Лопухинъ, И. П. Тургеневъ, С. И. Гамалея и двое князей Трубецкихъ. Служа дѣлу образованія и вмѣстѣ съ тѣмъ заботясь объ организаціи масонства въ Россіи, Шварцъ, въ 1781 г., былъ отправленъ за границу для «снисканія истиннаго масонства». Онъ присутствовалъ на Вильгемсбадскомъ конвентѣ (1782), собранномъ съ цѣлію опредѣлить сущность и цѣль ордена и положить конецъ разногласіямъ въ средѣ его устройствомъ одной общей системы. Россія была признана самостоятельною (восьмою) провинціей ордена. Въ Берлинѣ Шварцъ завелъ связи съ тамошними розенкрейцерами, и по возвращеніи распространялъ ихъ ученіе въ Москвѣ. Неудовольствія, возникшія между нимъ и кураторомъ Мелиссино, заставили его выдти изъ университета. Мѣсто Шварца, по смерти его (1784), занялъ баронъ Шредеръ, вовсе не похожій на своего предшественника нравственными качествами. Съ нимъ-то, въ 1787, отправленъ былъ въ Берлинъ Дружескимъ обществомъ Кутузовъ, сотоварищъ Радишева по образованію, для изученія алхиміи, которая, вмѣстѣ съ теософіей, составляла основной принципъ розенкрейцерства, какъ особой системы масонства.

Еще прежде открытія Дружескаго общества, Новиковъ началъ приводить въ исполненіе его не оглашенные еще планы. Университетская типографія стала наравнѣ съ лучшими европейскими типографіями. Въ три года (1779—82) она выпустила больше книгъ, нежели сколько изъ нея вышло за всѣ прежніе двадцать четыре года ея существованія. Семинаріямъ и другимъ училищамъ было подарено книгъ на 3000 руб. Открыто было нѣсколько книжныхъ лавокъ въ Москвѣ и по губернскимъ и уѣзднымъ городамъ. Старааясь всячески пріохотить публику къ чтенію, Новиковъ первый завелъ вольную (публичную) бібліотеку для безденежнаго пользованія книгами. Чтобы знакомить читающій классъ съ мистикомасонскимъ ученіемъ, онъ прибѣгнулъ къ пособію періодическихъ изданій, дѣйствіе которыхъ было извѣдано имъ на опытѣ. Мы знаемъ, что до поступленія въ масонство, Новиковъ служилъ общественной мысли двоякимъ способомъ: сатирой и обнародованіемъ матеріаловъ, касательно русской археологіи, исторіи и географіи. Посвященный въ масоны, Новиковъ принялся за изданіе журналовъ мистическаго направленія. Первымъ изъ нихъ былъ «Утрепній свѣтъ», начатый еще въ Петербургѣ (1777), но конченный въ Москвѣ (1780). Изданіе выбрало своимъ предметомъ искоренять вравшееся вольномысліе, дѣйствовать на «духъ» и «душу», какъ главные элементы тройственнаго человѣческаго состава, предоставивъ «тѣло» портнымъ, которые его укра-

нають, и медникамъ, которые его врачуютъ. Путемъ кроткихъ наставленій оно обязалось вести публику къ самопознанію. Поэтому наставительныя статьи образуютъ преимущественное содержаніе журнала. Почти всѣ онѣ переводныя изъ древнихъ и новыхъ писателей: Платона, Плутарха, Сенеки, Геллерта, Геснера, Юнга, Паскаля и другихъ. Въ числѣ умозрительныхъ предметовъ на первомъ планѣ стоитъ безсмертіе души; съ цѣлію доказать эту истину, напечатаны двѣ статьи: «Жизнь Сократа», побѣдившаго страхъ смерти вѣрою въ безсмертіе, и «Федонъ, или разговоры о безсмертіи души». Программа «Утренняго свѣта», изложенная въ предисловіи, раскрыта еще стихотвореніемъ В. Майкова и правилами мудраго искателя истины, въ «Сновидѣніи Іакова Всегдашнѣ». Благонамѣренность правилъ видна, между прочимъ, изъ ихъ понятія о гражданскихъ обязанностяхъ: «если не можешь быть стражемъ кедровъ ливанскихъ, то будь доволенъ стереженіемъ ихъ, на стѣнахъ растущаго, ибо не на порученную людямъ должность смотреть, но паче на исполненіе оныя». На деньги, собранныя за подписку, основаны были въ Петербургѣ Екатерининское и Александровское училища для бѣдныхъ дѣтей. За «Утреннимъ Свѣтомъ» слѣдовало «Московское изданіе» (1781). Почувствовавъ, что постоянно-серьезное направленіе перваго журнала пугало публику, новый журналъ вознамѣрился удовлетворять какъ тѣхъ, которые скучали высокими матеріями, такъ и тѣхъ, которые ощущаютъ сладость и пользу въ «нравоученіи и высокомысліи». Изъ предисловія къ нему видно, что онъ явился въ свѣтъ съ цѣлію противодѣйствовать ученію энциклопедистовъ: «Причиною предпріятія было состраданіе, которое всякій мыслящій чувствуетъ, слыша, что люди умные, просвѣщенные и почтенные говорятъ надменно и вооружась остроуміемъ о законѣ, ко спасенію рода человѣческаго первыми людьми полученномъ, и взирая на простодушныхъ людей, прилежно внимающихъ умствованію вольномысленныхъ мудрецовъ». Съ особеннымъ вниманіемъ слѣдило изданіе за понятіями матеріалистовъ о нравственности. Оно сторожило русскую публику «отъ тѣхъ высокихъ и вмѣстѣ низкихъ Любомудровъ нынѣшняго вѣка, которые прославляютъ истину, состоящую въ послѣдованіи свлонностямъ нашимъ, каковы бы они ни были и куда бы ни стремились, говоря, что природа къ тому насъ побуждаетъ и что безумно возлагать оковы на виновницу толкихъ удовольствій и сладости». Борьба съ французскою философіей, составлявшая одинъ изъ главныхъ предметовъ масонской дѣятельности, ясно здѣсь выступаетъ. Средства для борьбы—въ распространеніи истиннаго свѣта знаній, такъ какъ невѣріе или безбо-

жіе происходитъ не отъ ученія, а отъ невѣжества. Но ученіе должно идти объ руку съ нравственностью: «если у ученаго злое сердце, то онъ со всею своею ученостью будетъ сущимъ невѣждой, вреднымъ себѣ и обществу. Отъ такихъ-то ученыхъ и возникла вся мерзость на земномъ шарѣ. Частосердечный мужикъ можетъ лучше воспринимать истину, нежели развращенный звѣздочетъ. Развратъ въ наукахъ происходитъ отъ незнанія источника, изъ котораго онѣ пристекли, и отъ незнанія предмета, гуда онѣ текутъ. Науки суть плодъ созрѣвшаго безсмертнаго человѣческаго духа. Если человѣкъ цѣлую жизнь упражняется въ томъ, въ чемъ и животныя, то наука разума не только ему бесполезна, но и пагубна. Когда же человѣкъ имѣетъ главною своею цѣлью—совершенство духа, состоящее въ познаніи безсмертныхъ истинъ, то наука разума приноситъ ему пользу». «Вечерняя заря» (1782) служила продолженіемъ «Утреннему свѣту», связанная съ нимъ не одною послѣдовательностью времени, но и послѣдовательностію смысла, на которую указываютъ самыя названія. Вечерняя заря—это слабый свѣтъ нашего разума въ сравненіи съ полдневнымъ свѣтомъ мудрости, которымъ блисталъ праотецъ человѣковъ. По-темненный паденіемъ Адама, человѣческій разумъ достигнетъ прежняго своего состоянія, когда воля въ дѣйствіяхъ, а разумъ въ познаніяхъ, подобно вечерней зарѣ, слѣдующей за солнцемъ, будетъ направлять свое теченіе за великимъ солнцемъ вселенной—Божествомъ. Тремя степенями вечерняя заря души нашей восходитъ до лучезарнаго полдневнаго свѣта: самопознаніемъ, познаніемъ природы и чтеніемъ Священнаго Писанія. Цѣль изданія—выбрать изъ древнихъ и новыхъ писателей лучшія сочиненія по этимъ тремъ сферамъ вѣдѣнія. Такъ какъ во всѣхъ дѣйствіяхъ разумъ предшествоуетъ и свѣтитъ, а воля послѣдуетъ и сопровождаетъ, то въ первомъ отдѣлѣ журнала помѣщались «открытія, касающіяся до просвѣщенія разума»; во второмъ—правоученія для исправленія воли; въ третьемъ—примѣры или исторіи, вмѣстѣ съ другими статьями, между которыми любопытны сатирическія выходки противъ любви русскихъ къ иноземному. Если названіе «Вечерней Зари», сверхъ нравственнаго смысла, означало и время занятій; то новому журналу, какъ ея продолженію, всего приличнѣе имя «Повоящагося Трудолюбца» (1784). Сама природа указала это имя, научая насъ, что въ то время, когда съ дневнымъ шумомъ престанутъ волненія души, утихнутъ бури страстей и прекратится суета мірская, подъ бровомъ тишины человѣкъ становится наиболѣе способенъ къ духовнымъ упражненіямъ. Тогда умъ скорѣе постигаетъ божественныя свойства, удобнѣе проникаетъ въ связь

вещей, открытіе устремляетъ взоры въ малый міръ и приближается къ самопознанію и нравственному совершенству. Такимъ образомъ соединяются два, видимо-противоположные, предмета: покой и трудъ. Покой есть лучшая пора умственныхъ трудовъ. Важнѣйшія статьи журнала пронизаны мистицизмомъ. Таковы: «письмо съ того свѣта къ сыну малая земли муравью, живущему въ муравейникѣ»; «бесѣда съ самимъ собою», разсуждающая объ устройствѣ внутреннего человѣка; «о любленіи истинной христіанской философіи», которая, какъ всѣмъ доступная, противопоставляется мудрствованіямъ и изслѣдованіямъ, понятнымъ только гордой учености. Между сатирическими пьесами, особенно замѣчательна «Новая логика», по меткой правдѣ и рѣзкому тону напоминающая лучшія страницы «Живописца»: она исчисляетъ различные аргументы, которыми пользуются люди на переборъ высшей правдѣ и здравому разуму.

Черезъ два года по открытіи «Дружескаго ученаго общества», оно было преобразовано въ «Типографическую компанію» (1784), цѣлю которой было издавать полезныя книги, болѣею частию учебныя и мистическія, и продавать ихъ по дешевой цѣнѣ. Цѣлое море душеспасительныхъ книгъ было противопоставлено адской водѣ вольнодумческихъ и безбожныхъ сочиненій», говоритъ Невзоровъ, излагая въ одномъ письмѣ благотворныя дѣянія Новикова, къ которому принадлежалъ и самъ. Книжная торговля, построенная на разумныхъ и широкихъ основаніяхъ, постоянно занимала Новикова. Онъ справедливо ожидалъ отъ нея двойной выгоды: распространенія истинъ въ массѣ народа, которая очистилась бы его отъ вредныхъ предразсудковъ и заблужденій, и кромѣ того прибрѣла нашему купечеству, какъ вести правильно свои дѣла. Указъ о вольныхъ типографіяхъ далъ усиленный ходъ компаніи: она учредила типографію; другія двѣ заведены были Новиковымъ и Лопухинимъ. Московскія Вѣдомости, поступившія въ завѣдываніе Новикова, приняли новый видъ; содержаніе ихъ сдѣлалось интереснѣе и разнообразнѣе, такъ что число подписчиковъ съ шести сотъ возросло черезъ десять лѣтъ до четырехъ тысячъ. При нихъ безденежно выдавалось «Дѣтское чтеніе» (1785—1788), единственный тогда журналъ для дѣтей, бывшій долгое время настольною ихъ книгою, благодаря прекрасному выбору статей. Здѣсь помѣщено нѣсколько переводовъ А. Петрова и его друга, Карамзина, введеннаго въ 1785 г. въ Новиковскій кругъ И. П. Тургеневымъ. Дѣянія компаніи не ограничивались тѣмъ предметомъ, который означается словомъ «типграфическій». Ея просвѣщенная благотворительность была разнообразная и широкая, благодаря

средствами, доставленными ей нѣкоторыми ея членами: она заводила училища, больницы и аптеки для бѣдныхъ; покровительствовала молодымъ талантамъ, которые были одолжены ей своимъ образованіемъ и нравственнымъ возвышеніемъ; раздавала, во время неурожая, хлѣбъ бѣднымъ земледѣльцамъ, и т. п.

Правительство обратило вниманіе на дѣятельность Новикова съ 1784 года, когда онъ самовольно перепечаталъ нѣкоторыя наданія Коммиссіи о народныхъ училищахъ и когда въ Прибавленіяхъ къ Московскимъ вѣдомостямъ появилось начало «Исторіи ордена іезуитовъ». Печатаніе этой книги было запрещено. Кромѣ того, не зная въ точности ни причины, ни дѣла, ни предмета тайныхъ собраній, въ которыхъ молчаніе почиталось самонужнѣйшею добродѣтелью, Государыня естественно могла придти къ мысли, что масонское общество не безопасно для спокойствія гражданъ, что оно образуетъ какъ бы государство въ государствѣ. Когда по повелѣнію Маріи Терезіи была закрыта вѣнская ложа и нѣкоторые масоны жаловались на то Фридриху Великому, послѣдній сказалъ имъ: «императрица совершенно права; она не знаетъ, что происходитъ въ ложахъ, и потому не обязана терпѣть ихъ. Я, напротивъ, знаю ложи очень хорошо, и потому не только дозволяю ихъ, но и обязанъ оказывать имъ покровительство и защиту». Отзывъ прусскаго короля объясняетъ нѣкоторымъ образомъ отношеніе императрицы Екатерины къ обществу Новикова. Книжки, издаваемыя этимъ обществомъ, казались ей странными по содержанию и формѣ изложенія; она могла думать, что въ нихъ скрывается какой-либо «новый расколъ», что онѣ наполнены «умствованіями, несходными съ простыми и чистыми правилами православія и гражданской должности», и потому повелѣла (1785) главнокомандующему въ Москвѣ, гр. Врюсу (преемнику гр. Чернышева), составить списокъ означенныхъ книгъ, а митрополиту Платону рассмотреть ихъ и вмѣстѣ испытать самого Новикова относительно вѣры. Платонъ далъ самый одобрителный о немъ отзывъ, назвавъ его истиннымъ, рѣдкимъ христіаниномъ. Книжки же были раздѣлены имъ на три разряда: а) собственно-литературныя, большее и большее распространеніе которыхъ весьма желательно, такъ какъ онѣ содѣйствуютъ образованію; б) мистическія, о которыхъ пастырь не взялся судить, потому что, какъ говорить, не понималъ ихъ; в) сочиненія энциклопедистовъ—самыя злободѣныя, орудіе разврата добрыхъ нравовъ, подкопъ подъ твердыни святой вѣры. На донесеніе митрополита послѣдовалъ приказъ запретить продажу указанныхъ имъ шести книгъ, которые, однакожь, принадлежали не къ сочиненіямъ энциклопедистовъ, а къ

масонской литературѣ. Содержателямъ вольныхъ типографій было строжайше подтверждено, чтобы они остерегались издавать книги, «исполненныя странныхъ мудрованій или, лучше сказать, сущихъ заблужденій». Оправданный отзывомъ Платона, Новиковъ принялся съ усиленнымъ рвеніемъ за свою дѣятельность; но въ будущемъ ему суждено было потерпѣть болѣе чувствительныя неудачи и несчастія. Особенности обстоятельства умножили подозрѣнія къ нему правительства. Они изложены въ запискѣ Карамзина: а) одинъ изъ мартинистовъ, архитекторъ Важеновъ, писалъ изъ Петербурга къ своимъ московскимъ друзьямъ, что онъ, говоря о масонахъ съ наслѣдникомъ престола (в. к. Павломъ Петровичемъ), удостоверялся въ его добромъ объ нихъ мнѣніи. Государыни вручили это письмо. Она могла думать, что масоны желаютъ преклонить къ себѣ великаго князя. 2) Новиковъ, во время неурожая, роздалъ много хлѣба бѣднымъ земледѣльцамъ: удивлялись его богатству, не зная, что деньги на покупку хлѣба давалъ Новикову Походянинъ, масонъ, который имѣлъ тысячъ шестьдесятъ дохода и по любви къ благотвореніямъ въ этотъ годъ разорился. 3) Новиковъ велъ переписку съ прусскими масонами, хотя и не политическую, въ то время, когда нашъ дворъ былъ въ явной неприязни съ берлинскимъ. Четвертое обстоятельство, бывшее неизвѣстнымъ Карамзину, состояло въ томъ, что одинъ изъ членовъ «Дружескаго общества», не поладивъ съ Новиковымъ, умышленно писалъ къ нему изъ за-границы письма, которыя должны были утвердить правительство въ основательности его подозрѣній. Ко всему этому говоритъ Карамзинъ, присоединились французская революція и извѣстныя опасенія московскаго градоначальника (кн. Прозоровскаго). Они рѣшили судьбу Новикова и его общества. Типографическая компанія закрыта 1791 г.; самъ онъ былъ арестованъ и заключенъ въ крѣпость, имѣніе его конфисковано, мистическія книги сожжены. Главные его товарищи подверглись допросу: двое изъ нихъ (И. П. Тургеневъ и кн. Н. Н. Трубецкой) сосланы на жительство въ деревни, а третій (Лопухинъ) оставленъ въ Москвѣ, ради дряхлаго и больнаго отца своего. Съ восшествіемъ на престолъ Павла I судьба пострадавшихъ, измѣнилась. Въ первый же день своего царствованія, онъ освободилъ Новикова изъ четырехлѣтняго заключенія. Трубецкіе и Лопухинъ были пожалованы сенаторами; кромѣ того послѣдній назначенъ статсъ-секретаремъ. Кн. Н. В. Репнинъ, И. С. Плещеевъ сдѣлались самыми близкими ко двору особами. Всѣ эти назначенія оправдали предположенія Екатерины и ея недовольство масонами. О Новиковѣ носились слухи, какъ о будущемъ директорѣ

университета; но они оказались ложными. Главный дѣтель «типографическаго общества» провелъ послѣдніе годы съ другомъ своимъ Гамалеемъ въ родовомъ имѣніи подъ Москвой. При его дѣтяхъ, во время его заключенія, находилась вдова Шварца, не имѣвшая никакого состоянія.

Видѣнная, или практическая, дѣятельность Новиковскаго общества вытекала изъ основныхъ началъ мистико-масонскаго ученія. Разъясненіе этихъ началъ составляетъ, какъ мы замѣтили, внутреннюю, или теоретическую дѣятельность того же самого общества. Она обнимаетъ оригинальную и переводную литературу масонства, наибольшее движеніе которой относится къ восьмидесятымъ годамъ. Главное мѣсто принадлежало здѣсь Шварцу, который «былъ истиннымъ орудіемъ Божиимъ исправленія въ Россіи ордена каменщиковъ». Такъ опредѣляетъ его заслугу Невзоровъ, получившій образованіе въ филологической семинаріи. За Шварцемъ слѣдовали Лопухинъ, И. Тургеневъ и Гамалей — наиболѣе вліятельныя лица, управлявшія, вмѣстѣ съ Новиковымъ, дѣйствіями русскаго масонства. Лопухинъ (1756—1816) имѣлъ «большую дирекцію и переписку по обществу», какъ онъ самъ говоритъ въ своихъ «Запискахъ». Невзоровъ называетъ его однимъ изъ первыхъ драгоценныхъ камней въ коронѣ масонскаго братства: «когда онъ сидѣлъ на стулѣ великаго мастера и говорилъ, тогда истинно сама воплощенная любовь, самъ духъ Христовъ и христіанское откровеніе евангельское устами его исходили». Желая ознакомить публику съ истиннымъ духомъ братства, о которомъ она имѣла превратныя понятія, Лопухинъ сочинилъ «Нравоучительный катихизисъ истинныхъ франмасоновъ», гдѣ въ краткихъ и общихъ чертахъ представлены начала масонской науки и морали. Французскій переводъ этой книжки, принадлежащій перу самого автора, нап. въ Москвѣ 1790 г., а русскій подлинникъ явился послѣ, при другомъ сочиненіи Лопухина: «Духовный рыцарь, или ищущій премудрости» (1791). Третья, наиболѣе извѣстная, книга Лопухина: «Нѣкоторыя черты о внутренней церкви, о единомъ пути истины и о различныхъ путяхъ заблужденія и гибели» (1789), достигла трехъ изданій и переведена на латинскій, французскій и нѣмецкій языки. Знаменитый мистикъ Экартсгаузенъ называлъ ее драгоценнымъ, истинною мудростью наполненнымъ твореніемъ. Третьимъ лицомъ, стоявшимъ у кормила московскаго масонства, былъ Гамалей. Его рѣчи, которыя онъ произносилъ, какъ великій мастеръ стула, и въ особенности его «Письма» (3 книги: первая и вторая 1832, третья 1839) имѣли для масоновъ значеніе какъ бы пастырскихъ посланій.

Оригинальныя сочиненія русских масоновъ составляютъ меньшую часть ихъ библіотеки, сравнительно съ переводами, изданными стараніемъ лицъ, которые находились во главѣ союза. Цѣль изданій, какъ мы знаемъ, — сообщить хотя легкія понятія публикѣ объ истинномъ свободномъ каменщицествѣ, и чрезъ то разсѣять ложныя, смѣшныя и постыдныя о немъ мнѣнія. Наибольшее число ихъ явилось въ восьмидесятыхъ годахъ, начиная съ 1783 г., т. е. съ указа о вольныхъ типографіяхъ. Въ это время напечатаны слѣдующіе переводы: «Карманная книжка для вольныхъ каменщиковъ и для тѣхъ, которые не принадлежатъ къ числу оныхъ» (1783); «Хризомандеръ, аллегорическая и сатирическая повѣсть различнаго, весьма важнаго содержанія» (1783); Таинство креста (1783); «Объ истинномъ христіанствѣ, Арндта, пер. И. Тургенева» (1783); «Братскія увѣщанія къ нѣкоторымъ братьямъ Св. К.» (1784); «Химическая псалтирь, Парацельса» (1784). По распоряженію Лопухина, общество задумало, въ довольно большомъ размѣрѣ, изданіе «Магазина свободно-каменщицескаго, содержащаго въ себѣ рѣчи, говоренныя въ собраніяхъ, пѣсни, письма, разговоры и другія разныя краткія писанія, стихами и прозою». Всѣхъ томовъ предназначалось семь, и каждый томъ долженъ былъ состоять изъ трехъ частей; но вышло только двѣ части перваго тома (1784). Мистики: Бемъ, Пордечъ и Сень-Мартенъ пользовались особеннымъ сочувствіемъ нашихъ масоновъ, которые смотрѣли на ихъ творенія какъ на догматико-нравственные уставы. Первые переводы Бема, прованнаго «тевтоическимъ философомъ» († 1625), явились еще въ концѣ XVII в. на славяно-русскомъ языкѣ. По основательной догадкѣ нѣкоторыхъ, они были сдѣланы послѣдователями Кульмана, сожженного въ Москвѣ (1689) по приговору особой комиссіи. «Предки наши», говоритъ одинъ изъ русскихъ мистиковъ первой четверти нынѣшняго вѣка, «отнюдь не были чужды тѣхъ понятій, кои нынѣ называются новизнами». Молитвы, выбранныя изъ сочиненій Бема и ходившія въ рукописяхъ, были, по преданію, напечатаны Новиковымъ для практическаго употребленія въ масонскомъ обществѣ. Идеи того же мистика лежатъ въ основѣ лекцій Шварца. Письма Гамален рекомендуютъ читать рукописные переводы трехъ Бемовыхъ сочиненій: «О тройственной жизни», «О благодатномъ избраніи», *Mysterium magnum*. При содѣйствіи Новикова и подъ руководствомъ Гамален цѣлымъ обществомъ друзей составленъ былъ «Серафимскій цвѣтникъ, или духовный эстрактъ изъ всѣхъ писаній Іакова Бема» (1794), обращавшійся также въ рукописяхъ. Послѣдователи Сень-Мартена, «неизвѣстнаго философа» († 1803), получили названіе «мартини-

ство» отъ Мерсье, автора сочиненія «Картина Парижа». Русскій переводъ его знаменитой книги: «О заблужденіяхъ и истинѣ», напечатанъ въ 1785 г. Ученіе его состоитъ въ близкомъ родствѣ съ ученіемъ Бема, главнѣйшія сочиненія котораго: «Аврора», «Начала божественной сущности» и «Тройственная жизнь», были переведены на франц. языкъ. Англіійскій докторъ и мистикъ Пордечъ († 1698) былъ также бемистъ, изложившій въ «Божественной и истинной метафизикѣ» систему идей своего учителя. Книга эта, переведенная съ нѣмецкаго, нап. у насъ около 1787 г. Чтобы пополнить перечисленіе важнѣйшихъ, такъ сказать «уставныхъ», книгъ масонства, упомянемъ о «Пастырскомъ посланіи къ истиннымъ и справедливымъ свободнымъ каменщикамъ древней системы», которое напечатано въ 90-хъ годахъ, но котораго рукописи появляются съ 1785 г.

Въ основѣ масонства лежитъ деизмъ. Но деизмъ былъ однимъ изъ первыхъ произведеній того умственного движенія, на пути котораго развилась и французская философія XVIII в. Такимъ образомъ два ученія, выросшія на одномъ и томъ же корнѣ, оказались потомъ враждебными другъ другу. Значитъ, или масонство, при дальнѣйшемъ своемъ развитіи, отступило отъ нѣкоторыхъ догматическихкихъ воззрѣній, или деизмъ, по своей сущности, отвергалъ дальнѣйшія явленія философіи XVIII в., именно: материализмъ и атеизмъ. То и другое должно быть допущено при объясненіи означенной вражды. Будучи системою естественной религіи, деизмъ становился въ рѣшительный контрастъ съ тѣми философскими школами, которыя не признавали никакой религіи. Масонъ, выходя изъ начала всемірныхъ, каждому народу присущихъ религіозныхъ вѣрованій, могъ еще находить кой-какія точки соприкосновенія съ Вольтеромъ, какъ деистомъ; но не могъ имѣть ничего общаго съ Гельвеціемъ, Гольбахомъ и имъ подобными. Существованіе атеистовъ казалось ему дѣломъ непостижимымъ. Ихъ нѣтъ и быть не можетъ, говорилъ онъ: встрѣчаются софисты, но нельзя встрѣтить богоотступниковъ. Атеизмъ есть слово безпредметное: слово найдешь въ любомъ лексиконѣ, а предмета, означаемого этимъ словомъ, не сыщешь нигдѣ. Противодѣйствуя французской философіи XVIII в., масоны естественно находили себѣ союзниковъ въ духовенствѣ: материализмъ и атеизмъ были общими ихъ врагами. Но, съ другой стороны, церковь не могла признать и масонства, которое держалось на ученіи деистовъ. Правда, она сильнѣе ратовала противъ энциклопедическихкихъ книгъ, какъ самыхъ зловредныхъ, которыя «развращаютъ добрые нравы и ухищряются подбавивать твердыни православія»; одна-

кожѣ и книги масонскія, во многомъ несогласныя съ христіанскою догматикою, должны были возбуждать ея негодованіе. — Ученые, съ своей стороны, возвышали голосъ противъ масонства, которое мало цѣнило «школьную мудрость», находя ея одностороннею и признавая истинными лишь тѣ откровенія разума, которыя можно было согласовать съ началами и требованіями мистицизма. Такимъ образомъ въ анти-масонской литературѣ принимали участіе философія XVIII в., православная догматика и наука, въ собственномъ смыслѣ этого слова. Масонское общество не могло возбуждать сочувствія въ послѣдователяхъ той философіи, которая, во имя разума, какъ своего краеугольнаго камня, отвергала все, несомѣстимое съ его положеніями, которая стремилась къ положительному и естественному, разумѣя подъ «тайною» единственно явленія, еще не подавленные изслѣдованію науки или сужденію здраваго смысла. Мистицизмъ требовалъ цѣльнаго настроенія духа; онъ призывалъ, для преслѣдованія истины, совокупное дѣйствіе мысли и внутренняго чувства, иногда предоставляя послѣднему больше значенія и силы, тогда какъ энциклопедисты руководствовались исключительно разсудкомъ, устраняя чувство отъ всякаго участія въ сферѣ знанія и еще болѣе устраняя возможность какихъ-либо таинственныхъ, недоступныхъ разсудку откровеній. Прочитавъ книгу «о заблужденіяхъ и истинахъ», Вольтеръ писалъ Даламберу (1776): «Je ne stois pas qu'on ait jamais rien imprimé de plus absurde, de plus obscur, de plus fou et de plus sot». Отзывъ совершенно согласный въ духомъ его ученія. Подъ влияніемъ разсудочно-философскаго образованія, опираясь на общечеловѣчскій смыслъ, Екатерина II написала брошюру: «Тайна противо-нелѣпаго общества, открытая непричастнымъ оному» (1780). Брошюра осмѣиваетъ масонство, называя его «нелѣпнымъ»; почему противоположное ему общество должно было получить имя «противо-нелѣпаго». Основаніе послѣдняго — здравый умъ, прямое разсужденіе и строгая точность выраженій, которыя въ масонскихъ ложахъ замѣняются химерами, привидѣніями и изступленіями, пустыми, неясными и двусмысленными рѣчами, своего рода обезьяньимъ, состоящимъ въ необычайныхъ и странныхъ тѣлодвиженіяхъ «Не забывайте никогда», говоритъ предсѣдатель ложи противо-нелѣпаго общества желающему поступить въ число его членовъ, «что здравый разсудокъ пренятствуетъ видѣть мечтанія и вдаваться въ небывлицы». Комедіи императрицы: «Обманщикъ» (1785), «Обольщенный» (1785 и «Шаманъ сибирскій» (1786), имѣютъ предметомъ мартинизмъ, иллюминатизмъ и другія «новыя заблужденія»,

какъ она ихъ назвала въ письмѣ къ Циммерману. Общество иллюминатовъ было основано Вейсгауптомъ, профессоромъ каноническаго права въ Ингольштадтѣ (въ Баваріи). Начальная цѣль его состояла во взаимной помощи членовъ, безъ различія вѣроисповѣданій; но потомъ оно впало въ мистицизмъ и покусалось пріобрѣсти вліяніе на дѣла общественныя и политическія, чѣмъ и возбудило опасенія баварскаго правительства. Вейсгауптъ долженъ былъ удалиться къ одному изъ послѣдователей своего ученія, герцогу готскому, во владѣніи котораго и кончилъ жизнь (1822). Иллюминаты и мартинисты быстро распространились по Франціи и Германіи. «Говорятъ», писала императрица Циммерману (1786), что Германія наполнена иллюминатами, и это, я думаю, по модѣ, потому что французы восхищаются такими бреднями». Другое письмо ея къ тому же лицу (1787) замѣчаетъ: «наглѣпости стойки; содержащіяся же въ сей пьесѣ (Шаманъ сибирскій) сдѣлались модными. Большая часть нѣмецкихъ принцевъ думаютъ, что слѣпо предаваться всѣмъ симъ фиглярствамъ принадлежитъ къ искусству жить въ свѣтѣ; они ужъ наскучили здоровою философіею. Помню, что въ 1740 г. головы, менѣе всего философскія, хотѣли быть философами; по крайней мѣрѣ въ такомъ случаѣ разсудокъ и общій смыслъ не теряли своей силы. Но сіи новыя заблужденія принудили у насъ сдурачиться такимъ людямъ, которые прежде сего не были дураками».

Разсмотримъ содержаніе комедій Екатерини. На что обращена ихъ сатира? Конечно, не на нравственную сторону масонства, которое, съ этой стороны, стояло виѣ насмѣшекъ, такъ какъ его стремленія, одушевленныя высокою филантропіею, достойны были полнаго уваженія, а на обряды, знаки и способъ выраженія. Комедіи имѣютъ въ виду злоупотребленія масонства, крайность его увлеченій или шарлатанства. Онѣ преслѣдуютъ алхимиковъ, теозофовъ и духовидцевъ, которые примыкали къ союзу вольныхъ каменщиковъ, какъ его особые виды, но которые осуждались разсудительными братьями, видѣвшими въ нихъ вредныя уклоненія отъ чистой сущности и цѣли братства. Пьеса «Обманщикъ» осмѣиваетъ вообще мартинистовъ. Въ лицѣ Калифалжерстона выведенъ Калиостро, оставившій у насъ много адептовъ, послѣ пребыванія своего въ Петербургѣ и Москвѣ (1779—1780). Калифалжерстонъ дѣлаетъ золото, бесѣдуетъ съ духами и имѣетъ свиданіе съ умершими, въ томъ числѣ съ Александромъ Македонскимъ. Мартинисты, за свои кривлянія, названы мартышками. Въ «Тайнѣ противонаглѣпаго общества», на вопросъ: «что такое есть, которое въ просторѣчій называется обезьянствомъ?» данъ такой отвѣтъ:

«необычайныя и странныя тѣлодвиженія». Стихъ Державина: «мартыши въ воздухѣ явились» (На счастье), относится также къ картинистамъ, увѣрявшимъ, что они могутъ видѣть духовъ и бесѣдовать съ ними. Комедія смѣется еще надъ таинственными рѣчами мистиковъ. Рассказывая о людяхъ, съ которыми знается ея господинъ, служанка удивляется ихъ разговорѣ: «когда заговорятъ они между собою, право, мы ничего не разумѣемъ; еслибъ нашъ братъ такъ говорилъ, а не бары, то бы подумать можно было, что бредить». Тотъ же предметъ и комедіи «Обольщенный»: въ ней выставлено смѣшное положеніе людей, увлеченныхъ бреднями Калиостро. Отецъ семейства Радотовъ (отъ слова *gadoter*—говорить вздоръ) познакомился съ обществомъ лицъ, которые варятъ золото и алмазы, добываютъ изъ росы металлы, вызываютъ духовъ. Ему свернули голову кабалистическія бредни; для распознаванія таинственного смысла цифръ, онъ пригласилъ къ себѣ учителя-еврея. Дочь его также заражена духовидѣніемъ. Вотъ слова матери Радотова: «Что здѣсь ежедневно происходитъ, того глаза мои болѣе терпѣть не могутъ. Иной, ходя, явно бредитъ и вздоръ несетъ; другой шепчетъ, говорить будто съ духами; даже и ребатамъ нелѣпую сажаютъ въ голову. Пришла ко мнѣ въ горницу внучка моя, увидѣла—на столѣ передо мною стоятъ стаканы воды съ цвѣтами; она начала цѣловать листики. Я спросила: на что? Она на то сказала, что на каждомъ листикѣ душонокъ обитаетъ! и будто на булавочномъ концѣ нѣсколько тысячъ умѣщается!... Я отъ страха обмерла.... Развращеніе вѣдь это суще!» О такихъ-то чудодѣяхъ сказалъ Державинъ: «изъ камней золото варишь» (На счастье). Въ примѣчаніи къ этому стиху говорится, что онъ касается тѣхъ, которые вдали въ алхімію и что одинъ изъ современныхъ царедворцевъ впалъ въ это заблужденіе. Авторъ комедіи не могъ допустить, чтобы дѣла истины и человеколюбія должно было совершать подлѣ кровомъ тайны, помимо правительственнаго вѣдома; чтобы честный человекъ, желающій добра согражданамъ, шелъ извилистыми и темными путями, а не прямою дорогою, говорилъ и дѣйствовалъ загадочнымъ образомъ, а не открыто. Когда одно изъ дѣйствующихъ лицъ комедіи выставилъ намѣреніе членовъ общества заводить разныя благотворительныя заведенія, какъ то: школы, больницы и т. п., для чего они стараются привлечь къ себѣ людей богатыхъ,—другое лице возражаетъ на это: «дѣла такого рода на что производить сокровенно, когда благимъ узаконеніемъ открыты всевозможныя у насъ къ такимъ установленіямъ удобства? Всякій изъ нихъ, по своемувольному хотѣнію выдумывая, прибавляетъ правила и словечушки, но по-

чему она прелпчтительны суть издревле принятымъ и славнымъ законодательствамъ, утвержденнымъ для общей и частной пользы, сего никто мнѣ не докажетъ». Обманутый духовидцами, Радоговъ признается, что онъ былъ обольщенъ наружностью тѣхъ, которые непрестанно твердили ему о необходимости быть добродѣтельнымъ. По этому поводу его спрашиваютъ: «не ужъ-то есть добродѣтели болѣе числомъ и выше тѣхъ, конхъ отъ насъ требуетъ издревле установленный у насъ законъ, и не ужъ-то развращенный какой ни есть толкъ замыкаетъ въ себѣ ниня и лучшія добродѣтели?» Заключение піесы отдастъ преимущество здравомыслію передъ разстроеннымъ воображеніемъ: «похвалы приписываютъ однимъ тѣмъ столѣтіямъ, кои не бредомъ, но здравымъ разсудкомъ отъ прочихъ отличались». Основаніемъ третьей комедіи (Шаманъ сибирскій) послужила статья французской энциклопедіи: «теозофы». Комедія изображаетъ простака, поддавагоса шарлатану, подобному Калиостро. Сибирскій Шаманъ владѣлъ необычайнымъ знаніемъ: онъ по лицу узнавалъ характеръ; по степенямъ, изъ которыхъ каждая подлежала особымъ условіямъ, приходилъ въ искренній восторгъ; молчаніемъ достигалъ небытія. Одни величали его мудрецомъ, другіе колдуномъ, потому что «глупость и невѣжество видать колдовство тамъ, гдѣ смыслъ обыкновенный ихъ кратокъ находится». На дѣлѣ же оказывается, что онъ великій шарлатанъ: его сажаютъ подъ караулъ за разныя плутовскія продѣлки. Описывая Циммерману путешествіе свое по Тавридѣ, императрица касается и своей комедіи: «Между иманами (въ Бахчисараѣ) есть такіе, кои вертятся до тѣхъ поръ, пока не упадутъ въ обморокъ, и все кричатъ: Алла гие! Такіе очень близки получить вдохновеніе, а слѣдовательно не очень далеки отъ шамановъ сибирскихъ и нѣмецкихъ». «Но въ свѣтѣ», прибавляетъ тоже письмо, «не одинъ родъ вѣтряныхъ мельницъ въ модѣ, и не одинъ Донъ Кихотъ любитъ ихъ строить, чтобы послѣ сражаться съ ними». Этотъ новый родъ вѣтряныхъ мельницъ—животный магнетизмъ. Поэтому комедіи императрицы, осмѣивая мистиковъ вообще, имѣютъ въ виду и ученіе Месмера; поэтому же статья Циммермана, въ гамбургской газетѣ, противъ страсбургскихъ магнетизеровъ, упоминаетъ о шаманахъ сибирскихъ; потому же самому и Екатерина обратилась къ автору статьи съ такими словами: «ласкаюсь надеждоу, что не замедлятъ выписать изъ Страсбурга занимающихся магнетизмомъ и въ тѣ земли, гдѣ показывается столь постоянная склонность къ подобнымъ шарлатанамъ; могу увѣрить напередъ, что они будутъ подешевле и удобнѣе обмануть, нежели Калиостро съ товарищи». Въ то самое время, какъ написаны ко-

медіи: «Обманщикъ» и «Шаманъ сибирскій», магнетизмъ былъ въ употребленіи въ Петербургѣ: примѣчаніе въ одѣ «На счастье» свидѣтельствуєтъ, что новымъ открытіемъ занималась какая-то г-жа К. и предъ всѣми въ магнетическомъ снѣ говорила разныя пророчанія. Въ одномъ году съ «Шаманомъ сибирскимъ» явилась ком. «Мнимый мудрецъ» (1786). Незвѣстный авторъ ея также вывелъ на сцену обманщика Хитроума, который забралъ въ свои руки Легковѣра и жену его, учить ихъ «самопознанію», вызываетъ духовъ и вставляетъ въ свой разговоръ цѣлыя тирады изъ книги «о заблужденіяхъ и истинѣ». Для отличія отъ другихъ рѣчей, тирады напечатаны курсивомъ. Въ этомъ собственно цѣль и главный интересъ пьесы, не имѣющей никакого драматическаго достоинства. Мнимый мудрецъ, т. е. Хитроумъ, съ помощью друга своего Плутцова, хочетъ жениться на племянницѣ Легковѣра, Прелестѣ; но замыселъ ихъ разрушенъ Правомысломъ, который и заканчиваетъ дѣйствіе правоученіемъ: «Потщимся обуздывать свое воображеніе и не искать проникнуть непроницаемое. Служеніе отечеству, помощь ближнему: вотъ предметы достойные и возвышающіе человѣка. Здравый разумокъ предпочтителенъ сброду разжженного воображенія, какъ бы ни облекался онъ въ высокопарныя изреченія». Совѣтъ вполнѣ справедливый, но разумному зрителю не могло, конечно, нравиться доказательство, употребленное авторомъ: какъ будто послѣдователь ложнаго ученія непременно долженъ быть негодяемъ и плутомъ. Сочиненіе Сень-Мартена встрѣтило болѣе серьезную критику со стороны общества провинціальныхъ любителей наукъ. Въ Тулѣ, 1790 г., напечатано было «Исслѣдованіе книги о заблужденіяхъ и истинѣ», сочиненное двумя годами раньше (1788). Оно становится на сторону истинъ, добытыхъ наукой, и обличаетъ безплодныя мечтанія Сень-Мартена, какъ противныя раціонализму. Точна зрѣнія авторовъ (или автора) указана въ предувѣдомленіи: «Никогда благоразумный и чтущій справедливость примѣчатель не будетъ вмѣсто дѣлавій натуры, многократными испытаніями утвержденныхъ, предлагать свои увѣренія, не получившія, такъ сказать, клейма истины, неопровержимыми доказательствами на нихъ наложеннаго... Обладающій справедливымъ ученіемъ ничего безъ вѣриѣйшихъ объясненій, učinившихся долговременными наблюденіями несомнѣнными и ошутительными, не предлагаетъ: но мечтающій умствователь, гордясь вымышленными своими мудроположеніями, повелѣваетъ читателямъ принимать ихъ за истинныя пружины всего естества, не смотря на то, что существо онаго и текущее обращеніе его не воображеніемъ познаемо быть можетъ, но вопроше-

ніемъ рачительнѣйшаго испытанія натуры, которая отрицаетъ всякое откровеніе въ себѣ пустомысленности, изображающейсѣ суетсловіемъ, но обнаруживаетъ себя только тѣмъ, кои прилежаніемъ и трудолюбіемъ тѣшатся проникнуть въ творенія ея». Степень образованности пѣслѣдователей доказывается ссылками на мнѣнія ученыхъ по разнымъ предметамъ: они цитуютъ Беля, Локка, Штала, Невтона, Коперника, Мопертюа, Бюффона и многихъ другихъ. Радищевъ служитъ новымъ довазательствомъ того, что французско-философское образованіе не имѣло возможности мириться съ мистицизмомъ. Онъ не приступилъ къ масонству, хотя былъ дружески связанъ съ нѣкоторыми членами Новиковскаго общества. «Бумага семинариста», вмѣстѣ съ выпиской изъ Белева Словаря помѣщенныя въ его «Путешествіи», осмѣиваетъ мистическую литературу. Она содержитъ въ себѣ, между прочимъ, слѣдующія строки: «Открой новѣйшія таинственныя творенія,—возмнишь быти во времена схоластики и словопренія, когда разумъ человѣческій заботился объ изреченіяхъ, не мысля о томъ, былъ ли въ реченіи смыслъ; когда задачею любомудрія почитали и на рѣшеніе нѣслѣдователей истины отдавали вопросъ, сколько на игольномъ остреѣ можетъ умѣститься душъ». Упомянемъ еще о двухъ книжкахъ: «Масонъ безъ маски» (1784) и «Мопсъ безъ ошейника» (1784). Обѣ онѣ ничего не говорятъ противъ существенныхъ основаній масонства, а касаются только его злоупотребленій или слабостей, которыя могутъ имѣть мѣсто въ наилучшихъ учрежденіяхъ. Первая книжка обличаетъ сластолюбіе, корысть и обманы, вѣравшіяся въ ложь, вопреки истинному духу масонства. Авторъ ея называетъ себя бѣглецомъ, покинувшимъ союзъ и снова обратившимся въ профана. Онъ признаетъ добродѣтели масоновъ, но подѣ условіемъ, что онѣ не составляютъ исключительнаго ихъ права и достоянія. Въ то же время онъ раскрываетъ и пороки ихъ, которые произведены злоупотребленіемъ таинствъ. Приговоръ его очень строгъ. За исключеніемъ тайныхъ обрядовъ и корыстолюбія предсѣдателей, онъ видитъ въ ложахъ своего рода клубы, въ которые собираются люди всякаго рода и состоянія пить хорошія портеры и толковать о торговлѣ, вѣрѣ, правительствѣ, наукахъ, художествахъ, словомъ обо всемъ, о чемъ говорить можно. Если вѣрить его словамъ, то союзъ вольныхъ каменщиковъ поддерживается легкомысліемъ молодыхъ его членовъ и апологіями старыхъ, хотя въ этихъ апологіяхъ столь же много словъ, сколь мало правды. Описавъ, по обѣщанію, «подлинныя таинства» масонскія, эес-масонъ въ заключеніе книги обращается съ просьбой къ бывшимъ своимъ братьямъ—трудиться по прежнему въ созиданіи храма,

т. е. проводить ночи въ питьѣ. «Что же касается до меня, видѣвшаго ихъ работы (говоритъ онъ), то я отстаю отъ нихъ съ великимъ удовольствіемъ и доволенъ буду, если они возвратятъ мнѣ мои деньги, такъ какъ я имъ возвращаю ихъ тайны». «Мопсы безъ ошейника» описываетъ причины основанія ордена Мопсовъ и церемоніи, наблюдаемыя въ ихъ ложахъ. Послѣ анаемы, произнесенной папою Климентомъ XII на фран-масонство, многіе нѣмецкіе католики, бывшіе его члены, принуждены были сложить съ себя это званіе. Не зная что дѣлать и вздыхая по увеселеніямъ, которыя находили въ своихъ собраніяхъ, они задумали учредить особое братство. Установлены были обряды, изобрѣтены знаки и слова. Оставалось выбрать символъ и имя. Такъ какъ вѣрность и любовь служатъ главными принадлежностями масонскаго союза, то члены новаго общества взяли себѣ символомъ собаку и стали называться мопсами. Чтобы усыпить ревнивый надзоръ римскаго двора, положено было въ отличіе отъ фран-масоновъ не требовать присяги отъ поступающихъ и допускать въ ложу женщинъ. Затѣмъ книжка переходитъ къ церемоніямъ общества Мопсовъ и предлагаетъ нѣсколько вопросовъ изъ его катихизиса. Больше объ ней говорить нечего, какъ о произведеніи пошломъ и бездарномъ.

Духовенство имѣло свои законныя причины отвергать масонскій орденъ, основанный на дензмѣ. Ученіе о естественной религіи, иначе религія разума, какъ бы ни измѣнялся его первоначальный характеръ, не могло быть согласовано съ ученіемъ православной церкви. Поэтому митрополитъ Платонъ, одинъ изъ просвѣщеннѣйшихъ нашихъ пастырей, возставалъ противъ Новиковскаго общества, хотя и имѣлъ доброе мнѣніе о многихъ его членахъ, особенно о Новиковѣ и Лопухинѣ. Вообще дѣйствія Новиковскаго общества, одобряемые одними, возбуждало недовольство въ другихъ. Большинство публики не могло мириться съ таинственностью внутренняго учрежденія ордена, съ его символическою обрядностью, съ его особеннымъ языкомъ. «Мы учились», говорятъ Лопухинъ, «стремясь къ познанію самихъ себя, творенія и Творца». Многимъ это казалось смѣшно; но простонародная пословица: «вѣкъ живи, вѣкъ учись», гораздо умнѣе такого смѣха». Конечно, такъ, но притомъ необходимо, чтобы ученіе выступало откровенно съ своею сущностью и цѣлью, чего въ масонствѣ не было. Поэтому нападки на масоновъ начались рано. Еще въ 1765 г. явились стихотворенія: «Изъясненіе проклятаго сборища франкъ-масонскихъ дѣлъ» и «Псалма на обличеніе франкъ-масоновъ» (послѣднее напеч. въ Письмовникѣ Курганова). Между рукописями Царскаго значится

(№ 708) «Отвѣтъ масонамъ», опровергающій двѣ рукописи: «Вѣднй масонъ» и «Защитникъ масонскія секты». Неизвѣстный авторъ отвѣта жалуется, что послѣ Гедеона Кринового, писавшаго о франкъ-масонахъ, не слышится болѣе пастырскихъ обличеній этой секты. Масоны, съ своей стороны, иногда находили нужнымъ какъ ознакомить публику съ характеромъ братства, такъ и возражать на обличенія. Въ 1784 г. вышла, переведенная съ нѣмецкаго, «Апология или защищеніе ордена в. к. (вольныхъ каменщиковъ)». Лопухинъ написалъ: «Нравоучительный катихизисъ истинныхъ франмасоновъ», гдѣ въ краткихъ и общихъ чертахъ представлены начала масонской науки и морали, а потомъ (1791) «Духовный Рыцарь, или ищущій премудрости». Для одной цѣли съ катихизисомъ была сочинена И. Тургеневымъ на франц. языкѣ брошюра: «Кто можетъ быть добрымъ гражданиномъ и подданнымъ вѣрнымъ» (рус. переводъ нап. (1796)). Одно изъ главныхъ обвиненій, падавшихъ на масонскій союзъ состояло въ томъ, что онъ образуетъ какъ бы государство въ государствѣ, управляемое своими особенными законами и держащее своихъ членовъ подъ особою властью. Тургеневъ доказываетъ, что истинно-добрымъ гражданиномъ, вѣрнымъ государю и отечеству, можетъ быть только истинный христіанинъ, каковъ и есть каждый масонъ.

Коренной недостатокъ московскаго и вообще русскаго масонства заключался не въ различіи системъ, равно какъ и не въ различномъ числѣ степеней масонскихъ, а въ томъ, что члены его не имѣли точнаго понятія о сущности общества, цѣлью котораго было стремленіе къ достиженію извѣстнаго идеала, именно: единства съ природой и Богомъ посредствомъ нравственнаго самосовершенствованія. Хотя слова Лопухина: «мы упражнялись въ познаніи самихъ себя, твореніи и Творца и имѣли предметомъ — добродѣтель и стараніе, исправляя себя, достигать ея совершенства», нѣсколько даютъ знать объ указанной цѣли, но дѣло въ томъ, что къ главному предмету—совершенствованію, примѣшивались другіе предметы и стремленія, вовсе не относившіеся къ братскому союзу. Важнѣйшіе члены московскаго Дружескаго общества принадлежали къ розенкрейцерамъ: Шварцъ, Новиковъ, Лопухинъ; другіе держались по преимуществу моральнаго начала; третьи, будучи мистиками, въ тоже время напоминали піетистовъ. Первыхъ цѣняла въ масонствѣ преимущественно чудодѣйственность (теософія, таинства алхиміи, кабалистическіе элементы). Кутузовъ посланъ въ Берлинъ изучать розенкрейцерскую алхимію; въ 1788-мъ г. студенты Нелзоровъ и Колокольниковъ отправлены изъ Москвы за границу также для изученія химіи, чтобы потомъ быть лаборан-

тами при орденскихъ работахъ для добыванія золота. Нападая на ученость, предпочитая простодушныхъ людей любомудрамъ, масоны сами пускались въ мудрованія и умствованія, не представлявшія никакого научнаго достоинства, чѣмъ и возбудили противъ себя людей науки. Не признавая авторитетовъ въ мірѣ современнаго знанія, они преклонялись предъ авторитетами средневѣковыми. Отвергая астрономію и химію, вѣрили въ таинства магіи, алхиміи и астрологіи, донскивались какой-то древне-египетской мудрости. Парацельсъ былъ для нихъ выше Лаувазье, Бемъ или Пордечъ выше Кеплера или Коперника. Притомъ же притязанія главныхъ двигателей масонства на догматизмъ, умозрѣніе и теоріи были крайне неосновательны по недостатку научной подготовки. Профессоръ Шварцъ составляетъ въ этомъ случаѣ почти единственное исключеніе. Что касается до Новикова и Лопухина, то намъ извѣстенъ отзывъ перваго о самомъ себѣ: «я не вѣжда», писалъ онъ Карамзину, «не знающій никакихъ языковъ, не читавшій никакихъ школьныхъ философовъ»; второй называлъ себя «примымъ самоучкой». Понятно, съ какою недоувѣрчивостью и даже гордостью должны были смотрѣть на нихъ люди, понимавшіе цѣну основательнаго, систематическаго ученія. Профессорамъ Шадену и Барсову, независимо отъ ихъ личныхъ побужденій, если и были таковыя, трудно было сойтись съ мистиками, не потому, чтобы они стояли за Вольтера, а потому, что они представляли университетъ и его высшую образованность. Шаденъ не хуже масоновъ ратовалъ противъ энциклопедистовъ, но онъ, конечно, ратовалъ и противъ мистико-масонской догматики, какъ профессоръ философіи, которую читалъ по Вольтфу. Въ сочиненіи Лопухина «Духовный Рыцарь» представлены «главные цвѣты герметической науки, образъ ея святилища, ходъ внутренняго обновленія человѣка и начала самопознанія и глубокой морали». Что такое герметическая наука? Это часть химіи, или точнѣе алхиміи, занимавшаяся претвореніемъ однихъ металловъ въ другіе и объяснявшая всѣ естественныя дѣйствія тремя главными факторами—солью, сѣрой и ртутью. Изобрѣтеніе ея приписываютъ Гермесу Трисмегисту, египетскому Меркурію, отъ котораго она и получила свое названіе. Отсюда видно, что Лопухинъ и нѣкоторые другіе члены Новиковскаго общества, кромѣ нравственныхъ тенденцій, въ которыхъ заключалась главная сила и заслуга масоновъ, устремляли свою любознательность на природу и хотѣли выпытывать изъ нея двухъ чудесныхъ откровеній: универсальнаго дѣлства и философскаго камня, посредствомъ котораго всѣ металлы обращаются въ золото. Не даромъ приглашательная записка Шварца рекомендовала особливому вниманію

«Дружескаго ученаго общества», между прочими предметами его занятій, «знаніе качествъ и свойствъ вещей въ природѣ и употребленіе химіи». Такое отступленіе отъ сущности масонства разединяло его членовъ и заставило нѣкоторыхъ прибѣгнуть къ письменному осужденію отступниковъ. Въ сочиненіи И. П. Елагина: «Ученіе древняго любомудрія и богомудрія, или наука свободныхъ каменщиковъ (1785—87)» (1) есть полемическія выходы противъ московскихъ розенкрейцеровъ, и въ особенности противъ Шварца, какъ ихъ устроителя. Неудовольствіе видно и въ письмѣ Невзорова къ члену «Дружескаго общества», Поздѣву: «мы прежде были члены одного и того же каменщическаго ордена, хотя по наружности разныхъ степеней, но послѣ и сей союзъ между вами и Иваномъ Владиміровичемъ (Допухивымъ) пошатнулся». Отъ чего жъ онъ пошатнулся? отъ того, безъ сомнѣнія, что одни братья плѣнялись «герметическою философійю», ожидая отъ нея неимовѣрныхъ благъ для человѣческой жизни, тогда какъ другіе почитали ее несвойственною высокою цѣлю масонства, ограничивая его нравоученіемъ и филантропіей. Невзоровъ принадлежалъ къ послѣднимъ. Въ издававшемся имъ журналѣ «Другъ юнѣшества» (1810 г., ноябрь), онъ перевелъ «Разговоръ Натуры, Меркурія и Алхимиста», имѣющій цѣлю осмѣять искателей философскаго камня. Въ предисловіи къ разговору, переводчикъ изложилъ свой взглядъ на всеобщую медицину и химию. Онъ даетъ имъ нравственный толкъ. По мнѣнію его, «истинная всеобщая медицина есть школа христіанская, гдѣ учатъ людей съ помощію Божіею исправлять дурную свою природу, побѣждать страсти, не поддаваться самовольно чувственности, питающейся всякими развратами и тѣмъ самымъ становящейся источникомъ всѣхъ болѣзней, самими нами добываемыхъ, сносить всякія противности и оскорбленія, какимъ-либо образомъ наносимыя нашей тѣлесной природѣ, просить о поддержаніи въ томъ помощи верховнаго врача и младшии, и умѣть при ней употреблять и пользоваться врачевствомъ простымъ, которое можно сыскать и въ большихъ городахъ, и въ малыхъ деревняхъ». Что касается до авторовъ, писавшихъ о химіи, то лучшіе между ними, для извѣстныхъ имъ причинъ, въ сочиненіяхъ своихъ «скрыли аллегорію нравственности человѣческой и подъ видомъ химическихъ операцій разумѣли ходъ и обороты исправленія и совершенствованія человѣческаго духа». Невзоровъ не отвергаетъ естествовѣдѣнія. «Нѣтъ спору», говоритъ онъ, «что натуру должно испытывать

1) Рус. Архивъ 1864, № 1.

я познавать для двухъ особливо причинъ: во-первыхъ, чтобы познаниемъ ея открывать и доставлять себѣ способы жить въ мірѣ, въ которомъ мы находимся, и таковымъ образомъ взаимно другъ другу помогать; во-вторыхъ, для созерцанія славы Божіа и таинствъ его творенія. Что касается до перваго, то въ публичныхъ школахъ и университетахъ болѣе гораздо стараются знать, нежели то нужно для общежительнаго состоянія. Что касается до втораго, то прежде знать и непрестанно памятовать должно, что въ злохудожную душу не входитъ премудрость; что въ таковомъ случаѣ неоспоримое правило и законъ, Богомъ установленный, есть тотъ, чтобы познать себя, исправить себя въ духѣ и очистить отъ страстей; иначе, плавая въ морѣ таинствъ, мы будемъ слѣпы. Чтобы созерцать славу Божію и видѣть таинства Его творенія, для сего не нужны великихъ издержекъ стоящіа лабораторіа и пышные химическіе снаряды. Иди безъ всего смотрѣть, какъ сѣмя, брошенное въ землю, гниетъ, возраждается, растетъ и дѣлается новымъ сѣменемъ; поди вслѣй бѣдный съ пастушьимъ посохомъ къ муравью, пчелѣ, бобру и другимъ животнымъ, и смотри, какъ всеобщій промыслительный отецъ всякой твари далъ свой смыслъ и способность свойственнымъ себѣ образомъ пещись о своемъ благосостояніи и пропитаніи; поди во всякому насѣкомому и смотри, какъ оно родится въ яйцѣ, дѣлается червячкомъ, личинкою, получаетъ крылья и въ прекрасномъ видѣ и нарядѣ летаетъ по воздуху. Исправь себя, откинь всѣ злыя склонности, брось гордость, самолюбіе, алчность къ приобрѣтеніямъ и грубую чувственность и изъ злохудожной души сдѣлай добрую: тогда вся природа явится тебѣ въ новомъ видѣ, и миллионы откроются таинствъ ея, которыя ты, въ противномъ случаѣ, ногами топчешь и не видишь». Вѣрный своей масонской системѣ, Невзоровъ съ неудовольствіемъ встрѣтилъ книгу Плуменекъ: «Вліяніе истиннаго свободнаго каменищничества на всеобщее благо государствъ», написанную въ концѣ XVIII в. Русскій переводъ ея нап. 1816 г. Она явилась по поводу сочиненія нѣмецкаго публициста Мозера: «О терпимости свободно-каменищическихъ сообществъ». Плуменекъ доказываетъ, что масонское братство не только не научаетъ ничему противному религіи, государству, любви къ ближнему и вообще добрымъ нравамъ, но еще много способствуетъ ко всеобщему благоденствію. Онъ рассматриваетъ достохвальную цѣль союза и три существенные предмета его занятій: первый—достигать премудрости, искусства и добродѣтели, второй — угождать Богу, третій — служить ближнему. Первый, обще-масонскій предметъ воспитывается одною пѣснью при открытіи ложъ, помѣщенной во 2-й ч. «Свободно-

каменьщического магазина». Хоръ заканчиваетъ куплеты пѣсни словами: премудрость, искусство и добродѣтель. Что же разумѣть подъ ними Плуменекъ? Премудрость изображена словами царя Соломона, взятими изъ книги Премудрости (гл. VII и VIII) и Притчъ (гл. III). На тотъ же священный авторитетъ ссылается и Лопухинъ въ своихъ Запискахъ: «Члены нашего общества упражнялись въ познаніи самого себя, творенія и Творца, по правиламъ той науки, о которой говоритъ Соломонъ въ книгѣ Премудрости (гл. VII, ст. 17—22), содержащимся въ Библии и въ писаніяхъ мужей, непосредственнымъ откровеніемъ просвѣщенныхъ отъ Бога,—науки, открывающей начала всѣхъ вещей, безъ познанія конхъ натура вещей истинно извѣстна быть не можетъ». Искусство, которому учатъ масоны, состоитъ въ томъ, чтобы по дѣйствицѣ тварей восходить въ строителю міра и продолжать непрерывно идти по пути добродѣтели. А на добродѣтель масоны смотрятъ подобно всѣмъ христіанскимъ мудрецамъ, именно какъ на способность располагать своими дѣйствіями по закону природы. Плуменекъ выразился бы точнѣе, еслибы «христіанскихъ мудрецовъ» замѣстилъ «дестами»; но дѣло здѣсь не въ точности опредѣленія, а въ понятіи автора о масонскомъ искусствѣ. Наибольшая часть его сочиненія посвящена этому предмету. Хотя онъ осуждаетъ златолюбцевъ, но вѣра его въ алхимическія и теургическія таинства высказывается съ достаточной ясностью. Онъ допускаетъ возможность превращать металлы въ золото и признаетъ его величайшую врачевную силу, видя въ немъ коренное основаніе всеобщаго дѣлства. Онъ положительно говоритъ: «мы (масоны) во все не полагаемъ златодѣланія главнымъ предметомъ нашимъ, но взираемъ на него токмо какъ на слѣдствіе ближайшаго познанія природы, которое бываетъ удѣломъ весьма немногихъ счастливыхъ». Такъ какъ эти неимовѣрные чаянія совершенно расходились со взглядомъ Невзорова на масонство, то послѣдній представилъ опроверженія на книгу Плуменека въ упомянутомъ письмѣ къ Поздѣеву (1817).

Новиковъ съ большею силою, чѣмъ Лопухинъ и другіе, увлекался противонаучнымъ стремленіемъ, или вѣриѣ, склонностью въ средневѣковой наукѣ. Онъ отвергалъ новыя открытія въ астрономіи и химіи, называя ихъ бредомъ, какъ это видно изъ двухъ его писемъ къ Карамзину (1814). «Съ позволенія нашихъ почтенныхъ астрономовъ», говоритъ онъ въ первомъ письмѣ, «они изволятъ бредить, находя болѣе семи планетъ, находя и видя неподвижныя звѣзды и жалуя ихъ въ солнца. Ни больше, ни меньше семи планетъ быть не можетъ, понеже Богъ ихъ сотворилъ только

семь и наполнилъ ихъ силами, каждой приличными. Неподвижныхъ звѣздъ быть не можетъ, ибо неоспоримая истина: что не имѣеть движенія, то мертво, понеже жизнь есть движеніе. Они пожаловали и самое солнце въ наилѣннѣйшую планету бездѣйственную, ибо что не имѣеть движенія, то не имѣеть и дѣйствія... Ничѣшніе физики, не довольствуясь четырьмя стихіями, которыхъ Богъ сотворилъ четыре только, а не болѣе, совсѣмъ ихъ разжаловали изъ стихій, за то только, что, по ихъ высокой наукѣ, что можетъ дѣлиться, то не есть стихія. Какая слѣпота и какое нищевское понятіе о стихіяхъ! Однако они наградили насъ почти сотнею стихій. Химики все прежнее отбросили и надѣлили насъ какими-то газами, т. е. пустыми словами, не имѣющими ни значенія, ни силы. И кто можетъ всѣ ихъ бредни исчислить? не письмами, но фоліантами развѣ можно описать оныя». Понятно, какъ долженъ былъ Новиковъ смотрѣть на Лавуазье, доказавшаго, что вода есть тѣло сложное. Открытія знаменитаго химика подрывали прежнее ученіе о стихіяхъ. Понятно также, почему Карамзинъ, при всемъ уваженіи къ Новикову, не могъ одобрять его герметической философіи (1).

§ 33. О двухъ главныхъ проповѣдникахъ царствованіе Екатерины: Платонъ, митрополитъ московскомъ (1737—1812), и Анастасій Братановскомъ, архіепископъ астраханскомъ (1761—1806), мы имѣли уже поводъ упоминать выше. Нѣкоторые ссылки на ихъ поученія были сдѣланы въ доказательство того, что эти пастыри даромъ своего краснорѣчія подкрѣпляли просвѣщенные виды правительства и дѣйствовали противъ ученій, отвергаемыхъ православною церковью. Ихъ проповѣдное слово обращалось и на предметы гражданскаго благоустройства, и на предметы общественной мысли, соединяя такимъ образомъ извѣстныя ораторскія достоинства съ достоинствомъ современности. Платонъ славился своими катихизическими бесѣдами еще въ то время, когда былъ учителемъ пѣнтики въ Московской Академіи. Люди всякаго состоянія стебались слушать молодаго катихизатора, пишетъ онъ въ своихъ Запискахъ: нѣкоторые изъ нихъ повергали своихъ дѣтей къ ногамъ учителя, повторяя имъ, чтобъ они его слушали и помнили.

1) М. Лонгинова: Новиковъ и московскіе мартирики (1867); А. Пылина: Русское масонство въ XVIII в. (В. Евр. 1867, №№ 2—4), Русское масонство до Новикова (ib. 1868, №№ 6 и 7), Хронологическій указатель рус. ложъ, съ 1731 по 1822 (1878); П. Пекарскаго: Дополненія къ исторіи масонства въ Россіи XVIII в. (1869); Сборникъ рус. историч. Общества, т. II; А. Аванасьева: Н. М. Новиковъ, біографическій очеркъ (Вибл. Записки, 1858, № 5).

Въ проповѣдяхъ его различаютъ два рода: къ одному относятся слова, произнесенныя по поводу важныхъ событій или торжественныхъ дней; къ другому бесѣды и поученія, въ которыхъ предложены правила христіанской жизни или толкованіе православныхъ догматовъ. Въ торжественныхъ словахъ Платона замѣтно стремленіе къ искусственному краснорѣчію; большею частію онѣ настроены на возвышенный тонъ; лучшее между ними, по развитію мысли и красотѣ формы,—рѣчь на коронованіе императора Александра I (1801). Напротивъ, слова поучительныя отличаются простотою. Это качество явилось не безсознательно, а въ слѣдствіе точныхъ понятій проповѣдника о своемъ дѣлѣ. «Признаюсь», говоритъ онъ, «что о витійственномъ и испещренномъ слогѣ я никогда много не заботился. Таковыя словами играющій и надменный слогъ можетъ быть для свѣтскихъ сочиненій когда-либо пристоеенъ и нуженъ; но на священномъ мѣстѣ, гдѣ устами проповѣдника бесѣдуетъ вѣчная истина, почиталъ я, что онъ излишенъ. Проповѣдникъ долженъ бесѣдовать къ людямъ различнаго состоянія и понятія: а потому необходимость требуетъ, дабы духовная бесѣда была всякому удобопонятная, удаляя отъ себя, сколько возможно, то подозрѣніе, что будто проповѣдникъ болѣе ищетъ хвалы слушателей за свое краснорѣчивое слово, нежели ревнуетъ о насажденіи добродѣтели и страха Божія въ сердцахъ слушателей». Особенно находилъ Платонъ неумѣстнымъ краснорѣчіе, какъ зналъ суетнаго славолубія, въ изложеніи спорныхъ догматовъ, въ уясненіи истины ея противникамъ: «Витійство полезно, чтобъ истину, всѣми признаваемую, въ красивѣйшемъ и лестнѣйшемъ представить видѣ; но гдѣ надобно оную, ложью побораемую, защитити и доказать, тамъ оно не только есть излишно, но и вредно. Излишно: ибо правды лице само по себѣ прекрасно, безъ всякихъ притворныхъ красотъ. Вредно: ибо даетъ подозрѣніе, что защитникъ истинны побѣждаетъ, можетъ быть, не тѣмъ, что истина на его сторонѣ, но что онъ преимуществуетъ только токомъ своихъ словъ и чародействомъ краснорѣчія». Духовныя бесѣды Платона большею частію имѣютъ предметомъ ученіе нравственное. Особенно въ послѣдніе годы своей жизни онъ мало занимался вопросами догматическими. Разсмотрѣвъ поученія одного проповѣдника, онъ далъ о немъ такой отзывъ: «я ничего въ проповѣдяхъ его противнаго не нахожу; только скажите, чтобъ онъ отъ еоретическихъ и догматическихъ мыслей подальше себя велъ, чтобъ не заблудить, а болѣе держался нравоученія». Потому-то западные проповѣдники не удовлетворяли Платона: онъ находилъ ихъ краснорѣчіе искусственнымъ, «чешущимъ только слухъ, а не назидющимъ въ хри-

стіанской жизни». Образцами его служили святители греческой церкви, особенно Златоустъ. Кромѣ того подражалъ онъ русскимъ проповѣдникамъ: Гедеону Криновскому и Ѳеофану Прокоповичу. Слово послѣдняго въ день коронаціи Анны Іоанновны оказало вліяніе на упомянутую рѣчь Александру І.

По внѣшней отдѣлкѣ, церковное слово Анастасія Братановскаго выше проповѣдей Платона. Оно представляетъ въ замѣтной степени художественный элементъ; воображеніе и чувство оратора высказываются въ немъ многими мѣстами; слогъ его вообще пріятенъ; въ языкѣ меньше пестрой смѣси церковно-славянскихъ оборотовъ и реченій съ реченіями и оборотами русскими. Но и по содержанію своихъ словъ, Анастасій стоитъ на ряду съ замѣчательными русскими проповѣдниками. Онъ говорилъ о предметахъ, близкихъ современной ему паствѣ; въ особенности же дѣйствовалъ противъ невѣрія, выясняя, доказывая тѣ истины, несомнѣнность которыхъ была колеблема энциклопедистами. Отсюда догматико-полемиическій характеръ многихъ его словъ, не исключая даже написанныхъ на извѣстные случаи. Таковы, напримѣръ, лучшія его слова: «на погребеніе Вецкаго» (1795) и «на погребеніе Шувалова» (1797) Оба они имѣютъ много общаго, по содержанію и по формѣ. Темой ихъ служитъ безсмертіе души, которое въ первомъ словѣ доказывается самою смертію добродѣтельнаго, не получающаго достойной награды на землѣ, а во второмъ тою мыслию, что счастье, иногда сопутствуя добродѣтели въ ея земномъ битіи, далеко отъ должнаго, совершеннаго владѣнія, предоставленнаго ей Богомъ на небеси.

§ 34. Литературная критика этого времени обращала почти исключительно вниманіе на языкъ и слогъ. Характеръ ея, за весьма немногими исключеніями, чисто стилистическій, ведущій во Францію свое начало отъ Малерба, которому послѣдовали и наши судіи словесныхъ произведеній. Разборъ сочиненій ограничивается указаніемъ ихъ достоинствъ или недостатковъ только по отношенію въ грамматикѣ и риторикѣ. Онъ имѣетъ въ виду замѣтки объ отдѣльныхъ словахъ и выраженіяхъ, въ которыхъ разсматриваетъ правильность, точность, благозвучіе, живописность или противоположныя тому свойства. Другихъ, болѣе серьезныхъ требованій критика не предъявляла: всецѣло занятая стилемъ, она не касалась ни эстетической оцѣнки поэтическихъ твореній, ни историческаго метода при ихъ изученіи. Примѣры подобныхъ критическихъ сужденій рельефно выдаются у Сумарокова, въ разборѣ одъ Ломоносова. Выписавъ два стиха оды въ день вступленія на престолъ Елисаветы (1747):

ист. рус. сл. т. I. отд. 2.

Возлюбленная тишина,
Блаженство сель, градовъ ограда,

онъ начинаетъ перебирать отдѣльные слова и выраженія: «Градовъ ограда» сказать не можно. Можно молвить: «селенія ограда», а не «ограда града»; «градъ» отъ того имя свое имѣетъ, что онъ «огражденъ».—Я не знаю сверхъ того, что за «ограда града» тишина. Я думаю, что «ограда града»—войско и оружіе, а не тишина.—«Городъ» имѣетъ въ родительномъ падежѣ множественнаго числа «городовъ», а «градъ»—«градовъ», а не «градовъ», для того что въ именительномъ падежѣ множественнаго числа «городъ» имѣетъ «городá», а градъ—грады, а не града и не грады.—Стихъ: «межъ льдыстыми горами» вызвалъ такое замѣчаніе: «межъ льдыстыми» дѣлаетъ выговору великую трудность. Ясно, что критикъ интересуется не художественною техникой стихотворенія во всемъ его составѣ, а подробностями и мелочами. Другая статейка того же критика, подъ громкимъ титуломъ: «Разсмотрѣніе одъ Ломоносова», дѣлитъ ихъ строфы на прекраснѣйшія, прекрасныя, весьма хорошія, хорошія, изрядныя, и т. д., не приводя никакихъ причинъ такому дѣленію, напоминающему отмѣтки старинныхъ учителей чистописанія на школьныхъ тетрадкахъ. Въ иныхъ журналахъ, критика стила замѣнялась библіографіей, т. е. извѣстіями о вновь выходящихъ книгахъ, съ болѣе или менѣе подробнымъ изложеніемъ ихъ содержанія, или съ голословнымъ восхваленіемъ ихъ красоты: такъ статья о Россіадѣ, написанная Каниномъ, директоромъ казанской гимназій, и переведенная въ С.п.бургскомъ Вѣстникѣ излагаетъ содержаніе всѣхъ пѣсень поэмы; такъ въ «Академическихъ извѣстіяхъ» (1779—1781), издававшихся П. Богдановичемъ, сказано о той же поэмѣ, что она должна составить въ письменахъ нашихъ славную эпоху, представляя красоты, дотошъ невѣдомыя; что въ ней есть всѣ роды живописанія: страшное, пріятное, свирѣпое, нѣжное; что авторъ изобразилъ страсти и ихъ противоборство, и наполнилъ свое твореніе превосходными картинами природы. Редакція Собесѣдника почитала критику наилучшимъ средствомъ «къ вычищенію русскаго слова», почему и просила всѣхъ любителей литературы и публику присылать въ журналъ критическія статьи, обѣщая печатать ихъ безъ малѣйшей перемѣны. На этотъ вызовъ явился «Любословъ» съ замѣтками на первую книжку Собесѣдника и съ «начертаніемъ о русскаго сочиненіяхъ и русскаго языка»; кромѣ того какой-то корреспондентъ доставилъ въ редакцію «сумнительныя предложенія отъ одного невѣжды», содержащія въ себѣ замѣтки на оду въ Фелицѣ, съ построчными возвра-

женіями самого Державина, и на стихотворенія Богдановича, также съ его возраженіями. Во всѣхъ этихъ статьяхъ критика исключительно вращается вокругъ словъ, оборотовъ и грамматическихъ формъ. Ея сужденія не только не тверды, но и произвольны, потому что произносятся на основаніи личнаго вкуса, случайнаго впечатлѣнія и выдуманныхъ, не подкрѣпленныхъ наукою соображеній судящаго. Тоже самое должно сказать и о полемикѣ Фонтъ-Визина съ критикомъ, доставившимъ примѣчанія на его «Опытъ російскаго словника». Многія повременины изданія вовсе обходились безъ критики, которая въ то время не составляла существенной ихъ принадлежности. Поэтому «С.п.бургскій Меркурій» замѣчаетъ о русскихъ журналахъ, что въ нихъ мало или и совсѣмъ нѣтъ того, что свойственно журналистикѣ. «Для чего», говоритъ онъ, «не сказать публикѣ о новыхъ произведеніяхъ російской словесности? для чего не возвѣстить о театрѣ, что на немъ играно и какъ играно?» Критика «С.п.бургскаго Меркурія» служила, по словамъ его издателей, отличительнымъ нововведеніемъ, восполнявшимъ недостатокъ другихъ журналовъ. Впрочемъ, общаніе предисловія знакомить читателей съ произведеніями русской словесности, въ особенности драматической, не было исполнено въ надлежащей мѣрѣ: Меркурій бѣденъ критическими статьями. Лучшая между ними принадлежитъ Крылову: это — разборъ комедіи Клушина «Смѣхъ и горе», заключающій въ себѣ нѣсколько здравыхъ мыслей объ условіяхъ драмы. Осуждая резонерство одного изъ дѣйствующихъ лицъ, Крыловъ проводитъ вѣрное различіе между моралистомъ и драматургомъ: «На театрѣ должно нравоученіе извлекаться изъ дѣйствія. Пусть говоритъ философъ, сколь недостойно питать въ сердцѣ зависть къ счастью ближняго, сколь вредна страсть сія въ обществѣ, сколь пагубна въ сильныхъ людяхъ; пусть истощаетъ всѣ риторическія украшенія, дабы сдѣлать отвратительное изображеніе сей страсти; я буду восхищенъ и тронутъ его краснорѣчіемъ. Но драматическій писатель долженъ мнѣ показывать завидливаго, коего риторъ сдѣлалъ описаніе; онъ долженъ придать ему такое дѣйствіе и оттѣнки, которые бы, безъ помощи его слова, заставили ненавидѣть это лице, а съ нимъ вмѣстѣ и пагубную страсть, въ немъ изображенную. Мольеръ въ своей комедіи, не говоря длинныхъ нравоученій противъ скупости, заставляетъ ненавидѣть Гарпагона и дѣлаетъ его смѣшнымъ; но въ нѣкоторыхъ нашихъ комедіяхъ старики говорятъ презрѣднія и справедливныя нравоученія, охлаждають ими жаръ дѣйствія, и весь успѣхъ производимый ими,—это тотъ, что слушатели желаютъ только скорѣе дождаться счастливой минуты, когда опустатъ зана-

вѣсь». Что касается до Клушина, то ни въ талантѣ его, ни въ образованіи не было данныхъ, нужныхъ критику. Принадлежащій ему разборъ «Вадима» (Княжнина) есть не что иное, какъ выписка нѣкоторыхъ, особенно эффектныхъ тирадъ; а замѣтки его на стихотвореніе И. Мартынова: «Къ бардамъ», вертятся около отдѣльных словъ и выраженій, какъ бы воскрешая манеру Сумарокова; наприм.: «небосклонъ»—слово вновь произведенное, прекрасное и музыкальное; «хитрый живописецъ»—«хитрый» здѣсь не у мѣста: надобно «искусный», «превосходный», и т. п. Впрочемъ тотъ составилъ бы неточное понятіе о значеніи критики, кто сталъ бы судить о ней только по журналамъ, въ которыхъ она, какъ мы видѣли, иногда и не имѣла мѣста. Для оцѣнки литературныхъ произведеній необходимы природный вкусъ, способность къ анализу, многостороннее образованіе, въ особенности знакомство съ теоріей и исторіей словесности. Рѣдкое соединеніе всѣхъ этихъ данныхъ могло встрѣчаться въ литераторѣ-нежурналистѣ; и на оборотъ, издатель журнала могъ обходиться и безъ ихъ помощи. Болтинъ и Фонъ-Визинъ выказали сильный критическій талантъ, хотя не заправляли никакимъ періодическимъ изданіемъ: «Письмо о планѣ російскаго словаря», «Примѣчанія на исторію Леклерка», по основательности сужденій и остроумію, сохраняютъ до сихъ поръ извѣстное достоинство. Рядомъ съ ними стоитъ Карамзинъ, отличавшійся вѣрнымъ взглядомъ на произведенія литературы, способностью опредѣлять достоинства и недостатки авторской дѣятельности. Мы приводили его сужденія о Шекспирѣ, объ англійской и нѣмецкой драмѣ сравнительно съ драмой французской,—сужденія, которыми онъ становился впереди своего времени. Прибавимъ къ нимъ его взглядъ на поэзію вообще, выраженный въ предисловіи ко второй книжкѣ «Аонидъ» (1797). Онъ затрогиваетъ два недостатка юныхъ поклонниковъ музъ—высокопарность и слезливость: «Поэзія состоитъ не въ надutomъ описаніи ужасныхъ спенъ натуры, но въ живости мыслей и чувствъ. Если стихотворецъ пишетъ не о томъ, что подлинно занимаетъ его душу; если онъ не рабъ, а тиранъ своего воображенія, заставляя его гоняться за чуждыми, отдаленными, несвойственными ему идеями; если онъ описываетъ не тѣ предметы, которые къ нему близки и собственною силою влекутъ къ себѣ его воображеніе; если онъ принуждаетъ себя или только подражаетъ другому (что все одно): то въ произведеніяхъ его не будетъ никогда живости, истины или той сообразности въ частяхъ, которая составляетъ цѣлое и безъ которой всякое стихотвореніе похоже на странное существо, описанное Горациемъ въ началѣ Эпистолы къ Пизонамъ. Молодому питомцу музъ лучше изобрази-

жать въ стихахъ первыя впечатлѣнія любви, дружбы, нѣжныхъ красоть природы, нежели разрушеніе міра, всеобщій пожаръ природы и прочее въ семь родѣ. Не надобно думать, что одни великіе предметы могутъ воспламенять стихотворца и служить доказательствомъ дарованій его: напротивъ, истинный поэтъ находитъ въ самыхъ обыкновенныхъ вещахъ поэтическую сторону; его дѣло наводить на все живыя краски, ко всему привязывать остроумную мысль, нѣжное чувство, или обыкновенную мысль, обыкновенное чувство украшать выраженіемъ, показывать оттѣнки, которые укрываются отъ глазъ другихъ людей, находить непримѣтныя аналогіи, сходства, играть идеями, и, подобно Юпитеру (какъ сказало объ немъ мудрець Езопъ), иногда «малое дѣлать великимъ», иногда «великое дѣлать малымъ».

§ 35. Выше были рассмотрѣны нѣкоторыя явленія періодической литературы именно: сатирическіе и мистическіе. Дополнимъ обзоръ ея свѣдѣніями о другихъ болѣе замѣчательныхъ журналахъ, въ которыхъ относимъ: «С. п. бургскій Вѣстникъ», «Чтеніе для вкуса, разума и чувствованія», «Пріятное и полезное препровожденіе времени», «С. п. бургскій журналъ», «Иппогрена». Всѣ они по преимуществу литературныя, хотя, при общемъ направленіи, и различаются нѣкоторыми особенностями. Издателемъ С. п. бургскаго Вѣстника (1778—1781), основаннаго обществомъ любителей наукъ, былъ Брайко. По принятому плану, каждая книжка журнала дѣлилась на два отдѣла: ученый, въ который входили и статьи «для увеселительнаго чтенія», т. е. собственно литературныя, и политическій, подъ которымъ разумѣлись и вѣщныя и внутреннія извѣстія. Въ первомъ отдѣлѣ помѣщены стихотворенія Державина, стояція на переходѣ отъ подражательнаго направленія его лирики къ направленію самобытному. Лучшія ученныя статьи касаются наукъ естественныхъ и географіи; изъ другихъ достойны замѣчанія: «о театральныхъ въ Россіи представленіяхъ», Штелина, и «исторія учрежденія патріаршества въ Россіи». Особеннаго вниманія заслуживаетъ критика «Вѣстника». Онъ справедливо оцѣнилъ «Историческое изображеніе Россіи», Богдановича, похваливъ эту компиляцію единственно «за изрядный слогъ и за исправность печатанія», осуждая автора за цвѣты краснорѣчія, которыми онъ изсказилъ простыя рѣчи нашихъ предковъ, и выражая ту мысль, что историческія личности должны говорить языкомъ, соответствующимъ ихъ времени. «Поэты о жизни и сочиненіяхъ Сумарокова» чужда односторонности и пристрастія, которыми страдали всѣ почти тогдашніе отзывы о рус-

скомъ Расинѣ и Лафонтенѣ. «Вѣстникъ» указалъ также на достоинства Хемницеровыхъ басенъ, при первомъ ихъ изданіи.

Сохацкій, профессоръ эстетики и древней словесности, издавалъ журналы: «Чтеніе для вкуса, разума и чувствованія» (1791—1793), «Пріятное и полезное препровожденіе времени» (1794 — 1798) и «Ипокрену или утѣхи любословія» (1799—1801). Соредакторомъ его по второму журналу былъ Подшиваловъ. Особенности этихъ изданій опредѣлялись характеромъ образованія и родомъ занятій ихъ издателей. И Сохацкій, воспитанникъ филологической семинаріи, и Подшиваловъ, кончившій курсъ въ университетской гимназіи, находились подъ влияніемъ Шварца и участвовали въ Поклющемся Трудолюбцѣ. Оба они были хорошо знакомы съ нѣмецкою литературой; оба преподавали словесность: одинъ, какъ профессоръ; другой, какъ учитель въ университетскомъ благородномъ пансіонѣ. Поэтому означенные журналы содержатъ въ себѣ дѣльныя сочиненія по исторіи и теоріи изящныхъ произведеній. Въ «Чтеніи для вкуса» напечатаны: «опытъ о стихотворствѣ», «о турецкомъ и испанскомъ театрахъ», «о прелести въ произведеніяхъ искусства», по руководству Винкельмана; въ «Пріятномъ и полезномъ препровожденіи времени»: «письмо о російскомъ стопосложеніи», «греческая поэзія», «исторія римской поэзіи»; въ Ипокренѣ: «о характерѣ эпической поэмы», «о высотности мыслей у священныхъ пѣснопѣвцевъ». Отдѣлъ изящной прозы наполнился переводами преимущественно изъ нѣмецкихъ авторовъ: Мейснера, Глейма, Морица, Клейста, Виланда, Геллерта, Козегартена, Рамлера, Гагедорна, Галлера, Вейсе, Гедике, Эберггарда, Энгеля и пр. Большая часть этой работы лежала на Подшиваловѣ. Онъ перевелъ Біанку Капелло и другія повѣсти Мейснера. Кромѣ того въ журналахъ Сохацкаго напечатаны переводы Сень-Пьеровыхъ романовъ: «Павелъ и Виргинія» и «Индійская хижина», сдѣланные супругою Подшивалова. Въ нихъ же помѣщались сочиненія лучшихъ нашихъ писателей того времени: Державина, И. Дмитріева, Нелединскаго-Мелецкаго, кн. И. Долгорукаго, В. Пушкина, Мерлякова, равно и первые юношескія опыты Нарѣзнаго и Жуковскаго.

Въ 1798 г., Пнинъ, соединясь съ А. Бестужевымъ, издавалъ «С.-п.бургскій журналъ». Употребляя современныя названія, первый былъ редакторомъ, а второй издателемъ. Въ журналѣ помѣщено много серьезныхъ статей по законовѣдѣнію, государственному хозяйству и воспитанію; таковы: переводы изъ Духа законовъ, Монтескье, и изъ Разсужденій о политической экономіи, Пьера Верри, современника Беккариа, и Трактатъ о воспитаніи,

преимущественно военномъ, составленный по Филанжеру и дополненный примѣчаніями Бестужева. Здѣсь также явились впервые: двѣ книги (вторая не вполне) «Исповѣданія» Фонъ-Визина и его же «Письмо къ гр. П. И. Панину изъ Парижа». Журналъ отличался благороднымъ образомъ мыслей, уваженіемъ къ наукѣ и слову; одна критическая статья его (Письмо къ издателю) умно защищаетъ книгопечатаніе отъ нападокъ тогдашняго обскурантизма, который былъ выраженъ въ книгѣ, переведенной Михаиломъ Антоновскимъ: «Вѣрное лѣварство отъ предубѣжденія умовъ» (1798). О журналахъ Карамзина будетъ сказано при обзорѣ всей его дѣятельности.

§ 36. Усвоеніе европейской науки и литературы при Екатеринѣ не мѣшало знакомству съ своимъ отечествомъ, основательному изученію своей страны въ ея прошлой жизни и современномъ состояніи. Мѣры, которыми доставлялась возможность всесторонняго изученія русской природы и русскаго народа, принадлежать къ важнѣйшимъ событіямъ въ исторіи нашего образованія, равно какъ сочиненія, въ которыхъ изложены результаты этого изученія, составляютъ важнѣйшее пріобрѣтеніе нашей ученой литературы.

Изъ трудовъ Академіи Наукъ особенно замѣчательны ученія путешествія, совершенныя академиками и имѣвшія цѣлю описаніе Россіи въ отношеніяхъ естественномъ, географическомъ и статистическомъ. Для этого были снаряжены четыре экспедиціи: двѣ астраханскія и двѣ оренбургскія. Первыми распорядились Самуилъ Гюминъ и Гильденштедтъ; вторія, подъ начальствомъ Палласа, состояли изъ Лепехина, Фалька, Георги, Зуева, Рычкова, Озерцова. Экспедиціямъ предписано было производить изслѣдованія и наблюденія относительно всѣхъ замѣчательныхъ предметовъ, показывать выгоды и недостатки разныхъ областей нашего отечества, описывать нравы и обычаи народовъ, изыскивать способы къ улучшенію всѣхъ родовъ промышленности. Путешествія продолжались съ 1768 по 1774 г. Оренбургскія экспедиціи осматрѣли сѣверную, восточную и западную части Россіи; астраханскія — южную часть ея, съ одной стороны до прилежащихъ персидскихъ областей и самую Персію, съ другой до Кавказа и Грузіи и самихъ эти страны. «Путевныя записки», веденныя академиками, содержатъ въ себѣ не только подробное описаніе Россіи, познакомившее съ нею и Русскихъ и Европу, но и обильное число наблюденій и открытій по естественнымъ наукамъ. Кромѣ того, онѣ обогатили русскую ученую терминологію множествомъ словъ, заимствованныхъ изъ мѣстнаго народнаго словаря или составленныхъ въ духѣ того же словаря, и дали примѣръ простаго, чистого

русскаго изложенія научныхъ предметовъ, особенно естествознанія. Русскіе акадѣмики, и въ своихъ книгахъ и въ переводахъ трудовъ нѣмецкихъ акадѣмиковъ, еще держались преданія Ломоносова, умѣвшаго находить въ родномъ словѣ достойные матеріалы для передачи свѣдѣній по всѣмъ отраслямъ науки. Къ сожалѣнію, позднѣйшая терминологія болѣе и болѣе теряла изъ виду источники, къ которымъ ей слѣдовало бы обращаться за совѣтомъ и справкой. вмѣсто того, чтобы вводить въ книжный языкъ тѣ слова, которыя давно существуютъ среди народа, она обогащалась и обновлялась буквальнымъ, варварскимъ переводомъ иностранныхъ реченій или новосоставленными, не менѣе варварскими, реченіями, въ которыхъ не было и тѣни національнаго элемента.

Московскому университету даны средства распространить курсъ ученія и умножить число учащихся. Особое вниманіе обращено было на молодыхъ русскихъ ученыхъ, которые получали образованіе за границею или въ самомъ университетѣ и со временемъ должны были замѣнить профессоровъ иностранныхъ. При Елизаветѣ университетъ имѣлъ только двухъ русскихъ профессоровъ: Поповскаго и Барсова; при Екатеринѣ многіе уже воспитанники его съ честію заняли профессорскія катедры: Анничковъ, Аеоиничъ, Зыбелинъ, Веніаминовъ, Десницкій, Третьяковъ, Чеботаревъ, Страховъ. Съ 1767 г. введено было преподаваніе лекцій, особенно по катедрамъ юридическихъ наукъ, на языкѣ отечественномъ. Какъ въ «Наказѣ» наложены главныя педагогическія правила для согласнаго устройства двухъ родовъ воспитанія: домашняго и общественнаго, такъ и «Способъ ученія» (1771), наданный отъ университета, имѣлъ цѣлію согласить домашнее ученіе съ ученіемъ гимназическимъ, приготовляющимъ къ слушанію профессорскихъ лекцій.

Въ 1783 г. учреждена Россійская Академія. Цѣль этого учрежденія опредѣленно указана въ уставѣ или планѣ: Академія должна имѣть предметомъ очищеніе и обогащеніе русскаго языка; установленіе употребленія словъ; свойственное русскому языку вѣтѣнство и стихотворство. Для достиженія этого предмета надобно составить русскую грамматику, русскій словарь, риторику и правила стихотворства. Предсѣдателемъ назначена княгиня Дашкова (Екатерина Романовна, 1744—1810), уже занимавшая тогда мѣсто директора Академіи наукъ. Въ рѣчи своей, при открытіи новаго учрежденія, предсѣдательница его расширила предѣлы академическаго устава, говоря, что, вмѣстѣ съ составленіемъ грамматики и словаря, академики должны заняться изученіемъ памятниконъ отечественной исторіи и увѣковѣчить въ произведеніяхъ слова

знаменитыя ея событія какъ минувшаго, такъ и настоящаго времени. Въ число членовъ приглашены были всѣ писатели того времени, составлявшіе украшеніе литературы, извѣстнѣйшіе ученые, преимущественно изъ академиковъ и профессоровъ московскаго университета, наконецъ и представители высшаго круга русскаго образованнаго общества, заявившіе свое сочувствіе къ литературѣ и наукѣ. Благодаря энергической дѣятельности своего предсѣдателя, Россійская Академія, въ тринадцатилѣтній періодъ ея управленія (1783—1796), составила и издала «Словопроизводный словарь» (въ 6 томахъ, 1789—1796).

Послѣ императрицы Екатерины, княгиня Дашкова, дочь гр. Романа Ларионовича Воронцова, безспорно, занимала второе мѣсто между современными ей женщинами по уму и образованію. Воспитывалась она въ домѣ своего дяди, государственнаго канцлера М. И. Воронцова. Съ самыхъ раннихъ лѣтъ она пристрастилась къ серьезному чтенію; любимыми ея писателями были Бейль, Монтескье, Вольтеръ. Дальнѣйшее образованіе и умственное развитіе Дашковой происходило при самыхъ благопріятныхъ обстоятельствахъ. Она совершила два путешествія: сначала, для поправленія своего здоровья (1769—72), а потомъ для воспитанія своего сына въ Эдинбургскомъ университетѣ (1775—82). Эти годы она проводила въ избранномъ кругу ученыхъ и писателей: Робертсона и Адама Смита въ Шотландіи, Дидро во Франціи, Вольтера въ Швейцаріи. По смерти Екатерины (1796), она была удалена изъ Петербурга въ одно изъ ея помѣстій. При вступленіи на престолъ Александра I, члены Россійской Академіи обратились къ ней съ просьбой стать во главѣ этого учрежденія, но она, не чувствуя прежнихъ силъ, отклонила предложенную ей честь. Литературная дѣятельность Дашковой состояла въ сотрудничествѣ въ различныхъ періодическихъ изданіяхъ второй половины XVIII в. и начала XIX-го в. Записки ея изданы на англійскомъ языкѣ въ Лондонѣ. Ея мысли о воспитаніи указаны выше. Въ понятіяхъ своихъ о требованіяхъ умственной и общественной жизни она сходилась съ понятіями Болтина, Щербатова, Новикова, т. е. отдавала предпочтеніе старинному быту въ томъ отношеніи, что *тогдашнее* невѣжество было менѣе вредно теперешней нравственной испорченности: «неуча научить можно скорѣе, нежели развратнаго исправить» (1).

Вскорѣ послѣ назначенія своего директоромъ Академіи наукъ, Дашкова основала (1783) журналъ «Собесѣдникъ Любителей Россій-

1) Исторія Россійской Академіи, М. Сухомлинова, т. I.

скаго слова». Онъ издавался болѣе года, при постоянномъ участіи Екатерины, которая печатала въ немъ свои «Были и Небылицы». Всѣ извѣстные литераторы были его сотрудниками: Державинъ (ода котораго «Фелица» и послужила поводомъ къ основанію «Собесѣдника»), Фонъ-Визинъ, Княжичинъ, Херасковъ, Богдановичъ. — Другое изданіе Академіи Наукъ, подъ названіемъ: «Россійскій театръ, или полное собраніе всѣхъ Россійскихъ театральныхъ сочиненій» (43 тома, 1789—1794), было задумано также княгиней Дашковой съ цѣлью собрать въ одно дѣло какъ печатныя, такъ и оставшіяся еще въ рукописяхъ театральныя піесы, и тѣмъ самымъ сохранить ихъ для потомства и вмѣстѣ дать возможность публикѣ прочесть все то, что еще не было напечатано; другая цѣль состояла въ томъ, чтобы сдѣлать болѣе удобнымъ выборъ піесъ для даваемыхъ театральныхъ представленій.

Одной изъ самыхъ важныхъ мѣръ къ распространенію просвѣщенія служилъ указъ 1783 г., позволяющій заводить во всѣхъ городахъ частныя типографіи и печатать въ нихъ книги на русскомъ и иностранныхъ языкахъ. Въ слѣдствіе этого явилось даже нѣсколько сельскихъ типографій, введенныхъ помѣщиками-литераторами. Благоразумная, снисходительная цензура, взглядъ на которую выраженъ въ Наказѣ (§ 484), была главною причиною успѣховъ книгопечатанія, давъ возможность возникнуть многимъ періодическимъ изданіямъ. Политическія событія во Франціи заставили частію ослабить, частію прекратить дѣйствіе этихъ просвѣтительныхъ мѣръ. Въ самый годъ смерти императрицы (1796), частныя типографіи были упразднены, ввозъ иностранныхъ книгъ ограниченъ, и въ Петербургѣ, Москвѣ, Ригѣ, Одессѣ и при Радзивиловской таможенѣ учреждены цензуры.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

I. Эпоха Петра I.

§§.	Стр.
1. Мѣры для образованія: заведеніе школъ, учрежденіе Академіи Наукъ. Учебники и переводы иностранныхъ сочиненій. Русскія Вѣдомости. Новая азбука. Возстановленіе театра. Панегирики и хвалебныя вирши. Разсужденіе о причинахъ войны съ Карломъ XII. Путешествія гр. Шереметева, П. А. Толстаго, гр. А. А. Матвѣева.	1
2. Стефанъ Яворскій и Теофанъ Прокоповичъ.	11
3. Сторонники и противники реформы	20
4. Историческія труды Петрова времени.	22
5. Посошковъ	24
6. Драматическія представленія въ Кіевѣ и Москвѣ. «Владимиръ», трагедо-комедія Теофана Прокоповича	28

II. Отъ смерти Петра I до Ломоносова.

7. Татищевъ	32
8. Кантемиръ	38
9. Тредьяковскій	47
10. Мемуары 1-й половины XVIII в.	56
11. Дѣятельность Академіи Наукъ.	59

III. Отъ Ломоносова до Карамзина.

12. Ломоносовъ	60
13. Сумароковъ	92
14. Московскій Университетъ. Поповскій и Барсовъ	107

§§.	Стр.
15. Мемуары времени Императрицы Елисаветы.	111
16. Путешествіе Барскаго.	113
17. Духовное ораторство	114
18. Періодическія изданія.	—
19. Характеръ литературы въ эпоху Екатерины II. «Наказъ». Педагогическая система Императрицы	119
20. Педагогическія сочиненія Екатерины II.	126
21. Ея сатирическія и драматическія произведенія.	131
22. Фонъ-Визинъ	141
23. Сатирическіе журналы	161
24. Державинъ	170
25. Херасковъ и Богдановичъ	195
26. Лирна	205
27. Драма: Княжнинъ. Новая явленія драмы (мѣщанская трагедія). Знакомство съ англійской драмой. Стремленіе къ самобытной драмѣ (Дукинъ, Аблесимовъ и др.). Веревкинъ, Ефимьевъ, Клушинъ, Капнистъ, Судовщиковъ	213
28. Эпосъ: комическій эпосъ (В. Майковъ). Повѣсти и романы. Васня (Хемницеръ)	240
29. Отношеніе литераторовъ къ народной словесности. Стремленіе къ самобытности и народности (Н. Львовъ, Майковъ, Чулковъ). Народныя книги	262
30. Переводная литература Екатеринина времени. Обличеніе французскаго вольномыслія. Посылка молодыхъ людей за границу. Радищевъ и его книга	269
31. Исторія двухъ возрѣній на развитіе народной жизни	276
32. Масонство и его литература	294
33. Проповѣдное слово	319
34. Литературная критика	321
35. Періодическія изданія.	325
36. Россійская Академія. Московскій Университетъ	327

ИСТОРИЯ
РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ,
ДРЕВНЕЙ И НОВОЙ.

1

AMERICAN COLLEGE
LIBRARY
ИСТОРИЯ

РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ,

ДРЕВНЕЙ и НОВОЙ.

СОЧИНЕНИЕ

А. Галахова.

Издание второе, съ перемѣнами.

ТОМЪ II.

Отъ Карамзина до Пушкина.

Рекомендована Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, какъ пособіе для гимназій и прогимназій.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

Печатано въ типографіи И. И. Глазунова, Казанская ул., № 8.

1880.

НОВЫЙ ПЕРІОДЪ.

II. ОТЪ КАРАМЗИНА ДО ПУШКИНА.

(ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА I).

§ 1. Въ образованіи характера Карамзина (1766 — 1826), его, взгляда на вещи и способовъ къ дѣятельности участвовали различныя силы и обстоятельства. Первое мѣсто принадлежитъ, конечно, природѣ, надѣлившей его рѣдкою чувствительностью, которая обнаружилась въ немъ съ дѣтства и не покидала его до смерти. По собственнымъ признаніямъ, онъ въ юношествѣ былъ чувствителенъ, какъ младенецъ; въ возрастъ мужества, мечтательность составляла его неизлечимую болѣзнь; на склонѣ лѣтъ, онъ также любилъ предаваться меланхоліи и, читая романы, не могъ удерживать своихъ слезъ. И въ романтической исторіи: «Рыцарь нашего времени» (1802 — 1803), на которую надобно смотрѣть какъ на автобіографію первыхъ лѣтъ жизни, къ сожалѣнію, не конченную; и въ прозаической элегіи: «Цвѣтокъ на гробъ моего Агатона» (1793), представляющей автохарактеристику; и въ письмахъ къ друзьямъ Карамзинъ постоянно выставлялъ расположеніе своего духа къ грусти и мечтательности. Онъ не стыдился своего врожденнаго дара, хотя и придавалъ ему иногда патологическое значеніе; напротивъ, онъ какъ бы гордился имъ и любилъ давать ему пищу, находя въ немъ источникъ разнообразныхъ пріятностей. Мы должны отмѣтить эту неизмѣнную, яркую черту его нрава, такъ какъ безъ нея остались бы необъясненными многія явленія въ его жизни и дѣятельности.

Преобладающая наклонность природы развилась потомъ подъ вліяніемъ романовъ, которые Карамзинъ нашелъ въ библіотекѣ своего отца и которые доставили ему первое знакомство съ литературой. Чтеніе оказалось полезнымъ для образованія нравственнаго чувства, представивъ отроческому понятію тождество добро-

дѣтели и красоты, порока и безобразія. Какъ это чувство спасительно въ жизни, какою твердою опорою служить оно для доброй нравственности—нѣтъ нужды доказывать: таковы слова самого Карамзина, у котораго мысль о безвредномъ дѣйствиі романовъ перешла потомъ въ убѣжденіе ⁽¹⁾.

Вторымъ періодомъ образованія Карамзина, послѣ первоначальнаго домашняго ученія, надобно считать его ученіе въ пансіонѣ Шадена, профессора философіи въ московскомъ университетѣ. Здѣсь онъ обучался иностраннымъ языкамъ, слушалъ уроки нравственной философіи, которую преподавалъ самъ Шадень и вмѣстѣ съ другими пансіонерами посѣщалъ лекціи профессоровъ. По выходѣ изъ пансіона, Карамзинъ думалъ довершить свое образованіе за границей, въ лейпцигскомъ университетѣ, который славился своими преподавателями и гдѣ обучались многіе русскіе. Это намѣреніе не исполнилось ⁽²⁾ и Карамзинъ поступилъ на службу въ гвардію (1781). Ко времени пребыванія его въ Петербургѣ относятся первые его литературные опыты. То были переводы съ нѣмецкаго: «Разговоръ Маріи Терезіи съ русскою императрицею Елисаветою въ Елисейскихъ поляхъ» (1782) и «Деревянная нога, идиллія Геснера» (1783). Независимо отъ общераспространенной въ царствованіе Екатерины любви къ словесности, на Карамзина дѣйствовалъ и примѣръ его земляка и друга, И. Дмитріева, служившаго тоже въ гвардіи, мелкіе переводы котораго печатались въ тогдашнихъ журналахъ. По смерти отца своего, Карамзинъ вышелъ въ отставку и уѣхалъ въ Симбирскъ для устройства дѣлъ по наслѣдству. Здѣсь онъ началъ вести разсѣянную жизнь и пользоваться успѣхами въ провинціальномъ обществѣ, благодаря своимъ талантамъ и образованности. И. Тургеневъ, находившійся тогда въ Симбирскѣ, жалѣя о напрасной тратѣ времени даровитымъ человекомъ, уговорилъ его ѣхать съ нимъ въ Москву, куда они и прибыли 1785 г.

Въ кругу Новикова, тѣсно связаннаго съ Тургеневымъ общностью понятій и намѣреній, прошелъ третій, весьма важный періодъ умственно-нравственнаго воспитанія Карамзина (1785 — 1788). Этотъ кругъ, притягивая къ себѣ даровитую молодежь, поручалъ ей полезныя литературныя работы и старался направить ея мысль къ серьезнымъ предметамъ природы и человѣческаго духа. Главнаго устроителя мистико-масонскихъ дѣлъ, Шварца, уже не

¹⁾ О книжной торговлѣ и любви къ чтенію въ Россіи (1802).

²⁾ Сожалѣніе объ этомъ выражено въ Письмахъ русскаго путешественника: «Воображалъ, какъ бы я могъ провести тѣ лѣта, въ которыя образуется душа наша, и какъ я провелъ ихъ, чувствую горестъ въ сердцѣ и слезы въ глазахъ».

было въ живыхъ, но его имя и ученіе хранились, какъ священный заветъ, въ душѣ пережившихъ его одномысленниковъ. Между сотрудниками Карамзина нашлось нѣсколько лицъ, съ которыми онъ завязалъ короткую дружбу. Ближайшимъ къ нему человекомъ былъ А. А. Петровъ († 1793), изображенный имъ въ элегін: «Цветокъ на гробъ моего друга Агатона» и частію въ повѣсти: «Чувствительный и хладнокровный» (1803), подъ именемъ Леонида. По отзыву И. Дмитріева, Петровъ обладалъ замѣчательнымъ умомъ, способностью къ здоровой критикѣ и свѣдѣніями въ древнихъ и новыхъ языкахъ. Переводы его помѣщались въ Новиковскихъ журналахъ; кромѣ того отдѣльно напечатаны: аллегорическая повѣсть «Хризомандеръ» (съ нѣмецкаго) и индійская поэма «Багавать-Гита» (съ англійскаго). Молодые друзья часто размышляли о высшихъ задачахъ метафизики и вмѣстѣ читали классическихъ авторовъ. На представленіямъ Петрова, его разборчивому вкусу Карамзинъ былъ обязанъ развитіемъ чувства изящнаго. Вообще послѣдній смотрѣлъ на своего Агатона, какъ на руководителя въ изученіи разныхъ предметовъ, какъ на старшаго по знаніямъ и по благоразумію. Другой пріятель Карамзина, А. М. Кутузовъ, переводчикъ Мессіады, умеръ въ Берлинѣ (1789), гдѣ проживалъ агентомъ московскихъ масоновъ, которые черезъ него сносились съ своими нѣмецкими братьями и получали свѣдѣнія о новыхъ движеніяхъ въ орденѣ. Карамзинъ называетъ Кутузова жертвою печальныхъ обстоятельствъ, человекомъ воображенія пасмурнаго и характера меланхолическаго, вѣроятно потому, что мысль его, стремясь къ рѣшенію важнѣйшихъ задачъ нашего существованія, не находила на нихъ отвѣта ни въ системѣ матеріалистовъ, которыми онъ увлекался наравнѣ съ своими заграничными товарищами—Ушаковымъ и Радищевымъ, ни въ ученіи мистико-масонскомъ, которому онъ преданъ въ кругу Дружескаго общества. Нѣсколько времени Карамзинъ жилъ въ одномъ домѣ съ Ленцомъ, нѣмецкимъ поэтомъ того періода исторіи литературы, который извѣстенъ подъ именемъ «Sturm-und Drang Periode». Въ эпоху своего нравственнаго упадка, причиненнаго неудачею въ любви и оскорбленными самолюбіемъ, Ленцъ пріѣхалъ въ Москву, гдѣ и умеръ (1792) у одного изъ членовъ Новиковскаго кружка, дававшего ему пріютъ въ своемъ домѣ. Безъ сомнѣнія, Ленцъ произвелъ сильное вліяніе на Карамзина и Петрова своими «піитическими идеями», своимъ знакомствомъ съ современною литературою Германіи, особенно своимъ глубокимъ пониманіемъ Шекспира. Чтобы узнать законы изящнаго, Карамзинъ изучаетъ Батте; но когда сужденіе касается Шекспира и вообще драмы, въ немъ является не сторонникъ французской эстети-

ки, а послѣдователь серьезной нѣмецкой критики, приносившей полную дань уваженія гениальному трагизму. Въ обществѣ пріятелей Карамзинъ слытъ подъ именемъ Рамзея, которое было дано ему, вѣроятно, въ честь автора «Новой Киропедіи», — сочиненія написаннаго въ подражаніе Фенелонову Телемаку и бывшаго въ большомъ почетѣ у масоновъ. Какъ въ наставленіяхъ Ментора Телемаку, такъ и въ наставленіяхъ Киру проводятся воззрѣнія, полнѣе изложенныя Рамзеемъ въ «Опытѣ о гражданскомъ правленіи». Шотландецъ происхожденіемъ, Рамзей († 1743) перешелъ въ католичество по совѣту Фенелона, къ которому обратился, воднуемый религіозными сомнѣніями. Онъ жилъ въ Парижѣ, какъ воспитатель сыновей претендента, Якова III, былъ гросс-канцлеромъ французскихъ масонскихъ ложъ и написалъ разсужденіе о братствѣ, первый пустивъ легенду о его происхожденіи, будто оно возникло въ обѣтованной землѣ, въ эпоху крестовыхъ походовъ, и начально имѣло цѣлю вновь соорудать разрушенныя сарацинами христіанскіе храмы. Не одни друзья принимали участіе въ серьезной любознательности Карамзина. Обративъ вниманіе на фیزیогномику, онъ вошелъ въ переписку съ Лафатеромъ и просилъ у него отвѣта на вопросъ о всеобщей цѣли человѣческаго бытія.

«Дружеское общество» поручало воспитанникамъ московскаго университета и другимъ образованнымъ молодымъ людямъ переводы сочиненій религіозно-философскаго содержанія, противоположнаго духу французскаго энциклопедизма, который въ то время по преимуществу полонилъ умы. На долю Карамзина выпалъ переводъ Галлеровой поэмы: «О происхожденіи зла» (1786)—вопросъ, сильно занимавшій богослововъ и метафизиковъ. Стихи подлинника переложены прозой. Нѣсколько примѣчаній переводчика выказываютъ, съ одной стороны, его наклонность къ идиллической мечтательности, съ другой—его знакомство съ литературою христіанской догматики. «Галлеръ», говоритъ онъ въ одномъ мѣстѣ, «предлагаетъ здѣсь такую истину, которой мы не найдемъ во множествѣ томовъ сочиненій нынѣшнихъ молодыхъ теологовъ». Нѣсколько статей переведено Карамзиннымъ съ нѣмецкаго изъ «Штурмовыхъ размышленій о дѣлахъ Божіихъ въ царствѣ природы и провидѣнія, на каждый день года, и бесѣдъ съ Богомъ, или размышленій въ утренніе и вечерніе часы» (1). Въ теченіи четырехъ лѣтъ (1785—89) Новиковъ при Московскихъ Вѣдомостяхъ издавалъ «Дѣтское Чтеніе». Карамзинъ работалъ для этого изданія вмѣстѣ съ Петровымъ. Онъ помѣстилъ въ немъ нѣсколько оригинальныхъ статей (важнѣйшая изъ нихъ

¹⁾ Полный переводъ этого періодическаго изданія вышелъ въ 12 т. (1787—89).

—«Прогулка») и переводы «Деревенских вечеровъ» (Жанлис), драмы: «Аркадскій памятникъ» (Вейсе), Томсоновыхъ временъ года и пр. Хотя самъ переводчикъ называлъ свои труды «ученическими», однакожъ они не остались безъ вліянія на послѣдующую его дѣятельность. Касательно языка, «Дѣтское Чтеніе» справедливо называютъ «дѣтскою школою» Карамзина, въ которой выработался его слогъ; касательно содержанія, переводы его заключаютъ въ себѣ многія мысли и чувства, которыя потомъ встрѣчаются въ собственныхъ его сочиненіяхъ. О переводахъ «Юлія Цезаря», трагедіи Шекспира (1787), съ французскаго Летуэрнова перевода, и «Эмиліи Галотти», трагедіи Лессинга (1788), съ нѣмецкаго, было упомянуто при обзорѣ нашего знакомства съ англійскою драмою въ эпоху Екатерины II.

Дѣйствительность вліянія, произведеннаго на Карамзина обществомъ Новикова, не подлежитъ сомнѣнію. Существенная его польза состояла въ прочномъ закалѣ мысли, державшейся на серьезныхъ занятіяхъ, на обсужденіи предметовъ, которые по своей важности всегда обращаютъ на себя вниманіе даровитой любознательности. Въ тотъ періодъ жизни, когда умъ большею частію истощаетъ свои силы на трудахъ маловажныхъ, или безъ надежнаго руководства переходитъ отъ одной дѣятельности къ другой, останавливаясь на каждой поверхностно и ни къ одной не привязываясь искренно,—въ этотъ самый періодъ Карамзину была указана достойная сфера человѣческаго знанія. Карамзинъ охотно вошелъ въ нее и неспроста оставался въ ней, хотя потомъ и сдѣлался ея отщепенцемъ, такъ какъ она рѣшительно не подходила ни къ характеру его чувства, ни къ складу его познавательной способности, не любившей ни въ чемъ темноты.

У Въ 1789 г. Карамзинъ отправился за границу, гдѣ и пробылъ полтора года. Для покрытія путевыхъ издержекъ, онъ передалъ старшему брату въ управленіе свое имѣніе и получилъ отъ него въ счетъ будущихъ доходовъ 2,000 руб. Цѣлью путешествія было—«видѣть природу въ ея разнообразіи, видѣть великихъ мужей, чьихъ творенія сильно дѣйствовали на чувство», и тѣмъ по возможности восполнить недостатокъ высшаго образованія, такъ какъ намѣреніе пріобрѣсти его слушаніемъ лекцій въ лейпцигскомъ университетѣ не состоялось. Путешественникъ былъ отлично подготовленъ къ тому, чтобы съ успѣхомъ воспользоваться заграничною жизнію. Знаніе иностранныхъ языковъ, разнообразныя свѣдѣнія, обширная начитанность, познакомившая его съ литературами самыхъ цивилизованныхъ странъ Европы, нравственная выдержка въ Новиковскомъ кругу замѣтно возвышали его не только

надъ сверстниками, но и надъ людьми болѣе зрѣлыми. Едва ли кто другой въ то время могъ похвалиться такимъ обиліемъ данныхъ — и природныхъ, и благопріобрѣтенныхъ. Читая заграничныя письма Карамзина, которыя онъ писалъ въ Москву къ семейству короткихъ друзей своихъ, Плещеевыхъ, и которыя потомъ явились въ печати подъ названіемъ «Писемъ русскаго путешественника», нельзя не удивляться, съ одной стороны, количеству прочтенныхъ имъ сочиненій на русскомъ и иностранныхъ языкахъ, а съ другой—вѣрности многихъ сужденій, и въ наше время сохраняющихъ свою цѣну. А между тѣмъ ему было 22 года—возрастъ только что кончившаго курсъ студента.

Карамзинъ посѣтилъ Германію, Швейцарію, Францію и Англію. Каждая изъ этихъ странъ представляла ему особенный, такъ сказать специальный, интересъ для наблюденій. Непосредственнымъ знакомствомъ съ мѣстами и лицами повѣрять онъ впечатлѣнія, вынесенныя имъ изъ чтенія книгъ, или сформировавшіяся въ его умѣ подъ дѣйствіемъ воображенія. Германія привлекала его, какъ страна литературы, съ которою онъ освоился больше, чѣмъ съ другими литературами. Ему пріятно было увидѣть лицомъ къ лицу знаменитыхъ ученыхъ и поэтовъ, чьихъ сочиненія онъ читалъ и переводилъ. Карамзинъ питалъ къ нимъ искреннее уваженіе; по характеру сочиненій думалъ заключать о характерѣ авторовъ; на самой дѣйствительности желалъ провѣрить свои заочные выводы. Это желаніе, наконецъ, осуществилось; эта повѣрка сдѣлалась возможна. Легко понять радость Карамзина во время его путешествія по Германіи, гдѣ жили и дѣйствовали его литературные кумиры. — Другой интересъ находилъ Карамзинъ въ Швейцаріи — «странѣ живописной природы, свободы и благополучія». Хотя и здѣсь жили привлекательныя для него личности: Боннетъ—«философъ съ чувствомъ», что, во мнѣніи путешественника, служило наилучшею похвалою философіи, и Лафатеръ, съ которымъ онъ завелъ переписку, работая для Дружескаго общества, и который поэтому называлъ его своимъ «московскимъ пріателемъ»; но не этимъ собственно нравилась ему Швейцарія. Она плѣняла его, какъ царство наивной, согласной съ природою жизни человѣковъ. Въ ней онъ видѣлъ новую Аркадію, осуществленіе мечты о невозмутимомъ счастіи пастуховъ и пастушекъ. Картина патриархальной простоты восхищала его издавна. По наклонности къ пасторальному сентиментализму, онъ любилъ читать описательное стихотвореніе Галлера «Альпы» и въ примѣчаніи къ переводу поэмы «О происхожденіи зла» жалѣлъ, что мы уклонились отъ первобытной невинности и гордимся мнимомъ цивилизаціей. Тоже сожалѣ-

ніе, хотя нѣсколько охлажденное, встрѣчаемъ въ «Письмахъ»: «Для чего не родились мы въ тѣ времена, когда всѣ люди были пастухами и братьями? Я съ радостію отказался бы отъ многихъ удобностей жизни, которыми обязаны мы просвѣщенію дней нашихъ, чтобы возвратиться въ первобытное состояніе человѣка. Всѣми истинными удовольствіями — тѣми, въ которыхъ участвуетъ сердце и которыя насъ подлинно счастливыми дѣлаютъ—наслаждались люди и тогда, и еще болѣе, нежели нынѣ: болѣе наслаждались они любовію, болѣе наслаждались дружбою, болѣе красотою природы». Другимъ источникомъ пристрастія Карамзина къ Швейцаріи было увлеченіе судьбою и сочиненіями Руссо, «женевского гражданина». «Величайшій изъ писателей XVIII в.», какъ онъ называетъ Руссо, имѣлъ значительное на него вліяніе. Въ одномъ письмѣ Карамзинъ описываетъ мѣстечко Кларанъ, гдѣ происходитъ главное дѣйствіе Новой Элоизы, а въ другомъ—островъ св. Петра, гдѣ ея авторъ «укрывался отъ злобы и предрасужденій человѣческихъ». Оба описанія проникнуты сочувствіемъ къ Руссо. — Съ противоположными чувствами въѣхалъ Карамзинъ во Францію. Онъ не искалъ здѣсь ни искренности, ни симпатичнаго сердца, потому что не надѣялся найти ихъ. Легкомысленный французскій умъ онъ уподобляетъ мыльному пузырю. Притомъ же ему довелось быть въ Парижѣ въ грозное время зачинавшейся революціи, несогласной съ его чувствами и понятіями. Однакожъ этотъ городъ, сокращеніе всей Франціи, оставленъ былъ Карамзинымъ съ сожалѣніемъ и благодарностью. Причина тому—«духъ пріятнаго общенія, которое какъ будто для французовъ или французами выдуманно, искусство жить съ людьми, обратившееся въ ихъ вторую природу». Вотъ почему онъ мирился съ тѣмъ народомъ, бѣглому уму котораго, по его словамъ, не доставало зрѣлости, а живому чувству—искренности и силы.—Цѣня всего болѣе нѣжную чувствительность, онъ отнесся антипатично и къ характеру англичанъ, бывшихъ предметомъ его поклоненія въ отрочествѣ. Но семейственные нравы англійскаго народа, богатство ихъ литературы и науки, гнѣзность политической силы и экономическаго быта, ихъ полная всемірнымъ значеніемъ исторія стояли на виду у образованнаго путешественника и умѣряли его невольную холодность къ странѣ, которую онъ, не выдавъ, воображалъ пріятнѣйшею для сердца землею. «Увидавъ же англичанъ», говоритъ онъ, «отдаю имъ справедливость, хвалю ихъ, хотя похвала моя такъ же холодна, какъ они сами».

Воротясь въ Москву (осенью 1790), Карамзинъ рѣшилъ посвятить свои способности и знанія литературѣ. Пребываніе за гра-

ницей показало ему, какое видное мѣсто занимаетъ въ тамошнемъ обществѣ литераторъ, какъ вліятельна его дѣятельность, не уступающая другимъ родамъ службы на пользу родной страны. Своимъ примѣромъ онъ задумалъ отмѣнить у насъ тотъ исконный обычай, по которому дворянинъ былъ обязанъ непремѣнно занимать какую-нибудь ступень въ административной іерархіи. Онъ хотѣлъ быть единственно, исключительно литераторомъ, и потому, отказавшись отъ чиновнаго честолюбія, принялся за редакцію Московскаго журнала, который и издавалъ два года сряду (1791 и 1792). Сочиненія свои, помѣщенные въ этомъ журналѣ, онъ выдалъ особою книжкой, подъ названіемъ: «Мои бездѣлки» (1794), въ подражаніе сборникамъ французскимъ и нѣмецкимъ, носившимъ скромные титулы «бездѣлокъ», «пустяковъ» и т. п. (*bagatelles, riens*)⁽¹⁾. Утомленный срочною журнальною работою, онъ перешелъ отъ нея къ изданію литературныхъ сборниковъ (альманаховъ), бывшихъ тогда въ большой модѣ, особенно у французовъ. Первый сборникъ—Аглая (2 ч., 1794)—наполненъ одними русскими сочиненіями, преимущественно самого издателя: Цвѣтокъ на гробѣ Агатона, Нѣчто о наукахъ и искусствахъ, Островъ Борнгольмъ, Аѳинская жизнь, Письма Мелодора къ Филарету и Филарета къ Мелодору, Илья Муромецъ, и др. Въ 1795 г. Карамзинъ редактировалъ смѣсь «Московскихъ Вѣдомостей», сообщая читателямъ разные мелкія піесы и отрывки, почему либо достойныя вниманія. Сюда входили анекдоты, мысли древнихъ и новыхъ философовъ, статьи изъ натуральной исторіи, краткія описанія малоизвѣстныхъ народовъ и мѣстъ, стихотворенія, свѣдѣнія о новыхъ иностранныхъ книгахъ. За Аглаей слѣдовали «Аониды или собраніе разныхъ новыхъ стихотвореній» (3 кн., 1796—99), по образцу стихотворныхъ сборниковъ, которые подъ именемъ календаря или альманаха Музъ (Аонидъ), ежегодно издавались за границей и пользовались большимъ успѣхомъ. Аониды наполнены піесами почти всѣхъ извѣстныхъ въ то время стихотворцевъ: Державина, Дмитріева, Хераскова, Капниста, Кострова, кн. Д. Горчакова, самого издателя. Въ 1798 г. вышелъ «Пантеонъ иностранной словесности» — сборникъ переводовъ съ французскаго, нѣмецкаго и другихъ языковъ. Въ томъ же году Карамзинъ задумывалъ похвальное слово Петру I. Мысли, долженствовавшія получить развитие въ этомъ панегирикѣ и сохранившіяся въ записной книжкѣ автора, любо-

⁽¹⁾ Изъ другихъ сочиненій и переводовъ Карамзина, напечатанныхъ въ этомъ журналѣ, получали въ послѣдствіи отдѣльныя изданія: «Мармонтеловы новыя повѣсти» (2 ч., 1794 и 1798), «Лизинъ прудъ» (1797), «Письма русскаго путешественника» (6 ч., 1797—1801).

пытны по своему отношенію къ послѣдующему его взгляду на преобразователя Россіи. Къ 1801 году относится «Пантеонъ россійскихъ авторовъ», содержащій въ себѣ краткія характеристики нашихъ писателей, отъ пѣвца Бояна до Ломоносова включительно ⁽¹⁾ и къ 1802 «Историческое похвальное слово Екатерины II».

Исчисленные труды доставили Карамзину почетную извѣстность: онъ сдѣлался любимцемъ читающей публики; для нѣкоторыхъ его сочиненій потребовались новыя изданія, а нѣкоторыя были переведены на нѣмецкій языкъ; въ московскомъ литературномъ кругу называли его «десятиникомъ русской литературы», а Хераскова «старостой»; зависть породила многихъ ему непріятелей, бросавшихъ въ него эпиграммами. Письма Каменева (автора баллады «Громвалъ») къ Москотильникову (переводчику «Освобожденнаго Іерусалима»), писанныя въ 1800 г., знакомятъ насъ съ тогдашнимъ положеніемъ Карамзина въ обществѣ. Каменевъ хвалитъ кроткій его нравъ, его доброту и привѣтливость, его начитанность и сужденія о разныхъ писателяхъ, и указываетъ его дружескія связи съ Тургеневымъ, бывшимъ въ то время директоромъ университетскаго пансіона, съ Лопухинымъ, Дмитриевымъ. Молодой, но уже знаменитый литераторъ былъ вполне доволенъ своею судьбою: въ 1801 г. онъ женился на дѣвушкѣ, которую давно зналъ и любилъ ⁽²⁾, отъ трудовъ своихъ онъ имѣлъ все нужное для жизни и не думалъ мѣнять авторскую дѣятельность на какую-либо другую. Въ 1802 г. положилъ онъ основаніе новому журналу: «Вѣстникъ Европы». Талантъ редактора обѣщалъ вѣрный успѣхъ изданію, которому благоприятствовало и самое состояніе общеевропейскихъ дѣлъ. Аміенскій миръ, успокоивъ умы, развязывалъ правительствамъ руки на внутреннее развитіе, на успѣхи наукъ и художествъ. Тѣмъ желательнѣе было это развитіе для русской державы, которою правилъ царь, готовый на реформы и нововведенія къ лучшему государственному устройству. Сознавая значеніе литературы, какъ общественной силы, Карамзинъ цѣлью своего журнала поставилъ «содѣйствовать нравственному образованію такого великаго и сильнаго народа, какъ россійскій, развивать новыя, лучшія идеи, питать душу моральными удовольствіями и сливать ее въ сладкихъ чувствахъ съ благомъ другихъ людей». Публика оказала ему лестное вниманіе, по свидѣтельству самого Карамзина, который тѣмъ не менѣе смотрѣлъ на свое дѣло, какъ на занятіе временное, переходное къ другому,

¹⁾ Въ послѣдствіи, при 3-мъ изданіи своихъ сочиненій, Карамзинъ прибавилъ еще нѣсколько характеристикъ.

²⁾ На Протасовой, сестрѣ жены Плещеева. — По смерти ея, вступилъ въ новый бракъ съ сестрой князя П. А. Вяземскаго.

представлявшему для него сильнѣйшій интересъ. Онъ задумалъ написать Русскую исторію, чтобы оставить добрую по себѣ память въ потомствѣ. Желаніе его исполнилось. Благодаря ходатайству М. Н. Муравьева, товарища министра народнаго просвѣщенія, получилъ онъ (1803) званіе историографа съ ежегодной пенсіей въ 2000 руб. Такимъ образомъ въ 1804 г. оканчивается первый, собственно-литературный періодъ его дѣятельности: онъ исключительно посвящаетъ свои труды исторической наукѣ, къ первымъ опытамъ которой относятся: «Похвальное слово Екатеринѣ», написанное по официальнымъ актамъ, выданнымъ ему отъ правительства, нѣсколько статей въ Вѣстникѣ Европы и повѣсти: «Наталья боярская дочь» и «Марѳа Посадница». Рѣшеніе было принято имъ неуклонно, такъ что онъ не позволялъ себѣ развлекаться ни литературой, столько имъ уважаемой, ни другими видами и побужденіями, столько приманчивыми для обыкновеннаго честолюбія. Онъ отказался отъ предложеній занять катедру, сдѣланныхъ ему, какъ члену московскаго университета, совѣтами университетовъ дерптскаго и харьковскаго (1803 и 1805), находя профессорскую должность «неблагопріятною для таланта» и трудно-совмѣстимою съ выполненіемъ той мысли, которая давно занимала его умъ и душу. Сочиненіе русской исторіи, достойной русскаго народа, достойной царствованія Александра, приняло въ его совѣсти силу внутренняго, непреложнаго обязательства, сдѣлалось задачею, подвигомъ, значеніемъ всей его жизни.

Письма Карамзина къ Муравьеву (1803 — 1807), которому онъ былъ обязанъ возможностью написать исторію, «не варварскую и не постыдную для царствованія Александра I», представляютъ отчетъ о постепенномъ движеніи работы. Сочувствуя полезному дѣлу, товарищъ министра облегчалъ его всѣми зависѣвшими отъ него средствами: испросилъ автору дозволеніе пользоваться рукописями монастырскихъ бібліотекъ и архива иностранной коллегіи, доставлялъ ему книги, какихъ нельзя было найти въ Москвѣ, рекомендовалъ его лицамъ, въ содѣйствіи которыхъ встрѣчалась надобность. Достойный примѣръ покровительства, исходящаго изъ той мысли, что появленіе дѣльнаго ученаго труда занимаетъ, какъ выразился Карамзинъ, уважительное «мѣсто въ системѣ государственнаго управленія». А. И. Тургеневъ, сынъ извѣстнаго дѣятеля въ Новиковскомъ кругу, съ своей стороны оказывалъ большую помощь историку: онъ былъ посредникомъ между нимъ и тѣми лицами, которыя въ то время, въ Петербургѣ и за границую, занимались изслѣдованіями по русской исторіи⁽¹⁾. Черезъ него Карамзинъ сносился съ ака-

⁽¹⁾ Письма Карамзина къ Тургеневу, съ 1806 по 1825, въ Москвит. 1855, №№ 1, 23 и 24.

деями: Кругомъ и Лербергомъ, получалъ рѣдкія книги и рукописи, узнавалъ о новыхъ историческихъ сочиненіяхъ, выходившихъ въ чужихъ краяхъ. Преданность многосложному труду не оставляла Карамзину времени для литературы⁽¹⁾, но онъ внимательно слѣдилъ за ходомъ государственныхъ реформъ въ отечествѣ. Новые законы и учрежденія, быстро слѣдуя одни за другими, не могли не возбуждать вниманія образованныхъ москвичей, какими, напримеръ, кромѣ самого Карамзина, были гр. Ѳ. В. Растопчинъ и Ю. А. Нелединскій-Мелепскій. Безъ сомнѣнія, они разсуждали о томъ, что дѣлалось въ высшихъ правительственныхъ сферахъ. Древнія судьбы Россіи не заслоняли отъ историка ея современнаго положенія; напротивъ, тѣмъ охотнѣе направлялась его мысль къ сличенію прошлаго съ настоящимъ, чтобы на основаніи перваго судить о характерѣ втораго. Знакомство съ великой княгиней Екатериной Павловной, отличавшейся умомъ и любознательностію, доставило ему новый поводъ къ бесѣдамъ о томъ, что въ Петербургѣ задумывалось по мысли Царя и его совѣтниковъ для лучшаго государственнаго устройства⁽²⁾. Она вела съ нимъ переписку⁽³⁾ и нерѣдко приглашала его въ Тверь, гдѣ имѣлъ пребываніе супругъ ея, принцъ Ольденбургскій. Здѣсь онъ былъ представленъ Государю, который уже зналъ его по сочиненіямъ; здѣсь читалъ ему (1811) нѣкоторыя мѣста изъ исторіи, о чемъ упоминается въ посвященіи книги; здѣсь же (1811) великая княгиня вручила своему державному брату написанную, по ея желанію, «Записку о древней и новой Россіи», излагающую взгляды Карамзина на дѣла вѣшной политики и внутренняго управленія. Рѣзкая, хотя и благонамѣренная, критика того, что было совершено въ Россіи въ первое десятилѣтіе XIX в., не понравилась Государю, но вскорѣ онъ оцѣнилъ нелестный⁽⁴⁾ голосъ подданнаго, движимаго любовью къ отечеству и преданностію къ престолу, и временное недовольство смѣнилось постояннымъ благоволеніемъ. Государь даже имѣлъ мысль назначить его статсъ-секретаремъ при своей особѣ на время войны съ Наполеономъ, и только по особымъ обстоятельствамъ выборъ его

¹⁾ Только по случаю указа о милліціи (1806) Карамзинъ написалъ «Письма жонковъ», да въ 1814 г. оду: «Освобожденіе Европы и слава Александра I».

²⁾ Великою княгиней, принцесса Ольденбургская, называла Карамзина своимъ учителемъ, такъ какъ онъ выправлялъ ея переводы и другія упражненія въ русскомъ языкѣ.

³⁾ Съ 1810 по 1818 г. (напеч. въ «Новѣд. сочиненіяхъ Карамзина, т. I»).

⁴⁾ Эпиграфъ къ «Запискѣ»: «Нѣсть лести въ языкѣ моемъ» (Псал. 138, ст. 4). Напеч. въ Рус. Архивѣ 1870 г.

палъ на Шлшкова. Нашествіе французовъ прервало работу Карамзина. Послѣдніе мѣсяцы 1812 и первую половину 1813 г. онъ провелъ съ своимъ семействомъ въ Нижнеѣ-Новгородѣ⁽¹⁾. Воротаясь въ Москву, онъ ничѣмъ уже не отвлекался отъ усиленныхъ занятій: великая княгиня, по смерти своего супруга (1813), отправилась за границу, а потомъ жила въ Петербургѣ до своего втораго замужства⁽²⁾. Изъ писемъ его къ брату⁽³⁾ видно, что въ 1815 г. у него было готово восемь томовъ, которые онъ и рѣшился выдать въ свѣтъ, отмѣнивъ прежнее намѣреніе не печатать ни одной строки своей исторіи до тѣхъ поръ, пока она не будетъ доведена до вступленія на престолъ дома Романовыхъ. По званію исторіографа, Карамзинъ почиталъ долгомъ представить двѣнадцатилѣтній трудъ свой лично Государю, чтобы «Исторія Государства Россійскаго», посвященная его имени, явилась въ пубliku съ его собственнаго одобренія и подъ его высокимъ покровомъ. Съ этою цѣлью онъ отправился въ Петербургъ (1816)⁽⁴⁾. Любопытны письма его, писанныя отсюда къ женѣ⁽⁵⁾. Литераторы и правительственные лица съ разными чувствами встрѣтили москвича, который хотя не имѣлъ никакого участія въ администраціи, но понималъ, что дѣлалось въ Россіи, и судилъ о томъ откровенно, съ извѣстной точки зрѣнія. Если многіе изъ первыхъ видѣли въ немъ либеральнаго нововводителя, то нѣкоторые между вторыми разумѣли его, какъ сторонника отсталыхъ идей въ политикѣ. Самого Сперанскаго, противъ котораго главнѣйшимъ образомъ направлена «Записка о древней и новой Россіи», не было въ столицѣ, но были другіе, на глаза которыхъ реформаторъ въ словесности отсталъ отъ вѣка по своимъ понятіямъ о реформахъ государственныхъ. Инымъ казался онъ выше, а инымъ ниже составленнаго о немъ мнѣнія. Академикъ Кругъ нашелъ его ученіе, чѣмъ предполагалъ; политико-экономъ Шторхъ признавался, что слышалъ отъ него «новыя и сильныя вещи». Вообще же пріемомъ петербургскихъ жителей Карамзинъ остался вполне доволенъ: «здѣсь», писалъ онъ, «всѣ, кромѣ Кутузова и кн. Шаховскаго, сыплютъ на меня цвѣты». Онъ по-

¹⁾ Московскій пожаръ истребилъ его бібліотеку, но рукописи уцѣлѣли въ Остафьевѣ, родовомъ помѣстьѣ князя Вяземскаго, на дочери котораго онъ женился въ 1804 г.

²⁾ Въ 1816 г. она вышла за короля Виртембергскаго; скончалась въ 1818 г.

³⁾ Александру Михайловичу, котораго онъ особенно любилъ и уважалъ. Письма нап. въ Атенѣ 1858 (ЖН 19—28).

⁴⁾ Карамзинъ, сверхъ чаянія, прожилъ въ Петербургѣ 50 дней, почему и называлъ это время «петербургской пятидесятницей».

⁵⁾ Нап. въ I т. «Неизд. сочиненій и переписки К—на».

знакомился съ Шашковымъ, правдивымъ, честнымъ, «незловивымъ какъ голубь». Державинъ устроилъ для него обѣдъ, желая свести его съ членами «Бесѣды». Но не въ эту сторону склонялся Карамзинъ: лучшее себѣ развлеченіе находилъ онъ въ кругу даровитой и образованной молодежи (Блудова, Дашкова, Уварова, Тургеневыхъ, кн. Вяземскаго и др.), — той самой, что за годъ до того устроила литературное общество «Арзамасъ», въ противоположность серьезной «Бесѣдѣ». «Здѣсь не знаю ничего умнѣе «Арзамасцевъ», писалъ Карамзинъ: «съ ними бы жить и умереть... Вотъ истинная русская Академія! Жаль только, что она не въ Москвѣ или не въ Арзамасѣ». Обѣ императрицы, Елизавета Алексѣевна и Марія Ѳеодоровна, и великіе князья обласкали Карамзина и слушали чтеніе его исторій. Графъ Аракчеевъ, пожелавшій съ нимъ познакомиться, вызвался ускорить исходъ дѣла, для котораго Карамзинъ собственно пріѣхалъ въ Петербургъ, «замолвить за него слово Государю». Вскорѣ послѣ того Государь принялъ Карамзина, долго бесѣдовалъ съ нимъ, наградилъ его чиномъ статскаго совѣтника и орденомъ св. Анны 1-ой степени и приказалъ выдать ему изъ Кабинета 60,000 руб. на печатаніе исторій ⁽¹⁾.

Въ 1816 г. Карамзинъ съ семействомъ переселился въ Петербургъ, гдѣ думалъ остаться на годъ или на два, пока издастъ восемь томовъ Исторій. Онъ вовсе не имѣлъ мысли покинуть Москву навсегда. Изъ писемъ его видно, въ какомъ меланхолическомъ расположеніи онъ находился не только первое время по переѣздѣ, но и въ послѣдствіи, какъ скучалъ и рвался на прежнее мѣсто, желая тамъ кончить жизнь. «Ласка двора къ намъ необыкновенная», удивлялъ онъ брата; «за всѣмъ тѣмъ сильно грущу. Мое положеніе могло бы восхитить молодаго человѣка, а я старъ и мраченъ духомъ.... Веселья для меня уже нѣтъ на свѣтѣ». — «Москва у меня въ сердцѣ», писалъ онъ Малиновскому; «кажется, что мнѣ лучше провести остатокъ жизни тамъ же, гдѣ я провелъ молодость, въ любви семейственной и дружеской... Не могу изобразить вамъ, какъ мнѣ бываетъ тяжело и грустно. Чувствую, что я не созданъ для здѣшней жизни и что мнѣ оставалось бы доживать свой вѣкъ въ уединеніи, съ вами, моими немногими друзьями московскими. Можетъ быть, я сдѣлалъ ошибку: да будетъ воля Божія» ⁽²⁾.

¹⁾ Что Карамзинъ былъ обязанъ гр. Аракчееву скорѣйшимъ окончаніемъ дѣла, это видно изъ письма его къ женѣ (1816 марта 16): «вѣроятно, Аракчеевъ говорилъ обо мнѣ съ императоромъ».

²⁾ Письма Карамзина къ Алексѣю Ѳеодоровичу Малиновскому и Письма Грибо-

Черезъ полтора года по переѣздѣ Карамзина въ Петербургъ, вышли восемь томовъ его «Исторіи государства російскаго» (1816—1818). Въ 25 дней было продано 3000 экземпляровъ: дѣло безпримѣрное въ нашей книжной торговлѣ. «Появленіе этой книги», разсказываетъ А. Пушкинъ въ своихъ запискахъ, «надѣлало много шуму и произвело сильное впечатлѣніе. Всѣ, даже свѣтскія женщины, бросились читать исторію своего отечества, дотошъ имъ неизвѣстную. Она была для нихъ новымъ открытіемъ. Древняя Россія, казалось, была найдена Карамзиннымъ, какъ Америка Колумбомъ. Нѣсколько времени ни о чемъ иномъ не говорили, хотя многіе толки были такого свойства, что могли отучить всякаго отъ охоты къ славѣ». Печатаніе втораго изданія, проданнаго книгопродавцу Сленину за 50,000 рублей, снова удержало автора въ Петербургѣ: онъ жилъ, какъ и прежде, «особнякомъ» съ женою, съ дѣтьми и съ типографіями. «Изданіе идетъ такъ медленно», писалъ онъ друзьямъ своимъ, «что не скоро могу раздѣлаться съ Петербургомъ... Какъ еще далеко отъ меня любезная Москва!»

Царская фамилія оказывала постоянныя милости и ласки Карамзину. Благоволеніе къ нему Александра равнялось его чистой, безкорыстной преданности престолу. Никогда, быть можетъ, не выражались съ такимъ достоинствомъ взаимныя отношенія двухъ лицъ, такъ далеко стоявшихъ другъ отъ друга по своему положенію. Подданный не искалъ у Государя никакихъ для себя благъ, и Государь цѣнилъ эту независимую къ себѣ любовь подданнаго. Нѣсколько разъ было ему предлагаемо мѣсто министра народнаго просвѣщенія, но онъ постоянно отъ него отказывался, довольствуясь титуломъ исторіографа и личнымъ благоволеніемъ къ нему Государя. «Я привязанъ къ Нему болѣе, чѣмъ когда либо», писалъ Карамзинъ гр. Каподистріи (1825), «не помышляя ни о какихъ особенныхъ милостяхъ, ни о какомъ вліяніи, т. е. ни мало не тревожась тѣмъ, что не имѣю нѣкакого вліянія¹⁾. Государь часто видался съ Карамзинымъ. Лѣтомъ онъ почти ежедневно бесѣдовалъ съ нимъ въ большой аллеѣ царскосельскаго сада, которую прозвалъ своимъ зеленымъ кабинетомъ. «Исторія государства російскаго» печаталась безъ цензуры; цензоромъ былъ самъ Государь: онъ просматривалъ ее въ рукописи, которая посылалась къ

ѣдова къ Стенуу Никитичу Бѣгичеву (1860). Малиновскій былъ сенаторомъ и управлялъ Московскимъ архивомъ иностранныхъ дѣлъ. Въ Письмахъ къ И. Дмитріеву (1866) выражается тоже чувство и постоянное наклоненіе воротиться въ Москву и окончить тамъ свою жизнь.

¹⁾ Писано на фран. яз. въ Невзд. соч., т. I; русскій переводъ въ соч. Жуковскаго.

нему и въ то время, когда онъ уѣзжалъ за границу. Такъ онъ читалъ царствованіе Ѳедора Ивановича на пути въ Верону (1822) и, возвращая тетради, писалъ автору: «Если послѣ сего чтенія встрѣтилъ бы я васъ, на прогулкѣ нашей ежедневной въ Царскомъ Селѣ, то, можетъ быть, дозволилъ бы я себѣ войти съ вами въ разсужденіе о трехъ или четырехъ выраженіяхъ, возбуждавшихъ нѣкое сомнѣніе во мнѣ о ихъ правильности⁽¹⁾. Нѣкоторые примѣчанія Государа совѣтовали Карамзину смягчить отзывы о Польшѣ. Карамзинъ отвѣчалъ на это (1824): «Слѣдуя Вашему замѣчанію, я съ особеннымъ вниманіемъ просмотрѣлъ тѣ мѣста, гдѣ говорится о полякахъ, союзникахъ Лжедмитрія: нѣтъ, кажется, ни слова обиднаго *для народа*; описываются только худыя дѣла *миръ*, и такъ, какъ сами польскіе историки описывали ихъ или судили. Я не щадилъ и Русскихъ, когда они злодѣйствовали или сражались. Употребляю предпочтительно имя *Ляховъ* для того, что оно короче, пріятнѣе для слуха, и въ сіе время (т. е. въ XVI или XVII вѣкѣ) обыкновенно употреблялось въ Россіи»⁽²⁾. Первые три главы XII-го тома были читаны Государемъ въ 1825 году, на возвратномъ пути изъ Варшавы въ Царское Село. Наконецъ другія главы того же тома служили послѣднимъ чтеніемъ Императора Александра I: рукопись, присланная изъ Таганрога по кончинѣ Государа, была возвращена автору не задолго до его смерти. Награжденный чиномъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника (1824), историкъ отвѣчалъ на извѣщеніе слѣдующимъ письмомъ: «Въ лицѣ историографа [приношу Вашему Императорскому Величеству всеподданнѣйшую благодарность за чинъ, которымъ Вы хотѣли изъяснить *для публики* вниманіе къ трудамъ, небезполезнымъ, можетъ быть, и въ государственномъ смыслѣ»⁽³⁾. Смерть Государа поразила Карамзина глубокою горестью, которую онъ изливалъ въ письмахъ и къ брату и къ И. И. Димитріеву. «Александра», писалъ онъ первому, «любилъ я какъ человѣка, какъ искренняго, добраго, милаго пріятеля, если смѣю такъ сказать: онъ самъ называлъ меня своимъ *искреннимъ*. Его величіе и слава, конечно, давали этой связи еще особенную для меня прелесть. Не думалъ я пережить его и надѣялся оставить въ немъ покровителя моимъ дѣтямъ. Да будетъ воля Божія! Привязанность моя къ нему осталась безкорыстною»⁽⁴⁾. «Мнѣ

⁽¹⁾ Переписка Карамзина съ Императоромъ Александромъ I (1822—25) въ 1 т. Невзд. Соч.

⁽²⁾ Ib. стр. 28—29 (письма 6 и 8).

⁽³⁾ Ib. стр. 31 (письмо 11, служащее отвѣтомъ на письмо Государа подъ № 10).

⁽⁴⁾ Атеней, 1858, № 28, стр. 117.

хочется болѣе плакать, нежели писать о немъ», говоритъ онъ въ одной изъ бумагъ, оставленныхъ сыновьямъ. «Я любилъ его искренно и нѣжно, любилъ человека, красу человѣчества своимъ великодушiемъ, милосердiемъ, незлобiемъ рѣдкимъ. Не боюсь встрѣтиться съ Нимъ на томъ свѣтѣ, о которомъ мы такъ часто говорили, оба не ужасаясь смерти, оба вѣря Богу и добродѣтели⁽¹⁾».

Однакожъ не смотря на такія близкія отношенія подданнаго къ монарху, слова Карамзина, что онъ не имѣлъ никакого вліянія, остаются въ своей силѣ. Ходатайство его по дѣламъ частныхъ лицъ, конечно, уважалось. Такъ, между прочимъ, онъ обратилъ благотворное вниманіе Государя на судьбу семейства Новикова; также точно А. И. Тургеневъ былъ обязанъ ему тѣмъ, что остался на службѣ, послѣ увольненія своего отъ должности директора департамента духовныхъ дѣлъ, и получалъ полное жалованье⁽²⁾. Но относительно предметовъ государственныхъ, о которыхъ онъ бесѣдовалъ съ Александромъ, десятилѣтняя милость и довѣренность вѣнценосца, какъ онъ самъ выразился, остались безплодны. Государь, большею частію, не слѣдовалъ его совѣтамъ, хотя всегда выслушивалъ ихъ кротко, терпѣливо, съ неизъяснимою любезностью. Въ 1819 г., по поводу намѣренія Государя возстановить Польшу въ ея цѣлости (въ предѣлахъ до перваго ея раздѣла), Карамзинъ читалъ ему свою записку, подъ названіемъ «Мнѣніе русскаго гражданина»⁽³⁾, въ которой объяснялъ, что «возстановленіе Польши будетъ паденіемъ Россіи». Въ «Новомъ прибавленіи для потомства»⁽⁴⁾, написанномъ чрезъ шесть лѣтъ послѣ Записки, Карамзинъ замѣтилъ: «правда, Россія удержала свои польскія области; но болѣе счастливыя обстоятельства, нежели мои слезныя убѣжденія, спасли Александра отъ дѣла равно бѣдственнаго и несправедливаго: по крайней мѣрѣ такъ сказалъ онъ мнѣ въ ноябрѣ 1824 года»⁽⁵⁾. Были и другіе важныя предметы, о которыхъ Карамзинъ велъ разговоры съ Государемъ, стараясь своими мнѣніями подѣйствовать на его волю: «я не безмолвствовалъ», говоритъ онъ, «о налогахъ въ мирное время, о нелѣпой Г...⁽⁶⁾ системѣ финансовъ, о грозныхъ военныхъ поселеніяхъ, о странномъ выборѣ нѣкоторыхъ важнѣйшихъ сановниковъ, о мини-

¹⁾ Ненад. сочин., ч. I, стр. 12.

²⁾ Письмо къ Тургеневу (1824). Москвит. 1855, №№ 23 и 24.

³⁾ Она извѣстна также подъ именемъ «Записки о Польшѣ» (нап. въ Ненад. соч.).

⁴⁾ Стр. 11.

⁵⁾ Ib. стр. 11.

⁶⁾ Министра финансовъ, Гурьева.

стерствѣ просвѣщенія или затмѣнія⁽¹⁾, о необходимости уменьшить войско, о мнимомъ исправленіи дорогъ, столь тягостномъ для народа, наконецъ о необходимости имѣть твердые законы, гражданскіе и государственные⁽²⁾. Бесѣды Карамзина съ Императоромъ, съ глазу на глазъ, продолжавшіяся иногда по нѣскольку часовъ сряду, выказали въ немъ неизмѣнно-твердый патріотизмъ, такъ что онъ записку свою о Польшѣ, угрожавшую ему царскою немилостью, не безъ причины назвалъ «мнѣніемъ русскаго гражданина» и имѣлъ право обратиться къ потомству съ такими словами: «Потомство! достоинъ ли я былъ имени гражданина русскаго? любилъ ли отечество? вѣрилъ ли добродѣтели? вѣрилъ ли Богу?... Я не зналъ нужды по своей бережливости и по милости Божіей, но не имѣлъ достатка, имѣя многочисленное семейство, безъ способовъ воспитывать дѣтей, какъ бы мнѣ хотѣлось⁽³⁾».

По смерти Александра, Карамзинъ намѣревался, кончивъ 12-й томъ Исторіи, удалиться отъ двора, въ Москву или въ нѣмецкую землю, для воспитанія сыновей, такъ какъ ученіе въ Петербургѣ и труднѣе, и дороже. Болѣзненные припадки стали чаще задерживать его работу. Силы его слабѣли, меланхолія увеличивалась. Письмо къ Каподистрії (1825) трогательнымъ образомъ знакомитъ насъ съ тѣмъ состояніемъ, въ какомъ находился Карамзинъ не задолго до кончины Государя и за годъ до своей собственной смерти; оно же показываетъ, что историкъ ясно сознавалъ достоинства своего характера и свои заслуги передъ отечествомъ:

Мои скопляющіеся годы, шаткость моего здоровья, печальныя обстоятельства, насъ разлучающія и которымъ конца не вижу, все это заставляетъ меня думать, что прошедшее для меня уже не возвратится. Но въ утѣшеніе себѣ говорю: «Хотя онъ и далеко, но онъ объ насъ помнитъ: а мы безсмертны. Соединеніе душъ не прекращается съ жизнію матеріальною: пережившій сохраняетъ воспоминаніе; отшедшій, быть можетъ, болѣе выигрываетъ, нежели теряетъ. Земные путешественники слишкомъ разсѣянны: имъ нѣтъ досуга заботиться о дружбѣ; не прежде, какъ бросивъ свой посохъ, мы можемъ предаться вполне привязанностямъ своего сердца; тогда растерянное во времени будетъ отыскано въ вѣчности.»—Такіе разговоры съ самимъ собою занимаютъ меня теперь гораздо болѣе всѣхъ разговоровъ въ обществѣ: они сохраняютъ теплоту моей души, которая мнѣ еще нужна для моего милаго семейства, для моихъ друзей, для моей Исторіи, подвигающейся къ окончанію (даръ отъ меня

¹⁾ Разумѣется управленіе Шинкова, въ 1824 г. замѣстившаго князя А. Голицына.

²⁾ Невзх. соч., стр. 11 и 12.

³⁾ «Для потомства» (Невзх. соч. I, стр. 9).

потомству, если оно его приметъ; если же нѣтъ, то нѣтъ). Такъ! я старѣюсь, не угасая (быть можетъ придетъ и то). О! какъ я люблю еще моихъ товарищей путешествія! какъ трогаетъ меня ихъ бѣдная участь! какъ вся душа моя полна жалости для столькихъ близкихъ, для столькихъ народовъ!...

Мы на сихъ дняхъ перѣехали въ Петербургъ изъ Царскаго Села, гдѣ прожили болѣе двухъ мѣсяцевъ въ ненарушимомъ уединеніи: какъ далеко была отъ меня скука въ тѣ минуты, когда я не страдалъ физически! Сколько глубокихъ наслажденій находилъ я въ этомъ ежедневномъ досугѣ, въ кругу моего семейства, иногда одинъ совершенно. Работа, чтеніе, осеннія, не рѣдко ночныя прогулки имѣли для меня прелесть неизъяснимую. Не слишкомъ боясь смерти, иногда смотря на нее съ какимъ-то радушіемъ и любя повторять съ Ж. Ж. Руссо, что *засыпающій на рукахъ отца беззаботенъ о своемъ пробужденіи*, я допиваю по каплямъ сладкое бытіе земное; я радуюсь имъ по-своему, непримѣтно для зависти. Подходя къ концу жизни, я благодарю Бога за все, что Онъ мнѣ даровалъ въ ней; можетъ быть ошибаюсь, но совѣсть моя спокойна; милое отечество ни въ чемъ не упрекаетъ меня; я всегда былъ готовъ служить ему, сохраняя достоинство своего характера, за который ему же обязанъ отвѣтствовать: и что же? я могъ описать одни только варварскія времена его Исторіи; меня не видали ни на полѣ сраженія, ни въ совѣтахъ государственныхъ; зная однако, что я не трусъ и не лѣнivecъ, говорю самому себѣ: «такъ было угодно Богу», и, не имѣя смѣшной авторской спеси, вхожу не стыдясь въ общество нашихъ генераловъ и нашихъ министровъ.

Какъ бы предчувствуя, что съ окончаніемъ историческаго труда приближается и смерть, Карамзинъ писалъ Дмитріеву (1826):

Списываю вторую главу Шуйскаго: еще главы три съ обозрѣніемъ до нашего времени, и поклонъ всему міру, не холодный, но съ движеніемъ руки на встрѣчу потомству, ласковому или спесивому, какъ ему угодно. Признаюсь, желаю довершить съ нѣкоторою полнотою духа, правотою сердца и воображенія. Близко, близко, но еще можно не доплыть до берега. Жаль, если захлебнусь съ перомъ въ рукѣ до пункта, или перо выпадетъ изъ руки отъ какого нибудь удара. Но да будетъ воля Божія¹⁾.

Собираясь, по настоянію врачей, въ Италію и затрудняясь въ средствахъ ѣхать туда и жить внѣ отечества, Карамзинъ желалъ занять мѣсто повѣреннаго въ дѣлахъ, если бы оно открылось. Онъ обратился съ просьбой о томъ къ Императору Николаю I. Государь, принявъ живѣйшее участіе въ возстановленіи его здоровья, повелѣлъ изготovitъ фрегатъ, который долженъ былъ отвезти его въ Марсель. При этомъ Карамзинъ получилъ слѣдующій высочайшій рескриптъ:

Николай Михайловичъ!

Разстроенное здоровье ваше принуждаетъ васъ покинуть на время отечество и искать благопріятнѣйшаго для васъ климата.

¹⁾ Атеней 1868, стр. 118.

Почитаю за удовольствіе изъявить вамъ мое искреннее желаніе, чтобъ вы скоро къ намъ возвратились съ обновленными силами и могли снова дѣйствовать для пользы и чести отечества, какъ дѣйствовали донинѣ. Въ то же время, и за покойнаго Государа, знавшаго на опытъ вашу благородную, безкорыстную къ Нему привязанность, и за Себя Самого, и за Россію, изъявляю вамъ признательность, которую вы заслуживаете и своею жизнію какъ гражданинъ, и своими трудами какъ писатель. Императоръ Александръ сказалъ вамъ: Русскій народъ достоинъ знать свою Исторію. Исторія, вами написанная, достойна Русскаго народа.—Исполняю то, что желалъ, чего не успѣлъ исполнить братъ Мой. Въ приложенной бумагѣ найдете вы изъявленіе воли Моей, которая, будучи съ Моей стороны одною только справедливостію, есть для Меня и священное завѣщаніе Императора Александра. Желаю, чтобы путешествіе было вамъ полезно и чтобы оно возвратило вамъ силы, для довершенія главнаго дѣла вашей жизни.

Николай.

Въ приложенномъ къ рескрипту указѣ повелѣно было производить Карамзину, по случаю его отъѣзда за границу для излеченія, по 50 тысячъ руб. въ годъ съ тѣмъ, чтобы сія сумма, обращаемая ему въ пенсію, послѣ него была производима сполна его женѣ, а по смерти ея также сполна и дѣтямъ, — сыновьямъ до вступленія всѣхъ ихъ на службу, а дочерямъ до замужества послѣдней изъ нихъ.

Но Карамзинъ уже не былъ въ силахъ покинуть отечество: онъ умеръ 22 мая 1826 и похороненъ въ Александроневской Лаврѣ. На надгробномъ его камнѣ вырѣзаны слова: «Блажени чистіи сердцемъ». Въ Симбирскѣ воздвигнуть ему памятникъ 1845 г.

Карамзинъ принадлежитъ къ числу самыхъ достопамятныхъ людей русской земли. Память его священна для каждаго изъ насъ. Онъ, первый, своимъ талантомъ, образованностью и нравственными качествами возвысилъ званіе литератора въ нашемъ отечествѣ. Не обладая гениемъ Ломоносова и Пушкина, онъ не имѣлъ и тѣхъ недостатковъ, которые равно предосудительны какъ въ гениальныхъ людяхъ, такъ и въ обыкновенномъ смертномъ. Лучшія стороны европейской цивилизаціи выказывались въ немъ достойнѣе, чѣмъ онъ выказываются многими изъ великихъ ученыхъ и первоклассныхъ поэтовъ. Во всѣхъ своихъ дѣлахъ и мнѣніяхъ онъ руководствовался чистыми побужденіями. Можно было не соглашаться съ его образомъ мыслей; но нельзя было сомнѣваться въ благородствѣ души его: оно стояло внѣ всякой критики. Какъ писатель, онъ имѣлъ враговъ; какъ характеръ, онъ пользовался общимъ

уваженіємъ. Никому не далъ онъ повода заподозрить себя во лжи, зависти, лицемеріи, искательствахъ. Никогда онъ не старался извлекать лично для себя выгоды изъ своего положенія, которымъ другой на его мѣстѣ не преминулъ бы воспользоваться всѣми силами и мѣрами. Онъ имѣлъ право гордиться своею независимостію, сказавъ, что «завоевалъ ее миромъ совѣсти и довѣренностію къ провидѣнію». Его отношенія къ людямъ отличались постояннымъ благорасположеніемъ, которое онъ самъ называлъ «добродѣтелью общежитія, слѣдствіемъ утонченнаго человѣколюбія». Онъ почиталъ своимъ долгомъ оказывать привѣтъ и ласку кому бы то ни было. Каждый, имѣвшій съ нимъ дѣло, получалъ выгодное о немъ мнѣніе. Въ обращеніи Карамзина не замѣчалось даже того, что объясняется выходками дурнаго расположенія духа и что такъ непріятно дѣйствуетъ на окружающихъ насъ людей. Письма Каменева, Записки К. Калайдовича и Вигеля, и многія другія свидѣтельства согласно говорятъ о его благодущіи и гуманности, этихъ наилучшихъ украшеній чловѣка. Скромность, его отличавшая, не мѣшала ему сознавать свои достоинства и доблестныя заслуги. Это благородное сознаніе позволяло ему безъ стыда входить въ общество генераловъ и сановниковъ; оно же побудило его сказать въ письмѣ къ женѣ: «я ничто передъ лицомъ Бога, но открыто и смѣло смотрю въ глаза людямъ».

Приводимъ слѣдующія строки изъ превосходнаго изображенія доблестной личности Карамзина:

«Значеніе Карамзина не исчерпывается его литературными заслугами, какъ ни важны онѣ, не исчерпываются даже и великимъ трудомъ его жизни, «Исторіей Государства Россійскаго». Карамзинъ дорогъ для насъ не тѣмъ только, что онъ сдѣлалъ, но и тѣмъ онъ былъ. Въ исторіи нашего юнаго образованія онъ представляетъ собою одинъ изъ самыхъ привлекательныхъ типовъ, въ которомъ гармонически сочеталось все, что только можетъ быть сочувственно и дорого для просвѣщеннаго и мыслящаго русскаго чловѣка. Въ немъ все пополняется одно другимъ и нѣтъ ничего, что искупалось бы какимъ-либо печальнымъ недостаткомъ: въ немъ все поднимаетъ ваше чувство и ничто не роняетъ его; какъ бы вы ни подошли къ нему и чего бы вы ни затребовали, вездѣ и во всемъ, много-ли, мало-ли онъ дастъ вамъ, но нигдѣ онъ у васъ ничего не отниметъ, нигдѣ и ни въ чемъ не оскорбитъ васъ. Для нашихъ поколѣній, посреди броженія умовъ и сбивчивости направленій, типическій образъ Карамзина не только привлекателенъ, но и весьма поучителенъ.

«Онъ былъ Русскій не только по рожденію, но и по чувству; всю жизнь свою и дѣятельностію, столь плодотворною, принадлежалъ онъ Россіи. Но въ своемъ качествѣ Русскаго, онъ былъ чловѣкъ и ничто чловѣческое не считалъ себя чуждымъ; онъ былъ сынъ всемірной цивилизаціи. Качество Русскаго и качество Европейца не были въ немъ дву-

ия чуждыми, другъ друга не знавшими силами, или двумя противными тяготѣніями; они не только не ссорились въ немъ, не только не отнимали другъ у друга мѣста, но были, какъ и слѣдуетъ, одною и тою же силой, и онъ былъ весь Русскій въ своемъ европейскомъ качествѣ, онъ былъ весь Европеецъ въ своемъ русскомъ чувствѣ. Онъ сходилъ во глубины нашего прошедшаго, изъ забытыхъ архивовъ воскресилъ онъ для русскаго народа память его давняго, темнаго минувшаго; но онъ остался сыномъ своей эпохи, и корни прошедшаго любилъ онъ въ цвѣтѣ настоящаго. Никто изъ его сверстниковъ не сдѣлалъ такъ много для русской народности, но онъ не былъ доктринеромъ какой-либо народной школы. Кто болѣе его любилъ Россію, кто былъ ревнивѣе къ ея достоинству, величію и чести? Въ комъ чище и сильнѣе горѣло святое пламя патріотизма? И однако никто изъ современныхъ ему дѣятелей не былъ болѣе его предметомъ сѣйной вражды доктринеровъ народности, полагавшихъ ея силу въ скованныхъ ими самими «шаронихахъ» и «мокроступахъ». Въ немъ жило на все отзывавшееся поэтическое чувство, и въ тоже время онъ былъ высоко одаренъ здравымъ смысломъ дѣйствительности, и воображеніе мирилось въ немъ съ ясностію трезваго разума. Въ вѣкъ вольнодумства и отрицанія онъ былъ христіанинъ, искренно и глубоко убѣжденный, но религиозное чувство было свободно въ немъ отъ фанатизма и нетерпимости, и онъ умѣлъ отличать существенное отъ случайнаго, внутреннее отъ внѣшняго. Человѣкъ свѣтскаго образованія, онъ являетъ собою поучительный примѣръ постоянного, упернаго и усидчиваго труда; не будучи ученымъ, ни по приготовленію, ни по призванію, онъ въ себѣ являетъ намъ образецъ изслѣдователя, который не останавливается предъ трудностями, и это въ то время, когда дѣло науки въ Россіи было еще такъ скудно и слабо. Онъ былъ писатель, доводившій свое выраженіе до классической оконченности. Онъ былъ политическимъ дѣятелемъ, хотя и не находился на официальныхъ поприщахъ государственной службы. Не смотря на то, что его время представляло мало условій для политическаго образованія, онъ обладалъ удивительно зрѣлымъ политическимъ умомъ, который онъ воспиталъ и укрѣпилъ своими историческими изученіями. Онъ не былъ придворнымъ, но находился въ самыхъ близкихъ, можно сказать дружескихъ отношеніяхъ къ членамъ царской семьи и къ самому Государю, который съ нимъ переписывался. Его переписка съ Императоромъ Александромъ Павловичемъ, Императрицею Елизаветою Алексѣевою и великою княгиней Екатериною Павловною исполнена удивительной искренности, простоты и человѣчности. И, конечно, изъ числа людей, самыхъ приближенныхъ къ Императору, никто не былъ преданъ ему болѣе Карамзина, но никакого раболѣбства ни въ дѣйствіяхъ, ни въ словахъ его. Чувство подданнаго въ Карамзинѣ, этомъ свѣтломъ представителѣ нашей народности, не было чувствомъ раба. Благоговѣя предъ святынею верховной власти, глубоко чувствуя и ясно разумѣя силу семейныхъ, общественныхъ и государственныхъ уставовъ, Карамзинъ представляетъ собою образецъ характера въ высокой степени независимаго и благороднаго. Онъ разумѣлъ всю цѣну порядка, но точно также понималъ онъ и цѣну свободы, и одно понималъ въ другомъ. Никто болѣе его не былъ чуждъ того поверхностнаго и пошлаго либерализма, который служитъ вѣрнымъ признакомъ умственной незрѣлости людей и политической незрѣлости обществъ; за то и никто болѣе его не обладалъ тѣмъ святымъ инстинктомъ свободы,

безъ котораго человекъ не можетъ имѣть никакого нравственнаго достоинства. Независимость его характера восходила до гражданскаго мужества» (1).

§ 2. Изъ исчисленныхъ литературныхъ трудовъ Карамзина, въ «Московскомъ журналѣ» впервые выказалась самостоятельная его дѣятельность; важнѣйшимъ же отдѣломъ этого изданія служили заграничныя письма издателя.

Путешествіе было давнему, пріятнѣйшему мечту Карамзина. Живучи въ Москвѣ съ Петровымъ, онъ началъ писать романъ и хотѣлъ въ воображеніи объѣздить именно тѣ земли, которыя дѣйствительно пришлось ему посѣтить. Въ одномъ письмѣ исчислены удовольствія и польза путешествія: чувство неопѣненной свободы, по которой человекъ не прикованъ къ одному мѣсту, какъ животное, но можетъ переходить изъ климата въ климатъ и справедливо называется царемъ земнаго творенія; знакомство съ новыми предметамъ, которымъ самая душа какъ бы обновляется; мудрая связь общественности, благодаря которой мы повсюду находимъ всевозможныя удобства жизни, какъ бы нарочно для насъ придуманныя, и по которой жители всѣхъ странъ предлагаютъ намъ плоды трудовъ своихъ. Изъ этихъ новыхъ предметовъ европейской жизни Карамзинъ особенно интересовался плодами трудовъ умственныхъ и художественныхъ, произведеніями науки и литературы и ихъ производителями. Во многихъ его письмахъ выражена юношеская радость при состоявшейся наконецъ возможности личнаго знакомства съ современными учеными, поэтами и литераторами. Разсказъ о визитѣ Гердеру заключенъ такими словами: «пріятно, друзья мои, видѣть человека, который былъ намъ прежде столько извѣстенъ и дорогъ по своимъ сочиненіямъ, котораго мы такъ часто себѣ воображали или вообразить старались; теперь, мнѣ кажется, я еще съ большимъ удовольствіемъ буду читать произведенія Гердерова ума, вспоминая видъ и голосъ автора». Описавъ свой ужинъ съ лейпцигскими учеными, Карамзинъ прибавляетъ: «милые друзья мои! я вижу людей достойныхъ моего почтенія, умныхъ, знающихъ». Самая мѣстность получала въ его глазахъ особую цѣну по своему отношенію къ литературнымъ именамъ: такъ онъ смотрѣлъ съ отчужденнымъ удовольствіемъ на окрестности Цюриха, вспоминая Геснера, Клоппштокъ, Бодмера, Виланда, Гете, Штольберга, Ленца. И потому главное содержаніе Писемъ русскаго путешественника составляютъ извѣстія объ ученыхъ и литераторахъ, современныхъ и прежнихъ

¹⁾ Переходная статья «Моск. Вѣд.» (1866, № 254), написанная М. Н. Катковимъ.

времени, объ ихъ сочиненіяхъ и лекціяхъ, объ ученыхъ обществахъ и училищахъ, о библіотекахъ, кабинетахъ, музеяхъ. Въ письмахъ изъ Германіи и Швейцаріи, эти извѣстія занимають четвертую часть. При свиданіи съ Кантомъ, Лафатеромъ и Боннетомъ Карамзинъ направлялъ рѣчь на важнѣйшіе предметы знанія, предлагалъ имъ вопросы о природѣ и нравственности человѣка, о философіи и философахъ, и въ ихъ отвѣтахъ думалъ найти рѣшеніе своихъ сомнѣній. Однимъ словомъ: умственные интересы, факты западнаго просвѣщенія служатъ выдающимся пунктомъ его путевыхъ замѣтокъ. Съ этой стороны, «Письма» были дѣйствительною новостію въ литературѣ русскихъ путешествій. Тогдашніе читатели еще не встрѣчали такого просвѣщеннаго сочувствія къ дѣятелямъ въ искусствѣ и наукѣ, и въ первый разъ знакомились какъ съ ихъ личностію, такъ и съ ихъ произведеніями. Искренно любя просвѣщеніе, твердо убѣжденный въ томъ, что оно есть сила, Карамзинъ выставялъ преимущества цивилизованной жизни, дѣйствіе «мудрой связи общественности». Вотъ чѣмъ замѣчательны его письма, хотя, съ другой стороны, справедливо, что въ нихъ, по сознанію самого автора, много неважнаго и мелочей, что они часто обращаютъ вниманіе на внѣшность европейской цивилизаціи, и что современные интересы гражданскаго устройства и политики въ видѣнныхъ имъ странахъ мало ими затронуты, чего, впрочемъ, и нельзя было ожидать отъ двадцати-трехъ-лѣтняго путешественника. Достаточно и тѣхъ качествъ, которыя несомнѣнно принадлежать его письмамъ: вѣрности многихъ сужденій, сохраняющихъ и донныѣ свою силу, тонкости замѣтокъ о характерѣ французовъ, какъ причинѣ многихъ общественныхъ явленій, наконецъ интереса тѣхъ извѣстій, о которыхъ мы сейчасъ говорили и къ которымъ постоянно склонялась мысль путешественника.

Московскій журналъ (1791—1792) возникъ вскорѣ по возвращеніи Карамзина въ отечество. Мысль объ его изданіи и составѣ образовалась подъ вліяніемъ идей и впечатлѣній, вынесенныхъ путешественникомъ изъ за-границы. Онъ долженъ былъ служить и дѣйствительно служилъ продолженіемъ дѣла, начатаго «Письмами», которыя, въ журнальной программѣ, и стоятъ особою статьей, какъ бы особымъ отдѣломъ изданія. «Письма» — мы видѣли — знакомятъ русскую публику преимущественно съ личностями авторовъ и ихъ произведеніями; журналъ принималъ на себя ту же обязанность: онъ наполнялся русскими сочиненіями въ стихахъ и прозѣ, переводами изъ лучшихъ иностранныхъ авторовъ, краткими ихъ біографіями и характеристиками, извѣстіями о важнѣйшихъ новостяхъ заграничной и отечественной словесности,

хроникой театровъ—парижскихъ и московскаго, т. е. отчетами о содержаніи и представленіи наиболѣ замѣчательныхъ піесъ. Литература составляла единственный его интересъ. Самъ Карамзинъ смотрѣлъ на свое изданіе, какъ на литературный пантеонъ. Нѣкоторыя статьи журнала и были потомъ перепечатаны въ «Пантеонъ иностранной словесности» (1798), послѣ котораго не замедлилъ явиться «Пантеонъ російскихъ авторовъ» (1801). Будучи сборникомъ произведеній русской и иностранной словесности, «Московскій журналъ» не имѣлъ особаго направленія, которымъ опредѣляется характеръ и цвѣтъ періодической прессы. Этимъ онъ отличался отъ сатирическихъ журналовъ Екатеринина времени. Къ «Ежемесячнымъ сочиненіямъ», Миллера, онъ относится, какъ собственно-литературный сборникъ къ сборнику учено-литературному. Программа его тѣснѣе. Но въ предѣлахъ чисто-литературнаго пространства, содержаніе журнала было и разнообразно, и занимательно. Херасковъ, Державинъ, Дмитріевъ, Нелединскій-Мелецкій, Подшиваловъ помѣщали въ немъ свои сочиненія. Изъ иностранныхъ писателей встрѣчаемъ имена Мармонтеля, Бартеlemi, Мерсье, Флоріана, Морица, Коцебу, Мейстера, Гарве, Энгеля, Виланда. Но большая и конечно лучшая часть статей принадлежитъ самому Карамзину. Между ними самое видное мѣсто занимаютъ «Письма»; за тѣмъ слѣдуютъ повѣсти: «Бѣдная Лиза» и «Наташья, боярская дочь»; далѣе разборы новыхъ явленій литературы, отчеты объ игранныхъ піесахъ. Ни одно изъ періодическихъ изданій, одновременно выходившихъ съ «Московскимъ Журналомъ», ни въ какомъ отношеніи не выдерживали съ нимъ сравненія ⁽¹⁾. На издательѣ лежали всѣ труды по изданію. Онъ былъ и авторомъ, и критикомъ, и переводчикомъ. При немъ не находилось никакихъ постоянныхъ сотрудниковъ, которые въ наше время такъ усердно помогаютъ редактору или совсѣмъ замѣняютъ его. Да ему и негдѣ было взять ихъ: онъ только мечталъ—какъ о чемъ-то неосуществимомъ—объ обществѣ молодыхъ, дѣятельныхъ людей, одаренныхъ истинными способностями и готовыхъ, съ чувствомъ своего достоинства, посвятить себя литературѣ изъ благородной и безкорыстной любви къ добру. Источниками, но не точными образцами журнала служили иностранныя изданія—французскія, нѣмецкія и англійскія. Болѣе другихъ Карамзинъ имѣлъ въ виду «Французскій Меркурій» (*Mercur de France*), съ 1790 г. поступившій къ Мармонтелю, который, выѣстъ съ Ла-

⁽¹⁾ Замѣтимъ, что «Зритель» (1792), издававшійся въ Петербургѣ И. А. Крыловымъ, при главномъ сотрудничествѣ Клушина, находился во враждебныхъ отношеніяхъ къ Московскому Журналу (Письма Карамзина къ Дмитріеву).

гарпомъ, занимался ученымъ отдѣломъ журнала. Здѣсь появились новыя Мармонтелевы повѣсти (Вечера), переведенныя для русскихъ читателей. Благодаря разнообразію и занимательности, «Московскій журналъ» имѣлъ успѣхъ. Публика находила въ немъ пріятное чтеніе и по содержанію, и по языку. Большею частью журналы 1769—1774 существовали только одинъ годъ, и закрывались, не находя поддержки въ публикѣ. Карамзинъ же самъ прекратилъ свое изданіе не по недостатку подписчиковъ, число которыхъ на второй годъ увеличилось, а по собственной волѣ: онъ хотѣлъ заняться болѣе серьезными предметами, хотѣлъ, какъ онъ самъ говоритъ, учиться, а срочная работа мѣшала ученію. Впрочемъ этотъ успѣхъ «Московского журнала» измѣнялся скромною цифрою, сравнительно съ числомъ подписчиковъ у современныхъ намъ журналовъ. На первый годъ онъ расходился въ числѣ 300 экземпляровъ, а Карамзинъ желалъ пяти сотъ, чтобы имѣть средства улучшить внѣшность изданія. Свидѣтельствомъ успѣха журнала служила и потребность въ новомъ изданіи, которое напечатано въ 1802—1803 г.

§ 3. Господствующій тонъ въ «Письмахъ» Карамзина—сентиментальный, объясняемый, съ одной стороны, природною наклонностью автора ко всему чувствительному, а съ другой—подражаніемъ иностраннымъ образцамъ, на которые въ то время была мода.

Начало сентиментализму въ литературѣ положено Томсоновой поэмой «Времена года» (1726), Ричардсоновымъ романомъ «Кларисса» (1748) и «Чувствительнымъ путешествіемъ» Стерна (1768), которому принадлежитъ и изобрѣтеніе слова «sentimental». Чрезвычайный успѣхъ «Клариссы» объясняется тѣми самыми обстоятельствами, по которымъ мѣщанская трагедія привлекала зрителей въ театръ ⁽¹⁾. Какъ этотъ родъ драмы служилъ реакціей ложно-классическимъ трагедіямъ, такъ и Ричардсоновъ романъ былъ поворотомъ отъ романтическихъ сказокъ и героическихъ исторій къ повѣсти о вседневной домашней жизни, съ ея радостями и страданіями, съ ея мелкими случайностями и великими, не всегда и не для всѣхъ замѣтными жертвами. Тамъ и здѣсь поэзія замѣняла холодный идеализмъ истиной и дѣйствительностью, величіе родового или общественнаго положенія лицъ внутреннимъ, человѣческимъ ихъ достоинствомъ, условныя формы и торжественный тонъ простотою и естественностью рѣчи. Карамзинъ понималъ существенное значеніе Ричардсонова романа, какъ

¹⁾ См. 1 т. этой Исторіи.

видно изъ его извѣстiя о русскомъ переводѣ «Клариссы»: «Ричардсонъ—искусный живописецъ моральной натуры челоѣка.... Въ романѣ его — наилучшая философiя жизни, предложенная наиблаготѣйшимъ образомъ... Написать романъ въ восьми томахъ, не прибѣгая ни къ чудесамъ, которыми эническiе поэты стараются возбуждать любопытство въ читателяхъ, ни къ сладострастнымъ картинамъ, которыми многiе изъ новѣйшихъ романистовъ прельщаютъ наше воображенiе, и не описывая ничего, кромѣ самыхъ обыкновенныхъ сценъ жизни—не бездѣлица» (1). Руссо, почитавшiй Клариссу лучшимъ англiйскимъ романомъ, подражалъ ему въ «Новой Элоизѣ» (1761), которая оказала быстрое и могущественное дѣйствiе на европейскiя литературы.

Стернъ назвалъ свое путешествiе «чувствительнымъ» потому, что оно описываетъ не столько внѣшнiй мiръ, имъ видѣнный, сколько его собственный внутреннiй мiръ—его впечатлѣнiя и чувства. Это, говоря его словами, «путешествiе сердца къ природѣ и такимъ ощущенiямъ, которыя проистекаютъ изъ нея и побуждаютъ насъ любить ближнихъ и даже цѣлый мiръ больше, нежели мы обыкновенно его любимъ». Между англiйскими подражанiями Стерну замѣчательенъ романъ второстепеннаго писателя Макензи: «Чувствительный челоѣкъ.» Въ Германiи Стерновскiй тонъ былъ доведенъ до крайности Георгомъ Якоби: его «Лѣтнiя и зимнiя странствованiя» (2) не описываютъ никакихъ явленiй, а выражаютъ только смутныя ощущенiя, возбужденныя въ душѣ путешественника природою двухъ противоположныхъ временъ года. По отношенiю къ нашей литературѣ, важнѣе путешествiя французскаго писателя Верна, котораго соотечественники величали Стерномъ. Ихъ два: «Чувствительный путешественникъ или моя прогулка въ Иверденъ» и «Чувствительный путешественникъ по Францiи во время Робеспьера» (3). Но они имѣли влiянiе не на самого Карамзина, а на его подражателей.

Съ Ричардсономъ знакомились мы и чрезъ его собственные романы: «Памелу» (1787), «Клариссу (1791—1792)» и «Грандисона (1793—94)», и чрезъ французское ему подражанiе: «Новая Памела» (1788), и чрезъ русское подражанiе французскому подражанiю: «Россiйская Памела, или исторiя Марiи, добродѣтельной поселанки» (1794). Авторъ послѣдней, Павелъ Львовъ, былъ ча-

1) Москов. журналъ, 1791.

2) Winterreise (1769), Sommerreise (1770).

3) Le Voyageur sentimental ou ma promenade à Iwerdun (1781); Le Voyageur sentimental en France sous Robespierre.

сто осмѣиваемъ въ журналѣ Крылова «Зритель», подъ именемъ Антирихардсона. На ряду съ англійскимъ романстомъ ставили у насъ Бакюлара Арно или Арно старшаго, сочиненія котораго носятъ печать меланхолическаго, подъ часъ мрачнаго сентиментализма. Его повѣсти начали переходить въ нашу литературу еще съ 70-хъ годовъ прошлаго столѣтія. Особенною извѣстностью пользовались: «Батильда или торжество любви», а потомъ «Эльвиръ», въ переводѣ Кострова. Изъ сочиненій Стерна переведены, въ 1789 г., Письма Юрика, а въ 1793—Путешествіе; кромѣ того въ 1801 г., изданы: «Красоты Стерна, для чувствительныхъ сердецъ», и его же «Нравоучительныя рѣчи и нѣкоторыя нравственныя изреченія». Другія его сочиненія вышли позднѣе. Уваженіе къ таланту и манерѣ англійскаго юмориста доходило иногда до наивнаго пафоса. Въ одномъ журналѣ ⁽¹⁾ переводъ отрывка изъ «Новаго Юрика» сопровождается такимъ замѣчаніемъ: «*Безподобный Стернъ! ты произвелъ многихъ подражателей, которые и чрезъ то уже имѣютъ въ глазахъ моихъ великую цѣну, что тебѣ подражали*». Первая часть Новой Элонзы явилась еще въ 1769 г. ⁽²⁾; волиѣ этотъ романъ переведенъ два раза: 1792—93 и 1804 г. Прибавимъ, что Федоръ Эминъ подражалъ Элонзѣ въ «Письмахъ Эрнеста и Доравры» (1766) ⁽³⁾.

«Письма русскаго путешественника» видимо имѣли передъ собою классическій образецъ въ этомъ родѣ литературы—«Путешествіе Стерна», котораго Карамзинъ называетъ «оригинальнымъ живописцемъ чувствительности». Но подражать оригинальному автору возможно только при однородномъ съ нимъ талантѣ. Талантъ же Карамзина вовсе не былъ способенъ къ юмору, «озирающему міръ сквозь смѣхъ и слезы». Цѣлостное, неравновѣсное сочетаніе двухъ противоположныхъ элементовъ въ одномъ юмориста-

¹⁾ Приятное и полезное препровожденіе времени.

²⁾ Переводчикъ ея, гр. Павелъ Потемякинъ, передалъ на русскій языкъ два другія сочиненія Руссо: Разсужденіе о томъ, «возстановленіе наукъ и художествъ способствовало ли къ исправленію нравовъ» (1768) и Разсужденіе о началѣ и основаніи неравенства между людьми (1770).

³⁾ Здѣсь указаны только отдѣльныя изданія переводовъ. Но знакомство съ ихъ подлинниками началось, разумѣется, раньше. Переходъ чужеземнаго въ отечественную словесность представляетъ нѣсколько степеней: сначала движеніе иностранной литературы доходитъ до свѣдѣнія людей образованнѣйшихъ, имѣющихъ возможность знакомиться съ нею на ея языкѣ; потомъ его организмомъ становится журналистика; далѣе являются переводы тѣхъ сочиненій, которыя оно обнаружилось или въ которыхъ сосредоточилось; наконецъ слѣдуютъ подражанія этимъ сочиненіямъ. Не всегда эти степени идутъ въ обозначенномъ порядкѣ: нерѣдко случается, что подражаніе предваряетъ переводы.

ческомъ потокѣ даже приходилось ему не по сердцу. Онъ осудилъ драму Коцебу: «Ненависть къ людямъ и раскаяніе», именно за то, что она заставляетъ зрителей въ одно и тоже время и плакать и смѣяться. Такой характеръ піесы онъ объясняетъ или отсутстіемъ вкуса въ авторѣ или нехотѣніемъ автора подчиняться законамъ вкуса. Въ слѣдствіе этого, подражаніе Стерну вышло у Карамзина одностороннимъ и не глубокимъ, хотя и нѣтъ никакого повода заподозрѣвать искренность чувствительности, разлитой по всѣмъ «Письмамъ», и напротивъ есть всѣ основанія утверждать, что она вполне чистосердечна, какъ естественное проявленіе—съ одной стороны, природнаго свойства его души, а съ другой—его понятія о пользѣ и необходимости этого свойства для авторской дѣятельности. Карамзинъ самъ называетъ себя въ письмахъ чувствительнымъ путешественникомъ; самъ говоритъ, что повѣсть: «Наталья боярская дочь» (1792) написана «для однихъ чувствительныхъ душъ, вѣрующихъ въ симпатію сердецъ». Изъ окончанія статьи: «Нѣчто о наукахъ, искусствахъ и просвѣщеніи» (1793) видно, что лучшимъ качествомъ своихъ сочиненій, достойнымъ памяти потомства, онъ признавалъ отраженіе души и сердца. Однихъ талантовъ и знаній недостаточно писателю: онъ долженъ имѣть и доброе, нѣжное сердце, «если хочетъ быть другомъ и любимцемъ души нашей, если хочетъ, чтобы дарованія его сіяли свѣтомъ немерцающимъ, если хочетъ писать для вѣчности и собирать благословеніе народовъ». Назначеніе искусства, по мнѣнію Карамзина—распространять пріятныя впечатлѣнія «въ области чувствительнаго». Романисты, историки сообщаютъ своимъ повѣствованіямъ прелесть и силу только при дѣйствіи чувствительности: «ты хочешь быть авторомъ? читай исторію несчастій рода человѣческаго: и если сердце твое не обольется кровію—оставь перо, или оно изобразитъ намъ хладную мрачность души твоей... Однимъ словомъ: дурной человѣкъ не можетъ быть хорошимъ авторомъ».

Изъ этой-то «области чувствительнаго» Карамзинъ заимствовалъ сюжетъ своей повѣсти: «Бѣдная Лиза» (1792). Въ настоящее время трудно представить себѣ силу впечатлѣнія, произведеннаго небольшимъ разсказомъ, который не заключаетъ въ себѣ ничего особеннаго ни по интригѣ, ни по развитію психологическому. Однакожъ чрезвычайный успѣхъ повѣсти есть несомнѣнный фактъ. Симоновъ монастырь съ его окрестностями, гдѣ жила Лиза, сдѣлался любимымъ мѣстомъ для сентиментальныхъ прогулокъ. Посѣтители и посѣтительницы, гуляя по берегамъ пруда, въ который съ тоски и отчаянія бросилась героиня, мечтали о несчастной судьбѣ ея и вырѣзывали начальную букву ея имени на прибреж-

нихъ березахъ ⁽¹⁾. Одни ставили себя на мѣстѣ Эраста, другія страшились быть обманутыми въ любви. Стихотворцы славли автора или сочиняли элегін «къ праху бѣдной Лизы». А сколько слезъ было пролито при чтеніи повѣсти! сколько подраженій ей написано! Одинъ изъ журналовъ замѣтилъ, что, увлекаясь Карамзинимъ, наши авторы не оставили ни одного монастыря въ покое. Бѣдная Лиза стала забываться только съ того времени, какъ явилась Людмила Жуковскаго (1808).

Необыкновенный успѣхъ повѣсти объясняется тѣмъ, что она была первымъ талантливымъ произведеніемъ въ новомъ, сентиментальномъ, направленіи повѣствовательной поэзіи. До нея уже многіе виды романа перебивали въ нашей литературѣ, постоянно слѣдовавшей за движеніемъ литературъ европейскихъ; но въ ближайшее къ ней время, какъ мы видѣли изъ отзыва Карамзина о Ричардсоновой Клариссѣ, стояли на виду романы героическіе. Идеаломъ ихъ служили баснословныя или, по крайней мѣрѣ, древнеисторическія личности, поднимавшіяся высоко надъ порою обыкновенныхъ смертныхъ. Разсказъ объ ихъ приключеніяхъ болѣею частію имѣлъ цѣль поучительную; онъ доставлялъ романисту возможность выговаривать, въ бесѣдахъ между дѣйствующими лицами, свои понятія о философіи, политикѣ, морали. Прототипомъ ихъ былъ Фенелоновъ Телемакъ, за которымъ слѣдовали: Киропедія, Жизнь Сиса, царя египетскаго, Похожденія Неоптолема, Ахиллеса сына, и многіе другіе. Къ числу оригинальныхъ сочиненій въ этомъ родѣ относятся сочиненія Федора Эмина и Хераскова. Первый написалъ «Приключенія Фемистокла и разные политическіе, гражданскіе, философическіе, физическіе и военные съ сыномъ своимъ разговоры» (1763); второму мы обязаны двумя эпическими повѣствованіями: «Кадмъ и Гармонія» (1789) и «Поллдоръ, сынъ Кадма и Гармоніи» (1794) ⁽²⁾. Въ слѣдъ за этими прозаическими эпопеями надобно поставить романы, интересъ которыхъ сосредоточивался не на той или другой тенденціи, выступавшей изъ разсказа о приключеніяхъ, а на самыхъ приключеніяхъ, болѣе или менѣе запутанныхъ. Они водили своего героя—не полубога или дѣателя глубокой старины, а простаго смертнаго—по морямъ и по сушѣ, словно хитроумнаго Улисса, или заставляли его перебивать, какъ Жильблаза, въ разныхъ состояніяхъ жизни, чтобы въ первомъ случаѣ познакомить читателя съ

¹⁾ Къ отдѣльному изданію «Бѣдной Лизы» (1797) приложена картинка, изображающая прудъ и деревья съ вырѣзанными на нихъ вензелями.

²⁾ Упомянемъ еще объ «Арфаксадѣ, халдейской повѣсти» (1793—96), и о «Приключеніяхъ Клеандра, храбраго царевича лакедемонскаго» (1798).

природой и жителями чужеземныхъ государствъ, а во второмъ— съ характеромъ общественныхъ разрядовъ и званій. Карамзинъ находилъ эти романы полезными, такъ какъ они сообщаютъ публикѣ энциклопедическія познанія, преимущественно по географіи и натуральной исторіи. Въ разговорѣ съ Каменевымъ онъ утверждалъ, что «ничѣмъ больше нельзя усовершенствовать себя въ истинѣ, какъ прилежнымъ чтеніемъ подобныхъ книгъ». Что касается до романовъ соблазнительнаго содержанія, то они, по самому свойству изображаемыхъ лицъ и событій, не допускающихъ идеализаціи, выказывали болѣе правдоподобія, болѣе согласія съ дѣйствительною жизнію, но это достоинство не избавляло ихъ отъ другихъ важныхъ недостатковъ: цинизма сладострастныхъ картинъ, ласкательства животнымъ инстинктамъ и вообще легкомысленнаго отношенія къ нравственному чувству. Повѣсть А. Измайлова: «Евгеній или пагубныя слѣдствія дурнаго воспитанія и общества» (1799—1801) даетъ намъ понятіе о романахъ этого разряда. Ее нельзя пройти молчаніемъ, потому что она во многомъ отражаетъ тогдашнюю русскую жизнь извѣстныхъ классовъ общества: нѣкоторые лица, ею очерченныя, нѣкоторыя случайности, въ ней разсказанныя, провѣряются и подтверждаются характеристикой нравовъ прошлаго столѣтія въ сатирическихъ журналахъ Екатеринына времени.

Если скандальная хроника возмущала нравственное чувство читателей, то героическое повѣствованіе не могло вполне удовлетворить ихъ ни выборомъ дѣйствующихъ лицъ, ни диговинными ихъ приключеніямъ, ни философскими бесѣдами, для которыхъ сюжетъ нерѣдко служилъ только рамкою. Дѣйствующія лица слишкомъ удалены отъ обыкновенной жизни по своей породѣ, общественному положенію, духовнымъ и тѣлеснымъ силамъ. Они были герои и героини, въ высшемъ значеніи этого слова, исключительные счастливыцы или несчастливцы, на долю которыхъ выпадало то, что въ насущномъ быту человѣка или вовсе не является или является какъ чудо. По ихъ чрезвычайнымъ подвигамъ нельзя было измѣрять обыкновенной исторіи человѣка,—того, въ чемъ проходятъ дни и годы цѣлыхъ поколѣній. Они не затрогивали ни чувства народности, ни чувства общечеловѣчности, такъ какъ послѣдняя выражается всѣмъ извѣстными и всѣмъ доступными фактами, а не таковыми, какіе трудно и вообразить себѣ безъ предсказаній оракула. Не встрѣчая въ повѣсти объ ихъ похожденияхъ близкаго себѣ интереса, читатель оставался къ нимъ равнодушенъ. Отсутствіе возможныхъ съ ними связей не вознаграждалось ни разсужденіями, часто умными и дѣльными, но часто и утомительными, ни раз-

сѣянными по роману историко-географическими указаніями, какъ бы они ни были полезны. Большинство читающихъ ищетъ въ романѣ пріятныхъ впечатлѣній на воображеніе и чувство, а не обогащенія ума идеями и познаніями.

Мѣщанская драма и Ричардсоновы романы низвели поэтический вымыселъ изъ надземнаго героизма въ среду ежедневно переживаемой нами жизни. Къ этому роду повѣстей относится и «Бѣдная Лиза». Она понравилась современному образованному классу не столько сюжетомъ и внѣшнею обстановкой, сколько внутреннимъ содержаніемъ; другими словами: въ ней выраженіе національных особенностей уступаетъ выраженію общечеловѣческаго элемента. Впрочемъ и мѣстный колоритъ соблюденъ въ ней до извѣстной степени. Мѣсто дѣйствія—Симоновъ монастырь съ его окрестностями—описано вѣрно, о чемъ свидѣлствуетъ Каменевъ въ письмѣ къ своему казанскому пріятелю. Имя героя (Эрастъ) хотя и звучитъ романтически, но взято изъ русскихъ святцевъ. Добросердечный и въ тоже время вѣтрѣнный и слабодольный, онъ легко могъ встрѣчаться въ кругу тогдашней молодежи, какъ въ кругу молодежи всякаго времени. Нѣтъ ничего невѣроятнаго, что такому человѣку, начитавшемуся идиллій и романовъ и мечтавшему о природной простотѣ, понравилась миловидная крестьянка. Вещь также возможная, что и крестьянка полюбила молодаго, привѣтливаго барина. Другое дѣло—образъ мыслей Лизы и ея матери, характеръ ихъ чувствъ, способъ ихъ выраженія: все это, конечно, не соответствуетъ крестьянскому быту, и съ этой стороны дѣйствующія лица не типы, а идеализація, заимствованная у пасторальной поэзіи. Но строго осуждать за то автора значило бы измѣнять требованіямъ исторической критики литературныхъ произведеній. Въ то время, вымыселъ, своимъ близкимъ воспроизведеніемъ дѣйствительной жизни, даже не понравился бы читателямъ. Если они, наравнѣ съ журналами, одобряли идилліи, выходившія много лѣтъ спустя послѣ «Бѣдной Лизы» и ничѣмъ не напоминавшія русскихъ поселянъ, то что имѣли возразить они противъ крестьянки, своею рѣчью и манерами напоминавшей барышню? Напротивъ, такое сходство общало, въ ихъ представленіи, особенную цѣну героини. Недостатокъ индивидуальнаго колорита закрывался общечеловѣческимъ элементомъ, лежащимъ въ основѣ повѣсти. Этотъ элементъ—чувство любви, которая отвергаетъ неравенство состояній и для которой пословица: «не въ свои сани не садись», лишена всякаго значенія. Въ комъ это чувство проявляется естественнѣе, чище и независимѣе, къ тому и стремится симпатія читателя. Состраданіе къ судьбѣ Лизы было состраданіемъ къ человѣку, какъ человѣку, дѣ-

нимому по его внутренней пробѣ, а не по внѣшнему клейму, которое владутъ на него генеалогическая роспись, общественное положеніе и другія отличія. Повѣсть возбуждала филантропическое впечатлѣніе, что и служить наилучшею ей похвалою. Читатели самовольно становились на сторону Лизы; никто изъ нихъ, съ гуманной точки зрѣнія, не думалъ оправдывать Эраста, хотя съ другихъ точекъ зрѣнія и можно было оправдывать, что онъ не женился на крестьянкѣ. Послѣ «Бѣдной Лизы» сентиментальное направленіе повѣствовательной поэзіи одержало верхъ надъ другими направленіями. Разсуждая о книжной торговлѣ и любви къ чтенію въ Россіи (1802), Карамзинъ говоритъ, что изъ всѣхъ родовъ книгъ больше всего расходились у насъ романы, а изъ разныхъ родовъ романа—чувствительные.

Въ повѣсти: «Наталья боярская дочь» (1792), Карамзинъ обратился за сюжетомъ къ русской старинѣ, показавъ тѣмъ, что патристическое чувство его давно уже направлялось къ прошлому отчизны, «когда русскіе были русскими, когда они въ собственное платье наряжались, ходили своею походкою, жили по своему обычаю, говорили своимъ языкомъ, по своему сердцу». Не смотря, однакожъ, на описаніе нѣкоторыхъ обычаевъ до-петровскаго времени, повѣсть не можетъ быть названа «историческою» въ томъ смыслѣ, какъ теперь понимаютъ это слово. Авторъ ея только въ извѣстной, очень малой мѣрѣ поддѣлывался подъ древній колоритъ. И по характеру любви, и по ея выраженію дѣйствующихъ лицъ очень далеко отстоятъ отъ тѣхъ, которыхъ они должны были служить поэтическимъ воспроизведеніемъ, и почти незамѣтной чертой различаются отъ современниковъ и современницъ Карамзина. Повѣсть направлена главнѣйшимъ образомъ къ возбужденію чувствительности. Предполагая, что читатели усомнятся въ быстро зародившейся «симпатіи сердецъ, другъ для друга сотворенныхъ», Карамзинъ дѣлаетъ оговорку: «кто не вѣритъ симпатіи, тотъ поди отъ насъ прочь и не читай нашей исторіи, которая назначается для однѣхъ чувствительныхъ душъ, имѣющихъ сію сладкую вѣру».

§ 4. Начало XIX в., Карамзинъ находилъ самымъ благоприятнымъ для русскаго журналиста. Въ предисловіи къ Вѣстнику Европы и въ одной изъ статей его: «Пріятны виды, надежды и желанія нынѣшняго времени», онъ указалъ добрые знаки состоянія европейскихъ дѣлъ вообще и отечественныхъ въ частности относительно политики, науки и литературы. Въ отношеніи къ политикѣ оно знаменуется счастливымъ настроеніемъ умовъ и сердецъ. «Десятилѣтняя революціонная война», говоритъ авторъ, кончилась,

измѣнивъ мнѣніе о вещахъ и людяхъ. Революція, грозившая ниспровергнуть всѣ правительства, утвердила ихъ. Она убѣдила народы въ необходимости законнаго правленія, а государей въ необходимости правленія благодѣтельнаго, твердаго, но отеческаго. Правительства чувствуютъ важность общаго мнѣнія, нужду въ любви народной, необходимость истребить злоупотребленія. Въмѣсто того, чтобы осуждать разсудокъ на безмолвіе, они склоняютъ его на свою сторону, такъ что лучшіе умы стоятъ теперь подъ знаменемъ власти». По отношенію къ наукѣ, съ началомъ XIX в. наступила эра для новыхъ въ ней открытій, благодаря дружественному союзу народовъ, который благопріятствуетъ общенію великихъ ученыхъ. Переворотъ въ идеяхъ отразился также на характерѣ литературы: до революціи, «всякая дерзкая, безнравственная книга была модною; нынѣ, напротивъ того, писатели боятся оскорбить нравственность, ибо передъ всякимъ жива картина бѣдствій, произведенныхъ во Франціи развратомъ; даже въ самыхъ дурныхъ романахъ соблюдается какая-то благопристойность и уваженіе къ святынямъ нравовъ». Обращаясь за тѣмъ къ Россіи, Карамзинъ прежде всего говоритъ объ ея челоуѣколюбивомъ государѣ, употребляющемъ власть на то, чтобы возвысить достоинство челоуѣка въ своей державѣ, а потомъ обозначаетъ ея внѣшнее и внутреннее состояніе: «въ политикѣ она пользуется такимъ уваженіемъ, какого прежде никогда не имѣла; свѣтъ ученія болѣе и болѣе стѣсняетъ темную область невѣжества; благородныя, истинно-челоуѣческія идеи болѣе и болѣе дѣйствуютъ въ умахъ; разсудокъ утверждаетъ права свои; патріотическій духъ возвышается. Всѣ эти видимыя успѣхи гражданственности служатъ залогомъ будущимъ».

Программа Вѣстника Европы обширнѣе программы Московскаго журнала. Послѣдній былъ изданіемъ собственно литературнымъ, а первый—литературно-политическимъ. Политика и не могла найти мѣсто въ Московскомъ журналѣ, такъ какъ онъ явился въ эпоху французской революціи, неудобную для обязанностей публициста. Карамзинъ не желалъ стѣснять ни извѣстій, ни сужденій своихъ, которыя, лишаясь искренности и безпристрастія, не имѣли бы притомъ и возможности быть рѣшительными, потому что направленіе событій еще недостаточно обнаружилось. Сверхъ того, издатель состоялъ въ близкихъ связяхъ съ Новиковымъ и другими членами дружескаго общества, уже заподозрѣннаго правительствомъ. Открытый его голосъ о дѣлахъ встревоженной тогда Европы могъ бы навлечь ему большія непріятности. Другое различіе между двумя журналами опредѣлялось болѣе зрѣлымъ талантомъ издателя, отъ чего содержаніе Вѣстника Европы вышло болѣе зрѣ-

лымъ, обдуманнѣмъ. Соотвѣтственно своему названію, этотъ журналъ долженъ былъ представлять читателямъ главные новости въ литературѣ и политикѣ. Самъ Карамзинъ смотрѣлъ на него, какъ на сборникъ достопамятностей по этимъ двумъ предметамъ.

Литературный отдѣлъ Вѣстника имѣетъ, какъ и Московскій журналъ, значеніе пантеона словесности. Онъ заключаетъ въ себѣ—въ переводахъ цѣлыхъ піесъ или въ извлеченіяхъ—все любопытное по части литературы, выходившее во Франціи, Англіи, Германіи и другихъ странахъ, такъ что, говоря словами Карамзина, лучшіе европейскіе авторы сдѣлались какъ бы сотрудниками редактора. Россія, какъ европейское государство, должна была также сообщать матеріалы журналу, который поэтому не отказывался отъ оригинальныхъ сочиненій, но съ условіемъ, чтобы они, какъ того требовало чувство народной гордости, могли безъ стыда явиться среди произведеній иностранныхъ писателей. Критика не составляла обязательной рубрики. Карамзинъ не признавалъ ее истинною потребностью современной ему литературы, хотя и давалъ извѣстія о книгахъ. «Хорошая критика», говоритъ онъ, «есть роскошь литературы: она рождается отъ великаго богатства, а мы еще не Крезы. Лучше прибавить что-нибудь къ общему мнѣнію, нежели оцѣнивать его». Политическій отдѣлъ наполнялся извѣстіями и разсужденіями. Предоставивъ газетамъ сообщеніе текущихъ политическихъ новостей, Вѣстникъ обращалъ вниманіе только на важнѣйшія, а изъ нихъ на тѣ преимущественно, которыя свидѣтельствовали объ успѣхахъ мира: на благоденствіе державъ, на полезныя учрежденія и новыя мудрыя законы.

Направленіе Вѣстника преимущественно высказывалось въ собственныхъ статьяхъ Карамзина, которыя здѣсь, равно какъ и въ Московскомъ журналѣ, составляютъ наиболѣе цѣнный владѣль. Передовая мысль въ этомъ направленіи—необходимость и польза просвѣщенія для каждаго народа, особенно для народа русскаго, молодаго. Наука, улучшеніе нравовъ, соотвѣтственное развитіе гражданственности и въ слѣдствіе того общее благо: вотъ предметы, которые заставляли Карамзина браться за перо, съ цѣлю содѣйствовать ихъ успѣхамъ. Всѣ его мнѣнія и надежды проникнуты любовью къ ближнимъ, а изъ нихъ больше всего къ соотечественникамъ, и замѣтка Кирѣевскаго, что съ Карамзина литература наша приняла направленіе филантропическое, совершенно справедлива. Первое мѣсто между статьями Вѣстника принадлежитъ тѣмъ, въ которыхъ говорится о мѣрахъ правительства, имѣвшихъ въ виду исчисленные предметы высокаго сочувствія журналиста. Руководящими статьями служатъ: «Пріятныя виды, надежды и желанія

нынѣшняго времени» (1) и «О новомъ образованіи народнаго просвѣщенія въ Россіи» (2). Къ нимъ, какъ бы къ центру, тяготеютъ всѣ другія сужденія издателя по поводу правительственныхъ мѣропріятій и учрежденій. Въ первой статьѣ, изложивъ состояніе Европы и Россіи, авторъ заявляетъ свои патріотическія желанія. Онъ желаетъ, во первыхъ, чтобы исполнилась воля государя имѣть полное, методическое собраніе гражданскихъ законовъ, выраженное въ рескриптѣ къ гр. Завадовскому, который былъ назначенъ председателемъ комиссіи для составленія законовъ. За тѣмъ онъ желаетъ хорошаго воспитанія, указывая недостатокъ нравственныхъ правилъ въ семейномъ образованіи, отъ чего у насъ молодые люди съ характеромъ, съ твердымъ образомъ мыслей — рѣдкія явленія. Наконецъ онъ желаетъ уничтоженія разсѣянной жизни дворянъ, водворенія порядка въ ихъ домашнемъ хозяйствѣ. Авторъ призываетъ благородное сословіе содѣйствовать славі и счастью отечества такими дѣлами, которыя напоминали бы потомству о ихъ достойномъ существованіи. Примѣръ безслѣдной жизни знатныхъ господъ, чуждыхъ всякаго понятія о должностяхъ человѣка и гражданина, разсказанъ въ «Моей исповѣди» (3). Вторая статья, написанная по поводу указа (24 января 1803) о заведеніи новыхъ училищъ и распространеніи наукъ въ Россіи, самымъ положительнымъ образомъ знакомитъ съ задушевными стремленіями Карамзина. Указъ называется началомъ новой эпохи въ исторіи нашего нравственнаго образованія, великимъ актомъ государственной филантропіи. Онъ показываетъ, что «Александръ выбралъ вѣрнѣйшее, единственное средство для успѣха въ своихъ великодушныхъ намѣреніяхъ; что монархъ желаетъ просвѣтить Россіянъ, чтобы они могли пользоваться его челоуѣколюбивыми уставами, безъ всякихъ злоупотребленій и въ полнотѣ ихъ спасительнаго дѣйствія». Главнымъ благодѣяніемъ новаго устава Карамзинъ почитаетъ учрежденіе сельскихъ школъ. Изъ другихъ положеній устава хвалятся отдѣленіе министерства народнаго просвѣщенія, какъ особенной системы, отъ другихъ частей государственнаго управленія, и мѣры принятія для образованія учителей, безъ которыхъ учрежденіе высшихъ и низшихъ школъ остались бы только на бумагѣ. Касательно перваго предмета, Карамзинъ замѣтилъ, что ученыя мѣста должны зависѣть единственно отъ ученыхъ, т. е. отъ ихъ свободнаго выбора; касательно втораго онъ изло-

1) В. Евр. 1802, № 12.

2) Ib. 1803, № 5.

3) Ib. 1803.

жилъ свои мысли въ особой статьѣ: «О вѣрномъ способѣ имѣть въ Россіи довольно учителей» ⁽¹⁾, которая поэтому служить какъ бы дополненіемъ его разсужденій «о новомъ образованіи народнаго просвѣщенія въ Россіи».

Вѣстникъ Европы съ живымъ участіемъ слѣдилъ за мѣрами гражданскаго устройства въ Россіи и подавалъ о нихъ свой патріотическій голосъ или въ особыхъ статьяхъ или по крайней мѣрѣ въ извѣстіяхъ и замѣчаніяхъ. Такъ по случаю манифеста о новомъ образованіи министерствъ и указа о правахъ и обязанностяхъ сената, онъ слѣдующимъ образомъ изъясняетъ программу министерскихъ дѣйствій: «способствовать утвержденію мудрой политической системы въ Европѣ, торжеству святаго правосудія внутри имперіи, мирнымъ успѣхамъ гражданственности и народному просвѣщенію, котораго одно имя столь любезно душѣ благородной и безъ котораго нѣтъ ни славы, ни величія, ни морали въ государствахъ» ⁽²⁾. Какъ въ статьѣ: «Пріятные виды, надежды и желанія» замѣчено, что современныя правительства чувствуютъ важность *«общаго мнѣнія»* и своего согласія съ лучшими умами, такъ и здѣсь государственнымъ сановникамъ указана новая, долготѣ неизвѣстная имъ, награда изъ службъ: «уже прошло то время въ Россіи, когда одна милость Государева, одна мирная совѣсть могли быть наградой добродѣтельнаго министра въ теченіе его жизни; теперь лестно и славно заслужить, вмѣстѣ съ милостію государя, и *любовь просвѣщенныхъ Россіянъ*, которые чувствуютъ достоинство знаменитыхъ патріотовъ, цѣну ихъ усердія къ отечеству и къ монарху». Уничтоженіе тайной канцеляріи дало поводъ къ историческому обзору этого учрежденія ⁽³⁾. Недостатокъ самоуваженія въ Русскихъ, забвеніе національных достоинствъ, недовѣрчивость къ собственнымъ дарованіямъ и въ-слѣдствіе того отсутствіе самостоятельности служатъ предметомъ его разсужденія «О любви къ отечеству и народной гордости» ⁽⁴⁾. Оно явилось скорѣ по открытіи журнала и служило какъ бы указаніемъ того, что издатель почиталъ нашею важнѣйшею потребностью. Въ одной Россіи, говоритъ онъ, можно сдѣлаться хорошимъ Русскимъ; гражданское и нравственное счастье человѣка существуетъ только въ отечествѣ, и хотя съ просвѣщеніемъ народы сближаются между собою характеромъ, но различіе все еще велико и навсегда оста-

¹⁾ В. Евр. 1808, № 8.

²⁾ Ib. 1802, № 19 (Извѣстія и замѣчанія).

³⁾ Ib. 1803, № 6.

⁴⁾ В. Евр. 1802, № 4.

нется⁽¹⁾. Отправку молодых людей за границу для изучения того, что преподается въ Московскомъ университетѣ, называетъ онъ поступкомъ неблагоразумнымъ, противнымъ долгу патріота⁽²⁾. Чтобы возбудить любовь къ отечественному, котораго «русскіе французы» даже и не знали, Вѣстникъ отъ времени до времени представлялъ статьи о русской исторіи и литературѣ, о русской природѣ, о русскихъ примѣчательныхъ мѣстахъ⁽³⁾. Но патріотизмъ Карамзина вовсе не походилъ на «квасной»: онъ былъ «дѣйствіемъ разсудка, а не слѣпой страсти», и потому равно совнѣвалъ какъ забываемыя нами національныя достоинства, такъ и незамѣчаемые нами національныя недостатки. Обязанностью своего журнала поставилъ онъ напоминать первыя и обличать вторые, — обличать безъ злорадства, безъ «браннаго и сатирическаго духа», къ которому не чувствовалъ ни малѣйшей наклонности.

Стихотворенія доставлялись въ Вѣстникъ самимъ издателемъ, Державинимъ, Дмитріевымъ, В. Пушкинымъ, Нелединскимъ-Мелецкимъ и Жуковскимъ. Послѣднему принадлежатъ: «Вадимъ Новгородскій» и «Сельское кладбище», переводъ Греевой элегій, съ котораго переводчикъ велъ начало своей поэтической дѣятельности, хотя онъ и былъ не первымъ ея опытомъ. Отдѣлъ переводовъ ниже отдѣла оригинальныхъ статей. Въ беллетристическѣ главное мѣсто отдано новымъ повѣстямъ (contes nouveaux) Жанлисъ. Надъ переводами трудился почти одинъ Карамзинъ, не имѣвшій для Вѣстника Европы, какъ и для Московскаго журнала, постоянныхъ сотрудниковъ. Нѣкоторую помощь оказывалъ ему В. Измайловъ, подражавшій слогу его, и Жуковскій, которымъ, кромѣ указанныхъ стихотвореній, написанъ еще разборъ «Поѣздки въ Малороссію» (вн. Шаликова).

Политическій отдѣлъ «Вѣстника» сообщалъ публикѣ извѣстія о важнѣйшихъ современныхъ событіяхъ и предлагалъ сужденія о нихъ. Первая часть его (передача новостей) не ограничивалась, по примѣру газетъ, сухими, короткими указаніями: издатель давалъ обстоятельное описаніе современнаго хода дѣлъ, останавливая вниманіе читателей на томъ, что дѣйствительно могло возбуждать къ себѣ интересъ. Вторая часть (сужденія) была новостью, до того

¹⁾ Странность (В. Е. 1802., № 2).

²⁾ О публичномъ преподаваніи наукъ въ Московскомъ университетѣ.

³⁾ Историческія воспоминанія и замѣчанія на пути къ Тронцѣ; О случаяхъ и характерахъ въ Россійской исторіи, которые могутъ быть предметомъ художества; Путешествіе вокругъ Москвы; Извѣстіе о Марѣѣ Посадинцѣ; Записки стараго московскаго жителя; О московскомъ жителѣ въ царствованіе Алексѣя Михайловича; Русская старина.

времени неизвѣстною въ русской журналистикѣ. Здѣсь Карамзинъ принялъ на себя обязанность публициста, которую и выдержалъ съ достоинствомъ. Собственныхъ его голосовъ немного, но всѣ они по праву занимали мѣсто въ его журналѣ на ряду съ голосами иностранной публицистики. Выборъ послѣднихъ производился съ умнымъ тактомъ и знаніемъ дѣла, изъ лучшихъ явленій политической прессы, наиболѣе же изъ Архенгольцевой Минервы, издававшейся съ 1792 по 1812 г.

Въ началѣ года, т. е. въ первой его книжкѣ, Карамзинъ излагалъ событія протекшаго времени. Подводя итогъ рѣшеннымъ дѣламъ, онъ, такъ сказать, забѣгалъ впередъ желаніями, перечислялъ *ria desideria*, согласныя съ его понятіями о возможномъ счастьи народовъ. Понятно, что судьба Франціи и ея властелина была у него на особенномъ виду, какъ и у всѣхъ его современниковъ. Нельзя не замѣтить и не назвать любопытнымъ недоумѣніе, которое постоянно питалъ къ консулу русскій журналистъ и которое оправдалось дальнѣйшей исторіей. Самыя похвалы Бонапарту идутъ съ его пера какъ бы неохотно, выражаясь условно, съ оговорками, или припасаются для будущаго, когда время разъяснить силу дѣйствій и побужденій дѣятеля. Величанія Бонапарта «спасителемъ республики», «первымъ героемъ всѣхъ вѣковъ», «единственнымъ» и проч. и пр. кажутся ему преждевременными и подозрительными. Да и чѣмъ бы Бонапартъ могъ привлечь къ себѣ любовь человѣка съ такимъ образомъ мыслей, какою имѣлъ Карамзинъ? Консулъ французской республики не былъ властителемъ по его убѣжденіямъ и сердцу. Онъ стоялъ далеко отъ героевъ его романа или исторіи, потому что и романческіе и историческіе идеалы Карамзина были одни и тѣже — «друзья добра и человѣчества», одушевленные истинною любовью къ людямъ. Въ немъ Карамзинъ видѣлъ гениальнаго политика, отлично понимавшаго свой народъ и умѣвшаго управлять имъ, но въ то же время поклоннаго къ захватамъ власти, не изъ героизма добродѣтели, а изъ видовъ честолюбія. Въ немъ — только что консулъ — подозрѣвался или прозрѣвался уже монархъ. Вотъ почему Карамзинъ инстинктивно отъ него отворачивался, чуя въ его образѣ темную силу земнаго могущества.

Предметами политическихъ статей Карамзина служили именно тѣ событія, которыми болѣе или менѣе оправдывались его подозрѣнія. Такъ въ статьѣ по поводу устава «почетнаго легіона» онъ называетъ это учрежденіе странною выдумкою, удивительно сложною въ средствахъ для произведенія весьма обыкновеннаго

дѣйствія и годною развѣ для приманки народнаго тщеславія французъ. Статья «о похитителяхъ», по поводу статьи такого же названія въ «Bulletin de Paris», раскрывая мысль парижскаго журнала, имѣвшаго въ виду подготовить общественное мнѣніе къ переимѣнѣ консульскаго сана на императорскій, прибавляетъ: «Все возможно, однакожь мы еще не хотимъ вѣрить тому до времени. Видимъ только, что Бонапарте будетъ скорѣе Ціерономъ, нежели Тимолеономъ. Впрочемъ, друзья или льстецы его напрасно доказываютъ, что Бонапарте не есть похититель, и заранѣе бранять исторію: нѣтъ, она не назоветъ его симъ именемъ, а скажетъ, что онъ людей считалъ людьми и даже самъ не хотѣлъ быть выше человѣка. Не Бонапарте свергнулъ Бурбоновъ съ трона; не Бонапарте сдѣлалъ революцію: онъ только воспользовался ею для своего властолюбія». Особенно замѣчательна третья статья: «Швейцарія», вызванная арестованіемъ Рединга, президента Швейцарской республики, и заключеніемъ его въ Арбургскій замокъ французскими властями. Наконецъ передовая политическая статья въ первой книжкѣ Вѣстника 1803 г.: «Вздоръ на прошедшій (1802) годъ», раскрываетъ во всей ясности основную мысль издателя при его сужденіяхъ о главномъ историческомъ характерѣ тогдашней эпохи. Похваливъ консула за то, что онъ умертвилъ революцію и тѣмъ заслужилъ благодарность Франціи и даже Европы, Карамзинъ прибавляетъ въ заключеніи: «Пожалѣемъ, если консулъ не имѣетъ законодательной мудрости Солона и чистой добродѣтели Ликурга, который, образовавъ Спарту, самъ себя на вѣки изгналъ изъ отечества. Вотъ дѣло героическое, передъ которымъ всѣ Лоды и Маренго исчезаютъ! Черезъ 2700 лѣтъ оно еще восплачетъ умъ, и добрый юноша, читая Ликургову жизнь, плачетъ отъ восторга... Видно, что быть искуснымъ генераломъ и хитрымъ политикомъ гораздо легче, нежели великимъ, т. е. героически-добродѣтельнымъ человекомъ». Въ этихъ словахъ разгадка того не-расположенія, которое Карамзинъ постоянно чувствовалъ къ правителю Франціи: Бонапартъ не представлялъ ему образца истиннаго величія, состоящаго въ героизмѣ добродѣтели.

Въ исторіи нашей періодической прессы Вѣстникъ Европы составляетъ эпоху, которая не скоро смѣнилась новой. Достоинство его содержанія, равно какъ и талантъ его издателя становятся еще понятнѣе при сравненіи первыхъ двухъ его годовъ съ послѣдующими. Всѣ другіе редакторы не возвысили, а понизили его уровень, не смотря на большія средства. На успѣхъ журнала указываетъ самъ Карамзинъ въ письмѣ къ М. Н. Му-

равьеву, говоря, что онъ имѣлъ отъ него 6000 руб. доходу: цифра по тогдашнему времени значительная⁽⁴⁾.

§ 5. Такъ какъ изданіемъ «Вѣстника Европы» кончился первый періодъ дѣятельности Карамзина (1791—1803), собственно литературный, то мы ознакомимся съ его образомъ мыслей касательно нѣкоторыхъ важнѣйшихъ предметовъ, на сколько онъ выразился какъ въ журнальныхъ статьяхъ и въ сборникахъ (Аглаѣ, Аонидахъ), такъ и въ трудахъ отдѣльно изданныхъ, напр. въ Разговорѣ о счастіи.

а) «Разговоръ о счастіи», между Мелодоромъ и Филалетомъ, сопоставляетъ два другъ другу противоположныя мнѣнія: одно, что «счастіи нѣтъ на землѣ»; другое, что «счастіе существуетъ». Защитникъ втораго мнѣнія—Филалетъ, говорящій отъ лица автора. Смыслъ его рѣчей состоитъ въ слѣдующемъ:

Человѣкъ не можетъ быть счастливъ, не будучи доволенъ самимъ собою. Самодовольство приобрѣтается повиновеніемъ сердцу и разсудку. Сердце велитъ искать удовольствій, а разсудокъ—однихъ невинныхъ удовольствій, *согласныхъ съ законами природы*. Природа дала намъ чувства для того, чтобъ услаждать ихъ; дала разсудокъ для того, чтобъ выбирать лучшія наслажденія; дала страсти для того, что онѣ необходимы для дѣятельности въ физическомъ и нравственномъ мірѣ. Страсти въ своихъ границахъ благотѣльны, внѣ границъ пагубны; границы долженъ назначать разсудокъ. Здѣсь Филалетъ является панегиристомъ страстей—любви, корыстолюбія, честолюбія, различая правильное ихъ дѣйствіе отъ пагубныхъ заблужденій. Природа употребила, съ своей стороны, всѣ средства удержать наши страсти въ *естественномъ*, или, что одно и то же, въ *благомъ* ихъ теченіи, соединивъ съ истиннымъ путемъ живое удовольствіе, а съ заблужденіемъ—горе и страданіе. Не она виновата, если мы несчастны, и врожденныя склонности—источникъ вѣрныхъ благъ—превращаемъ въ источникъ воли, вопреки ея доброму уставу. Человѣкъ долженъ быть творцемъ своего благополучія, приводя страсти въ счастливое равновѣсіе и образуя вкусъ для истинныхъ наслажденій, т. е. приобрѣтая навѣкъ соглашать чувства съ разсудкомъ. Доказавъ, что счастіе существуетъ, Филалетъ рѣшаетъ потомъ вопросъ: кто можетъ имъ пользоваться? Всѣ безъ исключенія. Истинныя удовольствія равняютъ людей. Естественное, иначе разумное, счастіе должно быть общимъ достояніемъ человѣчества, не собственностью нѣкоторыхъ избран-

⁽⁴⁾ Статьи В. Евр. 1802—1803 г. перечислены въ «Указателѣ въ Вѣстнику Европы 1802—1830 г.», составленномъ М. Полуценскимъ (1861).

ныхъ людей. Это равенство счастья состоитъ не въ равной суммѣ благъ, данныхъ каждому человѣку, а въ равенствѣ чувства, которыми наслаждается каждый данною ему долей блага. Оно не количественное, а качественное; не отношеніемъ къ другимъ долямъ оно измѣряется: его мѣра—въ личномъ ощущеніи, во внутреннемъ самодовольствѣ каждого смертнаго. Добро присуще человѣческой природѣ, и потому стремленіе къ добродѣтели есть общее для всѣхъ. Въ заключеніи «Разговора», Филалетъ короткими словами выражаетъ свою доктрину: «Возможное земное счастье состоитъ въ дѣйствіи врожденныхъ склонностей, покорныхъ разсудку, въ хорошемъ употребленіи физическихъ и душевныхъ силъ. *Быть счастливымъ есть быть вѣрнымъ исполнителемъ естественныхъ мудрыхъ законовъ; а такъ какъ эти законы основаны на общемъ добрѣ, то быть счастливымъ есть быть добрымъ.*

Эта доктрина—такъ-называемый «оптимизмъ», выражаемый опредѣленною формулою: «все въ мірѣ благо, все устроено къ наилучшему концу».

Въ томъ видѣ, какъ представляетъ его Карамзинъ, оптимизмъ есть произведеніе англійскаго деизма. Лордъ Шафтсбери, одинъ изъ главнѣйшихъ деистовъ, изложилъ свое ученіе въ «Разсужденіи о добродѣтели» и въ рапсодіи «Моралисты» (1709). Содержаніемъ послѣдней, равно какъ и «Теодиценъ» Лейбница (1710), служить идея о наилучшемъ мірѣ. Міросозерцаніемъ Шафтсбери возобладала поэзія: «Времена года», Томсона, и «Опытъ о человѣкѣ», Попа, изображаютъ совершенство міровой архитектурники. Особенно важна дидактическая поэма Попа (1733). Содержаніе и цѣль ея сокращенно указаны заключительными стихами. Авторъ старался доказать, что въ мірѣ все благо; что между естественными страстями и разумомъ нѣтъ противорѣчія; что любовь человѣка къ ближнимъ нераздѣльно связана съ его любовью къ самому себѣ; что главнѣйшая наука есть самопознаніе; что счастье есть плодъ добродѣтели. Оптимизмъ Попа перенесенъ во Францію Вольтеромъ, написавшимъ дидактическія поэмы: «Разсужденіе о человѣкѣ» (1748) и «Естественный законъ» (1752).

«Опытъ о человѣкѣ» переведенъ на русскій языкъ Поповскимъ. Доктрина, въ немъ изложенная, была усвоена нашими учеными и литераторами. Имя Попа, или «Попія», цитовалось какъ авторитетъ. Рѣчь профессора московскаго университета Аничкова «о превратныхъ понятіяхъ человѣческихъ, происходящихъ отъ излишняго упованія, возлагаемаго на чувства» (1779), содержать въ себѣ слѣдующія слова: «все устроится промысломъ Божіимъ во благое, хотя бы мы чего своимъ разумомъ и постигнуть не могли,

какъ то и славный англійскій стихотворецъ Пошій объясняетъ». Стихотворцы наши или прямо обращались къ Попу, перевода его сочиненія, или въ собственныхъ піесахъ выражали ученіе оптимизма. Изъ числа послѣднихъ укажемъ на «Стансы Богу» и «Письмо къ Г. А. и Д.», Княжнина. Нѣтъ сомнѣнія, что Карамзинъ читалъ «Опытъ о человѣкѣ» и въ переводѣ Поповскаго, и въ подлинникѣ. Переводомъ Галлеровой поэмы «о происхожденіи зла», онъ показалъ, что вопросъ, занимавшій нѣкогда великихъ мыслителей, не былъ чуждъ и ему. Ничего не приложилъ онъ отъ себя къ рѣшенію вопроса, но, по крайней мѣрѣ, зналъ, какъ онъ рѣшается другими. Основное понятіе Шафтсбери, Лейбница и Попа ясно передано въ poemѣ: «міръ сотворенъ ко счастію гражданъ; всеобщее благо одушевляетъ натуру и все оозначено добромъ величайшимъ». Наклонность Карамзина къ оптимистическому воззрѣнію опредѣленнѣе обнаружилось по возвращеніи изъ за-границы, въ первый же годъ изданія Московскаго журнала. Оптимизмъ выступаетъ здѣсь какъ profession de foi журналиста, и хотя ни одна статья не излагаетъ его въ цѣломъ составѣ, какъ стройную совокупность понятій, но положенія его встрѣчаются нерѣдко разсѣянныя тамъ и здѣсь. Чѣмъ инымъ объяснить эпиграфъ къ цѣлому годовому изданію журнала, взятый изъ «Опыта о человѣкѣ»: «удовольствіе, ложно или справедливо понимаемое, есть величайшее зло или величайшее благо?» Выборъ эпиграфа—не случайность. Имѣлся, конечно, сознательный поводъ пустить въ свѣтъ изданіе подъ такимъ знаменемъ. Между статьями Московскаго журнала за первый годъ помѣщены письмо Беля къ Шафтсбери и отвѣтъ послѣдняго, ясно выражающій основное понятіе англійскаго деиста: «въ царствѣ Бога все должно быть благо, и все зло—призракъ, исчезающій тогда, когда обозримъ весь планъ Его творенія». Изъ «разныхъ отрывковъ», напечатанныхъ въ 6-й части Московскаго журнала, замѣчательнъ восьмой ⁽¹⁾, какъ свидѣтельство не только живаго сочувствія къ природѣ, но и деистическаго на нее воззрѣнія. Деизмъ проглядываетъ въ разныхъ статьяхъ Карамзина и послѣ изданія «Московскаго журнала». Видъ сельской природы, въ пьесѣ «Деревня» (1792), напоминаетъ автору лѣта его младенчества, когда «духъ его воспитывался въ простотѣ естественной, когда ударъ грома, сообщивъ ему первое понятіе о величествѣ Міроправителя, былъ основаніемъ его религіи». Въ «Цвѣткѣ на гробъ моего Агатона» онъ обращается къ при-

¹⁾ Онъ начинается слѣдующими словами: «мысль о смерти была бы для меня не столь ужасна».

родъ съ воплемъ сомнѣнія: «величественная натура... или Ты, котораго назвать не умѣю». Взглядъ оптимиста виденъ и въ «Афинской жизни (1793)». Карамзинъ отдаетъ грекамъ преимущество предъ нами за то, что они болѣе, чѣмъ какой-либо другой народъ, занимались важнымъ искусствомъ счастья; что цѣлью ихъ жизни было наслажденіе, котораго они искали съ жаромъ страсти, съ живѣйшимъ чувствомъ потребности. И послѣ «Разговора» Карамзинъ оставался вѣрнъ оптимизму, какъ видно изъ нѣкоторыхъ статей Вѣстника Европы на 1802 г. Рассказывая исторію своего младенчества въ «Рыцарѣ нашего времени» ⁽¹⁾, онъ говорить, что «безъ страстей нѣтъ ничего прелестнаго въ свѣтѣ». «Разсужденіе о любви къ отечеству и народной гордости» ⁽²⁾, раздѣливъ эту любовь на три вида: физическую, нравственную и политическую, основаніемъ первой полагаетъ то, что «въ свѣтѣ нѣтъ ничего милѣе жизни», что «жизнь есть первое счастье». По словамъ того же сочиненія, «самая лучшая философія есть та, которая основываетъ должности человѣка на его счастья», то есть на добродѣтели, ибо, какъ намъ уже извѣстно, «быть счастливымъ есть быть добрымъ» ⁽³⁾.

Но вскорѣ за рѣшительными свидѣтельствами оптимистическаго взгляда Карамзина мы видимъ поворотъ его мыслей въ совершенно-

¹⁾ Вѣстн. Евр. 1802 г., № 18.

²⁾ Ib. № 4.

³⁾ Указаніе сочиненій, въ которыхъ послѣ «Разговора о счастьи», выражается оптимизмъ, сюда не относится. Нельзя однакожъ умолчать о нѣкоторыхъ литературныхъ явленіяхъ, по своему содержанію относящихся къ одному ряду съ сочиненіемъ Карамзина. Таковъ наприимѣръ Клеантовъ «Гимнъ Юпитеру», переложенный на русскій языкъ, съ нѣмецкаго перевода, Державинъ подъ названіемъ «Гимнъ Богу» (1800). (Сочиненія Державина т. 2, изд. Акад. Наукъ). Таковы два посланія И. Крылова: «о пользѣ страстей», 1808 г. и «о пользѣ желаній». Въ журналахъ ближайшихъ къ тому времени, въ которое написанъ «Разговоръ», встрѣчаются взгляды Карамзина. «Инокрена» (1799—1801) содержитъ въ себѣ два стихотворенія: «Делія» (переводъ съ англійскаго) и «Чувственность» (Д. Колоколова). Первое изъ нихъ заключается тѣмъ же самымъ, чѣмъ заключенъ «Разговоръ»:

Чтобъ быть счастливыми, быть добрыми должны.

Второе развиваетъ мысль, что все естественное-благо:

Что врожденно—безпороочно,

Всякъ быть долженъ философъ.

Понятно, какого рода эта философія: она—оптимизмъ, по ученію котораго природа влечетъ всѣхъ къ добру:

Чувствамъ нашимъ что пристойно,

То не должно нарушать.

Въ селѣ все благоустроено:

Что намъ свѣтъ пережигать?

другую сторону. Небольшое пространство времени (меньше года) лежит между двумя противоположными понятиями. Отъ убѣжденія, что «жизнь есть первое счастье», что «въ мірѣ все прекрасно», Карамзинъ перешелъ къ убѣжденію, что «здѣшній міръ есть училище терпѣнія», что «вездѣ и во всемъ окружають насъ недостатки». Защитникъ оптимизма опровергаетъ оптимизмъ; послѣдователь Лейбница и Попа становится ихъ противникомъ. Этотъ новый взглядъ на жизнь изложенъ въ разсужденіи «о счастливѣйшемъ времени жизни» (1), гдѣ вопросъ о счастливѣйшемъ возрастѣ жизни замѣняется, соотвѣтственно новому воззрѣнію автора, другимъ: какой возрастъ жизни менѣе несчастливъ, или, что одно и тоже, какой возрастъ счастливѣйшій относительно, по сравненію его съ другими возрастами? Рѣшеніе вопроса, въ настоящемъ разсужденіи, измѣняется вмѣстѣ съ перемѣною взгляда на всю человеческую жизнь. Прежде Филаетъ, въ отвѣтъ Мелодору (2), называлъ юность краснымъ утромъ жизни, «лучшею эпохою нравственнаго бытія», а здѣсь счастливѣйшею эпохою нашего существованія называется послѣдняя степень физической зрѣлости, т. е. возмужалость: «какъ плодъ дерева, такъ и жизнь бываетъ всего сладостнѣе передъ началомъ увяданія».

Согласить различныя понятія объ одномъ и томъ же предметѣ невозможно: противоположности не примираются. Но можно объяснить поводъ къ переходу отъ одного понятія къ другому, прямо ему противоположному.

Усвоеніе извѣстнаго взгляда на природу и нравственный міръ зависить, съ одной стороны, отъ характера личности, а съ другой—отъ характера того образованія, которое принадлежало небольшому классу людей просвѣщенныхъ.

Отличительными свойствами Карамзина были чувствительность и благодущіе. Направляемый ими, онъ смотрѣлъ на людей и природу съ доброй, свѣтлой точки зрѣнія, глазами расположенія и любви. «Я никогда не бывалъ мизантропомъ», говоритъ онъ, «даже и въ такихъ обстоятельствахъ, которыя могли бы извинить маленькую досаду на людей». Въ сочиненіяхъ его не отрываемъ не только мрачнаго настроенія души, но и дурнаго расположенія духа. «Дурной нравъ» и «скуку» онъ почиталъ самыми жестокими бичами сердца. Онъ не имѣлъ склонности ни къ сатирѣ, ни къ жалобамъ на судьбу: всѣ іереміады, выражающія недовольство, возбуждали его неодобреніе. Обстоятельства жизни благопріятство-

1) Вѣст. Евр. 1803.

2) Письма Мелодора къ Филаету и Филаета къ Мелодору, въ Аглаѣ (1794).

вали развитію такихъ благодушныхъ инстинктовъ. Карамзинъ, не смотря на свою молодость, пользовался рѣдкою литературною извѣстностью и занималъ счастливое положеніе въ свѣтѣ. Завѣтныя желанія его исполнились: онъ совершилъ путешествіе за границу; по возвращеніи посвятилъ себя литературѣ, согласно наклонностямъ сердца и убѣжденію просвѣщеннаго гражданина; въ обществѣ знакомыхъ нашелъ онъ удовлетвореніе и дружбы и любви. Все въ немъ и вокругъ него устроилось хорошо и пріятно; будущее могло общать еще лучшее и пріятнѣйшее. Человѣкъ мыслящій и просвѣщенный, какимъ былъ Карамзинъ, всегда чувствуетъ потребность въ основныхъ убѣжденіяхъ, въ доктринахъ. Для Карамзина выборъ доктрины предопредѣлялся врожденными качествами, житейскими обстоятельствами и характеромъ образованія. Онъ остановился на оптимизмѣ, который согласовался съ естественнымъ расположеніемъ души его, съ чувствомъ его сердца и, какъ гипотеза, удачно объяснялъ явленія, не только въ его собственной жизни, но и въ сферѣ нравственнаго міра вообще.

Но гипотеза до тѣхъ поръ сохраняетъ свою достовѣрность, пока значеніе предметовъ, наиболѣе содѣйствовавшихъ ея усвоенію, остается неизмѣннымъ. Съ переменною обстоятельствами жизни, которыя играютъ въ этомъ случаѣ очень важную роль, измѣняется и гипотеза. Отвлеченному легко можетъ встрѣтиться противорѣчіе въ реальномъ, предполагаемому въ дѣйствительно-существующемъ, понятію, относящемуся ко всѣмъ явленіямъ, въ явленіи отдѣльномъ—въ жизни одного человѣка. Для спасенія гипотезы надобно примирить всеобщее съ индивидуальнымъ, а примирить ихъ нѣтъ возможности, и потому необходимо допустить одно изъ двухъ: или невѣрна мысль, служившая къ объясненію міроваго устройства, или ложно собственное, личное чувство человѣка. На послѣднее человѣкъ рѣшиться не въ силахъ: это—естественный крикъ его самоощущенія, непреложный опытъ его плоти и крови. Остается слѣдовательно признать невѣрность основной мысли.

Противорѣчія между жизнью лица и понятіемъ этого лица о жизни вообще не избѣгнулъ и Карамзинъ. Тяжкая горестъ постигла его въ 1803 г.: онъ лишился первой супруги своей. Въ это время семейной утраты и меланхоліи, явилось разсужденіе «о счастливѣйшемъ времени жизни». Чувство сердца заставило автора обратиться къ печальному взгляду на жизнь, какъ прежде сердечное же чувство сказалось въ оптимизмѣ. Элегическій конецъ разсужденія есть вѣрный отголосокъ тогдашняго состоянія души Карамзина, соотвѣтствуетъ главной его мысли и кромѣ того указываетъ на печальное событіе въ его жизни. Теченіе времени не

остається також безъ вліянія на перебігу образу мыслей. Зрѣлія лѣта приносять съ собою и новий, болѣе зрѣлый взглядъ на вещи. Отдавая предпочтеніе возмужалости, Карамзинъ имѣлъ въ виду свои собствениыя 37 лѣтъ, на что указываютъ слѣдующія строки разсужденія: «человѣкъ за *тридцать пять лѣтъ*, безъ сомнѣнія, не пылаеть уже такъ страстями, какъ юноша, а въ самомъ дѣлѣ можетъ быть гораздо его счастливѣе».

б) Карамзинъ прожилъ во Франціи четыре мѣсяца (съ марта по іюль 1790 г.), въ ту эпоху учредительнаго собранія, которая замѣчательна не столько событіями, сколько болѣе и болѣе выступавшимъ распаденіемъ народныхъ представителей на партіи. Важныя событія уже совершились прежде его приѣзда и еще имѣли совершиться по возвращеніи его на родину. Созданіе государственныхъ чиновъ и сліяніе ихъ въ одно нераздѣлимое представительство, взятіе и разрушеніе Бастиліи, отмѣна сословныхъ привилегій, возстаніе Парижа, отобраніе имѣній, принадлежавшихъ духовенству, уничтоженіе монашескихъ орденовъ, все это постѣдовало въ первый годъ революціи, съ мая 1789 по мартъ 1790г. Путешественникъ приближался къ Парижу съ пасмурными мыслями. Описывая берега Сены, онъ находилъ возможнымъ будущее запустѣніе Франціи: кто поручится, спрашивалъ онъ, чтобы это прекраснѣйшее въ свѣтѣ государство рано или поздно не уподобилось нынѣшнему Египту? О самомъ государственномъ переворотѣ въ письмахъ говорится рѣдко; однаковъ изъ немногихъ словъ, сюда относящихся, легко разумѣть, какъ смотрѣлъ на него авторъ. По поводу уличной исторіи въ Ліонѣ, онъ называетъ ее дѣломъ празднолюбцевъ, не хотавшихъ работать съ эпохи «такъ называемой французской свободы» или, вѣрнѣе, «страшнаго народнаго деспотизма». Въ революціи онъ видитъ «ужасную политическую перебіну».

Карамзинъ и не могъ стать въ другое отношеніе къ событію XVIII вѣка во Франціи. Если бы онъ и одобрялъ нѣкоторые его результаты, то съ самымъ способомъ, какимъ результаты были достигнуты, онъ ни на какихъ условіяхъ не пошелъ бы на мировую сдѣлку. Словомъ «переворотъ» обозначается понятіе грозныхъ потрясеній, насильственныхъ мѣрахъ и крайностяхъ, а это не согласовалось ни съ чувствомъ Карамзина, ни съ его образованіемъ, ни съ его взглядомъ на развитіе государственнаго организма. Подобно многимъ своимъ современникамъ, онъ могъ еще ожидать добра при началѣ событія, но подобно имъ же вскорѣ назвалъ свое ожиданіе призракомъ, потому что жертвами переворота падали невинные на ряду съ виновными; имъ нарушался

спокойный токъ общественной и частной жизни; въ немъ не обходилось безъ пролитія крови; во имя правъ челоуѣка совершались кровавыя историческія драмы. Онъ положительно говоритъ, что нельзя полюбить англичанъ, читая ихъ исторію, потому что она богата злодѣйствами и потому что, по числу жителей, въ Англіи больше чѣмъ въ другихъ земляхъ погибло народу отъ внутреннихъ мятежей. Хотя ему и было извѣстно, что революціонные дѣятели выставляли идеи Руссо своимъ знаменемъ, однакожь онъ думалъ, что Руссо, какъ «чувствительный и добродушный» философъ, объявилъ бы себя первымъ врагомъ революціи. Образованіе, и домашнее и въ пансіонѣ Шадена, а потомъ связи съ Новиковскимъ кругомъ укрѣпили Карамзина въ правилахъ строгаго повиновенія существующимъ законамъ. Однимъ изъ коренныхъ постановленій масонства требовалась безусловная покорность преобладающей власти. Такъ называемая «Книга конституцій», или «древнихъ обязанностей», составленная англиканскимъ проповѣдникомъ Андерсономъ и признанная въ 1723 г. основнымъ законоположеніемъ для членовъ братства, предписываетъ каждому изъ нихъ исполнять, безъ всякихъ ограниченій, долгъ вѣрноподданнаго. Тоже предписаніе внесено и въ уложеніе русскихъ масонскихъ ложъ ⁽¹⁾, которыя въ каждомъ сословіи, имѣвшемъ передъ лицомъ государя какую-нибудь тайну касательно правительства, совершенно справедливо видѣли противозаконное, вредное общество въ обществѣ.

На темпераментѣ, образованіи и знакомствѣ съ исторіей установились понятія Карамзина о прогрессѣ гражданскихъ обществъ и каждаго челоуѣка въ отдѣльности. Имяненія, совершаемыя съ дѣлю улучшитъ строй государства или бытъ народа, не могли не возбуждать его полнаго сочувствія, но онъ твердо держался своего взгляда на характеръ перемѣнъ, на способъ, какимъ онѣ производятся, и на дѣятелей, которыми ведутся. По его мнѣнію, новый порядокъ вещей долженъ возникать на исторической почвѣ, на основахъ того, что выработано жизнію народа, а не на развалинахъ его прошедшаго и настоящаго. Другими словами: онъ видѣлъ различіе между реформой и революціей,—между системою преобразованій, которая на мѣсто прежняго, отживающаго свой вѣкъ, воздвигаетъ лучшее, болѣе отвѣчающее потребностямъ времени, и системою преобразованій, которыя съ корнемъ вырываютъ

⁽¹⁾ Уложеніе великой масонской ложи Аотрен на в. (востокѣ) С.-Петербургъ, Ч. 2-я, 6815 (г. е. 1815 г.). NB. Масоны взяли свое лѣтосчисленіе за 4000 лѣтъ до Р. X., которыя и прилагали къ годамъ, прошедшимъ отъ Р. X.

старое во имя какой-нибудь доктрины. Въ первомъ случаѣ, пере-
мѣны совершаются изнутри народной жизни: это есть собственно
развитіе, требуемое каждымъ организмомъ, слѣд. и государствен-
нымъ; во второмъ, перемены берутся извнѣ, изъ сферы общихъ,
отвлеченныхъ началъ и соображеній: это не развитіе, а насиль-
ственный переломъ, переворотъ. Маколей, въ своей Исторіи Англіи,
провелъ различіе между этими двумя способами государственныхъ
преобразованій: историческимъ, орудіями котораго служатъ закон-
ность и преданіе, и теоретическимъ, или философскимъ, который,
сходя съ исторической почвы, думаетъ строить государство à priori,
по кабинетной идеѣ или по примѣру Аѳинъ и Рима. Съ первой точки
зрѣнія Боркъ, государственный мужъ, смотрѣлъ на современную
ему, первую французскую революцію. Мнѣніе Карамзина вытекало
изъ однихъ основаній съ вышеизложенными: «всякое гражданское
общество, вѣками утвержденное», говоритъ онъ, «есть святыня
для гражданъ; насильственные потрясенія гибельны; мудрые умы
знаютъ опасность переменъ, тогда какъ умамъ легкимъ все ка-
жется легко».

Преобразованія должны совершаться дѣйствіемъ времени, по-
средствомъ медленныхъ, но вѣрныхъ, безопасныхъ успѣховъ ра-
зума, просвѣщенія, воспитанія, добрыхъ нравовъ. Таково убѣжде-
ніе Карамзина, заявленное имъ еще въ письмахъ изъ Франціи, и
болѣе и болѣе крѣпчавшее въ его сознаніи. Неизмѣнно руковод-
ствуясь имъ, онъ обсуждалъ внутреннюю и внѣшнюю политику,
успѣхи или неуспѣхи гражданского общества. Московскій Жур-
налъ не подавалъ голоса о политическихъ дѣлахъ Европы, за не-
имѣніемъ особаго для того отдѣла. Но въ статьяхъ Аглаи (1794),
особенно въ полемикѣ противъ Руссо (Нѣчто о наукахъ, искус-
ствахъ и просвѣщеніи) и въ письмахъ Мелодора къ Филалету и
Филалета къ Мелодору, мы встрѣчаемся съ образомъ мыслей Ка-
рамзина по поводу событій, которыя въ то время занимали весь
міръ. Эти событія быстро слѣдовали одни за другими. Сентябр-
скія убійства, вліяніе якобинцевъ на всю государственную жизнь
Франціи, объявленіе ея республикой, повсемѣстная анархія и на-
конецъ казнь короля потрясли даже наиболѣе смѣлыхъ энтузіа-
стовъ переворота: они съ ужасомъ отступили передъ неожиданнымъ
разливомъ того, что началось провозглашеніемъ «правъ человѣка»,
и подобно Лафатеру должны были сознаться, что трагедія, кото-
рая разыгрывалась во Франціи, есть дѣло людей, а не благаго
провидѣнія, какъ имъ прежде казалось. Общее многимъ смятеніе
ума и сердца Карамзинъ выразилъ въ означенной перепискѣ. На
Мелодора и Филалета слѣдуетъ смотрѣть не какъ на двѣ разныя

личности, а какъ на одного и того же человѣка въ двухъ послѣдовательныхъ моментахъ его духа: Мелодоръ—это самъ Карамзинъ, взволнованный революціонными событіями; Филалетъ—это Карамзинъ же, успокоенный вѣрою въ преходимость зла, какъ бы оно ни было велико, и въ непреложное торжество добра и истины, какъ бы долго оно ни заставляло себя ожидать. Но тревожному состоянію Мелодора предшествовало другое, противоположное: разочарованный въ своихъ надеждахъ теперь, онъ былъ ими очарованъ прежде. Что же именно его очаровывало? какія питалъ онъ надежды?

Карамзинъ отвергалъ революцію и за ея мѣры, несогласныя съ желаннымъ для филантропа способомъ государственнаго развитія, и за ея послѣдствія, возмущавшія сердце чувствительнаго философа, но онъ признавалъ ученія XVIII-го вѣка, къ которымъ событіе относилось, какъ крайній выводъ къ первоначальной послылкѣ. Это видно изъ слѣдующихъ словъ Мелодора Филалету: «Кто болѣе нашего славилъ преимущества осьмагонадесять вѣка? свѣтъ философіи, смягченіе нравовъ, тонкость разума и чувства, размноженіе жизненныхъ удовольствій, всемѣстное распространеніе духа общественности, тѣснѣйшую и дружелюбнѣйшую связь народовъ, кротость правленій?... *Концы нашего вѣка*. почитали мы концемъ главнѣйшихъ бѣдствій человѣчества и думали, что въ немъ послѣдуетъ важное, общее *соединеніе теоріи съ практикою, умозрѣнія съ дѣятельностію*; что люди, увѣривъ въ изыщности законовъ чистаго разума, начнутъ исполнять ихъ во всей точности и подъ сѣнію мира, въ кровѣ тишины и спокойствія, насладятся истинными благами жизни». Сильнѣе и сильнѣе крѣпло въ его умѣ убѣжденіе, выводимое изъ сличенія древнихъ временъ съ новыми, что «родъ человѣческій возвышается, и хотя медленно, хотя неровными шагами, но всегда приближается къ духовному совершенству». Онъ смотрѣлъ на природу, какъ «на обширный садъ, въ которомъ зрѣетъ *божественность человѣчества*». Эта утѣшительная мысль рушилась въ своемъ основаніи французскими событіями: «свирѣпая война опустошаетъ Европу, столицу искусствъ и наукъ, хранилище всѣхъ драгоценностей ума человѣческаго; миліоны погибаютъ; города и села исчезаютъ въ пламени; цвѣтущія страны превращаются въ горестныя пустыни». Филантропъ, съ такою чувствительной организаціей, какую имѣлъ Карамзинъ, не могъ, при видѣ общенародныхъ бѣдствій, не почитать себя несчастнымъ, и потому-то онъ обращается съ патетическимъ упрекомъ къ XVIII вѣку: «вѣкъ просвѣщенія, не узнаю тебя! въ крови и пламени не узнаю тебя! среди убійствъ и разрушенія не узнаю

тебя!» Но свирѣлая война, гибель миллионѡвъ, пожаръ городовъ и селъ, запустѣніе благословенныхъ странъ не составляютъ еще главныхъ ужасовъ революціи. Есть другое, сильнѣйшее зло, которымъ она угрожаетъ міру. Карамзинъ всего больше страшится ненавистниковъ науки: ихъ мнѣніе можетъ сдѣлаться общимъ мнѣніемъ, которое вооружится противъ философіи, противъ просвѣщенія, находя въ нихъ источникъ зла. Паденіе цивилизаціи кажется ему не только вѣроятнымъ, но и неминуемымъ. Этотъ благородный страхъ напоминаетъ письмо Ломоносова о смерти Рикмана. Какъ Ломоносовъ опасался, что смерть профессора будетъ перетолкована не въ пользу занятій науками, такъ Карамзинъ опасается, что бѣдствія революціи будутъ перетолкованы во вредъ просвѣщенію и заподозрять его благотворное вліяніе на нравственность.

Филалетъ возстановляетъ утѣшительную систему друга. Онъ заключаетъ свои разсужденія хвалебнымъ просвѣщенію гимномъ: «просвѣщеніе всегда благотворно; просвѣщеніе ведетъ къ добродѣтели, доказывая намъ тѣсный союзъ частнаго блага съ общимъ и отрывая неизсякаемый источникъ въ собственной груди нашей; просвѣщеніе есть лекарство для испорченнаго сердца и разума; одно просвѣщеніе животворно дѣйствуетъ на нравственность; въ одномъ просвѣщеніи найдемъ мы противоядіе для всѣхъ бѣдствій человѣчества».

Выразивъ опасеніе за судьбу наукъ, Карамзинъ взялъ на себя ихъ защиту въ статьѣ: «Нѣчто о наукахъ, искусствахъ и просвѣщеніи». Это рядъ замѣтокъ на пзвѣстное разсужденіе Руссо. Цѣль полемической статьи очевидна: Руссо отвѣчалъ отрицательно на вопросъ, предложенный Дижонскою Академіею: «возстановленіе наукъ и искусствъ способствовало ли улучшенію нравовъ?» Карамзину слѣдовало, напротивъ, доказать, что просвѣщеніе ведетъ къ добродѣтели. О пользѣ наукъ для развитія ума и обогащенія его познаніями не было надобности разсуждать: никто не оспаривалъ ихъ дѣйствія съ этой стороны. Онѣ подвергались строгому суду за ихъ вредное дѣйствіе на общественную нравственность. Науки портятъ нравы, говорилъ Руссо, нашъ просвѣщенный (т. е. восемнадцатый) вѣкъ служитъ тому доказательствомъ. За нимъ повторяли тоже многіе современники Карамзина, указывая на Францію, какъ на одну изъ просвѣщеннѣйшихъ странъ въ мірѣ. Надобно было отвергнуть этотъ доводъ, имѣвшій наибольшее значеніе для самого апологиста. Карамзинъ отвергаетъ его свидѣтельствами исторіи: изъ нихъ видно, что нравы прошедшихъ вѣковъ были не лучше, а хуже нравовъ XVIII вѣка. Последнему

ставять въ вину утонченное притворство, забывая его источникъ: оно проистекаетъ изъ желанія порока скрываться подъ личиною добродѣтели, а это служить доказательствомъ, что современные намъ люди гнушаются порокомъ больше, чѣмъ гнушались имъ прежде. Свѣтская учтивость, которую новыя мизантропы называютъ сусальнымъ золотомъ XVIII вѣка, въ глазахъ философа есть цвѣтъ общежитія, своего рода добродѣтель, слѣдствіе утонченнаго чело-вѣколюбія, которое поставляетъ себѣ въ обязанность и малыми знаками—ласковымъ словомъ, привѣтливымъ взоромъ—оказывать ближнему благорасположеніе, но которое не пресѣкаетъ возможности великихъ жертвъ на пользу отдѣльнаго чело-вѣка и цѣлаго общества. Важнѣйшею наукою Карамзинъ почитаетъ мораль (нравственную философію): она доказываетъ чело-вѣку, что для собственнаго счастья онъ долженъ быть добрымъ (положеніе, развитое потомъ въ Разговорѣ о счастьи); представляетъ ему необходимость и пользу гражданскаго порядка; соглашаетъ его волю съ законами, и дѣлаетъ свободнымъ въ самыхъ узахъ.... однимъ словомъ, могъ бы добавить авторъ, устраняетъ возможность печальныхъ явленій, господствующихъ во Франціи, гдѣ свобода обратилась въ деспотизмъ массы и со временемъ обратится въ военный деспотизмъ. Не одна мораль, эта «альфа и омега наукъ и искусствъ», но всѣ онѣ вообще облагораживаютъ душу, дѣлаютъ ее чувствительною и нѣжною, возбуждаютъ въ ней любовь къ порядку, гармоніи, добру, слѣдственно ненависть къ безпорядку, разгласію и порокамъ, которые разстраиваютъ прекрасную связь общежитія.... примѣръ чего, подразумѣвалъ при этихъ словахъ авторъ, видимъ въ современной Франціи.—Но современную Францію, могли возразить ему, нельзя же не назвать просвѣщенною; а между тѣмъ ея современное знаменуется кровью и слезами. На это возраженіе Карамзинъ далъ уже отвѣтъ въ письмѣ Филалета къ Мелодору: «если осмысленный вѣкъ ознаменуется въ книгѣ бытія кровью и слезами, то онъ не могъ именовать себя просвѣщеннымъ». Смыслъ отвѣта слѣдующій: я не признаю современную Францію просвѣщенною, если знаменіемъ ея просвѣщенія останутся въ исторіи только слезы и кровь; я готовъ жертвовать такъ называемымъ ея просвѣщеніемъ; не о такомъ просвѣщеніи говорю я и не такое мнѣ надобно: мнѣ надобно просвѣщеніе, приводящее не къ тому, что представляютъ ужасы революціи, а къ тому, что совершенно противоположно этимъ ужасамъ.

Впрочемъ, голосъ хулителей науки не очень смущалъ Карамзина. Они могли кричать сколько имъ угодно, но не отъ нихъ зависѣли мѣры, враждебныя просвѣщенію. Это было во власти

*

высшаго правительства, если бы оно открыло внутреннюю связь между развитіем народнаго образованія и смутными обстоятельствами эпохи. И потому Карамзинъ, писавшій свои замѣтки на Руссо при Екатеринѣ, вспомнилъ мысль, высказанную въ Наказѣ, вслѣдъ за Монтескье и Беккаріей, и повторилъ ее въ своей статьѣ: «Законодатель и другъ человѣчества! ты хочешь общественнаго блага? да будетъ же первымъ закономъ твоимъ — просвѣщеніе!» Зная, что въ Россіи, какъ монархіи, система дѣйствій по каждому вѣдомству опредѣляется волею самодержца, онъ обращается съ совѣтомъ къ самодержавію: «Просвѣщеніе есть палладіумъ благонравія, и когда вы, которымъ вышняя власть поручила судьбу человѣковъ, желаете распространить на землѣ область добродѣтели, то любите науки и не думайте, чтобы онѣ могли быть вредны, чтобы какое нибудь состояніе въ гражданскомъ обществѣ долженствовало пресмыкаться въ грубомъ невѣжествѣ... Всѣ люди имѣютъ душу, имѣютъ сердце: слѣдственно всѣ могутъ наслаждаться плодами искусства и науки, и кто наслаждается ими, тотъ дѣлается лучшимъ человѣкомъ и спокойнѣйшимъ гражданиномъ». Здѣсь, кромѣ благородной боязни за просвѣщеніе вообще, за русское въ особенности, видно еще—говоря словами самого автора—«желаніе всеобщаго, никакими сферами неограниченнаго блага» (1). Карамзинъ требуетъ образованія для простаго народа и признаетъ возможность просвѣщенныхъ у насъ земледѣльцевъ, ставя въ примѣръ многихъ швейцарскихъ, англійскихъ и нѣмецкихъ поселянъ, которые, обрабатывая землю, собираютъ библіотеки и читаютъ Гомера, а нѣкоторые и сами пишутъ стихи, что не мѣшаетъ имъ быть трудолюбивыми работниками, довольными своею долею.

Замѣтки на сочиненіе Руссо оканчиваются идеальнымъ представленіемъ будущаго гражданскаго устройства: «Когда свѣтъ ученія, свѣтъ истины озаритъ всю землю и проникнетъ въ темнѣшія пещеры невѣжества: тогда, можетъ быть, исчезнутъ всѣ нравственныя гарпіи, доселѣ осквернявшія человѣчество, тогда, можетъ быть, настанетъ золотой вѣкъ поэтовъ, вѣкъ благонравія, — и тамъ, гдѣ возвышаются теперь кровавые эшафоты, тамъ сядетъ добродѣтель на свѣтломъ тронѣ». Человѣку, видѣвшему вовсе не утопическое состояніе Франціи, естественно было мечтать объ утопіи. Но недовольство настоящимъ можетъ искать отрадныхъ себѣ идеаловъ столько же въ далекомъ прошедшемъ, сколько и въ далекомъ будущемъ. Идеалъ перваго рода Карамзинъ находилъ въ «Аѳинской жизни» (1793), воображаемая картина которой служила

1) Что нужно автору?

ему отводомъ отъ неизянныхъ картинъ революціи. Заключение статьи даетъ знать о поводѣ къ ея сочиненію: «завтра поутру», говоритъ авторъ, «гамбургскія газеты извѣстятъ меня объ ужасномъ безумствѣ нашихъ просвѣщенныхъ современниковъ».

На вопросъ: какому образу правленія Карамзинъ отдавалъ преимущество? сочиненія его даютъ возможность отвѣчать довольно положительно. По убѣжденіямъ, онъ былъ неизмѣнный монархистъ, но по чувству склонялся къ республикѣ. Заключаемъ такъ не изъ того обстоятельства, что онъ, еще обучаясь у Шадена, держалъ сторону сѣверо-американцевъ въ борьбѣ ихъ съ метрополіей за независимость, а изъ мыслей, высказанныхъ уже въ зрѣломъ возрастѣ. Это чувство пробивается въ исторической повѣсти: «Марѳа Посадница, или покореніе Новгорода» ⁽¹⁾, въ авторѣ которой, по словамъ предисловія, «явно играетъ кровь новгородская, при описаніи нѣкоторыхъ случаевъ». Карамзинъ не винитъ Іоанна, присоединившаго новгородскую область къ своей державѣ: онъ даже хвалитъ его, какъ историкъ или какъ политикъ, но съ тѣмъ вмѣстѣ дѣлаетъ оговорку, что сопротивленіе новгородцевъ не было бунтомъ какихъ-нибудь якобинцевъ, такъ какъ они сражались за древніе свои уставы и права, данныя имъ отчасти самими великими князьями, напримѣръ Ярославомъ, утвердившимъ ихъ вольности. Душевное расположеніе его видимо доброжелательствуетъ Новгороду. Онъ допустилъ Марѳу Посадницу, защитницу новгородской вольности, торжествовать своимъ ораторствомъ надъ Холмскимъ, представителемъ Іоанна. Въ ея рѣчи больше страсти и силы, чѣмъ въ рѣчи московскаго воеводы. Особенно увлекаетъ она согражданъ началомъ слова, взывая къ памяти Вадима, и концемъ, представляя имъ блага вольности и бѣдствія, которыя съ ея утратою наступятъ для города. Не имѣемъ ли мы достаточнаго основанія предположить, что въ лицѣ Марѳы Посадницы и Холмскаго выражены два взгляда самого Карамзина, вытекавшіе изъ разныхъ побужденій, какъ прежде два состоянія души его, по поводу событій конца XVIII вѣка, нашли свое выраженіе въ Мелодорѣ и Филалетѣ? Черезъ десять лѣтъ послѣ «Марѳы Посадницы», рассказывая о паденіи Новгорода не какъ романистъ, а какъ историкъ ⁽²⁾, Карамзинъ еще сохраняетъ въ себѣ то чувство, которое волновало кровь автора повѣсти. Вотъ что говоритъ онъ: «Лѣтописи республикъ обыкновенно представляютъ намъ сильное дѣйствіе страстей человѣческихъ, порывы

¹⁾ Вѣстникъ Европы 1803, №№ 1, 2 и 3.

²⁾ Въ VIII т. Исторія Государства Россійскаго.

великодушія и нерѣдко умилительное торжество добродѣтели, среди мятелей и безпорядка, свойственныхъ народному правленію: такъ и лѣтописи Новгорода въ искусственной простотѣ своей являютъ черты плѣнительныя для воображенія.... Сердцу человѣческому свойственно доброжелательствовать республикамъ, основаннымъ на коренныхъ правахъ вольности, ему любезной; самыя опасности и безпокойства ея, питая великодушіе, плѣняютъ умъ, въ особен-ности юный, малоопытный; Новгородцы, имѣя правленіе народное, безъ сомнѣнія, отличались благородными качествами отъ другихъ Россіянъ, униженныхъ тиранствомъ моголовъ». Но республика, разсуждаетъ историкъ, держится тѣмъ, что Монтескье называлъ «virtus», и безъ нея упадаетъ. Исторія Новгорода подтвердила справедливость этой мысли: съ XIV столѣтія начинается эпоха бѣдственная для его гражданской свободы; успѣвая въ торговлѣ, онъ болѣе и болѣе слабѣлъ доблестью. Слѣдствія не замедлили обнаружиться. Какъ прежде, по словамъ предисловія къ повѣсти, Іоаннъ долженъ былъ для славы и силы отечества, присоединить область новгородскую къ своей державѣ, такъ и теперь, по исторіи, государственная мудрость предписывала ему усилить Россію твердымъ соединеніемъ частей въ цѣлое, чтобы она достигла независимости и славы. Заключая разсказъ о паденіи Новгорода, Карамзинъ снова возвращается къ мысли, которую проводилъ въ обзорѣ исторіи этого города: «Императоръ Гальба сказалъ: я былъ бы достоинъ возстановить свободу Рима, если бы Римъ могъ пользоваться ею. Историкъ русскій, любя и человѣческія и государственныя добродѣтели, можетъ сказать: Іоаннъ былъ достоинъ сокрушить утлую вольность новгородскую, ибо хотѣлъ твердаго блага всей Россіи». И такъ любовь къ человѣческимъ добродѣтелямъ, независимо отъ всякихъ другихъ соображеній, внушала автору доброжелательство къ новгородской республикѣ, но политическіе расчеты, государственныя соображенія, высокое чувство патріота, желающаго своему отечеству величія, славы, блага, убѣждали его въ необходимости и пользѣ пожертвовать своею склонностью и славить державный умъ Іоанна. Карамзинъ искренно исповѣдывалъ то самое, что онъ вложилъ въ уста Холмскому: «народы мудрые любятъ порядокъ, а *мы* *порядка безъ власти самодержавной*». Къ этому убѣжденію привели его не только смуты французскаго переворота, но и уроки исторіи, и размышленія объ истинныхъ потребностяхъ Россіи. За мѣтимъ, что мысль Монтескье о virtus, какъ отличительной особенності республикъ, которыя безъ высокой народной добродѣтели стоять не могутъ, встрѣчается и въ другихъ мѣстахъ сочиненій

Карамзина. По этой причинѣ «монархическое правленіе гораздо счастливѣе и надежнѣе: оно не требуетъ отъ гражданъ чрезвычайностей и можетъ возвышаться на той степени нравственности, на которой республики падаютъ».

Выводы, извлеченные изъ заявленій самого Карамзина, можемъ подтверждать свидѣтельствомъ его современника. Вотъ что онъ пишетъ: «Карамзинъ громко провозглашалъ необходимость и пользу самодержавія въ Россіи, провозглашалъ по убѣжденію, потому что былъ неспособенъ къ лицемерію или лжи, какъ человекъ великаго таланта, просвѣщеннаго разума, души благородной и возвышенной. Но съ другой стороны, онъ не былъ и врагомъ противоположнаго образа правленія. Занятія отечественной исторіей содѣйствовали образованію въ немъ этого убѣжденія. Онъ видѣлъ, что Россія, при вѣчевомъ порядкѣ, раздѣленная на многія владѣнія, была покорена татарами и что единственно преобладаніемъ Москвы, соединившей подъ своимъ скипетромъ удѣльныя княжества, освободилась отъ ига. Изъ государственныхъ соображеній возникло въ его умѣ понятіе о непреложности и необходимости самодержавной власти не только для того, чтобы цѣлѣнѣе бѣдствія страны, но и для того, чтобы развивать и укрѣплять ея могущество. «Россія прежде всего должна быть великою, сильною и грозною въ Европѣ, и только самодержавіе можетъ сдѣлать ее таковою»: такъ отвѣчалъ онъ на всѣ дѣлаемые ему замѣчанія.

Особенности представительнаго правленія Карамзинъ узналъ изъ книги Делольма ⁽¹⁾ и ставилъ его выгоды въ безусловную зависимость отъ народной образованности. Не конституція, какъ только конституція, хороша сама по себѣ; хорошо то, что англичане народъ образованный, и знаютъ истинные свои интересы и потребности. Слѣдовательно настоящее охраною англичанъ служить ихъ просвѣщеніе. Это понятіе объ условіяхъ конституціонализма Карамзинъ относитъ и къ другимъ видамъ правленія. Каждое изъ нихъ есть плодъ того, что въ литературѣ Екатеринына вѣка называлось народнымъ «умоначертаніемъ» (духомъ, характеромъ): «гражданскія учрежденія должны быть сообразены съ характеромъ народа; что хорошо въ Англіи, то будетъ дурно въ иной землѣ. Не даромъ сказалъ Солонъ: мое учрежденіе есть самое лучшее, но только для Аѣинъ». Но какой бы ни былъ образъ правленія, разсуждаетъ Карамзинъ, онъ, какъ форма, не составляетъ существенной важности: исключительно важно его содержаніе, душа властвующая его дѣйствіями. Этотъ внутренний,

¹⁾ Constitution de l'Angleterre (1771).

духовный двигатель правленія заключается въ справедливости. Каждое правленіе, будучи справедливымъ, благотворно и совершенно; въ противномъ случаѣ, оно неблаготворно и несовершенно. Тотъ же самый выводъ сохраняетъ свою силу и для политическихъ партій: одушевленная желаніемъ блага, управляемая чувствомъ справедливости, каждая партія достойна похвалы; при качествахъ противоположныхъ, каждая партія бѣдственна: «злой роялистъ не лучше злаго якобинца», замѣтилъ Карамзинъ въ одной статьѣ Вѣстника Европы.

Сообразивъ мысли Карамзина относительно занимающаго насъ предмета, не трудно построить его идеалъ гражданского благоденствія. Цѣль правленія—счастіе подданныхъ, которое возможно только при знаніи истинныхъ потребностей и выгодъ народа, какъ со стороны правителей, такъ и со стороны управляемыхъ. Обеспеченіемъ сознанныхъ выгодъ служатъ, во первыхъ, хорошіе законы, и во вторыхъ (и это главное) справедливое ихъ выполненіе. Но и точное пониманіе народныхъ интересовъ, и правильное дѣйствіе законовъ немислимы безъ образованности, которая вліяетъ на нравы и ведетъ ихъ къ добру. Сократъ называлъ добродѣтель знаніемъ; порокъ можно назвать невѣжествомъ, ибо онъ есть слѣпота ума. Слѣдовательно вся сила въ народной нравственности, очищаемой и совершенствуемой просвѣщеніемъ—этимъ «палладіумомъ благонравія»; на ней коренится государственное и частное счастіе; безъ нея счастіе не существуетъ, каковъ бы ни былъ образъ правленія. Когда нравственное достоинство человѣка возвышено въ державѣ, тогда народъ имѣетъ право считать себя избраннымъ. И какъ изъ всѣхъ возможныхъ партій есть только одна хорошая—«друзей человѣчества и добра, которая въ политикѣ составляетъ тоже, что электика въ философіи», такъ и правленіе хорошее только одно—основанное на просвѣщеніи и добродѣтели. Просвѣщеніе, ведущее къ доброй нравственности, и добрая нравственность, невозможная безъ просвѣщенія: таковъ идеалъ государственнаго развитія и благоустройства. Но твердое строеніе государства, какъ великаго политическаго творенія, совершается медленно: «Историкъ означаетъ только эпохи его рожденія и возникающихъ въ немъ новыхъ силъ: для полнаго его образованія нужны цѣлыя вѣки. Бѣда тому законодателю, который задумаетъ опередить время, медленно и тихо подвигающее впередъ разумъ народовъ! Законодатель мудрый идетъ шагъ за шагомъ и смотритъ вокругъ себя», принимая въ соображеніе естественныя и историческія условія народной жизни, какъ священный завѣтъ и столь же священное руководство для своихъ просвѣтительныхъ реформъ.

в) Съ понятіемъ Карамзина о крѣпостномъ состояніи произошло тоже самое, что и съ его взглядомъ на конецъ XVIII вѣка. Прежде онъ стоялъ за свободу крестьянъ; потомъ нашелъ ее преждевременною, приносящую больше вреда, чѣмъ пользы. Будучи, по его словамъ, напитанъ духомъ филантропическихъ авторовъ, т. е. ненавистью къ злоупотребленіямъ помѣщичьей власти, онъ захотѣлъ быть благодѣтелемъ своихъ поселянъ: отдалъ имъ всю землю, обложивъ самымъ умѣреннымъ оброкомъ и предоставивъ распоряжаться своими дѣлами какъ они сами заблагоразсудятъ. Опытъ показалъ ему печальные плоды этого заочнаго знакомства съ сельскимъ бытомъ: лѣность, пьянство и бѣдность представились глазамъ помѣщика-филантропа, по возвращеніи его изъ путешествія. Тогда, разочарованный въ своемъ либерализмѣ, онъ завелъ порядки, которыхъ требовала истинная филантропія: возобновилъ господскую пашню, обращалъ празднолюбцевъ къ труду, самъ смотрѣлъ за хозяйствомъ. Слѣдствія такого домостроительства оказались какъ нельзя больше счастливые: прежде крестьяне лѣнились, пили и терпѣли во всемъ недостатокъ; теперь они сдѣлались рачительными, трезвыми и зажиточными (1).

Новое мнѣніе Карамзина объ одномъ и томъ же предметѣ естественно вытекало изъ рассмотрѣннаго въ предъидущемъ параграфѣ идеала правленія. Связь народа съ его главою, основанная на любви и признательности, должна, по его взглядамъ, скрѣплять и отношенія помѣщиковъ къ крестьянамъ. Обязанность законовъ—опредѣлить эти взаимныя отношенія; обязанность просвѣщенія—не допускать злоупотребленій. «По нашимъ законамъ, говорить Карамзинъ, господская власть не есть тиранская и неограниченная; чтобы она не выступала изъ границъ, необходима повсемѣстная образованность, тихо, но вѣрно подвигающая впередъ «разумъ народовъ». Но рядомъ съ злоупотребленіями съ одной стороны, возможны большія опасности съ другой—отъ данной крестьянамъ свободы, которую они, за недостаткомъ подготовительнаго образованія, не съумѣютъ употребить во благо. Гдѣ же, въ виду настоящаго положенія, искать наилучшаго устройства дѣла? «Главное право русскаго дворянина, отвѣчаетъ Карамзинъ, быть помѣщикомъ: главная должность его быть добрымъ помѣщикомъ. Кто исполняетъ ее, тотъ служитъ отечеству какъ вѣрный сынъ, тотъ служитъ монарху какъ вѣрный подданный».

Карамзинъ не первый находилъ освобожденіе крестьянъ безъ ихъ просвѣщенія опаснымъ. Такъ думали многіе люди и прежняго и

1) Письмо сельскаго жителя (В. Евр. 1808, № 17).

его вѣка. Съ какою осторожностію подходилъ къ рѣшенію того же вопроса Руссо! Поборникъ идеи, совершенно справедливой въ самой себѣ, онъ пугался спѣшности ея осуществленія. «Освобожденіе крестьянъ», говоритъ онъ въ одномъ изъ своихъ небольшихъ сочиненій ⁽¹⁾, «есть дѣло прекрасное и великое, но вмѣстѣ смѣлое и опасное. Надобно приступать къ нему не кое-какъ, а съ предосторожностями, между которыми главнѣйшая заключается въ томъ, чтобы людей, назначаемыхъ къ освобожденію, сдѣлать достойными свободы и способными ею пользоваться. Позаботьтесь прежде всего объ этомъ; не освобождайте ихъ тѣла, прежде нежели освободите ихъ душу; безъ этого предварительнаго акта ваша операція будетъ имѣть дурной исходъ». Какую же мѣру предлагаетъ философъ для постепеннаго, крайне осмотрительнаго хода реформы? «Общественный голосъ, строго провѣряемый, долженъ указывать крестьянъ, отличившихся поведеніемъ, добрыми нравами, приличнымъ образованіемъ, попеченіемъ объ ихъ семействахъ, тщательнымъ выполненіемъ всѣхъ обязанностей ихъ званія. Изъ ихъ-то среды слѣдуетъ выбирать опредѣляемое закономъ число для освобожденія... И даръ свободы долженъ быть имъ вручаемъ торжественно, съ такою обстановкою, отъ которой церемонія дѣлалась бы величественною, трогательною и памятною». Вотъ какъ смотрѣлъ на это дѣло авторъ «Общественнаго договора» и трактата «о началѣ и основаніяхъ неравенства между людьми».

Начало сужденій объ уничтоженіи крѣпостнаго состоянія относится къ первымъ годамъ царствованія Екатерины II. Она первая, въ письмѣ къ членамъ Вольнаго Экономическаго Общества (1765), поставила вопросъ: «нужна ли поземельная собственность крестьянину для благоденствія общественнаго»? Этотъ вопросъ былъ въ такомъ видѣ опубликованъ отъ Общества (1766): «что полезнѣе для общества, чтобы крестьянинъ имѣлъ въ собственности землю, или тожко движимое имѣніе, и сколь далеко его право на то или другое имѣніе простирается должно»? Изъ отвѣтныхъ сочиненій извѣстны два: одно, на французскомъ языкѣ—Беарде Делабей, члена Дижонской Академіи; другое, на русскомъ—Полѣнова, состоявшаго при Академіи Наукъ, по возвращеніи его изъ геттингенскаго университета. Первое признано наилучшимъ, почему авторъ и получилъ назначенную награду (100 червонцевъ и медаль въ 25 червонцевъ); авторъ втораго награжденъ золотою медалью въ 12 червонцевъ. Сочиненіе Беарде дѣлится на двѣ части. Сначала онъ доказываетъ, что надѣленіе крестьянъ поземельною

¹⁾ *Considérations sur le gouvernement de Pologne* (1772).

собственностію немислимо безъ ихъ личной свободы, а потомъ разсуждаетъ о способахъ освобожденія и надѣла. Согласно со второю половиною девиза, выбраннаго имъ для своего сочиненія (*est modus in rebus*), онъ совѣтуетъ строгую постепенность въ преобразованіяхъ условій крестьянскаго быта, рекомендуя, какъ мѣру пріуготовительную; народное просвѣщеніе и общаніе послѣ извѣстнаго срока дать крестьянамъ землю и личную свободу. Трудъ Беарде оканчивается прекраснымъ обращеніемъ къ Екатеринѣ: «Когда мы съ удивленіемъ взираемъ на чудныя дѣла, произведенныя Петромъ Великимъ въ его земляхъ, то вдругъ покажется, что преемники его, подобно сыну Филиппа Македонскаго, могли бы сказать, что онъ имъ ничего великаго сдѣлать не оставилъ. Но какъ Александръ въ подвигахъ своихъ знатно превзошелъ отца, такъ равномерно предоставлено было безсмертной Екатеринѣ содѣлать еще большія чудеса, одушевляя, просвѣщая и даруя новую жизнь безчисленному множеству рабовъ, чувствующихъ только половину своего бытія, и преобразая такимъ образомъ человѣками многія тысячи самодвижущихся машинъ» (¹). Девизъ къ сочиненію Полѣнова: *plus boni mores valent, quam bonae leges*, показываетъ, что онъ, какъ въ послѣдствіи Карамзинъ, приписывалъ добрымъ нравамъ больше значенія, чѣмъ хорошимъ законамъ. Первымъ средствомъ для улучшенія крестьянскаго быта онъ ставитъ образованіе, предлагая и способы къ достиженію успѣха въ этомъ основномъ дѣлѣ. Затѣмъ сочиненіе разсуждаетъ о движимой и недвижимой собственности крестьянъ. Отдавая первую въ полное ихъ распоряженіе, Полѣновъ говоритъ, что извѣстное количество помѣщичьей земли должно быть также имъ уступлено за опредѣленную повинность и съ ограниченнымъ правомъ, т. е. только въ ихъ наслѣдственное пользованіе, но безъ права отчуждать ее какимъ бы ни было образомъ (²). Таковы ученныя рѣшенія вопроса о крѣпостномъ состояніи въ Россіи. Честь перваго заявленія его въ литературѣ принадлежитъ Радищеву, автору «Путешествія изъ Санктпетербурга въ Москву» (1790) (³).

д) Первоначальное понятіе Карамзина о реформахъ Петра I вы-

¹) Исторія Вольнаго Экономическаго Общества съ 1765 до 1865 г. (1865). Сочиненіе Беарде напеч. въ VIII ч. «Трудовъ» Общества (1768). Императоръ Александръ I сослался на него въ своемъ отвѣтѣ В. С. Покову, бывшему статсъ-секретарю Екатерины II (Русскій Архивъ 1864, № 8).

²) Объ уничтоженіи крѣпостнаго состоянія крестьянъ въ Россіи, А. Я. Полѣнова (Рус. Архивъ 1865, № 8); А. Я. Полѣновъ, русскій законовѣдъ XVIII в. (Пб. № 4, 5 и 6).

³) Ист. Слов., т. I.

текало изъ его взгляда на развитіе народной жизни. Преобра-
ванія великаго царя, по мнѣнію нѣкоторыхъ повредившія русской
національности, онъ оправдываетъ тѣмъ положеніемъ, что путь
образованія одинъ для всѣхъ народовъ. Это положеніе имѣло для
него силу исторической аксіомы и привело къ гуманитарно-космо-
политической точкѣ зрѣнія, сущность которой выражена въ Пись-
махъ русскаго путешественника: «Все народное ничто предъ человѣ-
ческимъ. Главное дѣло быть людьми, а не славянами. Что хорошо
для людей, то не можетъ быть дурно для русскихъ, и что англи-
чане или нѣмцы изобрѣли для пользы, для выгоды человѣка, то
мое, ибо я человѣкъ». Изъ мыслей для похвальнаго слова Петру I,
уцѣлѣвшихъ въ записной книгѣ 1798 г., видно, что въ это
время Карамзинъ думалъ о реформѣ по прежнему: Левека и по-
добныхъ ему порицателей великаго дѣятеля онъ причисляетъ къ
умамъ мелкимъ, безсильнымъ понимать генія; до-Петровскую Русь
уподобляетъ безобразному (необдѣланному) куску мрамора, а Россію
новую, преобразованную Петромъ — Фидіасовой статуѣ Юпитера
Олимпійскаго; подражаніе Европѣ называетъ единственнымъ спо-
собомъ подвинуть народъ къ совершенству; даже повторяетъ тѣ
самыя слова, какія были употреблены имъ въ письмѣ о Левекѣ:
«хоть натуры одинаковъ, одно просвѣщеніе, одинъ способъ къ
совершенству, одно назначеніе всѣхъ народовъ». — Но вскорѣ
этотъ взглядъ, измѣняясь, замѣнился другимъ, ему противополож-
нымъ, причина чего объяснится ниже.

д) Изъ литературныхъ мнѣній Карамзина наиболѣе замѣчатель-
но мнѣніе о Шекспирѣ. Оно выражено въ предисловіи къ переводу
«Юлій Цезарь», въ стихотвореніи «Поэзія» и въ разныхъ мѣстахъ
«Писемъ». Предисловіе и стихотвореніе характеризуютъ всеобъем-
лющій геній англійскаго трагика: «Шекспиръ зналъ всѣ сокровен-
нѣйшія побужденія человѣка, отличительность каждой страсти,
каждаго темперамента, каждого рода жизни. Для каждой мысли
находилъ онъ образъ, для каждого ощущенія выраженіе, для каж-
даго движенія души наилучшій оборотъ. Съ равнымъ искусствомъ
изображалъ онъ героя и шута, умнаго и безумца, Брута и баш-
мачника. Геній его, подобно генію натуры, обнималъ взоромъ
своимъ и солнце и атомы. Драмы его, подобно неизмѣримому те-
атру натуры, исполнены многообразія; все же вмѣстѣ составляетъ
совершенное цѣлое». Въ «Письмахъ», при сравненіи «французской
Мельпомены» съ «Шекспировой музой», отдается послѣдней рѣши-
тельное преимущество: Карамзинъ ни у Корнеля, ни у Расина не
находитъ ничего подобнаго монологу Лира, когда онъ, изгнанный
дочерью, долженъ былъ провести бурную ночь въ лѣсу. Такой

взглядъ на Шекспира былъ исключеніемъ изъ ряда тогдашнихъ понятій о томъ же трагикѣ. Опираясь на авторитетъ Вольтера, наши критики театральныхъ піесъ дошли до того, что вкусъ Шекспира называли вкусомъ «рынковъ и кабаковъ». Предисловіе къ переводу «Юлія Цезаря» защищаетъ Шекспира отъ нападковъ «знаменитаго софиста» и вмѣстѣ съ тѣмъ даетъ урокъ русскимъ драматическимъ писателямъ: «не хотѣлъ Шекспиръ соблюдать такъ называемыхъ единствъ, которыхъ нынѣшніе наши авторы такъ крѣпко придерживаются, потому что не хотѣлъ полагать тѣсныхъ предѣловъ своему воображенію. Онъ смотрѣлъ только на натуру, не заботясь ни о чемъ прочемъ. Извѣстно было ему, что мысль человѣческая мгновенно можетъ перелетать отъ запада къ востоку, отъ конца области Моголовой къ предѣламъ Англіи».

Уваженіе Карамзина къ англійской трагедіи объясняется его знакомствомъ съ нѣмецкой литературой, въ которой вопросъ о Шекспирѣ не только былъ поднятъ, но и значительно разработанъ. Лессингъ первый указалъ своимъ соотечественникамъ на Шекспира, какъ на образецъ, которому должно слѣдовать для усвоенія истинно-драматическаго стиля и для созданія оригинальныхъ произведеній. Изъ его «Гамбургской драматургіи», Карамзинъ могъ узнать многое о различіи между этимъ стилемъ и трагической системой французовъ. Онъ перевелъ «Эмилию Галотти» (Лессинга),—піесу, по своему характеру совершенно противоположную псевдоклассическимъ драмамъ. Кромѣ того нѣсколько лѣтъ жилъ онъ въ одномъ домѣ съ Ленцомъ, умершимъ въ Москвѣ; а Ленцъ, какъ одинъ изъ авторовъ того періода нѣмецкой словесности, который извѣстенъ подъ именемъ періода «бурныхъ стремленій», принадлежитъ къ горячимъ, хотя и неисканнымъ, подражателямъ Шекспира. Можетъ быть въ бесѣдахъ съ нимъ онъ болѣе и болѣе пропитался уваженіемъ къ гениальному трагику, за сочиненіями котораго просиживалъ половину зимнихъ ночей съ своимъ другомъ Петровымъ, отличавшимся вѣрнымъ вкусомъ. Во всякомъ случаѣ своими понятіями о драмѣ Карамзинъ опередилъ современныхъ ему критиковъ не только конца прошлаго вѣка, но и первой четверти настоящаго. Эти понятія не поколебались ни отъ авторитета Вольтера, ни отъ общаго стремленія къ французскому псевдоклассицизму. Тогда какъ другіе не видѣли въ драмѣ ничего далѣе искусственной правильности, условныхъ приличій и неминуемыхъ трехъ единствъ, Карамзинъ требовалъ отъ нея глубины общечеловѣческаго содержанія, истинности и цѣльности характеровъ, художественнаго воспроизведенія жизни.

И всё эти требованія выговаривались имъ въ начальный періодъ его дѣятельности, на двадцатилѣтнемъ возрастѣ.

§ 6. Если публика своимъ полнымъ сочувствіемъ награждала труды Карамзина, то въ литературномъ мірѣ онъ встрѣтилъ противниковъ, изъ которыхъ одни по мелочному самолюбію, а другіе по несогласію во взглядахъ, заявляли свое къ нему недоброжелательство.

Мы уже упоминали о выходахъ «Зрителя» противъ Московскаго журнала. Издатели «Зрителя» (Крыловъ и Клушинъ), равно какъ и сотрудникъ Ѳ. Эминъ, неблаговолили ни къ Карамзину, ни къ его другу Дмитріеву. Издатель Россійскаго Магазина (1792 г.), Ѳедоръ Туманскій также зацѣплялъ Карамзина, въ отмщеніе за то, что Московскій Журналъ рѣзко отозвался о его переводѣ сочиненія греческаго писателя Палефата (о невѣроятныхъ сказаніяхъ) и не принималъ на свои страницы его бездарныхъ одъ и посланій. Потомъ тотъ же Туманскій, будучи цензоромъ въ Ригѣ, даже оставилъ нѣмецкій переводъ «Писемъ русскаго путешественника». Нѣсколько эпиграммъ вышло изъ подъ пера Шатрова и А. С. Хвостова, вонтелей извѣстнаго кружка, неблагоклонно смотрѣвшаго на литературныя новизны Карамзина.

Иную цѣль имѣли обличенія: они не довольствовались насмѣшкой, но хотѣли заподозрить образъ мыслей Карамзина, указать ихъ безнравственность. Умѣренно-либеральныя взгляды его, съ одной стороны казавшіеся тощими тому, кто увлекался событіями 1789 г., могли, съ другой стороны, пугать воображеніе тѣхъ, кто ученіе деистовъ смѣшивалъ съ матеріализмомъ или безбожіемъ и въ стремленіи къ общегражданскому благу видѣлъ якобинство. Въ журналѣ «Ипокрена» ⁽¹⁾ явилось стихотвореніе — пасквиль, подъ заглавіемъ: «Ода въ честь моему другу». Анонимный авторъ ея ⁽²⁾ выставяетъ нравственную философію своего друга, противопоставляя ее другой — безнравственной, извлеченной изъ сочиненій Карамзина. Онъ до того простеръ свою безцеремонность, что мнѣнія Карамзина обозначилъ курсивомъ, съ указаніемъ въ выноскахъ на тѣ пьесы, изъ которыхъ они приведены. Вотъ четыре строфы, направленные противъ «Разговора о счастьи»:

¹⁾ 1799, ч. 4.

²⁾ По всему вѣроятію П. И. Голенищевъ-Бутузовъ, издатель журнала «Другъ просвѣщенія» (1804—1806), бывшій два раза попечителемъ Московскаго университета: до его преобразованія (1798—1803) и послѣ преобразованія (1810—1812).

Картинъ не пишешь сладострастныхъ,
Чтобы читателей привлечь,
Чтобъ тѣмъ у юношей несчастныхъ
Воображеніе не разжечь,
Чтобъ не испортить ихъ природы
И въ самые незрѣлы годы
Огня страстей не развернуть;
Но гласъ твой мудрый повторяетъ:
«Чѣмъ меньше кто страстямъ внимаетъ,
«Скорѣй найдетъ къ блаженству путь».

Не мнишь, что тамъ сіе блаженство,
Гдѣ на окнѣ юршиокъ цвѣтовъ стоитъ ⁽¹⁾;
Не мнишь, что миръ и совершенство
Найдешь ты съ Хлоей межъ кустовъ:
Но, помня мудрости совѣты,
И въ юныя, и въ стары лѣты
Велишь со страстью быть въ борьбѣ,
Чтобъ были духъ и тѣло здравы,
Чтобъ зрѣть стези къ блаженству правы
Въ религіи, въ самомъ себѣ.

Не мнишь, даны чтобы чувства были
На то, чтобъ все ихъ услаждать,
И разума лучи служили,
Чтобъ наслажденья избирать;
Не выдалъ странную чудесность,
Приведши страсти въ разнорѣчность ⁽²⁾,
Къ блаженству съ буйствомъ ихъ идти:
Но ты, всю цѣну истинъ зная,
Твердишь, что, страсти побѣждая,
Къ блаженству путь легко найти.

Не мнишь, чтобъ жить въ союзѣ тѣсномъ
Намъ нужно было со страстями;
Что въ мирѣ нравственномъ, телесномъ
Безъ нихъ и жить не лзя съ людьми:
Но знаешь, что звѣрямъ подобенъ,
Кто сладострастенъ, скупъ и злобенъ,
Коль равновѣсны страсти въ немъ.
Но если страсти утишились,
Молчатъ, не дѣйствуютъ, сокрылись,
То схожъ онъ съ ангеломъ во всемъ.

¹⁾ Красивый, чистенькій домикъ всегда представляетъ моему воображенію картину возможнаго счастія, особливо когда *вижу на окнѣ цвѣты*, а подъ окномъ... миловидную женщину, за рукодѣліемъ, за книгою, за арфою (Разг. о счастіи).

²⁾ См. выше изложеніе содержанія «Разговора о счастіи».

О путешествіи Карамзина говорится слѣдующее:

Хоть ты и ѣздишь въ земли чужды,
Но не трактировъ тамъ смотрѣлъ;
Не видѣлъ въ томъ ни малой нужды,
Чтобъ знали, что ты пилъ и ѣлъ.
И ѣздивши не на проказы,
Хрусталь не кажешь за алмазы,
Чтобъ быть слѣпымъ вождемъ слѣпцовъ,
Но, въ истинѣ всегда стремяся
И къ ней единой приглася,
Искалъ бесѣды мудрецовъ.

Четырестишіе Карамзина, въ родѣ эпитафій самоубійцъ ⁽¹⁾, почти все приведено въ «Одѣ»:

Не мнишь ты также, чтобъ *Создатель*
Такой свѣтильникъ далъ уму,
Съ которымъ истины искатель
Находитъ ложь вездѣ и тьму;
Что сердце—*Божье дарованье—*
Дано на мутное страданье.
Ты жъ видишь въ семъ, сколь благъ Творецъ;
Что умъ всѣхъ истинъ есть содѣтель;
Что все дано на сей конецъ.

Другое стихотвореніе Карамзина: *Исправленіе* ⁽²⁾ также обличается въ безнравственномъ смыслѣ:

Ты мыслишь также, что не худо
Memento mori повторять ⁽³⁾,
За тѣмъ что никакое чудо
Не можетъ смерти насъ изъять;
За тѣмъ что рано или поздно
Наступитъ смерти время грозно.
Чтобъ сласти мнимыя пресѣчь,
То лучше къ смерти быть готовымъ,
Чтобъ гробъ не такъ намъ былъ суровымъ,
И чтобъ въ него спокойно лечь.

Какъ эту «Оду», такъ еще болѣе слѣдовавшія за нею обличенія, нельзя объяснить тѣмъ, что французы называютъ jalousie

⁽¹⁾ Можетъ быть, шведу Шпренгпорту, который былъ знакомъ съ Карамзинымъ. Оно напеч. въ Соч. Кар., изд. Смир. 1, стр. 118:

Богъ далъ мнѣ свѣтъ ума: я истины искалъ,
И видѣлъ ложь вездѣ—свѣтильникъ погашаю.
Богъ далъ мнѣ сердце: я страдалъ—
И Богу сердце возвращаю.

⁽²⁾ Из. стр. 174.

⁽³⁾ При этомъ авторъ «Оды» замѣчаетъ въ вѣнскѣ: сіе наипоминательное изреченіе, совѣтуемое и христіанскими, и языческими мудрецами, осмѣляется новымъ мудрецомъ (Аониды, III, 255).

du métier. Корень ихъ глубже и чернѣе. Анекдотъ, переданный гр. Растопчинымъ И. И. Дмитріеву (1), показываетъ, что Карамзинъ еще при императорѣ Павлѣ слылъ во мнѣніи нѣкоторыхъ недоброжелателей за безбожника, за человѣка, опаснаго правительству. Получивъ отъ одного изъ нихъ доносъ въ этомъ смыслѣ, Государь бросилъ его въ огонь послѣ разговора съ дежурнымъ генералъ-адъютантомъ Растопчинымъ, очень хорошо знавшимъ обвиняемаго и несправедливость обвиненій. Другой доносъ, можетъ быть отъ того же самого лица (2), адресованъ министру народнаго просвѣщенія, гр. А. К. Разумовскому, и относится къ 1810 г., когда Карамзину былъ пожалованъ орденъ св. Владиміра 3-ей степени, при дестномъ рескриптѣ, выставлявшемъ его литературныя заслуги (3). Доноситель пишетъ, что сочиненія Карамзина «исполнены вольнодумческаго и явобиническаго яда», что въ нихъ «явно проповѣдуется безбожіе и безначаліе», что «не хвалить, а сжечь ихъ слѣдовало бы», что авторъ ихъ «цѣлитъ не менѣе, какъ въ Сіесы или въ первые консулы». Письмо осталось безъ всякихъ послѣдствій. Карамзинъ былъ крѣпокъ правотою своею, дружбою и уваженіемъ къ нему многихъ вліятельныхъ лицъ. «Говорить ли о К—вѣ»? писалъ онъ А. И. Тургеневу (21 апрѣля 1811). «Онъ самъ себя наказываетъ злобою. По сіе время не удалось ему мнѣ сдѣлать зла, а что будетъ впредь—не знаю, и знать не хочу. Мщенія не люблю; довольствуюсь презрѣніемъ, и то невольнымъ». Сильнымъ заступникомъ Карамзина была великая княгиня Екатерина Павловна, принцесса ольденбургская, въ послѣдствіи королева Виртембергская (4). Въ письмѣ къ нему (3-го іюля 1811) она припомнила исторію доноса: «обѣдалъ у меня кураторъ К....., но онъ нашелъ мою кухню нездоровою, принужденный выслушать мои мнѣнія о васъ и профессорѣ Буле (5) и мои къ вамъ чувства». Отношенія Кутузова къ Карамзину не измѣнились и въ послѣдствіи, какъ можно видѣть изъ писемъ послѣдняго къ женѣ, въ бытность его въ Петербургѣ (1816): «Видѣлъ во дворцѣ и К...; вѣроятно,

1) Словарь достопамятныхъ людей русской земли, Бянтинъ-Каменскаго, т. 2, стр. 133.

2) П. И. Голенищева-Кутузова.

3) Письмо къ гр. Разумовскому въ «Чтеніяхъ въ Обществѣ Исторіи и древностей россійскихъ при Моск. унив.» (1868, кн. 2, смѣсь, стр. 186—186).

4) Она жила въ Твери, куда, по ея приглашенію, нерѣдко ѣзжалъ Карамзинъ. Принцъ имѣлъ пребываніе въ этомъ городѣ, какъ тверской и ярославскій генералъ-губернаторъ.

5) Профессоръ Моск. унив. Буле 1811 г. былъ опредѣленъ бібліотекаремъ великой княгини.

что онъ вымышляетъ какіе-нибудь новыя доносы и лжетъ по обыкновенію».... «А прогос де К.....: сказываютъ, что онъ на сихъ дняхъ старался доставить гр. Аранчееву ваписку съ новыми доносами на меня, но посредникъ отказался ⁽¹⁾).

§ 7. Реформа, произведенная Карамзинымъ въ книжномъ языкѣ, возбудила противодѣйствіе собственно-литературное, имѣвшее своимъ предметомъ не содержаніе его сочиненій, а ихъ внѣшнее выраженіе. Возникшая по этому предмету полемика тянулась долгое время. Мы изложимъ ея послѣдовательный ходъ съ указаніемъ важнѣйшихъ явленій, которыя, занимая мѣсто въ исторіи нашего книжнаго языка и слога, любопытны и въ другихъ отношеніяхъ.

Еще въ переводахъ для Дѣтскаго чтенія, Карамзинъ представилъ образцы иного языка и слога, сравнительно съ господствовавшимъ до него Ломоносовскимъ строемъ рѣчи. «Письма русскаго путешественника», независимо отъ содержанія, плѣняли современную публику особенностями языка, близкаго, по ясности и легкости, къ языку разговорному и вмѣстѣ отличавшагося тѣмъ, что рѣдко встрѣчается въ разговорѣ—пріятностью. Раздѣля исторію русскаго слога на эпохи, Карамзинъ первую ведетъ отъ Кантемира, вторую отъ Ломоносова, третью отъ славяно-русскаго перевода Елагина, а четвертую отъ своего времени, въ которое, какъ онъ говоритъ, образуется *пріятность* слога, называемая французами *élégance* ⁽²⁾. Карамзинъ умалчиваетъ объ имени образователя и даже не опредѣляетъ, въ чемъ именно заключается эта «пріятность»; но изъ его собственныхъ произведеній не трудно было видѣть по вѣрней мѣрѣ отрицательныя ея качества: она свободна съ одной стороны отъ славянскихъ словъ, а съ другой — отъ латино-нѣмецкаго словорасположенія. Внимательный читатель могъ замѣтить съ перваго же раза, что авторъ, не получившій схоластическаго образованія, не изучавшій греко-латинскихъ классиковъ, но хорошо знакомый съ тогдашнею западно-европейскою словесностью, выбралъ себѣ примѣрами по преимуществу французскихъ писателей; что отъ его природнаго вкуса не скрывалась неумѣстность славяно-русской смѣси въ литературномъ

¹⁾ Невзл. сочиненія и переписка Карамзина. Друзья и почитатели Карамзина не могли, по образу своихъ мыслей и чувствъ, возвать съ Кутузовымъ его оружіемъ; они преслѣдовали его зинграммами, въ которыхъ онъ явился «Картузовымъ». Въ сатирѣ Воейкова «Домъ сумасшедшихъ», Кутузову посвящена особая строфа.

²⁾ Пантеонъ Россійскихъ авторовъ (характеристика Кантемира). При внесеніи Пантеона въ собраніе сочиненій Карамзина, слова: «называемая французами «*élégance*», исключены.

языкъ, и по преимуществу въ эпистолярномъ стилѣ, наиболѣе подходящемъ къ разговорному, такъ какъ письмо есть своего рода разговоръ. Извѣщая, въ Московскомъ журналѣ, о выходѣ русскаго перевода Ричардсоновой Клариссы, Карамзинъ критикуетъ выраженіе: «колько для тебя чувствительно», и объясняетъ его дикостью тѣмъ, что переводчикъ хотѣлъ послѣдовать модѣ, введенной въ русскій слогъ «голлѣвыми (великими) претолковниками, иже отрѣзають все, еже есть русское, и блещаютъ блаженнѣ сіяніемъ славяномудрія». При разговорѣ съ Каменевымъ (1800 г.), онъ показалъ, какимъ способомъ упражнялся онъ въ искусствѣ писать: «Вознамѣрясь выдти на сцену, я не могъ сыскать ни одного изъ русскихъ писателей, который бы былъ достоинъ подражанія, и, отдавая всю справедливость краснорѣчію Ломоносова, не упустилъ замѣтить стиль его *дикий, варварскій*, вовсе несвойственный нынѣшнему вѣку, и старался писать чище и живѣе. Я имѣлъ въ головѣ нѣкоторыхъ иностранныхъ авторовъ; сначала подражалъ имъ, но послѣ присалъ уже своимъ, ни отъ кого не заимствованнымъ слогомъ» Записки И. Дмитріева точнѣе объясняютъ, къ какому собственно стилю относятся эпитеты: «варварскій» «дикий». Ломоносовъ хотя и вводилъ въ свою рѣчь славянскія слова, но осторожно, т. е. съ извѣстнымъ тактомъ и соотвѣтственно матеріи. Тоже видимъ у ближайшихъ его послѣдователей—Поповскаго и Барсова; но потомъ подчиненіе авторитету преступило мѣру, предписанную разсужденіемъ о пользѣ книгъ церковныхъ въ россійскомъ языкѣ. При изложеніи чувствъ и мыслей такъ называемымъ высокимъ слогомъ, писатели считали непремѣнною обязанностью наполнять свою рѣчь, кстати и некстати, славянщиной, отчего и образовался подъ деромъ ихъ особенный литературный языкъ, получившій названіе «славянороссійскаго» или «славянорусскаго». Карамзинъ ведетъ его начало отъ переводовъ Елагина, открывшихъ, по его мнѣнію, третью эпоху нашего слога въ его послѣдовательномъ развитіи съ Кантемира. Дмитріевъ къ имени Елагина присоединяетъ также имя фонъ-Визина, какъ переводчика похвального слова Марку Аврелію ⁽¹⁾ и поэмы «Іосифъ» ⁽²⁾. За ними слѣдовали (а иные и одновременно шли съ ними): Михаилъ Поповъ, переводчикъ Освобожденнаго Іерусалима (1772), Екимовъ, переводчикъ Иліады (1776), Пахомовъ и священникъ Сидоровскій, общими силами переведшіе «Разговоры Лувіана» (1775—1783) и «Творенія Платона» (1780—85), Захаровъ, переводчикъ поэмы «Авелева смерть» (1780).

⁽¹⁾ Французскаго писателя Тома.

⁽²⁾ Витобе, также французскаго писателя.

На этих-то переводчиковъ семидесятихъ и восьмидесятихъ годовъ, вѣроятно, намекалъ другъ Карамзина Петровъ, когда давалъ ему такой совѣтъ: «лучше пиши все свое сочиненіе на русско-славянскомъ языкѣ, долгосложно-протяжно-парящими словами» Самъ же Карамзинъ подѣ «голыми претолковниками» разумѣлъ членовъ Россійской Академіи, отличавшихся славяноманіей. Въ числѣ этихъ членовъ состояли упомянутые Сидоровскій и Захаровъ ⁽¹⁾.

Такъ какъ многіе изъ тогдашнихъ литераторовъ, и особенно тѣ, что засѣдали въ Россійской Академіи, вовсе не почитали Ломоносовскій слогъ «дикимъ и варварскимъ», а напротивъ видѣли въ немъ идеалъ, къ которому должно стремиться, то реформа Карамзина равнялась, по ихъ мнѣнію, посягательству на образецъ и требовала противодѣйствія. Защиту оскорбляемаго авторитета взялъ на себя Шишковъ, воспитанникъ Морскаго корпуса, знавшій многіе иностранные языки и на чтеніи духовныхъ книгъ, памятниковъ древне-русской словесности и отечественныхъ писателей XVIII в. ознакомившійся съ языками церковно-славянскимъ и русскимъ литературнымъ. Въ 1803 г. вышло его «Разсужденіе о старомъ и новомъ слогѣ Россійскаго языка». Изъ названія книги видны ея содержаніе и составъ. Она дѣлится на двѣ части: въ одной идетъ рѣчь о старомъ слогѣ, въ другой о новомъ, постоянно противопоставляемомъ первому. Достоинства стараго слога разъясняются на образцахъ изъ духовной литературы, изъ сочиненій Ломоносова, Сумарокова и другихъ писателей XVIII в. Особенно восхваляется мастерство Ломоносова сочетать высокопарный славянскій слогъ съ просторѣчивымъ русскимъ ⁽²⁾. За примѣрами образцоваго стараго слога слѣдуютъ примѣры новаго. Самъ Карамзинъ не представлялъ, въ этомъ отношеніи, слабыхъ сторонъ своему противнику. Но многіе изъ подражателей Карамзина оказывали плохія услуги его дѣлу отсутствіемъ таланта, безвкусіемъ и незнаніемъ духа русскаго языка. Безъ всякой нужды, они пестрили свою рѣчь гали-

¹⁾ Карамзинъ въ исторіи русскаго литературнаго языка, Я. Грота (Ж. М. Н. Просв. 1867 г. апрѣль). Въ приложеніяхъ къ этой статьѣ приведены образцы до-Карамзинскаго слога.—Другіе примѣры см. въ примѣчаніяхъ къ 1-му т. моей Русской Христоматіи.

²⁾ Какъ примѣръ крайней осмотрительности, ясности и точности въ рѣчахъ Ломоносова, «Разсужденіе» приводитъ слѣдующій стихъ, въ которомъ говорится о Купцоновомъ лугѣ:

Въ дождѣ чай поврежденъ.

Ломоносовъ, замѣчаетъ Шишковъ, почувствовалъ, что, поставя чай (вмѣсто чай), выйдетъ изъ сего двусмысліе глагола чай съ именемъ чай, т. е. китайской травы, которую мы по уграмъ пьемъ, и для того, сокращая глаголъ чай, поставилъ чашъ.

цызмами, или выдумывали новыя слова, которыя не отвѣчали ни смыслу выражаемыхъ ими понятій, ни требованіямъ благозвучія. Шишковъ имѣлъ право назвать ихъ переводы «французско-русскими». Цитируя вышеприведенное изъ «Пантеона російскихъ авторовъ» дѣленіе нашего слога на эпохи, «Разсужденіе» замѣчаетъ: «правда, ежели французское слово *élégance* перевести по-русски *ченуха*, то можно сказать, что мы дѣйствительно и въ враткое время слогъ свой довели до того, что погрузили въ него всю полную силу и знаменованіе сего слова».

При чтеніи нѣкоторыхъ журналовъ, современныхъ книгъ Шишкова, легко было найти, что возмущало его и чѣмъ онъ пользовался, какъ меткимъ орудіемъ, въ своихъ нападкахъ на новизну. Такъ одинъ критикъ, вмѣсто разбора литературныхъ произведеній, *дѣлаетъ экзаменъ* (экзаменъ «Хорева», трагедіи Сумарокова; экзаменъ «Лизы или торжества благодарности», драмы Ильина); говорить, что у Ломоносова было больше учености, но меньше *духа* (вм. творчества, генія), нежели у Сумарокова, который имѣлъ всѣ *пороки* (вм. недостатки) Корнеля, не имѣя ни одной изъ его красотъ. Геснеръ, въ предисловіи къ переводу его идиллій, названъ не геніемъ, а *женни*. Шишковъ представилъ длинный списокъ подобныхъ выраженій, изъ которыхъ, для примѣра, беремъ слѣдующія: подпирать свое мнѣніе; имена мелкія дѣвы; голова образованная для тайной связи съ невинностью; законъ ударяетъ совсѣмъ на иные предметы; вѣдомственные извѣстія; казалось, что вся природа искала намъ добронравствовать; мысль перваго мая; народъ не потерялъ перваго отпечатка своей дѣвы, и проч. и проч. (1).

¹⁾ Такъ какъ списокъ Шишкова многимъ обязанъ «россійскому сочиненію А. О. (Орлова): «Утѣхи меланхоліи» (1802), то выписка изъ этой книжки будетъ не лишнею для знакомства съ смѣшными крайностями новаго слога и имѣстъ съ такими же крайностями сентиментализма. Беремъ статью: «Чувство пріятнаго».

Пасмурный день изъ сердца іюля вызвалъ насъ пользоваться воздухомъ. Предлагая интересную прогулку въ дружескомъ кругѣ, идемъ за городъ развлечь задумчивость; полевая красота вѣжно плѣнила насъ; поспѣвая, съ сердечнымъ удовольствіемъ входимъ въ рощу. Здѣсь вѣрнѣе намъ находятъ разнообразіе предметы; съ неизъяснимою пріятностію разсѣявшись въ ея сѣни, слышимъ страстную Филомену, тающую въ своихъ восторгахъ: Орфей глосовъ ей аккомпанируетъ. Сквозь рѣдкія деревья сей свѣтлинъ мелькаютъ по М... дорогѣ сплущіе экипажи; далѣе съ котомками нильгримы. Между тѣмъ сокровище Цереры обращаетъ вниманіе наше. Тутъ сельская прелесть съ восхищеніемъ обозрѣваетъ созрѣвающее богатство; привѣтствуемъ ее съ нетерпѣніемъ ожидаемаго: низкій натуральный комплиментъ при невинной улыбкѣ былъ отвѣтъ ея. Полясь въ объятіи уединеннаго Сальвана, обитателя прикосновенной чаши, воз-

Неправильности новаго слога Шишковъ дѣлитъ на три` разряда. Одни писатели безобразятъ родной языкъ внесеніемъ словъ ему чуждыхъ, напр. моральный, эстетическій, эпоха, гармонія, энтузіазмъ, катастрофа, акція. Другіе стараются изъ русскихъ словъ дѣлать не русскія, наприм.: «настоящность», вм. настоящее время, «будущность», вм. будущее время (1). Третьи переводятъ французскія имена, глаголы и цѣлыя рѣчи изъ слова въ слово на отечественный языкъ, принимая ихъ въ томъ самомъ смыслѣ, какой они имѣютъ въ подлинникѣ; отсюда явились: переворотъ (révolution), развитіе (développement), утонченный (raffiné), сосредоточить (concentrer), трогательно (touchant), занимательно (interessant), и многія другія. Всѣ эти злоупотребленія роднаго слова приписываетъ Шишковъ пристрастію къ языку французскому и пренебреженію славянскимъ.

За тѣмъ въ «Разсужденіи» слѣдуютъ двѣ выписки: въ одной выбраны изъ новѣйшихъ сочиненій и переводовъ слова и рѣчи, несвойственныя нашему языку, съ цѣлію обнаружить вводимыя странности; вторая есть «опытъ словаря» и содержитъ въ себѣ слова и рѣчи изъ книгъ церковныхъ, съ объясненіемъ ихъ значенія и съ цѣлію показать, что, вмѣсто нехѣлыхъ новостей, должно прибѣгать къ памятникамъ духовной литературы, какъ источнику истиннаго краснорѣчія. Последняя выписка замѣчательна тѣмъ, что рекомендуетъ славянскія и русскія слова, которыми, по мнѣнію Шипкова, удобно могли бы замѣниться нововведенія. Онъ удивляется, зачѣмъ явились *сцена, актъ, меланхолія, мифологія, рецензія, героизмъ*, когда у насъ есть *явленіе, дѣйствіе, умнѣніе, баснословіе, разсматриваніе книгъ, доблестныи*. Понятіе объ *актерѣ*, говоритъ онъ, дается словомъ *лицедѣй*; новое выраженіе: *развитіе понятій* уступаетъ болѣе намъ свойственному: *прозрѣніе понятій*. Заброшенныя слова: *лысто, нещивать, овъ, зане, поне, убо, иже, яко*, онъ находитъ хорошими и

лежимъ на мшистомъ бархатѣ прекрасной лужайки, пригласившей насъ на говоры ея, читаемъ творенія мужей знаменитыхъ, мирно аплодируемъ изящность идей ихъ. Сблизилися вечеръ,—въ полномъ наслажденіи чувствъ возвращаемся; вкусный кофе питаетъ насъ аппетитно, и разговоръ друзей неопутительно застаетъ ночь. Облобызавшись взаимно съ признательностію къ подателю благъ, принимаемъ въ послѣдствіи заниматься прохладомъ. Тихій, сладкій сонъ заключаетъ времяпровожденіе дня того... Священная природа! въ храмѣ твоёмъ токио человѣкъ можетъ существенно блаженствовать.

(1) Послѣ этого, замѣчаетъ Шишковъ, прошедшее время дозволено будетъ называть «прошедшность», человѣческое жилище—«человѣчатнею» (по подобію голубати), а береговое или дубовое дерево—«береватиной», «дубоватиной» (по подобію телатины).

выразительными. Еще прежде «опыта словаря», онъ хвалилъ русскія переложенія геометрическихъ терминовъ, въ старинномъ переводѣ «Эвклидовыхъ началъ»: *минующія черты* (параллельныя линіи), *подтягивающая* (хорда), *размѣръ* (діаметръ), *ось* (центр), равно какъ, съ другой стороны, осуждалъ слова: *обработанность*, *обдуманность*, *начитанность*, замѣчая, что послѣ этого начнуть, пожалуй, писать: *летательность*, *насмотрѣнность* и т. п.

Въ одинъ годъ съ книгою Шишкова вышелъ разборъ ея, написанный Макаровымъ, издателемъ «Московского Меркурія» (¹). Исходная мысль критика—непрерывное развитіе языка, которое онъ противопоставляетъ его установленности, поддерживаемой Шишковымъ. Всѣ языки съ теченіемъ времени мѣняются и ветшаютъ. Изъ общаго закона не изъять и нашъ. Не только славянскій языкъ, но и тотъ, которымъ писалъ Ломоносовъ, уже устарѣлъ и не можетъ болѣе служить примѣромъ для прозы. Движеніе языка, появленіе въ немъ новыхъ словъ идетъ за движеніемъ просвѣщенія, за появленіемъ новыхъ предметовъ и понятій. Умственные приобрѣтенія обогащаютъ и словарь. Такова сущность мысли Макарова, который подкрѣпляетъ ее примѣрами. Отъ главнаго своего тезиса Макаровъ переходитъ къ другимъ, менѣе существеннымъ. Онъ признаетъ фактъ, возбуждѣвшій негодованіе Шишкова, но въ тоже время показываетъ односторонность его критики. Дѣйствительно, говоритъ онъ, плохіе писатели употребляютъ иностранныя слова безъ разсудка и вкуса; но развѣ виноватъ талантъ, если нашлись бездарные ему подражатели? Десятки, сотни ошибочныхъ фразъ, выбранныхъ изъ книгъ разнаго сорта, доказываютъ только, что у насъ есть дурныя книги, но несправедливо судить по нимъ о состояніи языка, о качествѣ современной словесности. Далѣе Макаровъ отвергаетъ мысль Шишкова, будто книжный языкъ долженъ быть какимъ-то особеннымъ, противопоставляемымъ низкому, простонародному. По мнѣнію Макарова, есть и долженъ быть языкъ средній, который стараются образовать нынѣшніе передовые писатели и для общества и для литературы, чтобы *писать какъ говорятъ и говорить какъ пишутъ*. Короче, онъ хочетъ совершенно упразднить книжный языкъ, не имѣющій никакихъ свойствъ живой рѣчи. Это мнѣніе замѣчательно. Оно дополняетъ правило, которому слѣдовалъ Карамзинъ (*писать, какъ говорятъ*), другимъ столь же законнымъ: *и говорить, какъ пишутъ*. Первое безъ втораго было бы односторонне. Требуя сближенія литературной рѣчи съ разговорною, необходимо требовать и возвы-

¹) 1803, № 12.

шенія разговорной до уровня литературной. Каждая изъ нихъ имѣеть свойственныя ей преимущества. На сторонѣ разговорнаго языка—начало жизни, начало движенія; на сторонѣ языка литературнаго—начало вкуса, начало искусства, образуемаго чувствомъ красоты и мыслию. Языкъ литературный почерпаетъ матеріалъ и живость изъ языка разговорнаго, но самъ въ свою очередь сообщаетъ послѣднему вкусъ, красоту, обработку.

Другой отвѣтъ Шишкову, подъ названіемъ: «Письмо деревенскаго жителя» ⁽¹⁾, принадлежитъ Каченовскому, бывшему потомъ профессоромъ въ московскомъ университетѣ. Онъ прибавляетъ мало новаго къ критикѣ Московскаго Меркурія. Подобно Макарову, Каченовскій признаетъ злоупотребленіе иностранными словами, но отличаетъ его отъ разумнаго ихъ заимствованія. Несправедливо, говоритъ онъ, осуждать хорошее, на ряду съ дурнымъ. Слова и даже выраженія, введенныя нашими лучшими писателями и переводчиками, ни мало не оскорбили бы нашихъ прадѣдовъ, если бы они жили въ одно съ нами время и если бы не нашли въ родномъ языкѣ приличныхъ реченій для выраженія современныхъ утонченныхъ понятій ⁽²⁾. Подобно Макарову, Каченовскій видитъ въ обновленіи языковъ общій законъ ихъ, указанный еще Горациемъ, и не считаетъ порокомъ счастливую отважность писателя, который, по мѣрѣ надобности и въ духѣ своего языка, творить неологизмы.

Въ отвѣтъ «Московскому Меркурію» и «Сѣверному Вѣстнику» Шишковъ написалъ «Прибавленіе къ сочиненію, называемому «Разсужденіе о старомъ и новомъ слогѣ русскаго языка», или собраніе критикъ, изданныхъ на сію книгу, съ примѣчаніями на оныя» (1804). Защитникъ стараго слога не отрекся ни отъ одного изъ своихъ прежнихъ положеній, но старался только подкрѣпить ихъ новыми доводами. Онъ настаивалъ на тождествѣ языковъ

¹⁾ Сѣверный Вѣстникъ, 1804, № 1.

²⁾ Замѣтку Шихова о словѣ *чаю*, вм. *чай* (см. выше), критикъ отражаетъ другимъ примѣромъ изъ Ломоносова: «И неумѣющій читать пойметъ тотчасъ по смыслу рѣчи, что тутъ не означаетъ напитокъ; а знающій исторію знаетъ также, что во время Анакреона (которому подражалъ Ломоносовъ) чай не только еще не пили, но онъ былъ и неизвѣстенъ, слѣд. въ дождь ему повредиться никакъ нельзя было. Мнѣ кажется, поставивъ *чаю* вм. *чай*, Ломоносовъ заимилъ смыслъ, потому что частичку *чаю* немногіе теперь понимаютъ. И почему Ломоносовъ не почувствовалъ двусмыслия въ другихъ своихъ стихахъ:

Не *малъ* ли на насъ *взрастъ*,

Что *матерію* всѣ зовутъ?

Слово *малъ* можно принять за дѣепричастіе отъ глагола *малѣ*.

русского и славянского, яснѣе и яснѣе давая знать критикамъ, что подъ русскимъ онъ разумѣетъ только нарѣчіе, или разговорный нѣмѣннѣйшій языкъ. «Если славенскій языкъ отдѣлѣть отъ російскаго, то изъ чего же сей послѣдній состоятъ будетъ? развѣ изъ однихъ татарскихъ словъ, да изъ площадныхъ и низкихъ?... Богатство нашего языка состоятъ въ славянскомъ языкѣ; російскій языкъ есть его чадо, заимствующее отъ него свое украшеніе; между языкомъ русскимъ и славенскимъ *никакого существеннаго различія полагать не можно*. Запрети намъ писать: конь, всадникъ, возница, вертоградъ, храмъ, молніеносный, быстропарящій и тому подобныя слова, имѣющія свой корень въ славенскомъ языкѣ,—словесность наша не лучше будетъ камчадалской». Слѣдствіе этого ясно: нашимъ писателямъ необходимо прибѣгать къ славянскому, который обогащаетъ русскій новыми матеріалами и даетъ способъ обходиться безъ иностранныхъ. Въмѣсто словъ: «горизонтъ», «аттентюдъ», «аллея», Шишковъ предлагаетъ: «обзоръ», «поставъ», «омѣна». Послѣднее находится въ Притчахъ Соломона (гл. VII, ст. 25): «да не прельстишися въ омѣнахъ ея» (прелестницы). Для чего бы, спрашиваетъ онъ, и нѣмѣ, въ новѣйшемъ нашемъ языкѣ, не сказать: «гнусенъ есть ядъца плоти себѣ подобнаго» или: «бездушенъ есть пійца крови своего ближняго»? О сближеніи книжнаго языка съ разговорнымъ Шишковъ не хотѣлъ и слышать, по той причинѣ, что языкъ литературный обыкновенно дѣлится на высокій, средній и низкій, а въ разговорномъ такихъ подраздѣленій не существуетъ. Хотѣтъ писать какъ говорить и говорить какъ писать—по его мнѣнію, тоже, что хотѣтъ поравнять орла съ синицей или носъ свой съ головою своею.

Протестъ Шишкова подѣйствовалъ на многихъ. У стараго слога явились свои вонтели, какъ у новаго были свои, хотя первые уступали вторымъ въ дарованіи. Нѣкоторые журналы сочувствовали идеямъ «Разсужденій». На первыхъ порахъ сочувствіе ограничивалось предпочтеніемъ церковно-славянскихъ словъ и формъ русскимъ, или замѣною послѣдними словъ иностранныхъ, которые давно уже существовали въ нашемъ языкѣ. Сѣверный Вѣстникъ, гдѣ помѣщена была критика на книгу Шишкова, подтверждалъ ученіе послѣдняго, что російскій и славянскій языки всегда составляли одинъ и тотъ же языкъ¹⁾. «Журналъ Россійской Словесности», Брусилова (1805), дѣлая выходы противъ варваризмовъ, совѣтовало «гармонію» и «монотонію» замѣнить «согласіемъ» и «единообразіемъ». Но главнымъ притономъ идей Шиш-

¹⁾ Въ статьѣ: «Изображеніе просвѣщенія Россіянъ (1804, № 2).

кова была Россійская Академія, гдѣ онъ распоряжался какъ хозяинъ. Въ засѣданіяхъ ея представлялись переводы иностранныхъ словъ на русскій языкъ⁽¹⁾, конечно съ тою цѣлю, чтобы исподволь изгнать вошедшіе къ намъ варваризмы, о чемъ, съ свойственною ему живостью, хлопоталъ еще Сумароковъ⁽²⁾. Переводы не отличались искусствомъ, да и самая задача показывала невѣрный взглядъ на то, какимъ образомъ языкъ обогащается новыми словами. Члены Академіи шли въ этомъ случаѣ за Шишковымъ, который изъ иностранныхъ словъ соглашался терпѣть одни технические термины или, какъ онъ выразился, «художественныя названія», и то временно—до изобрѣтенія соотвѣствующихъ имъ русскихъ⁽³⁾.

Чтобы подкрѣпить себя какимъ-либо авторитетомъ, Шишковъ напечаталъ «Переводъ двухъ статей изъ Лагарпа» (1808), снабдивъ ихъ примѣчаніями⁽⁴⁾. Обѣ статьи имѣютъ прямое отношеніе къ мыслямъ переводчика. Въ первой изъ нихъ (сравненіе французскаго языка съ греческимъ и латинскимъ) Лагарпъ говоритъ о тѣхъ французскихъ писателяхъ, которые, при всей скудости своего языка, умѣли его вычистить, расширить, обогатить: слѣд. она соотвѣствуетъ той части «Разсужденія», въ которой старый слогъ представляется какъ образецъ. Вторая статья (о украшеніяхъ, въ краснорѣчій употребляемыхъ) направлена противъ тѣхъ авторовъ, которые, оставивъ путь, проложенный ихъ разумными предшественниками, думаютъ, помимо всякихъ знаній и упражненій въ языкѣ, открывать новыя стези, насаждать новую словесность: поэтому она отвѣчаетъ той части «Разсужденія», гдѣ обличаются литературныя новизны. Для Шишкова, первая статья важнѣе по тому заключенію, къ которому она его приводитъ. Если, какъ доказано Лагарпомъ,

⁽¹⁾ Вотъ опыты этихъ переводовъ: авторитетъ (превосходство), адресъ (напись), адъютантъ (пріобщникъ), актеръ (лицедѣй), аллея (прохожъ, просадъ), анаграмма (буквопреложеніе), антипатія (противуострастіе), ассистентъ (присущникъ), аудиторія (слушатище), аудіенція (пріемъ).—Атмосфера и артиллерія остались безъ перевода.

⁽²⁾ О истребленіи чужихъ словъ изъ русскаго языка (Соч. Сумарокова. ч. 9). Мысль сатирична вѣрна: «восприятіе чужихъ словъ, а особливо безъ необходимости, есть не обогащеніе, а порча языка». [Въ числѣ ненужныхъ варваризмовъ онъ ставилъ удержавшіеся въ нашемъ языкѣ: фрукты, сюртукъ, сервизъ (столовый приборъ), супъ, гувернантка, валетъ (въ картахъ), фершель.

⁽³⁾ Многія изъ этихъ названій почиталъ онъ ненужными, такъ какъ они замѣняются отечественными, напр.: перпендикуляръ (отвѣсъ), астрономія (звѣздочетство), геометрія (землемѣріе), физика (естествословіе).

⁽⁴⁾ Переведены только нѣкоторыя мѣста ихъ, нужныя для Примѣчаній, которыя поэтому и служатъ дополненіемъ къ «Разсужденію».

французскій языкъ бѣденъ, сравнительно съ латинскимъ и греческимъ, особенно въ словорасположеніи; то позволительно ли увлекаться имъ русскому? Если славено-россійскій языкъ, древній и первородный, обладаетъ всѣми преимуществами, которыя Лагарпъ находитъ въ языкахъ древнихъ; то какъ же русскому читателю не обращаться къ нему и не черпать изъ него, какъ изъ чистаго и неиссякаемаго источника? Заботясь объ очищеніи русскаго языка отъ варваризмовъ, Шишковъ въ предувѣдомленіи ко второй статьѣ излагаетъ мысли о переводѣ иностранныхъ техническихъ словъ на русскій языкъ. Онъ изумляется безобразію, до котораго дошли нѣкоторые переводчики и авторы ⁽¹⁾, и употребляетъ *краснословіе*, *ветчесловіе*, *словоизвитіе*, *иноименіе*, *инословіе* вмѣсто ораторъ, матерія, фигура (риторическая), метонимія, аллегорія. Изъ двухъ русскихъ словъ, выражающихъ одно и то же понятіе, онъ всегда почти отдаетъ предпочтеніе старинному: такъ онъ хвалитъ слово «искидокъ» какъ хорошую замѣну «изверга». Онъ сѣтуетъ, почему мы не только не смѣемъ писать «грядый», «созерцаый», но даже хотимъ истребить «грядущій», «созерцающій», и вмѣсто нихъ писать: «тотъ, который идетъ», «тотъ, который поглядываетъ.» Сложныя слова (напр. древо *блазостнолиственное*), это особенное преимущество языковъ греческаго и русскаго, приводятъ его въ восхищеніе ⁽²⁾.

Примѣчанія къ переводу Лагарповыхъ статей подверглись болѣе основательной критикѣ, чѣмъ «Разсужденіе о старомъ и новомъ слога» ⁽³⁾. Критикъ (Д. В. Дашковъ), подобно Макарову, признаетъ справедливую сторону мыслей Шишкова. Онъ согласенъ, что не должна быть терпима варварская смѣсь, какою писаны многія современныя сочиненія; но вмѣстѣ съ этимъ ему видны и недос-

¹⁾ Примѣръ взятъ изъ книги «Пролузіа къ медицинѣ, какъ основательной наукѣ, соч. Даниила Велаяскаго» (1805): *Электричество есть феноменъ динамическаго процесса тѣлъ или одной изъ категорій, по котрымъ формируется конкретное*, и проч.

²⁾ «Разсвѣтъ полночи» (1804), собраніе стихотвореній Семена Боброва, заключаетъ въ себѣ, между прочимъ, слѣдующія выраженія: моря *юроносныя* (по сравненію кораблей съ горами); гробъ *водосланный* (море—отъ соленой, слабой воды); *кровомачное* лице (лице—кровъ съ молокомъ); *септлолучный*; въ одеждѣ скорби *слезощеющей*; музы въ платьѣ *растопленнымъ* и пр. Въ эпиграммахъ Батюшкова и кн. Вяземскаго, Бобровъ является подъ именемъ *Вибриса*, высареннаго поэта:

Нѣтъ спора, что Вибрисъ боговъ языкомъ нлъ:

Изъ смертныхъ-бо никто его не разумѣлъ (*Кн. Вяземскій*).

Какъ трудно Вибрису со слагоу уняться:

Онъ пьетъ, чтобы писать, и пьетъ, чтобъ напиться (*Батюшковъ*).

³⁾ Цѣлѣный, издаваемый А. Измайловымъ и П. Никольскимъ, 1810 г. № 11 и 12.

татки примѣчаній. Первый недостатокъ состоитъ въ излишнемъ расширеніи выводовъ, въ неправильномъ обобщеніи частныхъ. Есть, конечно, писатели, не умѣющіе пользоваться матеріаломъ и чужихъ языковъ, и своего собственнаго, но есть и такіе, которые удачно переносятъ къ намъ иностранныя слова и столь же удачно обогащаютъ литературный языкъ новыми выраженіями. Шишковъ ратуетъ противъ первыхъ, а вторые какъ бы не существуютъ для него, или существовали только до Карамзина. Что слѣдуетъ отнести единственно къ злоупотребленію предметомъ, онъ относитъ къ употребленію предмета вообще. Второй недостатокъ—частію парадоксальныя, частію преувеличенныя мнѣнія объ особенностяхъ русскаго языка и о погрѣшностяхъ новаго слога. Самый главный между парадоксами—смѣшеніе славянскаго языка съ русскимъ. Нельзя почитать ихъ тождественными, равно какъ французскій языкъ не одно и тоже съ латинскимъ, его родоначальникомъ. Если бы языки русскій и славянскій составляли одно и тоже, то къ чему предосторожности, рекомендуемыя Шишковымъ, касательно надлежащаго употребленія того и другаго въ разныхъ родахъ слога? Кто говоритъ или пишетъ на одномъ, тотъ, стало быть, говоритъ или пишетъ въ то же время и на другомъ, ничѣмъ отъ перваго не отличающемся.

Разсматривая особенности языка, говоритъ Дашковъ, надобно выставять дѣйствительно существующія и въ томъ значеніи, какое онѣ имѣютъ на самомъ дѣлѣ, а не преувеличивать ихъ и не выдумывать небывалыя. Шишковъ за-частую грѣшилъ на этомъ пунктѣ. Онъ осуждалъ тѣхъ, которые вмѣсто: *трудоу́й, созерцаю́й, трудоу́щий, созерцаю́щий*, въ важныхъ сочиненіяхъ пишутъ: *тотъ, который идетъ, тотъ, который поглядываетъ*, а потомъ отвергалъ и окончанія на *щій*, какъ непріятныя для слуха. Дашковъ возражаетъ: «за чѣмъ отнимать у писателя свободу употребить по произволу то или другое выраженіе, когда оба не противны свойству языка нашего?» Правда, Державинъ сказалъ:

Живы́й въ движеніи вещества;

но «если бы въ прекрасныхъ стихахъ:

Царямъ подвластенъ міръ, цари подвластны Богу,
Тому, кто съ облачныхъ высотъ
Гигантамъ въ адъ *отверзъ* дорогу,
Это маніемъ бровей *колеблетъ* сводъ небесъ,

вмѣсто: *тому, кто отверзъ, кто колеблетъ*, поэтъ непремѣнно долженъ былъ поставить: *отверзшему, колеблющему*, то могли ли бы выдти такіе стихи? Или:

Въ отвѣтъ на вздохъ мой, вѣтръ *ревушій*
И ключъ въ гранитно дно *біющій*
Шумать сквозь вѣтвіа древесъ.

Въ этихъ стихахъ конечно *ревушій*, *біющій* гораздо лучше и удобнѣе для стихотворца, нежели *тотъ*, *который реветъ* или *бьетъ*; но захотѣлъ ли бы онъ промѣнять сіи причастія на славянскія: *ревѣи* и *біѣи*?

Свободное расположеніе словъ въ нашемъ языкѣ есть важное его преимущество, но не слѣдуетъ восторгаться имъ безусловно: оно имѣетъ границы, подлежитъ закону и можетъ быть злоупотребляемо. Сплошъ и рядомъ бывають перестановки словъ и ошибочныя и некрасивыя, допускаемыя безъ всякаго уваженія къ смыслу рѣчи и къ ея благозвучію. Къ числу такихъ принадлежать и приѣмы, съ похвалою приводимыя Шишковымъ ⁽¹⁾. Тоже ограниченіе надобно имѣть въ виду, объясняя другую выгоду нашего языка—способность образовывать сложныя слова (особенно прилагательныя). Прекрасны слова: *сѣтконосный*, *лучезарный*, *искрометный*; но древо *благодѣтелиственнаго* дурно. «Развѣ трудно», замѣчаетъ Дашковъ, «такимъ образомъ ковать новыя слова, соединяя въ одно три или четыре, имѣющія каждое особенный смыслъ? Развѣ трудно, переводя наприѣмъ изъ Освобожденнаго Іерусалима прекрасную рѣчь сатаны и описывая его самого, сказать: *«долгоустозаконтьная брада по персямъ висѣла»*, или *«сія христоробопокланяемая страна»* ⁽²⁾? но къ чему такая варварская смѣсь? Хорошіе писатели наши часто совокушляють два слова, изъ коихъ одно дополняетъ или поясняетъ смыслъ другаго. Державинъ очень хорошо сказалъ въ своемъ «Памятникѣ»:

Ни вихрь его, ни громъ не сломятъ *быстротечный*,
и сіе соединеніе придаетъ болѣе блеска его выраженію. Но въ предъидущемъ стихѣ:

«Я памятникъ себѣ воздвигъ чудесный, вѣчный,
для чего не сказалъ онъ *чудесновѣчный*? для того, что сіи двѣ мысли никакого не имѣють отношенія между собою и что, смѣшавъ ихъ, онъ не придалъ бы стиху своему никакой новой красоты».

Третій недостатокъ—ошибки самого Шишкова противъ русскаго или славянорусскаго языка, котораго чистоту онъ взялся охранять. Критика мѣняется здѣсь ролью съ защитникомъ стараго слова:

¹⁾ Между прочимъ изъ письма Филлиды къ Демофону, въ переводѣ Козлякова: «А если наши твоими моря воспѣваются веслами» и пр.

²⁾ Взято изъ рукописнаго перевода Тассовой поэмы Б...ча.

изъ обвинителя, какимъ онъ былъ до этого времени, она переводить его на скамью обвиняемыхъ и требуетъ отвѣта въ собственныхъ его проступкахъ. Шишковъ обличалъ переводчиковъ въ немѣннѣ перелагать чуждую рѣчь по русски, и самъ, въ переводѣ Лагарпа, надѣлалъ галицизмовъ. Онъ обличалъ новыхъ писателей въ несвойственныхъ нашему языку словахъ и оборотахъ, и самъ «не умѣтилъ въ свойства нашего языка». Если «дикія негѣности» послѣдователей Карамзина произошли отъ крайняго пристрастія ко всему французскому, то такія же, если не худшія, негѣности перевода Лагарповыхъ статей имѣли причиной крайнее пристрастіе переводчика къ славянскому. Изъ разныхъ источниковъ вытекло одно и то же слѣдствіе, а въ слѣдствіи-то и заключается вся сила. Такимъ образомъ галломанія и славяноманія, будучи крайностями, сходятся; и потому дѣло не въ той или другой, а въ талантѣ, вкусѣ, знаніи предмета и языка.

Послѣдователи новаго слога, въ возмездіе за придирчивую критику Шишкова, начали обличать погрѣшности писателей, принадлежавшихъ къ школѣ слога стараго. Изъ журналовъ «Цвѣтникъ» ⁽¹⁾ съ особенною ревностью отмѣчалъ недостатки тѣхъ литературныхъ явленій, на которыхъ видно было вліяніе «Разсужденія». Указавъ чудесности или чудовищности «Велисарія», въ переводѣ Захарова (1808), критикъ заключаетъ свою статью выводомъ: «Нѣсколько лѣтъ назадъ наводняли нашу словесность *иностранныя слова и галицизмы*; теперь наводняютъ *слова славянскія и галицизмы же*. И такъ что мы выиграли? переставили буквы и только. Не на слова одни преимущественно долженъ обращать всякій писатель свое вниманіе, но на *составленіе рѣчи*, на *обороты* оной. Надобно, чтобы рѣчь была *русская*, а не буквы, ибо *знаки* безъ порядка *ничего не значатъ*; надобно идти по прямой дорогѣ, а не уклоняться то въ ту, то въ другую сторону. Хорошо, если писателю вспадетъ на умъ счастливая мысль; хорошо, если онъ удачно изобрѣтетъ новое слово или удачно переведетъ какое-нибудь иностранное. Такъ, напримѣръ, выдуманы *самодержецъ*, *тертиность*, *скороходъ*; такъ переведены *водопадъ* (каскадъ), *водошетъ* (фонтанъ), *крутозоръ* (горизонтъ), *олицетворить* (personifier); но неужели изрядство сихъ словъ даетъ право выдумывать *скинтродержавныя руки*, *преломимость*, *скоротеча*? или переводить лютю—*струнницею*, медаль—*привною*, героевъ—*удальми юловами*, футляръ—*скриней*?» ⁽²⁾ У автора сказано: «министръ или дѣловецъ

¹⁾ Онъ издавался два года (1809 и 1810): первый годъ—А. Измайловъ и Бенитскимъ, второй—А. Измайловъ и П. Никольскимъ.

²⁾ Цвѣтникъ, 1809, № 2.

государственный». Критикъ замѣчаетъ: «Недавно изобрѣтено было слово *дѣловодецъ*, а теперь показалось еще новое—*дѣловецъ*. Не знаемъ, которое хуже изъ сихъ названій, но скажемъ утвердительно, что ни то, ни другое не означаетъ министра.... Не всѣ иностранныя слова можно замѣнять отечественными, а особливо давно уже употребляемыми въ нашемъ языкѣ и сдѣлавшіяся, такъ сказать, *техническими*, или *искусственными терминами*. Упомянувъ о «Посланіи кн. Сергѣя Шихматова къ брату» (1810), Цвѣтникъ выписываетъ изъ его поэмы: «Петръ Великій» (1810) слова и выраженія, которыя восхищали Шишкова (на примѣръ: *зложадная грудь; многосластная жизнь; достомужный образъ; неозлобный щитъ спокойства; звиздающія эхидны; тартара отродъ; преисподнійшия дрожди; безпищныя скалы; Этна, чревоболѣющая пожарами; свомиствовать; удержавить землю; водостланная равнина; пѣнный множествомъ кровей; безмучное величество; юностный садъ; мертвость, и пр.*)⁽¹⁾.

Въ разборѣ перевода Лагарповыхъ статей всего чувствительнѣе для Шишкова было указаніе его собственныхъ больныхъ мѣстъ,—тѣхъ самыхъ, которыя онъ хотѣлъ, какъ врачъ, лечить у другихъ. Пройти молчаніемъ критику значило бы признать своего противника побѣдителемъ, а себя побѣжденнымъ. Шишковъ рѣшился отвѣчать не прямо, а косвенно. Отвѣтъ его привязанъ въ читанному въ годичномъ собраніи Россійской Академіи (1810) «разсужденію о краснорѣчій священнаго писанія и о томъ, въ чемъ состоитъ богатство, обиліе, красота и сила русскаго языка, и какими средствами оный еще болѣе распространить, обогатить и усовершенствовать можно»⁽²⁾. Оно служитъ рѣшеніемъ двухъ задачъ, предложенныхъ академіей; но авторъ соединилъ ихъ въ одну, находя между ними тѣсную связь. Оно состоитъ изъ трехъ частей, которыя слѣдуютъ въ такомъ порядкѣ: а) о превосходныхъ свойствахъ нашего языка, б) о краснорѣчій священнаго писанія, в) какими средствами словесность наша обогащаться можетъ и какими приходитъ въ упадокъ. Всѣ три части имѣютъ предметомъ раскрытіе мыслей о старомъ и новомъ слогѣ.

а) Въ первой части Шишковъ говоритъ о способности нашего языка составлять слова звукоподражательныя, изображать въ названіяхъ чувствъ самыя чувства, а иногда и ихъ органы (напр. *слухъ—ухо*); именовать видимыя вещи сообразно ихъ качествамъ, напр. круглый предметъ означается и буквами, имѣющими такую

¹⁾ Ib. № 12.

²⁾ Нап. 1811, въ 5 т. Сочиненій и переводовъ Рос. Академіи.

же форму, т. е. круглыми (напр. *око*). Также оригинально толкуется и превосходство русских нарѣчій. По мнѣнію Шишкова, нарѣчія: *далеко, близко, низко, глубоко, широко, высоко* и т. п. составлены изъ словъ: *далъ око* (простирай зрѣніе далѣе), *близъ око* (не простирай оное вдаль), *низъ око* (опускай глаза внизъ), и проч.

б) Какъ эти, такъ и другія отличныя свойства нашего языка проявились съ особеннымъ блескомъ въ славянскомъ переводѣ священнаго писанія, который поэтому красотою, силою и богатствомъ превосходитъ переводы его на другіе языки.

в) Отсюда слѣдуетъ, что для украшенія нынѣшняго нашего нарѣчія (т. е. русскаго языка) остается намъ единственное средство—языкъ славянскій. Такой выводъ заставляетъ Шишкова опять войти въ разборъ взаимныхъ отношеній русскаго и славянскаго языковъ. Новаго онъ не сказалъ ничего, но по крайней мѣрѣ яснѣе высказалъ свой прежній взглядъ. «Откуда», говоритъ онъ, «родилась неосновательная мысль, что славенскій и русскій языки различны между собою? Если слово *языкъ* взять въ смыслѣ нарѣчія или слога, то, конечно, разность есть; но таковыхъ разностей мы найдемъ не одну, а многія: во всякомъ вѣкѣ или полувѣкѣ примѣчаются нѣкоторые перемѣны въ нарѣчіяхъ.... *Подъ именемъ языка разумются корни словъ и отъ нихъ происшедшія*: если оныя въ двухъ языкахъ различны, тогда и языки различны, но когда знаменованія словъ и вѣтвей оныхъ находятся въ самомъ языкѣ, тогда оныя всякому нарѣчію общи, выключая развѣ такое, которое совсѣмъ отъ корней языка своего удалились: тогда уже оное не есть болѣе нарѣчіе, но совсѣмъ иной языкъ. Гдѣ жъ примѣчаемъ мы то въ нашемъ нарѣчій?... разность не въ языкѣ, а въ нарѣчій, нисколько не уклонившемся отъ свойствъ языка. Скажутъ: мы много имѣемъ двоякихъ именъ, изъ которыхъ одни русскія (глазъ, лобъ, щеки, плечи) и другія славенскія (око, чело, ланиты, рамена); но чѣмъ докажутъ мнѣ, что *глазъ, лобъ, щеки, плечи* суть русскія, а не славенскія названія?... Могутъ еще ссылаться на слова: *лошадь, колакъ, кучеръ, артиллерія, фортификація* и проч., но сіи столько же не славенскія, сколько и не русскія, потому что изъ чужихъ языковъ взяты. Чтожъ такое русскій языкъ отдѣльно отъ славянскаго? Мечта, загадка. *И такъ славенскій и русскій языкъ есть одно и то же*. А когда языкъ одинъ, то и нарѣчія онаго, хотя бы онѣ разнились между собою, не могутъ называться одно славенскимъ, а другое русскимъ: въ такомъ случаѣ предполагались бы различіе въ сихъ двухъ языкахъ... Не славенскій языкъ, отдѣляя отъ русскаго, презирать;

не слова онаго на славенскія и русскія раздѣлять: но какое слово какому слогу прилично, знать надлежитъ.... *Мы не иное что подъ славенскимъ языкомъ разумѣмъ, какъ тотъ языкъ, который шие разговорно и которому слѣдственно не можемъ иначе научиться, какъ изъ чтенія книгъ; онъ есть высокій, ученый, книжный языкъ....*

За «разсужденіемъ о краснорѣчїи священнаго писанія» слѣдуетъ особое «присовокупленіе»: это уже не косвенный, а прямой отвѣтъ Дашкову. Слова Дашкова: «нашъ русскій языкъ самъ по себѣ», приводятъ его противника въ изумленіе. «Какъ!» восклицаетъ онъ: «нашъ русскій языкъ самъ по себѣ? да что такое нашъ русскій языкъ самъ по себѣ? гдѣ онъ? возьмемъ какую-нибудь нѣвшнюю книгу, найдемъ ли мы въ ней хотя два такихъ слова (выключая иностранныя), о которыхъ могли бы мы сказать: вотъ это славенское, а это русское? Ежели мы подъ славенскимъ словомъ разумѣть будемъ высокое слово, напримѣръ *омиду*, а подъ русскимъ простое, напримѣръ *войду*, то конечно о разности ихъ разсуждать можемъ, утверждая справедливо, что первое изъ нихъ прилично важному, а другое среднему или простому слогу; но утверждать, что *омиду* есть славенское, а *войду* русское, и дѣлать изъ того два разныхъ языка есть не знать составленія словъ, есть утверждать, что предлогъ *въ* различенъ отъ предлога *въ* и глаголь *иду* различенъ отъ глагола *иду*». Хорошіе писатели, конечно, не смѣшиваютъ славянскаго языка съ русскимъ, продолжаетъ Шишковъ, но подъ сими словами разумѣется различіе высокаго слога съ простонароднымъ (напр. можно сказать: «препоиши чресла твоя и возьми жезлъ въ рудѣ твои», и можно также сказать: «подпоишься и возьми дубину въ руки»; то и другое въ своемъ родѣ и въ своемъ мѣстѣ прилично; но, начавъ словами: «препоиши чресла твоя», кончить: «и возьми дубину въ руки», было бы и смѣшно и странно). Впрочемъ, дополняетъ онъ свою рѣчь, не опасаясь или не замѣчая противорѣчїя самому себѣ, славянскій языкъ и высокій слогъ не одно и тоже. Не всякая славянская рѣчь есть высокая: «хощеши ли, дамъ ти подзатыльницу», не такой же высокій языкъ, какъ «трепетна бысть земля, и основаніе горъ смятошася» (1).

1) Споръ не обходился безъ забавныхъ выходовъ. Отвѣчая Шишкову, Дашковъ говоритъ: «Не всякая славянская рѣчь есть высокая, но высокій слогъ нашъ безъ славянскихъ словъ, съ осторожностію употребляемыхъ, существовать не можетъ. Славянскія рѣчи бывають высокія и низкія (кто въ этомъ сомнѣвается?) и приведенный г. сочинителемъ примѣръ: *хощеши ли, дамъ ти подзатыльницу*, конечно, не есть такой же высокій языкъ, какъ: *и абіе воздадъ ти сторицею*. Последнее выраженіе несравненно сильнѣе.

Какъ ни казались крѣпкими Шишкову его сужденія, но всѣ они были разбиты его противникомъ, въ отдѣльной книгѣ: «О легчайшемъ способѣ отвѣчать на критики» (1811). Она имѣла дѣлю показать, что Шишковъ, за недостаткомъ убѣдительныхъ доводовъ въ пользу своего дѣла, счелъ удобнѣйшимъ уклоняться отъ дѣла и говорить о предметахъ, ему постороннихъ, вдаваясь при этомъ въ личности и грубые укоры.

Авторъ ея шагъ за шагомъ преслѣдуетъ своего противника, выбиваетъ его изъ каждой позиціи, разсѣиваетъ всѣ его парадоксы. Такъ, напр., вопреки мнѣнію Шихкова, звукоподражательными словами обильны всѣ языки, не одинъ русскій: у дикихъ народовъ ихъ еще больше, чѣмъ у образованныхъ. Слова: *далеко*, *близко*, *глубоко* и др. вовсе не означаютъ того, что видятъ въ нихъ Шишковъ: это — нарѣчія, производимыя извѣстными образомъ отъ прилагательныхъ, какъ *жестокое*, *мякло*, *крѣпко*; сходство ихъ окончанія съ словомъ *око* есть случайное. Существительное *слухъ*, заключающее въ себѣ и названіе самого органа (ухо), не лучше латинскаго *auditus* (*auris*) и французскаго *ouïe* (*oreille*). Если русскій умъ сблизилъ слово *зрѣніе* съ подобными же, свѣтъ означающими понятіями (*заря*, *зареніе*), то почему слова: *день*, *солнце*, гораздо болѣе дающія понятіе о свѣтѣ, да и самое слово *свѣтъ* нимало не похожи на *зрѣніе*? Если буква *о* есть несомнѣнный признакъ круглости во всѣхъ словахъ, гдѣ только она находится: отчего нѣтъ ея въ названіяхъ *крупа* и *шара*—фигуръ наикруглѣйшихъ? Заключение всего отвѣта слѣдующее: «такимъ образомъ страсть къ системамъ увлекаетъ насъ отъ умствованій къ умствованію, отъ софизма къ софизму, и наконецъ ввергаетъ въ очевидное заблужденіе».

Сочиненія Шихкова быстро слѣдовали одни за другими, и каждое изъ нихъ прямо или косвенно должно было служить тому же предмету. Въ 1811 г. вышли «Разговоры о словесности между двумя лицами: Азъ и Буки», а въ 1812-мъ «Прибавленіе къ разговорамъ». Каченовскій, разбирая первое сочиненіе Шихкова обнаружилъ странность той гипотезы, которая была исходной точкой въ ученіи о старомъ и новомъ слогѣ. «Оставшіяся въ книгахъ духовныхъ славянскій языкъ», говоритъ онъ, «отдѣлены отъ нынѣшняго русскаго несходствомъ нѣкоторыхъ словъ и разностію въ спряженіяхъ и даже въ правилахъ синтаксиса. Безъ всякаго сомнѣнія, русскій языкъ есть отрасль славенскаго; но теперь онъ уже въ такомъ состояніи, что приличнѣе называть его языкомъ, а не нарѣчіемъ. На немъ издаются законы; на немъ написаны многія книги: какъ же можно сказать, что онъ не существуетъ, и какъ

можно называть его нарѣчіемъ, тогда какъ самъ онъ уже имѣетъ множество мѣстныхъ нарѣчій? Ежели такъ, то ни одинъ изъ нынѣшнихъ европейскихъ языковъ не существуетъ, ибо всѣ они произошли отъ древнихъ и изъ нихъ составились. Было бы очень странно, когда бы увѣрять стали, что у итальянцевъ и французовъ нѣтъ языка, и что тѣ и другіе говорятъ нарѣчіемъ или слогомъ».

Тѣснымъ противниками, Шишковъ задумалъ болѣе широкій планъ для своего дѣла. Ему хотѣлось не только разсужденіями водворять нужные ему понятія о старомъ и новомъ слогѣ, но и прилагать ихъ къ литературному производству. Для выполненія задуманнаго были нужны союзныя усилія многихъ лицъ. Съ этою цѣлію онъ устроилъ общество, подъ названіемъ: «Бесѣда любителей русскаго слова» ⁽¹⁾, которое открыло свои засѣданія въ домѣ Державина (14 марта 1811). При открытіи Шишковъ произнесъ рѣчь о красотахъ русскаго языка. По уставу, написанному также Шишковымъ, засѣданія происходили ежемѣсячно и были публичны. Личный составъ «Бесѣды» дѣлился на четыре разряда, имѣвшіе каждый своего предсѣдателя, членовъ и сотрудниковъ. Шишковъ предсѣдательствовалъ въ первомъ разрядѣ, Державинъ во второмъ, А. С. Хвостовъ въ третьемъ, Захаровъ въ четвертомъ. Кромѣ того находились почетные члены, въ числѣ которыхъ видны и Карамзина, не смотря на то, что общество образовалось въ противодѣйствіе его реформѣ. Попечителями Бесѣды были избраны: гр. Завадовскій, Мордвиновъ, гр. Разумовскій, И. Дмитриевъ, другъ и сподвижникъ Карамзина. Съ 1811 по 1815 г. общество напечатало 19 книжекъ изданія, служившаго ему органомъ, подъ названіемъ: «Чтеніе въ Бесѣдѣ любителей русскаго слова».

Въ этой-то «Бесѣдѣ», передъ великимъ событіемъ нашей исторіи, Шишковъ читалъ «Разсужденіе о любви къ отечеству» (1811, нап. 1812)—лучшее изъ его сочиненій, по языку и горячимъ патриотическимъ чувствамъ и доставившее ему мѣсто государственнаго секретаря: онъ состоялъ при императорѣ Александрѣ (1812 и 1813 гг.), двигая, по слову С. Аксакова, духомъ Россіянъ писанными имъ манифестами въ отечественную войну.

На ряду съ критическимъ обсужденіемъ вопроса о слогѣ являлись и другія произведенія касательно того же предмета. Война съ Шишковымъ была ведена и прозой и стихами. Стихотворцы

⁽¹⁾ Общество названо, вѣроятно, въ память литературнаго сборника: «Собесѣдникъ любителей російскаго слова».

вступили въ дѣло послѣ того, какъ онъ задѣлъ личности своихъ противниковъ. В. Пушкинъ въ шутливомъ разсказѣ: «Опасный Сосѣдъ», первый пустилъ въ ходъ названіе «славянофилъ». Басня А. Измайлова: «Шутъ въ парикѣ» (1811) посмѣялась надъ нетерпимостью Шишкова, который, нападая на любовь къ французскому языку, самъ употреблялъ галлицизмы и въ защитѣ новаго слога подозрѣвалъ нелюбовь къ отчизнѣ и посягательство на вѣру. Въ «Журналѣ драматическомъ», выходившемъ подъ редакціей М. Макарова (1811), помѣщена комедія: «Обращенный славянофилъ», гдѣ Педантовъ, пріятель славянофила, представленъ глупцомъ и негодяемъ. «Санктпетербургскій Вѣстникъ» (1812), второй, послѣ Цвѣтника, органъ карамзинистовъ, остроумно подмѣчалъ литературныя дикости въ твореніяхъ членовъ «Бесѣды». Воейковъ отвелъ мѣсто Шишкову въ своей сатирѣ: «Домъ сумасшедшихъ», вмѣстѣ съ нѣкоторыми его читателями, а Батюшковъ, пародируя Жуковского, воспѣлъ дѣянія и чувства всей славяно-росской дружины. Наконецъ Нарѣжный комически вывелъ любителя славянощизны, подъ именемъ Тримегалоса, въ «Русскомъ Жилблзѣ». Изъ воспоминаній одного современника видно, что споръ карамзинистовъ съ шишковистами проникъ даже въ стѣны училищъ и интересовалъ школьниковъ ⁽¹⁾.

Самъ Карамзинъ не вмѣшивался въ распрю, будучи занятъ историческимъ трудомъ и чувствуя отвращеніе отъ полемики вообще. Притомъ же онъ имѣлъ право оставлять безъ вниманія критику, направленную, какъ мы видѣли, собственно не противъ него, а противъ его жалкихъ подражателей. А сознаніе литературныхъ заслугъ, которыя для Шишкова какъ бы не существовали, не дозволило ему защищать тѣ или другія мѣста своихъ сочиненій, поставленныя ихъ критикомъ на одну доску съ нелѣпостями бездарныхъ писакъ. Должно жалѣть однакожь, что Карамзинъ рѣшительно уклонился отъ спора. Авторъ такихъ критическихъ замѣтокъ, какъ «Великій мужъ русской грамматики» и «О русской грамматикѣ француза Модрю», могъ бы своимъ умнымъ словомъ разрѣшить недоразумѣнія воюющихъ сторонъ. Случай къ этому слову представился черезъ пятнадцать лѣтъ послѣ книги Шишкова, когда Карамзинъ выдалъ восемь томовъ «Исторіи государства російскаго», и Академія почтила историка званіемъ члена. Содержаніе рѣчи, произнесенной Карамзинымъ въ торжественномъ собраніи Академіи (5 декабря 1818), очень замѣчательно.

⁽¹⁾ Семейная хроника и воспоминанія С. Ананова.

Онъ долженъ былъ, наконецъ, высказаться передъ своими сочленами и, высказываясь, припомнить замолодую полемику. Онъ явился съ словомъ благодарности и примиренія, но вмѣстѣ и съ совѣтами академикамъ. Нѣкоторые мѣста его рѣчи прямо относятся къ прежнимъ толкамъ о языкѣ, какъ полезный урокъ на будущее время. Критика не одно и то же съ укоризной, говоритъ Карамзинъ; она должна прежде всего выставить достоинства дѣла: «самый легкій умъ находить несовершенства, только умъ превосходный открываетъ безсмертныя красоты въ сочиненіяхъ; когда увидимъ важныя злоупотребленія, новости неблагоразумныя въ языкѣ, замѣтимъ, предостережемъ безъ язвительной укоризны». Предсѣдатель Академіи (Шишковъ) могъ слышать въ этихъ словахъ намекъ на рѣзкость и односторонность своей критики, не отличавшей въ реформѣ Карамзина существеннаго отъ несущественнаго. Обличая странности новаго слога, Шишковъ противопоставлялъ ему старый, долженствующій, по его мнѣнію, оставаться безсмѣннымъ; Карамзинъ выводилъ языкъ изъ такого оцѣпненія, подтверждая то, что уже говорилось Макаровымъ и Дашковымъ; онъ предлагаетъ академіи исправлять изданные ею словарь и грамматику, — книги, «всегда богатая бѣлыми листами для пополненія, для перемѣнъ, необходимыхъ по естественному, безпрестанному движенію живаго слова къ дальнѣйшему совершенству, — движенію, которое пресѣкается только въ языкѣ мертвомъ». Шишковъ хотѣлъ обогащать языкъ и замѣною иностранныхъ словъ отечественными, и введеніемъ въ русскую рѣчь славянскихъ, и созданіемъ новыхъ на основаніи собственныхъ умствованій; Карамзинъ показываетъ несостоятельность его намѣренія:

Главнымъ дѣломъ вашимъ было и будетъ *систематическое образованіе языка*; непосредственное же его *обогащеніе* зависитъ отъ успѣховъ общегіи и словесности, отъ дарованія писателей, а дарованія единственно отъ судьбы и природы. Слова не изобрѣтаются академіями: они рождаются вмѣстѣ съ мыслями или въ употребленіи языка или въ произведеніяхъ таланта, какъ счастливое вдохновеніе. Сія новыя, мыслию одушевленные слова, входятъ въ языкъ самовластно, украшаютъ, обогащаютъ его, безъ всякаго *ученаго законодательства* съ нашей стороны: мы не даемъ, а принимаемъ ихъ. Самыя правила языка не изобрѣтаются, а въ немъ уже существуютъ: надобно только открыть или показать оныя.

Шишковъ возставалъ противъ подражанія иностранному; Карамзинъ, разъясняя, въ чемъ должно состоять подражаніе и какъ оно неизбежно въ литературѣ, съ тѣмъ вмѣстѣ показываетъ невозможность возвращаться къ тому, что отжило свой вѣкъ:

Петръ Великій, могущею рукою своею преобразивъ отечество, сдѣлалъ насъ подобными другимъ европейцамъ. Жалобы бесполезны. Связь между умами древнихъ и новѣйшихъ росіянъ прервалась навѣки. Мы не хотимъ подражать иноземцамъ, но пишемъ, какъ они пишутъ: ибо живемъ, какъ они живутъ; читаемъ, что они читаютъ; имѣемъ тѣ же образцы ума и вкуса; участвуемъ въ повсемѣстномъ, взаимномъ сближеніи народовъ, которое есть слѣдствіе самаго ихъ просвѣщенія. Красоты *особенныя*, составляющія характеръ словесности *народной*, уступаютъ красотамъ *общимъ*: первыя измѣняются, вторыя вѣчны. Хорошо писать для росіянъ: еще лучше писать для всѣхъ людей. Если намъ оскорбительно идти позади другихъ, то можемъ идти рядомъ съ другими къ цѣли всемірной для человѣчества, путемъ своего вѣка, не Мономахова, и даже не Гомерова: ибо потомство не будетъ искать въ нашихъ твореніяхъ ни красотъ *Слова о полку Игоревѣ*, ни красотъ Одиссея, но только свойственныхъ нынѣшнему образованію, человѣческихъ способностей. Тамъ нѣтъ *бездушнаго подражанія*, гдѣ говоритъ умъ или сердце, хотя и *общимъ* языкомъ времени; тамъ есть *особенность личная*, или характеръ, всегда новый, подобно какъ всякое твореніе физической природы входитъ въ классъ, въ статью, въ семейство ему подобныхъ, но имѣетъ свое частное значеніе.

Что же касается до неразумныхъ и бездарныхъ подражателей иностраннымъ образцамъ, то они остались бы таковыми же, подражая и отечественнымъ авторамъ:

Молодые писатели нерѣдко подражаютъ у насъ иноземнымъ, ибо думаютъ, должно или справедливо, что мы еще не имѣемъ великихъ образцовъ искусства: если бы сии писатели не знали творцовъ чужеземныхъ, что бы сдѣлали? *подражали* бы своимъ; но и тогда *стихи* ихъ остались бы *бездушными*. А кто рожденъ съ избыткомъ внутреннихъ силъ, тотъ и нынѣ, начавъ подражаніемъ, свойственнымъ юной слабости, будетъ наконецъ *самъ собою*.

Въ примѣчаніяхъ къ новому изданію «Разсужденія о старомъ и новомъ слоgѣ»⁽¹⁾, когда уже многія слова, припадаемыя Шишковымъ, вошли въ общее употребленіе, онъ коснулся мысли Карамзина относительно способа, какимъ неологизмы являются въ языкѣ. Онъ находитъ ее справедливою только для исключительныхъ случаевъ. Что сказано въ рѣчи Карамзина, то, по его мнѣнію, можно сказать о пяти или десяти словахъ, не болѣе, но о цѣлыхъ сотняхъ словъ должно сказать совершенно тому прѣтивное, т. е. что «они не *родились вмѣстѣ* съ *мыслями*, а взяты точно тѣми же⁽²⁾ или переведены съ чужихъ словъ, чужою мыслию, часто намъ несвойственною, порожденныхъ, и вошли въ языкъ не по *счастливому вдохновенію таланта*, но по неосновательной пере-

¹⁾ Собраніе сочиненій и переводовъ Шишкова, ч. 2 (1824). Здѣсь «Разсужденіе» напеч. уже 4-мъ изданіемъ.

²⁾ Т. е. безъ перевода на отечественный языкъ.

имчивости, и утверждаютъ въ немъ не *самовластно*, т. е. не властію 'достоинства' своего, но силою частаго повторенія тѣми, которые понимаютъ ихъ не по разуму собственнаго своего, но по смыслу чужаго языка.... Отъ таковыхъ нововведеній языкъ несравненно больше скудѣетъ, нежели богатѣетъ и украшается, и если не оговаривать сихъ несвойственныхъ ему словъ и выраженій, если не дѣлать имъ никакого *законодательства*, то напослѣдокъ заразить они его совершеннымъ мракомъ и непонятностію. Употребленіе и навязъ вводить въ языкъ слово, но оправдываютъ его не они, а разсудокъ». Изъ сокрушенной своей теоріи, Шишковъ хотѣлъ спасти по крайней мѣрѣ одинъ, главный ея догматъ—тождество славянскаго языка съ русскимъ, право называть первый высокимъ слогомъ, а второй простымъ. И онъ упорно повторялъ свое положеніе при каждомъ случаѣ, не только предсѣдательствуя въ Россійской академіи, но и управляя министерствомъ народнаго просвѣщенія (съ 1824 по 1828). Мнѣніе о переводѣ священнаго писанія на русскій языкъ, представленное имъ Императору Александру I, выражаетъ ту самую мысль, которую онъ постоянно проводилъ въ своихъ разсужденіяхъ: *«Языкъ у насъ славенскій и русскій одинъ и тотъ же. Онъ различается только на высокий и простой. Высокимъ написаны священныя книги; простымъ мы говоримъ между собою и пишемъ свѣтскія сочиненія, комедіи, романы, и проч. Но сіе различіе такъ велико, что слова, имѣющія одно и тоже значеніе, приличны въ одномъ и неприличны въ другомъ. Сколь смѣшно въ простыхъ разговорахъ говорить высокимъ славенскимъ языкомъ, столь же странно и дико употреблять простой языкъ въ священномъ писаніи»* (1). Наконецъ въ «предисловіи къ опыту словопроизводнаго словаря» (1833), не отступаясь отъ своей главной мысли, Шишковъ не называетъ однакожъ русскаго языка нарѣчіемъ славенскаго: «Необдуманное раздѣленіе языка на славенскій и русскій произошло отъ неопредѣленности слова «славенскій». Мы даемъ сіе названіе языку по имени народа называвшагося славянами, но не ужъ ли народъ сей до пріятія сего имени былъ нѣмой, безъязычный? не ужъ ли съ того времени сталъ имѣть языкъ или перемѣнилъ его на другой? Нѣтъ, онъ продолжалъ говорить тѣмъ же языкомъ; не знаемъ, какъ его называли, но знаемъ, что, по раздѣленіи сего народа на русскихъ, поляковъ, чеховъ, иллирійанъ и проч., и языкъ сей сталъ называться, по ихъ именамъ, русскій, польскій, чешскій, иллирійскій и проч. При всѣхъ сихъ именахъ, онъ былъ и есть одинъ и тотъ

¹⁾ Записки адмирала А. С. Шипкова (за время управленія министерствомъ народнаго просвѣщенія).

же общій всѣмъ. Вотъ первое объ языкѣ понятіе. Второе: языкъ хотя одинъ и тотъ же, но у разныхъ народовъ больше или меньше измѣняется и получаетъ имя нарѣчій. Польское нарѣчіе отомло всего далѣе отъ нашего, такъ что мы и уразумѣть онаго не можемъ; но русское не есть нарѣчіе славенскаго языка, а тотъ же самый языкъ, не имѣющій ни малѣйшаго съ нимъ различія» (1).

Изложенная нами полемика кончилась торжествомъ новаго, карамзинскаго слога. Шишковъ проигралъ свое дѣло и въ теоріи и на практикѣ. Онъ проигралъ его въ теоріи, не доказавъ правоты своего ученія о языкѣ положительными, научными доводами; онъ проигралъ его на практикѣ, не подкрѣпивъ своихъ разсужденій образцами, которые могли бы привлечь на его сторону и литераторовъ, и публику. Какъ его собственныя сочиненія представляютъ мало литературнаго искусства, такъ и «Чтенія въ Бесѣдѣ любителей русскаго слова» большею частію отличаются сухостью и педантствомъ. По качеству произведеній судать не только о талантѣ производителя, но и о достоинствѣ правилъ, которыми онъ руководствовался. Напротивъ, Карамзинъ, еще до начала спора, заявилъ себя какъ отличный писатель: «Исторія государства русскаго» еще болѣе возвысила его имя: она служила наилучшимъ отвѣтомъ славянофильской критикѣ и своимъ выходомъ въ свѣтъ (1816—18) положила конецъ спору, въ теченіи котораго реформа приобрѣла новыхъ, достойныхъ дѣателей и въ стихахъ и прозѣ. Можно было по временамъ возвращаться къ толкамъ о старомъ и новомъ слогѣ, какъ это и дѣлалъ Шишковъ въ своихъ академическихъ трудахъ, но уже не было возможности вырвать побѣду изъ рукъ непріятеля.

Шишковъ и не могъ одержать побѣды, потому что его критика новаго литературнаго слога страдаетъ многими недостатками.

Первый изъ нихъ—недобросовѣстность, вольная или невольная, но съ разу бьющая въ глаза каждому безпристрастному человѣку. Въ одномъ изъ своихъ писемъ Карамзинъ называлъ Шишкова честнымъ, но тупымъ. Такъ какъ первое качество противорѣчитъ недобросовѣстности, то и слѣдуетъ приписать эту послѣднюю ограниченности или странному затмѣнію мысли. Въ погонѣ за уклоненіями отъ лексическихъ и синтаксическихъ свойствъ русскаго языка, Шишковъ упустилъ изъ виду характеристическія особенности новаго слога. Обвиненія свои онъ основывалъ не на сочиненіяхъ самого Карамзина и даровитѣйшихъ его послѣдователей, а на книгахъ и книжонкахъ самаго низкаго разряда, взваливая одна-

1) Опытъ словопроизводнаго словаря (1833).

кожъ отвѣтственность за находимыя въ нихъ негѣности на образецъ. Онъ видѣлъ только дурныя крайности реформы, а самой реформы какъ будто не хотѣлъ замѣтить. Что надобно относить къ злоупотребленію предметомъ, онъ относилъ къ предмету вообще. Такимъ образомъ обвиненіе было неправильно распространено имъ отъ плохихъ писакъ на всю новую школу и ея основателя.

Второй, главнѣйшій недостатокъ—ошибочное понятіе объ отношеніи между русскимъ и славянскимъ языками. Для него оба эти языка были одно и то же, съ тѣмъ только различіемъ, что русскій языкъ есть «простой», а славянскій «высокій». Онъ даже смѣшивалъ «языкъ» съ «словомъ», и весьма часто выраженія: «русскій языкъ», «славянскій языкъ» замѣнялъ выраженіями «русскій слогъ», «славянскій слогъ». Славянскій языкъ былъ, по его убѣжденію, корнемъ и началомъ русскаго, какъ будто русскіе, до принятія христіанства, говорили тѣмъ самымъ языкомъ, на которомъ получили мы отъ болгаръ переводы священнаго писанія и богослужебныхъ книгъ. Онъ не могъ простить Карамзину, что не видѣлъ у него «краснорѣчиваго смѣшенія славянскаго величаваго слога съ простымъ русскійскимъ» и умѣнія «высокій славянскій слогъ съ просторѣчивымъ русскійскимъ такъ искусно смѣшивать, чтобы высокопарность одного изъ нихъ пріятно обнималась съ простотою другаго».

Ошибочно, въ третьихъ, мнѣніе о томъ, какимъ образомъ неологизмы являются и утверждаются въ языкѣ. Приговоры по этому дѣлу онъ предоставлялъ суду грамматическаго устава, другими словами: Академіи, какъ высшей инстанціи этого суда. Это заблужденіе было, въ послѣдствіи, отвергнуто Карамзиннымъ, справедливо замѣтившимъ, что слова не изобрѣтаются академіями, а рождаются вмѣстѣ съ мыслями или въ употребленіи языка или въ произведеніяхъ таланта.

Непослѣдовательность—если не въ теоріи, то на практикѣ—составляетъ четвертый недостатокъ Шишкова. Вооружаясь противъ негѣностей новаго слога, особенно противъ галлицизмовъ, онъ самъ платилъ имъ обильную дань, соблюдалъ, по словамъ Дашкова, цѣлыми страницами французское словосочиненіе.

Въ полемикѣ своей противъ Карамзина Шишкову преимущественно вредили два предмета: бѣдность филологическаго образованія и безвкусіе. Не зная древнихъ языковъ, не имѣя возможности почерпнуть доказательства ни въ историческомъ, ни въ сравнительномъ языкознаніи, онъ слишкомъ довѣрялъ личной логикѣ, т. е. своимъ собственнымъ соображеніямъ, и потому часто

строилъ на нихъ весьма странные выводы, поражающіе своею дикостью или возбуждающіе смѣхъ.—Безвкусіе же и отсутствіе такта выразились съ одной стороны въ пристрастіи къ славянскому языку, доходившемъ до того, что каждый славянизмъ казался ему хорошимъ единственно потому, что это—славянизмъ, а съ другой изобрѣтеніемъ новыхъ словъ, которыми онъ думалъ замѣнить не только нововведенныя, но и давноосѣдлыя. При всемъ уваженіи къ Ломоносову онъ не замѣчалъ различія между его слогомъ и слогомъ его послѣдователей, образовавшихъ славяно-россійскій книжный языкъ, который былъ не успѣхомъ, а движеніемъ назадъ. Этому послѣднему стилю, искаженному безразсуднымъ употребленіемъ славянизмовъ, Шишковъ также воздавалъ похвалы.

Въ реформѣ литературнаго языка, совершенной Карамзиннымъ, надобно различить двѣ стороны: синтаксическую (строй рѣчи) и лексическую (составъ и формы словъ).

Въ первомъ отношеніи, въ противоположность началамъ Ломоносовскаго синтаксиса, Карамзинъ считалъ необходимымъ: 1) писать недлинными, неумолимыми предложеніями; 2) располагать слова сообразно съ теченіемъ мыслей и съ законами языка.

Во второмъ отношеніи, у Карамзина замѣчаются слѣдующіе элементы: 1) ограниченіе славянизмовъ, т. е. заимствованій словъ и формъ изъ церковно-славянскаго языка, посредствомъ чего обѣ стили нашего литературнаго языка: славянская и русская, вступили въ болѣе опредѣленныя границы; 2) введеніе иностранныхъ словъ для новыхъ понятій; 3) сообщеніе прежнимъ словамъ новаго значенія (*потребность, развитіе, положеніе* въ драмѣ, *выработанный слогъ*, всѣ части учености *обрабатываются*); 4) составленіе новыхъ словъ (*промышленность, достижимая*); 5) оживленіе рѣчи словами, заимствованными изъ лѣтописей, которыми пользовался Карамзинъ при сочиненіи Исторіи.

Такимъ образомъ съ Карамзина литературный языкъ нашъ, сближенный съ разговорною рѣчью людей образованныхъ, вступилъ въ новый періодъ своего развитія. Отличительныя свойства этого языка: легкость, простота, плавность, соединенныя съ пріятностью, или изяществомъ (*élégance*), удовлетворяющимъ эстетическому вкусу (1).

Отвѣчая на замѣтки Дашкова въ присовокупленіи къ разсужденію «о краснорѣчии священнаго писанія», Шишковъ впервые поставилъ вопросъ о языкѣ въ связи съ вопросомъ о вѣрѣ и нравственности.

1) Карамзинъ въ исторіи рус. литер. языка, Я. Грота (Ж. М. Н. Просв. 1867, апрѣль).

Эта мысль сама по себѣ совершенно справедлива: наука о языкѣ, какъ она выработана учеными филологами, разумѣется, видитъ въ немъ отраженіе всѣхъ элементовъ народной жизни. Но у Шишкова, на первой порѣ, она могла быть истолкована и дѣйствительно толковалась, какъ орудіе, ведущее къ достиженію недостойной цѣли—обличить противниковъ въ безнравственности, заподозрить ихъ въ намѣреніи ослабить власть религіи, внушить неуваженіе къ родному. Позднѣе, именно въ «разсужденіи о любви къ отечеству» Шишковъ объяснилъ ее серьезнѣе, хотя вовсе не научно. Онъ говоритъ: «языкъ есть душа народа, зеркало нравовъ, вѣрный показатель просвѣщенія, неумолчный свидѣтель дѣлъ. Гдѣ нѣтъ въ сердцахъ вѣры, такъ нѣтъ въ языкѣ благочестія. Гдѣ нѣтъ любви къ отечеству, тамъ языкъ не изъясляетъ чувствъ отечественныхъ. Гдѣ ученіе основано на мракѣ лжеумствованій, тамъ въ языкѣ не возсіяетъ истина. Однимъ словомъ, языкъ есть мѣрило ума, души и свойствъ народныхъ». Такимъ образомъ полемика по поводу слога раздвинула свой кругъ. Послѣдователи Карамзина съ неудовольствіемъ увидѣли, что похвалы старому слогу въ тоже время суть похвалы старинѣ вообще, старому, до-петровскому просвѣщенію въ особенности, а нападки на новый слогъ служатъ съ тѣмъ вмѣстѣ нападками на новое время вообще, на европейскую цивилизацію. Въ этомъ отношеніи и замѣчательны посланія В. Пушкина къ Жуковскому (1810) и Дашкову (1811): онъ отстаиваетъ просвѣщеніе, которому какъ онъ увѣренъ, грозятъ идеи «раскольниковъ-славянъ». Если Шишковъ объявляетъ возмущеніе въ языкѣ нравственною распушенностью писателей, то Пушкинъ объясняетъ ученіе Шишкова отсталостью, обскурантизмомъ. И себя и друзей своихъ онъ успокоиваетъ мыслию о невозможности забыть или измѣнить прочное дѣло Петра и Екатерины II. «Намъ нужны не слова», говоритъ онъ, «намъ нужно просвѣщеніе. Истинный сынъ отечества стыдится утопать во мракѣ невѣжества: «и въ старинѣ не видитъ ничего хорошаго».

Въ исторіи литературныхъ споровъ нерѣдко встрѣчаются подобныя переходы воюющихъ съ одного пункта на другой. Такъ въ вопросѣ «о преимуществѣ древнихъ и новыхъ» начально имѣлось въ виду опредѣлить только мѣру значенія греко-римской литературы сравнительно съ литературою новаго, христіанскаго міра. Но въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи вопросъ вступилъ на иную почву: имѣлось въ виду опредѣлить сравнительное значеніе не одной литературы, но всего интеллектуальнаго развитія, достигнутаго древними и новыми. Защитники послѣднихъ дорожили рѣше-

ніемъ въ свою пользу, потому что оно сопряжено было съ торжествомъ идеи интеллектуальнаго прогресса человѣчества ⁽¹⁾.

§ 8. Исторія Государства Россійскаго, какъ и всякій историческій трудъ, можетъ быть разсматриваемъ съ двухъ точекъ зрѣнія: чисто-научной и историко-литературной.

1. Задача исторіи—воспроизведеніе прошлой жизни всего человѣчества или какаго либо отдѣльнаго народа. Цѣль исторіи таже, что и прочихъ наукъ—истина. Эта научная истина требуетъ, чтобы прошлое было представлено точно такимъ, каково оно было въ дѣйствительности. Исторію справедливо уподобляютъ чистому и вѣрному зеркалу, въ которомъ событія отражаются въ подлинномъ своемъ видѣ и значеніи. Для достиженія этой цѣли первой работой историка должна быть работа критическая, или аналитическая: разборъ и оцѣнка памятниковъ. За тѣмъ слѣдуетъ вторая часть историческаго труда—часть построительная, или синтетическая, предметъ которой—свести разясненныя матеріалы въ одноцѣлое, по опредѣленному плану, изложить событія въ хронологическомъ порядкѣ и въ органической связи ихъ между собою, какъ причины и слѣдствія, и такимъ образомъ опредѣлить законы, управлявшіе развитіемъ народной жизни.

При оцѣнкѣ Исторіи Карамзина съ чисто-научной точки зрѣнія, необходимо прежде всего указать въ общихъ чертахъ состояніе науки русской исторіи передъ началомъ этого труда ⁽²⁾.

Изданіе историческихъ источниковъ началось у насъ еще въ XVIII вѣкѣ; но большая часть рукописей были и прочитаны, и изданы чрезвычайно небрежно. Кн. Щербатовъ, въ изданіи такъ называемаго «Древняго Лѣтописца», вмѣсто *утечими лѣтми* читалъ: *Утечь* и *Милосцы*, принимая эти слова за собственные имена. Львовъ, издавая «Русскій Временникъ», счелъ возможнымъ замѣнить неупотребительныя слова текста словами новаго времени, наприм. *баталия* въ описаніи битвы Ярославъ съ Святотополкомъ. Барковъ искажилъ Радзивилловскій списокъ начальной лѣтописи. Изданія были до того небрежны, что страницы, перепутанныя въ рукописи, путались и въ изданіи и даже въ изложеніи исторіи: такъ случилось съ Царственной книгой, напечатанной Щербатовымъ. Самые важные списки лѣтописи оставались не только неизданными, но даже неизвѣстными: такъ Шлецеръ, списавшій

¹⁾ А. С. Шишковъ, г. Стоюнина (Вѣст. Европы № 9—12).

²⁾ Указаніе это заимствую изъ рѣчи К. Н. Бесгузова-Рюмина: «Карамзинъ какъ историкъ», съ дополненіями изъ его же статьи «Современное состояніе русской исторіи какъ науки» (Москов. Обозрѣніе 1859 г. № 1) и изъ 1-го тома «Русской исторіи» (1872 г).

собѣ первыя страницы Ипатьевского списка, даже не подозрѣвать, что въ томъ же спискѣ заключаются лѣтописи Киевская, извѣстная только Татищеву, и Волынская, никому неизвѣстная. Грамоты печатались такъ же, какъ и лѣтописи: печатали то, что подъ руку попадалось, съ перваго списка, и рѣдко заявляли, откуда взята грамота.

Если не было хорошихъ изданій лѣтописи, то тѣмъ менѣе можно было ждать ученыхъ комментариевъ. Только Шлецеръ началъ объясненіе нашихъ лѣтописей и въ ту пору появился одинъ первый томъ его «Нестора»; только онъ началъ отдѣлять источники, годные къ употребленію, отъ негодныхъ, сталъ добиваться, какимъ путемъ дошли извѣстія. Комментаріи Татищева ограничивались по большей части соображеніями здраваго смысла: его примѣчанія интересны главнымъ образомъ своими указаніями на нравы и обычаи XVII и XVIII вѣковъ и вовсе не имѣютъ цѣны, какъ ученые изысканія.

Ученыхъ пособій совсѣмъ не было. Генеалогическія таблицы были такъ перепутаны, что одинъ и тотъ же князь являлся два раза сыномъ двухъ разныхъ князей: такъ у Щербатова случилось съ Всеволодомъ Чернымъ. Географія древней Россіи была не въ лучшемъ состояніи: постоянно путались такіе извѣстные города, какъ Владиміръ на Клязьмѣ и Владиміръ на Волнѣ; такіе народы, какъ Болгары Камскіе и Болгары Задунайскіе. Состояніе археологіи было таково, что въ 1824 г., уже послѣ изданія исторіи Карамзина, ученое общество напечатало въ своемъ изданіи описаніе Грузинской хоругви св. Владиміра. О міеологіи и говорить нечего: въ XVIII вѣкѣ ее считали дѣломъ празднаго любопытства, и міеографы, для забавы читателя, изобрѣтали не только обряды, но даже боговъ. Къ этому еще слѣдуетъ прибавить большое количество недоразумѣній: такъ изъ Перунова *уса злата* сдѣлали бога *Усада* и потомъ уже приписали ему разные атрибуты. Тотъ же взглядъ замѣтенъ и въ собраніи пѣсенъ, сказокъ и т. п. Въ сборникахъ постоянно являлись присочиненныя пѣсни и сказки: изслѣдователи не только не умѣли отличать ихъ отъ дѣйствительно народныхъ, но даже не находили этого нужнымъ, ибо и произведенія народной словесности считали занятіемъ празднаго любопытства, и то для черни. Извѣстно, съ какимъ презрѣніемъ Сумароковъ и Тредьяковскій смотрѣли на народную поэзію.

На основаніи накопившагося матеріала старались изобразить прошлую жизнь. Трудъ Татищева: «Исторія Россійская съ древнѣйшихъ временъ» (1768—74) — въ сущности сводная лѣтопись, доведенная до смерти Федора Іоанновича, объясненная примѣчаніями, значе-

ніе которыхъ опредѣлено выше; прагматическимъ изложеніемъ событій назвать его нельзя. Первымъ опытомъ такого изложенія или, справедливѣе, покушеніемъ на прагматизмъ служила «Исторія Россійская отъ древнихъ временъ» кн. Щербатова (1770—1791), доведенная до Михаила Федоровича. Авторъ вообще понималъ исторію, какъ цѣпь причинъ и слѣдствій, но не искалъ этихъ причинъ въ состояніи самого общества; для него онѣ были болѣе или менѣе случайны. Не представляя себѣ ясно условій эпохи, онъ нерѣдко впадалъ въ заблужденія: такъ онъ причину успѣха татаръ видитъ въ излишнемъ благочестіи нашихъ предковъ; нападеніи Литвы въ эпоху до-татарскую объясняетъ дѣлами польскими, забывая, что Литва тогда не была еще соединена съ Польшею.

Представляя себѣ неудовлетворительное состояніе нашей исторической науки передъ появленіемъ Исторіи Карамзина, ясно видимъ, какъ великъ былъ его трудъ. Примѣчанія къ тексту каждаго тома занимаютъ цѣлую его половину. Изъ предисловія къ исторіи видно, какъ они были необходимы и чего они стоили исторіку: «Множество сдѣланныхъ мною примѣчаній и выписокъ устрашаетъ меня самого. Если бы всѣ матеріалы были у насъ собраны, очищены критикою, то намъ оставалось бы единственно ссылаться; но когда болѣшая ихъ часть въ рукописяхъ, въ темнотѣ, когда едва ли что обработано, изъяснено, соглашено, надобно вооружиться терпѣніемъ». Просматривая эти примѣчанія, нельзя не чувствовать уваженія къ его работѣ: въ нихъ осталось свидѣтельство его обширной начитанности, его образцовой критической внимательности; онъ останавливался надъ каждымъ памятникомъ, надъ каждымъ запросомъ. Для человѣка, начинающаго заниматься исторіею, нельзя указать лучшаго руководства: изъ примѣчаній онъ познакомится со всѣмъ кругомъ источниковъ, бывшихъ доступными Карамзину, и потомъ уже легко дополнитъ свои свѣдѣнія. А этотъ кругъ великъ: онъ заключаетъ массу памятниковъ, которые онъ въ первый разъ нащелъ, или которыми онъ впервые пользовался. Сюда принадлежатъ: списки лѣтописей — Хлѣбниковскій, Лаврентьевскій, Троицкій, Ростовскій, нѣкоторые изъ Новгородскихъ лѣтописей и Псковскія, Даниилъ Паломникъ, Иларіонова похвала Владиміру, множество житій святыхъ, множество грамотъ, сказаній. И все это онъ прочелъ, изучилъ, провѣрилъ, изъ всего извлекъ самое любопытное и нигдѣ не спутался. Выписывалъ онъ часто то, что ему не пригодилося бы самому, но могло бы пригодиться другому. Выписывая, онъ часто подчеркивалъ слова, особенно любопытныя сами по себѣ или по соединенію съ ними факту. Не довольствуясь нашими бібліотеками и

архивами, онъ ищетъ возможности получать нужные для него документы и изъ архивовъ заграничныхъ: такъ изъ Кенигсбергскаго архива ему доставляется множество интересныхъ бумагъ, между прочимъ грамоты галицкихъ князей, о которыхъ только изъ этихъ грамотъ и можно было получить нѣкоторыя свѣдѣнія; такъ чрезъ М. Н. Муравьева ищетъ онъ возможности добыть переписку папъ изъ Ватиканскаго архива и т. п. До него никто, кромѣ Миллера и Успенскаго⁽¹⁾, не пользовался такъ много иностранными писателями о Россіи. Встрѣчающіяся въ памятникахъ слова, вышедшія изъ употребленія, онъ старается объяснить, и объясняетъ большею частію вѣрно, для чего ему нужны бывають выписки изъ другихъ памятниковъ, совершенно другаго времени. Не будучи филологомъ, Карамзинъ, конечно, объясняетъ слово только сличеніемъ текстовъ и не прибѣгаетъ къ филологическимъ соображеніямъ, даже не всегда пользуется помощію другихъ славянскихъ нарѣчій. Памятники вещественные интересуютъ его такъ же какъ и памятники письменные: онъ собираетъ извѣстія о святинѣ, хранимой въ ризницахъ, о раскопкахъ, кладяхъ, зданіяхъ—обо всемъ, что сохранилось отъ жизни нашихъ предковъ. Имъ помѣщены рисунки буквъ Десятиной церкви, изображеніе стариннаго рубля, буквы зырянской азбуки Стефана Пермскаго. Когда въ наличныхъ источникахъ онъ не находитъ требуемыхъ свѣдѣній, то вступаетъ въ переписку съ мѣстными жителями и получаетъ нужное свѣдѣніе на мѣстѣ. Все, что возбуждаетъ какой-либо вопросъ касательно древностей: сомнительная дата, генеалогія того или другаго князя, банное строеніе, старинный русскій счетъ, вѣсы и монеты, не остается у Карамзина безъ изслѣдованія. Всѣ чужія мнѣнія тщательно разсматриваются и провѣряются. Изслѣдованія обыкновенно чрезвычайно точны и могутъ опровергаться только столь же точными изслѣдованіями или новыми памятниками. Словомъ, на пространствѣ до 1611 г. не много найдется вопросовъ, которые бы онъ не предвидѣлъ и на которые нельзя было бы найти у него рѣшенія, указанія или по крайней мѣрѣ намека. Велика заслуга того, кто первый ознакомилъ большинство людей читающихъ съ отечественной исторіей, бывшей для нихъ какъ бы землей невѣдомой, — кто, по выраженію Пушкина, былъ «Колумбомъ древней Россіи». Мѣра такого подвига увеличивается при мысли, что самъ Карамзинъ, принимаясь за дѣло, не имѣлъ достаточной научной для него под-

⁽¹⁾ Книга Успенскаго: «Опытъ о древностяхъ російскихъ» вышла 2-мъ изданіемъ въ 1818 г..

готовки; онъ не былъ спеціалистомъ ни въ одной изъ тѣхъ отраслей наукъ, которыя по преимуществу образуютъ историка; онъ не былъ ни филологомъ, ни юристомъ; не подготовленный наукою, онъ не былъ подготовленъ и жизнію, потому что не участвовалъ ни въ дѣлахъ государственныхъ, ни въ переговорахъ. Литераторъ, журналистъ, свѣтскій человѣкъ — вотъ чѣмъ былъ Карамзинъ до своего *постриженія* въ историка, по мѣткому слову кн. Вяземскаго.

Что касается до вопроса: вѣрно ли исторія Карамзина воспроизводитъ прошлое Россіи? то онъ уже довольно опредѣлительно рѣшенъ историками, слѣдовавшими за Карамзинымъ, а именно: Н. Полевымъ, С. Соловьевымъ и К. Бестужевымъ - Рюминымъ. Они не скрываютъ, что Карамзинъ произносилъ иногда приговоры надъ дѣятелями и дѣйствіями вопреки объективности исторической науки, которая требуетъ, чтобы судъ производился по современному имъ образу мыслей, а не по образу мыслей того вѣка, въ которомъ живетъ судія; что, прочитавъ сочиненіе Карамзина, мы (по выраженію одного писателя, можетъ быть болѣе остроумному, чѣмъ справедливому) *знаемъ* исторію нашего отечества, но не *понимаемъ* ея, т. е. что *факты* переданы вѣрно, но невѣрно истолкованіе ихъ, *представленіе*, освѣщеніе.

II. Критика историко-литературная разсматриваетъ трудъ Карамзина съ двухъ сторонъ: во-первыхъ, со стороны высказаннаго въ ней образа мыслей, т. е. тѣхъ идеаловъ, господствомъ которыхъ онъ равно дорожилъ и въ историческомъ развитіи народа, и въ обыкновенной жизни людей, и служеніе которымъ было для него обязательно, какъ для литератора, такъ и для историка; во вторыхъ, со стороны искусства, или формы — внутренней и внѣшней. При разсмотрѣніи исторіи съ первой стороны, критика обязана отмѣчать встрѣчающіяся тамъ и сямъ примѣненія взглядовъ къ современному положенію Россіи, намеки на тѣ государственныя реформы царствованія Александра I, которыя даютъ поводъ автору сближать ихъ съ древне-русскими правительственными мѣрами; ибо исторія, по словамъ самого автора, есть изъясненіе и дополненіе настоящаго и примѣръ будущаго. Мы уже знаемъ, что изслѣдованія прошедшихъ судебъ отечества не отвлекали Карамзина отъ современныхъ ему интересовъ общества. Доказательствомъ тому служить «Записка о древней и новой Россіи», посвященная преимущественно сужденію о государственныхъ реформахъ за первое десятилѣтіе текущаго вѣка. Она явилась въ то время, когда было написано уже нѣсколько томовъ исторіи. И потому, говоря объ одномъ трудѣ, необходимо принять къ соображенію и

другой. По образу мыслей, онѣ состоятъ въ тѣсной между собою связи, взаимно себя дополняютъ и объясняютъ.

А) Образованіе Карамзина было завершено въ прошедшемъ вѣкѣ. Подъ вліяніемъ передовой литературы этого вѣка, сложились его убѣжденія, установились идеи, между которыми первенствовали идеи человеколюбія и просвѣщенія, какъ единственного, по его мнѣнію, средства для умственного и нравственного развитія человечества. Карамзинъ началъ писать исторію въ то время, когда уже достаточно высказалъ свои воззрѣнія на важнѣйшіе предметы государства и общества. Государственный обѣтъ Императора, заявленный въ манифестѣ при вступленіи на престолъ—«править народомъ по законамъ и сердцу бабки своей Екатерины Великой»—исполнилъ Карамзина радостными надеждами, потому что царствованіе Екатерины II было, по его искреннимъ убѣжденіямъ, идеаломъ правительственной системы, а величайшая слава этой системы состояла въ умѣніи все дѣлать *съ пору и съ мѣру*. Карамзинъ написалъ «Историческое похвальное слово Екатеринѣ II (1802)» съ двойною цѣлію: указать во всѣхъ дѣйствіяхъ Екатерины—завоеваніяхъ, законахъ и учрежденіяхъ—важнѣйшія ихъ качества, т. е. своевременность и мудрую мѣру, и кромѣ того преподать совѣты правительству новому. Такимъ образомъ занятія исторіей могли измѣнить только мнѣнія о нѣкоторыхъ событіяхъ и лицахъ, но не могли разсѣять окрѣпшіе въ сознаніи историка политическіе, гражданскіе и нравственные идеалы. По этой причинѣ, при чтеніи Исторіи государства російскаго нерѣдко встрѣчаешь воззрѣнія и «Писемъ русскаго путешественника», и «Вѣстника Европы», и отдѣльных статей, которыя помѣщались въ сборникахъ, издававшихся Карамзинымъ (Аглая, Пантеонъ иностранной словесности). Общность въ этомъ отношеніи между «Исторіей» и «Запиской» еще яснѣе: если въ первыхъ томахъ Исторіи, предшествовавшихъ «Запискѣ», высказывалось многое, что потомъ «Записка» повторила въ обзорѣ древне-русской исторіи, то, съ другой стороны, этотъ обзоръ предварительно изложилъ многое, что подробнѣе рассказано слѣдующими томами Исторіи.

Самъ авторъ обозначилъ направленіе своей исторіи, поднося ее Императрицѣ Елисаветѣ Алексѣевнѣ: «я писалъ съ любовію къ отечеству, ко благу людей въ гражданскомъ обществѣ и къ святымъ уставамъ нравственности» (1).

а) Нравственный уставъ господствуетъ надъ всѣми другими законами и побужденіями. Онъ проходитъ по всей исторической

¹⁾ Письмо отъ 24 янв. 1818 (Немцх. соч. К—на).

трани яркою нитью, не умѣряемый въ строгости даже государственными требованіями. Что въ одинаковой силѣ обязательно для каждаго человѣка, къ тому Карамзинъ и питаетъ особенное уваженіе, то и служить для него главною мѣрою достоинства и правителей и подвластныхъ. На этомъ пунктѣ исторіографъ и публицистъ сошлись въ немъ самымъ дружнымъ образомъ. Какъ Вѣстникъ Европы не признавалъ Наполеона героемъ, потому что не находилъ «героизма добродѣтели» въ его дѣйствіяхъ, такъ и Исторія, въ характеристикахъ древне-русскихъ князей и царей, наиболѣе останавливается на добродѣтельныхъ подвигахъ, даетъ имъ первое мѣсто, а не подчиняетъ ихъ какимъ-либо другимъ заслугамъ. Только та политика одобряется ею, которая согласна съ чувствомъ естественной справедливости. Если есть иная политика, то она не должна быть. Называя политикой коварство, лицемеріе, хитрость, мы смѣшиваемъ разнородные предметы. Присяга всегда сохраняетъ свою святость, и вѣроломство есть всегда преступленіе. Хотя Карамзинъ и цитируетъ слова Цицерона: «вѣкъ извиняетъ человѣка»; хотя между апофегами, разбѣянными въ его историческомъ трудѣ, мы и встрѣчаемъ мысль, что «самые великіе люди дѣйствуютъ согласно съ образомъ мыслей и правилами вѣка»: однакожь, призывая мертвыхъ къ суду, онъ выговаривалъ его на основаніи тѣхъ самыхъ положеній, которыя неулонно примѣнял и къ своимъ современникамъ. Передъ его нравственнымъ идеаломъ были равны всѣ времена и народы, всѣ разряды гражданскаго общества. Этотъ идеалъ положительно выраженъ въ оцѣнкѣ дѣйствій Калиты. Хваля его за утвержденіе великокняжеской власти, историкъ не прощаетъ ему смерти Александра Тверскаго: «правила нравственности и добродѣтели святѣе всѣхъ иныхъ и служатъ основаніемъ истинной политики». Съ дурнымъ поступкомъ не мирили его ни похвальная дѣль, ни успѣшное достиженіе дѣли, потому что «отъ человѣка зависитъ только дѣло, а слѣдствія отъ Бога», и потому «судъ исторіи не извиняетъ и самого счастливаго злодѣйства». Тѣ же мысли повторены по случаю Казимирова умысла убить или отравить Іоанна III: «Никогда выгода государственная не можетъ оправдать злодѣянія; нравственность существуетъ не только для частныхъ людей, но и для государей: они должны такъ поступать, чтобы правила ихъ дѣяній могли быть общими законами.

И такъ передъ лицомъ нравственныхъ требованій всѣ люди равноправны. Исторія, ими вооруженная, ставитъ важнѣйшимъ величіемъ дѣятелей—служеніе добродѣтели; важнѣйшимъ ихъ преступленіемъ—измѣну добродѣтели. Съ этой точки зрѣнія, Карам-

знѣ судить неуклонно-строга. Особенной строгости подвергся Іоаннъ Грозный. По его объясненіямъ, конецъ счастливыхъ дней Грознаго наступилъ въ то время, когда онъ лишился не только супруги, «но и добродѣтели»: Анастасія, выѣстъ съ Сильвестромъ и Адашевымъ, питала въ немъ любовь «къ святой нравственности». Послѣдній величается мужемъ незабвеннымъ въ нашей исторіи, «красою вѣка и человѣчества»: двоякая похвала — относительная, воздаваемая человѣку извѣстной эпохи, и безотносительная, сохраняющая свою цѣнность для всѣхъ возможныхъ эпохъ. Подвигъ митрополита Филиппа заслужилъ ему славу такого героя, знаменіе котораго, какъ выражается нашъ историкъ, не представляетъ ни древняя, ни новая исторія: ибо «умереть за добродѣтель есть верхъ человѣческой добродѣтели». Изобразивъ вторую, мрачную половину царствованія Іоанна IV, Карамзинъ дѣлаетъ замѣтку о пользѣ исторіи подобныхъ ему властителей: «вселять омерзѣніе ко злу есть вселять любовь къ добродѣтели». Онъ жалѣетъ о Курбскомъ, какъ о злополучномъ мужѣ, лишившемъ себя главнаго утѣшенія въ бѣдствіяхъ — «внутренняго чувства добродѣтели». Имя же «добродѣтельнаго» слуги его, Шибанова, сочтено достойною принадлежностью исторіи.

Таже мѣрка прилагается къ Годунову, Лжедмитрію, Шуйскому и событіямъ междоусобицъ. При описаніи блистательныхъ свойствъ Годунова, Карамзинъ даетъ намъ ключъ къ уразумѣнію того, что скажетъ о немъ потомство: «превосходя всѣхъ вельможъ дарованіями, Борисъ *не имѣлъ только.... добродѣтели*; видѣлъ въ ней не цѣль, а средство къ достиженію цѣли; не могъ одолѣть искушеній тамъ, гдѣ зло казалось для него выгодною — и проклятіе вѣковъ заглушаетъ въ исторіи его добрую славу». Ошибочныя распоряженія Бориса во время успѣховъ самованца вновь подтверждаютъ извѣстную истину, «сколь умъ обманчивъ въ раздорѣ съ совѣстію, и какъ хитрость, чуждая добродѣтели, запутывается въ собственныхъ сѣтяхъ». Ни эта хитрость, ни правительственный умъ не обольщаютъ Карамзина: они были для него темною силой, направленной къ личнымъ выгодамъ. Въ Борисѣ онъ чужалъ нечистую личность, не столько явными уликами, сколько сердцемъ открывая благовидность его дѣйствій при неблагомъ ихъ значеніи, соблюденіе законныхъ формъ при незаконности содержанія. И потому исторія Борисова царствованія заключена строгимъ приговоромъ:

Имя Годунова, одного изъ разумѣйшихъ властителей въ мірѣ, въ теченіе столѣтій было и будетъ провозносно съ омерзѣніемъ, *во славу нравственною, неуклонною правосудія*. Потомство видитъ лобное мѣсто,

обогрѣнное кровію невинныхъ, св. Дмитрія, издыхающаго подъ ножемъ убійцы, героя псковскаго въ петлѣ, столь многихъ вельможъ въ мрачныхъ темницахъ и келліяхъ; видитъ гнусную мзду, рукою вѣнценосца предлагаемую клеветникамъ-доносителямъ; видитъ систему коварства, обмановъ, лицемерія предъ людьми и Богомъ... вездѣ личину добродѣтели, и гдѣ добродѣтель? въ правдѣ ли судовъ Борцовыхъ, въ щедрости, въ любви къ гражданскому образованію, въ равности къ величію Россіи, въ политикѣ мирной и здоровой? Но *сей яркій для ума блескъ лгавъ для сердца*, удостовѣреннаго, что Борисъ не усомнился бы ни въ какомъ случаѣ дѣйствовать вопреки мудрымъ государственнымъ правиламъ, если бы властолюбіе потребовало отъ него такой перемѣны.

Измѣна Басманова, «честодюбца безъ чести», его переходъ на сторону «державнаго прошлеца», какъ энергически Карамзинъ называетъ Лжедмитрія, даетъ историку поводъ заявить нетвердость того, что противно уставу нравственности: «Басмановъ», говоритъ онъ, «не зналъ, что сильные духомъ падаютъ какъ младенцы на пути беззаконія». Отъ Василія Шуйскаго историкъ не ожидалъ ничего великаго, потому что онъ могъ быть только вторымъ Годуновымъ: *лицемеромъ, а не героемъ добродѣтели, которая бываетъ главною силою и властителемъ народа и народовъ въ опасностяхъ чрезвычайныхъ*. Одна изъ такихъ опасностей наступила для нашего отечества въ междоусобицѣ: «Россія гибла и могла быть спасена только Богомъ и собственною *добродѣтелію*».

Какъ бы ни судили объ изложенномъ взглядѣ, но, по крайней мѣрѣ, онъ отличается послѣдовательностью. Карамзинъ остался ему вѣренъ во всѣхъ своихъ сочиненіяхъ. Если строго-нравственная точка зрѣнія не совсѣмъ удобна въ исторіи, которая поѣтому можетъ забывать главную цѣль свою — разъясненіе прошлаго, и имѣть въ виду цѣль стороннюю—поученіе настоящаго; если свѣточъ, который такъ твердо держалъ въ рукахъ своихъ историкъ, недостаточенъ для озаренія точнаго смысла событій: то блескъ такого свѣточка—все же прекрасный блескъ. Противъ мѣрила, избраннаго Карамзинимъ, сказать нечего. Разсматриваемый въ самомъ себѣ, онъ безупреченъ. Но, при всемъ внутреннемъ своемъ достоинствѣ, соответствуетъ ли онъ различнымъ историческимъ временамъ? На этотъ первый вопросъ сочиненія Карамзина даютъ положительный отвѣтъ: для нихъ автора существовала только одна нравственность, исконная и нескончаемая; никакой другой онъ не признавалъ. Вторымъ вопросомъ требуется рѣшить, всегда ли полно и вѣрно примѣняется его нравственный уставъ? Примѣненіе общаго къ частному подвержено многимъ погрѣшностямъ. Въ томъ случаѣ, о которомъ здѣсь идетъ рѣчь, историкъ можетъ иногда проходить молчаніемъ крупныя факты, не подозрѣвая въ

нихъ права заявлять торжество или помраченіе нравственнаго идеала, тогда какъ факты некрупные, даже мелкіе могутъ находить въ немъ строгаго судію или апологиста, съ той же точки зрѣнія. Есть событія, туго выдающія нарушение правды: необходимо близко подойти къ нимъ и зорко разсмотрѣть ихъ, чтобы понять тяжесть обиды, нанесенной въ нихъ нравственному чувству. Таково, напримѣръ, презрѣніе къ человѣческой личности, нарушение гражданской равноправности въ одномъ человѣкѣ или въ коллективной единицѣ (корпорацин, сословіи, значительной части земства) и т. д. Встрѣчаются ли у Карамзина подобныя ошибки? Если въ отвѣтъ на этотъ вопросъ Карамзинъ можетъ сказать, что на нѣкоторыя историческія явленія (напримѣръ на крѣпостное право) онъ смотрѣлъ не тѣми глазами, какими смотримъ на нихъ мы, и рѣшалъ ихъ иначе (какъ мы уже видѣли), нежели они рѣшены послѣдующимъ временемъ; то, съ другой стороны, нельзя не сказать, что чувствительность, которую почиталъ онъ лучшимъ даромъ человѣческой природы и въ тоже время счастливѣйшимъ орудіемъ авторства, мѣшала ясности его историческаго созерцанія. Она, пользуясь выраженіемъ самого Карамзина, иногда малое представляла великимъ, а иногда великое малымъ. Отсюда, между прочимъ, и желаніе подмѣчать слѣды чувствительности въ древне-русскихъ князьяхъ, хотя эти замѣтки ничего не прибавляютъ ни къ характеристикѣ лицъ, ни къ характеристикѣ событій. Такъ о Владимірѣ Мономахѣ говорится: «онъ могъ бы сѣсть на престолѣ родителя своего; но сей *чувствительный*, миролюбивый князь уступилъ оный Изяславу». Глава о Ярославѣ II Всеволодовичѣ, вступившемъ на престолъ по завоеваніи Руси татарами, начинается словами: «въ такихъ обстоятельствахъ государь *чувствительный* могъ бы возненавидѣть власть». Въ письмахъ Василя Ивановича къ его супругѣ Еленѣ, историкъ указываетъ нѣжность супруга и отца, который, «будучи въ разлукѣ съ женою и съ дѣтьми, обращается къ нимъ въ мысляхъ, изъясняемыхъ простыми словами, но внушаемыми только *чувствительнымъ* сердцемъ». Говоря о жестокомъ характерѣ Іоанна III, Карамзинъ прибавляетъ: «рѣдко основатели монархій славятся *нѣжною чувствительностію*». Излишество и виѣсть наивность этой прибавки не скрылась отъ современныхъ читателей. Записки А. Пушкина рассказываютъ, что нѣкоторые остряки переложили первыя главы Тита Ливія слогомъ Исторіи Карамзина, включивъ въ характеристику Брута приведенныя слова, съ перемѣною одного изъ нихъ: «рѣдко основатели республикъ славятся *нѣжною чувствительностію*».

б) «Исторія Государства Россійскаго» есть исторія государственная, какъ видно изъ самаго ея названія. Она повѣствуетъ объ установленіи государственнаго порядка въ Россіи. По отношенію къ этому предмету и въ связи съ нимъ разсматриваются важнѣйшія явленія древней Руси, какъ послѣдовательныя ступени, ведущія къ рѣшенію главнаго вопроса, къ уразумѣнію того, какъ началась и сложилась наша государственность, какъ въ землѣ русскихъ славянъ, великой и обильной, но не имѣвшей порядка, выработался прочный государственный порядокъ.

Но государственнаго порядка нѣтъ безъ власти самодержавной, говоритъ Холмскій новгородцамъ, въ Марѣ Посадницѣ. Слова московскаго воеводы выражаютъ мысль Карамзина о направленіи нашей исторіи, указываютъ ту идею, которая, по его взгляду, обнаруживается рядомъ русскихъ событій. Мы знаемъ, что онъ началъ свой трудъ вскорѣ послѣ упомянутой повѣсти. Къ тому, что имѣли ему открыты русскія лѣтописи, присоединилось и то, что уже было ему извѣстно изъ современныхъ событій, въ особенности изъ самаго крупнаго—французской революціи. Если, говоря словами автора, «исторія есть изъясненіе настоящаго», то и настоящее служить къ разъясненію исторіи, дополняя собою свѣдѣнія, найденныя въ письменныхъ памятникахъ, и подтверждая вѣрность выводовъ о значеніи прошлаго. Не надобно терять изъ виду, что начало исторической работы Карамзина отдѣляется немногими годами отъ конца французскаго погрома. Онъ и самъ хорошо помнилъ это, даже въ то время, когда двѣ трети его труда были совсѣмъ готовы. Излагая пользу исторіи для правителей и законодателей, Карамзинъ пишетъ въ предисловіи (1815): «Должно знать, какъ искони мятежныя страсти волновали гражданское общество и какими способами благотворная власть ума обуздывала ихъ бурное стремленіе, чтобы учредить порядокъ, согласить выгоды людей и даровать имъ возможное на землѣ счастье». Хотя въ этихъ строкахъ нѣтъ прямого указанія на историческую годину, которая явила міру наибольшій мятежъ страстей, но оно безспорно подразумѣвается. Прямое же указаніе отнесено къ характеристикѣ Грознаго. Здѣсь авторъ, снова касаясь пользы исторіи, говоритъ: «не исправляя злодѣевъ, исторія предупреждаетъ иногда злодѣйства, всегда возможна, ибо страсти дикія свирѣпствуютъ и въ вѣки гражданского образованія». Въ примѣчаніи къ послѣднимъ словамъ читаемъ: «смотри исторію французской республики» (1).

1) Прим. 762 къ IX т.

И такъ установленіе государственнаго порядка невозможно безъ самодержавія. Самодержавіе даруетъ государству единство, могущество, независимость и гражданское образованіе—всѣ принадлежности, составляющія понятіе о благоустроенномъ обществѣ. Таковъ государственный идеалъ Карамзина. И его «Исторія» неотступно слѣдитъ за осуществленіемъ этого идеала въ нашемъ отечествѣ. Главными моментами древне-русской жизни служатъ тѣ явленія, которыми выказался наибольшій успѣхъ въ стремленіи къ означенной цѣли. Обозрѣвая ходъ событій съ этой точки зрѣнія, «Записка о древней и новой Россіи» различаетъ на историческомъ пути нашемъ три періода: «Россія основалась единоначаліемъ, гибла отъ разновластія и спаслась самодержавіемъ». «Исторія» въ подробности рассказываетъ то, что только намѣчено сжатою формулою: она излагаетъ содержаніе каждаго періода, съ его отличіями и подробностями.

Первымъ счастливымъ періодомъ было правленіе Ярослава I, когда «Россія, рожденная, возвеличенная единовластіемъ, не уступала въ силѣ и въ гражданскомъ образованіи первѣйшимъ европейскимъ державамъ». Несчастѣйшій же періодъ простирается отъ Василія Ярославича до Калиты, когда Россія утратила главные государственныя блага — единовластіе и независимость. Имена князей, которыхъ усилія въ это время были направлены къ возвращенію утраченнаго, заслуживаютъ похвалу историка: Андрей Боголюбскій, явно стремившійся «къ спасительному единовластію»; Всеволодъ III, подобно ему напомнимшій Россіи «счастливые дни единовластія». Іоаннъ Калита указалъ своимъ преемникамъ путь къ лучшей системѣ правленія. Усиленіе Москвы возвысило княжескую власть въ отношеніи къ народу, а съ тѣмъ вмѣстѣ понизило прежнюю важность бояръ: «раждалось самодержавіе». «Сія перемѣна, объясняетъ Карамзинъ, безъ сомнѣнія непріятная для тогдашнихъ гражданъ и бояръ, оказалась величайшимъ благодѣіемъ судьбы для Россіи: она устранила важныя препятствія на пути Россіи къ независимости». Іоанну III суждено было совершить два великіе подвиги: и освободить Россію отъ татаръ и водворить единовластіе неограниченное, или самодержавіе ⁽¹⁾. Съ его времени ведетъ свое начало новый и весьма важный моментъ: «исторія наша принимаетъ достоинство истинно-государственной». Карамзинъ изображаетъ Іоанна III великимъ монархомъ, потому

¹⁾ Глубокомысленная политика князей московскихъ не удовольствовалась собраніемъ частей въ цѣлое: надлежало еще связать ихъ твердо и единовластіе усилить самодержавіемъ (*Записка о древ. и нов. Россіи*).

что онъ помышлялъ единственно о государственной пользѣ, которая требовала безпрекословнаго единовластія, потому что онъ «не имѣлъ никакихъ страстей въ политикѣ, кромѣ добродѣтельной любви къ прочному благу народа», а это благо могло быть устроено только единою и самодержавною властію. Она сдѣлалась таковою при сынѣ Василя Темнаго. Впрочемъ, не ради одной этой заслуги, какъ ни велика она, Карамзинъ видитъ въ Іоаннѣ III великаго представителя монархизма, а ради и другихъ его свойствъ и дѣяній, какъ узнаемъ дальше. Таковъ ходъ нашей исторіи.

в) Понятія Карамзина о характерѣ государственныхъ и общественныхъ преобразованій намъ уже извѣстны. «Исторія» и «Записки» держатся того же ученія, проводя его по событіямъ древней и новой Россіи. Только въ его духѣ и по его начертаніямъ допускаютъ онѣ обновленіе жизни, развитіе гражданственности. Уваженіе къ прошедшему и существующему, при всѣхъ возможныхъ реформахъ, для Карамзина—законъ. Для него дороги историческія основы народнаго быта, и потому онъ ищетъ умиротворенія стараго съ новымъ, а не разрушенія перваго вторымъ. По его мнѣнію, столько же необходимо выполнять законно-возникшія, дѣйствительно указанныя временемъ потребности, сколько вредно испытывать дѣйствіе высшихъ улучшеній, которыя не заявлялись обществомъ. Короче: онъ сторонникъ и заступникъ охранительнаго начала; онъ консерваторъ. Подобно лучшимъ людямъ Екатерининскаго времени, онъ признавалъ нововведенія только подъ тѣмъ условіемъ, что они согласованы съ «умоначертаніемъ» народа и съ его вѣками сложившимся строемъ жизни. Онъ не мечталъ объ идеальномъ совершенствѣ реформъ: онъ желалъ лучшаго, болѣе отвѣчающаго нуждамъ страны. Реформы перваго рода, какъ умозрительныя, легко сочиняются въ кабинетѣ, но на практикѣ весьма часто оказываются негодными; реформы втораго рода, какъ вызванныя обстоятельствами, служатъ орудіемъ общественнаго прогресса. Слова Солона, приведенныя выше, повторены, хотя нѣсколько иначе, въ «Запискѣ»: «мои законы *несовершенны*, но *лучше* для Аѳинянъ». Они указываютъ путь законодателямъ и вообще всѣмъ лицамъ, стоящимъ во главѣ управленія. Когда же новыя учрежденія вступили въ дѣйствіе, тогда они должны пользоваться охраной и почтеніемъ, какими пользовались до нихъ дѣйствовавшія и ими упраздненныя: «уставы отцевъ бывають не всегда мудры, но всегда священны для народа», говоритъ Карамзинъ въ «Исторіи», какъ бы повторяя прежнюю мысль свою, выраженную еще въ «Письмахъ»: «всякое граждан-

ское общество, вѣками утвержденное, есть святыня для добрыхъ гражданъ».

Съ точки зрѣнія охранительной, Карамзинъ, въ своей «Исторіи», даетъ отчетъ о движеніи государственныхъ реформъ. Іоаннъ III возведенъ имъ на «вышнюю степень величія» не только передъ другими царями до-петровской Руси, но и сравнительно съ Петромъ. Историкъ видитъ въ немъ идеаль монарха, главнѣйшимъ образомъ потому, что этотъ царь укрѣпилъ Россію духомъ самодержавія, и кромѣ того по многимъ инымъ причинамъ: Іоаннъ всегда дѣйствовалъ осторожно, а осторожность «успѣхами, какъ бы неполными, даетъ своимъ твореніямъ прочность»; онъ «уважалъ правила вѣка и общее мнѣніе, не отвергалъ хорошаго для лучшаго, не совсѣмъ вѣрнаго, не мыслилъ о введеніи новыхъ обычаевъ, о перемѣнѣ нравственнаго характера подданныхъ», короче: поступалъ «благоразумно, т. е. согласно съ истинною пользою отечества». Историческая точка зрѣнія побудила Карамзина измѣнить прежній взглядъ на реформы Петра Великаго. «Записка» осуждаетъ преобразователя за излишнюю страсть къ подражанію иноземнымъ державамъ, во вредъ народному духу. Сущность новаго взгляда выражена слѣдующими словами: «Духъ народный составляетъ нравственное могущество государствъ, подобно физическому, нужное для ихъ твердости. Сей духъ и вѣра спасли Россію во время самозванцевъ; онъ есть не что иное, какъ привязанность къ нашему особенному, не что иное, какъ уваженіе къ своему народному достоинству... Любовь къ отечеству питается сими народными особенностями, благотворными въ глазахъ политика глубокомысленнаго... Два государства могутъ стоять на одной степени гражданскаго просвѣщенія, имѣя нравы различныя. Государство можетъ заимствовать отъ другаго полезныя свѣдѣнія, не слѣдуя ему въ обычаяхъ. Пусть сіи обычаи естественно измѣняются, но предписывать имъ уставы есть насиліе... Съ пріобрѣтеніемъ добродѣтелей человѣческихъ мы утратили гражданскія... Мы стали гражданами міра, но перестали быть въ нѣкоторыхъ случаяхъ гражданами Россіи».

Въ исторіи новой Россіи образцемъ правительственной мудрости Карамзинъ ставитъ царствованіе Екатерины Второй: «едва ли не всякій изъ насъ скажетъ, что время Екатерины было счастливѣйшимъ для гражданина Россійскаго; едва ли не всякій изъ насъ пожелалъ-бы жить тогда, а не въ иное время». Такъ говоритъ онъ въ «Запискѣ», и этими словами выказываетъ въ себѣ автора «Похвальнаго слова» Императрицѣ, при которой завершилось его образованіе и сформировались его убѣжденія. Если время Екате-

рины было счастливѣйшее, то отсюда прямо выходитъ, что Россія должна держаться порядка, его установленнаго. Уклоненія отъ этого порядка, какъ наилучшаго, должно отозваться неблагоприятными послѣдствіями: важными ошибками, общимъ недовольствомъ, упадкомъ довѣрія къ правительству, критикой его цѣлей и мѣръ. Вотъ въ чемъ главная мысль «Записки».

Баронъ Корфъ справедливо называетъ Карамзина, какъ автора «Записки», органомъ консервативнаго мнѣнія о работахъ графа Сперанскаго. «Записка» показываетъ несостоятельность и опасность нововведеній этого знаменитаго дѣятеля. За что собственно онъ осуждается? За излишнюю поспѣшность въ государственныхъ преобразованіяхъ, за излишнее уваженіе формъ государственной дѣятельности, въ ущербъ ея содержанію. Эти преобразованія (мы передаемъ смыслъ того, что подробно развито Карамзинимъ) возникли не на исторической основѣ, а изъ умозрѣній, вызывались не дѣйствительною потребностію, а жаждою новизны, простымъ подражаніемъ Европѣ. Они были не прямымъ и строгимъ выводомъ изученія Россіи, а теоретическими опытами надъ Россіей неизслѣдованной. Они служили не отвѣтами на заявленія прошлаго и настоящаго, а вопросами будущему. Они своевольно обращались съ тѣмъ, что завѣщано стариной. Они быстро ломали то, что медленно вырабатывалось жизнію. Исправляя дурное, они съ тѣмъ вмѣстѣ не щадили и хорошаго; желая пресѣчь зло, могли породить еще большее зло. И потому они блистательны, но не прочны; изящны на бумагѣ, но мало примѣнны къ дѣлу ⁽¹⁾.

Всякая новостъ въ государственномъ порядкѣ есть зло, къ коему надобно прибѣгать только по необходимости, ибо мы болѣе уважаемъ то, что давно уважаемъ, и все дѣлаемъ лучше отъ привычки.

Мудрые законодатели, принужденные измѣнять уставы политическіе, старались какъ можно менѣе отходить отъ старыхъ. «Если число и власть сановниковъ должны быть перемѣнены», говоритъ Макиавель, «то удержите имя ихъ для народа». Мы поступаемъ иначе: оставляемъ вещь, гонимъ имена; для произведенія того же дѣйствія вымышляемъ другіе способы... Къ древнимъ государственнымъ зданіямъ прикасаться опасно... Требуемъ болѣе мудрости охранительной, нежели творческой... Гораздо легче отиѣнить новое, нежели старое. Новосты векутъ къ новостямъ и благопріятствуютъ необузданностямъ произвола ⁽²⁾.

Наибольшей критикѣ подверглись труды законодательной коммисіи, направляемые Сперанскимъ. Коммиссія намѣревалась переводить кодексъ Фридриха Великаго. «Къ чему это?» замѣчаетъ

¹⁾ Кое-что о прогрессѣ (Рус. Вѣстникъ, 1861, № 10).

²⁾ Записка о древ. и нов. Россіи.

Карамзинъ: «Россія не Пруссія. Не худо знать его, но не менѣе ли нужно знать Юстиніановъ или датскій,—единственно для общихъ соображеній, а не для путеводительства въ нашемъ особенномъ законодательствѣ». О томъ предварительныхъ работъ комиссіи Записка даетъ такой отзывъ: «Множество ученыхъ словъ, почерпнутыхъ въ книгахъ,—ни одной мысли, почерпнутой въ содержаніи особеннаго гражданскаго характера Россіи. Голосъ автора въ лунѣ, а не на землѣ русской; соотечественники желали, чтобы сіи умозрители или спустились къ намъ, или не писали для насъ законовъ». Двѣ книжки, содержащія въ себѣ, подъ именемъ проекта уложенія, переводъ Наполеонова кодекса, изумили Карамзина: «Законы народа», говоритъ онъ, «должны быть извлечены изъ его собственныхъ понятій, нравовъ, обыкновеній и мѣстныхъ обстоятельствъ. Мы имѣли бы уже девять уложеній, если бы надлежало только переводить. Авторы шьютъ намъ кафтанъ по чужой мѣрѣ. Все не русское, все не порусски: какъ вещи, такъ и предложеніе оныхъ... Для стараго народа не надобно новыхъ законовъ. Мы требуемъ отъ комиссіи систематическаго предложенія нашихъ... Указы и установленія отъ временъ Алексѣя Михайловича до нашихъ: вотъ содержаніе кодекса ⁽¹⁾.

Не такъ было въ старину. Быстрой и кабинетной работѣ своихъ современниковъ Карамзинъ противопоставляетъ медленную, на опытѣ вѣковъ основанную работу прежняго времени. Въ похвалѣ «Исторіи» Іоанну IV и его совѣтникамъ за «Судебникъ» (1550) нельзя не видѣть косвеннаго порицанія дѣйствій Сперанскаго по комиссіи законовъ:

Іоаннъ и добрые его совѣтники искали въ трудѣ своемъ не блеска, не суетной славы, а вѣрной, явной пользы, съ ревностною любовію къ справедливости, къ благоустройству; не дѣйствовали воображеніемъ, умомъ не обгоняли настоящаго порядка вещей, не терялись мыслями въ возможности будущаго, но смотрѣли вокругъ себя, исправляли злоупотребленія, не измѣняя главной, древней основы законодательства; все оставили какъ было и чѣмъ народъ казался довольнымъ: устраняли только причину извѣстныхъ жалобъ; хотѣли лучшаго, не думая о совершенствѣ,—и безъ учености, безъ теорій, не зная ничего кромѣ Россіи, но зная хорошо Россію, написали книгу, которая всегда будетъ любопытною, доказатъ стоитъ наше отечество: ибо она есть вѣрное, зеркало нравовъ и понятій вѣка ⁽²⁾.

Не въ одной этой тирадѣ слышится движеніе субъективнаго чувства, возбужденнаго современностью. Намеки «Исторіи» на те-

¹⁾ Зап. о древ. и нов. Россіи.

²⁾ И. Г. Р., изд. Эйвер., кн. III, т. 8, стр. 67—68.

купція дѣла какъ бы подтверждаютъ слова ея предисловія о пользѣ этой науки, которая, будучи «зерцаломъ прошедшаго», есть въ тоже время «завѣтъ предковъ къ потомству, дополнение, изъясненіе настоящаго и примѣръ будущаго.» Признаніе своего труда «не бесполезнымъ въ государственномъ смыслѣ» могло явиться у скромнаго автора только по вѣрѣ въ силу историческихъ открытій для правительственной дѣятельности. Вліяніе живущаго нерѣдко выдается у него и похвалами, и упреками, произносимыми по поводу разсказа объ отжившемъ. Иногда оно такъ ярко, что повѣствованіе допускаетъ лирическую вставку или принимаетъ драматическую форму. Ограничимся немногими примѣрами. Показавъ причину общаго нерасположенія къ Андрею Боголюбскому въ худомъ исполненіи законовъ, иначе въ несправедливости судей, историкъ сопровождаетъ объясненіе совѣтомъ: «столь нужно вѣдать Государю, что онъ не можетъ быть любимъ безъ строгаго, бдительнаго правосудія; что народъ за хищность судей и чиновниковъ ненавидитъ Царя, самаго добродушнаго и милосердаго!» (1). Вассіановъ совѣтъ Грозному: «не имѣть совѣтниковъ мудрѣ себя», побудилъ Карамзина даже выдти на сцену изъ-за повѣствуемыхъ событій: «Нѣтъ, Государь! могли бы мы возразить ему: нѣтъ! совѣтъ, тебѣ данный, внушенъ духомъ лжи, а не истины. Царь долженъ не властвовать только, но властвовать благотѣльно: его мудрость, какъ человѣческая, имѣетъ нужду въ пособіи другихъ умовъ, и тѣмъ превосходитъ въ глазахъ народа, чѣмъ мудрѣ совѣтники, имъ выбираемые» (2). «Исторія не любитъ именовать живыхъ», замѣчаетъ Карамзинъ, переносясь отъ времени Іоанна IV къ славнымъ временамъ Петра I и Екатерины II, рядомъ съ которою, въ его мысли, становилось имя Александра I; однако имъ не умалчиваются современныя явленія, когда они уже выказали свое историческое достоинство въ нравственномъ или государственномъ значеніи. Покончивъ изложеніе царствованія Іоанна Грознаго, онъ восклицаетъ: «слава времени, когда вооруженный истиною дѣписатель можетъ, въ правленіи самодержавномъ, выставить на позоръ такого властителя, да не будетъ уже впредь ему подобнымъ!» (3).

Главная ошибка законодательныхъ работъ Сперанскаго состояла, по мнѣнію Карамзина, «въ излишнемъ уваженіи формъ государственной дѣятельности: дѣла не лучше производятся, только въ мѣстахъ и чиновниками другаго званія». Что же сдѣлать для ис-

1) Ib., кн. I, т. 3, стр. 20.

2) Ib. кн. II, т. 8, стр. 132.

3) Ib. кн. III, т. 9, стр. 259.

правления ошибки? «Послѣдовать иному правилу и сказать, что не формы, а люди важны». Отсюда первое правило: счастливое избраніе людей. Выбранные люди должны отличаться солиднымъ образованіемъ и доброю нравственностью. Таково руководящее начало мудрой правительственной системы. Начало не новое. Карамзинъ постоянно предлагалъ его и въ «Письмахъ», и въ «Вѣстникѣ Европы»; онъ предлагаетъ его также въ «Исторіи». «Письма» объявляютъ гражданское благоустройство Англіи не конституціей, которая есть не что иное, какъ одна изъ бранныхъ и не лучшихъ политическихъ формъ, а просвѣщеніемъ англичанъ и въ особенности ихъ сановниковъ. «Вѣстникъ Европы» неоднократно развиваетъ мысль, что главный двигатель при управленіи людьми — справедливость, что для желаемого дѣйствія хорошихъ законовъ необходимо нравственное достоинство ихъ исполнителей. «Исторія», приводя слова лѣтописи: «царь, самый добрый и мудрый, не въ силахъ искоренить зла человѣческаго; гдѣ законъ, тамъ и многія обиды» ⁽¹⁾, толкуетъ ими нелюбовь подданныхъ къ Андрею Боголюбскому. При законѣ, требующемъ извѣстнаго дѣйствія, разсуждаетъ она, возможны уклоненія отъ этого дѣйствія, злоупотребленія; не допускать злоупотребленій лежитъ на обязанности охранителей закона, судей; обязанность исполняется исправно только людьми просвѣщенными и нравственными: слѣдов. вся сущность въ назначеніи такихъ людей на правительственныя мѣста. Другими словами: администрація должна быть ограждена не только правильнымъ своимъ устройствомъ, но еще болѣе личными качествами администраторовъ.

За умѣньемъ выбирать людей слѣдуетъ другое, не менѣе существенное правило—умѣнье обходиться съ людьми. «Мало ангеловъ на свѣтѣ, немного и злодѣевъ,» говоритъ Карамзинъ въ «Запискѣ»; «гораздо болѣе смѣси, т. е. добрыхъ и худыхъ вмѣстѣ. Мудрое правленіе находитъ способъ усиливаетъ въ чиновникахъ побужденіе къ добру, или обуздываетъ стремленіе ко злу. Для перваго есть награды, отличія; для втораго—боязнь наказаній.»

Но гдѣ добыть подобныхъ людей? А если ихъ нѣтъ вовсе, или имѣется очень мало, то какъ произвести ихъ? Воспитательные планы Бецкаго мечтали, въ видахъ общественнаго обновленія, создать «новую породу человѣковъ». Карамзину, такому же сыну своего времени, какъ и Бецкій, пришлось бы созидать породу «друзей добра и человѣчества»,—единственно-хорошую партію въ политикѣ. Средства къ тому—просвѣщеніе и нравственность. Но

¹⁾ Кн. I, т. 3, стр. 20.

самъ Карамзинъ говорить: «время медленно и тихо подвигаетъ разумъ народовъ». Для повсемѣстнаго и всегдашняго водворенія благихъ общественныхъ нравовъ, спасительныхъ обычаевъ, характеровъ съ твердымъ образомъ мыслей нужны цѣлые вѣки. И вѣки недостаточны для осуществленія такого идеальнаго царства, въ которомъ изъ среды народа постоянно выдѣлялись бы «герои добродѣтели». Въ чаяніи же того, чтобы явленіе, столь рѣдкое, столь исключительное теперь, сдѣлалось когда-либо обычнымъ и нормальнымъ, надобно жить—не какъ нибудь, а по возможности лучше. Предполагать, что возможно-лучшее гражданское устройство можетъ быть совершено единственно личными качествами выбранныхъ лицъ, и въ слѣдствіе того на нихъ возложить все бремя и отвѣтственность по дѣлопроизводству, значить почитать или бремя слишкомъ легкимъ, или силы людскія слишкомъ мощными. Предположеніе Карамзина тоже, что Сень-Пьеровъ прозекъ вѣчнаго мира: это—«мечта добраго человѣка», прекраснодушное заблужденіе.

Отдѣлимъ же въ понятіяхъ Карамзина истину отъ того, что нельзя признать истиннымъ. Онъ совершенно правъ, утверждая систему государственныхъ улучшеній на историческомъ подножіи, т. е. допуская поступательное движеніе народа впередъ не иначе, какъ на условіяхъ прошедшей и настоящей его жизни, на соображеніяхъ съ дѣйствительными его потребностями; онъ правъ, видя въ народномъ образованіи и нравственности самое вѣрное орудіе для гражданскаго благоденствія: но онъ неправъ, не давая почти никакого участія въ общественномъ прогрессѣ учрежденіямъ, плохо вѣря ихъ организующему дѣйствию и смотря на нихъ не болѣе, какъ на «бренныя формы». Вотъ въ чемъ его ошибка или, точнѣе, неполнота его идеала.

В) Для художественной постройки историческаго труда, необходимы три условія: единство плана, надлежащая группировка матеріаловъ, живая характеристика лицъ и событій.

а) Единство плана опредѣляется единствомъ идеи, выражаемой, по взгляду автора, ходомъ народной жизни.

Эта основная идея намъ уже извѣстна. Исторія Карамзина, сказали мы, есть исторія государственная: она слѣдитъ за началомъ, развитіемъ и укрѣпленіемъ государственнаго устава Россіи—самодержавія. Историкъ заботливо изображаетъ, какимъ образомъ теченіе событій, не смотря на многія бѣдствія, вело и привело наше отечество къ цѣли, какъ бы свыше ему предначертанной.

Соотвѣтственно коренному началу русской государственности строится планъ «Исторіи Государства Россійскаго». Россія, рожденная единовластіемъ, была имъ возвеличена еще при Владимірѣ

Великомъ и Ярославѣ I, такъ что не уступала въ силѣ первѣйшимъ европейскимъ державамъ того же времени. Удѣльная система, междоусобныя войны и татарское иго ниспровергли это величіе: четыреста лѣтъ, протекшіе отъ смерти Ярослава до Іоанна III составляютъ періодъ народнаго и правительственнаго *заблужденія*, для котораго «въ исторіи есть время, болѣе или менѣе долгое, равно какъ есть время и для *истины*»: «Сколько вѣковъ Россіяне не могли живо увѣриться въ томъ, что соединеніе княженій необходимо для ихъ государственнаго благоденствія! Нѣкоторые вѣнценосцы начинали сіе дѣло, но слабо, безъ ревности достойной онаго; а преемники ихъ опять все разрушали. Даже и Москва, болѣе Кіева и Владиміра наученная опытами, какъ медленно и недружно двигалась къ государственной цѣлости!» (1). Когда же миновало заблужденіе и явилась истина? Она явилась при Іоаннѣ III, съ котораго исторія наша и «принимаетъ значеніе *истинно-государственной*», болѣе и болѣе укрѣплявшееся до нашего времени. Таковы важнѣйшіе моменты, выдающіеся пункты нашей исторіи. На нихъ и слѣдовало бы основать постройку плана. Однакожъ Карамзинъ дѣлитъ свою исторію не по внутреннему ея свойству, а чисто-внѣшнимъ образомъ—на томы и главы, озаглавливая послѣднія именами князей, какъ будто каждое княженіе служило эпохой въ осуществленіи нашего государственнаго устава. Какаю тому причина? Единственно та, что Карамзинъ не придавалъ большой важности дѣленію. «Нѣтъ нужды ставить грани тамъ, гдѣ мѣста служатъ живымъ урочищемъ», замѣчаетъ онъ въ предисловіи. Эти живыя урочища суть именно тѣ выдающіеся пункты нашей государственной исторіи, о которыхъ сказано выше. Читатель легко различаетъ ихъ самъ, знакомясь съ содержаніемъ книги. Они видны безъ помощи особыхъ примѣтъ. Зачѣмъ ставить грани, т. е. заголовки, тамъ, гдѣ разсказъ сообщаетъ наглядное понятіе объ историческихъ пространствахъ? Впрочемъ, въ концѣ предисловія и какъ бы неохотно, Карамзинъ предложилъ дѣленіе русской исторіи на *древнѣйшую* (отъ Рюрика до Іоанна III), *среднюю* (отъ Іоанна до Петра) и *новую* (отъ Петра до Александра): «система удѣловъ была характеромъ первой эпохи, единовластіе — второй, измѣненіе гражданскихъ обычаевъ — третьей». Не зная, что быlobы у Карамзина въ новой исторіи, мы имѣемъ право говорить только о томъ, что у него есть въ древнѣйшей и средней. Характеромъ древней ставитъ онъ удѣлы; но изъ его же книги мы видимъ, что въ первую часть древняго періода (до смерти Яро-

1) И. Г. Р. вѣд. II, т. 5, стр. 220.

слава) Россія уже была возвеличена *единовластіемъ*, а остальная часть была временемъ заблужденія, задержкою въ развитіи государственнаго устава Россіи; слѣд. дѣленіе Карамзина не противорѣчить послѣдовательности важнѣйшихъ моментовъ нашей исторіи, какъ степеней въ осуществленіи идеи.

б) Въ группировкѣ содержанія, наполняющаго всѣ части плана, центромъ тяжести должна тоже служить основная идея. Что бросаетъ сильнѣйшій свѣтъ на идею, въ чемъ она наиболѣе обнаружилась, то и должно выдвигаться на первый планъ; все прочее, какъ не столь важное и не столь характеристичное, должно занимать второстепенное мѣсто или стоять въ сторонѣ. По отношенію къ задачѣ, рѣшеніемъ которой обязался историкъ, малое можетъ иногда говорить громче многого; отдѣльный фактъ беретъ перевѣсъ надъ цѣлымъ рядомъ фактовъ; даже мелочь получаетъ такой смыслъ, какова она вовсе не имѣетъ при другихъ цѣляхъ и побужденіяхъ. Задача же Карамзина—раскрыть постепенное образованіе самодержавія въ Россіи. Онъ и занятъ преслѣдованіемъ этого предмета, постоянно, такъ сказать, налегая на него въ своемъ повѣствованіи. Конечно, не одно это находится въ его исторіи, но это въ ней главное и вмѣстѣ источникъ общаго впечатлѣнія, которое воспринимаютъ ея читатели. Карамзина упрекали въ томъ, что онъ изображеніе внутренней жизни народа (религіи, культуры, нравовъ и обычаевъ, торговли и промышленности и проч.) не вставлялъ въ самый разсказъ, а помѣщалъ его въ отдѣльныя главы, примыкая ихъ какъ бы дополненіе къ концу каждаго періода. Если это—погрѣшность, то нашъ авторъ раздѣляетъ ее со многими иными, даже знаменитыми, историками. Такъ поступалъ Юмъ, котораго онъ, на ряду съ Гиббономъ и Робертсономъ, почитаетъ образцомъ въ дѣлѣ историческаго искусства; такъ поступилъ и Маколей, обозрѣвъ, въ особой главѣ, состояніе Англіи въ 1685, по смерти Карла II.

в) Не дѣло историко-литературной критики объяснять, вѣрны ли, въ историческомъ смыслѣ, характеристичны лицъ у Карамзина, т. е. согласны ли онѣ съ дѣйствительными ихъ образами, начертанными въ лѣтописяхъ и иныхъ памятникахъ. Она смотритъ единственно на вѣрность характеровъ самимъ себѣ, на ихъ внутреннюю соотвѣтственность тому представленію, какое имѣлъ о нихъ авторъ. Становясь на эту точку зрѣнія, нельзя не видѣть, что некоторые дѣятели изображены въ «Исторіи Государства Россійскаго» весьма искусно: они какъ бы живутъ передъ нами, если не собственной жизнію, которою жили на самомъ дѣлѣ, то, по крайней мѣрѣ, тою, какою надѣлилъ ихъ историкъ по своимъ соображе-

ніямъ. Къ числу живо изображенныхъ характеровъ относятся Іоаннъ III, Іоаннъ IV, Филиппъ митрополитъ, Годуновъ, Шуйскій, Прокопій Лапуновъ. Не даромъ IX-ый томъ произвелъ на современную публику сильное впечатлѣніе, рассказать, какъ, съ утратою добродѣтели, царь все болѣе и болѣе предавался жестоко-стямъ. Не даромъ также образъ Годунова, цѣлую жизнь носившаго личину добродѣтели, вдохновилъ поэта, который, въ своей драмѣ, согласно съ воззрѣніемъ Карамзина, развилъ трагическія послѣдствія цареубійства. Представленіе нѣкоторыхъ событій отличается не менѣе живымъ колоритомъ: между ними осада и взятіе Казани есть блистательная, одушевленная картина. «Нѣтъ предмета столь бѣднаго, чтобы искусство уже не могло въ немъ ознаменовать себя пріятнымъ для ума образомъ»: справедливость этихъ строкъ предисловія доказана «Исторіей Государства Россійскаго».

Внѣшняя форма достойна художественной постройки, возведенной Карамзинымъ. Слогъ его исторіи ясный, точный, благородный, сильный и весьма часто живописный. Строепіе рѣчи удержало тѣ же самыя особенности, какія мы видѣли въ его литературныхъ трудахъ ⁽¹⁾. Историкъ не обратился къ Ломоносовскому словорасположенію: только, по требованіямъ излагаемаго предмета, свое собственное слово настроилъ на болѣе мужественный и величавый ладъ. Еще при новыхъ изданіяхъ своихъ сочиненій, до выхода въ свѣтъ «Исторіи», Карамзинъ очищалъ рѣчь отъ иностранныхъ словъ; историческій же языкъ его, въ этомъ отношеніи, безупреченъ: для общепринятыхъ и давнихъ варваризмовъ онъ умѣлъ находить соотвѣтственные имъ русскія названія. Современная рѣчь нерѣдко украшается вставкою старинныхъ словъ и оборотовъ, вычитанныхъ изъ лѣтописей и другихъ памятниковъ ⁽²⁾. Мы говоримъ: «украшается», потому что подобныя вставки дѣйствительно имѣютъ значеніе орнаментовъ и видимо допущены съ этою цѣлью: отъ нихъ, какъ отъ частной, большею частію лексической примѣси древняго къ новому, нельзя было ожидать, чтобы новое существенно из-

¹⁾ Сохранилось и столько любимое имъ дактилическое окончаніе фразъ, первый примѣръ котораго читатель встрѣчаетъ на заглавномъ листѣ: «Исторія Государства Россійскаго».

²⁾ Примѣры: Въ угодность имъ не затворимъ дорогъ въ свою землю. Желаетъ всегда блюсти ихъ подъ своею рукою. Я кину свое бѣдное царство и побѣгу, куда несутъ очи. Избывавъ мірскія суеты и дожуки, онъ не хотѣлъ слушать ихъ и посылалъ къ Борису. Александръ палъ, ибо не прямилъ Россію. Покрѣпъ милосердіемъ вину заблужденія, и пр. Отдѣльныя слова: *блаюрячіе*, *остуда* (охлажденіе), *отечестволюбцы*, *исправа* (полиція), и др. (Въ 1-ой ч. соч. Буслаева: «О преподаваніи отечеств. языка», выбраны изъ всѣхъ 12 т. И. Г. Р. примѣры старинныхъ словъ и оборотовъ).

мѣнилось въ своемъ характерѣ; это — искусная инкрустація одного предмета въ другой, а не органическое ихъ сочетаніе. Вставки служатъ только элементомъ того способа излагать исторію, по которому она заставляетъ каждый вѣкъ рассказывать событія его собственною рѣчью, какъ это и сдѣлали, наприм., Тьери въ «Рассказахъ о Меровингахъ», а Барантъ въ «Исторіи герцоговъ бургундскихъ». Указанныя отличія слога «Исторіи Государства Россійскаго» примирили Шишкова съ ея авторомъ и покончили многолѣтній филологическій споръ. Особенно послѣдніе ея томы Шишковъ читалъ съ откровеннымъ удовольствіемъ, находя въ нихъ все исправнымъ, кромѣ двухъ-трехъ выраженій, по его мнѣнію несовсѣмъ приличныхъ или несовсѣмъ правильно построенныхъ ⁽¹⁾.

Дидактическій элементъ «Исторіи» выражается апофегами, содержащими въ себѣ нравственныя или политическія мысли, по примѣру историковъ XVIII в., преимущественно Миллера, злоупотреблявшаго этимъ обычаемъ, за что Карамзинъ и осуждаетъ его въ предисловіи. Апофегмы нашего историка болѣею частію замыкаютъ рассказъ, служа ему или объясненіемъ или дополненіемъ. Встрѣчаются однакожъ и такія, которыя не составляютъ естественнаго, свободнаго вывода изъ событій, и безъ которыхъ, какъ лишннихъ, хотя и умныхъ, прибавокъ, повѣствованіе могло бы обойтись ⁽²⁾.

Въ изложеніи господствуетъ риторическая настроенность. Она почиталась вполнѣ умѣстною по важности излагаемаго предмета. Эта риторическая стихія у Карамзина не превышаетъ мѣры, установленной его тактомъ, и потому она не одно и тоже съ высокопарнымъ, напыщеннымъ тономъ. Если можно сказать, что изложеніе выиграло бы отъ простоты и естественности, то, съ другой стороны, нельзя не видѣть, что оно нерѣдко восходитъ на степень одушевленнаго краснорѣчія. Въ особенности это ясно при рассказѣ о тѣхъ событіяхъ, въ которыхъ идеалы, дорогіе историкѣ,

¹⁾ Державный промѣсъ; Москвитяне не дали бы *рызати* себя какъ агнцевъ; *присерженники* Разстригина.

²⁾ Примѣры апофегмъ: Судьба испытываетъ людей и государства многими неудачами на пути къ великой цѣли, и мы заслуживаемъ счастье мужественною твердостью въ превратностяхъ онаго. — Характеры сильные требуютъ сильнаго потрясенія, чтобы свергнуть съ себя иго злыхъ страстей и съ живою ревностію устремиться на путь добродѣтели. — Всякое бореніе слабого съ сильнымъ, возбуждая въ сердцахъ естественную жалость, склоняетъ насъ искать справедливости на сторонѣ перваго. — Страсти врѣжутъ вмѣстѣ съ умомъ, и самолюбіе дѣйствуетъ еще сильнѣе въ лѣтахъ совершенныхъ. — Какъ любовь, такъ и ненависть рѣдко бывають довольны истинною: первая въ хвалѣ, послѣдняя въ осужденіи.

заявляютъ свое торжество или терпятъ оскорбленіе, а также и тамъ, гдѣ патриотическое его чувство изливается живой, сильной струей, возбуждая гордость Русскихъ. Карамзинъ понималъ важность исторіи, какъ средства, ведущаго къ народному самопознанію. Любовь къ родной странѣ для него немислима при незнаніи ея прошедшаго: «исторія предковъ любопытна для того, кто достоинъ имѣть отечество; государственная нравственность ставить уваженіе къ нимъ въ достоинство гражданину образованному». Допуская, что дѣянія грековъ и римлянъ важнѣе и любопытнѣе русскихъ, онъ выставляетъ особенный интересъ отечественной исторіи: «всемирная исторія великими воспоминаніями украшаетъ міръ для ума, а российская украшаетъ отечество, гдѣ живемъ и дѣйствуемъ.... Чувство: *мы, наше*, оживляетъ повѣствованіе, и какъ грубое пристрастіе несносно въ исторіяхъ, такъ любовь къ отечеству даетъ его кисти жаръ, силу, прелесть. Гдѣ нѣтъ любви, нѣтъ и души». Это одушевленіе, внушаемое любовью, порождаетъ истинно-патетическія мѣста, однимъ изъ которыхъ заключается предисловіе: «мы одно любимъ, одного желаемъ: любимъ отечество; желаемъ ему благоденствія еще болѣе, нежели славы; желаемъ, да не измѣнится никогда твердое основаніе нашего величія; да правила мудраго самодержавія и святой вѣры болѣе и болѣе укрѣпляютъ союзъ частей; да цвѣтетъ Россія.... но крайней мѣрѣ долго, долго, если на землѣ нѣтъ ничего безсмертнаго, кромѣ души человѣческой».

Кромѣ «Записки о древней и новой Россіи», написанной въ то время, когда Карамзинъ работалъ надъ своей исторіей, ему принадлежатъ также «Письмо о Польшѣ», читанное Императору Александру I. Оно относится къ 1819 г. и было выдано намѣреніемъ государя возстановить Польшу въ цѣлости, т. е. въ предѣлахъ до перваго ея раздѣла. Это не первый мемуаръ о томъ же предметѣ. Въ эпоху Вѣнскаго конгресса, баронъ Штейнъ и извѣстный дипломатъ Поинцо-ди-Борго высказали государю свои мнѣнія касательно организаціи герцогства Варшавскаго, присоединеннаго къ Россіи. Въ «Запискѣ» послѣдняго, съ точки зрѣнія государственной, разсматривается намѣреніе образовать изъ герцогства Польское королевство, подъ непосредственнымъ и верховнымъ владѣтельствомъ Русскаго царя, но отдѣльно отъ имперіи и съ представительнымъ правленіемъ. Выходя изъ того начала, что каждая политическая реформа тогда только благоуспѣшна, когда согласована съ характеромъ народа, для котораго она назначается, съ его настоящими обстоятельствами и съ духомъ времени, «Записка» не одобряетъ намѣренія. Устройство Польши, въ предполагавшейся формѣ, было

бы, по убѣжденію автора, противно существеннымъ интересамъ Россіи, постоянной угрозой ея спокойствію и безопасности. Между бумагами Потемкинскаго секретаря, В. С. Попова, находятся двѣ записки о Польшѣ (1815): первая изъ нихъ вызвана нѣкоторыми мѣрами въ западныхъ и югозападныхъ губерніяхъ, представлявшими уклоненіе отъ политическихъ видовъ Екатерины II (наприм.: введеніемъ судопроизводства и преподаванія наукъ на польскомъ языкѣ) (1).

«Письмо» Карамзина явилось по иному случаю: оно имѣетъ цѣлю отклонить Александра I отъ намѣренія «возстановить Польшу въ ея цѣлости». Доводы свои почерпаетъ онъ въ правилахъ исторической, національной политики, единственно полезной для государства. Онъ мужественно высказываетъ мысль, что всецѣлое возстановленіе древняго королевства польскаго несогласно ни съ законами государственнаго блага, ни съ священными обязанностями царя, ни съ его любовію къ Россіи и къ самой справедливости. «Старыхъ крѣпостей нѣтъ въ политикѣ (говоритъ онъ): иначе мы должны были бы возстановить и казанское, астраханское царство, новгородскую республику, великое княжество рязанское, и такъ далѣе. Къ тому же и по старымъ крѣпостямъ Бѣлоруссія, Волнія, Подоля, вмѣстѣ съ Галиціею, были нѣкогда кореннымъ достояніемъ Россіи. Если Вы отдадите ихъ, то у Васъ потребуютъ и Киева, и Чернигова, и Смоленска: ибо они также долго принадлежали враждебной Литвѣ. Или все, или ничего.... Однимъ словомъ, возстановленіе Польши будетъ паденіемъ Россіи, или сыновья наши обогрѣютъ своею кровію землю польскую и снова возьмутъ штурмомъ Прагу» (2). Въ заключеніе Карамзинъ указываетъ Императору на высокое его призваніе—«утвердить миръ въ Европѣ и благоустройство въ Россіи: первый безкорыстнымъ, великодушнымъ посредничествомъ; второе хорошими законами и еще лучшею управою». Въ содержаніи «Письма» собственно нѣтъ ничего таково, что не было бы высказано предшествовавшими ему «Записками»; но оно отличается прекрасной литературной формой и тѣмъ патріотическимъ одушевленіемъ, которое одно только способно внушать человѣку гражданскіе подвиги. Поэтому Карамзинъ справедливо озаглавилъ письмо «Мнѣніемъ русскаго гражданина».

§ 9. Какъ сильный талантъ, Карамзинъ нашелъ себѣ многихъ подражателей, которые, имѣя его во главѣ, образовали особую литературную школу. Направленіе, данное имъ языку и содержа-

1) Рус. Архивъ, 1865, № 2.

2) Невз. соч. К—на, ч. I.

нію словесности, усвоилось, съ большимъ или меньшимъ искусствомъ, въ тѣхъ или другихъ родахъ сочиненій, каждымъ членомъ школы. Съ именемъ «карамзинистъ» соединялось понятіе о такомъ писателѣ, произведенія котораго представляли характеристическія отличія образа, и внѣшнія, и внутреннія.

Внѣшнее усваивается легче, нежели внутреннее, и потому карамзинскій языкъ сдѣлался первымъ предметомъ подражанія. Въ короткое время нашлись и достойныя его явленія, и безжизненныя, механическія подѣ него поддѣлки. Укажемъ лучшіе примѣры подражательной ему дѣятельности.

Первое, по времени, мѣсто въ Карамзинской школѣ безспорно принадлежитъ И. Дмитріеву (1760—1837). Заслуга его касательно литературнаго языка и слога опредѣлена современною ему критикою слѣдующимъ образомъ: Карамзинъ далъ образцы, какъ должно писать *въ прозѣ*; Дмитріевъ далъ образцы, какъ должно писать *въ стихахъ* ⁽¹⁾. Другими словами: чтó сдѣлалъ Карамзинъ для образованія прозаическаго языка, то самое сдѣлалъ Дмитріевъ для образованія языка стихотворнаго. Дѣло Карамзина намъ извѣстно: онъ сблизилъ книжную прозу съ разговорнымъ языкомъ общества. Дмитріевъ воспользовался этимъ началомъ для того, чтобы сообщить стихотворной рѣчи ясность, легкость, непринужденное словопостроеніе и пріятность. И потому-то имена обоихъ писателей постоянно ставились рядомъ, какъ образователей литературнаго языка нашего: одного въ прозѣ, другаго въ стихахъ. Это образованіе стихотворной рѣчи, вызванное примѣромъ Карамзина ⁽²⁾, соответствовало какъ свойству французскаго языка, съ котораго переводилъ Дмитріевъ, такъ и роду сочиненій, которыя онъ переводилъ. Французскій языкъ давно привыкъ «къ почтовой прозѣ». Литературнымъ своимъ развитіемъ онъ одолженъ не одному трудолюбію авторовъ, но и успѣхамъ общегитія. Искусство писать вырабатывалось у французовъ вмѣстѣ съ искусствомъ вести бесѣду. Переводилъ же и сочинялъ Дмитріевъ преимущественно басни, сказки, сатиры, эпиграммы и разныя мелкія піесы (*poésies fu-*

¹⁾ Слова А. Измайлова въ извѣщеніи о 5-мъ изд. Сочиненій И. Дмитріева (Благонамѣренный 1819, № 3). Они повторены и позднѣйшемъ критикомъ: см. Мелочіи изъ запаса моей памяти, М. Дмитріева.

²⁾ Самъ И. Дмитріевъ признавалъ Карамзина своимъ образцомъ: «Съ того только времени я почувствовалъ, что такое талантъ и авторское искусство, когда пріобрѣлъ уже, въ зрѣлой молодости, пріязнь Державина и утвердилъ дружбу съ Карамзинимъ» (предисловіе къ 6-му изд. его стихотвореній, 1828). «Кажется мнѣ суждено было тогда только воспламеняться поэзіей, когда Карамзинъ издавалъ журналы» (Записки И. Дмитріева).

gitives); а содержаніе такихъ сочиненій выражается легкимъ, свободнымъ, подходящимъ къ разговорному языку стихомъ. Вотъ почему критики десятихъ и двадцатыхъ годовъ совѣтовали тому, кто желаетъ писать гимны, оды, диониримбы, учиться у лириковъ (Ломоносова, Петрова, Державина) краткости, силѣ и смѣлости выраженій; тому же, кто чувствуетъ въ себѣ талантъ и склонность сочинять комедіи, посланія, сатиры, элегии, сказки, дидактическія, описательныя и романтическія поэмы, мадригалы, эпиграммы, требующія иного языка, иныхъ качествъ въ слогѣ, они рекомендовали Дмитріева, какъ надежнѣйшаго руководителя ⁽¹⁾.

Стихотворенія самого Карамзина, если разсматривать въ нихъ только складъ рѣчи, не отличаются отъ стихотвореній Дмитріева. Подъ вліяніемъ тѣхъ и другихъ мало по малу сложился у насъ легкій стихъ, приличный извѣстному разряду поэтическихъ сочиненій. Успѣшному его развитію благопріятствовала перемѣна во вкусѣ писателей: ода склонялась къ упадку; посланіе сдѣлалось моднымъ родомъ стихотворства, представляя удобнѣйшую форму для выраженія мыслей. Но посланію, какъ нисѣму въ стихахъ, наравнѣ съ обыкновенными письмами свойственъ такъ называемый эпистолярный стиль, главныя отличія котораго—простота и непринужденность. Большинство талантливыхъ стихотворцевъ двадцатыхъ годовъ, по строенію своей рѣчи, суть послѣдователи Карамзина и Дмитріева. Одни изъ нихъ начали подражать своимъ образцамъ раньше, другіе позднѣе; но всѣ шли одною и тою же дорогою, проложенною первоначальниками реформы.

Еще больше было подражателей-прозаиковъ, потому что легче ладить съ прозой, чѣмъ съ стихами, строеніе которыхъ стѣснено условіями мѣры и рими. За Карамзинимъ слѣдовали охотно не изъ одного увлеченія его талантомъ, но и по сознанію въ правотѣ его дѣла, объясняемаго потребностями времени. Какъ Шишковъ въ новомъ слогѣ видѣлъ ближайшее слѣдствіе испорченныхъ нравовъ, такъ литераторы противоположнаго направленія связывали появленіе того же слога съ успѣхами образованности. По поводу перваго изданія сочиненій Карамзина (1803—1804), одинъ изъ тогдашнихъ журналистовъ ⁽²⁾ оцѣнилъ его заслугу такимъ образомъ: «Обстоятельства эпохи, въ которую явился Карамзинъ, довели общества въ Петербургѣ и Москвѣ до утонченія идей, искусствъ и образа жизни. Недоставало только языка, ближайшаго

¹⁾ См. извѣщеніе Воейкова «о новомъ (6-мъ) изд. стихотвореній Дмитріева» (Новости литературы 1824, №№ 3 и 4).

²⁾ В. Измайловъ, въ Патріотѣ, журналѣ воспитанія (1804, № 9).

къ тону разговора и общества, къ новымъ понятіямъ вѣка, къ новой вѣжливости нравовъ, котораго легкая пріятность могла бы побѣдить въ свѣтскихъ людяхъ, а особливо въ женщинахъ, непростительное предубѣжденіе противъ языка русскаго, который, наконецъ, могъ бы усвоить себѣ достоинства лучшихъ языковъ въ Европѣ. Карамзинъ далъ языку новое направление и сблизилъ его съ другими чистѣйшими языками европейскими». Критическій отзывъ заключается дѣльной замѣткой о взаимодѣйствіи общества и автора: «такимъ образомъ духъ вѣка и народа имѣетъ, въ началѣ, столько же вліянія на характеръ писателя, сколько писатель въ послѣдствіи и въ свою очередь пріобрѣтаетъ вліянія на духъ и языкъ народа». Этотъ ближайшій къ состоянію общества и тону разговора языкъ, созданный Карамзинымъ, вскорѣ сдѣлался достояніемъ многихъ писателей. Не прошло и двадцати лѣтъ отъ появленія перваго его напечатаннаго (Писемъ русскаго путешественника въ Московскомъ журналѣ), какъ онъ уже водворился въ нашей словесности. Всѣ болѣе или менѣе видные литераторы эпохи Александра I образовали искусство выражать свои мысли по сочиненіямъ Карамзина, относящимся еще къ первому періоду его дѣятельности (1791—1803). Дашковъ, П. Макаровъ, Каменевъ, Подшиваловъ, В. Пушкинъ, Бенитцкій, В. Измайловъ, А. Измайловъ, Каченовскій, В. Панаевъ, Милоновъ, Воейковъ, Озеровъ, Жуковскій, Батюшковъ, кн. Вяземскій.... все это ученики одного и того же учителя, сторонники и двигатели совершеннаго имъ преобразованія. Выходъ въ свѣтъ «Исторіи Государства Россійскаго» окончательно и надолго утвердилъ за карамзинскимъ слогаъ право быть исключительнымъ образцомъ для всякаго, кто принимался за перо. И. А. Крыловъ составлялъ исключеніе: поэтический языкъ его не могъ вполне освободиться отъ нѣкоторой шероховатости, усвоить себѣ легкость и гладкость, выработанныя писателями Карамзинскаго періода.

Этотъ Карамзинскій языкъ не всѣми, однако-жъ, признавался, образцовымъ, т. е. такимъ, который отвѣчалъ бы складу истиннорусской рѣчи. Кромѣ Шишкова и его партіи, были лица, извѣстные въ литературѣ, не находившія въ новомъ слогаъ достаточной мужественности и силы. Въ «Разсужденіи о причинахъ, замедляющихъ успѣхи нашей словесности (1814)», Гнѣдича, Карамзинъ хотя и удостоенъ похвального отзыва, но легкаго, произнесеннаго какъ бы мимоходомъ и противъ воли; ему не дано мѣста между прославленными Державинными и Дмитріевыми, Озеровыми и Капнистами; онъ не считается образователемъ желаннаго средняго (между

высокимъ и пріятнымъ) слога, ибо «образцы сего слога имѣемъ мы въ стихотвореніяхъ Ломоносова, Державина и еще нѣкоторыхъ высшаго рода поэтовъ, но въ прозѣ, хотя многіе писатели отъ временъ Ломоносова и до нашихъ его избирали, образцевъ не умѣли еще оставить» (1). Въ статьѣ: «Взглядъ на нынѣшнее состояніе нашей словесности» (2), литераторы наши раздѣлены на три категоріи: къ первой отнесены славянолюбцы, шедшіе за Шишковымъ; ко второй Карамзинисты, подражавшіе легкому слогу Карамзина; къ третьей образованные люди, безъ особаго представителя въ родѣ Шишкова или Карамзина, но съ своимъ уложеніемъ правилъ здраваго вкуса, основанныхъ на примѣрахъ древности и новѣйшихъ временъ. Послѣдніе названы «истинными русскими литераторами». Начальникомъ ихъ авторъ желалъ бы видѣть лице, подобное М. Н. Муравьеву, который пріятностямъ своего языка учился изъ классической литературы другихъ народовъ. Короче, Муравьевъ предпочтенъ Карамзину не только за преданность классицизму, но даже за слогъ свой.

Вторымъ предметомъ подражанія Карамзину служилъ сентиментальный тонъ его сочиненій. Современники почитали его преобразователемъ не только литературнаго языка, но и направленія литературы. Его имя, какъ начальника новаго періода, ставилось въ слѣдъ за именемъ Ломоносова, главнаго дѣятеля въ періодъ предшествовавшемъ. Журнальная критика указывала и различіе между ними: «послѣ Ломоносова граціи сказали: пусть теперь въ твореніяхъ русскихъ улыбается нѣжность и прольется въ сердца чувствительныхъ» (3). Значить, русскимъ авторамъ Ломоносовской школы, показавшимъ примѣры высокаго и торжественнаго, не доставало пріятности, нѣжности, чувствительности, очередь которыхъ наступила съ Карамзина. По обычаю величать отечественныхъ писателей именами древнихъ или новыхъ знаменитостей, которыми они подражали, Карамзина приравнивали то Стерну, то Мармонтелю, то обоимъ вмѣстѣ. «Письма русскаго путешественника» и «Бѣдная Лиза» были первыми явленіями литературнаго сентиментализма Карамзина: и первыми же опытами подражательнаго авторства естественно должныствовали быть путешествія и повѣсти. «Путешествіе въ полуденную Россію» (1800—1802) сохранило да-

1) Понятно, что Карамзинъ слышалъ въ «Разсужденіи» голосъ челоуѣка, нерасположеннаго къ его стилистической реформѣ (см. въ Письмахъ Карамзина къ Дмитріеву, письмо 171 и примѣчаніе къ нему).

2) Опыты въ прозѣ, Разумника Гонорскаго (1818), одного изъ издателей Украинскаго Вѣстника съ 1816 по 1818 г.

3) С.-Петербургскій журналъ (1798, май).

же форму своего образца: оно рассказано въ письмахъ. Сочинитель его, Владиміръ Измайловъ (1773—1830), одинъ изъ самыхъ искреннихъ и стойкихъ карамзинистовъ, почти вовсе не думалъ знакомить своего читателя съ предметами, которые встрѣчались ему на пути: главнѣйшимъ образомъ заботился онъ о передачѣ ему впечатлѣній, возбуждаемыхъ предметами, важными и неважными. Все его вниманіе устремлено было на то, чтобы дорогою скопить запасъ пріятныхъ и живыхъ ощущеній, которыя на вѣки сохранились бы въ его памяти. Не даромъ выбралъ онъ эпиграфъ въ «Писемъ объ Италіи,» Дюпати: «нѣкоторые путешественники привозятъ изъ чужихъ странъ статуи, медали, произведенія природы; я же возвращаюсь съ идеями и чувствами». Но, не имѣя дарованій своихъ образцовъ (Карамзина и Дюпати), Измайловъ не могъ, подобно имъ, заинтересовать публику: описаніе достопримѣчательностей вышло у него скуднымъ, нехарактеристичнымъ, лиризмъ вертится на приторной чувствительности и безпричинной меланхоли, въ слогѣ нѣтъ самобытности и силы, хотя онъ и не лишенъ пріятной легкости, заученной у Карамзина. Если книга В. Измайлова страдает отсутствіемъ положительнаго содержанія, то два путешествія князя Шаликова (1768—1852) въ Малороссію (одно 1803 и другое 1804) довели сентиментализмъ до комическаго преувеличенія. Въ нихъ совершенно стерты особенности страны и людей, съ которыми авторъ знакомился. Передъ глазами чувствительнаго путешественника исчезаютъ не только образы, но даже имена предметовъ: подумаешь, что города, села, жители, деревня, цѣлы не имѣютъ названій и обречены на безличное, мечтательное существованіе. Пусть для него, какъ и для В. Измайлова, были важны не люди и вещи, а воспринятія отъ нихъ впечатлѣнія, которыми онъ хотѣлъ дѣлиться съ читателемъ: дѣло въ томъ, что эти впечатлѣнія безхарактерны, что они имѣютъ значеніе общихъ мѣстъ, и потому могутъ быть выражаемы по поводу любого предмета. Вѣстникъ Европы остроумно замѣтилъ объ одной статьѣ въ первомъ путешествіи князя Шаликова: «иной, прочитавъ эту статью, скажетъ: поѣду въ Малороссію! А я скажу: не ѣздите; на дѣвичьемъ полѣ (въ Москвѣ) можете увидать тоже самое». Наши чувствительные путешественники, почерпавшіе свой матеріалъ у Карамзина и Дюпати, увлекались еще Верномъ (Vernes de Cènevè), который прославился двумя путешествіями⁽¹⁾ и слылъ между фран-

⁽¹⁾ Le voyageur sentimental, ou ma promenade à Jverdu и Le vogageur sentimental en France sous Robespierre.

пузами за новаго Стерна. О тонѣ «Прогулки въ Ивердонъ» можно судить по ея эпиграфу:

Une larme du sentiment,
Quelle plus douce récompense!

Содержаніе же ея объяснено самимъ авторомъ: «ученія путешествія не мой родъ; оттѣнокъ чувства поражаетъ и привлекаетъ меня болѣе, чѣмъ пантеоны и Траяновы столбы». Въ послѣдней главѣ онъ обращается къ читателю: «прости мнѣ, если я изображаю болѣе чувствованія, нежели мѣста, если не описываю памятниковъ, любопытныхъ предметовъ, рѣдкостей. Когда холодъ лѣтъ или болѣе глубокое знаніе людей уменьшить мою чувствительность, тогда я начну говорить о томъ, что *видѣлъ*; теперь же говорю о томъ, что *чувствую*». Рѣчь автора живая и бойкая; выраженіе чувствъ идетъ рядомъ съ легкимъ юморомъ, иногда заканчиваясь иронической выходкой. Второе путешествіе болѣе серьезнаго тона. Вернь оставилъ Парижъ въ эпоху террора, чтобы не слышать «стонать, выходявшихъ изъ тѣхъ заклеповъ, гдѣ тираннія стерегла свои жертвы». Грозныя событія девяностыхъ годовъ, при господствѣ Робеспьера, когда несогласіе въ мнѣніяхъ наказывалось конфискаціею имущества, заключеніемъ въ темницу и смертью, когда одна политическая партія возводила на эшафотъ другую, отразились въ содержаніи и направленіи книги. Тема ея объяснена въ предисловіи: «Такъ какъ мнѣнія выказываютъ слабость и несовершенство нашего ума, то я стараюсь доказать, что добрыя и благородныя чувства сердца должны господствовать надъ мнѣніями, должны быть выслушиваемы какъ единственный голосъ, не обманывающій человечества, какъ единственный законъ, на которомъ природа основываетъ счастье своихъ тварей. Послѣ злополучныхъ и кровавыхъ дней, пережитыхъ нами; послѣ того, какъ мы видѣли человеческую природу, обезображенную звѣрскими страстями, оскверненную всѣми пороками, чувствуешь потребность успокоить душу созерцаніемъ этой природы въ ея первобытной красотѣ, въ сіяніи простыхъ добродѣтелей и слѣдующаго за ними счастья, въ томъ идеальномъ образцѣ, въ какомъ она должна была существовать по волѣ Творца». Вернь не довѣряетъ уму, который надѣлалъ столько зла на свѣтѣ; въ непосредственномъ чувствѣ находитъ онъ неизмѣннаго себѣ наставника: «Великій Боже, я не отвергну свѣта, исходящаго отъ людей, но буду искать его не столько въ нихъ, сколько въ инстинктѣ, вложенномъ Тобою въ мое сердце; съ этого времени, онъ будетъ моимъ вожааемъ и не введетъ меня въ заблужденія, если, памятуя Твои совершенства, стану подражать

Тебѣ въ любви къ тварямъ». Исповѣдью автора опредѣляется и содержаніе его путевыхъ записокъ: «Доброе сердце необходимѣ великихъ знаній; пускай же не ожидаютъ отъ меня поученій или описаній, представляемыхъ большинствомъ путешествій: первое и самое важное поученіе—люби своихъ ближнихъ». Вотъ съ какими мыслями и побужденіями принялся французскій путешественникъ за перо. Поклонникъ Руссо, онъ хотѣлъ совершать неиспорченную природу, которой не найдешь въ столицѣ; искренній деистъ, онъ цѣнилъ лишь то, что Богъ напечатлѣлъ въ сердцахъ всѣхъ людей; человѣкъ чувствительный, видѣвшій въ добродѣтели наилучшее доказательство своего божественнаго происхожденія, онъ бѣжалъ отъ зрѣлища преслѣдованій и казней, которыя совершались во имя разума.

Сентиментальные путешественники очень скоро сдѣлались предметомъ сатиры, имѣющей право смѣяться надъ всѣмъ, что дѣйствительно смѣшно. Въ переводной повѣсти: «Любовники, соперники въ авторствѣ» ⁽¹⁾, даются слѣдующіе совѣты, какъ писать путешествія: «Нынѣ не дѣлаютъ болѣе описанія городовъ, памятниковъ, славныхъ картинъ и проч., но должно, чтобъ путешественникъ никогда не проѣзжалъ мимо какой-нибудь развалины или могилы, не дѣлая меланхолическихъ разсужденій о бренности земныхъ великостей и жизни. Въ каждомъ лѣсу надобно ему чувствовать священный ужасъ, на каждой горѣ приходитъ въ восторгъ, а на холмахъ и долинахъ вспоминать о юности своей, если ему за сорокъ лѣтъ, или о любовницѣ, когда ему не болѣе тридцати. Каждое утро онъ обязанъ восхищаться восхожденіемъ солнца и всякій вечеръ при закатѣ онаго плакать или по крайней мѣрѣ тяжело вздыхать. Онъ не описываетъ ни нравовъ, ни обычаевъ, но строжайшій даетъ отчетъ во всѣхъ своихъ чувствахъ и даже въ нагнѣншихъ ощущеніяхъ». Авторъ стихотворенія: «Чудеса» ⁽²⁾ удивляется охотѣ русскихъ искать за моремъ того, что они легко находятъ у себя дома:

Видалъ я чудаконъ, которые ѣзжали
За тридевять земель
Смотрѣть, какъ солнышко заморское садится,
Иль слушать, какъ шумитъ заморскій вѣтеронъ,
Иль любоваться, какъ заморскій ручеекъ
По камнямъ и песку заморскимъ же струится.
Какъ будто на Руси не стало ручейковъ?
Иль будто вѣтеронъ шумѣтъ у насъ не смѣетъ
И солнце русское садиться не умѣетъ?

¹⁾ Журналъ пріятнаго, любопытнаго и забавнаго чтенія, изд. П. Сумарокова, ч. I (1862).

²⁾ В. Евр. 1864, № 20.

Остроумная комедія князя А. Шаховскаго: «Новый Стернь» имѣла два изданія (1807 и 1822) и часто игралась на сценѣ. Главныя въ ней лица: графъ Пронской и его слуга Ипатъ, соответствуютъ Донъ-Кихоту и Санчо-Пансѣ въ томъ смыслѣ, что мечтателю барина постоянно разрушаются здравомысліемъ слуги. Хотя въ Пронскомъ комикъ представилъ то самое лицо, о которомъ говоритъ сатира кн. Вяземскаго «Къ перу моему»:

Хочу ли намекнуть объ авторѣ смѣшномъ?
Вздыхалось, какъ живой, на остріѣ твоемъ;

однакожъ піеса причтена была въ обиду не ему одному, но и родоначальнику нашихъ сентиментальныхъ путешественниковъ, чѣмъ и возбудила противъ себя негодованіе читателей Карамзина. Въ одной изъ сатиръ своихъ (Посланіе къ кн. С. И. Долгорукову), кн. Горчаковъ такъ изображаетъ состояніе русской словесности, воздѣлываемой Карамзинистами:

Въ ней модныхъ авторовъ французско-русскій лизъ
Стремится исказить отеческій языкъ.
Одинъ въ ней слѣдуетъ жеманну Дюпати,
Другой съ собакою вступаетъ въ симпати;
Тамъ воздыхающій, плаксивый Мирлифлёръ
Гордится, выпустя сентиментальный вздоръ;
А сей, вообрази, что онъ російскій Стернь,
Жемчужну льетъ слезу на шелковистый дернь.

Другой сатирикъ, кн. И. Долгорукій, строже отнесся къ сентиментализму, въ которомъ онъ видѣлъ напускную болѣзнь и который раздражалъ его, какъ несносная аффектація, предпочитавшаяся столько-же естественному чувству, сколько и трезвому пониманію жизни.»

Да будетъ проклятъ тотъ безмозглый книгъ писецъ,
Кто первый въ кровь пустилъ ядъ осы лжеморальной
И, разумъ помутивъ, направилъ путь сердецъ
Къ той жизни, кою мы зовемъ сентиментальной.

Еще больше было подражаній «Бѣдной Лизѣ», отдѣльно изданныхъ или вошедшихъ въ журналы. Исчислимъ нѣкоторые по порядку ихъ появленія: «Бѣдная Маша», А. Измайлова (1801); «Оболенная Генріетта, или торжество обмана надъ слабостію и заблужденіемъ, истинная повѣсть», Ивана Свѣчинскаго (1801); «Несчастная Маргарита, истинная російская повѣсть» (1803); «Прекрасная Татьяна, живущая у подошвы Воробьевыхъ горъ»; «Исторія бѣдной Марьи»; «Инна», Каменева; «Марьяна роща», Жуковскаго (1809). Сочиненіе А. Измайлова выходитъ изъ круга

собственно такъ называемыхъ сентиментальныхъ повѣстей своею мелодраматической развязкой и сценами простаго быта, изображеніе которыхъ было свойственно автору «Евгенія или пагубныхъ слѣдствій заблужденія» и которыя поэтому вышли лучшія. Повѣсть Каменева, написанная лирической прозой, оканчивается также трагической катастрофой. «Марына роца» по всѣмъ отношеніямъ выше прочихъ подражаній «Бѣдной Лизѣ», обнаруживая, кромѣ чувствительности, новую стихію — романтическій идеализмъ, нашедшій потомъ столь обильное и столь прекрасное выраженіе въ поэзіи Жуковскаго.

Путешествіями и извѣстіями не ограничивалось сентиментальное направленіе: оно охватывало всѣ роды прозы и поэзіи; безъ приправы имъ не обходились ни быль, ни сказка. Мода выказывала въ этомъ случаѣ такое же дѣйствіе, какъ и всегда: «сначала громкія у насъ *треньки оды*», потомъ мы начали *ахать*. Аханье, вздохи и слезы сдѣлались эпидемической болѣзнью. Отъ подражаній Ломоносову и Державину перешли къ подражаніямъ Карамзину и Дмитріеву. Твердя одно и то же, болѣе и болѣе довольствуясь одними словами, болѣе и болѣе освобождаясь отъ всякаго содержанія, сентиментальная литература стала, наконецъ, причудливой, комической игрой въ чувствованія и ощущенія, столько же легкимъ, сколько и пустымъ проведеніемъ времени, которое слѣдовало бы употребить на что-нибудь другое, и потому не могла долѣе существовать. Извѣщая о представленіи «Новаго Стерна» на московской сценѣ, Вѣстникъ Европы радуется прекращенію сентиментальной заразы ⁽¹⁾. Правда, насмѣшки надъ чувствительными авторами продолжались и въ двадцатыхъ годахъ, но онѣ были предметомъ не повсемѣстное господство направленія, а только отдѣльные его факты или лучше двѣ-три личности запоздалыхъ служителей сентиментализма — кн. Шаликова и Иванчина-Писарева. Ихъ называли послѣдними карамзинистами въ томъ смыслѣ, что они искренно и усердно держались на томъ самомъ мѣстѣ, на которомъ Карамзинъ поставилъ словесность «Письмами русскаго путешественника» и «Бѣдной Лизой» ⁽²⁾.

Вліяніе Карамзина на молодыхъ литераторовъ, переступавшее въ фанатическое, часто смѣшное преклоненіе предъ нимъ у В. Измайлова, кн. Шаликова и Иванчина-Писарева, объясняется, конечно, не однимъ пристрастіемъ къ новому слогу, или къ сенти-

¹⁾ 1811 № 1 и 1812 № 18.

²⁾ Въ Литературномъ Музеумѣ на 1827 (издатель В. Измайловъ) нап. рѣчь въ память исторіографа, Иванчина-Писарева, который также издалъ «Духъ Карамзина, или избранныя мысли и чувствованія сего писателя» (1827).

ментализму ихъ бумира, а болѣе сильной и достойной уваженія причиною. Не на нихъ только Карамзинъ дѣйствовалъ такъ возбуждительно, а на всѣхъ читателей развитыхъ или, по крайней мѣрѣ, способныхъ къ развитію, и дѣйствовалъ потому, что его сочиненія служили органомъ обще-европейскихъ идей, съ цѣлію распространить ихъ среди общества, еще мало цивилизованнаго, привить ихъ къ нашей нравственной жизни; что эти сочиненія имѣли воспитательное значеніе, смягчая жесткіе, грубые нравы и такимъ образомъ способствуя нашему гуманно-духовному развитію. Карамзинъ, по справедливости, можетъ быть названъ первымъ русскимъ европейцемъ. Въ своихъ Письмахъ онъ знакомилъ соотечественниковъ со всѣмъ добрымъ, изящнымъ и великимъ, что выработалось обще-европейскою жизнію; своими сентитентальными повѣстями, стихотвореніями и многими прозаическими статьями показавъ возможность и цѣну жизни внутреннимъ чувствомъ, а не ощущеніями грубаго, стихійнаго инстинкта, не вѣдающаго различія между жизнію человѣческою и жизнію чисто-животною.

Со времени Карамзина, замѣтимъ между прочимъ, литераторы наши при своемъ авторствѣ имѣютъ въ виду и дамъ; въ пользу или удовольствіе ихъ издаются особые журналы; сами онѣ нерѣдко принимаются за перо. Конечно, не въ сочиненіяхъ, изданныхъ для прекраснаго пола, равно какъ и не въ его собственныхъ литературныхъ произведеніяхъ, заключалось главное дѣло. Значеніе того и другаго не важно; важно побужденіе къ дѣятельности. Она была вызвана болѣе просвѣщеннымъ взглядомъ, на взаимныя отношенія мужчимъ и женщинамъ, на мѣсто, которое послѣднія должны занимать въ обществѣ, на участіе, которое онѣ могутъ и обязаны принимать въ общемъ стремленіи къ образованности. Такъ называемое «служеніе граціямъ», выражавшееся нерѣдко въ комическихъ формахъ, обнаруживало добрые знаки: отмычку отъ грубаго образа жизни, наклонность къ вѣжливости, которую Карамзинъ называлъ «добродѣтелью общежитія и слѣдствіемъ утонченнаго человѣколюбія», не осуждающаго цѣлую половину человѣческаго рода на пассивное существованіе, не замыкающее для нея входовъ въ область литературы и науки. Издатель «Московского Меркурія» отличался самымъ ревностнымъ почтеніемъ къ прекрасному полу, которое объясняется не однимъ его темпераментомъ, но и образомъ мыслей. За женщинами признавалъ онъ полное право не только на занятія литературой, но и на высшее просвѣщеніе. Онъ не понимаетъ, какимъ несчастіемъ мы, подражатели французовъ, не переняли у нихъ одного, самаго полезнаго обычая: «Француженки девятаго-на-десять вѣка посѣщаютъ лицей,

смотреть музеумы, слушаютъ профессоровъ, читають, переводять и сами сочиняють. У насъ нѣтъ ни лицеевъ, ни дружескихъ ученыхъ собраній; но все это было бы, если бы женщины захотѣли.... Кто не жаляетъ женщинамъ просвѣщенія, тотъ врагъ ихъ, тотъ хочетъ удержать себѣ право сказать нѣкогда женѣ своей (въ которой онъ искалъ ключницу или няньку): я тебя умнѣе!... И почему не быть женщинѣ столько же ученою, сколько и мужчиной? Способности ея превосходятъ нашихъ и требуютъ только развитія... Женщины всегда были и будутъ первою (хоть иногда невидимою) пружиною человѣческихъ дѣяній, причиною всего изящнаго и великаго».

Филантропія послѣдователей Карамзина выражалась въ отношеніи не къ женщинамъ только, но и къ общественнымъ состояніямъ людей, о чемъ мы уже упомянули, говоря о Вѣдной Лизѣ. Съ этой точки зрѣнія не лишена интереса молемина по поводу «Новаго Стерна», хотя она и отзывается отроческимъ пафосомъ. Противники комедіи кн. Шаховскаго отстаивали сентиментализмъ во имя гуманныхъ началъ. Такъ какъ она осмѣиваетъ главное дѣйствующее лицо, графа Пронскаго, за то, что онъ нигдѣ не служить, плачетъ надъ могилою собачки и хочетъ жениться на крестьянкѣ; то письмо къ издателю «Журнала Россійской Словесности» ⁽¹⁾ и касается этихъ трехъ предметовъ, доказывая, что не одной службой можно приносить пользу отечеству, что человѣку все сотворенное не должно быть чуждо, и что дворянину, хотя бы онъ былъ и графъ, не предосудительно жениться на бѣдной, но доброй крестьянкѣ: «кто унижаетъ права человѣчества, тотъ первого унижаетъ себя; благодѣтельная природа равно смотритъ какъ на вельможу, такъ и на дворянина». Издатель «Московского Зрителя» получилъ также «письмо сельскаго жителя» ⁽²⁾, содержащее въ себѣ жалобу на обычай провинціальныхъ дворянъ жениться на бывшихъ своихъ челядинкахъ и наемницахъ. Иначе смотритъ на этотъ обычай авторъ «размышленія о письмѣ» ⁽³⁾, заставившемъ его «скорбѣть за челоуѣчество». «Въ началѣ 19-го столѣтія (говоритъ онъ), въ странѣ, отличающейся успѣхами въ наукахъ и искусствахъ, въ государствѣ, славящемся просвѣщеніемъ своимъ, — въ Россіи явился ревностный защитникъ добронравія, вопіющій противу ослабленія благовоспитанныхъ людей, возлагающихъ на себя кѣпи Гименея съ невоспитанными женщинами.

¹⁾ 1805, № 7.

²⁾ 1886, апрѣль.

³⁾ Ib., май.

Если бы сей поборникъ нравовъ явилъ себя чуждымъ всякаго пристрастія и, не взирая на знатность особъ, устремилъ бы вниманіе свое лишь на образованіе ума и сердца ихъ—тогда трудъ его былъ бы полезенъ. Но нѣтъ: онъ изливаетъ обильный токъ строгости единственно противу женщинъ.... Дворянка, упоенная предразсудками вмѣсто истиннаго просвѣщенія, не можетъ дать хорошаго воспитанія дѣтямъ своимъ, не можетъ подать имъ наставленія о нравственности, такъ же какъ и крестьянка, находящаяся въ сущемъ невѣжествѣ.... Нѣжный родитель! если воспитаешь дочь свою, какъ слѣдуетъ, то увѣрю тебя, что крестьянка не отниметъ у ней жениха».

Отвращеніемъ отъ невѣжества, любовью и уваженіемъ къ просвѣщенію, желаніемъ совершенства русскому человѣку въ духѣ и формѣ европейской образованности отличались вообще писатели карамзинской школы, въ противоположность славянофильству Шинкова и его одномысленниковъ, крѣпко державшихся за старыя понятія, и потому антагонистовъ Карамзина, вносившаго новыя нравственныя понятія въ жизнь русскаго общества. Проявленіе этой отличительной особенности намъ уже извѣстно изъ спора съ Шинковымъ. Что вызвало Макарова, Дашкова, В. Пушкина на защиту новаго слога? Увѣренность, что этотъ новый слогъ удобнѣе выражаетъ европейскія идеи и знанія. Почему они не славили старину? По увѣренности же, что она несовмѣстима съ европеизмомъ, что возвращеніе къ ней, если бы таковое и было возможно, грозитъ успѣхамъ гражданскаго образованія. Любовь къ искусству и наукѣ — эта почтенная черта карамзинистовъ въ молодости — осталась при нихъ и въ то время, когда ихъ молодость давно исчезла, когда они отъ занятій литературою перешли къ другимъ родамъ дѣятельности. Измѣнившись съ лѣтами во многомъ, измѣнивъ многое въ образѣ мыслей, они сохранили вѣрность предмету своего начальнаго служенія. Современники прошлаго, они, на этомъ почтенномъ чувствѣ, какъ бы на нейтральной, общедорогой почвѣ, шли вровень съ современниками настоящаго, которое расходилось съ ними по другимъ вопросамъ.

§ 10. Шинковъ, какъ мы знаемъ, не отдѣлялъ литературы отъ общественной нравственности, поставляя порчу первой въ причинной связи съ искаженіемъ послѣдней. Его взглядъ раздѣлялся очень многими. Упадокъ нравовъ они объясняли иностраннымъ или, вѣрнѣе, французскимъ воспитаніемъ русскихъ людей, которое притомъ, по ихъ мнѣнію, служило орудіемъ европейской политики для достиженія коварныхъ, анти-русскихъ цѣлей. Эта цѣль—внушить русскимъ уваженіе ко всему иностранному и презрѣніе ко

всему отечественному. Все то, что собственное, наше, стало становиться въ глазахъ нашихъ худо и презрѣнно... Французы научили насъ презирать благочестивые нравы предковъ нашихъ и насмѣхаться надъ всѣми ихъ мнѣніями и дѣлами.

Подражательное развитіе русскаго общества: вотъ въ чемъ Шишковъ обвинялъ своихъ современниковъ, и въ томъ числѣ новыхъ литераторовъ, которые будто содѣйствовали злу. Самостоятельность развитія: вотъ чего онъ требовалъ отъ русскаго общества. Онъ добивался русскаго направленія, окрещеннаго неточнымъ именемъ славянофильства. Шишковъ — славянофилъ, или руссофилъ, потому что стоялъ за сохраненіе русской національности въ нравахъ, обычаяхъ и языкѣ. Но за тоже самое стоялъ, тоже самое говорилъ, еще прежде Шишкова, Карамзинъ, имя котораго, какъ истинно-русскаго европейца, могло быть равно усвоваемо какъ западничествомъ, такъ и славянофильствомъ. Въ «разсужденіи о любви къ отечеству и народной гордости» онъ выставляетъ слабую сторону современнаго общества — излишнее смиреніе въ политикѣ, указывая ему самобытность народной жизни, какъ идеаль: «Есть всему предѣлъ и мѣра. Какъ человѣкъ, такъ и народъ начинаетъ всегда подражаніемъ, но долженъ со временемъ быть самъ собою, чтобы сказать: *я существую нравственно!* Хорошо и должно учиться, но горе и человѣку и народу, который будетъ всегдашнимъ ученикомъ!» Требованія одни и тѣ же, что и въ «разсужденіи о старомъ и новомъ слоgѣ». И можно ли предполагать, чтобы Карамзинъ и его послѣдователи были меньше руссофилами, чѣмъ Шишковъ и члены Весѣды? Справедливѣе думать иначе: «Исторія государства Россійскаго» и «Записка о древней и новой Россіи» заявляютъ славянофильство ихъ автора несравненно сильнѣе набатныхъ возгласовъ Шишкова, которые по большей части оказывались фальшивой тревогой. Ученіе о развитіи народа сообразно съ его коренными особенностями подкрѣплено въ этихъ сочиненіяхъ многими доводами. «Исторія» не знаетъ другаго монарха, «достойнѣйшаго жить и сіять въ ея святилищѣ», кромѣ Іоанна III, потому что въ своихъ дѣйствіяхъ онъ уважалъ народный характеръ и правила вѣка; «Записка» осуждаетъ политику Петра, который иноземнымъ началамъ приносилъ иногда въ жертву начало русское, и кромѣ того даетъ совѣты, какъ исправить ошибки, допущенныя новыми реформами. Вопросъ, слѣдовательно, не въ томъ, кто стоялъ за самобытное образованіе народа, а въ томъ, что разумѣли подъ такимъ образованіемъ и какъ понимали его отношеніе къ европейской, или общечеловѣческой культурѣ. На этомъ предметѣ, школа Карамзина и школа Шиш-

кова представляют большую разницу. Карамзинъ не признавалъ правотъ своего вѣка худшими сравнительно съ нравами предковъ: напротивъ, онъ находилъ современныхъ Россіянъ, въ нравственномъ отношеніи, превосходяще Россіянъ, жившихъ подъ великокняжескимъ или царскимъ правленіемъ. Возвращеніе къ старинѣ вовсе не было ему желательно. Передъ лицомъ Шишкова, когда уже печаталась «Исторія», выразилъ онъ извѣстную намъ мысль: «связь между умами древнихъ и новѣйшихъ россіянъ прервалась навѣки». Образцомъ для подражанія ставилъ онъ не старину, а время Екатерины II, слѣдовательно *серогейское* же начало, но подъ условіемъ примѣненія его къ дѣйствительнымъ потребностямъ русской страны. Новыя просвѣтители (либералисты), выросшіе «на почвѣ французской революціи», пугали его тѣми опасностями, которыхъ онъ ожидалъ отъ нихъ для *серогейской* цивилизаціи; но вѣдь изъ тѣхъ же опасеній и министерство просвѣщенія при Шишковѣ онъ называлъ министерствомъ затмѣніи. Законодательныя реформы Сперанскаго встрѣтили въ немъ противника потому единственно, что онъ видѣлъ въ нихъ уклоненіе отъ правительственной системы Екатерины. Репрессивныя мѣры, имѣвшія цѣлью закрыть для Россіи міровыя приобритенія въ искусствѣ и наукѣ, никогда не могли быть имъ одобряемы. При томъ же онъ яснѣе Шишкова смотрѣлъ на причины и ихъ слѣдствія, цѣня тѣ и другія по настоящему ихъ смыслу и размѣру. Рабскія подражанія иностранцамъ въ бездѣлкахъ почиталъ онъ оскорбительными для народной гордости, но подражателей не обзывалъ врагами отечества, тогда какъ Шишковъ намѣревался издателемъ Сѣвернаго Вѣстника и Московскаго Меркурія, защищавшихъ новый слогъ, «ткнуть носомъ въ пепелъ Москвы и громко сказать имъ: вотъ чего вы хотѣли». Какъ будто они хотѣли этого!

Галломанія начала у насъ водворяться съ царствованія императрицы Елисаветы. Уже тогда въ числѣ явившихся къ намъ гувернеровъ и гувернантокъ находилось много невѣждъ или безправственныхъ лицъ. Шишковъ приводитъ слѣдующее мѣсто изъ сочиненія Мессельера, чиновника французскаго посольства при дворѣ Елисаветы: «Voyage à Pétersbourg, ou nouveaux mémoires sur la Russie»: «Мы обступлены были тучею всякаго рода французовъ, изъ коихъ главная часть, поссорясь съ парижскою полиціею, пришли заражать сѣверныя страны. Мы поражены были удивленіемъ и сожалѣніемъ, нашедъ у многихъ знатныхъ господъ бѣглецовъ, промотавшихся, распутныхъ людей, которымъ поручено было воспитаніе дѣтей самыхъ знатнѣйшихъ». Французская эмиграція, при Екатеринѣ II и Павлѣ I, усилила ряды иностранныхъ

воспитателей русскаго юношества. Безразборчивая довѣренность къ нимъ родителей не могла быть остановлена даже правительственными мѣрами. Необразованность тѣхъ, отъ кого зависѣлъ выборъ наставниковъ, пристрастіе къ французскому языку, который сдѣлался языкомъ высшаго общества и свидѣтельствомъ вѣрнаго европейства, отсутствіе педагогическихъ заведеній, въ которыхъ готовились бы не только русскіе преподаватели наукъ, но и русскіе воспитатели, все болѣе и болѣе укрѣпляли обычай, въ сущности неразумный, но объясняемый историческими обстоятельствами. Онъ упалъ бы самъ собою, еслибъ устранены были причины, его породившія. Но этого не случилось и при Александрѣ I. Напротивъ, французское вліяніе достигло въ это время наибольшей степени. Примѣру высшаго класса послѣдовало сначала зажиточное дворянство, а за нимъ потянулась и «мелкая сошка», желавшая жить какъ знатные господа. Крыловъ не безъ цѣли прибавилъ нравовеніе къ переведенной изъ Лафонтена басни «Лягушка и Волъ» (1808): оно слагано съ натуры. Другая его басня: «Крестьянинъ и Змѣя» (1813) имѣетъ цѣлью напомнить отцамъ о томъ злѣ, которое дѣтямъ ихъ причиняютъ воспитатели—французы. Дворяне помѣщали дѣтей своихъ въ пансіоны, содержимыя иностранцами, потому что у нихъ можно было научиться свѣтскому обращенію, французскому языку и танцамъ. Процентъ благороднаго сословія, обучавшагося въ чуждыхъ училищахъ и гимназіяхъ, былъ очень незначителенъ, какъ потому, что эти заведенія были открыты для всѣхъ состояній, съ которыми дворянство не хотѣло смѣшиваться, такъ и потому, что въ нихъ нельзя было выучиться французскому языку—не только разговорному, который единственно требовался, но и книжному. Дворянскій сынъ стыдился сидѣть на одной скамейкѣ съ разночинцами, боясь, что они испортятъ его нравственность, научатъ чему нибудь вазорному, но забывая, что для такой науки къ его услугамъ существовала цѣлая дворня и что отъ своего гувернера онъ узнавалъ многое, чего бы никогда не узналъ даже отъ конюха. О настоящемъ изученіи французскаго языка не было ни мысли, ни рѣчи: добивались только настоящаго французскаго выговора—«прононсіа» или «прононса», какъ многіе тогда выражались. Сатирѣ и комедіи легко было собирать обильную пищу съ галломаніи. Сколько встрѣчалось такихъ господъ, и молодыхъ и не молодыхъ, которые не умѣли похристосоваться на родномъ языкѣ! Существовали даже градоначальники, затруднявшіеся въ объясненіяхъ съ подчиненными, которые не говорили по французски. Но смѣшное было только одною стороною предмета; на другой сторонѣ французолобія выходила положительный вредъ.

Комизмъ оказывался преимущественно въ среднемъ и низшемъ слояхъ дворянства. Въ самомъ дѣлѣ, легко понять, почему сынъ знатнаго барина объяснялся по французски: ему гораздо легче было говорить на иностранномъ языкѣ, чѣмъ на русскомъ, котораго онъ часто и не зналъ вовсе. Но иностранный языкъ въ устахъ мелкопомѣстнаго владѣльца, который по-русски говорилъ очень хорошо, а по-французски очень дурно, означалъ забавное увлеченіе модой, глупость тщеславія. Понятно также, почему вельможа могъ находить больше удовольствія въ бесѣдѣ съ образованнымъ иностранцемъ, чѣмъ, напримѣръ, съ русскимъ литераторомъ, въ родѣ Кострова или Сумарокова, изъ которыхъ одинъ рѣдко бывалъ трезвъ, а второй ни о чемъ иномъ, «кромя своего бѣднаго риемичества», не говорилъ, и даже за обѣдомъ у наслѣдника престола не умѣлъ держаться съ должнымъ приличіемъ ⁽¹⁾. Вельможу нельзя было удивить ни Хоревомъ, ни Семирой, если онъ въ Парижѣ видѣлъ представленіе піесъ Корнеля и Расина лучшими въ то время артистами. Но для какой потребн нуженъ былъ французскій разговорный языкъ мелкому помѣщику, которому не приходилось заглядывать даже въ сочиненія Сумарокова и который всю жизнь свою оставался въ провинціи, зрѣвшей его рожденіе? Вредъ французскаго воспитанія простирался особенно на лица высшей знати. Въ этомъ отношеніи, гувернеръ-невѣжда представлялъ меньше опасности, чѣмъ умный и образованный иностранецъ, искусно стремившійся къ своей цѣли. Въ іезуитскомъ пансіонѣ, основанномъ въ Петербургѣ при Александрѣ, учили, можетъ быть, основательнѣе, чѣмъ въ тогдашнихъ русскихъ гимназіяхъ, но въ то же время онъ былъ не прочь отъ прозелитизма. Зная наизусть католическую обѣдню, ниня дѣти не понимали православнаго богослуженія. Обличенные въ пропагандѣ, іезуиты были высланы сначала изъ столицъ (1815), а потомъ изъ всѣхъ областей Россіи за границу (1820) ⁽²⁾. Но случаи прозелитизма, какъ бы они ни были важны, не покрывали собою всего вреднаго вліянія, производимаго иностраннымъ воспитаніемъ. Главное зло состояло въ духовномъ отрѣшеніи русскихъ отъ Россіи, которая не могла ожидать отъ нихъ никакой пользы, и въ легкомысленномъ ихъ отношеніи къ предметамъ первой важности, которое они усваивали отъ своихъ легкомысленныхъ или завѣдомо

⁽¹⁾ Записки Порошина.

⁽²⁾ Le catholicisme romain en Russie, 2 v. Соч. гр. Д. А. Толстаго (10 глава 2-ой части). См. также Некрологъ графа Александра Николаевича Толстаго (Рус. Ивалидъ, 1866, № 212).

дѣйствовавшихъ наставниковъ. «Воспитанный французами дуракъ», по выраженію Воейкова (въ сатирѣ: объ истинномъ благородствѣ, 1806), умѣлъ только тщеславиться своимъ родомъ, но любовь къ отечеству была ему чужда. Кн. Горчаковъ (въ Посланіи къ кн. Долгорукому) тщетно искалъ «русскаго» между молодыми людьми, отраслями истыхъ русскихъ фамилій: онъ видѣлъ въ нихъ преимущественно французовъ. Изъ глубины русской души вырвалось у Пушкина проявленіе его французскому воспитанію. «Съ нравственностію не то дѣлается, что съ естественностію», замѣчаетъ Шишковъ: «курица, высиженная и вскормленная уткою, останется курицею и не пойдетъ за нею въ воду; но русскій, воспитанный французами, всегда будетъ больше французъ, нежели русскій». Въ такомъ французорусскѣ отечество не найдетъ достойнаго себѣ гражданина, отечественная исторія — уваженія, соотечественникъ — любви. Болѣе и болѣе распространявшееся воспитаніе русскаго юношества иностранцами обратило наконецъ на себя вниманіе правительства. Въ 1811 г. министръ народнаго просвѣщенія, графъ Разумовскій, поднесъ Государю записку касательно частныхъ пансіоновъ, которая удостоилась высочайшаго одобренія. Она показываетъ вредныя дѣйствія обычая, глубоко пустившаго свои корни, и вмѣстѣ постановляетъ мѣры къ ихъ ослабленію: право на открытіе пансіона давать не столько по степени учености лица, сколько по его доброй нравственности; требовать отъ содержателя знанія русскаго языка; преподаваніе наукъ должно быть производимо на языкѣ отечественномъ; пяти-процентный сборъ съ платы за каждаго пансіонера на учрежденіе особыхъ училищъ, въ коихъ будутъ воспитываться дѣти родителей, оказавшихъ отечеству заслуги, а также и дѣти неимущихъ дворянъ ⁽¹⁾.

Недовольство иностраннымъ воспитаніемъ, увеличенное деспотическими дѣйствіями Наполеона ⁽²⁾ и нашими съ нимъ войнами, образовало патріотическую литературу, которой голосъ сильно раздавался въ современныхъ журналахъ, стихотвореніяхъ и отдѣльныхъ книгахъ. Въ 1806—1807 напечатано значительное число политическихъ сочиненій, большею частію переведенныхъ съ нѣмецкаго. Содержаніе ихъ вращается въ кругу однихъ и тѣхъ же предметовъ: завоевательной политики Наполеона, уничтоженія Германіи и необходимости для нея вступить въ союзъ съ русскимъ монархомъ.

Параллельно съ переводами политическихъ книгъ, шли соб-

¹⁾ Отверная Почта, 1811, № 47 (іюня 14).

²⁾ Наруженіемъ нейтралитетовъ, казнью герцога энгленскаго и нюрнбергскаго книгопродавца Пальма.

ственно литературныя произведенія, выразившія патріотическую настроенность въ разныхъ формахъ. Державинъ написалъ нѣскольکو одъ, изъ которыхъ только одна (Атаману и войску донскому, 1807) напоминаетъ его прежній талантъ; прочія же показываютъ отсутствіе истиннаго лиризма, замѣненнаго каламбурами и мнѣйскими представленіями. «Пѣснь воиновъ», Карамзина (1806), протѣе смотритъ на дѣло: Вонапартъ называется общимъ злодѣемъ, котораго необходимо низвергнуть, чтобы міръ наслаждался покоемъ. «Пѣснь барда надъ гробомъ Славянъ побѣдителей», Жуковскаго (1806), призывала ко брани и мщенію. Манифестомъ 30 августа 1806 г. обнародована предстоящая война съ французами; другой манифестъ, 16 ноября, объявилъ начало войны. Повелѣно было сформировать шестьсотъ тысячъ земскаго войска, для подкрѣпленія дѣйствующей арміи и для защиты имперіи. 28 ноября изданъ былъ указъ о высылкѣ изъ Россіи всѣхъ подданныхъ Франціи и нѣкоторыхъ нѣмецкихъ областей, если они не пожелаютъ вступить въ русское подданство, о недозволеніи пропускать ихъ въ Россію безъ паспорта, выданнаго министромъ иностранныхъ дѣлъ. Иностранцамъ предписано было выѣхать изъ столицъ и другихъ городовъ черезъ десять дней по объявленіи указа. Учителя и другія лица, жившіе въ частныхъ домахъ, обязаны были, во первыхъ, дать присягу въ томъ, что они во все продолженіе войны не будутъ имѣть никакого сношенія съ подданными поименованныхъ областей, а во вторыхъ предъявить поручительство лицъ, у которыхъ жили, въ добромъ поведеніи. Преступившіе присягу подвергались строгому наказанію, а съ поручителя взыскивалось 5000 рублей штрафу. На особую комиссію возложено было приведеніе указа въ дѣйствіе. По этому поводу сочинена была комедія: «Высылка французовъ» (1807), не имѣющая никакого значенія, какъ драма, но любопытная, какъ свидѣтельство образа мыслей многихъ тогдашнихъ людей. Главное лице—французъ Пуазоньё, содержатель пансіона и шпионъ, которому «великая нація» щедро платитъ за доставляемыя свѣдѣнія о Россіи. Онъ открываетъ піесу слѣдующими словами: «Autant barbare qu' ignorant—вотъ фраза, изображающая народъ русскій. Торжествуй, мое отечество! граждане твои покоряютъ тебѣ народы всего свѣта мечемъ, умомъ, а всего больше готовятъ къ тому воспитаніемъ». Съ Пуазоньё за-одно мадамъ Грифонъ, бывшая гувернантка, и нѣсколько его соотечественниковъ-аферистовъ, изъ которыхъ одинъ на вопросъ, какъ одъ распорядился по случаю высылки французовъ, отвѣчаетъ: «я присягнулъ: гдѣ интересъ, тутъ моя клятва; нѣтъ его, дымъ и присяга».

За нѣсколько дней до Прейсшп-эйлаусской битвы сыграна была трагедія Озерова: «Димитрій Донской» (1807). Публика приняла ее съ восторгомъ, находя въ ней явное отношеніе къ современнымъ обстоятельствамъ. Въ Димитріи она видѣла Александра, съ именемъ Мамаи соединила мысль о Наполеонѣ, «дерзостный посолъ надменнѣйшаго хана» напоминалъ ей высокомеріе французскихъ посланниковъ. Театръ стоналъ отъ рукоплесканій, исторгаемыхъ многими тирадами, а иногда и отдѣльными выраженіями. Съ рѣзкою и смѣлою сатирою выступилъ противъ французскаго вліянія графъ Ѳ. В. Растопчинъ (1763—1826), подъ вымышленнымъ именемъ Силы Андреевича Богатырева, которое за нимъ и осталось, прославленное его бойкимъ, оригинальнымъ перомъ. При извѣстїи объ эйлаусскомъ сраженіи (27 января 1807 г.) написалъ онъ «Мысли въ слухъ на красномъ крыльцѣ» (1807) ⁽¹⁾, приобрѣтшія нхъ автору громкую извѣстность своимъ патріотическимъ содержаніемъ. Тотъ же Богатыревъ выведенъ главнымъ лицомъ въ комедіи Растопчина: «Вѣсти или убитый живой» (1807), сочиненной по случаю нелѣпныхъ толковъ и слуховъ въ-слѣдъ за сраженіемъ при Эйлау. Авторъ и здѣсь сыплетъ жесткими рѣчами. Вотъ какъ отдѣлываетъ онъ новомодныхъ русскихъ барынь и помолвниковъ Франціи:

За что вы губите молоденькихъ дѣвушекъ вашимъ безобразнымъ одѣваніемъ? Эта мерзкая мода обливаетъ любовь и уваженіе холодною водою и вмѣсто того, чтобы привлекать, гонитъ прочь, и жениховъ ловятъ, какъ бѣглыхъ. Въ старину, и не очень давно, у насъ дѣвушки въ мѣсяцъ не увидишь руки безъ перчатки, а нынче воображенію и догадкѣ дѣла нѣтъ. Да прежде сего одѣвались, а нынѣ раздѣваются. Иная ѣдетъ на балъ, какъ модель для живописцевъ; другая изъ отцовскаго дома, какъ изъ кунстъ-камери: на рукѣ мѣшокъ съ бѣльемъ, все сквозитъ, все летитъ; разъ заплунулъ, точно какъ отъ купели принималъ.

Мать есть примѣръ, покровъ и наставница для дочери. А дочь благовоспитанная есть лучшее украшеніе матери. Но нынѣ, по несчастію, что нынѣ дѣлаютъ? притравливаютъ ихъ къ пороку и, теряя свое право, терпятъ и дочерей. Дочь съ матерью точно какъ съ мадамой: обѣ налегкѣ, подъ краской. Дочь мигаетъ, мать моргаетъ: одна танцуетъ, другая вальсируетъ; одна ищетъ женишка, другая наступша; одна съ ума сходитъ, другая въ себя не приходитъ. Господи помилуй, да будетъ ли этому конецъ!

¹⁾ Подражаніи ему: Мысли не въ слухъ у деревяннаго двorca Петра Великаго, или посланіе Сиди Сидоровича Правдана къ Силѣ Андреевичу Богатыреву (1807); Мысли для всѣхъ отъ сердца и души, или посланіе уланскаго помѣщика, отставнаго капитана Трифона Сидоровича Правоговорова къ старому сослуживцу своему и пріятелю Никитѣ Севастьяновичу Праворукуму (1813).

Отъ безразсуднаго пристрастія и ослѣпленія къ иностраннымъ мы обращаемся изъ людей въ обезьяны, изъ господъ въ слугъ; изъ русскихъ въ ничто. Этотъ развратъ есть болѣзнь завозная, приличивая и иныхъ у насъ обезобразила такъ, что и узнать нельзя. А что я говорю, это правда и для ушей, и для глазъ, и для души: въ семьѣ не безъ уродъ; да на чтожь самому себѣ изуродовать и сдѣлаться гадкимъ спискомъ мерзкаго подлинника?

Другимъ тономъ осмѣивается сумасбродное пристрастіе къ французскому языку и вмѣстѣ къ французамъ въ комедіи Крылова: «Урокъ дочкамъ» (1807). Въ ней много забавныхъ сценъ, написанныхъ остроумно, но безъ желчи. Съ меньшимъ знаніемъ мѣры нападалъ на любовь къ иностранному Ѳ. Ивановъ, авторъ многихъ драматическихъ піесъ, изъ которыхъ «Семейство Старичковыхъ или за Богомъ молитва, а за царемъ служба не пропадаютъ» (1808), особенно нравилось посѣтителямъ театра. По отзыву современниковъ, трагедія Крюковского: «Пожарскій» (1807) имѣла болѣе успѣхъ, чѣмъ «Димитрій Донской», можетъ быть потому, что она была играна вскорѣ послѣ военныхъ дѣйствій съ французами, когда каждый намекъ на едва минувшія событія воспринимался живѣе. Въ нѣкоторыхъ стихахъ слышится горестъ неудовлетвореннаго чувства народной славы:

О русская земля! отечество драгое!
Узримъ ли время мы опять твое златое?
Заставимъ ли врага, какъ прежде, трепетать?
Коварныхъ замыслы успѣемъ ли погнать?
И водворимъ ли вновь въ сердцахъ доброты рѣдки,
Что завѣщали намъ въ залогъ почтенія предки?

Что же завѣщали намъ предки? Не умѣя цѣнить издѣлій роскоши, русскій умѣлъ карать пороки и почитать добродѣтель, а теперь— повсюду пагубное вліяніе поляковъ (подъ которыми авторъ разумѣлъ французовъ):

Они и въ сердце намъ разврата ядъ вливають,
И нравы нѣрою постыдной разслабляютъ.
Обычай суетный почто перенимать
И рабски чуждому примѣру подражать?
Не пользу отъ сего, какъ мыслить, обрѣтаемъ,
Но русский духъ въ мнѣ толь низкой мы теряемъ.

Тильзитскій миръ понизилъ тонъ патріотической литературы (1),

1) Налечатавъ по заключенію тильзитскаго мира отрывки изъ книги: «Разсужденіе объ участіи, приемлемомъ Россією въ нинѣшней войнѣ», Вѣстникъ Европы (1807, № 21) выбросилъ рѣзкіе отрывки о Наполеонѣ, на томъ основаніи, что «въ мирное время браниться не надобно».

но не пресѣлъ враждебнаго чувства къ французамъ. Русскій чело-
вѣкъ справедливо видѣлъ въ немъ только перемиріе и не вѣрилъ
его прочности, зная характеръ Наполеоновой политики. Еще въ
1805 г. С. Глинка предчувствовалъ, что и до Москвы дойдетъ
очередь завоеванія; это предчувствіе сдѣлалось потомъ внутрен-
нимъ убѣжденіемъ его души. Ода Державина «на мѣрь 1807 г.»
звучитъ замѣтнымъ недовольствомъ, почему и была напечатана
съ измѣненіями; поэтъ, говоря его словами, «радовался съ огляд-
кою», и нѣкоторые стихи называлъ «предусмотрѣніями». Извѣст-
ный партизанъ въ войну 1812 г., Д. В. Давыдовъ, бывшій оче-
видцемъ свиданія двухъ монарховъ въ Тильзитѣ (Александра I и
Наполеона) оцѣнилъ настоящее значеніе привѣтливости, которою
русскіе отвѣчали на завазную привѣтливость французовъ: «дѣвнад-
цатый годъ стоялъ уже посреди насъ, русскихъ, съ своимъ шты-
комъ въ крови по дуло, съ своимъ ножомъ въ крови по локоть».

И дѣйствительно, черезъ полгода послѣ тильзитскаго мира,
въ 1808 г. С. Глинка основалъ журналъ: «Русскій Вѣстникъ»,
знаменательный самымъ названіемъ, не только что содержаніемъ.
Издатель положилъ своей задачей—возбужденіе народнаго духа
согражданъ, вызовъ ихъ къ новой, неизбѣжной борьбѣ съ Напо-
леономъ. Мысль о предстоящей опасности отечеству была для
Глинки предчувствіемъ, убѣжденіемъ и пророчествомъ вмѣстѣ; она
обступала его со всѣхъ сторонъ, держала въ постоянной тревогѣ,
сосредоточивала на себѣ его умъ, способный отъ природы раз-
сѣиваться безгранично и безцѣльно. Въ своемъ патріотическомъ
ей служеніи онъ напоминаетъ тѣ наивныя и безвѣстныя личности,
которыя выводились обстоятельствами времени на предназначен-
ное имъ дѣланіе, всецѣльно предавались ему сколько по инстинкту,
столько же по сознанному долгу, и совершали то, чего не могли бы
совершить сильныя и мудрыя міра. Кто-то шутя сравнивалъ изда-
теля Русскаго Вѣстника съ Жанной д'Аркъ: въ этой шуткѣ есть
доля правды. Заслуга Глинки, какъ литератора, заключается въ
томъ, что онъ своевременно возбуждалъ народный духъ русскихъ:
послѣ того оставалось ему лишь воспоминать о своихъ трудахъ
по этому предмету. Все прочее, имъ написанное (а онъ писалъ
очень много); не имѣетъ важности. Онъ могъ бы не являться на
литературной сценѣ до «Русскаго Вѣстника» и долженъ былъ
сойти съ нея послѣ своихъ «Записокъ» (1). Событія опредѣляли
свойственную ему роль: прошли событія—управдиглась его миссія.

(1) Записки о 1812 г.: Записки о Москвѣ и о заграничныхъ происшествіяхъ
отъ исхода 1812 до колонны 1815 г.—Болѣе подробныя его записки въ Рус.
Вѣстникъ 1863 № 4, 1866 № 7, 1866 № № 1—3 и 7.

Объявленіе объ изданіи Русскаго Вѣстника возбудило наде-
умѣніе. Графъ Растопчинъ называлъ предпріятіе Глинки отважнымъ,
имѣя въ виду съ одной стороны прекращеніе непріязненныхъ
отношеній къ Франціи, а съ другой—духъ чужеземства, объявившій
русское дворянство. Но издатель не унывалъ. Безъ гроша денегъ
приступилъ онъ къ дѣлу, вѣруя, что «Богъ не безъ милости, а
свѣтъ не безъ добрыхъ людей». Графъ Растопчинъ и княгиня
Е. Р. Дашкова предложили Глинкѣ свое сотрудничество, которое,
однакожъ, скоро прекратилось, по винѣ самого издателя, безъ
нужды торопливаго, отличавшагося крайней беззаботностію, не-
обдуманностію и дѣтскимъ невѣдѣніемъ самихъ обыкновенныхъ
житейскихъ отношеній. Въ Русскомъ Вѣстникѣ все было направ-
лено къ одной цѣли—знакомить Русскихъ съ Россіею. Въ противо-
положность журналамъ, сообщавшимъ свѣдѣнія о Европѣ, онъ
наполнялся только тѣмъ, что касалось отечества; объ иностран-
номъ же упоминалъ не иначе, какъ по отношенію къ отечествен-
ному. Издатель пользовался каждымъ случаемъ, чтобы, согласно
программѣ, изображать доблести русскихъ настоящаго и преимуще-
ственно прошлаго времени, обличать иностранныхъ писателей за
ихъ ложныя о насъ мнѣнія и доказывать превосходство своего,
роднаго, передъ чужеземнымъ. Инаяга мысли по случаю пред-
ставленія «Ябеды», журналъ защищаетъ старинныхъ судей и ста-
ринное правосудіе; на вопросъ переводчика Виргиліевыхъ эллегъ
(Мерзлякова), «гдѣ этотъ золотой вѣкъ, эта золотая сторона, въ
которой царствовали невинность и правда?» отвѣчаетъ: «онѣ
извѣстны были въ Россіи», и дѣлаетъ выписку изъ путеше-
ственника Фламминга о простотѣ и счастіи нашихъ поселянъ; разбирая
древне-русскія стихотворенія, отыскиваетъ въ нихъ доблестныя
черты русскаго народа: любовь къ ближнему, мужество, велико-
душіе, и пр. Достохвальныя свойства Россіянъ вообще, русскихъ
боляръ въ частности служатъ предметомъ особыхъ статей. Изъ
разныхъ городовъ и селъ корреспонденты журнала доставляли ему
свѣдѣнія о замѣчательныхъ проявленіяхъ русскаго духа; братской
любви, наслѣдственномъ мужествѣ, рѣшительности и т. п. Въ
противодѣйствіе переводнымъ повѣстямъ, Русскій Вѣстникъ печаталъ
романы и новѣсти оригинальныя, которые постоянно вое-
вали съ французскимъ воспитаніемъ, модами, роскошью. Сочув-
ствуя Шинкову, онъ старался замѣнять иностранныя слова рус-
скими. Поборничество за родную старину черѣдко увлекало Глинку
слишкомъ далеко, вынуждая его сопоставлять такіе предметы, ко-
торые не допускали никакого сопоставленія. Такиъ, наприимѣръ, въ
статей: «Зотовъ, наставникъ Петра I», способъ его ученія

«сообразается съ правилами Руссо, Кондильяма, Локка и прочих писателей о воспитаніи»; другая статья: «Наставленіе Симеона Полоцкаго царю Алексѣю Михайловичу», слѣдуетъ мысли, въ немъ изложенныя, съ мнѣніями не только Сократа, Платона и Цицерона, но и Декарта, Боссюэта, Вольтера, Дидро. Излишества и крайности направленія были по тогдашнимъ обстоятельствамъ понятны. «Нужно было», говорить кн. Вяземскій въ воспоминаніи о Глинкѣ ⁽¹⁾, «воспламенить духъ народный, пробуждать силы его, напоминая о доблестяхъ предковъ, которые также сражались за честь и цѣлость отечества. Нужно было противодействовать духу чужеземства всѣми силами и средствами. Укорительныя слова: «галломанія», «французолобіе», бывшія тогда въ употребленіи, имѣли полное значеніе. Ими стрѣляли не въ воздухъ, а въ прямую цѣль. Надлежало драться не только на поляхъ битвы, но воевать и противъ нравовъ, предубѣжденій, малодушныхъ привычекъ. Европа «онаполеонила» Россію, прижатой къ своимъ степямъ, предлежалъ вопросъ: «быть или не быть», т. е. слѣдовать за общимъ потокомъ и поглотиться въ немъ, или упорствовать до смерти или до побѣды? Перо Глинки, первое на Руси, начало перестрѣливаться съ непріятелемъ. Онъ не заключалъ перемирія даже въ тѣ ровды, когда русскіе штыки отмыгались, уступая силѣ обстоятельствъ и выжидая новаго вызова къ дѣйствию.... Мнѣнія, имъ оглашаемыя, и отзывъ, который они встрѣчали въ массѣ читателей, не могли ускользнуть отъ неуспянаго, безпощаднаго и ревниваго деспотизма Наполеона. Французскій посолъ Коленкуръ жаловался нашему правительству на непріязненный духъ Русскаго Вѣстника» ⁽²⁾.

Русскій Вѣстникъ былъ дѣйствительно своего рода силою, благодаря дарованію издателя угадывать духъ народный, «который всего торжественнѣе высказывается въ годину рѣшительнаго подвига», и направлять его къ извѣстной цѣли; понятнымъ для большинства словомъ возбуждать чувство любви къ отечеству, а если оно уже возбуждено, поддерживать его въ уровень событіямъ; русскимъ сердцемъ давать вѣсть русскимъ сердцамъ или отклоняться на ихъ голосъ; «при возстаніи душъ дѣйствовать на нихъ силою нравственной, при которой нѣтъ надобности въ

¹⁾ С.Петербургскія Вѣдомости, 1847, №№ 277 и 278.

²⁾ Французское посольство указывало на статью о тильзитскомъ мирѣ. Во вниманіе къ его жалобѣ, цензору журнала, профессору Мерзлякову, сдѣланъ былъ выговоръ, а издатель, по политическимъ обстоятельствамъ, уволенъ отъ московскаго театра, гдѣ состоялъ на службѣ. Но журналъ нашли нужнымъ сохранить (Записки С. Н. Глинки, Рус. Вѣст. 1865, июль).

сотняхъ тысячъ рублей». Вотъ мѣсто, занятое Глинкою съ 1808 года. Не онъ искалъ его: безъ его домогательствъ «оно было ему указано необычайными обстоятельствами, съ которыми онъ шелъ на раду». Глинка, какъ онъ самъ говоритъ, «жилъ среди народа и жизнью народной». Онъ умѣлъ толковать съ нимъ и для него; «непрестанное присутствіе его на площадяхъ, на рынкахъ, на улицахъ московскихъ сроднило съ нимъ взоры, сердца и мысли московскихъ обывателей». Духъ народа признаетъ своимъ вождемъ того, кто самъ, безусловно и непосредственно, проникнутъ этимъ духомъ. И потому-то на Поклонной горѣ, въ ожиданіи прибытія Государя (1812), тысячи голосовъ вослѣдствовали Глинкѣ: «ведите насъ!» и тысячи людей двинулись за нимъ по одному слову: «впередъ!» Потому-то нѣкоторые воспитанники московскаго университета, юноши-патріоты, являлись къ нему, въ томъ же 1812 г., съ просьбами содѣйствовать ихъ усердію: «вашъ Русскій Вѣстникъ», говорили они ему, «воспламенилъ нашъ духъ; помогите намъ жертвовать собою отечеству». Искренняя дѣятельность Глинки мирила съ нимъ литературныхъ его противниковъ, другого образа мыслей по всѣмъ другимъ предметамъ, но одного и того же понятія о необходимости воевать перомъ съ посягателями на честь и независимость народа. По тому же близкому и живому соотношенію съ публикой, Русскій Вѣстникъ получалъ изъясненія благодарности отъ многихъ жителей провинцій и приобрѣлъ извѣстную степень политическаго значенія. Съ 1812 г., когда «жизнь сдѣлалась послѣднимъ условіемъ» горячаго патріота, Глинка становится видимымъ общественнымъ дѣтелемъ: онъ первый записался ратникомъ въ московское ополченіе, получилъ Владимира 4-ой степени «за любовь къ отечеству, доказанную сочиненіями и дѣяніями» и 300,000 руб. экстраординарной суммы, которою могъ распоряжаться по усмотрѣнію. Государь возложилъ на него особыя порученія, по которымъ онъ былъ долженъ совѣщаться съ московскимъ главнокомандующимъ, графомъ Растопчинымъ. Эти порученія состояли въ томъ, чтобы успокаивать умы московскихъ жителей, внушать имъ единомысліе и осторожность, предостерегать отъ сматерія и робости. Для характеристики Глинки достаточно сказать, что триста тысячъ руб. остались въ казнѣ сполна: онъ не истратилъ изъ нихъ ничего, будучи убѣжденъ, что «для русскаго сердца достаточно силы слова, идущаго отъ души». Въ это время Русскій Вѣстникъ получилъ еще большее дѣйствіе. «Онъ облекся въ плоть и кровь», говоритъ кн. Вяземскій. «Одно заглавіе его было уже знамя. Глинка перенесъ свою литературу на площадь. Онъ попалъ на свою колею. Онъ былъ рожденъ народнымъ три-

буномъ, но трибуномъ законнымъ, трибуномъ правительства. Онъ умѣлъ по православному говорить съ православными. Рѣчами своими онъ успокаивалъ и ободрялъ народъ».

Недолговременна была красная пора журнала Глинки. «Бѣд-
ный мой Русскій Вѣстникъ упалъ», говоритъ онъ печально въ
своихъ «Запискахъ». Я началъ прибавлять къ нему «Дѣтское
Чтеніе», но и это предпріятіе мало имѣло хода. Если время при-
готовляетъ зданіе къ неизбѣжному паденію, тогда тщетны всѣ
подмостки. Такъ случилось и съ Русскимъ Вѣстникомъ. Вызовы
Минина, Пожарскаго и другихъ старожиловъ лѣтописей нашихъ
утомляли слухъ. Духъ времени требовалъ освѣженія. Фактъ вѣр-
но разсказанъ, но объясненіе его только на-половину вѣрно. Не
одно время здѣсь виновато. Конечно, съ прекращеніемъ обстоя-
тельствъ, вызвавшихъ извѣстную дѣятельность, ослабѣваетъ и
возбужденный ею интересъ; однакожъ зданіе можетъ стоять долго,
если оно построено искуснымъ архитекторомъ, который кромѣ того
отпускаетъ на его поддержку достаточный матеріалъ. У Глинки
не было ни строительнаго искусства, ни способности выдерживать
достойное направленіе. Въ печати онъ отличался такою же торо-
пливостію, какъ и въ разговорѣ. Онъ, такъ сказать, писалъ по-
хода, какъ иные похода вѣдятъ. Его скороговореніе и скорописаніе
вошли въ пословицу. А при спѣшной работѣ некогда вдумываться
въ предметъ, находить его точные признаки, дѣлать и вѣдывать
правильно. Не ощущую ступалъ онъ, какъ замѣчено однимъ изъ
тогдашнихъ журналовъ, а бѣгомъ бѣгалъ онъ «въ темныхъ пере-
ходахъ оружейной палаты нравственныхъ русскихъ сокровищъ». Соображеніе уроковъ Зотова съ правилами Локка и Руссо, сличе-
ніе наставленій Полоцкаго съ мыслями Декарта, Вольтера и Дидро
суть не что иное, какъ сужденія на авось, выводы съ плеча. Они
не далеко ушли отъ тѣхъ, которые сатира Воейнова придумала
въ духѣ Глинки, а именно, что Расинъ укралъ Гоеолію изъ Сто-
глава, а въ Андромакѣ подражалъ «Погребенію юта». Ни одинъ
образованный читатель не могъ мириться съ подобными литера-
турными странностями. Чувство національнаго достоинства всегда
важно, и въ эпоху предстоящей отечеству опасности оно получаетъ
особенное значеніе; но противоположеніе отечественнаго чужезем-
ному въ благопріятномъ для народной гордости свѣтѣ тогда толь-
ко достигаетъ дѣли, когда благопріятное въ то же время истинно,
а не сочинено. Глинка, разумѣется, не выдумывалъ, но онъ ча-
сто думалъ видѣть то, чего на самомъ дѣлѣ не было. И въ дру-
гихъ работахъ онъ оставался вѣрнъ своему темпераменту. Все
у него дѣлалось на живую нитку. Русскую исторію писалъ онъ

шутя, по отзыву его друзей. Самъ онъ откровенно сознается, что и въ глаза не видалъ тѣхъ книгъ, на которыя ссылался въ подкрѣпленіе гипотезы о родствѣ славянъ съ руссами, а цитировалъ изъ нихъ мѣста по выпискамъ, приведеннымъ въ другихъ сочиненіяхъ. Кромѣ того, въ этой Исторіи, похвалы прошлому русскому переступали всякое чувство мѣры, такъ что, по выраженію Н. Полеваго, даже Святополкъ Окаянный, какъ онъ представленъ Глинкой, заткнеть за поясъ любого героя добродѣтели. Удивляться ли послѣ этого, что съ 1813 г. Русскій Вѣстникъ отошелъ въ сторону, уступивъ свое мѣсто «Сыну Отечества», основанному Н. Гречемъ въ 1812 г.? Знаменемъ этого журнала былъ также патриотизмъ, но издатель умѣлъ сообщить ему и литературный интересъ. Неудивительно также, что Русскій Вѣстникъ имѣлъ противниковъ. Они возставали не противъ основнаго начала журнала: здѣсь не могло быть разногласія, а противъ исключительности убѣжденія, которое само по себѣ не подлежало ни сатирѣ, ни критикѣ, противъ крайняго понятія о національности. Одни изъ литераторовъ, не касаясь журнальнаго направленія, смѣялись надъ странностями и промахами Глинки. Другихъ оскорбляло «смиреніе Глинки въ любви русскихъ къ отечеству, грозившее сдѣлаться какъ бы заразительною болѣзнію». Для третьихъ (и эти смотрѣли на дѣло серьезнѣе) литературное старообрядство Глинки противорѣчило ходу отечественной цивилизаціи, возможной только при тѣснѣйшемъ сближеніи съ Европою. Въ своихъ упрекахъ защитникамъ исключительно-русскаго направленія они были руководимы также патриотизмомъ, который требовалъ вести Россію по пути общечеловѣческаго, европейскаго образованія. Подъ вліяніемъ этой мысли Цвѣтникъ представилъ, какъ Глинка, сначала обогрѣвшись на солнцѣ, которое Петръ I возжегъ на русскомъ небѣ, потомъ внезапно и добровольно бросился въ болото, изъ котораго преобразователь вытащилъ наше общество. По поводу драмы Глинки: «Мининъ», издатель Вѣстника Европы замѣтилъ, что авторъ ея пишетъ «для двуверстнаго сложенія и мучныхъ лавокъ».

Кромѣ «Мыслей въ слухъ на Красномъ крыльцѣ» и комедіи «Вѣсти или убитый живой», гр. Растопчинъ написалъ повѣсть: «Охъ, французы!»⁽¹⁾. Цѣль ея таже, что и прежнихъ сочиненій — возбудить національное чувство Русскихъ, отчужденныхъ иностраннымъ воспитаніемъ отъ отечества. Одаренный необыкновенными способностями, Растопчинъ былъ проникнутъ ненавистью къ чуждымъ вліяніямъ на современное ему общество. Онъ преслѣдовалъ

¹⁾ Нап. въ 10 № Отеч. Записокъ 1842 г.

не одво ослабленіе родителей, вѣрившихъ молодое племя руководству французовъ, но и всю систему веденія дѣлъ, официальныхъ и неофициальныхъ, когда замѣчалъ, что она идетъ въ сторону отъ чисто-русскаго направленія (1). По званію московскаго главнокомандующаго (1812—1814) онъ обнаружилъ и рѣзкія отличія своего характера, о которомъ здѣсь не мѣсто говорить, и умѣнье, въ исключительную минуту, дѣйствовать не только административными распоряженіями, но и словомъ къ народу. Если оригинально-умныхъ рѣчей его заслуживались самые умные и образованные люди, то «растопчинскія» афишки (1812) принадлежатъ къ замѣчательнымъ произведеніямъ. Растопчинъ не былъ записнымъ литераторомъ; онъ принимался за перо только въ особенныхъ случаяхъ, когда явное или тайное нашествіе враждебной намъ силы требовало воззваній къ національному чувству. Но живой, бойкій языкъ, не стѣсненный рутинерствомъ, меткое и рѣзкое остроуміе, своеобразность колкой и желчной сатиры ставятъ его въ число оригинальныхъ писателей нашихъ. Онъ, какъ говорится, не ходилъ въ карманъ за словомъ и не чувствовалъ ложнаго стыда, если слово являлось крупное, подъ пару его крупной мысли. Легко предугадывать, что бы изъ него вышло, еслибъ онъ посвятилъ себя исключительно литературѣ (2).

Необходимо также сказать нѣсколько словъ о коллекціи карикатуръ, которая въ 1812 г. выходила въ Петербургѣ. Она заключается въ себѣ гравюры иглою (черныя и большею частію иллюминированныя), гравюры подъ карандашъ и гравюры aqua tinta, съ замысловатыми, весьма часто въ народномъ духѣ сложенными подписями. Сюжетами ихъ служатъ событія и анекдоты отечественной войны, по рассказамъ журналовъ, въ особенности Сына Отечества. Большинство картинокъ принадлежитъ талантливому скульптору Ивану Ивановичу Теребеневу, умершему въ молодыхъ лѣтахъ (1815). Кромѣ Теребенева, занимался составленіемъ подобныхъ же картинокъ Иванъ Алексѣевичъ Ивановъ († 1848), инспекторъ рисовальныхъ классовъ въ Академіи художествъ, извѣстный по рисункамъ къ роскошнымъ изданіямъ басенъ Хемницера и Крылова, и Алексѣй Гавриловичъ Венеціановъ, отецъ живописи русскаго

1) Ворота изъ Владимира въ столицу, не выходя изъ носа французовъ, Растопчинъ, въ письмѣ къ одному пріятелю, пронычески замѣтилъ, что теперь министръ финансовъ и другіе его товарищи, вѣроятно, примутся за «русскія» дѣла (Письма Растопчина къ Д. И. Киселеву, въ 12 № Рус. Архива 1863 г.).

2) Растопчинъ и французскимъ языкомъ владѣлъ такъ же мастерски, какъ и русскимъ. Его «mes mémoires ou moi au naturel écrits en dix minutes» такъ оригинальны, что въ переводѣ теряютъ половину своей прелесть.

быта († 1846). Гравюры расходились въ большомъ количествѣ, служа средствомъ или для осмѣянiя врага, или для возбужденiя въ нему ненависти. Чтобы познакомить съ этимъ проявленiемъ патріотическаго духа, бережъ изъ коллекціи нѣсколько картинокъ. Подъ оной изъ нихъ: *Вороній супъ* ⁽¹⁾ подписаны стихи:

Бѣда намъ съ великимъ нашимъ Наполеономъ!
Кормилъ насъ въ походѣ изъ костей бульономъ.
Въ Москвѣ попировать свистѣлъ у насъ зубъ:
Не тутъ-то! похлебаетъ же хотъ вороній супъ.

Другая представляетъ Наполеона и его воиновъ въ снѣгу по грудь. Двое маршаловъ спрашиваютъ его: какъ прикажете написать въ бюллетенѣ?—Пишите (отвѣчалъ онъ): остановились на зимнихъ квартирахъ. Заглавіе третьей: *Русскій ратникъ домой возвращаясь*. На ружейномъ стволѣ висятъ три француза, двое другихъ воткнуты на штыкѣ; сынъ ратника, мальчикъ лѣтъ четырехъ, ѣдетъ верхомъ на французскомъ знамени; внизу слова ратника, идущаго за сномъ съ ружьемъ на плечѣ: «для курьезу ребятишкамъ бирюлекъ принесть». Четвертая: *Крестьянинъ Иванъ Долбила кладетъ вылази французовъ на возъ!* съ подписью: «вотъ и вилы тройчатки пригодились убирать да укладывать; ну, мусье, полно вздрагивать». Пятая: *Французы молодняа крысы въ командѣ у старостики Василисы*. Старостиха на конѣ; двое плѣнныхъ французовъ становятся передъ нею на колѣни, а третьего старуха ведетъ на веревочкѣ. Въ подписи слова старостихи:

Добрыхъ людей
Да званныхъ гостей
Съ честію у насъ встрѣчаютъ,
И въ передній уголъ сажаютъ;
А незванныхъ нахаловъ,
Грабителей басурмановъ
Съ безчестьемъ прогоняютъ
И кулакомъ провожаютъ.
Знаетъ вы въ Москвѣ-то не солоно похлебали,
Что хуже прежняго и тоще стали.
А кабы занесло васъ въ Питеръ,
Онъ бы вамъ всѣ бока повытеръ.

Шестая: Наполеонъ и его маршалъ пляшутъ въ присядку, подъ нѣсню: «Ахъ, скучно мнѣ на чужой сторонѣ». Одинъ русскій крестьянинъ постигиваетъ маршала плетью, а другой—Наполеона розгой, приговаривая (въ подписи):

¹⁾ Тотъ же самый сюжетъ рассказанъ въ баснѣ Крылова: Ворона и Курица.

И мы твою, братъ, слышали поудку:

Въ присядку попляши теперь подъ нашу дудку⁽¹⁾.

Наконецъ седьмая: *Консилиумъ*. На сценѣ два доктора. Одинъ изъ нихъ, щупая у Наполеона пульсъ и голову, передаетъ другому симптомы и вмѣстѣ причины болѣзни: «Языкъ бѣлехонекъ (въ наказаніе за то, что много лгалъ въ бюллетеняхъ).—Пульсъ едва бьется! (отъ чрезмѣрнаго кровопусканія).—Голова въ страшномъ жару (отъ того, что не удались сумасбродные планы)».—Наполеонъ замѣчаетъ: «Надобно скорѣе убираться въ Парижъ. Видно въ Россіи климатъ мнѣ не благопріятствуетъ».

При чтеніи своего «разсужденія о любви къ отечеству» (1812), Шишковъ имѣлъ передъ собою хотя многочисленную, но избранную публику. Его слово получило высшее и обширнѣйшее дѣйствіе, когда онъ былъ назначенъ статсъ-секретаремъ при императорѣ Александрѣ въ отечественную и заграничную войны. Вся Россія внимала въ это время манифестамъ, грамотамъ, рескриптамъ, приказамъ по арміи и другимъ извѣщеніямъ, выходившимъ изъ подъ его пера⁽²⁾. Не ему, конечно, принадлежало содержаніе того, что доводилось до всенароднаго свѣдѣнія, но внушаемое свыше онъ проводилъ въ своей рѣчи, въ которой нельзя не видѣть духа вѣры и патріотизма, непреклоннаго сопротивленія врагу, христіанской покорности провидѣнію и христіански великодушнаго пользованія успѣхами. Если изъ двухъ лицъ, Карамзина и Шишкова, имѣвшихъ въ виду для занятія мѣста государственнаго секретаря, Александръ остановился на послѣднемъ, то это предпочтеніе было ему оказано по основательнымъ причинамъ. При тогдашнихъ обстоятельствахъ, перо Шишкова оказывалось болѣе сподручнымъ. Какъ литераторъ, онъ, конечно, стоялъ ниже Карамзина, но въ воззваніяхъ къ народу литературная обработка рѣчи занимаетъ не первое мѣсто. Языкъ Шишкова, образованный на духовныхъ и старинныхъ книгахъ, слышнѣе, непосредственнѣе доходилъ до большинства грамотныхъ и неграмотныхъ. Съ перваго же раза чувствовался въ немъ голосъ русскаго книжника, крѣпкаго родной старинѣ, не разъединеннаго съ нею чужеземными новизнами,—голосъ искренній и твердый, хотя не блистающій особенными красотою. Стихи А. Пушкина:

Сей старецъ дорогъ намъ: онъ блещетъ средь народа

Священной памятью двѣнадцатаго года,

поэтически и вѣрно выражаютъ историческую заслугу Шишкова.

¹⁾ Пѣсня: «За горами, за долами, Вонавартъ съ плесунами», сочиненная Ковалевскимъ, сдѣлалась народною.

²⁾ Собраніе ихъ издано Шишковымъ въ 1816 г.

«Бесѣда любителей русскаго слова» (1811—1816) съ своей стороны трудилась надъ распространеніемъ мысли о томъ, какъ вредна подражательность и какъ важно самобытное развитіе. Хотя она поставила себѣ задачей «обогащать и возвышать родную словесность красотою священнаго и народнаго языка», но уже изъ понятія ея членовъ о неразрывной связи языка съ общественною нравственностью было очевидно, что, говоря объ одномъ предметѣ, они не могли не касаться и дѣйствительно касались другаго. Въ «Чтеніи», издававшемся Бесѣдою ⁽¹⁾, не мало статей, направленныхъ къ прославленію и оборонѣ всего русскаго, къ отраженію не-русскаго. Статья Филатова «о несправедливомъ сужденіи иностранныхъ писателей о Россіи», опровергаетъ мнѣніе историковъ, въ особенности Кондильяка и Миллота, которые на русскіхъ до XVIII вѣка смотрѣли какъ на дикирей, живущихъ въ первобытномъ состояніи. Она доказываетъ, что въ Россіи до Петра существовали уже законы, воинство, торговля, словесность, художества. «Краткое начертаніе о славянахъ и славянскомъ языкѣ» (Д. Воронова) зашло въ своихъ гипотезахъ слишкомъ отважно и далеко. Изъ мысли о языкѣ, какъ отпечаткѣ жизни и нравственныхъ силъ народа, авторъ выводитъ, что «славяне, наши предки, должны были быть и дѣйствительно были народъ могущественный и твердый, ибо въ языкѣ его вездѣ открываемъ отличительныя свойства силы, твердости и богатства, а сіе также убѣждаетъ вѣрить, что онъ могъ быть господствующимъ въ Европѣ, особливо въ такое время, когда могущество славянъ нерѣдко потрясало основанія константинопольскаго престола и когда римская имперія готова была низринуться въ пропасть со степени прежняго своего величія». «Письмо въ Бесѣду» ⁽²⁾ есть переводъ (вѣроятно псевдопереводъ) рѣчи одного жителя Помераніи, доктора Пуфа, къ своимъ одноземцамъ, восхваляющей «грубыхъ Поморцевъ или Поморянъ» за то именно, что они грубы, т. е. не усвоили чужихъ нравовъ и остались настоящими нѣмцами. «Что такое мы были?» спрашиваетъ авторъ? «Мы были, когда все наводнено было чужеземцами, истые нѣмцы.... Покуда мы отечество свое любить и нравы свои сохранять будемъ, до тѣхъ поръ не перестанемъ, гдѣ бы мы ни были, быть поморянами, по пословицѣ: хоть въ Римѣ будемъ, а все будемъ поморяне». Басня Крылова «Червонецъ» (1812) представляетъ вредъ наружно-европейской образованности, подѣ кото-

¹⁾ Чтеніе въ Бесѣдѣ любителей русскаго слова, 19 книжекъ (1811—1815). Вторая книжка раздѣлена на двѣ части.

²⁾ Чтеніе, кн. 19 (1815).

рош и многіе разумѣть «сиречьщеніе роскоши и развратъ». Ложная образованность, говорится въ правоученіи басни, снимая грубую кору съ людей, ослабляетъ ихъ духъ, портитъ нравы, разлучаетъ съ естественной простотой, сообщаетъ имъ миниатурный блескъ и вмѣсто славы надвигаетъ на нихъ безславіе.

Дѣйствія Шиншкова и его послѣдователей произвели ли желаемое дѣйствіе, или были голосомъ вопиющихъ въ пустыни? Отказалось ли русское общество отъ подражанія французамъ, даже послѣ 1812 года? Если дѣло идетъ объ иностранномъ воспитаніи инженства, на что въ особенности и нападалъ Шиншковъ, то современники отвѣчаютъ отрицательно. Вотъ что сказано въ журналѣ Амфіонъ. (1815) по случаю разсказа о какой-то Софіи, отказавшей своему жениху, русскому офицеру, и вышедшей замужъ за француза, спасеннаго этимъ офицеромъ при Тарутинѣ: «Казалось бы, что послѣ недавнихъ происшествій поклоненіе французамъ должно исчезнуть. Иные думаютъ, что ему надлежало даже обратиться въ вѣчную народную ненависть. Это правда. Но, къ сожалѣнію, тѣже мадамы и тѣже губернеры опять приняты учителями въ тѣ самые дома, которые были разграблены руками сихъ учителей» (1). Мы увидимъ, что сатиры и комедіи суждено будетъ снова преслѣдовать неисправимое обесцвѣтство русскихъ, отсутствіе въ нихъ народнаго любочестія и духа независимости. А съ другой стороны, лѣтъ черезъ шесть послѣ отечественной войны начали раздаваться иные голоса, осуждавшіе, во имя достойныхъ началъ, слѣпую ненависть къ иностранцамъ, которая, какъ крайность, сходится съ другою крайностью — слѣпою любовью ко всему иностранному.

§ 11. Одновременно съ «охранительнымъ» направленіемъ внутренней политики; выразителемъ котораго былъ Карамзинъ и въ «Исторіи», и въ «Запискѣ о древней и новой Россіи» и образомъ котораго, по мнѣнію того же лица, служила правительственная мудрость Екатерины II; развивалось другое, ему противоположное — «творческое» (какъ называлъ его Карамзинъ), то есть прогрессивное, въ либеральномъ духѣ. Починъ въ этомъ дѣлѣ принадлежалъ самому правительству, почему «охранители» и смотрѣли на его реформы, какъ на отступленіе отъ заявленнаго въ манифестѣ обѣщанія — царствовать по духу Екатерины Великой. За правительствомъ, по открытому имъ пути, пошли общество, въ лицѣ болѣе развитыхъ своихъ членовъ, и литература, исполняющая двоякую роль: роль провозвѣстницы идеальныхъ стремленій и роль выразительницы той, большей или меньшей, степени въ

1) Амфіонъ, № 1.

достиженіи идеаловъ, на которой стоитъ общество въ известную эпоху.

Исторія царствованія императора Александра I показиваетъ, что, при самомъ восшествіи на престолъ, онъ приступилъ къ реформамъ различныхъ частей управленія, находя состояніе этихъ частей не соответствующимъ потребностямъ времени. Одной изъ главныхъ и постоянныхъ его заботъ было освобожденіе крестьянъ отъ крѣпостной зависимости. Къ постепенному улучшенію ихъ быта клонились первые правительственные мѣры. Всѣмъ свободнымъ состояніямъ, не исключая и казенныхъ крестьянъ, дано право приобретать на свое имя недвижимую собственность; крестьяне могли быть увольняемы на добровольныхъ условіяхъ съ ихъ помѣщиками; въ 1804 г. утверждено положеніе о лучшемъ устройствѣ лифляндскихъ крестьянъ. Чтобы сильнѣе подвинуть указанныя мѣры, государь изъяслялъ особенное благоволеніе лицамъ, вышшимъ его желанію. Благоволеніе должно было свидѣтельствовать, «сколь сіе похвальное дѣяніе (увольненіе крестьянъ) пріятно сердцу его величества» ⁽¹⁾. Периодическія изданія министерства внутреннихъ дѣлъ: Санктпетербургскій журналъ (1804—1809) и Сѣверная почта (1809—1820) были первымъ проявленіемъ правительственной гласности: они знакомили публику съ дѣятельностью министерства, особенно поставляя на видъ слѣдствія указовъ, которыми, на основаніи свободы и собственности, устраивается благоденствіе крестьянъ. Правительственные органы печати сознательно допускали омышленіе мѣръ, предначертанныхъ или дѣствующихъ, съ обозначеніемъ выгодъ, которыя могутъ принести первыя и которыя уже принесены вторыя. Въ статьѣ «О пользѣ просвѣщенія», переведенной изъ Бентама ⁽²⁾ указана польза «публичныхъ бумагъ» (печатнаго слова): «помощію ихъ всего удобнѣе руководствоваться общему мнѣнію; помощію ихъ просвѣщеніе, нисходитъ отъ правительства къ народу или восходитъ отъ народа къ правительству. Чѣмъ болѣе въ нихъ свободы, тѣмъ лучше можетъ сіе послѣднее видѣть направленіе общаго мнѣнія и тѣмъ надежнѣе можетъ оно дѣйствовать». Чтобы возбудить въ обществѣ интересъ къ тѣмъ знаніямъ, которыя непосредственно относились къ совершеннымъ или ожидаемымъ преобразованіямъ, положено было заботиться переводомъ капитальныхъ

¹⁾ Сѣверная почта 1811, № 59, въ нарядѣ о пожалованіи полтавскому помѣщику Сахновскому Владимира 3-й степени, который поведѣно было генерал-губернатору вручить при особомъ рескриптѣ въ собраніи дворянъ.

²⁾ С.-п.-б. журналъ 1804 кн. 2, второй отдѣлъ, назначенный для разсужденій и переводовъ касательно предметовъ управленія.

сочиненій политическихъ и политико-экономическихъ, о чемъ государь навѣщалъ своего воспитателя Лагарпа, вскоре по вступленіи на престолъ. Такимъ образомъ явились на русскомъ языкѣ: «Разсужденіе о преступленіяхъ и наказаніяхъ, Беккариа» (1803), «Разсужденіе о гражданскомъ и уголовномъ законоположеніи, Бентама» (1805 — 1811), «О существѣ законовъ, Монтескье» (1814) ⁽¹⁾, «Исслѣдованіе свойствъ и причинъ богатства народовъ, Адама Смита» (1803 — 1806), «Политическая экономія или о государственномъ хозяйствѣ, Варри» (1810). Бентамъ пользовался особеннымъ авторитетомъ: многія статьи изъ его сочиненій переводились для неофициальнаго отдѣла С.-петербургскаго журнала; кромѣ того, мы вѣдѣли съ нимъ и въ особенныя сношенія ⁽²⁾. Знакомство съ учениемъ Адама Смита, вмѣнялось въ достоинство, какъ знанію единственно образованнаго, передоваго челоука ⁽³⁾. Умевъ 1801 и 1803 г. вѣдѣвали замѣчательныя по тому времени сочиненія. Одно изъ нихъ есть философско-политическая диссертация объ освобожденіи крестьянъ въ Россіи, написанная на степень доктора и напечатанная въ Геттингенѣ ⁽⁴⁾, гдѣ ея авторъ, Андрей Кайсаровъ, слушалъ лекціи университетскихъ профессоровъ. Цѣль этого труда — показать всѣ выгоды, которыя произойдутъ отъ уничтоженія крѣпостнаго права для самихъ освобожденныхъ и для государства вообще, — выгоды, относительно личнаго значенія крестьянъ, земледѣлія, народонаселенія, торговли, промышленности, образованія. Въ заключеніи авторъ касается способа освобожденія крестьянъ, наводя, что, оно должно совершиться не вдругъ, а постепенно, съ разумной въ нему подготовкой. Второе сочиненіе вышло изъ-подъ пера польскаго графа Стройневскаго: «О условіяхъ помѣщиковъ съ крестьянами» (1809). Одна изъ его главъ развиваетъ ту же мысль, что и Кайсаровъ, то есть, что въ тѣхъ странахъ, гдѣ крестьяне получили личную свободу и собственности, образованіе, преуспѣванія, народонаселеніе увеличивается, земледѣліе улучшается, потребности и богатство возрастаютъ. Вопросы и сужденія о крѣпостномъ правѣ, равно какъ и о другихъ предметахъ подобнаго рода не подвергались стѣсненіямъ,

¹⁾ Переводъ напечатанъ по повелѣнію государя и посвященъ его имени.

²⁾ Ст. Н. Шинкина: «Русскія отношенія Бентама» (В. Евр. 1869, февраль и апрѣль).

³⁾ Писаніе Карамзина на Лавиніу, 6 июля 1817.

⁴⁾ De manumittendis per Russiam servis, 1806. Кайсаровъ убитъ въ Бородинскомъ сраженіи. Выборомъ ученыхъ занятій и намѣреніемъ посвятить себя профессорской дѣятельности онъ былъ какъ бы исключенъ изъ дворянъ, которые смотрѣли на подобную карьеру, какъ на низкую, недостойную ихъ сословія.

на основаніи цензурнаго устава (1804 г.), которымъ было разрѣшено изслѣдованіе волюи истины, «относящейся до гражданскаго состоянія, законоположенія, упражненія государственнаго, или какой-бы ни было отрасли управленія» (§ 22). Редакція С.-Петербургскаго журнала приглашала читателей сообщать ей сочиненія, до предметовъ управленія касающіяся.

Съ 1809-го года начинается второй, усиленный періодъ внутреннихъ преобразованій, который долженъ былъ различными административными мѣрами привести къ органическому единству, завершить ихъ общимъ уложеніемъ, такъ чтобы всѣ части управленія дѣйствовали согласно одна съ другою. Устройство всей государственной системы имѣло цѣлію водворить строгія порядки, замѣнить произволъ законностью, обязать каждаго отвѣтственностью тѣмъ, которымъ вѣдалось управленіе, обезпечить общественные интересы и права каждаго, поставивъ ихъ въ зависимость отъ учреждений, а не отъ лицъ. Выполненіе этой задачи, по мысли государя, возложено было на Операшнаго, первый и главный трудъ котораго состоялъ въ окончательномъ образованіи государственнаго совѣта и въ постановкѣ отношеній между министерствами и сенатами (1). Тѣмъ же государственнымъ дѣятелемъ была выработана мѣра, сильно подвинувшая впередъ образованіе: указъ 1809 г. даровалъ большія служебныя преимущества лицамъ, окончившимъ университетскій курсъ, сравнительно съ тѣми, которые не были въ университетѣ и которымъ для приобрѣтенія такихъ же правъ слѣдовало выдержать особо-установленный экзаменъ. Этою мѣрою дворянство, пренебрегавшее высшимъ ученіемъ ради скорѣйшаго поступленія на службу, принуждено было konkurrirь съ тою частью, что несравненно полезнѣе провести годы предвѣреннаго служенія въ той школѣ, которая готовитъ серьезныхъ гражданъ.

За окончаніемъ войны съ Наполеономъ наступилъ третій періодъ въ томъ направленіи, которое было продолжено самимъ правительствомъ. На защиту отечества вооружившись всѣ русскіе безъ различія, какъ лучшіе по уму и образованію, между которыми находилось много литераторовъ, такъ и необразованные. Для тѣхъ и для другихъ, особенно для первыхъ, не могло пройти безплодно ихъ непосредственное знакомство съ Европой вообще, съ Франціей въ особенности. Отсюда вытекаютъ описанныя въ началѣ учрежденія, которыя даны были этой странѣ по настоячивому желанію

(1) Операшскій и его государственная дѣятельность, О. Дмитриева (Рус. Архивъ 1868).

императора Александра. Возвратясь въ отечество, они и въ разговорахъ и печатнымъ словомъ распространяли усвоенные ими взгляды и понятія, относящіяся къ сферѣ государственнаго и гражданскаго устройства. Политика заняла первое мѣсто въ ихъ бесѣдахъ; какъ прежде, въ эпоху Екатерины II, занимала умы философія энциклопедистовъ. Къ именамъ Адама Смита и Бентама присоединились имена Бенжамена-Констана и другихъ публицистовъ, принявшихъ на себя политическое воспитаніе французскаго народа. Военное сословіе не только не отдалилось отъ такого настроенія, но обнаружилось его даже прежде другихъ, такъ какъ заключало въ своей средѣ не малое число образованныхъ и литературныхъ силъ. Въ 1816 г., въ помѣщеніи гвардейскаго штаба, положено было основаніе бібліотеки, гдѣ офицеры могли заниматься чтеніемъ отборныхъ и полезныхъ книгъ. Въѣстѣ съ этимъ, по созванію государя, образовалось «общество военныхъ людей», которое въ теченіи трехъ лѣтъ (1817 — 1819) издавало Военный журналъ. Въ торжественномъ собраніи этого общества, черезъ годъ по его образованіи, извѣстный литераторъ, О. Н. Глинка, состоявшій при начальникѣ гвардейскаго штаба, генералѣ Сипягинѣ, читалъ «Расужденіе о необходимости дѣятельной жизни, ученыхъ разсужденій и чтеніи книгъ» для человека вообще и для воина въ особенности (іан. 1818). Рекомендуя воину заниматься не однимъ военными науками, но и другими, онъ особенно выставлялъ на видъ пользу знаній политическихъ, изложенныхъ въ сочиненіяхъ Адама Смита, Сесъ, Стюарта, Шлегера, Ганнеля. Тотъ же авторъ, въ брошюрѣ: «Нѣсколько мыслей о пользѣ политическихъ наукъ» (1819), придаетъ этимъ наукамъ тѣмъ большую цѣнность, что онѣ, по его мнѣнію, «всегда служатъ вѣрнымъ признакомъ, неразлучными спутниками народнаго просвѣщенія»; за тѣмъ онъ объясняетъ начала политической экономіи и науки о государственныхъ финансахъ. Означенное умонастроеніе не осталось безъ вліянія: военные люди стали относиться серьезнѣе къ самообразованію, думать объ установкѣ болѣе разумныхъ нравственныхъ и общественныхъ началъ. Переѣзду въ образъ жизни и держаніи лучшаго воинскаго люда нельзя было не замѣтить. Д. Давыдовъ, поэтъ и партизанъ, воспоминавая прежнюю гусарскую жизнь, сетовалъ, что, теперь отъ новой военной молодежи только и слышны только о Жюмни (авторъ многихъ военныхъ сочиненій) ⁽¹⁾. Причина новаго настроенія указана И. В. Васильчиковымъ, командиромъ гвардейскаго корпуса, въ его отвѣтѣ на-

¹⁾

Жюмни, да Жюмни,

А объ водѣ ни полслова (*Письма старому гусару*).

чальнику главного штаба, князю П. М. Волконскому, который удивлялся несоответствию прежнего съ настоящимъ: «Причину надобно искать въ различіи времени. Немногіе изъ насъ (военныхъ) читали тогда газеты, никто не говорилъ о политикѣ; служили утрумъ и веселились вечеромъ⁽¹⁾». На ряду съ стараніемъ офицеровъ возвысить уровень своей образованности возникла мысль о грамотности солдатъ, распространенію которой много содѣйствовали учрежденныя при нѣкоторыхъ полкахъ школы взаимнаго обученія (ланкастерскія).

Общественное мнѣніе настраивалось согласно съ внушеніями, исходящими отъ лицъ официальныхъ. Журналы, болѣе или менѣе выражающія духъ общества, приняли такой же тонъ. «Духъ журналовъ» (1815—1821), т. е. извлечение всего лучшаго и любопытнѣйшаго изъ другихъ журналовъ, издававшихся Яценковимъ, главное вниманіе обращалъ на политику и государственное устройство. Въ особомъ отдѣлѣ его: «Замѣчанія о внутреннемъ состояніи Россіи», предполагалось помѣщать статьи о великихъ способахъ и выгодахъ нашего отечества, о нѣкоторыхъ недостаткахъ и злоупотребленіяхъ, средствахъ къ исправленію оныхъ и къ возникновенію тѣмъ благоденствія нашего. Хотя предполагаемый отдѣлъ и не былъ допущенъ, но въ книжкахъ журнала много печатались статей, прямо или косвенно сюда относящихся, кѣмъ и стоявшихъ подъ другими рубриками, наприм.: «письмо о выгодахъ хорошаго хозяйства», восхваляющее судьбу удѣльныхъ крестьянъ, сравнительно съ помѣщичьими; «замѣчанія о земледѣліи, мануфактурахъ и торговлѣ въ отношеніи къ Россіи»; «письма объ Америкѣ», «система почтъ въ Лондонѣ съ примѣненіемъ къ Россіи» и др. Вообще въ содержаніи «Духа журналовъ» слышался голосъ благонамѣренной и дѣльной публицистики. Другой журналъ («Сѣверный Наблюдатель», 1817), хотя и неважный по своему внутреннему значенію, тѣмъ не менѣе, въ «политическихъ запискахъ» самаго издателя, П. Корсакова, проводилъ мысль о свободѣ, отличая ее отъ волюности, какъ противоположной ей крайности. Выраженіе духа настоящаго времени видѣлъ онъ въ терпимости вѣры и терпимости мнѣній: «мысли благонамѣренныхъ людей изъясняются вслухъ, и если еще встрѣчаются внутри государства частные враги просвѣщенія и тираны умовъ, то всамоудушіе царей не замедлитъ и отъ нихъ освободитъ человечество»⁽²⁾. Изъ всѣхъ знаній «Сѣверный Наблюдатель» отдавалъ главный почетъ наукамъ и художествамъ свободнымъ (studia liberalia), какъ какъ онъ обра-

¹⁾ Письмо 11 сентября 1820 (Рус. Архивъ 1875, кн. 5).

²⁾ № 1.

зошли свободу мысли и въ особенности свободу мысли политических: «Одно изъ отличій свободно-мыслиаго правительства есть позволеніе изъяснять ему вслухъ свои мысли о такихъ предметахъ, въ которыхъ всѣ сословія государства принимаютъ участіе. Публицизмъ о томъ сужденіи даетъ нередко поводъ къ опроверженію настоящаго и къ предложенію новыхъ средствъ, о которыхъ, можетъ быть, до того и не думали» (1).

Годы 1818 и 1819-й были временемъ сильнѣйшаго сочувствія періодической печати къ означеннымъ идеямъ, возбужденнаго крупнымъ событіемъ — рѣчью Императора Александра при открытіи польскаго сейма (15 марта 1818). Эта рѣчь, по выраженію Карамзина, сильно отзывалась въ молодыхъ сердцахъ. Особенное вниманіе привлекли къ себѣ слова Государя, что «законно-свободныя постановленія служатъ непрестаннымъ предметомъ его помысленій и что законы должны ограждать священнѣйшія блага: безопасность личную, собственность и свободу мыслей». По поводу этой рѣчи, профессоръ Царскосельскаго Лицея, Кунинъ, въ журнальной статьѣ (2) показывалъ доброту представительнаго правленія, подтверждая свое мнѣніе выноскою слѣдующаго мѣста изъ рѣчи Государя: «законно-свободныя постановленія, коихъ священныя начала смѣниваются съ разрушительнымъ ученіемъ, угрожающимъ въ наше время бѣдотвеннымъ наденіемъ общественному устройству, не суть мечта опасная; напротивъ, такіе постановленія, когда приводятся въ исполненіе по правотѣ сердца и направляются съ чистымъ намѣреніемъ къ достиженію полезной и спасительной для человечества цѣли, то совершенно согласуются съ порядкомъ и общимъ содѣйствіемъ: утверждаютъ истинное благоденствіе народовъ». Въ томъ же 1818 г., не только позднѣе варшавской рѣчи, С. О. Уваровъ, президентъ Академіи наукъ и почетный членъ с.-петербургскаго учебнаго округа, въ торжественномъ собраніи Главнаго педагогическаго института, по поводу открытія въ немъ кафедръ персидскаго и арабскаго языковъ и возобновленія кафедры исторіи, произнесъ рѣчь, которая произвела значительное впечатлѣніе и заслужила согласную похвалу журналовъ (3). Императоръ Александръ названъ въ этой рѣчи сраспорѣчивымъ, защитникомъ священныя правъ человечества и гражданства, на незыблительности которыхъ основывается высшее политическое образованіе учреждений. «Мы», говоритъ Уваровъ, «по примѣру Европы, начинаемъ помышлять о свободныхъ понятіяхъ... Политическая

(1) Уб. № 2.

(2) О конституціи (Смѣсь Отеч. 1818, № 18).

(3) Рѣчь нап. 1818 г.

свобода не есть состояніе мечтательнаго благополучія, до котораго можно бы было достигнуть безъ трудовъ. Политическая свобода, по словамъ знаменитаго оратора нашего вѣка (лорда Эрскина), есть послѣдній и прекраснѣйшій даръ Бога: но сей даръ приобретается медленно, сохраняется неунышною твердостью; онъ сопряженъ съ большими жертвами, съ большими утратами. Воейковъ написалъ похвальное посланіе къ оратору ⁽¹⁾, а Куницинъ посвятилъ двѣ статьи разсмотрѣнію рѣчи ⁽²⁾. Приведа слова Уварова, что «мы начинаемъ помышлять о свободныхъ понятіяхъ», критикъ замѣчаетъ: «конечно, такъ; но мы давно о нихъ помышляли; никогда не были они чужды русскому народу», — и за тѣмъ приводитъ изъ исторіи, доназательства своей мысли. «Опытъ теоріи налоговъ», Н. Тургенева (1818), возбуждѣлъ, не менѣе рѣчи Уварова, сильное вниманіе журналистики. Въ этомъ серьезномъ трудѣ для читателей имѣло особенную важность не столько главное его содержаніе, о которомъ, какъ о специальномъ предметѣ, могли судить весьма немногіе, сколько притоснованные къ нему предметы, именно замѣтки о крѣпостномъ правѣ и о гласности ⁽³⁾. Къ тому же авторъ касался новаго духа времени, жалѣя, что общей дѣятельности, общему стремленію къ образованности и благосостоянію препятствовало существованіе рабства. Критикомъ этой книги явились Куницинъ ⁽⁴⁾ и Ф. Глинка ⁽⁵⁾. Наконецъ, упомянемъ еще о книгѣ Куницина: «Право естественное», являющей какъ съ образомъ мыслей автора, такъ и вообще съ направленіемъ тогдашнихъ умовъ ⁽⁶⁾.

Само собою разумѣется, что вышеизложенные факты не могли заручить вопроса о крѣпостномъ правѣ; напротивъ онъ, находя себѣ опору въ рѣчи Государя при открытіи варшавскаго сейма, еще сильнѣе выдвинулся на передній планъ. Периодическая литература, съ болѣею настоятельностью проводила мысль о личной

¹⁾ В. Евр. 1819, № 5.

²⁾ Сынъ Отечества 1818, №№ 23 и 24.

³⁾ Напр. стр. 118—121, 124—125, 274—275 (2-е изд. 1819).

⁴⁾ Сл. От. 1818, №№ 50 и 51.

⁵⁾ Въ брошюрѣ Кнѣзьское мнѣніе о новомъ политическомъ наукѣ (1819).

⁶⁾ Въ двухъ частяхъ: 1-ая часть (право чистое) — 1818; 2-ая (право прикладное) — 1820. По выходѣ второй части, заслужившей одобреніи отъ главнаго правленія училищъ, предполагалось поднести ее Государю, но чрезъ нѣсколько дней, согласно съ мнѣніемъ члена правленія Рунича, книга была запрещена, изъята изъ продажи и отобрана какъ изъ библиотекъ, такъ и отъ частныхъ лицъ, успѣвшихъ приобрести ее («Магницкій» въ Рус. Вѣст. 1864, июнь). Но такой исходъ дѣла объясняется уже поворотомъ внѣшней и внутренней политики, съ 1820 года, въ противоположную сторону.

свободѣ крестьянъ. Укажемъ на статьи: «о рабствѣ въ иностранныхъ государствахъ», и «всегдашнее наипоспешнейшее уподобѣ рабства и крѣпостнаго состоянія въ Европѣ и въ ея колоніяхъ» (1). Особенное дѣйствіе произвела рѣчь малороссійскаго генералъ-губернатора, кн. Н. Г. Репнина, при открытіи дворянскихъ собраний въ Полтавѣ и Черниговѣ (3 и 20 января 1818) (2). Напоминая дворянамъ волю Государя, ижебы благоустройство внутреннихъ дѣлъ частію было совершаемо самимъ дворянствомъ, а именно — попеченіями его о судьбѣ крѣпостныхъ крестьянъ, начальникъ края обретаеся потомъ къ благородному сословію съ слѣдующими словами: «Корыстолюбіе неимаме будеть изъ сердець вашихъ; вы не будете выискивать все, что можете дать вамъ крестьянинъ доходу, а то, что вы можете отъ него требовать, не уменьшая благоденствія его; напротивъ, вы изыщете способъ увеличить оное; вы пожертвуете для сего изъ доходовъ вашихъ; вы устроите училища для малолѣтнихъ, больницы для недугующихъ; вы умножите книжки крестьянъ вашихъ; вы снабдите неимущихъ свѣтомъ и плугами для раздѣлыванія земель; вы займетесь нравственностію подвластныхъ вамъ и отвлечете ихъ отъ перова, столь между простолюдинами адѣсь обыкновеннаго, и не будете на немъ основывать дохода своего. Но сіи отеческія попеченія ваши да не будутъ подвержены кратковременности жизни человеческой: оснуйте и на будущія времена благоденствіе чадъ и внучатъ вашихъ. По истиннымъ познаніямъ, вашимъ изыщете способъ, коими, де нарушая спасительной связи между вами и крестьянами вашими, можно бы было обезнечить ихъ благосостояніе и да трудяща времена, опредѣлите обязанности ихъ. Чрезъ сію единственную шѣру предохраните вы ихъ навсегда отъ тѣхъ притѣсненій, которыя, по несчастію, еще доселѣ случаются; избавите правительство отъ горестной обязанности преслѣдовать оныя; а благородное сословіе ваше отъ нареканій, исходящихъ чрезъ воступки людей, недостойныхъ быть сочленами оного». Не столько отими и другими таково же смысла замечаніями, исходящими какъ отъ правительства и его органовъ, такъ и отъ частныхъ лицъ, шутимъ мечати, были вызвонованы и напутаны многіе, достаточно показывають писма Сераванова къ Столцкину, 1818 и 1819-го годовъ (3).

1) Первая въ Духѣ журналовъ (1818, кн. 12); вторая въ В. Евр. (1819, № 14), переведена изъ Шторхова курса политической экономіи, который былъ напечатанъ на издѣніи Государя.

2) Начальная откъзвѣтъ, оны были перепечатаны въ Духѣ журналовъ (1818, № 20).

3) Рус. Архивъ 1871, кн. 1, стр. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Направленіе, сложившееся подъ союзнымъ дѣйствіемъ указанныхъ вліяній, получило названіе либеральнаго, а лица, его усвоившія, отличались именемъ либераловъ или, по тогдашнему, либералистовъ. Въ образѣ мыслей этихъ лицъ, иначе въ либеральныхъ идеяхъ, выразался духъ времени. «Нынешній духъ времени», сказано въ одномъ журналѣ, «ни обетивалыхъ развалинахъ творяцій новыя лучшія зданія, есть самый благодѣтельный: посему то онъ оживляется содѣйствіемъ самихъ государей, имѣющихъ благороднѣйшій образъ мыслей. Подъ руководствомъ такихъ вождей предадимся благотворному стремленію и въ сладостной надеждѣ будемъ ожидать еще счастливѣйшихъ временъ» (1). Такъ называемые либералы составили образованное меньшинство общества. Но и этотъ небольшой общественный кругъ имѣлъ, конечно, разныя степени; ибо если, съ одной стороны, нѣкоторые способны усвоивать тѣ или другія идеи не болѣе, какъ усвоивается избыточное знаніе, безъ убѣжденія въ ихъ истинности и безъ душевной потребности осуществить ихъ въ жизни; то, съ другой, тѣ же самыя идеи становятся для нихъ жизненнымъ началомъ, неизбѣжнымъ обязательствомъ. Люди послѣдняго рода и составляли вѣдущую часть образованнаго меньшинства эпохи Александра I. Въ ихъ сознаніи твердо заложено было понятіе о правильномъ, нормальномъ образѣ человѣческаго существа. Устроить свою собственную судьбу соотвѣтственно этому идеальному понятію было ихъ задачей, для рѣшенія которой они запасались не твердыми основами, какъ точкой исхода, и образованіемъ, какъ средствомъ къ достиженію цѣли, и силою внутреннего влеченія, необходимой для того, чтобы не останавливаться на полпути. Интересы умственные, нравственные и эстетическіе возбуждали въ нихъ полное сочувствіе, какъ высшія блага человѣческой природы. Но своей осмысленной жизни, по своему просвѣщенію, справедливости, честности и благородству, они возвышались надъ другими тѣмъ, что были знакомы съ вопросами о состояніи отечественнаго и общеевропейскаго быта, съ тѣми законными нуждами, которыя заявила современность, и съ тѣми орудіями, которыми можно было удовлетворить заявленное. Сознаніе нравственнаго превосходства и умственной самостоятельности сформировало ихъ характеръ. Независимость. Они понимали, что въ средѣ ихъ образуется разумное общественное мнѣніе, которое должно давать тонъ большинству, а не подчиняться сужденіямъ большинства.

Въ виду указанного, прогрессивнаго движенія, Карамзинъ

(1) Въ ст. «О духѣ времени» (Украинскій Вѣстникъ 1818, июль).

остался при своих прежнихъ понятіяхъ. Онъ держался въ сторонѣ отъ современнаго ему либерализма, не находя въ немъ духа истинной свободы—ни правдивой, ни человѣческой, и сопоставляя его съ доктриной революціонныхъ дѣятелей XVIII-го вѣка. Когда онъ пріѣхалъ въ Петербургъ, въ 1816 г., то на него многие смотрѣли какъ на челоуѣка отсталого, ретрограда. Одинъ изъ министровъ (1), не смотря на давнее съ нимъ знакомство, даже оказалъ ему холодный пріемъ, какъ провиннику, новикъ идей. Политическія движенія въ Германіи, Италіи и Испаніи утишили отвращеніе Карамзина отъ «либерализма», или «просвѣтителей», какъ онъ называлъ ихъ. Онъ боялся за успѣхъ челоуѣческаго совершенствованія, какъ, уже прежде, боялся въ эпоху французской революціи. Въ письмѣ изъ Царскаго Села за границу (1822), онъ указываетъ роль, предназначенную государю: «Вы служите орудіемъ провидѣнію. Здѣсь (въ Россіи) либералисты, тамъ сервиллисты; истина и добро въ среднѣхъ: вотъ ваше мѣсто, прекрасное, славное!». Отрывокъ, написанный въ послѣдній годъ его жизни, излагаетъ нѣсколько мыслей объ истинной свободѣ. Дѣйствія аристократовъ и сервиллистовъ, демократовъ и либералистовъ объясняются здѣсь единственно домогательствомъ личныхъ выгодъ. Кто же даетъ истинную свободу, «бвѣзъ которой для существа нравственнаго нѣтъ блага?» Не, по сужденію Карамзина, «даетъ не государь, не парламентъ, а каждый изъ насъ самому себѣ, съ помощію Бога». Свободу мы должны завоевать въ своемъ сердцѣ миромъ совѣсти и довѣренностію въ провидѣнію. Изъ этого отвѣта видно, что Карамзинъ выступилъ собственноручно изъ области предмета: онъ говорилъ о внутренней независимости, которая пріобрѣтается самосовершенствованіемъ челоуѣка, а не о политической свободѣ, которая утверждается правительственными учрежденіями и мѣрами, согласно съ общественнымъ мнѣніемъ. Отношеніемъ Карамзина къ «новымъ идеямъ» объясняется недовольство, возбужденное имъ въ сторонническихъ эгкахъ, и обнаружившееся при появленіи въ свѣтъ «Исторіи». Замыслившимъ были написаны на нее Грибоѣдовымъ и Пушкинымъ. Послѣдній, въ своемъ «Запискѣ», говоритъ, что «молодые якобинцы находили въ исторіографѣ въ его умѣренность». Появились народни на томъ же изложеніи (переложеніи перницъ глгвъ Титалина слогомъ Карамзина) и неблагоприятное мнѣніе объ ея основной мысли, принадлежащее Н. М. Муравьеву (2). Самъ Карамзинъ, въ письмѣ къ Дмитріеву,

1) По догадкѣ Погодина, Козадавлевъ, министръ внутреннихъ дѣлъ.

2) Оно напечат. Погодинымъ въ «Матеріалахъ для біографіи К.» (ч. 2, стр. 199—208).

(28 ноября 1818 г.) говорить, что Н. И. Тургеневъ, авторъ «Опыта теоріи налоговъ», смотрѣлъ на него косо...

§ 12. Одновременно съ либеральнымъ движеніемъ происходили два другія: масонское и мистическое.

Масонство, о которомъ, по иностраннымъ свидѣніямъ, при императорѣ Павлѣ и слуху не было, возобновило свою дѣятельность въ царствованіе Александра I въ 1803 г. Съ его разрѣшенія, на ряду съ организацией новыхъ ложъ стали возстановляться и прежде существовавшія, такъ какъ были еще живы многие масоны Екатерининскаго времени (Новиковъ, Лопухинъ, Тургеневъ, Гамалія, Пондѣвѣвъ, Ключаревъ...) и послѣдователи ихъ (Лабзинъ, Невзоровъ...). Въ 1810 г. основана «Директоріальная ложа Владиміра въ порядкѣ», а въ 1815-мъ «Великая ложа Астрон»: первая управляла тремя соединенными ложами въ Петербургѣ, а въ союзѣ второй состояли уже двадцать четыре ложи. Кромѣ столицъ, ложи находились во многихъ провинціальныхъ городахъ. Направленіе масонскихъ работъ въ ложахъ зависѣло отъ разныхъ вліяній, частью приходившихъ изъ Германіи, частью возникавшихъ въ самой русской общественной средѣ. Къ числу первыхъ принадлежали: система Шредера, который отвергалъ высшія масонскія степени, не имѣвшія никакого смысла, и, слѣдуя Лессингу, старался придать масонству значеніе космополитической человѣчности, и ученіе Фесслера, вызваннаго Сперанскимъ въ Россію на профессуру еврейскаго языка, а потомъ философіи въ с. н. б. духовной Академіи: онъ ставилъ масонству высокія философическія задачи, видѣлъ въ немъ средство для нравственнаго воспитанія, на которомъ должно основываться гражданское. Вліяніе втораго рода внесено въ ложи лицами либеральнаго круга, которые желали направить дѣйствія масонскаго союза на политическую пропаганду. Такое намѣреніе было уже рѣшительнымъ уклоненіемъ отъ основнаго характера общества, которое единственною цѣлю своихъ занятій поставило «усовершеніе благополучія человѣковъ исправленіемъ нравственности, распространеніемъ добродѣтели, благочестія», или, по словамъ Лопухина, «моральное перерожденіе, которое дѣлаетъ человека образомъ и подобіемъ Божіимъ». Указанныя вліянія служили причиной разногласія въ средѣ масонскаго общества: одни его члены дѣйствовали въ духѣ старой московской мистики; другіе слѣдовали новѣйшему, болѣе рациональному масонству; въ системѣ Шредера и Фесслера; третьи хотѣли сообщить ложахъ стремленія политическія. Къ этому присоединились большія злоупотребленія, обращавшія собраніе въ ложахъ въ игру большахъ дѣтей, которыя добивались высшихъ степеней, потому что съ ними соединены были наружныя знаки

отличія, или въ средство предаваться разгульному пріисестію, какъ это раскрыто многими свидѣтельствами ⁽¹⁾. Но подобныя злоупотребленія не закрываютъ, однаковъ, пользы масонства: оно развивало въ серьезныхъ людяхъ сознаніе челоуѣческаго достоинства и тѣсно связанное съ тѣмъ чувство собственной независимости, какъ это и видимъ на примѣрѣ многихъ масоновъ и Елизаветинскаго и Александровскаго вѣрени. Безспорно, возникшіе въ другихъ государствахъ отъ существованія разныхъ тайныхъ обществъ, побудили наше правительство, указомъ 1822-го года, закрыть всѣ масонскія ложи и впредь не дозволить ихъ учрежденія ⁽²⁾.

Движеніе мысли въ области мистики, значительное уже въ прошломъ столѣтіи, усилилось при Александрѣ I и выразилось рядомъ переводныхъ и оригинальныхъ сочиненій, образующихъ богатый и во многихъ отношеніяхъ любопытный отдѣлъ мистико-религіозной литературы, сущность и важнѣйшіе факты которой будутъ изложены ниже.

Мистикѣ не должно смѣшиваться съ масонствомъ. Она возникла раньше масонства, хотя адепты его и возводять начало этого общества къ отдаленной эпохѣ. Если масоны были болѣе или менѣе мистики, то отсюда вовсе не слѣдуетъ, что каждый мистикъ есть непремѣнно масонъ. Если, съ одной стороны, мистика развивалась въ масонскомъ кругу, то, съ другой, существовали такіе масонскія ложи, которыя положительно преслѣдовали мистическое направленіе масонства. Хотя масонъ можетъ быть въ то же время и мистикомъ, равно какъ и мистикъ можетъ быть въ то же время масономъ; однаковъ, не смотря на это, мистика и масонство—явленія сами по себѣ, особенныя и самостоятельныя.

Какъ мы видѣли, главными представителями религіозной мистики, во второй половинѣ прошлаго вѣка, были Новиковъ, Тургеневъ, Лопухинъ, Гамалѣя. Кромѣ оригинальныхъ трудовъ двухъ послѣднихъ лицъ, явились переводы нѣкоторыхъ твореній, приписываемыхъ Діонію Ареопагиту, а также книги Арида (объ истинномъ христіанствѣ), Беа (таинство креста) и Семя-Мартена (о заблужденіяхъ и истинѣ)—составившихъ наиболѣе капитальный матеріалъ, посредствомъ котораго любители духовнаго чтенія, во второй половинѣ XVIII-го вѣка, познакомились съ ученіемъ ми-

¹⁾ Записки Вигеля; романъ Нарбѣнаго: «Россійскій Жилъблѣзъ»; Разсказъ и письмо Степанова о принятіи его въ логу (Рус. Старина 1870, т. 1).

²⁾ Общественное движеніе при Александрѣ I, А. Пипина; Матеріалы для исторіи масонскихъ ложъ (Вѣст. Европы 1872, январь, февраль и мартъ) и Хронологическій указатель русскихъ ложъ (масонскихъ), его же; Ученіе масонскихъ ложъ въ Россіи (Рус. Старина 1877, т. 18).

стиновъ, хотя это знакомство и не могло имъ сообщить ясныхъ понятій о мистикѣ въ чистомъ ея значеніи, такъ какъ и переводчики и авторы наши не имѣли сами опредѣленныхъ свѣдѣній о предметѣ, ихъ интересовавшемъ: они постоянно смѣшивали, даже отождествляли его съ пietetизмомъ, теософіей, алхиміей, кабалистикой и другими предметами, такъ что въ результатъ выходила смутность, запутанность представлений.

Начиная съ первыхъ годовъ текущаго столѣтія, за все царствованіе Императора Александра I выходятъ или новыя изданія прежде изданныхъ книгъ, или новыя переводы и новыя оригинальныя сочиненія. Къ Діонисію Ареопagitу, Баму, Аридту, Сень-Мартену и другимъ присоединяются Таулеръ, Экартсгаузенъ, Юнгъ Штиллингъ, Дю-Туз, Гюйонъ.... Вообще, періодъ времени съ 1814 г. по 1825-й наиболѣе обогатилъ нашу мистическую литературу, что и заставило одного переводчика сказать съ радостью: «благодареніе Богу! у насъ теперь довольно вышло и выходитъ мистическихъ книгъ, такъ что въ оредствахъ нѣтъ недостатка».

Журналъ «Сіонскій вѣстникъ», начатый и прекращенный въ 1806-мъ году, а потомъ возобновленный въ 1817-мъ, въ трехлѣтнее свое существованіе наполнялся почти исключительно статьями мистико-религіозными. Издатель его, Лабзинъ, «ученикъ масоновъ», какъ онъ называлъ себя¹⁾, былъ самымъ дѣятельнымъ и самымъ даровитымъ распространителемъ идей Бама, Экартсгаузена, сочиненія которыхъ также переводилъ на русскій языкъ. Другой журналъ, «Другъ юношества», значительную часть своего отдѣла посвящалъ тому же мистико-религіозному ученію, давая тѣмъ знать, что оно служитъ назидательнѣйшей пищей не только для старыхъ и возрастныхъ, но и для юношества. Въ трудахъ его издателя, Невзорова, принималъ равностное участіе Допухинъ, доставляя ему и собственныя свои работы, и сочиненія князя Н. В. Реннина, сановника при Екаториѣ II и Павлѣ I и масона-мистика, пользовавшагося большимъ почетомъ въ средѣ людей одного съ нимъ религіознаго духа. Въ обществѣ съ двумя указанными журналами направленіе издавался, при с. петербургской духовной академіи, третій журналъ: «Христіанское чтеніе» (съ 1821 г.); по крайней мѣрѣ въ первыхъ годахъ этого изданія несомнѣнно его стремленіе въ сторону мистико-религіозныхъ взглядовъ и представлений.

Но на этомъ непрерывномъ пути религіозной мистики былъ

¹⁾ Почему и подписывался подъ статьями своими: У. М.

моментъ ея ускореннаго движенія, ея наибольшаго возбужденія, именно—вторая половина царствованія Александра I (1812—1825). Что же служило къ тому поводомъ? Историки нѣмецкой мистики приписываютъ развитіе оной въ Германіи, въ первой четверти нашего столѣтія, слѣдующимъ обстоятельствамъ: во-первыхъ, индифферентизму къ религіи вообще, унаслѣдованному отъ прошлаго вѣка и своею крайностью вызвавшему противоположное ему явленіе, какъ реакцію; во-вторыхъ, политическому положенію Германіи, приниженному деспотизмомъ Наполеона и принизившему народный духъ, который, за невозможностью проявить свою силу во внѣшнихъ дѣйствіяхъ, долженъ былъ погружаться во внутрь самого себя и здѣсь искать успокоенія и развитія; въ-третьихъ, философіи Канта, Фихте и въ особенности Шеллинга, ученіе котораго заключаетъ въ себѣ богатый родникъ мистическихъ созерцаній. Изъ этихъ трехъ обстоятельствъ только первое могло у насъ имѣть мѣсто, такъ какъ извѣстно, что многіе русскіе второй половины XVIII-го и первой четверти XIX вѣка, увлекшись вольтеріанизмомъ, совершенно охладѣли къ вѣрѣ, въ чемъ и полагали свое умственное превосходство. Такимъ явленіемъ объясняется другое, состоящее въ томъ, что наши мистики постоянно воюютъ съ французской философіей XVIII-го вѣка, какъ съ главнымъ врагомъ своимъ. Лекціи Шварца, журналы Новикова, Лабзина и Невзорова, равно какъ и всѣ другія сочиненія одного съ ними характера, настойчиво опровергая французскихъ энциклопедистовъ, раскрываютъ нравственную гибель, кроющуюся въ нихъ для христіанъ⁽¹⁾. Что касается до втораго обстоятельства, то положеніе Россіи не только не имѣло никакого сходства съ бѣдственнымъ положеніемъ Германіи, но и оказалось совершенно ему противоположнымъ. Борьба съ Наполеономъ довела Россію до первенствующаго политическаго значенія, а императору Александру — имя освободителя Европы. вмѣсто уничтоженія народнаго духа, она возвысила его, была источникомъ его торжествъ и славы. Но это же самое и породило усиленное движеніе религіозной мистики. Неожиданныя послѣдствія мировыхъ событій, превысивъ мѣру самыхъ пламенныхъ патріотическихъ желаній, самыхъ отважныхъ предположеній оптимизма, направило тогдашнихъ людей къ признанію сверхъ-естественной силы, дѣйствовавшей, по своимъ предначертаніямъ, на перекоръ земнымъ расчетамъ и замысламъ. Торжествующій духъ видѣлъ свой первый долгъ въ смиреніи предъ непостижимымъ ходомъ вещей. Все

¹⁾ По свидѣтельству Сперанскаго, одинъ изъ преподавателей въ Александровской семинаріи проповѣдывалъ ученикамъ Вольтера и Дидро.

склоняло его къ таинственному и погружало въ таинственность. Самъ Государь смотрѣлъ на себя, какъ на избранника свыше, какъ на орудіе Провидѣнія, отрицая вліяніе собственной силы. Мистическое чувство, при врожденной къ тому наклонности, равно какъ и подъ дѣйствіемъ всемірно-исторической роли, выпавшей ему на долю, глубоко коренилось въ его сердцѣ. Нельзя объяснить такого явленія какимъ-либо постороннимъ, случайнымъ фактомъ, напр. знакомствомъ съ г-жею Крюднеръ ⁽¹⁾: послѣднее могло совпадать съ первыми, главными причинами—и только.

Побуждаемый этимъ чувствомъ, императоръ любилъ бесѣдовать о внутреннемъ дѣйствіи Св. Духа, ожидалъ духовныхъ благъ и получалъ ихъ посредствомъ внутренняго назиданія и озаренія свыше, молился духовной молитвой ⁽²⁾. Имена его и великаго князя Константина Павловича стоятъ во главѣ лицъ, получавшихъ Сіонскій Вѣстникъ на 1817 г. Высочайшему же имени посвящены переводы «Христіанской философіи», Дю-Туа (1815—1817), и «Благоговѣйныхъ размысленій о жизни и страданіяхъ Христа Спасителя», Таулера (1823). Послѣдній изданъ по повелѣнію Государя; а въ предисловіи къ первому, переводчикъ (Трескинъ), указавъ характеръ ученія, изложеннаго въ книгѣ Дю-Туа, говоритъ: «Се наука, се философія, се свѣтъ и просвѣщеніе, коимъ ты, Государь, желаешь озарить народъ твой! Се еще то знаменіе, по коему высочайше-премудрый Иисусъ Христосъ образуется въ Тебѣ и ты въ Немъ». Министръ духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія, кн. А. Н. Голицынъ, искренно былъ преданъ тому же настроенію и, благодаря своему высокому посту, много содѣйствовалъ къ распространенію религіозной мистики. Идея внутренняго возрожденія захватила въ свой кругъ многихъ дамъ образованнаго и высшаго круга (княгиню Анну Голицыну и сестру ея княгиню Софью Мещерскую, Стурдзу, Хвостову). Нѣкоторые члены духовенства, высшего и низшаго, сочувствовали дѣятельности тѣхъ, которые или своимъ служебнымъ вліяніемъ, или путемъ литературы давали пишу мистическому настроенію духа ⁽³⁾. Изъ свѣтскихъ лицъ достаточно назвать Сперанскаго, предавшагося мистическимъ занятіямъ съ 1804-го года, и Лубяновскаго. Наконецъ мистическая атмосфера охватила и дѣтей: по рассказамъ кн. А. Н. Голицына

¹⁾ Vie de mad. de Krudener, par Eynard.

²⁾ Записки вѣвкера о пребываніи въ Россіи 1818—1819 г. (Рус. Старина, 1874, январь).

³⁾ И. И. Глазуновъ передавалъ мнѣ, что между бумагами покойнаго отца его, книгопродавца, находятся письма многихъ священниковъ, которые нетерпѣливо желали знать, когда выйдетъ новая книжка «Сіонскаго Вѣстника».

американскому квакеру, на записки которого мы ссылались, дѣти, озаренныя Св. Духомъ, дѣлались орудіями обращенія своихъ родителей (¹). Конечно, не каждый ступалъ на путь мистики по искреннему убѣжденію, но и за вычетомъ лицъ, платившихъ дань простому подражанію или модѣ, оставался еще значительный итогъ, который и служить доказательствомъ дѣйствительно-усиленнаго распространенія религіозной мистики во второй половинѣ царствованія Александра I.

Вышеизложенными причинами обусловились наибольшая сила мистическаго движенія въ извѣстный періодъ нашей исторіи. Но кромѣ того необходимо указать причину общую, производившую одинаковое послѣдствіе, гдѣ бы и когда бы оно ни обнаруживалось. Исторія мистики показываетъ, что возникновеніе послѣдней всегда было вызываемо тѣмъ состояніемъ, въ какомъ находилась господствующая церковь. Мистика, равно какъ и другіе родственные ей предметы (напр. піетизмъ), развивалась обыкновенно какъ противодѣйствіе формализму и разсудочной теологіи. Духъ вѣрующаго, стѣсненный внѣшностью культа и оцѣпенѣлой догматикой, стремился освободиться отъ того и другаго, и находилъ свое освобожденіе въ чистой, внутренней, духовной религіозности: онъ погружался въ мистическое созерцаніе. Въ буквѣ, въ непреложныхъ постановленіяхъ, онъ видѣлъ не одежду, прикрывающую истину, а покровъ, скрывающій истину, и потому отвергалъ ихъ, вмѣстѣ съ ихъ служителями, какъ преграду ближайшему отношенію человѣка къ Богу, непосредственному общенію конечнаго съ безконечнымъ. Такъ было въ религіяхъ нехристіанскихъ, такъ было и въ христіанствѣ. Противъ инквизиціоннаго вѣроученія выступила мистика аломбрадовъ, противъ іезуитизма—квіетизмъ. Когда, въ XVI вѣкѣ, протестантизмъ отъ чистой, правдивой вѣры сердца хотѣлъ замѣниться въ ученіе мертвящей буквы, тогда явились Арндтъ и Яковъ Бемъ, изъ которыхъ первый своею книгою «объ истинномъ христіанствѣ» старался возвратить церковную ортодоксію на истинный путь. Тѣми же причинами объясняется дѣятельность Шпенера, творца нѣмецкаго піетизма, въ XVII-мъ вѣкѣ, и дѣятельность Лафатера и Юнга Штиллинга на пользу мистицизма въ XVIII-мъ (²).

Судя по свидѣтельствамъ современниковъ, и у насъ формализмъ обращалъ на себя вниманіе какъ недостатокъ, который долженъ былъ устремить религіозное чувство въ противоположную сторону. Въ разговорѣ съ квакеромъ, Александръ I жаловался на то, что

¹) Записки квакера.

²) Статья «мистика», въ Real-Encyklopädie für protestantische Theologie und Kirche, von Herzog, t. 10.

былъ съ дѣтства приученъ къ формальной молитвѣ, не удовлетворявшей его внутреннимъ потребностямъ. Такого же рода жалобы слышалъ иностранецъ и отъ свѣтскихъ людей, утомленныхъ формами и обрядами внѣшней церковной жизни и искавшихъ дѣйствительнаго и существеннаго въ предметахъ вѣры, и отъ лицъ духовныхъ. Одинъ монахъ въ Москвѣ сказалъ ему: «всѣ внѣшніе обряды и церковные обычаи составляютъ лишь форму; Христосъ же и Духъ Его суть сущность; на нихъ мы должны опереться, а безъ нихъ все прочее не принесетъ намъ никакой пользы» (1). Самыя слова митрополита Михаила, имѣвшія преимущественною цѣлью направить паству на путь внутренней, духовной жизни, служатъ нѣкоторымъ указаніемъ не только того, что составляетъ истинное христіанство, но и того, въ чемъ онъ видѣлъ недостатокъ ноучаемыхъ имъ христіанъ.

Вторымъ предметомъ обвиненія служили проповѣдное слово и другія духовныя сочиненія того времени. Здѣсь мы ссылаемся на переписку Сперанскаго съ архіепископомъ калужскимъ Теофилактомъ (Русановымъ) (2). Какъ Арндтъ, въ книгѣ «объ истинномъ христіанствѣ», такъ и Сперанскій указывали на одинаковое явленіе въ разныя эпохи—на преобладаніе полемическаго характера въ церковной литературѣ. Сочиненія, сюда относящіеся, пишетъ Сперанскій, говорятъ не съ христіанами, а съ безбожниками и деистами, тогда какъ первое было бы нужнѣе послѣдняго. Каждый пастырь прежде всего долженъ сохранить и усовершенить стадо, ему ввѣренное. Споръ и препинаніе не лучшее къ тому средство: они возбуждаютъ только пытливость духа и рѣдко убѣждаютъ; долгъ пастырей—наставлять христіанъ на переходѣ отъ внѣшняго христіанства къ внутреннему (3). Для этой цѣли онъ и рекомендуетъ христіанамъ читать творенія Климента Александрійскаго и Августина, «Добротолюбіе», «О подражаніи Христу», Томы Кемпійскаго, равно сочиненія Фенелона и Гюйонъ. Вопросъ, какъ видно, касался преобладанія богословскаго догматизма надъ ученіемъ христіанской нравственности. Въ одномъ мѣстѣ «Сіонскаго вѣстника», по поводу статей: «Духъ и истина», издатель журнала (Лабзинъ) замѣтилъ, что онѣ предлагаются тѣмъ читателямъ, которые въ «обыкновенныхъ» наставленіяхъ о религіи не находятъ полнаго себѣ удовлетворенія. Чѣмъ же отличаются эти обыкновенныя наставленія? Особенность ихъ состоитъ въ томъ, что Сперанскій въ письмѣ къ Теофилактору назвалъ внѣшнимъ путемъ

1) Записки квакера.

2) Въ память гр. М. М. Сперанскаго (1872).

3) Письмо 5 сентября 1804 г.

христіанина: «Я называю внѣшнимъ путемъ сію нравственную религію, въ которую стѣснили мірскіе богословы ученіе божественное; я называю внѣшнимъ путемъ сіе обезображенное христіанство, покрытое всѣми цвѣтами чувственного міра, соглашенное съ политикою человѣческихъ обществъ, ласкающее плоти и страстямъ, или по крайней мѣрѣ ихъ не умерщвляющее, христіанство слабое, уклончивое, самоугодливое, которое отъ языческаго нравственного ученія различно только словами, которое мѣста трудныя въ св. писаніи изъясняетъ тропами и фигурами и истинный ихъ разумъ насилуетъ тщетнымъ разумомъ суетумудрія. Въ семъ христіанствѣ самыя обряды потеряли ихъ истинный смыслъ и превратились въ мертвую букву» (1). Въ такомъ же смыслѣ выразился Штиллингъ объ одномъ разрядѣ нѣмецкаго духовенства, которое проповѣдывало только о должностяхъ человѣка, только одну мораль, едва упоминая о томъ, что принадлежитъ до спасенія человѣка, или и вовсе не касаясь этого. Проповѣдниковъ этого рода онъ называетъ друзьями внѣшняго просвѣщенія, неологами или нововѣрами (2).

§ 13. Теперь намъ предстоитъ обзоръ литературныхъ произведеній, въ главныхъ отдѣлахъ поэзіи и прозы.

Относительно формы, литература первыхъ двадцати лѣтъ XIX вѣка, въ большинствѣ своихъ явленій, служила продолженіемъ литературы Екатеринина времени. Французскій классицизмъ долго не уступалъ своей власти другимъ направленіямъ. «Исключительная любовь къ французской словесности», писалъ Батюшковъ въ 1814 г., «неизлечима: она выдержала всѣ возможныя испытанія и времени и политическихъ обстоятельствъ. Все было сказано на сей счетъ; всѣ укоризны, всѣ насмѣшки Талии и людей просвѣщенныхъ остались безъ пользы, безъ вниманія» (3). Но укорять и смѣяться легко; другое дѣло—замѣстить достойное укора и смѣха чѣмъ-либо инымъ: вотъ здѣсь-то возникаетъ настоящая трудность. Наши служители Талии, выставляя на публичный смѣхъ пристрастіе къ французской словесности, шли по слѣдамъ той же словесности: они переводили Мольера, Детуша и другихъ комиковъ временъ Людовика XIV и Людовика XV, или подражали имъ по мѣрѣ своихъ способностей. Наша сатира противъ галломаніи страдала тою же самою болѣзнію: она была переводомъ сатиръ Буало или такъ называемымъ ихъ воспроизведеніемъ, которое нерѣдко огра-

¹⁾ Въ память Смерскаго, стр. 373—374.

²⁾ Угрозъ Свѣтовостоковъ, переводъ Лабзина, 8 ч. или 30 кн. (1806—1815). См. книжку 16-ую.

³⁾ Письмо къ И. М. Муравьеву-Апостолу о сочиненіяхъ М. Н. Муравьева (Полное собраніе сочиненій М. Н. Муравьева, 1819, ч. 1).

ничивалось замѣной иностранныхъ собственныхъ именъ русскими. Просвѣщенные люди, о которыхъ упоминаетъ Батюшковъ, всѣ почти получили свое просвѣщеніе изъ французскихъ книгъ, на французскій ладъ. Исключительное господство псевдоклассицизма въ нашей литературѣ извѣстнаго періода есть явленіе историческое, необходимое слѣдствіе нашей цивилизаціи, общее съ такимъ же слѣдствіемъ въ другихъ странахъ. Отрѣшеніе отъ избранной доктрины или образца возможно только при помощи новыхъ доктринъ или новыхъ образцовъ. Для знакомства же съ произведеніями другихъ литературъ, кромѣ французской, и другими теоретиками, кромѣ Буало, прежде всего необходимо знаніе иностранныхъ языковъ, не одного французскаго. Это знаніе заходило въ среду нашихъ литераторовъ случайно. Да и случайное знаніе обращалось на пользу лжеклассицизма. Ломоносовъ зналъ нѣмецкій языкъ, но подражалъ нѣмцамъ именно въ томъ, что они заимствовали у французовъ; Княжнинъ зналъ италіанскій языкъ, но его Дидона и Софонисба — трагедіи совершенно французской постройки. Мы и греко-римскихъ классиковъ переводили съ французскихъ переводовъ. Что касается до теоріи изящныхъ искусствъ и поэзіи въ особенности, то въ нашихъ университетахъ, или лучше въ московскомъ университетѣ, эстетика и піитика преподавались не такимъ образомъ, который могъ бы указывать односторонность и недостатки французскаго классицизма и внушать сочувствіе къ другимъ поэтическимъ направленіямъ. Профессоръ Сохацкій и его преемникъ Мерзляковъ вооружались противъ возникавшаго романтизма. Еще строже осуждалъ Мерзляковъ произведенія А. Пушкина. Онъ никакъ не хотѣлъ приписать успѣхъ комической оперы «Мельникъ» (Аблесимова) тому обстоятельству, что она, по общему тогда понятію, «сочинена въ русскихъ нравахъ». Съ его точки зрѣнія популярность пьесы объясняется сохраненіемъ въ ней законовъ классической драмы. Въ одномъ изъ критическихъ чтеній ⁽¹⁾ онъ доказываетъ, что «Мельникъ», подобно лучшимъ трагедіямъ и комедіямъ, вполне оправдываетъ эстетическіе законы Аристотеля, наставленія Горация и Буало, и вообще правила науки о вкусѣ. Между тѣмъ критикъ, по своему происхожденію, стоялъ близко къ народу и сочинилъ нѣсколько пьесъ въ духѣ народной поэзіи; онъ зналъ древніе языки, а изъ новыхъ, кромѣ французскаго, нѣмецкій и италіанскій: слѣдовательно имѣлъ способы отрѣшиться отъ одностороннихъ вліяній. Чего же было ожидать отъ тѣхъ литераторовъ, которые, по своему образуванію, чуждались народной поэзіи и не знали сущности истиннаго

¹⁾ Вѣст. Европы 1817, № 6.

классицизма? Волею-неволею приходилось имъ вращаться въ единственномъ для нихъ, неизбежномъ кругу французскихъ воззрѣній на искусство и французскихъ образцовъ. Комедія Грибоѣдова: «Горе отъ ума» была встрѣчена ожесточенными нападками нѣкоторыхъ критиковъ преимущественно по той причинѣ, что она не напоминала собою обычной французской комедіи.

Восемнадцатый вѣкъ былъ временемъ господства нашей торжественной лирики, а Ломоносовъ и Державинъ главными ея представителями. Хотя многіе стихотворцы, замѣнявшіе одушевление высокопарностью, содѣйствовали упадку этого поэтического рода; хотя кредитъ его былъ подрываемъ меткою сатирой на оды-реляціи или оды-поученія, какъ назвалъ ихъ Дмитріевъ въ «Чужомъ толгѣ» (1795): однакожь онъ не тотчасъ потерялъ свое значеніе, и только по силѣ особенныхъ обстоятельствъ уступилъ свое мѣсто другимъ отдѣламъ лирической поэзіи. Отсюда не слѣдуетъ, чтобы оды, извѣстныя подъ именемъ торжественныхъ (героическихъ, похвальныхъ), навѣки отошли въ область исторіи: онѣ могутъ существовать до тѣхъ поръ, пока будутъ существовать и предметы, способные своимъ величіемъ возбуждать одушевленное чувство, и поэты, способные вдохновляться великими предметами природы и человѣчества. Но въ историческую область отойдутъ тѣ указныя формы и приемы, которыми наши стихотворцы, въ подражаніе чуждымъ образцамъ, пользовались при выраженіи своихъ чувствъ.

И. Дмитріевъ, такъ остроумно смѣявшійся надъ одоманіей въ упомянутой сатирѣ «Чужой толгѣ», написалъ три стихотворенія по поводу современныхъ или давнопрошедшихъ событій отечественной исторіи: «Гласъ патріота на взятіе Варшавы», «Ермакъ» и «Освобожденіе Москвы» (Пожарскимъ). Первое стихотвореніе, по тону, языку и приемамъ, до такой степени подходитъ къ лирѣ Державина, что даже почиталось произведеніемъ сего послѣдняго. Чувство, выражаемое вторымъ стихотвореніемъ, развито въ формѣ разговора между двумя сибирскими шаманами—старымъ и молодымъ; только въ началѣ и концѣ авторъ говоритъ отъ своего лица. Соединеніе эпического элемента (разсказа шамана) съ изліяніемъ чувствъ заставило назвать эту піесу лирической поэмой. Въ «Освобожденіи Москвы», Дмитріевъ отъ настоящаго состоянія первопрестольнаго города—его блеска и красоты—переносится мыслью къ прошедшимъ его бѣдствіямъ, когда онъ страдалъ отъ поляковъ. Общее достоинство этихъ одъ—патріотическое чувство, выраженное, если не въ цѣломъ, то въ частяхъ, сильными стихами, почему современные читатели и критики причисляли ихъ къ образцовымъ произведеніямъ русской лиры. Нѣкоторыя мѣста, какъ примѣры изящнаго

слова, вошли въ руководства къ риторикѣ и піитикѣ. Обращеніе къ Екатеринѣ (въ Ермакѣ): «речешь — и двинется полсвѣта», и обращеніе къ Ермаку: «великій! гдѣбъ ты ни родился», стояли въ ряду такъ называемыхъ фигуръ чувствъ. Бой между Ермакомъ съ Мегметъ-Куломъ — близкое подражаніе единоборству Сварана, сына Старнова, съ Фингаломъ (въ пѣсняхъ Оссіана) — цитировался, какъ образецъ поэтической живописи. Недостатокъ, общій всѣмъ тремъ пѣсамъ, состоитъ въ гиперболизмѣ представленія, который прежніе стихотворцы неправильно почитали какъ бы дозволенною поэтическою вольностью. Особенно страдаетъ имъ конецъ лирической поэмы «Ермакъ». Чтобы ни думалъ авторъ о подвигѣ завоевателя Сибири, похвала этому подвигу крайне превысила мѣру его историческаго значенія:

... ты, великій человекъ,
Пойдешь въ раду съ полубогами
Изъ рода въ родъ, изъ вѣка въ вѣкъ;
И славы лучъ твоей затмится,
Когда померкнетъ солнца свѣтъ,
Со трескомъ небо развалится
И время на косу падетъ.

Такъ нельзя сказать ни объ одномъ воителѣ или можно сказать о весьма немногихъ герояхъ. Послѣ этого мы не найдемъ уже ни достаточно сильныхъ словъ, ни достаточно приличныхъ образовъ для возвеличенія Петра — бога Россіи, по выраженію Ломоносова. Подобнымъ преувеличеніемъ страдаютъ и послѣдніе стихи въ Освобожденіи Москвы. Вторая погрѣшность Ермака — фигуры шамановъ, которыхъ рѣчи, мысли и чувства начертаны по образцу оссіановскихъ героевъ: это не дикіе служители дикаго язычества, а плодъ авторскаго воображенія, настроеннаго пѣснями шотландскаго барда.

Удачнѣе похвальныхъ одъ вышелъ у Дмитріева гимнъ: «Размышленіе по случаю грома» (1795). Авторъ подражалъ стихотворенію Гете: *Die Grenzen der Menschheit*, замѣнивъ пантеистическое воззрѣніе подлинника христіанскимъ понятіемъ о всемогуществѣ Божіемъ и о ничтожности человека. Искреннее чувство выражено достойнымъ его словомъ, въ которомъ русская стихія искусно соединена съ церковно-славянскою. Главные представители нашей лирики, Ломоносовъ и Державинъ, имѣли даровитаго себѣ подражателя въ Мерзляковѣ (1778—1830), профессорѣ краснорѣчія и поэзіи въ московскомъ университетѣ. Особенно были извѣстны духовныя его оды: «На разрушеніе Вавилона» (изъ пророка Исаи) и «Пѣснь Моисея по прехожденіи Чермнаго моря» (изъ Исхода). Достойныя стоятъ на ряду съ одой Ломоносова, выбранной изъ книги Іова, онѣ занимали мѣсто въ каждомъ сборникѣ поэтиче-

скихъ образцовъ и, какъ таковыя, изучались и въ школахъ и любителями духовныхъ стихотвореній. Другія оды Мерзлякова, въ особенности торжественныя, большею частью замѣняли силу одушевленія риторическою настроенностью: онѣ длинны и скучны.

Изъ библейскихъ книгъ, Псалтирь преимущественно настраивалъ лиру нашихъ стихотворцевъ. Переложенія пѣсней Давида слѣдовали одни за другими въ теченіе цѣлыхъ десятилѣтій. Даже тѣ занимались ими, чьи дарованія были мало способны къ такъ называемому пѣснопѣнію. Примѣромъ служить переложеніе 37-го псалма, удачно сдѣланное баснописцемъ Крыловымъ. Нѣкоторые же стихотворцы почти исключительно посвящали себя этому дѣлу. Двѣ части стихотвореній Шатрова (1765—1841), одного изъ первыхъ и вѣрныхъ партизановъ Шишкова, содержатъ въ себѣ подражанія псалмамъ и пѣсни духовныя. Подражанія выказываютъ умѣнье строить звучныя, а по мѣстамъ и сильныя, стихи, хотя, съ другой стороны, нельзя не согласиться съ замѣткой Жуковского, что стихотворецъ постоянно заботился о томъ, какъ бы «извѣстное и обыкновенное сказать необыкновеннымъ образомъ». Но такое замѣчаніе въ равной мѣрѣ относится къ многимъ не первокласснымъ писателямъ нашимъ, и къ Мерзлякову, быть можетъ, еще болѣе, чѣмъ къ кому нибудь иному. Позднѣе Шатрова, приобрѣль извѣстность духовными стихотвореніями О. Н. Глинка, родной братъ Сергія Николаевича (род. 1788). Сборникъ его переложеній изъ Библии, принимавшихся съ почетомъ журналами и альманахами двадцатыхъ годовъ, изданъ подъ именемъ «Опытовъ священной поэзіи» (1826). Лучшія между ними: «Земная грусть», «Исканіе Бога», «Гласъ къ Господу», «Горе и благодать», и др. Недостатокъ же ихъ происходитъ главнѣйшимъ образомъ отъ того, что авторъ не столько прелагалъ подлинники, сколько распространялъ ихъ. Второй недостатокъ еще важнѣе: это—субъективная настроенность переложеній, отъ чего они и вышли замѣтно однообразными. Прелагатель не нашелъ въ себѣ столько поэтической силы, чтобы вполнѣ отрѣшиться отъ своего личнаго чувства. Однимъ изъ прекрасныхъ памятниковъ торжественной лирики былъ и остается «Пѣвецъ въ станѣ русскихъ воиновъ» (1812), Жуковского. Написанное послѣ сдачи Москвы, передъ сраженіемъ при Тарутинѣ, это стихотвореніе было вѣрнымъ отголоскомъ общаго патріотизма, заслуживъ автору имя Тиртея, воспламенявшаго въ войнахъ бранное мужество и жажду мщенія врагу. Другія два стихотворенія того же рода: «Императору Александру I-му» (1814) и «Пѣвецъ въ Кремлѣ» (1814) вышли менѣе удачны.

Другому виду лирической поэзіи, пѣснѣ, у насъ меньше по-

счастливилось, не смотря на то, что она сосредоточивается на выраженіи непосредственнаго чувства, возбуждаемаго предметомъ. Мы не имѣли тогда авторовъ, которые прославили бы свое имя исключительно пѣсенной поэзіей. Нѣкоторыя пѣсни, пользовавшіяся особеннымъ успѣхомъ въ нашемъ обществѣ, большею частію были явленіемъ случайнымъ, какъ бы неожиданной обмолвкой стихотворцевъ, занятыхъ другимъ дѣломъ. Таковы, напримѣръ: «Пятнадцать мнѣ минуло лѣтъ» (Богдановича), «Вечеркомъ въ румяну зорю» (Николева), «Кто могъ любить такъ страстно» (Карамзина). Притомъ ихъ и немного. Пѣсни Нелединскаго-Мелецкаго (1751—1829) и И. Дмитріева долгое время принадлежали къ любимѣйшимъ нашей публики. Онѣ отвѣчали сентиментальному настроенію литературы и общества. Кто восхищался «Вѣдной Лизой», тотъ, конечно, могъ съ большимъ удовольствіемъ пѣть «Голубка». Ошибка Нелединскаго и Дмитріева состояла въ томъ, что они, служа сентиментализму, думали совмѣщать два элемента—народный и цивилизованный. Первый изъ этихъ элементовъ вводился единственно для поддѣлки подъ безыскусственную поэзію, чуждую сентиментальности и въ которой, кромѣ того, не чувствовалось надобности. Съ какою цѣлю пѣсни, сочиняемыя для благороднаго, больше или меньше образованнаго круга и назначаемыя для пѣнія въ гостинныхъ, украшались или, говоря по справедливости, обезображивались приправой кой-какихъ простонародныхъ словъ и выраженій? Они видимо не ладили съ тономъ цѣлаго и, какъ фальшивыя ноты, поражали слухъ каждаго, кому была хорошо знакома лирическая поэзія русскаго народа. Употребленіе нерусскихъ, иногда и мнѣологическихъ именъ, нисколько не вредило сентиментальной пѣснѣ или романсу: Хлоя (въ пѣснѣ: «всѣхъ цвѣточковъ болѣ») и подобныя ей существа были на своихъ мѣстахъ тамъ, гдѣ героиня представлялась пастушкой, а ея милый—пастушкомъ. Еслибы Нелединскій и Дмитріевъ, при сочиненіи своихъ пѣсень, имѣли въ виду воспроизведеніе народной поэзіи, по ея духу и складу, то, конечно, они заслуживали бы строгой критики. Но у нихъ и въ мысляхъ не было такой задачи, которой они, замѣтимъ, не сумѣли бы исполнить. Оба они писали подъ вліяніемъ французскихъ образцовъ. Дмитріевъ, говоря его словами, «прилѣпился къ вѣтренному Дорату (Dorat) ⁽¹⁾ и его товарищамъ». А Нелединскаго кн. Вяземскій не въ шутку называлъ «русскимъ Шолье» ⁽²⁾, котораго сами французы признаютъ «любезнымъ поэтомъ» (aimable poëte).

⁽¹⁾ Дора († 1780), французскій стихотворецъ, отличался въ легкой поэзіи.

⁽²⁾ Шолье († 1720) воспѣвалъ эпикурейзмъ, почему и заслужилъ прозвище французскаго Анакреона.

Художественное подражаніе народному творчеству доступно лишь тому, кто, обладая поэтическимъ даромъ, основательно изучилъ обычаи, понятія и чувства простонародья; еще доступнѣе оно тому, кто, по своему происхожденію, состоя въ близкомъ родствѣ съ народомъ, не отрѣшился отъ роднаго корня и въ то время, когда поступилъ въ среду высшей, образованной жизни. Тогда онъ вдвойнѣ постигаетъ сущность народной поэзіи: и путемъ непосредственнаго сочувствія, и путемъ научнаго знакомства. Примѣръ такого счастливаго постиженія представляетъ Мерзляковъ, сынъ небогатаго купца. Его пѣсни и романсы, сложенные, какъ онъ выразился, «во время мечтаній о той сладостной жизни или не-жизни, о которой жалѣемъ и въ которой не можемъ дать себѣ отчета, какъ во снѣ», отличаются неподдѣльнымъ чувствомъ. Пѣсни звучатъ чисто-русскими звуками; въ нихъ личное чувство автора изливается по образу и свойству народного чувства, которое не имѣетъ ничего общаго съ сентиментализмомъ: здѣсь горестъ не является въ видѣ унылой томности или меланхоліи, и мысль о другѣ не переходитъ въ мечтательность или раздумчивость. Знаменитѣйшая между пѣснями Мерзлякова: «Одиночество», по моему мнѣнію, несвободна отъ искусственности. Первый стихъ ея: *«среди долины ровня, на младой высотѣ»*, даже страдаетъ неопредѣленнымъ указаніемъ мѣстности. Но пѣсни: «Я не думала ни о чемъ въ свѣтѣ тужить», «Ахъ, чтожъ ты, голубчикъ, не весело сидишь?» «Чернобровый, черноглазый, молодецъ удалый», не даромъ сдѣлались общензвѣстными. Начало послѣдней содержитъ въ себѣ выраженія, почерпнутыя прямо изъ родника наивной русской лирики:

Чернобровый, черноглазый,
Молодецъ удалый,
*Вложилъ мысли въ мое сердце,
Зажоу ретивое!*

Вторая половина ея начинается вѣрною картиною нашей печальной зимы въ деревняхъ:

Воетъ сырѣ боръ за горою,
Мятелица въ поляхъ;
Встала вьюга, непогода,
Запала дорога.

Задушевнымъ чувствомъ проникнуты и застольныя пѣсни Мерзлякова, сочиненныя для пѣнія въ кругу друзей: «Къ друзьямъ», «Что есть жизнь?», «Пиръ», «Къ добродѣтели». По нимъ можно судить о добромъ сердцѣ автора, горячаго въ дружбѣ, любившаго всѣхъ людей и смотрѣвшаго на жизнь не глазами легкомысленнаго эпи-

курейца. Мысль, что «жизнь смертных—тяжелое бремя», заводила его пѣсни на грустный тонъ. Прибавимъ, что Мерзляковъ, какъ слогатель пѣсень, стоитъ въ противорѣчїи съ своими понятїями объ искусствѣ. По доктринѣ строгій классикъ, онъ забывалъ ея уставы подъ вдохновенїемъ живаго сочувствїя къ красотамъ народной лирики: тогда поэтъ побуждалъ въ немъ профессора и критика.

Третій видъ лирики—элегїя—одолжена своимъ развитїемъ и долгимъ господствомъ Жуковскому, поэзія котораго, вмѣстѣ съ поэзіей Батюшкова, и по содержанїю, и по формѣ, образовала новый и важный моментъ въ исторїи нашей лирики вообще. Въ чемъ состоитъ значеніе этого момента, равно какъ и значеніе элегическихъ стихотворенїй Жуковского, будетъ указано ниже, при изложенїи его дѣятельности.

§ 14. Уваженіе къ искусственному эпосу, образецъ котораго представила Россїада, равно какъ и авторитетъ ея сочинителя, крѣпко держались въ нашей литературѣ до 1815 г. Отвергать первое значило, по тогдашнимъ понятїямъ, не понимать относительной важности поэтическихъ родовъ; не признавать втораго—значило впадать въ тяжкую литературную ересь. Фантазія эпическаго стихотворца дѣйствительно была несравненно выше той силы изобрѣтенїя, какая нужна трагичу или комику; даже чудесное искусственныхъ поэмъ, получившее у французовъ названіе «machinerie», было предпочтительно наивнымъ вѣрованїямъ Гомера, его непосредственному, полному свѣжести и силы, міросозерцанїю. Не смотря, однакожъ, на трудности, предстоявшїя эпичу, явились продолжатели дѣла, начатаго еще Кантемиромъ. Нekonченнаѣ поэма Ломоносова: «Петръ Великій» соблазнила нѣсколькихъ нашихъ стихотворцевъ. Двое изъ нихъ: князь С. Шихматовъ (1783—1837) и Грузинцевъ, болѣе извѣстный своими трагедїями, не только начали, но и кончили восхваленіе преобразователя Россїи. Лирическое пѣснопѣніе Шихматова: «Петръ Великій» (1810) состоитъ изъ восьми пѣсень; эпическая поэма Грузинцева: «Петриада» (1812)—изъ десяти ⁽¹⁾. На сколько личность Петра изображена въ нихъ согласно съ ея историческимъ величїемъ, всего лучше сказало знаменитое четверостишіе Батюшкова:

Какое хочешь имя дай
Твоей поэмѣ полудивой:
Петръ длинный, Петръ большой, но только Петръ Великій
Ее не называй.

¹⁾ Третья поэма: «Петръ Великій» (1803), Романа Сладковскаго, по языку и эпическому складу самой низкой пробы, долгое время служила для литераторовъ предметомъ смѣха.

Если и отбросить отъ эпиграммы ея лишнюю колкость, вызванную отношеніемъ Карамзинистовъ къ Шишкову и его «любимому сыну по литературѣ»—внѣзю Шихматову, то все же останется въ ней много правды. Вообще ни одна изъ нашихъ поэмъ, воспѣвавшихъ Петра, не удовлетворить историка. На сколько же поэмы Шихматова и Грузинцева удовлетворяютъ требованіямъ эпического стиля, законы котораго должны сохранять свою силу и въ искусственномъ эпосѣ? На столько, на сколько эпическій стиль сохраненъ въ Ломоносовѣ, Херасковѣ, Вольтерѣ. Последнему особенно подражалъ Грузинцевъ, усвоивъ внѣшніе приемы своего образца, отъ изложенія предмета и воззванія съ одной стороны, до риторического тона и стихотворнаго метра съ другой. Первые восемь стиховъ Петриады не что иное, какъ переложеніе первыхъ шести стиховъ Генриады; русскій стихотворецъ за вдохновеніемъ обращается также къ Истинѣ, богинѣ новыхъ временъ, и также дѣлитъ свою поэму на десять пѣсенъ. Различіе между обѣими поэмами опредѣляется не эпическимъ ихъ складомъ, который въ сущности тамъ и здѣсь одинаковъ, а другими особенностями, зависящими отъ степени авторскаго таланта: новизною и достоинствомъ мыслей, силою чувствъ, картинностью описаній, разнообразіемъ вымысловъ, искусствомъ версификаціи и т. п. Въ этомъ отношеніи, конечно, смѣшно и сравнивать подражаніе съ образцемъ, какъ было бы смѣшно называть Грузинцева Вольтеромъ или Вольтера Грузинцевымъ. Лирическое пѣснопѣніе Шихматова, какъ ни смѣялись надъ нимъ въ свое время, представляетъ нѣкоторые достоинства; по крайней мѣрѣ оно оригинально, хотя эта оригинальность и служила предметомъ эпиграмматическаго остроумія. Нужно было немалое искусство избѣгать риемъ на глаголы, почему Пушкинъ и прозвалъ Шихматова «безглагольнымъ». Языкъ поэмы славено-россійскій, въ которомъ много сложныхъ прилагательныхъ, безъ насилія укладываемыхъ въ четырехстопный ямбъ. Шихматовъ видимо заботился о томъ, чтобы оправдать мнѣнія Шишкова на практикѣ: нѣкоторые слова, восхваляемые послѣднимъ (напр. искидокъ вм. извергъ, долица вм. корова), употреблены въ поэмѣ, которая, съ своей стороны, наводила «отца славянофиловъ» на новыя догадки и соображенія. И дѣйствительно, Шишковъ былъ въ восторгѣ отъ лирической поэмы «Петръ Великій» (1).

Другія поэмы явились въ эпоху борьбы съ Наполеономъ, подъ влияніемъ патріотическаго духа. Здѣсь намъ снова встрѣчаются тѣ же лица: С. Шихматовъ написалъ лирическую поэму въ 3-хъ пѣсняхъ: «Пожарскій, Мининъ, Гермогенъ, или Спасенная Россія» (1807);

¹⁾ Семейная Хроника и воспоминанія. С. Аксакова.

Грузинцевъ—поэму въ 4-хъ пѣсняхъ: «Спасенная и побѣдоносная Россія въ девятомъ на-десять вѣкѣ» (1813). Воспѣвая событіе ХVІІ вѣка, авторъ первой поэмы имѣлъ въ мысли и новѣйшую исторію Россіи. Онъ говорилъ о самозванцахъ и въ то же время разумѣлъ Наполеона. А заключеніе уже прямо относится къ современнымъ русскимъ людямъ. Стихотворецъ даетъ имъ совѣтъ, какъ читатель родной старины, по духу «Разсужденія о старомъ и новомъ слогѣ». Поэма исполнена обычныхъ, лиро-эпическихъ приемовъ, образующихъ внѣшнюю связь однѣхъ ея частей съ другими: «я зрю»; «отверсти очи мнѣ душевны»; «я вижу таинства временъ» и т. п. Олицетворенія убійства, грабежа, мятежа введены какъ риторическія украшенія, избавляющія сочинителя отъ необходимости прибѣгать къ языческимъ божествамъ или отъ неумѣнья замѣнить ихъ чудеснымъ христіанскаго міра. Тоже самое событіе служитъ предметомъ поэмы Александра Волкова: «Освобожденная Москва» (1820). Сознавая, что для поэмы ложно-классическаго стиля проходитъ время, авторъ вошелъ въ разсужденіе объ основахъ своего стихотворенія. Онъ старался построить механизмъ поэмы не на олицетвореніи понятій, ни тѣмъ менѣе на чудесахъ міеологій, а на верховномъ Промыслѣ, введя въ противодѣйствіе этой благой силѣ другую силу—сатанинскую. Пусть такъ, но произведеніе нисколько отъ того не выиграло въ поэтическомъ достоинствѣ, по явному отсутствію въ авторѣ творческаго таланта.

Означенныя поэмы не могли быть опасными соперницами Россіадъ; напротивъ, онѣ только возвысили ея славу. Девятилѣтній трудъ Хераскова сравнительно съ трудами его подражателей выигрывалъ во всѣхъ отношеніяхъ: первый по времени, онъ остался и лучшимъ по достоинству опытомъ «высочайшаго рода поэзіи», какъ тогда понимали эпическую поэму псевдо-классическаго характера. Если Россіаду перестали почитать «бессмертнымъ» твореніемъ, а ея творца «русскимъ Гомеромъ», то это было дѣйствіемъ критики, дотошъ отзывавшейся о ней въ общихъ и безусловныхъ похвалахъ. Въ одинъ и тотъ же годъ (1815) Россіада подверглась разборамъ въ двухъ журналахъ: «Амфіонѣ» ⁽¹⁾ и «Современномъ наблюдателѣ россійской словесности» ⁽²⁾. Издатель перваго, Мерзляковъ, подробно разсмотрѣлъ содержаніе и расположеніе поэмы, ея чудесное, характеры, слогъ. Хотя онъ въ ней и находитъ нѣкоторые недостатки, но тѣмъ не меньше уподобляетъ ее храму св. Петра: «какъ громада неподвижная и въ буряхъ времени, и

¹⁾ ММ 1, 2, 3, 5, 6, 8 и 9.

²⁾ ММ 1 и 3.

въ буряхъ мѣтній, стоитъ Россіада, огражденная неизмѣннымъ своимъ величіемъ». Издатель «Современнаго наблюдателя», извѣстный археологъ П. М. Строевъ, бывшій тогда еще студентомъ московскаго университета, взглянулъ на дѣло иначе. Его критика справедливѣе, потому что не подкуплена господствовавшимъ въ то время теоріей поэзіи. Критикъ доказалъ, что Россіада часто грѣшитъ противъ исторіи, что она не заключаетъ въ себѣ и поэтическихъ красотъ, что даже истинно хорошихъ стиховъ въ ней очень мало. Изъ разбора выводится рѣшительное заключеніе: «мы не имѣемъ еще хорошей эпической поэмы; Россіада недостойна тѣхъ громкихъ похвалъ, коими ее до сихъ поръ осыпали». Разборъ Строева принадлежитъ къ замѣчательнымъ явленіямъ нашей критики, почему и слѣдовало сказать о немъ, по поводу эпическихъ поэмъ. Надобно было имѣть немалое мужество, чтобы идти, какъ выразился критикъ, наперекоръ «стоглаву россійской словесности, который призналъ и нарекъ Хераскова великимъ поэтомъ». Надобно было также имѣть основательныя познанія въ исторіи и поэтической тактѣ, чтобы открыть недостатки произведенія, почитавшагося образцомъ эпоса. Разборъ принесъ несомнѣнную пользу, показавъ литераторамъ и судіямъ ихъ, что если въ словесности весьма часто *имена* бывають болѣе безсмертны, чѣмъ *творенія*, то будущимъ эпикамъ и вообще стихотворцамъ надлежитъ заботиться «не столько о томъ, чтобы ихъ имена были въ устахъ, сколько о томъ, чтобы ихъ творенія были въ рукахъ».

Слѣдуя примѣру многочисленныхъ подражателей Лесажа въ самой Франціи и другихъ странахъ, В. Нарѣжный (1780—1825) ⁽¹⁾ сочинилъ романъ: «Россійскій Жилблязъ или похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова», въ шести частяхъ, изъ которыхъ первыя три напечатаны въ 1814 г., а послѣднія три остались въ рукописи, потому что цензура осудила нѣкоторыя мѣста третьей части ⁽²⁾. Намѣреніе Лесажа — представить человѣческую жизнь, какъ она есть, — выполнено превосходнымъ образомъ. Дѣйствіе происходитъ въ Испаніи, а не во Франціи, гдѣ въ то время сатира была осуждена на молчаніе. Авторъ совѣтуетъ читателю внимательно замѣчать нравоученія, вытекающія изъ разсказа о похожденияхъ героя: тогда только чтеніе принесетъ пользу и вмѣстѣ пріятность. Нарѣжный «вывелъ на показъ русскимъ людямъ рус-

¹⁾ Ист. Христ. II.

²⁾ «Предосудительныя и соблазнительныя» мѣста указаны тогдашнимъ министромъ просвѣщенія, гр. Разумовскимъ. См. Матеріалы для исторіи просвѣщенія въ Россіи въ царствованіе Александра I., М. Сухомлинова (Журналъ министерства народн. просв. 1866, ноябрь).

скаго же человѣка, считая, что гораздо сходнѣе принимать участіе въ дѣлахъ земляка, нежели иноземца»; слѣдовательно романистъ нашъ сдѣлалъ то, чего не могъ сдѣлать Лесаажъ и на что, по его словамъ, нельзя было бы отважиться у насъ нѣсколько десятковъ лѣтъ, т. е. безпристрастно описывать наши нравы (1). Своею задачею положилъ онъ изобразить человѣческую жизнь въ много-различныхъ отношеніяхъ. И цѣль всего этого такая же, какую начерталъ себѣ Лесаажъ: соединеніе полезнаго съ пріятнымъ.

Кромѣ характеристики русскаго человѣка въ различныхъ состояніяхъ, сатира Нарѣжнаго имѣла въ виду нѣсколько специальныхъ предметовъ, о которыхъ говорится въ предисловіи:

Да не прогнѣваются на меня изступленные любители *метафизики, славенскаго языка и всего, что есть нѣмецкаго*, что я не всегда съ должною почтительностію объ нихъ отзывался. Это отнюдь не значитъ, чтобы считалъ я метафизику наукою вздорною, славенскій языкъ варварскимъ, и все то, что выдуманно нѣмецкою головою, глупою выдумкою. Сохрани отъ того, Боже! Но мнѣ всегда казалось, что перейти должны предѣлы въ чемъ бы то ни было есть крайнее неразуміе. Метафизика безъ сомнѣнія есть наука высокая и уточняетъ разумъ человѣка, однакожъ не до такой степени, чтобы могъ онъ опредѣлить, чѣмъ занималось Высочайшее Существо до созданія міра и чѣмъ заниматься будетъ по разрушеніи оного. А есть такіе храбрые ученые, которые на то пускаются. Славенскій языкъ бесспорно высокъ, точенъ, обиленъ; однакожъ тотъ изъ насъ, который, стоя передъ красавицею, будетъ нѣжить слухъ ея названіями: «лѣпообразная дѣво! голубице, краснѣйшая рад!» — едва ли не долженъ быть почтенъ за сумасброда; а такіе витязи и до сихъ поръ у насъ находятся и не безъ послѣдователей. Что касается до нѣмчизмы, подъ которымъ названіемъ, слѣдую выраженію нашихъ пращуровъ, разумію я всякую чужеземщину, то весьма недовольнымъ почту себя, если кто нибудь назоветъ меня порицателемъ всего того, что не наше. Это была бы излишняя склонность ко всему своему, что также нигде не годится.

Нарѣжный писалъ романъ свой въ то время, когда еще не остыла любовь къ чтенію вымышленныхъ приключеній или походовъ. Чѣмъ они были диковиннѣе, тѣмъ книга больше нравилась читателямъ, которые не задавали себѣ вопроса о предѣлахъ вѣроятности и были бы въ затрудненіи отмежевать возможное отъ невозможнаго, былъ отъ сказки. Нарѣжный самъ находился подъ влияніемъ сказочной настроенности. При замѣчательномъ дарованіи, онъ еще не покинулъ обычая придумывать дѣйствіе похитрѣе и запутаннѣе. Существенное отличіе дальнихъ «походовъ» осталось, хотя въ меньшей степени, и въ походахъ «Россійскаго Жилблаза».

Главное лице романа—князь Гаврило Симоновичъ Чистяковъ, уроженецъ села Фаладеевки (курской губерніи), гдѣ «столько же

(1) Россійскій Жилблазъ подвергся осужденію не за то, что онъ описываетъ отечественные нравы; а за «безнравственное» (съ точки зрѣнія тогдашняго министра) ихъ описаніе (Ib).

князей, сколько въ Малороссіи дворянъ, а въ Шотландіи графовъ». Эти князья сами пахутъ и орутъ не хуже однодворцевъ, о которыхъ сложилъ иѣсню мельникъ Аблесимова. Исторія Чистякова начинается тѣмъ, чѣмъ оканчивается исторія настоящаго Жилблаза: онъ *женился*—на Оеклушѣ, дочери другаго фалалеевскаго князя. Черезъ три года послѣ замужества, княгиня охотно дозволила похитить себя одному изъ столичныхъ князей. Трудно сказать, что правдоподобнѣе въ этомъ фактѣ: то ли, что свѣтскій молодой человѣкъ плѣнился Оеклушей, которая сама работала въ огородѣ и еле выучилась читать и писать, или то, что «чувствительная» женщина, какъ называетъ авторъ Оеклушу, три года жившая съ мужемъ въ любви и согласіи, бросила его и младенца сына безъ всякой жалости, безъ всякой внутренней борьбы? Мало этого: она издѣвается надъ оставленнымъ, увѣдомляя его о своемъ побѣгѣ. Продѣлки такого рода приличны ловкимъ, искусившимся въ интригахъ актрисамъ, которыя описаны Лесажемъ и, вѣроятно, служили подлинникомъ Оеклушѣ. Последняя и является актрисой въ концѣ третьей части, только не на театрѣ, а въ масонскихъ собраніяхъ, гдѣ она играла своего рода роль. Какой изумительный скачекъ отъ Фалалеевки до столицы, отъ княгини Оеклы Сидоровны, ничего не читавшей, кромѣ сказокъ, до прекрасной Лавиніи, блиставшей на пирахъ масоновъ! Подражаніе Лесажу завело Нарѣжнаго слишкомъ далеко: незамѣтно для себя прилаживалъ онъ испанскіе обычаи къ русскому сюжету. Лишась жены, Чистяковъ вскорѣ испыталъ другую потерю: двухлѣтній сынъ его былъ похищенъ орловскимъ купцомъ Аванасіемъ Онисимовичемъ Причудинимъ. Съ какою цѣлію учинено похищеніе? Покойный дѣдъ Причудина былъ тоже князь Чистяковъ, бѣдный, какъ и всѣ его родственники; разбогатѣвъ, онъ бросилъ родовую фамилію, наминавшую ему «сіятельное нищенство», и принялъ новую, въ память своего тестя. Разбирая отцовы бумаги, Причудинъ нашелъ тетрадку, содержащую въ себѣ имена усопшихъ, которые поминались за упокой; между ними онъ увидѣлъ имя князя Симона Гавриловича Чистякова, приходившагося ему родственникомъ въ осемнадцатомъ колѣнѣ. «Вотъ», подумалъ Причудинъ, «остались еще князья моей фамиліи. Они вѣрно люди бѣдные. Почему мнѣ не взять у котораго нибудь изъ нихъ малолѣтняго сына, не воспитать какъ должно, не удѣлить части моего имущества, не обижая дочери, и не возставить чрезъ то благороднаго дома?» Сказано—и сдѣлано. Зачѣмъ, однако, выбранъ кривой и опасный путь для выполненія замысла? Россійскій Жилблазъ былъ такъ безпеченъ; всѣ его дѣйствія въ деревенской жизни, начиная съ волокитства

за Отеллушой, отличались такимъ легкомысліемъ, чтобы не сказать глупостью, что онъ и добровольно уступилъ бы сына заботливой родиѣ. Какъ бы предвидя вопросъ, Причудинъ отвѣчалъ на него: «Отецъ не утерпитъ видѣть сына какъ можно чаще; дитя узнаетъ, что онъ князь, и притомъ имѣетъ богатаго родственника, который взялся воспитать его и слѣдовательно никогда не оставитъ. Это могло помѣшать его нравственности, успѣхамъ въ наукахъ и моимъ намѣреніямъ». Таіе-то расчеты руководили орловскаго купца въ его продѣлкѣ. Читатель видитъ здѣсь романическую диковинку, благодаря которой выступаетъ на сцену новое лице, являются два Жилблаза—отецъ и его сынъ Никандръ, также рассказывающій свои похождения, и романъ теряетъ единство интереса. Что приключалось съ героемъ Лесажева романа, то естественно вытекало изъ хода человѣческой жизни вообще и изъ національных особенностей жизни испанской: здѣсь все вѣрно—событія, характеры и языкъ дѣйствующихъ лицъ, почему и называютъ этотъ романъ поучительнымъ, какъ поучительна сама опытность. Жилблазъ Нарѣжнаго самъ отыскиваетъ приключенія, или, вѣрнѣе, они придумываются для него авторомъ, который умышленно наталкиваетъ на нихъ своего неразумнаго героя. Положивъ изобразить русскіе нравы, Нарѣжный не сумѣлъ приладить ихъ къ дѣйствіямъ, приличнымъ русскому человѣку. Сверхъ указанныхъ несообразностей, въ романѣ то и дѣло встрѣчаются другіе. Кромѣ купца, таинственнаго похитителя и благодѣтеля, желающаго возстановить княжескій родъ, есть купецъ, совѣтующій Чистякову не учиться метафизикѣ, которую онъ называетъ великою наукой. Крестьянинъ Чистякова, Иванъ, самовольно продаетъ сосѣдямъ господское поле,—и господинъ мирится съ незаконнымъ фактомъ, какъ будто на него нѣтъ управы. Простолюдины выражаются литературнымъ языкомъ.

Если въ дѣйствіи романа нѣтъ правдоподобія, то изъ двухъ цѣлей—пріятности и пользы,—къ которымъ романистъ стремился, первая не достигнута. Разумный читатель не находитъ ничего пріятнаго въ невѣроятной интригѣ. Что касается до пользы, то она могла бы заключаться въ нравственныхъ правилахъ, которыя герой выводитъ изъ опытовъ своей жизни. Но такому герою, какъ Чистяковъ, не пристало быть моралистомъ, хотя онъ и любитъ при случаѣ брать на себя эту обязанность. Всѣ его начинанія оканчиваются недобромъ или смѣхомъ, по его собственной простотѣ, которая иногда хуже воровства. Мораль Лесажева сочиненія можетъ быть добыта внимательнымъ читателемъ изъ походовъ Жилблаза; самъ Жилблазъ ее не проповѣдуетъ. Жизнь этого героя представляетъ картину свойственнаго людямъ равно-

душіа къ добродѣтели и пороку. Онъ, какъ и большинство смертныхъ, столько же готовъ на честное дѣло, сколько и на плутни, смотря по тому, что лучше ведетъ къ устройству благоденствія. Но онъ, однакожъ, не понимаетъ достоинство одного и низость другого, и нерѣдко скорбитъ, если обстоятельства вынуждаютъ его жертвовать дурному хорошему. Жаль одного, говоритъ онъ послѣ какой-то продѣлки, что нѣтъ тутъ столько же чести, сколько есть прибыли и удовольствія. Жилблазовскій индифферентизмъ не къ лицу «Россійскому Жилблазу»: послѣдній преступаетъ правила большею частію потому, что неясно различаетъ законное отъ незаконнаго. Его продѣлки—всегда почти несообразности. Еще меньше смысла имѣютъ въ его устахъ правоучительные выводы. Что разсказывается Жилблазомъ Лесажа, то каждый человѣкъ можетъ приписать къ себѣ: отъ того-то авторъ и проситъ читателей не подозревать въ его романѣ личныхъ намековъ. Что разсказывается о Чистяковѣ, того нельзя взять на свой счетъ, такъ какъ его дѣйствія несогласны съ русскою жизнію, исключительны и въ добавокъ глупы. Подобные герои не возбуждаютъ сочувствія. Мы не то хотимъ сказать, что сочиненіе Нарѣзнаго не выдерживаетъ сравненія съ сочиненіемъ Лесажа: это само собою разумѣется; мы хотимъ сказать, что подражать образцовому автору значитъ писать такъ, какъ бы онъ, будучи русскимъ, описывалъ дѣйствія и нравы русскихъ.

Несостоятельность «Россійскаго Жилблаза», какъ романа, выкупается сатирическимъ описаніемъ нѣкоторыхъ современныхъ нравовъ. Съ этой стороны надобно отдать справедливость и таланту, и здравому смыслу Нарѣзнаго, который лучше хотѣлъ имѣть дѣло съ настоящимъ положеніемъ вещей, каково оно ни есть, нежели рисовать сентиментальныя картины. Правда, онъ не соблюдаетъ должной мѣры въ своихъ изображеніяхъ, часто преувеличивая смѣльное, однакожъ въ самой карикатурѣ держится на дѣйствительномъ основаніи. Изъ многихъ предметовъ его сатиры въ предисловіи указана, какъ нѣчто особенное, «неступленная любовь къ метафизикѣ, славянскому языку и всему нѣмецкому». Насколько можно судить по словамъ Чистякова, подъ метафизикой авторъ разумѣлъ такую науку, которая измѣряетъ все сущее и несущее, разсуждаетъ о жизненныхъ духахъ, о душѣ, умѣ, адѣ, раѣ и т. п. Представитель подобнаго метафизика—Трисмегалось, провинціальный философъ-учитель, будто бы имѣвшій обязанность преподавать публичныя лекціи или говорить рѣчи о философіи. Конечно, здѣсь не безъ подражанія Лесажеву роману: Трисмегалось сбивается на бакалавровъ саламаньскаго университета; но есть и подлинныя черты бывшаго схоластическаго преподаванія въ нашихъ духовно-

учебныхъ заведеніяхъ, среднихъ и высшихъ, которыхъ воспитанники были упражняемы въ бесполезныхъ диспутахъ и по окончаніи курса сообщали своимъ проповѣдамъ и другимъ сочиненіямъ характеръ школьной науки. Трисмегалось, знатокъ онтологіи, пневматологіи и психологіи, способенъ защищать или опровергать прямо-противоположныя мнѣнія: онъ доказываетъ, что «душа наша во лбу между глазами», а потомъ, съ такою же легкостью, что «она имѣетъ пребываніе въ затылкѣ, но съ тѣмъ однако, что властна перейти въ чело». Кромѣ схоластическаго мудрованія, подъ метафизикой разумѣется масонскій мистицизмъ, господствовавшій у насъ почти все время царствованія Александра I. Конечъ третьей части вводитъ Россійскаго Жилблаза въ общество вольныхъ наменщиковъ; какъ новозбранный членъ, онъ присутствуетъ на ихъ собраніяхъ съ рѣчами, пѣснями и символической обрядностью. Предсѣдатель ложи, посвящая Чистякова, предлагаетъ ему вопросъ: «хочешь ли имѣть понятіе о высокой таинственной мудрости, которая пронзаетъ небеса и освѣщаетъ сокровенныя движенія горныхъ духовъ?» Обстановка засѣданій въ ложѣ схвачена вѣрно, хотя самый взглядъ на масонство одностороненъ. Сатирикъ отнесся къ нему отрицательно. Онъ представляетъ явленія вырождающагося, испорченнаго союза, который, уклонясь отъ своей цѣли—нравственнаго строенія людей, ударился въ тщеславіе, шарлатанство, обманъ и развратъ.

Трисмегалось не только философъ, но и славянофилъ. Онъ и говоритъ на церковно-славянскомъ языкѣ и объясняетъ пренебреженіе къ нему упадкомъ нравственности, какъ Шишковъ. Когда явился къ нему сынъ Чистякова, Никандръ, и изумилъ его знаніемъ нечитаемого имъ языка, а бывшій при этомъ посѣтитель (Горлаціусъ) смѣялся надъ комическимъ изумленіемъ старца, послѣдній замѣтилъ ему съ упрекомъ: «что смѣяшися, о Горланіе! Не есть ли во времена наши, *егда поибло всеизящное на земли и нравы разаратишася*, — но есть ли, глаголю, чудо зрѣти юношу сего въ толикомъ благомысліи, вѣщающаго языкомъ мудрѣйшимъ и добродѣслнѣйшимъ?»

Нѣмцманію надобно понимать и въ собственномъ смислѣ, какъ любовь къ нѣмцамъ, и въ болѣе обширномъ, какъ пристрастіе къ иностранному вообще. Временемъ сочиненія романа объясняются сатирическія его выходы. Нарѣжный трудился надъ нимъ въ эпоху великихъ нашихъ войнъ. Естественно было питать не только нелюбовь, но и ненависть къ двадцати языкамъ разорявшимъ Россію, какъ бы они ни пришли въ нее, волею или неволею; еще естественно было осуждать благоволеніе русскихъ къ недавнимъ врагамъ ихъ отечества. Эта ненависть замѣчалась въ Малороссіи, и одинъ изъ украинскихъ дѣятелей, В. Н. Каравитъ, правитель дѣлъ

основаннаго имъ въ Харьковѣ «филотехническаго общества», сталь за нужное возстать противъ чувства, которое обратилось въ предубѣжденіе, отвергаемое гуманностью, и съ этою цѣлю въ публичномъ собраніи общества, 1818 г., произнесъ рѣчь «объ истинной и ложной любви къ отечеству» (1). Рѣчь развивааетъ слѣдующее положеніе: «Любовь къ отечеству не есть исключительная привязанность къ странѣ рожденія, къ единоплеменникамъ: она согласуется съ любовью къ роду человѣческому... Государственное злословіе (т. е. ненависть къ чужимъ государствамъ и народамъ) не есть любовь къ отечеству: это ложный патріотизма». Въ одномъ мѣстѣ романа, помѣщенный Простаковъ произноситъ грозную диатрибу противъ иностраннаго воспитанія русскихъ дѣтей. Въ другомъ выведенъ какой-то фонъ-Вольфъ-Кальбъ-Гаузовъ, гордящійся «достоинствомъ нѣмца, т. е. благородствомъ, чувствительностью и всегдашнимъ присутствіемъ духа». Россійскій Жилбазъ не могъ надивиться хвастовству и спеси этого нѣмецкаго пустомели. «Въ послѣдствіи времени», говоритъ онъ, «я узналъ, что многіе изъ сихъ спесивыхъ безумцевъ, не находя на родинѣ куска хлѣба, приходятъ въ Россію, перѣбдо съ котомкою за плечми и въ лохмотьяхъ, и скоро, съ помощію такихъ же выходцевъ, какъ и они, подлостью, ласкательствами и всѣми низкими средствами, достаютъ себѣ выгодныя мѣста, и послѣ съ гордостью и безстыдствомъ презираютъ и тѣснятъ природныхъ Русскихъ. Тогда узналъ я, что мы въ гражданской образованности еще весьма далеки отъ другихъ націй, потому что такихъ примѣровъ нигдѣ не найдешь, кромѣ какъ у насъ». Нѣтъ сомнѣнія, что слова Чистякова и теперь вызовутъ сочувствіе многихъ; для современниковъ Нарѣжнаго они были еще понятнѣе и сочувственнѣе. Тогда не даромъ ходилъ анекдотъ объ одномъ лицѣ, которое, испытывая постоянныя неудачи на службѣ, будто бы пріѣхало въ столицу хлопотать о переимѣніи своей русской фамиліи на нѣмецкую.

Есть и другія мѣста, рекомендующія сатирическій элементъ романа. Антипатія къ такъ называемому свѣтскому кругу, съ его наружнымъ благоприличіемъ и внутренней разслабленностью; заступничество за крестьянъ, тѣснимыхъ жестокосердыми владѣльцами; изображеніе присудственныхъ мѣстъ, отправляющихъ неправосудіе.... все это является у Нарѣжнаго иногда съ цѣлю обличить дурное, а иногда съ цѣлю привлечь читателя къ хорошему. Забавна сцена на базарѣ между хранителемъ городского благочинія и Чистяковымъ, когда послѣдній не подѣлился съ нимъ завтра-

1) Сынъ Отечества, 1818, № 48.

комъ, и тотъ влѣпилъ ему около дюжины ударовъ плетью, приговаривая: «не чавкай, не нарушай тишины и порядка!» Столько же забавно, но больше правдоподобно распоряженіе канцеляриста Застойкина, который, исполняя данный ему ордеръ, вмѣсто убѣжавшаго купеческаго сына схватилъ попавшагося ему на дорогѣ Чистякова, напелъ въ немъ всѣ прописанныя въ ордерѣ примѣты, обобралъ у него деньги и на вопросъ его: «развѣ мнѣ запрещено говорить въ свое оправданіе?» отвѣчалъ: «ни мало; въ ордерѣ о губахъ и языкѣ ни слова не сказано, и ты можешь дѣйствовать ими, сколь душѣ угодно». Встрѣчаются у Нарѣжнаго и такіа картины, которыя, какъ сказано въ предисловіи, заставляютъ «пожилыхъ богомолковъ и богомолку», хотя притворно, застѣдаться. Любопытно выслушать мнѣніе автора въ виду тѣхъ выговоровъ, которыми ожидалъ онъ отъ моральнаго пурима: «можетъ быть, тоже дѣйствіе будетъ и надъ молодыми; но пусть молодые, почувствовавъ низость порока чужаго, краснѣютъ, не бывъ еще подвержены оному сами, нежели краснѣть въ лѣтахъ по сдѣланіи и когда уже будетъ мало случаевъ и силъ ему противиться».

Кромѣ «Россійскаго Жилблаза», Нарѣжній написалъ еще три романа: «Аристіонъ, или перевоспитаніе» (1822), «Бурсакъ» (1824) и «Два Ивана, или страсть къ тѣбамъ» (1825). Общій ихъ недостатокъ—или запутанность, или неправдоподобіе сюжета; общее ихъ достоинство—частію комическое, частію сатирическое изображеніе нѣкоторыхъ дѣйствій и личностей.

«Аристіонъ» названъ «справедливою» повѣстью. Эта справедливость случайная. Мало ли что бываетъ на свѣтѣ? Не все анекдотическое можетъ служить предметомъ поэтическаго повѣствованія. А въ «Аристіонѣ» разсказанъ именно анекдотъ, и притомъ исключительный. Дѣйствіе происходитъ сначала въ столицѣ, едва не погубившей молодого человѣка (Аристіона) своими соблазнами, а потомъ въ Украйнѣ, куда онъ былъ вызванъ нарочно-выдуманнымъ извѣстіемъ о смерти своихъ родителей. Въ деревнѣ, подъ надзоромъ мнимо-умершаго отца и его друга, совершается перевоспитаніе блуднаго сына: они приглашаютъ къ нему учителей, заставляютъ его читать книги, ведутъ съ нимъ назидательныя бесѣды. Послѣ годичнаго искуса, въ которомъ двадцатипятилѣтній Аристіонъ игралъ незавидную роль школьника, комедія оканчивается. Убѣдившись въ твердомъ поворотѣ сына на истинный путь, отецъ (бригадиръ Валеріанъ) объясняетъ ему благодѣтельный обманъ и въ заключеніе женить его на образованной дѣвушкѣ, дочери своего друга, какого-то графа Родіона, также украинскаго помѣщика. Не смотря на доброе намѣреніе повѣсти, легко замѣтить, что она испытываетъ

участь большей части правоучительныхъ разсказовъ, то есть: ея мораль разногласить съ фактомъ. Въ завязкѣ говорится одно, а въ развязкѣ происходитъ другое. Завязка поучаетъ, что счастье человеческое не одно и то же съ земными благами, а развязка самымъ дѣломъ, на судьбѣ главного лица доказываетъ, что если счастье не заключается ни въ знатности рода, ни въ богатствѣ, ни въ почестяхъ, ни въ красотѣ, то, по крайней мѣрѣ, всѣ эти предметы — значительное число душъ, графское званіе, генеральскій чинъ, красавица жена — заключаются въ счастьи, какъ его необходимы принадлежности. И потому читатель, слѣдая начало съ концемъ, недоумѣваетъ, чему меньше вѣрить — искренности ли правоучителя, или искренности возрожденія, описаннаго повѣствователемъ. Между дѣйствующими лицами въ «Аристотелѣ» встрѣчаются при пана: Сильвестръ, Парамонъ и Тарахъ. Одинъ изъ нихъ страстный охотникъ, другой весельчакъ, третій — скрадь, иронически названный «бережливымъ». Послѣдній особенно замѣчателенъ. У него слуга ходитъ въ похотяхъ, а служанка босикомъ; онъ по каплямъ наливаетъ льняное масло въ лампу напичку; въ болѣзни не рѣшается ѣсть похлебку съ курицей и печенье яблоки, хотя богаче всѣхъ своихъ сосѣдей; не платитъ доктору за визиты и лекарства, и даже продаетъ яйца, подареннаго ему гостемъ. Ради скопидомства, онъ заманиваетъ крестьянскихъ коровъ, овецъ, куръ и гусей на свой кормъ, а потомъ сгоняетъ ихъ къ себѣ на дворъ, какъ вознагражденіе за пограву. Кромѣ этого случайнаго побора установлены имъ другіе, «христіанскіе»: «Буде въ праздничный день крестьяне захотятъ помолиться Богу въ церкви ближняго села, то прежде должны принести господину — кто курицу, кто утку, кто десятокъ яицъ, мѣрку меду, масла, сыру.... По приведеніи всего принесеннаго въ порядокъ и по надлежащей опѣнкѣ, очередной крестьянинъ, на своей телѣгѣ, долженъ эту добычу вести въ ближайшій городъ, за двадцать верстъ, на продажу. Если ему не удастся продать по той цѣнѣ, какая назначена, то долженъ пополнить собственными деньгами, а буде заупрямится, то челядинцы придутъ на его дворъ и возьмутъ на господина то, что, по мнѣнію ихъ, вознаградитъ недомыку». Отклоняя всякія сравненія, можно сказать, что въ чертахъ этого малорусскаго Гарпагона, набросанныхъ Нарѣжнимъ, замѣчается фамиліное сходство съ Гарпагономъ великорусскимъ, художественно представленнымъ въ лицѣ Плюшкина.

Въ «Бурсакѣ» главное лице (Неонъ Хлопотинскій) разсказываетъ свои черезъ-чуръ романтическія похождения: изъ мнимаго сына дѣяча онъ, съ помощью разныхъ чудесъ, оказывается внукомъ малорусскаго гетмана. Дѣйствіе происходитъ въ Украйнѣ.

Неонъ — воспитанникъ духовнаго училища, бурсакъ. Описание бурса, гдѣ онъ жилъ на казенномъ содержаніи, введенныхъ въ ней порядковъ и обычаевъ, нравовъ ея учителей и учащихся составляетъ единственно-замѣчательную часть повѣсти. Здѣсь много вѣрныхъ, очень комическихъ сценъ изъ бурсацкой жизни, изображеніе которой достигло высшаго комизма подъ перомъ Гоголя. Но за Нарѣжнимъ остается честь почина въ ознакомленіи читателей съ предметомъ, до того почитавшимся недостойнымъ литературной сферы или каррикатурно выходившимъ на сцену въ одѣжѣ театральнаго піесака.

Знаменитый сподвижникъ Евтеримы Великой, канцлеръ Безбородко, называлъ Малороссію страню приращенныхъ повитчиновъ и секретарей. Подъ этимъ онъ разумѣлъ не только способность ея жителей къ юридической дѣятельности, но вмѣстѣ и неодолимую ихъ охоту къ сутяжничеству. Нигдѣ, конечно, глаголъ «позывать» (требовать къ суду) не употреблялся такъ часто, не приводился въ исполненіе такъ настойчиво и не оказывался такъ изнурительнымъ истцевъ и отвѣтчиковъ, какъ въ предѣлахъ благословенной Украйны. Малоруссы тягались какъ по необходимости, такъ еще изъ любви къ искусству, въ которомъ они большіе мастера. Ихъ процессы изнурительны съ одной стороны ничтожностью поводовъ, съ другой — своею долговременностью. Десятилѣтній ссора Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ изъ-за слова «гусака» ⁽¹⁾ вовсе не выдуманъ; можно считать ее даже непреувеличенной. Эта страсть къ тябамъ, лежащая въ фзіологическихъ особенностяхъ племени, развилась подъ вліяніемъ ея исторической судьбы. Малоруссы отличаются стойкимъ упорствомъ. Выраженіе: «упрямъ какъ хохолъ», сдѣлалось почти пословицей. Въ этомъ свойствѣ есть и коронная сторона: чувство самостоятельности, требованіе заменной окрانی и своему яму, и своей собственности. То и другое, личность и имущество, приходилось въ теченіи много-много лѣтъ защищать отъ польской справы иногда оруженъ, а иногда гражданскимъ судомъ. Отъ давней привычки быть всегда на-сторожѣ, отстаивать свое добро, «угнѣдилась въ Малороссіи страсть къ тябамъ, это истинное порожденіе ада», какъ говоритъ Нарѣжний; «сама породила тамъ чадъ и внучатъ и не выродится до дня страшнаго суда». Она-то составляетъ предметъ повѣсти: «Два Ивана». Пожилые отцы взрослыхъ сыновей, Иванъ старшій (Зубаръ) и Иванъ младшій (Хмара) ведутъ забавно-ожесточенную тяжбу съ пожелавшимъ отцамъ взрослыхъ дочерей, Хари-

¹⁾ Повѣсть Гоголя.

тономъ Замосой. Началась она изъ-за вѣдложки кроликовъ, за-
страшеннѣхъ послѣднимъ памомъ, и нѣсколькимъ десѣткѣхъ голу-
бой, убѣтнѣхъ пернѣхъ. Половина повѣсти занѣта разсказомъ о
непрѣтностѣхъ, которыя сосѣди взаимно себѣ наносѣтъ: Харѣтонъ
снѣтъ у Иваномъ гумно, подкѣпалъ водѣную мельницѣ и разорилъ
пасѣку, а Иванъ вынѣглѣ у Харѣтона цѣлое поле съ созрѣвшимъ
лѣбѣмъ, соглѣл голубѣтнѣ и подкѣпалѣ двѣ вѣтрѣнѣхъ мельницѣ.
За обоюдными пакѣстѣми слѣдуютъ познѣхъ къ суду и самый судъ
въ канцѣларѣхъ, начинаѣхъ съ низшей — сотенной, продолжаяхъ въ
средней — полковой, и оканчиваяхъ въ высшей — войсковой. Раз-
сказъ водѣтѣхъ веселымъ тономъ и возбуждѣтъ комѣческѣй смѣхъ;
ни одна сцена не кажетѣхъ каррикатурною; прошенѣя тянущѣхъ и
опредѣленѣя разнѣхъ судебнѣхъ инстанцѣй удѣтѣтѣтѣтѣхъ чита-
тѣля, какъ согласнѣхъ съ настроенѣмъ фантазѣи авторѣ. Другѣя
часѣхъ повѣсти описѣваетъ горькѣе плоды ссорѣ, мировую пакѣвъ
и устройстѣо нѣхъ дѣтѣй при посредствѣхъ благодѣтѣльнаго нѣхъ род-
ствѣннѣка, который у Нарѣжнаго словно изъ земли вырѣстѣетъ.
Она не представлѣетъ интересѣ, потому что авторъ, талантливый
въ разсказѣхъ о смѣшнѣхъ явленѣхъ жизни, преимущественно мало-
русской, не мастѣръ вести и заканчивѣтъ интригу. Конѣцъ приду-
мѣвается нѣмъ всегда съ нравѣоучѣтѣльною цѣлью, какъ би для очи-
щенѣя обѣаннѣхъ романиста, по тогдашнѣму на нѣе взгляду. Въ
заключенѣе скажемъ, что ромѣны Нарѣжнаго, по предѣту и гру-
бой рисѣтѣхъ, не могли нравѣтъхъ всѣмъ читатѣлѣмъ. Они, какъ
замѣчено однимъ критѣкомъ, «обѣдѣютъ насъ варѣнукою, и куда
авторъ ни вводитъ насъ, все, кажетѣхъ, не выхѣдѣтъ у него изъ
корѣмъ»: посему-то и назѣвали его Тенъеромъ русскаго ромѣна,
или Тенъеромъ № 2, такъ какъ № 1 принадлежалъ А. Нѣмайдѣу,
Тенъеру русскаго баснѣ.

Изѣвѣсти Венѣтѣкаго (1781 — 1809): «Ибрагѣмъ, или велико-
душнѣй» (1807), «Вѣдунѣхъ» (1807), «На другѣой денъ» (1809),
умными по содержѣнѣю и замѣчѣтѣльными литературной отдѣлкой,
достѣтѣли ему скорѣю изѣвѣстнѣсть. Читатѣли и критѣки оправѣд-
ливо находѣли въ нѣхъ здравнѣ понѣтѣя, интереснѣ сюжетъ, жи-
вой, остроумнѣй разсказъ и чѣстѣй, прѣятнѣй языкъ. И тепѣрь
можно читѣтъ нѣхъ съ удѣтѣтѣвѣемъ, какъ сочинѣнѣя несомѣнно-
дарѣвитѣаго чѣловѣка. Онѣ принадлежатъ къ тѣмъ назѣывавшимся
«востѣннѣмъ» изѣвѣстѣмъ, на которыя въ европѣйской литературѣ
была моѣда, заимствовѣнная потомъ и нашинѣи писатѣлями. Нѣхъ
нѣмѣлѣнѣе и господстѣо обѣяснѣются, во-перѣвыхъ, возмѣжнѣстью
рѣшѣтѣлѣнѣе выказѣывать жѣстѣну, изображалъ, въ разсказѣхъ о чѣ-
ужѣхъ дѣйствѣхъ и лѣцахъ, современнѣе недостатѣи своѣго об-

«хорошимъ, настоящимъ версификаторомъ» ⁽¹⁾; это мнѣніе подробнѣе было высказано Н. Полевымъ ⁽²⁾. Но едва-ли не лучшее рѣшеніе вопроса находится въ Запискахъ самого Дмитріева, открыто измѣнявшихъ характеръ его стихотворства, которое съ большими перерывами шло отъ 1777 до 1810 г.; всего въ теченіи двадцати лѣтъ:

Вся моя забота (въ первые годы авторства) была только объ томъ, чтобъ стихи мои были менѣе шероховаты, чѣмъ у многихъ. Одну только плавность стиха и богатую рѣчю я считалъ красотою и совершенствомъ поэзіи.

Привыкнувъ въ молодости писать урывками, я не могъ уже и въ зрѣломъ возрастѣ высидѣть за бумагой около часа: нетерпѣливъ былъ обдумывать предпринимаемую работу. При малѣйшемъ упорствѣ рѣчю, при малѣйшемъ затрудненіи въ краткомъ и ясномъ изложеніи мыслей моихъ, я бросалъ перо въ ожиданіи счастливѣйшей минуты: мнѣ казалось университетнымъ ломать голову надъ парой стиховъ и насиловать самого себя, или самую природу.

Отъ того, можетъ быть, и примѣчается, даже самымъ мною, въ стихахъ моихъ скудость въ идеяхъ, болѣе живости, украшеній, чѣмъ глубокомыслия и силы. Отъ того послѣдовало и то, что ни въ которомъ изъ лучшихъ моихъ стихотвореній нѣтъ обширной основы.

Какъ бы то ни было, но я долженъ быть признателенъ къ счастливой звѣздѣ своей: едва ли кто изъ моихъ современниковъ проходилъ авторское допріице съ меньшею заботою и большею удачею.

Прим. Дмитріевъ, Иванъ Ивановичъ (1760—1837), родился Симбирской губерніи въ Сызранскомъ уѣздѣ. Весьма незначительное образованіе, полученное въ частныхъ пансіонахъ (въ Казани и въ Симбирскѣ), а потомъ въ полковой школѣ (въ Петербургѣ), онъ по возможности восполнилъ чтеніемъ книгъ на русскомъ и французскомъ языкахъ и знакомствомъ съ литераторами, московскими и петербургскими. Четырнадцать лѣтъ (1774) поступилъ въ гвардію въ семеновскій полкъ. Свободное отъ строевой службы время посвящалъ литературѣ. Онъ началъ писать стихи, еще не зная версификаціи, и образцами себѣ выбралъ Сумарокова и Хераскова. Первое его стихотвореніе: «Надпись къ портрету Кантемира», нал. въ «Ученыхъ Вѣдомостяхъ», издававшихся Н. Новиковымъ (1777). «Я стихотворствовалъ», пишетъ онъ въ своихъ «Запискахъ», «нѣсколько лѣтъ посреди черствой службы, въ малыхъ чинахъ, между строями и караулами, въ обращеніи съ товарищами, почти необразованными; въ уголкѣ тѣснаго, низменнаго домика, чрезъ перегородку, раздѣляющую меня съ братомъ, въ шуму входящихъ и выходящихъ; не бывъ почти никогда, ниже на двѣ минуты, въ совершенномъ уединеніи». Кромѣ того, Дмитріевъ занимался переводами съ французскаго небольшихъ прозаическихъ сочиненій и отдавалъ переводы книгопродавцамъ, которые платили ему за то книгами. Въ 1781 г. онъ познакомился съ землемѣромъ своимъ, Карамзинымъ, поступившимъ на службу также въ гвардію. Связь молодыхъ лю-

¹⁾ Разборъ 5-го изданія сочиненій Дмитріева (Благонамѣренный, 1819, № 3).

²⁾ Разборъ сочиненій Дмитріева (Отрывки русской литературы, ч. 2-ая, 1839).

дей, укрѣпленная единствомъ интересовъ, продолжалась слишкомъ сорокъ лѣтъ, до самой смерти Карамзина, котораго Дмитріевъ называлъ своимъ «единственнымъ» другомъ. Съ изданія «Московского журнала» начался болѣе зрѣлый періодъ стихотворства Дмитріева: помѣщенные въ этомъ журналѣ пѣсни «Голубокъ» и сказка «Молодая жена» доставили ихъ автору извѣстность. 1794-ый годъ Дмитріевъ называетъ своимъ лучшимъ «литическимъ» годомъ; онъ провелъ его посреди семейства въ Сызранѣ или въ странствованіяхъ по низовому краю, и написалъ слѣдующія пѣсни: «Гласъ патриота», «Ермакъ», «Чужой толкъ», «Воздушныя башни», «Причудницу» и др. Подражая «Бездѣлкамъ» Карамзина, издалъ въ 1795 г. «И мои бездѣлки». Въ 1796 г. вышелъ въ отставку съ чиномъ полковника, но въ слѣдующемъ получилъ мѣсто оберъ-прокурора въ сенатѣ и званіе младшаго товарища министра въ новоучрежденномъ департаментѣ удѣльныхъ имѣній, который должности и занималъ до 1 января 1800 г. Чувства при свиданіи съ московскими друзьями, послѣ долгой съ ними разлуки, выразилъ онъ въ «Посланіи», одномъ изъ лучшихъ своихъ стихотвореній. Два года за тѣмъ проводилъ онъ то въ деревнѣ у родителей, то въ Москвѣ на одной квартирѣ съ Карамзинымъ, то въ Петербургѣ. Съ 1802 г. поселился въ Москвѣ, сообщая Карамзину басни и другія стихотворенія для «Вѣстника Европы». Въ 1806-мъ былъ назначенъ сенаторомъ; въ 1807-мъ, гр. Завадовскій, министръ народнаго просвѣщенія, предлагалъ ему званіе попечителя московскаго университета, на мѣсто умершаго М. Н. Муравьева, но Дмитріевъ, сознавая недостатокъ нужнаго для того образованія, отказался отъ предложенія. Въ 1810 г. назначенъ министромъ юстиціи, который и оставался до 30 августа 1814 г. По увольненіи перешелъ снова въ Москву. Въ 1816 г., при учрежденіи комиссіи для пособія разореннымъ въ Москвѣ отъ пожара и непріятеля, былъ назначенъ въ ея предсѣдателя. Труды его по этой обязанности были награждены (1818 и 1819 гг.) чиномъ дѣйствительнаго тайнаго совѣтника и орденомъ св. Владиміра 1-ой степени (до того Дмитріевъ уже имѣлъ св. Анны 1-ой степени и св. Александра Невскаго). Съ тѣхъ поръ, въ теченіе 28 лѣтъ, Дмитріевъ постоянно жилъ въ Москвѣ, иногда выѣзжая изъ нея только на родину или въ Петербургъ.

«Материалы для полнаго собранія сочиненій Дмитріева» исчислены М. Н. Лонгиновымъ (Рус. Архивъ 1863, стр. 710—720); дополненіе къ нимъ (ib. 1864, стр. 1251—1255). Здѣсь же указаны критическія и біографическія статьи о немъ; лучшія изъ нихъ: Каченовскаго (В. Евр. 1806, №№ 8 и 9), кн. П. А. Вяземскаго (Извѣстіе о жизни и стихотвореніяхъ И. И. Дмитріева, при 6-мъ изд. его стихотвореній, 1823), Н. Полеваго (Очерки русской литературы, 1839, ч. 2) и М. Дмитріева (Мелочи изъ запаса моей памяти).—Записки Дмитріева, съ приложеніями и примѣчаніями, изданы 1866 г., подъ заглавіемъ: «Взглядъ на мою жизнь». Много свѣдѣній о немъ находится въ письмахъ къ нему Карамзина, изданныхъ 2-мъ отдѣленіемъ Академіи Наукъ (1866).

§ 15. Первая четверть нынѣшняго вѣка остается памятною въ исторіи нашего театра и драмы. Замѣчательные ихъ успѣхи обусловились одновременнымъ появленіемъ талантливыхъ артистовъ и писателей. На петербургской сценѣ блистали Яковлевъ и Семенова,

а потомъ Каратыгинъ и Колосова (въ послѣдствіи Каратыгина); на московской славились Померанцевъ, Шушеринъ, Плавильщиковъ, Сандуновъ и Сандунова, и позднѣе Мочаловъ, первоклассный трагикъ, и Щепкинъ, первоклассный комикъ. Въ средѣ ихъ, какъ живое преданіе начальной эпохи русскаго театра, стоялъ Дмитревскій; руководствуя своею опытностью молодыхъ и немолодыхъ актеровъ. Взаимнодѣйствіе сценическихъ талантовъ и драматическихъ авторовъ естественно и несомѣнно. Драма пишется для представленія, успѣхъ котораго невозможенъ безъ хорошихъ исполнителей. Озеровъ дѣлилъ съ Семеновою дань слезъ и рукоплесканій, вызванныхъ его трагедіями, и «шумный рой комедій» Шаховскаго не возбудилъ бы и половины смѣха безъ гениальной игры Щепкина. Если драматургъ образуетъ артиста, то и артистъ своей игрою дѣйствуетъ на него образовательно. По крайней мѣрѣ нельзя отвергать того факта, что драматическое творчество во многихъ случаяхъ принимало въ соображенію средства и способности извѣстныхъ сценическихъ сюжетовъ.

Но оживленный ходъ сценической и драматической дѣятельности немислимъ безъ общественнаго къ ней сочувствія, которое, возбуждая и поддерживая ее, служить главѣйшею причиною ея развитія. Въ публикѣ десятыхъ и двадцатыхъ годовъ усиленно распространился вкусъ къ благороднымъ зрѣлищамъ, отбывающимъ охоту отъ зрѣлищъ неблагородныхъ, отъ грубаго времяпровожденія. Изъ разныхъ слоевъ ея стало выдѣляться большее противъ прежняго количество лицъ, для которыхъ художественный интересъ занялъ мѣсто въ ряду потребностей, необходимыхъ человѣку образованному. Многіе, даже люди серьезные и дѣловые, предавались театру не какъ забавѣ только, но и какъ важному занятію. Литераторы, по старой памяти, видѣли въ немъ училище добрыхъ нравовъ, исправителя пороковъ и заблужденій. Сужденія о піесахъ, о постановкѣ ихъ на сцену и выполненіи служили предметомъ разговоровъ какъ во время самаго спектакля, такъ и на обѣдахъ или вечернихъ собраніяхъ, литературныхъ и нелитературныхъ. Съ цѣлью очищать вкусъ публики и направлять ея приговоры былъ еженедѣльно издаваемъ «Драматическій Вѣстникъ» (1808), заключающій въ себѣ два отдѣла: правила драматическаго искусства, извлеченныя изъ лучшихъ иностранныхъ писателей, и, согласно съ правилами, отчеты о піесахъ и ихъ выполненіи. По словамъ этого журнала, отечественный театръ сталъ обращать на себя вниманіе людей даже великосвѣтскихъ, приученныхъ иностранными воспитателями презрительно отзываться о произведеніяхъ русскаго ума: они уже не стыдились признаваться, что плакали

въ «Юдинъ» и «Пожарскомъ», смѣлясь въ «Недоросль» и «Модной лавкѣ», и даже подшучивали надъ слѣпыми поклонниками чужеземщины. Въ подражаніе столичнымъ театрамъ заводились провинціальныя, по губернскимъ городамъ, на содержаніи антрепренеровъ, и частныя или домашнія, которые устраивались вельможами и зажиточными помѣщиками изъ крѣпостныхъ людей. Труппы тѣхъ и другихъ иногда доставляли столицамъ отличныхъ артистовъ. Въ числѣ посѣтителей театра явились страстные его любители, таковы называемые «театралы», къ которымъ принадлежали сивовольны на-ряду съ малочиновыми, пожилые на-ряду съ молодежью. Искусство читать драматическую піесу, декламировать изъ нея наизусть монологи и даже цѣлыя сцены уважалось высоко; благодаря ему, передъ новичками въ литературѣ отворялись двери опытныхъ литераторовъ: С. Аксаковъ, С. Жихаревъ и П. Араповъ представляютъ тому доказательство. Послѣдній, не имѣя ничего для чтенія, отрекомендовалъ себя князю Шаховскому тѣмъ, что продекламировалъ у него на вечерѣ «Пѣвца въ станѣ русскихъ воиновъ». Поденныя записки С. П. Жихарева (Дневникъ чиновника) почти на-половину заняты театральными извѣстіями и отчетами. Какъ свидѣтельство рѣдкой театроманіи, хранилась у него коллекція ежедневныхъ афишъ за тридцать лѣтъ сряду! Для записнаго театрала, не пассивнаго, а дѣятельнаго, сочинить піесу, прочесть ее въ кругу знатоковъ драматическаго искусства и выслушать ихъ мнѣніе, наконецъ видѣть ее на сценѣ, составляло три постепенно восходящія ступени наслажденія.

Любовью къ театру отличались и лица, стоявшія при его управленіи. Директоры: Нарышкинъ и Майковъ въ Петербургѣ, Кокошкинъ въ Москвѣ, много сдѣлали для его совершенствованія. Особенную пользу оказалъ ему князь Шаховской, членъ театральной конторы по репертуарной части: онъ заботился не только о разнообразіи репертуара, но и объ улучшеніи сценическаго искусства. Его стараніемъ учреждена театральная школа для формированія «молодой труппы», обновлявшей составъ главной труппы замѣчательными дарованіями. При выборѣ и постановкѣ новыхъ піесъ, при разучиваніи ролей начальство и артисты дорожили его опытностью. Онъ распоряжался какъ знатокъ дѣла, возбуждая противъ себя много непріязней, изъ которыхъ нѣкоторыя были заслужены, но не измѣняя своей заботливости объ успѣхахъ любезнаго ему искусства. Кокошкинъ соединялъ въ себѣ знаніе драмы съ сценическимъ талантомъ: онъ былъ авторъ, декламаторъ и отличный по тогдашнему времени актеръ. Московскіе старожилы помнятъ его классическую игру въ благородныхъ спектакляхъ, на которыхъ

временами являлась и Семенова, вышедшая замужъ за князя И. А. Гагарина. Домъ Шаховскаго былъ сборнымъ мѣстомъ образованныхъ любителей театра — Гнѣдича, Лобанова, И. Крылова, Катенина, Хмельницкаго, Жандра, Грибоѣдова, помогавшихъ ему своими знаніями. Туда приносили авторъ новую піесу читать и выслушивать замѣчанія объ ея достоинствахъ и недостаткахъ; тамъ же оцѣнивалась игра артистовъ или обсуждались мѣры для лучшей постановки претендировавшихъ трагедій и комедій. Успѣхами русской сцены интересовался и Державинъ, на закатѣ своего таланта пустившійся въ сочиненіе драматическихъ піесъ. Но слава наиболѣе образованнаго знатока изящныхъ произведеній справедливо принадлежала А. Н. Оленину, президенту Академіи художествъ. Преданіе говоритъ, что въ его домѣ сосредоточивалось все, что являлось въ столицѣ замѣчательнаго по искусствамъ и литературѣ. У него впервые Озеровъ читалъ своего «Эдипа въ Афинахъ» и по его же совѣту написалъ «Фингалъ».

Наконецъ сильными поводами къ развитію сцены служили съ одной стороны права, данныя артистамъ, а съ другой отношеніе къ нимъ общества и литераторовъ. Въ 1806 г. театры поступили въ вѣдомство Императорской театральной дирекціи: это обрадовало и артистовъ, и драматическихъ авторовъ, ибо тѣ и другіе опредѣленно знали, съ кѣмъ они будутъ имѣть дѣло въ своихъ занятіяхъ. За извѣстный срокъ службы была положена актерамъ и актрисамъ пенсія, при назначеніи которой не пропадало время, проведенное ими у содержателей частныхъ театровъ. Окладъ ихъ жалованья возвышался соразмѣрно возвышенію ихъ извѣстности, такъ что наиболѣе извѣстные (Семенова, Колосова, Яковлевъ, Каратыгинъ) не имѣли права жаловаться на скудость средствъ для жизни. Привлекая къ себѣ сочувствіе публики талантомъ, становясь ея любимцемъ на сценѣ, артистъ дѣлался предметомъ общественнаго вниманія и внѣ сцены. Онъ принимался въ образованные круги, пользовался ласкою и покровительствомъ вліятельныхъ лицъ. Въ Москвѣ князь М. А. Долгорукій особенно любилъ Плавильщикова, приглашая его къ своимъ обѣдамъ, вмѣстѣ съ Померанцевымъ и Зловымъ. На вечерахъ князя Шаховскаго, въ Петербургѣ, военный генералъ-губернаторъ графъ М. А. Милорадовичъ, одинъ изъ героевъ 1812 г., весьма часто дѣлилъ компанію съ присутствовавшими тамъ же артистами. Послѣдніе много выигрывали отъ своего общенія съ литераторами: оно восполняло ихъ чрезвычайно-бѣдную образованность и въ тоже время отучало отъ обычнаго грубаго невѣжества, благодаря которому «актеръ» и «гуляка» означали одно и тоже. Первоклассные сценическіе сю-

жети, Семенова и Яковлевъ, были драгоценныя самородки, не обдѣланные ученіемъ. Яковлева даже товарищи называли «неучемъ». Своими успѣхами они одолжены были всего болѣе природѣ. Инстинктивно выполняли они роли, не сознавая ни историческаго, ни психологическаго ихъ значенія. Они поражали публику вдохновенными «порывами», а не полнотою стройно-цѣлаго, художественно-обдуманнаго представленія. И для общаго образованія такихъ прирожденныхъ актеровъ, и для ихъ спеціальнаго образованія въ сценическомъ искусствѣ была необходима помощь разумныхъ наставниковъ, которые и нашлись въ литературной средѣ. Гнѣдичъ занялся обученіемъ Семеновой, Катенинъ давалъ совѣты Каратыгину и Колосовой. Они, употребляя техническія выраженія, «проходили» роли съ своими protégés или protégées, «ставили» ихъ на трагическія или комическія амплуа. Рассказываютъ, что Гнѣдичъ училъ Семенову читать «съ-голосу», на первое время тяжело добиваясь отъ своей ученицы толковой, согласной съ смысломъ рѣчи декламации. И однакожъ — такова сила таланта — игра Семеновой, проникнутая внутреннимъ огнемъ и чувствомъ, заставляла зрителей плакать и громомъ рукоплесканій выражать свой единодушный восторгъ. Другими знаками общественнаго одобренія служили вызовы артистовъ на сцену, сначала по окончаніи спектакля, а потомъ и непосредственно за нѣкоторыми сценами, патетическими или комическими. На провинціальныхъ театрахъ иногда оказывалось болѣе реальное вниманіе игравшимъ: актеру или актрисѣ бросали на сцену, во время самаго представленія, кошелькъ съ деньгами, собранными заранее или тутъ же въ антрактѣ. Особенное покровительство какому-нибудь таланту, желаніе выдвинуть его впередъ, дать ему первенствующее мѣсто на сценѣ, иногда поселяло непріятности между артистами, а иногда не оставалось безъ послѣдствій и для самого покровителя. Избѣгая интригъ, Семенова и Колосова принуждены были временно покинуть сцену. Катенину, расположенному къ Колосовой и нерасположенному къ Семеновой, запрещено было посѣщать театръ въ то время, когда послѣдняя на немъ играла, а потомъ онъ былъ высланъ изъ Петербурга въ свою деревню, гдѣ и провелъ десять лѣтъ ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ О состояніи театра въ царствованіе Александра I см.: «Записки Современника (С. П. Жихарева) съ 1805 по 1819 г.» Часть 1—«Дневникъ студента» (1859); часть 2—«Дневникъ чиновника» (От. Зап. 1855, №№ 4, 5, 7, 8, 9 и 10) его же «Воспоминанія стараго театралъ» (Отч. Зап. 1854, № 10); «Яковъ Емельяничъ Шустеринъ», С. Аксакова (Семейная хроника и воспоминанія); его же «Литературныя и театральныя воспоминанія» (Рус. Вѣстѣ 1856, кн. 4); «Истoria русскаго театра». П. Арапова (1861).

Въ драматической поэзіи шли рядомъ два направленія: одно выражалось быстрымъ развитіемъ вкуса къ мѣщанской драмѣ, появившейся у насъ во второй половинѣ прошлаго вѣка ⁽¹⁾; другое держалось французско-классической трагедіей и комедіей.

Репертуаръ драмы состоялъ преимущественно изъ піесъ Коцебу, которыя стали появляться на русской сценѣ въ послѣднихъ годахъ XVIII столѣтія. Онъ былъ въ страшной модѣ. Нѣкоторые его піесы: «Ненависть къ людямъ и раскаяніе» (1792), «Сынъ любви» (1795), «Гусситы подъ Наумбургомъ» (1807), давались очень часто и всегда съ чрезвычайнымъ успѣхомъ. Первые двѣ оставались на сценѣ слишкомъ тридцать лѣтъ, не теряя интереса для зрителей. Для обозначенія «модныхъ драмъ», какъ тогда назывались драмы Коцебу, водворившіяся на сценахъ петербургской и московской, было выдуманно слово «коцебятина»:

Одинъ лишь *Сынъ любви* здѣсь трогаетъ сердца!
Гусситы, *Популай* ⁽²⁾ предпочтены *Соренъ* ⁽³⁾
 И *коцебятина* одна теперь на сценѣ ⁽⁴⁾.

Коцебу не только обогащалъ репертуаръ, но и доставлялъ публикѣ занимательное чтеніе. Собраніе театральныхъ его произведеній вышло въ нѣсколькихъ переводахъ, и каждый переводъ имѣлъ по нѣскольку изданій. Кромѣ того почти каждая піеса печаталась отдѣльно. Блестательный успѣхъ Коцебу соблазнилъ и нашихъ авторовъ; явились оригинальныя драмы, въ подражаніе нѣмецкимъ: Н. Ильинъ написалъ «Лизу или торжество благодарности» (1803) и «Великодушіе или рекрутскій наборъ» (1804); В. Оедоровъ — «Лизу или слѣдствія гордости и обольщенія» (1804); О. Ивановъ — «Семейство Старичковыхъ, или за Богомъ молитва, а за царемъ служба не пропадаютъ» (1808). Нѣкоторые изъ этихъ піесъ производили чрезвычайное впечатлѣніе и доставляли ихъ сочинителямъ извѣстность.

Вмѣстѣ съ сочувствіемъ публики, нѣмецкая драма возбуждала негодованіе тѣхъ литераторовъ, которые въ классической трагедіи и комедіи французовъ видѣли идеалъ драматическаго искусства. Противники Коцебу большею частію были тѣ самыя лица, которымъ не могъ угодить Карамзинъ своею дѣятельностью и которыя потомъ наполнили собою «Бесѣду»: явленіе понятное, объясняемое происхожденіемъ слезныхъ комедій, такъ какъ онѣ, по отношенію къ

¹⁾ Ист. Рус. Слов. I.

²⁾ Драма Коцебу (1796).

³⁾ Трагедія Николаева, не допущенная на театръ за нѣкоторыя тирады противъ властителей.

⁴⁾ Сатира кн. Д. Горчакова (Ист. Христ. 11).

французской трагедии, тоже, что «Блудная Лиза» относительно классико-эпических повествований. Желание противодействовать усилях Коцебу и вместе охранять предания строгого классицизма служило главнейшею причиною основанія «Драматическаго Вѣстника». Планъ театрального журнала съ такою цѣлю задуманъ впервые кн. Шаховскимъ, подобравшимъ издателя и сотрудниковъ одного съ нимъ образа мыслей—Марина, Цисарева, Д. Языкова, И. Крылова. «Вѣстникъ» состоялъ изъ двухъ отдѣловъ: одинъ переводами изъ иностранныхъ теоретиковъ, преимущественно Вольтера, напоминалъ законы псевдоклассической драмы; другой велъ войну съ драмами нѣмецкими. Въ каждомъ почти номерѣ восхвалялись слѣдствія французской трагедии и комедии, и раскрывались негѣности мѣщанскихъ трагедій и слезныхъ комедій. Пьесы Коцебу и подражателей его подвергались двойной атакѣ: со стороны ихъ содержания, вреднаго для нравственности, и со стороны нарушенія французской шитики, портящаго хорошій вкусъ. Названіе комедій «слезными» сочтено вопіющимъ противорѣчіемъ, бессмыслицей; авторы ихъ въ насмѣшку провозглашались траги-комическими или комикотрагическими, неспособными производить ни истинно-забавнаго, ни истинно-трогательнаго. Отъ «Евгеніи» (Бомарше) ведется начало современнаго упадка драматической словесности, предсказаннаго Вольтеромъ. Критика «Ненависти къ людямъ» (переведенная съ французскаго) утверждаетъ, что эта пьеса причинила много разводовъ и, разстроивъ много свадьбъ, оказалась не менѣ пагубною и для искусства: успѣхъ ея завалилъ театр драмами подобнаго же разбора и сочиненія великихъ писателей (французскихъ) забывались для глухихъ зареицкихъ игрищъ. Въ томъ же тонѣ выражался кн. Горчаковъ и о нашей сценѣ въ упомянутой сатирѣ.

Походъ «Драматическаго Вѣстника» противъ пьесъ Коцебу, безнравственности и дурнаго вкуса, не достигъ своей цѣли: онъ продолжали болѣе и болѣе интересоваться публику. Напрасно его издатели ожидали другихъ послѣдствій. Драма, въ тѣсномъ смыслѣ мѣщанскихъ трагедій, хотя у насъ была заноснымъ товаромъ, а не историческимъ явленіемъ, какъ на западѣ, однакожъ раздвигала границы репертуара, замкнутаго дотошъ въ области французской Мельпомены и Талии. Она возбуждала сочувствіе общечеловѣческимъ содержаніемъ, доступнымъ сердцу каждаго зрителя. Если бы критика «Вѣстника» доказывала, что это содержаніе въ трогательныхъ драмахъ Ифланда, Шредера и Коцебу захватывается мелко и представляется не художественно, тогда она могла бы назваться справедливою; но она говорила совсѣмъ не то: она безусловно отвергала мѣщанскія драмы, какъ незаконный видъ драматической

*

поэзии, и впечатлѣніе, ими производимое, силилась объяснить единственно любовью толпы къ карриатурамъ и нелѣпостямъ. Въ ихъ сценическомъ успѣхѣ она не замѣчала особенной пользы, которую онѣ приносили расширенію взглядовъ на поэзію вообще, ошутительно показывая, что не въ однихъ французскихъ трагикахъ спасеніе нашего театра, и слѣдовательно скорѣе освобождая большинство отъ пристрастія къ псевдоклассицизму, отъ вѣры въ его поэтическое единовластіе. Можно сказать, что театръ первый подкапывалъ у насъ основы французской эстетики, и не его вина, если наши литературные теоретики и критики закрывали глаза на очевидный фактъ. Другое освобожденіе совершалось въ сценической игрѣ, мало по малу отучая ее отъ преданій и обычаевъ французской сцены и приучая къ простотѣ, естественности, свободѣ. Величественная поступь, размѣренные движенія, пѣвучая дикція, соблюденіе приличныхъ формъ въ самомъ разгарѣ трагической страсти, всего менѣе допускающей мысль о какомъ-либо приличіи, не имѣють мѣста въ слезныхъ комедіяхъ: они вызвали бы смѣхъ тамъ, гдѣ дѣйствуютъ обыкновенные смертные, а не герои Корнеля и Расина. Кромѣ того, самое развитіе, постепенное расширеніе и осложненіе репертуара необходимо слѣдовало за развитіемъ общественнаго вкуса къ театру. Когда театральныя зрѣлища становятся уже не рѣдкой, такъ сказать праздничной, забавой, а частымъ, почти ежедневнымъ удовольствіемъ многихъ, когда изъ предмета роскоши они переходятъ въ предметъ потребности, тогда, конечно, является настоящая забота о разнообразіи репертуара. Самое лучшее, непрерывно повторяемое, наконецъ прискучить. Мольеръ, Корнель, Расинъ, Вольтеръ, Кребильонъ.... все это уже было переиграно и пересмотрѣно. Другихъ, подобныхъ имъ, писателей не являлось. Откуда же взять новаго, хотя бы въ томъ же родѣ? Противники мѣщанской драмы видятъ низкую пробу ея поэтического достоинства въ томъ, что она легко сочиняется. Но эта легкость—сущій кладъ въ томъ случаѣ, когда предстоитъ безотлагательная нужда въ обогащеніи репертуара. Сочиненіе героической трагедіи обставлено многими трудностями, изъ которыхъ только талантъ выходитъ съ счастливымъ успѣхомъ; переводчику ея также необходима извѣстная степень поэтического дарованія, кромѣ знанія языка и умѣнья владѣть стихомъ: поэтому не было физической возможности часто угощать публику пьесами классическаго стиля. А между тѣмъ публикѣ некогда ждать народненія искусныхъ авторовъ и переводчиковъ: она требуетъ зрѣлищъ и зрѣлищъ. Нельзя отказать ей въ такомъ законномъ требованіи, и вотъ Коцебу, написавшій болѣе двухъ сотъ театральныхъ пьесъ, очень кстати явился

на пополненіе и оживленіе нашего репертуара. Если онъ легко производилъ ихъ, то еще легче было переводить ихъ. Не маловажнымъ достоинствомъ «коцебятинъ» служила и ея сценическая удобоисполнимость. Въ первенствующихъ лицахъ классическихъ трагедій должны выступать отличные артисты; актеръ второстепенный непременно роняетъ ихъ, а посредственность становится въ нихъ невыносимою. Напротивъ, и непервоклассные сценическіе сюжеты могутъ съ успѣхомъ представлять главные лица мѣщанскихъ драмъ, не имѣющія ни величія, прирожденнаго героямъ Корнеля и Вольтера, ни патетическаго напряженія, изъ котораго эти герои не выходятъ въ теченіе пяти актовъ.

На основаніи высказаннаго, мы считаемъ рѣшительнымъ успѣхомъ появленіе драмъ въ нашей литературѣ и на сценѣ, равно какъ и возбужденный ими интересъ. Оригинальныя піесы того же рода были новымъ шагомъ впередъ, какъ выраженіе общечеловѣческаго содержанія въ національной формѣ. Попытки оказывались не вполнѣ удачными въ поэтическомъ отношеніи: онѣ часто нарушали законъ правдоподобія, такъ что критикѣ легко было разглядѣть живую нитку, которою авторъ сшивалъ оба элемента— общечеловѣчскій и русскій. И самые зрители могли, напримѣръ, замѣтить въ драмѣ Ильина: «Лиза или торжество благодарности», что крестьянка выражается лучше иной благовоспитанной дѣвицы и разсуждаетъ не хуже иного профессора, или что отставной солдатъ Кремневъ изъ героическаго великодушія отказывается отъ дочери своего полковника. Но эти и подобныя имъ несообразности, отъ которыхъ несвободна и «Бѣдная Лиза» Карамзина, доказываютъ только неосмотрительное подражаніе автора иностраннымъ образцамъ, допустившимъ въ драму моральное резонерство. По крайней мѣрѣ въ именахъ, мѣстѣ дѣйствія и самомъ дѣйствіи зритель видѣлъ нѣчто свое, русское, хотя и не всегда согласное съ точною дѣйствительностью. Ему было пріятнѣе, въ «Рекрутскомъ наборѣ» (драмѣ того же Ильина), трогаться великодушнымъ дѣломъ крестьянина, идущаго въ рекруты на мѣсто своего женатаго брата, нежели великодушіемъ Пилада, покрытаго историческимъ мракомъ. Ради пріятнаго впечатлѣнія, онъ охотно прощалъ извозчику Герасиму его резонерство, которымъ это дѣйствующее лице не уступаетъ любому пастору въ романахъ Августа Лафонтена.

Новымъ видомъ драмы была мелодрама, названная такъ отъ музыки, которою сопровождаютъ наиболѣе разительныя положенія и рѣчи дѣйствующихъ лицъ. Потомъ она утратила начальный смыслъ свой и выродилась въ такое представленіе, которое

разсчитывается единственно на возбужденіе сильныхъ ощущеній на-
нимъ бы то ни было способомъ. Эффектамъ—главной цѣли автора—
предается въ жертву и физическое, и нравственное, и историче-
ское правдоподобіе: отсюда слово «мелодраматическій», для озна-
ченія всего эффектнаго, если послѣднее не дорожить ни истиной
природы, ни истиной духа, а придумано какъ легкое средство,
оправдываемое цѣлью. Одной изъ первыхъ мелодрамъ, явившихся
на нашей сценѣ, была «Убійца и сирота» (1819); за нею слѣдо-
вали «Обрѣва собака», «Христофръ Колумбъ или открытіе новаго
свѣта», «Тридцать лѣтъ или жизнь игрока», и другія болѣею
частью переведенныя съ французскаго.

Обращаясь къ классической трагедіи, оригинальной и пере-
водной. Прежде всего мы замѣчаемъ здѣсь, что піесы Сумарокова
почти совсѣмъ изъяты изъ репертуара. Сходить со сцены и Кня-
нинъ, къ сожалѣнію литературныхъ старожилонъ, поминившихъ
эффектъ, который производили Дидона и Росславъ. Трагедіи его
возобновляются случайно, по какимъ-нибудь внѣшнимъ поводамъ:
или для дебюта сценическихъ сюжетовъ, или изъ желанія артистовъ
блеснуть талантомъ въ той роли, которая преславила ихъ пред-
шественниковъ. Такъ Дидона давалась въ 1808 г. для Валберховой
и въ 1820-мъ для Колосовой и Бринскаго.

Мѣсто Княнина заступилъ Оверовъ, третій по времени нашъ
трагикъ, о которомъ мы будемъ говорить особенно: его піесы под-
няли русскую классическую трагедію и долго держались на сценѣ.
Одновременно съ блистательнымъ успѣхомъ его «Дмитрія Дон-
скаго» (1807) имѣла не меньшій успѣхъ и патріотическая трагедія
Крыжевскаго: «Пожарскій». Въ томъ же родѣ драматической поэзіи
трудились Плавильщиковъ, Ѳ. Ивановъ, Висковатовъ и Грузин-
цевъ; какъ сочинители и какъ переводчики. Многія піесы фран-
цузскаго трагическаго триумвирата были переведены въ первый разъ
или явились въ новыхъ переводахъ: Маринъ перевелъ «Меропу»,
Любановъ — «Ифигенію въ Авлидѣ» и «Федру», Гнѣдичъ — «Тан-
кредъ», Катенинъ — «Эсфирь» и «Говелію», и онъ же, по словамъ
А. Пушкина, «возвернулъ Корнеля геній величавый» переводомъ
«Сиды». Надъ нѣкоторыми трагедіями, напримѣръ «Заирой» и
«Гораціемъ», трудились литераторы сообща, для скорѣйшаго ихъ
приготовленія къ бенефису любимыхъ артистовъ или артистокъ.
На трагедіи англійскую и нѣмецкую наши драматурги еще мало
обращали вниманіе. За исключеніемъ «Леара» (пер. Гнѣдича),
посвѣтители театра знакомились съ Шекспиромъ болѣею частью
по передѣлкамъ Дюси, изъ которыхъ Вельяминовъ перевелъ «Отелло»,
а Висковатовъ «Гамлета». Не видно также замѣтнаго сочувствія

къ Шиллеру, хотя и были переведены двѣ его трагедіи въ прозѣ: «Заговоръ Фіеско въ Генуѣ» и «Коварство и любовь»; «Разбойники», въ переводѣ Сандунова (1793), явились на петербургской сценѣ только въ 1814 г. Очередь главнѣйшихъ представителей трагедіи наступила лишь въ то время, когда литераторы, писавшіе для театра, обнаружили охлажденіе къ классицизму.

Сдѣлаемъ такой же общій обзоръ важнѣйшимъ комедіямъ. Прежніе комики: Фонъ-Визинъ, Княжнинъ и Капнистъ уже рѣдко привлекаютъ публику, уступая свое первенство новымъ ея любимцамъ. «Ябеду» смотрѣли еще съ удовольствіемъ, но «Хвастунъ», возобновленный въ 1825 г. для Сосницкаго, который занималъ роль Верхолета, казался стародавною рѣдкостью. Главнымъ представителемъ русской Таліи въ разсматриваемый періодъ былъ князь А. А. Шаховской: свыше тридцати лѣтъ онъ обогащалъ комическій репертуаръ, неослабно поддерживая его интересъ; другія комедіи написаны Хмельницкимъ, Загоскинымъ, Кокоскинымъ, Грибоѣдовымъ. Изъ двухъ комедій И. Крылова: «Урокъ дочкамъ» (1807) и «Модная Лавка» (1807), мы упоминали о первой при изложеніи патріотической литературы, замѣтивъ, что эта пьеса осмѣиваетъ бессмысленное пристрастіе русскихъ къ французамъ, въ особенности къ ихъ языку и модамъ. Сатира второй пьесы сосредоточена на томъ же предметѣ. Та и другая имѣли большой успѣхъ на сценѣ, благодаря комизму нѣкоторыхъ лицъ и положеній, но въ цѣломъ онѣ не выдерживаютъ строгой критики, потому что имѣютъ цѣлю болѣе возбудить смѣхъ, нежели соблюсти правдоподобіе, почему и впадаютъ не рѣдко въ преувеличенія, доходящія до карикатуры. Все ихъ дѣйствіе, по примѣру французскихъ комедій, ведется слугой и служанкой, что не въ русскихъ нравахъ. Было говорено также о комедіи графа Ростопчина «Вѣсти, или убитый живой» (1808), осмѣивающей московскихъ вѣстовщицъ и вѣстовщиковъ въ войну съ французами 1807 г. При отсутствіи художественнаго достоинства, она выступаетъ изъ ряда многихъ пьесъ оригинально-рѣзкою, желчною сатирою.

Водевиль былъ такою же новостью въ комическомъ репертуарѣ, какъ мелодрама въ отдѣлѣ драмъ. Послѣ Аблесимовскаго «Мельника» и «Одуды съ дѣтьми», которыя почитаются первыми нашими водевилями, Шаховской написалъ «Казака-стихотворца» (1812), чрезвычайно нравившагося публикѣ. Затѣмъ онъ и Хмельницкій ставили другія пьесы того же рода, иногда переводя ихъ съ французскаго безъ перемены, а иногда съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ прилаживая переводы къ русскимъ нравамъ. Во-

девиальныя представленія скоро припились публикѣ по вкусу, хотя литераторы—даже тѣ самыя, что снабжали ими театр—смотрѣли на нихъ свысока, почитали ихъ выскочками, недостойными дѣлать компанію съ Таліей. Не смотря на такую строгость безсмертной Музы, приближалось то время, когда стихъ Репетилова

Лишь водевиль есть вещь, а прочее все—гиль,
долженъ былъ оказаться не совсѣмъ шуткой. Волею-неволею театръ широко отворилъ ворота водевилямъ, въ быстрой смѣнѣ однихъ другими утолявшихъ жажду публики къ игривому разнообразію спектаклей.

Между писателями, которымъ наша драма обязана успѣхамъ въ первую четверть нынѣшняго вѣка, главное мѣсто, по старшинству дѣятельности и по количеству піесъ, принадлежитъ князю А. А. Шаховскому (1777—1846). Піесы его (числомъ до 70, если не больше) составили разнообразный и пріятный репертуаръ, долгое время державшійся на столичныхъ и провинціальныхъ театрахъ. Независимо отъ удовольствія, доставляемаго ими зрителямъ, онѣ дѣйствовали воспитательнымъ образомъ на артистовъ. Домъ Шаховскаго былъ сборнымъ пунктомъ не только для служившихъ при театрѣ и писавшихъ для театра, но и вообще для образованныхъ любителей сценическаго искусства. Бесѣды въ кругу людей, постоянно у него собиравшихся, развивали понятія о драмѣ и ея исполненіи, а также питали благородную привязанность къ этому роду поэзіи.

Шаховской имѣлъ чрезвычайную страсть къ театру, которая не охлаждалась въ теченіе сорока пяти лѣтъ, съ того самаго времени, какъ онъ получилъ мѣсто репертуарнаго члена въ петербургской театральной дирекціи (1801), обязанность котораго въ то время состояла въ постановкѣ піесъ и въ содѣйствіи развитію молодыхъ сценическихъ талантовъ. Эта страсть не уступала даже служебнымъ непріятностямъ. Принужденный, по столкновенію съ директоромъ театровъ (кн. Тюфякинмъ), оставить свою должность (1818), онъ не переставалъ руководить артистовъ, обращающихся къ нему за совѣтами, и съ прежнимъ усердіемъ поставилъ одну за другой піесы. Уволенный (1825), по новому столкновенію съ кн. Долгорукимъ, председателемъ комитета, занимавшагося составленіемъ правилъ управленія театрами ⁽¹⁾, онъ переселился въ Москву, гдѣ на свободѣ и по волѣ дѣлалъ тоже самое, что дѣлалъ въ Петербургѣ, по обязанностямъ службъ.

¹⁾ Въ указѣ объ отставкѣ было сказано, что Шаховскій увольняется для лучшаго устройства комитета (Театральныя воспоминанія Р. Зотова, 1859).

Числу піесъ, написанныхъ Шаховскимъ, не уступаетъ ихъ разнообразіе. Между ними находятся всѣ виды и формы драматической поэзіи: собственно драма, трагедія, комедія, опера, водевиль, прологъ, балетъ. Каждый видъ обозначался иногда особеннымъ названіемъ: драма—романтическая; комедія—романтическая, анекдотическая, историческая; опера—анекдотическая, волшебная, волшебнo-комическая, опера-водевиль; водевиль—волшебный, пословица-водевиль. Видовое отличіе піесъ нерѣдко замѣнялось общимъ: зрѣлище, представленіе, былль, трилогія, драматическая поэма и т. п. Главнымъ же родомъ, свойственнымъ таланту автора, была комедія. Шаховскаго, и въ рецензіяхъ и въ эпиграммахъ, называли комикомъ, такъ что въ исторіи литературы онъ занялъ мѣсто «шумнымъ роємъ своихъ комедій», по выраженію Пушкина.

На долгомъ пути дѣятельности кн. Шаховскаго замѣчается нѣсколько направленій. Началъ онъ свою литературную карьеру строгимъ классикомъ, который видѣлъ высшіе авторитеты драмы въ произведеніяхъ французскихъ писателей. По его мысли былъ основанъ Драматическій Вѣстникъ, подъ редакціей Д. Языкова, отстаивавшій превосходство теоріи и преданій французскаго классицизма надъ жѣлтанской трагедіей и другими явленіями, несогласными съ ученіемъ Вольтера. Первымъ чисто-выѣшнимъ уклономъ отъ руководящихъ образцовъ служили вольные стихи, которые Шаховской сталъ вводить на мѣсто александрійскихъ. Незадолго до 1820 г., онъ перешелъ на сторону романтической драмы, сюжеты для которой заимствовалъ изъ Шекспира, В. Скотта, Оссіана и Пушкина. Сущность третьяго направленія (съ начала двадцатыхъ годовъ) объяснена самимъ авторомъ, въ письмѣ къ князю В. Ѳ. Одоевскому: «Успѣвши нѣсколько въ старомъ, или обыкновенномъ, я ищу для нашего театра если не совсѣмъ новаго, то по крайней мѣрѣ не столь условнаго, какъ драматическія подражанія, принесенныя къ намъ съ пудрою, шитыми кафтанами и красными каблуками изъ Парижа. Я хочу моими опытами открыть дорогу людямъ, имѣющимъ больше моего дарованія, для обогащенія нашей драматической литературы и даже къ созданію своего собственнаго театра на обширномъ и прочномъ фундаментѣ (1). Стремясь къ этой цѣли, Шаховской написалъ русскимъ размѣромъ драму въ 4-хъ дѣйствіяхъ: «Соколъ князя Ярослава тверскаго или сужанный на бѣломъ конѣ» (1823). Другими, позднѣйшими опытами такого направленія были двѣ піесы: драма «Двумужница» (1832) и опера «Чурова долина» (1844).

1) Русскій Архивъ, 1864.

По количеству піесъ, сочиненныхъ кн. Шаховскимъ, можно, до нѣкоторой степени, заключать и объ ихъ качественномъ значеніи. Ему некогда было вдумываться въ драматическіе сюжеты и обрабатывать ихъ съ должнымъ тщаніемъ. Разнообразие и плодovitость таланта рѣдко соединяются съ его глубиной. Только геніальность представляетъ сочетаніе такихъ свойствъ, а Шаховской вовсе не принадлежалъ къ числу геніальныхъ людей, и, какъ юмистъ, вообще плавалъ не глубоко. Всѣ его піесы имѣли большее или меньшее достоинство относительное, но нѣтъ изъ нихъ ни одной съ достоинствомъ безотносительнымъ, которое даетъ поэтическому произведенію силу не только переживать своего творца, но и сохраняться надолго въ потомствѣ. По всему вѣроятію, самъ Шаховской чувствовалъ внутреннюю слабость своихъ піесъ, почему и старался прикрывать ее блестящей обстановкой: вводилъ въ нихъ, часто не кстати, музыку и танцы, пользовался машинами и декораціями, короче—угощалъ публику великолѣпнымъ спектаклемъ. Кромѣ того, любилъ онъ выставлять портреты современниковъ, извѣстныхъ публикѣ съ комической стороны, отчего вмѣсто лица, какъ представителя извѣстнаго общественнаго круга, являлась на сценѣ личность, принадлежащая одному человѣку. Публика смѣялась, потому что «смѣяться не грѣшно надъ тѣмъ, что есть смѣшно», и самъ авторъ оставался доволенъ успѣхомъ представленія, забывая, что подобный успѣхъ крайне недолговѣченъ, такъ какъ со смертію осмѣянной личности почти всегда умираетъ и піеса. Въ извиненіе Шаховскаго можно замѣтить, что современное ему значеніе театра обуславливало спѣшность авторской работы. Мы видѣли, какъ, при Александрѣ I, сильно развилась въ публикѣ охота къ сценическимъ представленіямъ. Развившейся охотѣ необходимо было удовлетворять разнообразнымъ репертуаромъ. Этому разнообразію много содѣйствовали бенефисы. Бенефицианту, для его собственныхъ выгодъ, слѣдовало явиться предъ публикой съ какой-нибудь новой піесой, — и вотъ онъ обращался къ литератору съ просьбой приготовить для него, къ извѣстному сроку, драму, или комедію, или по меньшей мѣрѣ водевилъ. Нѣкоторые изъ писателей для театра сами заинтересованы были въ судьбѣ бенефисовъ, потому что въ средѣ драматической труппы имѣли своихъ protégés или protégées. Отъ успѣха игры во многомъ зависѣлъ успѣхъ самой новопоставленной піесы, такъ что авторъ и бенефициантъ какъ бы дѣлили пополамъ рукоплесканія зрителей. Такого срочнаго, заказнаго сочинительства на долю Шаховскаго приходилось гораздо больше, чѣмъ на долю другихъ драматическихъ писателей: въ годъ ставилъ онъ по двѣ, по три піесы, а

иногда и болѣе. Мудрено ли, что, при скорописаніи, онъ былъ вынужденъ многое брать изъ иностранныхъ образцовъ, не имѣя времени ни производить оригинальнаго, ни тщательно обдумывать передѣлку заимствованнаго? Не смотря, однакожь, на это, и относительное значеніе пьесъ Шаховскаго ставить его на видное мѣсто въ исторіи нашей драматической литературы. Въ драмѣ, равно какъ и въ другихъ родахъ поэзіи, кромѣ глубины содержанія и художественнаго строя, есть другія качества, производящія впечатлѣніе на публику — разнообразіе сюжетовъ, живость дѣйствія, непритворная веселость, остроуміе. Они-то и были причиною, по которой публика принимала пьесы Шаховскаго съ большимъ удовольствіемъ. Многимъ также ему обязаны естественность и свободное теченіе разговора, какъ въ прозѣ, такъ и въ стихахъ, хотя при этомъ мы должны сдѣлать оговорку, что, навывнувъ въ искусствѣ легко владѣть стихомъ, авторъ иногда безъ нужды развязывалъ языкъ своимъ героямъ и героинямъ, которые отъ того впадали въ многословіе. Не малой заслугой его служить и то, что онъ во второй половинѣ своей дѣятельности сумѣлъ отрѣшиться отъ условій французскаго классицизма, перешелъ на сторону романтической школы и даже старался нѣкоторыми опытами заложить основаніе народной русской драмы.

Лучшія изъ комедій Шаховскаго представляютъ характеръ и загѣи дворянъ средней руки, большею частію необразованныхъ и недальняго ума, которые, по своему состоянію и общественному положенію не принадлежа ни къ бѣднымъ помѣщикамъ, ни къ знатному, столбовому дворянству, тянулись за послѣднимъ, желая изъ полубаръ стать полными, настоящими барами. Отличительная черта такихъ личностей — смѣшное тщеславіе, чванство. Счастіе свое полагали они въ знакомствѣ, хотя-бы случайномъ и временномъ, съ важными по роду и сану особами. Не столько богатство, сколько титулъ и чинъ привлекали ихъ: первое могло быть имъ и не въ диковинку, а второй и третій служили для нихъ идеаломъ. Чтобы достигнуть этого идеала, они приводили въ движеніе всѣ имѣющіяся у нихъ средства: давали именитымъ лицамъ обѣды, устраивали для нихъ праздники и доморощенные спектакли, расточали передъ ними лесть и угодничество, отрекались отъ бѣдной и темной родни, навязывались въ родню къ титулованнымъ однофамильцамъ, не замѣчая въ простотѣ ума, что чествуемый ими знатный и чиновный людъ относится къ ихъ ухаживанію или съ презрительною снисходительностію или съ насмѣшкою, иногда даже нескрываемою. Не изъ желанія получить мѣсто это дѣлалось, а просто изъ желанія разыгрывать непривычную роль важнаго че-

ловѣка и почваниться передъ ровней, которая большею частію за-видовала своему собрату, тѣмъ еще сильнѣе подстрекая его на тщеславныя затѣи. Удовлетвореніе такого желанія и служило самою сладкою наградою за хлопоты и расходы. Развязка выходила двоякая: или печальная, когда въ итогѣ кажущагося успѣха оказывалось разстроенное имѣніе; или комическая, состоявшая въ катастрофѣ разоблаченія, когда князья и графы отворачивались отъ притязателя на ихъ знакомство, и онъ испытывалъ положеніе человѣка, который случайно сѣлъ въ чужія сани, а потомъ былъ принужденъ изъ нихъ выдти со стыдомъ и снова стать на одной доскѣ съ своей братіей—полубарами. Одинъ изъ такихъ полубаръ представленъ Шаховскимъ въ двухъ (не напечатанныхъ) піесахъ: «Полубарскія затѣи» или «Домашній театръ» (представлена 1808), и «Чванство Транжирина или слѣдствіе полубарскихъ затѣй» (представлена 1822). Въ послѣдней, чванству главнаго лица (Транжирина) нанесла жестокой ударъ или, какъ выражается самъ Транжиринъ, зарѣзала его родная сестра, по батюшкѣ «Коновна», которой онъ не хотѣлъ знать, хотя и побаивался ея отважнаго нрава. Эта бѣдная, но бойкая женщина, не смотря на строгое приказаніе брата не пускать ее, ворвалась къ нему съ дочерью, въ поношенномъ и старомодномъ платьѣ, въ самый развалъ праздника, который онъ давалъ какому-то графу съ пѣснями и плясками дворовой челяди, смутила гостей грубыми упреками зазнавшемуся кровному родному, а его самого скомпрометировала самымъ жестокимъ образомъ. Піеса исполнена комизма и въ представленіи, успѣхомъ котораго одолжена была преимущественно московскому комику Щепкину (въ роли Транжирина), постоянно производила общій хохотъ. Обѣ комедіи выставили не воображаемую, а дѣйствительную забавную слабость средняго дворянства въ первую четверть текущаго столѣтія. О ней часто говорятъ мемуары и другія произведенія литературы, между прочимъ басня Крылова: «Лягушка и Волъ», переведенная изъ Лафонтена. Показавъ печальный исходъ затѣй Лягушки, вздумавшей сравняться съ Волкомъ, баснописецъ заключаетъ:

И диво ли, когда жить хочетъ мѣщанинъ,
Какъ именитый гражданинъ,
А сошка мелкая, какъ знатный дворянинъ.

Только на мѣсто мелкой сошки, т. е. мелко-помѣстныхъ дворянъ, Шаховской ставилъ дворянъ средней руки съ хорошимъ состояніемъ, полубаръ, которые къ настоящимъ барамъ относятся почти такъ же, какъ Мольеровъ «мѣщанинъ во дворянствѣ» относится къ дворянству. Третья комедія: «Пустодомы» (1820) представляетъ по-

мѣщика и помѣщичьи затѣи другого рода. Князь Радугинъ, богатый землевладѣлецъ или, какъ тогда говорили, душевладѣлецъ, совершенно незнакомый съ русскою жизнію и условіями русскаго сельскаго хозяйства, производить реформы въ имѣніи, руководствуясь единственно книгами и совѣтами бібліотекаря своего, тупаго педанта Инквартуса. На дѣлѣ оказалось, что различные проекты, вмѣсто ожидаемыхъ отъ нихъ улучшеній и доходовъ, привели къ долгамъ и разоренію. Придумывая въ кабинетѣ съ Инквартусомъ планы хозяйственныхъ преобразованій, князь не видитъ, что въ домѣ его крайній беспорядокъ. Жена его, свѣтская дама, мотовствомъ своимъ еще болѣе усиливала пустодомство, которое ложилось тяжкимъ гнетомъ на крестьянъ и причиняло страшный вредъ дѣтямъ, остававшимся безъ надзора. Только горничная да управитель (онъ же и страпчій), пользуясь слабостями господъ, умѣли набивать себѣ карманы. Чтобы поправить разстроенныя дѣла князя, сестра его отдала въ закладъ свое наслѣдство. Но это была временная помощь. Коренное спасеніе получаютъ пустодомы отъ дяди своего, простаго, но здравомыслящаго помѣщика; узнавъ о жизни племянника и племянницы, онъ пріѣзжаетъ въ городъ, выкупаетъ изъ залога ихъ имѣніе и увозитъ ихъ въ деревню. Хотя нѣкоторые театральные критики и ставили «Пустодомовъ» въ число лучшихъ піесъ Шаховскаго за многія искусно веденныя въ ней сцены и за свободный разговорный языкъ, однакожъ ясно, что комикъ, въ лицѣ Радугина, мѣтилъ въ явленіе исключительное, не подходившее подъ уровень обычнаго помѣщичьяго быта. Нѣтъ сомнѣнія, что и до 1820-го года, когда написана комедія, въ умѣ нѣкоторыхъ, впрочемъ очень немногихъ сельскихъ хозяевъ, возникала мысль объ устройствѣ земледѣлія на болѣе правильныхъ началахъ съ цѣлію—при возможно-меньшихъ расходахъ на землю получать возможно-большій доходъ съ нея. Это доказывается тѣми голосами въ нашей литературѣ, которые, въ слѣдъ за возникшею мыслию, раздавались какъ отпоръ ей, какъ защита прежняго, доморощеннаго. Такъ небольшая книжка «Плугъ и соха» (1807), графа Растопчина, стоитъ за старыя орудія для паханія, показывая непригодность агрономическихъ нововведеній на Руси; такъ еще Крыловъ, въ «Огородникѣ и Философѣ» (1811), смѣется надъ послѣднимъ, потому что онъ, слѣдуя книгамъ, остался безъ огурцовъ, тогда какъ у перваго, не отступавшаго отъ старины, все въ огородѣ взшло и поспѣло. Но отъ такихъ явленій далеко еще до помѣщика въ родѣ Радугина, который замѣняетъ ручную работу машинами, разводитъ ревень и свекловицу, устраиваетъ водопроводы, употребляетъ торфъ для сидки вина. Когда очень та-

лантливый профессоръ московскаго университета Павловъ, по возвращеніи изъ-за границы, началъ въ началѣ двадцатыхъ годовъ читать лекціи рациональнаго сельскаго хозяйства, на которыхъ доказывалъ несостоятельность общепринятой у насъ трехпольной системы и развивалъ выгоды системы плододеремѣнной, то лекціи его сильно дѣйствовали на умы молодыхъ слушателей, но сельскіе хозяева недовѣрчиво относились къ новымъ понятіямъ, заимствованнымъ у знаменитаго въ то время нѣмецкаго агронома Тессера. Поэтому я долженъ сказать, что комедія Шаховскаго, по малой мѣрѣ, была несвоевременна; отъ этого, вѣроятно, публика находила князя Радугина неестественнымъ. Въ самомъ дѣлѣ трудно представить, чтобы такой ученый болванъ, какъ Инквартусъ, могъ имѣть вліяніе на князя, хотя тоже педанта въ своемъ родѣ, но все же выдавашаго людей умныхъ и дѣльных. Притомъ Инквартусъ очень напоминаетъ собою другаго чудака—Синекдохоса, въ комедіи Княжнина: «Неудачный примиритель». Оба комика, ради смѣха, вывели каррикатуры, а не живыя лица. — Изъ другихъ пьесъ Шаховскаго особенно нравились: Казакъ-Стихотворецъ, опера-водевиль; Урокъ кокеткамъ, или Липецкія воды, комедія; Федоръ Григорьевичъ Волковъ, драма; Аристофанъ, или всадники, комедія; Финнъ, волшебная трилогія (изъ Руслана и Людмилы, Пушкина) (1).

Прим. Что касается до отношеній кн. Шаховскаго къ современнымъ ему передовымъ литераторамъ, то въ этомъ случаѣ онъ пользовался дурною славой, которая, можетъ быть, была преувеличенною. Онъ навлекъ на себя неудовольствіе карамзинистовъ пьесой «Новый Стернь», осмѣявшей сентиментальнаго путешественника, графа Пронскаго. Хотя подъ этимъ графомъ разумѣется вѣрнѣе князь Шаликовъ, доведшій сентиментализмъ до комической крайности, но всѣ знали, что начало такому направленію въ нашей литературѣ положено Письмами русскаго путешественника и Вѣдой Ливой. Притомъ Шаховской былъ членъ «Весѣды» и дѣятельный сторонникъ Шинкова, противника Карамзина. Другая его комедія: «Липецкія воды», направленная противъ Жуковскаго, увеличила число недруговъ комика, тѣмъ болѣе что пьеса имѣла успѣхъ на сценѣ и раздѣлила петербургскую публику на двѣ партіи. Шаховской давалъ поводъ обвинять себя въ недоброжелательствѣ къ талантамъ особенно драматическимъ. Утверждали, что онъ, восхищаясь трагедіями Озерова при чтеніи ихъ въ домѣ Оленина, старался однакожъ вредить ихъ успѣху на театрѣ. Самую болѣзнь и смерть трагика приписывали раздраженію горести, причиненнымъ интригами его недоброжелателя. Кому тогда не были

1) Кромѣ матеріаловъ, означенныхъ въ подстрочныхъ указаніяхъ, см. еще: Лѣтопись русскаго театра, Арапова (1861); О заслугахъ кн. Шаховскаго въ драматической словесности и Литературныя и театральныя воспоминанія (Разныя сочиненія С. Аксакова, 1859).

извѣстны стихи Жуковского изъ Послания къ кн. Вяземскому и В. Пушкину, что творецъ Дмитрія (Донскаго) угаснулъ отъ печали, какъ слѣдствія зависти, впитавшей терніе въ лавровый вѣнокъ? Нѣкоторые лица драматической группы имѣли также причину оставаться имъ недовольными: покровительствуя Валберховой, онъ тѣснилъ Каратыгину и Семёнову. Коротко знавшіе Шаховскаго объясняютъ дурную его славу тѣмъ, что онъ, управляя театромъ, самъ находился подъ управленіемъ извѣстной особы (актрисы Ежовой). Вотъ слова С. Аксакова: «Ежова умѣла раздражать Шаховскаго, а въ раздраженіи Шаховской бывалъ несправедливъ и на словахъ, и на дѣлѣ.... Добродушный, горячій до смѣшнаго самозабвенія, онъ одну половину обвиненій наговорилъ и наклепалъ на себя самъ, а другая произошла отъ недоразумѣній, зависти и клеветы петербургскаго театральнаго міра, раздраженнаго нововведеніями Шаховскаго» (*). (Рус. Архивъ 1869 г.: «Отношеніе Озерова къ Оленину»; «Къ біографіи Озерова» и по поводу этой статьи).

Представителемъ классической трагедіи былъ Озеровъ (1770—1816). Онъ написалъ пять трагедій: Ярополкъ и Олегъ (1798), Эдипъ въ Афинахъ (1804), Фингалъ (1805), Дмитрій Донской (1807) и Поликсена (1809). Первая изъ нихъ, какъ начальный и слабый опытъ, а послѣдняя, какъ неизмѣнная успѣха на сценѣ и не представляющая интереса въ чтеніи, не заслуживаютъ разбора.

«Эдипъ въ Афинахъ» есть подражаніе французской трагедіи Дюси († 1816): «Эдипъ въ Колонѣ». Озеровъ много перевелъ изъ нея: первая сцена втораго акта—лучшее мѣсто нашей пьесы—есть не что иное, какъ лучшее мѣсто подлинника, близкое и хорошее его переложеніе; да и слѣдующія за тѣмъ явленія съ Антигоной, до конца пьесы, взяты изъ того же источника, съ тою разницей, что у Озерова умираетъ Креонъ и оставленъ въ живыхъ Эдипъ, тогда какъ у Дюси умираетъ Эдипъ, а Креона нѣтъ вовсе. Заслуга Озерова заключается собственно въ переводѣ французскаго образа такими стихами, какіе до него еще не раздавались на русской сценѣ. Ничего самостоятельнаго не представляетъ его трагедія; отъѣины, встрѣчаемыя въ ней противъ французскаго образа, такъ маловажны, что не измѣняютъ понятія о дѣломъ.

Основною трагедіи Софокла (Эдипъ въ Колонѣ) служитъ предсказаніе оракула, возвѣстившаго близкую смерть Эдипа, могила котораго станетъ залогомъ побѣды для той страны, гдѣ она будетъ находиться. Долговременнымъ бѣдствіемъ старецъ искупилъ свои невольныя преступленія: боги примирились съ нимъ и даруютъ ему мирную кончину. Въ мѣстечкѣ Колонѣ, среди священнаго лѣса, гдѣ воздвигнутъ храмъ Эвменидамъ, обрѣтеть онъ наконецъ вѣчное уснокоеніе. Идея судьбы господствуетъ здѣсь, какъ

*) Литерат. и театр. воспоминанія.

и въ трагедіи «Царь Эдипъ», но уже очищенная вліяніемъ нравственнаго ученія. Эдипъ еще жертва, но онъ возвысился самосознаніемъ. Тайственное сдѣланіе обстоятельствъ, не подчиненныхъ волѣ смертнаго, сдѣлало его преступникомъ; отсутствіе свободнаго участія въ преступленіяхъ успокоило его совѣсть: онъ говоритъ о нихъ безъ смущенія, зная, что они дѣло боговъ. Нѣсколько разъ замѣчаетъ онъ, что вина человека—въ намѣренія; что нѣтъ тамъ вмѣняемости, гдѣ не было умышеннаго дѣйствія, а было только невольное исполненіе предреченнаго свыше. Такимъ образомъ Софокль различаетъ догматъ фатализма отъ догмата нравственности, проводитъ ясную черту между совѣстью, свободно выбирающею добро или зло, и роковою силою судьбы, которая устроиваетъ дѣло на перекоръ самымъ мудрымъ нашимъ распоряженіямъ. Дюси и въ слѣдъ за нимъ Озеровъ совлекли съ Эдипа таинственность, которая такъ идетъ къ нему, освященному грознымъ вниманіемъ боговъ. Преданіе о сверхъ-естественной смерти изложили они по своему: у Дюси, Эдипъ умираетъ, пораженный громомъ и проговоривъ нѣсколько сентенцій; у Озерова, онъ остается въ живыхъ, какъ будто ему значить что-нибудь жизнь послѣ всего, извѣданнаго имъ въ жизни. Впрочемъ, начальная развязка нашей трагедіи согласовалась съ преданіемъ; но Озеровъ измѣнилъ ее, внявъ совѣтамъ литераторовъ, дорожившихъ правоучительнымъ внушеніемъ театральнымъ піесъ, по которому непременно слѣдовало награждать добродѣтель и наказывать порокъ, какъ будто Креонъ былъ пороченъ. Изступленіе Эдипа, когда онъ узнаетъ, что находится близъ храма Эвменидъ, неумѣстно, хотя и эффектно: оно портитъ характеръ трагедіи. Въ «Царѣ Эдипѣ» оно было бы встати; но въ «Эдипѣ Колонскомъ» главное лице уже утратило силу угрызений, которыя терзали его въ первое время открывшихся преступленій. Душа его сохранила только чувство несчастія да сознаніе своей невинности, и это душевное состояніе Софокль изобразилъ какъ бы символически, приведя страдальца окончить послѣднія минуты жизни въ святилищѣ фурій. Ходъ дѣйствія также измѣненъ. У Софокла оно происходитъ на одномъ и томъ же мѣстѣ, куда пришелъ Эдипъ и откуда онъ не хочетъ выйти; Дюси и Озеровъ, напротивъ, передвигаютъ сцену. Самое мѣсто обрисовано не такъ. Въ греческой трагедіи, оно, своею красотою, представляетъ разительный контрастъ мрачной судьбы героя. Озеровъ, на вопросъ Эдипа: «гдѣ мы?» заставляетъ отвѣчать Антигону: «въ долигѣ мы, окрестъ пустыни сиды»,—заставляетъ потому, что у Дюси, во второмъ же théâtre représente un desert épouvantable и Полиникъ восклицаетъ:

«quel désert affreux! des antres, des rochers, des cyprès tenebreux!» Этимъ оба новые трагика стали въ противорѣчіе съ хоромъ, который называетъ Колонъ *восхитительнымъ* мѣстомъ Атики. Софоклъ искусно и непосредственно вводитъ зрителя въ сюжетъ; мѣсто дѣйствія, дѣйствующія лица, событія предшествовавшія и послѣдующія выступаютъ сами собою: завязка начата съ перваго же явленія, интересъ возбужденъ немедленно. У Дюси и Озерова, Эдипъ выходитъ на сцену только во второмъ дѣйствіи, съ котораго и слѣдовало бы начать піесу: первое посвящено такъ называемому *изложенію*, т. е. длиннымъ разсказамъ о дѣйствующихъ лицахъ и о томъ, что происходило до начала трагическаго дѣйствія. Нашъ авторъ ввелъ Креона, и въ этомъ отношеніи ближе къ греческому образцу, чѣмъ Дюси, исключившій, какъ мы видѣли, Креона. У Софокла, Тезей выходитъ уже послѣ многихъ явленій, когда царское вступничество оказалось необходимымъ: Дюси и Озеровъ вывели его съ самаго начала, чтобы выслушать разсказъ о завязкѣ дѣйствія. Оба они создали первосвященника: имъ хотѣлось показать внутренность храма и поразить—одному Креона, другому Эдипа—предъ лицомъ богинь мстительницъ. Ихъ Полиникъ остается до конца піесы, какъ свидѣтель смерти отца въ «Эдипѣ Колонскомъ», какъ свидѣтель его торжества и наказанія Креона «въ Эдипѣ въ Аѣннахъ». Софокловъ Полиникъ уходитъ или, вѣрнѣе, увлекается судьбою на гибель: ненависть къ брату, жажда мщенія заглушаютъ въ немъ всѣ прочія чувства. Что касается до характеровъ главныхъ лицъ, то мы уже показали, какъ невыгодно и Дюси и Озеровъ уклонились, въ этомъ отношеніи, отъ Эдипа. Вотъ еще примѣръ такого же уклоненія. У Софокла, Эдипъ непреклоненъ къ сыну. Напрасно Полиникъ умоляетъ его о прощеніи, напрасно и Антигона подкрѣпляетъ мольбы брата своимъ заступничествомъ: Эдипъ не хочетъ даже отвѣчать, ибо отцовскій голосъ, какъ святиня, потерялъ бы свою силу, вступивъ въ общеніе съ неблагодарнымъ. Потомъ онъ разрѣшаетъ молчаніе, но для того только, чтобы изречь проклятіе—и никто не смѣетъ противорѣчить ему—ни Тезей, ни дочь, ни хоръ. Новые трагики во многомъ измѣнили понятія и чувства древнихъ людей, сообразно понятіямъ и чувствамъ христіанскимъ. Эдипъ французской трагедіи есть отецъ новаго міра, какихъ XVIII вѣкъ любилъ выводить на сцену—снисходительный къ проступкамъ дѣтей, готовый плавать и прощать. Для очищенія грѣха, совершеннаго Полиникомъ Софокла, нужна жертва, а не прощеніе; въ религіи откровенной достаточно послѣднее, ибо зло, не наказанное въ здѣшней жизни, приметъ достойное наказаніе въ будущей.

Антигона начертана Софокломъ художественно. Это — воплощенный героизмъ дѣтской любви. Ея преданность отцу — долгъ, а не восторженное состояніе, могущее охлаждаться. Она говоритъ мало: только слова терпѣнія, соболѣзнованія, самопожертвованія выходятъ изъ ея устъ. Всего трогательнѣе это молчаніе, когда Эдипъ заводитъ рѣчь о своихъ несчастіяхъ; она слушаетъ, но не отвѣчаетъ, потому что ей, чистой и невинной, нечего сказать: несчастія отца ея — рядъ нечестивыхъ дѣлъ, такъ что утѣшенія нельзя здѣсь отдѣлить отъ воспоминанія объ ужасной судьбѣ. Но, скупая на слова, она много дѣйствуетъ, поддерживая отца, окружая его заботливостью, покровительствуя любовью. У Озерова или у Дюси, что одно и тоже, Антигона — если забыть греческій образецъ — хороша; но она уже сдѣлалась говорливѣе: она разсуждаетъ о своемъ значеніи, какъ помощницы въ несчастіяхъ, указываетъ на свою необходимость для слѣпаго отца. Конечно, это не самохвалство, но это — и не молчаливое исполненіе долга. Притомъ, она впадаетъ въ сентенціи; монологъ ея, которымъ открывается четвертое дѣйствіе, довольно длиненъ. Эта страсть къ сужденіямъ есть принадлежность французскихъ трагедій XVIII вѣка, любившихъ резонерство и риторику. Изъ Креона, сначала благороднаго мужа въ трагедіи Софокла: «Царь Эдипъ», а потомъ сдѣлавшагося честолюбивымъ и самовластнымъ и въ согласіи съ сыновьями безпомощнаго старца изгнавшимъ его изъ царства, Озеровъ сдѣлалъ непонятнаго мстителя Эдипу, — такого же врага ему, какимъ былъ Полиникъ въ отношеніи къ своему брату Этеоклу. Онъ не только злодѣй, но и злодѣй, величающійся самимъ собою. Князь Вяземскій справедливо замѣчаетъ о лицахъ, подобныхъ Креону: «Злодѣи, гордящіеся своими преступленіями и съ отвратительнымъ чистосердечіемъ судящіе себя безпристрастно, какъ судіи посторонніе, не находятся ни въ природѣ, ни въ произведеніяхъ геніевъ, ей подражавшихъ, но рождаются отъ безпечности или безсилія трагиковъ... Сей родъ изображенія есть одинъ изъ главнѣйшихъ пороковъ русской трагедіи и торжествуетъ въ Димитріи Самозванцѣ (Сумарокова). Въ первомъ явленіи третьяго дѣйствія «Эдипа» Озерова, Креонъ съ излишнею искренностью сообщаетъ Нарцесу исповѣдь свою, хотя и весьма поэтическую, но приносящую болѣе чести стихотворцу, нежели трагику» (1). Заслуга нашего трагика, какъ уже замѣчено, состоитъ въ достойномъ переложеніи французской пьесы. Для этого требовалось, во первыхъ, владѣть языкомъ и стихомъ, во вторыхъ — стать на ряду съ авто-

1) Извѣстіе о жизни и трудахъ Озерова, при его сочиненіяхъ (изд. 1818 г.)

ромъ подлинника, своимъ талантомъ состязаться съ его талантомъ. Озеровъ исполнилъ оба дѣла. Стихи его звучны и сильны; читая ихъ и теперь, легко себя представляемъ, какъ они были хороши въ то время. Сцены трагическаго ужаса и чувствительности переданы одушевленно. Озеровъ самъ надѣленъ былъ послѣднимъ качествомъ въ сильной степени, и потому трогательная преданность дочери, сыновнее разскааніе, отцовская нѣжность и вмѣстѣ авторитетъ родительской власти нашли въ немъ глубокое сочувствіе и патетическое выраженіе. Когда же представимъ себя необычайный успѣхъ трагедіи на сценѣ, впечатлѣніе, произведенное ею на зрителей, то насъ нисколько не удивятъ посланія Державина, Капниста и Батюшкова къ автору, исполненныя похвалъ ему и благодарности: стихотворцы говорили то самое, что чувствовали всѣ почитатели театра. «Эдипъ въ Аѳинахъ» былъ долгое время почетнѣйшею піесю въ нашемъ репертуарѣ: она заставила публику полюбить трагическія представленія болѣе, чѣмъ какія-либо иныя; образованные и полубразованные знали наизусть многіе монологи главныхъ лицъ; нѣкоторые стихи ея обратились въ ходячія изреченія, которыя потомъ стали примѣняться къ другимъ, даже не трагическимъ предметамъ.

«Фингалъ» представляетъ событіе изъ жизни народа, совершенно противоположнаго греческому. Озеровъ имѣлъ цѣлью «описать Ахилла сѣверныхъ странъ». Новость предмета должна была интересовать публику, долго смотрѣвшію однихъ греческихъ и римскихъ героевъ. Содержаніе трагедіи взято изъ поэмы «Фингалъ», приписываемой сыну этого героя, Оссіану. Подлинникъ исполненъ оригинальной поэзіи—суровой, величественной, меланхолической. Бардъ Карилъ славить храбрость и великодушіе Фингала, который, побѣдивъ локлинскаго царя Старна и захвативъ его въ плѣнъ, даровалъ ему свободу. Сердце Старна исполнилось гордости и злобы: онъ замыслилъ смерть побѣдителя, единственнаго соперника своей силы. Для выполненія замысла, онъ пригласилъ къ себѣ Фингала и предложилъ ему руку своей дочери. Дочь, изъ любви къ герою, открываетъ угрожающую ему опасность. Раздраженный отецъ убиваетъ ее. Тогда Фингалъ сзываетъ своихъ воиновъ, поражаетъ Локлинцевъ, уноситъ на корабль тѣло своей невѣсты и погребаетъ ее на одномъ изъ утесовъ своей родины. У Озерова другая причина мести: Фингалъ убилъ Старнова сына, Тоскара, и огорченный отецъ далъ обѣтъ успокоить тѣнь убитаго смертію убійцы; Мопна, невѣста Фингала, избавляетъ его отъ смерти, но сама принимаетъ смерть отъ руки отца. Положеніе Старна трагическое; онъ самое интересное лице въ піесѣ, по твердой пре-

*

данности одной мысли, одному желанію, которому приносить въ жертву другое желаніе — видѣть дочь свою счастливой. Но онъ утратилъ свою оригинальную суровость и неподатливость. Основныя пѣсни приписываютъ ему характеръ дикій и свирѣпый; онъ не могъ выносить превосходства великодушнаго врага, и если прибѣгалъ къ хитрости, то не долго ее выдерживалъ: звѣрство брало верхъ надъ притворствомъ. У Озерова, Старня хитрѣе, осторожнѣе въ дѣйствіяхъ; авторъ далъ ему много скрытной злобы, а не той, которой трудно выдерживать тайные планы. Фингалъ удалился отъ подлинника: въ немъ много нѣжно-рыцарскаго элемента; онъ выражаетъ любовь свою, какъ сталъ бы выражать ее самъ Озеровъ, подъ вліяніемъ романической настроенности. Тоже до извѣстной степени должно сказать и о Моинѣ, хотя ей, какъ сѣверной дѣвѣ, очень къ лицу мечтательность и унылость. При всѣхъ недостаткахъ вымысла и плана и нѣкоторыхъ частныхъ несообразностяхъ, «Фингалъ» особенно нравился зрителямъ. Своимъ утѣхомъ онъ былъ одолженъ новости сюжета, сценической постановкѣ, игрѣ Семеновою и Яковлева, прекраснымъ стихамъ и еще болѣе чувствительности, разлитой по всей піесѣ и «создавшей душу Моины» (1).

Въ «Димитрій Донскомъ», авторъ пожертвовалъ исторіей своему вымыслу. Извѣстно, что Димитрій въ то время, къ которому относится дѣйствіе трагедіи, былъ женатъ, а трагедія представляетъ его домогающимся руки Ксеніи, княжны нижегородской, которая, кромѣ того, живетъ въ воинскомъ станѣ, на переکورъ обычаямъ древне-русскаго быта. Отступленіе отъ факта, котораго не могутъ не знать даже школьники, произошло отъ того, что трагикъ боялся нарушить законы и преданія французской трагической системы. Когда замѣтили Расину, что любовь Ипполита къ Аргіи (въ Федрѣ) противорѣчитъ подлинному характеру юноши, еще не испытывающаго страсти, онъ отвѣчалъ: «а что скажетъ публика, если въ моей піесѣ не будетъ любовной завязки?» Если Озерову приходило на умъ подобное замѣчаніе, то онъ, вѣроятно, думалъ: «а что сказалъ бы Расинъ, не нашедъ въ моей трагедіи любовной завязки?» И вотъ онъ въ важное и патріотическое дѣйствіе вводитъ романическую интригу. Но, при невѣрности исторической, піеса могла бы соблюсти вѣрность идеѣ патріотизма, воплощенной въ главномъ лицѣ, къ какой бы націи оно ни принадлежало. Героическая любовь отечеству требуетъ всецѣлой ему преданности, и нѣтъ такой жертвы, передъ которой было бы дозволено остано-

1) Выраженіе Жуковскаго въ посланіи къ кн. Вяземскому и В. Пушкину.

виться въ минуту критическаго его положенія, угрожающихъ ему бѣдствій. Такимъ ли чувствомъ воодушевленъ Димитрій Озерова? Нѣтъ, онъ заслуживаетъ справедливую укоризну и какъ лице, созданное воображеніемъ, не слѣдовавшимъ исторіи. «Предупреждая обвиненія судей», говоритъ вн. Вяземскій, «трагикъ влагаєтъ въ уста князей Бѣлозерскаго, Смоленскаго и самой Ксеніи рѣшительный приговоръ осужденія поступкамъ Димитрія, законнымъ во всякое другое время, но преступнымъ въ день боя, когда отечество, требуя жертвы его страсти и обиженнаго самолюбія, ожидаетъ отъ него своего освобожденія. Не унижается ли достоинство Димитрія, когда Ксенія, не менѣе его страстная, находитъ довольно мужества въ душѣ, чтобы заглушить голосъ любви, и произвольною жертвою не укоряетъ ли она его въ постыдномъ малодушіи? Кончина Бренскаго, на смерть посланнаго Димитріемъ, не есть ли ужаснѣйшая и постыднѣйшая ему укоризна? Самый соперникъ Димитрія (князь Тверскій) не исторгаетъ ли невольной дани уваженія, отказываясь отъ руки Ксеніи, и не долженъ ли признаться каждый зритель вмѣстѣ съ Димитріемъ, что тотъ его превзошелъ?» (1).

Разсмотрѣвъ піесы Озерова, мы должны сдѣлать о нихъ слѣдующее заключеніе: всѣ онѣ принадлежать къ французской трагической системѣ. Озеровъ—псевдо-классикъ не только въ сюжетахъ, взятыхъ изъ греческаго міра, но и въ представленіи событій каледонской и отечественной исторіи. Въ этомъ смыслѣ, Фингалъ и Димитрій Донской тоже, что Эдинъ въ Аѳинахъ и Поликсена: единство родовыхъ отличій доказывается и постройкой, и характерами, и веденіемъ разговора. Чувствительность была врожденнымъ качествомъ Озерова: отсюда превосходство трогательныхъ сценъ, возбуждавшихъ жалость и умиленіе въ душѣ зрителей; отсюда же особенная наклонность къ созданію женскихъ характеровъ, которые вышли интереснѣе мужскихъ. Въ трагедіяхъ Озерова есть своя доля романтизма: мечтательность и грусть Моины, ея отношеніе къ Фингалу, равно какъ сцены Димитрія съ Ксеніей, воспоминанія Поликсены объ Ахиллѣ.... всѣ эти скорбныя жалобы на неврѣнность земнаго счастья, смутныя предчувствія бѣдъ, идеальныя ожиданія будущаго блага, въ замѣну блага утраченнаго, не что иное, какъ элементы романтической повѣи. Онѣ значительно вышпаются надъ Сумароковымъ и Княжниннымъ не только по языку и версификаціи, но и расположеніемъ піесъ, большею обдуманностью завязки и развязки, болѣе правильною постройкою харак-

(1) Извѣстіе о жизни и сочиненіяхъ Озерова.

теровъ, и главное — тѣмъ поэтическимъ одушевленіемъ, которое отъ автора сообщалось артистамъ и посредствомъ игры ихъ переходило къ публикѣ. Лучшихъ трагедій въ духѣ французскаго классицизма мы не имѣемъ: онъ третій и послѣдній нашъ трагикъ въ этомъ родѣ. Современники превозносили похвалами заслугу Озерова: похвалы, можетъ быть, преувеличенныя, но легко объясняемыя современнымъ ея значеніемъ. Успѣхомъ піесъ своихъ на сценѣ онъ одолженъ въ особенности Семеновой: съ ней, по словамъ Пушкина, дѣлилъ онъ рукоплесканія публики.

Въ обществѣ Шаховскаго, Катенинъ (1792—1853) былъ строгимъ и неизмѣннымъ классикомъ. Французскіе трагики имѣли для него значеніе высшихъ образцовъ, и то не всѣ, а исключительно времени Людовика XIV и немногіе ихъ послѣдователи. Въ Вольтерѣ видѣлъ онъ уже отщепенца отъ прямого искусства, виновника ложныхъ взглядовъ на драму. Раздѣленіе поэзіи на классическую и романтическую называлъ онъ вздорнымъ, ни на какомъ ясномъ различіи не основанномъ. Надъ восторженными поклонниками нашихъ литераторовъ Шекспиру смѣялся, замѣчая, не безъ основанія, что въ большинствѣ случаевъ этотъ восторгъ есть припадокъ моды, а не плодъ дѣйствительнаго знакомства съ предметомъ восторга. Когда Шаховской перешелъ къ романтическому направленію драмы, заимствуя сюжеты то изъ Шекспира, то изъ Вальтеръ-Скотта, Катенинъ упрекалъ его въ заблужденіи, въ поворотѣ съ настоящей дороги на ложную. Знаніе многихъ иностранныхъ языковъ дало ему возможность познакомиться съ теоріею словесности и исторіею литературъ по хорошимъ источникамъ. Усвоенныя имъ понятія о поэзіи вообще, о драматической въ особенности изложилъ онъ въ рядѣ статей, которыя подъ названіемъ «Размысленія и разборы» печатались въ «Литературной газетѣ», Дельвига (1830). Послѣднія пять статей (о театрѣ) заняты критикою Шлегелева курса драматической поэзіи и содержатъ въ себѣ апологію французско-классической трагедіи. Такимъ образомъ начитанность не измѣнила взглядовъ Катенина. Въ похвалу ему слѣдуетъ сказать, что эта вѣрность одному и тому же была въ немъ не упрямствомъ самолюбія, а искреннимъ убѣжденіемъ добросовѣстнаго человѣка, любившаго литературу и разсуждавшаго о ней не съ чужаго голоса. Его раздражали критическіе толки журналовъ, которые, единственно по пристрастію къ новымъ идеямъ, иногда воспринятымъ изъ десятыхъ рукъ, были несправедливы къ прежнему, старому, которому сами недавно поклонялись. «Врагъ непримиримый всѣхъ пристрастныхъ и одностороннихъ сужденій», говоритъ онъ о себѣ, «я старался обличить неправоту нинѣ господствующую»

щихъ, отнюдь не съ намѣреніемъ ввести вмѣсто ихъ противныя— да и только; всѣ исключительныя системы вредны; во всѣхъ формахъ условныхъ можетъ жить красота неизмѣнная. Предметъ искусствъ вообще—человѣкъ; драматическаго въ особенности—человѣкъ въ дѣйствіи. Кто сумѣетъ пружины сего дѣйствія, нравы, чувства и страсти изобразить вѣрно, сильно и горячо, тотъ заслужить похвалу знающихъ, отдѣльно отъ принятаго имъ по мѣстному обычаю или произвольному выбору костюма; симъ-то достоинствомъ равно стяжали себѣ безсмертіе и Софоклъ, и Шекспиръ, и Расинъ» (1). Пушкинъ вѣрно подмѣтилъ главную черту въ образѣ мыслей и въ литературствѣ Катенина, сказавъ о немъ, что онъ питалъ отвращеніе отъ мелочныхъ способовъ добывать успѣхи и оставался самостоятельнымъ: «Никогда не старался онъ угождать господствующему вкусу въ публикѣ; напротивъ, шелъ всегда своимъ путемъ, творя для самого себя, что и какъ ему угодно. Онъ даже до того простеръ свою гордую независимость, что оставлялъ одну отрасль поэзіи, какъ скоро становилась она модною, удалялся туда, куда не сопровождали его ни пристрастіе толпы, ни образцы какого-нибудь писателя, увлекающаго за собою другихъ» (2). Литературная практика Катенина согласовалась съ его теоріей. За образцами обращался онъ къ Корнелю и Расину. Изъ перваго перевелъ онъ 4-е дѣйствіе Гораціевъ (1817) (3), Сиды (1822); изъ втораго—Есепрь (1816), и кромѣ того, въ подражаніе ему, написалъ Андромуху (1827). По словамъ Пушкина, Катенинъ «воскресилъ величавый геній Корнеля». Такое мнѣніе скорѣе голосъ пріязни, чѣмъ справедливый приговоръ. Достаточно сравнить переводъ 4-го дѣйствія Гораціевъ съ подлинникомъ, чтобы видѣть, насколько сила чувствъ и ихъ выраженія у французскаго трагика потерпѣли отъ переводчика. Оригинальная же трагедія Андромуха вяла и безцвѣтна. Публика, по свидѣтельству самого Пушкина, относилась къ сочиненіямъ Катенина вообще холодно; но обвинять ее за это нельзя: въ нихъ нѣтъ того, что необходимо каждому поэтическому произведенію — поэзіи, есть соблюденіе извѣстныхъ правилъ и добросовѣстность исполненія (4).

1) Литер. Газета, Дальвига, т. II.

2) Соч. Пушкина, изд. Анненкова, т. V.

3) Первые три дѣйствія переведены другими; пятое оставлено безъ перевода.

4) Предисловіе Н. Бахтина къ изданію сочиненій и переводовъ Катенина (2 т. 1881); Отчетъ Ал. Н. по отдѣленію русскаго языка и словесности, П. Штетова (въ 1-ой кн. Ученыхъ Записокъ этого отдѣленія, 1854); О сочиненіяхъ Катенина (въ сочин. Пушкина, изд. Анненкова, V).

Кокоскинъ съ 1818 по 1823 былъ членомъ конторы по репертуарной части при петербургскомъ театрѣ, а въ 1823-мъ, когда московскій театръ получилъ особое образованіе и особаго директора, онъ поступилъ на эту должность. Здѣсь оказалъ онъ много пользы: вызвалъ комика Щепкина изъ провинціи и пригласилъ другихъ талантливыхъ актеровъ; самъ владѣя искусствомъ сценической игры, образовалъ нѣсколько новыхъ сюжетовъ и обучалъ начальной практикѣ воспитанниковъ театральной школы. Даже первоклассные артисты, какъ Щепкинъ и Мочаловъ, обращались къ нему за совѣтами, видя въ немъ не только знаніе дѣла, но и любовь къ дѣлу. Выборомъ піесъ, отчетливой ихъ постановкой, онъ старался сдѣлать изъ театра достойное образованной публики удовольствіе и въ самихъ артистахъ развитъ любовь и уваженіе къ искусству. Годы его директорства дѣйствительно были замѣчательнымъ временемъ въ исторіи московскаго театра. Драматическая труппа могла похвалиться многими талантами: кромѣ Щепкина и Мочалова, въ ней находились Сабуровъ и Сабурова, Рязанцевъ, Живокини, Лавровъ, Степановъ, Рѣпина, Львова-Синецкая, Кавалерова. Было кому играть и въ трагедіяхъ, и въ комедіяхъ, и въ водевиляхъ. Репертуаръ обогащался новыми піесами самого Кокоскина, кн. Шаховскаго, Загоскина, А. Писарева. Развилась и обстоятельная театральная критика въ статьяхъ С. Аксакова, В. Ушакова, Н. Полеваго. Короче, публика посѣщала театръ не потому единственно, что ей больше негдѣ было развлекаться, а потому, что онъ не ронялъ значенія драматической поэзіи ни плохимъ репертуаромъ, ни плохимъ исполненіемъ репертуара.

Первое время драматической карьеры Загоскина (Михаила Николаевича, 1789—1852) протекло въ Петербургѣ, гдѣ онъ съ годъ служилъ при театрѣ помощникомъ члена по репертуарной части, познакомился съ Шаховскимъ и сдѣлался горячимъ его послѣдователемъ. Эту карьеру началъ онъ піесой, имѣвшей хорошій успѣхъ: «Комедія противъ комедіи, или урокъ волокитамъ» (1815), написанной въ защиту «Липецкихъ водъ», о чемъ самъ авторъ говоритъ въ предисловіи и что видно изъ разговоровъ нѣкоторыхъ дѣйствующихъ лицъ. Такой услугой Загоскинъ приобрѣлъ расположеніе Шаховскаго, вскорѣ перешедшее въ дружескую между ними пріязнь, но въ то же время вооружилъ противъ себя враждебную Шаховскому партію литераторовъ ⁽¹⁾. Другую піесу: «Господинъ Богатоновъ, или провинціалъ въ столицѣ (1817)»,

⁽¹⁾ Письмо Д. В. Дашкова къ кн. П. А. Вяземскому (Рус. Арх. 1866).

публика приняла еще лучше. Главное лице ея (Богатоновъ)— степной помѣщикъ, богатый и глупый невѣжда, помѣшавшійся на связяхъ съ знатною и переѣхавшій въ Петербургъ, гдѣ всѣ его обманываютъ и смѣются надъ нимъ, какъ надъ вороной въ павлиньихъ перьяхъ. Въ мысли піесы, равно какъ и въ главномъ лицѣ ея, видимо вліяніе «Полубарскихъ затѣй», почему Грибоѣдовъ и отозвался о Богатоновѣ, что онъ богатъ чужимъ добромъ, ходитъ въ кафтанѣ, который стащилъ съ Транжирина ⁽¹⁾. Комедія «Вечеринка ученыхъ» (1817) осмѣиваетъ бывшіе тогда въ модѣ литературныя вечера, на которыхъ читались новыя произведенія и нерѣдко присутствовали дамы. Одна изъ такихъ дамъ, въ родѣ «синяго чулка», собираетъ у себя сочинителей, а братъ ея смѣется надъ скучнымъ и недѣльнымъ времяпровожденіемъ. Выслушавъ съ нетерпѣніемъ гимнъ, прочтенный лирическимъ стихотворцемъ, онъ не выдерживаетъ болѣе при видѣ тетради драматическаго писателя, вскакиваетъ съ мѣста и восклицаетъ: «нѣтъ, ужъ это чисто бѣда; посмотри-ка, какую онъ тетрадищу вывалилъ!» Контрастъ между педантическимъ увлеченіемъ женщины-писательницы и противоположнымъ взглядомъ ея брата-оригинала, не умѣющаго да и не желающаго скрывать ни симпатій, ни антипатій своихъ, и составляетъ искренній комизмъ піесы, возбуждавшій въ зрителяхъ столь же искренній смѣхъ. Комедія «Добрый малый» (1820) серьезнѣе по мысли. Она представляетъ плута и мошенника, который всѣхъ обманываетъ, навѣрняка обыгрываетъ своего пріятеля и хочетъ отбить у него невѣсту, но который умѣлъ такъ ловко и выгодно поставить себя во мнѣніи другихъ, что его принимаютъ за порядочнаго человѣка и называютъ «добрымъ малымъ». — По переѣздѣ изъ Петербурга въ Москву, Загоскинъ получилъ мѣсто въ конторѣ дирекціи Московскаго театра и продолжалъ драматическіе труды, изъ которыхъ особенно замѣчательны двѣ комедіи: «Урокъ холостымъ, или наслѣдники» (1822) и «Благородный Театръ» (1828). Въ первой, очень забавны сценныя угодливости наслѣдниковъ богатому и холостому ихъ дядѣ, который однакожъ видитъ ихъ лицемѣрность и отдаетъ свое имѣніе другому лицу. Предметъ второй—благородные спектакли, которыми въ то время занимались не изъ удовольствія только, но и серьезно, какъ важнымъ дѣломъ. Это — лучшая піеса Загоскина

¹⁾ Въ 1817 г. Загоскинъ, вмѣстѣ съ Корсаковымъ, издавалъ журналъ «Сѣверный наблюдатель», въ которомъ помѣщались замѣтки объ игрѣ актеровъ. Загоскинъ выписалъ слабые стихи изъ комедіи Грибоѣдова: «Молодые супруги», съ своимъ комментариемъ. Грибоѣдовъ по этому поводу сочинилъ шуточное стихотвореніе «Дубочный театръ», гдѣ осмѣялъ піесу Загоскина.

по комизму, по выдержанности характеровъ и по прекрасному стихотворному языку. Изъ лицъ особенно интересны: Любскій, задумавшій у себя благородный спектакль и съ начала до конца находящійся въ тревогѣ и волненіи; Волгинъ, грубый добрякъ, случайно попавшій въ закулисный міръ, вовсе ему неизвѣстный; наконецъ Посопшковъ, человѣкъ умный, страстный любитель театра, сочинитель и актеръ, понимающій искусство и только потому смѣшной и даже глупый, что ничего кромѣ искусства не видитъ и не понимаетъ. Загоскинъ имѣлъ несомнѣнный комическій талантъ, и самую дорогою чертою его таланта была неподдѣльная, добродушная, чисто-русская веселость, которая поэтому инстинктивно понимается и очень цѣнится каждымъ русскимъ человѣкомъ. Эта веселость, по выраженію С. Аксакова, проступаетъ у Загоскина вездѣ: въ характерахъ, въ комизмѣ ихъ положеній, въ живой и свободной рѣчи, которою онъ владѣлъ мастерски, такъ что самые резонеры и добродѣтельные люди его комедій говорятъ по человѣчески, а не языкомъ автоматовъ. Ее нельзя замѣнить ни остроуміемъ, при которомъ пьеса можетъ оставаться скучною и бездушною, ни замысловатой интригой, которая всегда возбуждаетъ любопытство зрителей, но не всегда заставлятъ ихъ смѣяться тѣмъ искреннимъ, задушевнымъ смѣхомъ, какимъ они смѣялись, смотря «Богатогонова», «Наслѣдниковъ», «Благородный театръ». Вотъ почему его пьесы имѣли въ свое время большой успѣхъ, да и теперь нельзя нѣкоторыхъ сценъ читать безъ смѣха. Что касается до сюжета, завязки и развязки, то они однообразны. Даже характеры часто повторяются, съ нѣкоторыми впрочемъ измѣненіями, хотя авторъ и въ видоизмѣненномъ умѣлъ найти забавныя черты и выставить ихъ съ свойственною ему добродушной веселостью. Схему почти каждой пьесы начертать легко: необходимая пара влюбленныхъ, противодействующая имъ сила, въ видѣ тетюшки или сестры, сила покровительствующая, въ видѣ дяди, брата или друга, изобличеніе какого-нибудь негодяя, искавшаго руки хорошей дѣвушки, и выдача ее за мужъ за добраго человѣка, ею любимаго. Загоскинъ не отступалъ отъ условныхъ пріемовъ французской комедіи, шелъ по дорогѣ уже избитой и новаго съ этой стороны у него нѣтъ ⁽¹⁾.

Хмѣльницкій (Николай Ивановичъ, 1789—1846) дебютировалъ комедіей «Говорунъ» (1817), за которой слѣдовали «Воздушные замки» (1818), «Бабушкины попугаи» (1819), «Семь пятницъ на

⁽¹⁾ Лѣтопись рус. театра; Біографія М. Н. Загоскина (въ Разныхъ сочиненіяхъ С. Аксакова).

недѣль или нерѣшительный» (1820), «Актѣри между собой, или первый дебютъ г-жи Троепольской» (1821), «Суженаго концемъ не объ-
дешь» (1821), «Новая шалость или театральное сраженіе» (1822), и
другія. Эти небольшія комедіи, водевили и оперетки почти всѣ
переведены или передѣланы съ французскаго. Главное ихъ до-
стоинство—остроуміе, но кромѣ того онѣ отличаются граціозною
игривостію куплетовъ, благороднымъ тономъ, не оскорбляющимъ
вкуса зрителей пошлою игрою словъ или неприличными двусмыс-
ленностями, наконецъ живымъ, легкимъ, свободнымъ разговоромъ.
Въ силу этихъ качествъ онѣ имѣли чрезвычайный успѣхъ, долго
держались на репертуарѣ и многія изъ нихъ сдѣлались любимыми
піесами благородныхъ спектаклей. Можно сказать, что Хмѣльниц-
кій впервые достойнымъ образомъ обработалъ для нашей сцены
водевилъ, бывший тогда еще новинкой.

Первые опыты Грибоѣдова въ драмѣ относятся къ тому же
времени, когда дѣятельность многихъ литераторовъ усиленно была
направлена на пользу театра. По переѣздѣ изъ Смоленска въ Пе-
тербургъ, онъ пристроился къ обществу Шаховскаго. Связь съ
драматическими писателями (Катенинымъ, Хмѣльницкимъ, Жан-
дромъ, Корсаковымъ) и артистами побудила его трудиться на томъ
же поприщѣ. Въ 1815 г. была играна его комедія: «Молодые су-
пруги», переведенная, по совѣту Шаховскаго, съ французскаго
подлинника: *Le secret du ménage*. Другая комедія: «Притворная
невѣрность» (1818) есть передѣлка, для бенефиса актрисы Семе-
новой, піесы Барта: «*Les fausses infidélités*», при участіи Жандра,
которому впрочемъ принадлежать только дѣй сцены. Обѣ онѣ
имѣли успѣхъ въ представленіи. Кромѣ того для комедіи Шахов-
скаго: «Своя семья или замужняя невѣста» (1818) онъ написалъ
сцену племянницы съ скупой теткой, во 2-мъ дѣйствіи. О глав-
номъ его произведеніи: «Горе отъ ума» будетъ сказано особенно.

§ 16. Чтобы поколебать въ нашей литературѣ исключительное
господство псевдоклассицизма, необходимо было обратиться къ од-
ному изъ самыхъ дѣйствительныхъ для того средствъ — къ зна-
комству съ другими областями всемірной поэзіи. Частію это и
было дѣлано нѣкоторыми писателями. Но важнѣйшая заслуга по
этому предмету совершена Жуковскимъ: художественными перево-
дами образцовыхъ твореній онъ раздвинулъ передъ нами поэти-
ческій горизонтъ, который дотолъ ограничивался корифеями фран-
цузскаго классицизма, какъ недосыгаемыми идеалами словеснаго
искусства, по ученію теоретиковъ.

Василій Андреевичъ Жуковскій (1783 — 1852), сынъ Аѳанасія
Ивановича Бунина, родился въ имѣніи послѣдняго—селѣ Мишен-

скомъ, тульской губерніи, въ трехъ верстахъ отъ Бѣлева. Мать его, Елизавета Дементьевна, была крещеная плѣнная турчанка ⁽¹⁾. Фамильное имя получилъ онъ отъ своего крестнаго отца, Андрея Григорьевича Жуковского. По смерти Бунина (1790), онъ остался на попеченіи вдовы его, Марьи Григорьевны, полюбившей мальчика, какъ роднаго сына, и своей матери, женщины хотя безъ всякаго образованія, но добрыхъ нравственныхъ качествъ. Изъ четырехъ дочерей Бунина, сестеръ Жуковского, двѣ особенно замѣчательны своими къ нему отношеніями: Варвара Аванасьевна, вышедшая замужъ за Петра Николаевича Юшкова, и Катерина Аванасьевна, супруга Андрея Ивановича Протасова, роднаго брата первой жены Карамзина. Юшкова, крестная мать Жуковского, умерла въ 1797 г. и на ея-то кончину онъ написалъ прозаическую піесу «Мысли при гробницѣ» — первое сочиненіе, которымъ началась его литературная дѣятельность ⁽²⁾. Двѣ ея дочери, Анна Петровна Зонтагъ и Авдотья Петровна Елагина (по первому замужеству Кирѣевская), приобрѣли почтенную извѣстность: одна сочиненіемъ многихъ, достойно уважаемыхъ, книгъ для дѣтскаго чтенія; другая рѣдкою между женщинами образованностью и отличнымъ воспитаніемъ своихъ сыновей, Ивана Васильевича и Петра Васильевича, занимающихъ почетное мѣсто въ исторіи русскаго просвѣщенія и литературы. У Протасовой были двѣ дочери: Марья Андреевна, впоследствии супруга дерптскаго профессора Мойеръ, и Александра Андреевна (крестница Жуковского), вышедшая замужъ за извѣстнаго литератора А. Θ. Воейкова. Такъ какъ, говорить П. А. Плетневъ, сестры Жуковского были гораздо старше его, то ихъ дочери, а его племянницы, сдѣлались его со-воспитанницами. Онъ сталъ общимъ любимцемъ многочисленной семьи по своему привлекательному нраву и замѣчательнымъ, быстро развивавшимся способностямъ. Родственная среда, состоявшая изъ однихъ женщинъ, не могла остаться безъ вліянія на нравственную организацію мальчика: она сообщила ему набожность, благородство, нѣжность, отвращеніе отъ всего грубаго и заносчиваго ⁽³⁾. Характеръ семейной обстановки съ одинаковою силой подѣйствовалъ какъ на живнѣ его, такъ и на выраженіе жизни — поэзію.

¹⁾ Въ турецкія войны при Екатеринѣ II, нѣкоторые изъ крестьянъ Бунина отправлялись въ арміи маркитантами. Однажды, прощаясь съ нимъ, они спросили его: что тебѣ привезти изъ похода? Бунинъ, шути, отвѣчалъ: привезите турчаночку. Крестьяне, не шути, исполнили по словамъ своего господина.

²⁾ «Полезное и пріятное препровожденіе времени» (1797), т. 16. Первые стихи Жуковского: «Майское утро» — тамъ же.

³⁾ В. А. Жуковскій (Животисный сборникъ 1858 г.)

Заботы о начальномъ воспитаніи Жуковскаго приняла на себя Юшкова, женщина образованная. Сначала поручили его взятому въ домъ учителю-нѣмцу, а потомъ отдали въ пансіонъ Роде, въ Тулѣ. По закрытіи пансіона, онъ пользовался уроками гувернантки, жившей у Юшковой, и русскаго учителя. Затѣмъ помѣстили его въ тульское народное училище, гдѣ старшимъ учителемъ натуральной исторіи, технологіи, статистики и руссійской словесности былъ Покровский, докторъ философіи, писавшій историческія и философскія статьи въ журналѣ: «Пріятное и полезное препровожденіе времени», подъ именемъ «философа горы Алаунской (живущаго при подошвѣ горы Утлы)». Покровский не угадалъ наклонностей будущаго поэта: отъ мальчика, одареннаго живымъ воображеніемъ и чувствительностью и уже дома сочинявшаго драмы, онъ требовалъ занятій математикой, къ которой тотъ не имѣлъ, быть можетъ, способности и которая, всего вѣроятнѣе, была плохо преподаваема. Онъ даже хотѣлъ исключить Жуковскаго изъ школы, что и заставило родныхъ послѣдняго взять его къ себѣ и записать въ рязанскій пѣхотный полкъ, стоявшій въ Кексгольмѣ ⁽¹⁾. Жуковский отправился туда въ 1796 году, но смерть Императрицы Екатерины измѣнила его судьбу: онъ воротился изъ Петербурга въ Тулу. Въ началѣ 1797 г. поступилъ въ Благородный пансіонъ московскаго университета, гдѣ пробылъ до конца 1800 г. Трехлѣтній курсъ его ученія былъ вмѣстѣ временемъ его первоначальнаго авторства, на которое возбуждительно дѣйствовало «собраніе благородныхъ воспитанниковъ университетскаго пансіона», основанное по примѣру «собранія университетскихъ питомцевъ». Первые опыты Жуковскаго въ стихахъ и прозѣ печатались въ «Полезномъ и пріятномъ препровожденіи времени», «Ипокрентѣ» и «Утренней Зарѣ», сборникѣ трудовъ пансіонскаго литературнаго общества. Въ пансіонѣ завязалъ онъ дружбу съ нѣкоторыми изъ своихъ товарищей, особенно съ Андреемъ Тургеневымъ, старшимъ сыномъ И. П. Тургенева, директора московскаго университета. Тургеневъ, умершій вскорѣ по выходѣ изъ пансіона, былъ для Жуковскаго тѣмъ же, чѣмъ Петровъ былъ для Карамзина. Какъ искренно привязывался поэтъ къ благороднымъ личностямъ, спутникамъ его благородной жизни, какъ свято хранилъ нетлѣнность братскихъ узъ, доказываютъ душевные сѣтованія о ранней кончинѣ друга ⁽²⁾. Если Жуковский вынесъ

¹⁾ Майоръ этого полка, Постышковъ, жившій въ постоянномъ отпуску въ Тулѣ, взялся хлопотать о Жуковскомъ, который, по старинному обычаю, на второмъ году отъ рожденія былъ записанъ въ астраханскій гусарскій полкъ сержантомъ.

²⁾ «Посланіе къ А. И. Тургеневу», баллада «Ахиллъ».

изъ пансіона немного научныхъ свѣдѣній, то онъ несомнѣнно одолженъ мѣсту своего воспитанія собственно-литературнымъ образованіемъ, развитіемъ любви и вкуса къ словесности, и знаніемъ новыхъ языковъ, открывшимъ ему свободный доступъ къ поэзіи англичанъ и нѣмцевъ.

Въ 1801 г. основано было «новое дружеское литературное общество», въ которомъ, вмѣстѣ съ Жуковскимъ, участвовали двое братьевъ Тургеневыхъ (Андрей и Александръ), Воейковъ и Мерзляковъ, и уставомъ котораго члены были обязаны образовывать въ себѣ, «въ честь и славу добродѣтели и истины», талантъ. — трогать и убѣждать другихъ произведеніями слова. На службу Жуковский поступилъ въ главную соляную контору, гдѣ пробылъ до 1802 г. Вышедъ въ отставку, онъ оставилъ Москву и переѣхалъ на родину, неотразимо привлекавшую его воспоминаніями дѣтства и любовью къ роднымъ, у которыхъ онъ, учась въ пансіонѣ, каждое лѣто проводилъ вакаціи. Здѣсь въ Мишенскомъ, доставшемся, по смерти Бунина, семейству Юшковой, написалъ онъ элегію: «Сельское кладбище» (1802), которую назвалъ своимъ «первымъ напечатаннымъ стихотвореніемъ», вѣроятно въ томъ смыслѣ, что эта піеса была первымъ произведеніемъ, давшимъ литературную извѣстность ея автору и удостоеннымъ занять первое мѣсто въ собраніи его сочиненій. Въ Бѣлевѣ поселилась другая сестра поэта, Протасова съ дочерьми; здѣсь же жили мать его, для которой онъ построилъ домъ, и вдова Бунина: обѣ онѣ умерли въ одинъ и тотъ же годъ (1811). Такимъ образомъ, Жуковский сталъ «мирнымъ жителемъ Бѣлева». Въ концѣ 1805 г. писалъ онъ къ сосѣду своему по деревнѣ, Ѳ. Г. Вендриху: «Я переселился въ Бѣлевъ, въ свой домъ; вся наша фамилія теперь живетъ у меня, слѣдовательно я не могу пожаловаться, чтобы вокругъ меня было пусто». Мы обстоятельно указываемъ семейную обстановку Жуковского потому, что она, находясь въ тѣсной связи съ его жизнью, сообщила, какъ увидимъ, и живое содержаніе его поэзіи.

На первыхъ порахъ своей литературной дѣятельности, Жуковский поставленъ былъ въ необходимость трудиться надъ переводами, по заказу книгопродавцевъ: онъ перевелъ повѣсть изъ Кодебу «Мальчикъ у ручья» (1801) и «Донъ-Кихота» (1815) съ французскаго Флоріанова перевода. Въ 1808 г. онъ принялъ на себя завѣдываніе Вѣстникомъ Европы, который и издавалъ три года: первые два (1808 и 1809) при сотрудничествѣ Каченовскаго, а послѣдній (1810) въ соредакторствѣ съ нпмъ. Новый издатель умѣлъ оживить журналъ, но не воротилъ ему того значенія, какое онъ имѣлъ въ рукахъ своего основателя. Отдѣлъ «язычной

словесности», дѣйствительно, вышелъ лучше; но цѣль, поставленная Карамзинимъ — знакомить русскихъ читателей съ Европою, успѣшнѣе достигалась въ первое двухлѣтіе «Вѣстника». Главный интересъ журнала заключался въ трудахъ самого Жуковского, которыя относятся къ четыремъ отдѣламъ: стихотвореніямъ, повѣстямъ и другимъ статьямъ для «легкаго чтенія», разсужденіямъ о разныхъ предметахъ, преимущественно о словесности, и критикѣ нѣкоторыхъ произведеній русской литературы. Изъ стихотвореній самыми замѣчательными піесами были: «Людмила» (передѣлка Бюргеровой Леноры на русскій ладъ), Кассандра (изъ Шиллера), Тоска по миломъ (изъ него же), Моя богиня (изъ Гете), къ Нинѣ, къ Филалету и пісня (Мой другъ, хранитель, ангелъ мой). Въ «Людмилѣ», прелесть гармоническихъ стиховъ и новость поэтического вида (баллады) произвели сильное впечатлѣніе на публику, подобное тому, какое, за пятнадцать лѣтъ, произвелъ Карамзинъ «Бѣдною Лизой». Въ подражаніе послѣдней Жуковскій написалъ «Марину рошчу», дѣйствующія лица которой, Марія и Усладь, представляютъ образцы мечтательной настроенности. Разсужденіе: «Кто истинно добрый и счастливый человѣкъ», излагаетъ мысли автора о существенныхъ благахъ жизни, знакомитъ съ его идеальными стремленіями. Наконецъ, ему принадлежатъ двѣ критическія статьи: «О баснѣ и басняхъ Крылова», «О сатирѣ и сатирахъ Кантемира». Кромѣ оригинальныхъ статей, въ Вѣстникѣ Европы 1808—1810 гг. много переводовъ Жуковского изъ французскихъ и нѣмецкихъ писателей: Руссо, Шатобріана, Шанфора, Жанлисъ, Коцебу, Морница, Виланда, Энгеля, Мюллера и другихъ.

Передавъ Вѣстникъ Европы Каченовскому, Жуковскій снова поселился въ Бѣлевѣ, продолжая журнальную работу, «необходимую для кармана». По той же необходимости издано имъ «Собраніе русскихъ стихотвореній» (5 частей 1810 — 1811; 6-я—1815). Само собою разумѣется, что онъ не отказывался и «отъ набѣговъ на парнасскую область»: первая часть повѣсти въ стихахъ «Двѣнадцать спящихъ дѣвъ» явилась въ 1811 г. Но мысли Жуковского въ это время были направлены къ другому, существенному для него дѣлу. Сознавая недостатокъ своего образованія, онъ твердо рѣшился взять чтеніемъ то, чего не дала ему школа. Письмо его къ А. И. Тургеневу (1810) подробно объясняетъ намѣреніе поэта: «Между нами будь сказано, я совершенный невѣжда въ исторіи... Хочу получить о ней хорошее понятіе; не быть въ ней ученымъ, ибо я не располагаюсь писать исторію, но приобрести философическій взглядъ на происшествія въ связи. Для литератора и поэта исторія необходимѣ всякой другой науки: она

возвышаетъ душу, расширяетъ понятіе и предохраняетъ отъ излишней мечтательности, обращая умъ на существенное». Жуковский хотѣлъ прочесть всѣхъ тогда извѣстныхъ классиковъ-историковъ, начавъ Гаттереромъ и Гереномъ. Стороннимъ побужденіемъ къ труду служили письма нѣмецкаго историка Іоанна Мюллера къ Вонстеттену, излагавшія важность историческихъ занятій⁽¹⁾. Исторія русская составляла предметъ особаго изученія, необходимаго для задуманной Жуковскимъ поэмы «Владиміръ»⁽²⁾: «тутъ ужъ нечего думать о классикахъ, а надобно добираться самому до источниковъ... Владиміръ будетъ моимъ фаросомъ». Кроме исторіи всемірной, какъ приготовленія къ русской и къ классикамъ, Жуковский началъ изучать латинскій языкъ, а за тѣмъ думалъ приступить къ греческому: «Три года сряду будутъ посвящены труду *приготовительному*, необходимому, тяжелому, но утѣшительному высокою мыслию быть прямо тѣмъ, что должно. Авторство почитаю службою отечеству, въ которой надобно быть или отличнымъ, или презрѣннымъ: промежутка нѣтъ. Но съ тѣми свѣдѣніями, которыя имѣю теперь, нельзя достигнуть до перваго. И такъ лучше поздно, нежели никогда». Таковъ былъ планъ самоученія, начертанный двадцати-семилѣтнимъ поэтомъ, который, не успокоиваясь авторскою извѣстностью, сѣтовалъ на тѣсноту своего, исключительно-литературнаго образованія. Если обстоятельства и не дозволили ему провести трехъ лѣтъ сряду въ предположенныхъ занятіяхъ и выучиться древнимъ языкамъ, то нѣтъ сомнѣнія, что онъ прочелъ много историческихъ сочиненій и познакомился, конечно помощію переводовъ, съ образцами древне-классической поэзіи. Начитанность его доказывается и письмами къ разнымъ лицамъ⁽³⁾ и дальнѣйшими его произведеніями.

Война 1812 г. прервала уединенный трудъ Жуковского. Онъ отправился къ арміи и вступилъ въ московское ополченіе поручикомъ. Состоя при дежурствѣ главнокомандующаго Кутузова-Смоленскаго, онъ, вмѣстѣ съ другими волонтерами, находился подъ Бородинымъ въ строю и за отличіе былъ награжденъ чиномъ штабсъ-капитана и орденомъ св. Анны 2-й степени. Передъ сраженіемъ при Тарутинѣ написалъ «Пѣвца въ станѣ русскихъ воиновъ» — патріотическое стихотвореніе, сдѣлавшее имя автора извѣстнымъ во всей Россіи. Изъ подъ Тарутина онъ временно пріѣзжалъ въ Муратово, имѣніе Протасовой (въ 30 верстахъ отъ

¹⁾ Часть ихъ переведена Жуковскимъ (В. Евр. 1810, № 16, и 1811, № 6).

²⁾ Это намѣреніе осталось неисполненнымъ.

³⁾ Особенно замѣчательны въ этомъ отношеніи письма къ А. Ф. Фондери-Бриггену (1845—1849). Рус. архивъ 1867, № 5 и 6.

Орла), а изъ Вильны вернулся сюда же въ самомъ началѣ 1813 г. и оставался до половины 1814-го; вторую же половину прожилъ въ Долбинѣ, родовомъ имѣніи Кирѣевскихъ (калужской губерніи, въ 7 верстахъ отъ Муратова), гдѣ написалъ нѣсколько стихотвореній ⁽¹⁾. Все, отъ чего война оторвала поэта, было возвращено ему снова: «сладость мира, отчій домъ, кругъ друзей, уединенный трудъ». Въ 1813 г. напечатана баллада Свѣтлана, написанная раньше, а къ 1814-му относится «Посланіе Императору Александру», обратившее на автора особое вниманіе Императрицы Маріи Феодоровны, которая еще прежде того, выслушавъ чтеніе «Пѣвца въ станѣ русскихъ воиновъ», приглашала его въ Петербургъ. Но «другъ мирныхъ селъ» предпочиталъ «невѣдомую стезю» широкимъ, заманчивымъ для многихъ путямъ свѣта. Онъ не только не добивался близости ко двору, замѣчаетъ кн. Вяземскій, но долго и довольно настойчиво отъ нея уклонялся. Только особенное возмущеніе въ ровномъ потокѣ жизни могло привести уединеннаго пѣвца именно въ ту сторону, которая и въ мечтахъ ему не представлялась. Въ концѣ 1813 г., А. О. Воейковъ посетилъ автора, жившаго въ Муратовѣ. Онъ умѣлъ очень понравиться Протасовой и женился на ея дочери, Александрѣ Андреевнѣ. Когда ему выхлопотали каѣдру русской словесности въ дерптскомъ университетѣ, и семейство Протасовыхъ переселилось съ нимъ въ Дерптъ, Жуковскому не для чего было оставаться въ опустѣвшемъ, столь дорогомъ ему пріютѣ: онъ также отправился за родными и жилъ съ ними почти безвыѣздно, до начала 1817 г. Въ университетскомъ кругу онъ познакомился съ Эверсомъ, представителемъ исторической науки, и самъ принялся за прерванные занятія исторіей. Между тѣмъ мысль о поэмѣ не была имъ оставлена: въ половинѣ 1816 г. онъ думалъ сдѣлать путешествіе въ Кіевъ и Крымъ, нужное, какъ онъ говорилъ, для «Владимира». Того же года началъ заботиться о собраніи русскихъ сказокъ и преданій, по любви къ нимъ съ издѣтства. Для этого поручилъ онъ своимъ племянникамъ, остававшимся въ Бѣлевѣ, Зонтагъ и Кирѣевской, записывать и пересылать ему рассказы деревенскихъ расказчиковъ, намѣреваясь послѣ привести собранные матеріалы въ порядокъ. На поэзію національную, писалъ онъ имъ, никто не обращаетъ вниманія: въ сказкахъ заключаются народныя мѣткія, суетѣрныя преданія дають понятіе о нравахъ и степени просвѣщенія старины. Стараніями Тургенева, первое изданіе стихотвореній Жуковского (2 ч., 1815—1816) было, чрезъ князя А. Н. Го-

¹⁾ Долбинскія стихотворенія (Рус. Архивъ 1864, № 10).

ист. русск. лит. т. 2.

личина, поднесено Государю, который назначилъ автору пенсін въ 4000 руб. Эта награда заставила его смотрѣть на свои дальнѣйшіе труды, какъ на святую обязанность передъ трономъ и отечествомъ: «слава достойная, писалъ онъ, есть для меня теперь тоже, что благодарность». Въ 1817 г. была издана баллада Вадимъ (вторая часть повѣсти Двѣнадцать спящихъ дѣвъ). Того же года, съ замужествомъ старшей дочери Протасовой, наступилъ второй, петербургскій періодъ жизни Жуковского. «Свадьба кончена», извѣщалъ онъ Тургенева, «и душа совсѣмъ утихла».

Лѣтомъ 1815 г. Жуковский былъ представленъ Императрицѣ Маріи Федоровнѣ С. С. Уваровымъ. Друзьямъ давно хотѣлось перетянуть его въ Петербургъ; но прежде чѣмъ уступить ихъ убѣжденіямъ, онъ выговаривалъ себѣ извѣстныя условія. Не столько переměна мѣста, сколько перемяна образа жизни тревожила его, а послѣдней невозможно было избѣжать, ведворясь въ столицѣ. Вотъ почему онъ и желалъ пріѣзжать въ Петербургъ лишь на время. «Чтобы сдѣлать для меня то, что мнѣ надобно», писалъ онъ Тургеневу (4 августа 1815), «вы должны имѣть настоящее понятіе о томъ, что мнѣ надобно. Боюсь я этихъ *grands projets* ⁽¹⁾. Могутъ составить себѣ за меня какой-нибудь планъ моей жизни, да и убьютъ все... Тебѣ, кажется, не нужно имѣть комментаріи на то, что мнѣ надобно. Независимость — да и только. Способъ писать, не заботясь о завтрашнемъ днѣ. Что, и гдѣ, и когда писать, мнѣ на волю. Я не буду жильцомъ петербургскимъ; но каждый годъ буду въ Петербургѣ непремѣнно... Если писать сдѣлается для меня обязанностію непремѣнно, то сказываю напередъ, что написано ничего не будетъ». Недовольство настоящимъ и сожалѣніе о прошломъ выражено въ письмѣ къ Зонтау (осенью 1815 г.): «Мое *теперь* хуже прежняго. Здѣшняя жизнь (въ Петербургѣ) мнѣ тяжела, и я не знаю, когда отсюда вырвусь. Ваше *одно и тоже* кажется мнѣ прекраснымъ положеніемъ; работать безъ всякаго разсѣянія, въ кругу своихъ, отдѣлившись отъ прошедшаго и будущаго—вотъ чего мнѣ хочется.... Или все, меня окружающее, ничтожно; или я самъ ничто, потому что у меня ни къ чему не лежитъ сердце, и рука не поднимается взяться за перо, чтобы описывать то, что мнѣ какъ чужое. И воображеніе поблѣднѣло. Поэзія отворотилась.... Я здѣсь живу очень уединенно; никого кромѣ своихъ немногихъ не вижу, и, не смотря на это, все время проскакиваетъ между пальцевъ. И этой немногой разсѣян-

⁽¹⁾ Слова «*grands projets*» показываютъ намѣреніе друзей Жуковского приблизить его ко Двору.

ности для меня слишком много. Прибавьте къ ней какую-то неспособность заниматься, которая меня давитъ и отъ которой не могу отдѣлаться. Жестокая сухость залѣзла въ мою душу:

О рожи, о друзья, когда увижу васъ!»

Отъ этихъ жалобъ, порожденныхъ не столько мыслию о предстоящей жизни въ Петербургѣ, сколько воспоминаніемъ жизни прошлой, Жуковскій былъ отвлеченъ своими обязанностями при дворѣ. Придворная жизнь его началась еще съ того времени, какъ Императрица Марія Федоровна опредѣлила его къ себѣ лекторомъ (чтецомъ). Въ 1817 г. онъ былъ избранъ въ преподаватели русскаго языка великой княгинѣ (впослѣдствіи Императрицѣ) Александрѣ Федоровнѣ. Это заставило его заняться изученіемъ грамматики роднаго слова, которымъ на практикѣ онъ уже владѣлъ художнически. Въ 1818 г., когда дворъ находился въ Москвѣ, Жуковскій, для своей Августѣйшей слушательницы, переводилъ изъ первоклассныхъ нѣмецкихъ поэтовъ стихотворенія, которыя она знала наизусть. Переводы, вмѣстѣ съ подлинниками (*texte en regard*), печатались ежемѣсячно небольшими книжечками, подъ названіемъ «Для немногихъ» (*Für Wenige*), такъ какъ онѣ не поступали въ продажу, а раздавались немногимъ лицамъ ⁽¹⁾. Всѣхъ книжекъ вышло шесть. Въ послѣдней напечатанъ прологъ изъ Орлеанской Дѣвы. Однимъ изъ самыхъ производительныхъ годовъ для поэзіи Жуковскаго былъ 1821-ый. Въ теченіи его явились переводы Орлеанской Дѣвы (Шиллера), Шильонскаго узника (Байрона), Пері и Ангела, изъ повѣсти Мура: Лалла-Рукъ. Въ свободныя отъ обязанности мѣсяцы, Жуковскій ежегодно ѣздилъ въ Дерптъ, на поэтическій отдыхъ среди родныхъ, къ которымъ съ дѣтскихъ лѣтъ и во всю жизнь былъ привязанъ самыми тѣсными узами дружбы и любви. Съ 1820 г. онъ жилъ у Воейкова, который, оставивъ каедрѣ, перешелъ на службу въ Петербургъ. Смерть старшей его племянницы (М. А. Модеръ) поразила его душу глубокою скорбію. Тѣмъ сильнѣе привязался Жуковскій къ оставшейся въ живыхъ.

По вступленіи на престолъ Императора Николая, Жуковскій былъ выбранъ въ наставники Великому Князю Наслѣднику (нынѣ царствующему Государю) Александру Николаевичу. Онъ всецѣло предался своей обязанности, сознавая ея величіе передъ отечествомъ и трономъ. Поэзія уступила мѣсто педагогическимъ трудамъ, такъ что въ собраніи его стихотвореній мы видимъ семи-

¹⁾ Это внушило А. Пушкину посланіе къ Жуковскому, гдѣ сказано:

Ты правъ, творишь ты для немногихъ...

гній пробѣлъ (съ 1823 по 1829). Все это время было имъ про-
чено въ обдумываніи плана и пріемовъ образованія, въ урокахъ
густѣйшему Питомцу и въ наблюденіи за уроками другихъ пре-
давателей. Жуковскій смотрѣлъ на свои занятія, какъ на мно-
грудный священный подвигъ. Вотъ что писалъ онъ по этому
ду къ роднымъ: «Моя настоящая должность беретъ все мое
емя. Въ головѣ одна мысль, въ душѣ одно желаніе... Какая
бота и отвѣтственность! Занятіе, питательное для души! Цѣль
я цѣлой. остальной жизни! Чувствую ея великость, и всѣми ми-
ми стремлюсь къ ней! До сихъ поръ я доволенъ успѣхомъ, но
утъ дѣйствій безпрестанно будетъ расширяться. Занятій множе-
во: надобно учить и учиться — и время все захвачено. Прощай
всегда, поэзія съ рѣмами! Поэзія другого рода со мною, мнѣ
ному знакомая, понятная для одного меня, но для свѣта без-
лвная. Ей должна быть посвящена остальная жизнь». Къ поэзи
уковскій обратился съ 1829 г., посвящая ей часы свободные отъ
нятія, а также время поѣздокъ за границу, совершаемыхъ для
дыха или для поправленія здоровья. Въ этотъ годъ перевелъ онъ
оргерову балладу «Ленору», стихотворенія Шиллера: «Кубокъ»,
Горжество побѣдителей», «Жалоба Цереры» и другія. Того же
да понесъ онъ новую утрату въ семейномъ кругу. А. А. Воей-
ва скончалась въ Ливорно, куда она отправилась лечиться. Лю-
вь свою къ умершей онъ перенесъ на ея сиротъ. Въ 1831 г.,
звучи въ Царскомъ, вмѣстѣ съ Пушкинымъ, онъ написалъ сказки:
царѣ Берендеѣ, Спящая Царевна, Война мышей и лягушекъ.
ять нумеровъ «Муравейника» (1831)⁽¹⁾, вѣроятно, издававшася
и участіи Жуковского, содержатъ въ себѣ нѣсколько его стихо-
юреній: «Сидъ» (извлеченіе изъ древнихъ романсовъ испанскихъ),
Іерчатка», «Двѣ были и еще одна», «Сраженіе съ Змѣею»
ь 1836 г. онъ докончилъ «Ундиу», начатую до того за четыре
да. Путешествуя, въ свитѣ Наслѣдника по Европѣ (1838), онъ,
подражаніе Гальму, сочинилъ драматическую поэму «Камоэнсъ»
перевелъ въ другой разъ «Сельское Кладбище» Грея; къ тому же
ду относятся «Очерки Швеціи» (въ прозѣ). Три года (1837 —
340), въ досужное отъ занятій время, переводилъ онъ съ нѣмец-
го поэму «Наль и Дамаанти». По совершеніи бракосочетанія Го-
даря Цесаревича Жуковскій получилъ чинъ тайнаго совѣтника и
ругія награды: ему до смерти предоставлено было все, чѣмъ онъ
льзовался по должности наставника; онъ могъ жить тамъ, гдѣ
идеть для себя удобіе и пріятнѣе; особенная сумма была на-

⁽¹⁾ Книжная рѣдкость (Рус. Арх. 1867, № 2).

значена на первое обзаведеніе его хозяйства ⁽¹⁾; наконецъ онъ и въ отсутствіе свое считался состоящимъ на службѣ при Государѣ Наслѣдникѣ. Въ 1841 г. онъ женился на дочери давнишняго своего друга, полковника Рейтерна, проживавшаго съ своимъ семействомъ въ Дюссельдорфѣ. Съ тѣхъ поръ ему не пришлось болѣе видѣть Россіи, за разными семейными обстоятельствами, преимущественно за болѣзнію жены. Въ заграничной жизни своей, на полной свободѣ, онъ посвятилъ свое время поэзіи, сдѣлавшись, по его выраженію, нѣ романтика классикомъ: «подъ старость», писалъ онъ П. А. Плетневу, «я присосѣдился къ древнему разсказчику - Гомеру и началъ въ-слѣдъ за нимъ, на его ладъ, разсказывать своимъ соотечественникамъ Одиссею». Такое намѣреніе не должно было удивлять людей, знавшихъ поэта. Письма его къ Тургеневу показываютъ, какъ онъ уважалъ классическую литературу. Это уваженіе осталось при немъ навсегда. Оѣтуя на свое незнаніе латинскаго и греческаго языковъ, которымъ, по обстоятельствамъ, не могъ выучиться, онъ, однакожъ, еще въ 1822 г. перевелъ вторую пѣснь Энеиды (нап. 1823), а въ 1828-мъ — отрывки изъ Иліады (нап. въ Сѣверныхъ Цвѣткахъ 1829), по нѣмецкимъ переводамъ Фосса и Штольберга. Письма его къ фонъ-деръ Бриггену (1845—1849) выражаютъ убѣжденіе, что хорошіе переводы латинскихъ и греческихъ поэтовъ и прозаиковъ принесли бы чрезвычайную пользу и нашему языку, и нашему образованію. Онъ благодаритъ Бриггена за переводъ Цезаревыхъ Записокъ, который тотъ хотѣлъ посвятить ему, и совѣтуетъ въ послѣдствіи приступить къ другимъ историкамъ — Саллюстію, Тациту и Титу Ливію, а также къ Цицероновымъ письмамъ. Первая половина Одиссеи напечатана въ 1847 г., вмѣстѣ съ «повѣстями и сказками», и съ поэмой «Рустемъ и Зорабъ», а вторая въ 1849 г. Того же 1849 г. былъ празднованъ пятидесятилѣтній юбилей дѣятельности Жуковскаго ⁽²⁾. Государь пожаловалъ знаменитому поэту орденъ Бѣлаго орла, въ ознаменованіе (какъ сказано въ грамотѣ) особеннаго своего уваженія къ трудамъ юбиляра на поприщѣ отечественной литературы и въ изъясненіе душевной признательности за заслуги, Царскому семейству оказанныя. Покончивъ съ Одиссеей, поэтъ принялся было за Иліаду, но успѣлъ изъ нея перевести только первую пѣснь и часть второй. Равнымъ образомъ не кончилъ онъ и поэмы «Вѣчный Жидъ». Одновременно съ поэзіей шли у Жуковскаго прозаическія занятія

¹⁾ Въ это время Жуковскій былъ женихомъ и занимался приготовленіями къ отъѣзду за границу, гдѣ жила его невѣста.

²⁾ Юбилей приходился не въ 1849, а въ 1847 г.

и новые педагогическіе труды: онъ сталъ работать надъ учебнымъ курсомъ для дѣтей своихъ — дочери Александры и сына Павла, которымъ незадолго до смерти посвятилъ книжечку стихотвореній. Касательно же прозы, онъ писалъ П. А. Плетневу: «У меня уже готово на цѣлый толстый томъ. Матеріаловъ довольно для будущаго — и есть великій замыселъ, о которомъ поговоримъ, когда Богъ велитъ свидѣться». Среди этихъ замысловъ на новыя работы, поэта стали посѣщать недуги. Зрѣніе его слабѣло, слухъ тупѣлъ. Въ 1851 г. онъ не могъ уже видѣть однимъ глазомъ и писалъ съ помощію машинки, имъ самимъ изобрѣтенной. Заневогши 1 апрѣля 1852 г., онъ скончался въ Баденъ-Баденѣ 7-го того же мѣсяца, на семидесятомъ году своей жизни. Тѣло его, поставленное въ сѣлепѣ на загородномъ Баденскомъ кладбищѣ, было перевезено въ Петербургъ и 29 іюля предано землѣ въ Александроневской Лаврѣ. «Слезы августѣйшихъ особъ» (заключаемъ нашъ очеркъ словами Плетнева), «оплакивавшихъ утрату наставника ихъ и друга, смѣшались съ слезами поклонниковъ незабвеннаго поэта на его гробѣ, который, наравнѣ съ друзьями его, несъ и царственный первенецъ изъ церкви до самой могилы, гдѣ Жуковскій погонтя нынѣ подлѣ Карамзина».

Въ одномъ изъ посланій своихъ, Жуковскій сказалъ, что онъ желаетъ быть такимъ, какимъ себя изображаетъ. Произносимыя другими поэтами, подобныя слова большею частію имѣютъ случайный смыслъ, какъ плодъ преходящаго настроенія ихъ духа. Съ новымъ душевнымъ настроеніемъ мѣняется у нихъ и образъ идеальнаго человѣческаго достоинства. Въ устахъ такого поэта, какъ Жуковскій, сказанныя слова выражаютъ не капризъ и увлеченіе, а твердый обѣтъ слѣдовать тому идеалу, который оставался неизмѣннымъ въ его изображеніяхъ. Онъ постоянно славилъ добродѣтель, не отличая ее ни отъ поэзіи, ни отъ счастья: «поэзія есть добродѣтель», «истинно счастливый человѣкъ есть человѣкъ истинно добрый». Служеніе музамъ, по его понятію, нераздѣльно съ служеніемъ всему доброму; «геній чистой красоты» есть въ тоже время вѣстникъ «нетлѣнныхъ благъ». Жизнь непорочная, куда бы ни привела его судьба: вотъ что положилъ онъ осуществлять своими мыслями, чувствами и дѣлами, и вотъ на что постоянно указывали его поэтическія представленія. По мнѣнію Карамзина, дурной человѣкъ не можетъ быть хорошимъ авторомъ. Жуковскій думалъ тоже: нечистый человѣкъ не можетъ быть хорошимъ поэтомъ; или, точнѣе, дѣйствіе, производимое его творчествомъ, будетъ недоброе. Жизнь поэтическому созданію, рассуждалъ онъ, даетъ *духъ поэта*, въ созданіи его тайно сопричастственный: и

потому нравственно-образовательное влияние поэтического произведения заключается не въ содержаніи его, а въ томъ, что есть самъ поэтъ. Каковъ самъ поэтъ, таково будетъ и твореніе. Если онъ есть духъ чистоты, если художественное созданіе (каковъ бы ни былъ предметъ его) пронизуемо имъ такъ же, какъ образецъ его, Божіе созданіе, духомъ Создателя, то и дѣйствіе его будетъ благотно, какъ дѣйствіе неизглаголаннаго мірозданія на душу. Напротивъ: самое святое подѣйствуетъ на насъ какъ отравъ, когда оно выльется изъ сосуда души отравленной ⁽¹⁾. Мы привели эти слова не съ тѣмъ, чтобы, изложивъ взглядъ Жуковскаго на искусство, опредѣлить, вѣренъ ли онъ или нѣтъ, а для того только, чтобы показать, что Жуковскій не ровнилъ творца съ твореніемъ. Что же, исполнилось ли желаніе нашего поэта? былъ ли онъ таковъ, какими онъ изображалъ себя въ стихахъ, по идеалу нравственного достоинства? И одно искреннее стремленіе къ идеалу составляетъ немалую заслугу; гораздо выше, конечно, достиженіе идеала. Изъ матеріаловъ для біографіи Жуковскаго, особенно изъ его писемъ, видно, что онъ выдерживаетъ самый взыскательный надъ собою судъ... Свидѣтельства его друзей и знакомыхъ, собственныя его письма, самыя интимныя, въ которыхъ человѣкъ является безъ притворства, выказываютъ въ немъ образецъ душевной чистоты. Не даромъ друзья называли его «Свѣтланой». Всегдашняя готовность дѣлать добро была въ немъ чутка какъ инстинктъ, сильна какъ сознаніе. Идти на встрѣчу нуждѣ—словомъ и дѣломъ—онъ почиталъ и обязанностію, и счастьемъ. Что было имъ сказано, въ Сельскомъ кладбищѣ, объ уединенномъ пѣвцѣ, то безъ лести прилагалось къ нему самому: онъ дарилъ несчастныхъ чѣмъ только могъ. Въ этомъ отношеніи, любопытно одно изъ его писемъ къ Тургеневу, въ лицѣ котораго онъ сердито упрекаетъ петербургскихъ пріятелей за ихъ безпечность и легкомысліе: «Вы хвастаете своимъ Арзамасомъ. Хвастайте, хвастайте, голубчики! Правда, вы запаслись *Рейномъ* ⁽²⁾: пожива славная! Но, милые друзья, надобно помнить и о томъ, что ближе къ Арзамасу: Мещевскій ⁽³⁾ въ Сибири; а вы, друзья, очень весело поживаете въ Петербургѣ! Если вы не собрались еще о немъ вспомнить отъ разсѣянности, то это срамъ и ребячество. Еслижъ отъ холодности къ его судьбѣ, то это... что это? Я не знаю, какъ назвать это! На чтожъ намъ толковать о добрѣ, о общей пользѣ, о хорошихъ, возвышающихъ душу

¹⁾ Письмо къ Гоголю.

²⁾ Т. е. приняли въ литературное общество «Арзамасъ» новаго члена, М. Ѳ. Орлова, подъ именемъ *Рейна*.

³⁾ Стихотворенія Мещерякова печатались въ тогдашнихъ журналахъ.

стихахъ? На что смѣяться надъ Шаховскими и Rivaгоl? Ни на то, ни на другое не имѣемъ мы права, если способны быть столь безпечны, когда дѣло идетъ о судьбѣ, можетъ быть о жизни, а можетъ быть (что еще важнѣе) о нравственномъ спасеніи человѣка, который намъ себя вѣряетъ! Признаться, мнѣ больно быть хлопотуномъ за Мещевскаго, безсильнымъ его орудіемъ. Своихъ способовъ нѣтъ, а вы не помогаете. Если бы у меня была сила въ рукахъ, я бы вамъ не поклонился». Не меньше трогательна заботливость Жуковскаго о другомъ смыслномъ—Бриггенѣ: какъ родной, входитъ онъ съ нимъ въ переписку касательно его заматій, даетъ ему совѣты, беретъ на себя изданіе его перевода, предлагаетъ деньги... и все съ одною цѣлю, о которой онъ не упомянулъ ни словомъ, но которую очень хорошо понимала и чувствовала другая сторона, — съ цѣлю облегчить по возможности участь названнаго. Третьимъ свидѣтельствомъ глубокой чувствительности и высокаго доброжелательства Жуковскаго служатъ его отношенія къ извѣстному стихотворцу И. И. Козлову, когда этотъ лишился зрѣнія: Жуковскій сдѣлался у него домашнимъ человѣкомъ, неизмѣнною опорой всей его семьи. Его веселыя и задушевные бесѣды бывали лучшимъ утѣшеніемъ несчастному поэту, и въ послѣдніе его часы все тотъ же дружескій голосъ читалъ отходныя молитвы умирающему другу. Мы выставяемъ крупныя факты необычайной доброты поэта, а сколько такихъ, которыхъ еще не знаетъ его біографія и которые, вѣроятно, остались неизвѣстными самымъ близкимъ его друзьямъ!

Примѣромъ долговременной своей дѣятельности Жуковскій доказалъ несправедливость поговорки, что стихотворцы—народъ тщеславный, завистливый и раздражительный. Какъ въ первыя успѣхи своего авторства, такъ и на высотѣ своей славы онъ отличался одинаковою скромностью. Рѣдкіе одобряли возникающій талантъ и содѣйствовали ему съ такимъ радушіемъ, какое онъ оказалъ Кольцову. Онъ былъ другомъ Батюшкова, который одинъ изъ современныхъ авторовъ могъ съ нимъ соперничать въ дарованіи и стихотворномъ искусствѣ. Учитель Пушкина, по словамъ сего послѣдняго, онъ признаетъ въ ученикѣ своего побѣдителя и съ полной искренностью радуется его успѣхамъ. Передъ литературной къ нему неприязнью онъ держался такъ же благородно, какъ Карамзинъ, но еще снисходительнѣе и незлобивѣе. Природное добродушіе, сознаніе собственного достоинства и возвышенный взглядъ на поэзію не позволили закрадываться въ его душу ни высокомѣрію, ни презрѣнію. Онъ былъ убѣжденъ, что нѣтъ ничего хуже той славы, которой всѣ обыкновенно ищутъ или которая всѣмъ дается свѣтомъ,

и поэтически уподоблять ее скелету, обвитому розами. Вот его исповѣдь, по поводу комедіи кн. Шаховскаго: «Липецкія воды», въ которой онъ былъ выведенъ подъ именемъ Фіалкина: «Здѣсь (въ Петербургѣ) есть авторъ князь Шаховской. Извѣстно, что авторы не охотники до авторовъ. И онъ поэтому не охотникъ до меня. Вадумалъ онъ написать комедію и въ этой комедіи смѣяться надо мною. Друзья за меня вступились... Теперь страшная война на Парнассѣ. Около меня дерутся за меня, а я молчу, да лучше было бы, когда бы всѣ молчали... Всѣ эти глупости еще болѣе привязываютъ къ поэзіи, святой поэзіи, которая независима отъ близорукихъ судей и довольствуется сама собою... Бѣда писателю, если у него душа доступна для оскорбленія глупцовъ и невѣждъ. Я благодаренъ этому глупому случаю: онъ болѣе познакомилъ меня съ самимъ собою. Я теперь знаю, что люблю поэзію для нея самой, не для почестей, и что комары парнасскіе меня не укусятъ никогда слишкомъ больно» (1). Слова Жуковскаго еще тѣмъ замѣчательны, что они указываютъ его понятіе объ источникѣ нашего спокойствія и счастья: этотъ источникъ—въ довольствѣ самимъ собою, которое возможно только при внутренней самостоятельности. Къ чему стремился онъ всю свою жизнь? Конечно не къ богатству и почестямъ, никогда его не плѣнявшимъ. Онъ былъ идеалистъ, и къ нему прилагаются слова Шиллера, сказанныя объ идеалистахъ вообще, въ противоположность реалистамъ: онъ искалъ не независимости состоянія, а независимости отъ состоянія, какое бы ни выпало на его долю.

Излишне говорить о патріозмѣ Жуковскаго, прославленномъ его поэзіей и доказанномъ дѣлами. Но нельзя умолчать о его глубокомъ религіозномъ чувствѣ. Онъ былъ истинный христіанинъ, питавшій неизмѣнную довѣренность къ Провидѣнію. Въ словахъ Спасителя: «да не смущается сердце ваше: вѣруйте въ Бога и въ Меня вѣруйте», находилъ онъ всевозможныя утѣшенія, данныя человѣку на всѣ житейскія бѣды. Эти слова начерталъ онъ «на двухъ родныхъ, земной судьбиною разрозненныхъ могилахъ» (на могилахъ М. А. и А. А. Протасовыхъ); ихъ же, говоритъ онъ, рука жены и рука дочери должны были начертать и на его гробовомъ камнѣ

Въ воспоминаніе земнаго счастья,
Въ вознагражденіе любви земныя
И жизни вѣчныя на упованье.

Упомянемъ еще объ одной чертѣ въ характерѣ Жуковскаго. Поэтъ по преимуществу элегическій, пѣвецъ меланхоліи и грусти,

(1) Письмо къ роднымъ 1815 (Рус. Архивъ, 1884, стр. 459—461).

онъ въ обществѣ, особенно въ кругу друзей, вовсе не былъ меланхоликомъ: веселость составляла отличительное свойство его добраго и уживчиваго нрава. Онъ любилъ и умѣлъ шутить, хотя и не позволялъ себѣ злоупотреблять шуткой, обращая ее въ орудіе вредное или обидное ближнему. Шутливый элементъ видѣнъ въ нѣкоторыхъ его стихотвореніяхъ, болѣею частію неизданныхъ, напримѣръ въ протоколахъ Арзамаса, которые онъ велъ по званію секретаря этого общества (1).

«Жизнь и поэзія одно». Эти слова Жуковского допускаютъ различное толкованіе. Самъ авторъ выразилъ ими ту мысль, что онъ всецѣло отдался своему призванію, что поэзія составляла главное, существенное дѣло его жизни. Но можно понимать ихъ и въ томъ смыслѣ, что поэтъ старался устроить свою жизнь по тому идеалу нравственнаго достоинства, какой представлялъ въ своихъ созданіяхъ. Наконецъ они могутъ означать, что поэзія Жуковского есть звучный отголосокъ, вѣрное откровеніе его собственной жизни. Мы останавливаемся на послѣднемъ толкованіи, какъ на такомъ, которымъ разъясняется отношеніе поэтической дѣятельности Жуковского къ его біографіи.

Немногіе таланты находились подъ такимъ вліяніемъ первоначальной жизненной среды, какое испыталъ Жуковскій. Она дѣйствовала на него обаятельно и нескончаемо. Родина, «гдѣ онъ расцвѣлъ въ тѣни уединенія», представлялась ему обѣтованной землею, которую онъ по обстоятельствамъ долженъ былъ покинуть, но съ которой никогда не разлучался ни чувствомъ, ни воображеніемъ. Въ одномъ изъ раннихъ своихъ переводовъ онъ совѣтуетъ друзьямъ любить родительскій кровъ, потому что здѣсь только возможно счастье «съ забвеніемъ суеты, съ безпечною свободою» (2). Вдали

1) Важнѣйшіе матеріалы для біографіи Ж-го:

Плетнева П. А.: «В. А. Жуковскій (Живописный сборникъ, изд. Плетнева, 1853) и отдѣльной книжкой, подъ заглавіемъ: «Жизнь и сочиненія В. А. Жуковского, 1854».

Доктора Зейдлица: «Очеркъ развитія поэтической дѣятельности Жуковского» (Журн. Мин. Нар. Просвѣщенія, 1869, №№ 4, 5 и 6).

Шевырева: «О значеніи Ж-го въ русской жизни и поэзіи» (Москва, 1853, № 1, и отдѣльнымъ изданіемъ).

Валинскаго: Сочиненія, т. 8.

Выдержки изъ старой записной книжки, кн. П. А. Вяземскаго (Рус. Архивъ разныхъ годовъ).

Письма Ж-го къ разнымъ лицамъ (ib).

Донгенова М. Н.: Матеріалы для полнаго изданія сочиненій Ж-го (Рус. Арх. 1864, №№ 5 и 6; дополненіе къ нимъ, ib. 1866, №№ 11 и 12).

2) Сонъ Могольца.

отъ родины онъ непрестанно вспоминалъ о ней и какъ бы всегда имѣлъ ее передъ глазами. Дрезденскія окрестности представляли ему окрестности Бѣлева; въ извивахъ Эльбы онъ видѣлъ извивы Оки; а отдаленіе—несмотря на то, что на немъ синѣлись горы Саксонской Швейцаріи—имѣло для него что-то похожее на рощи, окружающія одну изъ родныхъ пустыней ⁽¹⁾. У подошвы швейцарскихъ горъ, онъ мысленно переносился на тотъ холмикъ, на которомъ стоялъ Мишенскій домъ съ своею церковью и гдѣ началась его поэзія переводомъ Греевой элегіи ⁽²⁾. Но привязанность къ людямъ, съ которыми онъ «расцвѣталъ въ тѣни уединенія», была еще сильнѣе привязанности къ естественнымъ красотамъ мѣсторожденія. Къ членамъ своего семейства онъ питалъ не простое чувство родства, но заботливую дружбу и горячую, неизмѣнную любовь. Подъ вліяніемъ окружавшей его родной среды и въ отношеніи къ ней сложился «идеалъ счастья», сдѣлавшійся основною темою поэзіи Жуковского. Черты этого идеала въ первый разъ опредѣлительно указаны «Письмомъ изъ уѣзда къ издателю Вѣстника Европы», которое, какъ программа или передовая статья, излагаетъ обязанности журналиста. Авторъ «письма» — самъ редакторъ (Жуковский), но онъ выражаетъ мнѣніе не отъ себя собственно, а отъ лица Стародума ⁽³⁾.

Письмо наполнено разсужденіями Стародума, вошедшаго въ моду со времени «Недоросля». Объяснивъ существенную пользу журнала, какъ скорѣйшаго проводника полезныхъ идей въ общество, Стародумъ указываетъ то поприще, на которомъ, для нашего счастья, общее просвѣщеніе должно дѣйствовать. Это поприще — мирный и тѣсный кругъ семейства: «въ семействѣ будетъ заключено сладкое счастье, дѣятельность, награды, все, къ чему стремимся, къ чему привязано сердце, что радуется, возвеличиваетъ душу; имѣй въ виду семейство, въ которомъ, со временемъ, на самомъ дѣлѣ ты могъ бы исполнить всѣ лучшія мечты, озаряющія твою душу въ часы уединеннаго размышленія». Но если, при всѣхъ правахъ на счастье, просвѣщенный человѣкъ не найдетъ его тамъ, гдѣ оно блистаетъ наилучшимъ свѣтомъ, гдѣ оно единственно возможно, тогда пусть ищетъ замѣны «въ собственной дѣятельности,—въ томъ удовольствіи, которое неразлучно съ любовью къ прекрасному, съ трудами ума, съ работами воображенія, въ той неотъемлемой наградѣ, которая заключена во внутреннемъ спокойномъ увѣреніи, что исполнилъ свою должность, какъ чело-

¹⁾ Отрывки изъ писемъ о Саксоніи, 1821 г.

²⁾ Изъ письма къ Зонтагу (1838) (Жив. Сбор. ч. 3).

³⁾ В. Европы, 1808, № 1.

онъ—совершенствуя свою натуру, какъ *вражда* — трудясь съ намѣреніемъ приносить пользу отечеству». Основныя положенія Стародума повторены въ разсужденіи: «Кто истинно добрый и счастливый человѣкъ?». Не отдѣляя добродѣтели отъ счастья, авторъ мѣстомъ дѣйствій для нихъ назначаетъ семейство — «тихое, сокрытое отъ людей поприще, на которомъ совершаются *самыя благородныя, самыя безкорыстныя подвиги добродѣтельнаго*». За этимъ поприщемъ простираются болѣе обширныя круги—отечество и человѣчество. О нихъ съ элегическимъ пафосомъ разсуждаетъ Теонъ ⁽¹⁾, имѣя передъ глазами памятникъ, воздвигнутый надъ могилою его супруги. Возвышенныя стремленія Стародума и Теона дышать скорбью потому именно, что они винушены сердцемъ, потерявшимъ верховный идеалъ свой. Напрасно это сердце ищетъ новыхъ, равносильныхъ или важнѣйшихъ, идеаловъ: ничто не въ силахъ замѣнить утраченнаго. Все остальное получаетъ цѣну лишь по отношенію къ уtratѣ: или какъ воспоминаніе о ней, или какъ надежда на ея возвращеніе. Прошедшее, настоящее и будущее дружатся этими единственными чувства омраченной жизни. Въ отвѣтъ Д. Сѣверину, переведшему съ французскаго небольшую пьесу «Писатель въ обществѣ», Жуковскій напечаталъ въ журналѣ статью подъ тѣмъ же заглавіемъ. Переводъ оканчивается совѣтомъ Деліля автору: «du fond de ta retraite habite l'univers». Жуковскій, согласно съ своимъ взглядомъ, выразился такъ: «вселенная, со всѣми ея радостями, должна быть заключена въ той мирной обители (семействѣ), гдѣ онъ (писатель) мыслить и гдѣ онъ любить».

Поэтъ не только создалъ идеалъ счастья по тому образу, какой представляла ему родная семья, но и думалъ обрѣсти его въ той же семьѣ, гдѣ «сладость тайная во грудь его лилась». Онъ питалъ глубокую любовь къ своимъ племянницамъ, Протасовымъ. Его намѣреніе жениться на старшей (Марѣ Андреевнѣ) могло бы исполниться, если бы мать ихъ въ родственныя отношенія не видѣла причины своему упорному отказу. Въ письмѣ къ Тургеневу 1810 г. Жуковскій бесѣдуетъ съ нимъ объ этой тайнѣ своего сердца: «Ахъ, братъ и другъ, сколько погибло времени! Вся моя прошедшая жизнь покрита какимъ-то туманомъ *недѣятельности душевной*, который ничего не даетъ мнѣ различить въ ней. Причина этой недѣятельности тебѣ извѣстна. А теперь, другъ мой, эта самая дѣятельность служить мнѣ лекарствомъ отъ того, что было прежде ей помѣхою. Если романическая любовь могла спасти душу отъ порчи, за то она уничтожаетъ въ ней и дѣятель-

¹⁾ Въ элегіи: «Теонъ и Эсхинъ».

ность, привлекая ее къ одному предмету, который удаляет ее отъ всѣхъ другихъ. Этотъ одинъ убійственный предметъ какъ царь сидѣлъ въ душѣ моей по сіе время. Но теперешняя моя дѣятельность, наполнивъ мою душу (или, лучше сказать, *начиная* наполнять), избавляетъ ее отъ вреднаго постояльца. Если бы онъ ушелъ самъ, *не уступивши* мѣста своего другому, то душа могла бы угаснуть; но теперь она только перемѣнила свое направленіе и, признаться, къ совершенной своей выгодѣ... Не подумай, однако, чтобы моя мысль о дѣйстви любви была *общей* мыслию, а не моею; нѣтъ, она справедлива и неоспорима, но только тогда, когда будешь предполагать нѣкоторые особые обстоятельства: она справедлива въ отношеніи ко мнѣ». Отсюда въ поэзіи Жуковскаго частые діанамбы труда. Но этотъ благотворный трудъ былъ для него только «цѣлителемъ скорбной души, а не животворителемъ счастья». Онъ мирилъ печальнаго съ судьбой, не измѣняя самой судьбы. По прежнему печаль осталась его спутницей и вдохновеніемъ. «Во дни печали я съ тобой», отвѣчаетъ онъ Тургеневу, а не во дни счастья, давая тѣмъ знать, что онъ всегда помнитъ своихъ друзей. Какъ прежде Жуковский жаловался на жребій, не судившій ему дѣлать свою жизнь съ тою, которой онъ готовъ былъ жертвовать всѣми благами земли; какъ прежде находилъ онъ въ любви «одну мечту, безумца тяжкій сонъ и невозвратное надеждъ уничтоженье»: такъ и теперь, съ обращеніемъ къ дѣятельности, прославляемый и призываемый имъ трудъ не былъ для него—и долго еще не будетъ—ни замѣной счастья, ни самимъ счастіемъ. Для знакомства съ его душевнымъ настроеніемъ того времени, о которомъ здѣсь говорится, любопытны стихи «въ альбомѣ А. А. П.», отнесенные имъ въ 1814 г. Если не ошибаемся, они написаны для крестницы его Протасовой и, вѣроятно, послѣ того, какъ она была сосватана за Воейкова. Выписываемъ отсюда заключеніе:

Тѣснишься въ сердце ты изображеньемъ милымъ
Всего минувшаго, всего, чѣмъ жизнь была
Такъ сладостно полна, такъ пламенно мила,
Что вдохновеніемъ всю душу зажигало,
Всего, что лучшаго въ ней было и пропало...
О упоеніе томительной мечты,
Покинь меня! *Желать* безжалостно ты учишь;
Не воскрешая, смерть мою тревожишь ты;
Въ могилѣ мертвеца ты чувствомъ жизни мучишь.

Какъ ни туманны послѣднія четыре строки, но томительное чувство, ими выраженное, понятно: это — скорбь невольной и нежеланной, судьбою устроенной разлуки съ дорогимъ существомъ или дорогими существами. Потеря идеала въ жизни сообщила слѣдую-

щей за тѣмъ поэзіи Жуковскаго еще болѣе унылый тонъ. Меланхолія, какъ ожиданіе грядущей бѣды, перешла въ меланхолію, какъ ощущеніе бѣды совершившейся. Въ разныхъ образахъ поэтъ сталъ воплощать крушеніе надежды и разными причинами объяснять его: то отецъ, искатель богатства, разорвалъ сердечный союзъ ⁽¹⁾; то тщеславная мать выдала свою дочь за другаго ⁽²⁾; то изгнаніе раздѣляетъ любовниковъ ⁽³⁾; то смерть похищаетъ одного изъ нихъ ⁽⁴⁾. Всегда и вездѣ разлука съ предметомъ любви—съ идеаломъ счастья. Такъ какъ отъ настоящаго ждать было нечего, то прошлое украсилось особенною прелестью. Только воспоминаніе могло приносить отраду: «разлуки жизнь—воспоминанье». Мысль о минувшемъ осаждала душу поэта сильными прибоими: чувствуя ея тяжесть, потому что въ его воображеніи живо возникало погибшее счастье, онъ однакожъ не только не отбивался отъ нея, но и хотѣлъ постоянно имѣть ее при себѣ, какъ замѣну погибшаго. Всѣ обращенія къ прежнему времени исполнены трогательныхъ жалобъ:

Минувшихъ дней очарованье,
Зачѣмъ опять воскресло ты?
Кто разбудилъ воспоминанье
И замолчавшія мечты?...

О милый гость, святое *прежде*,
Зачѣмъ въ мою тѣснишься грудь?
Могуль сказать: *жизни*, надеждъ?
Скажуль тому, что было будъ?...

Зачѣмъ душа въ тотъ край стремится,
Гдѣ были дни, какихъ ужъ нѣтъ?
Пустынный край не населится,
Не узрѣть онъ минувшихъ лѣтъ... ⁽⁵⁾.

Этотъ пустынный край—родныя мѣста поэта; эти минувшіе дни—время, проведенное имъ на родинѣ, особенно въ семействѣ сестры его Протасовой. Живость воспоминанія, выраженная въ «Пѣснѣ» рядомъ вопросовъ, нашла еще сильнѣйшее и болѣе поэтическое выраженіе въ другой пѣснѣ. Посвятивъ «Громобоя» (1810) А. А. Протасовой, Жуковскій черезъ нѣсколько лѣтъ написалъ «Вадима» (1817), вторую и послѣднюю часть «Двѣнадцати спящихъ дѣвъ». Сравненіе времени, когда онъ началъ свою повѣсть, съ совершенно

¹⁾ Эльвина и Эдвинъ.

²⁾ Алина и Альсимъ.

³⁾ Золова арфа.

⁴⁾ Теонъ и Эсхинъ. Голосъ съ того свѣта.

⁵⁾ Пѣсни (1816).

нными обстоятельствами, при которых она была кончена, вызвало въ его душѣ «тоску по благамъ прежнихъ лѣтъ»:

Опять ты здѣсь, мой благодатный Геній,
Воздушная подруга юныхъ дней... (').

Прежніе годы надолго остались для поэта «лучшими» годами, «тѣмъ свѣтомъ», куда любилъ онъ носиться воспоминаніемъ, своимъ добрымъ геніемъ, внимательно прислушиваясь къ каждой вѣсти, оттуда къ нему приходившей. «Хотѣлось бы взглянуть на васъ» (писалъ онъ Зонтагъ 1824 г.), на моего представителя *прежнихъ, лучшихъ лѣтъ*... Ваше письмо точно было голосъ съ того свѣта, а *тѣмъ свѣтомъ* я называю нашу молодость, наше бывающее, счастливое *вмѣстѣ*. Пользуясь славой поэта и достоинствомъ общественнаго положенія въ столицѣ, Жуковскій то и дѣло стремился къ бывалому, просилъ жизни по старинѣ. Что напоминало ему эту старину, въ чемъ видѣлъ онъ какое нибудь подобіе своей душевной настроенности, то немедленно облекалось въ поэтическій образъ или заводило элегическія пѣсни. Онъ перевелъ французское стихотвореніе (Листокъ), въ которомъ изображенъ жребій листа, отлученнаго отъ родной вѣтки и носимаго по волѣ случая. Полевая незабудка обращается для него въ «цвѣтъ завѣта», символъ воспоминанія (Цвѣтъ завѣта). Хотя эта піеса написана по особенному поводу, но содержаніе ея близко относилось къ автору. Онъ самъ, на далекомъ сѣверѣ, чувствовалъ то именно, что высказываетъ отъ другаго лица, для котораго сочинено стихотвореніе. Даже піесы на случай, у другихъ поэтовъ вялыя и холодныя, Жуковскій оживлялъ собственною печалью. Только изъ души, испытывавшей тяжесть сердечной утраты, могли вырываться такіа искреннія жалобы, какими наполнена элегія на кончину королевы виртембергской (Екатерины Павловны, 1818), сочиненная вскорѣ послѣ того, какъ старшая племянница поэта вышла за мужъ.

О наша жизнь, гдѣ вѣрны лишь утраты,
Гдѣ милому мгновенье лишь дано,
Гдѣ скорбь безъ крыль, а радости крылаты,
И гдѣ на вѣкъ минувшее одно...
Почтожъ мы здѣсь мечтами такъ богаты,
Когда мечтамъ не сбыться суждено?
Внимая гласъ надежды намъ поющей,
Не слышимъ мы шаговъ бѣды грядущей.

Когда же умерла вторая его племянница (Александра Андреевна, въ февралѣ 1829), онъ перевелъ Шиллерову балладу: «Жалоба

') Эта элегія есть вольный переводъ «посвященія», написаннаго Гете по окончаніи 2-ой части «Фауста».

Цереры» (1829). Въ сѣтованіяхъ богини, лишившейся дочери, въ ея печальной встрѣчѣ весны:

Все цвѣтеть,—лишь мой единый
Не взойдетъ прекрасный цвѣтъ,

не трудно слышать голосъ самого переводчика, который, еще задолго до этого времени, посвящая дорогой родственницѣ «Громобоя», называлъ ее «очарованьемъ сердецъ», своимъ «несравненнымъ цвѣтомъ». Какъ съ лѣтами онъ не измѣнялся нравственно, и былъ, говоря его словами, тотъ же дитя, житель уединенія, такъ и его поэзія оставалась неизмѣнною. Лирическія мѣста «Ундины» (1836) показываютъ, что въ немъ не замирала память о минувшемъ, хотя оно и скрывало въ своей дали много развалинъ и могилъ. Такъ, напримѣръ, пятая глава повѣсти начинается обращеніемъ къ читателю, которое, при всемъ спокойствіи тона, даетъ чувствовать сердечную боль автора. Коснувшись охлажденія рыцаря къ Удинѣ, Жуковскій не хочетъ подробно описывать предстоящее ей горе, потому что оно напоминаетъ ему превратность собственнаго счастья (глава XIII):

..... позволь мнѣ
Лучше о томъ позабыть, что такъ больно душѣ; испытаи
Всѣ мы невѣрность здѣшняго счастья; ты самъ, вѣроятно,
Былъ имъ обманутъ—таковъ ужъ земной человѣческій жребій.....
..... Можетъ быть, слушая нашу
Повѣсть, ты вспомнишь и самъ о своемъ миновавшемъ, и тихо
Милая грусть тебѣ черезъ душу прокрадется, снова
То, что прошло, оживетъ, и ты слезу сожалѣнья
Бросишь опять на цвѣты, которыми такъ любовался
Прежде на градкахъ своихъ, давно ужъ растоптанныхъ. Полно жъ,
Полно объ этомъ, читатель.

И при самомъ почти вступленіи въ новый періодъ своей жизни, память минувшаго, еще живую и чувствительную, онъ высказалъ словами «Камоэнса» (1838):

О, святая
Пора любви! твое воспоминанье
И здѣсь, въ моей темницѣ, на краю
Могины, какъ дыханіе весны,
Мнѣ освѣжило душу. Какъ тогда
Все было въ мірѣ отголоскомъ звучнымъ
Моей любви! какимъ сіяньемъ райскимъ
Блестала предо мной вся жизнь съ своимъ
Страданіемъ, блаженствомъ, съ настоящимъ,
Прошедшимъ, будущимъ...

Все переживешь
На свѣтѣ... Но забыть?... Блаженъ, кто носить
Въ своей душѣ святую память, вѣрность

Прекрасному минувшему! Моя
Душа ее во глубинѣ своей,
Какъ чистую лампаду засвѣтила,
И въ ней она поэзіей горѣла.

Поэзія Жуковскаго дѣйствительно горѣла чистымъ и ровнымъ свѣтомъ, зажженнымъ «тоскою по благамъ прежнихъ лѣтъ».

Отъ природы мечтательный, добрый и кроткій, Жуковскій не былъ способенъ ни къ ожесточенію, ни къ отчаянію, которыя поражаютъ многихъ людей, имѣвшихъ право роптать на судьбу. Онъ занася утѣшеніемъ и сохранилъ взглядъ оптимиста на жизнь и природу. Утѣшительная доктрина его немногосложна; она состоитъ изъ двухъ-трехъ догматовъ, сущность которыхъ заключается въ слѣдующемъ:

Человѣкъ, лиась любимаго предмета, вмѣстѣ съ тѣмъ лишился и счастья. Но счастье, вдвоемъ столь живое, не исчезло: самая скорбь о погибшемъ идеалѣ есть наслажденіе; страданіе въ разлукѣ обращается въ благодѣтельную для сердца любовь. Идеаль живетъ съ нами воспоминаніемъ, которое такъ чутко и сильно, что, при малѣйшемъ поводѣ, въ одно мгновеніе можетъ давноминувшее дѣлать настоящимъ, а настоящее отодвигать на далекое разстояніе:

Все близкое мнѣ зрится отдаленнымъ,
Отжившее, какъ прежде, оживленнымъ.

Могла служить святымъ завѣтомъ пережившему: свершить одному то, что онъ такъ достойно началъ вдвоемъ; взять въ образецъ своей жизни прекрасную жизнь тѣхъ, которыхъ уже нѣтъ на свѣтѣ. Мы всегда пребываемъ съ ними воспоминаніемъ: оно возвышаетъ душу въ счастіи, ободряетъ ее въ несчастіи, и есть, такъ сказать, двойникъ нашей совѣсти. Другое утѣшеніе печальный находитъ въ надеждѣ на возвратъ идеала: гробъ, сокрывшій друга, невѣсту, супругу, есть вѣрный свидѣтель,

Что лучшее въ жизни еще впереди,
Что вѣрно желанное будетъ.

Сей гробъ—затворенная къ счастію дверь;
Отворится... жду и надѣюсь!
За нимъ ожидаетъ сонутинѣ меня,
На мигъ мнѣ явившійся въ жизни⁽¹⁾.

И потому-то огорченный долженъ не роптать на природу и жизнь, а примириться съ ними, какъ примирился «Эпимесидъ»⁽²⁾, какъ примирился Теонъ:

¹⁾ Теонъ и Эскинъ.

²⁾ Эпимесидъ (Изъ Парии). Рос. Музеумъ 1816, № 2.
ист. русск. лит. т. 2.

Все небо намъ дало, мой другъ, съ бытіемъ;
 Все въ жизни къ великому средство;
 И горестъ и радость—все къ цѣли одной:
 Хвала жизнодавцу—Зевесу (1).

Такимъ образомъ жизнь человѣка, разлученнаго съ идеаломъ, слѣгается изъ двухъ элементовъ: изъ воспоминанія объ утраченномъ благѣ и изъ надежды на возвратъ его. Только прошедшее и будущее имѣютъ для него значеніе; настоящее какъ бы вовсе не существуетъ (2).

Жуковский оставался вѣренъ и своей печали, и своей философій. Сводъ его мыслей, взятыхъ изъ разныхъ піесъ, начиная съ разсужденія: «Кто истинно-добрый и счастливый человѣкъ», и оканчивая «Ундиной» (1837), на которой мы остановились, показываетъ, что въ теченіи *тридцати* лѣтъ, отдѣляющихъ первое сочиненіе отъ послѣдняго, когда поэту было уже *пятьдесятъ четыре* года, ни доктрина его, ни тоска по идеалу не измѣнились. Онъ любилъ и выражать эту доктрину, какъ лирикъ, и представлять ее въ символахъ — своихъ или заимствованныхъ изъ чужой литературы. Воспоминаніе и надежда—два чувства, данныя человѣку небомъ, въ замѣнъ потеряннаго счастья, изображались для него двумя ненадменными цвѣтками — незабудкой и анютиными глазками (persée):

О милое *воспоминаніе*
 О томъ, чего ужъ въ мірѣ нѣтъ!
 О *дума сердца—упованіе*
 На лучший, неизмѣнный свѣтъ!
 Блаженъ, кто васъ среди губящаго
 Волненія жизни сохранилъ,
 И съ вами низость настоящаго
 И пренебрегъ, и позабылъ.

Поэтический образъ загробнаго свиданія созданъ въ «Жалобѣ Цереры»—элегіи, переведенной изъ Шиллера. Послѣ долгихъ, но тщетныхъ поисковъ дочери, богиня нашла средство торжествовать надъ разлукой, сблизить мертвыхъ съ живыми: сѣмена, которыя она осенью ввѣрила землѣ, изображаютъ вѣсть любви, посылаемую въ царство тѣней, а цвѣты, распустившіеся весною—голосъ дочери, отвѣчающей на материнскій привѣтъ:

Ими таинственно слита
 Область тьмы съ страной дня,

(1) Теонъ и Эсхинъ.

(2) Кромѣ указанныхъ піесъ, см.: изъ К. М. С....ой (1807), Надгробіе Тургеевичъ (1807). Кто истинно-добрый и счастливый человѣкъ (1808), Голосъ съ того свѣта (1815).

И приходять отъ Коцита
 Съ ними вѣсти для меня;
 И ко мнѣ въ живомъ дыханѣ
 Молодыхъ цвѣтовъ весны
 Подымается признанье,
 Глазъ родной изъ глубины:
 Онъ разлуку улаживаетъ,
 Онъ душѣ моей твердитъ,
 Что любовь не умираетъ
 И въ отшедшихъ за Коцить.

Разъяснивъ достаточно предположенное нами значеніе словъ: «жизнь и поэзія — одно», мы имѣемъ право сказать о произведеніяхъ Жуковского, что они — *поэтическая мнотпись его личной судьбы, преимущественно его романтической любви.*

Сохранила ли эта поэзія тотъ же характеръ въ своихъ явленіяхъ, слѣдовавшихъ за «Ундиной» и «Камоэнсомъ»? Если Жуковский славилъ трудъ, какъ цѣлителя печальной души, то у времени столько же цѣлительной силы: съ теченіемъ лѣтъ печаль неминуемо затихаетъ или и совсѣмъ прекращается, даже въ тѣхъ душахъ, которыя могутъ быть названы ея избранными сосудами. Самъ Жуковский испыталъ на себѣ переходимость горя:

Какъ намъ, добрый читатель, сказать: къ сожалѣнью или къ счастью,
 что наше

Горе земное не надолго? Здѣсь разумѣю я горе
 Сердца, глубокое, нашу всю жизнь губящее горе,
 Горе, которое съ милымъ, потеряннымъ благомъ сливается
 Насъ во-едино, которымъ утрата для насъ не утрата,
 Скорбь вдвоемъ бытіе, а жизнь — порывъ непрестанный
 Къ той чертѣ, за которую милое наше изъ міра
 Прежде насъ перешло. Есть, правда, много избранныхъ
 Душъ на свѣтѣ, въ которыхъ святая печаль, какъ свѣча предъ иконой
 Ярко горитъ, пока догоритъ; но она и для нихъ ужъ
 Все не та подъ конецъ, какою была при началѣ,
 Полная, чистая; много, много инаго, чужаго
 Между утратою нашей и нами уже протѣснилось;
 Вотъ, наконецъ, и всю измѣняемость здѣшняго въ самой
 Нашей печали мы видимъ.... и такъ, скажу: къ сожалѣнью,
 Наше горе земное не надолго.

Для Жуковского вонецъ горя наступилъ вскорѣ послѣ того, какъ онъ выразилъ сожалѣніе о его невѣчности. Въ 1841 г. онъ женился. Тоска по благамъ прежнихъ лѣтъ исчезла, потому что идеаль былъ найденъ, только въ лицѣ другаго существа, въ другомъ мѣстѣ и при другихъ обстоятельствахъ. Семейная жизнь осуществила то счастье, къ которому поэтъ стремился съ юныхъ лѣтъ, но которое было у него похищено судьбою. «Налъ и Дамаанти» (1840) стоятъ на рубежѣ, раздѣляющемъ два періода его жизни

и дѣятельности. Переводъ этой поэмы, представляющей идеалъ вѣрной жены, есть «послѣдній цѣтъ, данный ему поэзіей» перваго, почти сороколѣтняго періода. Въ посвященіи раскрыто новое состояніе души переводчика:

И нинѣ тихо, безъ волненія льется
Потокъ моей уединенной жизни.
Смотря въ лице подруги, данной Богомъ,
На освашеніе сердца моего,
Смотря, какъ спитъ сномъ ангела на лонѣ
У матери младенецъ мой прекрасный,
Я чувствую глубоко тотъ покой,
Котораго такъ жадно адѣсь мы ищемъ,
Не находя видѣ; и слышу голосъ,
Земныя всѣ смиряющій тревоги:
«Да не смущается твоя душа»,
Онъ говоритъ мнѣ, «вѣруй въ Бога, вѣруй
Въ меня».

Нѣкоторые, опираясь на заявленіе Жуковскаго (въ предисловіи къ переводу Одиссеи), что онъ «изъ мечтателя-романтика сдѣлался трезвымъ классикомъ», думаютъ видѣть въ послѣднихъ трудахъ его замѣтный поворотъ отъ прежняго направленія къ новому. Мнѣніе ошибочное: такъ называемый поворотъ ограничился тѣмъ, что, на старости, поэтъ захотѣлъ повеселить свой досугъ разсказами, и потому, оставивъ лиру, принялся за переводъ безсмертнаго разсказчика Гомера. Обусловилося же это желаніе фактомъ, важнымъ для каждаго человѣка: Жуковскій «перешелъ въ спокойное пристанище семейной жизни». Было бы странно, по достиженіи пристани, обоготворять бывшую печаль, происходившую отъ долговременнаго одиночества. Напротивъ, очень естественно веселить умиротворенную душу первобытной поэзіей, которая «такъ тиха и покойна, такъ мирно украшаетъ все насъ окружающее». Здѣсь выборъ занятія согласовался съ внутреннимъ настроеніемъ поэта. Сверхъ того, и до перевода Одиссеи Жуковскій представлялъ образцы своего знакомства съ древне-классической поэзіей, отъ изученія которой нашими литераторами ожидалъ большой пользы для русской словесности. Перемены, повторяемъ, не было, если только подъ классицизмомъ не разумѣть спокойствія, которое, въ извѣстные годы, или даруется какъ награда за нравственные заслуги, или является само собою, какъ результатъ фізіологическаго процесса. Что же касается до слова «романтизмъ», то оно крайне неопредѣленно, и въ примѣненіи къ Жуковскому должно быть употребляемо съ ограниченіями, если не хотимъ извращать и спутывать понятій.

Элегическое чувство, которым проникнута поэзия Жуковского за первый периодъ, сохранилось и во второмъ ея периодѣ; только тамъ оно было печалью по утраченномъ идеалѣ, а здѣсь оно вытекало изъ тревогъ, нераздѣльных съ пользованіемъ идеаломъ и убѣждающихъ, что «земная жизнь—страданія питомецъ». «Счастье досталось мнѣ именно такое (писалъ онъ къ А. О. С.***), какое я желалъ во снѣ и на яву; но вънецъ этого счастья есть вънецъ божественный, слѣдственно въ него должны быть необходимо вплетены терни изъ того вѣнца, передъ которымъ всѣ другіе земные вѣнцы исчезаютъ. Душа моя познакомилась съ тѣми тревогами, которыя составляютъ многочисленную свиту нашихъ любезнѣйшихъ земныхъ сокровищъ... Семейная жизнь есть та школа, въ которой настоящимъ образомъ научишься жизни; но не радостями беззаботными, не поэтическими мечтами, а болѣе тревогами, страхами, ссорами съ самимъ собою, ведущими отъ раздраженія души къ терпѣнію, отъ терпѣнія къ вѣрѣ, отъ вѣры къ сердечному миру, и все это наконецъ сливается въ одно — въ любовь безсмертную, а ея имя Богъ-Спаситель». И Жуковскій стремился къ этой цѣли, т. е. къ наукѣ жизни въ христіанскомъ духѣ. Опыты изученія видны въ «Размышленіяхъ и замѣчаніяхъ», въ «письмахъ къ Гоголю и Стурдзѣ», въ статьяхъ «о меланхолиі въ жизни и въ поэзіи» и «объ изящномъ искусствѣ», и другихъ. Къ поэтическимъ мечтамъ (независимо отъ перевода Одиссеи и Илиады) авторъ прибѣгалъ только какъ къ формамъ для выраженія догматовъ и правилъ той же науки: «сказка о Мудрецѣ Керимѣ» заключается выводомъ, что наша жизнь есть странствіе по свѣту въ исполненіе верховной воли Высшаго Царя; «Выборъ креста» показываетъ, что каждый человѣкъ долженъ безропотно нести свой крестъ, не требуя облегченія крестнаго бремени; «Капитанъ Боннъ» есть исторія великаго нечестивца, раскаяніемъ примиреннаго съ Богомъ ⁽¹⁾; основной идеей неконченной поэмы «Агасверъ» служить апотеоза страданій, закаляющихъ душу христіанскимъ смиреніемъ и любовью къ Искушителя мѣра, превышающею всякую иную любовь.

Поэтическія произведенія Жуковскаго обогатили нашу лирику новымъ, плодотворнымъ содержаніемъ, которое составляетъ важный моментъ въ ея историческомъ развитіи. Они впервые раскрыли передъ нами внутренній міръ человѣка, міръ его души, какъ пред-

⁽¹⁾ «Капитанъ Боннъ» есть переводъ французскаго прозаическаго разсказа: «Le capitaine de vaisseau et son mousse, histoire véritable», publié par la Société des traités religieux de Paris (1825). Въ эпитафій слова Спасителя ученикамъ: «Развѣ вы никогда не читали: изъ устъ младенцевъ и грудныхъ дѣтей Ты устроиши хвалу? (Пс. VIII, 3).

мета, наиболѣе достойнаго вдохновенныхъ пѣсень. Душевная исповѣдь служить господствующею ихъ темою, не возбуждавшею дотогѣ сочувственнаго вниманія писателей, которые притомъ и не были къ тому призваны ни характеромъ своихъ талантовъ, ни качествами своей природы. До чего бы ни касалась поэтическая дѣятельность Жуковского, въ какія бы формы ни облекались его представленія и чувства, онъ никогда не подчиняетъ явленій психическаго міра предметамъ и фактамъ другихъ сферъ: душа постоянно занимаетъ у него первенствующее мѣсто. Красота любви, дружбы, поэзіи, таинственнаго соотношенія между природою и человѣкомъ, радость въ наслажденіи ими, печаль при ихъ уtratѣ... выступаютъ предпочтительно даже въ тѣхъ стихотвореніяхъ, которыя, ссылаясь на установленный обычай, могли бы ограничиться прославленіемъ героическихъ дѣлъ, заявленіемъ вѣшняго величія и славы. Такъ «Пѣвецъ въ станѣ русскихъ воиновъ» содержитъ въ себѣ не мало мѣстъ, выражающихъ тоску объ утраченномъ счастіи (при воспоминаніи о Кутайсовѣ) или прелести дружбы, любви и служенія музамъ, и эти мѣста проникнуты задушевнымъ чувствомъ. Такъ въ пѣснѣ «на кончину королевы Виртембергской», не довольствуясь трогательнымъ воспоминаніемъ объ умершей, поэтъ вводитъ строфы о бѣдности нашей жизни; о гибели всего прекраснаго на землѣ.

Господствующій тонъ въ этой душевной лирикѣ—элегическій. Причины тому двоякія: частныя и общія. Первые намъ извѣстны: это—врожденная склонность поэта къ меланхоліи, въ соединеніи съ обстоятельствами его жизни. Что касается до вторыхъ, то онѣ указаны самимъ Жуковскимъ, который назвалъ меланхолію «одною изъ самыхъ звучныхъ струнъ лиры, настроенной послѣ распространенія христіанства». «Христіанство, говоритъ онъ, отерывъ намъ глубину нашей души, увлекло насъ въ духовное созерцаніе, соединило съ міромъ вѣшнимъ міръ таинственный, что отразилось и въ жизни дѣйствительной, и въ поэзіи». И вотъ онъ постоянно обращался въ этой области: задачею его было—углубляться въ міръ внутренній, преслѣдовать душу въ ея движеніяхъ, высказывать подробно ея тайны. А для высказыванія такихъ предметовъ элегія, какъ лирика рефлексій, служитъ наиболѣе пригодною художественною формою. Элегія не ограничивается, подобно пѣснѣ, сосредоточеннымъ изліаніемъ непосредственнаго чувства; не покушается, подобно одѣ, на смѣлые образы, порождаемые сильнымъ одушевленіемъ: она свои думы и чувства выражаетъ рядомъ образовъ, состоящихъ во взаимной, внутренней связи. Основная тема ея—преходимость всего земнаго. Оба элемента ея: описаніе и раз-

мышленіе (образы и думы), равно служатъ къ достиженію цѣли, т. е. къ передачѣ читателю того чувства, которое овладѣло элегикомъ: описываемый образъ вызываетъ мысль, а высказанная мысль находитъ себѣ подтвержденіе или отраженіе въ ново-представляющемся образѣ. Естественно-художественная смѣна одного элемента другимъ, ихъ разумное чередованіе и равновѣсіе и составляютъ прелесть элегическаго рода.

Самыя лучшія, наиболѣе характеристическія произведенія Жуковскаго относятся къ этому роду. Элегіей началась его поэзія. Онъ выбралъ для перевода «Сельское кладбище» Грея, который, вмѣстѣ съ другимъ англійскимъ писателемъ XVIII вѣка, Гольдсмитомъ, сообщилъ элегіи идиллическій характеръ, безъ сомнѣнія нравившійся переводчику, какъ «любителю мирныхъ селъ». «Лѣтній вечеръ» написанъ подѣ влияніемъ той же любви къ сельскому быту. Элегическое чувство проникаетъ почти каждое стихотвореніе Жуковскаго, хотя бы оно и не называлось элегіей. Большая часть его пѣсень, романсовъ, балладъ—тѣже элегіи. Какое впечатлѣніе производятъ Ахиллъ, Алина и Альсимъ, Эолова Арфа, Жалоба Цереры? Не вырываются ли грустныя жалобы даже въ стихотвореніяхъ его на торжественные случаи? и самая преходимость горя не служить ли источникомъ горя и поводомъ къ элегической вставкѣ въ повѣсть объ Ундиинѣ? Тяготѣніе Жуковскаго къ одному и тому же роду поэзіи обнаружилось также выборомъ образцовъ иностранной литературы для переложенія ихъ на русскій языкъ. Изъ Овидіевыхъ превращеній взялъ онъ «Цейкса и Гальціону» — изображеніе разлуки супруговъ и свиданія ихъ по смерти; изъ Мессіады «Аббадону» — раскаяніе ангела и тоску его по небѣ; изъ лирическихъ поэмъ Байрона «Шильонскій узникъ» — страданія узника въ темницѣ при смерти и по смерти братьевъ; изъ Мура «Пери и Ангелъ» — стремленіе души отъ земли на небо.

Существенное содержаніе элегій Жуковскаго намъ уже извѣстно. Скорбь объ утраченномъ идеалѣ, онѣ одною стороною обращены къ прошедшему—воспоминаніемъ, другою къ будущему—надеждой на возвратъ идеала за гробомъ. Но эта скорбь, было также замѣчено, не есть безотрадно-тяжелое, ничѣмъ неумиряемое чувство: она находитъ свѣтлый для себя исходъ не только въ ожиданіи счастья за предѣлами земной жизни, но еще и на земномъ пути—въ бодромъ стремленіи къ нравственной цѣли, къ которой прежде оно совершалось вдвоемъ, въ сладости возвышенныхъ мыслей, особенно въ мысли о красотѣ и величіи челоуѣческаго существа. Въ жалобахъ Жуковскаго нѣтъ и тѣни превращенія въ жизнь, той горечи духа, которой проникнуты элегіи нѣкоторыхъ другихъ по-

этовъ. Онѣ завершаются внутреннимъ покоемъ, благодушнымъ примиреніемъ съ природой и жизнью. О спутникахъ, которые своимъ присутствіемъ животворили для насъ міръ, онѣ говорятъ не съ печалью: *ихъ нѣтъ*, но съ благодарностію: *были*. Разсказъ о смерти супруги Теонъ заключаетъ восклицаніемъ: «хвала жизнодавцу-Зевесу!» Такую же хвалу возноситъ богамъ Эпимесидъ, испытавшій на себѣ, какъ унылъ жребій смертнаго. Въ этомъ отношеніи, элегіи Жуковскаго представляютъ сходство съ элегіями А. Пушкина, который тоже не давалъ печали овладѣвать собою надолго и всецѣло, но существенная между ними разница въ идеяхъ и побужденіяхъ, отъ имени которыхъ внутренній раздоръ замирался.

Основные мысли и чувства Жуковскаго выражались, меньшею частью его собственными сочиненіями и большею — переводами. Но онъ переводилъ преимущественно то, что своимъ содержаніемъ совпадало съ его душевною настроенностію, съ его идеальными стремленіями. «У меня, писалъ онъ Гоголю (1847), почти все чужое или по поводу чужаго — и все однако мое», т. е. заимствуемое у другихъ было вмѣстѣ его собственностію, такъ какъ постигнутое и прочувствованное оригинальнымъ авторомъ постигалось и чувствовалось имъ въ той же мѣрѣ, и находило въ немъ художественнаго воспроизводителя. Поэтому Жуковскій-переводчикъ долженъ быть признанъ за самобытнаго творца; переводы его имѣютъ значеніе оригинальныхъ созданій; повсюду выступаетъ его личность, родственная чужой личности, насколько эта послѣдняя отразилась въ образцѣ. Вѣрное понятіе объ обязанности и значеніи переводчика поэтическихъ произведеній изложено Жуковскимъ въ нѣкоторыхъ критическихъ статьяхъ. Главная заслуга заключается въ томъ, чтобы переводъ производилъ такое же дѣйствіе, какое производитъ оригиналъ; для этого необходимо наполниться духомъ переводимаго поэта.⁽¹⁾ «Переводчикъ-стихотворецъ есть въ нѣкоторомъ смыслѣ самъ творецъ оригинальный. Конечно, первая мысль, на которой основано зданіе стихотворное, и планъ этого зданія принадлежатъ не ему; но онъ остается творцемъ *выраженія*. Онъ не найдетъ выраженій оригинальнаго автора въ собственномъ своемъ языкѣ: ихъ долженъ онъ сотворить. А сотворить ихъ можетъ только тогда, когда, наполнившись идеаломъ, представляющимъ ему въ твореніи переводимаго имъ поэта, преобразить его, такъ сказать, въ созданіе собственного воображенія;

⁽¹⁾ О переводахъ вообще и въ особенности о переводахъ въ стихахъ (В. Евр. 1810, № 8).

когда, руководствуемый авторомъ оригинальнымъ, повторить съ начала до конца работу его генія. Но сія способность дѣйствовать одинаково съ творческимъ геніемъ не есть ли сама по себѣ ужъ творческая способность?» (1).

Но изъ двухъ переводчиковъ, при равномъ ихъ дарованіи, легче тому наполняться духомъ переводимаго поэта, кто самъ одаренъ такимъ же духомъ, или питаетъ къ нему сочувствіе, нежели тому, кто, для этого наполненія, принужденъ насильственно отрѣшиться отъ своей личности; легче тому воспламенаться идеаломъ оригинальнаго созданія, кому онъ родственъ и близокъ, нежели тому, кто, для воспламененія, долженъ забывать собственные идеалы. Жуковскій находился въ благопріятномъ положеніи перваго переводчика: онъ обращался большею частію къ такимъ произведеніямъ, которыми выражались мысли и чувства, бывшія его собственными идеями и чувствами; онъ, какъ говорится, бралъ «свое» вездѣ, гдѣ только находилъ его. Находилъ же онъ его всего болѣе у нѣмцевъ, извѣстныхъ своимъ поэтическимъ идеализмомъ. Съ особеннымъ чувствомъ обращался онъ къ Шиллеру, мастерски передавая тѣ его стихотворенія, въ которыхъ созерцаніе и рефлексія идутъ рука объ руку и которыя означаются именемъ «дидактической лирики». Образецъ такой лирики, проводящей чувства и образы сквозь среду мысли и знанія, представилъ самъ Жуковскій нѣкоторыми своими стихотвореніями (особенно Теомомъ и Эскиномъ). Кромѣ Шиллера, онъ переводилъ Гете, Уланда, Бюргера, Гебеля, Зейдлица, Маттисона, Клопштока и другихъ, а изъ англійскихъ—Грея, Саути, Вальтеръ-Скотта, Байрона, Мура... Не всѣ его переводы изъ этихъ и изъ другихъ писателей были вызваны потребностью передать, на родной рѣчѣ, что жило въ его собственной душѣ, какъ неизмѣнный идеалъ, и въ чемъ заключается характеристическая особенность его поэзіи. Кругъ его дѣятельности по этому предмету очень обширенъ. Труды его образуютъ значительный по объему и художественный по выполненію отдѣлъ нашей переводной изящной литературы. Переводы представляютъ образецъ вѣрности какъ внѣшней (по формѣ и выраженію), такъ и внутренней (по духу, идеѣ и тону). Нельзя, конечно, отрицать, чтобы на нѣкоторыхъ переводахъ не отражалась личность нашего поэта; но, вообще говоря, имя Жуковскаго, какъ переводчика, справедливо сдѣлалось представителемъ искусства овладѣвать духомъ разнообразныхъ поэтическихъ явленій, разныхъ

1) Разборъ Кребльеновой трагедіи: «Радамистъ и Зенобія», переведенной Висковатовымъ (ib. 1810, № 23).

временъ и народовъ, мастерски выражать ихъ на отечественномъ языкѣ, и такимъ образомъ производить переводами то самое впечатлѣніе, какое производится подлинниками. Подобная заслуга останется навсегда памятною. Доставляя соотечественникамъ наслажденіе изящнымъ, Жуковскій расширялъ нашъ поэтический горизонтъ знакомствомъ съ лучшими созданіями нѣмецкихъ и англійскихъ поэтовъ и тѣмъ показывалъ, что французскій классицизмъ—не единственная въ мірѣ поэзія, но что есть многое кромѣ его и выше его, т. е. ближе къ истинному существу поэзіи. Переводы Жуковского оказывали и оказываютъ также большую пользу въ отношеніи педагогическомъ: по разнообразному выбору и художественному достоинству они служатъ, въ нашемъ учебномъ мірѣ, необходимымъ пособіемъ при изученіи такъ называемой теоріи поэзіи. Преподаватель найдетъ въ нихъ образцы очень многихъ, если не всѣхъ поэтическихъ родовъ и видовъ. Для знакомства съ древнимъ эпосомъ—греческимъ, индійскимъ, персидскимъ,—онъ изберетъ «Одиссею», «Наля и Дамаянти», «Рустема и Зораба», для знакомства съ средневѣковымъ—«романсы о Сидѣ», а съ комическимъ—«Войну мышей и лягушекъ». «Орлеанская Дѣва» представитъ ему примѣръ романтической драмы, а «Ундина» — примѣръ романтической повѣсти. О лирикѣ и говорить нечего: онъ найдетъ почти всѣ ея формы — оду, гимнъ, пѣсню, элегію, балладу... Безъ всякой опасности, но всегда съ выгодой можетъ онъ, въ подтвержденіе своихъ уроковъ или для вывода научныхъ положеній, читать и разбирать съ воспитанниками сочиненія Жуковского, которыя если и не всегда окажутся вполне вѣрными подлинникамъ, то всегда дадутъ учащимся превосходный образецъ поэтическихъ представленій, изящнаго стиха и языка.

Исторія нашей литературы обыкновенно поставляла заслугу Жуковского въ томъ, что онъ ввелъ къ намъ романтизмъ. Этими словами выражался взглядъ литераторовъ и образованныхъ читателей на характеръ его поэзіи. Жуковскій самъ причислялъ себя къ романтикамъ. Въ предисловіи къ переводу Одиссеи (1848), имъ положительно заявлено, что онъ «изъ мечтателя романтика сдѣлался трезвымъ классикомъ»; а въ письмѣ къ Стурдзѣ (1849) онъ называетъ себя «родителемъ на Руси *нѣмецкаго романтизма* и поэтическимъ дядькою чертей и вѣдьмъ нѣмецкихъ и англійскихъ». Какой смыслъ, въ этихъ выраженіяхъ, придавалъ онъ понятіямъ «романтикъ» и «романтизмъ»? Не стѣснялъ ли онъ объемъ ихъ, присоединя къ одному признаку «мечтательности», а къ другому—признаку «нѣмчизны»? Шлегели разумѣли подъ романтизмомъ поэзію ново-христіанскихъ народовъ, въ отличіе отъ древне-клас-

сической. Жуковский думалъ почти также, по крайней мѣрѣ относительно лирики, сказавъ, что «меланхолія есть одна изъ самыхъ звучныхъ струнъ *романтической* лиры, т. е. лиры, настроенной послѣ распространенія христіанства». Сводъ приведенныхъ мѣстъ показываетъ, что Жуковский противопоставлялъ свою поэзію — съ одной стороны древнеклассицизму, не знавшему меланхоліи въ томъ смыслѣ, какой она получила со введеніемъ христіанства, а съ другой — классицизму французскому, думавшему возстановить поэзію Грековъ и Римлянъ. До Жуковского не было у насъ той сферы поэзии, которая отличается идеальными стремленіями къ таинственному; онъ первый далъ намъ образцы новохристіанской поэзии, какъ она явилась въ произведеніяхъ нѣмецкой музы извѣстной школы. Эта школа — Шиллеро-Гетевская или Гете-Шиллеровская, а не собственно-романтическая, имѣвшая своими главными представителями Фридриха Шлегеля и Тика: послѣдняя не пользовалась сочувствіемъ Жуковского, который только переложилъ Ундину (Ламоть-Фуке) русскими стихами. Возникнувъ подлѣ Шиллера и Гете, романтическая школа нѣкоторое время стояла на одной съ ними почвѣ, но потомъ не только отрѣшилась отъ нихъ, но и выказала враждебное къ нимъ отношеніе. Обѣ школы сходны между собою идеалистической основой: ихъ творчество вытекало не изъ современныхъ побужденій, а вопреки современности, пошлой, недостойной поэтического воспроизведенія. Существенное же между ними различіе опредѣлялось различными путями, выбранными тою и другою для достиженія цѣли: Шиллеръ и Гете, избѣгая *своей* дѣйствительности, не отрицали дѣйствительности *вообще*; романтики, напротивъ, въ негодованіи на пошлость окружающей среды, совершенно покинули дѣйствительность, не старались воспроизводить ее, но при помощи воображенія вступили съ нею въ борьбу. Такимъ образомъ идеализмъ Шиллера и Гете обратился у романтиковъ въ фантастику и мистику. Нѣкоторые историки романтической школы ведутъ ея начало отъ Фихте и Шеллинга, доказывая, что романтики поэтически представляли то самое, что философы выводили логически и метафизически; что первый изъ этихъ философовъ открылъ путь къ романтической прозѣ, а второй — къ романтической мистикѣ и романтическому одухотворенію природы⁽¹⁾.

И такъ Жуковский можетъ быть названъ романтикомъ, но только не въ томъ смыслѣ этого слова, какой оно имѣетъ въ исторіи *собственно-романтической* нѣмецкой поэзии, а въ двухъ другихъ значеніяхъ. Онъ романтикъ, какъ всѣ поэты христіанскаго

¹⁾ Hettner. Die romantische Schule.

міра, и преимущественно, какъ поэты школы Шиллера, парившаго надъ жизнью своими идеалами; онъ романтикъ и потому, что лучшія его стихотворенія, какъ переводныя, такъ и оригинальны, отступали отъ правилъ французскаго классицизма: въ этомъ послѣднемъ значеніи и Пушкина называли новымъ романтикомъ, основателемъ ново-романтической русской поэзіи.

Красота виѣшней формы въ произведеніяхъ Жуковскаго соотвѣтствуетъ достоинству ихъ содержанія. Его стихъ и проза выказываютъ какъ глубокое знаніе русскаго языка, такъ и свободное, вполне артистическое умѣнье владѣть имъ.

Особенно важенъ его стихъ, составляющій замѣчательную эпоху въ исторіи нашего стихосложенія. По двумъ періодамъ поэтической дѣятельности Жуковскаго, онъ представляетъ два отличія: первое выказалось въ такъ называемыхъ романтическихъ піесахъ; второе преимущественно обнаружилось съ того времени, когда Жуковскій, говоря его словами, изъ мечтателя-романтика сдѣлался классикомъ.

Въ піесахъ перваго рода, стихъ Жуковскаго отличается главнѣйшимъ образомъ легкостью и музыкальностью. По выраженію Гоголя, онъ «безтѣлесенъ, какъ видѣніе», «порхаешь, какъ неслышимый звукъ Золовой арфы». Ни одинъ русскій писатель не употреблялъ до Жуковскаго столь разнообразныхъ стихотворныхъ размѣровъ: онъ первый ввелъ ихъ въ нашу метрику и водворилъ въ ней навсегда; каждый его опытъ по этому дѣлу былъ въ то же время изящнымъ образцомъ. Замѣтивъ монотонность хореевъ съ дактилическими окончаніями, которыми Карамзинъ, въ подражаніе народнымъ пѣснямъ, написалъ «Илью Муромца», онъ употреблялъ эти окончанія черезъ стихъ, отъ чего они получили особенную гармонію (въ монологѣ Іоанны д'Аркъ: «ахъ, почти за мечъ воинственный»). Драма «Орлеанская Дѣва» переведена пятистопными ямбами, что было въ то время новизной. Въ «Шильонскомъ узникѣ» одніи мужескія рѣчи, которыя, однако, не утомляютъ читателя монотонностью, а еще усиливаютъ выраженіе чувства. Въ балладѣ «Замокъ Смалгольмъ» чередуются трехстопный и четырехстопный анапестъ, на который рѣдко покушались наши стихотворцы, какъ на тяжелый размѣръ. Къ гексаметру обращался поэтъ не изъ желанія избѣгнуть шестистопнаго ямба, а по внутреннему соотвѣстствію его эпическому стилю. Благозвучіе стиха, доведенное до совершенства, не исключаетъ другаго его свойства — изобразительности, которая является всегда, гдѣ нужно, почему Баратынскій имѣлъ право назвать Жуковскаго «живописнымъ». Этотъ эпитетъ не прилагается, конечно, къ лиричѣ, выражающей чувство того-

либо неопредѣленнаго, туманнаго и таинственнаго: въ подобныхъ пѣсахъ — стихи, говоря словами Гоголя, слышны какъ «неясные звуки Золовой арфы». Но когда надобно представить картину природы, или ясный ходъ событій, или ясно выраженное чувство, тогда и стихотворная рѣчь Жуковского становится картинною.

Въ произведеніяхъ Жуковского, относящихся ко второму періоду, преимущественно начиная съ перевода Одиссеи, стихъ отличается крѣпостью, мужественностью, пластичностью. Вездѣ господствуетъ ровное, спокойно-эпическое одушевленіе; вездѣ видна забота о ясномъ и точномъ выраженіи, свободномъ отъ искусственныхъ выраженій. Последнее время поэтъ даже разнакомился съ римой. Простота формы становится его идеаломъ. Съ стихотворнымъ размѣромъ онъ старался и умѣлъ согласовать безыскусственность прозы, такъ что вольный разсказъ нисколько не стѣснялся необходимостію укладывать слова въ стопы. Любимыми метрами Жуковского сдѣлались ямбы безъ рیمъ и сказочный гексаметръ, отличный отъ гексаметра гомерическаго. Этотъ слогъ, по разсужденію творца его, долженъ былъ составлять средину между стихами и прозой, т. е., не смотря на затрудненіе метра, литься непринужденною рѣчью. Но такая «проза въ стихахъ», если дозволено такъ выразиться, не одно и тоже съ «стихомъ прозаическимъ», равно какъ «кадансированная проза» не одно и тоже «съ прозой поэтической».

Такимъ образомъ въ стихѣ Жуковского мы видимъ оба художественныя свойства рѣчи: музыкальность и изобразительность, возведенныя талантомъ и мастерствомъ поэта на высокую степень достоинства.

Проза Жуковского въ главныхъ своихъ формахъ, не разнится отъ прозы Карамзина, особенно въ первыхъ сочиненіяхъ. Но Жуковский, говорили, внесъ въ прозаическій языкъ стихій языка стихотворнаго, сообщилъ ему поэтическій колоритъ. Это отличіе не составляетъ, однакожъ, существенной особенности: оно естественно происходило отъ того настроенія, которое водило перомъ автора; другими словами: Жуковский былъ поэтомъ и въ то время, когда выражался прозой, а не языкомъ боговъ. Для примѣра укажемъ на разсужденіе: «Кто истинно добрый и счастливый человѣкъ?», или на аллегорическую пѣсу «Три сестры», или наконецъ на «Воспоминаніе о торжествѣ 1834 г.» Въ первомъ сочиненіи авторъ находился подъ вліяніемъ своего идеала, истину котораго хотѣлось ему доказать; во второмъ, онъ олицетворилъ три времени — прошедшее, настоящее и будущее, отдавъ видимое сочувствіе прошедшему, воспоминанію; въ третьемъ, всѣ обстоятельства,

предшествовавшіи торжеству и его сопровождавшіи, равно какъ и памятники, служившіи ему предметомъ, получили въ умѣ и воображеніи автора высокую знаменательность: они изображали ему судьбу Россіи въ минувшемъ, и ея назначеніе въ современномъ и будущемъ. Поэтически возбужденный авторъ долженъ былъ выражаться какъ поэтъ, и не могъ выражаться иначе. Съ теченіемъ времени этотъ «поэтический цвѣтъ», которымъ окрашивалась его проза, сталъ исчезать. Она подверглась одинаковой перемѣнѣ со стихомъ, т. е. сдѣлалась простою, ясною, точно передающею мысли и воззрѣнія автора. Свидѣтельствами прозаической безыскусственности служатъ, между прочимъ: «Письма къ Гоголю», «О меланхолии въ жизни и поэзіи», «Объ изящномъ искусствѣ» и другія статьи послѣднихъ лѣтъ Жуковского.

§ 17. Съ дѣятельностью Жуковского связывается исторія литературнаго общества «Арзамасъ», возникшаго въ противодѣйствіе «Бесѣдѣ любителей русскаго слова» и существовавшаго не болѣе трехъ лѣтъ (1815—1818). Онъ былъ однимъ изъ усерднѣйшихъ его членовъ вмѣстѣ съ Д. В. Дашковымъ и Д. Н. Блудовымъ; послѣднему принадлежитъ первая мысль объ основаніи общества.

«Арзамасъ» образовался частію изъ тѣхъ лицъ, которые въ спорѣ о старомъ и новомъ слоgъ приняли сторону послѣдняго, и частію изъ другихъ, болѣе молодыхъ литераторовъ, хотя и не участвовавшихъ въ спорѣ, но развивавшихъ свой вкусъ къ словесности подъ вліяніемъ Карамзинской реформы. Всѣ они принадлежали къ передовымъ людямъ своего времени. Литературныя мнѣнія свои они заявляли сначала въ «Цвѣтникѣ» (1809—1810), а потомъ въ «Санктпетербургскомъ Вѣстникѣ» (1812). Но какъ журнальные голоса, вызываемые случаемъ и являясь только отъ времени до времени, не замѣняютъ постоянного общенія людей единомысленныхъ, то чувствовалась надобность въ правильной организаціи взаимнаго обмѣна взглядовъ и понятій, обмѣна лицомъ къ лицу, въ живой устной рѣчи. Чтобы удовлетворить такой потребности, задумано было устроить особый литературный кружокъ. Внѣшнимъ поводомъ къ его устройству послужила комедія кн. Шаховскаго: «Урокъ кокеткамъ или Липецкія воды» (1815). Осмѣивъ сентиментализмъ въ «Новомъ Стернѣ», комикъ желалъ поглумиться надъ балладами, какъ моднымъ поэтическимъ видомъ, и вывелъ въ «Липецкихъ водахъ» балладника Фіалкина. Самъ Жуковскій хладнокровно отнесся къ поступку автора, «не любившаго авторовъ»; но друзья его не могли хранить молчанія: они осыпали Шаховскаго эпиграммами и сатирами. Подражая французской шуткѣ: «*Vision de l'abbé Morrelet*» (1760), написанной

по поводу комедіи Палиссо: «Les philosophes», въ которой осмѣяны энциклопедисты и Руссо, Д. Н. Блудовъ сочинилъ: «Видѣніе въ Арзамасскомъ трактирѣ, изданное обществомъ ученыхъ людей», съ эпиграфомъ: «le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable». Это сонный бредъ какого-то проѣзжаго, остановившагося въ Арзамасскомъ трактирѣ, куда по назначеннымъ днямъ собиралось общество друзей литературы. Проѣзжіи—авторъ «Линейныхъ водъ». Славяно-русскимъ языкомъ онъ рассказываетъ о Словесницѣ (Бесѣдѣ) и нѣкоторыхъ ея членахъ: Мѣшковѣ (Шипковѣ), Барабановѣ (Карабановѣ) и двухъ Хлестовыхъ (Хвостовыхъ: гр. Д. И. Хвостовъ, извѣстномъ метроманѣ, и А. С. Хвостовъ, славившемся остроуміемъ). Мѣстомъ дѣйствія выбранъ Арзамасъ по той причинѣ, что за нѣсколько до того лѣтъ воспитанникъ Академіи Художествъ Ступинъ основалъ въ своемъ родномъ городѣ Арзамасѣ школу живописи. Д. Н. Блудовъ и его пріатели находили забавнымъ, что уѣздный городъ нижегородской губерніи, извѣстный гусями, прославится со временемъ и живописью, такъ что нѣкогда будутъ говорить: «арзамасская школа живописи», какъ говорятъ: школа венеціанская, болонская и другія. Посему и было положено новообразующійся литературный кружокъ назвать въ шутку Арзамасскимъ обществомъ ученыхъ людей, Арзамасской академіей или просто «Арзамасомъ».

Имѣя главною цѣлію смѣяться надъ литературными старовѣрами, «Арзамасъ», по своему устройству и характеру, былъ совершенною противоположностью «Бесѣды». Какъ засѣданія «Бесѣды» отличались степенностью и чинною важностью, такъ на сходкахъ Арзамаса постоянно господствовали веселая шутка и пародія. Не дѣлился онъ на разряды, словно на департаменты, но каждый членъ титуловался одинакимъ образомъ: «его превосходительство геній Арзамаса». Поступающему въ общество давалось имя изъ балладъ Жуковского, иногда по какому-нибудь сходству, внѣшнему или внутреннему, а иногда на оборотъ, по отсутствію всякаго сходства. Вотъ списокъ Арзамасцевъ съ ихъ балладными прозвищами: К. Н. Батюшковъ (Ахиллъ), Д. Н. Блудовъ (Кассандра), Ф. Ф. Вигель (Ивиковъ журавль), А. Ф. Воейковъ, (Дымная печурка), кн. П. А. Вяземскій (Асмодей), Д. В. Давыдовъ (Армянинъ), Д. В. Дашковъ (Чулъ), С. П. Жихаревъ (Громобой), Жуковский (Свѣтлана), Д. А. Кавелинъ (Пустынникъ), М. Ф. Орловъ (Рейнъ), А. А. Плещеевъ (Черный вѣтъ), П. И. Полетика (Очарованный челнъ), А. С. Пушкинъ (Сверчокъ), В. Л. Пушкинъ (Вотъ), Д. П. Сѣверинъ (Рѣзвый котъ), А. И. Тургеневъ (Эолова арфа), Н. И. Тургеневъ (Варвигъ), С. С. Уваровъ (Старушка).

Сверхъ этого, такъ сказать штатнаго состава общества, нѣкоторые лица выбирались въ почетные или прирожденные его члены: главнымъ изъ нихъ былъ Карамзинъ. Принятіе сопровождалось иногда символическими обрядами, указывавшими на сторонниковъ Бесѣдъ, въ особенности на ин. Шаховскаго и его сочиненія. Можно видѣть въ этой обрядности и пародію на посвященіе въ масонство, къ которому арзамасцы относились отрицательно, почитая его явленіемъ несовѣстнымъ съ истинной цивилизаціей. Извѣстно, что современная масонская именитость, Лабзинъ, не пользовался ихъ расположеніемъ. Санктпетербургскій Вѣстникъ подвергъ строгой критикѣ переведенное имъ сочиненіе Экартсгаузена «о фосфорной кислотѣ» (1811), какъ противорѣчающее положительной наукѣ, которая приносится въ жертву фантазіи.

Занятія общества представляли оригинальную особенность. Въ уставѣ его, написанномъ Блудовымъ и Жуковскимъ, сказано: «По примѣру всѣхъ другихъ обществъ, каждому нововступающему члену Арзамаса подлежало бы читать похвальную рѣчь своему покойному предшественнику, но всѣ члены новаго Арзамаса *бессмертны*, и потому, за неимѣніемъ собственныхъ готовыхъ покойниковъ, новоарзамасцы (въ доказательство благороднаго своего безпристрастія, и еще болѣе въ доказательство, что ненависть ихъ не простирается за предѣлы гроба) положили брать на прокатъ покойниковъ между халдеями (¹) Бесѣды и Академіи, дабы воздавать имъ по дѣламъ ихъ, не дожидаясь потомства». Это значило «похоронить» бесѣдиста или академика: эти лица почти не различались, такъ какъ, съ назначеніемъ Шишкова президентомъ Россійской Академіи, членами ея сдѣлались многіе члены Бесѣдъ. На панегирикѣ, произнесенный тому или другому халдею, отвѣчалъ очередной предсѣдатель, еженедѣльно мѣнявшійся: въ привѣтствіи своемъ онъ искусно мѣшалъ похвалы новоарзамасцу съ похвалами усопшему. Такъ графъ Блудовъ чествовалъ Захарова, предсѣдателя въ четвертомъ разрядѣ «Бесѣдъ», автора «Похвалы женамъ»,—сочиненія, обильнаго разными дикостями. Жуковскій прославилъ графа Хвостова, «избранныя притчи» котораго (1802) дали богатый матеріалъ Фрактору. Жихаревъ, бывший прежде сотрудникомъ «Бесѣдъ», долженъ былъ отиѣвать самъ себя. Какъ рѣчи, такъ отвѣты на нихъ и протоколы, веденные Жуковскимъ къ гексаметрахъ, при серьезно-торжественномъ тонѣ, были содержанія комическаго и весьма часто пропитывались намѣренной бессмыслицей, какъ такимъ родомъ выраженія, который прямо отвѣчалъ литературному

¹) Тамъ Карамзинисты называли членовъ Бесѣдъ и Россійской Академіи.

значенію восхваляемыхъ «живыхъ покойниковъ» ⁽¹⁾. Ихъ можно назвать какъ бы рапсодіями о членахъ Бесѣды, матеріалами для прои-комической поэмы, о которой подумывалъ Жуковскій, замѣчая при каждомъ странномъ явленіи въ дѣятельности шишковистовъ: «ей, быть Бесѣдиадѣ».

Нѣкоторые арзамасцы (М. Ѳ. Орловъ и Н. И. Тургеневъ) находили занятія своего общества односторонними и несерьезными, и потому желали расширить кругъ его дѣятельности, вырвавъ ее изъ области пародіи и смѣха. При вступленіи въ Арзамасъ, Орловъ, вмѣсто того, чтобы, по заведенному обычаю, восхвалить въ пародическомъ стилѣ какого-нибудь бесѣдиста, произнесъ рѣчь, въ которой выразилъ своимъ сочленамъ, какъ недостойно людей умныхъ и образованныхъ тратить время на пустые литературные споры, когда ихъ отечество представляетъ обширное поле для просвѣщенныхъ дѣйствій въ пользу общества. На первый разъ, онъ предложилъ изданіе журнала, который оглашалъ бы не одніѣ литературныя идеи, но и другія, остающіяся въ тайнѣ или ходящія въ оборотѣ только между арзамасцами. По одному свидѣтельству, это предложеніе было отклонено, изъ боязни измѣнить первобытный характеръ кружка введеніемъ въ него новыхъ элементовъ; по другому, была отвергнута только программа журнала, предложенная Орловымъ, какъ слишкомъ обширная, выступавшая за предѣлы чистой словесности, и принята другая, составленная гр. Блудовымъ. Есть извѣстіе, что для предназначаемаго изданія было уже заготовлено нѣсколько статей, напримѣръ: гр. Блудова «о русскихъ пословицахъ», гр. Уварова и Батюшкова—«о греческой Антологіи», напечатанная потомъ отдѣльно въ 1820 г. Графъ Каподистрія, занимавшій важное мѣсто между тогдашними политиками, обѣщалъ доставлять редакціи политическія статьи и свѣдѣнія о ходѣ европейскихъ дѣлъ. Но предположеніе не осуществилось главнѣйшимъ образомъ потому, что самые ревностные арзамасцы, занятые службою, не могли удѣлять время литературѣ: гр. Блудовъ, назначенный (1818) совѣтникомъ посольства въ Лондонъ, оставилъ Петербургъ; Дашковъ отправился въ Константинополь, гдѣ состоялъ также при посольствѣ; Жуковскій былъ приглашенъ ко Двору преподавать русскую словесность в. к. Александру Ѳеодоровнѣ. Такимъ образомъ кончилось существованіе Арзамаса. Но прежде кончины своей (замѣчаетъ одинъ изъ его членовъ—Вигель) породилъ онъ чувство, рѣдко встрѣчаемое—неизмѣнную,

¹⁾ Арзамасская критика, говорилъ Жуковскій, должна ѣхать верхомъ на галлантахъ.

твердую дружбу между людьми, которые, оказывая великія услуги государству, въ вѣкъ обмана и златолюбія служили примѣромъ чести и безкорыстія.

Какіе слѣды оставилъ по себѣ Арзамасъ? Если значеніе литературнаго общества измѣрять только его печатными трудами, то онъ уступаетъ даже Бесѣдѣ, которая издала девятнадцать книжекъ «Чтеній». Но такая мѣрка ошибочна. Достоинство профессора состоитъ главнѣйшимъ образомъ въ томъ вліяніи, какое оказываютъ его лекціи на слушателей: равно и общество, не оглашая своихъ бесѣдъ, можетъ дѣйствовать ими плодотворно въ небольшомъ кругу своей аудиторіи. Таково именно и было дѣйствіе Арзамаса: относясь прямо къ своимъ членамъ, возбуждая, поддерживалъ и просвѣщая ихъ дѣятельность, онъ, посредствомъ нея, приносилъ несомнѣнную пользу и литературѣ вообще, нуждавшейся въ болѣе широкихъ началахъ и въ болѣе основательной критикѣ. Въ своихъ собраніяхъ, арзамасцы посвящали время не одной пародіи и шуткѣ. «Арзамасскія шалости», какъ называлъ ихъ кн. Вяземскій, составляли только отрицательную сторону занятій общества: онѣ имѣли цѣлю похоронить бездарныхъ ревнителей старого слога, съ его неизбѣжными спутниками — безвкусіемъ и педантствомъ. Гораздо важнѣе была сторона положительная, засвидѣтельствованная однимъ изъ самыхъ образованныхъ Арзамасцевъ, графомъ Уваровымъ: «направленіе этого общества, или, лучше сказать, этихъ пріятельскихъ бесѣдъ, было преимущественно *критическое*. Лица, составлявшія его, занимались строгимъ разборомъ литературныхъ произведеній, примѣненіемъ къ языку и словесности отечественной всѣхъ источниковъ древней и иностранныхъ литературъ, изысканіемъ началъ, служащихъ основаніемъ твердой, самостоятельной теоріи языка, и проч. Въ то время и подъ вліяніемъ Арзамаса писались стихи Жуковскаго, Батюшкова, А. Пушкина; и это вліяніе отразилось, можетъ быть, и на иныхъ страницахъ Исторіи Карамзина».⁽¹⁾ Автору этихъ строкъ принадлежало, конечно, первенство руководящихъ сужденій. Нѣтъ сомнѣнія, что подъ его вліяніемъ сложилось убѣжденіе Жуковскаго въ важности древне-классической поэзіи, заставившее его въ послѣдствіи приняться за Гомера. Оно же, надобно думать, направило Батюшкова на знакомство съ антологической поэзіей древнихъ: по крайней мѣрѣ мы знаемъ, что нѣсколько стихотвореній этого рода переведено Батюшковымъ на русскій языкъ съ французскаго ихъ пе-

¹⁾ Литературныя воспоминанія (Современникъ 1851, № 6).

ревода, сдѣланнаго Уваровымъ ⁽¹⁾. Строгою разборчивостію отличались сужденія Дашкова, не щадившія и произведеній пріятельскаго пера. Особенно преслѣдовалъ онѣ излишества въ выраженіи мыслей, ненужныя отступленія отъ темы, внѣшнія прикрасы, отъ которыхъ толстѣло сочиненіе безъ всякой выгоды для своего содержанія. Слова его: «давай ножницы!» означали, что авторъ долженъ былъ укорачивать свою напрасно растянутую піесу. Самъ Жуковскій не былъ изъятъ изъ критики. Посылая на просмотръ къ друзьямъ нѣкоторые изъ новыхъ своихъ стихотвореній, онѣ выслушивалъ ихъ замѣчанія, съ нѣкоторыми соглашался, а справедливость другихъ оспаривалъ. Въ антикритикѣ онѣ выказывалъ не только поэта, но и отличнаго знатока языка, образцоваго стилиста и версификатора ⁽²⁾.

Частныя литературныя собранія начали появляться съ первыхъ же лѣтъ Александрова царствованія, свидѣтельствуя любовь образованнаго общества къ словесности, наслѣдованную имъ отъ времени Екатерины II. Одно изъ такихъ собраній устроилъ у себя Державинъ, организовавъ его потомъ въ «Бесѣду». Другіе литературныя вечера заведены были А. С. Хвостовымъ и И. С. Захаровымъ. Особенною извѣстностію въ этомъ отношеніи пользовался домъ А. Н. Оленина († 1843), президента Академіи художествъ, страстнаго любителя искусствъ и литературы. Писатели именитые на ряду съ возникавшими талантами находили у него и его образованной супруги (урожденной Полторацкой) самый радушный пріемъ. Сюда стекалось все, что могло интересоватъ людей, болѣе или менѣе подвижныхъ любовью къ просвѣщенію: здѣсь Озеровъ читалъ свои трагедіи, прежде чѣмъ онѣ поступали на сцену, Гнѣдичъ — переводы изъ Иліады, а Крыловъ — басни прежде, чѣмъ онѣ являлись въ печати. Двое послѣднихъ питали самую искрен-

¹⁾ Въ брошюрѣ: «о Греческой Антологіи» (1820), написанной сообща Уваровымъ и Батшковымъ, которые подъ предисловіемъ выставили свои арзамасскія имена: Ст. (Старушка) и А. (Ахилъ).

²⁾ Осьмое января 1851 (описаніе пятидесятилѣтняго юбилея службы гр. Д. Н. Блудова, въ Современникѣ 1851, № 3); Литературныя воспоминанія (гр. Уварова, написанныя по поводу этой статьи, ib. № 6); въ Матеріалахъ для біографіи Пушкина (Моск. Вѣд. 1855, № 142), П. Бартевель привелъ отрывки изъ произнесенныхъ въ Арзамасѣ рѣчей; «Матеріалы для литературнаго общества Арзамасъ», въ Библ. Зап. Лонгинова (Совр. 1856, № 8); «Арзамасъ», М. Н. Лонгинова (Энцикл. словарь, томъ пятый, 1862); Воспоминанія Вигеля, ч. V, гл. 4 (Рус. Вѣст. 1865, № 1, стр. 190—206); «Наши арзамасскія литературныя шалости» и «Письма Д. В. Дашкова», въ Выдержкахъ изъ старыхъ бумагъ Остафьевскаго Архива, вв. Виземскаго (Рус. Арх. 1866, № 8).

нюю привязанность къ семейству Оленина, нашедъ въ его домѣ совершенно родственныя пріютъ.

Всѣ эти домашнія литературныя общества, замѣчаетъ гр. Уваровъ, оказывали у насъ (равно какъ и въ другихъ мѣстахъ) замѣчательное вліяніе на успѣхи словесности, превышая своимъ дѣйствіемъ дѣйствіе подобныхъ оффиціальныхъ учреждений. Эти послѣдніе болѣею частію не даютъ знаменитымъ писателямъ, а заимствуютъ отъ нихъ жизнь и направленіе; тогда какъ частныя собранія лицъ, связанныхъ между собою свободнымъ призваніемъ и личными талантами, имѣютъ силу возбуждать авторскія дарованія къ дѣятельности и направлять ее къ извѣстной цѣли.

§ 18. Рядомъ съ именемъ Жуковскаго современники его ставили имя Батюшкова, какъ такого поэта, которому наша лирика также одолжена сильнымъ развитіемъ. Съ младенчества «отторженный судьбой отъ своей матери» ⁽¹⁾, страдавшей разстройствомъ умственныхъ способностей, Батюшковъ (Константинъ Николаевичъ, 1787—1855), не испыталъ счастья къ кругу роднаго семейства. Взаимныя отношенія между нимъ и отцемъ его не отличались нѣжностью. Родина (Вологда) и ссыла были для него одно и тоже. Дѣтство его протекло въ сиротствѣ; юность свою называлъ онъ печальною. Это нравственное одиночество, при всей своей горечи, осталось не безъ пользы: оно заставило Батюшкова сосредоточиваться въ самомъ себѣ и служило орудіемъ ранняго развитія способностей, которыя, говоря его словами, заимствуютъ свою силу отъ первыхъ впечатлѣній, отъ первыхъ свѣжихъ чувствъ. Семейными обстоятельствами объясняется также, почему, при независимомъ состояніи, позволявшемъ имѣть при себѣ гувернеровъ и учителей, какъ тогда водилось у зажиточныхъ дворянъ, Батюшковъ воспитывался не дома, а въ петербургскихъ пансіонахъ, подъ надзоромъ двоюроднаго дяди, М. Н. Муравьева, которому собственно и одолженъ своимъ образованіемъ. Въ этихъ пансіонахъ онъ обучался преимущественно языкамъ: французскому, итальянскому и нѣмецкому; впрочемъ къ послѣднему онъ пристрастился и овладѣлъ имъ позднѣе, во время пребыванія своего въ Германіи. Лучшую школу нашелъ Батюшковъ въ домѣ своего воспитателя, Муравьева, и супруги, заступившихъ ему родителей, въ той нравственной средѣ, которая постоянно его окружала, въ общеніи съ образованными людьми, посѣщавшими его дядю. Съ малолѣтства принадлежалъ онъ къ кружку избранныхъ лицъ, не только уважавшихъ, но и двигавшихъ литературу. Благодаря примѣру и влѣ-

¹⁾ «Умиравшій Тассъ». Нѣкоторые стихи этой элегіи выражаютъ личное чувство автора.

шеніямъ своего дяди и другого родственника, И. М. Муравьева-Апостола, онъ пріобрѣлъ любовь къ словесности вообще, къ словесности классической и италіанской въ особенности. Надобно полагать, что за изученіе латинскаго языка онъ принялся уже по выходѣ изъ пансіона, гдѣ въ то время обращали вниманіе на одни новыя языки, главнѣйшимъ образомъ на французскій разговорный.

Гражданская служба Батюшкова была, такъ сказать, номинальная. Онъ не имѣлъ опредѣленныхъ занятій, а только числился на службѣ, состоя сначала въ канцеляріи перваго министра народнаго просвѣщенія, гр. Завадовскаго, потомъ письмоводителемъ при товарищѣ министра, М. Н. Муравьевѣ, и наконецъ бібліотекаремъ въ публичной бібліотекѣ. Напротивъ, военную службу онъ несъ дѣйствительно, въ теченіи десяти лѣтъ (1806 — 1816), съ нѣкоторыми впрочемъ перерывами. Она обогатила его разнообразными и могучими впечатлѣніями, отразившимися въ его произведеніяхъ. Въ прусскую кампанію, подъ Гейлсбергомъ (1807), онъ получилъ тяжелую рану, которой приписываютъ существенное разстройство его здоровья, почему и видятъ въ ней одну изъ причинъ оказавшагося въ послѣдствіи умопомѣшательства. Раненный, онъ былъ отвезенъ въ Ригу, а отсюда, по выздоровленіи, пріѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ нашель родственныя за собою уходы въ семьѣ А. Н. Оленина. Шведская война (1808 — 1809) познакомила его съ природою страны, «дикой, но прелестной и въ дикости своей»; она же свела его съ Петинимъ, воспитанникомъ Благороднаго пансіона при московскомъ университетѣ, убитымъ въ Лейпцигскомъ бою. Дружба человека, отличавшагося прекрасными качествами ума и сердца, оставила глубокіе слѣды и въ жизни и въ поэзіи Батюшкова. Послѣ мира съ Швеціею, вышелъ въ отставку и отіравился въ Москву, куда переѣхала его тетка, вдова М. Н. Муравьева. Но весною 1810 г. снова поселился въ Петербургѣ. Въ 1812 г., поступилъ опять на службу и назначенъ состоять адъютантомъ при генералѣ Бахметевѣ, лишившемся ноги въ сраженіи. Не дождавшись его выздоровленія, онъ состоялъ при генералѣ Раевскомъ и участвовалъ въ сраженіяхъ Кульскомъ и Лейпцигскомъ. Недовольный наградою за свою службу, онъ въ 1816 г. вышелъ въ отставку. Походы 1813 — 1814 г.г. дали Батюшкову возможность, во время пребыванія въ Германіи, узнать бытъ, языкъ и поэзію нѣмцевъ, провести два мѣсяца въ Парижѣ, съѣздить въ Англію, а изъ Англіи въ Швецію, гдѣ «память сердца, болѣе сильная чѣмъ память разсудка», воскресла передъ нимъ и тревоги измѣнчивой боевой жизни, и наслажденія благороднымъ

дружествомъ. Элегія «Тѣнь друга» (1816) живо изображаетъ то душевное состояніе, которое испытывалъ поэтъ на морскомъ пути отъ Лондона до Готенбурга.

Обязанности война мѣшали Батюшкову посвящать время истинному его призванію — поэзіи. Первые его опыты въ стихахъ относятся къ 1805 г. Но едва началъ онъ пробовать свое перо, какъ «судьбы премѣны», т. е. поступленіе въ военную службу (1806), «заставили его забыть источникъ Ипокрены». Онъ занимался литературою только въ то время, когда усаживался на одномъ мѣстѣ. А такихъ временъ было немного, чѣмъ и объясняется скудное количество всего имъ написаннаго. Они выпадали между выходомъ въ отставку и новымъ поступленіемъ на службу. Четыре года: по завоеваніи Финляндіи (1809 — 1810) и съ окончаніемъ наполеоновскихъ войнъ (1816 — 1817), составляютъ періодъ наибольшей поэтической дѣятельности Батюшкова. Это время проводилъ онъ то въ Петербургѣ, то въ Москвѣ. Въ первомъ изъ этихъ городовъ онъ сблизился съ Оленинымъ, Гнѣдичемъ, А. Тургеневымъ, Уваровымъ; во второмъ завязалъ крѣпкую пріязнь съ Жуковскимъ, Дашковымъ, кн. Вяземскимъ.

Батюшковъ и не могъ засиживаться на одномъ мѣстѣ, сколько по привычкѣ къ перемѣнной жизни, столько же по необходимости искать въ лучшемъ климатѣ поддержанія разстроенному здоровью. Онъ называлъ себя «бездомнымъ странникомъ», постоянно мечталъ о тихомъ пріютѣ. Сказка «Странствователь и домосѣдъ», въ лицѣ Филалета, показываетъ,

Какъ трудно вѣкъ дожить на родинѣ своей
Тому, кто въ юности изъ края въ край носился.

Особенно большіе разъѣзды выпали на 1818 г. Въ концѣ 1817 г., по случаю смерти отца своего, Батюшковъ отправился изъ Москвы въ Вологодскую деревню для устройства домашнихъ дѣлъ. Изъ деревни проѣхалъ онъ въ Петербургъ, потомъ въ Москву и Одессу, для пользованія морскимъ купаньемъ. Осенью онъ снова былъ въ деревнѣ и въ Петербургѣ, а къ исходу года въ Неаполѣ, гдѣ, по ходатайству А. И. Тургенева, получилъ мѣсто при посольствѣ. Но жизнь въ Италіи не помогла поэту. Здоровье его ветшало непрерывно. 1820-й годъ былъ послѣднимъ его поэтической дѣятельности, а 1821-й — послѣднимъ нормальнаго состоянія его духа. Въ слѣдующемъ году поразило его тяжкое несчастіе — умопомѣшательство, причину котораго объясняютъ различно: наслѣдственною болѣзнію, такъ какъ его мать и младшая сестра кончили жизнь такимъ же образомъ; общимъ разстройствомъ, въ слѣдствіе раны, остановившей ростъ, отъ чего голова развилась

чрезмѣрно; противорѣчіемъ между его убѣжденіями и ходомъ общественной мысли въ послѣдніе годы Александра I, что сильно тревожило его, поселяя въ немъ страхъ и вмѣстѣ недоувѣріе къ близкимъ ему людямъ (за исключеніемъ гр. Блудова и Жуковскаго); наконецъ самолюбіемъ, которому будто бы нанесенъ былъ чувствительный ударъ нашимъ посланникомъ при неаполитанскомъ дворѣ, замѣтившимъ въ одной дипломатической бумагѣ, написанной Батюшковымъ, плохое знаніе латинскаго языка. Какъ бы то ни было, а въ 1823 г., когда Батюшковъ, на возвратномъ пути изъ Италіи, проѣхалъ въ Крымъ и находился въ Симферополѣ, психическая болѣзнь достигла уже сильнаго развитія. Отсюда родные перевезли его въ Вологду, гдѣ онъ и провелъ вторую половину своей жизни, свыше тридцати лѣтъ. Состояніе его, сначала тревожное, перешло потомъ въ болѣе спокойное и неопасное. Умственное просвѣтленіе случалось очень рѣдко; только въ послѣдній годъ жизни онъ пользовался нормальнымъ здоровьемъ. Въ журналахъ, съ 1824 по 1861 г., являлись его стихотворенія и письма, относящіеся ко времени до духовнаго разстройства. Послѣднимъ его стихотвореніемъ, кажется, должно почитать «Изреченіе Мельхиседека»:

Ты помнишь, что изрекъ,
Прощаясь съ жизнію, сѣдой Мельхиседекъ?
Рабомъ родится человекъ,
Рабомъ въ могилу ляжетъ,
И смерть ему едва ли скажетъ,
За чѣмъ онъ шелъ долиной скорбной слезъ,
Страдалъ, рыдалъ, терпѣлъ, исчезъ.

На судьбѣ Батюшкова оправдалась справедливость той мысли, что жизнь и волненіе—одно. Онъ почти не выходилъ изъ состоянія раздражительности и недовольства. Вѣрное свое подобіе видѣлъ онъ въ образѣ Тасса, почитая и его и себя «добычею злой судьбины», «бѣднымъ странникомъ, испытавшимъ всѣ житейскія превратности». Для полноты сходства слѣдовало бы прибавить, что превратности происходили не столько отъ вѣншихъ событій, надъ которыми человекъ не властенъ, сколько отъ внутреннихъ стремленій, за которыя каждый отвѣчаетъ единственно самъ, своимъ лицомъ; что на ряду съ физическими недугами, беспокоившими поэта, шла и нравственная неустойчивость, которая есть также болѣзнь. Въ своемъ характерѣ носилъ онъ судьбу свою. Тревоженія, какъ главная помѣха поэтическому призванію, болѣею частію зарождались внутри его, а не набѣгали извнѣ. Главная черта этого характера указана сознаниемъ самого Батюшкова: «я

честолюбивъ и суетенъ». Честолюбіе обнаруживалось желаніемъ не одной литературной общеизвѣстности, но и виднаго, упроченнаго положенія на службѣ и въ обществѣ. Слава перваго рода ставилась ниже второй, такъ какъ «успѣхи въ словесности», по отзыву Батюшкова, «не ведутъ ни къ чему». Онъ платилъ дань и особому виду честолюбія — чиновному. Тотъ или другой чинъ значилъ для него не одно и то же. Служебныя неудачи, глубоко его оскорбляя, совершенно отвращали его отъ службы. Малѣйшій ударъ съ этой стороны отзывался на немъ болѣзненно: «одинъ отказъ и промахъ сдѣлали бы меня несчастнымъ человѣкомъ», говорилъ онъ своей теткѣ, Муравьевой, думая получить лестное для себя назначеніе и боясь неуспѣха. Онъ остался недоволенъ, когда при отставкѣ изъ военной службы былъ переименованъ въ коллежскіе ассессоры, а не въ надворные совѣтники съ правомъ «по болѣзни служить музамъ». Недовольство обманутой надеждой просвѣчиваетъ въ шутивомъ письмѣ въ В. Пушкину (1817):

. Я не поэтъ,
 «Я не ученый, не профессоръ;
 Меня въ календарѣ въ числѣ счастливыхъ нѣтъ:
 Я.... отставной ассессоръ.

«Въ Петербургѣ жить не хочу и не буду», писалъ онъ послѣ того, какъ изъ Петербурга пришло рѣшеніе, несогласное съ его ожиданіемъ. Конечно, при общемъ теченіи въ одну сторону трудно плыть противъ потока; несправедливо обвинять одного въ томъ, что, по духу времени, было общею слабостью: но въ такомъ случаѣ уже не слѣдовало пенять на судьбу и почитать себя ея жертвой. И любовь, вмѣсто украшенія жизни, только озабочивала и раздражала поэта, потому ли, что онъ былъ «непостояненъ и вѣтренъ», въ чемъ упрекала его Муравьева, недовольная развязкою его сердечной привязанности въ небогатой дѣвицѣ, жившей въ домѣ Олениныхъ, или потому, что онъ не расчелъ своихъ силъ, думая быть счастливымъ одною любовью, «безъ упроченнаго состоянія». «Я три года мучился», писалъ онъ: «разсудокъ упрекаетъ меня въ страсти и въ потерянное время. Богъ спасъ меня отъ пропасти. Не думаю, чтобы та особа меня любила». Намъ трудно рѣшить, оправдываютъ ли Батюшкова эти слова и что именно склонило его къ разрыву, но все же фактъ свидѣтельствуешь о тревожномъ его духѣ. Въ другомъ письмѣ онъ говоритъ положительно, что безъ шести тысячъ дохода нельзя жить въ Петербургѣ. Отсюда можно заключать, что непостоянство, замѣченное въ Батюшковѣ родными, было сознательное, основанное на житейскомъ расчетѣ.

Распредѣляя по отдѣламъ сочиненія Батюшкова, мы относимъ къ первому изъ нихъ тѣ пѣсы, къ которыхъ авторъ, при воспоминаніи о важнѣйшихъ фактахъ своей жизни, передаетъ испытанныя имъ впечатлѣнія. Какъ военный человѣкъ, онъ пережилъ много ощущеній, физическихъ и нравственныхъ, которыя навсегда остаются памятны. Природа Финляндіи, своимъ суровымъ величіемъ, сильно поражала воображеніе поэта, въ шведскую войну. «Отрывокъ изъ писемъ русскаго офицера о Финляндіи (1809)» въ живой картинѣ изображаетъ особенности новой земли. Хотя описаніе составлено по сочиненію французскаго натуралиста Ласепада, который говоритъ о природѣ и жителяхъ другихъ странъ, имѣющихъ нѣчто общее съ Финляндіей; но оно составлено на самомъ мѣстѣ войны, подъ непосредственнымъ вліяніемъ походной жизни, и заключаетъ въ себѣ нѣсколько самостоятельныхъ образовъ, каковы: ратный станъ, черты финляндской кампаніи и стихотворная вставка о Біарміи, скальдахъ и Валкиріяхъ. Эта вставка внесена потомъ, какъ часть цѣлаго, въ стихотвореніе «Мечта» (1810). Кромѣ того, въ «Посланіи къ Петину» Батюшковъ вспомнилъ жаркое дѣло при Индесальми. Позднѣе, посѣтивъ театръ начальной своей военной службы, на пути изъ Лондона въ отечество, онъ снова обратился мыслью къ прошлому и настоящему Скандинавіи, доказательствомъ чего служатъ: переводъ Маттисоновой элегіи «На развалинахъ замка въ Швеціи» (1814) и «Пѣснь Гаральда Смѣлаго» (1816). Въ 1812 г. Батюшкову пришлось три раза побывать въ Москвѣ: въ первый разъ онъ былъ свидѣтелемъ бѣгства ея жителей, а потомъ, проѣздомъ изъ Нижняго Новгорода въ Вологду и обратно, онъ видѣлъ ее разграбленной и обгорѣлой. Чувства скорби надъ прахомъ древней столицы, жалости къ пострадавшимъ и ненависти къ виновнику народныхъ бѣдъ, вынесенныя изъ этого троекратнаго посѣщенія, излились въ «Посланіи къ Дашкову» (1813). Къ поэтическимъ представленіямъ заграничнаго похода относятся: «Переходъ черезъ Рейнъ» (1814) и «Плѣнный». Дополняются они нѣкоторыми мѣстами сказки «Странствователь и Домосѣдъ» и письмами къ друзьямъ изъ Парижа. Отдаваясь, по долгу службы, всевозможнымъ опасностямъ, воинъ въ тоже время отдаетъ себя всецѣло десницѣ Божіей, которая одна только можетъ отвести смертный ударъ при ежечасныхъ поводахъ къ смерти. И если ему, неожиданно для него, сохранена жизнь, то въ душѣ его слагается мужественная, непоколебимая вѣра въ Провидѣніе. Гимнъ «Надежда» славить это мужество вѣры, сохраняющей свою силу и въ битвахъ человѣка внутреннихъ — съ самимъ собою, съ своими страстями и сомнѣ-

ніями. Задушевнѣйшія пієси этого разряда стихотвореній выражають исповѣдь любви и дружбы. «Воспоминаніе» и «Посланіе къ гр. Віельгорскому» переносятъ поэта къ тому времени,

Когда, отвоёвавъ подъ знаменемъ Беллоны,
Подъ знаменемъ любви онъ началъ воевать.

Эта первая любовь ⁽¹⁾, не смотря на свою непродолжительность, оставила въ душѣ его пріятную память; онъ искренно и живо порывался къ ней въ мечтаніяхъ:

О мой любезный другъ, отдай, отдай назадъ
Зарю прошедшихъ дней и съ прежними бѣдами,
Съ любовью и войной!

Инаго характера была вторая любовь ⁽²⁾, въ три года доставившая Батюшкову много внутреннихъ мученій. Но чѣмъ раздражительнѣе ихъ горечь, тѣмъ изящнѣе зараждаются пѣсни въ душевной глубинѣ поэта. Подобное явленіе нерѣдко; оно же имѣло мѣсто и въ судьбѣ нашего поэта: «Воспоминанія» (1814), «Мой геній» (1816), «Выздоровленіе» (1817), «Разлука» и «Таврида» принадлежать къ образцовымъ стихотвореніямъ. Лучшее изъ нихъ, по художественной формѣ, «Выздоровленіе». Дружба, какъ замѣчено выше, доставляла Батюшкову болѣе прочныя и чистыя наслажденія, чѣмъ любовь, которую онъ не отдѣлялъ отъ чувственныхъ восторговъ. Памяти Петина посвятилъ онъ превосходную элегію «Тѣнь друга» (1816); кромѣ того въ прозаической піесѣ: «Воспоминаніе о Петинѣ», изобразилъ онъ нравственные качества умершаго, сознавая ихъ доброе вліяніе на свою личность.

Во второмъ отдѣлѣ сочиненій Батюшкова заключаются переводы изъ главнѣйшихъ италіанскихъ поэтовъ и характеристичны ихъ литературнаго значенія. Хотя Батюшкову было усвоено имя страстнаго любителя авзонской Музы и онъ самъ не могъ говорить безъ восторга объ Италіи и пѣвцахъ ея, однакожь мы не видимъ достаточныхъ доказательствъ ни его знанія италіанской поэзіи, ни особеннаго искусства воспроизводить ее на родномъ языкѣ. Двѣ прозаическія статьи: «Аріостъ и Тассъ» (1816) и «Петрарка» (1816) относятся къ самымъ обыкновеннымъ, легкимъ очеркамъ, не представляющимъ ни самостоятельнаго изслѣдованія, ни даже серьезной критики. Переводъ одного сонета Петрарки: «На смерть Лауры» (1810) и подражаніе одной его канцонѣ: «Вечеръ» (1810)—вовсе не лучшія между стихотвореніями Батюшкова. По двумъ отрывкамъ изъ Освобожденнаго Іерусалима (1817) и од-

¹⁾ Къ рижской вѣмнѣ, въ семействѣ которой Батюшковъ, раненный подъ Гейлсбергомъ, нашелъ гостепріимный кровъ.

²⁾ Къ Аннѣ Федоровнѣ Фурманъ, жившей у Олениныхъ.

ному отрывку изъ Неистоваго Орланда (1818) трудно рѣшить, былъ ли онъ въ состояніи передать намъ прославленные поэмы, объ одной изъ которыхъ онъ выразился такимъ образомъ: «поэма Аріоста заключаетъ въ себѣ все видимое и всѣ страсти человѣческія: это—Иліада и Одиссея, однимъ словомъ — природа, поработенная жезлу волшебника». Наибольшее сочувствіе питалъ Батюшковъ къ Тассу, которому «былъ обязанъ лучшими наслажденіями въ жизни», котораго тѣнь ставилъ «среди Элизія, близъ древняго Омира», и какъ его, такъ и Гомера называлъ «вѣрными спутниками война». Посланіе «къ Тассу» есть дань удивленія поэту, равно владѣвшему, по словамъ его поклонника, и эпическимъ созерцаніемъ, и пастушьей свирѣлю; а элегія «Умиравшій Тассъ» служить апофеозомъ его славы. Послѣдняя піеса одна выступаетъ изъ втораго отдѣла стихотвореній, какъ образцовая, прекрасными стихами выражающая искреннее и глубокое чувство. Въ лицѣ Тасса авторъ не только представлялъ себѣ идеальный образъ поэта, но и находилъ въ немъ значительное съ собою сходство. Многое, что говорится о судьбѣ Тасса, примѣнялось Батюшковымъ къ обстоятельствамъ своей жизни ⁽¹⁾, такъ что подъ изображеніемъ чужой печали скрывается элегическая настроенность собственнаго духа. По этой причинѣ элегія проникнута глубоко-искреннимъ чувствомъ.

Третій отдѣлъ составляютъ переводы древне-классическихъ произведеній. Ихъ очень немного: три элегіи Тибулла (1809, 1810 и 1816) и двѣнадцать піесъ изъ Антологіи (1820). Если вольное переложеніе Тибулловыхъ элегій не даетъ должнаго понятія объ ихъ поэтическомъ достоинствѣ, то въ антологическихъ піесахъ Батюшковъ является истиннымъ художникомъ, хотя онъ перелагалъ ихъ не съ греческаго подлинника, а съ французскаго перевода. Эти переводы показываютъ способность Батюшкова къ творчеству въ духѣ древне-классической поэзіи.

Характеръ послѣдняго отдѣла — эротическій. Сюда принадлежатъ переводы изъ Парни ⁽²⁾ и подражанія ему: Привидѣніе (1810), Ложный страхъ (1810), Источникъ (1810), Мщеніе (1816) и Вакханка, а также собственные стихотворенія въ томъ же духѣ: Веселый часъ (1810), Отрывокъ изъ элегіи, Къ другу, Выздоровленіе (1817), Таврида, нѣкоторыя мѣста въ «Моихъ пенатахъ» (1814) и другихъ піесахъ. Весь этотъ отдѣлъ, по граціи поэтическихъ

¹⁾ Это примѣненіе видимо въ тирадѣ, отъ стиха: «отъ самой юности играюще страстей»... и до стиха: «карающей богинѣ обреченной».

²⁾ Французскаго поэта, писавшаго въ эротическомъ и элегическомъ родахъ (1768—1814).

изображеній и по изяществу внѣшней формы, заслуживаетъ названіе образцоваго и долженъ быть поставленъ на ряду съ переводами изъ Антологіи.

Опредѣленіе литературной заслуги значительно облегчается, когда намъ извѣстно, какъ понималъ ее самъ авторъ. Взглядъ Батюшкова на характеръ и значеніе своей поэтической дѣятельности изложенъ въ «Рѣчи о вліяніи легкой поэзіи на языкъ» (1816). Выбранный въ члены Общества любителей русской словесности въ Москвѣ, онъ принялъ оказанную ему честь какъ свидѣтельство того, что «успѣхи и въ малѣйшей отрасли словесности могутъ быть полезны нашему языку». Эта малѣйшая отрасль словесности, и въ тоже время ея «прелестная роскошь», есть такъ называемая «легкая поэзія», которую онъ противопоставляетъ эпопеѣ, драмѣ, восторженной лирикѣ, исторіи и краснорѣчію, требующимъ «великихъ усилій ума, высокаго и пламеннаго воображенія». Главнѣйшее различіе между двумя противоположными родами, по мнѣнію Батюшкова, состоитъ въ стихотворномъ слогѣ: «Въ большихъ родахъ, читатель, увлеченный описаніемъ страстей, ослѣпленный живѣйшими красками поэзіи, можетъ забыть недостатки и неровности слога... Въ легкомъ родѣ поэзіи, читатель требуетъ возможнаго совершенства, чистоты выраженія, стройности въ слогѣ, гибкости, плавности; онъ требуетъ истины въ чувствахъ и сохраненіи строжайшаго приличія во всѣхъ отношеніяхъ; онъ тотчасъ дѣлается строгимъ судьей, ибо вниманіе его ничѣмъ сильно не развлекается. Красивость въ слогѣ здѣсь нужна необходимо и ничѣмъ замѣниться не можетъ». Не смотря на скромный отзывъ о легкой поэзіи, сравнительно съ другими поэтическими родами, Батюшковъ отвелъ ей просторное и достославное мѣсто на парнасѣ всѣхъ народовъ. Число поэтовъ, къ категоріи которыхъ онъ причисляетъ и себя самого, не мало, и между ними есть громкія имена: у Грековъ—Віонъ, Мосхъ, Симонидъ, Теокритъ, Анакреонъ, Сафо; у Римлянъ—Катуллъ, Тибуллъ и Проперцій; въ Италіи—Петрарка, во Франціи—Маро, въ Англіи—Валлеръ, въ Германіи—Гагедорфъ и другіе. Переходя къ нашей легкой поэзіи, Батюшковъ включаетъ въ ея область переводы и подражанія Анакреону Ломоносова и Державина, Душеньку, басни, сказки и посланія Дмитріева, басни Хемницера и Крылова, стихотворенія Карамзина, гораціанскія оды Капниста, пѣсни Нелединскаго, подражанія древнимъ Мерзлякова, баллады Жуковскаго, стихотворенія Востокова и Муравьева (М. Н.), посланія кн. Долгорукова и нѣкоторые Воейкова.

Красота слога, возможное совершенство выраженія, какъ существенная принадлежность легкой поэзіи, и въ особенности важ-

нѣйшаго ея вида—эротическаго, отличается и стихотворенія Батюшкова, входящія въ четвертый отдѣлъ. Онъ тщательно заботился объ изяществѣ формы, безъ которой немислимо поэтическое представление. Яснымъ, отчетливымъ образомъ своихъ чувствъ и мыслей онъ сообщалъ прелесть граціи, раздѣляя мнѣніе Парни, что въ дѣлѣ искусства грація—все и что безъ граціи нѣтъ истиннаго искусства. О вѣрности его художественнаго вкуса можно судить по многимъ піесамъ. Приводимъ для примѣра одно изъ самыхъ характеристическихъ: «Выздоровленіе»:

Какъ ландышъ подъ серпомъ убійственнымъ жнеца
Склоняетъ голову и вянетъ:
Такъ я въ болѣзни ждалъ безвременно конца
И думалъ: Парки часъ настанетъ.
Ужъ очи покрывалъ Эреба мракъ густой,
Ужъ сердце медленнѣе билось:
Я винулъ, исчезалъ, и жизни молодой,
Казалось, солнце закатилось.
Но ты приблизилась, о жизнь души моей,
И алыхъ устъ твоихъ дыханье,
И слезы пламенемъ сверкающихъ очей,
И поцѣлуевъ сочетанье,
И вздохи страстные, и сила милыхъ словъ,
Меня изъ области печали,
Отъ Орковыхъ полей, отъ Леты береговъ
Для сладострастія призывали.
Ты снова жизнь дашь; она—твой даръ благой;
Тобой дышать до гроба стану.
Мнѣ сладокъ будетъ часъ и муки роковой;
И отъ любви теперь увяну.

Не смотря на краткость какъ этого стихотворенія, такъ и другихъ одного съ нимъ рода, всѣ они удовлетворяютъ эстетическое чувство читателя ровностью тона, полнотою впечатлѣнія, законченностью образа. Переводы изъ Парни принадлежатъ къ лучшимъ піесамъ эротическаго отдѣла потому, что у нашего переводчика много общаго съ французскимъ стихотворцемъ въ талантѣ и направленіи. Не даромъ того и другаго называли Тибулломъ. Характеръ любви—чувства, наиболѣе ими выражаемаго—одинаковъ: она положительная, а не идеальная, дѣйствительная, а не мечтательная. Въ этомъ отношеніи, Батюшковъ—рѣшительная противоположность Жуковскому. «Въ то время», говоритъ Гоголь, «когда Жуковский отрѣшалъ нашу поэзію отъ земли и существенности и уносилъ ее въ область безтѣлесныхъ видѣній, Батюшковъ, какъ бы нарочно ему въ отпоръ, сталъ прикрѣплять ее къ землѣ и тѣлу, выказывая всю очаровательную прелесть осязаемой суще-

ственности. Какъ тотъ терялся весь въ неясномъ для него самомъ идеальномъ, такъ этотъ весь потонулъ въ роскошной прелести видимаго, которое такъ ясно слышалъ и такъ сильно чувствовалъ. Все прекрасное во всѣхъ образахъ, даже и незримыхъ, онъ какъ бы силился превратить въ осязательную нѣгу наслажденія. Онъ слышалъ, выражаясь его же выраженіемъ, *стиховъ и мыслей сладострастѣе*.—Послѣднее слово часто встрѣчается въ сочиненіяхъ Баяшкова, который прилагаетъ его даже къ предметамъ духовнымъ, называя, на примѣръ, совѣсть «сладострастіемъ возвышенныхъ душъ», но чаще пользуется имъ въ томъ случаѣ, когда надобно выразить ощущеніе, доставляемое эпикуреизмомъ, упоеніемъ земными благами, а изъ нихъ наиболѣе страстью въ тѣсномъ смыслѣ—любовью:

О пламенный восторгъ! о страсти упоенье!

О сладострастіе.... себя, всего забвенье!

Тамъ поэтъ набивинаетъ своему другу, какъ они «пили чашу сладострастѣя»; здѣсь приглашаетъ друга «упиться сладострастѣемъ». Изъ цѣлыхъ сутокъ онъ желалъ бы отдать по одному часу дружбѣ, Вакху и сну, а остальнымъ временемъ подѣлиться съ предметомъ своей страсти. Такое направленіе, опредѣляясь въ началѣ темпераментомъ, потомъ развивается и укрѣпляется образомъ мыслей. Это—философія Аристиппа, удобно соглашаемая съ природными инстинктами. Мы узнаемъ ее изъ стихотвореній: «Мечта», гдѣ отвергается ученіе стоиковъ; «Веселый часъ», гдѣ дается совѣтъ сѣять на пути розы, наслаждаться жизнью и полной чашей пить радость; «Отрывокъ изъ Элегій», приглашающей славить безпечность и любовь; «Посланіе къ Петину», почитающее счастливымъ того, кто цвѣтами украшалъ дни любви. Поэтому-то Жуковский, зная капитальную слабость своего друга, совѣтовалъ ему бѣжать сладострастныхъ мечтаній, какъ губительницъ душевной чистоты ⁽¹⁾.

Различіе въ характерахъ поэзіи Жуковскаго и Батюшкова видна и на элегіяхъ послѣдняго. Какъ самая печаль, ими выражаемая, не расплывается въ меланхолію или уныніе и не затемняется ни мудреной рефлексіей, ни другимъ постороннимъ чувствомъ, но выходитъ изъ потрясенной души ясною, безхитростною, непосредственною, такъ и выраженіе, по наглядности художественныхъ образовъ, не только легко воспринимается внутреннимъ ощущеніемъ, но и какъ бы становится доступнымъ внѣшнему зрѣнію.

¹⁾ Посланіе къ Батюшкову (1813).

Докательствомъ служатъ элегіи: Пробужденіе (1816), Разлука, Послѣдняя весна (1816), Къ другу, Тѣнь друга (1816). Батюшковъ, по свойству таланта и по образованію, которымъ руководилъ Муравьевъ, былъ способенъ къ поэтическому созерпанію и представленію въ античномъ духѣ. Цѣлыя піесы выливались у него, какъ отчетливыя изваянія мыслей и впечатлѣній, и въ каждомъ его стихотвореніи есть мѣста, убѣждающія, что онъ могъ бы съ равнымъ искусствомъ и передавать древне-классическія произведенія на родномъ языкѣ, и подражать имъ.

Переводъ антологическихъ піесъ наилучшимъ образомъ характеризуетъ поэтическій талантъ Батюшкова. Мы уже говорили, что въ 1820 г. была издана (Д. Дашковымъ) небольшое сочиненіе «о Греческой Антологіи». Предисловіе къ нему подписано арзамасскими именами гр. Уварова (Ст.—Старушка) и Батюшкова (А.—Ахиллъ). Послѣднему принадлежатъ стихотворенія, переложенныя съ французскаго текста, а не съ греческаго подлинника, а первому—объясненіе, содержащее въ себѣ историческія свѣдѣнія объ антологіи и характеристику піесъ, ее образующихъ. Антологіей называется собраніе небольшихъ стихотвореній, а именно: надписей и эпиграммъ (піесъ, написанныхъ элегическимъ размѣромъ—гексаметромъ и пентаметромъ). «Все служитъ предметомъ эпиграммы», говоритъ Уваровъ въ объясненіи: «она то поучаетъ, то шутитъ, и почти всегда дышитъ любовію. Часто она не что иное, какъ мгновенная мысль, или быстрое чувство, рожденное красотою природы или памятниками искусства». Совершенство внѣшней формы, которое Батюшковъ ставилъ необходимымъ условіемъ произведеній легкой поэзіи, есть существенная принадлежность антологическаго рода. Безъ граціи и артистической отдѣлки древняя эпиграмма немислима. Эти-то художественныя качества умѣлъ Батюшковъ сохранить въ своемъ переводѣ. А такъ какъ многія изъ его собственныхъ сочиненій отличаются тѣми же качествами, то критика имѣла право заключить, что онъ могъ бы лучше, чѣмъ кто-либо изъ современныхъ ему поэтовъ, познакомить насъ съ красотою древне-классической поэзіи. Жаль только, что тревожныя обстоятельства не дозволили ему настойчиво послѣдовать своему призванію. Вообще онъ написалъ мало. Въ теченіи пятнадцати лѣтъ (считая съ 1805 по 1820) оставилъ онъ небольшое число стихотвореній. Однакожъ и этимъ немногимъ прибрѣлъ онъ славу первокласснаго нашего поэта. Современная критика ставила его на ряду съ Жуковскимъ, говоря, что въ отношеніи къ нему Батюшковъ былъ не вторымъ, а другимъ (non secundus, sed alter); что поэтическій талантъ послѣдняго нисколько не уступалъ

таланту перваго: только характеры этихъ талантовъ были различны, равно какъ различны и пути, ими выбранные.

Цѣлый томъ сочиненій Батюшкова содержитъ въ себѣ прозу. Значеніе ея—преимущественно стилистическое: по чистотѣ, правильности, благозвучію и образности языка, она заслуживаетъ названіе образцовой. Въ этомъ отношеніи наиболѣе замѣчательнъ «Отрывокъ изъ писемъ русскаго офицера о Финляндіи». Содержаніемъ же своимъ прозаическія статьи уступаютъ слогу, не поднимаясь выше посредственнаго уровня. Въ нихъ нѣтъ глубины или обилія мыслей, нѣтъ и многосторонняго или своеобразнаго ихъ развитія. Авторъ видимо заботился не столько о томъ, что сказать, сколько о томъ, какъ сказать. Критическія сужденія его слабы, не то что эпиграммы—острыя, меткія, сжатія. Такія статьи, какъ «Письмо къ И. М. Муравьеву-Апостолу о сочиненіяхъ М. Н. Муравьева», «Аріостъ и Тассъ», «Петрарка», не даютъ существенной характеристики обсуждаемыхъ лицъ и ихъ авторства. ⁽¹⁾

§ 19. Система французскаго классицизма возникла изъ невѣрно истолкованной пѣтики Аристотеля, изъ превратно или односторонне понятыхъ образцовъ древней поэзіи, почему и называется лжеклассическою. Чтобы открыть ложь, принятую французами за истину и перешедшую отъ нихъ къ другимъ народамъ, необходимо было ближайшее, непосредственное знакомство какъ съ поэтическимъ ученіемъ грековъ и римлянъ, такъ и съ ихъ художественными произведеніями. Этимъ путемъ нѣмцы свергли съ себя вѣковое иго псевдоклассицизма; этотъ же путь предстоялъ и намъ при освобожденіи нашей литературы отъ вліянія французскихъ понятій объ искусствѣ, стѣснявшихъ ее также въ теченіе цѣлаго столѣтія, съ Кантемира и Тредьяковскаго до Пушкина.

Для непосредственнаго знакомства съ содержаніемъ и формой истиннаго классицизма, требовалось, кромѣ знанія древнихъ языковъ, и безпристрастное, не стѣняемое французскимъ авторитетомъ, отношеніе критики къ поэтическимъ образцамъ древности. Средства наши, въ томъ и другомъ отношеніи, болѣею частію были слабы. Немногіе изъ нашихъ литераторовъ могли похвалиться серьезнымъ филологическимъ образованіемъ; немногіе также умѣли отрѣшиться отъ французскихъ воззрѣній какъ на самыя подлин-

¹⁾ Главнѣйше матеріалы для біографіи и поэтической дѣятельности Батюшкова: Матеріалы для полнаго изданія его сочиненій, М. Лонгинова (Рус. Арх. 1863 г. № 12).

К. Н. Батюшковъ. Его письма и очерки его жизни, съ 1806 по 1819 г., двѣ статьи П. Бартенева (ib, 1867, №№ 10 и 11).

Письма Б-ва къ Гидичу (Рус. Старина, т. т. 1, 3, 10).

ники, такъ и на способъ ихъ перевода. Отсюда происходило, что имена Аристотеля, Горація и Буало мы ставили на одну доску, не различая ихъ поэтической науки и почитая каждого законодателемъ изящнаго вкуса; что въ Расинѣ и Вольтерѣ видѣли не только воскресителей Софокла и Эврипида, но и усовершенствователей трагическаго искусства, доведшихъ его до *pes plus ultra*; что переложения греческихъ и римскихъ стихотвореній, сдѣланныя съ французскихъ вольныхъ переводовъ, удовлетворяли насъ, вызывая громкія себѣ похвалы. Трудно было, при такихъ взглядахъ, ожидать воспроизведенія подлинниковъ, по ихъ духу и художественному смыслу: оно могло явиться только при здравыхъ понятіяхъ объ искусствѣ вообще, объ искусствѣ грековъ и римлянъ въ особенности, при несомнѣнномъ поэтическомъ талантѣ, необходимомъ переводчику. Разсмотримъ же важнѣйшіе факты нашего знакомства съ древне-классической поэзіей.

М. Н. Муравьевъ служилъ примѣромъ и какъ бы руководителемъ тѣхъ, которые заботились о внесеніи классическаго элемента въ отечественную литературу. Они справедливо поставляли на видъ его классическую образованность, вѣрныя мысли о пользѣ изученія древнихъ писателей, нѣкоторые труды по этой части и содѣйствіе такимъ же трудамъ другихъ. Ободряемый имъ, какъ товарищемъ министра народнаго просвѣщенія и вмѣстѣ попечителемъ московскаго университета, Мерзляковъ задумалъ «представить образцы древнихъ писателей во всѣхъ родахъ стихотворныхъ сочиненій, дабы учащійся могъ ихъ имѣть на своемъ языкѣ при самомъ истолкованіи правилъ пѣнтіи». Первые опыты его переводовъ: сцены изъ Эврипидовой трагедіи «Альцеста» и «первая олимпійская ода Пиндара» явились въ 1804 г.; за ними слѣдовали: «Эклоги Виргилія», съ прибавленіемъ нѣкоторыхъ эклогъ Теокрита, Біона и Мосха (1807), и «Наука Стихотворства» (*Agroëtica*) Горація (1808). Какъ эти, такъ и дальнѣйшіе труды переводчика, помѣщенные въ журналахъ или напечатанные отдѣльно, собраны и изданы въ двухъ томахъ, подъ заглавіемъ: «Подражанія и переводы изъ греческихъ и латинскихъ стихотворцевъ (1825—26)». Первый томъ содержитъ въ себѣ, кромѣ разсужденія «о началѣ и духѣ древней трагедіи и о характерахъ трехъ греческихъ трагиковъ», переводы эпическихъ и драматическихъ твореній—изъ Гомера, Виргилія, Эсхила, Софокла и Эврипида; второй—переводы изъ лириковъ: Каллимаха, Клеанта, Тиртея, Пиндара, Сафо, Теокрита, Біона, Горація, Тибулла, Проперція, Овидія.

Мерзляковъ различаетъ два способа перелагать древнихъ: бук-

важный, для занимающихся исключительно изученіемъ языковъ греческаго и латинскаго, и вольный, или подражаніе. Такъ какъ первый болѣею частію выходитъ каррикатурнымъ, а второй невѣрнымъ, то переводчикъ выбралъ средину, т. е. не позволялъ себѣ ни лишняго стѣсненія, ни лишней вольности. Намѣреніе его могло бы принести большую пользу, если бы удовлетворительно было исполнено. Къ сожалѣнію, трудъ его представляетъ нѣкоторые существенные недостатки, происшедшіе главнымъ образомъ отъ французскаго взгляда на искусство и на способъ перелагать произведенія искусства. Во-первыхъ, Мерзляковъ иногда знакомитъ съ піесой посредствомъ отрывковъ: мысль ошибочная, несогласная съ значеніемъ греческой трагедіи, которой достоинство, особенно у Софокла, заключается въ стройномъ единствѣ частей, въ художественной красотѣ цѣлаго. Полный переводъ одной Софокловой трагедіи былъ бы соотвѣтственнѣе цѣли труда. Во-вторыхъ, отрывки переданы не въ настоящемъ видѣ: переводчикъ многое сокращалъ, что ему казалось слишкомъ растянутымъ или не относящимся къ дѣйствующей страсти, иное переставлялъ и соединялъ (напримѣръ, первый актъ съ пятымъ), дабы образовать изъ того нѣчто цѣлое драматическое. Кромѣ того, языкъ въ переводахъ разныхъ писателей безразличный. Стихъ то настраивается на риторическій ладъ, въ подражаніе Ломоносову, то падаетъ пѣвучимъ дактилическимъ окончаніемъ, которое такъ любилъ Карамзинъ. Гармоніи его много мѣшало излишнее употребленіе славянской стихіи, почитавшейся необходимою каждый разъ, когда стихотворецъ хотѣлъ сообщить своей рѣчи особенную важность и величіе. Къ лучшимъ переводамъ Мерзлякова относятся Виргиліевы эклоги и греческія идилліи; второе мѣсто занимаютъ Тиртеевы оды и Гораціева «Наука о стихотворствѣ». Что касается до понятій, изложенныхъ въ «Разсужденіи о началѣ и духѣ древней трагедіи», то они убѣждаютъ въ эмпирическомъ взглядѣ автора на искусство. Согласно съ французской теоріей, онъ объясняетъ происхожденіе поэтическихъ родовъ подражаніемъ природѣ, а не даромъ творчества, присущимъ человѣку и проявляющимъ свою дѣятельность созданіемъ разнообразныхъ предметовъ особаго, эстетическаго міра. Этотъ ложный взглядъ подвергся основательной критикѣ со стороны Веневитинова (*), выступившаго противъ французской теоріи съ новыми началами нѣмецкой эстетики.

«Подражанія и переводы» Мерзлякова, представляя образцы греческихъ и латинскихъ стихотвореній, должны были служить по-

(*) Сынъ Отеч. 1826, т. 8.

собіемъ при изученіи поэтическихъ родовъ. Пользу учащагося юношества имѣлъ въ виду и Мартыновъ, директоръ департамента министерства народнаго просвѣщенія († 1833), при своемъ переводѣ греческихъ классиковъ. Многолѣтній трудъ его изданъ въ 26 томахъ (1823—28) и заключаетъ въ себѣ Гомера, Софокла, Пиндара, Анакреона, Каллимаха, Езопа, Иродота и Лонгина. Переводъ каждаго классика снабженъ разсужденіями о немъ самомъ и его сочиненіяхъ, обширнымъ историко-филологическимъ комментариемъ и другими объясненіями, выбранными изъ древнихъ и новыхъ писателей, а также и своими собственными. Кромѣ того, первая пѣснь Иліады переведена еще подстрочно, съ цѣлью показать различіе между языками греческимъ и русскимъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ трудность и невозможность сохранить въ переводѣ всѣ обороты, частицы и слова подлинника. Видимо, Мартыновъ прилагалъ всѣ старанія, чтобы русскому читателю облегчить знакомство съ классическими твореніями. Въ работѣ своей положилъ онъ правиломъ не удаляться отъ подлинника, для «лучшаго удержанія его смысла», сохраняя однакожъ свойства русскаго языка. Это и заставило его передождать стихотворцевъ прозой, за исключеніемъ Анакреона, переданнаго бѣлыми стихами. О поэтическомъ достоинствѣ переводовъ и говорить нечего. Оно было невозможно по самой обширности задачи. Надобно имѣть геніальныя способности, быть великимъ поэтомъ, чтобы художественно воспроизвести образцовыя созданія древности по всѣмъ родамъ поэзіи—эпосу, драмѣ и лирикѣ; а Мартыновъ, лишенный поэтическаго дарованія, не владелъ даже и стихомъ, какъ доказываетъ его переводъ Анакреона. Хотя ложная теорія часто сбивала Мерзлякова, но врожденное ему чувство изящнаго противодействовало ложнымъ понятіямъ, и потому въ его переводахъ встрѣчаются такіе, которые удачно передавали красоты подлинниковъ; Мартыновъ же, по отзыву его начальника, отличался больше всего «пространнымъ» трудолюбіемъ, котораго недостаточно для удовлетворительнаго перевода греческихъ классиковъ.

Въ числѣ лицъ, которыя своими сужденіями содѣйствовали распространенію вѣрныхъ мыслей о значеніи французской литературы сравнительно съ литературами другихъ народовъ, и въ особенностяхъ съ греко-латинской, одно изъ главныхъ мѣстъ занимаетъ И. М. Муравьевъ-Апостолъ († 1851), служившій по дипломатической части и бывшій нашимъ посланникомъ въ Испанію. По классической образованности и знанію многихъ языковъ, онъ составлялъ исключеніе въ томъ кругѣ, къ которому принадлежалъ по своему рожденію и общественному положенію. Въ нѣкоторыхъ

взглядахъ на воспитаніе и словесность онъ сходилъ съ Шишковымъ, былъ членомъ «Бесѣды», и для «Чтеній» перевелъ двѣ Горациевы сатиры (первую и третью 1-ой книги), приложивъ къ первому переводу разсужденіе о Горациі, а ко второму—разсужденіе о причинахъ, побудившихъ Горациа написать третью сатиру (¹). Подъ живымъ впечатлѣніемъ недавно конченной борьбы съ Наполеономъ, Муравьевъ-Апостолъ писалъ замѣчательныя письма изъ сожженной Москвы въ Нижній Новгородъ, къ другу (²). Проникнутыя ненавистью къ французамъ, они направлены главнымъ образомъ противъ галломаніи, которая господствовала въ высшемъ дворянствѣ. Употребленіе французскаго языка называетъ авторъ несказаннымъ зломъ, отравившимъ у насъ главный источникъ общественнаго благоденствія—воспитаніе. Родители, говоритъ онъ, не думаютъ ни о серьезномъ школьномъ образованіи сыновей, ни о приученіи дочерей къ обязанностямъ хозяйки и матери: единственная цѣль ихъ состоитъ въ томъ, чтобы мальчика какъ можно раньше нарядить въ офицерскій мундиръ, а дѣвочку какъ можно скорѣе вывозить на балъ. Два таковыхъ поколѣнія—и чего ожидать?... того, что мы часто видимъ: *русскихъ не-русскихъ*. Отъ чего же такое зло вералось къ намъ? давно-ли стало укореняться? почему есть люди, умные и хорошіе, которые увѣрены въ томъ, что намъ нельзя обойтись безъ французскаго языка? не это ли предубѣжденіе причиною, что мы еще не далеки на поприщѣ словесности? Таковы вопросы, предлагаемые авторомъ себѣ и другимъ на рѣшеніе. Въ настоящемъ случаѣ для насъ важны два послѣдніе, рѣшенные въ четвертомъ письмѣ, гдѣ передается разговоръ Неотина и Археорова. Неотинъ, представитель господствующаго мнѣнія, доказываетъ, что мы, русскіе, обязаны французскому языку почти всѣми успѣхами нашей словесности и что лучшіе французскіе писатели первенствуютъ во всѣхъ литературныхъ родахъ: трагедія не можетъ выставить никого подобнаго Расину, Корнелю и Вольтеру; истинная комедія основана Мольеромъ; Лафонтенъ неподражаемъ и самъ никому не подражалъ; во всемъ французы сдѣлались образцами—въ поэзіи высокой и легкой, въ краснорѣчіи, въ слогѣ повѣствовательномъ. Отсюда и заключеніе: языкъ французскій, подобно латинскому, переживетъ народъ и останется классическимъ; онъ долженъ быть таковымъ и для насъ: мы обязаны учиться ему въ школахъ, не

¹) Чтеніе, книга вторая, № 2 (1811) и кн. шестая (1812).

²) Всѣхъ писемъ двѣдцать; они нап. въ Сынѣ Отец. 1818, 1814 и 1815 гг. Перепечатаны въ Рус. Арх. 1876 г., книга 3.

опасаясь вреднаго вліянія на нравы.—Археоновъ, т. е. самъ авторъ письма, опровергаетъ оба тезиса своего собесѣдника. Критику французской литературы начинаетъ онъ съ Расина. Въ чемъ очаровательная сила этого трагика? въ искусствѣ подражать древнимъ и въ мастерствѣ владѣть языкомъ. Если отнять у него то, что принадлежитъ Гомеру, Софоклу, Эврипиду, Виргилію, Сенека, то въ остаткѣ получится только прекрасный механизмъ стиха,—достоинство хотя и великое, но далеко не то, которое требуется отъ гения-творца. Археоновъ очень умно отличаетъ *общій* вкусъ къ изящному, неизмѣнно принадлежащій всѣмъ вѣкамъ и всѣмъ просвѣщеннымъ народамъ, отъ вкуса *особеннаго*, образуемаго характеромъ каждаго народа, его нравственными свойствами, образомъ правленія. «Я самъ, говоритъ онъ, ничѣмъ такъ не восхищаюсь, какъ искуснымъ представленіемъ Расиновой трагедіи; но въ правѣ ли я отъ того заключить, что всѣ непременно должны точно такъ чувствовать и мыслить, какъ я, и что напрасно предпочитаютъ Расину: англичане Шекспира, нѣмцы Шиллера, итальянцы Альфьери? Мое заключеніе, можетъ статься, и несходно съ истинною. Кто увѣритъ меня, что не дѣйствовало надъ нимъ сильное вліяніе привычекъ и предубѣжденій, съ которыми нельзя справедливо судить о вещахъ? Буде на это мнѣ возразятъ, что привычки и предубѣжденія могутъ точно также находиться и въ другихъ людяхъ, тогда я изъ всего этого выведу одно то, что на счетъ народнаго вкуса не должно никого ни винить, ни оправдывать; что всякій будетъ правъ у себя, и виноватъ, если вздумаетъ судить о другихъ по себѣ. Исполнить на сценѣ французской исторгается у насъ, русскихъ, слезы; а на авинскомъ театрѣ греки бы расхохотались, еслибъ услышали его отрывавшагося въ любви къ Арсіні». Переходя отъ трагедіи къ эпической поэзіи, Археоновъ не видитъ у французовъ ни одного достойнаго ея произведенія, ибо слишкомъ смѣло назвать поэмой холодную въ стихахъ декламацию Вольтера (Генріаду). Нельзя и сравнивать ее съ поэмами Данта, Аріоста, Тасса. Что касается до французской комедіи, то Мольеръ въ характерахъ, ходѣ дѣйствія и развязкѣ заимствовалъ частію у древнихъ, частію у испанцевъ: «Кальдеронъ и Лопе де-Вега были во многомъ его учителями: ихъ дѣйствующія лица, въ рукахъ Мольера, принаровнились къ парижскимъ обычаямъ, перерядились во французское платье и сдѣлались для французовъ оригинальными; намъ же, русскимъ, предпочтительно нравятся потому, что и мы принаровнились къ парижскимъ обычаямъ и перерядились во французское платье. Если комедія есть живое въ лицахъ представленіе господствующихъ нравовъ, то каждый на-

родъ долженъ имѣть свою комедію, по той самой причинѣ, что каждый народъ имѣетъ свои собственные нравы и обычаи: Ифландъ на театрѣ своемъ представляетъ нѣмцевъ, Шериданъ англичанъ, а мы *французовъ*, потому что мы по обычаю французы, и съ такими французскими, т. е. нелѣпыми, предрассудками, что не стыдимся называть порокомъ того, что составляетъ одно изъ главныхъ достоинствъ въ нѣмцахъ и англичанахъ,—что они не обезьяны, какъ мы».

Изъ отвѣта своего Неотину, Археоновъ выводитъ два заключенія:

Во-первыхъ, французы не во всѣхъ родахъ словесности успѣли; у нихъ нѣтъ ни поэмы, ни исторіи, ни живописной поэзіи (*poésie descriptive*), ни пастушеской, ни даже романа своего. Во-вторыхъ, если они могутъ гордиться своими Расиномъ, Корнелемъ, Буало, Мольеромъ, а особливо Лафонтеномъ, за то другіе народы имѣютъ право хвалиться такими высокими умами, каковымъ нѣтъ подобныхъ во Франціи. Испанцы скажутъ: у насъ Сервантесъ; англичане, и не упоминая о Шекспирѣ, Мильтонѣ, Драйденѣ, Томсонѣ, выставятъ рядъ историковъ таковыхъ, какъ Юмъ, Фергюсонъ, Робертсонъ; нѣмцы укажутъ на Виланда, Лессинга, Гете, Шиллера; а мы развѣ не въ правѣ гордиться нашимъ Державиннымъ, котораго природа одарила гениемъ удивительнымъ, а случайность 'предохранила въ воспитаніи отъ робкаго, изнѣженнаго вкуса французовъ? Такъ, я смѣло утверждаю, что Державинъ много обязанъ незнанію французскаго языка: опутанный цвѣтками, поддѣланными изъ атласа и тафты, не размахнувшись никогда нашъ богатырь.

Я осмѣлился сказать: «робкій, изнѣженный вкусъ», и къ этой смѣлости прибавляю еще дерзость утверждать сказанное. Всѣ искусства основаны на подражаніи природѣ: очарованіе ихъ состоитъ въ вѣрности сего подражанія, и тотъ художникъ наиболѣе выполнитъ необходимое условіе, который, избравъ предметъ, будетъ умѣть представить его взорамъ нашимъ въ изящѣйшемъ его видѣ, т. е. придавъ ему тѣ украшенія, которыя сродны ему и естественны. Это французы называютъ *embellir la nature*—*украшаютъ природу*: явная бессмыслица! ибо украшать природы невозможно; напротивъ того: лишнимъ тѣченіемъ давать несродныя ей прикрасы значитъ портить ее,—то, что французы же въ искусствахъ называютъ «*genre maniégé*», а я—изнѣженнымъ, жеманнымъ вкусомъ.

Превознесеніе французской литературы надъ всѣми прочими, по мнѣнію Археорова, происходитъ у насъ отъ знакомства съ первымъ, которое начинается еще въ дѣтскомъ возрастѣ, и отъ совершеннаго незнанія послѣднихъ, котораго мы не стыдимся. Мы и не можемъ знать ихъ, потому что не знаемъ другихъ языковъ, кромѣ французскаго,

Хочешь ли имѣть основательное понятіе о свойствахъ, преимуществахъ и недостаткахъ народовъ, наиболѣе въ письменныхъ отличившихся? Сперва учишься ихъ языкамъ. Прочитай Данта на итальянскомъ, Сервантеса на

испанскомъ, Шекспира на англійскомъ, Шиллера на нѣмецкомъ: тогда ты приобрѣтешь нѣкоторое право произносить надъ ними приговоръ, и тогда конечно ты не скажешь подобно тому, что я читалъ въ одномъ изъ нашихъ журналовъ: «долго ли нѣмцамъ быть ледантами»?... Долго ли намъ быть невѣждами и бранить то, что мы не разумѣемъ! Мы привыкли ко всему прикладывать французскій масштабъ, и что неидетъ къ нему въ мѣру,—отбрасывать, какъ недостойное сравненія: такимъ образомъ и Шиллеръ провинился предъ нами, и именно въ томъ, что онъ не соблюдалъ необходимой (для насъ только) благопристойности—представить героевъ своихъ въ видѣ французскихъ маркизовъ, Я такъ за это его не виню и, обращаясь къ тому, съ чего началъ, скажу, что вкусъ изысканности у французовъ господствуетъ вездѣ, даже и въ лучшихъ ихъ писателяхъ. Не говоря о другихъ, довольно сказать, что и Расинъ не избавился отъ заразы: Пирръ въ Андромакѣ его, Ахиллесъ въ Ифигеніи, Иполитъ въ Федрѣ, Перонъ въ Британникѣ—не тѣ идеалы, которые мы воображаемъ по начертаніямъ въ Гомерѣ, Виргиліи, Эврипидѣ и Тацитѣ. Они чрезвычайно хороши у Расина, можно сказать прелестны, но все-таки изъ подъ палліи или тоги выказываются у нихъ французскіе красные каблучки. Когда же Расинъ, великій Расинъ, не ушелъ отъ упрека въ *изысканности*, то что же сказать о другихъ? ума много, а изысканной природы, во всей очаровательной ея простотѣ, нѣтъ ни въ одномъ. Вездѣ натяжка; нигдѣ нѣтъ цвѣтовъ, которые мы видимъ въ природѣ: наблюдатель строгій тотчасъ догадается, что картина простой сельской жизни писалась въ парижскомъ будуарѣ, а Теоокритовы пастухи срисованы въ оперѣ съ танцовщиковъ. И быть иначе не можетъ. Французы осуждены писать въ одномъ Парижѣ; въ столицѣ имъ не дозволяется имѣть ни вкуса, ни дарованій: то какъ же имъ познакомиться съ природою, которой ничего нѣтъ противоположнѣе, какъ большіе города? Напротивъ того, въ нѣмецкой землѣ писатели рѣдко живутъ въ столицахъ; большая часть ихъ разсѣяна по маленькимъ городамъ, а нѣкоторые изъ нихъ цѣлую жизнь свою провели въ деревняхъ: за то они знакомѣе съ природою, и за то между тѣмъ какъ Фоссъ начерталъ прелестную «Лунзу» свою въ Эйтинѣ, подражатель приторнаго Флоріана въ Парижѣ, смотря въ окно на грязную улицу, описываетъ испещренные цвѣтами андалузскіе луга, или пышно рисуетъ цѣпь Пиренейскихъ горъ, глядя съ чердака на Мормартръ.

Указать невѣжественное пристрастіе и объяснить его причины не значить еще исправить его. Оно и неисправимо въ тѣхъ, которые ничего другаго не читали, кромѣ французскаго, ничему другому не учились, какъ только по французски. Убѣждать ихъ напрасно: они отживутъ свой вѣкъ, какъ его начали и какъ его продолжаютъ. Чтобы искоренить зло, которое не ограничивается односторонностью литературныхъ сужденій, надобно дѣйствовать не на поколѣніе, заматорѣлое въ галломаніи, а на юношество. Главное же къ тому средство — перемѣна учебной нашей методы:

Учиться новѣйшимъ языкамъ не только можно, да и похвально; но французскому оставаться у насъ классическимъ такъ, какъ онъ былъ до сихъ поръ, это значить тоже, что убивать природныя наши способности, и докопѣ это продолжится, мы будемъ оставаться въ сущемъ младенче-

ствѣ на поприщѣ ученія. Ни одна изъ новѣйшихъ литературъ не усовершенствовалась отъ подражанія новѣйшимъ же: всѣ онѣ, безъ изъятія, почерпнули красоты свои въ единственномъ и неизсякаемомъ источникѣ всего изящнаго — у грековъ и римлянъ. Для того и намъ пора бы приняться за настоящее дѣло, и потому я смѣло скажу и всегда говорить буду, что пока мы не будемъ учиться, т. е. посвящать все время перваго возраста, отъ 7 до 15 лѣтъ, на изученіе греческаго или, по крайней мѣрѣ, латинскаго языка, вмѣстѣ съ русскимъ, основательно, эстетически, — до тѣхъ поръ мы, большая часть толпы, будемъ не говорить, а болтать, не писать, а лишь марать бумагу.

Представленные нами сужденія Муравьева-Апостола не удивлять теперь никого, по своей общезвѣстности. Но они имѣли достоинство важной и смѣлой новизны, за пятьдесятъ лѣтъ до нашего времени. Тогда нельзя было назвать ихъ азбукой науки. Тогда и въ стѣнахъ московскаго университета передавалось слушателямъ почти тоже самое, что журнальная критика принимала въ основу своихъ приговоровъ о литературѣ. Сохацкій и Мерзляковъ, руководители юношества въ изученіи изящнаго и въ способахъ его оцѣнивать, не смотря на основательное знаніе древнихъ языковъ и слѣдовательно на возможность непосредственнаго знакомства съ классическими образцами, не могли вполне отрѣшиться отъ французскаго устава поэзій. Сохацкій старался соединять этотъ уставъ съ воззрѣніями Винкельмана, а Мерзляковъ съ психологической теоріей Эшенбурга. Оба они были эклектики. Устранивъ односторонность французской теоріи, они не замѣнили ее другимъ началомъ, положительно-твердымъ и единымъ. На ихъ взглядъ, новыя движенія словесности, выступавшія изъ круга, обведеннаго Гораціемъ и Буало, были болѣзненными припадками времени. И тотъ и другой съ неудовольствіемъ относились къ романтическому направленію. Послѣдній не признавалъ и поэзій Пушкина, потому только, что не могъ подогнать ее подъ мѣрку французскихъ понятій объ искусствѣ. Позднѣе писемъ Муравьева, рѣшая вопросъ: «отъ чего такъ долго и постоянно опера «Мельникъ» (Аблесимова) удерживается на театрѣ?» Мерзляковъ высказалъ свою преданность разъ навсегда усвоенной теоріи. Успѣхъ «Мельника» объясняется не тѣмъ, что она «сочинена въ русскихъ нравахъ», какъ тогда говорили, а тѣмъ, что эта піеса, подобно всѣмъ лучшимъ трагедіямъ и комедіямъ, вполне оправдываетъ законы Аристотеля, наставленія Горація и Буало, и вообще правила науки о вкусѣ. Поэтому Муравьевъ-Апостолъ не ошибался, полагая, что мнѣнія Археорова будутъ сочтены ересью, которая напугаетъ даже умныхъ людей, не только тѣхъ, у кого «пружинъ языка проведены къ ушамъ безъ всякаго сношенія съ мозгомъ.»

Опасеніе его оправдалось. Очень умный человѣкъ, Д. В. Дашковъ, разсердился на Муравьева, какъ видно изъ письма его къ кн. П. А. Вяземскому (25 іюня 1814 г.): «Письмо о московскомъ праздникѣ ⁽¹⁾ тотчасъ было мною послано къ издателю Сына Отечества и, по увѣдомленіи его, уже напечатано. Каково напечатано, ради Бога у меня не спрашивайте: со времени *проклятаго письма Муравьева о словесности*, отъ котораго точно у меня желчь разлилась въ первый разъ, я не беру въ руки его пасынка» (т. е. Сына Отечества) ⁽²⁾. Что же такъ сильно взволновало Дашкова? Сужденія Муравьева не могли казаться ему ни софистическими, ни небывальными въ нашей литературѣ. Задолго до «писемъ въ Нижній Новгородъ», Карамзинъ говорилъ о французской трагедіи тоже самое, что они говорятъ о французской словесности вообще: Корнель, Расинъ и Вольтеръ поставлены имъ ниже Шекспира и Шиллера. Объяснять неудовольствіе Дашкова единственно духомъ партіи едва ли будетъ справедливо: члены «Бесѣды» до того времени большею частію возбуждали въ немъ смѣхъ, но не портили его крови. Была, слѣдовательно, иная причина непріятнаго чувства, произведеннаго письмомъ о словесности. Эта причина, какъ я думаю, заключается въ отношеніи писемъ къ литературному дѣлу Карамзина и его послѣдователей. Изъ критическихъ замѣтокъ Муравьева оказывается, что онъ не признавалъ полезнаго значенія ни за новымъ словомъ, ни за новымъ направленіемъ литературы. То и другое почиталъ онъ явленіемъ поверхностнымъ, ложнымъ въ своемъ началѣ, вреднымъ въ послѣдствіяхъ, и потому относился къ нему съ видимымъ равнодушіемъ, безъ всякаго уваженія. Ни разу не упомянулъ онъ писателя, котораго имя уже сдѣлалось общезвѣстнымъ: только Державинъ заслужилъ почетнаго сравненія съ богатыремъ. Большинство критиковъ утверждало, что Карамзинъ создалъ новую литературную рѣчь; а «Письма» доказываютъ, что книжнаго языка у насъ еще нѣтъ и до тѣхъ поръ не будетъ, пока мужчины не получаютъ классическаго воспитанія, а женщины не научатся новѣйшимъ языкамъ для того только, чтобы читать на нихъ. По мнѣнію Муравьева, нашей словесности нужно не то, что далъ ей

¹⁾ Письмо изъ Москвы (описаніе праздника, даннаго въ Москвѣ 17 мая 1814 г., по случаю занятія Парижа русскими войсками, съ приложеніемъ пѣтъ въ этотъ вечеръ стихотвореній кн. П. А. Вяземскаго и В. Пушкина). Сынъ От. 1814, № 26.

²⁾ Рус. Арх. 1866, № 8.

Карамзинъ: ей нужна классическая основа, то есть изученіе древнихъ языковъ, чтеніе греческихъ и римскихъ писателей, подражаніе имъ въ собственныхъ сочиненіяхъ. Такого фундамента не могъ заложить Карамзинъ, чуждый классическаго образованія. Еще меньше слѣдовало возлагать надежду на силы его послѣдователей, большею частію получившихъ одностороннее французское образованіе. Вотъ что думалъ Муравьевъ, подтверждая свои мысли доводами, которые выказывали въ немъ человѣка многознающаго, не дилетанта въ наукѣ, а дѣйствительно ученаго. Съ такимъ соперникомъ трудно было бороться: отсюда раздраженіе.

Основные мысли Муравьева-Апостола вошли въ «Разсужденіе Гнѣдича о причинахъ, замедляющихъ успѣхи нашей словесности» (1814) ⁽¹⁾. Авторъ его рѣшаетъ вопросъ: «отъ чего, при такомъ множествѣ выходящихъ у насъ книгъ, мы такъ мало видимъ хорошихъ переводовъ, даже выборовъ для нихъ хорошихъ»? Конечно, не отъ скудости и слабости дарованій, на которыя русскій человѣкъ не можетъ жаловаться, а отъ того, что мы дурно пользуемся дарами природы, т. е. не развиваемъ ихъ ученіемъ, не упражняемъ искусствомъ. Что же надобно изучать для успѣховъ нашей словесности, гдѣ искать правилъ для искусства хорошо выражать свои мысли? «Отъ временъ Рима и до нашихъ, во всѣхъ странахъ Европы и у насъ, образованіе языка тогда только начиналось, когда писатели знакомились съ языками древнихъ; а успѣхи тамъ только быстрѣе возрастали и словесность народную возвысили до совершенства, гдѣ писатели основательно изучали творенія древнихъ, признанныя образцами превосходнаго первымъ законодателемъ вкуса: «читайте образцы греческіе, читайте ихъ денно и нощно, говоритъ Гораций». Указавъ единственные пособія, образующія и совершенствующія писателя, Гнѣдичъ съ горестію замѣчаетъ, что изученіе древнихъ языковъ у насъ или вовсе не существуетъ, или находится въ крайнемъ небреженіи. Отсюда, по его мнѣнію, и происходитъ печальное состояніе русской словесности: поэтическія свѣдѣнія нашихъ молодыхъ литераторовъ ограничиваются мѣологическимъ словаремъ, а научныя—словаремъ историческимъ; французская словесность служитъ для нихъ исключительнымъ образцомъ. А если бы древность, общая наставница просвѣщенныхъ народовъ, была и нашею наставницею,—мы спаслись бы отъ многихъ заблужденій Вандаловъ (французовъ), омрачившихъ Европу, отъ варварскаго вкуса Готтовъ, обременившаго ея поэзію

⁽¹⁾ Чтано 2 января 1814 г. въ торжественномъ собраніи И. П. Библіотеки, по случаю ея открытія. Напечатано въ «Описаніи этого открытія» и отдѣльной брошюрой.

варварскими цѣпями; не брадали бѣ великолѣпныхъ одѣ своихъ на готическихъ лирахъ; не основывали бѣ своей эпопеи на скудномъ зданіи поэмы французской; не дѣлали бѣ нашего театра зрѣлищемъ однихъ любовныхъ приключеній; не дали бѣ иностранцамъ упредить насъ глубокими познаніями и изысканіями нашей исторіи. Конечный выводъ «Разсужденія» тождественъ съ главнымъ тезисомъ Муравьева: словесность наша никогда не достигнетъ совершенства, если не будетъ у насъ классическаго ученія и если въ обществахъ мы не станемъ говорить по-русски.

Гнѣдичъ былъ откровеннѣе Муравьева-Апостола въ указаніи недостатковъ или темныхъ пятенъ нашей словесности. «Письма въ Нижній-Новгородъ» ратуютъ противъ пристрастія русскихъ къ французскому языку и французскимъ писателямъ, а «Разсужденіе», кромѣ того, затрогиваетъ и другія направленія современной литературы, вида въ нихъ свидѣтельства дурнаго вкуса. На ряду съ развращенною философіей (XVIII вѣка), оно осуждаетъ метафизическую поэзію, заимствованную у нѣмцевъ, приторную чувствительность и меланхолію—болѣзни новыхъ стихотворцевъ, и подобныя тому «странности, не имѣющія ни роду, ни имени, занятія праздности и лѣни, которыя внушаетъ дурной вкусъ, но которыми прихоть и мода даютъ иногда въ обществахъ торжество кратковременное». Критика Гнѣдича могла возбудить неудовольствіе въ извѣстнѣйшихъ писателяхъ того времени. Онъ не упомянулъ даже имени Жуковскаго, который имѣлъ право принять на свой счетъ метафизическую поэзію и меланхолію. Карамзинъ не признается образователемъ желаннаго средняго слога. Понятно, что нѣкоторые карамзинисты недружелюбно относились къ Гнѣдичу, какъ литератору иного образа мыслей. Графъ Блудовъ, въ письмѣ къ Дмитріеву, замѣтилъ, что въ домѣ Олениныхъ удивляются только Гнѣдичу, какъ въ Бесѣдѣ—Шихматову, а въ Москвѣ—Мерзлякову; Жуковскій въ шутку прозвалъ Гнѣдича «гнѣдко», примѣнивъ къ его гексаметрамъ стихъ изъ «Овсянаго киселя»:

Вотъ и ~~гнѣдко~~ потащился на мельницу съ возомъ тяжелымъ.

Съ вопросомъ о важности изученія классическихъ писателей неизбежно соединялся вопросъ о способахъ переводить ихъ. Последній разъясненъ С. С. Уваровымъ, почерпавшимъ свои доводы не изъ одного знакомства съ образцами, но также изъ нѣмецкой науки, которую онъ зналъ основательно. Состояніе современной филологіи и эстетики было ему извѣстнѣе, чѣмъ Муравьеву-Апостолу и Гнѣдичу. Онъ въ надлежащемъ свѣтѣ показалъ отношеніе формы къ идеѣ въ поэтическихъ созданіяхъ, — отношеніе, опре-

дѣляемое самою сущностью искусства. Свои мнѣнія объ этомъ предметѣ онъ высказалъ по случаю первыхъ опытовъ русскаго перевода Иліады, предпринятаго Гнѣдичемъ. Извѣстно, что первые шесть пѣсенъ этой поэмы, переведенныя Костровымъ, напечатаны 1787 г. Трудъ его, какъ человѣка «благонснусаго въ красотахъ отечественной словесности», уважался многими и дѣйствительно заслуживалъ уваженія. Гнѣдичъ началъ съ 7-ой пѣсни, выбравъ для перевода, въ подражаніе своему предшественнику, александрійскій стихъ, которымъ и перевелъ четыре пѣсни съ половиной ⁽¹⁾. Въ 1811 г. нашлось продолженіе перевода Кострова, именно пѣсни 7, 8 и половина 9-ой ⁽²⁾. Это открытіе не остановило Гнѣдича, но онъ уже сознавалъ бѣдность избраннаго имъ стихотворнаго размѣра и невозможность передать имъ въ точности красоты подлинника, хотя и не осмѣливался прибѣгнуть къ гексаметру, почитая его несвойственнымъ русской просодіи, послѣ Тилемахиды. Сомнѣнія его были разсѣяны Уваровымъ, по настоянію котораго онъ рѣшился замѣнить однообразный шестистопный ямбъ героическихъ стихомъ грековъ. Письмо Уварова къ Гнѣдичу о греческомъ гексаметрѣ ⁽³⁾ содержитъ въ себѣ также умныя сужденія о слѣпкомъ подражаніи нашихъ поэтовъ французамъ, благодаря которому мы усвоили не только иноземныя идеи, но даже иноземныя формы. Подражаніе идетъ отъ Ломоносова. Увлеченный общимъ въ его время предубѣжденіемъ, онъ написалъ двѣ пѣсни поэмы «Петръ Великій» шестистопными ямбами, хотя самъ, въ «Письмѣ о правилахъ русскаго стихотворства», наилучшею формою стиховъ почитаетъ гексаметръ. Съ тѣхъ поръ всѣ роды нашей словесности подчинились французскому вліянію: прежде чѣмъ образовался нашъ театр, мы стали строго соблюдать правила лжеклассической трагедіи и комедіи; характеръ, постройку и стихотворную форму одъ мы заимствовали у Малерба и Руссо. Чтобы высвободиться изъ-подъ ига, необходимо знать древность. Для распространенія этого знанія существуютъ два средства: правильное изученіе древнихъ языковъ и хорошіе переводы лучшихъ классическихъ писателей. Обращаясь за тѣмъ къ гексаметру, Уваровъ ставитъ общее положеніе, что версификація каждаго народа соотвѣтственна образу его мысли и генію его языка. Поэтому стихосложеніе грековъ есть одна изъ важнѣйшихъ красотъ ихъ поэзіи: каждый поэтический родъ имѣлъ свой размѣръ, каждый размѣръ — не только свои законы и пра-

¹⁾ Переводъ 7-ой пѣсни изданъ отдѣльно (1809), а 8-ой нап. въ 5 кн. Чтенія въ Бесѣдѣ (1812).

²⁾ Нап. въ В. Евр. 1811, №№ 14 и 15.

³⁾ Чтеніе въ Бесѣдѣ, кн. 13 (1813).

вила, но, такъ сказать, свой духъ и свой языкъ. Эпосъ былъ предоставленъ гексаметръ—ясный, плавный, богатый измѣненіями, гармоническій. Онъ также служилъ эпическимъ стихомъ у римлянъ. Изъ новыхъ народовъ, французы, по свойству языка своего, неспособнаго къ поэзіи, принуждены были метрическую систему грековъ замѣнить другою, въ которой не расположеніе слоговъ, а число ихъ принимается въ расчетъ, и рима служитъ прикрытіемъ бѣдности склада. У нихъ-то явился александрійскій стихъ—совершенная противоположность гексаметру: сухой, монотонный, съ невольнымъ удареніемъ на полустипіи. «Когда вмѣсто плавнаго, величественнаго гексаметра, говоритъ авторъ, я слышу скучный и сухой александрійскій стихъ, римою прикрашенный, то мнѣ кажется, что я вижу божественнаго Ахиллеса во французскомъ платьѣ... Прилично ли намъ, имѣющимъ изобильный, метрической просодію наполненный языкъ, заимствовать у иноземцевъ бѣднѣйшую часть языка ихъ, просодію, совершенно намъ несвойственную?... Если нѣмцы, владѣя языкомъ весьма непокорнымъ, достигли до того, что имѣютъ хорошіе и вѣрные метрическіе переводы, зачѣмъ намъ, русскимъ, не имѣть наконецъ перевода Омера гексаметрами?» Въ возможности русскихъ гексаметровъ Уваровъ убѣждается первыми памятниками нашего стихотворства, основаннаго на весьма опредѣленномъ произношеніи *долгихъ и краткихъ* слоговъ: надобно только воскресить просодію этого древне-русскаго стихотворства.

Въ отвѣтъ своемъ Гнѣдичъ изложилъ формы гексаметрическихъ измѣненій, чтобы показать превосходство эпическаго стиха древнихъ предъ александрійскимъ, и приложилъ опытъ перевода изъ 6-ой пѣсни *Иліады* гексаметрами ⁽¹⁾. Ни этотъ опытъ, ни мнѣніе Уварова не понравились Капнисту (автору *Ябеды*), не знавшему, по его собственнымъ словамъ, древнихъ языковъ, да и въ новѣйшихъ не очень искусному. Въ письмѣ къ Уварову ⁽²⁾ онъ старался доказать, что гексаметръ въ русскомъ языкѣ существовать не можетъ, такъ какъ онъ долженъ непременно оканчиваться спондеемъ, а спондеевъ у насъ очень мало, да и тѣ противны русскому уху. Вмѣсто слѣпнаго подражанія древнимъ, онъ совѣтуетъ, для усовершенствованія русскихъ стиховъ, искать свойственнаго имъ, пріятнѣйшаго склада—въ народныхъ пѣсняхъ. Совѣтъ подкрѣпленъ переводомъ отрывка изъ *Иліады* размѣромъ пѣсни: «какъ

⁽¹⁾ Чтеніе, кн. 3 (1813).

⁽²⁾ *ib.*, кн. 17 (1815).

бывало у насъ, братцы, черезъ темный лѣсъ» (хореями съ дактилическимъ окончаніемъ, по образцу сказки Карамзина: «Илья Муромецъ»).

Возраженія Калниста были опровергнуты Уваровымъ (1), который выражалъ мнѣніе, для многихъ тогда новое, но въ другихъ литературахъ, особенно въ нѣмецкой, общепринятое, какъ согласное съ понятіемъ о внѣшней формѣ поэтическихъ созданій. Уваровъ находить даже страннымъ защищать Гомера: это значило бы оправдывать его въ томъ, что онъ родился въ Греціи и воспѣвалъ троянскую войну. Стихосложеніе Гомерово есть совершеннѣйшій плодъ эпической поэзіи или, лучше сказать, источникъ оной, почему Аристотель и называетъ ее «повѣствующею и гексаметрами изображающею». Мнѣніе, будто мы не можемъ имѣть этого стиха потому, что у насъ нѣтъ спондеевъ, несправедливо: Уваровъ доказываетъ своему противнику, что не спондей, а дактиль есть истинная основа гексаметра, который весьма часто оканчивается хореемъ. Если и невозможно образовать настоящаго гексаметра, со всѣми отличіями, какія онъ представляетъ у древнихъ грековъ, то все же лучше пожертвовать нѣкоторою метрическою строгостью, какъ это и сдѣлали нѣмцы, нежели отказаться отъ надежды обогатить нашу просодію превосходнѣйшимъ размѣромъ, вполне соответствующимъ широкому, безграничному потоку эпическаго творенія. Переходя за тѣмъ въ предполагаемому переводу Иліады размѣромъ народныхъ русскихъ пѣсенъ, Уваровъ обличаетъ несостоятельность такого намѣренія, какъ несогласнаго ни съ понятіемъ о художественномъ воспроизведеніи образцовъ (со всѣми отличіями времени, мѣста и народнаго характера), ни съ понятіемъ о самой сущности поэтическихъ твореній, въ которыхъ идея и форма составляютъ единое и нераздѣльное:

Не въ томъ дѣло состоитъ, чтобъ написать поэму съ поэмы или чтобъ сохранить впечатлѣніе, производимое чтеніемъ Омера или всѣхъ древнихъ вообще надъ нѣсколькими только читателями. Мы должны стараться утвердить впечатлѣніе, производимое чтеніемъ ихъ надъ всѣми просвѣщенными умами, слѣдственно представить *отлично* творенія Омерова въ духѣ оригинала, съ его формами и со всѣми оттѣнками, такимъ образомъ, чтобъ мы имѣли въ глазахъ не Кострова, не Гнѣдича, но Омера — Омера въ яснѣйшемъ созерцаніи его красоты, Омера въ томъ видѣ, въ какомъ онъ плѣнялъ законодателя Спарты, побѣдителя Азій, Александрійскихъ мудрецовъ и весь, однимъ словомъ, блистательный рядъ его любителей въ древнемъ и новомъ мірѣ. Вотъ въ какомъ отношеніи могутъ древніе дѣйствовать надъ нами. Но чтобъ достигнуть сей цѣли, чтобъ распростра-

1) Въ отвѣтъ Калнисту (ib).

нить благодѣтельное ихъ вліяніе, необходимо нужно признать первымъ правиломъ, что *формы* въ поэзіи неразлучны съ *духомъ*; что между формами и духомъ поэзіи находится таже самая таинственная связь, какъ между тѣломъ и душою; что обоюдное ихъ вліяніе и дѣйствіе—формы на мысли, а мысли на форму—такъ тѣсны, что никакъ нельзя опредѣлить истинныхъ границъ ихъ, а еще менѣе расторгнуть ихъ союзъ, не жертвуя тою или другою. Союзъ сей въ поэзіи древнихъ еще сильнѣе, нежели въ стихотвореніяхъ новѣйшихъ народовъ. Въ греческой поэзіи всѣ формы изобрѣтены такъ счастливо, опредѣлены такъ глубокомысленно, что составъ ихъ служить путеводителемъ въ хранилище генія древности. Кто не чувствуетъ изящности стопосложенія Омера, Эсхила, Теокрита, Анакреона, тотъ теряетъ половину ихъ красоть.... Если доказано будетъ, что гекзаметрами переводить намъ Омера не можно, то я бы скорѣе предпочелъ *переводъ въ прозѣ*. Омеръ въ русскомъ зипунѣ столько же мнѣ противенъ, какъ и во французскомъ кафтанѣ. Переводить *Иліаду* русскимъ народнымъ размѣромъ еще хуже, чѣмъ переводить александрійскими стихами: ибо сей послѣдній стихъ, по большому употребленію, принадлежитъ *эпосъ* и занимаетъ мѣсто героическаго стиха во *всѣхъ* почти новѣйшихъ языкахъ.

Въ заключеніи письма, снова подтверждена необходимость образованія метрическую просодію, на геніи языка основанную, какъ она уже существовала въ нашемъ древнемъ стихотворствѣ: нужно только воскресить его. Наконецъ указаны способы для благоуспѣшнаго развитія отечественной словесности:

Безъ основательныхъ познаній и долговременныхъ трудовъ въ древней словесности никакая новѣйшая существовать не можетъ; безъ тѣснаго знакомства съ другими новѣйшими мы не въ состояніи объять все поле человѣческаго ума—обширное и блистательное поле, на которомъ всѣ предубѣжденія должны бы умирать и всякая ненависть гаснуть; но безъ собственныхъ формъ, языку нашему свойственныхъ, намъ никогда нельзя имѣть истинно-народной словесности. И такъ, на изысканіе сихъ формъ мы должны употребить всевозможное стараніе.

Въ слѣдствіе споровъ между Уваровымъ и Капнистомъ, Гнѣдичъ рѣшился перевести «*Иліаду*» размѣромъ подлинника: онъ взялъ смѣлость «отвязать отъ позорнаго столба стихъ Гомера и Виргилія, прикованный къ нему Тредьяковскимъ». За Уваровымъ и Капнистомъ слѣдовали другіе литераторы, принявшіе участіе въ спорѣ о гекзаметрахъ. Одни доказывали, что гекзаметръ рѣшительно несвойственъ нашему языку и не можетъ быть замѣненъ никакимъ другимъ размѣромъ; другіе, напротивъ, утверждали, что просодія наша способна къ полному и точному воспроизведенію древняго героическаго стиха; третьи, держась средняго мнѣнія, думали, что хотя у насъ нѣтъ настоящаго гексаметра, однакожъ мы имѣемъ средства образованія стихъ, ему подобный и могущій, въ случаѣ надобности, замѣнять его.

Отъ сужденій слѣдовало перейти къ опытамъ, которые своимъ достоинствомъ показали бы ихъ состоятельность и вѣрность. Первымъ капитальнымъ опытомъ былъ переводъ Иліады—добросовѣстный, двадцатилѣтній трудъ Гнѣдича (1784—1833), тѣмъ болѣе заслуживающій уваженія, что онъ начатъ и конченъ при обстоятельствахъ мало для него благоприятныхъ.

Переводчику предстояли большія трудности въ совершеніи задуманнаго имъ подвига.

Главнѣйшая изъ нихъ есть общая для всѣхъ поэтовъ, которые рѣшались воспроизвести Гомера на своемъ языкѣ. Истинно-познанный, художественный переводъ поэтическаго созданія обязанъ сохранить неизмѣннымъ не только его содержаніе, но и тонъ, характеръ, духъ его, опредѣляемый взаимнымъ отношеніемъ содержанія и формы. Это отношеніе должно во всей чистотѣ и ясности явиться на языкѣ перевода такимъ же, какимъ оно явилось на языкѣ подлинника. Если художественно-вѣрная передача ново-европейскаго поэтическаго произведенія, близкаго намъ по идеямъ, характеру и изложенію, требуетъ большаго искусства, то несравненно труднѣе имѣть дѣло съ твореніемъ вполне народнымъ, отдаленнымъ отъ насъ на тридцать вѣковъ, изображающимъ совершенно чуждую намъ жизнь. Гнѣдичъ вѣрно сознавалъ эту трудность: онъ опредѣляетъ ее «непрерывной борьбой переводчика съ собственнымъ духомъ, съ собственной внутреннею силою, которыхъ свободу должно обуздывать на каждомъ шагѣ, ибо выраженіе оной было бы совершенно противоположно духу Гомера». Такое всецѣлое, никогда не выпускаемое изъ виду отрѣшеніе отъ собственной личности, или, что одно и то же, такое всецѣлое соблюденіе объективности есть идеалъ, къ которому необходимо стремиться, но который достигается только до извѣстнаго предѣла. Большею или меньшею мѣрою предѣла и опредѣляется болѣе или менѣе удовлетворительное выполненіе задачи. Проникнуть въ духъ подлинника можно путемъ долговременнаго его изученія, даже безъ помощи высокаго поэтическаго таланта; но чтобы воспроизвести этотъ духъ въ переводѣ, одной науки недостаточно: надобно быть истиннымъ художникомъ. Къ сожалѣнію, Гнѣдичъ не владѣлъ высокимъ поэтическимъ дарованіемъ, хотя его рачительное изученіе подлинника не подлежить спору.

Кромѣ борьбы съ собственнымъ духомъ, Гнѣдичъ велъ еще борьбу и съ греческимъ языкомъ, съ его богатыми, разнообразными формами и оборотами. Для перевода Гомеровою поэмою необходимо было создать эпическій складъ, по возможности равносильный складу подлинника, чтобы на чуждомъ языкѣ она возбуждала въ читателѣ

тоже настроеніе, какое производила на языкъ родномъ. Гнѣдичъ хорошо чувствовалъ и эту трудность, тѣмъ болѣе, что онъ началъ поздно изучать греческій языкъ, почему и не успѣлъ усвоить его въ совершенствѣ, но въ тоже время видѣлъ, что русскій переводчикъ найдетъ средство для побѣды надъ ней въ своемъ языкѣ — богатомъ, гибкомъ, просодическомъ, обладающемъ драгоценнѣйшимъ свойствомъ, особенно для перевода съ греческаго, *свободнымъ словорасположеніемъ*. «Я былъ вѣренъ Гомеру», говоритъ онъ, «и, слѣдуя умному изреченію: *должно переводить правъ, такъ же какъ и языкъ*, я ничего не опускалъ, ничего не измѣнялъ. У великихъ писателей есть такія выраженія, которыхъ сила, хорошо чувствуемая, болѣе, нежели дѣлая книга, даетъ понятіе о лицѣ, которое произноситъ ихъ, или о народѣ, который ихъ употребляетъ. Дѣлая выраженія греческія русскими, должно было стараться, чтобы не сдѣлать русскою мысли Гомеровою, но что еще болѣе — не украшать подлинника. Очень легко украсить, а лучше сказать — подерасить стихъ Гомера краскою нашей палитры: и онъ покажется щеголеватѣе, пышнѣе, лучше для нашего вкуса; но несравненно труднѣе сохранить его Гомерическимъ, какъ онъ есть, ни хуже, ни лучше. Вотъ обязанность переводчика, и трудъ, кто его испыталъ, не легкій. Квинтиліанъ понималъ его: *facilius est plus facere, quam idem* (легче сдѣлать болѣе, нежели тоже) ⁽¹⁾».

Послѣдняя трудность — самый стихъ, гексаметръ, еще мало обработанный русскими поэтами въ то время, когда Гнѣдичъ принялся за переводъ Гомера. Извѣстно, что разсужденія Тредьяковскаго о свойствахъ героическаго метра древнихъ гораздо лучше, чѣмъ самый метръ, употребленный имъ, впервые, въ Тилемахидѣ. Въ первыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія Востоковъ представилъ опыты стихотворныхъ размѣровъ, между прочимъ и гексаметра, взятыхъ, по примѣру нѣмцевъ, съ латинскаго и греческаго. Но первенство приложенія гексаметра къ переводу древняго эпоса, равно какъ и обработка этого стиха, не имѣвшего почти образцовъ и неустроеннаго, бесспорно принадлежать Гнѣдичу. Поэтому онъ справедливо смотрѣлъ на Жуковскаго и Дельвига, какъ на своихъ послѣдователей, хотя и очень скромно отзывался о самомъ себѣ: «если мои собственныя усилія несчастны, по крайней мѣрѣ послѣдствія не безплодны».

Изложивъ, въ предисловіи къ своему труду, условія, при которыхъ переводъ Гомера становится вѣрнымъ и вмѣстѣ художественнымъ, Гнѣдичъ не вполне ихъ выдержалъ, и потому его переводъ,

¹⁾ Предисловіе къ Илиадѣ.

ист. русск. лит. т. 2.

при существенных достоинствах, имѣть и недостатки. Главное достоинство его—точность, не исключающая художественности, по крайней мѣрѣ въ извѣстной степени. Главный недостатокъ его—отсутствіе простоты: переводчикъ сообщилъ гомерическимъ пѣснямъ какую-то торжественность, настроилъ ихъ на риторическій тонъ, чему особенно способствовало излишнее и не всегда разборчивое употребленіе славянскихъ словъ и оборотовъ. Справедливо упрекая современное ему общество въ предвзятыхъ понятіяхъ о древности, Гнѣдичъ не могъ однакожъ освободиться отъ обычнаго мнѣнія, будто искусственная важность тона есть необходимая принадлежность эпоса. Языкъ перевода, вообще крѣпкій и мужественный, иногда тяжелъ: стараясь о вѣрнѣйшемъ воспроизведеніи подлинника, переводчикъ тѣмъ самымъ повредилъ конструкціи и характеру родной рѣчи.

Большая заслуга Гнѣдича не была и не могла быть оцѣнена современною ему публикой, по недостатку знакомства съ древнею поэзіею и слѣдовательно по невозможности постигать красоты ея, даже въ средѣ литераторовъ, которые очень часто произносили имя Гомера, но большинство ихъ не читало ни *Иліады*, ни *Одиссеи*, не только въ подлинникѣ, даже во французскомъ переводѣ ⁽¹⁾. О нелитературныхъ кругахъ и упоминать нечего. «Древняя тѣма лежитъ на рощахъ русскаго Ликее», говоритъ Гнѣдичъ: «у насъ нѣтъ еще никакихъ руководствъ къ понятіямъ справедливымъ о древности, и слѣдственно къ чтенію древнихъ писателей съ удовольствіемъ и пользою»,—не то что въ Германіи, гдѣ «изученіе Гомера такъ же тѣсно соединено съ воспитаніемъ юношества, какъ могло быть у Грековъ. Наши учителя до сихъ поръ головы героевъ Гомеровыхъ ненаказанно украшаютъ перьями, а руки вооружаютъ сталью и булатомъ. И мы, ученики ихъ, оставляемые учителями въ понятіяхъ о древности, совершенно превратныхъ, удивляемся, что Гомеръ своихъ героевъ сравниваетъ съ мухами, богинь съ птицами; сожалѣемъ о переводчикахъ его, которые такими дикостями оскорбляютъ вкусъ нашъ. *Надобно подлинникъ приравнивать къ странѣ и еяку*, въ которомъ пишутъ: такъ нѣкогда думали во Франціи и Англіи; такъ еще многіе не перестали думать въ Россіи. У насъ еще господствуютъ тѣ одно-

¹⁾ Одинъ изъ немногихъ тому примѣровъ—Хмѣльницкій, драматическій писатель. Онъ рѣшился прочесть *Иліаду*, во французскомъ переводѣ, только по настоянію своего пріятеля Катенина, человека образованнаго, не допускавшаго, что можно быть литераторомъ безъ положительнаго знакомства съ классическими образцами литературы. Хмѣльницкій признался ему, что онъ прочиталъ только четыре пѣсни. Скука страшная! говорилъ онъ: только и дѣло, что герои ругаются какъ извозчики, да жрутъ барановъ.

стороннія литературныя сужденія, которыя достались намъ въ наслѣдство отъ аббатовъ». Равнодушіе соотечественниковъ глубоко огорчило Гнѣдича, тѣмъ болѣе, что онъ, предвидя всѣ трудности своего подвига, имѣлъ право думать, что эти трудности были имъ преодолены по мѣрѣ силъ и что переводъ его, при всѣхъ недостаткахъ, долженъ занять въ нашей литературѣ такое же почетное, если не высшее, мѣсто, какое занимаетъ Фоссовъ переводъ въ литературѣ нѣмецкой. Утѣшеніемъ Гнѣдичу служили одобрительныя, сочувственныя отзывы хотя немногихъ, но просвѣщенныхъ любителей изящнаго. Пушкинъ въ томъ числѣ поэтически выразилъ впечатлѣніе, произведенное на него чтеніемъ перевода:

Слышу умолкнувшій звукъ божественной эллинской рѣчи;
Старца великаго тѣнь чую смущенной душой.

Сказавъ о переводѣ Иліады, мы не должны забыть перевода Аристофановой комедіи: «Облака» (1821). Переводчикъ, И. М. Муравьевъ-Апостолъ, издалъ его вмѣстѣ съ греческимъ текстомъ, снабдилъ подробными историко-филологическими примѣчаніями и въ предисловіи старался объяснить причины, которыя побудили аѳинскаго комика осмѣять Сократа. Хотя вопросъ объ отношеніи комедіи къ знаменитому философу рѣшается теперь иначе, но для насъ, въ сужденіяхъ переводчика, замѣчательнъ не самый отвѣтъ, а непредубѣжденный взглядъ на классическую древность. Переводчикъ ставитъ себѣ и другимъ за правило отрѣшиться отъ бытаевъ и предрассудковъ XIX вѣка, когда идетъ рѣчь о Перикловѣмъ вѣкѣ, забыть современныя «условныя понятія» о театальной пристойности, не имѣющей никакого сходства съ тѣмъ, что было терпимо на театрѣ въ Аѳинахъ. Умный знатокъ и любитель древности остался вѣренъ взглядамъ, изложеннымъ въ извѣстныхъ намъ «письмахъ». Онъ постоянно держалъ на умѣ зависимость искусства отъ времени и мѣста; отъ свойствъ народа и его исторіи: «при Людовикѣ XIV Аристофанъ былъ бы Мольеромъ, точно такъ какъ Мольеръ при Периклѣ, въ Аѳинахъ, не могъ бы ничѣмъ инымъ быть, какъ только Аристофаномъ. Вмѣнимъ ли мы сему послѣднему въ порокъ, что онъ принадлежалъ такому вѣку, а не иному?» (1).

1) О Мерзляковѣ см. Біографич. словарь профессоровъ Москов. университета.

О Мартиновѣ: «И. И. Мартиновъ», двѣ статьи г. Колбасина (Соврем. 1856, № 3 и 4).

О Гнѣдичѣ въ 2-мъ т. моей Истор. хрестоматіи.

О Муравьевѣ-Апостолѣ (Иванъ Матвѣевичъ, род. 1765, ум. 1851): Отчетъ Акад. Н. по отдѣленію русск. языка и словесности (Журн. Мин. Нар.

§ 20. Знакомство съ поэтической производительностью древняго и новаго міра, въ переводахъ или въ подражаніяхъ, раздвигало предѣлы нашей изящной литературы, указывая многообразіе художественныхъ образцовъ и ослабляя пристрастіе къ французскому классицизму. Для дальнѣйшихъ ея успѣховъ необходимо было развитіе самостоятельной поэзіи, постигающей характеръ народной жизни и выражающей ее въ подлинномъ ея видѣ. Высокимъ ея проявленіемъ, равно удовлетворявшимъ и чувству народности, и другимъ требованіямъ образованнаго вкуса, были басни Крылова.

Иванъ Андреевичъ Крыловъ (1768—1844) родился въ Москвѣ, но первые годы дѣтства провелъ въ Оренбургѣ, по службѣ отца, своего, бѣднаго армейскаго офицера, извѣстнаго храброю защитой Яицкой крѣпости отъ Пугачева. Съ окончаніемъ пугачевщины, отецъ его переселился на родину, въ Тверь, гдѣ занялъ мѣсто предсѣдателя губернскаго магистрата. Ему, конечно, а не матери, не знавшей даже грамоты, Крыловъ былъ обязанъ умѣніемъ читать и писать; дальнѣйшее образованіе получилъ онъ въ семействѣ предсѣдателя уголовной тверской палаты, Николая Петровича Львова, дяди Николая Александровича. Чтеніе книгъ, оставшихся по смерти отца (1780), служило другимъ образовательнымъ средствомъ, на этотъ разъ болѣе дѣйствительнымъ, чѣмъ уроки учителя: оно возбуждало интересъ къ литературѣ и стремленіе къ авторству, такъ что на пятнадцатомъ году (1782) Крыловъ написалъ оперу «Кофейница», вѣроятно, въ подражаніе одной изъ прочитанныхъ имъ піесъ. Почти одновременно съ ученіемъ началась и служба. Вынуждаемая бѣдностью, мать Крылова записала его подканцеляристомъ въ калезинскій уѣздный судъ, откуда онъ вскорѣ былъ переведенъ канцеляристомъ въ тверской магистратъ. Досужное время онъ любилъ проводить на базарѣ, площадяхъ, гдѣ происходили вулачные бои, или на плоту, куда

Просв. ч. LXXII); Воспоминанія Вигеля, ч. VI, гл. 3; Биографическій очеркъ (Рус. Старина, VII, 654—657). Письма изъ Нижняго-Новгорода содержатъ въ себѣ нѣсколько биографическихъ о немъ указаній: въ 1797 г., проѣзжая чрезъ Кевигсбергъ, былъ представленъ Канту; по прошествіи нѣкотораго времени поселился въ Гамбургъ и сблизился искреннею пріязнью съ Клопштокомъ, жившимъ тогда въ Альтонѣ; въ Парижѣ былъ во время Наполеонова консульства. Литературные труды его: переводы двухъ комедій — Шеридана «Школа злословія», съ англ. (1794) и Аристофана «Облака», съ греч. (1821); сочиненія: ком. «Ошибки, или утро вечера мудренѣе» (1794), «Путешествіе по Тавридѣ въ 1820 г.» (1823). Изъ мнѣній его, какъ сенатора, замѣчательно мнѣніе о ценсурѣ, по дѣлу Попова (Чтенія Общества Исторіи и древностей, 1869, кн. 4).

стесались водовозы и прачки; эти народные сборища были для него школой чисто-русского языка и вместе предметом наблюденія коренныхъ свойствъ русскаго человѣка. Въ 1782 г., мать его, желая выхлопотать себѣ пенсію и пристроить сына, отправилась въ Петербургъ ⁽¹⁾. Здѣсь Крыловъ опредѣлился сперва въ казенную палату, съ жалованьемъ по 2 руб. мѣсяцъ, а потомъ (1788) въ Кабинетъ Государини, гдѣ и оставался до конца 1790 г. Тяготясь службой, какого бы то ни было рода, онъ вышелъ въ отставку, чтобы посвятить себя литературѣ, и по смерти матери (1788) вполне предался театру и журналистикѣ. Вскорѣ по приѣздѣ въ столицу, онъ продалъ рукопись «Кофейницы» книгопродавцу, взявъ у него, вмѣсто денегъ, сочиненія Расина, Мольера и Буало, представилъ Княжину, какъ автору «Дидоны» и «Росслава», а черезъ него познакомился съ актеромъ Дмитревскимъ. За «Филомелой», оставшейся въ рукописи, слѣдовали еще двѣ трагедіи: «Клеопатра» (1785), тоже не изданная въ свѣтъ, и «Филомела» (1786) — первое напечатанное сочиненіе Крылова. Отъ театральныхъ піесъ Крыловъ перешелъ въ журналистикѣ: въ 1789 г., при сотрудничествѣ Радищева, онъ издавалъ «Почту духовъ», въ формѣ переписки жителей подземнаго царства; въ 1792, съ Клушинимъ, «Зритель»; въ 1793, также съ Клушинимъ, «Петербургскій Меркурій». Всѣ эти журналы были сатирическіе, служа какъ бы продолженіемъ литературной дѣятельности того же направленія, начатой «Всякою всячиной». Покончивъ съ повременными изданіями, Крыловъ возвратился къ театру и въ теченіи двухъ лѣтъ написалъ три комедіи: «Вѣшенная семья» (1793), «Проказники» (1793), «Сочинитель въ прихожей» (1794). О литературныхъ занятіяхъ его въ слѣдующіе два года (1795 и 1796) не сохранилось свѣдѣній; извѣстно только, что онъ, прекрасно играя на скрипкѣ, участвовалъ въ пріятельскихъ концертахъ и, кромѣ того, выучился италіанскому языку, такъ что могъ свободно читать на этомъ языкѣ книги. Съ 1797 до 1801 г. жилъ онъ въ Казацкомъ (киевской губ.), имѣніи кн. С. Θ. Голицына, который, скорѣ послѣ коронаціи Павла I, впалъ въ немилость за неуваженіе въ одному изъ временщиковъ и получилъ повелѣніе не выѣзжать изъ деревни. Здѣсь онъ давалъ уроки русскаго языка сыновьямъ князя, устраивать концерты на скрипкѣ для домашнихъ и написалъ двѣ піесы: трагедію «Трумфъ» (забавную

¹⁾ По словамъ г. Кеневича, Крыловъ ѣздилъ въ Петербургъ, отпросясь въ отпускъ на 29 дней, а за нимъ отправилась мать его (И. А. Крыловъ. Біографическій очеркъ во 2-ой кн. Вѣст. Европы 1868 г.).

пародію на классическія трагедіи французовъ) и комедію «Пирогъ». Въ числѣ учениковъ Крылова находился также Вигель (авторъ «Записокъ»), начертавшій замѣчательную характеристику своего учителя, какъ человѣка. Когда кн. Голицынъ былъ назначенъ рижскимъ военнымъ губернаторомъ (1801), онъ взялъ съ собою и Крылова правителемъ канцеляріи. Но Крыловъ не выказалъ ни охоты, ни способности къ этой должности, отъ которой былъ уволенъ въ 1803 г., оставшись при князѣ въ качествѣ собесѣдника. Въ 1804 г., по выходѣ своего патрона въ отставку, Крыловъ воротился въ Петербургъ. Гдѣ онъ провель 1804 и 1805 гг., биографы его не сообщили указаній. Полагаютъ, что онъ, пристрастившись въ Ригѣ къ картамъ и выигравъ тамъ значительную сумму (до 30 тысячъ руб.), разъѣзжалъ для карточной игры по разнымъ городамъ и между прочимъ посѣтилъ нижегородскую армарку. На обратномъ пути изъ Нижняго Новгорода (вѣроятно въ концѣ 1805 г.) былъ онъ въ Москвѣ, познакомился съ И. Дмитриевымъ и вручилъ ему переводы трехъ Лафонтеновыхъ басенъ: «Дубъ и Трость», «Разборчивая Невѣста», «Старикъ и трое молодыхъ», которыя напечатаны въ 1 и 2 №№ Московскаго Зрителя, издававшагося кн. Шаликовымъ въ 1806 г. На слѣдующій годъ вышли въ свѣтъ три драматическія піесы, безъ сомнѣнія, подготовленные прежде — въ деревнѣ кн. Голицына или въ Ригѣ: комедіи — «Модная лавка» и «Урокъ дочкамъ», и опера «Илья Богатырь». 1807-мъ годомъ заканчивается первая половина жизни и дѣятельности Крылова и начинается вторая: сочинитель драмъ и журналистъ-сатирикъ становится баснописцемъ.

Какъ прежде, изъ любви къ театру, Крыловъ познакомился съ Княжниннымъ и Дмитриевскимъ, такъ и теперь, воротясь въ Петербургъ, по тому же чувству сблизился съ кн. Шаховскимъ. «Драматическій Вѣстникъ», основанный послѣднимъ, украшался его баснями, первое изданіе которыхъ (въ числѣ 23-хъ) вышло въ 1809 и которыя поставили автора на ряду съ первоклассными нашими литераторами. Тѣснѣйшею дружбою и вмѣстѣ благодарностью за постоянное въ немъ участіе былъ онъ связанъ съ А. Н. Оленинымъ. Подъ начальствомъ Оленина началъ онъ снова службу при монетномъ дворѣ (1808) и продолжалъ въ Императорской Публичной Библіотекѣ помощникомъ бібліотекаря по русскому отдѣленію (съ 1812 по 1841). Но служба, какъ мы уже видѣли, имѣла для Крылова значеніе не столько серьезной обязанности, сколько спиекуры, доставлявшей ему возможность жить и по временамъ писать басни. «Съ этой эпохи» (съ поступленія

на службу въ Библіотеку), говорить Плетневъ, «началась для нашего поэта новая жизнь, тихая, беззаботная, однообразная, почти неподвижная. До 1841 г. (т.е. до выхода въ отставку) не перемѣнились онъ ни службы, ни литературныхъ занятій, ни даже квартиры. . . . Кромѣ выходовъ къ должности, очень легкой и неголовомолочной, кромѣ выѣздовъ къ обѣду въ англійскій клубъ (гдѣ онъ послѣ игралъ нѣкоторое время по привычкѣ въ карты, а подъ конецъ только дремалъ) и на вечеръ иногда къ Оленинымъ, Крыловъ ничего не полюбилъ какъ человѣкъ общественный и образованный, какъ писатель гениальный. Онъ продолжалъ отъ скуки сочинять иногда новыя басни, а больше читалъ самыя глушныя романы, особенно старинныя, — читалъ не для приобрѣтенія новыхъ идей, а чтобы убить только время. Можно одну сторону найти въ этомъ хорошую. Онъ доказалъ, что мелочное честолюбіе, чиновническое или писательское, не общая у насъ слабость. Не увлекаясь никакими замыслами, онъ отсторонился отъ людей, можетъ быть, не чувствуя въ себѣ столько свѣжести силъ, чтобы съ вѣрнымъ успѣхомъ раздвигать дорогу между ними. Но онъ и тутъ не былъ позабытъ ни въ какомъ отношеніи»⁽¹⁾. Дѣйствительно, въ первый годъ службы своей библіотекаремъ, Крыловъ, сверхъ жалованья, получилъ пенсію въ 1500 руб. ас. изъ Кабинета Государя, которая черезъ восемь лѣтъ (1820) была удвоена, а въ 1834 г. къ этимъ тремъ тысячамъ прибавилась новая пенсія, также въ 3000 руб., изъ государственнаго казначейства. Въ 1814 г. былъ ему пожалованъ чинъ коллежскаго ассесора, «въ уваженіе (какъ сказано въ рескриптѣ) отличныхъ дарованій въ російской словесности». Въ 1838 г., по случаю пятидесятилѣтняго юбилея его литературной дѣятельности, была выбита медаль съ его портретомъ и открыта подписка для учрежденія стипендіи (Крыловской) на воспитаніе одного или нѣсколькихъ молодыхъ людей, смотря по суммѣ, въ какомъ либо учебномъ заведеніи; самъ юбиляръ получилъ орденъ св. Станислава 1-ой степени. Эта дѣятельность Крылова, какъ баснописца, дѣлится на два неравномѣрные періода. Первые двѣнадцать лѣтъ (1806—1818) отличаются особенной плодотворностью: въ это время написано 140 басенъ; тогда какъ въ слѣдующее за тѣмъ двадцатипятилѣтіе (1818—1843) явилось только 58 басенъ, изъ которыхъ 39 падаютъ на два года (1825 и 1830), а на остальные 23 года приходится только 19. Самъ авторъ объяснялъ такую неравномѣрность не лѣнью и рав-

¹⁾ Жизнь и сочиненія Крылова.

нодушіемъ, а другою причиною. На вопросъ одной дамы, почему онъ болѣе не пишетъ басенъ, онъ отвѣчалъ: потому, что я болѣе люблю, чтобы меня упрекали, для чего я не пишу, нежели дописаться до того, чтобы спросили, зачѣмъ я пишу. По выходѣ Крылова въ отставку (1841), повелѣно было производить ему въ пенсію 5700 руб., что съ прежними шестью тысячами составило 11,700 рублей. Родныхъ у Крылова не осталось: братъ его (Левъ Андреевичъ) умеръ прежде него. За нѣсколько лѣтъ до смерти Крыловъ усыновилъ семейство крестницы своей (Савальевой), съ которыми и жилъ на одной квартирѣ. Прибавимъ, что Крыловъ, съ самаго основанія «Бесѣды любителей русскаго слова», находился въ числѣ ея членовъ, сходясь съ Шишковымъ въ нѣкоторыхъ взглядахъ на литературу и воспитаніе, и что изъ писателей самымъ близкимъ къ нему человѣкомъ былъ Гнѣдичъ, сослуживецъ его по Библіотекѣ.

Давно утвердилось мнѣніе, что Крыловъ созналъ свое истинное призваніе только съ 1806 г., т. е. съ того времени, какъ началъ писать басни. На это обстоятельство смотрѣли какъ на новое сходство нашего автора съ Лафонтеномъ, къ которому любили его приравливать и который прежде, чѣмъ сдѣлаться баснописцемъ, пробовалъ свои силы въ другихъ родахъ поэзіи. Сходство оказывается, однакожъ, мнимымъ. Что вѣрно по отношенію къ Лафонтену, то невѣрно по отношенію къ Крылову. Если подъ словами Плетнева: «Крыловъ родился для насъ только въ 40 лѣтъ», разумѣется художественное превосходство второй половины его литературной дѣятельности, сравнительно съ первою, то еще можно допустить справедливость остроумной замѣтки, хотя не безъ оговорки, ибо превосходнѣйшее не есть что-либо совершенно новое. Если же въ переходѣ Крылова къ баснямъ открываютъ новый родъ дѣятельности, не имѣющій съ прежнимъ близкой внутренней связи, то замѣтку надобно отбросить какъ ошибочную и остановиться на мнѣніи совершенно противоположномъ, что Крыловъ, какъ писатель, никогда не измѣнялъ себѣ. Характеръ его сочиненій — постоянно сатирическій ⁽¹⁾. Сатира его мѣняла только формы, выражаясь сначала въ журнальныхъ статьяхъ и драмѣ, а потомъ уже, самымъ яркимъ образомъ, въ басняхъ, упрочившихъ за нимъ славу знаменитаго баснописца. Единство направленія доказывается, во-первыхъ, общностью предметовъ, которые интересовали Крылова

⁽¹⁾ Мнѣніе это высказано въ статьѣ Я. Грота: «Сатира Крылова и его Почта духовъ» (Вѣст. Европы 1868, кн. 3).

въ обѣ половины его авторскаго поприща, а во-вторыхъ, тѣмъ обстоятельствомъ, что какъ послѣ выставлялъ онъ личные и общественные недостатки въ притчахъ, такъ и прежде, въ сатиры своихъ журналовъ, любилъ пользоваться приточною формою. Ниме увидимъ, какъ зачатки нѣкоторыхъ басенъ были имъ начертаны еще въ раннюю пору его дѣятельности; позднѣе, они явились у него развитыми, полными образами, какъ художественныя произведенія. Форму басни почиталъ онъ наилучшею для цѣлей писателя. Признавая особенную силу за правоучительными правилами, выводимыми не изъ однихъ басенъ, но также и изъ другихъ сочиненій, онъ говоритъ: «надлежало бы поставлать въ число благодѣтелей рода человѣческаго того, кто главнѣйшія правила добродѣтельныхъ поступковъ предлагаетъ въ короткихъ выраженіяхъ, дабы они глубже впечатлѣвались въ памяти». Что бы ни разумѣлъ Крыловъ подъ правоучительными правилами, но гдѣ они могутъ быть предложены короче и выпуклѣе, какъ не въ апологахъ, и когда прочтѣе ложатся въ память, какъ не при чтеніи апологовъ?

Разсмотримъ же значеніе сатиры Крылова въ послѣдовательныхъ ея проявленіяхъ: сначала въ журнальныхъ статьяхъ, потомъ въ комедіяхъ и наконецъ въ басняхъ.

I. Крыловъ издавалъ три журнала: Почта духовъ (1789), Зритель (1792) и Санктпетербургскій Меркурій (1793). Первымъ изданіемъ завѣдывалъ онъ самъ, какъ его полный хозяинъ; вторымъ же и третьимъ въ сообществѣ съ Клушинымъ.

«Почта духовъ, или ученая, нравственная и критическая переписка арабскаго философа Маликульмулька съ водянными, воздушными и подземными духами», была чисто-сатирическимъ сборникомъ, при названіи котораго Крыловъ, вѣроятно, имѣлъ въ виду изданіе Ө. Эмина: «Адская почта или переписка хромоногаго бѣса съ Кривымъ (1779)» ⁽¹⁾. По преданію, Крылову принадлежать только 18 писемъ жителей Плутонова царства, гномовъ: Зора, Буристона и Вѣстодава ⁽²⁾. Въ этихъ письмахъ, первомъ опытѣ своей сатиры, двадцатилѣтній писатель обнаружилъ рѣдкія для такого возраста качества: твердую постановку нравственно-общественныхъ требованій отъ русскаго человѣка, рѣшительный тонъ и силу обличеній и значительную литературную отдѣлку. Главная тема обличеній — иностранное воспитаніе нашихъ дворянъ, которое, со-

¹⁾ Первообразомъ же этого и подобныхъ ему изданій должно почитать *Le diable boiteux*, Лесажа.

²⁾ Этими преданіемъ руководствовались издатели «Полнаго Собранія сочиненій Крылова». Остальные письма, по соображеніямъ г. Пшенина, принадлежать Радищеву (Крыловъ и Радищевъ, В. Евр. 1865, кн. 5).

общая имъ вѣншній обликъ европейца, не только не дѣлало ихъ просвѣщенными, но и вытравляло изъ нихъ похвальныя черты отечественныхъ нравовъ. Отсюда, по мысли сатирика, взяли начало важнѣйшіе недостатки современнаго ему общества: презрѣніе къ родинѣ, ея обычаямъ и языку, безумная расточительность, легкое понятіе о бравѣ, внутренняя пустота, грубый, ничѣмъ не сдерживаемый произволъ. Щеголяя моднымъ платьемъ и французскимъ общежитіемъ, петиметры въ тоже время щеголяли и развратомъ; отъ дрянныхъ родителей происходили дрянныя отрасли, которыя, однакожъ, готовились занимать важныя мѣста въ государствѣ; роскошь падала всею своею тягостію на земледѣльческій классъ и кромѣ того причиняла страшную дороговизну въ городахъ и упадокъ отечественной торговли: «богатый помѣщикъ превращалъ свой хлѣбъ и своихъ крестьянъ въ модные товары, а французы имѣли искусство дѣлать эти товары такими, чтобы превращались они черезъ мѣсяцъ въ ничто». На ряду съ этими фактами домашней и публичной безнравственности, особенно преслѣдуемыми Крыловымъ, въ изображеніяхъ его являются: игроки, плуты-купцы, взяточники, спесивцы, съ ихъ самовеличіемъ не по заслугамъ, писатели-льстецы, скрывающіе пороки своихъ одноземцевъ и воспѣвающіе небывалыя доблести вельможъ, или гнусные сатирики, ругающіе свое отечество частію изъ тщеславія, частію изъ злорадства и т. п.

Въ сущности эта сатирическая тема не была новостью. Начиная съ Кантемира, вѣншній европеизмъ служилъ предметомъ негодованія или глумленія нашихъ писателей: Фонъ-Визинъ представилъ его въ Бригадирѣ; журналы 1769 — 74 гг. посвящали ему почти половину своихъ разсказовъ. Тоже дѣло преемственно продолжалъ Крыловъ, при которомъ сильнѣе распространились и ярче обозначились слѣдствія французскаго вліянія на русскихъ дворянъ. Но для сатириковъ первой половины царствованія Екатерины II, особенно для Новикова, эти слѣдствія составляли только одну сторону ихъ наблюдательности, и при томъ менѣе важную, чѣмъ другая сторона — грубое невѣжество старины. У Крылова отношеніе между двумя источниками общественнаго нестроенія измѣнилось: по его понятію, главное зло кроется въ невѣжествѣ новаго рода — полуобразованности, почему онъ особенно и не расположенъ къ ней. Нѣкоторыя мѣста «Почты духовъ» прямо указываютъ, что бравственность русскихъ ухудшалась по мѣрѣ ихъ равнодушія къ предкамъ. Гнѣвъ сатирика болѣе падаетъ на современныя родителей и дѣтей ихъ; онъ меньше касается дѣдушекъ, и бабушекъ, «скучныя предразсужденія которыхъ не заппнають уже

новыхъ кавалеровъ и дамъ на пути ихъ тайныхъ приключеній». Крыловъ иронически отъмывается о просвѣщеніи, съ развитіемъ котораго бытъ всѣхъ сословій пришелъ въ разстройство. Въ одномъ письмѣ купецъ говоритъ: «были здѣсь варварскія времена, когда у насъ спрашивали лучшаго (товара); но *просвѣщеніе* переѣнило такіе грубые нравы, и мы теперь нерѣдко беремъ за серебро обыкновенную цѣну, по 24 коп. и менѣе, за золотникъ, а за такой же золотникъ стали платить намъ по 120 руб.» Просвѣщеніе, ииѣнныя званія и названія, не ослабляетъ пороковъ и дурныхъ наклонностей, а, напротивъ, даетъ имъ большую пищу и благовидный покровъ: «въ старину плутовство было во всей своей силѣ, но какъ *просвѣщеніе* начало умножаться, то наши промышленники приняли на себя разныя имена: первостатейные сдѣлались старшинами и законниками, другіе купцами, а третьи ремесленниками и поселянами; но, переѣнныя званія, жители не переѣнили своихъ склонностей, и плутовство никогда столько не владычествовало надъ ними, какъ послѣ сей переѣнны, такъ что наконецъ оно превратилось въ совершенный грабежъ, которому, однакожъ, даны самыя честныя виды».

Такое направленіе мысли въ двадцатилѣтнемъ сатирикѣ замѣчательно. Оно доказываетъ степенность не по возрасту, такъ сказать врожденное благоразуміе, которое не подкупается никакимъ блескомъ и новизной. Молодость всегда почти порывается впередъ, нерѣдко переступая въ своемъ порывѣ должную мѣру; Крыловъ, напротивъ, сколько по темпераменту и воспитанію, столько же по образу мысли, съ самаго начала объявилъ себя консерваторомъ. Къ переѣнкамъ, въ какой бы то ни было сферѣ, относился онъ равнодушно или недовѣрчиво; а если онѣ являлись съ самонадѣянностью и рѣзкостью, обнаруживая при этомъ угловатости и педантизмъ, то онъ встрѣчалъ ихъ ироніей. Охранительный, устойчивый взглядъ на вещи сводилъ его съ людьми, отличавшимися тѣмъ же направленіемъ, и разводилъ съ тѣми, въ которыхъ онъ замѣчалъ стремленіе къ чужеземной образованности. Этимъ обстоятельствомъ объясняется неприязненное отношеніе «Зрителя» къ Карамзину, издававшему въ то время «Московскій Журналъ». Цѣль Зрителя состояла въ томъ, чтобы «порокъ, представленный во всей гнусности, вселялъ отвращеніе, а добродѣтель, изображаемая во всей красотѣ, плѣняла собою читателя». Кромѣ редактора Клушина, сотрудниками Крылова по этому журналу были: Дмитревскій (извѣстный трагикъ), Плавильщиковъ, Ѳ. Туманскій (издатель многихъ матеріаловъ по Русской Исторіи) и Н. Эминъ (сынъ издателя Адской Почты и авторъ ком. «Знатоки», имѣвшей

въ свое время успѣхъ). Независимо отъ раздраженія, возбужденнаго въ нихъ критикой Московскаго Журнала, были и другія причины ихъ неблаговоленія къ Карамзину. Они почитали себя представителями національнаго чувства, а въ Карамзинѣ видѣли представителя европеизма на французскій ладъ, противоположнаго себѣ дѣятеля. Имъ не могли нравиться нововведенія русскаго путешественника въ языкъ и литературѣ: этотъ языкъ, по ихъ мнѣнью, искажалъ чисто-русскій складъ рѣчи несвойственными ей словами и оборотами; эта литература представила образцы сентиментализма, занесеннаго изъ чужихъ краевъ. Въ понятіяхъ о театрѣ, «Зритель» держался ложно-классическаго ученія и французскихъ образцовъ, обзывая Шекспировъ вкусъ кабацкимъ, тогда какъ Карамзинъ осуждалъ неестественность французской трагедіи, ставя Шекспира несравненно выше Корнеля, Расина и Вольтера. При томъ направленіи мысли, какое усвоилъ себѣ Крыловъ, неудивительно, что онъ стоялъ на сторонѣ Шипкова и былъ членомъ «Бесѣды», принимая участіе въ ея чтеніяхъ.

Лучшее содержаніе «Зрителя» составляютъ статьи Крылова, преимущественно: «Каибъ» (повѣсть) и «Похвальная рѣчь въ память моему дѣдушкѣ». Каибъ принадлежитъ къ разряду такъ называемыхъ восточныхъ повѣстей. Главная часть разсказа—мнѣніи визирей о томъ, какимъ бы образомъ калифу совершить путешествіе такъ, чтобы подданные не замѣтили его отсутствія. Рѣшенія этой задачи, высказанныя Дурсаномъ, Ослашидомъ, Грабляемъ, мастерски представляютъ раболопство дивана передъ повелителемъ, который, только подъ своимъ смотрѣніемъ, позволяетъ совѣтникамъ мыслить. Повѣсть содержитъ также забавныя выходы противъ «безпріютныхъ строителей храмовъ славы» (сочинителей похвальныхъ одъ) и противъ идилликовъ, изображающихъ золотой вѣкъ въ жизни поселянъ. «Похвальная рѣчь въ память моему дѣдушкѣ» иронически восхваляетъ достоинства помѣщика (какихъ въ то время было не мало), «лучшаго друга собакъ всего свѣта и сердца котораго было, такъ сказать, стойломъ его лошади». Кромѣ дарованія въ псовой охотѣ, дѣдушка «имѣлъ тысячу другихъ, приличныхъ и необходимыхъ нашему брату дворянину: онъ показалъ, какъ должно проживать въ недѣлю благородному человѣку то, что двѣ тысячи подвластныхъ ему простолюдиновъ вырабатываютъ въ годъ; онъ сильные подавалъ примѣры, какъ эти двѣ тысячи человѣкъ можно пересѣчь въ годъ раза два-три съ пользою; онъ имѣлъ дарованіе обѣдать въ своихъ деревняхъ пышно и роскошно, когда казалось, что въ нихъ наблюдался величайшій постъ». Описаніе, не уступая въ ѣдкости лучшимъ очеркамъ Но-

виковского «Живописца», превосходить их остроуміемъ и литературной отдѣлкой. Въ «Санктпетербургскомъ Меркуріи» Крыловъ помѣстилъ двѣ сатиры: «Похвальная рѣчь наукѣ убивать время» и «Похвальная рѣчь Ермалафиду (¹), говоренная въ собраніи молодыхъ писателей». Обѣ онѣ исполнены рѣзкихъ нападеній—первая на празднолюбцевъ, вторая на бездарныхъ авторовъ.

Многія мѣста журнальныхъ статей Крылова давали чувствовать, что басня со временемъ сдѣлается любимую формою его сатиры. Идеи и образы нѣкоторыхъ басенъ вырабатывались имъ прежде, чѣмъ онъ направилъ свою дѣятельность исключительно на этотъ родъ произведеній. Чтò прежде было отрывочнымъ представленіемъ, назначеннымъ подкрѣплять какую-нибудь мысль или разъяснять характеристику какого-нибудь лица, то впоследствии получало самостоятельное значеніе и поэтическую отдѣлку. Такъ, напримѣръ, тема басни Вельможа (1835) занимала Крылова въ «Почтѣ духовъ» и въ «Ночахъ». По разсказу гнома Вѣстодава, изъ трехъ адскихъ судей — двое (Родомантъ и Эакъ) совершенно оглохли, а третій (Миносъ) навсегда лишился ума. Чтобы не обидѣть ихъ, изъ уваженія къ ихъ долговременной службѣ, поданъ совѣтъ—«приставить къ нимъ умнаго секретаря, который бы, вмѣсто ихъ, разсматривалъ дѣла, а они подписывали бы то, что онъ имъ скажетъ». Въ разсказѣ: «Ночи», «превосходительный господинъ привыкъ думать секретарскою головою, которая есть его душа, а вельможа — ея тѣло», такъ что «онъ основательно можетъ сказать въ извиненіе непрерывнаго своего сна: духъ бодръ, но плоть немощна, т. е. секретарь рожденъ обдумывать, а я подписывать съ просонья его мысли». Первообразъ басни «Вороненокъ» (1811) находится въ разсказѣ о судейскихъ приговорахъ бѣдняку и богачу, несоразмѣрно ихъ виновности: бѣднякъ, голодомъ вынужденный украсть платокъ, былъ присужденъ къ висѣлицѣ, а богачъ, наворовавшій изъ государственной казны нѣсколько миліоновъ, оправданъ. Ясный очеркъ басни: «Слонъ и Моська» (1808), только подъ другимъ иносказаніемъ, представляютъ «Мысли философа по модѣ»: «Ничто такъ не блистательно, какъ молодой человѣкъ, когда онъ шутитъ надъ важными вещами, не понимая ихъ. При всей мелкости своего ума, онъ тогда такъ милъ, какъ болонская собачка, которая бросается на драгунскаго рослаго капитана и хочетъ его разорвать, между тѣмъ какъ онъ равнодушно куритъ трубку, не занимаясь ея гнѣвомъ. Какъ мила и забавна смѣлость этой собаченки, такъ точно забавна смѣлость ума, когда огры-

¹) Ермалафидъ — человѣкъ, несущій *ермалафію* или чепуху.

зается онъ на вещи, передъ которыми онъ менѣе, нежели болонская собачка передъ драгунскимъ капитаномъ». Крыловъ любитъ прибѣгать къ подобію, какъ зародышу басни, изъ котораго она легко развивается при посредствѣ фантазіи. Въ повѣсти «Кайбъ» погоня кота за мышью, старающейся увернуться отъ своего врага, уподобляется погонѣ судьи за взяткой: «такъ точно челобичикъ желаетъ увернуться отъ подарка своему судѣ; но напрасно заговариваетъ онъ съ нимъ о дурной погодѣ и о хорошей, о старыхъ временахъ и о нынѣшнихъ; хотя бы онъ заговорилъ съ нимъ о Эмпедокловыхъ туфляхъ, взятобратель и отъ нихъ искусно склонитъ рѣчь на то, что ему надобны деньги». Но есть у Крылова и цѣльная, развитая басня, съ правоученіемъ, въ повѣсти Кайбъ: «Славный живописецъ, плѣнясь новою мыслью, вздумалъ написать Венеру, натянулъ кусокъ полотна и съ великимъ успѣхомъ исполнилъ свое намѣреніе. Картина была драгоцѣнна и современемъ стала украшеніемъ чертоговъ славнѣйшаго императора. Множество зрителей стекалось ее смотрѣть. Полотно, на которомъ была написана Венера, вздумало, что оно причиною всѣхъ восторговъ, примѣчаемыхъ въ зрителяхъ. Паукъ, раскидывая на немъ сѣти для мухъ, вывелъ его изъ заблужденія. Ты напрасно гордишься, полотно, сказалъ онъ: еслибъ не вздумалось славному художнику покрыть тебя блестящими красками, то ты давно бы истлѣло, бывъ употреблено на обтирку посуды».

II. Изъ драматическихъ піесъ Крылова только двѣ имѣли успѣхъ на сценѣ: «Модная лавка» и «Урокъ дочкамъ».

Преслѣдуя французское воспитаніе, какъ главную причину легкаго взгляда нашихъ дворянъ на нравственность и пристрастія ихъ къ роскоши и мотовству, Крыловъ еще въ «Почтѣ духовъ» постоянно выставилъ тотъ вредъ, который причиняли намъ иностранные учителя и иностранные торговки модными товарами. Одно изъ писемъ гнома Зора вводитъ читателя въ магазинъ, содержимый француженкой, которая «покупала у русскихъ купцовъ гнилые товары и завертывала ихъ въ бумажки, украшенные французскими надписями, чтобы послѣ продавать за иностранныя». Сверхъ того, магазинъ служилъ притономъ недозволенныхъ свѣданій: здѣсь щеголь Скотонравъ обольщалъ молодую дѣвушку разными подарками при содѣйствіи ея гувернантки. По уходѣ покупателей, содержательница модной лавки передаетъ своему брату, бѣжавшему изъ смиреннаго дома, правила обращенія съ жителями русской столицы и способъ выгодно пользоваться ихъ легковѣріемъ. Таже тема положена въ основаніе комедіи «Модная лавка». Другая комедія названа «Урокомъ дочкамъ» потому, что доч-

ли, за ихъ слѣпое пристрастіе къ французскому языку, получаютъ чувствительный урокъ: съ слугой проѣзжаго офицера, назвавшимся маркизомъ Глаголемъ, онѣ обращаются какъ съ французскимъ маркизомъ. Здѣсь авторъ заимствовалъ главную мысль пьесы (урокъ) изъ ком. Мольера: «*Les précieuses ridicules*», а одну сцену изъ прежнихъ своихъ сочиненій, именно: первая сцена между Дашей и Семеномъ есть воспроизведеніе разговора между Машей и Мірабродомъ въ «Ночахъ». Плетневъ далъ справедливый отзывъ объ этихъ комедіяхъ: «хотя онѣ несравненно выше прежнихъ комедій Крылова движеніемъ и правдоподобіемъ событія, очертаніемъ характеровъ, указаніями на мѣстность и современные нравы, самымъ языкомъ, довольно естественнымъ, довольно разнообразнымъ; но въ подробностяхъ дѣйствій, въ составѣ сцены, въ развитіи предпріятій много еще ложнаго, изысканнаго, — и отъ того цѣлое больше утомляетъ зрителя, нежели проникаетъ въ его сердце. Между тѣмъ есть здѣсь явленія, исполненныя комическаго достоинства».

Шуточная трагедія «Трумфъ» презабавно пародируетъ постройку, тонъ и языкъ лжеклассическихъ французскихъ трагедій и кроме того осмѣиваетъ нѣмецкій выговоръ русскихъ словъ.

III. Въ развитіи басни различаютъ нѣсколько періодовъ и въ каждомъ періодѣ особый ея характеръ, какъ видоизмѣненіе существенныхъ ея свойствъ. Къ какому періоду относятся басни Крылова? Рѣшеніе этого вопроса необходимо для ихъ точнѣйшей характеристики.

Существуютъ два мнѣнія о происхожденіи басни: одно изложено Я. Гриммомъ, въ его изслѣдованіи средневѣковаго нѣмецкаго сказанія о жизни и похожденияхъ Лисы; другое, совершенно противоположное, высказано, по поводу этого изслѣдованія, Гервинусомъ ⁽¹⁾. Мнѣніе Гримма, какъ несомнѣннаго авторитета во всѣхъ случаяхъ касательно сущности и развитія естественной поэзіи, принято наукой. Оно состоитъ въ томъ, что корни басни, произведшимъ всѣ ея дальнѣйшіе виды, должно почитать сказаніе о животныхъ, животный эпосъ (Thiereros). Начало животнаго эпоса лежитъ въ непосредственномъ сочувствіи человѣка къ природѣ. Онъ возникаетъ у народовъ, въ историческую эпоху ихъ существованія, по глубокой, естественной потребности ихъ духа. Рассматривая многоразличныя способности и свойства животныхъ, человѣкъ признавалъ ихъ почти подобными себѣ существами. Отсюда явились тѣ представленія и вѣрованія, которыя и теперь еще

¹⁾ Reinhart Fuchs, von Jacob Grimm, 1835. Geschichte der poetischen National-Literatur der Deutschen, v. Gervinus.

могутъ жить среди наивно-дѣтскихъ, патриархальныхъ обществъ. Отъ однихъ животныхъ человѣкъ ожидалъ совѣта и помощи въ опасности; отъ другихъ, напротивъ, вреда и напасти. Постоянно открывалъ онъ въ нихъ сверхъ естественныя силы и суевѣрно острегался произносить ихъ имена, замѣняя ихъ ласкательными. Обращеніе людей въ животныхъ было вѣрованіемъ, произведшимъ догматы переселенія душъ. Безъ животныхъ не совершались нѣкоторыя жертвы, не произносились нѣкоторыя предсказанія. Они служили вожаками массъ при ихъ переселеніи съ одного мѣста на другое, помѣщались на небо для означенія созвѣздія, исполняли обязанности вѣстниковъ, предрекали счастье или бѣдствие. Нѣкоторымъ изъ нихъ приписывалось долготѣіе, далеко превышавшее положенный человѣку срокъ жизни. Поэзія, овладѣвъ этими и подобными имъ представленіями, сдѣлала дальнѣйшій и послѣдній шагъ въ отношеніи человѣка къ міру животныхъ: она надѣлила послѣднихъ, созерцаемыхъ по образу человѣка, необходимыми средствомъ ближайшаго съ нимъ общенія — даромъ членораздѣльной рѣчи. Выраженіе: «когда звѣри говорили», встрѣчающееся въ басняхъ и лишенное теперь значенія, имѣло въ первобытной баснѣ понятный смыслъ: оно указывало на близкое отношеніе людей къ животнымъ, воспоминаніе о которомъ сохранилось только въ поэтическихъ образахъ.

Изъ происхожденія и характера животнаго эпоса видно, что ему, какъ изображенію идеальной жизни животныхъ, созданному безмятежно-наивнымъ творчествомъ народа, вовсе несвойственна склонность къ сатирѣ, будетъ ли то осужденіе людей вообще, или насмѣшка надъ сословіями и личностями. Сатира всегда покойна, исполнена намековъ, дѣйствуетъ сознательно и намѣренно, преслѣдуетъ какую-нибудь цѣль, которой и подчиняетъ самое содержаніе. Животный же эпосъ не питаетъ ни къ чему ни намѣренного пристрастія, ни намѣренной нелюбви; онъ спокоенъ и безстрастенъ, исходя изъ внутренняго побужденія, а не изъ предвзятой цѣли. Онъ можетъ вырождаться и въ сатиру, даже личную, но только позднѣе, когда сословія политически усложнятся, удаляясь отъ непосредственнаго созерцанія природы: такъ народное остроуміе, въ послѣдствіи, примѣнило къ историческимъ событіямъ и лицамъ характеры и прозвища животныхъ, встрѣчающіяся въ германской сагѣ о Лисѣ. Еще меньше можно почитать животный эпосъ пародіей эпоса геронческаго: искаженное, намѣренное подражаніе поэтическимъ памятникамъ принадлежитъ также позднѣйшему времени.

Равнымъ образомъ животному эпосу чуждо направленіе дида-

тическое. Онъ не поучаетъ и не имѣетъ намѣренія поучать. И какое бы правоученіе можно было извлечь изъ него? Не то ли, что прожорливая хитрость (въ образѣ Лисы) всегда одерживаетъ верхъ надъ глупымъ обжорствомъ (въ образѣ Медвѣда)? Но думать такъ еще смѣшнѣе, чѣмъ думать, что пѣснь Нибелунговъ основана на ученіи, что убійство должно быть наказано, а Одиссея на томъ, что жены должны быть вѣрны мужьямъ своимъ. Конечно, животный эпосъ поучителенъ въ томъ смыслѣ, какъ поучительно каждое произведеніе поэзіи; но онъ возникаетъ не изъ желанія поучать. Нравственный урокъ добывается изъ поэтическихъ произведеній, какъ сокъ изъ винограда; но сладость винограднаго сока еще не содержитъ въ себѣ совершенно готоваго вина. Дидактическія, равно какъ и сатирическія цѣли приходятъ позднѣе, свидѣтельствуя не о свѣжести животнаго эпоса, а объ его ослабленіи и упадкѣ.

Животный эпосъ, по ученію Гримма, былъ общимъ достояніемъ народовъ индоевропейскаго племени въ доисторическій періодъ ихъ совмѣстной жизни, а съ выселеніемъ каждаго народа изъ первобытнаго отечества въ новое мѣстопробываніе становился его достояніемъ обособленнымъ. Но въ цѣльности онъ сохранился только у германцевъ: жизнь и похождения Лисы (Рейнгарта, Рейнеке) — единственный памятникъ сказанія о животныхъ, которое у другихъ одноплеменныхъ народовъ (Индійцевъ, Грековъ, Славянъ), съ теченіемъ времени и въ силу различныхъ обстоятельствъ, распалось на отдѣльныя сказки о животныхъ. Поэтому въ такъ называемыхъ Езоповыхъ басняхъ Гриммъ видитъ обломки или разрозненные члены первобытной, нѣкогда цѣльной, многообъемлющей греческой животной саги. Разрозненность почитаетъ онъ свидѣтельствомъ ослабленія или порчи поэтическаго и наивнаго элементовъ народнаго эпоса. Таже гипотеза, конечно, должна быть распространена и на басни Индійцевъ и Славянъ. Сходствомъ басенъ у разныхъ народовъ, даже у тѣхъ, которые не имѣли между собою никакого общенія и не могли ихъ заимствовать другъ у друга инымъ путемъ въ позднѣйшее время, подтверждается мысль о первоначальномъ единствѣ животнаго эпоса.

Таковъ взглядъ Гримма, принятый большинствомъ ученыхъ, какъ наиболѣе согласный съ существомъ и развитіемъ естественной поэзіи и ея переходомъ въ поэзію искусственную. Гервинусъ, напротивъ, рассматриваетъ животную басню независимо отъ животной саги, какъ предметъ самостоятельный, приписывая баснямъ Езопа если не старшинство происхожденія, то первенство по значенію предъ нѣмецкимъ сказаніемъ о Лисѣ. Заслуга его полемики съ Гриммомъ состояла въ томъ, что онъ обратилъ вниманіе на раз-

личіе между животнымъ эпосомъ (Thiereros) и животною баснею (Thierfabel). Впрочемъ, нѣкоторые ученые, становясь на сторону Гримма, тѣмъ не менѣе находятъ нужнымъ видоизмѣнить его мнѣніе въ виду литературныхъ, не подходящихъ подъ него фактовъ. Самымъ крупнымъ фактомъ служить отсутствіе животнаго эпоса у Грековъ. Не смотря на разительное сходство отдѣльныхъ Езоповыхъ басенъ съ нѣмецкими, можно утвердительно сказать, что до-гомерическаго существованія басенной сокровищницы у Грековъ не было; напротивъ, всѣ свидѣтельства ручаются за относительно позднѣйшее введеніе и дальнѣйшее усовершеніе этого рода поэзіи въ Греціи. Нельзя искать животной саги въ Ватрахоміомэхіи (Войнѣ мышей съ лягушками), которая ограничила дѣйствующія лица двумя видами животныхъ низшаго сорта, что явно противорѣчитъ столь необходимому для животнаго эпоса разнообразію, а введеніемъ цѣльныхъ двухъ народовъ, мышинаго и лягушечьяго, уничтожила въ особенности свойственную эпосу обрисовку характеровъ. Это—«пародія эпической формы», имѣвшая цѣлю, посредствомъ забавнаго контраста между выраженіемъ и содержаніемъ, осмѣять возвышенный полетъ героическаго гексаметра. Но какъ такая пародія могла представлять значеніе лишь въ то время, когда эпическая поэзія уже совершила свою миссію, послуживъ всестороннимъ выраженіемъ поэтическаго содержанія эллинской жизни, то Ватрахоміомэхію почитаютъ позднѣйшимъ издѣліемъ, приурочивая ее къ періоду послѣ персидскихъ войнъ, когда народный эпосъ сомкнулъ свой кругъ и дальнѣйшіе труды въ этомъ родѣ не переступали болѣе за предѣлы исключительной учености. Отсутствие животнаго эпоса у Грековъ объясняется отсутствіемъ въ нихъ сочувствія къ природѣ, какимъ въ сильной степени одарено германское племя. Эллинскому духу, исключительно обращавшемуся къ созерцанію и представленію чисто-человѣческаго, свойственно было пренебречь міромъ животныхъ. Развитіе человѣка въ народной и государственной сферахъ, могущественно проявившись при самомъ первомъ вступленіи Грековъ въ мировую исторію, овладѣло, какъ несравненно важнѣйшее, интересомъ поэзіи до того цѣлостно и всесторонне, что она не имѣла ни времени, ни желанія витать въ сферѣ низшей. Народъ, котораго колыбельною пѣснію были Илиада и Одиссея, достигнувъ болѣе зрѣлаго возраста, не могъ, по всей вѣроятности, забавляться похождениями Лисицы. Замѣчательно, что даже первые начатки греческой басни приписываются чужеземцамъ (фритійцамъ, ливійцамъ, сирійцамъ).

Образованіе животной басни, въ отличіе отъ сказанія о животныхъ, выводится изъ послѣдняго такимъ образомъ. Какъ въ ге-

роическомъ эпосѣ нѣкоторыя саги не были захвачены широкимъ потокомъ первостепенной пѣсни о герояхъ и существовали отдѣльно, а другія хотя и вошли въ составъ главнаго творенія, но могли на ряду съ нимъ жить и самостоятельную жизнь, такъ точно и въ эпосѣ животномъ: здѣсь находимъ многія саги, которыхъ нѣтъ въ связной повѣсти о главныхъ герояхъ животного царства, тогда какъ другія, въ ней находящіяся, существуютъ съ тѣмъ вмѣстѣ въ отдѣльной обработкѣ и иной формѣ. Когда уже гложетъ въ народѣ непосредственное чувство природы, умѣющее уживаться съ звѣрями и позволяющее звѣрямъ принимать участіе въ человѣческомъ быту, тогда этими обособленными, отдѣльно сохранившимися членами животной саги овладѣваетъ мыслительная способность, которая разсматриваетъ животное какъ существо строго отличное отъ человѣка и цѣнитъ только внѣшнее между тѣмъ и другимъ сходство. Искусственная поэзія обрабатываетъ сказаніе о животныхъ, согласно съ ихъ сущностью, какъ изображеніе человѣческой природы и человѣческой жизни; непосредственная истина жизни животныхъ становится подобіемъ человѣческихъ обстоятельствъ, безсознательное и безцѣльное представленіе дѣйствій между звѣрями—сознаваемымъ, въ одной цѣли направленнымъ рассказомъ; изъ саги, способной къ многоразличнымъ примѣненіямъ, хотя она нисколько не имѣла ихъ въ виду, извлекается одно определенное примѣненіе; спокойное, широко разливающееся изложеніе замѣняется краткимъ, сосредоточеннымъ вокругъ одной цѣли выраженіемъ,—и животный эпосъ даетъ начало животной басни. Оба эти рода поэзіи имѣютъ свое право на существованіе, какъ естественная или народная поэзія по праву существуетъ подлѣ поэзіи искусственной. Мы уже видѣли, что греческому духу свойственно было, пренебрегши животнымъ эпосомъ, исключительно образовать такъ называемую Езопову басню. Но басня можетъ образоваться и тамъ, гдѣ есть животный эпосъ, если только культурная поэзія развилась въ достаточной степени, какъ это и видимъ въ нѣмецкой поэзіи еще XIII в.

Въ первыхъ образцахъ своихъ, басня у Грековъ, равно какъ и у всѣхъ исторически извѣстныхъ намъ народовъ, обыкновенно присоединялась къ какому-нибудь определенному происшествію, изобрѣталась для поясненія обстоятельствъ, и свою цѣль имѣла не въ самой себѣ, а въ изясняемомъ обстоятельствѣ, входила ли она въ составъ публичныхъ рѣчей и поэтическихъ произведеній, или (что, вѣроятно, бывало чаще) придумывалась для минутной потребности и обращалась въ общественной жизни. Посему понятно сужденіе Квинтиліана, что простотѣ басеннаго міра и прелести чудснаго въ особенности свойственно убѣждать людей, стоящихъ на

низкой степени развитія. Какъ примѣръ, приводимый въ доказательство чего нибудь, басня представляла подчиненное значеніе: она служила намѣреніямъ поэта или оратора. Преданіе нерѣдко указываетъ дѣйствительныя событія и случаи, давшіе поводъ къ составленію тѣхъ примѣровъ, которые вообще приписываются Езопу: то удерживаетъ онъ самосцевъ отъ приговора надъ какимъ-то демагогомъ, то предвѣщаетъ дельфійцамъ небесное мщеніе, то убѣждаетъ коринтянъ не осуждать невиннаго на казнь, то удачнымъ оборотомъ рѣчи отдѣливается отъ насмѣшекъ грубыхъ матросовъ. Такъ какъ Езопъ вымышлялъ свои басни не для собственнаго увеселенія или для забавы другихъ, и не въ духъ общихъ тенденцій, а на извѣстный случай, то и нельзя назвать его вымысли поэтическими произведеніями въ собственномъ смыслѣ. Никто изъ древнихъ и не называлъ ихъ этимъ именемъ. Аристотелева піитика не упоминаетъ о баснѣ. Да и не могла она въ то время пользоваться такою почестью, ибо понятіе о поэзіи соединялось съ понятіемъ о стихотворной формѣ. Сократъ видѣлъ въ баснѣ грубый матеріалъ, изъ котораго только помощію метра и другихъ прикрасъ можетъ выдти произведеніе поэзіи. Что басня, въ первую эпоху своего существованія у Грековъ, имѣла значеніе простаго риторическаго средства, это видно и изъ того, что Аристотель и Квинтиліанъ помѣстили ее въ общей риторикѣ между пособіями для доказательствъ. И такъ, на первомъ стадіи, басня была не что иное, какъ *уподобленіе, придуманное для отдѣльнаго случая и изложенное въ формѣ разсказа, въ которомъ неразумныя существа, подобно существамъ разумнымъ, выводятся говорящими и дѣйствующими*. Басня, въ такомъ видѣ, служила выраженіемъ народной мудрости, какъ и пословица, съ тѣмъ различіемъ, что послѣдняя гораздо болѣе запечатлѣна національнымъ духомъ и въ созерцаніи предмета и въ его выраженіи. Названіе пословицы или присловья даже перешло на басню, которая въ XIII столѣтіи у нѣмцевъ называлась «Hispiel» (Beispiel) или «Biwurti» — рядомъ идущая рѣчь, присловье.

Когда поводы къ составленію басенъ, приписываемыхъ Езопу, были забыты, тогда онѣ начали снабжаться общею моралью. *На этомъ стадіи, басня обратилась въ аллегорическій разсказъ, поманившій свою цѣль въ выводимомъ изъ него нравоученіи*. Переходъ отъ перваго ея направленія къ нравоучительному легко представить. Басня, придуманная для какого нибудь факта, связывается съ нимъ предложеніемъ, къ которому онъ относится какъ нѣчто единичное къ общему. Это общее, важное какъ соединяющій членъ (*tertium comparationis* между фактомъ и баснею), и поставили конечною цѣлью басни. Такъ, на примѣръ, мысль, что слабый, но

уступчивый предмет противостоятъ силѣ гораздо лучше, нежели крѣпкій, но упрямый, выразилась въ отношеніи тростника и дуба къ бурѣ. Общностью мысли, направленной къ поученію, басня перешла въ область дидактической литературы, сдѣлалась чѣмъ-то среднимъ между поэзіей и прозой. Явились сборники, заключающіе въ себѣ болѣею частію такіа басни, изъ которыхъ извлекается опредѣленный нравственный урокъ. Древнѣйшій между ними составленъ Дмитріемъ фалерейскимъ (300 до Р. Х.). Ко времени Тиберія (14—37 по Р. Х.) относится переложеніе Езоповыхъ басенъ латинскими стихами; переводчикъ, Федръ, укрѣпилъ за ними, равно какъ и за своими собственными, поучительное направленіе, которое съ этихъ поръ и утвердилось въ литературѣ, такъ что правоучительный выводъ былъ признанъ существеннымъ элементомъ басни, а самая басня элементомъ прибавочнымъ или служебнымъ, чуждымъ всякаго самостоятельнаго значенія. Дидактизмъ особенно припалъ по вкусу тому понятію о поэзіи, которое, назначая ее для пользы и забавы читателей, желало удовлетворить стремленію вѣка къ холодной морализаціи и сказкамъ, какъ это и видимъ въ византійскихъ сборникахъ Езоповыхъ басенъ. Первый по времени изъ этихъ сборниковъ составленъ монахомъ Максимомъ Планудомъ, жившимъ въ XIV в. по Р. Х. Образцы басенъ исключительно правоучительныхъ породили ложныя теоріи, а теоріи, въ свою очередь, отразились на новыхъ, соотвѣтственныхъ имъ образцахъ. Лессингъ, имѣя передъ собою византійскіе сборники, усвоилъ тотъ же взглядъ: по его опредѣленію, басня есть вымышленный рассказъ о животныхъ, въ которомъ наглядно выступаетъ общее правоучительное положеніе. Какъ видно, въ его опредѣленіи нѣтъ ни одного признака (кромя вымысла), который напоминалъ бы о поэтической натурѣ басни. Басня, какъ чисто-дидактическое средство, отброшена имъ въ область нравственной философіи. Онъ низводитъ ее до примѣра и лишь краткости ради замѣщаетъ животными людей. Такимъ образомъ басня превращается въ упражненіе разума, въ школьную хрѣю. Лессингъ дѣйствительно и предназначалъ ее для педагогической цѣли, и чтобы не осталось на ней ни малѣйшаго слѣда поэзіи, онъ не допускалъ и употребленія стихотворной рѣчи. Его собственныя басни—не что иное, какъ умныя словопренія: звѣри львовъ и пустынь говорятъ у него такъ же образованно, утонченно и остро, какъ самъ великій критикъ, ихъ создавшій ⁽¹⁾.

¹⁾ Басни Лессинга нашли себѣ панегириста въ Гервинусѣ. Исходя изъ своей гипотезы о происхожденіи басни, историкъ нѣмецкой литературы говоритъ, что форма и направленіе, данныя баснѣ Лессингомъ, принадлежатъ ей исключительно и первоначально, что Лессингъ возвратилъ ей тотъ наивный, простой и всеобщій характеръ, которымъ отличалась она во времена Езопы.

Лессингово опредѣленіе басни съ одной стороны слишкомъ тѣсно, а съ другой слишкомъ обширно. Оно тѣсно, потому что признакомъ «нравоучительный» исключается изъ ея области множество очень хорошихъ стихотвореній, которыя во всѣ времена пользовались названіемъ басенъ, но которыя, по замѣчанію Гердера, ведутъ къ самымъ безнравственнымъ правиламъ, освящая хитрость, дерзость и насилие. Оно обширно, потому что возвышаетъ на степень басни важный примѣръ, придуманный для поясненія какого-нибудь нравоучительнаго положенія. Причина извращеннаго понятія заключалась именно въ томъ, что общее сужденіе, которому басня служить примѣромъ, обратили въ нравоученіе. Поэтому въ баснѣ, какъ стихотвореніи дидактическомъ, поучительномъ, эпическій и нравоучительный элементы распались на двѣ кое-какъ сплоченныя половины. Непозетическая половина, какъ будто нѣчто существенное, овладѣла главнымъ мѣстомъ и сдѣлала поэтическую половину своимъ средствомъ. А такъ какъ средство поглощается цѣлью и, по достиженіи послѣдней, теряетъ всякое значеніе, то при такомъ направленіи басня не могла рассчитывать на самостоятельность. Она стала самостоятельнымъ стихотвореніемъ подъ руками нѣкоторыхъ поэтовъ, противъ ихъ вѣдѣнія и воли, по инстинкту, который одерживалъ верхъ надъ тенденціей. Увлекаемый изобрѣтеніемъ повѣствованія, поэтъ углублялся въ свойства животныхъ характеровъ и въ интересъ дѣйствія съ такою любовію, что забывалъ о своей цѣли. Творческій порывъ заглушалъ предвзятую мысль, и поученіе являлось не темою для поэтического упражненія, а органическимъ результатомъ дѣйствія: баснописецъ не высказывалъ его явно и точно, предоставляя мыслящему читателю извлечь его вмѣстѣ съ нѣсколькими другими поученіями, или влагалъ его въ уста одного изъ дѣйствующихъ лицъ не въ видѣ нравоучительной сентенціи, а въ видѣ меткаго изреченія, соотвѣтствующаго вымыслу и прямо вытекающаго изъ характера говорящаго лица. Такимъ образомъ не басня служила сентенціи, а сентенція служила баснѣ, относясь къ ней, какъ живой членъ относится къ здоровому тѣлу. Въ басняхъ самого Лессинга, хотя онъ и не признавалъ себя поэтомъ, есть нѣчто поэтическое. Заключительной остротой (pointe) читатель наводится самъ собою, безъ помощи автора, на извѣстное нравоученіе. Это заключеніе владеть на басни печать замаскированныхъ эпиграммъ и удерживаетъ ихъ въ области поэзіи. (Но хотя достаточно эпиграмматической силы, чтобы воззвать басню къ самобытной жизни, однакожъ одними остроумными оборотами далеко не исчерпывается ея достоинство. Гораздо пріятнѣе, если она изъ множества разноцвѣтныхъ нитей составитъ обширную ткань для

живаго дѣйствія, въ которомъ всѣ моменты соотвѣтствуютъ комическому положенію цѣлаго. Здѣсь-то во всей полнотѣ проявляется цѣнность животныхъ характеровъ, и не столько по ихъ неизмѣнности (стереотипности), сколько по ихъ односторонности. Еще древніе подмѣтили эту односторонность, противоположную многосторонности человѣческаго характера. Животныя—точно живыя каррикатуры людей. Чѣмъ больше уклоняются люди отъ развитія своихъ духовныхъ способностей и вдаются въ одно изъ тѣхъ одностороннихъ направленій, которые усвоены природой отдѣльнымъ видамъ животныхъ, тѣмъ больше становятся ограниченными. Просторѣе меймить такихъ людей меткими остротами или прозвищами, заимствованными изъ міра животныхъ (лисица, баранъ, осель, быкъ и т. п.). Басня же есть театръ, на которомъ эти животныя занимаютъ роли актеровъ. Въ греческой баснѣ и въ позднѣйшихъ ей подражаніяхъ достоинство поэтическаго изображенія опредѣляется постоянной относительностью животныхъ характеровъ въ человѣческому міру; яркимъ ихъ отраженіемъ на поступкахъ людей. И взаимной игрой этихъ обоихъ элементовъ (животнаго и человѣческаго) нисколько не двоится и не ослабляется самый интересъ; какъ элементы, такъ и интересъ сосредоточиваются въ одномъ пунктѣ, ибо животныя не являются простыми двойниками человѣка, но какъ бы отождествляются съ нимъ. Никому уже не приходится на мысль почитать животныхъ простыми уподобленіями. Хотя образы людей отражаются въ зеркалѣ поэтическаго генія съ нѣкоторымъ преувеличеніемъ, но они всегда вѣрны и соотвѣтственны ихъ индивидуальной природѣ. Эти маски кажутся намъ истиннымъ выраженіемъ того, что скрывается подъ ними, и мы смотримъ на нихъ, какъ на живыя лица. Одно только можетъ казаться намъ несообразностью—костюмъ ихъ: въ дѣйствительности, хитрецъ не носитъ рысей шкуры и лисьяго хвоста, а хищный человѣкъ, по внѣшности, не всегда похожъ на волка. *Въ такомъ видѣ басня есть не что иное, какъ сатира въ повѣствовательной формѣ, идѣ дѣйствующія лица замѣнены соотвѣтствующими имъ характерами животныхъ.* Это понятіе рѣдко сознавалось во всей своей чистотѣ даже самыми лучшими баснописцами, хотя они и осуществляли его въ своихъ сочиненіяхъ. Изъ грековъ только Вабрій (около 80 по Р. Х.) усвоилъ эту форму въ стихотворной обработкѣ Езоповой басни, какъ самостоятельнаго вида. Онъ не почитаетъ разсказа пустымъ украшеніемъ, а поученія—единственною сущностью, какъ Федръ. Ему нужно, чтобы читатель интересовался столько же разсказомъ и животными, выводимыми на сцену, сколько примѣненіемъ разсказа къ житейскому благоразумію или строгой морали.

Басни его отличаются безыскусственной простотой и живостью наивнаго выраженія. Одна изъ нихъ (Болной левъ) по отчетливой характеристикѣ животныхъ, по остроумно-выбраннымъ положеніямъ и юмористическому тону есть замѣчательное произведеніе, представляющее до извѣстной эпической широты доведенный матеріалъ животной саги.

Извѣстнѣйшими представителями этого направленія басни справедливо почитаются Лафонтенъ и Крыловъ. Они возвысили ее достоинствомъ обоихъ ея членовъ: разсказа и заключительной, лежащей въ основаніи его мысли. Разсказъ отличается поэтическимъ изображеніемъ, которое и само по себѣ, независимо отъ вывода, интересуеетъ читателя. Событіе изъ міра животныхъ выступаетъ какъ драма. Дѣйствующія лица являются не простыми аллегоріями, годными лишь для доказательства нравственныхъ или другихъ положеній и нисколько не теряющими отъ того, если они замѣняются отвлеченными понятіями: хищность, хитрость, глупость, и пр., но дѣйствительно-живыми существами, съ плотію и кровію, съ разнообразіемъ внѣшняго вида и движеній, каждое съ отпавленіями неизмѣннаго своего характера. Значеніе вывода расширено: онъ не вращается исключительно въ средѣ поучительныхъ изреченій, хотя и можетъ принадлежать къ міру нравственныхъ идей и правилъ. Не всегда занимаетъ онъ особое мѣсто, въ концѣ или началѣ басни, но часто выговаривается въ рѣчи дѣйствующаго лица, почему и становится своего рода фактомъ, живою частію разсказа. Иногда и того нѣтъ: баснописецъ представляетъ самому читателю сдѣлать заключеніе, а самъ только даетъ поводъ къ нему своимъ разсказомъ; басня ведетъ основную мысль не за собою, а съ собою, какъ выразился Лафонтенъ ⁽¹⁾. Наконецъ, нныя басни допускаютъ не одинъ выводъ, а нѣсколько. Въ вымышленныхъ событіяхъ изъ міра животныхъ, и Лафонтенъ и Крыловъ изображаютъ явленія нашей собственной жизни, преимущественно со стороны сатирической. Съ этой стороны знаменательно названіе «Свѣтъ», данное Штриккеромъ, нѣмецкимъ писателемъ XIII в., сборнику его басенъ, хотя онѣ, по своему направленію, исключительно моральны. Съ большимъ основаніемъ Лафонтенъ назвагъ свои басни пространной, стоактной комедіей, разыгрываемой на сценѣ міра:

Une ample comédie à cent actes divers,
Et dont la scène est l'univers.

Въ постановкѣ на сцену и заключается поэтический интересъ басни.

¹⁾ Le conte fait passer la morale avec lui.

Одно изъ достоинствъ этой постановки—вѣрное изображеніе выводимыхъ тварей, согласное съ ихъ природой, напоминаетъ о родствѣ животной басни съ животнымъ эпосомъ; другія отличія принадлежать ей собственно, какъ произведенію искусственной поэзіи: это—ограниченность объема, юмористическій тонъ, точный прицѣлъ и вѣрный, эпиграмматическій ударъ. Не всѣ, конечно, смотрѣли одинаково на Лафонтенову басню. Лессингъ и Гриммъ, каждый съ своихъ точекъ зрѣнія, дали объ ней неблагоклонные отзывы. Лессингъ осуждалъ ее именно за поэтическія украшенія, а Гриммъ за то, что наивныя черты, вмѣняемыя въ заслугу Лафонтену, не вознаграждаютъ ни утраченной простоты животной саги, ни эпической ея подноты. Но какъ бы ни было, а то несомнѣнно, что разсказъ у Лафонтена и Крылова не представляетъ скелета, голаго доказательства какой нибудь истинны; что выводъ не отсѣвается онъ него *ex abrupto*, въ видѣ особой статьи, шатко представленной къ предыдущему или послѣдующему, и что басни этихъ лицъ долгое время читались людьми всѣхъ возрастовъ, тогда какъ басни Лессинга любопытны единственно, какъ опытъ критика, написанный въ подтвержденіе теоріи.

Чтобы не сбиваться въ приговорахъ о басняхъ Крылова, необходимо имѣть въ виду, что хотя онъ, равно какъ и Лафонтенъ, постоянно заботился, и по творческому инстинкту, и по сознанію, о поэтическомъ достоинствѣ разсказа, который могъ бы интересовать читателя даже помимо своего внутренняго смысла, однакожъ тѣмъ не менѣе главное вниманіе его устремлялось къ этому смыслу, а не въ оболочкѣ или средству, каковымъ служилъ разсказъ. Самъ Лафонтенъ называетъ басню (вымыселъ) тѣломъ аполога, а моральный выводъ (*moralité*) — его душою, показывая тѣмъ подчиненное отношеніе первой части аполога ко второй. Какъ дорожилъ моралью нашъ баснописецъ, мы уже знаемъ: въ числѣ благотворителей рода человѣческаго ставилъ онъ того, кто главнѣйшія нравоучительныя правила предлагаетъ въ короткихъ словахъ, дабы они глубже впечатлѣвались въ памяти. Понятіе Крылова о баснѣ вытекало изъ его взгляда на литературу вообще: онъ требовалъ отъ сочиненій улучшающаго, облагораживающаго дѣйствія. Между прочимъ, театръ долженствовалъ быть училищемъ нравовъ, судомъ заблужденій ⁽¹⁾. Притомъ же, сказали мы, басня Лафонтена и Крылова есть сатира, представляющая явленія человеческой жизни въ формѣ повѣсти о явленіяхъ въ мірѣ животныхъ, а сатирикъ дѣйствуетъ намѣренно, съ извѣстной цѣлью, болѣе

¹⁾ Почта духовъ, письмо XVII.

или менѣе подчиняя ей и поэтическія средства. Никто изъ развитыхъ людей временъ Лафонтена и Крылова не мечталъ наслаждаться басней, какъ дѣти сказкой. Каждый зналъ, что басня скрываетъ мысль, которая или выводится самимъ читателемъ или выговаривается авторомъ. Вышезамѣченное сходство между басней и пословицей подтверждается здѣсь снова. Кто пользуется пословицей, тотъ имѣетъ въ виду не столько ея выраженіе, какъ бы оно ни было фигурально, сколько опытъ практической народной мудрости, или правило житейскаго благоразумія, которымъ нужно поддержать какую-нибудь мысль. Равнымъ образомъ, кто читаетъ басню, тотъ, любуясь поэтической красотою вымысла, все же ожидаетъ вывода, дающаго ему знать или объ одномъ фактѣ изъ современной жизни или о цѣломъ рядѣ общественныхъ явленій. Взглядомъ баснописца на значеніе вывода, какъ «нравоучительнаго правила», объясняется многое въ его сочиненіяхъ, и между прочимъ ихъ невыгодныя стороны. Къ такимъ недостаткамъ принадлежитъ у Крылова, вонервыхъ, манера предпосылать выводъ разсказу, какъ его наглядному объясненію: заранее высказанная мысль даетъ возможность на половину, а иногда и вполне, угадывать исходъ слѣдующей за тѣмъ повѣсти и тѣмъ самымъ подрываетъ ея интересъ. Такъ изъ перваго стиха басни «Волкъ и Ягненокъ»: «у сильнаго всегда безсильный виноватъ», ясно, что въ разсказѣ виноватымъ окажется Ягненокъ. Второй недостатокъ состоитъ въ изображеніи нѣкоторыхъ особенностей и дѣйствій, противныхъ природѣ животныхъ. Критика осуждала, напримѣръ, отвѣтъ волковъ слону-воеводѣ:

Не ты ль намъ къ зимѣ на тулупы
Позволил легонькій оброкъ собрать съ овецъ?

На что, спрашивала она, волкамъ тулупы и какая имъ надобность въ овечьихъ шкурахъ? Недостаткомъ должно назвать также обстановку разсказа представленіями въ духѣ французскаго классицизма, которыя Лафонтенъ находилъ пристойными какъ для удовольствія публики, такъ и для собственнаго развлеченія въ работѣ. Въ одной изъ лучшихъ своихъ басенъ: «Осель и Соловей», Крыловъ испортилъ картину и производимое ею впечатлѣніе слѣдующей вставкой:

Внимало все тогда
Любимцу и пѣвцу Авроры:
Затихли вѣтерки, замолкли птичьи хоры
И прилегли стада.
Чуть-чуть дыша, пастухъ имъ любовался,
И только иногда,
Внимая соловью, пастушій улыбался.

Если можно еще допустить первые четыре стиха, какъ прикрасу, хотя она и придаетъ мнѣшное значеніе соловьиному голосу, то послѣдніе три непріятно вырываютъ читателя изъ русской среды и переносятъ его въ пасторальный міръ Фонтенеля и мадамъ Де-зюльеръ. Подобною идилліей начинается и басня Ручей:

Пастухъ у ручейка пѣлъ жалобно, въ тоскѣ,
Свою бѣду и свой уронъ невозвратимый:
Ягненокъ у него любимый
Недавно утонулъ въ рѣкѣ.

Замѣчательно, что эти строки написаны тѣмъ же самымъ перомъ, которое въ «Каибѣ» съ такимъ здравымъ смысломъ и остроуміемъ осмѣяло русскихъ идилликовъ. Чтожъ это доказываетъ? Или указанные недостатки Крыловъ не почиталъ недостатками, или смотрѣлъ на нихъ сквозь пальцы, какъ на букашекъ и козявокъ, въ сравненіи съ слономъ, на которомъ слѣдуетъ въ особенности останавливать вниманіе. Онъ могъ мириться съ ними ради меткой сатиры или нравственнаго внушенія, думая, что и читатель, по тому же расчету, отпуститъ автору кой-какія уклоненія отъ выдержанности или неестественности. Конечно, неприлично волкамъ просить себѣ тулуновъ на зиму, когда природа и безъ того одѣла ихъ теплыми тулупами; но развѣ не было у насъ такихъ воеводъ, для которыхъ резоны вопиющей нелѣпости имѣли силу врайнихъ, добросовѣстныхъ убѣжденій? Чтобы рельефнѣе выставить «мудрость» подобныхъ администраторовъ, Крыловъ рѣшился, въ докладѣ волковъ, приписать имъ потребность, несогласную съ ихъ природой. Пускай въ разсказѣ о соловьиномъ пѣніи закралось аркадское освѣщеніе, но этотъ осель, отъ поэмы своей до изреченнаго имъ приговора, есть чисто-русскій осель, въ тупой самоувѣренности почитающій себя знатокомъ, судьей и меценатомъ. Правда и то, что начало басни «Ручей», по идиллическому тону, расходится съ слѣдующимъ за тѣмъ разсказомъ; но Крыловъ направлялъ разсвязъ къ заключенію, указывающему на быструю переимѣну въ людяхъ съ возвышеніемъ ихъ общественнаго мѣста:

Какъ много ручейковъ текутъ такъ смиренно, гладко,
И такъ журчатъ для сердца сладко
Лишь только отъ того, что мало въ нихъ воды!

Это заключеніе и было цѣлью басни, своимъ значеніемъ покрывавшее «судравый складъ» первыхъ стиховъ.

Указавъ мѣсто, занимаемое баснями Крылова въ исторіи басни, мы должны теперь разсмотрѣть ихъ предметы или темы. Этимъ разсмотрѣніемъ опредѣлится ихъ общественное значеніе, равно и

взгляды автора на тѣ явленія, по поводу которыхъ онъ принимался за перо. Такъ какъ онъ приступилъ къ новой дѣятельности съ понятіями, твердо сложившимися и достаточно заявленными въ комедіяхъ и журналахъ, то она сохранила прежнее, консервативное направленіе. Слѣдовъ внутренней несплѣдователности также трудно найти въ его басняхъ, при сличеніи однихъ съ другими, какъ и между его баснями съ одной стороны и прежними сочиненіями съ другой. Отсутствіе противорѣчій происходило не отъ старанія оставаться вѣрнымъ самому себѣ, а отъ трудности быть себѣ невѣрнымъ. Крыловъ не испытывалъ, по этому поводу никакого умственного насилія или внутреннего раздора. Дѣло дѣлалось легко и естественно, безъ спора съ убѣжденіями и чувствами.

На первомъ планѣ слѣдуетъ поставить басни, вызванныя мыслию о воспитаніи, которому авторъ и прежде посвящалъ большую часть своихъ сужденій, связывая въ нихъ воспитательный вопросъ съ вопросомъ о патріотизмѣ и народной нравственности. Сюда относятся: Воспитаніе Льва (1811), Крестьянинъ и змѣя (1813), Бочка (1814) и Кукушка и Горлинка (1817). Самъ Крыловъ придавалъ этимъ баснямъ особенную важность, что доказывается серьезнымъ, строго-внушительнымъ тономъ ихъ наставленій, прямо обращенныхъ къ родителямъ:

Отцы, понятно ль вамъ, на что здѣсь мѣчу я?...
(Крестьянинъ и Змѣя).

Старайтесь не забыть, отцы, вы басни сей.

(Бочка).

Отцы и матери! вамъ басни сей урокъ.

(Кукушка и Горлинка).

Въ своихъ совѣтахъ баснописецъ выставляетъ необходимость національнаго воспитанія и личнаго родительскаго надзора за дѣтми, на ряду со вредомъ, приносимымъ юношеству иностранными наставниками и наставницами. Басня «Крестьянинъ и Змѣя» явилась вскорѣ послѣ войны съ Наполеономъ и какъ бы напоминаетъ русскимъ, что у нихъ коротка память золь, которые онъ причинилъ нашему отечеству: французы, по прежнему, находили себѣ радужный пріемъ и выбирались въ руководители умственного и нравственнаго образованія дѣтей. «Бочка» представляетъ слѣдствія вредныхъ ученій, которыми съ юныхъ дней напитывается русскій человекъ. Въ чемъ состоятъ эти ученія, авторъ не высказалъ: онъ только обратилъ на нихъ вниманіе родителей. Предположеніе, что подъ ними разумѣется мистицизмъ, не можетъ быть подтверждено исторіей: мистицизмъ развился позднѣе 1814 г. и притомъ усвоивался не въ школѣ и не въ домашнемъ воспитаніи, а по выходѣ

изъ школы и семейства при условіяхъ извѣстной самостоятельности въ характерѣ и въ жизни: развѣ возможно быть мистикомъ дитяти или учащемуся юношѣ? Вреднымъ ученіемъ Крыловъ, безъ сомнѣнія, называлъ образъ мыслей, передаваемый молодому племени тѣми же иностранцами. Смыслъ басни: «Воспитаніе Льва» показываетъ, чему должно обучать наслѣдниковъ престола:

... Важнѣйшая наука для царей—
Знать свойство своего народа
И выгоды земли своей.

Эта наука обязательна для каждаго гражданина и есть не что иное, какъ національное образованіе. Не безъ основанія думаютъ, что авторъ своею баснею намекалъ на неправильное образованіе Императора Александра I, которое бабка его, Екатерина Великая, поручила женевцу Лагарпу, чловѣку благороднаго образа мыслей, но не знавшему Россіи ⁽¹⁾.

За баснями, выражающими понятія о воспитаніи, ставимъ басни, предметъ которыхъ — обличеніе невѣжества. Таковы: Пѣтухъ и жемчужное зерно (1809), Мартышка и очки (1815), Свинья подъ дубомъ (1825) и Голикъ (1825). Хотя первая изъ нихъ есть подражаніе Федровой или Лафонтеновой, но Крыловъ расширилъ ея значеніе: латинскій баснописецъ примѣнилъ свой разсказъ къ тѣмъ лицамъ, которые не цѣнили его басенъ; французскій—къ людямъ, ничего не смыслящимъ въ ученыхъ драгоценностяхъ (рѣдкихъ манускриптахъ); Крыловъ разумѣлъ невѣждъ вообще:

Невѣжи судать точно такъ:
Въ чемъ толку не поймутъ, то все у нихъ пустякъ.

Въ «Мартышкѣ и очкахъ», невѣжда не только называетъ драгоценную или полезную вещь пустою, потому только, что она ему ни на что не годится, но и дурно отзывается объ ней;

А ежели невѣжа познатѣй,
Такъ онъ ее еще и гонить.

«Свинья подъ дубомъ» есть образъ невѣжды, который, будучи не въ состояніи цѣнить науки и ученые труды, бранить ихъ,

Не чувствуя, что онъ вкушаетъ ихъ плоды.

Невѣжественное отношеніе къ наукѣ представлено также въ «Голикѣ», что видно изъ толкованія этой басни:

Бываетъ столько же вреда,
Когда

¹⁾ Кеневичъ: Примѣчанія къ баснямъ Крылова.

Невѣжда не въ свои дѣла влетится
И поправлять труды ученаго возьмется.

Преслѣдуя невѣжество, Крыловъ, казалось бы, долженъ былъ восхвалять просвѣщеніе. Но такихъ басенъ у него нѣтъ, а есть другія, выступающія, напротивъ, вредъ или смѣшныя стороны просвѣщенія. Не могъ онъ, конечно, не знать важности науки, которую самъ же защищалъ противъ неблагодарныхъ или сильныхъ невѣждъ. Значить, та образованность, что развилась передъ его глазами въ нашемъ обществѣ, была ему не по вкусу. Чѣмъ же она ему не нравилась? Или какая образованность ему нравилась? Баснею «Червонецъ» (1812) доказывается слѣдующая «святая истина»:

Полезно ль просвѣщеніе?
Полезно, слова нѣтъ о томъ;
Но просвѣщеніемъ зовемъ
Мы часто роскоши прельщеніе,
И даже правотъ развращеніе.
Такъ надобно гораздо разбирать,
Какъ станешь грубости кору съ людей сдирать,
Чтобъ съ ней и добрыхъ свойствъ у нихъ не растерять,
Чтобъ не ослабить духъ ихъ, не испортить нравы,
Не разлучить ихъ съ простотой,
И, давши только блескъ мустой,
Безславыя не навлечъ имъ вмѣсто славъ.

Ясно, о какомъ просвѣщеніи здѣсь говорится. Это—давно извѣстная намъ наружноевропейская образованность, приобретаемая русскими въ ущербъ ихъ народному и человѣческому достоинству, Крыловъ имѣлъ полное право отвергнуть это мнимое и вредное просвѣщеніе: образъ его мыслей раздѣляли съ нимъ всѣ благонамѣренные люди. Но кромѣ лже-просвѣщенія, ослаблявшаго народное чувство, портившаго нравы, отлучавшаго отъ доброй простоты и навлекавшаго безславыя, развивалось у насъ, много или мало, и другое, достойное симпатій патріота: московскій университетъ продолжалъ свою полезную дѣятельность, университеты новооснованные доставляли возможность провинціальному юношеству получать высшее образованіе, число гимназій и другихъ учебныхъ заведеній увеличивалось, законъ 1809, хотя и насильственнымъ образомъ—приманкою чиновныхъ привилегій,—побуждалъ дворянъ добиваться университетскаго аттестата, литература представляла не мало явленій, ручавшихся за ея успѣхъ. Баснописецъ не могъ не знать фактовъ современнаго ему, передъ его глазами происходившаго образовательнаго движенія: почему бы не отнестись къ нимъ сочувственно? Развѣ опасность отъ поверхност-

ной, внѣшней подражательности европейцамъ была до того велика, что заслоняла передъ нимъ добрыя начинанія и ходъ истиннаго образованія? Или и это послѣднее онъ признавалъ опаснымъ?... Крыловъ, какъ видно изъ письма къ нему Оленина ⁽¹⁾, долго занимался вопросомъ о пользѣ истиннаго просвѣщенія и пагубныхъ слѣдствіяхъ суемудрія. Обращикомъ его воззрѣній на то и другое можетъ служить басня «Водолазы» (1813). Какого-то царя тревожила страшное сомнѣніе:

Не богѣ ль вреда, чѣмъ пользы отъ наукъ?

Не расслабляетъ ли сердце и рукъ

Ученье?

И не разумѣе ль поступить онъ,

Когда ученыхъ всѣхъ изъ царства вышлетъ вонъ?

Сомнѣнье царя разрѣшилъ пустынный притчею о рыбацкѣ и троихъ его сыновьяхъ. Бросивъ скудный отцовскій промыселъ, они задумали добывать жемчугъ. Одинъ изъ нихъ, лѣнивый, собиралъ лишь тотъ жемчугъ, что волной выбрасывало ему на берегъ; другой, умѣя выбирать глубину себѣ по силамъ, отыскивалъ жемчугъ на днѣ и воечасно богатѣлъ; третій, томимый алчностью къ сокровищамъ, пустился въ открытое море, гдѣ и нашелъ свою смерть. Отсюда заключеніе:

Хотя въ ученіи зримъ мы многихъ благъ причину,

Но дерзкій умъ находитъ въ немъ пучину

И свой погибельный конецъ,

Лишь съ разницею тою,

Что часто въ гибель онъ другихъ влечетъ съ собою.

И такъ Крыловъ не противъ наукъ: онъ только требуетъ ученія по силамъ человѣку, умѣреннаго, срединнаго между невѣжествомъ, происходящимъ отъ лѣности, и глубокимъ, пучиннымъ знаніемъ, или всезнаніемъ, происходящимъ отъ дерзости ума и ведущихъ, по словамъ пустынника, къ гибели. Съ какой стороны ни судить о притчѣ, она оказывается несостоятельною, построенною на такомъ сравненіи, которое, по французской поговоркѣ, ничего не доказываетъ. Алчность къ приобрѣтенію матеріальныхъ богатствъ нельзя уподоблять жаднѣ умственныхъ изслѣдованій, глубины знанія. Въ стремленіи къ истинѣ, умъ не можетъ остановиться на срединѣ. Врожденная, совершенно законная пылкость духа влечетъ человѣка нескончаемо и безгранично, хотя бы за это влеченіе онъ жертвовалъ жизнью или навсегда утрачивалъ счастье, какъ юноша въ Шиллеровомъ стихотвореніи: «Покрытый истуканъ

¹⁾ Письмо помѣщено въ Описаніи торжественнаго открытія И. П. В. 1814 г.

въ Саисѣ». Эта пытливость есть столько же прирожденное намъ свойство, сколько и необходимое условіе нашего совершенствованія, почему и нельзя сказать, будто водолазъ Крылова «погибаетъ отъ того, что рѣшился на дѣло, противное природѣ челоуѣка» (1). Если же на притчу пустыинника смотрѣть по отношенію ко времени ея появленія, то ее по малой мѣрѣ слѣдуетъ назвать несвоевременною и неумѣстною. Мы и теперь еще не можемъ похвалиться успѣхами въ любомудріи: если любомудріе—зло, то оно и теперь у насъ въ большомъ недостаткѣ, а не въ большомъ излишкѣ. Разумѣется, и предки наши, въ первую половину царствованія Александра I, не до такой степени погружались въ знанія, чтобы слѣдовало удерживать ихъ рвеніе; напротивъ, было бы благоразумнѣе и патріотичнѣе возбуждать въ нихъ охоту къ умственнымъ трудамъ, которымъ очень немногіе посвящали свое время. Мнѣніе, что Крыловъ, по существенному отличію своего таланта, ко всему относился не иначе, какъ критически, можетъ оправдывать другаго писателя, а не нашего, который такъ высоко цѣнилъ правоучительные выводы и цѣлю авторской дѣятельности ставилъ пользу согражданъ. Такой писатель и при выборѣ предметовъ для сатиры и въ самой сатирѣ обязанъ руководствоваться не однимъ естественнымъ позывомъ таланта, но и взглядомъ на литературу, имъ же самимъ высказаннымъ. Въ неумѣнъ на первыхъ порахъ приняться за хорошее дѣло, или въ недовкости, съ какой принимаются за него новички, и въ происходящихъ отсюда комическихъ сценахъ, онъ не дозволитъ себѣ видѣть уже крайность зла и не замѣчать начала добра; иначе сатира нанесетъ вредъ самымъ уважительнымъ стремленіямъ общества. Настроеніе сатирика сообщится читателямъ, которые, ради нелѣпостей и неудачъ, обнаруживаемыхъ при вступленіи въ неизвѣданныя дотолѣ области, сочтутъ и послѣднія нелѣпостью. Къ числу такихъ областей принадлежала въ нашемъ обществѣ наука. Въ старину запрещали читать Библію, потому-де что на этомъ чтеніи многіе сошли съ ума; при Ломоносовѣ превратные толкователи слова Божія вооружались противъ изслѣдователей, желавшихъ проникнуть въ тайны естества; и за послѣдніе годы царствованія Александра слытъ, по выраженію Грибоѣдова, опаснымъ мечтателемъ тотъ, кто умъ свой, алчущій познаній, вперялъ въ науки. Крыловъ, можетъ быть незамѣтно для него самого, родился съ исчисленными здѣсь, старыми и новыми, противниками ученія, почему и сѣтовали на него образованнѣйшіе изъ его современниковъ,

1) Примѣчанія къ баснямъ Крылова, г. Кеневича, стр. 119.

какъ литераторы, такъ и нелитераторы. По мнѣнію г. Кеневича, Крыловъ указываетъ въ «Водолазахъ» на вредныя послѣдствія увлеченія не истинною, а ложною идеей, говорить о политическомъ и религіозномъ вольнодумствѣ, какъ «пагубномъ суемудріи» и причинѣ народныхъ бѣдствій ⁽¹⁾. Но мы уже замѣтили, что исканіе глубочайшихъ истинъ вовсе не противно, а на оборотъ—свойственно природѣ человѣка, и потому не можетъ быть относимо къ ложнымъ идеямъ или ложнымъ увлеченіямъ. А если бы и такъ, то ложныя идеи не одно и тоже съ глубокими идеями и вольнодумство не одно и тоже съ глубиною мудрости, слѣдовательно по малой мѣрѣ выходитъ, что аллегорическій образъ, взятый баснописцемъ, не соотвѣтствуетъ его мысли. Остается третья, по моему мнѣнію, ближайшая къ истинѣ точка зрѣнія на басню «Водолазы». Источникъ ея въ равнодушіи автора къ знанію, какъ знанію, независимо отъ его практическихъ надобностей, которыя онъ цѣнилъ по преимуществу и даже исключительно. Тяжелый на подъемъ, онъ и въ другихъ не одобрялъ качествъ, противоположныхъ своей собственной природѣ. Сравнивая себя, какъ баснописца, съ морякомъ, который отъ того только не испыталъ бѣды, что не хаживалъ далеко въ море, онъ боялся за отважныхъ, пускавшихся въ открытый океанъ. Продолжая сравненіе, можно сказать, что, кромѣ поэтическаго моря, есть другое, еще болѣе обширное—море науки. Кто недолго и недалеко странствовалъ по немъ, тотъ не можетъ, конечно, судить ни объ его опасностяхъ, ни объ его сокровищахъ. Образование Крылова было очень ограничено и мелко, и въ этомъ заключается истинная причина его неблагоприятнаго отношенія къ глубинѣ знаній.

Грѣха таить нечего, мы способны слишкомъ быстро вдаваться въ крайности, иногда смѣшныя, иногда и вредныя. Сатира имѣетъ полное право обличать грѣхи, но не должна бросать камнемъ въ самый предметъ нашихъ увлеченій, за которыя онъ не отвѣчаетъ, и, поражая крайности, не охлаждать сочувствій къ тому, что въ сущности полезно. Догадка и простой приѣмъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ рѣшаютъ дѣло лучше, чѣмъ трудъ и мудрость: это извѣстно каждому; но отсюда никакъ не слѣдуетъ, чтобы «трудъ и мудрость», напрасно потраченные какимъ-нибудь педантомъ, вообще уступали въ своемъ значеніи простой догадливости русскаго человѣка. «Ларчикъ» Крылова (1808) открывался просто, безъ помощи механики; однакожъ, сколько есть такихъ вещей, которыя можно открыть и устроить только съ помощью механики! Между тѣмъ

¹⁾ Ib. 118—119.

ироническія и колкія слова: «механики мудрецы» ⁽¹⁾, показываютъ, на чью сторону склонились всѣ баснописца: на сторону ли врожденной намъ смѣтливости, которой намъ не учиться стать, или на сторону рациональнаго веденія всѣхъ частей нашей жизни, что приобрѣтается лишь наукой. Не меньше насмѣшки и въ заключительныхъ стихахъ басни «Огородникъ и философъ» (1811):

А философъ
Безъ огурцовъ.

Правда, философъ былъ «недоученный, лишь изъ книгъ болтавшій про огороды». Авторъ могъ бы вывести отсюда другую, слѣдующую мораль: начавъ чему нибудь учиться, должно доучиваться; свѣдѣнія, почерпнутыя изъ книгъ, необходимо провѣрять на практикѣ, примѣняя ихъ къ мѣстнымъ условіямъ. Но онъ поступилъ не такъ: онъ философъ (т. е. наукъ вообще) и книжнымъ знаніямъ противопоставляетъ «прилежность и навыкъ», какъ бы признавая ихъ наиболѣе правильными и безошибочными орудіями успѣха, выгоднѣйшею замѣною науки. Замѣтивъ, какъ въ свѣтѣ часто упускаютъ изъ виду цѣли дѣйствій и видятъ силу вещей не тамъ, гдѣ она пребываетъ, Крыловъ написалъ басню «Крестьянинъ и Лисица» (1830). Лисица удивляется дружбѣ крестьянина къ лошади—изъ всѣхъ звѣрей едва ли не глупѣйшаго, по ея мнѣнію. Что же отвѣчаетъ крестьянинъ?

Эхъ, кумушка, не въ разумѣ тутъ сила!

Все это суета:

Мнѣ нужно, чтобъ она меня возила,

Да чтобъ слушалась кнута.

И здѣсь, безъ натяжки, можно придти къ такому заключенію: не только безъ науки, даже безъ ума нѣкоторыя цѣли достигаются скорѣе и лучше, чѣмъ съ умомъ. По поводу басни «Любопытный» (1814) справедливо было замѣчено, что Крыловъ ни въ басняхъ, ни прежде не выразилъ своего сочувствія ни къ какимъ открытіямъ, изобрѣтеніямъ или нововведеніямъ, но что, напротивъ, онъ больше представлялъ ихъ недостатки, чѣмъ выгоды: такъ въ «Огородникѣ и философѣ» онъ смѣется надъ агрономическими опытами, отдавая преимущество простому навыку, а въ «Любопытномъ»—надъ кропотливыми изслѣдованіями ученыхъ ⁽²⁾. Боязнь за

¹⁾ Такая же иронія и въ стихѣ: «какъ видно, молодецъ механикой былъ страстенъ» (Механикъ, 1816).

²⁾ Замѣчаніе высказано г-мъ Флери въ его статьѣ о Крыловѣ (Journal de S.-Petersbourg 1867, № 219). Нѣкоторыя мѣста изъ нея приведены въ «Примѣчаніяхъ» г. Кеневича.

вредныя послѣдствія, которыя губятъ не одинъ только дерзкій умъ, но и другихъ людей, имъ увлекаемыхъ, заставили Крылова умалчивать о добрыхъ послѣдствіяхъ науки и даже смотрѣть на нее вообще неблагоклонно. Слова: «философія», «философъ», почти тождественны по значенію съ словами: «ученость, ученый», заклеяны въ его басняхъ характеромъ смѣшныхъ прозвищъ. Скворецъ (въ баснѣ: «Котенокъ и Скворецъ», 1825) хотя плохо пѣлъ, но былъ «презнатный философъ, до дна исчерпавшій философію» и ставшій самъ ея жертвою. Кого бы ни имѣлъ въ виду Крыловъ, сочиняя басню «Сочинитель и разбойникъ» (1817): именно ли Вольтера, какъ думаютъ сами французы, или вообще сочинителей съ развратнымъ и злымъ направленіемъ, какъ полагаетъ Гоголь— все равно; между обоими толкованіями нѣтъ существенной разницы: очень часто случается, что басня, написанная на извѣстное лице или опредѣленный случай, получаетъ потомъ общее примѣненіе ко всѣмъ подобнымъ лицамъ и случаямъ. Важны здѣсь два другія обстоятельства: во-первыхъ то, что Крыловъ, по своему понятію о пользѣ моральнаго направленія въ литературѣ, долженъ былъ казнить сочинителя, разливавшего тонкій ядъ въ своихъ твореніяхъ, несравненно строже, чѣмъ разбойника; во-вторыхъ то, что онъ съ особеннымъ стараніемъ останавливался на вредныхъ или смѣшныхъ сторонахъ науки и литературы, какъ будто та и другая возбуждали въ его время особенный страхъ своею безнравственностью, всѣмъ видною, для всѣхъ ощутительною. Послѣднее обстоятельство толкуется различно: одни (г. Кеневичъ) утверждаютъ, что Крыловъ, по существенному отличію своего таланта, относился ко всему критически; по мнѣнію другихъ (Шлетневъ), онъ воевалъ противъ крайностей во всемъ, зная, какъ близко отъ нихъ до бѣды. Смотри на басни Крылова съ любой изъ этихъ точекъ зрѣнія, не трудно, конечно, оправдать ихъ. Въ нихъ не найдешь ни странности, ни неумѣстности и несвоевременности; напротивъ, онѣ окажутся пригодными для каждаго времени и мѣста. Авторъ можетъ сказать: баснею «Ларчикъ» я хотѣлъ представить смѣшной педантизмъ мудрованія; баснею «Любопытный» — крайность пустаго любопытства, которое обращаетъ вниманіе на мелочи, не замѣчая крупнаго и важнаго; баснею «Огородникъ и философъ» — педантизмъ книжнаго знакомства съ предметами, и т. д. Трудно будетъ что-либо возразить противъ этихъ словъ, если отрѣшиться мыслию отъ того общества, для котораго они писаны. Но общественное значеніе литературныхъ произведеній опредѣляется какъ подборомъ ихъ предметовъ, такъ и взглядами, въ нихъ выражаемыми. И предметы и взгляды приобрѣтають большую или меньшую

важность, смотря по ихъ отношенію къ мѣсту и времени. Что хорошо и вѣстать въ одну эпоху, то непригодно и даже вредно для другой. Съ этой точки зрѣнія, басни Крылова, о которыхъ мы говорили, подлежатъ осужденію. Дѣйствительно, баснописецъ долженъ былъ подумать, чѣмъ болѣе страдало современное ему русское общество: привычкою ли видѣть то, чего нельзя не видѣть, что, по величинѣ своей, бросается въ глаза каждому, большому и малому, умному и глупому, или неумѣньемъ замѣчать такія вещи, которыя, кромѣ глазъ, требуютъ умственного зрѣнія и вниманія? поклоненіемъ ли навыку, державшему легіоны въ крѣпостной у себя зависимости, или педантическимъ стремленіемъ замѣстить безсознательный навыкъ сознательнымъ образомъ мыслей,—желаніемъ, которое заявляли единицы и десятки? довѣріемъ ли къ наукѣ и страстію рыться и погибать въ ея глубинахъ, или, на оборотъ, мелкимъ плаваніемъ по знавію, ученіемъ чему-нибудь, а чаще полнымъ равнодушіемъ къ ученію? развивалась ли на виду у баснописца литература съ безнравственнымъ направленіемъ? гдѣ сочинители, отравлявшіе ядомъ своихъ твореній общество, или философы-наставники, заражавшіе ядовитымъ ученіемъ юношество? Если отвѣты на эти вопросы легки и ясны, то непонятна случайность, по которой человѣкъ такого ума и таланта, какъ Крыловъ, обходилъ большинство явленій, наиболѣе тяжкихъ, будто ихъ вовсе не существовало, и выбиралъ предметомъ своей сатиры меньшинство противоположныхъ явленій, какъ будто въ нихъ сосредоточивалась вся сила народнаго зла. Послѣдніе въ отношеніи къ первымъ были тоже, что мушки и бувашки относительно слона. Почему и какъ баснописецъ преслѣдовалъ мушекъ и бувашекъ, и не замѣчалъ слона? Мы находимъ главный, если не единственный тому источникъ—въ совершенномъ недостаткѣ научнаго образованія, безъ котораго нельзя ни судить о наукѣ, ни сочувствовать ей, а можно только относиться къ ней или равнодушно, или недоброжелательно. По этой же причинѣ современники Крылова, научно образованные, умѣли отличать въ немъ силу таланта отъ малознанія. Въ числѣ ихъ, Сперанскій отзывался о немъ, какъ «о порядочномъ невѣждѣ» (1).

Басня «Конь и Всадникъ» (1814) страдаетъ, по моему мнѣнію, тѣмъ же недостаткомъ, какъ и вышеприведенныя, направленныя противъ крайностей просвѣщенія, а именно: серьезность ея обличающаго разсказа и заключительной мысли не отвѣчала значенію обличаемаго. По вымыслу и выводу, она—прямая противополож-

1) Рус. Архивъ 1868, № 7 и 8, въ Письмахъ къ дочери.

ность баснѣ, помѣщенной въ Аристотелевой Риторикѣ и придуманной поэтомъ Стезихоромъ въ поученіе Гимерейцамъ, которые, рѣшивъ воевать съ непріятелемъ, вручили главное начальство надъ войскомъ тирану, Филарису Агригентскому. «На лугу», рассказываетъ Стезихоръ, «паслась лошадь. Пришелъ олень и испортилъ пастбище. Задумавъ отомстить ему, лошадь просила человѣка о помощи. Человѣкъ общалъ ее, но съ условіемъ, чтобы лошадь дозволила взнуздать себя и сѣсть на нее верхомъ. Лошадь согласилась. Тогда человѣкъ вмѣсто того, чтобы мстить оленю, обратилъ лошадь въ свою рабыню. Тяжъ и вы, Гимерейцы, страшитесь, чтобы лукавый всадникъ Фаларисъ, уже наложившій на васъ узду, не сѣлъ на васъ верхомъ: тогда навѣки погибнетъ ваша свобода». Гораций посвятилъ тому же сюжету нѣсколько стиховъ, а Лафонтенъ обработалъ его въ баснѣ: «Лошадь, хотѣвшая отомстить оленю», заключивъ свой рассказъ слѣдующею мыслію:

Quel que soit le plaisir que cause la vengeance,
C'est l'acheter trop cher que l'acheter d'un bien
Sans qui les autres ne sont rien (1).

У Крылова и послыли другія, и выводъ не тотъ. Его всадникъ разнуздалъ коня, и ретивый конь, почувъ волю, бѣшено помчался по полю, сбросилъ съ себя сѣдова и самъ убилъ до смерти въ оврагѣ. Сѣдокъ искренно раскаялся въ своемъ поступкѣ, причинившемъ такую напасть, а баснописецъ раскрываетъ передъ нами внутренній смыслъ повѣсти:

Какъ ни приманчива свобода,
Но для народа
Не меньше гибельна она,
Когда разумная ей мѣра не дана.

Г. Кеневичъ думаетъ, что Крыловъ, сочиняя «Коня и всадника», могъ имѣть въ виду французскую революцію и бѣдственныя ея послѣдствія. Если это справедливо, то басня чужда всякаго отношенія къ «русскому народу», и притомъ «отодвинута на далекое разстояніе отъ совершившагося факта. Вѣрнѣе, мнѣ кажется, признать ее къ намѣреніямъ правительства уничтожить крѣпостное право, которыя въ однихъ лицахъ встрѣчали сочувствіе, а другими были неодобряемы. Къ числу послѣднихъ принадлежалъ и Крыловъ, по свойственному ему консерватизму. Такъ какъ басня, въ изданіи 1825 г., помѣщена авторомъ въ самомъ началѣ, съ приложеніемъ къ ней картинки, наглядно удостоверяющей читателей въ неразу-

1) Le cheval s'étant voulu venger du cerf (книга IV, басня 10).

мин всадника и въ гибели коня, то было естественно, по справедливому замѣчанію г. Кеневича, искать въ ней прямыхъ намековъ на дѣйствительность и почитать ее, какъ выразился Плетневъ, отвѣтомъ на ходившіе въ обществѣ политическіе толки, которыхъ не могъ не вѣдать Крыловъ, если бы—что, впрочемъ, несомнѣнно—и не принималъ въ нихъ ни малѣйшаго участія. Хотя толки сами по себѣ—тоже фактъ, знаменующій настроеніе общества, но отъ нихъ до совершенія дѣла дѣлая бездна. Баснописецъ мысленно перешагнувъ эту бездну и представилъ себѣ крайность въ то время, когда еще не было сдѣлано и десяти твердыхъ начальныхъ шаговъ. Такое-то представленіе предмета и должно быть названо несоотвѣтствующимъ предмету, каковъ онъ былъ или есть.

Неправедный судъ, производимый «лихими супостатами» закона, постоянно занималъ Крылова. Ему посвящалъ онъ многія письма въ «Почтѣ духовъ»; его же не выпускалъ изъ виду и въ то время, когда обратился исключительно къ формѣ аполога. Одна изъ первыхъ его басенъ «Оракулъ» (1808), гдѣ подъ образомъ деревяннаго истукана представлены судьи, умные до той лишь поры, пока при нихъ умный секретарь, и одна изъ позднѣйшихъ «Вельможа» (1835), который не погубилъ дѣлага края потому только, что не принимался за дѣла, показываютъ, съ какою неутомимостью преслѣдовалось имъ кривосудіе. Басни, относящіяся къ этой темѣ, были вызваны не простыми толками, заключенными въ предѣлахъ образованнаго меньшинства, но дѣйствительнымъ, закоренѣлымъ зломъ, тяготѣвшимъ, въ большей или меньшей мѣрѣ, надъ всѣми классами, — зломъ, отъ котораго, по выраженію поэта, «плакала Россія». Говорить о немъ было не поздно, такъ какъ его обличеніе, и послѣ многихъ, предшествовавшихъ тому обличеній, не сдѣлалось общимъ мѣстомъ; и наговориться о немъ нельзя было вдоволь, однажды навсегда. Причину повальнаго его господства баснописецъ объяснилъ въ «Почтѣ духовъ» слѣдующимъ образомъ: «разумъ съ честностью въ превеликой ссорѣ, такъ что теперь въ свѣтѣ можно сыскавъ добродушныхъ дураковъ и умныхъ бездѣльниковъ, но добродѣтельные мудрецы очень рѣдки, а особливо на судейскихъ стульяхъ». Что выйдетъ, если лица первой категоріи (добродушные дураки) сами начнутъ вершить дѣла и полагать резолюціи, видно изъ басни «Слонъ на воеводствѣ»: воевода дозволяетъ волкамъ взять съ каждой овцы по одной только шкурѣ. Образъ другаго добродушнаго дурака, въ счастію не занимавшагося дѣлами и потому, при всей своей власти, не погубившаго въ-концѣ ввѣреннаго ему края, нарисованъ въ «Вельможѣ». Представителемъ лицъ второй категоріи (умныхъ бездѣльниковъ), искусныхъ

въ томъ, чтобы при вопиющей неправдѣ соблюдать всѣ законныя формальности, служить Лиса — то секретарь, то прокуроръ; отъ нея преимущественно зависятъ судейскіе приговоры: въ баснѣ «Щука» (1830) она подаетъ совѣтъ утопить щуку въ рѣкѣ, въ наказаніе за ея плутовство и разбой, а въ баснѣ «Крестьянинъ и овца» (1823) — казнить овцу, обвиняемую въ истребленіи куръ. Взяткобрательствомъ заражены всѣ, отъ низшихъ инстанцій до высшихъ: ручейки и рѣчки, разоравшіе крестьянъ при своемъ разливѣ, несли половину похищеннаго ими въ рѣку (Крестьяне и рѣка, 1814). По пословицѣ: «свой своему по неволѣ брать», всѣ жалобы въ этомъ отношеніи бесполезны:

На младшихъ не найдешь себѣ управы тамъ,
Гдѣ дѣлается они со старшимъ пополамъ.

«Нажиться на службѣ» сдѣлалось правиломъ для служащихъ и цѣлью поступленія на службу (Лисица и сурокъ 1813). Находя причину зла въ томъ, что разумъ съ честностью въ превеликой ссорѣ, Крыловъ доходитъ до пессимизма при взглядѣ на судопроизводство: онъ не ожидаетъ его исправленія ни отъ честныхъ глушцовъ, которые могутъ надѣлать столько же бѣдъ, сколько и умные бездѣльники, если еще не болѣе, ни отъ добродѣтельныхъ мудрецовъ, которыхъ трудно отыскать даже со свѣчкой, ни отъ повышенія окладовъ, улучшающихъ бытъ чиновника, ни отъ строгихъ узавовъ, преслѣдующихъ судейское лихоимство. Гдѣ нѣтъ нравственной сдержки безчестнымъ поползновеніямъ, тамъ безсильны правительственныя мѣры. Вышній законъ окажется непрочною сѣтью для крупныхъ и мелкихъ администраторовъ: крупные прорвутъ ее, мелкіе проскользнутъ въ ея клѣтки. Только законъ внутренній (совѣсть) обезпечитъ правильное веденіе суда, и потому, для пресѣченія зла, необходимо нравственное образованіе гражданъ:

Въ комъ есть и совѣсть, и законъ,
Тотъ не украдетъ, не обманетъ,
Въ какой бы нуждѣ ни былъ онъ;
А вору дай хоть миллионъ —
Онъ воровать не перестанетъ.

Нѣкоторые педагоги осуждали послѣдніе два стиха, которые будто бы «придаютъ какой-то роковой характеръ воровству и очень легко могутъ заронить ложную мысль о неискоренимости пороковъ вообще». Забавная черта нравственно-педагогическаго пуризма! Крыловъ, въ своихъ басняхъ, выражалъ наличныя, передъ его глазами происходившія явленія общественной жизни нашей, а не то,

что ему или другимъ было бы желательно видѣть. Что же ему было дѣлать, если онъ зналъ азартныхъ игроковъ, которые, хотя и рѣдко, забастовывали послѣ того, какъ большимъ выигрышемъ обезпечивали свою жизнь, но если не случалось ему ни слыхать, ни самому встрѣчать, чтобы судья добровольно оставлялъ теплое мѣстечко, приносившее ему большіе доходы! Да и желательны ли обществу такіе его члены, которые были нѣкогда ворами, а теперь, наживъ воровствомъ миллионъ, бросили свое ремесло и успокоились на добычѣ, какъ на лаврахъ? Хотя они, быть можетъ, и лучше нераскаянныхъ воровъ, но все же не служатъ отраднымъ знаменіемъ прошедшаго и не предвѣщаютъ ничего добраго будущему.

Обличая неправедный судъ, Крыловъ давалъ уроки и тѣмъ лицамъ, отъ власти которыхъ зависитъ обезпеченіе правильной администраціи путемъ законодательства. Хотя онъ, какъ мы видѣли, и плохо довѣрялъ силѣ внѣшнихъ побужденій, карательныхъ или поощрительныхъ, но все же требовалъ, чтобы законъ, по возможности, ограждалъ самъ себя точностью предписаній, чтобы каждая правительственная мѣра отвѣчала своей цѣли, а не имѣла свойства бесплодно кружить около или приводить къ инымъ, рѣшительно нежелаемымъ результатамъ. Представленіемъ того, какъ нѣкоторые законы и учрежденія, при кажущейся ихъ стройности и прочности, оказываются негодными, служить басня «Лиса-строитель» (1811), оставившая для себя лазейку при возведеніи новаго курятнаго двора. Смыслъ басни тотъ, что нѣтъ пользы въ замѣнѣ стараго новымъ, когда послѣднее, благодаря эгонистическимъ расчетамъ учредителей, открываетъ свободный къ себѣ доступъ злоупотребленіямъ. По словамъ Плетнева, въ «Мірской сходкѣ» (1816) изъяснена несообразность многихъ общественныхъ постановленій. Дѣйствительно, отъ мѣропріятій всякаго рода нельзя ожидать ничего путнаго, если они обсуждаются и рѣшаются, по большинству голосовъ, людьми недобросовѣстными или незнакомыми съ предметомъ сужденій, если отъ совѣщаній о дѣлѣ устраняются эксперты, твердо его знающіе, или лица, наиболѣе въ немъ заинтересованныя. Сходка звѣрей единогласно и единодушно выбрала волка въ овечьи старосты....

Да что же овцы говорили?
На сходкѣ вѣдь онъ ужъ, вѣрно, былъ?
Вотъ то-то нѣтъ! Овецъ-то и забыли!
А ихъ-то бы всего нужнѣй спросить.

Желаніе обезопасить гражданъ отъ враговъ общественнаго спокойствія заставляетъ иногда увеличивать число чиновниковъ. Басня

«Овцы и собаки» (1819) выставляет неудобство такой мѣры. Не говоря уже о томъ, что слишкомъ большіе штаты дорого обходятся казнѣ, дѣйствіе ихъ оказывается вреднымъ и въ другомъ отношеніи: собакъ, по разсказу Крылова, развелось столько, что онѣ переѣли всѣхъ овецъ, слѣдовательно учинили тоже самое, что безъ нихъ учинили бы волки. Одно другаго стоитъ. Баснописецъ требуетъ, чтобы при назначеніи лицъ на должности принимались въ соображенію единственно ихъ личныя достоинства: такой воевода, какъ слонъ, надѣлаетъ больше бѣдъ, чѣмъ дѣловой бездѣльникъ, по пословицѣ — простота хуже воровства. Если же, по невѣдѣнію или съ вѣдома назначающихъ, лисица поставится въ судью, секретаря или прокурора, а медвѣдь, охотникъ до меда, займетъ мѣсто надсмотрщика надъ ульями, пусть ихъ противозаконныя дѣйствія не останутся безъ возмездія. Хорошо, что административный обманъ лисицы, въ «Рыбныхъ пляскахъ» (1824), потерпѣлъ отъ льва достойную кару; но онъ могъ окончиться и совершенно иначе, какъ это видно изъ первой редакціи басни ⁽¹⁾. Нерѣдко онъ оканчивается номинальнымъ наказаніемъ, безъ всякой боли для преступника, или тратою словъ вмѣсто употребленія власти, или оставленіемъ наворованнаго въ рукахъ вора: такъ судъ приговорилъ медвѣдя, потаскавшаго медъ, пролежать зиму въ теплой берлогѣ (Медвѣдь у пчелъ, 1816); такъ поваръ думалъ исправить кота Ваську поученіями, дѣйствуя на его стыдъ и совѣсть, а Васька слушалъ да ѣлъ (Котъ и Поваръ 1812) ⁽²⁾; такъ баринъ хотѣлъ побоями отучить шаловливую собаку отъ воровства, не отнимая у ней кражи (Собака, 1816). Съ другой стороны, Крыловъ осуждаетъ какъ неразборчивое взысканіе, налагаемое сплошь и рядомъ на правыхъ и неправыхъ (Хозяинъ и мышь, 1811), такъ и поздно приходящую награду, которою уже не въ силахъ пользоваться лице, долговременно и безупречно служившее (Бѣлка, 1830). Наконецъ, въ баснѣ «Бритвы» (1829), онъ изобразилъ, по объясненію Гоголя, тѣхъ доброжелательныхъ, но недогадливыхъ начальниковъ, которые

Людей съ умомъ боятся
И терпятъ при себѣ охотѣй дураковъ.

Изображеніемъ обще-человѣческихъ отношеній не ограничивается сфера басни: она можетъ идти дальше—изображать взаимныя отношенія гражданъ, по различію ихъ сословій и государственной

¹⁾ «Примѣчанія» Кеневича. См. также «Замѣтки для біографіи Крылова», Я. Грота.

²⁾ По преданію, котъ представлялъ министра финансовъ при Александрѣ I.

службы. Въ первомъ случаѣ, баснописецъ имѣетъ предметомъ указаніе законной равноправности людей, какъ существъ разумныхъ и нравственныхъ; во второмъ — указаніе законной равноправности гражданской и политической. Двѣ басни Крылова: «Листы и корни» (1811) и «Пушки и паруса» (1829) относятся къ послѣднему разряду. Первая изъ нихъ, по замѣчанію Плетнева, устанавливаетъ правильныя отношенія между двумя сословіями: высшимъ, или дворянскимъ, и низшимъ—крестьянскимъ. Она полагаетъ между ними такое различіе: листья съ каждою весною нарождаются вновь, а если засохнетъ корень, то не станетъ ни ихъ, ни дерева. Отсюда видно, что авторъ признавалъ въ земледѣльческомъ сословіи основной пластъ общества, которымъ, какъ деревья корнями, питаются и держатся всѣ прочіе общественныя пласты. Къ рѣчи о сословіяхъ кстати указать здѣсь басни, выставляющія образъ мыслей или бытъ дворянства. Крыловъ обличалъ два крупныхъ недостатка этого класса: съ одной стороны, ложное пониманіе благородства (Гуси, 1811), съ другой—умѣнье разстраивать свое состояніе и неумѣнье поправлять состояніе разстроенное (Тришкинъ кафтанъ, 1815, и Мельникъ, 1825). «Пушки и паруса» опредѣляютъ отношенія двухъ родовъ службы: военной и статской, утверждая за каждой надлежащее мѣсто и значеніе въ государственномъ строѣ:

Держава всякая сильна,
Когда устроены въ ней всѣ премудро части:
Оружіемъ — врагамъ она грозна,
А паруса — гражданскія въ ней власти.

Басня написана въ то время, когда, по словамъ Гоголя, нѣкоторые военные люди стали утверждать, что въ государствѣ все должно быть основано на одной военной силѣ, а чиновники штатскіе, въ свою очередь, начали подтрунивать надъ всѣмъ, что ни есть военнаго. Но хотя она явилась въ 1829 г., а по своему содержанію была бы кстати и въ царствованіе Александра I. И тогда статская, или гражданская, служба ставилась ниже военной, особенно гвардейской, съ которой могло равняться только служеніе по дипломатической части.

До сихъ поръ мы говорили о басняхъ, имѣвшихъ или теперь имѣющихъ общественное значеніе. Онѣ могутъ назваться «историческими» въ томъ смыслѣ, что каждая изъ нихъ относится къ цѣлой области явленій, которыя извѣстное время господствовали въ обществѣ и слѣдовательно занимаютъ болѣе или менѣе видное мѣсто въ исторіи этого времени. Такъ, безъ сомнѣнія, понималъ ихъ и смотрѣлъ на нихъ самъ авторъ. Но кромѣ того есть у Кры-

лова басни собственно «историческія», т. е. такия, которыя написаны по поводу извѣстныхъ лицъ или событій. Въ числѣ этихъ историческихъ басенъ замѣчательны относящіеся къ войнѣ съ Наполеономъ въ 1812—13 гг. Ихъ четыре: «Волкъ на псарнѣ», «Обозъ», «Ворона и курица» (всѣ 1812), «Щука и котъ» (1813). О баснѣ: «Ворона и курица» упомянуто выше (1). «Волкъ на псарнѣ» представляетъ стѣсненное положеніе Наполеона послѣ Бородинской битвы, его попытки вступить въ переговоры съ Кутузовымъ, изображеннымъ въ лицѣ хитраго ловчаго. Цѣль басни «Обозъ» — оправдать медлительность дѣйствій Кутузова, возбуждавшаго противъ него общественное мнѣніе. Поводомъ къ сочиненію басни «Щука и котъ» послужила неудача адмирала Чичагова, который долженъ былъ пресѣчь путь Наполеону черезъ Березину (2).

1) Въ изложеніи патріотической литературы.

2) Какъ эти, такъ и другіе историческіе поводы указаны г. Кеневичемъ въ его любопытныхъ и тщательно собранныхъ «Библиографическихъ и историческихъ примѣчаніяхъ къ баснямъ Крылова». Замѣтимъ, однакожъ, что въ иныхъ мѣстахъ «Примѣчанія» увлеклись излишнимъ желаніемъ отписывать, *кого именно или что именно* разумѣлъ авторъ, сочиняя свои басни. Отсюда вышло нѣсколько ватннутыхъ и даже неправильныхъ толкованій. Приведемъ два примѣра. Басню «Парнасъ» (1808) г. Кеневичъ относитъ къ любимцамъ Императора Александра I, въ началѣ его царствованія — людямъ благороднымъ, образованнымъ, но совершенно неопытнымъ, которые были удалены послѣ Тильзитскаго свиданія. Между тѣмъ, эти люди въ баснѣ представлены *ослами*, названы *несмышленами* и заставили баснописца напомнить имъ старинное мнѣніе,

Что если голова пуста,

То головѣ ума не придадутъ мѣста.

Могъ ли Крыловъ, съ своимъ здравымъ смысломъ и осторожнымъ тактомъ, написать такую несообразность? Всегда за собой надзирая, всегда помня себя, онъ соблюдалъ мѣру какъ въ похвалахъ, такъ и въ порицаніяхъ. По мнѣнію Греча, въ баснѣ «Орелъ и паукъ» (1812) изображена судьба Сперанскаго. Г. Кеневичъ, находитъ такое объясненіе *правдоподобнымъ*, допускаетъ однакожъ другое, болѣе вѣрное предположеніе, что Крыловъ «предугадалъ (?) судьбу этого замѣчательнаго человека, который своимъ быстрымъ возвышеніемъ возбуждалъ зависть, а реформами — ненависть и злобу». Не говоря уже о томъ, что означенная басня принадлежитъ къ переводнымъ, выводъ ея показываетъ всю несостоятельность и объясненія Греча, и предположенія г. Кеневича: на этихъ наукахъ, заключаетъ баснописецъ, похожи

Тѣ, кои безъ ума и даже безъ трудовъ,

Тащатся вверхъ, держась за хвостъ вельможи.

Сперанскій — безъ ума и безъ трудовъ!... Надобно думать, что консерватизмъ довелъ Крылова до неумовѣрной ненависти и злобы.... Но въ томъ-то и дѣло, что чувства, каковаго бы рода они ни были, никогда не дѣйствовали на Крылова такъ сильно, чтобы потемнить его разумъ, и слѣдовательно никогда не могли его довести до такого вопиющаго противорѣчія между дѣйствительностью и ея представленіемъ.

Сдѣлавъ обзоръ главнѣйшихъ басенъ Крылова по ихъ предметамъ, обратимъ вниманіе на значеніе ихъ морали, и вообще на значеніе выводовъ изъ разсказа. Какого свойства тѣ нравственныя правила, которымъ авторъ приписывалъ благотворительную силу и которыя онъ или высказывалъ самъ отъ себя, или заставлялъ высказывать дѣйствующихъ лицъ?

Съ этой точки зрѣнія, нѣкоторые французскіе писатели, вслѣдъ за Руссо, осуждаютъ Лафонтена, находя въ его басняхъ полное отраженіе «галльскаго духа» (*esprit gaulois*), по природѣ своей способнаго съ одинаковымъ легкомысліемъ относиться къ важному и неважному. Руссо укорялъ матерей въ томъ, что онѣ даютъ своимъ дѣтямъ учить наизусть басни, смысла которыхъ дѣти не въ состояніи понять, но которыя, если бы были поняты, испортили бы дѣтское сердце, такъ какъ мораль ихъ, смѣшанная, безразличная, непослѣдовательная, направляетъ больше къ пороку, чѣмъ къ добродѣтели. Въ примѣръ индифферентизма (политическаго)истики французской литературы приводятъ стихи изъ басни «Летучая мышь и двѣ ласточки»:

Le sage dit, selon les gens:
Vive le Roi! Vive la Ligue!

Мудрость, по такому понятію, равнозначительна вѣроломству, хитрому плутовству, и басня, подмѣняя одно другимъ, учитъ быть болѣе ловкимъ, нежели честнымъ, выпутываться изъ неприятнаго положенія, а не стоять на сторонѣ права, если эта стойкость можетъ причинить какой-нибудь житейскій вредъ. Какъ примѣръ непослѣдовательности, состоящей въ томъ, что разныя басни говорятъ и про и contra одного и тогоже предмета, указывается противорѣчіемъ между стихами:

On ne peut trop louer trois sortes de personnes:
Les dieux, sa maitresse et son roi,

и другими баснями, въ которыхъ авторъ смѣется надъ служителями боговъ, деревнями, хвалитъ не одну только любимую женщину, но и многихъ женщинъ, и, прославляя короля, часто представляетъ его подъ страшнымъ образомъ царя звѣрей, котораго сила не всегда равняется справедливости. Порицаютъ также начальный стихъ басни «Волкъ и агненокъ», выражающій общее, ничѣмъ неограниченное положеніе:

La raison du plus fort est toujours la meilleure;

гдѣ же, спрашиваютъ, нравственная сдержка, воспреещающая сильному злоупотреблять своею силой? гдѣ законъ, карающій злоупотре-

требленія? или гдѣ общественное мнѣніе, ограждающее слабыхъ отъ произвола? Вообще, по заключенію французской критики, Лафонтенова мораль не отличается ни возвышенностью, ни строгостью. Она не предлагаетъ ни опредѣленныхъ правилъ, ни твердыхъ и благородныхъ цѣлей. Она не способна направлять и регулировать. Это—мораль практическаго, житейскаго благоразумія, которое болѣе боится промаховъ въ свѣтѣ, нежели нравственныхъ проступковъ, которое учить сносить зло, для избѣжанія горшаго зла, а не бороться съ нимъ и уничтожать его, которое охотно принимаетъ совершившіеся факты, опѣивая ихъ достоинство только по успѣху и посмѣиваясь надъ потерпѣвшими неудачу, которое, выказывая дурныя слѣдствія недостатковъ и совѣтуетъ исправиться въ нихъ, преимущественно имѣетъ въ виду недостатки, лично намъ вредящіе, а не тѣ, что вредятъ другимъ. Это—мораль опытности, а не принципа, проповѣдующая искусную принаровку къ обстоятельствамъ вмѣсто сопротивленія и самопожертвованія, любящая удовольствія жизни легкой и свободной выше душевной независимости въ бѣдахъ и нуждѣ. Старайтесь знакомиться съ свѣтомъ, не будьте глупцами, не давайтесь въ обманъ ни самимъ себѣ, ни другимъ: вотъ сущность Лафонтевыхъ совѣтовъ (1).

Хотя приведенные отзывы и справедливы до нѣкоторой степени въ отношеніи къ Лафонтену, однакожъ было бы ошибочно принимать ихъ за основу сужденій о Лафонтенѣ вообще, какъ о баснописцѣ. Такая критика противорѣчила бы значенію басни, навязывая ей требованія, нисколько необязательныя ни для нея, ни для другаго какого-либо поэтическаго вымысла. Изъ любви къ моральному догматизму она постоянно смѣшивала бы нравственную идею произведенія съ его правоучительнымъ направленіемъ. Это смѣшеніе часто встрѣчается у французовъ и въ теоріи и на практикѣ. Басня въ томъ значеніи, какое сообщили ей Лафонтенъ и Крыловъ, не что иное какъ сатира. Она говоритъ о томъ, что есть, а не о томъ, что должно быть; изображаетъ зрѣлище міра дѣйствительнаго, а не лучшаго или идеальнаго. Если изображеніе вѣрно; если, притомъ, отступленія отъ разумности и нравственности не составляютъ характера общихъ, безусловныхъ положеній, не возводятся въ правило, не рекомендуются какъ обязательный образъ дѣйствій, то баснописецъ правъ; въ противномъ случаѣ, онъ виноватъ. Лафонтенъ грѣшитъ лишь тамъ, гдѣ выводу изъ явленій опредѣленнаго времени и мѣста придаетъ смыслъ повсемѣстности и всевре-

¹⁾ La Fontaine et ses fables, par H. Taine (изд. 4-ое, 1861); La Fontaine et les fabalistes, par Saint-Marc Girardin (1867).

менности, или гдѣ снисходительно смотреть на то, чего не могутъ извинить истина и нравственное чувство. Не выдавай онъ за мудрость умѣнье летучей мыши причислять себя и къ млекопитающимъ и къ птицамъ, т. е. мѣнять убѣжденія по эгоистическимъ расчетамъ; не называй онъ доводы волка наилучшими потому только, что волкъ сильнѣе ягненка: критикѣ не было бы возможности придраться къ двумъ вышеупомянутымъ баснямъ. Замѣтимъ встати, что басня Волкъ и Ягненокъ нашла сильного порицателя въ Наполеонѣ. Живучи на островѣ Св. Елены, онъ заставилъ однажды малолѣтняго сына генерала Монтолона прочесть ее. Первый стихъ привелъ его въ негодованіе. Если такъ случается на самомъ дѣлѣ, сказалъ онъ, то это-злоупотребленіе силы, достойное наказанія: «волкъ долженъ былъ подавиться, пожирая ягненка». Будь на мѣстѣ Монтолонова сына мальчикъ поразитѣе, онъ могъ бы возразить грозному воителю: а какъ же вы, волкъ изъ волковъ, пятнадцать лѣтъ сряду глотали цѣлыя стада барановъ—и не давились? Почему же съ Лафонтеновымъ волкомъ должна была случиться такая напасть именно въ то время и именно за ту добычу, о которыхъ идетъ рѣчь въ баснѣ? Можетъ быть, это первый опытъ его хищничества; можетъ быть, онъ и подавится на пятнадцатомъ ягненкѣ; а можетъ быть—кто знаетъ?—онъ будетъ своевольничать въ теченіе всей своей жизни и останется невредимымъ. Нѣсколько разъ касались мы сходства пословицъ съ баснями. Какъ пословица есть выводъ изъ житейскаго опыта, такъ и баснописецъ выводитъ изъ своего разсказа заключеніе, объясняющее внутренній его смыслъ. И пословица и басня выражаютъ то, что творится на бѣломъ свѣтѣ, вовсе не думая, что творимое принадлежитъ къ явленіямъ постояннымъ и должно быть непременно таковымъ, а не чѣмъ-либо инымъ. Пословицы: «повадился кувшинъ по воду ходить, тамъ ему и голову сломить», «каковъ въ колыбельку, таковъ и въ могилку», «рука руку моетъ», вовсе не означаютъ ни неисправимости людей, сбившихся съ прямого пути, ни роковой силы природныхъ наклонностей, ни обязанности ставиваться для воровскихъ дѣлъ. Строгіе моралисты, если угодно, могутъ находить эти изреченія, равно какъ подобныя имъ сентенціи въ басняхъ, предосудительными; но въ такомъ случаѣ половина народныхъ пословицъ окажутся безнравственными. Требуя возвышенной морали отъ басенъ, французскіе критики забыли, что содержанію этого рода произведеній, по самой сущности дѣйствующихъ въ немъ тварей, гораздо приличнѣе элементъ разсудочный, необходимый для здоровой практичности въ общественномъ и частномъ быту, нежели элементъ моральный; что попытка надѣлать

басню серьезнымъ паеосомъ просто смѣшны и обличаютъ совершенное безвкусіе; что, поэтому, ни одному талантливому баснописцу не придетъ на мысль пользоваться животными, какъ примѣрами благороднѣйшихъ чувствъ и подвиговъ—патріотизма, самоотреченія, терпимости, сознанія долга и т. п.

Обращаясь къ баснямъ Крылова, мы должны предварительно замѣтить, что, по отношенію къ морали, онѣ могутъ быть раздѣлены на два разряда: въ однѣхъ авторъ указываетъ лишь то, что происходитъ между людьми, не сопровождая своего указанія правоучительнымъ выводомъ; въ другихъ представленіе людскихъ дѣяній заключается урокомъ читателю.

Въ обоихъ разрядахъ нашъ баснописецъ осторожнѣе, солиднѣе Лафонтена. Осторожность его доказывается, во-первыхъ, тѣмъ, что онъ частный кругъ явленій не выдаетъ за общее состояніе человѣческой жизни или современнаго ему общества, а во-вторыхъ тѣмъ, что онъ нерѣдко воздерживается отъ собственного приговора надъ явленіями, предоставляя читателю судить о нихъ по впечатлѣнію, производимому разсказомъ. Крыловъ съ большимъ уваженіемъ смотрѣлъ на выбранную имъ литературную форму, обязывая ее, согласно съ своимъ взглядомъ на литературу, дѣйствовать въ пользу нравственности. Можно, какъ мы видѣли, обвинять его за нападки на такіе предметы, которыя, по своей сущности, заслуживали сочувствія, а по своему уклоненію отъ правильного пути еще не представляли опасности и слѣдовательно не заслуживали укоризны; но это обвиненіе не относится къ морали: оно падаетъ на образъ мыслей баснописца о наукѣ и просвѣщеніи. Что же касается до морали, то она никогда не спускалась до того, чтобы вѣроломную измѣнчивость называть мудростью, а доводы сильнаго—справедливѣйшими. Хотя Крыловъ не отвѣчаетъ за басни, переведенныя изъ Лафонтена, однакожъ и въ переводахъ, своихъ онъ, по возможности, устранялъ недоумѣнія и рѣзкости, могущія смутить здоровое нравственное чувство. Первый стихъ басни «Волкъ и ягненокъ»: «*La raison du plus fort est toujours la meilleure*», онъ замѣнилъ стихомъ: «у сильнаго всегда бессильный виноватъ». Изъ того, что ягненокъ виноватъ по мнѣнію волка, еще не слѣдуетъ, что онъ виноватъ дѣйствительно, и что его оправданія хуже придирчивыхъ, наглыхъ обвиненій хищника. Конечно, слово *всегда* неутѣшительно для бессильныхъ, но нѣтъ повода принимать его въ смыслъ общема, такъ какъ самъ авторъ стѣснилъ его объемъ въ слѣдующемъ затѣмъ стихѣ: «тому мы *тому* въ исторіи примѣровъ слышимъ». И что же дѣлать, если такъ бываетъ на свѣтѣ? Не скрывать же сатирику дѣйствительную

быль, выдумывая небылицы. Въ Лафонтеновой баснѣ: «Ворона и лисица» обманщикъ даетъ наставленіе обманутому, прибавляя, что оно стоитъ сыра. Нашъ переводчикъ выразилъ отъ собственного лица, что «льстецъ всегда отыщеть уголокъ въ сердцѣ». Справедливость этого положенія доказана множествомъ примѣровъ, которые наблюдательный умъ не могъ не замѣтить и о которыхъ заявить онъ имѣлъ полное право. Читатель смѣется надъ вороной, вовсе не думая одобрять своимъ смѣхомъ поступокъ лисицы. Только неугомонный педантизмъ способенъ допытываться у автора, зачѣмъ онъ, представивъ, какъ опасно внимать лести, не представилъ тутъ же неблагородства, безнравственности льстецовъ. За тѣмъ, конечно, чтобы не двоить морали. Пусть другой баснописецъ займется второю темой и напишетъ басню, въ которой, на примѣръ, лисица потеряетъ несправедливо приобретенную добычу или должна будетъ уступить ее сильнѣйшему животному. Басня «Защъ на ловлѣ» заключается двустипіемъ:

Надъ хвастунами хоть смѣются,
А часто въ дѣлѣхъ имъ доли достаются.

Крыловъ не говоритъ, хорошо ли это или дурно. Не мнѣніе свое хотѣлъ онъ выразить, а фактъ, извѣстный каждому, кто умѣлъ видѣть, что вокругъ него происходитъ. Слово «часто» показываетъ, что не всегда же хвастуны могутъ рассчитывать на успѣхъ своего хвастовства, которое, притомъ, и не рекомендуется какъ хорошее средство для извѣстныхъ цѣлей. Искать, въ выписанныхъ стихахъ, одобренія лжи или тщеславной похвалы, значить подражать мудрецу механики. Басня: «Моръ звѣрей» окончена нѣсколько иначе въ сравненіи съ подлинникомъ:

И въ людяхъ тоже говорятъ:
Кто помирнѣй, такъ тотъ и виноватъ (1).

Справедливъ ли людской говоръ, слышимый также въ пословицѣ: «чья сильнѣе, та и правѣе?» этого вопроса переводчикъ не затрогиваетъ. Мы не вправе сердиться на его молчаніе, или удивляться, зачѣмъ онъ громомъ и молніей не поразилъ звѣрей, засудившихъ вола. Пристрастный судъ и невинность жертвы очевидны; самъ тонъ разсказа, безъ прибавочныхъ сентенцій, ясно показываетъ, на чьей сторонѣ сочувствіе разскащика. Басня «Левъ и комаръ» внушила Лафонтену два заключенія: первое—изъ враговъ нашихъ

(1) У Лафонтена:

. Selon que vous serez puissants ou misérables,
Les jugemens de cour (Cour de justice) vous rendront blanc ou noir.

самые мелкіе иногда оказываются страшнѣйшими; второе — иной, умѣвній избѣгнуть великихъ опасностей, погибаетъ отъ ничтожной вещи. У Крылова одно правоученіе:

Безсильному не смѣйся
И слабого обидѣть не моги!
Мстять сильно иногда безсильные враги:
Такъ слышомъ на свою ты силу не надѣйся.

Какъ видно, побужденіемъ къ тому, чтобы не смѣяться надъ безсильными и не обижать слабыхъ, выставленъ здѣсь житейски-благоразумный расчетъ: «мстять сильно иногда безсильные враги». Но развѣ нѣтъ другихъ, болѣе высшихъ и благороднѣйшихъ мотивовъ, чѣмъ эгоистическое самосохраненіе? Конечно есть, и разсудительнымъ людямъ они хорошо извѣстны: это — уваженіе къ личности, сознаніе человѣческаго достоинства, понятіе о равноправности, христіанское ученіе о любви къ ближнимъ... Но дѣло въ томъ, что не къ лицу животнымъ быть проповѣдниками возвышенныхъ движеній души, гуманныхъ стремленій, разумно-сознательнаго образа дѣйствій. Животныя по преимуществу пригодны для выставки такихъ недостатковъ человѣка, въ которыхъ обнаруживаются грубые, животные инстинкты его натуры. Злоупотребленіе силой есть одинъ изъ этихъ звѣриныхъ инстинктовъ. Осуждали совѣтъ, выведенный изъ басни «Музыканты» и напоминающій пословицу: «пьяница проспится, а дуракъ никогда»:

По мнѣ ужъ лучше пей,
Да дѣло разумѣй.

Нѣтъ спора, было бы правоучительнѣе сказать: «дѣло разумѣй, а все-таки не пей», если бы такое правоученіе могло отучить искусныхъ дѣльцовъ отъ пьянства. Но какъ эта возможность не существуетъ, то совѣтъ баснописца справедливъ и полезенъ. Кто же, въ самомъ дѣлѣ, желая насладиться музыкой, будетъ справляться о поведеніи знаменитыхъ виртуозовъ или пойдетъ слушать плохую игру людей, которыхъ кондуктійный списокъ безупреченъ? Бездарный писака весьма часто бываетъ примѣрнымъ семьяниномъ: знакомые его почтутъ въ немъ добраго отца или добраго сына, порадуются его счастью, но не станутъ читать его писаній. Народъ говорить: «пьянъ да уменъ — два угодья въ немъ». Крыловъ не простираетъ такъ далеко снисходительности къ пьянству: онъ только изъ двухъ золъ выбираетъ меньшее, потому что другого, болѣе выгоднаго выбора не оказывается. Подражая Руссо, нѣкоторые наставники юношества разсматривали педагогическое значеніе басенъ Крылова и пришли почти къ тому заключенію, къ какому

пришелъ авторъ Эмиля. Что внутренній смыслъ многихъ басенъ недоступенъ дѣтскому уму,—это такая истина, на доказательство которой не стоило тратить «ни времени, ни масла»; но что многія изъ нихъ, по художественному интересу, представленіямъ въ русскомъ духѣ и чисто-русскому языку, служатъ пріятнымъ и полезнымъ чтеніемъ для дѣтей, — это также не подлежитъ спору. Красота ихъ непосредственно дѣйствуетъ на прирожденное большимъ и малымъ народное чутье. Короче, философія Крылова — если такъ надобно называть его уроки и мысли, выводимые изъ басенъ—есть именно философія здраваго смысла, опытной мудрости, житейскаго реализма. Это — философія нашихъ народныхъ пословицъ.

По своему художественному значенію, басни Крылова принадлежатъ къ классическимъ. Русская литература справедливо гордится ими, какъ превосходными образцами того рода поэзій, за который, по мнимой его легкости, брались многіе, но въ которомъ до Крылова приобрѣлъ знаменитость только Лафонтенъ. У нашего баснописца иносказательное изображеніе всегда представляетъ самостоятельное поэтическое достоинство. Басня увлекательна и своимъ собственнымъ, прямымъ смысломъ, независимо отъ смысла внутреннего, раскрываемаго въ ея заключеніи или началѣ. Дѣйствіе между животными, выведенными съ ихъ отличительными, типическими свойствами, образуетъ замысловатую драму, которая плѣняетъ читателя и прежде чѣмъ приподнять аллегорическій покровъ и послѣ того какъ аллегорія истолкована.

Цервенствующая красота въ этихъ художественныхъ басняхъ есть красота ихъ народности. Явленія общечеловѣческой жизни изображаютъ онѣ въ образахъ русскаго быта, въ чертахъ русскаго характера. Проникнутый духомъ своего народа, баснописецъ воплотилъ его и въ свои вымыслы. Крылову, говоритъ И. Кирѣевскій, принадлежала честь единственная, ни съ кѣмъ въ его время нераздѣленная: онъ успѣлъ быть и, что еще важнѣе, онъ хотѣлъ быть русскимъ въ то время, когда подражаніе почиталось просвѣщеніемъ, когда слово «иностранное» было однозначительно съ словомъ «умное» или «прекрасное». Въ это время Крыловъ не только былъ русскимъ въ своихъ басняхъ, но умѣлъ еще одѣлать свое русское плѣнительнымъ⁽¹⁾. Это искусство олицетворять стая народной индивидуальности очевидно не только въ собственныхъ басняхъ Крылова, но и въ его переводахъ или передѣлахъ басенъ иностранныхъ. Заимствованные сюжеты обрабатывалъ онъ сооб-

¹⁾ Моск. 1845, № 1.

разно представленіямъ русскаго человѣка, почему и имѣлъ право причислить свою обработку къ оригинальнымъ созданіямъ. При сличеніи, напримѣръ, басенъ: «Оселъ и Соловей», «Демьянова уха», «Лжецъ», съ ихъ источниками ⁽¹⁾, открывается превосходство нашего баснописца, умѣвшаго посредственнымъ разсказомъ сообщать высокое поэтическое достоинство и цвѣтъ народности.

Преобладающею силою духовной природы Крылова былъ умъ— трезвый, смѣтливый, наблюдательный, просто и прямо смотрящій на предметы, не поддаваемый никакими теоріями и пристрастіями,— тотъ здравый умъ, которымъ, по выраженію Гоголя, крѣпокъ русскій человѣкъ, умъ выводовъ, такъ называемый задній умъ, заявившій себя въ пословицахъ. Крыловъ и любилъ черпать изъ этой сокровищницы практической, житейской мудрости. Пользовался же онъ ею не для впѣшнаго украшенія своихъ басенъ, а потому что пословица была естественною, слѣдовательно удобнѣйшею формою прирожденнаго ему склада ума, пріемовъ его мысли. Въ свою очередь, словарь народныхъ изреченій одолженъ баснописцу значительнымъ матеріаломъ: собиратели русскихъ пословицъ (Снегиревъ, Даль) внесли въ свои сборники многіе стихи изъ его басенъ. Каждый образованный находитъ въ этихъ басняхъ чрезвычайно меткія апофегмы или поговорки, и при случаѣ поясняетъ ими свою мысль, такъ что нѣтъ уже надобности ни въ другихъ толкованіяхъ, ни въ другихъ доводахъ. Между свойствами ума, которымъ природа надѣлила Крылова, одно въ особенности заслуживаетъ вниманія, какъ бы подтверждавая ту мысль, что русскій человекъ преимущественно передъ другими народами обладаетъ критическою силою, почему и въ литературѣ его наиболѣе выказывается отрицательное отношеніе къ жизни. Это свойство — иронія, веселая и лукавая вмѣстѣ, совершенно противоположная наивности, въ которой Крыловъ вовсе неповиненъ и которую хотѣли навязать ему насильно, вѣроятно изъ желанія доказать всестороннее сходство нашего баснописца съ Лафонтеномъ, тогда какъ, говоря серьезно, сходство ограничивается лишь тѣмъ, что тотъ и другой писали превосходныя басни. Ироніей отзываются сужденія и взгляды самыхъ характеристичныхъ басенъ Крылова. При встрѣчѣ съ новыми, или выстунающими изъ ряда явленіями, умъ его тотчасъ принимаетъ

¹⁾ Эти источники: *L'âne et le rossignol* (Дядро), *La politesse villageoise* (стихотвореніе Варба) и *Le paysan et son fils* (Эмбера, переведшаго басню Геллерта: Bauer und sein Sohn), помѣщены въ «Примѣчаніяхъ» г. Еленевича. Въ Лафонтеновой баснѣ: *Dérouillé infidèle*, также выставленъ лжецъ. Образцомъ ея служилъ одинъ изъ средневѣковыхъ басенныхъ разсказовъ (*fabliaux*) о рыцарѣ и его оруженосцѣ, сходный по сюжету съ баснею Крылова.

скептическое, насмѣшливое направленіе: видитъ пустую, а иногда и вредную затѣю тамъ, гдѣ другіе привѣтствуютъ перемѣну къ лучшему; любитъ сомнѣваться въ успѣхѣхъ, а не предполагать успѣхѣхъ; опасается зла, имѣющаго возникнуть, а не поощряетъ возникающаго добра. Что же дальше, кромѣ ума? Можно думать, что онъ сильно переросъ всѣ прочіе элементы духовной природы, которые потому и сдѣлались незамѣтны, если нельзя думать, что ихъ вовсе и не было. Въ біографіи Ломоносова, Державина, Карамзина, Жуковского, Пушкина встрѣчаешь разнообразіе какъ литературныхъ, такъ и умственныхъ и нравственныхъ качествъ. Говоря о Крыловѣ, волею-неволею говоришь о его умѣ—и только объ умѣ. Подкупленный высокою цѣнностью этого ума, читатель можетъ забывать отсутствіе другихъ сторонъ личности; но историческая правда требуетъ сказать, что Крылову не доставало чувства, которое привязываетъ человѣка къ извѣстнымъ идеямъ, къ извѣстному образу дѣйствій и согрѣваетъ внутреннимъ огнемъ всѣ проявленія его таланта. Разсматривая его басни, легко узнать, чего онъ не хотѣлъ; трудно опредѣлить, чего именно хотѣлъ онъ. Конечно, такое направленіе частію условливалось сущностью басни какъ сатиры, но большею частію (такъ мнѣ кажется) оно зависѣло отъ недостатка положительнаго сочувствія къ чему бы то ни было. Переходъ отъ многихъ отрицаній, выражаемыхъ Крыловымъ, къ общему утвержденію темень и затруднителенъ. Есть мнѣніе, что положительный идеалъ баснописца выраженъ въ баснѣ «Орелъ и пчела» (1813), представляющей пользу тружениковъ для общаго блага; но справедливо ли называть идеаломъ одиночное заявленіе, высказанное, можетъ быть, по извѣстному, также одиночному, поводу и не запечатлѣнное печатью владычества надъ разными другими заявленіями? Идеалъ даетъ себя знать всегда и повсюду, больше или меньше проникаетъ каждое поэтическое сознаніе; его нельзя скрыть: онъ обнаруживается такъ или иначе — подборомъ ли предметовъ, характеромъ ли правоученій, или вспышкой лирической, причемъ самъ авторъ выдвинется изъ-за своей работы. Ничего подобнаго у Крылова нѣтъ. Большинство его басенъ какъ бы говоритъ за него: моя хата съ краю, ничего не знаю. Тотъ ошибется, конечно, кто на слово повѣритъ этой пословицѣ. Напротивъ, Крыловъ очень хорошо зналъ, но отъ знанія дѣла до сочувствія къ дѣлу далеко, еще дальше до участія въ дѣлѣ, а самое большое разстояніе до инициативы въ немъ. Безстрастіе было отличительнымъ свойствомъ его духовной природы; въ покоѣ безстрастія заключался его идеалъ. Чтобы написать простое письмо, онъ долженъ былъ превозмогать свою лѣнь. «Природа надѣлила его

всѣми талантами, говоритъ Вигель.... Одного ему дано не было: душевнаго жара, священнаго огня.... Вездѣ умъ, нигдѣ не проглянетъ чувство.... Человѣкъ этотъ никогда не зналъ ни дружбы, ни любви, никого не удостоивалъ своего гнѣва, никого не ненавидѣлъ, ни о комъ не жалѣлъ; никогда не вспоминалъ о прошедшемъ, никогда не радовался ни славѣ нашего оружія, ни успѣхамъ просвѣщенія.... Двѣ трети столѣтія прошелъ онъ одинъ сквозъ нѣскольکو поколѣній, одинаково равнодушный какъ къ отцвѣтшимъ, такъ и къ зрѣющимъ». Хотя и безразсудно вполнѣ довѣрять автору, который въ своихъ Запискахъ охотно набрасывалъ тѣнь на замѣчательнѣйшихъ людей своего времени, въ томъ числѣ и на Сперанскаго, однакожъ каждый, знакомый съ біографіей Крылова и съ чертами его психическаго настроенія, насколько онѣ обнаруживаются его баснями, согласится, что въ приведенныхъ словахъ много правды. Физіомія баснописца, какъ человѣка, схвачена удачно. Сходство портрета подтверждается отзывомъ Плетнева: «Крыловъ ничего не полюбилъ, какъ человѣкъ общественный, какъ писатель гениальный». Тяжелый на подъемъ духа, безъ чего не возможны ни побужденія къ дѣятельности, ни успѣхи въ ней, Крыловъ и своему литературному слогу сообщилъ ту оригинальную особенность, которую Плетневъ означилъ словомъ «увѣсистый» и которая отличаетъ способъ выраженія баснописца отъ выраженія современныхъ ему литераторовъ.

Матеріалы для біографіи Крылова и для опредѣленія его дѣятельности:

Басни И. Крылова, критическая статья Жуковскаго (Вѣсти. Евр. 1809, № 9).

Жизнь и сочиненія И. А. Крылова, ст. Лобанова (Сынъ Отеч. 1847, № 1).

Жизнь и сочиненія И. А. Крылова, ст. Плетнева, въ Полн. Собр. сочиненій И. Крылова.

Народное и общественное значеніе Крылова, О педагогическомъ значеніи Крылова, четыре статьи В. Водовозова (Журналъ Мин. Нар. Просв. 1862, №№ 4, 5, 8, 9).

Рѣчь о басняхъ Крылова въ художественномъ отношеніи, А. Никитенко (1868).

Библіографическія и историческія примѣчанія къ баснямъ Крылова. Составилъ В. Кеневичъ (1868).

Литературная жизнь Крылова. Академическое чтеніе Я. Грота въ день юбилея Крылова, 2 февраля 1868.

Замѣтка для біографіи Крылова, Я. Грота (1868).

И. А. Крыловъ (Біографическій очеркъ), В. Кеневича (Вѣсти. Евр. 1868, кн. 2).

Сатира Крылова и его «Почта духовъ», Я. Грота (ib. кн. 3).

Крыловъ и Радищевъ, А. Пыпина (ib. кн. 5).

О Крыловѣ и его литературной дѣятельности, Н. Лавровскаго (Журн. Мин. Нар. Просв. 1868, февраль).

Въ характеристикѣ Крылова, какъ писателя, Гоголь обратилъ вниманіе на то, что Крыловъ «выбралъ себѣ форму басни, всѣмъ пренебреженную, какъ вещь старую, негодную къ употребленію и почти дѣтскую игрушку» ⁽¹⁾. Это не совсѣмъ такъ. Когда Крыловъ началъ писать басни, еще не казалось страннымъ мнѣніе одного изъ корифеевъ швейцарской школы нѣмецкой поэзіи—Брейтингера († 1776), почитавшаго басню высшимъ родомъ стихотворства. Мнѣніе это вытекало изъ понятія о чудесномъ, какъ основѣ поэзіи, которая, сверхъ того, должна производить моральное дѣйствіе на читателя. А какъ басня, по своей сущности и происхожденію, есть чудесное, дающее поводъ къ нравоученію, то и отдано ей первенство передъ другими родами поэтическихъ произведеній. Что она въ эпоху Крылова не теряла своего значенія, ни у насъ, ни въ литературѣ запада, доказывается, между прочимъ, баснями Арио (Ariault) († 1834), имѣвшими большой успѣхъ во Франціи, и баснями А. Измайлова (1779—1831), современника Крылова, которые читались съ удовольствіемъ: въ теченіе тринадцати лѣтъ (съ 1814 по 1826) вышло ихъ пять изданій.

Успѣхъ и значеніе басенъ Измайлова опредѣляются особенностью его дарованія, которое не осталось незамѣченнымъ даже при славѣ Крылова. На эту особенность указывалъ самъ авторъ, называвшій себя «Россійскимъ Теньеромъ 1-мъ» ⁽²⁾. Любимымъ его выраженіемъ было: «я *теньеръ* по прежнему». Сфера жизни обыкновенной, наивно-грубой, а иногда и цинической, подходила къ таланту Измайлова, который вѣрно схватывалъ черты ея и рисовалъ ихъ искусно. По врожденному «чутью дѣйствительности», онъ не увлекался сентиментализмомъ Карамзина, хотя храбро стоялъ за его реформу языка. Въ повѣсти «Маша», служащей подражаніемъ «Бѣдной Лизѣ», трогательная часть перешла въ забавный мелодрама-тизмъ; сцены простыхъ, низменныхъ характеровъ и происшествій принадлежать къ лучшимъ мѣстамъ ея, каковы, напримѣръ: сватовство въ домѣ Простаковыхъ и письмо Филимона Фатюева къ Простакову. Къ сатирѣ Измайлова прилагается оправданіе какого-то автора, обвинявшагося въ томъ, что онъ пишетъ личности:

Твой портреты очень схожи.

На лица пишешь ты!—«Нѣтъ, я пишу на рожи».

Это не значить, что у Измайлова изображенія выходили карриатурными; это значить, что Измайловъ былъ искусенъ рисовать

⁽¹⁾ Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями.

⁽²⁾ «Il est le Ténier des écrivains russes», сказано о немъ въ *Revue Encyclopedique* 1821 г.

только такіа лица, которые зовутся рожами. Высокое, нѣжное, утонченно-образованное, деликатное, граціозное... рѣшительно ему не удавалось. Всѣ притязанія на патетизмъ оканчивались крайней неловкостью. Хотѣлъ ли онъ начертать изящный образъ? образъ, вопреки его намѣренію, поражаетъ отсутствіемъ изящества. Думалъ ли растрогать читателей? читатели оставались равнодушными или улыбались. Его нѣжныя пѣсенки и мадригалы—носыгательство на нѣжность, его оды—посыгательство на лиризмъ. То и другое скорѣе примешь за пародію, чѣмъ за настоящіе образцы. Описаніе водопада (въ баснѣ «Водопадъ и Ручей») оканчивается двумя стихами, изъ коихъ послѣдній смѣшонъ, на перекоръ желанію автора изобразить величавое:

Ни птица, ниже звѣрь къ нему не приближались,
И noch смертному въ него не тускались.

Не менѣе смѣшно уподобленіе кота сибариту, а мертвой мыши—статуѣ Венеры:

Вотъ мышку въ зубы онъ беретъ,
Потомъ передъ себя кладетъ....
Глядитъ, какъ сибаритъ на статую Венеры (').

Но какъ только авторъ выходитъ изъ несвойственной ему сферы патетическаго, нѣжнаго и граціознаго, и вступаетъ въ сферу низшаго, необразованнаго или малообразованнаго слоя общества, гдѣ бытовая сторона, не отличаясь чистоплотностью, обнаруживается откровеннѣе, наивнѣе и грубѣе, тамъ онъ дѣйствуетъ свободно, умѣетъ находить и выдерживать соотвѣтственный сюжетамъ тонъ; тамъ нѣтъ разлада между изображеніемъ и изображаемымъ. Міръ его басенъ населенъ такими личностями, которые по табели о рангахъ не восходятъ выше титулярнаго совѣтника и съ которыми часто имѣла дѣло управа благочинія. Двери салоновъ затворены для нихъ, но за то открытъ имъ входъ въ неприхотливыя увеселительныя заведенія. Одна изъ лучшихъ басенъ Измайлова «Пьяница» вполнѣ выказываетъ свойство его таланта, равно какъ и его манеру разсказа. Дѣйствующее лице въ ней —

Пьянющинъ, отставной квартальный,
Совѣтникъ титулярный,
Исправно насаждалъ въ носъ,
Въ худой шинельникъ, зимой, въ большой морозъ,
По улицѣ шель утромъ и шатался.

') Въ баснѣ: Черный Котъ.

Получивъ отъ кума полсотни рублей, онъ отправился въ трактиръ, напился мертвецѣи пьянъ,

Къ несчастію еще въ трактирѣ онъ подрался,
А съ кѣмъ, за что,—и самъ того не зналъ,
На гѣстницѣ споткнулся и упалъ,
И весь, какъ чортъ, въ грязи, въ крови перемарался.
Вотъ вечеромъ его по улицѣ ведутъ
Два воина осанки важной,
Съ съкирами, въ бронѣ сермажной.

Представивъ безобразіе, до котораго доводитъ пьянство, авторъ заключаетъ:

Однако надобно, чтобъ больше пилъ народъ:
Хоть людямъ вредъ, за то откупщикамъ доходъ.

Другая басня: «Пьяница и судьба», хотя неоригинальная по вымыслу, начинается оригинальнымъ изложеніемъ:

Въ ночь темную, зимой,
Подъятій пьяный шелъ черезъ рѣку домой;
Съ прямой дороги сбился,
И гдѣжь? у полыни каналья очутился,
Споткнулся и на край на самый повалился;
Заснулъ и думаетъ, что онъ на сѣзжей спитъ;
На чистомъ воздухѣ, какъ богатырь, храпитъ....

И между тѣмъ, по странной прихоти человѣческой природы или по трудности распознавать талантъ свой, Измайловъ, называвшій себя Теньеромъ, въ смыслѣ непритворнаго описателя случаевъ и лицъ, въ родѣ вышеприведенныхъ, домогался чести прослыть «писателемъ для дамъ» и не шутя почиталъ себя таковымъ. Въ одномъ посланіи онъ величаетъ себя однимъ изъ главныхъ дамскихъ поэтовъ и многія статьи скрѣплялъ подписью: «писатель для дамъ», а въ послѣдствіи, какъ бы недовольный такимъ ограниченіемъ своего авторства, прибавлялъ: «и для мужчинъ». Нельзя было сильнѣе задѣть его, какъ не признавая за нимъ этого титула. Въ сатирѣ Воейкова: «Домъ сумасшедшихъ», одна строфа посвящена Измайлову:

Вотъ Измайловъ—авторъ басенъ,
Разсужденій, эпиграммъ;
Онъ пишетъ мнѣ: «Я согласенъ,
Я писатель не для дамъ.
Мой предметъ—носъ съ прыщами;
Ходимъ съ музою въ трактиръ
Водку пить, ѣсть лукъ съ сельдями;
Миръ квартальныхъ—вотъ мой миръ!»

Сверхъ простоты и тенберовской естественности, басни Измайлова отличаются простодушiемъ и откровенностью, отражая на себѣ характеристическія черты автора. Этими чертами, совершенно противоположными характеру Крылова, Измайловъ походилъ и на Хемницера, котораго онъ, по его словамъ, выбралъ своимъ наставникомъ, и на Лафонтена, который въ сочиненіяхъ своихъ любилъ говорить о самомъ себѣ, такъ что они доставляютъ значительный матеріалъ его біографу. Нашъ баснописецъ превзошелъ въ этомъ отношеніи и того и другаго. При каждомъ случаѣ онъ не скупился на откровенныя извѣстія о литературныхъ, служебныхъ и семейныхъ обстоятельствахъ своей жизни. Различныя черты его портрета, набросанныя имъ самимъ, даютъ возможность представить его личность, — личность добраго, безхитростнаго, прямодушнаго, достолюбезнаго человѣка, съ неважнымъ умомъ, любившимъ ограниченную истину и осязательную ясность, съ мелкимъ образованіемъ, не выступавшимъ изъ круга словесности и питавшимся воззрѣніями французскихъ теоретиковъ. Читатели его сочиненій и журнала, имъ издававшагося (Благонамѣренный), были посвящены даже въ частности его домашняго быта: они знали его наружность, одежду, мѣсто жительства, день рожденія супруги, фамиліи кумовьевъ и крестниковъ, имена кучера, кухарки и другихъ служителей.... Желаніе казаться инымъ, а не быть тѣмъ, что онъ есть, аффектація, притворство встрѣчали въ немъ постоянную антипатію. Отбросивъ ложный стыдъ, онъ исповѣдывался передъ публикой въ своихъ недостаткахъ и не тайлъ недостатковъ чужихъ. При словѣ о метроманіи, онъ прямо говоритъ, что и за нимъ водится этотъ грѣхъ:

Люблю писать стихи и отдавать въ печать!

Не потаю грѣха: люблю ихъ и читать

не только друзьямъ сердечнымъ, но встрѣчнымъ и поперечнымъ.

Вышла книжка: «Разпознаваніе и леченіе гемороя», совѣтующая воздерживаться отъ употребленія горячихъ напитковъ, — Измайловъ тутъ же замѣчаетъ:

И даже отъ вина!...

Да лучше пусть болитъ спина!

Запоздалъ номеръ журнала на масляницѣ, — издатель извиняется въ неаккуратности и вмѣстѣ съ тѣмъ объясняетъ ея причину, а именно, что онъ,

Какъ русскій человѣкъ, на праздникахъ гулялъ,

Забылъ жену, дѣтей, не только что журналъ.

Таковъ же Измайловъ и въ своихъ басняхъ. Онъ не простой разсказчикъ того, что дѣлается между людьми или животными: онъ принимаетъ участіе въ событіяхъ и никакъ не можетъ воздержаться, чтобы не заявить своего мнѣнія или чувства. Заявленія эти, всегда искреннія, простодушныя, часто горячія и часто комичныя, составляютъ субъективный элементъ. По инымъ баснямъ можно подумать, что дѣло касается собственной персоны автора, что онъ лично заинтересованъ въ драмѣ и потому, не довольствуясь ролью зрителя, по временамъ выказываетъ свою фигуру изъ-за кулисъ. Длинное заключеніе басни «Клеветникъ» сообщаетъ, что авторъ въ перинной линіи видѣлъ картину страшный судъ. Описавъ, какія изображены на ней муки, уготованныя клеветникамъ, онъ прибавляетъ отъ себя:

Не худо-бъ и живыхъ ихъ жечь,
Или на перекресткахъ сѣчь
Подъ барабанъ лозами...
Однихъ клеветниковъ... А клеветницъ?—Щипцами
Горячими ихъ язычки припечь.

Начавъ басню «Черный Котъ» нѣжно-комическимъ тономъ:

Вы любите кота?
Любите: онъ вѣдь сирота;
Малюткой вамъ еще достался;
Кто подарилъ его, тотъ съ жизнію разстался,

Измайловъ оканчиваетъ ее сердитыми словами:

Всего противнѣй мнѣ Тартюфы—лицемѣры!
О, какъ бы я былъ радъ,
Когда бы поскорѣй они попали въ адъ!

Басня «Смѣтливый экономъ»—образецъ спокойно-добродушной веселости съ одной стороны и личнаго вмѣшательства автора съ другой. Но не всегда онъ оставался спокойнымъ: онъ умѣлъ вспылить, конечно не безъ резона, и въ искренней, любезно-комической вспышкѣ выказать всю свою простоту, наивность и незлобіе. Для примѣра выпишемъ заключительные стихи разсказа о «Дворянкѣ буянкѣ», ведшей себя неприлично въ церкви:

О стыдъ! о срамъ!
И это сдѣлала дворянка и дѣвица!
Проклятая срамница!
Будь я архіерей
Или хоть протоіерей,
То право бъ проучилъ злодѣйку:
На паперти бъ ее поставилъ у дверей,

Вздѣвъ ожерелье ей желѣзное на шейку (').
Сошлось бы множество народа поглядѣть.
Дай Богъ ей вѣкъ весь въ дѣвкахъ просидѣть!

Послѣдній стихъ—совершенство въ своемъ родѣ. Трудно закончить басню болѣе наивнымъ и неожиданнымъ образомъ, и невозможно пожелать болѣе напасти дѣвицѣ, смышлявшей жениха.

Оригинальнаго вымысла въ басняхъ Измайлова почти нѣтъ вовсе. Онъ не имѣлъ для этого способности, въ чемъ и сознавался передъ публикой: большую часть своихъ басенъ онъ называлъ вольными подражаніями иностраннымъ баснописцамъ—Езопу, Лафонтену, Флоріану, Ламоту и многимъ другимъ:

Я подражателя названія желаю;
Свой трудъ достоинствомъ чужимъ я возвышаю.

Въ посланіи къ одному изъ друзей своихъ онъ съ горемъ и досадою восклицаетъ:

Бѣда и стыдъ съ мной не творческимъ умомъ!
Я въ вымыслахъ совсѣмъ удачи не имѣю.

Но этотъ недостатокъ творчества вознаграждается другою оригинальностью, которая и служила причиною успѣха басенъ: будучи переводами или подражаніями, онѣ тѣмъ не менѣе своеобразны, какъ отраженіе своеобразной личности на заимствованномъ вымыслѣ, на манерѣ и тонѣ разсказа, на выводахъ, на языкѣ. Въ какомъ бы костюмѣ ни являлся переводчикъ, читатели узнавали въ немъ одну и ту же особу—Александра Ефимовича Измайлова, баснописца или, какъ онъ любилъ именовать себя, «фабулиста», со многими достолюбезными качествами русскаго чадовѣка, которыя обнаруживались въ его литературныхъ произведеніяхъ со всею простотою и наивною.

§ 21. Настроеніе духа, возбуждаемое отступленіями дѣйствительности отъ идеала, выражались частію въ эпосѣ и драмѣ, а частію и въ самостоятельной формѣ, какъ произведеніи дидактической лирики, т. е. въ собственно такъ называемой сатирѣ. Между писателями въ этомъ родѣ первое, по времени, мѣсто принадлежитъ И. Дмитріеву, хотя онъ сочинилъ только одну сатиру: «Чужой толкѣ» (1795) и нѣсколько эпиграммъ, да перевелъ съ французскаго «Посланіе Попа къ доктору Арбутноту» (1793), своему современнику. Оба стихотворенія осмѣиваютъ безумную страсть къ

') Въ старину надѣвали въ церквахъ ошейники на тѣхъ, которые дѣлали такъ какое-либо безчестіе. Ошейники сіи прикованы были цѣпами къ стѣнамъ. *Примѣч. Измайлова.*

стихотворству, которая ведет свое начало издавна и скоро приняла характер хронической болѣзни. Еще Горацій замѣтилъ, что отъ страдающаго этою болѣзнію умные люди бѣгаютъ, какъ отъ заразы. Подъ нею, конечно, разумѣлъ онъ не творчество поэта, а ремесло версификатора. Стихотворное рукодѣлье развилось у французовъ въ литературныхъ салонахъ; поощряемое публикой, которая находила въ немъ пріятную для себя забаву, оно достигло крайняго педантизма и сдѣлалось предметомъ комедіи. На что есть запросъ, то и производится въ обилии. Производство же сбывалось выгодно, доставляя производителямъ извѣстность, покровительство знатныхъ, а иногда выгодныя мѣста и деньги. На ловаго стихотворца смотрѣли какъ на *bel esprit*. Авторскому тщеславію было здѣсь много помѣхи, хотя, съ другой стороны, оно порождало много смѣшныхъ исторій. Сцена между Триссотиномъ и Вадіемъ, въ «Ученыхъ женщинахъ» Мольера, не выдумана комикомъ: онъ воспроизвелъ дѣйствительную ссору Котэна съ Менажемъ, случившуюся на одномъ собраніи, изъ за какого-то сонета. Стихобѣsie послужило сюжетомъ и комедіи Пирона «Метроманія» (1738). Оно обуяло не однихъ служителей музъ: конторщики, мелкіе чиновники, отставные генералы брались за переводы Гораціевыхъ одъ и посланій, или за дидактическія поэмы, имѣвшія предметомъ какую-нибудь статью науки. На поэтическую арену выступали:

И крупный господинъ, слагатель мелочей,
И авторъ въ чепчикѣ, и бѣдный дуралей,
И молодой судья, на мѣсто чтенія правъ,
Кропающій экспромтъ, до полночи не спавъ ⁽¹⁾.

Слѣдуя за направленіемъ вкуса, метроманія специализировалась, т. е. переходила отъ однихъ поэтическихъ родовъ къ другимъ. Французы утоляли свою стихотворческую фурію то на легкой поэзіи, то на басняхъ, то на одахъ. Начало русскаго стихотворства и метрофидства почти совпадаютъ: первымъ метрофидомъ былъ Тредьяковскій. Хотя оно уступало западному въ своемъ значеніи, однакожь скоро сдѣлалось добычею сатиры ⁽²⁾. Особенно была преслѣдуема одоманія — охота писать торжественныя оды, которыя стали у насъ плодиться со времени Ломоносова и въ подражаніе ему. Легкая возможность трубить похвалы кому-

⁽¹⁾ Изъ посланія къ Арбутноу.

⁽²⁾ Примѣръ отчаяннаго метромана въ прошломъ столѣтіи и притомъ самаго низкаго сорта представлялъ Струйскій († 1796), пензенскій помѣщикъ, бывшій владимірскимъ губернаторомъ (Рус. Архивъ 1865 г.).

угодно и на какой-угодно случай объяснена Крыловымъ въ восточной повѣсти «Кайбъ» (1792): «Мы (говорить стихотворецъ Каллифу) даемъ нашему воображенію волю въ похвалахъ, съ тѣмъ только условіемъ, чтобъ послѣ всякое имя выставить можно было. Ода, какъ шелковый чулокъ, который всякій старается растягивать на свою ногу»... Подражая Мольеру, Княжнинъ вывелъ въ комедіи «Чудаки» двухъ стихотворцевъ: идиллика Свирѣлкина и одописца Тромпетина. Но самое ловкое пораженіе хвалебной лирики нанесла сатира Дмитріева: «Чужой толкъ». Съ большимъ остроуміемъ и вѣрностью она изобразила приемы и свойства громкихъ одъ, выходившихъ изъ подъ пера бездарныхъ римоплетовъ, а вмѣстѣ объяснила и причины неустѣха нашего торжественнаго пѣснопѣнія: Многіе стихи ея сдѣлались пословицами. Личный характеръ автора и подражаніе французскимъ образцамъ сообщили ей тонъ приличія и уклончивость; но тѣмъ не менѣе, она исполнена колкихъ насмѣшекъ, которыя не теряютъ своей язвительности отъ того, что выговариваются не самимъ авторомъ, а двумя посторонними лицами, какъ показываетъ названіе пьесы. «Чужой толкъ» примѣняется къ безталаннымъ слагателямъ одъ, какихъ у насъ было множество; однакожъ и нѣкоторыя произведенія нашихъ лучшихъ стихотворцевъ подходятъ подъ сужденіе и осужденіе умнаго аристарха. Уставу ложно-классической лирики подчинялись и Ломоносовъ, и Державинъ: и они не безъ вины передъ остроумнымъ «толкомъ». Въ частности жѣ, сатирикъ разумѣлъ Николева, Клушина и Бухарскаго; двое послѣднихъ печатали свои стихотворенія въ журналѣ «Зритель» (1792). Слова сатиры, что иная торжественная ода въ двѣсти строфъ, оправдываются посланіемъ Николева къ княгинѣ Дашковой, содержащимъ въ себѣ сто три строфы, по десяти стиховъ въ каждой — всего 1030 стиховъ. Особенности сатирическаго таланта Дмитріева видны и въ его эпиграммахъ — большею частію подражаніяхъ французскимъ или переводахъ съ французскаго, но переводахъ мастерскихъ. Нѣкоторыя изъ нихъ (Живописецъ, Бригадиръ, «Мнѣ лекарь говорилъ», «Я разорился отъ воровъ»...) получили силу пословицъ, какъ типически-вѣрные изображенія странностей или глупостей. Въ сказкахъ своихъ Дмитріевъ также сатирикъ по преимуществу. Онъ былъ призванъ для этого рода поэзіи, хотя не угадывалъ или не пѣнилъ призванія. Трудно повѣрить, что изъ послѣдняго собранія своихъ стихотвореній онъ хотѣлъ исключить наилучшее — «Чужой толкъ», и только настойчивыя просьбы племянника (М. Дмитріева) удержали его отъ такого страннаго само непониманія.

Поздравительные стихи не вышли изъ обычая и черезъ двадцать почти лѣтъ послѣ «Чужаго толка», какъ можно судить по сатиры кн. Долгорукаго «Черты свободного писателя» (1813):

Стихи писать теперь есть промыселъ торговый,
И къ праздничному дню бояра всѣ съ обновой.

«Тогда» (1813), замѣчаетъ при этомъ М. Дмитріевъ, «писали стихи и вельможамъ, и покровителямъ, и важнымъ родственникамъ, и богачамъ: ихъ получалъ не только графъ Н. П. Румянцевъ, издававшій на своемъ иждивеніи древнія грамоты и снарядившій корабль для кругосвѣтнаго плаванія, но и Поздняковъ, имѣвшій публичный театръ и дававшій публичные маскарады»⁽¹⁾. Читатели и авторы сошлись въ своемъ благоволеніи къ стихотворству. Хорошіе стихи всегда лучше хорошей прозы, сказалъ Карамзинъ въ разборѣ Душеньки, разумѣя, конечно, равное достоинство внѣшней формы и равнокачественность содержанія. Другіе, упустивъ изъ виду это обстоятельство, полагали, что и посредственные стихи стоятъ хорошей прозы. Лица малаго образованія, не заводившіеся книгами, но не чуждые литературныхъ интересовъ, охотно списывали стихи, которые приходились имъ по вкусу. Подобные сборники иногда достигали большихъ размѣровъ и хранятся въ библіотекахъ, какъ памятники новѣйшей письменности. На литературныхъ чтеніяхъ стихи большею частію берегались къ концу, *pour la bonne bouche*, какъ самое лакомое угощеніе. Журналы были немыслимы безъ стихотвореній, которыя занимали первенствующее мѣсто въ отдѣлѣ изящной словесности. Кромѣ охоты писать, явилась неутомимая охота читать свои произведенія. Еще Мольеръ замѣтилъ несносный обычай авторовъ

D'être au Palais, aux Cours, aux ruelles, aux tables
De leurs vers fatiguants lecteurs infatigables.

Наши авторы также зачитывали друзей и недруговъ, которые убѣдились, что бѣда чтанія еще злѣе бѣды писанія:

Не говорю, за чѣмъ онъ пишетъ,
Но для чего читаетъ онъ?

Послѣднимъ и самымъ отчаяннымъ представителемъ нашей метроманіи былъ графъ Д. И. Хвостовъ, дарившій свои сочиненія знакомымъ и незнакомымъ, даже станціоннымъ смотрителямъ, когда онъ останавливался для перемены лошадей. Онъ часто фигурировалъ, подъ именемъ Графова, и въ эпиграммахъ, и въ басняхъ,

⁽¹⁾ Князь Иванъ Михайловичъ Долгорукій и его сочиненія (1863).

и въ посланіяхъ. Въ особенности занимался имъ баснописецъ А. Измайловъ, самъ платившій дань слабости, надъ которой смѣялся. Уважемъ еще на два посланія кн. Вяземскаго: «Къ перу моему» (подражаніе Буало) и «къ И. И. Дмитріеву», какъ на остроумныя сатиры противъ стихоплетства.

Сатира князя И. М. Долгорукаго (1764—1823) обращалась въ кругу другихъ, болѣе серьезныхъ предметовъ. Она замѣчательна своей оригинальностью, равно какъ и его лирика. Собраніе своихъ стихотвореній авторъ издалъ подъ заглавіемъ: «Бытіе моего сердца» (1802), желая показать съ первой же страницы, что книга служитъ выраженіемъ умственно-нравственнаго бытія его. «Въ стихахъ моихъ», говоритъ онъ въ предисловіи, «я хотѣлъ сохранить всѣ отѣнки чувствъ своихъ, видѣть въ нихъ, какъ на картинѣ, всю исторію моего сердца, его волненія, пережѣну въ образѣ мыслей, ходъ ихъ въ разныхъ возрастахъ жизни и постепенное развитіе малыхъ моихъ способностей... Всякій стихъ напоминаетъ мнѣ какое-либо или происшествіе, или мысль, или чувство, которое на меня дѣйствовало тогда и тогда; словомъ, мнѣ пріятно себя находить ребенкомъ, мальчикомъ, мужемъ совершеннымъ и наконецъ старикомъ, и видѣть, какою ниткою разсудокъ мой отъ 15 лѣтъ и до 50 прокладывалъ себѣ пути къ счастью въ томъ глубокомъ лабиринтѣ, что анатомисты называли *сердцемъ*». Таже мысль выражена и нѣкоторыми стихотвореніями. Въ одномъ изъ нихъ Долгорукій откровенно исповѣдуется, съ какою цѣлью онъ брался за перо:

Пишу, что кроется во мнѣ:
Нѣмой бумагѣ безъ искусства
Ввѣряю искреннія чувства.
Угоденъ—пусть меня читаютъ,
Противенъ—пусть въ огонь бросаютъ:
Трубы похвальной не ищу.

Характеромъ этихъ искреннихъ чувствъ, сущностью моральнаго бытія автора (бытія его сердца) опредѣляются характеристическія, существенныя отличія его лирики. Здѣсь, по словамъ его, ключъ той оригинальности, которую многіе справедливо приписывали его сочиненіямъ,—оригинальности внутреннея и внѣшней, въ содержаніи и въ формѣ.

Князь Долгорукій не любилъ скрывать себя, да и не имѣлъ въ томъ надобности; напротивъ, онъ могъ безъ опасеній *быть* постоянно *самимъ собою*, и дѣйствительно былъ таковымъ, не стараясь казаться чѣмъ-либо инымъ. Отъ природы получилъ онъ прямой, здравый и острый умъ, чувствительность, но не въ смыслѣ сентиментальности, добродушіе, любовь къ истинѣ и дѣйствитель-

ности. Какъ бы въ благодарность за хорошіе дары, онъ питалъ къ природѣ благоговѣйную любовь и преданность, называлъ ее другомъ, вождемъ и матерью, хотѣлъ жить заодно съ нею, потому что въ ней одной видѣлъ источникъ всевозможныхъ отрадъ и въ тоже время роковую непобѣдимую силу, которая не измѣняетъ своихъ, отъ вѣчности заведенныхъ порядковъ. Человѣкъ, по его понятію, есть «узникъ естества, крупный червь, ежечасно мятущійся». Изъ того, что мы давимъ другія творенія, еще не слѣдуетъ величать насъ царями земли:

Ничто здѣсь не для насъ; мы сами для того,
Чтобъ цѣпь кольцомъ связать творенія всего.

Что введено въ чинъ природы, то не можетъ быть намъ вредно, говоритъ Долгорукій, и въ «Посланіи къ Сердечкину» подчиняетъ ея уставу законы человѣческой жизни:

Натурой созданы, въ натурѣ мы живемъ:
Законами ея намъ должно управляться;
По милости ея мы спимъ, ѣдимъ и пьемъ,
По милости ея мы можемъ наслаждаться.

Поклоняясь своему кумиру-природѣ, Долгорукій искренно внималъ естественному чувству и сверхъ того голосу Руссо, котораго онъ цѣнилъ выше всѣхъ философовъ, какъ «благонравнаго» мудреца, и въ одномъ шутиливомъ стихотвореніи называлъ «Рыжимъ Яшкой»:

Ученіе сего философа любя,
Природа! здѣсь и я почувствовалъ тебя.

Поэтъ дорожилъ этимъ чувствомъ какъ истиннымъ благомъ, и никогда не измѣнялъ ему. Въ исторіи его внутреннихъ ощущеній оно занимало самое видное мѣсто. Онъ былъ жизнелюбивъ не въ томъ смыслѣ, что боялся смерти, а въ томъ, что не боялся удовлетворять требованія своего естества, тѣлеснаго и душевнаго. Особенно наслаждался онъ *жизніемъ сердца*—«глубокаго лабиринта, въ которомъ прокладывалъ себѣ пути къ счастью». Преданность законамъ природы была возведена имъ въ доктрину, которая служила поэту и правиломъ и оправданіемъ: она узаконила его страстные наклонности, увлеченія чувствами, огонь любви, часто воспламенявшійся, долго горѣвшій. Стихи «на постриженіе благородной особы» выдаютъ основную мысль моральной системы автора:

Противу чувствъ вооружайся,
Но побѣдить не общайся:
Природа царь всяя земли.

Изъ сказаннаго понятно, почему все условное, идущее на перекоръ естественности, противное здравому смыслу, стѣснительное для свободныхъ отправленій духа и тѣла раздражало Долгорукаго и подвергалось рѣзкимъ его обличеніямъ. Охотно платя дань общечеловѣческимъ связямъ и обязанностямъ, безъ которыхъ невозможна жизнь, онъ ненавидѣлъ тѣ общественныя отношенія, которыя придумываются людьми на взаимную тягость, входятъ на время въ моду и бросаются какъ мода, замѣняясь другими, столькоже неразумными. Одна изъ лучшихъ сатиръ его: «Нѣчто для весельчаковъ» (1815) преслѣдуетъ пустошъ стѣснительныхъ обрядовъ свѣта, деспотизмъ такъ называемаго *приличія*. Въ началѣ сатирикъ перечислилъ вѣковѣчные уставы, вполне согласные съ природой и разумомъ; потомъ выказываетъ отличіе истинной морали отъ моднаго этикета, обращающаго живыя существа въ машины; а въ заключительныхъ стихахъ постановляетъ такое рѣшеніе:

Чему не учить насъ небесный нашъ Отецъ,
Не требуютъ чего гражданскіе законы,
По мыслямъ то моимъ пустыя лишь препоны...
Гдѣ страха вовсе нѣтъ, тамъ нечего страшиться;
Въ чемъ нѣтъ стыда, того напрасно и стыдиться.

Противоположность между естественнымъ бытомъ чловѣка, какъ истиною, и бытомъ общества искусственнымъ, какъ порчею и ложью, развито также въ «Хижинѣ на Рѣвнѣ» (1804) (1). Трезвымъ понятіемъ о жизни и ея обязанностяхъ объясняется неприязнь поэта къ болѣзненнымъ явленіямъ въ обществѣ и въ литературѣ, особенно къ болѣзнямъ напускнымъ, которыя въ иную эпоху предпочитаются здоровью. Литературный сентиментализмъ раздражалъ его, какъ несносная аффектація.

Замѣтимъ, что въ сочиненіяхъ Долгорукаго не видно не только подражанія Карамзину, но и сочувствія къ нему, можетъ быть именно по той причинѣ, что въ Карамзинѣ признавалъ онъ творца сентиментальнаго направленія нашей словесности. Долгорукій легко могъ соглашаться съ своимъ ученіемъ чувственность, но никакимъ образомъ не могъ оправдывать имъ вздыханье кн. Шаликова. Любя послѣдняго, какъ чловѣка, онъ не любилъ, подобно ему, веселиться мечтами, а существенность почитать бѣдой. Будь счастливъ только истинной, внушаетъ онъ ему въ посланіи. По его

1) Рѣчка близъ Владиміра. На берегу, противоположномъ городу, кн. Долгорукій, бывшій владимірскимъ губернаторомъ, устроилъ хижину, въ которой, въ свободные дни отъ службъ, любилъ, по нѣскольку часовъ въ день, предаваться совершенному уединенію: тамъ онъ читалъ, мечталъ и писалъ стихи (Кн. Долгорукій, М. Дмитріевъ).

мнѣнію, Жанлисъ, Редклифъ и Сталь много разстроили жизнь своимъ сладкимъ вздоромъ. Химерическія мечты онъ называлъ отравой нашего спокойствія и къ числу ихъ относилъ нарумяненные картины простонароднаго быта у русскихъ идилликовъ. Піеса «Жизнь» забавно представляетъ разочарованіе тѣхъ любителей сельской жизни, которые составили о ней понятіе по Геснеру. Измайловъ, кн. Шаликовъ и другіе сентиментальныя вояжоры расписывали прелести путешествія по Россіи; Долгорукій, въ «Ропотѣ на дорогу», подтвердилъ справедливость замѣтки, что въ Россіи, при тогдашнихъ дорогахъ, можно было ѣздить по дѣламъ, но не путешествовать. Другое дѣло, рассуждаетъ онъ, за границей,

А здѣсь ѣзда—бѣда ужасна
На почтовыхъ ли, на своихъ!
Земля, кормилица несчастна,
Плодовъ не носитъ никакихъ.
Дороги нѣтъ, мосты поганы,
Въ избахъ вонь, чадъ и тараканы,
Путемъ нельзя ни лечь, ни сѣсть;
Вездѣ велитъ неволя драться,
Во всякой всячинѣ нуждаться, —
Не сыщешь мягкой булки съѣсть.

Это говорилъ истинно-русскій человѣкъ, которому и дымъ отечества былъ сладокъ,—говорилъ не ради обличеній, не изъ алорадства, а единственно потому, что, смотря на вещи прямо и возмущаясь всякою ложью, слѣдовательно и ложнымъ стыдомъ, онъ не боялся видѣть дыма, а видя его принималъ за то, что онъ есть. — Такъ какъ простоты и естественности прежде было больше, чѣмъ въ новое время, когда, на раду съ выгодами образованія, развилось и «образованное зло», то, въ этомъ отношеніи, Долгорукій предпочитаетъ старинную жизнь современной, подъ маскою приличій скрывающей самыя неприличныя качества. Стихи: «Въ послѣднемъ вкусѣ человѣкъ» (1798) содержатъ въ себѣ съ одной стороны похвалу предкамъ, а съ другой — сатиру на людей новѣйшаго фасона. Сочувствіе къ природѣ, прямой взглядъ на дѣйствительность и одѣнка впечатлѣній по ихъ искренности и правдѣ спасли талантъ Долгорукова отъ ложныхъ направленій въ литературѣ. Онъ свободно пошелъ по прямой и открытой дорогѣ, гдѣ ему предстояло своеобразное развитіе, не по примѣру другихъ, а скорѣе въ примѣръ другимъ.

Форма стихотвореній Долгорукова обусловлена качествами ихъ содержанія. Простота и естественность въ понятіяхъ и чувствахъ повела къ простому, естественному ихъ выраженію. Какъ онъ по жизни умственной и нравственной любилъ оставаться самимъ со-

бою, такъ и на словѣ его лежитъ печать самобытности. Онъ это сознавалъ положительно и заявилъ въ предисловіи: «книга моя не похожа ни на чью; она не сообразена ни съ римскими, ни съ греческими древними красотами». Другими словами: книга Долгорукова отбросила направленіе, тонъ и формы лжеклассицизма, подъ которымъ большинство писателей представляло себѣ древне-классическую поэзію. Но такая свобода стихотворца, какъ нарушение общепринятыхъ правилъ, была для того времени смѣлою ересью. Оригинальность, которую мы теперь хвалимъ, тогда неприятно поражала критиковъ и могла вызвать укоры, а не похвалу. Авторъ счелъ нужнымъ если не оправдывать, то по крайней мѣрѣ пояснять несходство своихъ произведеній со всѣми прочими: «конечно, для всякаго творца эпопеи или трагедіи предосудительно стать выше общаго мнѣнія и попираетъ деспотически всѣ правила принятаго вкуса; но неужли и Окелу пѣть надобно такимъ же размѣромъ, какимъ пѣвали трубадуры своихъ красавицъ?» Это, могъ прибавить Долгорукій, была бы пародія, своего рода обезьянство, не потому что предметъ носить простое имя, а потому что чувства, возбужденныя предметомъ въ душѣ автора, должны были облечься не въ классическую одежду, а въ одежду соотвѣтственно бытію авторскаго сердца. Не равняя себя ни съ Ломоносовымъ, ни съ Державиннымъ, ни съ Мерзляковымъ, ни съ Карамзиннымъ, Долгорукій показавъ тѣмъ, что онъ такъ же хорошо понимаетъ ихъ, сколько и себя самого. Поэтический инструментъ свой называлъ онъ «балалайкой», а игру на немъ «мурныканьемъ», хотя ему слѣдовало бы прибавить, что вѣрно настроенная балалайка лучше разстроенной арфы и задушевное мурныканье пріятнѣе громогласнаго, но фальшиваго пѣнья. Не видно у него заботы отчеканивать стихи; напротивъ, частенько онъ довольствовался такими словами, о которыхъ можно сказать: живетъ, годится. Но, уступая другимъ въ изяществѣ слога, его стихи представляютъ драгоценное преимущество: на нихъ—чеканъ русскаго ума, русскою рѣчи. У инаго стихотворца піеса выведена словно красное зданіе, а толку въ ней нѣтъ или очень мало; въ піесахъ Долгорукаго всегда народный толкъ, народный складъ. Самыя заглавія нѣкоторыхъ піесъ выбраны изъ чисто-русскаго словаря и непереводаемы на иностранный языкъ, равно какъ ихъ содержаніе взято изъ нашего кореннаго быта. Таковы: «Авось», «Везетъ», «Живетъ». Авторъ любилъ бойкіе руссизмы, въ реченіяхъ и оборотахъ, и безъ боязни пользовался обычными уопредставленіями и обычнымъ матеріаломъ для ихъ выраженія, отъ которыхъ вѣроятно морщились тогдашніе пуристы въ поэзіи, позволявшіе ея слу-

жителямъ только избранный языкъ. Примѣровъ не приводимъ: они встрѣчаются почти въ каждомъ его стихотвореніи. Здѣсь-то и причина, почему Долгорукій такъ легко и сочувственно сказывался чистокровному русскому человѣку и почему многія его произведенія встрѣчаются въ рукописныхъ сборникахъ стиховъ. Существенными чертами своей лирики онъ живо напоминаетъ Державина, но съ тѣмъ различіемъ, что въ ней нѣтъ Державинскаго поэтическаго взмаха. Онъ не хваталъ, какъ говорятъ, звѣздъ съ неба, но за то и не спотыкался на гиперболы, какъ иногда Державинъ въ своемъ заоблачномъ полетѣ. Вотъ, для примѣра, двѣ строфы изъ стихотворенія: «Мой театръ»:

Тарифъ меня не беспокоитъ,
Въ сумѣ я толку не знавалъ;
Иной безъ сахару все нонтъ,
Я чай и съ патокой пивалъ.
Въ карманѣ рубль кожь залежится,
Поставлю въ мигъ его ребромъ:
Моя забава — суетиться,
Мой рай—людьми набитый домъ.

Мнѣ нуждъ нѣтъ, гдѣ миръ, гдѣ драка,
Куда полки бѣгутъ содаты,
Который баринъ скушалъ рака,
Какому данъ вельможѣ матъ;
Въ моемъ углу храня свободы
Благонравіенный законъ,
Лѣнюсь, и радъ, что воеводы
Уже не грезится мнѣ сонъ.

Хотя всѣ стихотворенія Долгорукаго выражаютъ «бытіе его сердца», однакожъ въ нихъ можно различить три рода: одни шутивыя, исполненныя умной и веселой ироніи, а иногда и юмора (Авось, Везетъ, Живетъ, Семира Болеславна); другіе, въ стилѣ Горацианскихъ одъ, но въ духѣ русскомъ, относятся къ дидактической лирикѣ (Каминъ въ Пензѣ, съ котораго началась поэтическая извѣстность автора и за которыми слѣдовали: «Каминъ въ Москвѣ» и «Война каминовъ»); Завѣщаніе, Размышленіе о смерти, Последняя пѣснь моимъ современникамъ, Взглядъ старца на заходящее солнце); третьи принадлежатъ къ сатирамъ (Въ послѣднемъ вкусѣ человѣкъ, Черты свободного писателя, Приказъ швейцару, Нѣчто для весельчаковъ, Торжество совѣсти, Пиръ, Пріятелю). Личность автора, какъ человѣка, всецѣло и прекрасно изображена въ стихотвореніи «Я» ⁽¹⁾.

¹⁾ Князь Иванъ Михайловичъ Долгорукій и его сочиненія. Сочиненіе М. А. Дмитріева (изд. 2-ое, 1868). Извѣстіе о запискахъ кн. И. М. Долгорукова,

О сатирѣ князя Д. П. Горчакова (1756—1824) (4) нельзя сказать того же, что мы замѣтили о произведеніяхъ двухъ предыдущихъ сатириковъ: она не выказываетъ въ авторѣ, какъ у Дмитріева, человѣка уклончиваго, соблюдающаго, при всей колкости остроумія, приемы и формы салоннаго круга, и не смягчается, какъ у кн. Долгорукаго, шуткой или юморомъ. Князь Горчаковъ не любилъ золотить пилюли; желая нанести меткіе и тяжелые удары, онъ не облакалъ своей руки въ лайковую перчатку. Его негодованіе — холерическое, безъ мысли не только о мирѣ, но даже о временномъ примиреніи. Онъ дѣйствовалъ перомъ съ воинственной отвагой и противъ подлыхъ чувствъ и дѣлъ шелъ такъ же смѣло, какъ на приступъ Измаила, не щадя враговъ. Враги были не вишніе, какъ прежде, а внутренніе и многочисленныя — «новыя неистовства вѣка». Это — игроки, вѣжливо и хладнокровно пускающіе цѣлыя семейства по міру; Подлитины, не правители, а разорители вѣренихъ имъ губерній; казнокрады, грабящіе казну за невозможностью ограбить согражданъ; подрядчики, болѣе чумы и картечи пагубныя для армій; откупщики, настроившіе себя чертоговъ на разбавленное или приправленное вино.... короче: «злодѣйствъ мерзительный соборъ». Особенному гнѣву сатирика подвергаются тѣ дворяне, что совершенно забыли французское изреченіе: «la noblesse oblige». Онъ выставляетъ на позоръ постыдную ничтожность Пустоныхъ и Празднолюбовъ, утрату чести, долженствующей быть главнымъ отличіемъ благороднаго сословія, и пренебреженіе къ службѣ, составляющей главную его обязанность. Корень такого зла сатирикъ находитъ въ антинаціональномъ воспитаніи русскихъ бояръ, которое и преслѣдуется имъ нещадно. Въ комедіи «Безпечный», Легкосердъ винить отцовъ за недостойное поведеніе ихъ дѣтей:

Куда своихъ дѣтей свернули вы умы?
Дворянства дождности въ ихъ сердцахъ истребили
И чужестранною лишь пустошью набили.
А что причиною прямою этихъ бѣдъ?
Обычай общій нашъ — брести боярамъ въ слѣдъ.
Они дѣтей своихъ пошлютъ въ заморскіе школы,—
И мы, не осматрясь, богаты или голы,

М. Н. Лонгинова (Рус. Архивъ 1865); его же: Хронологія нѣкоторыхъ стихотвореній кн. Долгорукаго (ib). Капище моего сердца, соч. Долгорукаго, любимое для характеристичнаго его страстной природы (Чтенія въ Москов. Обществѣ Исторіи, 1878 г.); Выдержки изъ старой записной книжки (Рус. Арх. 1876, кн. 3).

4) Отецъ Михаила Дмитріевича, близшаго главнокомандующимъ нашими войсками въ Крымскую войну.

Своихъ туда же шлемъ, какъ будто бы у насъ
Наукъ и разума совсѣмъ исчезнулъ гласъ.
Да ужъ добро бъ они тамъ стали мудрецами;
А то противное: еще бѣднѣй умами.

Гораздо рѣзче и язвительнѣй осмѣиваются русскіе французы, подъ именемъ «вѣроятныхъ» (incroyables), въ «Посланіи къ кн. С. Н. Долгорукову» (1). Это — лучшее стихотвореніе кн. Горчакова, по энергическому пылу родственное тирадамъ Чацкаго, въ «Горѣ отъ ума». Другія сатиры его большею частію хранятся въ рукописи; изъ нихъ замѣчательна «Святенъ». Вообще кн. Горчаковъ печаталъ мало. Онъ былъ дилетантомъ въ литературѣ, а не записнымъ словесникомъ. Современники отдавали справедливость его уму, дарованіямъ и остротѣ. Въ шуточномъ произведеніи Воейкова: «Парнасскій адресъ-календарь», онъ титулованъ дѣйствительнымъ поэтомъ, экзекуторомъ при наказаніи сатирическимъ бичемъ разврата, ябеды и грабительства, и кавалеромъ лавроваго листа съ надписью: «за сатиры» (2).

Въ число «новыхъ неистовствъ вѣка» князь Горчаковъ включилъ и новыя литературныя явленія: реформу Карамзина, сентиментализмъ, размноженіе періодическихъ изданій, мѣщанскія драмы. Онъ смѣялся надъ ними остроумно, хотя и не всегда справедливо. Нѣкоторые стихи его по этому предмету сдѣлались поговорками. Имъ избобрѣтено слово «водебятина»; имъ же удачно противопоставлены журналы книгамъ:

Исполнить торопясь писательски желанья,
Всѣ въ ежемѣсячны пустылися изданья,
И наконецъ я зрю въ странѣ моей родной
Журналовъ тысячи, а книгъ ни одной.

Извѣстна также эпиграмма, сочиненная имъ на Карамзина, въ формѣ обращенія къ поклоннику послѣдняго:

Когда и отъ кого (скажи мнѣ безпристрастно)
Хвалить Карамзина помѣху ты встрѣчалъ?
Тебѣ самъ Буало въ наукѣ стихотворства,
Окончивъ первую пѣснь, на это право далъ (3).

Недовольство сатирика новымъ слогомъ и новымъ направленіемъ словесности нашей понятно. Онъ не могъ признать ихъ законности,

1) Ист. Христ. II.

2) Рус. Арх. 1866.

3) Первая пѣснь Буало оканчивается стихомъ:

Un sot trouve toujours un plus sot qui l'admire.

(Библиогр. Записки М. Лонгинова, въ 5 № Соврем. на 1857 г.).

потому что все его сочувствіе было безраздѣльно отдано такъ называемымъ классическимъ писателямъ времени Людовика XIV и Людовика XV. Въ Вольтерѣ видѣлъ онъ образцоваго трагика, не имѣвшаго себѣ соперниковъ. А какъ Вольтеровы трагедіи служили органомъ религиозныхъ и политическихъ мнѣній, то и русскія піесы того же рода почти исключительно нравились Горчакову, который въ «Совѣтѣ Пустону» (1793) говоритъ:

Старался ль ты себя на верхъ Парнасса взнестъ,
Испивъ отъ свѣтлыхъ струй изъ тока Ипокрены,
Насъ тронуть бѣдствіемъ Семиры и Сорены?

Похвалы Соренѣ объясняются, конечно, не одною дружбою Горчакова къ ея автору (Николеву), но дидактизмомъ самой драмы, разсыпанными въ ней сентенціями о долгѣ властителей и о злоупотребленіяхъ власти. Сатирикъ не могъ переварить того факта, что мѣщанскія драмы, освободившія насъ отъ «издревле чѣмныхъ узъ», перебиваютъ дорогу у французской Мельпомены:

Къ законнымъ дѣтямъ дверь чувствительности скрыта:
Нѣтъ жалости къ бѣдамъ несчастна Ипполита,
Иль Ифигеніи, стенавшей отъ отца.

Въ замѣтѣ на одинъ стихъ изъ посланія къ кн. Долгорукову, авторъ презрительно отзываясь объ англійской и нѣмецкой драматической поэзіи: «англичане, а болѣе нѣмцы смѣшать въ комедіяхъ глупостями введенныхъ на сцену пошлыхъ дураковъ или сумасшедшихъ. Изобрѣтеніе сего способа, избавляющаго автора отъ трудной обязанности быть умнымъ, должно заслуживать отъ многихъ нынѣшнихъ писателей общую благодарность». Преслѣдуя въ новой драмѣ порчу вкуса, князь Горчаковъ осмѣивалъ русскихъ Стерновъ и «дамскихъ прозописцевъ» за ихъ лжечувствительность и разстроенную фантазію. По образу мыслей, онъ былъ «бесѣдистъ», т. е. членъ Бесѣды любителей русскаго слова, и въ стихахъ раскрывалъ тѣ самыя явленія общественной безправственности, о которыхъ постоянно говорилъ Шишковъ въ своихъ рѣчахъ, критикахъ и разсужденіяхъ. Какъ Шишковъ, онъ ставилъ идеаломъ—доблестные примѣры отцовъ, «громъ прошедшей славы», а причиною уклоненій отъ идеала почитаетъ учителей-софистовъ, подрывающихъ уваженіе къ родству, священной власти и русскому имени. Съ одной стороны указывается имъ чувство народной гордости, безъ котораго невозможна героическая преданность отечеству, а съ другой чувство самости, себялюбія, которое способно производить только подлія души и подлія дѣла ⁽¹⁾.

¹⁾ Нѣсколько стихотвореній кн. Горчакова помѣщены въ Другъ просвѣщенія (1804—1806). Укажемъ главнѣйшія: «Станси» (1804, № 5 и 10), «Письмо къ

Кромѣ Горчакова, и другіе члены «Бесѣды», не благоволяли къ Карамзину. Въ числѣ таковыхъ находился С. Н. Маринъ (1775—1813), авторъ немногихъ сатиръ, написанныхъ въ подражаніе Буало. Одна изъ нихъ: «Посланіе къ М.... М....» (1811), называетъ Карамзина «Ахалкинымъ»:

Пускай нашъ Ахалкинъ стремится въ новый путь (*)
И, вздохами свою наполни томну грудь,
Опишетъ, свойства плакъ да въ Игорю и Кію,
И добренькиъ Славянъ и милую Россію.

Другая сатира: «Посланіе къ И. И. Дмитріеву» (1808), подъ тѣмъ же именемъ представляетъ не Карамзина, а его послѣдователей, чувствительныхъ стихотворцевъ. Кромѣ сатиръ, явившихся въ печати, извѣстны еще шуточные стихотворенія Марина, большею частію рукописныя, и такія же пародіи одъ Ломоносова и Державина. Особенную извѣстность имѣла пародія «Подражанія Іову», начинающаяся стихами:

О ты, что въ горести напрасно
На службу ропщешь офицеръ...

Сатиры М. В. Милонова (1792—1821) вообще ниже той извѣстности, которую онѣ доставили своему автору. Лучшими изъ нихъ справедливо почитались: «Къ Рубеллію» (1810) и «Отрывокъ изъ Луциліевой сатиры противъ его вѣка» (1810). Современники цѣнили въ молодомъ стихотворцѣ пылъ негодованія, силу укоризни и бойкій, стремительный стихъ, какъ вѣрное выраженіе гнѣвного чувства. Онъ и самъ видѣлъ въ себѣ «безстрашнаго обличителя дерзостныхъ пороковъ», для чего, кромѣ дарованія, нужно еще имѣть гражданское мужество. Особенно возмущали его душевная низость, пустая знатность рода, не украшаемая никакими личными заслугами, домогательство отличій презрительными способами. Все это очень почтенно и сочувственно; но жалъ, что обличенія имѣютъ значеніе общихъ мѣстъ, которыя легко выговаривать въ какое угодно время и въ какой угодно странѣ. То «образы безъ лицъ», и потому лицамъ невозможно находить въ себѣ сходства съ смутно представленными образами. Сатирикъ раздражается потокомъ грозныхъ словъ и обвиненій, а между тѣмъ виноватыхъ отыскать трудно, такъ какъ характеристика предметовъ слишкомъ обща. Кого, напримѣръ, слѣдуетъ разумѣть подъ Рубелліемъ? По преда-

ки. С. Н. Д.» (Долгорукову) (ib. № 6), «Письмо къ М. А. Шамкову» (ib. № 8), «Ода спокойствію» (1805, № 11), «Письмо къ другу моему Н. П. Николеву» (1806, № 3).

*) Новый путь Карамзина—занятія отечественною исторіей.

нію, Милоновъ метилъ въ Аракчеева, временщика при Александрѣ I, и чтобы замаскировать свою цѣль, прикрытъ свое имя именемъ Персія, между сатирами котораго нѣтъ ни одной, хотя сколько нибудь напоминающей русское стихотвореніе. Но если преданіе и вѣрно, то временщикъ имѣлъ право не принимать Рубеллія на свой счетъ и слѣдовательно избѣгнуть сатирической кары: ибо черты Рубеллія образуютъ общеизвѣстную физиогномію недостойныхъ вельможъ, а нѣкоторыя и не принадлежали тому, на кого была направлена сатира. О портретѣ, похожемъ на всѣхъ и cadaго, можно сказать, что онъ не похожъ ни на кого. Въ «Посланиі къ Фовицкому» (1818), Милоновъ нѣсколько отрываятъ причину своего негодованія. Онъ сѣтуетъ на равнодушіе къ поэзіи въ согражданахъ, преданныхъ низкимъ цѣлямъ и мелкимъ дѣламъ, и поэтический полетъ Державина называетъ даромъ великой Екатерины. Значить, онъ былъ недоволенъ настроеніемъ общественнаго духа, существовавшимъ въ его время порядкомъ дѣлъ. Но это недовольство всегда выражается неопредѣленно, такъ что и предметы его, и его особенности витають въ какомъ-то туманѣ. Другія сатиры Милонова: «Къ Луказію» (1812), «Къ моему разсудку» (1817), «На женитьбу въ большомъ свѣтѣ» (1818) суть подражанія Буало. Растянutosть ихъ мало вознаграждается остроуміемъ. Первые двѣ, почти тождественнаго содержанія, осмѣивають плохихъ писателей, преимущественно сторонниковъ славянофильства: Захарова (Мидасъ), Сладковскаго (Радковскій), Станевича (Плаксевичъ), Грузинцева, С. Глинку... При тогдашнихъ отношеніяхъ послѣдователей Карамзина къ членамъ «Бесѣды», эти стихотворенія Милонова, конечно, вызывали похвалы, но въ исторіи литературы оны теряють свое значеніе сравнительно съ «Чужимъ толкомъ» (4).

Въ то время, какъ журналы и сборники образцовыхъ сочиненій охотно принимали все, выходившее изъ подъ пера Милонова, когда цѣлая книжка «Благонамѣреннаго» (3) была наполнена воспоминаніями о его жизни и авторской дѣятельности, при чемъ онъ сравнивался и съ Жуковскимъ и съ французскимъ поэтомъ Жильберомъ.... даже имени А. Н. Нахимова (1782 — 1815) не встрѣдается въ «Опытѣ Исторіи Русской Литературы» Греча (1822), хотя до выхода въ свѣтъ этой книги сочиненія Нахимова

4) Матеріалы для полнаго собранія сочиненій Милонова, собраніе г. Лонгиновымъ, напеч. въ Русскомъ Архивѣ 1864, № 3. Нѣсколько воспоминаній о Милоновѣ см. въ «Мелочахъ изъ запаса моей памяти» (М. Дмитріева) и въ «Московскомъ Университетскомъ націонѣ» (Н. Сущкова).

5) 1821, №№ 23 и 24.

нія, которое, рано или поздно, хотя и принудительною мѣрою, наполнить наши университеты слушателями и быстро двинуть высшее образованіе юношества, которое, въ особенности изъ дворянскаго сословія, рѣдко шло далѣе корпусовъ и пансіоновъ. Указъ 1809 г. «гласилъ о просвѣщеніи», а просвѣщеніе угрожало конечною гибелью взяточничеству и ябедѣ. Подобно Нарѣжному, Нахимовъ смотрѣлъ на ябеду, какъ на «исчадіе ада», и въ Малороссіи видѣлъ примѣры ея опустошительныхъ дѣйствій. Можно ли было ему не радоваться, что, наконецъ, пущено въ ходъ наилучшее средство противъ малограмотности, грубаго образа жизни и кривосудія дяковъ и подъячихъ? И вотъ онъ, не хуже Сумарокова, пользуется каждымъ случаемъ задѣтъ «крапивное сѣмя»: въ стихотвореніи «Звѣринецъ», судья-медвѣдь носитъ имя Ворворворъ; риющую слово «живодеръ»; въ эпиграммѣ: «Чортъ и смерть», курносая дивится, какъ можно искать души въ секретарѣ; «Сказаніе о Ѳемидѣ и объ иноплеменныхъ приказныхъ» повѣствуетъ, что чувствительное сердце Юпитеровскаго (на планетѣ Юпитеръ) дяка, какъ натуральная рѣдкость, или игра природы, было отослано Ѳемидой въ вунстеамеру. Другимъ, ненавистнымъ Нахимову предметомъ были французы вообще, французскіе гувернеры въ частности и обученные ими русскіе. Первыхъ изобразилъ онъ въ статьѣ: «Словесныя обезьяны», на вторыхъ написалъ комическую поэму «Пурсоніада», а третьимъ досталось въ «Мерзлякинѣ». Сатира во всѣхъ этихъ сочиненіяхъ слишкомъ откровенна и переходитъ въ брань. Какъ видно, авторъ хотѣлъ лучше быть грубымъ, нежели скрывать свою антипатію, которая объясняется господствовавшею въ то время галломаніей, а потомъ пробужденіемъ народнаго чувства въ войнахъ съ Наполеономъ.

Воейковъ (1778—1839) имѣлъ большую склонность къ сатирѣ, какъ доказывается его «Посланіемъ къ Сперанскому» (1806), «Домомъ сумасшедшихъ» (1814—1838) ⁽¹⁾ и «Парнаскимъ адресъ-календаремъ». Онъ умѣлъ подмѣчать смѣшныя стороны и крупныя недостатки людей и выражать ихъ рѣзкимъ словомъ. Но этотъ сатирический даръ, подъ влияніемъ другихъ психическихъ свойствъ, принялъ одностороннее направленіе. Авторъ не могъ придать своей сатирѣ ни собственно-поэтическаго, ни нравственнаго достоинства: она постоянно впадала либо въ каррикатуру, либо въ пасквиль; орудіями ея были—оскорбительно-рѣзкій тонъ, злые намеки, гру-

⁽¹⁾ Первая редакція этой сатиры относится къ 1814 г.; потомъ, въ теченіи 24-хъ лѣтъ, она пополнялась (Русская Старина 1874, мартъ).

бая брань, хотя не лишенная силы, но весьма часто лишенная правды, которая почти не принималась во вниманіе. На людей Воейковъ смотрѣлъ не иначе, какъ на пріятелей своихъ или на своихъ враговъ. Не типы ему были нужны, а личности; не литературные интересы вообще, а отношенія къ той или другой литературной партіи двигали перомъ его. Члены «Арзамаса» могли быть увѣрены въ его похвалахъ, такъ же какъ члены «Бесѣды» въ его хулѣ: каждый изъ послѣднихъ являлся у него либо пошлымъ дуракомъ, либо подлецомъ. Но стоило только бесѣдисту выдти изъ Бесѣды, стать экс-бесѣдистомъ, какъ онъ изъ глупаго и подлаго преобразался въ умницу и честнаго. Мѣры не было ни въ чемъ — ни въ порицаніяхъ, ни въ похвалахъ; но всего меньше было чувства правды, даже желанія быть правдивымъ. Что, напримѣръ, нашелъ Воейковъ смѣшнаго въ занятіяхъ Каченовскаго русской археологіей? Какъ онъ отозвался объ одномъ изъ образованнѣйшихъ своихъ современниковъ — И. М. Муравьевѣ-Апостолѣ? Намѣренная неразборчивость, подведеніе разнородныхъ личностей подъ одинъ уровень роняетъ значеніе сатиры и сатирика, выказывая въ немъ стремленіе не обличать дѣйствительные недостатки, а выдумывать небылицы.

Лучшее изъ сатирическихъ стихотвореній по внутреннему достоинству — «Посланіе къ Сперанскому», частію подражаніе, частію переводъ пятой сатиры Буало (A. m. le marquis de Dangeau). Какъ извѣстно, Сперанскій не пользовался расположеніемъ тщеславныхъ отраслей именитыхъ родовъ: гордые мысля о своемъ высокомъ происхожденіи, они смотрѣли на государственнаго дѣятеля, какъ на выскочку изъ низменной среды. Литератору, при сочувствіи къ человѣку, собственными трудами возвысившему свой родъ, было весьма встать напомнить этимъ гордецамъ, не имѣющимъ лично за собою никакихъ заслугъ передъ отечествомъ, тѣ истины, которыя въ первой половинѣ XVIII-го вѣка Кантемиръ высказалъ во второй своей сатирѣ. Умѣстно также обращеніе сатирика къ дураку, «воспитанному французами», какъ къ представителю тщеславнаго высшаго дворянства: оно указываетъ на сильное развитіе и укорененіе французскаго воспитанія русскаго юношества въ высшемъ сословіи, при Александрѣ I. Вообще наеосъ сатирика, возбужденный съ одной стороны раздраженіемъ противъ людей, величающихся титлами предковъ, украшающихся чужимъ добромъ, а съ другой — государственными дѣйствіями Сперанскаго, есть чувство благородное и даетъ истинную цѣну посланію.

Достойнаго представителя нашла себѣ сатира въ князѣ П. А. Вяземскомъ (род. 1792 г.). Сознаніе своего мѣста и значенія среди

русских писателей высказано им самимъ въ рѣчи на юбилей пятидесятилѣтней литературной его дѣятельности ⁽¹⁾. Вотъ что отвѣчалъ онъ на привѣтствіе графа Д. Н. Влудова: «Вы во мнѣ радушно привѣтствуете и ласково провожаете живое и нечуждое сочувствіемъ вашимъ преданіе. Вы въ моемъ лицѣ празднуете умилительную трезну славнымъ покойникамъ, которыхъ нѣкогда былъ я питомцемъ, современникомъ и товарищемъ. Не мои дѣла, не мои труды, не мои побѣды празднуете вы. Вы заявляете сердечное слово, вы подаете ласковую руку простому рядовому, который уцѣлѣлъ изъ побоища смерти и пережилъ многихъ знаменитыхъ сослуживцевъ.... На литературномъ поприщѣ я живое воспоминаніе великой эпохи. Я напоминаю вамъ имена ея, имена Карамзина, Жуковского, Пушкина и нѣкоторыхъ другихъ знаменитыхъ ея дѣятелей.... Это не заслуга, но это право на сочувственное вниманіе ваше. Вы вмѣняете мнѣ въ заслугу счастье, которое сблизило и сроднило меня съ именами, вамъ любезными и съ блескомъ записанными на скрижаляхъ памяти народной» ⁽²⁾. Никто не имѣетъ прѣва сомнѣваться въ искренности этого мнѣнія, которое юбиляръ называлъ своимъ убѣжденіемъ; но можно, однакожъ, думать, что въ него вошла значительная доля сдержанности. Какъ воспитанникъ Карамзина, какъ другъ Жуковского и Пушкина, кн. Вяземскій, конечно, стоялъ къ нимъ близо и былъ сослуживцемъ двухъ послѣднихъ, но одною современностью жизни и службы съ почетнѣйшими именами нашей словесности не приобрѣтается литературная извѣстность: для нея необходимо собственное дѣло; нужна личная заслуга, независимо отъ родственныхъ или пріятельскихъ связей, хотя и при этихъ связяхъ, какъ вообще въ жизни, не теряетъ своей силы умное изреченіе: «скажи мнѣ, съ кѣмъ ты водишься, и я скажу тебѣ, кто ты». Становиться на сторонѣ Карамзина, Жуковского, Пушкина значило становиться на сторонѣ выдающихся талантовъ и производимаго ими литературнаго движенія впередъ. Такой выборъ по малой мѣрѣ обнаруживаетъ въ избирателѣ инстинктивное чувство лучшаго, болѣе живаго и свѣжаго, болѣе отвѣчающаго состоянію времени. Высшая же мѣра опредѣляется сознаніемъ законности выбора и трудами на пользу выбраннаго предмета. Тогда дѣятель

¹⁾ Первымъ сочиненіемъ кн. Вяземскаго было «Посланіе къ *** въ деревню» (Вѣст. Евр. 1808 г.); слѣдовательно пятидесятилѣтіе исполнилось въ 1858, но по нѣкоторымъ обстоятельствамъ оно праздновалось въ 1861-мъ.

²⁾ Юбилей пятидесятилѣтней литературной дѣятельности кн. Петра Андреевича Вяземскаго (Спб. 1861).

становится самъ почетнымъ членомъ той школы, которая предназначила себя цѣлью улучшение языка или обновленіе и расширеніе поэзіи. Въ этомъ-то содѣйствіи прогрессивному литературному движенію и состоитъ заслуга кн. Вяземскаго. Она тѣмъ болѣе достойна вниманія, что образованіе кн. Вяземскаго совершилось почти подъ исключительнымъ вліяніемъ такъ называемой классической словесности французовъ ⁽¹⁾, которые упорно держатся литературныхъ правилъ и преданій, какъ бы въ противоположность той быстротѣ и отвагѣ, съ какими они производятъ социальныя и политическія перевороты. Своимъ знакомствомъ съ французскими классиками кн. Вяземскій пользовался какъ ловкимъ орудіемъ не для поддержки того, что нашими литераторами было заимствовано у французскихъ писателей XVII и XVIII вв., а для осмѣянія ревнителей стараго слога и псевдоклассическаго вкуса, для отраженія нападокъ на новый слогъ и исторію Карамзина, на романтизмъ Жуковскаго, на новоромантизмъ Пушкина. Его сатиры, эпиграммы и полемическія статьи, по поводу этихъ предметовъ, отличаются здравымъ умомъ, мѣтвымъ остроуміемъ и своеобразнымъ стилемъ, разумѣя подъ послѣднимъ не одинъ складъ рѣчи, но и способъ представленія. Какъ членъ «Арзамаса», кн. Вяземскій, вмѣстѣ съ другими лицами того же кружка, приобрѣлъ навнѣзъ самостоятельно относиться къ литературнымъ вопросамъ и подвергать критикѣ новыя произведенія писателей одного съ нимъ направленія. Этотъ обычай круговой пріятельской цензуры сохранилъ онъ и въ послѣдствіи, какъ показываетъ его переписка съ Жуковскимъ и Пушкинымъ. Въ «Арзамасѣ» же, собравшемъ почти всю литературную знать того времени, безъ сомнѣнія выработалось и умѣнье писателя держать себя въ печати, — тотъ приличный и достойный тонъ, который многіе въ укоръ или насмѣшку называли аристократизмомъ, но которымъ благовоспитанный человѣкъ обязывается изъ уваженія къ себѣ самому, литературѣ и публикѣ. — Изъ сатиръ, относящихся къ эпохѣ Александра I, укажемъ слѣдующія: «Къ перу моему» (1816), «Къ Жуковскому» (1821), «Къ Дмитріеву» (1823), «Къ Каченовскому» (1821). Въ первыхъ трехъ авторъ подражалъ Буало (сатиры 2, 3 и 9), въ послѣдней Вольтерову стихотворенію на зависть (*de l'envie*). Какъ Буало преслѣдовалъ писателей, которые подъ вліяніемъ Ронсаровой школы или испанскихъ и италіанскихъ образцовъ породили во французской литературѣ извращенный вкусъ, такъ сатиры кн. Вяземскаго

¹⁾ Служа въ Польшѣ (1817—1820), кн. Вяземскій познакомился съ литературою польскою и съ лучшими ея тогдашними представителями.

имѣютъ своимъ предметомъ бездарное и пошлое писательство, обратившее поэзію въ ремесло, цеховыхъ стиходѣвъ, напыщенную фразеологию одописцевъ и трагиковъ, комическій сентиментализмъ, педантизмъ и зависть авторовъ, невѣжество большинства читателей, для коихъ «каждый печатный листъ кажется святымъ». Посланіе къ Каченовскому отличается особенною рѣзкостью, объясняемою тѣмъ, что въ лицѣ, къ кому оно адресовано, сатирикъ замѣчалъ постоянно-недружелюбное отношеніе къ Исторіи Карамзина. Эпиграммы кн. Вяземскаго болѣею частью направлены противъ П. И. Картузова (Голенищева-Кутузова) и Шутовскаго (кн. Шаховскаго), какъ литературныхъ непріятелей Карамзина и Жуковскаго, или осмѣиваютъ Вздыхалова (кн. Шаликова) и Бибриса (Боброва), изъ которыхъ первый довелъ до забавной крайности сентиментализмъ, а второй сдѣлалъ тоже самое относительно стихотворческой напыщенности.

Обличенія кн. Вяземскаго не ограничивались литературною сферою. По своему уму и наблюдательности онъ и не могъ смотрѣть только въ одинъ уголокъ края. Онъ обращалъ внимательную мысль и на другія его стороны, замѣчая недостатки общаго внутренняго состоянія нашего, отъ неустройства дорогъ и *кваснаго* патріотизма до стѣснительнаго устройства цензуры и дальше, и передавалъ замѣченное письму. Стихотворенія, сюда относящіеся, отличаются еще болѣею внутреннимъ вѣсомъ и болѣею силою выраженія. Но какъ они, хотя и знаемыя наизусть всѣми любителями русской сатиры, не имѣются въ печати, то нечего о нихъ и говорить. Свидѣтельствомъ же того, какъ сатирикъ ясно понималъ характеръ нашего общества и положеніе въ немъ выдающихся личностей, можетъ служить письмо его къ Пушкину, 1825 г. ⁽¹⁾.

§ 22. Въ исторіи нашей драмы Грибоѣдовъ занялъ высокое мѣсто, какъ авторъ «Горя отъ ума» (1823), оригинальной комедіи, далеко оставившей за собою всѣ предшествовавшія произведенія того же рода.

Главная мысль этой комедіи выражена въ слѣдующихъ стихахъ:

Какъ посравнить, да посмотрѣть
Вѣкъ нынѣшній и вѣкъ минувшій,—
Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ (Дѣйст. II, явленіе 2).

Понятно, что задачею автора было выставить противоположность двухъ послѣдовательныхъ временъ. Но такъ какъ характеръ времени выражается въ драмѣ посредствомъ образовъ, то Чацкій вы-

⁽¹⁾ Рус. Архивъ 1874, № 1.

веденъ, какъ представитель нынѣшняго вѣка, или, точнѣе, первой его четверти, а всѣ прочія лица служатъ представителями вѣка минувшаго, или, точнѣе, второй его половины.

Какимъ образомъ выработалась личность Чацкаго, въ чемъ его особенности, полагающія между нимъ и другими лицами комедіи различіе, доходящее до противоположности,—такое различіе, которому вѣрится съ трудомъ—это мы видѣли выше (§ 11). Чацкій принадлежитъ къ числу личностей первой четверти нашего вѣка, жившихъ осмысленною жизнію. Онъ передовой человѣкъ того времени, либераль въ лучшемъ смыслѣ этого слова. Фамусовъ, съ своей точки зрѣнія, правъ, выразивъ совѣтъ свой Чацкому такимъ образомъ:

Пожалуйста при немъ (¹) не спорь ты веривъ и вкося,
И *завиральныя* идеи эти брось....

Еслибъ онъ вмѣсто *завиральныя* сказалъ *либеральныя* (что, конечно, и разумѣлось имъ), стихъ ни малѣйше не потерпѣлъ бы отъ того ни въ содержаніи, ни въ строѣ.

Новыя убѣжденія перестраиваютъ убѣжденнаго на новый ладъ. Ими отмѣняется прежній взглядъ на человѣческія и гражданскія отношенія, выросшій и окрѣпшій на почвѣ низшаго развитія общества, и устанавливается другой въ уровень съ болѣею высотой общественнаго сознанія. Это и обнаруживается въ рѣчахъ и дѣйствіяхъ Чацкаго. Начнемъ съ его понятія объ отношеніи гражданина къ отечеству. Какъ смотрѣло большинство на службу? Чѣмъ оно обязывало себя передъ государствомъ и чего, въ награду за свои обязательства, искало у государства? Не говорю о томъ многочисленномъ классѣ людей, которые служили единственно по необходимости служить, такъ какъ жалованье давало имъ средство къ существованію; говорю о томъ не менѣе многочисленномъ классѣ служилыхъ, которые или, кромѣ жалованья, имѣли въ виду наживу, или, не нуждаясь въ послѣднемъ, по своей матеріальной обезпеченности, стремились удовлетворить свое чиновническое честолюбіе рангами и знаками отличія. Тотъ и другой классъ руководствовались исключительно расчетами себялюбія, безъ всякой мысли о гражданскомъ долгѣ, объ общей пользѣ. Чѣмъ меньшимъ трудомъ могли они достигнуть личныхъ цѣлей, тѣмъ этотъ трудъ считался пригоднѣе. Были сплошь и рядомъ такіе, которые только числились на службѣ, не неся никакой ея тягости и однакожъ прибрѣтая значительныя выгоды отъ своего номинальнаго служенія. Средства къ добыванію видныхъ или теплыхъ мѣстъ не могли,

¹) При Спалозубѣ.

конечно, отличать совѣстливою разборчивостію; они напоминали іезуитскую сентенцію: цѣль оправдываетъ средство. Наиболее употребительное изъ нихъ состояло въ услужливости, угодицѣ тому лицу, отъ котораго зависѣла карьера, въ занаскиваніи его расположенія. Родители внушали это житейское правило своимъ дѣтямъ съ малолѣтства, такъ что составилось и укоренилось слово «искаательный», съ особымъ смысломъ или, по крайней мѣрѣ, съ особымъ оттѣнкомъ смысла. Назвать кого-либо «человѣкомъ искаательнымъ» значило воздать ему большую похвалу, такъ какъ онъ приобрѣлъ способность «втираться» въ милость къ начальствующимъ лицамъ и припасать въ нихъ себѣ сильныхъ покровителей. Понятіе Чацкого о службѣ совершенно иное. На слова Фамусова: «поди-ка послужи», онъ отвѣчаетъ:

Служить бы радъ, прислуживаться тошно.

Онъ хочетъ «служить дѣлу, а не лицамъ». Онъ знаетъ, что

Чины людьми даются,
А люди могутъ обмануться.

Если онъ нѣкогда увлекался мундиромъ, какъ приманкой къ военной службѣ, то это увлеченіе онъ самъ же называетъ ребячествомъ. Другія менѣе ребяческія приманки, какъ-то: занятіе мѣста, повышение въ чинъ, полученіе ордена и т. п., потеряли для него цѣну, послѣ того, какъ онъ выработалъ честное понятіе о службѣ и о наградахъ за нее. Независимо отъ своего собственнаго образа мыслей, онъ имѣлъ передъ глазами нѣкоторые примѣры въ современникахъ, составлявшіе исключеніе изъ обычая чиновническаго тщеславія. Онъ могъ сослаться на тавія лица, какъ Новосильцовъ и Чарторижскій, которые, имѣя возможность, по своему положенію, представлять другихъ къ высшимъ наградамъ, сами отказывались отъ знаковъ отличій, заявляя тѣмъ, что не эти отличія должны быть предметомъ и стимуломъ патріотическаго исполненія обязанностей. вмѣстѣ съ переменною взгляда на службу отечеству, уничтожилась и прежняя ея исключительность, по которой дворянство обречено было избрать одну изъ двухъ дорогъ—или военную, или статскую. Прежде всѣ прочія занятія или считались неприличными, даже зазорными для благороднаго сословія, или вовсе не считались дѣломъ равнозначительнымъ официальной службѣ. Передъ людьми новаго направленія открывались не менѣе почетныя поприща для упражненія своихъ способностей и приложенія знаній. Дворянинъ-помѣщикъ могъ оказать большую пользу государственному благоустройству сельско-хозяйственными трудами, конечно не въ томъ

смыслъ, какой кроется въ словахъ Фамусова: «имѣнемъ, братъ, не управляй оплошно» (т. е. собирай, во что бы ни стало, побольше дохода), а въ смыслъ обоюдныхъ выгодъ крестьянъ и владѣльца. За тѣмъ дворянству предстояли благородныя занятія наукой и литературой, которыми оно также могло сослужить великую службу своимъ соотечественникамъ. На послѣдній родъ гражданской дѣятельности указываетъ Чацкій:

Теперь пускай изъ насъ одинъ,
Изъ молодыхъ людей, найдется врагъ исканій,
Не требуя ни мѣсть, ни повышеній въ чинъ,
Въ науки онъ вперитъ умъ, алчущій познаній,
Или въ душѣ его самъ Богъ возбудитъ жаръ
Къ искусствамъ творческимъ, высокимъ и прекраснымъ,—
Они тотчасъ: разбой! пожаръ!
И прослыветъ у нихъ мечтателемъ опаснымъ.

Наконецъ, дворянинъ могъ отправиться за границу для пополненія своего образованія или удалиться въ имѣнiе, съ тою же цѣлю, какъ это видно изъ примѣра самого Чацкого, «на три года уѣзжавшаго вдаль», и изъ стиха:

Кто путешествуетъ, въ деревнѣ кто живетъ...

а также изъ отзыва Скалозуба о своемъ двоюродномъ братѣ:

Чинъ слѣдовалъ ему—онъ службу вдругъ оставилъ,
Въ деревню—книги сталъ читать.

Фамусовъ объясняетъ эти непонятныя для него явленія молодостью, не умѣющею исправно вести себя, но люди «новыхъ правилъ» (какъ отнесся о нихъ Скалозубъ) очень хорошо знали, что дѣлали: чтеніе было для нихъ могучимъ орудіемъ умственного развитія и знакомства съ наукой. Нельзя при всемъ сказанномъ не обратить вниманія и на чиновничью сферу, въ которую могли попасть люди, подобные Чацкому. Выборъ этой сферы весьма часто зависить не отъ лица, желающаго служить. Это дѣло случая или другихъ важныхъ-либо обстоятельствъ. Дивій цвѣточекъ, по апологу И. Дмитриева, попалъ въ букетъ изъ гвоздикъ и, благодаря такой средѣ, самъ сталъ душистымъ. Но баснописецъ не выразилъ своего мнѣнія о томъ, что бы случилось съ гвоздикой, если бы она одна-одинешенька попала въ пучекъ сорныхъ травъ съ дурнымъ, тяжелымъ запахомъ. Трудно, напримѣръ, представить себѣ положеніе Чацкого въ обществѣ городничаго, судьи, смотрителя училищъ и другихъ блюстителей правосудія, дѣйствующихъ въ «Ревизорѣ». Они ли бы ушли отъ него, или онъ бы бѣжалъ отъ нихъ? Послѣднее вѣ-

роятіѣ: чтобы приносить какую-нибудь пользу своей службою, честный человекъ долженъ же имѣть хоть малѣйшую долю общихъ интересовъ и стремленій съ сослуживцами. Когда Онѣгинъ нѣсколько облегчилъ судьбу своихъ крестьянъ—сосѣди его надулись. Но помѣщикъ независимѣ чиновника. Послѣдній, чтобы помириться съ своей судьбой, долженъ вооружиться тѣмъ правиломъ житейской философіи, по которому «съ волками жить, по волчьи выть».

Но на такую философію Чацкій рѣшительно былъ не способенъ. Эту неспособность приобрѣлъ онъ нравственною независимостью и самостоятельнымъ образомъ мыслей: вотъ другая черта, отличающая его отъ людей того времени, которое въ піесѣ названо «прямымъ вѣкомъ покорности и страха» въ противоположность новому вѣку, когда «всякій дышалъ волею» и когда даже ревнители старыхъ предразсудковъ, съ ихъ «непримиримой враждой къ свободной жизни», даже тѣ, что не знали никакихъ нравственныхъ сдержекъ и побужденій, «боялись смѣха и держались въ уздѣ стыдомъ». Въ этомъ отношеніи Чацкій рѣшительная крайность Молчалину, для котораго «чужія мнѣнія святы» и непременно надобно зависѣть отъ другихъ. Онъ разорвалъ связь съ министрами—вѣроятно не по случайному капризу. Онъ не принадлежитъ къ безмолвнымъ или безсловеснымъ, хотя послѣднихъ любили и въ его время. Онъ врагъ исканій, низкопоклонства, угодничества, которыми Молчалинъ пользовался по завѣщанію своего отца, какъ средствомъ «дойти до извѣстныхъ степеней»:

Мнѣ завѣщалъ отецъ,
Во-первыхъ, угождать всѣмъ людямъ безъ изъятія:
Хозяину, гдѣ доведется жить,
Начальнику, съ кѣмъ буду я служить,
Слугѣ его, который чистить платье,
Швейцару, дворнику для избѣжанья зла,
Собакамъ дворника—чтобъ ласкова была (1).

Кругъ друзей и знакомыхъ у такой личности, какъ Чацкій, образуется не случайностью, а умнымъ выборомъ. Связи между ними завязываются и крѣпнута по сходству мнѣній, нравственныхъ началъ и цѣли въ жизни. Они дорожатъ одними и тѣми же инте-

(1) Нѣкоторое подражаніе словамъ Генріеты, въ Мольтеровой комедіи «Les femmes savantes»:

Un amant fait sa cour où s'attache son coeur;
Il veut de tout le monde y gagner la faveur;
Et, pour n'avoir personne à sa flamme contraire,
Jusqu'au chien du logis il s'efforce de plaire.
(Актъ I, сцена 8).

ресами и не допускать интимнаго отношенія къ людямъ другаго покроя, для которыхъ эти интересы лишены всякаго значенія. Если они строги въ своемъ выборѣ, иногда даже исключительны, то это обнаруживаетъ не кичливость ихъ духа, а только сообразность съ понятіемъ ихъ о достоинствѣ или недостоинствѣ общественнаго и сердечнаго сближенія. Подобными резонами не руководилось московское общество того времени:

Кто хочетъ къ намъ пожаловать—изволь,
Дверь отперта для званныхъ и незванныхъ....
Хоть честный человѣкъ, хоть нѣтъ,
Для насъ равнехонько: про всѣхъ готовъ обѣдъ.

У насъ, говоритъ Горичевъ Чацкому, «ругаютъ вездѣ, а всюду принимаютъ». При безразличіи званныхъ и незванныхъ, доказывающемъ полнѣйшее нравственное равнодушіе общества, не удивительно встрѣтить на балу у Фамусова отъявленнаго мошенника, плута и подлеца Загорѣцкаго. За неимѣніемъ честности онъ могъ утѣшаться тѣмъ, что если въ одной сторонѣ обзываютъ его позорными эпитетами, то въ другой благодарятъ за дрянную услужливость. Что новаго могло показать такое общество Чацкому?

Вчера былъ балъ, а завтра будетъ два,
Тотъ сватался—успѣлъ, а тотъ далъ промахъ:
Все тотъ же толкъ и тѣ жъ стихи въ альбомахъ.

Чтобы убѣдиться въ правдѣ этихъ стиховъ, достаточно прочесть письма г-жи Волковой, отличавшейся образованіемъ и умною наблюдательностью⁽¹⁾. А между тѣмъ эти «обѣды, ужины и танцы зажимали каждому ротъ»; пересуды свѣтскіе не только страшили тѣхъ, для которыхъ вопросъ: «что скажутъ?» замѣнялъ чувство совѣсти или чужой голосъ правды, но и могли повредить благородному человѣку: изъ нихъ составлялось своего рода общественное мнѣніе:

Не надо пищи—сказку, бредъ
Имъ лжецъ отпустить въ угожденье,
Глупецъ повѣрить, передать;
Старухи, кто во что гораздъ,
Тревогу бьютъ... и вотъ общественное мнѣніе!

«Праздникъ, жалкій, мелкій свѣтъ!» восклицаетъ Чацкій. Жизнь этого свѣта кружилась въ бездѣльности, пустотѣ, ничтожности; не было у ней ни смысла, ни цѣли. Въ душевной ея атмосферѣ голова Чацкаго страдала «отъ всякихъ пустяковъ»; онъ испытывалъ тамъ «милліонъ терзаній», истинное «горе отъ ума».

⁽¹⁾ Грибоѣдовская Москва (В. Евр. 1874 и 1875).

При выдачѣ дочерей за мужъ, московскій свѣтъ слѣдовалъ сентенціи Фамусова:

Кто бѣденъ, тотъ тебѣ не пара.

Но въ этой сентенціи взято только одно изъ двухъ необходимыхъ условій замужества: женихъ долженъ былъ сверхъ того занимать видное мѣсто на общественной лѣстницѣ по своему рангу или по крайней мѣрѣ имѣть возможность занять его, благодаря родству и покровительству. Княгиня Тугоуховская, узнавъ, что Чацкій не богатъ и не камеръ-юнкеръ, не видитъ уже надобности приглашать его на свои вечера. Понятно, почему отъ жениховъ требовали «съ имѣніемъ быть и въ чинѣ»: первая статья представляла способъ проводить жизнь пріятно, т. е. давать обѣды и балы, а вторая льстила пустому тщеславію, которое не отличалось отъ истиннаго славолубія. Само собою разумѣется, что мысль о согласной, хорошей жизни супруговъ представлялась каждому отцу и каждой матери, которые, не смотря на извращенность своихъ понятій и увлеченіе общимъ обычаемъ, все же питали родительскія чувства къ дѣтямъ и искренно желали имъ счастья, но дѣло въ томъ, что этотъ предметъ не составлялъ, подобно имѣнію и чину, *conditio sine qua non*. Это скорѣе былъ прибавочный пунктъ къ расчету, своего рода *pium desiderium*, которое могло исполниться со временемъ, но не должно было мѣшать капитальнымъ соображеніямъ родителей невѣсты. Не изъ такихъ мутныхъ источниковъ излилась привязанность Чацкаго къ Софѣ. Объ ея искренности, достоинствѣ и силѣ говоритъ самъ Чацкій, когда, противопоставляя себя Молчалину, исповѣдуетъ свои чувства Софѣ:

...Есть ли въ немъ та страсть, то чувство, пылкость та,
 Чтобъ кромѣ васъ ему міръ цѣлымъ
 Казался прахъ и суета?
 Чтобъ сердца каждаго бѣенье
 Любовью ускорилося къ вамъ?
 Чтобъ мыслямъ были всѣмъ и всѣмъ его дѣламъ
 Душею—вы, вамъ угожденье?
 Самъ это чувствую, сказать лишь не могу;
 Но что теперь во мнѣ кипитъ, волнуется, бѣситъ,
 Не пожелаю бы я и личному врагу.

Любви Чацкаго не охладилъ «ни даль, ни развлеченія, ни перемѣна мѣстъ». Онъ «безпрерывно былъ занятъ движеніями своего сердца, жилъ, дышалъ ими». Разочарованіе повергаетъ его «въ пучину золь, мечтаній и печали».

Москвичи Фамусовскаго округа были также враждебны къ наукѣ, какъ и къ либеральнымъ идеямъ. Они связывали первую съ по-

слѣдними, какъ причину съ слѣдствіемъ. Фамусовъ называетъ ученіе чумою; ученость, по его понятію, развела множество безумныхъ людей, безумныхъ дѣлъ, безумныхъ мнѣній. Отсюда прямой его выводъ: чтобы вырвать съ корнемъ зло, надобно сжечь книги. Гости на его балу, дамы и кавалеры, какъ и слѣдовало ожидать, вооружаются именно противъ тѣхъ новыхъ учебныхъ и ученыхъ заведеній, которыми или распространялась грамотность, или сообщалось среднее и высшее образованіе, — противъ ланкастерскихъ школъ, гимназій, лицеевъ, педагогическаго института, оживленнаго, при Уваровѣ, учрежденіемъ новыхъ кафедръ, но гдѣ профессора будто бы упражняются въ расколахъ и въ безвѣріи. Они боялись университетскихъ лекцій, сознавая, болѣе или менѣе ясно, что молодой человѣкъ, подъ вліяніемъ слышаннаго и изученнаго, становится на высшую степень образованія и кромѣ того приобретаетъ тотъ нравственный закалъ, которымъ Чацкіе отличаются отъ жалкаго, пустаго свѣта. Чацкій, съ своей стороны, не падитъ ревнителей невѣжества. Въ глаза Софѣ онъ смѣется надъ ея родственникомъ, чахоточнымъ врагомъ книгъ,

Въ ученый комитетъ который поселился
И съ кривомъ требовалъ присягъ,
Чтобъ грамотъ никто не зналъ и не учился.

Онъ смѣется также надъ воспитаніемъ или вѣрнѣе ученіемъ, при которомъ заботились не о далекости въ наукѣ, а о наборѣ учителей,

Числомъ побогѣе, цѣною подешевле.

Но особенно поднимается его желчь при воспоминаніи о жестокыхъ подвижникахъ крѣпостнаго права:

Тотъ Несторъ негодяевъ знатныхъ,
Толпою окруженный слугъ.
Усердствуя, они, въ часы вина и драки,
И честь и жизнь его не разъ спасали—вдругъ
Онъ вымѣнялъ на нихъ борзыхъ три собаки.
Или—вотъ тотъ еще, который для затѣи
На крѣпостной балетъ согналъ на многихъ фурахъ
Отъ матерей, отцевъ отторженныхъ дѣтей.

Собравъ черты, отличающія, въ лицѣ Чацкаго, «вѣкъ нынѣшній и вѣкъ минувшій», я долженъ прибавить, что Чацкій не только представитель лучшей части образованнаго меньшинства въ царствованіе Александра I, но и самый разумный его представитель, по правильности взгляда на способъ, какимъ гражданинъ-патріотъ долженъ служить въ пользу распространенія добрыхъ началъ и

дсуществленія ихъ въ жизни. Москва заключала въ себѣ тоже либераловъ, которые образовали общество или, по слову Репетилова, «секретнѣйшій союзъ» и завели собранья въ англійскомъ клубѣ. Грибоѣдовъ иронически, если не презрительно, относится къ разсказу Репетилова объ этихъ сходкахъ, называя бесѣды, на нихъ происходящія, «бѣснованьемъ». Конечно, восторгъ такого болтуна, какъ Репетиловъ, очень компрометировалъ членовъ «секретнѣйшаго союза»; однакожъ на основаніи догадокъ о лицахъ, послужившихъ оригиналами для портретовъ, изображенныхъ Репетиловымъ, между ними находились и такіе, на которыхъ нельзя было махнуть рукой, примолвивъ: «Богъ съ ними!» Возражая на замѣчаніе Скалозуба, что онъ «всѣмъ этимъ умникамъ «дастъ фельдфебеля въ Вольтеры», Репетиловъ говорить:

Повѣрь, любезный мнѣ,
Что вашей братіи у насъ (¹) есть не одинъ
Полковникъ,—всѣ съ имѣніемъ, служаки,
Грудь въ орденахъ, съ умомъ, рубаки.
Умомъ однимъ лишь красенъ чинъ!

Этихъ пяти стиховъ не было въ прежнихъ изданіяхъ: ихъ исключилъ самъ авторъ, по совѣту своего друга А. Одоевскаго (²). Во всей сценѣ съ Репетиловымъ, у Чацкаго ясно проглядываетъ нежеланіе сблизиться «съ сокомъ умной молодежи», отвращеніе отъ тайныхъ собраний и вообще отъ всѣхъ косвенныхъ или окольных путей къ благородной и полезной дѣли. Это несочувствіе происходило, какъ мы сказали, отъ правильнаго, разумнаго взгляда на способъ дѣйствій истиннаго патріотизма. Чацкій, какъ мнѣ кажется, не питалъ вѣры въ силу закрытыхъ средствъ, какими бы положеніями они ни обставлялись и какими бы дѣлами ни задавались. Онъ допускалъ только одно общество—общество просвѣщенныхъ, благонамѣренныхъ гражданъ, соединенныхъ тождествомъ понятій о томъ, что вредно и что полезно ихъ отечеству; и ясно понимающихъ другъ друга безъ особыхъ формальностей и условныхъ знаменъ. Каждый членъ этого общества, дѣйствуя въ своей сферѣ, тѣмъ не менѣе, безъ всякой стачки, дѣйствуетъ согласно съ другими членами. Индивидуальныя намѣренія и индивидуальныя усилія каждаго, не таимыя во тьмѣ, порождаютъ болѣе или менѣе успѣшныя результаты, т. е. проводятъ въ общественное сознаніе и въ общественную дѣятельность господство гуманныхъ идей. Въ этомъ отношеніи Чацкій, по моему мнѣнію, представ-

¹) Въ обществѣ московскихъ либераловъ.

²) См. біографію Грибоѣдова, изложенную А. Н. Веселовскимъ (Рус. Библіотека—А. С. Грибоѣдовъ. 1875).

ляетъ замѣтное единомысліе съ однимъ изъ своихъ современниковъ, авторомъ «Теоріи налоговъ» (¹).

Совсѣмъ другаго рода, сравнительно съ либеральною молодежью, былъ кругъ такъ называемыхъ «московскихъ тузовъ», болѣею частію людей старыхъ. Они, какъ знать, стояли у всѣхъ на виду и нисколько не стѣснялись въ своихъ рѣчахъ и сужденіяхъ. Фамусовъ благоговѣлъ передъ ними:

Вѣдь столбовые всѣ; въ усъ никому не дуютъ
И о правительствѣ иной разъ такъ толкуютъ,
Что еслибъ кто подслушалъ ихъ—бѣда!

.....
Прямые канцлеры въ отставкѣ по уму!
Я вамъ скажу: знать время не приспѣло,
Но что безъ нихъ не обойдется дѣло.

Большею частію это были лица, или недовольныя реформами Александрова времени, или обиженныя тѣмъ, что правительство не призвало ихъ къ себѣ въ пособники. Удалившись на покой въ древнюю столицу, они находили отраду въ томъ, что могли свободно заявлять протестаціи, которыя охотно и съ почтеніемъ выслушивались ихъ поклонниками. Такимъ вниманіемъ облегчалось ихъ оскорбленное самолюбіе. Притомъ они питали надежду, что, рано или поздно, наступитъ пора и имъ дѣйствовать. Эта надежда основывалась, между прочимъ, на неудовлетворительности, а иногда и ошибочности нѣкоторыхъ правительственныхъ мѣръ. Не будучи «канцлерами по уму», государственными людьми, московскіе тузы понимали однакожъ, что шаткость или неуспѣхъ реформъ происекалъ значительною частію отъ недостатка административной опытности и близкаго знакомства съ условіями русской жизни въ реформаторахъ. А такъ какъ сами они навывели въ дѣлахъ, были не только практики, но и рутинеры, знали лучше жизнь и приобрѣли установившійся, хотя и узкій взглядъ, то и мечтали, что эти-то именно качества и нужны для созданія высшихъ государственныхъ плановъ, соотвѣтственно потребностямъ новаго времени (²).

Кромѣ главной мысли, въ «Горѣ отъ ума» есть другая, хотя второстепенная или побочная, но тѣмъ не менѣе очень замѣчательная. Авторъ страстно выразилъ ее въ извѣстномъ монологѣ, заключающемъ третье дѣйствіе. Это — мысль о пустомъ, рабскомъ, слѣпомъ подражаніи нашемъ всему иностранному. Она

¹) La Russie et les Russes, t. I.

²) Сперанскій и его государственная дѣятельность, О. Дмитриева (Рус. Арх. 1868).

подверглась критикѣ одного изъ образованнѣйшихъ русскихъ людей, И. В. Кирѣевского, который нашелъ ее несправедливою и одностороннею. Мнѣ кажется, критикѣ, въ своемъ сужденіи, не принялъ достаточно въ расчетъ различія временъ. Комедія несомнѣнно была уже готова въ 1822-мъ году, а критическая статья о ней напечатана черезъ десять лѣтъ ⁽¹⁾. Въ этотъ срокъ времени взгляды на нѣкоторые предметы могли измѣниться. Въ 1831 г. иностранцы потеряли свое прежнее значеніе въ глазахъ правительства и высшихъ сферъ общества не какъ иностранцы только, но какъ образцы, представители западно-европейскаго просвѣщенія съ его послѣдствіями, нравственными и политическими, въ характерѣ и направленіи которыхъ видѣли противоположность началамъ и цѣлямъ собственно-русскаго просвѣщенія. Кирѣевскій, издатель «Европейца», однимъ названіемъ своего журнала, не говоря уже о его характерѣ, обязанъ былъ отнестись неодобрительно къ патетическому негодованію Чацкаго и высказать мысль о необходимости усвоенія общеевропейской образованности для развитія просвѣщенія русскаго. Такой фактъ понятенъ. Но Грибоѣдовъ вращался въ томъ обществѣ, въ которомъ пристрастіе къ французскому вовсе не совпадало съ желаніемъ усвоить себѣ просвѣтительные элементы европеизма. Онъ каждый день могъ быть свидѣтелемъ сценъ — то комическихъ, то оскорбительныхъ русскому чувству, то вредныхъ въ смыслѣ умственномъ и нравственномъ. Здѣсь мадамъ Розе дозволила сманить себя за лишнихъ пятьсотъ рублей; тамъ тетушка посѣдѣла съ досады, когда молодой французъ сбѣжалъ у ней изъ дому. Пріѣхавъ въ Россію, французъ

Ни звука русскаго, ни русскаго лица
Не встрѣтилъ: будто бы въ отечествѣ, съ друзьями,—
Своя провинція! Посмотришь—вечеркомъ
Онъ чувствуетъ себя здѣсь маленькимъ князькомъ!

Гостепріимство московское готовило столы для званныхъ и незванныхъ, но «особенно для иностранныхъ». Отъ послѣднихъ невѣсты не требовали того, что требовалось отъ русскаго жениха, т. е. «съ имѣніемъ быть и въ чинѣ». Барышни наши, благодаря гурвернанткамъ, становились копіями парижскихъ модистокъ, не смотря на всю свою дворянскую спесь. Все это зналъ хорошо Чацкій; все это видѣлъ въ томъ обществѣ, къ которому принадлежала Софья: удивительно ли, что онъ сильно былъ взволнованъ и что монологъ его выражаетъ страстное раздраженіе души?

¹⁾ Въ Европейцѣ 1831, кн. I (Горе отъ ума на московской сценѣ).

Но независимо отъ чувства, которое можетъ загораться въ душѣ мгновенно и случайно, сатира такого человѣка, какъ Грибоѣдовъ, имѣла источникомъ и высшія соображенія. Конечно, онъ не былъ славянофиломъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ это слово понималось тогда большинствомъ публики, т. е. любителемъ славянщины; но онъ, по моему мнѣнію, сознательно держался другаго, гораздо болѣе важнаго пункта славянофильскаго ученія, а именно понятія о самостоятельномъ развитіи русскаго народа, — того понятія, которое объяснялъ Карамзинъ въ своемъ разсужденіи «о любви къ отечеству и народной гордости» и о которомъ часто говоритъ Шишковъ въ своей книгѣ «о старомъ и новомъ слоgѣ». Грибоѣдовъ, живя въ Петербургѣ, имѣлъ пріятельскія связи съ сторонниками Шишкова: кн. А. Шаховскимъ, Катенинымъ, Гнѣдичемъ. Несомнѣнно, что въ литературѣ онъ стоялъ на сторонѣ самостоятельнаго авторства русскихъ. Это доказано не только его комедіей, въ которой онъ отбросилъ ополгѣвшую выкройку французскихъ пьесъ этого рода, когда еще всѣ почти наши театральные писатели строили по ней свои созданія, но и защитой Катенина отъ журнальных нападокъ на его переводъ Бюргеровой баллады «Ленора», ставя его выше перевода Жуковскаго (Людмила) не за качество стиха, а за его національный колоритъ. Замѣчательно, что ни Карамзинъ, ни Жуковский не пользовались сочувствіемъ Грибоѣдова, причину чего надобно искать единственно въ томъ, что онъ введенные ими въ нашу литературу элементы — сентиментальный и романтический — находилъ не соотвѣтствующими характеру русской національности ⁽¹⁾. Если же требованіе литературной самостоятельности такъ сильно заявлялось Грибоѣдовымъ, то еще сильнѣе долженъ былъ онъ чувствовать законность и важность самобытности по отношенію къ русской жизни вообще, къ ея всестороннему развитію, и вмѣстѣ съ этимъ противоборствовать вліянію не однихъ французовъ, но европейцевъ вообще. Чацкій отъ французовъ не отдѣляется и нѣмцевъ:

Какъ съ раннихъ поръ привыкли вѣрить мы,
Что намъ безъ *нѣмцевъ* нѣтъ спасенья!

Смотря на «Горе отъ ума» съ эстетической точки зрѣнія, т. е. оцѣнивая пьесу по отношенію къ законамъ и условіямъ комедіи вообще, большинство критиковъ находило въ ней одинъ главный недостатокъ — недостатокъ дѣйствія. Положеніе дѣйствующихъ лицъ, писалъ одинъ изъ нихъ, не измѣняется въ теченіи всѣхъ

⁽¹⁾ Путевыя замѣтки въ черновой тетради Грибоѣдова (Рус. Слово 1859, №№ 4 и 5).

четырехъ актовъ. Можно выкинуть каждое изъ лицъ, замѣнить другимъ, удвоить число ихъ—и ходъ пьесы останется тотъ же ⁽¹⁾. Почти такое же мнѣніе выражено кн. Вяземскимъ: «Дѣйствія въ драмѣ (Горе отъ ума) нѣтъ. Здѣсь всѣ почти лица эпизодическія, всѣ явленія выдвигающія: ихъ можно выдвинуть, вдвинуть, перемѣстить, пополнить, и нигдѣ не замѣтишь ни трещины, ни придѣлки» ⁽²⁾. Отсюда и выводится заключеніе, что «Горе отъ ума»—не комедія собственно, а сатира въ драматической формѣ, превосходно обдуманная, строго правдивая, кипящая огнемъ негодованія. Съ этимъ соглашались самые ревностные защитники автора, находя, что высокій талантъ его выразился и въ сатирѣ такъ блистательно, какъ другіе таланты не выражались въ десяткахъ комедій. Пусть это сатира, думали они: дѣло не въ имени, а въ самомъ дѣлѣ, достоинство котораго несомнѣнно.

Если лица ничего или очень мало дѣлаютъ, а только говорятъ, какъ замѣчали критики, то можно возразить имъ, что иная рѣчь лучше иныхъ дѣйствій характеризуетъ людей и живѣе представляетъ картину общественныхъ нравовъ. Умное изреченіе древняго грека: «говори, чтобы я могъ узнать тебя», вполне прилагается къ драматическимъ діалогамъ и монологамъ. Бесѣды Фамусова съ дочерью, съ Чацкимъ и Скалозубомъ знакомятъ до тонкости съ его характеромъ, обнаруживаютъ до тла весь міръ понятій, стремленій, наклонностей современнаго ему московскаго свѣта. Онъ живьемъ стоитъ передъ нами, какъ баринъ, какъ отецъ, какъ чиновникъ, какъ членъ общества. Какъ баринъ, онъ дорожитъ дворянствомъ—но въ своемъ особенномъ смыслѣ, объясня его слѣдующимъ образомъ:

..... У насъ ужъ изстари ведется,
 Что по отцу и сыну честь!
 Будь плохенькій, да если наберется
 Душъ тысячи двѣ родовыхъ,
 Тотъ и женихъ.

Другой, хоть притче будь, надутый всякимъ чванствомъ,
 Пускай себѣ разумникомъ слыви,
 А въ семью не включать, на насъ не подиви!
 Вѣдь только здѣсь еще и дорожатъ дворянствомъ!

Какъ отецъ, свое радѣніе о воспитаніи дочери онъ ограничиваетъ приглашеніемъ въ домъ мадамъ; присмотрѣ за взрослою дѣвушкой сердить его, какъ несносная коммиссія; въ позорѣ съ дочерью тре-

¹⁾ Нѣсколько словъ о ком. «Горе отъ ума», Пялада Вѣлугина (М. Дмитриева). В. Евр. 1825, № 10.

²⁾ «Фонъ-Визинъ».

вожить и сокрушаетъ его не чувство безнравственности, не голосъ совѣсти, не скорбь родительская, а боязнь пересудовъ и дурной молвы: «что станетъ говорить княгиня Марья Алексѣевна!» Какъ чиновникъ, онъ имѣетъ въ виду только формальную сторону службы, нисколько не думая о внутреннихъ обязанностяхъ. Онъ смертельно боится одного, чтобы не накопилось много бумагъ; поэтому онъ принялъ за правило: «что дѣло, что не дѣло — подписано, такъ съ плечъ долой». Истинный комизмъ Фамусова, говоритъ кн. Вяземскій, заключается въ томъ, что, воспитанный и постарѣвшій во лжи своего положенія, онъ дѣйствуетъ добродушно, отъ чистаго сердца убѣжденный въ превосходствѣ своей философіи, и не понимаетъ вреда, который творитъ вокругъ себя дѣйствіями, основанными на этой философіи. Въ такой наивности вреднаго человѣка критикъ видитъ преимущественно злую сатиру автора: «ибо никакъ не различишь насмѣшливости комика отъ замоскворѣцкаго патріотизма комическаго лица». Дѣйствительно, рѣчи Фамусова въ устахъ Чацкаго были бы самой ѣдкой ироніей, но, произносимыя самимъ Фамусовымъ, они отличаются своего рода патетизмомъ, какъ бы отражая величіе тѣхъ представленій, которыя служатъ для него неизбѣжными идеалами.

Скалозубъ двумя-тремя выраженіями заявляетъ себя лучше, чѣмъ бы могъ заявить какими нибудь дѣйствіями на родной своей почвѣ — плацъ-парадѣ. Его опредѣленіе Москвы, какъ «дистанціи огромнаго размѣра», «къ украшенію которой много способствовалъ пожаръ», его «не знаю, мы съ ней вмѣстѣ не служили» — такія типическія рѣчи, послѣ которыхъ остается только воскликнуть: вотъ человѣкъ! О самомъ Чацкомъ, какъ лицѣ комедіи, давно сдѣланъ справедливый приговоръ, начиная съ мѣткихъ словъ Пушкина: «Чацкій совсѣмъ не умный человѣкъ, но Грибоѣдовъ очень уменъ», и оканчивая слѣдующимъ сужденіемъ кн. Вяземскаго: «Чацкій похожъ на Стародума (въ ком. Недоросль). Благородство правилъ его почтенно, но способность, съ которою онъ ex-abrupto проповѣдуетъ на каждый попавшійся ему текстъ, не рѣдко утомительна. Слушающіе рѣчи его точно могутъ примѣнить къ себѣ названіе комедіи, говоря: горе отъ ума. Умъ, каковъ Чацкаго, не есть завидный ни для себя, ни для другихъ. Въ этомъ главный порокъ автора, что посреди глупцевъ всякаго свойства вывелъ онъ одного умнаго человѣка, да и то бѣшенаго. Мольеровъ Альцестъ, въ сравненіи съ Чацкимъ, настоящій Филинь (1), образецъ терпимости». Съ этимъ нельзя не согласиться. Не заведено держать

1) Въ комедіи Мольера «Мизантропъ».

себя въ обществѣ такъ, какъ держитъ Чацкій, и въ глаза говорить то, что имъ говорится. Давно еще, при самыхъ восторженныхъ похвалахъ піесѣ, критики не скрывали неразумности главнаго дѣйствующаго лица, его заносчивости и нетерпѣливости, хотя оно само какъ бы желаетъ ослабить ѣдкость своей сатиры, въ отвѣтъ Софѣ:

Послушайте, ужель слова мои всѣ колки
И клонятся къ чьему нибудь вреду?
Но если такъ, умъ съ сердцемъ не въ ладу;
Я въ чуждакахъ нному чужду
Разъ посмѣюсь, потомъ забуду;
Велите жъ мнѣ въ огонь—пойду какъ на обѣдъ.

Но пусть Чацкій — второй экземпляръ Стародума; пусть онъ выражаетъ образъ мыслей Грибоѣдова, какъ Стародумъ выражалъ образъ мыслей фонъ-Визина... что же отсюда слѣдуетъ? Если это ошибка въ отношеніи эстетическомъ, то, съ другой стороны, это великій выигрышъ по отношенію къ внутреннему содержанію пьесы, къ ея идеѣ. Ради послѣдней, какъ самаго важнаго предмета, авторъ уклонился отъ теоретическаго кодекса комедіи: кто, въ виду настоятельной и почтенной цѣли, будетъ строго взыскивать съ автора за то или другое средство, употребленное имъ для достиженія цѣли? Извѣстно, что «Недоросль» главнымъ своимъ успѣхомъ, въ средѣ образованныхъ зрителей, былъ одолженъ рѣчамъ Стародума. А въ наше время, при представленіи «Горя отъ ума», что особенно привлекаетъ публику, какъ не роль Чацкаго? Чьи рѣчи выслушиваются съ постояннымъ сочувствіемъ и напряженной внимательностью, какъ не рѣчи Чацкаго? Эти рѣчи держатъ и долго еще будутъ держать піесу на сценѣ; они увѣковѣчили имя автора въ памяти каждаго русскаго, сдѣлали его украшеніемъ нашей литературы. Для сценическаго успѣха Фамусова, Скалозуба, Репетилова нужна болѣе или менѣе талантливая игра актеровъ; для такого же успѣха Чацкаго таланта нужно меньше, а въ случаѣ нужды можно и вовсе безъ него обойтись: само содержаніе вынесетъ на плечахъ даже безталантность; будутъ осуждать игру, но за то непременно будутъ внимать словамъ, покрывая ихъ громко-дружными рукоплесканіями.

Софья является въ піесѣ именно такою дѣвушкой, какою она могла быть и дѣйствительно была, по своему воспитанію и другимъ обстоятельствамъ жизни. Лишившись матери, она осталась на попеченіи отца, который тяготится взрослой дочерью, какъ не-сносной комиссіей, и подъ надзоромъ наемной француженки, которая за болѣе выгодный наемъ, не задумавшись, перешла въ

другое мѣсто. Ни въ гувернантѣ, ни въ родителѣ-вдовцѣ не видѣла она добрыхъ себѣ примѣровъ. Обязанность быть хозяйкой въ домѣ, приглашать и принимать гостей развили въ ней известную самостоятельность. Она чувствуетъ себя вольнѣе, держитъ себя свободнѣе, сравнительно съ тѣми изъ своихъ сверстницъ, которыя состоятъ подъ материнской опекой. Эта свобода, при отсутствіи нравственнаго призора, перешла въ своеволіе, которое, какъ весьма часто бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, легко могло принять ложное направленіе. Софья не труслива, не умѣетъ притворяться, не знаетъ, откуда взять скрытности. Она освободилась отъ страха при мысли: «что скажутъ?» Пересуды и говоръ потеряли надъ нею власть, перестали быть пугаломъ. «Что мнѣ молва?» возражаетъ она служанкѣ Лизѣ: «кто хочетъ, такъ и судить». Она цѣнитъ только свое желаніе, свою волю: «хочу — люблю, хочу — скажу», и нисколько не цѣнитъ знакомыхъ отца своего:

Да что мнѣ до кого? до нихъ? до всей вселенной?

Смѣшно? — пусть шутятъ ихъ! Досадно? — пусть бранятъ!

Она «не дорожитъ и собой», прямо и откровенно заявляя это Молчалину. При своей самостоятельности и самоуправности, Софья въ тоже время умна. Она не очень конфузится отъ рѣчей Чацкаго и его эпиграммы отражаетъ иногда ловкими репликами. Мысль о помѣшательствѣ Чацкаго пущена ею съ знаніемъ той среды, гдѣ она должна была распространиться, и слѣдовательно съ увѣренностію въ успѣхъ:

А, Чацкій!... любите вы всѣхъ въ шуты рядить,

Вы никого не любите щадить,

Такъ неудобно ль на себѣ примѣрять.

Но какъ такая дѣвушка могла полюбить Молчалина? Чтобы не дивиться такому факту, не мѣшаетъ прежде имѣть въ виду натуру женщины вообще, которыя, по словамъ одного автора, представляютъ неразрѣшимую загадку даже для мудреца, ибо онѣ «часто любятъ головой и часто разсуждаютъ сердцемъ». Затѣмъ уже можно прибѣгнуть къ другимъ соображеніямъ, объясняющимъ естественность любви. Воображеніе Софьи было раздражено французскими романами: она «читала небылицы по ночамъ»; а потребность воплотить романческаго героя въ лицѣ того или другаго знакомаго есть самое обыкновенное явленіе въ сердечной исторіи дѣвушки. Софья воплотила свой идеалъ въ Молчалина, потому что онъ жилъ въ домѣ ея отца, былъ близокъ къ ней, находился, такъ сказать, у ней подъ руками. Въ движеніяхъ сердца, случайности играютъ большую роль: близость предмета, возможность ча-

стаго съ нимъ свиданія, нестѣснительность взаимнаго обмѣна чувствъ завязываютъ не только недуманныя, негаданныя связи, но и окончательно устраниваютъ судьбу противъ всякаго ожиданія. На кого изъ знакомыхъ могла обратить Софья свое предпочтительное вниманіе? Чацкаго она забыла или охладѣла къ нему, а можетъ статься и до его поѣздки не питала къ нему сильнаго чувства; Скалозубъ—герой, но только не ея романа; а изъ молодыхъ людей, пріѣхавшихъ на балъ къ Фамусову, вертѣлся одинъ Загорецкій, но онъ ужъ такъ дрянень, что не годится ни въ какіе герои: онъ просто лгунишка, воръ и мошенникъ. Конечно, Софья ошиблась; она строго наказана разочарованіемъ, но въ бѣдѣ своей она, какъ и слѣдовало ожидать отъ ея характера, сильно выказываетъ оскорбленную гордость и съ презрѣніемъ отвергаетъ свой бывшій идеаль:

Я съ этихъ поръ васъ будто не знавала...

Упрековъ, жалобъ, слезъ моихъ

Не смѣйте ожидать: не стойте вы ихъ!

Но чтобы въ домѣ здѣсь заря васъ не застала,

Чтобъ никогда объ васъ я больше не слыхала.

Софья съ такою же рѣшительностью порываетъ свою любовь, съ какою, должно думать, и завязала ее.

«Если искать вывѣски современныхъ Грибоѣдову нравовъ въ Софіи», говоритъ кн. Вяземскій, «то должно сказать, что эта вывѣска—поклепъ на нравы». Почему же клеветъ, т. е. напраслина? Софья принадлежитъ къ такому разряду дѣвушекъ, которыхъ сравнительно было меньше въ московскомъ обществѣ, но это меньшинство есть не воображаемое нѣчто, не вымышленное, а дѣйствительно существовавшее, на ряду съ большинствомъ. Комикъ имѣетъ полную свободу отнести къ меньшинству, выбирать изъ него представительныя лица и изображать ихъ: его изображенія будутъ вѣрными вывѣсками, живыми, законными типами опредѣленнаго общественнаго круга, хотя и болѣе тѣснаго, но въ такой же степени самобытнаго и полноправнаго, какъ и кругъ обширнѣйшій. Эти представители меньшинства даже могутъ отличаться болѣею оригинальностью, чѣмъ представители большинства. Софья, конечно, оригинальнѣе и выше своихъ знакомыхъ москвичекъ, пріѣхавшихъ къ ней на балъ—шести дочерей князя Тугоуховскаго и внучки графини Хрюминой. Послѣднія всѣ похожи одна на другую, какъ двѣ капли воды: ихъ характеръ—въ отсутствіи всякой особенности, ихъ индивидуальность — въ безличіи ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Въ послѣдніе годы вышло много матеріаловъ касательно біографіи, службъ и литературной дѣятельности Грибоѣдова. На первомъ мѣстѣ ставлю двѣ

§ 23. Проповѣдное слово, никогда у насъ не понижавшееся въ своемъ значеніи, имѣло, въ Александрово время, многихъ достойныхъ представителей, между которыми болѣе громкою извѣстностью пользовались Іоаннъ Леванда, протоіерей кievскаго софійскаго собора (1736—1814), Михайлъ Десницкій, митрополитъ с.-п.-бургскій и новгородскій (1761—1821), Августинъ Виноградскій, архіепископъ московскій (1766—1819), Амвросій Протасовъ, архіепископъ казанскій и симбирскій (1769—1830), и Филаретъ, митрополитъ московскій (1782—1867).

Главное свойство словъ Леванды—теплота чувства, какъ видно изъ надгробной рѣчи Самуилу, архіепископу кievскому, и изъ слова на текстъ: «такъ ли не возможете единого часа побѣди со Мною?». Но съ другой стороны они не отличаются ни художественной обработкой выраженія, ни строго-логическимъ развитіемъ выбранной темы. Громкую извѣстность, которою пользовался въ свое время Леванда, нѣкоторые объясняютъ его вышними качествами и способностью произносить.

Сочиненія Михаила относятся къ тому виду пастырскихъ поученій, которые обозначаются именемъ «бесѣдъ», т. е. разсужденій о предметахъ вѣры, въ примѣненіи ихъ къ нравственности христіанъ. Бесѣды эти являлись въ печати подъ разными названіями: «Трудъ, пища и покой духа человѣческаго», «О внутреннихъ состояніяхъ человѣка, объ истинномъ покаяніи и о разныхъ степеняхъ его», «О внутреннемъ человѣкѣ, или изображеніе новаго, внутренняго духовнаго человѣка». Любимою темою проповѣдника было объяснять значеніе духовнаго рожденія въ насъ Іисуса Хри-

презрасива статья А. Н. Веселовскаго: «Очеркъ первоначальной исторіи «Гора отъ ума» (Рус. Архивъ 1874, кн. 1) и «А. С. Грибоѣдовъ» (Рус. Библиотека, изд. М. М. Стасюлевича, т. V). Далѣе въ Рус. Архивѣ 1872 г.: «О смерти Грибоѣдова въ Тегеранѣ» (стр. 1492 — 1538), Письма Грибоѣдова 1828 и 1829 гг. къ Родофиникину, директору азіатскаго департамента (стр. 1538 — 1551); 1874 г.: «Письмо гг. Ваземскаго къ М. Н. Лонгинову о Грибоѣдовѣ» (№ 2), по поводу статьи г. Родиславскаго: «Неизданныя писемъ Грибоѣдова» (Рус. Вѣст. 1873 г., сентябрь). — Въ Рус. Старинѣ 1872 г.: «А. С. Грибоѣдовъ», изъ Записокъ П. Каратыгина (т. V); 1873 г.: «Персія и Персіяне», донесеніе Грибоѣдова въ 1827 г. гр. Паскевичу (т. VII); 1874 г.: «А. С. Грибоѣдовъ», біографическій очеркъ г. Сосновскаго (т. X), «Обзоръ всѣхъ изданій Гора отъ ума», г. Гарусова (т. X), «Горе отъ ума въ Тифлисѣ» въ 1882 г. (т. X), А. С. Грибоѣдовъ въ Персіи и на Кавказѣ, 1818 — 1828, А. Берже (т. XI), «А. С. Грибоѣдовъ, какъ дипломатъ, 1827 и 1828», А. Берже (т. XI), «Письмо Грибоѣдова къ Ю. К. Глинкѣ» (т. XIII), Письма Грибоѣдова къ Кюхельбекеру (т. XIII). — Статья Н. Гербеля: «А. С. Грибоѣдовъ» (въ изданіи Гора отъ ума, 1873). — Кромѣ того критическія статьи о «Горѣ отъ ума» въ сочиненіяхъ Вѣликскаго.

ист. русск. лит. т. 2.

ста, указывать степені восхожденія души въ небесный храмъ Господень, внушать убѣжденіе, что истинное поклоненіе Богу должно быть совершаемо въ пустынь внутренняго уединенія, а не въ Египтъ разсѣянія. Какъ воспитанникъ филологической семинаріи при московскомъ университетѣ, Михаилъ не остался безъ вліянія отъ лекцій Шварца, извѣстнаго своими близкими связями съ московскими масонами прошлаго вѣка. Поэтому возрожденіе человѣка составляетъ центральный пунктъ его словъ, въ которыхъ онъ, однакожъ, не отступаетъ отъ ученія Церкви, не становится съ нимъ въ противорѣчіе, какъ это видимъ у многихъ мистиковъ. Имѣя главною цѣлію назиданіе паствы, направленіе ея на путь истиннаго, дѣятельнаго христіанства, Михаилъ не заботился о какихъ-либо ораторскихъ движеніяхъ, о витійственной рѣчи. Поученія его отличаются яснымъ, простымъ, большинству слушателей доступнымъ изложеніемъ догматовъ и правилъ: въ этомъ ихъ отличительное достоинство, въ этомъ же и заслуга ихъ автора.

Лучшее изъ словъ Августина сказано имъ въ память воиновъ, положившихъ жизнь свою на Бородинской битвѣ (1813). Извѣстностью своею, какъ проповѣдникъ, онъ обязанъ болѣе чрезвычайнымъ событіямъ эпохи, чѣмъ своему таланту или искусству. Тогдашнее время само за себя говорило громко и чувствительно. Оно было краснорѣчивѣе всякихъ ораторскихъ словъ. Пастырю, особенно такому, какъ Августинъ, на долю котораго выпало быть свидѣтелемъ нашествія враговъ и изгнанія ихъ изъ Россіи, разрушенія и обновленія первопрестольнаго города, возстановленія храмовъ, утѣшать паству при наступленіи бѣдствій и торжествовать спасеніе и славу отечества, небольшого труда стоило произвести сильное дѣйствіе. Достаточно было простаго указанія на разоренную Москву или на трауръ семействъ, легкаго напомниманія пережитыхъ невзгодъ, даже одного сочувственнаго звука, чтобы потрясти смущенный духъ, взволновать наболѣвшее сердце, да и самому при этомъ испытать тѣже самыя чувства. И потому легко себѣ представить силу впечатлѣнія, произведеннаго на слушателей концемъ слова, содержащимъ въ себѣ обращеніе къ Бородинскому полю: «Земля отечественная! Храни въ нѣдрахъ любезные останки поборниковъ и спасителей отечества; не отяготи собою праха ихъ. Выѣсто росы и дожда, окропять тебя благодарныя слезы сыновъ русскіихъ. Зеленѣй и цвѣти до того великаго и просвѣщеннаго дне, когда возсіяетъ заря вѣчности, когда солнце правды оживотворитъ вся сущая во гробѣхъ».

Амвросій прославился словами передъ избраніемъ и по избраніи судей въ губерніи, и словомъ на Успеніе Богородицы. Изъ

первыхъ особенно замѣчательно произнесенное въ Тулѣ, по случаю присяги лицъ, выбранныхъ на дворянскомъ собраніи 1815 г. Кому извѣстны побужденія, которыми, въ большинствѣ случаевъ, руководствовались избирающіе при балотировкѣ, и правила, какими слѣдовали избранные въ исполненіи своего долга послѣ данной ими присяги, тотъ нисколько не удивится ни содержанію, ни тону пастырскаго поученія. Съ одной стороны святость законовъ, обязательныхъ для каждаго человѣка, а для служителей правосудія еще болѣе взыскательныхъ; съ другой — боязнь нарушенія обязательства, сдѣланнаго присягой, — боязнь не вымышленная, а основанная на многихъ и многихъ свидѣльствахъ, сообщила его рѣчи хотя сдержанный, но сильный тонъ, по мѣстамъ рѣзкій и даже сатирическій. Исходя изъ той мысли, что одна только добродѣтель имѣетъ неотъемлемое право на благоговѣніе душевное, что одной только истинѣ долженъ воскуряться сердечный эниміамъ, онъ, не взирая на лица, не стѣсняясь житейскими отношеніями, возстаетъ противъ честолюбія, любостяжанія, самоугодія, служенія ради своихъ личныхъ выгодъ, а не ради общественной пользы. Выставивъ на видъ обстоятельства, которыми несправедливый судья можетъ обманчиво облегчать свою совѣсть, онъ показываетъ несостоятельность каждаго и приходитъ къ тому заключенію, что оправданіе вины нерѣдко хуже самой вины. Строго-обличительное содержаніе слова обусловлено было еще особеннымъ случаемъ. Не видя въ начальникѣ губерніи тѣхъ качествъ, какія бы слѣдовало тому имѣть, Амвросій и обращаетъ къ нему сатирическія мѣста своего слова, нѣсколько разъ уподобляя его златому Ааронову тельцу: «звергохъ злато во огнь—и изліяся телець» (Исхода гл. 32, ст. 24). Заключеніе обращенія вышло дѣлсообразнымъ и согласнымъ съ общимъ настроеніемъ: «Почести на недостойномъ суть зрѣлищныя украшенія: только достойный украсить можетъ и самыя почести. И высокій санъ для мужа неразумнаго есть то высокое мѣсто, на которое поставляется онъ, яко истуканъ, облеченный въ утварь златую для того только, дабы свѣтъ узрѣлъ его и рекъ: се человѣкъ, иже очи имать—и не видитъ, уши имать—и не слышитъ, уста имать—и не речетъ ни суда, ни правды! Ахъ, не сама ли истина должна рещи таковому вождю народа: брате! добро тебѣ будетъ отъйти на село твое? Тамъ неизвѣстность покровитъ завѣсою забвенія и имя и недостатки твои; здѣсь, стоя превыше другихъ, содѣлаешься притчею во языцѣхъ твоихъ» (1).

¹⁾ Губернаторомъ былъ Н. И. Богдановъ. Произносилъ указанный текстъ, Амвросій обращался къ нему глазами и движеніемъ руки (Мелочи изъ запаса моей памяти, М. Дмитріева).

Проповѣдное слово, въ словахъ и рѣчахъ митрополита Филарета, выказало новую, до того небывалую силу, которая составляетъ высшую степень въ развитіи этого рода словесности. Особенности ихъ обнаружались въ первыхъ опытахъ проповѣдника, были тотчасъ замѣчены тогдашними любителями церковнаго краснорѣчія, какъ духовными, такъ и свѣтскими, и приобрѣли ему быструю и громкую извѣстность. Рѣдая природная даровитость, твердый діалектический умъ и обширное богословское образованіе, доказанное «Записками на книгу Бытія (1816)», служили проповѣднику орудіями при изложеніи религиозныхъ догматовъ и правиль. Никто изъ прежнихъ пастырей русской церкви не владѣлъ, никто и изъ послѣдовавшихъ за нимъ не владѣетъ еще до сихъ поръ такимъ искусствомъ раскрыть сущность выбраннаго текста, исчерпать полноту его содержанія, представить это содержаніе въ строго-послѣдовательномъ развитіи, найти прямое нравственное примѣненіе священной истины, дать тону и языку полное соотвѣтствіе достоинству излагаемаго. Если главное достоинство проповѣдей Филарета строится на способности сужденія, на силѣ діалектической мысли, которая и образуетъ господствующій элементъ ихъ, то главныя отличія его языка—точность и стройность, сообщающія рѣчи такъ сказать внутреннее изящество и показывающія въ авторѣ великаго знатока отечественнаго слова. Касательно послѣдняго предмета, нужно замѣтить, что возобновленіе старыхъ словъ и оборотовъ, нерѣдко встрѣчаемое у Филарета, основано на вѣрномъ тактѣ, почему никогда не противорѣчитъ образованному вкусу, равно какъ соединеніе языковъ церковно-славянскаго и русскаго представляетъ замѣчательную художественную мѣру. Какъ внутренній характеръ проповѣди долженъ возникать изъ духа Библии и Церкви, и изъ отношеній этого духа къ духу народа: такъ и внѣшній ея характеръ, внѣшняя форма (языкъ, слогъ) тогда только получаетъ особую физиогномію, когда языкъ народный и литературы свѣтской въ такой степени растворяется языкомъ библейскимъ и церковнымъ, которая ставитъ обѣ стихіи въ надлежащее равновѣсіе.

Въ первый періодъ проповѣдничества Филарета (1803—1826) обратили на себя особенное вниманіе два его слова: «въ великій пятокъ (1813)» и «о гласѣ вопіющаго въ пустыни (1814)».

Оригинальный приступъ къ первому слову построенъ на двойномъ значеніи одного и того же имени: Слова (какъ Искупителя міра) и слова (какъ бесѣды пастыря):

Чего теперь ожидаете вы, слушатели, отъ служителей Слова? Нѣтъ бога слова.

Слово, собезначальное Отцу и Духу, рожденное для нашего спасенія, начало всякаго слова живаго и дѣйствительнаго, умогло, скончалось, погребено и запечатано. Дабы вразумительнѣе и убѣдительнѣе сказать *человѣкамъ пути живота* (Пс. 15, 11), Слово сіе оставило небеса и облеклося плотію; но человѣки не захотѣли внимать Слову, растерзали плоть Его, — и се *взяты отъ земли животъ Ею* (Исаи 53, 8). Кто же теперь дастъ намъ слово жизни и спасенія?

Сказавъ, что у служителей Слова какъ бы нѣтъ предмета для слова, проповѣдникъ потомъ отыскиваетъ этотъ предметъ:

Слово Божіе не связуется смертію. Какъ устное слово человѣческое не совѣтъ умираетъ въ ту минуту, когда перестаетъ звукъ его, но паче воспріимлетъ тогда новую силу и, пройдъ чрезъ чувство, вселяется въ умы и сердцахъ слышавшихъ: такъ Ипостатное Слово Божіе, Сынъ Божій, въ своемъ спасительномъ вочеловѣченіи, умирая плотію, въ то же время *исполняетъ есаяческую* (Ефес. 4. 10) своимъ духомъ и силою... Воплощенное Слово умолаветъ токмо для того, чтобы сильнѣе и дѣйствительнѣе глаголатъ къ намъ; сокрывается для того, чтобы внутреннѣе *вселиться въ насъ* (Іоан. 1. 14); умираетъ, чтобы даровать намъ свое наслѣдіе. Будучи собраны Церковію бесѣдовать съ умершимъ Иисусомъ, слышите *живое слово* (Евр. 4, 12) умершаго; слышите данное отъ Него вамъ завѣщаніе: *Азъ завещаю вамъ, яко же заветъ Мнѣ Отецъ Мой, царство* (Лук. 22. 29).

Но первые наслѣдники распятаго Иисуса не обрѣли по Его кончинѣ иного сокровища, кромѣ древа креста, на которомъ Онъ пострадалъ и умеръ, и сей токмо крестъ, въ подражательныхъ образахъ, преподали всѣмъ желающимъ участвовать въ наслѣдіи царствія.

За этимъ переходомъ отъ приступа къ предложенію слова, слѣдуетъ самое предложеніе, т. е. указаніе темы:

Что сіе значить? То, что какъ Христу *подобало пострадати*, дабы потомъ *внѣсти въ славу* (Лук. 24, 26), которую имѣлъ Онъ у Отца, такъ христіанину *многими скорбями подобаетъ внѣсти въ царство* (Дѣян. 24, 22), которое завѣщаетъ ему Христосъ; что какъ крестъ Христовъ есть дверь царствія для всѣхъ, такъ крестъ христіанъ есть ключъ царствія для каждаго сына царствія. Вотъ сокращеніе *слова крестнаго* (1 Кор. 1, 18), толь необъятнаго уму, толь удобопріятнаго вѣрѣ, толь сильнаго Богомъ. Принесемъ оное, какъ каплю мѣра, ко гробу Слова животворящаго.

Такимъ образомъ предметъ для слова найденъ: это—слово крестное, слово о крестѣ. За симъ начинается изложеніе, раздѣляемое на двѣ части: первая изображаетъ крестъ, понесенный Спасителемъ, вторая—крестъ, который обязаны нести христіане.

Въ первой части показывается, что вся жизнь Иисуса отъ воплощенія его до исхода на спасеніе рода человѣческаго и отъ исхода до смерти была крестная. Исчисленіе крестовъ, понесенныхъ Спасителемъ, справедливо считается образцовымъ по силѣ и сжатости изображенія каждаго креста. Нѣкоторые мѣста принадле-

жати къ патетическимъ изліяніямъ религіознаго чувства, всегда однакожь сопровождаемаго и какъ-бы сдерживаемаго мыслию, напр.: «Почіеши ли ты, божественный Крестоносець, хотя на едино мгновеніе, отъ ига, безпрестанно возрастающаго на раменахъ твоихъ? Почіеши ли, если не для обновленія твоихъ силъ къ новымъ подвигамъ, по крайней мѣрѣ изъ снисхожденія къ немощи твоихъ послѣдователей?» Или: «Наше слово изнемогаетъ, слушатели, чтобы проводить еще великаго страдальца отъ Геосиманіи до Іерусалима и Голгофы, отъ внутренняго креста до внѣшняго... Онъ (*антихристъ*) столь болѣзненъ, что солнце не могло взирать на него, и столь тяжекъ, что земля потряслась подъ нимъ. Претерпѣть въ чистѣйшей непорочности всѣ мученія, внутреннія и внѣшнія, тягчайшія и поноснѣйшія, и претерпѣть вмѣсто награды за содѣланныя благодѣянія; страдать Всесвятому отъ беззаконныхъ, Творцу отъ тварей; страдать за недостойныхъ, неблагодарныхъ, за самыхъ виновниковъ страданія, страдать для славы Божіей, и быть оставлену Богомъ.... какаѣ неизмѣримая бездна страданій!»

Во второй части слова показана спасительная необходимость креста для человѣка, исчислены дары Божіи, приобретаемыя крестнымъ несеніемъ, выставлены примѣры великихъ водителей и хранителей Церкви, воспитанныхъ въ училищѣ креста, наконецъ изображены люди, отрекающіеся отъ несенія креста Господня. Здѣсь замѣчательна мастерская по краткости и типичности характеристика внутренняго креста:

Какъ видимый, вещественный крестъ есть державное знаменіе видимаго царства Христова, такъ крестъ таинственный—печать и отличіе истинныхъ и избранныхъ рабовъ невидимаго царствія Божія. Онъ есть драгоценный залогъ любви Божей, жезлъ Отчій, не столько наказующій и сокрушающій, сколько *пасущій и утѣшающій* (Пс. 2, 9; 22, 4), очистительный огонь вѣры, сопутникъ надежды, укротитель чувственности, побѣдитель страстей, возбуждатель къ молитвѣ, стражъ чистоты, отецъ смиренія, наставникъ мудрости, пѣстунъ сыновъ царствія. Гдѣ воспитаны всѣ великіе ангелы, водители и хранители Церкви—Іосифы, Моисеи, Давиды, Павлы? въ училищѣ креста. Когда благословеніе вся церковь возрастала, процвѣтала и приносила плодъ во святую? Тогда, какъ вся нива Господня непрестанно раздиралась была крестомъ и напалена кровію мучениковъ. Кто суть тѣ, которые окружаютъ славный престолъ Агнца? спросили Іоанна въ видѣніи,—сіи, облеченніи въ ризы бѣлыя, кто суть и откуда пріидоша? и когда онъ не могъ узнать ихъ въ божественной славѣ сей, то ему сказано, что то были запечатлѣнные крестомъ: *сіи суть, иже пріидоша отъ скорби великія* (Апок. 7, 13 и 14).

Заключеніе, соотвѣтственно всему содержанію и направленію проповѣди, наставляетъ человѣка искать въ крестѣ средства изникнуть отъ міра и вознестись къ Богу.

Слово «о гласѣ вопіющаго въ пустыні» произнесено въ воспоминаніе событій 1812 г. Оно имѣетъ связь съ разсужденіемъ Филарета «о нравственныхъ причинахъ неимоверныхъ успѣховъ нашихъ въ отечественную войну съ французами (1)». Настроеніе мысли здѣсь и тамъ одинаковое. Оно обусловлено было тѣми грозными историческими явленіями, которыя заставляли каждого признать въ ихъ началахъ и послѣдствіяхъ, не подлежащихъ человѣческому расчету, таинственные пути Провидѣнія и за спасеніе отчизны раздавать не намъ, а имени Его.

Разсужденіе, въ виду бича Божія, поражающаго Европу такъ, что его удары раздавались во всѣхъ концахъ вселенной, приглашаетъ заблудившіеся народы услышать гласъ наказующаго и обратиться къ Нему, какъ къ единственному Спасителю. Слово, касаясь ударовъ, сотрясающихъ великую *пустыню* западнаго христіанства, напоминая *мась*, недавно возгремѣвшій въ предѣлахъ собственной земли нашей, въ *пустынь* града великаго, предостерегаетъ христіанъ-гражданъ отъ бездѣйствія и безпечности, призываетъ къ обращенію и перемѣнѣ житія.

Такъ какъ въ выбранной темѣ два понятія: пустыня и гласъ, то главная часть слова (изложеніе) дѣлится на два отдѣла: первый раскрываетъ значеніе пустыни, второй—значеніе гласовъ, въ ней вопіющихъ.

Какъ пустыня, для ока чувственнаго, есть мѣсто необитаемое и невоздѣлываемое людьми, такъ, для взора духовнаго, душа, овладѣваемая страстями и пожеланіями, есть пустыня; міръ, въ которомъ духовные человѣки рѣже, нежели класы, оставшіеся на пожатой нивѣ, есть пустыня; и самая церковь, приносящая вмѣсто гроздіа терніе, есть пустыня. Въ сіи-то неустроенныя пустыни пролагаетъ себѣ путь Господь славы, посѣщаетъ обрѣсти въ нихъ овца своего стада, блуждающее въ горахъ и дебряхъ. Поэтому работающіе міру должны воздвигнуться отъ него, какъ израильтяне воздвиглись отъ Египта, должны воззрѣть очами духа на лице пустыни, въ нихъ и окрестъ нихъ ожидающей посѣщенія, и, услышавъ гласъ Господа, не ожесточить сердце своихъ.

Послѣдними словами связывается второй отдѣлъ главной части съ первымъ. Гласъ Іоанна Крестителя, призывающій къ покаянію, не есть единственный гласъ вопіющаго въ пустыні: онъ только одинъ изъ многократныхъ и непрерывныхъ подобныхъ гласовъ. Есть гласъ отвѣтъ—возглашающій въ видимой природѣ, гласъ

¹⁾ Разсужденіе это написано по предложенію А. Н. Оленина и имѣетъ съ письмомъ его къ автору нап. въ 18-ой книжкѣ «Чтенія въ Бесѣдѣ» (1818).

изнутри—исходящій изъ глубины души, гласъ свыше—нисходящій въ божественномъ откровеніи, гласъ долѣ—отражающійся въ происшествіяхъ міра. Объясненіе сущности каждаго изъ этихъ четырехъ гласовъ образуетъ подраздѣленіе втораго отдѣла на четыре пункта. Въ концѣ слова, какъ мы видѣли, общій его элементъ (гласъ Божій, вопіющій въ пустыни) прилагается къ частному явленію (гласу, вопіявшему въ отечественной войнѣ), и изъ приложенія выводится нравственный урокъ христіанамъ.

Проповѣди Филарета съ перваго же раза показали, что онѣ, по своему качественному значенію, какъ внутреннему такъ и вѣшнему, будутъ не въ уровень всѣхъ и каждаго. Для уразумѣнія ихъ требуется извѣстная доля образованности, а кругъ образованныхъ читателей или слушателей всегда меньше другихъ круговъ. Неизбѣжнымъ послѣдствіемъ превосходства сочиненій въ томъ или другомъ родѣ почти всегда служитъ сравнительно меньшая мѣра ихъ количественнаго распространенія и слѣдов. количественнаго вліянія ⁽¹⁾.

§ 24. Главнымъ органомъ мистики служилъ у насъ «Сіонскій вѣстникъ». Его и выбираемъ мы для обзора мистической литературы, какъ центральный пунктъ, къ которому сводятся какъ до него явившіяся, такъ и послѣ него появившіяся однородныя изданія и книги. При этомъ обзорѣ мы ограничиваемся слѣдующей задачей: показать, что всѣ главнѣйшіе пункты или положенія мистики, образующія такъ сказать, ея догматику, были выражены въ нашей мистической литературѣ временъ Екаторины II и Александра I.

Главнымъ предметомъ своего журнала Лабзинъ поставилъ христіанскую нравственность. Но какъ цѣли христіанско-нравственнаго назиданія могло удовлетворять само духовенство разными способами, между прочимъ и повременными изданіями, то необходимо думать, что содержаніе «Сіонскаго вѣстника» отличалось чѣмъ-нибудь отъ содержанія, предлагаемаго призванными наставниками христіанъ — или выборомъ предметовъ для нравоученія, или основами, изъ которыхъ нравоученіе истекало. Иначе останется непонятною замѣтка Лабзина, что нѣкоторые читатели въ «обыкновенныхъ» наставленіяхъ о религіи не находятъ полнаго себѣ удовлетворенія. Чѣмъ же они должны были удовле-

¹⁾ Слова и рѣчи Іоанна Леванды, 4 ч. (1821).—Бесѣды въ разные времена говоренныя Михаиломъ, 16 ч. (1855—1856).—Сочиненія Августина, съ жизнеописаніемъ (1856).—Слова и рѣчи Амвросія (1856).—Сочиненія Филарета (новое изданіе): вышло 3 тома словъ и рѣчей.

творяться? На какой точкѣ зрѣнія стоялъ Лавинъ, выговаривая свою замѣтку и разумѣя какія-то наставленія «необыкновенныя?»

Сущность христіанской нравственности должна вытекать изъ сущности истиннаго христіанства. Книга Аридта подробно разъясняетъ послѣднюю, заключаая разъясненія однимъ выводомъ: «все христіанство состоитъ въ восстановленіи образа Божія въ человѣкѣ и въ истребленіи образа сатанинскаго» (1). Этотъ выводъ, почти въ одной и той же формѣ, повторяется многими другими сочиненіями. «Златая книжица о призывленіи къ Богу» (1784) говоритъ: «полное совершенство человѣка въ жизни сей есть соединеніе съ Богомъ, такъ, чтобы вся душа совершенно погрузилась въ Бога и была единый съ Богомъ духъ». Въ другой книжкѣ: «Пребываніе Божіе въ человѣкѣ христіанинѣ» (1821), читаемъ: «христіанство есть соединеніе души съ Богомъ, истинное сопричастіе божественнаго естества его, самый образъ Божій, начертанный въ душѣ, короче—божественная жизнь». «Сіонскій вѣстникъ» не могъ обойти этого кореннаго положенія мистиковъ. Онъ посвятилъ ему особую статью (2). «Нѣтъ ничего рѣже», говоритъ ея авторъ, «какъ посреди такъ называемаго христіанства найти правильное, ясному ученію приличное о истинномъ христіанствѣ понятіе», и въ слѣдъ за симъ исчисляетъ сначала тѣ признаки, которые не могутъ служить точнымъ опредѣленіемъ предмета: христіанство состоитъ не въ частныхъ добродѣтеляхъ, не во внѣшнемъ богослуженіи, не въ почтенномъ въ глазахъ міра житіи, не въ слѣпой невѣдущей вѣрѣ, не въ нѣкоторыхъ чувствованіяхъ и ощущеніяхъ, не въ такъ называемомъ крестѣ, страданіи, бореніи, искушеніяхъ; — а потомъ указываетъ единственно-существенный признакъ истиннаго христіанства: оно состоитъ въ общеніи, соединеніи, дружествѣ или связи внутренности нашей, нашего сердца съ Иисусомъ Христомъ.

При означенномъ понятіи о христіанствѣ, мистики теряютъ значеніе различныхъ его исповѣданій, что и выражено въ статьѣ: «о раздѣленіяхъ между христіанами» (3), развивающей мысли Штилинга о томъ же предметѣ (4). Статья направлена вообще противъ догматическаго богословія и въ частности противъ догматиковъ или, какъ называетъ ихъ авторъ, книжниковъ въ православіи. Содержаніе ея вращается около тѣхъ мыслей, что вѣра Христова не знаетъ раздѣленій, кромѣ раздѣленія вѣрующихъ отъ невѣру-

1) О истинномъ христіанствѣ.

2) Что есть собственно христіанство въ смыслѣ частномъ (1806, іюнь).

3) С. В. 1817, октябрь.

4) Угрозъ Свѣтовостоковъ, кн. 19.

шихъ, ветхаго человѣка отъ новаго; что единственнымъ путемъ къ соединенію церквей было бы то, еслибы каждый, ревнующій по православію, вникнулъ въ прямой смыслъ ученія Іисуса Христа, разсмотрѣвъ, подлинно ли онъ есть правовѣрный въ очахъ Божиихъ, а не въ своихъ собственныхъ; что правовѣрный есть тотъ, кто право вѣритъ ученію Спасителя, а ученіе Спасителя существенно состояло въ томъ, чтобы человѣку дѣлаться новою тварью, новымъ человѣкомъ, рожденнымъ отъ Бога. Такимъ образомъ отличительные догматы каждаго христіанскаго вѣроисповѣданія наши мистики почитали не основными, въ противоположность, по ихъ мнѣнію, единственно основному, лежащему въ каждомъ вѣроисповѣданіи и образуящему такъ называемое общее, «универсальное» христіанство. Въ подтвержденіе своей мысли, они указывали на выраженіе идеи христіанства въ актѣ «священнаго союза», которымъ заявлено, что христіане составляютъ одно семейство, исповѣдующее одну и ту же религію, и что различныя названія вѣроисповѣданій не имѣютъ важности. Жозефъ де-Местръ, сардинскій посланникъ при нашемъ дворѣ, именно такъ и объяснялъ смыслъ конвенціи трехъ государей, находя ее благопріятной для «терпимости теологической», которая, однакожъ, по его мнѣнію, ведетъ къ «религіозному индифферентизму». Основные догматы христіанства иногда назывались, на языкѣ тогдашняго времени, «религіозностью», а частные догматы каждаго вѣроисповѣданія — «религіей» ⁽¹⁾.

Другіе мистики идутъ дальше и въ своей послѣдовательности впадаютъ въ фанатическую крайность. Они какъ бы ставятъ краеугольнымъ камнемъ своихъ сужденій слѣдующія слова Августина: «что называютъ теперь религіей христіанской, то существовало у древнихъ и не переставало существовать отъ начала рода человѣческаго до воплощенія Христа; съ этой же эпохи истинная религія, уже существовавшая, стала называться религіей христіанской» ⁽²⁾. Англійскій пасторъ Лау (Law), толкователь Бемова ученія, говорить, что христіанство также древне, какъ сотвореніе и паденіе человѣка. Съ паденіемъ Адама оно возвышалось всѣмъ падшимъ людямъ, во всѣхъ частяхъ вселенной. Оно было общей первобытной религіей патріарховъ, Моисея, пророковъ и каждаго кажда-

⁽¹⁾ Mémoires politiques et correspondance diplomatique de J. de Maistre, 2 т. (изд. 1859 и 1861).

⁽²⁾ Res ipsa, quae nunc religio christiana nuncupatur, erat apud antiquos, nec defuit ab initio generis humani, quousque Christus veniret in carnem, unde vera religio, quae jam erat, coepit appellari christiana (Retractationes, кн. 1, гл. 13, § 3). См. Patrologiae cursus completus, т. 82 (1845).

госа человека, въ какой бы части свѣта онъ ни жилъ. Различіе между идолопоклонниками и чтителями истиннаго Бога—одно, состоящее въ томъ, небо или земля обладаетъ и управляетъ сердцемъ человека. Люди перваго рода принадлежатъ къ истинной религіи, гдѣ бы и когда бы они ни существовали; люди втораго рода принадлежатъ къ идолопоклонникамъ, не смотря на различіе времени и мѣста. Только любовь къ міру, вмѣсто любви къ Богу, составляетъ сущность невѣрія⁽¹⁾. Въ нашей мистической литературѣ такъ или иначе проводился подобный взглядъ. Имъ объясняется, между прочимъ, особенное уваженіе мистиковъ къ нѣкоторымъ языческимъ писателямъ. Въ мистическихъ журналахъ Новикова много переводовъ изъ Сенеки, Эпиктета, Плутарха, Платона. Цѣль двухъ статей Лабзина о философіи⁽²⁾, обработанныхъ по Эккартсгаузену, видна изъ его собственныхъ словъ: «обратись къ чтенію Цицерона и другихъ древнихъ авторовъ, я увидѣлъ, сколь древніе были ближе къ понятіямъ и истинамъ христіанскимъ, нежели мы, имѣющіе писанное Евангеліе и называющіеся христіанами». Крайній мистикъ Дю-Туа выражается еще рѣшительнѣе, утверждая, что, «собравъ мѣста изъ древнихъ философовъ и стихотворцевъ о религіи, мы увидимъ почти полную систему всѣхъ божественныхъ таинствъ, представляемыхъ нашей вѣрѣ откровеніемъ»⁽³⁾. Напротивъ, голосъ Сперанскаго по этому предмету умѣреннѣе: онъ говоритъ, что таинственное, т. е. мистико-религіозное ученіе (которое, однакожъ, почиталось истиннымъ христіанствомъ) въ различныхъ образахъ понятій, на разныхъ языкахъ, разными выраженіями было проповѣдуемо между «свѣтоспособными» въ самой глубокой древности; при чемъ упоминаются школы Пифагора и Платона⁽⁴⁾. Наконецъ уважемъ на статью «Древность христіанства», въ Христіанскомъ Чтеніи⁽⁵⁾. Вотъ ея заключеніе: «Христіанство есть единая истинная религія, равняющаяся міру своею древностію. — Что Новиковъ, Лабзинъ, Сперанскій должны были высоко цѣнить Платона и другихъ «свѣтоспособныхъ» людей древности, видѣть въ ихъ ученіи своего рода откровеніе, а въ нихъ самихъ какъ бы христіанъ до христіанства, это объясняется сущностью мистики, въ образѣ мыслей которой есть много родственнаго съ философіей Платона и преимущественно съ философіей ново-платониковъ (Плотина, Прокла), такъ что мистикъ можно назвать христіанскимъ

¹⁾ Французскій переводъ сочиненія Лаву: «La voie de la science divine».

²⁾ С. В. 1806, январь и июль.

³⁾ Божественная философія, 5 ч. (М. 1818—1819). Томъ 2, кн. 4.

⁴⁾ Письмо къ Теофилауту, 15 октября 1804 (Въ книгѣ Сперанскаго).

⁵⁾ 1821, ч. 3.

ученіємъ, подѣ влияніемъ неоплатоническихъ идей. Отдѣльно разъясненные мистическіе элементы впервые образовали одно цѣлое въ сочиненіяхъ, которыя явились въ V или VI вѣкѣ по Р. Х. и долгое время несправедливо приписывались Діонисію Ареопагиту, ученику Апостола Павла ⁽¹⁾. Сочиненія эти, особенно главнѣйшія: «о таинственномъ богословіи» и «объ именахъ Божіихъ», установили мистическую теологію и сдѣлались обильнымъ источникомъ для послѣдующихъ мистиковъ. Авторитетное ихъ значеніе доказывается тѣмъ, что св. Максимъ Исповѣдникъ писалъ на нихъ толкованія, а Георгій Пахимерь составилъ парафраза оныхъ, не говоря уже объ изученіи ихъ въ католическомъ мірѣ. У насъ они пользовались великимъ уваженіемъ. Два рукописныхъ перевода ихъ (XVII в.) находятся въ Синодальной Библіотекѣ: одинъ сдѣланъ монахомъ Исаіей въ 1371 г., другой монахомъ Евеніемъ, ученикомъ Елифанія Славинецкаго. Послѣдній переводъ былъ пересмотрѣнъ при патріархѣ Адріанѣ, «печатнаго ради тисненія». Однакожъ въ печати сочиненія Ареопагита явились не раньше второй половины прошлаго вѣка. Въ нынѣшнемъ столѣтіи они были вновь переведены и изданы, кромѣ одного (объ именахъ Божіихъ) ⁽²⁾.

Собственно понятію объ истинномъ христіанствѣ, мистики сводятъ его сущность къ тремъ пунктамъ, которые и поставляютъ на видъ каждому: первый—человѣкъ, по своему созданію, назначенъ быть причастникомъ божественнаго естества, какимъ и обладалъ Адамъ; второй—паденіе низвергло человѣка въ жизнь животную, земную и нечистую, въ жизнь плоти и крови; третій—искупленіе даровало ему возможность возстановить себя въ первобытномъ правѣ, сдѣлаться снова Адамомъ. И такъ воссоединеніе съ Богомъ, какъ источникомъ нашей души, послѣ разединенія, произведеннаго паденіемъ, возстановленіе во всей чистотѣ образа Божія: такова цѣль жизни человѣческой. Это воссоединеніе обыкновенно называется вторымъ, духовнымъ рожденіемъ, или «возрожденіемъ». Оно составляетъ существенный догматъ мистики, и потому служитъ главнѣйшимъ предметомъ мистическихъ книгъ,

¹⁾ Вопросъ о неправильномъ присвоеніи этихъ сочиненій Діонисію Ареопагиту, на основаніи тщательныхъ изслѣдованій, рѣшенъ окончательно. См. *Die angeblichen Schriften des Areopagiten Dionisius*, übersetzt von Engelhardt (1823); Русская литература о сочиненіяхъ съ именемъ св. Діонисія Ареопагита (Православное Обзорѣніе, 1872, іюнь, критич. статья священника Смирнова).

²⁾ О небесной іерархіи, пер. іеромонаха Моисея Гумилевскаго (1786). Новый переводъ, ввѣст. по опредѣленію синода (1889), имѣлъ нѣсколько изданій.— О церковной іерархіи, пер. іером. Моисея (1787). Нов. переводъ 1855.— Писма къ разнымъ лицамъ (Хр. чт. 1825, ч. 19).— О таинственномъ богословіи (ib. ч. 20).

которые предлагают и средства къ достиженію цѣли, начертываютъ путь «дѣятельнаго христіанства», противопоставляя свое ученіе ученію «догматико-критическому». Задача почиталась столь важною, что кромѣ сочиненій, изданныхъ на пользу совершеннолѣтнихъ, являлись и учебныя руководства, одинаковыя съ первыми по содержанію и назначенію. «Начальныя основанія дѣятельнаго христіанства, по отвѣтамъ и вопросамъ расположенныя» ⁽¹⁾, предлагаютъ вѣрное начертаніе тѣхъ путей и степеней, по которымъ Господь приводитъ падшія души къ духовному ихъ возрожденію. Авторъ замѣчаетъ, что его сочиненіе полезно не для однихъ дѣтей, но и вообще для юныхъ — только не тѣломъ, а духомъ и умомъ. Кромѣ прямого изложенія предмета, мистики прибѣгали нерѣдко къ способу аллегорій. Таково сочиненіе Бюніана: «Путешествіе христіанина и христіанинъ къ блаженной вѣчности» ⁽²⁾, въ которомъ, подъ видомъ сна, представлены душевныя состоянія кающагося грѣшника, и подражаніе ему Штиллинга: «Тоска по отчизнѣ» ⁽³⁾, изображающее, въ вымышленной исторіи, пути истиннаго христіанина. Рядомъ съ аллегорическими повѣствованіями шли небольшіе рассказы, написанные простымъ языкомъ и назначавшіеся для бібліотеки духовно-нравственныхъ книгъ: одинъ изъ такихъ рассказовъ называется «Разговоромъ о возрожденіи» ⁽⁴⁾.

На языкѣ мистиковъ, «возрожденіе» обозначается разными названіями, большею частію заимствованными изъ Св. писанія: общеніемъ съ Иисусомъ Христомъ (1 Кор. I, 9), житіемъ Иисуса въ насъ (Гал. II, 20), пребываніемъ во Христѣ и Христа въ насъ (Іоан. XV, 4), житіемъ на небесѣхъ (Филип. III, 20), помазаніемъ отъ Святаго, сообщающимъ всезнаніе (1 Іоан. II, 20), обновленіемъ жизни (Римл. VI, 4), созерцаніемъ славы Божіей открытымъ лицомъ (2 Кор. III, 18), откровеніемъ (Ефес. I, 17) и пр. ⁽⁵⁾. Возрожденный также именуется различно: новымъ человекомъ (Ефес. IV, 24), потаеннымъ сердца человекомъ (1 Петр. III, 4), духовнымъ человекомъ (1 Кор. II, 15), единымъ духомъ съ Господомъ (1 Кор. VI, 17), новою тварью (Гал. VI, 15) ⁽⁶⁾. Самый процессъ возрожденія — лѣстница, по которой вѣрующій

¹⁾ Два изданія (1785 и 1786) нап. въ Москвѣ, третье въ Сиб. (1805).

²⁾ Русскаго перевода три изданія: 2-е (1786), 8-е (1819).

³⁾ Рус. переводъ 1817—1818.

⁴⁾ Нов. изд. 1839.

⁵⁾ *Kurze Nachricht von der Mystik* (при нѣм. переводѣ писемъ Гюйонъ, 1769). — Что есть собственно христіанство (С. В. 1806).

⁶⁾ Христіанинъ или вѣрующій нова-тварь, сочиненіе Самуила Паркера. Пер. съ англ. (1815).

можетъ восходить на величайшую высоту духа—образуетъ нѣсколь-
ко степеней. Число ихъ въ однихъ сочиненіяхъ больше, въ дру-
гихъ меньше, но главнѣйшія, существенныя во всѣхъ одинаковы.
Мистики XII—XIII в. Эккартъ опредѣляетъ слѣдующія стадіи на
пути къ соединенію души съ Богомъ: оправданіе, т. е. отпущеніе
грѣховъ, отрѣшеніе отъ всѣхъ тварей и отъ самого себя, соеди-
неніе души съ Богомъ, или рожденіе Бога въ душѣ. Первая ста-
дія начинается обращеніемъ грѣшника къ Богу: свободная воля,
направляемая благодатію, удаляется отъ грѣха и сѣтуетъ о грѣ-
хахъ содѣянныхъ. Въ этомъ сѣтованіи и заключается раскаяніе.
Плодъ истиннаго раскаянія есть отпущеніе грѣховъ, или *оправда-*
ніе. Вторая стадія образуется изъ нѣсколькихъ послѣдовательныхъ
степеней духовнаго очищенія. Чтобы человѣку, по благодати,
стать едино съ Богомъ, необходимо устранить все то, что отлу-
чаетъ его отъ Бога. Грѣхъ уже устраненъ покаяніемъ; но остает-
ся еще многое: все конечное, препятствующее общенію съ Безко-
нечнымъ. И потому первымъ актомъ человѣка на второй стадіи
является внутреннее собраніе, сосредоточеніе самого себя, обозна-
чаемое стариннымъ, прежде употреблявшимся словомъ *возвращеніе*.
Всѣ свои силы и способности (разумъ, память, волю, силу пред-
ставленія, и т. д.) и ихъ отправленія душа должна изъ внѣшней
разсѣянности призвать домой, въ глубочайшую свою основу, для
внутренняго дѣйствованія. За «возвращеніемъ» слѣдуетъ освобож-
деніе, отрѣшеніе отъ тварей какъ вѣдѣніемъ, такъ и желаніемъ.
Далѣе—отлученіе человѣка отъ самого себя, какъ отъ индиви-
дуальности. Душа должна забыть, утратить себя. Это исхожденіе
человѣка изъ самого себя, это состояніе смертнаго бытія (умерт-
віе), самоопустошеніе, самоуничтоженіе и есть условіе высочай-
шаго дѣйствія благодати, т. е. *возсоединенія* *человѣка съ Богомъ*
или рожденія Бога въ душѣ человѣческой. Къ нему-то мистиче-
ская теологія относитъ слова Апокалипсиса: «блаженны мертвые,
умирающіе въ Господѣ» (XIV, 13) ⁽¹⁾. Другой знаменитый мистикъ,
Таулеръ (XIII—XIV в.), указываетъ три степени: вхожденіе чело-
вѣка въ себя самого, иначе: собраніе внутрь себя всѣхъ низшихъ
и высшихъ силъ духа; исхожденіе всѣхъ силъ изъ души, иначе:
самоотреченіе, самоуничтоженіе; соединеніе души съ Богомъ, ина-
че рожденіе Бога въ душѣ ⁽²⁾. Инымъ образомъ, хотя по сущно-

¹⁾ Meister Eckhardt, der mystiker, von Lanson (1869).

²⁾ Predigten, Deutsche Theologia, Medulla animae и др. сочиненія Таулера,
изд. 1692. Выборъ изъ этихъ сочиненій, преимущественно изъ проповѣдей,
сдѣланный Тенингардомъ, переведенъ на рус. языкъ подъ заглавіемъ: Краткія
разсужденія о важнѣйшихъ предметахъ жизни христіанской (три изданія: 1801,
1820, 1821).

сти не различнымъ, описывается путь возрожденія въ «Мысляхъ на досугъ поучающагося истинамъ вѣри» (1815). Основываясь на словахъ Спасителя: «Азъ есмь путь, истина и животъ», авторъ говоритъ: «три степени на лѣстницѣ восхожденія въ жизнь вѣчную, а именно: Христосъ *нужь* возрождаетъ чувственнаго чело-вѣка чрезъ вѣру во Іисуса и чрезъ обращеніе отъ міра и чув-ственности къ духу и внутренности на путь крестный; Христосъ *истина* воспитываетъ обращеннаго и возрожденнаго чрезъ непре-станное укрѣпленіе его духомъ истины, истекающей изъ премудрости и любви Божіей; Христосъ *жизнь* созидаетъ въ обновлен-номъ сердцѣ возрожденнаго храмъ Духу Святому, который столь тѣсно соединяетъ вѣрующаго со Христомъ, что не только во внутренней, но и во внѣшней его жизни представляетъ живой списокъ Христа въ немъ».

Такимъ образомъ челоуѣкъ, возрожденный указаннымъ путемъ самоотреченія, изъ плотскаго и душевнаго прелагается въ духов-наго, истиннаго христіанина. Въ немъ, на послѣдней ступени лѣстницы, ведущей отъ земли на небо, воплощается Слово и своимъ воплощеніемъ обожествляетъ его, творить существомъ богоноснымъ. Бывъ дотоуѣ микрокосмомъ, онъ получаетъ право называться ми-кротеомъ (1). На его внутреннемъ освященіи ознаменовалась тайна нашего искупленія, которая и состоитъ именно въ предложеніи ду-шевнаго въ духовное, въ «преобоженіи» челоуѣчества, или, по сло-вамъ Апостола Павла, въ «возглавленіи всяческихъ во Христа» (2). Такъ какъ бесѣда Спасителя съ Никодимомъ была ведена о но-вомъ рожденіи челоуѣка, или о рожденіи свыше, то всѣ мистики безъ исключенія видятъ въ ней основаніе вѣчнаго блаженства че-лоуѣческаго и указаніе судебъ Божіихъ о мірѣ (3). Въ своихъ воз-зрѣніяхъ они опираются преимущественно на Евангеліе отъ Іоанна и на посланія Апостола Павла, какъ на главнѣйшіе авторитеты касательно таинственнаго единенія челоуѣка съ Богомъ. Понятно также, почему возрожденіе служитъ постояннымъ предметомъ ми-стической проповѣди, сообщая ей видимую однообразность. Бесѣды Дю-Туа, собранныя въ пяти книгахъ, подъ именемъ «Христіан-ской философіи», вращаются около одного и того же пункта, объ-ясняя или паденіе Адама, или тайну искупленія, или преобразо-ваніе падшаго челоуѣка въ «нову тварь», т. е. начало, средину и конецъ верховныхъ судебъ о мірѣ. Любимѣйшая тема этихъ

1) Божеств. философія, кн. 1, гл. 2.

2) Письмо Сперанскаго къ Броневскому (Въ память Сперанскаго).

3) С. В. 1817, май, ст.: Духъ и истина.

однообразныхъ поученій — Рождество Спасителя, ибо вочеловѣченіе Бога является для мистика знаменіемъ обожествленія челоуѣка, производимаго роженіемъ Бога въ душѣ, и даетъ ему, какъ проповѣднику, обильный матеріалъ для таинственныхъ сопоставленій, для таинственнаго параллелизма. Вотъ причина, почему издатель Сіонскаго Вѣстника не былъ удовлетворенъ «обыкновенными» наставленіями нашихъ пастырей о религіи: эти пастыри, по его мнѣнію, почти не проповѣдывали о главномъ ученіи христіанства, или, вѣрнѣе, объ истинномъ христіанствѣ, т. е. о возрожденіи. «Низшіе проповѣдники Евангелія», говоритъ онъ, «представляютъ Христа главою и учителемъ, который, находясь «внѣ насъ», учитъ насъ, что есть добро, а не говорятъ, что онъ долженъ «внутренно» владычествовать (т. е. жить и царствовать) и самъ совершать въ насъ добрыя дѣла. Не добрыя и благочестивыя дѣла дѣлаютъ челоуѣка добрымъ и благочестивымъ, а добрый и благочестивый челоуѣкъ дѣлаетъ добрыя и благочестивыя дѣла» (¹). Это недовольство и было причиною появленія въ Сіонскомъ Вѣстникѣ цѣлаго ряда статей, подъ заглавіемъ «Духъ и истина», составляющихъ наиболѣе характеристичную, капитальную часть журнала. Наконецъ самое посвященіе журнала (на 1817 г.) «Господу Іисусу Христу, вѣчному *«возродителю и обновителю»* всяческихъ», ясно показываетъ, какой догматъ мистики долженствовалъ быть главною задачею издателя.

Изложенное нами понятіе о возрожденіи не представляло, однакожъ, для русскихъ читателей чего-то совершенно новаго, дотолѣ имъ неизвѣстнаго. Въ духовной литературѣ нашей давно уже существовало не малое число твореній, въ которыхъ тотъ же самый предметъ, съ полнымъ процессомъ его послѣдовательнаго развитія, обстоятельно разъяснялся если не тождественнымъ образомъ и не въ одинаковой формѣ съ доктриною протестантскихъ и католическихъ мистиковъ, то, по крайней мѣрѣ, очень сходственно и близко. Внутреннее, сокровенное пребываніе съ Богомъ, какъ истинная сущность истинной религіи, какъ верховная задача христіанина въ его земномъ существованіи, не только предлагалось и обсуждалось этими писаніями, но и дѣйствовалось и достигалось ихъ творцами, по ихъ собственному, откровенному заявленію. Главнымъ поприщемъ для такого дѣйствованія служили монахи. Вообще развитіе мистики тѣсно связано съ развитіемъ иночества, которое, стремясь къ болѣе строгой нравственности, къ «дѣятельному» христіанству, стало уединяться отъ общей массы

¹) С. В. 1806, августъ, стр. 200. См. также 1817, декабрь, стр. 311.

вѣрующіи въ пустынные обители съ того времени, какъ замѣ-
тило, что чистота первобытныхъ нравовъ омрачалась мірскими
соблазнами. Тоже побужденіе, положивъ раздѣлъ на практикѣ, въ
жизни, обнаружилось и на теоріи, въ доктринѣ. Когда ученіе
Церкви, развившись и сложившись, сдѣлалось общимъ достояніемъ
всѣхъ ея членовъ, тогда многіе изъ нихъ, преимущественно въ
средѣ иноческой, устремились къ ученію, болѣе внутреннему и
глубокому, чѣмъ обычное: послѣднее не удовлетворяло умы сосре-
доточенные и восторженные. Вотъ почему изъ монашества, осо-
бенно восточнаго, вышло большое число мистиковъ, а это и до-
казываетъ, что оно весьма благопріятствовало духовной дѣятель-
ности созерцательныхъ натуръ. Между иноками являлось много
такихъ, которые были не просто аскеты, согласно своему званію,
но и аскеты-созерцатели.

Въ XIV вѣкѣ, иноки горы Аѳонской приняли наставленія о
жизни созерцательной отъ Григорія Синаита, поселившагося между
ними послѣ своего подвижничества на горѣ Синайской. Онъ по-
учалъ ихъ пути внутренняго очищенія, которымъ великіе отцы-
пустынники достигали небеснаго наитія, свѣтоносныхъ озаре-
ній Св. Духа. Русское иночество, при посредственныхъ или непо-
средственныхъ сношеніяхъ съ святою горою, усвоивало тоже уче-
ніе. Преданіе Нила Сорскаго (XVI в.) ученикамъ о жителствѣ
скитскомъ содержитъ въ себѣ выборъ изъ отеческихъ писаній, слу-
жившихъ руководствомъ на означенномъ пути духовнаго дѣйстви-
ванія. Но независимо отъ сокращенныхъ извлеченій, предки наши
имѣли возможность знакомиться вполне съ аскетической литерату-
рой этого направленія, по славянскимъ переводамъ твореній Иса-
ака Сиріина, Іоанна Лѣствичника, Максима Исповѣдника, Симе-
она новаго богослова, Григорія Синаита и другихъ. Самое замѣ-
чательное собраніе твореній по предмету высшаго христіанскаго
любомудрія, которымъ душа очищается, просвѣщается и возво-
дится къ соединенію съ Богомъ, находится въ греческой книгѣ:
«Добротолюбіе», переведенной на славянскій языкъ архимандритомъ
Нямецкаго монастыря (въ Молдавіи), полтавскимъ урожен-
цемъ Паисіемъ Величковскимъ (*). Предисловіе къ сборнику выра-
жаетъ мысль, что совѣтъ Божій, искони предопредѣлившій «обо-
жить» человѣка, пребываетъ во-вѣкъ. Исполненіе этого совѣта на-
чалось въ созданіи Адама по образу и подобию Творца его; про-
должалось въ воплощеніи, т. е. въ воспріятіи Богомъ человѣче-

* Добротолюбіе, или словеса и главныи священнаго трезвѣнія, 4 ч. (1-ое изд. 1798).

скаго естества, которое по сему самому обожилось; а завершится духовнымъ преусыпаніемъ человѣка, когда онъ достигнетъ въ мѣру возраста исполненія Христова. (Ефес. IV, 13) и когда Христосъ водворится въ его сердцѣ, слѣдовательно обожить его. Богомудрые отцы указываютъ путь къ такому совершенству, предлагаютъ способъ для достиженія высочайшей цѣли нашего бытія. Этотъ способъ состоитъ въ особомъ духовномъ (иначе умномъ) художествѣ или дѣланіи, такъ называемомъ «священномъ трезвѣніи», которое, однакожъ, по важности своей, «многوییменно» и потому обозначается и другими словами: храненіе сердца, блюденіе ума, вниманіе, сердечное (или мысленное) безмолвіе, чистая (умная, непарительная и непрестанная) молитва, и пр. Трезвѣніе, подобно огненной Иліиной колесницѣ, возносить своихъ причастниковъ на высоту небесную. Постепенный въ немъ опытъ уподобляется лѣствицѣ Іаковлевой, на ней же Богъ пребываетъ и по ней же ангелы нисходятъ и восходятъ: «Восходите, елицы желаніе имате вселитися въ васъ Христу и во образъ Св. Духа преобразитися; приидите, елицы разумомъ и искусомъ царствіе небесное, внутрь васъ сущее, познати и пріяти хотите» (1). Ступени восхожденія исчисляются различно, смотря по основанію, принимаемому во взглядѣ на «обоженіе». Такъ какъ мѣра духовнаго совершенства, нужнаго для этого человѣку, есть мѣра «полнаго возраста Христова», то Григорій Синаитъ ведетъ ступени параллельно періодамъ земной жизни Іисуса Христа: зачатію соотвѣтствуетъ обрученіе духа, рожденію — дѣйство радованія, крещенію — чистительная сила духовнаго огня, преображенію — видѣніе божественнаго свѣта, воскресенію — животворное возстаніе души, вознесенію — изступленіе и восхищеніе ума (2). У инока Теофана не шести, а десятистепенная лѣстница божественныхъ даровъ, извѣстная по опыту богоноснымъ: чистая молитва и происходящая отъ нея сердечная теплота, святое дѣйство, сердечныя слезы, миръ многоразличныхъ помысловъ, очищеніе ума, видѣніе высшихъ таинствъ, страшное осіяніе несказаннымъ образомъ, неизреченное сердца просвѣщеніе, совершенство (3). Черты этого совершенства, изображаясь различно въ тѣхъ или другихъ аскетическихъ твореніяхъ, въ сущности одинаковы. Путь священнаго трезвѣнія именуется путемъ избраннымъ и царскимъ, ведущимъ къ синоположенію Божію. Человѣкъ, прошедшій имъ, изъ существа животнаго обращается въ святаго, обожается въ духѣ. Подвигаясь, присносущнымъ движеніемъ отъ

1) Ib. ч. I, листы 7, 82, 86.

2) Ib. ч. I, л. 111.

3) Ib. ч. III, л. 132.

Духа Святаго, онъ, по словамъ Василія Великаго, принимаетъ достоинство пророческое, апостольское, ангельское и божественное, сый прежде сего земля и пепелъ ⁽¹⁾. Душа приобрѣтаетъ безстрастіе, воскресаетъ прежде тѣла, непосредственно соединяется съ Богомъ. Исправляющій трезвѣніе входитъ въ видѣнія святая святыхъ, просвѣщается отъ Христа глубокими таинствами, въ его душу входитъ Святой Духъ, силою котораго умъ человѣческій научается зрѣть откровеннымъ лицомъ ⁽²⁾. Какъ чувственное око зрѣть на писмена и отъ нихъ приѣмлетъ чувственные разумѣнія, такъ и умъ, очистившись и первобытнаго достигнувъ достоинства, зрѣть на Бога и отъ Него приѣмлетъ разумѣнія божественныя: тогда онъ вмѣсто книги имѣетъ Духа, вмѣсто трости писательной—смыслъ и языкъ; тогда онъ познаетъ, какъ учить Богъ человѣка, по пророчеству, Духомъ (Іоан. VI, 45) ⁽³⁾. Преподобный Антоній былъ потому боговидецъ и предзритель, что трезвился сердцемъ. Потщись войти во внутреннее сокровище твое, учить Исаакъ Сиринъ, и ты узришь сокровище небесное. То и другое едино есть, и входя во едино—узриши и то и другое. Лѣствица царствія онаго (небеснаго) сокрыта внутри тебя—въ твоей душѣ ⁽⁴⁾. Дѣланіе и храненіе (священное трезвѣніе) утончаютъ умъ и сообщаютъ ему зрѣніе, душа возвышается въ чистоту ума, чистотою же ума приходитъ человѣкъ, во еже зрѣти тайны Божія, видѣть откровенія и знаменія, какъ видѣлъ пророкъ Іезекииль ⁽⁵⁾. Во второмъ словѣ Нила Сорскаго приведены слова Симеона новаго богослова о блаженныхъ дарахъ чистой молитвы и умнаго безмолвія: «какой языкъ изречетъ, какой умъ скажетъ? Зрю свѣтъ, его же міръ не имѣетъ, внутри себя зрю Творца міра, и бесѣдую, и люблю, и питаюсь единымъ боговидѣніемъ, и, соединився съ Богомъ, превосхожду небеса. Гдѣ же тогда тѣло—не вѣмъ.... Любитъ меня и Онъ, и въ себѣ самомъ приѣмлетъ меня, и въ объятіяхъ сокрываетъ; живущій на небѣ, пребываетъ въ моемъ сердцѣ: здѣсь и тамъ зрится мною.... Владыка показываетъ меня равнымъ ангеламъ, творить меня лучшимъ ихъ: ибо тѣмъ Онъ невидимъ по существу (естество Его неприступно); мнѣ же зрится всяко, смѣсився естеству моему своимъ существомъ ⁽⁶⁾. Въ мертвенномъ еще тѣлѣ таин-

¹⁾ Ib. II, 129—130.

²⁾ Ib. II, гл. 4.

³⁾ Ib. I, гл. 90.

⁴⁾ Ib. II, гл. 37 и 41.

⁵⁾ Ib. II, гл. 99.

⁶⁾ Нила Сорскаго преданіе о жителствѣ святаго, (М. 1849).

ственникъ ⁽¹⁾ вкушаетъ безсмертной пищи; еще въ этомъ мало-временномъ мірѣ сподобляется отчасти той радости, которая хранится въ небесномъ отечествѣ ⁽²⁾. Въ нѣсколькихъ мѣстахъ Добролюбія есть ссылки на псевдо-діонисіевы сочиненія. Въ правилѣ о безмолвіи и молитвѣ (Каллиста, патріарха константинопольскаго, и сподвижника его Игнатія) духовная, божественная сладость, изливающаяся изъ сердца во время чистой молитвы, изображена по воззрѣніямъ «Таинственнаго богословія»: «Въ превысшій свѣта мракъ прійти мы молимся, и невидѣніемъ и неразумѣніемъ увидѣти и разумѣти сущаго паче видѣнія и разума, самымъ тѣмъ, еже не увидѣти, ниже разумѣти: се бо есть еже воистину увидѣти и разумѣти, и пресущественнаго пресущественнѣ восхити отъ-ятіемъ всѣхъ сущихъ... Божественный мракъ есть неприступный свѣтъ, въ немъ же жити Богъ глаголется, и въ невидимѣмъ сущемъ; за превосходящую свѣтлость, и неприступнѣмъ, за превосхождение пресущественна свѣтосіянія. Въ сей приходитъ всякъ, Бога разумѣти и увидѣти сподобляясь, самымъ симъ, еже не видѣти, ниже разумѣвати, воистинну въ томъ, иже паче видѣнія и разума бывая, сіе самое разумѣвая, яко превыше всѣхъ есть чувственныхъ и умныхъ» ⁽³⁾. Приводимъ еще мѣсто изъ «главизнѣ о любви и совершенствѣ житія» инока Нивиты Стифата, ближайшаго ученика Симеона новаго богослова: «Обожение есть въ житіи умное и божественное священнодѣйство, въ немъ же священнодѣйствуетъ слово неизреченныя премудрости, и уготовывшимъ себѣ, елико можно, преподается. Сіе благолѣпно Богъ словесному естеству свыше дарова во единство вѣры, да ови убо, елицы за чистоту достоинства того разумомъ божественныхъ въ причастіи быша, уподобляются Богу, сообразни образу Сына его бывше, высокими и умными своими о божественныхъ движеніи, и тако положеніемъ бози будутъ ииѣмъ челоуѣкомъ на земли; ови же очищеніемъ чрезъ божественное ихъ слово и священное сочетание совершаются въ добродѣтели, и по мѣрѣ своего предспѣянія и

⁽¹⁾ Другое названіе созерцателей.

⁽²⁾ Преданіе Нила Сорскаго.

⁽³⁾ Доброут. II, гл. 119. Сущность первой главы Таинственнаго Богословія: «что есть божественный мракъ?» состоитъ въ слѣдующемъ: Чтобы достигнуть таинственнаго созерцанія, чтобы возвыситься къ соединенію съ Тѣмъ, кто превыше всякой истины и всякаго познанія, необходимо абсолютно отрѣшиться отъ себя самого и всѣхъ прочихъ тварей. Тогда только умъ вступаетъ во мракъ непостижимости, по истинѣ таинственный; не существуя ни для себя, ни для другихъ, онъ существуетъ только для Того, который есть превыше всего, и соединяется съ непостижимымъ. И тѣмъ самымъ, что умъ не познаетъ ничего, онъ приобретаетъ знаніе превыше ума (Христ. Чт. 1825, ч. 20).

очищенія въ причастіи обоженія сихъ бывають и пріобщаются съ ними въ Божѣ соединенія: яко да вси, во едино соединяеми и со-
объемлеми единствомъ любви, съ единѣмъ Богомъ соединятся непре-
станно,—и будетъ Богъ посредѣ боговъ благихъ дѣлъ виновенъ,
иже естествомъ, сущихъ положеніемъ, ничто же порицательно на
себе нося отъ созданія» (1).

Такимъ образомъ трезвѣніе, или умная молитва, какъ по пре-
дготовленію къ ней, такъ по ея свойству и дѣйствіямъ, въ сущ-
ности не разнится отъ вышеизложеннаго процесса, ведущаго, по
ученію мистиковъ, къ рожденію Слова въ душѣ, къ обожествле-
нію человѣка. Эта молитва есть утвержденіе христіанства, источ-
никъ добродѣтелей, извѣщеніе сердца, образованіе святости, пода-
тельница откровеній и тайнъ божественныхъ, обрученіе Святому
Духу, сопребываніе и соединеніе съ Богомъ (2). Подготовленіе къ
ней состоитъ во внутреннемъ собраніи всѣхъ душевныхъ силъ (во-
вращеніи), совершенномъ отсѣченіи собственного разума и соб-
ственной воли, безусловной преданности и послушанія Богу,
уничтожающемъ человѣческую самость смиреніи. Основа ея въ
бесѣдѣ Спасителя съ самарянкой о поклоненіи Отцу духомъ и
истиной (Іоан. IV) и въ словахъ Апостола Павла: «хочу (лучше)
пять словесъ умомъ глаголати, нежели тѣмъ словесъ языкомъ»
(1 Кор. XIV, 19). Практика такой молитвы, которая дѣйстви-
тельно есть не что другое, какъ поклоненіе духомъ и истиной,
развилась въ монастыряхъ, какъ это доказывается и самими тво-
реніями аскетовъ-созерцателей, и «Бесѣдами» Іоанна Кассіана
(IV — V в.) съ отшельниками, подвизавшимися въ Оивандѣ (3).
Слѣды ея существуютъ до сихъ поръ и въ нѣкоторыхъ нашихъ
монастыряхъ и пустыняхъ. Сперанскій, во время пребыванія своего
въ Великопольѣ, изъ разговоровъ съ монахами сосѣдственной оби-
тели Саввы Вишерскаго, узналъ, что они вовсе не чужды высшимъ
степенямъ созерцательной молитвы (4). Ею, говорятъ онъ, молятся
и въ Индіи и въ Саровской пустынѣ, ибо о Христѣ Іисусѣ нѣтъ
ни Іудей, ни Еллинъ, но все нова тварь (5).

Въ сочиненіяхъ мистическихъ ученіе о молитвѣ излагается съ
особымъ тщаніемъ. Опредѣляя ея сущность, они указываютъ раз-
личныя ея степени, соотвѣтственно степенямъ духовнаго состоянія

1) Доброт. IV, гл. 95—96, гл. 33.

2) Житіе и писанія Пансіа Величковаго (1847).

3) *Collationes patrum* (Бесѣды Кассіана съ отцами, достигшими наибольшаго
искусства въ созерцательной жизни).

4) Жизнь Сперанскаго (1861), т. II.

5) Въ память гр. Сперанскаго.

нашего или другимъ предметамъ христіанскаго знанія и христіанской жизни. Г-жа Гюйонъ († 1717) въ двухъ книгахъ: «Краткій и легчайшій способъ молиться» (1821 и 1822) и «О послѣдованіи младенчеству Іисуса Христа» (1823) ⁽¹⁾, объясняетъ три вида молитвы: умственную, сердечную и созерцательную. Первая состоитъ въ умственномъ бесѣдованіи, или богомыслии; вторая въ воздыханіяхъ и пламенныхъ стремленіяхъ къ Богу; третья въ безмолвіи мыслей чувствъ и невозмущаемомъ покоѣ, причѣмъ душа, соединяясь съ Богомъ, созерцаетъ верховное благо. Русская мистичка, Хвостова, помогавшая Лабзину своимъ сотрудничествомъ, дѣлитъ молитву на три степени: устную (словесную), безъ помощи словъ совершаемую (мысленную) и высшую, или созерцательную, называя ее бесѣдой живущаго въ душѣ Сына съ превѣчнымъ Отцемъ. Эти степени она предположительно относитъ къ тремъ состояніямъ Слова, говоря: «не указываетъ ли первая на Богочеловѣка, тѣлесно (т. е. до воскресенія) проповѣдывающаго невѣжественному Израилю; вторая — на Него же, по воскресеніи своемъ бесѣдующаго съ Апостолами; третья — на Него, сѣдющаго, по вознесеніи, одесную Отца и глаголющаго своимъ искупленнымъ: се Азъ съ вами до скончанія вѣка? Восхищенный до третьяго небеси Апостолъ, можетъ быть, повѣствуетъ о сей третьей степени молитвы» ⁽²⁾.

Эта созерцательная (сверхчувственная) молитва одно и то же съ священной умной молитвой «Добротолубія». Подъ первымъ именемъ она и значится въ книгѣ преподобнаго Максима Исповѣдника «о любви» ⁽³⁾. Она совершается въ тишинѣ и безмолвіи, такъ какъ Самъ Богъ есть миръ, превысшій молвы и воплей ⁽⁴⁾, совершается безъ страха и надежды, въ полнѣйшей преданности молящагося волѣ Божіей и въ полнѣйшемъ отрѣшеніи его отъ себя и отъ всего сущаго. Высочайшей степени достигаетъ она въ то время, когда умъ, внѣ плоти и міра, внѣ вещества и образовъ, «непрестанно» молится. Плоды ея — вѣдѣніе свойствъ тѣлесныхъ и безтѣлесныхъ существъ, чистыя и ясныя извѣщенія о

¹⁾ Сочиненіе Гюйонъ: «Moyen court et très-facile de faire oraison», содержитъ ученіе въ сущности одинаковое съ ученіемъ ея современника, монаха Лакмба. Другое ея сочиненіе: «О послѣдованіи младенчеству І. Х.» почти цѣликомъ помѣщено въ статьѣ: «о святomъ младенцѣ Іисусовомъ» (С. В. 1818 февраль), безъ имени автора и переводчика.

²⁾ Письма христіанки, тоскующей по горнемъ своемъ отечествѣ, къ двумъ друзьямъ ея — мужу и женѣ (1815). Нѣкоторыя изъ этихъ писемъ нап. въ С. В. Другое сочиненіе: «Совѣты душѣ моей» (1816). Слогъ Хвостовой отличается патетизмомъ, происходящимъ отъ женственно-мистическаго экстаза.

³⁾ Издава съ русскимъ переводомъ стариннаго славянскаго текста (1817).

⁴⁾ Доброт. 1, г. 125.

Богъ. ⁽¹⁾. Она есть знаменіе всѣхъ добродѣтелей, изъ коихъ главная любовь, почему и оживождается съ высочайшею любовью къ Богу. Наконецъ она есть покой созерцанія, вѣтвизмъ, почему инокъ Афонской горы въ XIV в. и получали названіе гезихастовъ (успокоителей). Исторія вѣтвизма, канимъ онъ явился въ понятіяхъ нѣкоторыхъ западныхъ мистиковъ, преимущественно останавливается на двухъ лицахъ XVII вѣка: испанскомъ богословѣ Молинось и французской писательницѣ многихъ мистическихъ книгъ Гюйонъ. Ученіе перваго грубѣе и рѣзче, чѣмъ ученіе послѣдней ⁽²⁾. Оба они сходны въ томъ основномъ принципѣ, что совершенство челоѣка на землѣ состоитъ въ постоянномъ актѣ созерцанія и любви, что душа, соединившись съ Богомъ, должна совершенно въ немъ теряться и уничтожаться. Различіе же въ слѣдствіи, выводимомъ изъ принципа: Молинось обрекаетъ душу на состояніе абсолютнаго бездѣйствія, даже во время самыхъ ужасныхъ искушеній, а Гюйонъ не отвергаетъ положительнаго сопротивленія искушеніямъ. Вопросъ о молитвѣ созерцательной, безусловно-пассивной и о любви безусловно-безкорыстной или чистѣйшей послужилъ поводомъ къ замѣнательному состязанію между двумя французскими прелатами: Боссюетомъ и Фенелономъ. Рѣшеніе вопроса было достойно славы этихъ богослововъ-философовъ: показавъ основныя начала совершенства, до котораго возможно достигнуть христіанину, оно отдѣляло бы сущность истинной духовности отъ представленій и фанатизма крайнихъ мистиковъ. Боссюетъ обвинилъ Гюйонъ, находя, что подъ видомъ чистой молитвы уничтожается всякое молитвословіе, всякое обращеніе къ Богу для испрашиванія у Него благи, что любовь къ Богу не можетъ обойтись безъ всякаго отношенія къ нашему вѣчному блаженству, какъ высшему интересу, который и входитъ въ нее какъ побужденіе, хотя бы и второстепенное. Фенелонъ, напротивъ, сталъ на сторонѣ Гюйонъ и въ книгѣ своей: «Объясненіе изреченій святыхъ отцевъ о внутренней жизни» ⁽³⁾ развилъ слѣдующія положенія: внутренній путь христіанской жизни стремится къ безкорыстной, чистой любви къ Богу; цѣль искуса на пути этой жизни есть большее и большее очищеніе любви; созерцаніе, даже на высочайшей его степени, есть не что иное какъ мирное упражненіе любви; совершенство,

¹⁾ О любви, ст. 6, 26 и 61 второй сотницы.

²⁾ Сочиненія Гюйонъ: *Moyen court et très facile de faire oraison* (рус. переводъ указавъ имя) и *Le Cantique des Cantiques, interprété selon le sens mystique* (рус. переводъ вѣсть съ толкованіями другихъ Соломоновыхъ книгъ и книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова, изд. 1928).

³⁾ Explication des maximes des saints sur la vie intérieure. ...

называемое соединеніемъ чловѣка съ Богомъ, есть не что иное, какъ полнѣйшая чистота и окончательно утвердившееся, обычное состояніе любви. Боссюэтъ одержалъ верхъ. Книга Фенелона была осуждена папою Иннокентіемъ XII. Большая часть осужденныхъ положеній сводятся къ двумъ пунктамъ: первый—есть въ этой жизни такое состояніе совершенства, къ которому желаніе благъ и боязнь мученій не имѣютъ мѣста; второй—есть души до того воспаленныя любовью къ Богу, что если, въ искушенія, онѣ вѣруютъ, что Богъ осудилъ ихъ на вѣчную муку, то онѣ безусловно жертвуютъ Богу своимъ спасеніемъ ⁽¹⁾. Не смотря на торжество Боссюэта, мистики упрекаютъ его въ томъ, что онъ, отвергнувъ ученіе о чистой любви, нанесъ ударъ внутреннему христіанству и что онъ, вѣроятно, взглянулъ бы на дѣло иначе, если бы былъ знакомъ съ преданіями и духомъ мнѣній святыхъ пустынниковъ, изложенными въ «Бесѣдахъ Кассіана», а также съ ученіемъ греческихъ отцовъ церкви, проповѣдующимъ о любви и внутренней жизни христіанина. Дѣйствительно, малое знакомство Боссюэта съ указанными источниками доказывается тѣмъ удивленіемъ, которое испыталъ онъ при появленіи Фенелоновой книги (*Explication des maximes des saints*): онъ встрѣтилъ въ ней какъ бы новый кругъ духовныхъ воззрѣній, до того ему незнакомыхъ.

Замѣтимъ здѣсь кстати, что ученый споръ двухъ знаменитыхъ прелатовъ, имѣвшій значеніе важнаго общественнаго факта, охватившій своимъ интересомъ всѣхъ мыслящихъ людей того времени, духовныхъ и свѣтскихъ, богослововъ и небогослововъ, и не оставившійся въ предѣлахъ одной Франціи, но далеко выступившій за ея предѣлы, нашелъ сходственное себѣ явленіе у насъ, только въ маломъ видѣ и въ кругу совершенно частныхъ сношеній. Я разумѣю переписку Сперанскаго съ Теофилактомъ, архіепископомъ валужскимъ ⁽²⁾. Содержаніе ихъ письменной бесѣды относилось къ понятію объ истинномъ, внутреннемъ христіанствѣ, къ степени христіанскаго совершенства на землѣ, къ духовному разуму, какъ орудію при усвоеніи вещей духовныхъ, во внѣшней и внутренней церкви, къ чистой любви, къ пастырскому слову, какому оно было въ то время и какому оно быть долженствуетъ, наконецъ къ Фенелону, Экартсгаузену и Гюйонъ, съ которыми писавшій короче знакомилъ своего собесѣдника, до тѣхъ поръ слегка знаваго,

⁽¹⁾ Диспутъ между Боссюэтомъ и Фенелономъ подробно и обстоятельно изложенъ въ книгѣ: *Histoire de Fénelon*, par le cardinal de Bausset (4 tomes, 1850).

⁽²⁾ Въ память Сперанскаго. — Всѣхъ писемъ Сперанскаго 15; изъ писемъ Теофилакста помѣщено только два.

какъ онъ самъ сознавался; сочиненія Фенелона, а потомъ увидава-
шаго въ нихъ тайныя благодати. Сперанскій, какъ сказано выше,
былъ недоволенъ полемическимъ настроеніемъ современныхъ про-
повѣдей; Теофилактъ доказывалъ, что полемика необходима для
защиты религіи отъ деистовъ, ибо церковь не даромъ носитъ на-
званіе «воинствующей». Второе разногласіе касалось участія ра-
зума въ дѣлахъ вѣры: Теофилактъ отстаивалъ права этой способ-
ности; Сперанскій признавалъ его силу только для изслѣдованій
въ мірѣ физическомъ, а не въ мірѣ духовномъ, у котораго свой
собственный разумъ, называемый вѣрою. Далѣе, въ противополож-
ность ученію Гюйонъ, «объятой безуміемъ духовности», Теофи-
лактъ думалъ, что здѣсь на землѣ любовь безкорыстная, чистая,
безъ надежды и страха, невозможна; Сперанскій отвѣчаетъ ему
такимъ сужденіемъ: «Если бы люди простѣе понимали Св. писаніе
и менѣе его толковали, то одно прочтеніе первой заповѣди Моисее-
вой и евангельской довело бы къ совершенному ихъ въ сей исти-
нѣ убѣжденію: возлюбихи Господа твоего всѣмъ сердцемъ тво-
имъ, всею мыслию твоею, всѣмъ помышленіемъ твоимъ. — Если
но слову сему любовь наша къ Богу обмѣтеть такимъ образомъ
всѣ способности наши, то чѣмъ же любить мы будемъ что-
либо другое, кромѣ Его? Чѣмъ, какою способностію души бу-
демъ мы желать собственнаго, личнаго счастья? Мы не имѣемъ
ни двухъ сердець, ни двухъ душъ, ни двухъ силъ размышленія.
Если же, что мы имѣемъ, поглощено будетъ въ любви Божіей,
то что останется для любви къ міру и самимъ себѣ? Ничего; слѣ-
довательно не иначе можемъ мы любить себя и міръ, какъ удѣ-
ляя, покидая часть нашихъ способностей отъ любви Божіей, какъ
преступная сію первую и важнѣйшую заповѣдь (1).

Изложеніе главнаго догмата мистики—догмата о возрожденіи
человѣка, внутренняго пути къ нему ведущаго и духовныхъ пло-
довъ, имъ достигаемыхъ, не смотря на полноту и подробность,
не свободно отъ одного недостатка. Оно возбуждаетъ своего рода
недоумѣніе касательно того, какъ смотритъ мистикъ на то совер-
шенство, которое обозначаетъ разными названіями, почерпнутыми
большою частію изъ Священнаго писанія, а иногда имъ самимъ
придуманнѣйшими—соединеніе души съ Богомъ, рожденіе въ ней
Слова, обожествленіе, Христосъ въ насъ, царство Божіе внутри
насъ и проч.: видитъ ли онъ въ этомъ совершенствѣ только иде-
аль, къ которому человѣкъ долженъ стремиться, но осуществленіе
котораго предстоить въ будущей жизни, или нѣчто такое, что мо-

(1) Въ память Сперанскаго, стр. 393—394, въ единствѣ.

жать быть осуществлено еще на землѣ? Причина недоумѣнія заключается преимущественно въ экстазѣ нѣкоторыхъ мистическихъ писателей, а экстазу подчинялся самый способъ выраженія: какъ въ представленіи, такъ и на языкѣ челоуѣка восторженнаго идеальное стремленіе къ цѣли сливается съ ея достиженіемъ, предметъ, къ которому суждено только приближаться, съ полнымъ обладаніемъ этимъ предметомъ. А что экстазъ играетъ здѣсь весьма значительную роль, это ясно изъ того, что онъ былъ поставленъ какъ средство для соединенія съ высшимъ благомъ. Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно сличить приведенное выше извлеченіе изъ первой главы Таинственного богословія Ареопагита (что есть божественный мракъ?) или слова Исаака Сирина съ описаніемъ вдохновеннаго состоянія, по ученію Плотина (¹).

Указаніе на то, какъ приличнѣе разрѣшать сказанное недоумѣніе, находимъ въ свидѣтельствахъ подвижниковъ-созерцателей. Вотъ конечные плоды безмолвія и молитвы, по изображенію иноковъ Каллиста и Игнатія: «безстрастіе, воскресеніе души прежде тѣла, по образу и подобію дѣяніемъ и видѣніемъ, вѣрою и надеждою и любовію вовображеніе, и вѣращеніе, и совершенное къ Богу горѣ простертіе, и непосредственное единеніе, изступленіе и почитіе, престаніе въ настоящемъ убо, яко въ зеркалѣ, въ гаданіи и обрученіи, въ будущемъ же лицу къ лицу, и совершенное совершеннѣ Божіе причастіе, и присносущнѣ наслажденіе» (²). И такъ здѣсь, на землѣ, согласно съ ученіемъ апостола Павла—зерцало и гаданіе, въ будущей же жизни—лицезрѣніе Бога, совершенное Ему причастіе и нескончаемое блаженство. По мысли Сперанскаго, начало и установленіе въ насъ царствія Божія равно возможно и дѣйствительно, какъ въ земной организаціи, такъ и въ будущей; но въ послѣдней предстоить наслажденіе царствіемъ, полнота и совершеніе всѣхъ обѣтовъ, великая суббота, а уже не исکانіе, не трудъ, не работа надъ волею, не истребленіе самолюбія (³). Поздѣе писалъ онъ слѣдующее: «Тайна искупленія нашего состоитъ въ преложеніи душевнаго въ духовнаго, въ преобоженія, которое начинается въ сей самой жизни и совершается въ вѣчности. Бытіе міра сего есть эпизода въ великомъ дѣлѣ творенія,—эпизода необходимая, но не цѣль и не конецъ поэмь» (⁴). Другой взглядъ приводитъ къ отважнымъ и опаснымъ толкованіямъ, и обращаетъ мистика въ мистицизмъ. Отсюда являются

¹) Философія Плотина, соч. М. Владиславлева (1868).

²) Доброт. 11, г. 129.

³) Въ память Сперанскаго. Письмо къ Теофилакту, 1805.

⁴) Письмо къ Бровенскому (ib).

фальшивыя вѣрованія и странныя мечтанія; увеличенное понятіе о совершенствѣ возрожденнаго сообщаетъ послѣднему какую-то магическую силу, которая выражается въ видѣніяхъ, откровеніяхъ, предсказаніяхъ и испѣленіяхъ. Такой точкѣ зрѣнія не чужды были Лабзинъ, охотно помѣщавшій въ своемъ журналѣ извѣстія и разсказы о разныхъ чудесахъ, за что упрекали его благоразумные люди мистико-религіознаго направленія, хотя съ другой стороны и отдавали справедливость его большой даровитости, умѣнью излагать отвлеченные предметы и языку, который, сохраняя серьезность и точность научнаго изложенія, представлялъ еще извѣстный патетизмъ, силу и весьма часто рѣзкость. Но такъ или иначе смотрѣли мистики на степень духовнаго совершенства, въ одномъ они всѣ согласны между собою: всѣ они признаютъ высокую важность возрожденія, единственно въ немъ полагаютъ сущность христіанства и существенный долгъ христіанской жизни. Возрожденіемъ образуется царское священство, народъ святой, избранный народъ Божій, назначенный къ вѣчной жизни ⁽¹⁾. Оно есть достопамятная эпоха, съ которой начинается эра. Какъ христіанскіе народы ведутъ свое лѣтосчисленіе отъ Р. Х., такъ и внутренніе, истинно-духовные христіане, т. е. возрожденные и возрождаемые, должны числить время своей жизни отъ воплощенія въ нихъ Христа ⁽²⁾. Жизнь такихъ христіанъ есть постоянное хожденіе предъ Богомъ, какъ ходили Енохъ, Авраамъ, Моисей, Ілія. Потому-то нашими мистиками было издано нѣсколько переводныхъ книгъ на эту тему: «Образъ житія Енохова, или родъ и способъ хожденія съ Богомъ», сочиненіе англійскаго богослова Іосифа (1784); «Присутствіе Божіе», соч. Дю-Туа, (1798); «Письма о томъ, сколь нужно и полезно всегда помнить о присутствіи вездѣсущаго и всевидящаго Бога» (2-ое изд. 1813); «Хожденіе предъ Богомъ или жизнь брата Л.... (1821)», съ эпиграфомъ: предвѣхъ Господа предо мною выну (Пс. XV, 8) ⁽³⁾.

Обращаюсь къ другимъ положеніямъ мистики. Всѣ они имѣютъ значеніе второстепенныхъ въ томъ смыслѣ, что непосредственно или посредственно вытекаютъ изъ основнаго догмата.

Если истинное христіанство состоитъ въ воссоединеніи съ Богомъ, если истинное поклоненіе Ему есть поклоненіе духомъ и истиной, если истинные христіане суть только христіане внутренніе, живущіе единою со Христомъ жизнью, то отсюда слѣдуетъ,

¹⁾ С. В. 1818, июнь, стр. 305—306.

²⁾ Ib. 1818, январь, стр. 4.

³⁾ Вторая и третья книги переведены Лопухиннымъ.

что соединеніе церквей не иначе можетъ быть достигнуто, какъ только соединеніемъ вѣрующихъ со Христомъ и духомъ Его. Тогда не будетъ никакихъ особенныхъ вѣроисповѣданій, никакихъ особенныхъ религіозныхъ сектъ или школъ. Такое рѣшеніе вопроса и предлагается статью Сіонскаго Вѣстника: «О раздѣленіяхъ между христіанами» (1). Такъ какъ эти раздѣленія обусловлены различіемъ нѣкоторыхъ догматовъ, то авторъ статьи и говоритъ: «Мы не найдемъ у Спасителя никакихъ толковъ о догматахъ, а однѣ практическія аксіомы, поучающія, что дѣлать и чего удалаться, и возвѣщающія смерть плотскому мудрованію разума и злой волѣ, или собственной жизни человѣка... Первымъ основаніемъ просвѣщенія, или истиннаго христіанства, поставилъ Онъ истинную перемѣну сердца и самоотверженіе. Въ первоначальной церкви не начинали дѣлать на изворотъ, не думали дѣлать людей сперва учеными и искусными рассказчиками, а потомъ уже благонравными и вѣрующими христіанами; ибо не разумъ доставляетъ истинное познаніе божественныхъ тайнъ, а духъ Истины, котораго міръ, доколѣ будетъ міромъ, принять не можетъ... Правовѣрный лишь тотъ, кто имѣетъ тогмо Христа своимъ предметомъ... Въ Св. Писаніи мы вовсе не видимъ никакихъ условій со стороны понятій о вещахъ божественныхъ... Христосъ не требовалъ, чтобы всѣ *право мыслили*, но чтобы *право поступали*». Лабзинъ, согласно съ Штидлингомъ, которому какъ мы видѣли, онъ и слѣдовалъ въ своей статьѣ, дѣлитъ церковь на видимую, или церковь званыхъ, изъ всякаго рода христіанъ состоящую, и на невидимую, или церковь христіанъ избранныхъ (внутреннихъ). «Въ спорахъ о церквахъ» (т. е. о раздѣленіи христіанъ по христіанскимъ вѣроисповѣданіямъ), замѣчаетъ онъ, «дѣло идетъ объ одной видимой церкви. И сей-то низшій классъ — собственно едва оглашенныхъ — многочисленностью своею хочетъ подавить классъ вышній! думаетъ и утверждаетъ, что кромѣ ихъ сословія нѣтъ истинной церкви, ни Богу угоднаго человѣка; что ими утвержденныя мнѣнія суть единственные основанія спасающей вѣры и что Богъ ни въ комъ не можетъ возставить образа Своего, не сдѣлавъ человѣка того ихъ секты — или католикомъ, или лютераниномъ, или реформаторомъ, и проч.».

Если духовно-возрожденные живутъ уже не сами, а живетъ въ нихъ Христосъ, то и молитвенный домъ ихъ внутри ихъ сердца. Отсюда понятіе о внутренней церкви, нѣкоторыя черты которой представилъ Лопухинъ въ своей книгѣ, пользовавшейся нѣкогда

(1) 1817, октябрь.

отмѣннымъ уваженіемъ не только у нашихъ мистиковъ, но и за границей ⁽¹⁾. Внутреннее святилище этого внутренняго храма доступно только «малому эдемскому собору избранныхъ» ⁽²⁾. Лопухинъ не отвергаетъ, впрочемъ, символовъ и обрядовъ внѣшней церкви: онъ находитъ ихъ достойными уваженія по ихъ происхожденію и предмету, такъ какъ «многіе изъ нихъ образуютъ божественныя таинства, будучи заимствованы отъ образа сокровенныхъ дѣйствій Божіихъ въ человѣческой душѣ, въ духовномъ тѣлѣ церкви Христовой и въ самой натурѣ». Онъ только не придаетъ имъ, какъ видно, внутренней силы. Гдѣ же та община, то собраніе вѣрующихъ, которымъ осуществлялась и осуществляется эта внутренняя церковь? Отвѣтъ на вопросъ дается Штиллиномъ въ «Побѣдной повѣсти»: ⁽³⁾. По его толкованію, истинная церковь, иначе «духовный Израиль», началась на востокѣ Павликіанами (VII в.), продолжалась Вальденцами и Альбигойцами (XII в.), а теперь находится въ обществѣ Моравскихъ братьевъ или такъ называемой Гернгутерской братской церкви. Это, объясняетъ нѣмецкій мистикъ-мечтатель, и есть Єіатирская церковь—апокалипсическая жена, облеченная въ солнце! Всѣ христіане, изъ духовной Єіатирь, соберутся въ одинъ союзъ—въ церковь Филадельфійскую (братолюбскую). Филадельфійцы устроятъ новый Іерусалимъ, новое гражданство и царство Божіе,

¹⁾ Нѣкоторыя черты внутренней церкви (3 изданія: 1798, 1801, 1816). Франц. переводъ въ Петербургѣ (1799) и въ Парижѣ (1801). Нѣмецкій переводъ Эвальда (1808—1804) въ періодическомъ изданіи: *Christliche Monatschrift*, а отдѣльно изданъ въ Ниренбергѣ (1809). Экартсгаузенъ называетъ эту книгу драгоцѣнною и исполненною истинной мудрости.

²⁾ Что и изображено на виньеткѣ, объясненной во 2-й главѣ (Описаніе церкви во образѣ храма).

³⁾ Побѣдная повѣсть или торжество вѣры христіанской (1815). Предметъ этого сочиненія—толкованіе Апокалипсиса, по поводу книги прелата Бенгеля: *Cyclos oder Sonderbare Betrachtung des grössten Weltjähres* (1745). Русскій переводъ—вольный. Переводчикъ (Дабинъ), сохраняя мысли автора, избѣгалъ повтореній, сокращалъ многое, иногда переносилъ сказанное въ подлинникѣ изъ одного мѣста въ другое и старался быть болѣе понятнымъ и нескучнымъ. «Вообще, говоритъ онъ, имѣя въ виду соотечественниковъ, согласовался съ тѣмъ и въ образѣ мыслей своего перевода, и вездѣ, гдѣ сказано у насъ, разумѣлъ то о русскихъ, о Россіи». Важнѣйшій пунктъ въ толкованіяхъ Штиллинга тотъ, что апокалипсическіе счеты приходятся между 1800 и 1836 гг. и что, вѣроятно, въ 1836-мъ, не позже, будетъ послѣдняя брань съ апокалипсическимъ злѣремъ ко вреду его и начнется царствіе Божіе на землѣ. «Побѣдная повѣсть» пользовалась чрезвычайнымъ уваженіемъ въ Германіи; одни изъ читателей ея въ апокалипсическомъ злѣрѣ видѣли папу, согласно со взглядомъ автора, другіе же—Наполеона, согласно съ тогдашними политическими обстоятельствами (*Mémoires politiques de J. de Maistre*, 1859).

которое будетъ теократическое (богоначальственное), или царствование (1).

Изъ ученія о возрожденіи вытекаетъ понятіе мистиковъ о нравственности. Принципомъ ея служить соединенный съ Богомъ духъ, для котораго поэтому добродѣтель сдѣлалась сущностью. Возрожденный необходимо творить благія дѣла, такъ какъ они суть непосредственныя дѣйствія пребывающаго въ немъ Христова Духа; онъ творитъ ихъ безъ борьбы и безъ выбора. Онъ желаетъ лишь того, что угодно Богу, а Богъ есть высочайшее благо. Что прежде было ему бременемъ, то, по возрожденіи, обращается для него въ свободное отпращиваніе. Всѣ добродѣтели заключены въ немъ, какъ въ существѣ гармоническомъ, и обнаруживаются безпрепятственно, не такъ какъ въ другихъ, невозрожденныхъ людяхъ, которые иногда являются нравственными, а иногда безнравственными. Внимая говорящему въ немъ Слову, онъ уже не способенъ заблудиться, не можетъ грѣшить (2). Внѣшній законъ для него болѣе не существуетъ: законъ начертанъ въ немъ самомъ, внутренній, исполняемый свободно и радостно: «Живя по заповѣдямъ Божиимъ, онъ живетъ уже не подъ закономъ, но превъше закона. Заповѣдь Божія, говорящая ему отвѣтъ, въ Писаніи или индѣ гдѣ нибудь, уже не возстанетъ противъ него, но требуетъ того, чего онъ самъ охотно желаетъ, запрещаетъ то, что теперь противно его природѣ, и потому буква закона сдѣлалась живымъ, духовнымъ закономъ, и слѣдовательно исполненнымъ» (3). Такой взглядъ на нравственность, какъ выводъ изъ понятія о внутреннемъ союзѣ челоуѣка съ Богомъ, породилъ въ квіетизмѣ Молимоса дикое и опаснѣйшее положеніе, состоящее въ слѣдующемъ: «Такъ какъ воля предана Богу виѣстѣ съ попеченіемъ о душѣ, то не должно беспокоиться объ искушеніяхъ и заботиться о положительномъ сопротивленіи онымъ. Представленія и образы, испытываемые тогда чувственною частію души, совершенно чужды высшей ея части. Человѣкъ уже не отвѣчаетъ за самія постыдныя дѣйствія, ибо тѣло его можетъ стать орудіемъ демона, тогда какъ душа, тѣсно соединенная съ Богомъ, никакого участія не принимаетъ въ томъ, что происходитъ въ плоти» (4). То есть: для совершеннаго, обожествленнаго челоуѣка всякое внѣшнее дѣйствіе и стремленіе безразличны и самый грѣхъ не есть уже грѣхъ.

1) *ib.* стр. 45, 51, 160.

2) Eckhardt, v. Lazare (266—271); *Témoignage d'un enfant de la vérité* (1789).

3) Хр. Чт. 1822, т. 5, въ ст.: Назидательныя мысли.

4) *Histoire de Fénelon*, par Vauvret, т. 1.

Первоначальное развитіе мистики опредѣлилось духовной индивидуальностью христіанъ, изучавшихъ Священное писаніе. Смотри по тому, какая способность преобладала у каждаго изъ нихъ — разумъ или чувство и воображеніе — они или принимали слово Божіе съ вѣрою, не думая о чемъ-либо дальнѣйшемъ, болѣе глубоко, сокровенномъ, или, принимая съ вѣрою, не ограничивались простымъ знаніемъ, а испытывали на себѣ его силу. Опыты, какъ дѣйствія усвоеннаго ученія, становились для испытаннаго внутренними, духовными фактами, своего рода откровеніями, столь же истинными и несомнѣнными, какъ и чувственные воспріятія нѣвѣй. Этотъ опытный путь издавна получилъ названіе мистическаго, въ отличіе отъ другаго, который останавливается на общемъ вѣроученіи и нравственномъ поведеніи, безъ мысли о цѣлостномъ образованіи человѣка, о внутреннемъ его обновленіи или перерожденіи. Въ послѣдствіи, просвѣщеніе, добываемое собственной практикой, собственными внутренними откровеніями многіе поставили рядомъ съ Священнымъ писаніемъ, вмѣсто того, чтобы поддерживать ими богодухновенное слово, какъ непреложное основаніе религиозныхъ истинъ и правилъ. На дальнѣйшемъ пути, когда установился мистическій догматъ обожествленія человѣка, значеніе внутренняго вѣдѣнія еще болѣе усилилось. Душа возрожденнаго состоитъ въ непосредственномъ общеніи съ ея Творцемъ. Это общеніе и есть, по ученію мистиковъ, собственно откровеніе, иначе внутренній свѣтъ, высшій, надежнѣйшій источникъ богопознанія. Посему исторія откровенія разсматривается мистиками не какъ отдѣльный, единожды совершившійся фактъ, но какъ непрерываемый процессъ: оно всегда было; всегда есть, всегда будетъ (¹). Въ этомъ исконномъ и непрерывномъ откровеніи различается нѣсколько періодовъ: языческіе мудрецы смотрѣли на натуру видимаго міра и оттуда получали просвѣщеніе; израильскіе мудрецы смотрѣли духомъ вѣры на обѣщанное Слово Божіе, и отъ Него ишѣли свѣтъ; христіанскіе мудрецы смотрятъ на живущее въ нихъ Слово Божіе вочеловѣчившееся, и отъ него учатся (²). Въ статьѣ Сіонскаго Вѣстника «о чтеніи духовныхъ книгъ» (³) читаемъ слѣ-

¹) Engelhardt: Die angeblichen Schriften des Areopagiten Dionysius. — Лейпзон: Meister Eckhart.

²) Письма Гамалѣи, кн. 2.

³) Замѣчательно, что эта статья почему-то дважды появилась въ журналѣ: въ июньской книжкѣ 1806 г. и сокращенно, подъ заглавіемъ: «о чтеніи книгъ», въ августовской 1817-го. Надобно думать, что Лабзинъ предавалъ ей особенную цѣну.

дующее: «Иисусъ Христосъ въ Богѣ, отцѣ всѣхъ, есть надъ всѣми и сверхъ всѣхъ и во всѣхъ насъ, и у каждаго человѣка находится въ совѣсти. Объ немъ Духъ Святой какъ въ ветхомъ заветѣ, чрезъ Моисея, такъ и въ новомъ чрезъ апостола Павла засвидѣтельствовалъ, что ко Христу не нужно ходить ни на небо, ни въ бездну, но у каждаго человѣка близъ есть въ сердцѣ и во устахъ Слово Божіе, которое вочеловѣчилось и есть Христосъ Божій». Конечно, по сочувствію, Лабзинъ помѣстилъ въ своемъ журналѣ «догматы англійскихъ и американскихъ квакеровъ» (*). Второй, третій и четвертый догматы излагаютъ ученіе о внутреннемъ откровеніи, или внутреннемъ Словѣ, противопоставляя ему слово внѣшнее, т. е. Священное писаніе, и ставя первое выше втораго, которое (какъ гласитъ 2-й догматъ) «не приводитъ человѣка ко спасенію, ибо буквы и начертанныя слова, какъ вещи неодушевленныя, не могутъ имѣть силы просвѣщать сердца чело-вѣческія и соединять ихъ съ Богомъ. Священныя книги приносятъ только ту пользу читающему, что возбуждаютъ и наставляютъ сердце его внимать внутреннему Слову и приготавливаютъ оное къ принатію ученія, внутрь Христомъ преподаваемаго, или, что все одно: Священное писаніе есть нѣмый наставникъ, указующій знаками на живаго учителя, обитающаго въ сердцѣ». Люди, лишенные писаннаго слова, лишены только нѣкотораго средства и пути ко спасенію, а не самаго ученія, ибо если они обратятъ вниманіе свое ко внутреннему Наставнику, Учителю и Слову, то отъ Него обильно могутъ почерпнуть все нужное (догматъ 3-й). И потому церковь Іисуса Христа безпредѣльна: она заключаетъ въ себѣ весь родъ чело-вѣческій, такъ какъ всѣ смертныя имѣютъ въ сердцѣ своемъ Христа, и чрезъ Него, въ какой бы грубости и невѣдѣніи христіанскаго закона ни обрѣтались, могутъ быть и въ сей и въ будущей жизни блаженными (догматъ 4-й). Въ смыслѣ этихъ догматовъ однимъ мистикомъ истолковано Посланіе апостола Павла къ Римлянамъ. Въ заключеніи толковникъ объясняетъ, что ученіе христіанской религіи есть вдохновенное Духомъ Божіимъ и преданное письму свидѣтельство о томъ, что произвелъ этотъ Духъ во всѣ времена и во всѣхъ людяхъ, отъ Адама до насъ, которые восхотѣли принять Его въ свое сердце; ибо о всѣхъ людяхъ сказано: вы родъ суще Божій (Дѣян. XVII, 28—29), т. е. Богъ есть общій отецъ всѣхъ, а у отца одинаковая любовь къ чадамъ, хотя, по различному расположенію сыновнихъ сердецъ,

* С. В. 1817, декабрь. Догматы квакеровъ наложены были еще въ «Поклоненіи трудолюбца» (1784—85, ч. 8).

однимъ Онъ открывается больше, другимъ меньше (1). Сентъ-Мартенъ (неизвѣстный философъ), авторъ знаменитой нѣкогда книги «о заблужденіяхъ и истинѣ» (2), еще отважнѣе въ своемъ взглядѣ, по которому священныя книги представляютъ краснорѣчивѣйшій и вѣрнѣйшій переводъ внутренняго откровенія, непосредственно исходящаго отъ Бога. До появленія своего въ формѣ видимой онѣ существовали въ душѣ человѣка въ формѣ духовной; онѣ вытекли изъ нашей природы; мы ихъ находимъ внутри насъ самихъ. Всѣ народы имѣютъ письменные памятники этого рода, но несравненное превосходство нашихъ, христіанскихъ, состоитъ въ полномъ ихъ соотвѣтствіи божественному тексту, внутри насъ начертанному (3). Вообще историческому знанію христіанства мистика не даетъ большой важности. Праведный христіанинъ не тотъ, кто довольствуется этимъ знаніемъ, т. е. признаетъ Христа и вѣруетъ, что онъ примирилъ насъ съ Богомъ; ибо извнѣ присвоенная правда ни къ чему не служитъ, а потребна врожденная въ насъ дѣтская правда (4). Уклоняясь мало по малу отъ положительныхъ свидѣтельствъ Св. писанія, мистики измѣнили ихъ по своимъ внутреннимъ чувствамъ и воззрѣніямъ до того, что Христосъ Евангелія какъ бы заслонился для нихъ Христомъ внутреннимъ, пребывающимъ въ душѣ каждаго человѣка, гдѣ Онъ изрекаетъ свои глаголы и дѣйствуетъ. Ученіе квакеровъ чуждо Христа «внѣ сущаго» и многіе изъ нихъ даже всю исторію о воплощенномъ Сынѣ Божіемъ почитаютъ аллегорическимъ сказаніемъ о Христѣ внутреннемъ (5).

Съ своимъ принципомъ внутреннего опыта мистика ставитъ себя въ независимость отъ внѣшняго авторитета. По ея ученію, вѣра есть непосредственно дѣйствующая божественная жизнь въ нѣрующемъ, и потому посредствующія силы церковнаго ученія и

(1) *Témoignage d'un enfant de la vérité et droiture des voies de l'Esprit ou Explication mystique et littéraire de l'Épître aux Romains* (1739).

(2) Рус. переводъ 1785.

(3) Franck: *La philosophie mystique en France à la fin du XVIII-e siècle* (1866).

(4) Путь ко Христу, Бема, пер. Лабзина (1815).

(5) Покойшійся трудолюбецъ, изд. Новикова (1784—85), ч. 3. Помѣстивъ статью «о квакерахъ», сокращенно перепечатанную потомъ Лабзинимъ въ Сіонскомъ Вѣстникѣ, издатель (Новиковъ) замѣчаетъ, что ученіе квакеровъ, по наружности кажушееся новымъ, въ самомъ дѣлѣ не таково; оно есть не что иное, какъ древнія «таинственная богословія», бывшая извѣстною уже во 2-мъ вѣкѣ и распространенная Оригеномъ, и что основатель квакерской секты (Фоксъ) почерпнулъ ученіе о Словѣ или внутреннемъ свѣтѣ, безъ сомнѣнія, изъ книгъ тайнописателей, или изустно отъ кого-либо предавагося тайномудрію.

предація займають, въ мистической доктринѣ, второстепенное мѣсто. Мы уже знакомы съ понятіями нашихъ мистиковъ о внутренней перивѣ. Присоединимъ къ тому выраженію въ одномъ мѣстѣ Сіонскаго Вѣстника мысль о томъ, что человѣку для достиженія цѣли его земной жизни, т. е. для соединенія съ Богомъ, нѣтъ надобности ни въ какомъ внѣшнемъ посредствѣ: «Сынъ Божій во всѣмъ сказываетъ: прійдите ко Мнѣ всѣ труждающіеся и обремененные, и Я упокою васъ, а о ходатайствѣ никакъ и ничѣмъ не упоминаетъ; ибо ходатайство человѣческимъ разумомъ выдуманно: въ Священномъ же писаніи нигдѣ—ни въ ветхомъ, ни въ новомъ забытъ—о немъ ни слова нѣтъ» (1).

Къ монастырской жизни мистики относятся неблагоклонно, хотя, какъ мы видѣли, они много заимствовали изъ писаній подвижниковъ. Діонисій Ареопагитъ отводитъ монашеству низшую ступень въ церковной іерархіи (2). Никита Стифатъ, монахъ и пресвитеръ Студійской обители (XI в.), отвергаетъ ученіе, по которому будто невозможно приобрести добродѣтели безъ бѣгства въ пустыню: «Навѣкъ къ добродѣтели», говоритъ онъ, «есть восстановление силъ душевныхъ въ древнее благородство и собраніе нервѣйшихъ добродѣтелей въ дѣйство еже по естеству.... Если, по гласу Господню, царствіе Божіе внутри насъ, то пустыня есть вещь излишняя.... Покаяніе и храненіе заповѣдей можетъ быть на всякомъ мѣстѣ владичества Божія.... Быть инокомъ не значитъ быть внѣ челоука и міра; но отречься себя, быть внѣ похотей плоти, пойти въ пустыню страстей» (3). Благочестіе есть чистѣйшій источникъ чистѣйшаго веселія: можетъ ли оно состоять въ песносномъ самомученіи, въ жестокомъ изнуреніи тѣла, въ пустынномъ отдаленіи отъ міра, въ печальномъ отреченіи отъ всего, что способствуетъ бодрости и радости? Ни Богъ, ни Іисусъ Христосъ, ни природа не представляютъ благочестиваго челоука въ такомъ печально-сумрачномъ видѣ, въ какомъ онъ является по представленію нѣкоторыхъ богослововъ (4). Статья Сіонскаго Вѣстника: «о чтеніи духовныхъ книгъ», подкрѣпивъ себя авторитетомъ митрополита Платона (5), выступила съ рѣзкой выходкой противъ стрем-

1) С. В. 1806, іюнь, стр. 286.

2) Въ 8-мъ посланіи.

3) Доброт. IV, гл. 63 и 64.

4) Гарвоода радостныя мысли о блаженствѣ благочестивой жизни, нер. съ нѣм. (1783).

5) Изъ Краткой церковной россійской исторіи, Платона (по 1-му изданію 1805 г.), цитированы слѣдующія строки: «Не угодно ли Богу помянуть одну невинную душу, нежели построить нѣсколько церквей? Многія причисленныя разоренія и убійства могла ли прикрити монашеская ряса? И безъ построженія, вслѣдъ

ленія къ отшельнической жизни: «обыкновенно за наилучшее почитаютъ оставить все, кромѣ себя и воли своей и удалиться въ монастырь, и тамъ мучить себя наружнымъ постомъ, поклонами, власниками, веригами и прочимъ сему подобнымъ наружнымъ, не думая при томъ о внутренней борьбѣ съ мыслями, объ оставленіи и преломленіи своей воли, о воздержаніи языка, и не имѣя понятія о внутреннемъ человѣкѣ, живущемъ вѣрою, надеждою и любовію къ Богу и ко всѣмъ человѣкамъ; но единственно наружными дѣлами забавляютъ себя и, смотря по достатку своему, или образа украшаютъ, или ризы и прочую утварь церковную отъ себя дѣлаютъ, или и колокола льютъ, и церкви каменные и деревянные строятъ, думая, что за все то, яко за добрыя дѣла, наслѣдуютъ рай на небѣ.... Тогда еще не было монастырей, когда помышленіи—Ной, Авраамъ, Исаакъ, Іаковъ, Іонъ, и пр. и пр.—угодили Богу (¹).

Священное Писаніе дано человѣку не для простаго знакомства съ его содержаніемъ, но для спасительнаго по немъ дѣйствования. Читая его, надобно помнить слова Бернара, что не чтеніемъ восхищается (пріобрѣтается) Богъ, а послѣдованіемъ ему въ жизни. Одно знаніе фактовъ и правилъ христіанства мало служить на потребу души. Если книги ветхаго и новаго завѣта изображаютъ процессъ возрожденія, если всѣ ихъ нареченія и сказанія свидѣтельствуютъ, какъ выше сказано, о томъ, что искони Духъ Божій производилъ въ людяхъ, искавшихъ соединенія съ Богомъ, то каждому христіанину, чтобы возродиться, необходимо пережить тотъ же самый процессъ. Все Священное Писаніе должно духовно совершиться въ немъ, силою вѣры (²). Кто захочетъ найти его въ себѣ, тотъ несомнѣнно найдетъ, ибо что было, есть и будетъ въ семъ великомъ мірѣ, то все было, есть и будетъ въ маломъ мірѣ (³). Это внутреннее пережитіе даннаго намъ божественнаго откровенія наиболее важно по отношенію къ періоду земной жизни Спасителя: «Воскресеніе Христово полезно только тогда, когда Христосъ воскреснетъ въ тебѣ. Онъ въ тебѣ долженъ зачатъ, родиться, жить и воскреснуть. Не воскреснетъ въ тебѣ Христосъ, если не умретъ прежде въ тебѣ Адамъ; не возстанетъ человѣкъ внутрен-

христіанинъ обязывается по Евангелію отречься самого себя: то тѣмъ самымъ долженъ онъ отречься честолюбія, корыстолюбія, коими паче съ обидою другихъ (ч. I, стр. 127).

¹) С. В. 1806, іюнь, стр. 279—284.

²) Арида, о истин. христіанствѣ (ч. I, гл. 6).

³) Письма Гамалии.

ній, если не падеть человекъ внѣшній; не взойдетъ въ тебѣ обновленіе духа, если прежде не придетъ ветхость плоти (¹).

Но чтобы увѣренно идти по пути внутренней жизни, соответственно откровенному слову, нужно вѣрное истолкованіе послѣдняго. Священное писаніе есть хранилище истины, но эта истина должна быть раскрыта въ своемъ внутреннемъ, глубокомъ смыслѣ. Еще древнѣйшіе церковные учителя (Климентъ Александрійскій, Василій Великій) различали двоякое значеніе книгъ ветхозавѣтныхъ и новозавѣтныхъ: экзотерическое (внѣшнее, буквальное) и эзотерическое (внутреннее, духовное). Первое, какъ общедоступное, началось для большинства, неспособнаго обнимать чистую истину въ формѣ понятій и потому требовавшаго ея представленія въ образахъ; второе, какъ высшее, предлагалось умамъ духовно-зрѣлымъ, которые могли усвоить понятія, облеченныя въ символическую одежду, и каждое образное представленіе переводить на чистое знаніе. Послѣднее толкованіе и получило названіе таинственнаго, мистическаго. Но при этомъ для пониманія божественныхъ писаній требовалось особеннаго, богомысленнаго настроенія духа, соответственно духовному настроенію ихъ творцевъ: безъ такого условія многое или оставалось бы непонятнымъ или было бы понято ошибочно и превратно. Мистики постоянно держатся эзотерическаго способа, разоблачая внутренній смыслъ каждаго мѣста Библии, къ какому бы роду ученія оно ни относилось: историческому ли, догматическому или нравственному, и направляя свой эскерисъ къ одному и тому же пункту. Хотя они безпредѣльность непостижимаго свѣта священнаго писанія и уподобляютъ солнцу, блистающему неисчетными лучами, изъ которыхъ каждый благотворно освѣщаетъ, грѣетъ и даетъ видѣть множество предметовъ (²), но они преимущественно направляютъ эти лучи на одинъ предметъ—на возрожденіе. Этимъ объясняется однообразность толкованій, допускающихъ кромѣ того натяжки и произволь. Библейскіе тексты приводятся изъ тѣхъ или другихъ мѣстъ книги, какъ отдѣльныя предложенія, безъ мысли о томъ, что они должны быть понимаемы и обсуждаемы въ цѣльномъ ихъ составѣ, въ естественной связи между собою, и въ томъ смыслѣ и духѣ, какіе вложилъ

¹) Священныя христіанскія размышленія, или бесѣды съ Христомъ (1788). Руководствомъ автору служили Августинъ, Ансельмъ, Бернаръ, Таулеръ, размышленія которыхъ есть въ русскомъ переводѣ: Августина—Святыхъ и душе-спасительныя размышленія (1784); Ансельма—Размышленія о искупленіи рода человѣческаго (1788), Бернара—Спасительныя размышленія о познаніи человѣческаго состоянія (1752), Таулера—Благоговѣйныя размышленія (1823).

²) Ежедневныя христіанскія упражненія.

въ нихъ Творецъ. Сочиненія мистическія исполнены подобныѣ толкованій на пользу одной и той же темѣ—возрожденія, отъ котораго все зависитъ и символами котораго, по основному ихъ взгляду, служатъ всѣ сказанія Священнаго писанія, всѣ его изреченія. Приведемъ нѣсколько примѣровъ. Исторія Каина и Авеля—это ветхій и новый человѣкъ со всѣми ихъ дѣлами, брань между плотью и духомъ. Потопъ—потопленіе свѣрхъ плоти; вѣрующій Ной долженъ сохраниться въ человѣкѣ. Брань Авраама съ пятью царями—брань человѣка противъ пяти царей, въ немъ сущихъ: плоти, міра, смерти, діавола и грѣха. Съ Лотомъ надобно отрещися отъ Содома и Гомора, т. е. отъ безбожной жизни міра.... Рожденіе Христа отъ Дѣвы Маріи—духовное Его рожденіе въ человѣкѣ (1). Клѣтъ, въ которой Иисусъ Христосъ повелѣлъ молиться—сердце, затвореніе дверей влѣти—отвлеченіе себя отъ мірскихъ помысловъ. Цѣль чуда въ Канѣ Галилейской—показать, что Спаситель пришелъ въ міръ для брака духовнаго; въ словахъ жены Елисею: «мужъ мой умеръ» (4 еп. Царствъ IV, I), мужъ означаетъ высшую силу души, жена—низшую; пять мужей Самарянки—пять чувствъ, городъ Наинъ—душа, ученики—божественный свѣтъ, стремящійся въ душу; толпа сопровождающая Господа—добродѣтели; ворота, въ которыя Онъ входитъ—любовь, сынъ вдовы—воля. Мистическимъ толкованіемъ Св. Писанія приобрѣла себѣ большую извѣстность Гюйонъ. Особенно уважалось ея изъясненіе книги «Пѣснь Пѣсней», изображающей таинственное сочетаніе души со Христомъ (2); одинаково съ нею смотрѣло на эту книгу и Христіанское Чтеніе, видѣвшее также въ притчѣ о блудномъ сынѣ символъ духовнаго возрожденія человѣка (3). О толкованіи Посланія апостола Павла къ Римлянамъ упомянуто выше. Какъ въ человѣкѣ различаются душа и духъ, такъ и смыслъ Священнаго Писанія есть или душевный, почерпаемый изъ разума, самому себѣ предоставленнаго, или духовный, приходящій отъ Духа Святаго. Объ этомъ двоякомъ смыслѣ говоритъ апостолъ Павелъ: «Душевенъ человѣкъ не пріемлетъ яже Духа Божія, яродство бо

¹) Архита: о истин. христіанствѣ, ч. I, гл. 6.

²) Избранныя сочиненія г-жи Гюйонъ или изъясненія и размышленія на Притчи, Екклесіаста, Пѣснь Пѣсней и Премудрость царя Соломона, и на Премудрость Иисуса Сына Сирахова, руководствующія ко внутренней жизни, 5 ч. (1828). Ежедневныя христіанскія упражненія, или Бесѣды, расположенныя по текстамъ Евангельскимъ на каждый день года, 4 ч. (1801).

³) 1821 г., ч. 3, и 1822, ч. 7. «Въ сей пѣснѣ описывается таинственный союзъ Иисуса Христа съ своею истинною церковью или истинно-вѣрующими вообще, а также, и *каждымъ*, со всякою истинно-вѣрующею душею въ частности».

ему есть» (1 Кор. II, 14). Истинъ и полный смыслъ священныхъ книгъ открывается созерцанію человѣка духовнаго, могущаго принимать и разумѣть божественное, и имѣть самый умъ Христовъ (ст. 16) ⁽¹⁾. На значеніе самой литургіи мистики смотрѣли съ точки зрѣнія ихъ перваго догмата: «Кажется мнѣ, что обѣдня есть не токмо повѣсть и образъ жизни и смерти Спасителя, но даже исторія души, во просвѣщенію и посвященію назначенной» ⁽²⁾.

Слово «мистика» принимается нѣкоторыми мистическими сочиненіями въ двоякомъ смыслѣ: обширномъ и тѣсномъ. Въ обширномъ она есть не что иное, какъ практика высшаго, божественнаго блаженства, основаннаго на внутренней перемѣнѣ человѣка и на дѣйствіи благодати, и тѣмъ отличающагося отъ простой естественной морали; въ тѣсномъ, или собственномъ, смыслѣ она означаетъ высшую степень опытнаго познанія Бога, духъ премудрости и откровенія, называемый просвѣщеніемъ (Ефес. I, 17), которое весьма отлично отъ просвѣщенія начальнаго, состоящаго только въ обращеніи человѣка отъ тьмы къ свѣту, изъ-подъ власти сатаны къ Богу (Дѣянія XXVI, 18). Оба значенія показываютъ, что средствомъ къ мистическому вѣдѣнію и къ мистическому состоянію служить опытъ, практика, какъ это мы уже видѣли, говоря о зарожденіи мистики, обусловленномъ фактами внутренней жизни христіанъ, которые на себѣ самихъ испытывали дѣйствіе откровеннаго ученія. Лишь тотъ, слѣдовательно, можетъ судить о внутренней сокровенной жизни, понимать мистическія писанія, кто самъ жилъ такою жизнью, кому извѣстенъ ее путь, отъ начала до конца, со всѣми его стадіями. Разумъ и ученость здѣсь ни при чемъ: необходимо опытное дознаніе, внутреннее свидѣтельство, котораго никакая книга не можетъ ни дать, ни отнять. Чтобы истинно познать Христа, надобно самому начать жить Его жизнью, и мы по столько будемъ познавать Его, по сколько этой жизни будетъ въ насъ прибывать ⁽³⁾.

На основаніи сказаннаго, мистики отрицаютъ право естественнаго разума судить о дѣлахъ вѣры. Они ведутъ постоянную войну съ нимъ не только въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ хочетъ заявить свою силу, относясь отрицательно къ предметамъ духовнымъ, но и въ случаяхъ противоположныхъ, когда онъ заявляетъ притязанія дѣйствовать на пользу вѣры, т. е. утверждать и поддерживать ее своею силою. По ихъ взгляду, умъ безсиленъ для

¹⁾ С. В. 1817, сентябрь, въ ст.: Духъ и истина (о двоякомъ смыслѣ словъ Св. писанія).

²⁾ Письма христіанинъ (1815). Письмо 2-ое, стр. 20.

³⁾ С. В. 1817, октябрь, стр. 66—67, и декабрь, стр. 312—313, 316—317.

такого дѣла; дары духа выше его; область, уму предоставленная, есть міръ физическихъ явленій, гдѣ онъ и долженъ вращаться съ своею способностію наблюдать, сравнивать и выводить общія заключенія. У міра духовнаго есть свой собственный разумъ, называемый иначе вѣрою. Методъ, которымъ этотъ разумъ руководствуется, состоитъ въ трехъ предметахъ: признаніи повсѣдневнаго креста въ нашей жизни, т. е. двухъ, постоянного пресѣкающагося направленій, очищеніи и молитвѣ (1). Разумъ вѣры есть свѣтъ божественный: онъ сообщаетъ человѣку внутреннее свидѣтельство, которое ниспосылается самимъ Богомъ чрезъ Духа Святаго, и потому имѣетъ силу полной достовѣрности, непреложной истины: Знаніе, добываемое разумомъ вѣры, есть Божественная философія, противоположная философіи мірской: послѣдняя есть философія по преданію человѣковъ, по вещественнымъ началамъ міра, тогда какъ первая есть философія по Христѣ, въ которомъ сокрыты всѣ сокровища премудрости и вѣдѣнія (Колос. II, 3 и 8) (2).

Но чтобы имѣть духовный разумъ, или разумъ вѣры, человѣкъ долженъ возродиться, соединиться съ Богомъ. Невозрожденный не понимаетъ и не можетъ понять ни того, что есть Духа Божія, ни того, что есть духа натурн. Только въ Богѣ можно видѣть вещи, каковы онѣ суть (3). Чтобы истинно и вполне знать какой-либо предметъ, надлежитъ самому сдѣлаться этимъ предметомъ: до тѣхъ же поръ настоящее познаніе каждаго предмета невозможно (4). Здѣсь мистики, какъ заграничные, такъ и наши, для разъясненія своей мысли пользуются трактатомъ Бема: «Mysterium magnum» (великое таинство). Подъ именемъ великаго таинства, Бемъ разумѣетъ Слово, какъ Творца всѣхъ существъ (Колос. 1, 15 и 16). Естественный разумъ никогда не созерцалъ образованія зародившейся жизни; его еще не было, когда великое таинство совершало свои первыя дѣйствія; слѣдов. постигнуть это таинство также невозможно уму, какъ плоти и крови невозможно войти въ царствіе небесное. Постигненіе доступно только божественному вѣдѣнію, а средство къ такому вѣдѣнію состоитъ единственно въ томъ, чтобы таинство явилось въ человѣкѣ истиннымъ рожденіемъ въ душѣ его. Всякое знаніе, какъ духовное, такъ и физическое—чтобы быть дѣйствительнымъ знаніемъ—должно быть рождено въ насъ. Поэтому мы можемъ знать о Богѣ только посредствомъ Его рожденія въ

1) Въ память Сперанскаго, стр. 886—889.

2) Божеств. философія, Дю-Туа, т. 3, стр. 9—11 и д.

3) Въ память Сперанскаго (Письмо Сперанскаго къ Теофилактѣ).

4) С. В. 1817, декабрь, стр. 816—817.

насъ. Богъ отсутствующій, отдѣленный отъ насъ, есть Богъ невѣдомый. Если свѣтъ открывается не иначе какъ свѣтомъ, а тьма не иначе какъ тьмою, то и Богъ открывается намъ не иначе, какъ Богомъ. Тоже самое относится и къ природѣ. Человѣку нельзя ничего знать о ней, если самыя дѣйствія ея не обнаружатся внутри его живымъ образомъ, рожденіемъ. Въ каждомъ существѣ является лишь то, что существуетъ въ немъ въ зародышѣ. Онъ можетъ произвести что-либо внѣ себя лишь развитіемъ сѣмянъ, предварительно въ него вложенныхъ. Думать, что возможно принести что-либо извнѣ и помѣстить внутри существа, сообщить ему какое-либо знаніе, которое не есть произведеніе его собственной жизни, такъ же безразсудно, какъ безразсудно поминать о выпрощеніи дуба съ его вѣтвями внѣ земли и о приставкѣ его потомъ къ корню, выросшему изъ земли⁽¹⁾. Такъ какъ возрожденный живетъ въ Богѣ и Богъ въ немъ, то Бемъ и предлагаетъ читателю путь внутренней, самоотреченной жизни, приводящей къ соединенію съ Богомъ: чтобъ услышать глаголы Божіи, надобно воспарить туда, гдѣ нѣтъ никакой твари, замолчать всѣми своими мыслями, чувствованіями и желаніями. Оставя міръ, ты войдешь въ то, изъ чего міръ произошелъ; оставя жизнь и обезсилѣвъ свою собственную силу, ты обратишь Бога, откуда произошла жизнь⁽²⁾. Только при внутренней субботѣ (покоѣ) можно познавать истину вещей⁽³⁾.

Основа мистики лежитъ въ возвращеніи на религію. Существенный вопросъ религіозной доктрины — отношеніе конечнаго (человѣка) къ безконечному (Богу). Отъ двоякаго взгляда на это отношеніе являются два различныхъ направленія. По одному взгляду, конечное существенно соединено съ безконечнымъ, такъ что разединеніе между ними, какъ: нѣчто случайное, временное, можетъ и должно быть замѣнено восстановленнымъ единствомъ; по другому взгляду, безконечное находится въ неизмѣримомъ отдаленіи отъ конечнаго, почему они противопологаются одно другому и единство между ними почитается случайнымъ, только при извѣстныхъ условіяхъ достижимымъ. Направленіе, определяемое первую точкою зрѣнія, называется имманентностью; направленіе, происходящее отъ второй точки зрѣнія — трансцендентностью. Оба направленія не исключаютъ другъ друга безусловно, а различаются преобладаніемъ того или другаго принципа, обуславливающимъ характеръ цѣлаго.

⁽¹⁾ La voix de la science divine (разговоръ 2-ой—изложеніе Векова ученія).

⁽²⁾ Путь ко Христу, Вема (книга 5: о сверхчужественной жизни).

⁽³⁾ Златая книжка, стр. 72.

Согласно первому воззрѣнію, мистикъ видитъ въ человѣкѣ твореніе Бога, къ которому онъ долженъ возвратиться, какъ въ своему источнику. Душа, по своему прохожденію, божественна. Сколь бы ни была она испорчена и потемнена земною живію, божественная сущность, печать ея происхожденія, всегда при ней остается. Основаніе души, такъ называемый центръ или искра, составляетъ ея высшую, духовнѣйшую часть. Оно-то постоянно стремится къ Богу; въ немъ-то никогда не замираетъ это стремленіе, почему воля и обладаетъ возможностью уклониться отъ всего конечнаго и направиться къ Безконечному. Но чтобы соединиться съ Богомъ, надобно отречься отъ самости, стяжать духовную нищету, обратиться въ ничто. Это исхожденіе человѣка изъ самого себя, для принятія въ себя Бога, прообразовано повелѣніемъ, даннымъ Аврааму: «изыди отъ земли твоея, и отъ рода твоего, и отъ дому отца твоего» (Быт. XII, I). И когда такимъ образомъ во внутреннѣйшемъ основаніи души будетъ уготовано надлежащее мѣсто, то скорѣе натура оставитъ что-либо не наполненнымъ, чѣмъ Богъ оставитъ уготованное мѣсто пустымъ, ибо это было бы противно Его сущности. Вхожденіе Бога въ душу называется иначе рожденіемъ Сына или Слова въ душѣ — высчайшей формой, въ которой Богъ является отдѣльной душѣ, изрекаетъ въ ней свое Слово. Процессъ этого рожденія, по толкованію мистиковъ, тождественъ съ вѣчнымъ имманентнымъ процессомъ рожденія Сына въ Божествѣ. И какъ о Богѣ, такъ и здѣсь о душѣ говорится, что она родила Сына. Вотъ почему Таулеръ и различаетъ, въ своихъ проповѣдяхъ, троякое рожденіе: предвѣчное рожденіе Единороднаго Сына отъ Отца, рожденіе Сына отъ Дѣвы Маріи, во времени совершившееся, и постоянное, духовное рожденіе Сына въ правдоуверной душѣ (1).

Къ мистикѣ примыкаетъ теософія, стремящаяся открыть въ явленіяхъ природы образы божественной сущности и процессы божественной жизни. Она была высоко цѣнима у насъ — и въ прошломъ вѣкѣ, людьми Новиковскаго круга, и въ царствованіе Александра I, издателемъ Сіонскаго Вѣстника, часто слышавшимся къ ея воззрѣніямъ, почерпавшимъ изъ сочиненій Парацельса, Бема, Сведенборга, Сень-Мартена и другихъ. Увлеченіе теософіей Новиковъ сохранилъ до конца жизни, какъ видно изъ его писемъ къ Карамзину, въ которыхъ онъ мысли, выраженные въ «Разговорѣ о счастьи» и «Письмахъ Мелодора

1) Lanson: Eckhart; Таулеръ: Predigten; Дю-Туй: Христіанская философія; Гюйонъ: Ежедневныя христіанскія упражненія.

и Филарета», претивополагает своей, «небесной философии» (1). Лопухинъ былъ также убѣжденъ въ высокой важности и пользѣ теософiи и называлъ ее «теорiей внутренняго познанiя, происходящаго изъ училища небеснаго», вовсе не похожаго на познанiе школьное. По словамъ его, теософiя «отерывастъ въ самой послѣдней твари, въ самомъ брѣнномъ растенiи, образъ воплощеннаго Слова и всего того, что сотворило Оно для спасенiя нашего, образъ всѣхъ его таинствъ, зачатiя, рожденiя и всего хожденiя его въ мiръ до самаго совершенiя искупительнаго Его пришествiя на землю. Не менѣе полезна и химiя (разумѣется, теософическая)—«то искусство, которымъ просвѣщенные соединяють, раздѣляютъ, разрушаютъ существа, развиваютъ ихъ составъ и возвращаютъ въ источники ихъ стихiи, и при семъ дѣйствii собственными ихъ очами созерцають таинства Иисуса Христа, послѣдствiе страданiя Его, и въ сокращенiи и въ химическомъ явленiяхъ видятъ все происшествiе и слѣдствiя Его воплощенiя» (2). Какъ ревнитель теософiи, Лопухинъ стоитъ близко къ Дю-Туа, который, разсуждая о трехъ зеркалахъ Божества (человѣкъ, мiръ или физической природѣ, откровенiи), во второмъ зеркалѣ видитъ во всей подробности таинства религiи: «натура подтверждаетъ все то, что изъ божественныхъ истинъ откровенiе предлагаетъ вѣрѣ христiанина; всѣ таинства религiи, безъ исключенiя, можно видѣть и читать внимательными очами въ физикѣ, въ дѣянiяхъ природы и во всемъ порядкѣ вселенныя (3). Другой теософъ (Дузтанъ) разсматриваетъ чудеса креста во внѣшней природѣ и доходитъ до такихъ странныхъ мечтательныхъ выводовъ, въ которыхъ было бы смѣшно искать какой-либо осмысленной оновы (4). Другими глазами смотрѣлъ на теософiю Спермекiй: «вся наша духовность сводилась къ теософiи: къ ней же относятся творенiя Беама, С. Мартена, Сведенборга и т. п. Это лишь азбука. Десять лѣтъ провѣлъ я въ ея изученiи, и когда я думаю, что я овладѣлъ всѣмъ, я трудился лишь надъ начатками. Это было преддверiе царства Божiя» (5). Слова апостола Павла въ Посланiи къ Римлянамъ, что и тварь ожидаетъ откровенiя сыновъ Божiихъ, потому что она подверглась суетѣ (не сама собою, но тѣмъ, кто подвергъ ее) съ надеждою, что она освободится изъ рабства тлѣнiя въ сво-

1) Письма Гамалѣи, изд. 2 (1886).

2) Нѣкоторыя черты о внутренней церкви, 2-ое изд. (1801).

3) Божеств. философiя, т. 2, кн. 4, гл. 3, стр. 82 и д.; кн. 5, гл. 1.

4) Таинство креста, переводъ Лабзина (1814), гл. XIII.

5) Письмо къ Цейлеру, 1814 г. (Рус. Арх. 1870, стр. 176). Спермекiй началъ слѣдовательно заниматься теософiей съ 1804 г.

боду славы чадъ Божіихъ, а теперь совсѣнно съ нами стѣсняетъ и мучится (гл. VIII, ст. 19.—22), — эти слова дали теософамъ поводъ пускаться въ толкованія ихъ, сообразно съ своими понятіями. Міръ физическій, говоритъ Сентъ-Мартенъ, носитъ слѣды грѣхонаденія: онъ сдѣлался нашей темницей и могилой, а не жилищемъ славы; наша смертная скорбь проникла и въ него, и онъ ее чувствуетъ, на сколько въ немъ есть жизни и силы. Онъ на болѣзненномъ одрѣ, ибо, съ паденіемъ Адама, чуждое вещество вошло въ него и непрестанно стѣсняетъ и тревожитъ принципъ его жизни. Намъ предстоитъ принести ему слова утѣшенія, которыя помогутъ ему сносить его бѣдствія; намъ предстоитъ возвѣстить ему объѣтъ освобожденія ⁽¹⁾. Возрожденіе человѣка и міра, приведеніе всего истекшаго изъ Бога и разсѣяннаго въ тваряхъ должно совершиться въ порядкѣ постепеннаго восхожденія. Сколь нужно человѣку, умерщвленіемъ обветшалаго существа своего, возстать изъ мертвыхъ чрезъ Христа и родиться въ жизнь вѣчную, столькожъ и натура ожидаетъ прежде свободы сыновъ Божіихъ, чтобы потомъ самой освободиться отъ плѣна ⁽²⁾. Сіонскій Вѣстникъ изложилъ свои теософическія понятія въ нѣсколькихъ статьяхъ, содержаніе которыхъ сводится къ слѣдующему: Наука, имѣющая предметомъ своимъ отношеніе между видимымъ и невидимымъ, заключаетъ съ себѣ тройное познаніе: человѣка, природы и Творца. Человѣкъ есть малый міръ: слѣд. кто познаетъ самого себя, тотъ познаетъ природу въ ея концентраціи (микрокосмѣ) и для него не будетъ неизслѣдимыхъ въ ней тайнъ. Объясняя натуру откровеннымъ словомъ, а откровеніе натурою, мы должны познавать изъ оныхъ волю Божию и по ней учреждать свою жизнь для достиженія блаженной вѣчности ⁽³⁾. Между причинами, породившими разносторонніе толки въ путяхъ воссоединенія, или религіи, не послѣдняя есть та, что при чтеніи Св. Писанія мало совѣтовались съ натурою и не находили гармоніи между двумя свѣтами. Приведа вышеуказанные тексты изъ Посланія къ Римлянамъ, Сіонскій Вѣстникъ замѣчаетъ: вотъ что Св. Писаніе сказываетъ, а философская химія показывается. Что же доказываетъ философская химія? какъ она толкуетъ тайное воздыханіе твари, молчаливое ожиданіе ея блаженства? «По наукѣ извѣстно, что самыя послѣднія изъ тѣлъ заключаютъ въ себѣ начала благороднѣйшія, коихъ они суть темницы; всѣ они содержатъ въ себѣ частицы огня,

¹⁾ Franck: La philosophie mystique en France (стр. 103).

²⁾ Мысли на досугѣ, стр. 122.

³⁾ Дружеская бесѣда о состояніи человѣка на земли (С. В. 1817, августъ)

повсюду разлитого, который есть сокровищница натуры... Сей-то внутренний огонь, во всѣхъ тѣлахъ скрытый, наружнымъ огнемъ возбужденный и освобожденный, сожметъ всѣ тѣла и превратитъ нашу землю въ свѣтлый, прозрачный, кристалловидный шар... Такимъ образомъ въ послѣдній день великаго пожара самое грубое вещество просвѣтится и прославится и также воскреснетъ въ воскресеніе живота, т. е. неизмѣнимости, нетлѣнія, о чемъ вся тварь имѣетъ скрытнѣе чаяніе, по словамъ апостола Павла. Изъ сего оказывается чудная гармонія между натурою и благодатію. Ученіе натуры показываетъ намъ, что всѣ существа всѣхъ трехъ царствъ ни истлѣніемъ, ни сожженіемъ не уничтожаются, но возводятся тою же въ свои начала или, какъ другіе то называютъ, въ свой хаосъ, изъ коего произошли. Ученіе благодати говоритъ также: «самъ внѣшній нашъ человѣкъ тлѣетъ, внутренний обновляется» (2 Кор. IV, 16) ⁽¹⁾. Статья, изъ которой приведена эта выписка, есть не что иное, какъ болѣе пространное развитіе мыслей Дю-Туа, объяснявшаго 22-й стихъ 8-ой главы Посланія къ Римлянамъ ⁽²⁾. Протестантскій теософъ находилъ предчувствіе вышеизложенныхъ истинъ (сожженія земнаго шара и его славнаго преобразования) у язычниковъ. Онъ цитируетъ стихи Овидія: «придетъ время, когда море, земліа и небесный чертогъ, охваченныя (пламенемъ) будутъ горѣть, и придетъ въ разстройство многотрудное сооруженіе міра» ⁽³⁾. Изреченіе это, по словамъ теософа, можетъ быть приравнено къ тексту апостола Петра: «придетъ же день Господень яко тать въ нощи, въ онъ же небеса съ шумомъ мимо идутъ, стихіи же сжигаемы разорятся, земля же и яже на ней дѣла сгорятъ» (2 Петр. III, 10). Вотъ глухое стenanіе матеріи и тѣлъ! заключаетъ авторъ. Вотъ нѣмое ихъ желаніе получить благороднѣйшее битіе, которое и будетъ ихъ концемъ, когда учинятся они прославленными тѣлами, сообразными тѣламъ прославленныхъ и небесныхъ духовъ, подобно какъ нынѣ грубая земля сообразна грубости нашихъ тѣлъ.—Лопухинъ, въ Запискахъ своихъ, указываетъ занятія членовъ новиковскаго круга: они упражнялись въ познаніи самихъ себя, творенія и Творца по правиламъ той науки, о которой говоритъ Соломонъ въ книгѣ Премудрости: Сей (Богъ) даде мнѣ о сущихъ познаніе неложное, познати составленіе міра и дѣйствіе стихій, начало и конецъ и средину вре-

¹⁾ Дружеская бесѣда на день Преображенія Господня (ib. 1806, августъ).

²⁾ Бож. философія, т. I. выноска на стр. 34—37. Главу эту, подавшую поводъ къ объясненіямъ, Дю-Туа называетъ «по истинѣ божественною».

³⁾ *Affore tempus, quo mare, quo tellus correpta quae regia coeli, ardeat, et mundi moles operosa laboret* (Метаморфозы, кн. 1, стихи 255—257).

мень, возвратовъ премѣнъ, и измѣненія временъ, лѣтъ круги, и звѣзды расположенія, естество животныхъ, и гнѣвъ звѣрей, вѣтровъ усиліе, и помышленія человѣковъ; разнство лѣтораслель, и силы корней (VII, 17—20). Теософы особенно уважали эту книгу, называя ее книгой природы, а самую природу — вѣдѣніемъ вещей божественныхъ и человѣческихъ. Впрочемъ, по сбиивчивости представлений, ведущей за собой неумѣнье опредѣлять соотношенія предметовъ, различныхъ или сходственныхъ, они на ряду съ теософіей ставили герметическую науку (алхимию), изобрѣтеніе которой приписываютъ Гермесу Трисмегисту, египетскому Меркурію, а иногда и сливали ихъ во-едино.

Изложивъ религіозную мистику, какъ она явилась у насъ, въ нашихъ мистическихъ книгахъ и журналахъ, мы видимъ, что одни изъ ея положеній образуютъ такъ называемую чистую мистику, а другія относятся къ положеніямъ мистики нечистой. Къ послѣднимъ принадлежатъ тѣ именно, которыя впадаютъ въ противоположность утвержденнымъ догматамъ вѣры; таковы: мысли о вѣчномъ откровеніи и вѣчномъ христіанствѣ, о превосходствѣ внутренняго слова надъ Священнымъ Писаніемъ, о ненужности внѣшняго посредства между человѣкомъ и Богомъ, о внутренней церкви. Доказывать, что мистика есть первичная и единственная форма христіанскаго вѣдѣнія, что жизнь мистика есть абсолютный идеалъ истинно-евангельской жизни, значитъ уничтожать въ принципѣ всякую церковь: ибо на одномъ созерцательномъ погруженіи въ Богъ и просвѣщеніи отъ Бога нельзя построить не только церкви, но и никакого религіознаго строя жизни, никакого общаго ученія, даже секты или школы. Но, съ другой стороны, несправедливо не давать мистикѣ никакого права въ области христіанскаго ученія и христіанской жизни; въ томъ и другомъ предметѣ она составляетъ необходимый элементъ, обусловливаемый сущностью Евангелія, но только какъ элементъ, который не можетъ обособляться самостоятельно, не впадая въ неправоту и заблужденіе. Плодотворное значеніе ея въ восточной церкви указано авторитетными судьями предмета: «Она развила въ послѣдователяхъ внутреннее, сердечное и искреннее благочестіе, которое не ограничивается исполненіемъ внѣшнихъ дѣлъ благочестія, но стремится достигнуть чистоты души и сердца, благодатнаго освященія всего человѣческаго существа. Богословско-мистическое направленіе стало въ связь съ христіанскимъ богослуженіемъ и руководило его разумѣніемъ: въ восточной церкви всѣ обряды богослуженія не остались внѣшними только дѣйствіями, но удержали таинственный смыслъ и духовное значеніе; мысль христіанская отъ внѣшняго и чувственнаго воз-

вышало къ духовному и божественному. Направленіе это пріобрѣло такихъ послѣдователей, какъ Максимъ Исповѣдникъ, Георгій Пахимерь, Николай Кавасила и Симеонъ архіепископъ ессалонійскій, которые были первыми людьми своего времени ⁽¹⁾.

Какъ отнеслись къ нашей мистической литературѣ и духовныя и свѣтскія лица? Сильное сочувствіе къ ней съ одной стороны равнялось столь же сильному неудовольствію съ другой. Лабзину извѣстно было и то и другое. Онъ гордился знаками особеннаго расположенія къ нему нѣкоторыхъ іерарховъ, напр.: Теофилакта (архіепископа калужскаго) и Даніила (архіепископа могилевскаго и витебскаго), помѣщалъ письма разныхъ особъ, изъявлявшихъ ему благодарность, какъ издателю, и былъ увѣренъ, что журналъ его читается многими съ охотой и любовью; но въ тоже время онъ зналъ и предубѣжденіе, господствовавшее даже между многими добрыми христіанами противъ всего, что вообще называется мистическимъ, или таинственнымъ ⁽²⁾. Другой мистическій журналъ «Другъ юношества» не возбуждалъ такого любопытства, какъ Сіонскій Вѣстникъ, и не давалъ поводовъ къ толкамъ и пересудамъ. Его считали неважнымъ, даже смѣялись надъ нимъ. Въ немъ и не было ничего такого, что могло бы обратить на себя особенное вниманіе: издатель его, добрый и честный, но ординарный по своимъ способностямъ человекъ, принадлежалъ скорѣе къ пѣтистамъ, чѣмъ къ мистикамъ, и потому имѣлъ въ виду только нравственную цѣль — вести читателей къ благочестивой христіанской жизни.

Первое по времени сочиненіе, направленное противъ нѣкоторыхъ мистическихъ положеній, вышло въ свѣтъ еще до появленія Сіонскаго Вѣстника, подъ заглавіемъ: «О внѣшнемъ богослуженіи и наружныхъ дѣйствіяхъ человека христіанина» (3 тома, 1803). Авторъ его — Иванъ Петровъ (Полубенскій), священникъ московской единовѣрческой церкви, поставилъ себѣ цѣлью рѣшеніе слѣдующей обширной задачи: дать ясное и точное понятіе о истинномъ смыслѣ и разумѣ Евангелія для тѣхъ, которымъ оно еще не ясно; сравнить и взвѣсить мнѣнія инославныхъ по многимъ церковнымъ матеріямъ и богословскимъ вопросамъ; проникнуть, гдѣ слабое мѣсто въ философскихъ системахъ; писателямъ книгъ религиозныхъ дать нужныя наставленія; открыть секретъ узнавать антихристовыхъ служителей; научить узнавать, кто истинный смыслъ Христова ученія уклоняетъ въ сторону; удѣлить горюшное

¹⁾ Рус. литература о сочиненіяхъ св. Діонисія Ареопагита, свят. Смирнова (Правосл. Обзоріе, 1872, июнь).

²⁾ О мистикахъ (С. В. 1817, октябрь).

верно въры тѣмъ, нои мало о томъ думаютъ; внутреннее теченіе христіанства въ ясномъ видѣ представить; ложнотинные истуканы лжеувѣренности сокрушить; волшебное чудовище превратнаго мірскаго мнѣнія и ложной славы нивергнуть; іериконскія стѣны грѣка гласомъ трубнымъ поколебать; дски безчеловѣчнаго любостязанія опровергнуть; гдѣ была слѣпая радость плоти и мертвое веселіе— ввести благороднѣйшее снстолюбіе сей жизни ⁽¹⁾; убѣжденіемъ и примиреніемъ отмстить за честь въры ругателямъ ⁽²⁾. По отзыву Филарета, архіепископа черниговскаго, книга эта «въ свое время, безъ сомнѣнія, много принесла пользы, когда чувственная философія не хотѣла знать никакихъ другихъ наслажденій, кромѣ чувственныхъ, и довольная гордыми мечтами о своемъ служеніи уму презирала всѣ принадлежности внѣшняго богослуженія» ⁽³⁾. Но, кромѣ философіи, авторъ долженъ былъ вести счеты и съ мистиками. Такъ какъ въ книгѣ Лопухина: «Нѣкоторыя черты о внутренней церкви», все богослуженіе почти исключительно сведено на внутренность, то надобно было, въ противоположность такому взгляду, указать необходимость внѣшнихъ обрядовъ, что и поставилъ своею задачею авторъ означеннаго сочиненія. Онъ недоумѣваетъ, почему систематики мистическаго просвѣщенія нападаютъ на обряды, какъ будто бы всякій христіанинъ уже сдѣлался духомъ и столь уже совершенъ, что плоть ему ни малѣйше не препятствуетъ въ успѣхахъ благочестія и что ей не нужны никакія покаянныя помощи. Различая двоякую наружность: одну — лицемерную, или на-показъ, безъ внутреннего чувства въры и любви къ Богу, и вторую, необходимо связанную съ челоѣвѣкомъ-христіаниномъ, онъ утверждаетъ, что безъ послѣдней нельзя содержать своей въры и совершить дѣла спасенія своего и что ее наблюдали самъ Христосъ и всѣ святые. *Сердцемъ изрывается въ правду, усты же исповѣдуются во спасеніе*. Слѣдов. не исповѣдовать устами свою въру, хотя бы сердечная въра и была какой-нибудь, есть недостаточная и ботопротивная внутренность. На мистику вообще смотритъ авторъ, какъ на такое ученіе, существенное содержаніе котораго доступно всѣмъ христіанамъ, держащимся наилучшаго, т. е. православнаго исповѣданія, заботящагося главнымъ образомъ о внутреннемъ, духовномъ возрожденіи; но приписывать ей что-либо особенное значитъ обнаруживать слѣдное

⁽¹⁾ На 126 стр. 1-го тома сказано, что снстолюбіемъ сей жизни прендобный Ефремъ Сиринъ называетъ въру христіанскую, какъ высочайшее веселіе духа.

⁽²⁾ Т. I, стр. 16—18.

⁽³⁾ Обзоръ русской духовной литературы (1861), кн. 2.

пристрастіе жаркаго сектатора и явно склоняться къ протестантскимъ мнѣніямъ. Протестантская систематика въ сужденіи о наружныхъ дѣлахъ имѣетъ въ виду только отборнѣйшій, аристократическій, по состоянію и образованію, классъ людей, какъ бы не желая знать народъ, во всѣхъ исповѣданіяхъ одинаковій. Авторъ критикуетъ нѣкоторыя мѣста выше упомянутаго извлеченія изъ сочиненій Таулера (Краткія разсужденія о важнѣйшихъ предметахъ жизни христіанской). Онъ иронически относится къ совѣту нѣмецкаго мистика крестьянину—не ходить въ церковь, а безпрестанно думать о Богѣ, даже во время работы: такой «земледѣлецъ долженъ быть весьма въ знаніи далека, чтобъ не заимствовать онаго въ церковныхъ собраніяхъ, въ которыхъ нечувствительно научается христіанинъ всему составу спасенія, поддерживается противъ искушеній, утѣшается въ скорбныхъ обстоятельствахъ. Притомъ если взять въ разсужденіе русскаго мужика, на господской работѣ состоящаго, ежедневно то тѣмъ, то другимъ дѣломъ до-сита занятаго, то сіе будетъ явное немилосердіе отнять у него и послѣднее утѣшеніе сходить въ церковь, а между тѣмъ лошадямъ дать нѣкоторое время отдохнуть, да и господина самого симъ правиломъ ввести можно въ грѣхъ. Однимъ словомъ, христіанинъ, образованный по правиламъ и системѣ сего просвѣщенія, хотя можетъ учить и править цѣлымъ міромъ (какъ сказано въ Краткихъ разсужденіяхъ) ⁽¹⁾, только не худо бы его передъ тѣмъ года на двана-три опредѣлить пожить въ деревнѣ, чтобы онъ могъ тамъ удостовѣриться, что носящимъ тяготу дне и варъ поселянамъ истинно не очень выгодно. быть могутъ нѣмецкіе пріемы». Осуждается также авторомъ теософія, слѣды которой, какъ мы видѣли, находятся въ нѣкоторыхъ чертахъ о внутренней церкви. На предложенный себѣ вопросъ: «есть ли въ созданной натурѣ какіе-либо слѣды, доказывающіе Троицу въ Богѣ?» онъ отвѣчаетъ: «Подобныя исканія только затемняютъ истину и напоминаютъ слова стихотворца: *«fecistis probe! incertior sum multo, quam dudum, т. е. изрядно сдѣлал! я меньше разумѣю теперь сіи вещи, нежели зналъ прежде до васъ»*. Легкое и удобное было бы средство увѣрять Фреретскія и Буланжерскія души ⁽²⁾, когда бы изъ созерцанія природы можно было доходить до познанія о таинствѣ Св. Троицы и даже видѣть точные слѣды страданія и смерти Христовой изъ натуральныхъ перемѣнъ многообразныхъ существъ. Такимъ образомъ, чтобъ

⁽¹⁾ 1-ое изд. (1801), стр. 176.

⁽²⁾ Фрере (Freret), ученому и критику XVIII-го, и Буланже (Boulanger), того же вѣка, приписывались дѣятели антирелигіознаго соціалізма.

убѣдить невѣрующаго, стоило бы только послѣ катихизиса для усовершенствованія въ вѣрѣ посадить его въ классъ экспериментальной физики и химическихъ опытовъ, и послѣ сего не долго бы уже ему было дожидаться, чтобы сказать въ самомъ себѣ тоже, что Лютеръ негдѣ, издѣваясь, заставляетъ мыслить Меланхтона: «sic ego, qui ego». Замѣтимъ, что книга, о которой мы говоримъ, выказывая въ авторѣ большую начитанность, отличается однакожъ странно-оригинальнымъ способомъ изложенія. Это изложеніе напоминаетъ манеру нашихъ малорусскихъ ученыхъ XVII вѣка, которые въ своихъ богословскихъ трактатахъ допускали смѣшеніе тоновъ и даже проповѣди наполняли сатирическими, ироническими и комическими выходками, смотря на нихъ какъ на средство къ достиженію цѣли, т. е. къ убѣженію слушателей въ истинѣ и къ направленію ихъ на путь истинной нравственности. Тоже въ большой мѣрѣ видимъ у священника Петрѣва, вѣроятно малорусскаго уроженца, судя по многимъ словамъ и выраженіямъ: серьезное и важное постоянно чередуется у него съ шуточнымъ и причудливымъ, примѣры чего представляемъ въ выноскѣ. Вся книга испещрена цитатами на иностранныхъ языкахъ, особенно на французскомъ, такъ какъ она преимущественно обличаетъ ученіе французскихъ философовъ XVIII вѣка. Самое посвященіе ея «театральнымъ, упражняющимся во врачебной наукѣ и отъѣзжающимъ въ чужіе края» поражаетъ своею неожиданностью. Почему театральнымъ? потому, что «театръ хотя и пользуется гражданскою терпимостью, но церковь всегда будетъ не довѣрять театальной нравственности». Почему медикамъ? потому, что «христіане по тѣлу имѣютъ большую связь (т. е. сношеніе) съ ними; слѣдовательно надобно, чтобы въ недоумѣнныхъ толкованіяхъ никто со стороны церкви не наставленнымъ не оставался и чтобы всякъ зналъ, что церковныя учрежденія соображены съ натурою человѣка и съ правилами самой медицины и что благонамѣренная медицина церковнымъ учрежденіямъ противорѣчить не можетъ, ибо какъ церковь, такъ и медицина равно хранятъ человѣческое здравіе тѣлесное и спасеніе души». Наконецъ, почему отъѣзжающимъ за границу? «Многіе отъѣзжаютъ на долгое время и съ перемѣною мѣста перемѣняютъ отечественныя мысли въ разсужденіи самаго закона (христіанскаго). Для многихъ путешественниковъ медики и театральные служатъ вмѣсто духовниковъ: по совѣту однихъ управляютъ они свою наружность, а по наставленію другихъ свою внутренность. Иногда жъ попадаютъ они на раскольническихъ бѣглыхъ ренегатныхъ жрецовъ природы. Для того предложены по возможности всѣ нужныя свѣдѣнія, чему тамъ (особенно въ Па-

рижѣ) полезному въ разсужденіи религіи научиться можно и отъ чего вреднаго предохраниться. По многимъ причинамъ мы совѣтуемъ путешествующимъ—на границѣ французской прочитать про себя символъ вѣры и въ мысленныхъ вмѣстительныхъ (скобкахъ) включить слѣдующее: «Распятаго же за ны при (французѣ) Понтістѣмъ Пилатѣ», прибавивъ къ тому въ мысли Руфиново замѣчаніе: «*Julianus in Gallia Christum abnegavit*», т. е. «Юліанъ въ Галліи Христа отвергся». Сіе сказано по великому множеству французскихъ книгъ, предосудительныхъ для христіанства» ⁽¹⁾.

О первомъ годѣ изданія Сіонскаго Вѣстника (1806) мы имѣемъ отзывъ Евгенія Болховитинова, бывшаго въ то время епископомъ старорусскимъ ⁽²⁾. Выразивъ сожалѣніе, что большая часть журнала наполняется переводами съ нѣмецкаго изъ сочиненій Штиглицовыхъ, а также мартинистскихъ, Евгеній находитъ въ немъ два главныхъ недостатка: во-первыхъ, синкретизмъ, или мнѣніе, будто во всѣхъ религіяхъ, подъ разными только символами, была истинная религія, что ведетъ къ индифферентизму и чего нельзя согласить съ духомъ истиннаго христіанства; во-вторыхъ, мисологизмъ, платонизмъ и математицизмъ, употребляемый мистиками къ изъясненію Троицы и другихъ таинствъ откровенія. Кромѣ того указаны нѣкоторые отдѣльныя мистическія представленія, поражающія своею странностью. Впрочемъ о дѣятельности издателя Евгений говоритъ съ большою похвалою: «Я получаю Сіонскій Вѣстникъ и читаю часто до чувствительнаго умиленія и даже до благодарности Богу, вложившему мысли Лабзину издавать сей журналъ. Онъ многихъ обратилъ, если не отъ развращенія жизни, то по крайней мѣрѣ отъ развращенія мыслей, бунтующихъ противъ религіи».

¹⁾ Вотъ еще два примѣра особенностей въ изложеніи и стилѣ автора:

Неудивительно, что у Бога не всякій безъ разбора будетъ въ раю и что для тѣхъ, которые не хотѣли быть Ему у себя царемъ, есть особый смиренный Мальмезонъ (I, 50).

Приглашая грѣшника къ покаянію, авторъ даетъ ему такіе совѣты: «Не теряй времени, сдѣлай послѣднее усиліе, подвижни твое произволеніе хотя малѣйше на страну спасенія и мудрости, чтобъ потому можно было Христу Спасителю приняться излѣчить застарѣлую и неизлѣчимую твою болѣзнь. Ты сдѣлай сіе, буде хочешь, по философски, только въ другомъ видѣ. Подвигнись, хотя черезъ силу, обернуться ко Христу, такъ какъ умирающій Вольтеръ употребилъ послѣднее усиліе отворотиться отъ священника и такъ умеръ. Мы тебя не обязываемъ слишкомъ въ строгому покаянію, къ покаянію русскому во всей строгости слова. Пусть на первый разъ покается по-нѣмецки, кто нагрѣшилъ по-русски. Пока до времени *ligneus esto* (ib. 54).

Подобныхъ мѣстъ въ книгѣ очень много.

²⁾ Письмо отъ 7 іюля 1806 г. (Москвитинянъ 1848, № 8), слѣдов. послѣ полугодичнаго изданія журнала.

Нѣкоторые изъ противниковъ мистики, частію по невѣжеству, а частію по изувѣрству, скорѣе вредили себѣ, чѣмъ противному имъ дѣлу. Ревность не по разуму внушала имъ такіа обвиненія, которыя не могъ признать справедливыми ни одинъ благомыслящій читатель. Они были даже смѣшны въ своемъ слѣпомъ ожесточеніи, потому что на ряду съ мистическими книгами ставили книги совершенно иного рода, безразлично обзывая тѣ и другія антихристіанскими, еретическими, бѣсовскими, революціонными. Такими именно замѣтками характеризуетъ ихъ Фотій, архимандритъ юрьевскій ⁽¹⁾. Кто читалъ Штиллинга и Эккертсгаузена и кромѣ того зналъ біографію этихъ лицъ, тотъ, конечно, не могъ понять, съ какой стороны слѣдуетъ причислить ихъ къ революціонерамъ или видѣть въ нихъ адептовъ энциклопедіи, какъ это видѣлъ Анастасевичъ въ своей одѣ: «Атила девятаго-надесять вѣка» (т. е. Наполеонъ) (1812). Въ 1816 г., переводчикъ Московской Медико-Хирургической Академіи, губернский секретарь Степанъ Смирновъ, написалъ письмо къ Императору о богохульныхъ книгахъ, въ свое время произведшее говоръ ⁽²⁾. Въ числѣ семи книгъ, имъ указанныхъ, значатся: Агаоклесь или письма изъ Рима и Греціи, г-жи Пихлеръ, и Мученики, Шатобріана!! Наиболѣе опасною почитается Штиллингова «Побѣдная повѣсть», въ которой, «подъ видомъ изъясненія Апокалипсиса, содержатся оскорбительныя хуленія христіанства, наипаче греческаго исповѣданія». Рѣзкое, но мало толковое опроверженіе этихъ хуленій, написанное Смирновымъ, подъ заглавіемъ: «Воплъ жены, облеченной въ солнце», не было издано.

Тоже сочиненіе Штиллинга обратило на себя вниманіе другого критика. Экземпляръ его, поступившій изъ Библіотеки Царскаго Села въ И. П. Библіотеку, весьма любопытенъ по отиѣткамъ и припискамъ, сдѣланнымъ во многихъ мѣстахъ неизвѣстно чьею рукою. Этотъ неизвѣстный читатель, въ произведеніи, объясняющемъ Апокалипсисъ по мистико-религіозному толку, усмотрѣлъ лукавую проповѣдь масона, карбонара и революціонера. Заглавіе книги (Побѣдная повѣсть или торжество вѣры христіанской, твореніе І. Г. Юнга Штиллинга) съ прибавками, ниже означенными курсивомъ, вышло слѣдующее: *«Планъ и манифестъ революціи, подъ красивымъ названіемъ: Побѣдная повѣсть или торжество безвѣрія, подъ именемъ вѣры христіанской, твореніе І. Г. Юнга Штиллинга, естественнаго изъ усердныхъ членовъ тайныхъ обществъ. Не переводъ,*

¹⁾ Списокъ сочиненій, подвергавшихся критикѣ Фотія (Обзоръ рус. духов. литературы, Филарета, кн. 2).

²⁾ Чтенія въ Обществѣ исторіи и древностей россійскихъ, 1858, кн. 4.

а большею частію поддѣлка русскаго карбонарія о Россіи и для Россіи. Приводимъ образчики критическихъ замѣтокъ:

На стр. 223, переводчикъ говоритъ въ выносѣхъ: «Слѣдовательно, любезный читатель, по словамъ автора, худа надежда на миръ, какой бы ни заключили. Кровію должна омыться земля, ибо кровію очищаются беззаконія. Французы, изъ коихъ составляется Франція, большею частію рождены или воспитаны среди ужасовъ революціи и къ нимъ привыкли». Подъ этой выноской читатель написалъ: *О Царь! возьми мѣры: 1824!... 9 лѣтъ отъ заключенія мира* ⁽¹⁾.

На стр. 247—248 говорится, что апокалипсическій звѣрь есть человѣкъ, великій властитель, какъ бы онъ ни назывался—папою, королемъ, императоромъ или просто генераломъ—и что онъ-то есть собственно антихристъ. Въ выносѣхъ къ слову «императоромъ» Лабзинъ, смотрѣвшій на это мѣсто въ книгѣ, какъ на пророчество, замѣтилъ: «сей пунктъ весьма примѣчательнъ, ибо писанъ авторомъ, когда Франція была республикою. Противъ выноски написано: *Уже ли Наполеонъ?—врешь, діаволъ*.

На стр. 277-ой, авторъ выражаетъ мысль, что Церковь, во времени пришествія Господня, приобрѣтетъ общественный духъ, который получитъ чистѣйшее направленіе къ единому на потребу, и что сей общій духъ есть чадо жены, облеченной въ солнце. Читатель отмѣтилъ на полѣ: *конституція*.

На стр. 376, при словахъ: «Мы теперь живемъ въ вечеру пятницы, и въ навечеріи субботы, въ 8-мъ часу: и такъ, братья, бдите и молитесь, и возжигайте свѣтильники! Въ 1836 г. будетъ 3 или 4 минуты девятаго и намъ остается ждать около трехъ четвертей часа только», читатель замѣтилъ: *терминъ революціи подъ видомъ религиознымъ*.

Кромѣ того, на многихъ страницахъ, слова и даже цѣлыя строки подчеркнуты чернилами, какъ скрывающія въ себѣ зловерный смыслъ, крамольныя тенденціи, и противъ подчеркнутаго, вмѣсто положительныхъ заявленій, стоитъ на поляхъ иногда слово *чи!* а иногда слово *зри!* ⁽²⁾.

Наконецъ таже самая книга, вмѣстѣ съ четырьмя другими: Избранныя творенія г-жи Гюнъ, Воззваніе къ человѣкамъ о послѣдованіи внутреннему влеченію Христову, Тайнство Креста, Еванге-

⁽¹⁾ Переводъ Побѣдной повѣсти нап. въ 1815 г., по окончаніи войнъ съ Наполеономъ.

⁽²⁾ Судя по характеру и тону замѣтокъ, рѣшаюсь приписать ихъ извѣстному архимандриту Фотію.

ліе отъ Матея (католическаго патера Госнера), подверглась разбору и осужденію въ «Запискѣ о крамолахъ враговъ Россіи» ⁽¹⁾. Общее мнѣніе какъ объ этихъ такъ и о подобныхъ имъ книгахъ, во множествѣ выпущенныхъ въ свѣтъ, состоитъ въ томъ, что «въ каждой изъ нихъ къ фунту пшеничной муки примѣшанъ фунтъ мышьяку, и потому онѣ, сладко питая своихъ читателей, вмѣстѣ пріятно отравляли ихъ».

Самое сильное нападеніе вообще на мистику и въ частности на Сіонскій Вѣстникъ было сдѣлано книгою Станевича: «Бесѣда на гробѣ младенца о безсмертіи души» ⁽²⁾. Хотя авторъ и держится того мнѣнія, по которому мистики почитались замаскированными революціонерами, врагами правительства и отечества, поклонниками дьявола, но по крайней мѣрѣ критика его направлена противъ всѣхъ почти пунктовъ мистическаго ученія и не довольствуется одними голословными порицаніями. Онъ входитъ въ разборъ cadaго пункта и старается показать его противорѣчіе понятіямъ церковной доктрины. «Мистикомъ» называетъ онъ то лжеученіе, которое, превращая Св. писаніе въ иносказательный, духовный и таинственный смыслъ, старается затмить истинный разумъ онаго и испровергнуть вѣру и церковь. Главнымъ обвиненіемъ служить взглядъ мистиковъ на церковь: оно составляетъ существенное содержа-

¹⁾ Руск. Арх. 1868. См. также: Записки (сокращенныя) А. С. Шишкова (1863) и Записки (полныя), мнѣнія и переписка А. С. Шишкова, изданіе Н. Киселева и Ю. Самарина, 2 т. (Берлинъ, 1870). Сочиненіе Записки приписываютъ князю С. Шихматову, любимцу Шишкова.

²⁾ Первое изданіе этой книги (1818), въ министерство ин. Голицина, было запрещено, за содержащіеся въ ней «зловредныя и противныя нашему вѣроисповѣданію правила», но въ 1825-мъ разрѣшено второе изданіе оной, по представленію Шишкова, который, такимъ образомъ, загладилъ несправедливость своего предшественника.

Заглавіе книги объяснено авторомъ въ концѣ ея (стр. 304) словами, обращенными къ матери умершаго младенца: «я избралъ лучше содѣлать гробъ вашей дочери мѣстомъ христіанскаго поученія, назиданія, просвѣщенія, нежели надгробнымъ рыданіемъ». Авторъ сознавалъ смѣлость своего дѣла въ виду увлеченія мистикомъ: «Не неизвѣстенъ мнѣ духъ настоящаго времени, почему очень знаю, какъ многіе вознегодуютъ за такой отзывъ мой о нынѣшнихъ у насъ писателяхъ (Сенъ-Мартенъ, Дю-Туа), но также знаю, что *попиноватися подобаетъ Божии паче нежели челоукомъ* (Дѣян. V, 29). Придутъ времена, прореченныя Иисусомъ, апостолами и пророками, когда антихристъ воссѣдетъ на мѣстѣ свѣтъ, а вѣдъ онъ сѣдетъ не безъ помощи людей, которые равно будутъ защищать его царство и ученіе: вотъ и тогда избранные почтутся за безумцевъ. Чувствуя лѣсть оныхъ писателей, ужели должно мнѣ быть столько бестыдну, чтобы, убоясь челоукомъ, забыть судъ Божій и измѣнить церкви и Богу? И уже ли я долженъ повѣрить ученикамъ, когда вижу, по благодати Божіей, заблужденія ихъ учителей?» (выносна на стр. 74).

ніе книги. Это понятно: никакая церковь не может дозволить, чтобы въ средѣ ея, какъ видимомъ собраніи христіанъ, исповѣдующихъ Господа не единымъ сердцемъ только, но и едиными устами, водворялась, независимо отъ нея и съ притязаніями на верховенство, какая-то другая, невидимая, внутренняя церковь, втайнѣ пребывающая со временъ Адама, имѣя притомъ во главѣ моравскую общину или, по малой мѣрѣ, группируясь вокругъ нея, какъ около центра. Большая часть книги занята отверженіемъ такого покушенія отдѣлить избранныхъ вышней вѣры отъ просто вѣрующей толпы, какъ будто это отдѣленіе есть дѣло мірскаго суда. Церковь одна—видимая: вотъ тезисъ, на которомъ критикъ утверждаетъ всю свою полемику. «На землѣ», говоритъ онъ, «ни церковь безъ вѣры, ни вѣра безъ церкви стоять и существовать не могутъ. Отдѣляющій вѣру отъ церкви можетъ имѣть вѣру, но не вѣру Христову. Сказано: *и бѣси струютъ* (Іак. II, 19), только они вѣрують по своему... Хотѣтъ обрѣсти Спасителя внѣ церкви видимыя есть отвергнуться его невозвратно... Милліоны племенъ чтутъ видимую церковь и признають ее за истинную: слѣдовательно, по мнѣнію лукавыхъ учителей, всѣ сии племена не принадлежать къ ихъ собору; слѣдовательно, если мы исключимъ ихъ, то, за исключеніемъ таковыхъ, останется толь малое число для наполненія онаго собора, что ужъ и малое дитя возможетъ исчесть оное. Богъ же, напротивъ, обѣтовалъ себѣ вѣрныхъ толь великое множество, яко песокъ морскій, иже не изочтется отъ множества». Извѣстная намъ статья Сіонскаго Вѣстника: «Догматы квакеровъ» вызвала самую рѣзкую выходку. Станевичъ называетъ выраженныя въ нихъ понятія «богомерзкими». Выписавъ слова о пребываніи Христа во всѣхъ смертныхъ отъ чрева материя и о безпредѣльности Христовой Церкви, заключающей въ себѣ весь родъ человѣческій ⁽¹⁾, онъ заключаетъ: «слѣдовательно явно, что сочинитель сего христоненавистнаго ученія мнитъ и вѣрить, что Христосъ уже отъ чрева материя обитаетъ въ жидяхъ, магометанахъ, язычникахъ! Остается съ ужасомъ спросить: гдѣ мы? Ахъ! до какихъ горестныхъ временъ дожили, что немолчащимъ антихристовымъ устами молчатъ уста православія. Что! Или Христосъ есть нѣкое метафизическое понятіе, о которомъ можно позволить спорить и говорить, что на умъ взбредеть? Малѣйшее оскорбительное о царѣ слово взыскивается отъ хулителя, а хула на Царя царей неужели ни во что выѣнится? И еще на Царя, который толико возлюбилъ насъ, что восхотѣлъ быть по насъ влѣт-

¹⁾ С. В. 1817, декабрь, стр. 414 и 415.

вою, да насъ искупить изъ челюстей адовыхъ». Въ 1820 г. вышла переведенная съ французскаго книга: «Воззваніе къ чловѣкамъ о послѣдованіи внутреннему влеченію духа Христова». Въ теченіи шести мѣсяцевъ она имѣла два изданія. Сущность ея состоитъ въ развитіи той мысли, что все доброе въ чловѣкѣ происходитъ отъ врожденнаго, всегда ему присущаго божественнаго инстинкта, на которомъ основана религія; что этотъ инстинктъ, какъ сердечное чувство чловѣка, изъясняетъ ему волю Божію, никогда его не обманываетъ; что на высшей степени своего дѣйствія онъ есть Слово, Богомъ изрекаемое въ чловѣкѣ⁽¹⁾. Положенія эти тождественны съ указаннымъ ученіемъ мистиковъ о внутреннемъ откровеніи, дающемъ каждому возможность соединиться съ Богомъ. Станкевичъ возстаетъ противъ инстинкта, называемаго также совѣстью: «Чтобы пріять въ себя Христа, надобно вѣрить Ему и вѣровать въ Него такъ, какъ церковь поучаетъ, а не принимать за Христа *ничто* произвольное, или совѣсть, которую и Сенека называлъ живущимъ внутри чловѣка Богомъ. Когда бы сіе такъ было или быть могло, въ какого бы Христа одолжались вѣрне тогда вѣровать? Развѣ можетъ быть вѣра въ совѣсть? Для того-то безъ церкви увѣреніе наше есть ложное и суетное: ибо существенное дѣло не въ увѣреніи, но въ правдѣ увѣренія. Чловѣкъ можетъ быть увѣренъ въ дѣйствительности своего увѣренія; но какъ увѣрится онъ въ правдѣ такого увѣренія? Чловѣкъ можетъ за многое въ себѣ ручаться, ибо то будетъ дѣйствіемъ его внутреннего опыта, но не за правду, которая должна приходить къ нему отъикуда—отъ Бога, чрезъ видимую для всѣхъ вещь, какъ почерпають изъ источника чистѣйшую воду, изъ источника, мѣсто коего всѣмъ извѣстно». Въ нѣкоторыхъ мистическихъ сочиненіяхъ выражена мысль о раскаяніи сатаны и его разрѣшеніи,—мысль, основанная на произвольномъ толкованіи словъ апостола Павла: «Якоже о Адамѣ вси умирають, такожде и о Христѣ вси оживуть» (1 Кор. XV, 22), на мнѣніи Оригена и на томъ соображеніи, что несогласно съ представленіемъ о правосудіи и благодати Бога представленіе несоизмѣримости между временной виной и вѣчными за нея муками. Мартинецъ Паскуалисъ (XVIII в.) провелъ эту мысль въ трактатѣ «о возстановленіи существъ», и Сентъ-Мартенъ усвоилъ ее отъ своего наставника въ мистикѣ: «въ концѣ временъ, духъ-возмутитель совлечетъ съ себя гордію и вой-

⁽¹⁾ Отзывъ объ этой книгѣ одного священника см. въ Запискѣ о грамотахъ враговъ Россіи (Рус. Арх. 1866).

детъ во всеобщую гармонію» (1). Станевичъ отвергаетъ и тѣнь возможности когда-либо соединить богоненавистную сущность съ естествомъ Божиимъ: «чтобы изъ демонскаго порожденія породить сыновъ благодати—сего ниже Богу возможно, не представши бытъ тѣмъ, чѣмъ Онъ есть. Доколѣ Богъ есть Богъ, діаволъ долженъ пребыть діаволомъ... Судъ Божій надъ сатаною и аггелами его, непреложный чрезъ всю нескончаемость вѣчности, и есть то, что долженствуетъ служить неугасаемымъ свидѣтельствомъ неизмѣнности праведнаго его гнѣва на преступающихъ и унижающихъ его повелѣнія... Какимъ образомъ діаволъ отыметса самъ отъ себя и, не преставаа бытъ собою, содѣлается благимъ? Куда же дѣнется то, что въ немъ было демонскаго? Какъ измѣнится злая сущность на естество благое?... Вѣдаемъ, что у лже-мистиковъ очистительный огонь благодати всегда готовъ; но огонь очистительный есть огонь очищающій: отъ чего же станетъ онъ очищать зло? Онъ очищаетъ золото: это—любимое у мистиковъ доказательство. Но Священное Писаніе говоритъ о семь огнѣ примѣнительно къ естеству человѣческому, а не къ демонскому; ибо и огонь не золото отъ золота, но всякую, золоту чуждую примѣсь отъ самого золота очищаетъ; самой же примѣси никогда въ золото не обращаетъ. Доколѣ въ человѣческой волѣ сколько нибудь остается еще непринадлежащаго демону, дотолѣ онъ не безъ надежды на спасеніе: онъ можетъ паки вообразить въ оной образъ истинны, освобождающей его отъ тьмы, и содѣлаться чадомъ благодати; но когда воля его содѣлается уже престоломъ похотей діавольскихъ, тогда сей человѣкъ изъ сына свободы творится сыномъ погибели, творящимъ похоти отца своего». Станевичъ смѣется также надъ таинственнымъ мракомъ мистиковъ. Что такое этотъ таинственный или божественный мракъ? «Онъ есть тотъ непреступный свѣтъ, въ которомъ, по словамъ Писанія (1 Тим. VI, 16), живетъ Богъ. И поелику онъ отъ чрезвычайнаго сіянія невидимъ и отъ презбытія пресущественнаго свѣта непреступенъ, то пребываетъ въ немъ только тотъ, кто достоинъ знать и видѣть Бога, и истинно пребывая въ немъ выше видѣнія и познанія, чрезъ сіе самое невидѣніе и незнаніе познаетъ то, что онъ выше чувственнаго и умнаго» (2). Мракомъ называется онъ потому, что свѣтъ Божій одолеваетъ разумъ и помрачаетъ его, подобно тому, какъ солнце при восходѣ своемъ помрачаетъ звѣзды (3). Сперанскій также говоритъ

(1) Franck: *La philosophie mystique en France*.—Swinden: *Recherches sur la nature du feu de l'enfer et du lieu où il est situé*, 1757 (пер. съ англ.).

(2) Пятое писмо съ именемъ Діонисія Ареопагита (Хр. Чт. 1826, ч. 19).

(3) Бож. философія, т. 5, кн. 5, гл. 4, стр. 31—32 (въ выпискѣ).

о сумракѣ вѣры, какъ главномъ предметѣ духовной жизни ⁽¹⁾. Станевичъ, приведи слова изъ одного Фенелонава письма: «надобно подражать вѣрѣ Авраама и всегда идти—не зная куда идешь», пишетъ: «сколько уродливыхъ понятій породило такое понятіе! Не диво, что мистики, блуждая въ таинственномъ своемъ мракѣ (васга caligo), не усмотрѣли того, что Авраамъ получилъ повелѣніе отъ Бога и слѣдственно, хотя не зналъ пути, но очень вѣдалъ, что повелѣніе дамо ему не отъ кого другаго, какъ отъ самого Бога: заповѣдь же Господня свѣтла, просвѣщающая очи (Пс. XVIII, 9). Богъ вѣдалъ, куда посылалъ Авраама, а Авраамъ вѣдалъ очень, что знаетъ Богъ куда посылаетъ его: потому очень вѣдалъ и сіе, что послушаніе паче всякія жертвы предъ Богомъ. Слѣдовательно вѣра Авраамова не была темная, но, какъ заповѣдь Божія, свѣтлая, когда она выполняется. Тотъ же, напротивъ, не можетъ идти какъ не во тьмѣ, кто, не повѣривъ церкви, предастся самъ себѣ подъ гнуснымъ предлогомъ, яко бы изъ самоотверженія послѣдуетъ влекущей его волѣ Божіей, между тѣмъ какъ онъ; якоже волѣ на закланіе ведется и яко песь на узы, отъ того что послѣдовалъ въ обьюродѣніи своемъ той церкви, которой путіе, ведя къ дому адову, низводятъ въ сокровища смертная (Притч. VII, 22, 27)». Далѣе вооружается Станевичъ противъ теософіи, т. е. познанія Бога изъ натуры—не въ смыслѣ богопознанія естественнаго, всѣмъ признаваемаго, а въ смыслѣ познанія таинствъ и дѣйствій христіанства: «Слово Божіе дается на то, да въ немъ, а не въ природѣ, учатся познанію Бога. Одно изъ двухъ: или природа для сего не нужна, или слово Божіе. Учащійся въ откровеніи пойдетъ ли еще усовершенять свое познаніе о Богѣ въ природѣ? ибо или слово откровенное выше природы, или природа выше откровенія; слѣд. или отъ слова Божія не для чего возвращаться къ природѣ, или отъ природы не за чѣмъ идти къ слову Божію... Ужели мистики, выхваляющіе намъ числительную свою мудрость, сами преткнулись о камень ея и забыли сіе правило науки онны, что ежели два уравненія равны одному какому-нибудь, то и сами они порознь равны между собою, и что, слѣдовательно, ежели Христосъ есть Слово Божіе, и натура также, то надобно, чтобы и натура и Христосъ были у нихъ одно и тоже». Кромѣ того отвергаются и другіе предметы: мистическое созерцаніе Бога, «въ которомъ человѣкъ видитъ все, не вида ничего, и въ которомъ видѣтъ что было бы у него обращеннымъ на себя самолюбіемъ»; мистическую любовь къ Богу—«странную, духу церкви чуждую и противную, и потому достой-

¹⁾ Письма къ Цейеру (Рус. Арх. 1870).

ную именоваться духовною похотью»; поглощеніе или упраздненіе вѣры этою любовью, что «есть виѣстъ упраздненіе лица того, въ него же вѣровати подобаеть».

Одни изъ современниковъ осуждали книгу Станевича; другіе, напротивъ, находили ее правдивою ⁽¹⁾. Надобно пожалѣть, что критика мистическаго ученія, какъ оно выражалось въ Сіонскомъ Вѣстникѣ, и преимущественно по отношенію его къ церкви, исходила отъ человѣка свѣтскаго, а не отъ авторитетнаго лица ея служителей. А такими авторитетами тогда были: Михаилъ, Филаретъ, Иннокентій, Теофилактъ.

У людей ученыхъ или вообще тѣхъ, которые дорожили положительнымъ знаніемъ, наукой, была иная причина къ недовольству мистикой. Они стояли за права разума, какъ главнаго орудія при изслѣдованіи природы и человѣка, тогда какъ мистика ставила выше всего непосредственное созерцаніе, вовсе не нуждающееся въ умственной пытливости, способной только, по ея взгляду, постигать виѣшность дольнаго міра. Поэтому, когда мистики случайно или намѣренно заходили въ область научной спеціальности, противники антинаучнаго образа мыслей любили обличать ошибки или незнаніе непризванныхъ ученыхъ. Примѣромъ такого обличенія служить разборъ одной книги Экартсгаузена, переведенной У. М. (Лабзинимъ): «О фосфорной кислотѣ, яко вѣрнѣйшемъ средствѣ противъ гнилости» (1811). Она содержитъ въ себѣ частію химическія, частію медицинскія положенія о чистотѣ и портѣ воздуха, составныхъ частяхъ его и происхожденіи въ немъ заразы, о кислотахъ и о фосфорной кислотѣ въ особенностяхъ. Содержаніе приправлено метафизико-моральнымъ введеніемъ о вредныхъ дѣйствіяхъ страстей человѣческихъ. Критикъ сильно напалъ на автора. По его мнѣнію, Экартсгаузенъ въ дѣлѣ науки невѣжда, не имѣющій понятія о газахъ, ни о различіи между ядами и заразами, не знающій даже что такое разложеніе, химическое сродство и механическое смѣшеніе. Познанія «трансцендентальнаго богослова», какъ величали въ Германіи Экартсгаузена, называетъ онъ ничтожными, а сужденія нелѣпными. Лабзинъ, въ предисловіи къ переводу, замѣтилъ, что Штиллингъ писалъ для простыхъ людей, а Экартсгаузенъ для учившихся и упражнявшихся въ наукахъ. Критикъ возражаетъ: «Экартсгаузенъ никогда не имѣлъ въ Германіи имени истинно-ученаго писателя, хотя у насъ отъ многихъ почитается оракуломъ просвѣщенія, и по своему великому невѣжеству писать для упражняющихся въ наукахъ не могъ: онъ мѣшаетъ метафи-

¹⁾ Записки о жизни Филарета, Н. Сушкова, стр. 109—111.

зику съ ариметикой, богословіе съ химіей, правоученіе съ ското-
врачебною наукой, отъ созерцанія существа души нисходитъ до
опытовъ въ хлѣбахъ, а отъ философическаго разсматриванія при-
роды до шарлатанства». Къ стыду нашего времени, говорится въ
заключеніи этого отзыва, сочиненія его переводятся на нашъ
языкъ ⁽¹⁾. Но авторъ книги нашелъ себѣ защитника въ Невзоровѣ,
объявившемъ, что Экартсгаузенъ могъ лучше Шантала знать хи-
мію и созерцать таинства природы, ибо былъ больше христіанинъ,
водимый высшимъ свѣтомъ, тогда какъ французскіе ученые были
водимы одною языческою мудростію ⁽²⁾. Подобный аргументъ, ко-
нечно, не могъ убѣдить критика С.-п.бургскаго Вѣстника. И въ
другихъ журналахъ раздавались жалобы на мечтанія нѣмецкихъ
мистиковъ, пользовавшихся у насъ большою извѣстностью. По
поводу предсказаній Штиллинга о преставленіи свѣта въ 1836 г.
(въ Побѣдной повѣсти), издатель «Духа журналовъ» серьезно за-
мѣтилъ: «мнѣ кажется, долгъ всѣхъ благомыслящихъ писателей, а
особливо богослововъ православной церкви, требовалъ бы опро-
вергать странныя и вредныя мнѣнія, распространяемыя симъ боль-
нымъ челоѣкомъ, который впрочемъ нравственною цѣлю своихъ
сочиненій, добромъ, которое онъ оказываетъ страждущему чело-
вѣчеству, и примѣромъ добродѣтельной жизни заслуживаетъ лю-
бовь и уваженіе своихъ современниковъ» ⁽³⁾. Большинство же, не
имѣющее ни возможности, ни желанія опредѣлять въ точности зна-
ченіе предмета, съ именемъ мистики не связывало никакого яснаго
понятія, а разумѣло подъ нею нѣчто смутное, непонятное, слѣдо-
вательно противное уму, неразумное. Карамзинъ, наблюдавшій за
всѣми движеніями общества, въ томъ числѣ и за мистицизмомъ,
относился къ нему проницески и даже называлъ его *вздоролюею*.
Вотъ одно мѣсто изъ его письма къ И. И. Дмитріеву, въ 1817 г.:
«я засмѣялся, читая о Кошелевѣ: онъ будетъ министромъ развѣ *отми-
няю* просвѣщенія. Соединеніе двухъ министерствъ (духовныхъ дѣлъ
и просвѣщенія) послѣдовало съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы мірское
просвѣщеніе сдѣлать христіанскимъ. Отнынѣ кураторы будутъ лю-
ди извѣстнаго благочестія. Клиngerъ уволенъ: мнѣ сказывали, что
онъ считается вольномыслящимъ. Не мудрено, если въ наше вре-

¹⁾ С.-п.бургскій Вѣстникъ, 1812, кн. 8.

²⁾ Другъ юношества, 1818, іюнь (ст.: Мои мысли о сочинителѣ книги «о фосфорной кислотѣ»).

³⁾ 1816 г. № 32, о представленіи свѣта. За эту статью издатель Яценковъ получилъ замѣчаніе отъ министра народнаго просвѣщенія, кн. Голицына (Вѣ-
сѣда въ обществѣ любителей Рос. Словесности, вып. 8, стр. 20).

мя умножится число лицемѣровъ» (1). Опасеніе Карамзина дѣйствительно сбылось, какъ ниже увидимъ.

Какъ всякое движеніе мысли, мистика могла отражаться въ литературѣ. Будучи ученіемъ о внутренней, сокровенной жизни съ Богомъ, о Христѣ въ насъ, она давала поводъ къ *дидактическимъ* произведеніямъ, съ дѣлію изложить существенные его догматы въ назиданіе христіанамъ. Но для поэтического воспроизведенія самой жизни мистика, духовныхъ подвиговъ и чувствъ ея личныхъ опытовъ и приобретаемыхъ ими откровеній и блаженного состоянія—приличнѣйшею литературною формою должна была служить, конечно, *лирика*.

Изъ сочиненій дидактическаго рода, состоящихъ въ связи съ мистическими идеями и посвященное ихъ представленію, замѣчательна поэма Хераскова: «Владиміръ возрожденный» (1785). Руководствомъ автору служили «многія духовныя книги, бесѣды съ цѣломудренными мужами и собственный опытъ». Повѣсть очень уважалась масонами и мистиками. По отзыву одного изъ нихъ, въ поэмѣ много христіанскихъ истинъ, полезныхъ и душеспасительныхъ для человѣка (2). Лабзинъ бралъ изъ нея отдѣльные стихи въ эпиграфы къ своимъ переводамъ Экартсгаузена. Вниманіе читателя прежде всего останавливается на эпитетѣ Владиміра: почему «возрожденный», а не просто «крещенный»? Объясненіе дается самимъ авторомъ: онъ имѣлъ въ виду не столько рассказать о просвѣщеніи Руси христіанствомъ, сколько изъяснить сокровенныя чувствованія души, борющейся самой съ собою. Онъ совѣтуетъ читать «Владиміра» какъ повѣсть о странствованіяхъ человѣка путемъ истины, на которомъ онъ, послѣ долгой борьбы со страстями, достигнувъ просвѣщенія, возрождается. Но есть и другое объясненіе, указываемое понятіемъ мистиковъ о крещеніи. Въ этомъ таинствѣ различаютъ они двѣ степени: крещеніе водою и крещеніе духомъ и огнемъ. Первое, какъ приготовительное ко второму, есть крещеніе въ покаяніе (крещеніе Іоанново); второе, какъ совершительное, есть крещеніе въ жизнь Бога (крещеніе Іисусово). Первое отвергаетъ вѣрующимъ только преддверіе храма Господня; второе провождаетъ ихъ во святая и святая святыхъ. Надобно кре-

1) Письма Карамзина къ Дмитріеву (1866), стр. 204.—Котелевъ—оберъ-прокуроръ синода, членъ государственнаго совѣта. Дмитріевъ, въ письмѣ къ Карамзину, вѣроульно, думалъ, что Котелева назначатъ министромъ просвѣщенія. Соединеніе обоихъ министерствъ послѣдовало въ 1817 г.: управлялъ ими кн. А. Н. Голицынъ, который, находя Блингера слишкомъ вольнодумнымъ, уволилъ его отъ должности почетателя дерптскаго университета.

2) Встрѣча съ мартинистами, С. Аксакова (Рус. Бесѣда 1859, № 1).

ститься духомъ, чтобы увѣдать тайны христіанства, по словамъ апостола Павла (1 Кор. II, 10). Тайны эти извѣстны только внутреннимъ христіанамъ, а не внѣшнимъ, только возрожденнымъ, а не невозрожденнымъ (1). Въ небольшой книжкѣ: «Дружескій совѣтъ всѣмъ тѣмъ, до кого сіе касаться можетъ» (1813), слѣдующія строки возбудили вниманіе современниковъ: «ты думаешь, вѣроятно, что крещеніе уже возродило тебя, но берегись обмануться заблужденіемъ, столь же опаснымъ, сколько вмѣстѣ съ тѣмъ и общимъ. Крещеніе есть обрядъ наружный, совершаемый надъ тѣломъ; новое рожденіе есть внутренняя работа надъ душою. Крещеніе есть только знакъ, сущность коего есть возрожденіе. Крещеніе производится подобными тебѣ человѣками; новое рожденіе есть дѣйствіе единого Святаго Духа. Великое множество крестившихся не вошло во врата жизни, но ни одинъ изъ истинныхъ возрожденныхъ никогда по сую сторону оныхъ не оставался» (2). Прибавимъ къ этому, что Лабзинъ, въ статьѣ «о чтеніи духовныхъ книгъ» цитировалъ, съ цѣлію подкрѣпить себя авторитетомъ во взглядѣ на крещеніе, нижеслѣдующее мѣсто изъ Церковной россійской исторіи, митрополита Платона: «Владиміръ по ревности поспѣшилъ, а духовные греческіе рады были, чтобы изъ язычниковъ сдѣлать христіанами чрезъ святое крещеніе: ибо сіе есть гораздо легче, нежели правилами Евангелія просвѣтить каждаго мыслъ, насадить въ сердце плодородную вѣру и открыть ему, или паче вселить въ него, духъ Христовъ» (3). Херасковъ, нѣтъ сомнѣнія, не отдѣлялся по своимъ взглядамъ отъ «цѣломудренныхъ мужей», съ которыми любилъ бесѣдовать. Укажемъ нѣсколько мѣстъ во «Владиміръ», выражающихъ мистическія идеи.

Въ 7-й пѣснѣ описывается долина, въ которой жилъ христіанинъ Идодемъ, братъ жреца Пламида, съ Законестомъ и Версоной, также христіанами. Владиміръ, преодолевъ «адскія препоны» (душевные слабости), вступаетъ въ эту долину и, пораженный ея чудесными красотою, думаетъ видѣть мечту или сонъ. Идодемъ разувѣряетъ его:

1) С. В. 1817, іюль, стр. 24 и 113; 1818, январь, 41—43 и дал.

2) Стр. 28—29. Брошюрка эта подверглась было преслѣдованію со стороны главнокомандующаго въ Москвѣ, гр. Растопчина, но по докладу о томъ Государю, повелѣно было разрѣшить ея выпускъ въ продажу (Бесѣды въ Обществѣ любителей Рос. Словесности, вып. 3-й, стр. 13—15). Авторъ ея—Д. П. Руничъ, бывшій потомъ попечителемъ петербургскаго университета. См. Письма къ нему Лопухина (Рус. Архивъ 1870 г.).

3) Кратк. Церков. Рос. Исторія изд. 1805 г. ч. 1, стр. 127 (С. В. 1806, іюнь, стр. 280).

..... ты видишь не мечту,
Но обнаженную натуры красоту,
Въ мракѣ тѣнноти сокрытую глубокою...

Являетъ вся страна, какъ въ зеркалѣ, сія
Всѣхъ созданныхъ вещей ликъ *накибытія*.
Дабы передъ тобой дѣла свои прославить,
Творецъ духовный міръ хотѣлъ тебѣ представить,
Какимъ онъ прежде былъ и долженъ быть каковъ,
Когда отъ тѣнноти изыдетъ изъ оковъ....

Сіе отъ тѣнноти въ нетѣнноту переходенье
Не можетъ *звѣздное* постигнуть *разсужденіе*.

Подъ словомъ «накибытіе» Херасковъ разумѣтъ преображеніе природы, достиженіе ею того блаженства, котораго она ждетъ и о которомъ востыхаетъ, какъ мы видѣли, излагая теософическія воззрѣнія мистиковъ. Преображеніе это, по словамъ Дю-Туа, наступитъ по исполненіи числа избранныхъ: «Тогда благороднѣйшія начала, кои нынѣ матерія скрываетъ, освободясь, содѣлають шаръ нашъ прославленнымъ и обратятъ его въ матерію сіяющую. Въ натурѣ все имѣетъ свои подобія и образы; равнымъ образомъ и сказанное мною здѣсь прообразуется драгоцѣнными каменьями, находящимися въ нѣдрахъ земли. Святый градъ, Новый Іерусалимъ (Апокалипсисъ) будетъ столько же, или еще и болѣе, блистать, говоря просто о физическомъ прославленіи, а не разумѣя здѣсь о сіяніи свѣта и любви духовъ, кои въ немъ обитать будутъ» (1).

Преображенные предметы природы являются у Хераскова въ такомъ видѣ при описаніи имъ жилища Идолемова:

Тогда широкія представили дороги
Межъ пальмовыхъ древесъ кристаллыне чертоги;
Тамъ своды радужный живой имѣли цвѣтъ,
Отъ стѣнъ происходилъ неувреченный свѣтъ.
Непостижимое и дивное явленіе
Изъ удивленія ввергало въ удивленіе.
Князь видитъ предъ собой подобно звѣздамъ
Сіянье чистое кремнистыхъ камней тамъ;
Тамъ солнечны лучи, во златѣ заключенны,
Блистають, изъ цѣпей тѣлесныхъ извлеченны;
Освобожденная душа сребра видна
Сіяющая тамъ, какъ свѣтлая луна;
Металлы, получивъ изъ плѣна ихъ свободу,
Изображаютъ тамъ кристаллыну воду;
Всѣ вещи видимы душевныхъ для очей
Во первобытности существенно своей,
Какими созданы онѣ въ духовномъ мірѣ
Невидимыхъ небесъ въ сіяющей порфирѣ.

1) Бож. Философія, т. I, выноска на стр. 34—37.

Если природа приметъ нѣкогда просвѣтленный видъ, то и тѣлу человѣческому доступно такое же прославленіе не только по обещанію воскресенія мертвыхъ въ день страшнаго суда, но еще и въ земной жизни, по духовномъ возрожденіи. Статья Сіонскаго Вѣстника: «Дружеская бесѣда въ день преображенія Господня» (4) развиваетъ это положеніе мистики такимъ образомъ: Фаворское явленіе относилось до прославленія тѣла, которое слѣдуетъ за возрожденіемъ и которое также необходимо человѣку по слову Апостола: всесовершенство вашъ духъ и душа и тѣло непорочно въ пришествіе Господа нашего Іисуса Христа да сохранится (1 Фессал. V, 23)... Имъ (преображеніемъ) показано, какую тѣлесность можетъ имѣть сынъ человѣческій *прославленный*, нося оную еще въ смертномъ тѣлѣ своемъ, ибо послѣ видѣнія сего Спаситель снова являлся ученикамъ въ тѣлѣ обыкновенномъ, которое и смерти подвержено было, но силою внутренняго просіянія, или прославленія, по трехъ дняхъ, превратилось въ таковое, которое могло являться *дверемъ затвореннымъ* и сокрываться *зрящимъ имъ* (ученикамъ) и быть при всемъ томъ истиннымъ тѣломъ, ибо и снѣдное вкушать и осязаемо быть могло. Къ такому преображенію зовутся всѣ сыны человѣческіе, ибо «подобаетъ тлѣнному сему облещися въ нетлѣніе и смертному сему облещися въ безсмертіе». Св. Іоаннъ говоритъ: «нынѣ чада Божія есмы, и не у явися, что будетъ» (Іоан. III, 2). Павелъ же пополняетъ: «преобразитъ тѣло смиренія нашего, яко быти сему сообразну тѣлу славы Его, по дѣйству, еже возмогати Ему и покорити себѣ всяческая (Филип. III, 21), и отырываетъ великую тайну, что мы не всѣ умремъ, но всѣ преобразимся, вдругъ, въ мгновеніе ока, при послѣдней трубѣ: вострубитъ бо, и мертвіи возстанутъ нетлѣнны и мы нзмѣнимся (1 Кор. XV, 52). Возможность сего измѣненія и въ здѣшней жизни представлена въ самомъ Св. писаніи въ житіи Еноха и Іліи пророка.

По той же мысли, Херасковъ описывалъ новыя, преобразенныя тѣла Законеста и Версоны. Князь Владиміръ увидѣлъ ихъ въ славѣ:

Колико видѣ ихъ былъ теперь преобразенъ!
Краснѣйшій изъ мужей, краснѣйшая изъ женъ
Прельщали нѣкогда какъ масличныя лозы,
Теперь являются какъ полны цвѣтомъ розы;
Эдемскіе вѣнцы, сплетенны изъ лилей,
Сіяли у него и на челѣ у ней.
Князь видитъ лица ихъ, глаголы оныхъ внимлетъ,
Стремится ихъ обнять, но тѣнь одну объемлетъ.

4) 1806, августъ.

Князь почелъ ихъ за призраки, или подозрѣвалъ хитрость, но Идодемъ выводить его изъ заблужденія:

О князь! царю вѣщалъ, тѣла ихъ очищенны;
Сіянье видишь ты, прозрачность видишь ихъ;
Въ небесну плоть прешли невѣста и женихъ.
Не мысли, что сіе видѣнье чародѣйство:
Коварство чуждо намъ и чуждо намъ злодѣйство;
Но вѣдай, что таковъ былъ первый человекъ,
Доколь мірскія тьмы ко свѣту не привлекъ.

Что такое «звѣздное разсужденіе», которое, по словамъ Идолема, не можетъ понять перехода отъ тлѣнности въ нетлѣнность?

Мистики различаютъ, по отношенію къ человѣку, три рода духа или свѣта: стихійный, звѣздный и чистый, или божественный, свѣтъ Духа Святаго (1). Божественный былъ присущъ душѣ Адама во время его райскаго блаженства, и онъ долженъ былъ воспринять каждымъ возрожденнымъ человѣкомъ, по словамъ апостола Павла: «преобразуйтесь обновленіемъ ума вашего» (Римл. XII, 2); естественный же, просто разумный, но не преображенный человѣкъ его не имѣетъ. Второй свѣтъ—свѣтъ разума остался въ Адамѣ и по его паденіи переданъ отъ него всему потомству. Смотря потому, примѣшивается ли къ нему дѣйствіе чувствъ или не примѣшивается, онъ представляетъ два вида. Дѣйствуя какъ здравый смыслъ человѣка, т. е. приобрѣтая мысли подъ вліяніемъ внѣшнихъ впечатлѣній, воспринимаемыхъ нашими чувствами, онъ есть «духъ стихійный»; тотъ же умъ, дѣйствуя независимо отъ чувствъ и внѣшнихъ предметовъ, есть свѣтъ или «духъ звѣздный», названный такъ по своему сходству съ свѣтомъ, освѣщающимъ звѣзды и дѣлающимъ ихъ блестящими. Этому звѣздному духу дано знать многое, но не дано вѣдать тайны Божіи, къ какимъ относится и переходъ отъ тлѣнности въ нетлѣнность. Такое вѣдѣніе принадлежитъ только духу божественному (2).

Въ 8-ой пѣснѣ монахъ Киръ объясняетъ Владиміру христіанское вѣроученіе:

Истолковалъ царю преданій смыслъ буквальный,
Потомъ открылъ и свѣтъ и духъ во бужвахъ дальний,

т. е. направилъ свое истолкованіе къ тому, чтобы въ книгахъ Св.

1) Гамалея принимаетъ три духа: стихійный, звѣздный (разумичный) и христіанскій (Письма, кн. 1, стр. 158; кн. 2, стр. 71).

2) Бож. фил. Дю-Туа, т. I, глава 1 и особенно гл. 3 (о происхожденіи разума и о звѣздномъ духѣ).

писанія раскрыть смыслъ мистическій, указывающій путь возсоединенія души съ Богомъ.

Въ срединѣ естъгъ етгоу родился Божій Сынъ.

Весь міръ Всевышняго угодно было Сыну

Возоставить—всѣхъ вещей чрезъ сердце и средину.

«Средина временъ или вѣковъ» значитъ время Рождества Христова, до котораго, по принятому мистиками лѣтосчисленію, прошло отъ сотворенія міра около 4000 лѣтъ ⁽¹⁾. Процессъ возрожденія человѣка, говорятъ они, начатый съ перваго дня субботняго, дѣлится такимъ образомъ на два періода: до появленія Спасителя и послѣ Его смерти. Но смертію Богочеловѣка онъ не кончился; божественное сѣмя Слова вѣчнаго жизни сообщается избранному стаду церкви до тѣхъ поръ, пока Сынъ Божій придетъ со славою во своя и съ избранными воцарится на тысячу лѣтъ ⁽²⁾. Главнѣйшія эпохи міра, по счисленію мистиковъ, оканчивались именно тысящелѣтіями: первая тысяча кончилась божественною жизнію Эноха, вторая—рожденіемъ Авраама, третья—построеніемъ Іерусалимскаго храма, четвертая—пришествіемъ Богочеловѣка. Еслибъ мы имѣли достовѣрную исторію внутренней Церкви Божіей, говоритъ Лабзинъ, то чрезъ 1000 лѣтъ по Р. Х., можетъ быть, открыли бы новый свѣтъ. Онъ же замѣчаетъ, что каждыя два великіе дня міра, или 2000 лѣтъ, составляли весьма важный періодъ. Въ первыя двѣ тысячи Церковь Господня не имѣла никакого наружнаго учрежденія: каждый отецъ былъ царемъ и священникомъ своего семейства. Во вторыя двѣ тысячи Богъ устроилъ наружное церковное правленіе, или теократію, которая по времени соединялась съ монархическимъ правленіемъ. Въ третьи двѣ тысячи Христосъ основалъ духовное свое царство, находящееся съ царствомъ тьмы въ непрестанной брани, которая въ концѣ сего времени взойдетъ на высочайшую степень и кончится славною побѣдою Господа. Тогда начнется мирное царство Его или великая суббота, продолжающаяся во все седьмое тысящелѣтіе ⁽³⁾.

«Сердцемъ и серединою» вещей Херасковъ называлъ человѣка въ слѣдующихъ стихахъ той же пѣсни:

Изъ міра цѣлаго Всевышнимъ сокращенный,

Онъ самъ во существѣ міръ малый, совершенный;

Онъ точка *средня*, онъ *сердце* всей природы:

Въ немъ воздухъ и земля, въ немъ скрыты огонь и воды.

¹⁾ Такъ говоритъ Штилингъ въ Побѣдной повѣсти на стр. 371.

²⁾ Мысли на досугъ поучающагося истинамъ вѣрн.

³⁾ Разысканіе двухъ минимыхъ противорѣчій въ библейскомъ лѣтосчисленіи (С. В. 1806, июнь). Въ концѣ этой статьи Лабзинъ, прочитавъ «Побѣдную цѣвѣсть», намекаетъ, что великая суббота наступитъ между 1806 и 1836 г.

Въ 13-й пѣснѣ, при описаніи чертоговъ суесвятства, Херасковъ относитъ къ суесвѣтамъ не однихъ свѣтскихъ виѣшнихъ христіанъ, но и духовныхъ особъ, смотрѣвшихъ на религію другими глазами, чѣмъ мистики, постоянно ратовавшіе противъ обрядовъ, полемической теологіи, приверженности къ буквальному, смыслу Св. писанія, идеи о Богѣ, какъ неизмѣримо отдаленномъ отъ человѣка и потому грозномъ существѣ:

Евангеліе тамъ, сіе небесъ зеркало,
Имѣетъ на себѣ густое покрывало;
Людскія яренія, какъ будто нѣкій дымъ,
И толки ложные спираются надъ нимъ;
Тамъ видимы во тьмѣ житейскія прохлады,
Завѣсой служатъ имъ единыя обряды;
Тамъ груди видимы и вервей, и веригъ,
Тамъ тучи праздныхъ словъ, тамъ горы темныхъ книгъ;
И подавило бы вселенну оныхъ бремя,
Когда бы книгъ такихъ не подало время;
Орудій смертныхъ весь исполненъ сей чертогъ,
И самъ представленъ тамъ немилосерднымъ Богъ.

Наконецъ, въ послѣдней (16-ой) пѣснѣ предлагается Владиміру крещеніе. Киръ говоритъ ему:

Ты здѣсь..., Владиміръ, просвѣтишься,
Очистишь темну плоть, воскреснешь, *возродишься*,

и затѣмъ изображается самое возрожденіе «духовной водой», какъ сказано въ поэмѣ:

Водою омовенъ святою въ первый разъ,
Почувствовалъ кору отпадшую отъ глазъ;
Отцова имени при первомъ возгласенѣ,
Возчувствовалъ души Владиміръ просвѣщеніе;
Въ святыхъ нѣдра водъ вторично погруженъ,
Съ превѣчнымъ Сыномъ сталъ духовно сопряженъ;
Но въ третій разъ водою святою омовенный,
Воспринялъ Духъ Святый сей мужъ благословенный:
Живый небесный огнь всю плоть его протекъ,
И новый сталъ теперь Владиміръ человѣкъ.
Сей огнь есть Божіе животворяще Слово,
Дающее душу намъ, дающее сердце ново;
Воспринялъ Агничью кровь, воспринялъ Агничью плоть,
Тогда облекъ его сіяніемъ Господь.
Броней смиренія покрытый, правды шлемомъ,
Преображенный царь сталъ новымъ Визеомомъ;
Пречистой Дѣвою Мессія въ немъ рожденъ,
И въ яслехъ ребръ его увить и положенъ.

Это — «рожденіе Слово въ душѣ человѣка», иначе: «Христосъ въ насъ».

Лирическія піесы релігійознаго содержанія поміщались нерѣдко въ журналахъ Новикова, Невзорова и Лабзина; но они такъ ничтожны, что не стоитъ и говорить о нихъ. Нельзя также отнести съ похвалою къ длинному стихотворенію Державина «Христость» (1814). Правда, оно выражаетъ нѣсколько мыслей, входящихъ въ мистическое ученіе, но въ цѣломъ вовсе не есть результатъ какого-либо разсудливаго усвоенія системы. Читая его, соглашаешься съ авторомъ, что онъ, какъ цѣлѣ, въ иныхъ мѣстахъ писалъ «загадочно, подразумѣваемо, кратко», а въ иныхъ «съ нѣкоторою свободою или вольностію». Строгія замѣчанія духовной цензуры на это стихотвореніе касались не мистическихъ воззрѣній, какъ видно изъ объясненій Державина. По значенію поэтическому оно несравненно ниже оды «Богъ».

Въ свое время обращали на себя вниманіе духовныя стихотворенія О. Глинки⁽¹⁾. Между ними замѣтимъ «Исканіе Бога» и «Жизнь анахоретовъ». Первое служитъ распространеніемъ Господнихъ словесъ пророку Іліи въ пещерѣ горы Хоривъ⁽²⁾. Пророкъ не обрѣлъ Господа ни въ бурѣ, ни въ землетрясеніи, ни въ огнѣ: онъ обрѣлъ его въ тишинѣ (собственно въ вѣяны вѣтерка—«въ дусѣ хлада тонка»).

И въ слѣдъ за бурей—тишина;
 Душа предчувствіемъ полна:
 Какъ молодой зари мерцанье,
 Въ дыму серебряномъ горитъ
 Святое алое сіянье.
 На тайный зовъ душа летитъ
 И дышитъ жизнью неземною....
 Все стало сладкой тишиною,
 И я вдали, какъ въ дивномъ свѣѣ,
 Услышалъ Бога *въ тишинѣ*.

Мистики любили пользоваться этимъ мѣстомъ изъ ветхозавѣтной книги, для указанія, что во время дѣйствія Духа Божія надлежитъ воздерживаться отъ всего могущаго помѣшать происходящей въ душѣ работѣ, особливо должно оставаться *въ тишинѣ* и молчаніи, обращая умъ свой къ Богу; ибо самъ Богъ есть неизреченное, святое и вѣчное молчаніе Духа⁽³⁾. Они разсуждаютъ такъ: «Откровеніе въ духовномъ мірѣ есть цѣлѣ, для которой

⁽¹⁾ Духовныя стихотворенія, т. I (1869). Здѣсь помѣщены Опыты священной поэзіи (1826) и другія стихотворенія того же рода, написанныя съ 1815 г. до послѣдняго времени.

⁽²⁾ III Книга царствъ, гл. XIX, ст. 11—18.

⁽³⁾ Письмо христіанинъ о трехъ молчаніяхъ (С. В. 1817, августъ).

Христосъ нисходилъ на землю; а откровеніе во вѣишнемъ есть только путь къ сей цѣли. Въ огненной купинѣ, или въ огненномъ столпѣ, является Онъ только тогда, когда не можетъ непосредственно явиться самой душѣ во свѣтѣ; а когда она можетъ ощутить Его *въ вѣяніи оттерка*, тогда Онъ даетъ себя почувствовать въ вѣяніи Духа» (1), т. е. вѣянье вѣтерка, или *духъ хлада тонка*, для мистиковъ есть символъ вхожденія Св. Духа въ душу.

Во второмъ стихотвореніи выражены чувства двухъ анахоретовъ, молодого и стараго. Послѣднему уже открылось «незримое» и засвѣтилъ свѣтъ «иной». Онъ даетъ совѣты своему товарищу, еще новичку въ аскетизмѣ, еще не твердому въ молитвахъ и не испившему изъ кладязя созерцаній:

.... чаще ты уединяйся
И, погружаясь *въ себя самомъ*,
Жмись, молча, въ сердцу, умиляйся
И до *ничто* уничтожайся
Передъ Распатымъ и крестомъ!
Молись на *помысли*—имъ скажутъ:
«Идите прочь»!
Съ очей душевныхъ *снимутъ* ночь,
И чувства всѣ твои развяжутъ,
И обновятъ и просвѣтятъ;
Приближатъ чашу *возрожденья*,
И непонятныя видѣнья
Кругомъ счастливецъ закипятъ!

Подобныя представленія, видимо, навѣяны чтеніемъ подвижническихъ книгъ. Впрочемъ и одна такая книга, какъ «Добролюбіе», могла дать автору обильный источникъ для изображенія внутренней жизни аскетовъ-созерцателей.

Описательное стихотвореніе того же автора: «Карелія или заточеніе Маренъ Іоанновны Романовой» выводитъ на сцену монаха и передаетъ его лирическія рѣчи. Этотъ монахъ, родомъ грекъ, жилъ прежде въ Смирнѣ, полюбилъ турчанку, которая приняла христіанство, за что и была убита отцемъ. Послѣ долгаго темничнаго заключенія, онъ странствовалъ въ разныхъ мѣстахъ. Въ Германіи проводилъ онъ время въ обществѣ алхимиковъ, но потомъ, внявъ велѣнію Богородицы идти на сѣверъ, пришелъ въ Карельскія пустыни и жилъ то въ лѣсахъ, то на скалахъ. Онъ посѣщаетъ Марю, бесѣдуетъ съ ней и въ послѣднемъ съ нею свиданіи предрекаетъ будущее величіе царскаго рода Романовыхъ, и въ особенности побѣду Александра I надъ Аполліономъ (Напо-

1) Духъ и Истина (С: В. 1817, май и декабрь).

леонотъ), побѣду одержанную смирениемъ. Отрывки изъ рѣчей карельскаго отшельника-тайноврителя, путемъ созерцанія взшедшаго на высшія ступени духовности, наполняютъ четвертую часть описательной поэмы.

Было бы всего естественнѣе и умѣстнѣе мистикѣ найти себѣ выраженіе въ проповѣдномъ словѣ, какъ по существу своему, такъ и по тому обстоятельству, указанному свидѣтельствами, что она сочувственно воспринималась не малымъ числомъ духовныхъ особъ ⁽¹⁾. Разумѣется, это вліяніе оказалось бы безъ примѣси нечистаго мистицизма, а состроило бы въ ясномъ согласіи съ духомъ истинной церкви. Или лучше: проповѣдь нашихъ пастырей, и сама собою, независимо отъ современнаго движенія, имѣла полную возможность раскрывать мистическіе элементы христіанскаго ученія. Примѣромъ тому служатъ нѣкоторыя слова и бесѣды московскаго митрополита Филарета, содержаніе которыхъ относится къ возрожденію человѣка, соединенію его съ Богомъ. Я останавливаюсь на первомъ періодѣ его проповѣдничества (до 1820 г.) и привожу выписки по отдѣльнымъ изданіямъ его словъ, выходившимъ въ свѣтъ вскорѣ по ихъ произнесеніи ⁽²⁾.

«Слово на Рождество Христово» (1811) замѣчательно изображеніемъ самоуничтоженія, необходимаго человѣку для устройства внутри себя храма Божія. Ничета, какъ путь къ высочайшему благу, была постояннымъ требованіемъ мистиковъ. «Боже, да буду я ничто! и все, что не Ты, да истребится во мнѣ!» вотъ молитва, воплощающая въ насъ Слово» ⁽³⁾. «Человѣкъ тогда только сносенъ, когда онъ въ безсиліи», говоритъ Сперанскій: «сила или исканіе силы въ началѣ его погубило и губить въ послѣдствіи; въ безсиліи онъ соединяется съ Богомъ, въ силѣ воюетъ противъ Него» ⁽⁴⁾. Филаретъ ставитъ смиреніе Іисуса въ образецъ христіанину, желающему быть сообразнымъ образу Іисуса:

¹⁾ Письмо архіепископа ярославскаго Симеона къ преосвященному Парееву, отъ 4 іюня 1823 г. (Православное Обозрѣніе, 1872, августъ). Архимандритъ Фотій выражалъ сильное неудовольствіе на равнодушіе Іоны Павлинскаго, архіепископа казанскаго, обнаруженное при толкахъ мистиковъ о видимой церкви (Обзоръ рус. духов. литературы, кн. II, стр. 160). Станевичъ жаловался, что мистики находятся въ столицахъ, городахъ и селахъ, и что приверженцевъ ея очень много и въ свѣтскомъ, и въ духовномъ сословіи (Бесѣда на гробѣ младенца).

²⁾ По экземплярамъ И. П. Библіотеки. Нѣкоторыя цитируемыя мною слова не вошли въ три изданія словъ и рѣчей Филарета, напечатанныя при его жизни (1844, 1848 и 1861), такъ какъ онъ при выборѣ былъ особенно осмотрителенъ, строгъ и точенъ; они перепечатаны въ 1-мъ томѣ изданія 1873 г.

³⁾ С. В. 1817, декабрь (Союзъ Бога съ человѣкомъ).

⁴⁾ Разныя статьи и отрывки изъ сочиненій (Въ память Сперанскаго, стр. 819).

Нѣтъ высшей мудрости, какъ отречься отъ мудрости для Иисуса; нѣтъ большей славы, какъ раздѣлять безчестіе съ Иисусомъ; нѣтъ необычайнѣйшаго состоянія, какъ ничтога Иисуса; нѣтъ совершеннѣйшаго возраста, какъ младенчество Иисуса; нѣтъ лучшаго украшенія для души, какъ видѣть себя чужду всѣхъ украшеній, подобно ясламъ Его. Токъ благодати, подобно рѣчнымъ устремленіямъ, изливается въ доли: кедры на горахъ блюдятся громами и молніямъ. Богъ творитъ изъ ничего: доколѣ мы хотимъ и думаемъ быть чѣмъ-нибудь, доколѣ Онъ въ насъ не начинаетъ своего дѣла. Смиреніе и отверженіе себя есть основаніе въ насъ храма Его: кто болѣе углубляетъ оное, тотъ выше и безопаснѣе созиждетъ.

Другой примѣръ душа, стремящаяся къ соединенію съ Богомъ, должна видѣть въ совершенствѣ Богоматери, въ ея чистотѣ:

Кто далъ намъ сердце, не довольствуется большею или меньшею его долей: оно все должно принадлежать Владикѣ всяческихъ. Онъ отвергаетъ всякую любовь, которая не основывается на любви къ Нему; всякое наслажденіе, въ которомъ ищемъ себя, есть огорченіе для Него; всякая мысль, наклонная къ тварямъ — измѣна Ему; всякая разсѣянность — удаленіе отъ Него. Строгая токмо надъ собою бдительность можетъ возвести къ блаженному съ Нимъ соединенію и удержать въ немъ. Небесный Женѣхъ обручается съ мудрыми токмо и непорочными дѣвами; дѣвственнаа, къ единому Богу обращенная душа зачинаетъ духовную жизнь и рождаетъ блаженство чистаго совершенія. *Блаженн чистѣмъ сердцемъ, яко тѣмъ Бога узрятъ*—и гдѣ? въ самомъ сердцѣ своемъ.

Въ завлученіи дается совѣтъ христіанамъ: «поспѣшимъ проходить примрачный путь вѣры, дабы свѣтъ суднаго дня не ослѣпилъ насъ» (1). Оно указываетъ на тотъ сумракъ вѣры, таинственный мракъ, который, какъ мы видѣли, часто служилъ темою мистическихъ сочиненій.

«Слово на третій день праздника Рождества Христова» (1812), сказавъ, что Богъ хочетъ во всѣхъ насъ явити Сына Своего (Гал. I, 16) посредствомъ благодатнаго рожденія, спрашиваетъ: какое знаменіе удостовѣряетъ насъ въ истинѣ нашего возрожденія? Рѣшеніе вопроса и составляетъ содержаніе слова.

Два пути ведутъ къ рождающемуся Христу: путь волхвовъ и путь пастырей. Первый есть путь свѣта и вѣдѣнія; второй—путь сѣни и тайны, путь вѣры. Тотъ и продолжительнѣе, и труднѣе, и опаснѣе; этотъ вѣрно достигаетъ цѣли. Нѣтъ иныхъ восхожденій къ Богу, кромѣ степеней, по которымъ Сынъ Божій нисходитъ къ человѣку: во ви́шнемъ знаменіи родившагося Спасителя заключено внутреннее знаменіе спасительнаго возрожденія. Этихъ восходящихъ степеней три: смиреніе, умерщвленіе и непостижимое истощаніе, знаменуемыя младенчествомъ, пеленами и яслими Бого-

1) Этихъ словъ нѣтъ и въ изданіи 1878 г.

человѣка. Последняя степень есть наивысшая: «пустъ человекъ теряетъ весь міръ, теряетъ себя самого въ безпредѣльной глубинѣ своего ничтожества: сія безпредѣльность есть предѣлъ сообщенія съ безпредѣльнымъ Божествомъ. Пусть, по изреченію псалмопѣвца, исчезаетъ душа его: она исчезаетъ во спасеніе» (Пс. СХVІІІ, 81).

«Слово на освященіе храма въ домѣ князя А. Н. Голицына» (1812) представляетъ освященіе нашего храма невидимаго въ обрядахъ освященія храма видимаго. Три предмета: очищеніе, украшеніе и посѣщеніе составляютъ всю тайну и всю славу храма внутренняго. Очищеніе есть отложеніе всего, что свойственно растлѣнному человѣческому естеству. Украшеніемъ долженъ быть образъ Божій, явленный въ воплотившемся Сынѣ Божіемъ: да вообразится въ насъ Христосъ (Гал. ІV, 19). По украшеніи, въ духѣ человѣческомъ уже готовъ престолъ Богу, а престолъ Вездѣсущаго не можетъ быть правденъ: Господь не уедлитъ посѣтитъ домъ, всего единъ Онъ есть зиждитель и краеугольный камень, украситель и украшеніе.

Бесѣда на текстъ: «Коль возлюбленна селенія твоя, Господи силъ» (Пс. LXXXІІІ, 2) (1814), объясняетъ, до чего и какъ могутъ достигать стремящіеся къ соединенію съ Богомъ.

Блаженъ живущій въ дому Твоемъ. Домъ Божій есть присутствіе Божіе. Кто живо и дѣлательно начинаетъ ощущать сіе святое и освящающее присутствіе и молитвенно къ нему обращаться: тотъ входитъ въ домъ Божій. Кто пребываетъ въ семъ ощущеніи постоянно и неуклонно, или, по древнему слову Писанія, ходитъ предъ Богомъ (Быт. XVII, 1): тотъ живетъ въ домѣ Божіемъ. Чѣмъ дѣйствительнѣе и плодотворнѣе ощущеніе присутствія Божія: тѣмъ внутреннѣе и совершеннѣе пребываніе въ дому Божіемъ.

Указавъ путь или лѣствицу духовнаго дома Божія и исчисливъ преимущества или блага жителства въ немъ, проповѣдникъ представляетъ:

Не думайте, что сіи блага совершенно заключены и запечатлѣны въ единомъ небѣ: нѣкою частію онѣ и на земли сокрыты въ дому Божіемъ — въ непрестанномъ сердечномъ обращеніи къ Богу и вседѣломъ приближеніи къ нему человекъ вѣрою и любовію. Нѣкто изъ присныхъ Божіихъ испыталъ на земли такое восхищеніе, котораго, повидному, небеса не вмѣщаютъ. *Что мы есть на небеси?* — взываетъ онъ къ Богу — *и отъ Тебе что восхотѣхъ на земли?* (Пс. LXX, 25). Не землею только пренебрегаетъ: *что восхотѣхъ на земли?* — самое небо не привлекаетъ его: *что мы есть на небеси?* Чѣмъ же толико исполненъ и удивленъ ты, друже Божій? — Мое сердце, говоритъ онъ, обрѣло и навѣки стяжало Бога своего: *Божье сердца моего, и часть моя Божье во вѣкъ* (Пс. LXXII, 26).

И такъ соединенный съ Богомъ можетъ ощущать еще на землѣ не только такіа блага, наслажденіе которыми предоставлено въ

небѣ, но даже и такіа, которыхъ, повидимому, самыя небеса не вмѣщаютъ.

Мы указали тѣ мѣста въ проповѣдяхъ Филарета, которыя говорятъ о соединеніи человѣка съ Богомъ. Этотъ предметъ былъ постоянною темою мистиковъ. На возрожденіе смотрѣли они не только какъ на единственную сущность христіанскаго ученія, но и какъ на единственное таинство, являемое внутреннимъ и внѣшнимъ откровеніемъ, познаніемъ природы и самопознаніемъ. Нѣкоторые изъ нихъ или вовсе отвергаютъ таинства церкви, подобно квакерамъ, выдающимъ въ нихъ только символы—изображеніе невидимаго видимымъ образомъ ⁽¹⁾, или, признавая ихъ, даютъ имъ второстепенное значеніе, почитаютъ ихъ слишкомъ простыми, объективными. Нисколько не отрицая внѣшнихъ чудесъ, напротивъ, вѣруя въ ихъ возможность и существованіе во всякое время, мистики, однакожъ, убѣждены, что всѣ эти чудеса—ничто въ сравненіи съ непостижимыми дѣйствіями Господа во внутреннемъ человѣкѣ: «Духъ человѣческій есть собственно храмъ Его чудесъ; здѣсь преимущественно открывается Онъ во всемъ своемъ величіи. Самомалѣйшее дѣйствіе Его во внутреннемъ есть болѣе самаго величайшаго чуда во внѣшнемъ мірѣ... А изъ внутреннихъ чудесъ наивеличайшее, все великое превосходящее, есть *возрожденіе*, производимое таинственно Духомъ Святымъ въ душѣ, ему предавшейся. Оно такъ велико, что, по мнѣнію нѣкоторыхъ, самыя ангелы какъ-бы завидуютъ падшему, но чрезъ Спасителя искупленному и возрожденному человѣку; потому что пріобрѣтеніе его несравненно превышаетъ его потерю ⁽²⁾».

Изъ нѣсколькихъ словъ митрополита Филарета въ великій натокъ самое замѣчательное, по моему мнѣнію, сказано въ 1813 г. Въ одной его части, изображающей тяжесть креста, понесеннаго Спасителемъ ⁽³⁾, я вижу сходство съ 14-ой главой книги «Таинство креста»: *о уничтожительномъ крестѣ Христовомъ* ⁽⁴⁾, и съ отдѣломъ бесѣды Дю-Туа въ великій четвертокъ: «душа Ісуса подав-

⁽¹⁾ Крещеніе—образъ таинственнаго очищенія душъ, тайная вечеря—божественнаго наслажденія душъ (Покойшіяся трудолюбцы, 1784—85, т. 3, ст. о квакерахъ).

⁽²⁾ Духъ и истина (С. В. 1817, декабрь).

⁽³⁾ Отъ словъ: «Его измѣрить всемірный сей крестъ, повесенный начальникомъ нашего спасенія»... до словъ: «долго носилъ Ісусъ крестъ свой»... (Сочиненія Филарета, 1873, т. I, стр. 33—35).

⁽⁴⁾ Книга эта, какъ мы видѣли, два раза переведена на рус. языкъ (1794 и 1814). Митрополитъ могъ читать и подлинникъ: *Le mystère de la croix de Jesus Christ*.

ляется бременем креста» (1). Но разница въ томъ, что подражаніе, по краткости и силѣ, по художественному строю, по достоинству языка и представленія вышло образцовымъ ораторскимъ изложеніемъ, далеко оставившимъ за собою подлинники—растанутые, малоустроенные и многословные (2). Въ самомъ заключеніи сло-

(1) (Христ. философія, ч. 2, стр. 148—155). У Филарета отъ словъ: «долго носилъ Иисусъ крестъ свой» до словъ: «она была прискорбна даже до смерти» (Сочиненія, изд. 1873, стр. 35—37).

(2) Чтобы мое предположеніе не показалось голословнымъ, представляю сличеніе сходныхъ мѣстъ въ первомъ подражаніи:

Таинство креста (1814), т. XIV, §§ 3—9, стр. 261—271.

Онъ (І. Х.) принимаетъ поздравленія, но отъ бѣдныхъ пастуховъ стада.

Едва онъ родился, чрезъ восемь дней начинаетъ уже проливать кровь Свою обрѣзаніемъ.

За снѣмъ вскорѣ приносятся матерью своею во храмъ, которая платитъ выкупъ за Искупителя, какъ платили бѣднѣйшіе родители за первенцевъ своихъ.

Безначальный и безконечный, вѣчно ветхій и вѣчно новій, первый и послѣдній во вса вѣки—растетъ по годамъ.... Вѣчная премудрость растетъ въ разумѣ.

Источникъ и родникъ всякаго благодати растетъ во благодати.

Въ теченіи тридцати грѣхъ-лѣтней Его жизни на земли долженствовалъ повиноваться и покоряться твари своей.

30-ти лѣтъ Иисусъ крестился у Іоанна въ рѣкѣ Іорданѣ, т. е. въ рѣкѣ *меумей ерма*, означая тѣмъ, что таинство уничтожительнаго креста вездѣ находитъ себѣ мѣсто. Истинно рѣка та есть рѣка нисхожденія и уничтоженія.

Если бы сатана зналъ, что І. Х. есть тотъ хлѣбъ животы, спешай съ небеси, даждий жизнь міру.... Онъ требуетъ поклоненія и отъ кого? Отъ І. Х., коему сами ангелы поклоняются.

Ученіе Его называютъ лестію, пророческій Его духъ обманою, чудеса обольщеніемъ и приписываютъ ихъ дѣйствию Вельзевула.

То (почитаютъ Его) ядцемъ и другомъ митарямъ и грѣшникамъ.

То имущимъ бѣса, за что хотятъ Его каменіемъ побить, то хотятъ свергнуть Его съ горы.

Сочиненія Филарета (1873), т. I, стр. 33—35.

Кромѣ убогихъ родителей, едва вѣскольکو пастырей занимаются Его рожденіемъ.

Исчисляютъ Безначальному осмь дней новаго бытія—и порабащаютъ Его кровавому закону обрѣзанія.

Господь храма приносятся во храмъ поставити Его предъ Господомъ, и пришедшій испуститъ міръ испуляется двумя птенцами.

Всеобъемлющая премудрость Божія не иначе какъ съ возрастомъ преспеиваетъ мудростію у Бога и человѣковъ.

Источникъ и податель благодати пріимлетъ благодать.

Тридесать лѣтъ Владыка небесъ и Царь славы сокрывается отъ неба и земли въ глубокомъ повиновеніи двумъ смертнымъ, которыхъ удостоилъ наречи своими родителями.

Святый Божій, грядущій освятитъ человѣковъ, вмѣстѣ съ ищущими очищенія грѣшниками, преклоняется подъ руку человѣка и пріимлетъ крещеніе: истинно крещеніе, слушатели, то есть погруженіе не столько въ водахъ, сколько въ обилии креста.

Испытующій сердца и утробы поставляется въ искушенія. Хлѣбъ небесный предлагается земной алчбѣ. Тотъ, предъ которымъ должно преклоняться всякое колѣно небесныхъ, земныхъ и преисподнихъ, допускаетъ князя преисподнихъ требовать отъ себя поклоненія.

Его ученіе почитаютъ богохульнымъ, Его дѣла беззаконными, Его чудеса Вельзевуловыми.

Если обращаетъ заблудшихъ и пріимлетъ кающихся, Его поражаютъ другомъ грѣшниковъ.

Здѣсь ведутъ его на верхъ горы, дабы навзрнуть; нѣдѣ берутъ на Него каменіе.

ва⁽¹⁾, обнаруживается мистическій тонъ, хотя, съ другой стороны, оно можетъ быть толкуемо не какъ явленіе дѣйствительной силы креста, образуемаго человѣкомъ утопающимъ и птицей, возлетающей отъ земли на высоту, а просто какъ сравненіе, употребленное для ораторскихъ цѣлей. Такіе умы, какъ Филаретъ и Сперанскій, были неспособны преступать истинныя границы дѣйствій, происходящихъ въ разныхъ областяхъ. Впадать въ преувеличенія могли Дю-Туа, Дустанъ, Лабзинъ, Лопухинъ.

Онъ не имѣетъ гдѣ главу приклонити.

Съ одной стороны хотятъ поставить Его царемъ, съ другой быть Его, какъ подлѣйшаго раба.

Онъ набираетъ себѣ товарищей въ совершенію порученнаго Ему Отцемъ Его дѣла; но они всѣ люди грубые, невѣжды.... Онъ сноситъ ихъ грубость, невѣжество съ терпѣніемъ, кротостію и безпрерывнымъ смиреніемъ.

Но по крайней мѣрѣ истомленное сердце Иисусово успокоится ли хотя на нѣсколько мгновеній и отдохнетъ ли отъ своихъ крестовъ, приготовляясь къ великому, Его ожидающему?—Да, онъ идетъ съ тремя учениками на гору Ѣаворъ, гдѣ пріемлетъ отъ Отца своего прославленіе, простиравшееся даже на ризы Его.... Лице Иисусово сдѣлалось сіяющимъ подобно солнцу, а одежда блестящая какъ снѣгъ. Во время свидѣтельства о Немъ Отца, что Онъ есть сынъ Его возлюбленный, предметъ Его благоволенія, сердце Иисусово подвигалось и духъ Его занимался совѣсьми другіхъ предметомъ, нежели славой. Онъ бесѣдовалъ съ Моисеемъ и Іизеемъ о предстоящихъ Ему крестахъ въ Іерусалимѣ. И такъ Ѣаворъ въ сердцѣ и духѣ Его предварительно былъ Голговою. Дивное и странное чудо! посреди божественныхъ наслажденій Онъ бесѣдуетъ о своихъ страданіяхъ, посреди славы о жестокой смерти и мучительной казни, которую готовился Онъ терпѣть.

Нигдѣ не даютъ Ему главы подклонити.

Народъ во вратахъ Іерусалима кричитъ: вѣстуетъ Его царемъ, — всѣ земныя власти возстаютъ, дабы осудить Его, какъ преступника.

Въ избранномъ сонмѣ своихъ друзей Онъ видитъ неблагоухарнаго предателя и первое орудіе смерти своей; лучшіе изъ нихъ служатъ Ему соблазнамъ, помышляя человѣческое въ то время, когда Онъ идетъ на дѣло Божіе.

Почіешь ли ты, Божественный крестоносецъ, хотя на одно мгновеніе отъ нѣга, непрестанно возрастающаго на раменахъ Твоихъ?.... Такъ, приближался къ Голгоѣѣ, ты почіешь на Ѣаворѣ. Гради на сію гору славы; да просвѣтитъ лице Твое свѣтомъ небеснымъ; да убѣлится ризъ Твоихъ; да пріимутъ законъ и пророки признать въ Тебѣ свое исполненіе; да услышится гласъ благословенія Отцаго!—Но не причаеете ли вы, слушатели, какъ крестъ слѣдуетъ за Иисусомъ на самый Ѣаворъ, и слово крестное не разлучается отъ слова прославленія? О чемъ такою среди толпы славы бесѣдуютъ со Иисусомъ Моисей и Іиза?—Они бесѣдуютъ о Его крестѣ и смерти. *Глаголаста же исхоще Ею.*

¹⁾ О человѣкѣ, влекомый благодатію Господа твоего на небо, но пограваящій плотію въ мірѣ! видѣ образъ твой въ человѣкѣ, погружающемся въ воды и противоборствующемъ поточенію: онъ непрестанно возобновляетъ въ членахъ своихъ образъ креста и такимъ образомъ превозмогаетъ войны. Возри на птицу, когда она желаетъ вознестися отъ земли: она простирается въ крестъ и возлетаетъ. Ищи и ты въ крестѣ изникнуть изъ міра и вознестися къ Богу.

Выше было замѣчено, что опасенія Карамзина, въ виду господства мистики и назначенія кн. Голицына министромъ просвѣщенія, были основательны и оправдались фактически. Какъ первыя мѣры министерства, такъ еще болѣе послѣдующія (съ 1820 г.) ясно показали, чего можно было ожидать отъ мистиковъ для народнаго образованія на всѣхъ его степеняхъ. Строгость ценсуръ, дѣйствія такихъ попечителей университетовъ, какъ Руничъ (петербургскаго), Магницкій (казанскаго) и Карнѣевъ (харьковскаго), нацѣленно клонились къ тому, чтобы задержать развитіе литературы и стѣснить высшее научное образованіе, начертавъ ему такой путь, какому оно не могло слѣдовать, опредѣливъ ему таковой характеръ, какому оно не могло имѣть, не отрехшись отъ своей истинной сущности, не потерявъ въ корень своего прямаго значенія и прямой цѣли. Лучшіе профессора подвергались преслѣдованію; сочиненія образцовыхъ писателей не освобождалась отъ мелкихъ, придирчивыхъ, недостойныхъ замѣтокъ ценсора. Отвѣтственность падаетъ не на мистика собственно: мистика здѣсь ни при чемъ; хотя она не допускаетъ познанія Бога путемъ разума, но она признаетъ за нимъ право и силу вѣдать другія области знанія. Вина лежитъ на тѣхъ ревнителяхъ мистики, которые или не понимали ея сущности, или отличались лицемеріемъ. Первые не вѣдали что творили—и это облегчаетъ ихъ вину; вторые творили завѣдомо—и потому имъ нѣтъ оправданія.

Странное явленіе! Какъ не поняли наши мистики, что своими дѣйствіями относительно другихъ они впадали въ видимое противорѣчіе съ самими собою? Не довольствуясь обыкновенною вѣрой, которую они даже называли «вѣрованіемъ», и стремясь къ какой-то вѣрѣ высшей, они въ тоже время налагали запретъ на высшее знаніе. Добиваясь внутренняго свѣта, какъ источника сверхъестественныхъ откровеній, они готовы были гасить свѣтъ разума, этого естественнаго источника науки. Они устраивали особую, сокровенную, невидимую церковь, и тѣмъ отрѣшались отъ церкви видимой и общей, отъ ея преданій и постановленій, отъ ея дисциплины, а отрѣшеніе въ дѣлѣ научномъ отъ авторитета считали грѣхомъ и соблазномъ. Отвергая всякое посредничество между собою и Безконечнымъ, они хотѣли навязать посредничество между способностью познающей и предметами ея познанія. Развѣ сфера религіи такого свойства, что въ ней преобразованія и нововведенія безопасны, тогда какъ въ сферѣ челоѣческаго разума они грозятъ опасностью? Мистикъ принимаетъ не только къ свѣдѣнію, но и къ руководству опыты своей внутренней жизни, состоянія своего индивидуальнаго духа; они служатъ ему основой для

ученія, доводами въ пользу тѣхъ или другихъ догматовъ: по какой же причинѣ не должна имѣть мѣста пытливость умственная? Мистика допускаетъ свободу относительно религіознаго ученія; она исходитъ изъ индивидуальнаго чувства, которое можетъ быть и несогласно съ общимъ чувствомъ вѣрующихъ; я играетъ въ ней большую роль и хочетъ взять верхъ надъ имъ; личное стремится къ господству надъ общимъ. Фенелонъ въ полемикѣ съ Боссюэ-этомъ по поводу квіетизма оттого и проигралъ свое дѣло, что стоялъ на почвѣ личнаго чувства, индивидуальнаго опыта, принципа свободы. Большинство оказалось не на его сторонѣ. Мистики наши должны были знать это; они воздавали дружныя похвалы автору Телемака: на какомъ же основаніи вопіяли они противъ свободы мысли, считая каждый шагъ ея впередъ гибельнымъ прогрессомъ? Они дѣйствовали въ своемъ кругу такъ же, какъ профессора и литераторы въ своемъ. Какимъ образомъ они не узнали своихъ? За это невѣдѣніе, лицемерное или искреннее, судьба наказала ихъ тѣмъ самымъ, въ чемъ они провинились. Фотій, Аракчеевъ, Шишковъ поразили ихъ собственнымъ ихъ оружіемъ—обличеніемъ въ вольнодумствѣ. Если мистики видѣли въ ученыхъ книгахъ и лекціяхъ подкопъ подъ религію, антигосударственные замыслы, планы на пагубу Россіи, заразу русскаго юношества, то сами они отъ своихъ противниковъ подозрѣвались въ тѣхъ же самыхъ покушеніяхъ и получали названія протестантовъ, илюминатовъ, еретиковъ, революціонеровъ, якобинцевъ. «Записка о крамолахъ враговъ Россіи», какъ бы въ насмѣшку, сопоставляетъ то, въ чемъ мистики думали видѣть противоположность: распространеніе мистическихъ книгъ, направленныхъ противъ вѣры, церкви, нравственности и правительства, и—рядомъ съ этимъ зломъ другое—преподаваніе зловреднаго ученія въ университетахъ и во всѣхъ высшихъ училищахъ ⁽¹⁾. Не ясно ли, что Немезида поразила виновныхъ не только гнѣвомъ, но и ироніей?

§ 25. Мы видѣли ⁽²⁾, что на первой ступени своего развитія наша литературная критика была по преимуществу стилистическая. Такою же оставалась она долго и въ періодъ Карамзинскій. Если въ предыдущемъ столѣтіи, начиная съ Ломоносова, встрѣчались уклоненія отъ общаго ея характера, то и въ первое двадцатилѣтіе нынѣшняго вѣка являлись статьи, возвышавшіяся надъ обыкновеннымъ критическимъ уровнемъ. Вотъ нѣсколько тому примѣровъ. Дашковъ, въ полемикѣ съ Шишковымъ, не довольствуется

¹⁾ Рус. Архивъ 1868, стр. 1886.

²⁾ Ист. Русс. Слов. I.

ловлей грамматических и стилистических погрѣшностей своего противника: онъ занятъ серьезнымъ вопросомъ объ отношеніи церковно-славянскаго языка къ русскому и показываетъ необходимую связь между движеніемъ образованія съ одной стороны и введеніемъ неологизмовъ съ другой. Жуковскій, въ разборѣ сатиръ Кантемира и басень Крылова, основываетъ свои сужденія на теоріи и исторіи тѣхъ родовъ словесности, къ которымъ принадлежитъ сочиненія этихъ писателей, другими словами: общее прилагаетъ къ частному, разъясняя притомъ послѣднее сравненіемъ съ другими однородными образцами. Каченовскій, при оцѣнкѣ сочиненій и переводовъ И. Дмитріева, слѣдуетъ тому же методу, тогда какъ другіе умѣли только восхищаться баснописцемъ, выражая свой восторгъ похвалами до того избытыми, что онѣ сдѣлались общими мѣстами. Строевъ впервые опредѣлилъ настоящее значеніе Россіады, показавъ ея невѣрность въ историческомъ отношеніи и ея незначительность, почти ничтожность въ отношеніи поэтическомъ. Изъ ряда вонъ выходятъ также критическія статьи кн. П. Вяземскаго: О жизни и сочиненіяхъ Озерова и о жизни и стихотвореніяхъ И. Дмитріева. Но всѣ эти и подобные имъ примѣры были случайностями въ общемъ ходѣ критики. Обратитъ случайное въ постоянную практику предоставлено было Мерзлякову (1778—1830), профессору краснорѣчія и поэзіи въ Московскомъ Университетѣ. Заслуга его состоитъ въ томъ, что онъ, въ своихъ литературныхъ разборахъ, руководствовался общими началами и сравненіемъ разбираемыхъ произведеній съ другими однородными, древними и новыми, другими словами: положилъ основаніе теоретико-сравнительному методу въ критикѣ, который хотя не исключаетъ, изъ своего вѣдѣнія, стилистической стороны, но отводитъ ей подчиненное мѣсто.

Въ университетѣ Мерзляковъ преподавалъ Теорію поэзіи, предлагающей правила поэтическихъ родовъ, иногда предпосылая ей введеніе, состоящее въ изложеніи общихъ эстетическихъ началъ науки, и Риторику, объясняющую правила всѣхъ родовъ прозаическихъ сочиненій. Руководствомъ для него служилъ нѣмецкій эстетикъ Эшенбургъ, школы Баумгартена. Слѣдуя ему, Мерзляковъ издалъ: «Краткую Риторику» (2-е изд. 1817) и переводъ изъ Эшенбурга «Краткое начертаніе теоріи изящной словесности (1821—1822) и «Краткое руководство къ Эстетикѣ» (1829). Въ нѣкоторыхъ основныхъ мысляхъ переводчикъ отступалъ отъ подлинниковъ. Такъ, напримѣръ, Эшенбургъ признаетъ недостаточнымъ начало, которое Батте полагалъ для изящныхъ искусствъ въ подражаніи, и ставитъ высшимъ началомъ «чувственное совершен-

ство», представляемое искусством; Мерзляковъ остается при мнѣніи Батте, говоря: «подражаніе природѣ эстетическое, въ полномъ смыслѣ этого слова, можетъ быть принято за начало всѣхъ искусствъ». Эшенбургъ цѣлью всякаго художественнаго представленія полагаетъ очарованіе, но такое, посредствомъ котораго идеальное получаетъ напечатлѣніе дѣйствительности такъ, что представленіе чрезъ то является вмѣстѣ и чувственнымъ и совершеннымъ; Мерзляковъ принимаетъ очарованіе въ смыслѣ ученія Батте и всей лже-классической французской школы: «цѣль каждаго искусственнаго представленія есть очарованіе, или *умышленно произведенный обманъ* въ наружныхъ и внутреннихъ чувствахъ наблюдателя, по которому подражаніе искусства принимается за существование и за непосредственное созерцаніе». Вообще Мерзляковъ не сочувствовалъ эстетическому ученію нѣмцевъ, а Эшенбурга держался только потому, что въ немъ болѣе чѣмъ въ другихъ находилъ отголосокъ французской теоріи, измѣняя, однакожъ, въ немъ то, что съ нею не согласовалось. Главнымъ стремленіемъ и Эшенбурга и его послѣдователя было не столько сознать законы красоты въ явленіяхъ изящнаго, какъ въ природѣ, такъ и въ искусствѣ, сколько предписать *общія* правила для художниковъ. Но убѣжденіе въ прочности этихъ правилъ у Мерзлякова не было твердо. Онъ сомнѣвался въ самостоятельности науки объ изящномъ, какъ видно изъ слѣдующихъ его словъ: «Впрочемъ, произведенія изящныхъ искусствъ, какъ предметъ чувствованія и вкуса, не подвержены строгимъ правиламъ и не могутъ, кажется, имѣть постоянной системы, или науки изящнаго. Самое понятіе о прекрасномъ чуждо всякихъ законовъ.... Только *критика вкуса* имѣетъ здѣсь свой голосъ, болѣе или менѣе опредѣленный.... Врожденная и совершенствуемая разумомъ чувственная способность, *вкусъ*, вмѣстѣ съ *критикой*, основанной на сравненіи, доводитъ насъ до опредѣленія, сколько возможно, точнѣйшихъ границъ изящной природы, изъ которой почерпаютъ свои матеріалы всѣ искусства». — Питая особенное нерасположеніе къ умозрительнымъ системамъ нѣмцевъ, онъ скептически относился къ системѣ вообще: «вотъ гдѣ система», говаривалъ онъ слушателямъ, указывая на сердце.

Въ 1812 году Мерзляковъ открылъ публичный курсъ словесности. Бесѣды его, прерванныя нашествіемъ Наполеона, возобновились въ 1816-мъ. Особенною ихъ цѣлью было принести пользу тѣмъ молодымъ людямъ, которые, по любви къ словесности, желали бы познакомиться съ нею, но которымъ служебныя обязанности или другія занятія не позволяли посѣщать университетъ. Въ первый курсъ (10 бесѣдъ) Мерзляковъ разсмотрѣлъ общія правила

краснорѣчія и поэзіи и особенныя правила разныхъ родовъ сочиненій; во второй. (24 бесѣды), по краткомъ изложеніи того, что содержалъ въ себѣ предъидущій курсъ, онъ представилъ разборы извѣстнѣйшихъ русскихъ стихотворцевъ, преимущественно Ломоносовскаго періода. Чтенія имѣли блистательный успѣхъ. Ихъ посѣщали не одни молодые любители словесности, но и знатнѣйшія особы столицы, первые литераторы, дамы. Родъ и заслуга Мерзлякова въ этомъ отношеніи сходственна съ ролью и заслугой знаменитаго нѣкогда французскаго критика Лагарпа († 1803), который, по открытіи въ Парижѣ Лицея (1786), въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ читалъ въ немъ курсъ литературы и такъ прославился своими чтеніями, что сдѣлался авторитетомъ и получилъ наименованіе французскаго Квинтилиана (4). Какъ Лагарпъ послѣ общихъ теоретическихъ началъ, основанныхъ на ученіи Аристотеля, большую часть курса посвятилъ французской литературѣ XVII и XVIII столѣтій, такъ и Мерзляковъ, начавъ съ теоріи, прилагалъ ее къ разбору поэтическихъ произведеній. Какъ Лагарпъ видѣлъ совершеннѣйшій образецъ изящной словесности въ писателяхъ вѣка Людовика XIV-го, такъ и Мерзляковъ—если не во всѣхъ родахъ словесности, то, по крайней мѣрѣ, въ драмѣ отдавалъ пальму первенства французамъ: Корнелю, Расину, Вольтеру. Наконецъ, подобно Лагарпу, Мерзляковъ основываетъ свою критику на сравненіи разбираемыхъ образцовъ съ однородными имъ образцами древней и новой литературы.

Изъ бесѣдъ, относящихся къ теоріи словесности, напечатаны слѣдующія: а) о талантахъ стихотворца; б) о гени, объ изученіи поэта, о высокому и прекрасному; в) объ изящной словесности, ея пользѣ, цѣли и правилахъ; г) объ изящномъ, или о выборѣ въ подражаніи; д) приложеніе основъ изящнаго къ родамъ и видамъ поэзіи, необходимость науки для художника и разборъ оды Державина «На взятіе Варшавы» въ отношеніи къ плану и ходу; е) о томъ, что называется дѣйствіемъ драмы (баснь, содержаніе) и объ его главныхъ свойствахъ; ж) разсужденіе о драмѣ вообще. Ученіе, изложенное въ этихъ бесѣдахъ, представляетъ нѣкоторыя здравыя и самостоятельныя мысли, но въ сущности не отличается отъ того, что содержится въ Руководствахъ къ Эстетикѣ и къ изящной словесности. Это — та же теорія Буало, Батте, Лагарпа, съ прибавленіемъ правилъ Аристотеля и Горация, но въ томъ

4) Lycée ou cours de littérature ancienne et moderne, 16 томовъ. Русскій переводъ: «Лядей или вругъ словесности, древней и новой», переведенный членомъ Россійской Академіи, 5 ч. (1810—1814).

смыслѣ, какъ они были истолкованы французами. Самое опредѣленіе поэзіи основано на главномъ началѣ изящныхъ искусствъ—подражаніи природѣ: «Поэзія есть подражаніе въ гармоническомъ словѣ, иногда вѣрное, иногда украшенное—всему тому, что природа можетъ имѣть прелестнаго, трогательнаго, подражаніе разнообразное съ намѣреніемъ поэта, съ его талантами и чувствами» (чтеніе 4-е). Вообще въ теоретическихъ положеніяхъ автора встрѣчаются противорѣчія и несообразности. Онъ, напримѣръ, на основаніи Горациевой «Ars poetica» принимаетъ только два рода поэзіи: эпическій и драматическій, относя къ первому и лирический, какъ бы не зная, что въ поэзіи новаго (христіанскаго) міра лирика такъ же самостоятельна, какъ эпосъ и драма. При разборѣ оди Державина: «На взятіе Варшавы» (5-я бесѣда) замѣчаетъ, что «въ порывахъ чувствъ есть своя система постоянная и вѣрная, которую и долженъ открыть и исполнить стихотворецъ»: замѣтка вполне справедливая, но несогласная съ его же мнѣніемъ, что произведенія изящныхъ искусствъ не могутъ имѣть системы, почему критикъ въ своихъ сужденіяхъ долженъ основываться не на законахъ изящнаго, а единственно на вкусѣ и сравненіи. Называя краснорѣчіе соединеннымъ языкомъ разума и чувства, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ полагаетъ самымъ важнымъ дѣломъ оратора—возбужденіе страстей, какъ будто языкъ разума можетъ быть и языкомъ страсти. Теорію романа, повѣсти и сказки онъ то помѣщалъ въ Риторикѣ, то переносилъ въ Теорію изящной словесности, то снова включалъ ее въ Риторику, подъ именемъ теоріи вымышленныхъ повѣствованій.

Сужденія, основанныя на теоріи односторонней или невѣрной, потому самому должны выходить односторонними или невѣрными. Дѣйствительно, же-классическая теорія французовъ, вмѣстѣ съ французскими образцами, почитаемыми за высшее выраженіе изящества, много повредила Мерзлякову. Хотя основательное знаніе языковъ древнихъ и нѣкоторыхъ новыхъ (французскаго, нѣмецкаго и итальянскаго) вооружило его богатыми средствами для сравнительнаго метода, но вѣдь заключительные выводы, добываемые помощью сравненій, также должны основываться на какомъ-нибудь теоретическомъ началѣ: если начало не истинно, то и заключеніе окажется ложнымъ. Къ счастью для него, онъ получалъ отъ природы другія, необходимыя критикѣ средства, независимо отъ вѣры въ эстетическіе догматы и отъ увлеченія образцами: здравый смыслъ, поэтическое чувство, засвидѣтельствованное нѣкоторыми изъ его собственныхъ произведеній, ту систему сердца, которая—такъ онъ думалъ—не только лучше всякихъ научныхъ системъ, но и есть

единственно вѣрная, необманчивая. Въ лицѣ его; по справедливому замѣчанію, критикъ и поэтъ были нераздѣльны. Этимъ объясняется значеніе критики Мерзлякова — ея достоинства и недостатки. Тамъ, гдѣ притязанія избранной имъ теоріи брали верхъ надъ его чувствомъ, онъ впадаетъ въ ошибки и недоразумѣнія; тамъ же, гдѣ, увлекаясь предметомъ разбора, поддавался чувству и забивалъ теорію, — онъ вѣрно угадывалъ красоты и слабыя стороны произведенія, дѣлалъ справедливыя о немъ замѣтки. Отсюда же происходитъ, что критическія статьи перваго разряда, написанныя подъ вліяніемъ теоріи, нерѣдко противорѣчатъ статьямъ втораго разряда, продиктованнымъ истиннымъ чувствомъ.

Лучшими образцами критическаго метода Мерзлякова, разсматривавшаго русскія произведенія литературы сравнительно съ образцами изящной словесности древняго и новаго міра, служатъ разборы трагедій Озерова: «Поликседа» и «Эдипъ въ Афинахъ»⁽¹⁾. Въ первомъ разборѣ наша піеса обстоятельно слѣчается съ тремя піесами такого же содержанія: греческою (Эврипида), латинскою (Сенеки) и французскою (Шатобриана). Критикъ указываетъ въ ней заимствованія и отступленія, отдавая въ однихъ случаяхъ преимущество подражателю, въ другихъ подлинникамъ. Недовольный характерами Пирра и Улисса, онъ замѣчаетъ, что «авторъ обязанъ непременно, взявъ характеры древнихъ нравовъ, сблизить ихъ, сколько можно, съ зрителями, для которыхъ трагедія сочиняется, какъ дѣйствительно и поступали Корнели, Расины, Вольтеры и всѣ поставившіе трагедію на нынѣшнюю степень совершенства», т. е. обязываетъ драматическаго писателя именно тѣмъ, что уже современная Мерзлякову нѣмецкая критика ставила въ упрекъ французскимъ трагикамъ, какъ нарушеніе преданія или исторіи, какъ несоблюденіе мѣстнаго колорита. При разборѣ «Эдипа въ Афинахъ», Мерзляковъ сопоставляетъ эту трагедію съ трагедіями Софокла (Эдипъ Колонскій) и французскаго автора Дюси (Эдипъ у Адмета). Отдавая полное преимущество Софоклу, онъ порицаетъ Озерова за то, что не видитъ въ его піесѣ ни Греции, ни грековъ: порицаніе заслуженное, но раздѣляемое Озеровымъ съ Корнелями, Расинами, Вольтерами и всѣми (какъ выразился Мерзляковъ), поставившими трагедію на нынѣшнюю степень совершенства. И какъ согласить такое разумное требованіе Греции и грековъ въ «Эдипѣ въ Афинахъ» съ другими, вышеприведеннымъ требованіемъ, «чтобы авторъ сблизилъ характеръ древнихъ нравовъ съ зрителями, для которыхъ трагедія сочиняется?» — Замѣ-

¹⁾ Вѣст. Евр. 1817, т. I, № 4; т. II, № 5.

чтецъ, по вѣрности взгляда, разборъ Дмитрія Самозванца (Сумарокова) и Росслава (Княжнина) (1). Въ Дмитріи критикъ справедливо видитъ «чудовище, исполненное несообразностей», а содержаніе трагедіи передается въ слѣдующихъ словахъ: «тиранъ сардился, бранился и съ досады наконецъ убилъ себя». Но, изрекая такой приговоръ, Мерзляковъ, сознательно или безсознательно, осудилъ всѣ французскія трагедіи лже-классическаго періода: въ нихъ дѣйствующія лица и выходятъ на сцену и сходятъ со сцены съ одною только страстію, не представляя дѣльнаго характера. О «Росславѣ» произнесено строгое сужденіе за несообразность сюжета и неестественность характеровъ. Напротивъ, разборъ «Россиади» (2), не смотря на свою подробность, не даетъ опредѣленнаго понятія о значеніи поэмы. Указаны нѣкоторые ея недостатки, но выстѣ съ тѣмъ — изъ уваженія ли къ творцу ея, или изъ боязни идти наперекоръ сложившемуся мнѣнію — она сравнена съ храмомъ св. Петра: «какъ громада неподвижная, и въ буряхъ времени, и въ буряхъ мнѣній, стоитъ огражденная неизмѣненными своимъ величьемъ». Лже-классическая теорія иногда заставляла Мерзлякова противорѣчить общему чувству, которое зрители испытывали въ театрѣ. Такъ, въ разборѣ Аблесимова «Мельника» (3), онъ не хотѣлъ объяснить успѣха этой оперы тѣмъ, что она, какъ всѣ тогда утверждали, написана въ русскихъ нравахъ. Задавъ себѣ вопросъ: «отъ чего Мельникъ такъ долго и постоянно удерживается на нашемъ театрѣ?» критикъ рѣшаетъ его тѣмъ, что «піеса, подобно всѣмъ лучшимъ трагедіямъ и комедіямъ, вполне удовлетворяетъ законамъ Аристотеля, наставленіямъ Горация и Буало, и вообще правиламъ науки и вкуса, о которыхъ Аблесимовъ, можетъ быть, и не думалъ вовсе. Такова сила предвзятыхъ убѣжденій! Она способна доводить не только до педантическихъ натяжекъ, но и до фанатизма, требующаго, во что бы-то ни стало, слѣдованія единственно той теоріи, въ которой критикъ не видитъ спасенія.

Изъ сказаннаго ясно, что Мерзляковъ долженъ былъ отрицательно относиться къ новымъ направленіямъ русской поэзіи, которыя его теорія не признавала добродѣтельными. Въ «Писемъ

1) Вѣст. Евр. 1817, т. III, № 12, и т. IV, №№ 13 и 14.

2) Въ семи статьяхъ (Амфюнъ, 1815).

3) В. Е. 1817, т. II, № 6. Другія критическія статьи Мерзлякова: «Разсужденіе о рос. словесности, въ нынѣшнемъ ея состояніи» (Труды Общества люб. Рос. Словесности 1812, ч. I), съ краткими, но замѣчательными характеристиками русскихъ писателей; «Разборъ 8-й оды Ломоносова» (ib. 1817, ч. 7); «Разборъ Фигала Озерова» (Вѣст. Евр. 1817, т. III); «О Державинѣ» (Тр. Общ. 1820, ч. 18).

изъ Сибири» онъ напалъ на баллады и гексаметры, какъ на злоупотребленіе поэзіи (1). Статья «о вѣрнѣйшемъ способѣ разбирать и судить сочиненія, особливо стихотворныя, по ихъ существеннымъ качествамъ», осуждаетъ мечтательныя созданія романтической поэзіи; находитъ въ нихъ необузданность фантазіи и слѣдовательно противорѣчіе основному правилу изящнаго, состоящему въ стройности цѣломъ (2). При «воспоминаніи о Сокольскомъ», одномъ изъ даровитыхъ учениковъ своихъ, Мерзляковъ жалѣетъ, что онъ былъ привязанъ къ нѣмецкой литературѣ и видитъ въ этой привязанности «припадокъ времени». Прочитавъ «Цыганъ», онъ, въ цензурномъ комитетѣ, состоявшемъ тогда при университетѣ, въ присутствіи всѣхъ называлъ это сочиненіе неблагопріятнымъ и безнравственнымъ. Позднѣе (1830), на диспутѣ у Надеждина (въ послѣдствіи профессора теоріи изящныхъ искусствъ), написавшаго диссертацию на званіе доктора: «De origine, natura et fasis Poëseos, quæ Romantica audit», Мерзляковъ никакъ не хотѣлъ допустить законность романтизма, утверждалъ, что разныхъ поэзій нѣтъ, а есть только одна поэзія, та именно, которая «согласна съ общимъ вкусомъ образованныхъ націй». Въ возраженіяхъ своихъ онъ былъ остановленъ замѣчаніемъ одного изъ профессоровъ, стараго словесника (Л. А. Цвѣтаева), что и вѣра христіанская одна; но что самъ возражатель не можетъ же отвергать различія между разными ея вѣроисповѣданіями — православнымъ, католическимъ, лютеранскимъ. Самый эпиграфъ къ диссертации: «ubi vita—ibi poësia» (гдѣ жизнь, тамъ и поэзія), не нравился Мерзлякову, какъ слишкомъ расширяющій область поэзіи, которая, по его мнѣнію, должна ограничиваться подражаніемъ «изящной» природѣ, да и изъ этой природы онъ совѣтовалъ для подражанія выбирать только такіе предметы, которые имѣютъ ближайшее вліяніе на человѣка, на благо его, на его несчастія. Исключительнымъ взглядомъ на искусство Мерзляковъ поднималъ противъ себя даже учениковъ своихъ, хотя они очень уважали его и какъ человѣка, и какъ даровитаго критика. По поводу положенія изъ «Краткаго начертанія теоріи изящной словесности», что «произведенія изящныхъ искусствъ не подлежатъ строгимъ правиламъ и не могутъ имѣть постоянной системы, и что только критика вкуса имѣетъ здѣсь свой голосъ болѣе или менѣе опредѣленный», кн. Одоевскій, издававшій «Мнемозину» (1824), спрашиваетъ: «на чемъ же должна основываться эта критика вкуса, если изящное не можетъ имѣть постоян-

1) Труды Общества 1818, ч. IX.

2) Ib. 1822, ч. 2.

ныхъ, строгихъ законовъ?... Пора знать, что есть другія основанія для теоріи изящнаго, кромѣ тѣхъ, о которыхъ толкуется въ нашихъ риторикахъ и піитикахъ, краткихъ и пространныхъ, сочинители коихъ какъ будто спали сномъ Эпименида и, проснувшись, начали толковать о томъ, что говорилъ учитель ихъ учителя. Въ «разсужденіи о началѣ и духѣ древней трагедіи и о характерахъ трехъ греческихъ трагиковъ», напечатанномъ въ видѣ предисловія къ «Подражаніямъ и переводамъ изъ греческихъ и латинскихъ стихотворцевъ» (1825 — 1826), Мерзляковъ объясняетъ происхожденіе искусствъ эмпирическимъ способомъ, по которому искусства изобрѣтены случайно или нуждою и усовершенствованы вкусомъ. Веневитиновъ отвергнулъ такой взглядъ, какъ устарѣлый, и доказалъ, что начала искусствъ слѣдуетъ искать не внѣ чловѣка, а внутри его, въ прирожденной ему творческой способности ⁽¹⁾.

Примѣръ Мерзлякова мало нашелъ себѣ подражателей. Одновременно съ его серьезнымъ теоретико-сравнительнымъ методомъ разсматривать произведенія литературы продолжало существовать прежнее направленіе критики мелкой, державшейся на грамматическихъ и стилистическихъ замѣткахъ. Большею частію она дѣйствовала въ журналахъ. Журналъ «Благонамѣренный», издававшійся Александромъ Измайловымъ, представилъ многіе образцы ея при отчетахъ о нововыходившихъ книгахъ. Самъ издатель, какъ баснописецъ, занимался разборомъ басенъ. Руководствомъ служила ему теорія этого поэтического рода, напечатанная подъ заглавіемъ: «О разсказѣ басни» и составляющая только часть задуманнаго имъ «Полнаго опыта о баснѣ» ⁽²⁾. Это не что иное, какъ выборка правилъ изъ сочиненій: Батте «Основанія словесности», Мармонтеля «Французская піитика», Лагарпа «Похвальное слово Лафонтену», Ламота «Разсужденіе о баснѣ», Гильона «Лафонтенъ и другіе баснописцы», Шамфора «Комментарій къ баснямъ Лафонтена», и пр. Своего собственнаго нѣтъ ничего, кромѣ примѣровъ, которые Измайловъ бралъ изъ русскихъ басенъ. Самыя положенія, заимствованныя у разныхъ теоретиковъ, не получили твердой постановки.

Какъ ни скудно содержаніе «Опыта о разсказѣ басни», но основанные на немъ разборы трехъ басенъ: Воля и Неволя (Хемницера), Коть, Ласточка и Кроликъ (И. Дмитріева), Лягушки, просящія царя (Крылова), еще скуднѣе. Они ограничиваются либо грам-

¹⁾ Сынъ Отечества 1825, т. III. О Мерзляковѣ см. Біогр. Словарь Моск. Univ.

²⁾ Во 2-мъ т. Сочиненій А. Измайлова, 1849.

матическими, либо стилистическими примѣчаніями. Измайловъ въписываетъ отдѣльные стихи и показываетъ достоинство или недостатки версификаціи, выбора словъ, строенія рѣчи, фигурнаго языка. Если басня переводная, то показывается, въ чемъ она уступаетъ оригиналу и въ чемъ беретъ надъ нимъ преимущество. Дальше этого нейдетъ критика Измайлова.

Уваженіе къ слогу, предпочтительно предъ другими сторонами сочиненія, господствовало между всѣми нашими литераторами, особенно тѣми, которые и въ теоріи и въ критикѣ слѣдовали французамъ. У Измайлова оно доходило почти до исключительности и даже привело его къ забавному самоуправству съ памятниками словесности. Издавая, по просьбѣ книгопродавца, сочиненія Озерова (въ 1824 г.), онъ, «изъ уваженія къ памяти незабвеннаго трагика, осмѣлился исправить у него нѣкоторые несомнѣнные ошибки въ словахъ» (собственные слова Измайлова). Напримѣръ, стихи Озерова, въ «Эдипѣ въ Афинахъ» и «Фингалѣ»:

Ты зри главу мою, лишенную волосъ...

Ты храбростью своей въ лѣтахъ младыхъ извѣстенъ...

замѣнены слѣдующими:

Зри и главу мою, лишенную волосъ...

Ты мужествомъ своимъ вселенной всей извѣстенъ.

«Надѣюсь (прибавляетъ исправитель), что просвѣщенные любители отечественной словесности не поставятъ мнѣ этого въ вину. Озеровъ, равно какъ и Державинъ, былъ великій поэтъ, но не всегда, какъ и тотъ, искусный *стихослазатель*. Этотъ недостатокъ есть, такъ сказать, неизбежная дань, заплаченная ими тому времени, въ которое они начали писать, не учась, къ сожалѣнію, классически словесности и не имѣвъ тогда образцовъ исправнаго стихосложенія». Должно думать, Измайловъ имѣлъ оригинальное понятіе и о классическомъ ученіи, и о снисходительности просвѣщенныхъ любителей отечественной словесности. Впрочемъ поступокъ его былъ встрѣченъ сильнымъ осужденіемъ въ журналахъ.

Разборъ поэмы Пушкина: «Русланъ и Людмила», написанный Воейковымъ ⁽¹⁾, еще сильнѣе выказываетъ направленіе критики въ Карамзинскую эпоху. Онъ имѣетъ притомъ особое значеніе, потому что имя Воейкова пользовалось большою извѣстностью. Нѣкоторое время ставили его на ряду съ именами Жуковскаго и Батюшкова, образуя такимъ сопоставленіемъ своего рода первоклассный литера-

¹⁾ Сынъ Отеч. 1820.

турный триумфировать. Какъ видный литераторъ и вѣсть какъ профессоръ русской словесности въ Дерптскомъ университетѣ, онъ считалъ себя въ правѣ судить и рѣшать о произведеніяхъ поэзій. Журналы охотно принимали его критическія статьи на свои страницы, и самъ онъ былъ увѣренъ въ ихъ несомнѣнной цѣнности.

Къ разбору «Руслана и Людмилы» Воейковъ приступилъ съ аппаратомъ и приемами лже-классической пѣттики, т. е. выбралъ именно ту мѣрку, которою нельзя измѣрять значеніе разбираемаго сочиненія. Сказавъ, что стихотвореніе Пушкина справедливо названо поэмой, онъ задаетъ себѣ вопросъ: какаѣ же это поэма? Отвѣтъ былъ затруднителенъ, такъ какъ произведеніе не находило себѣ мѣста въ дѣленіи эпоса на виды по теоріи, обязательной для критика. Поэтому критикъ опредѣлилъ его сначала отрицательными признаками: эта поэма—«не эпическая, не описательная, не дидактическая», а потомъ признаками положительными: она—«богатырская, волшебная, шуточная», прибавивъ къ тому, что «нынѣ сей родъ поэзій называется романтическимъ». Такое опредѣленіе, разумѣется, ничего не опредѣлило, не говоря уже о его невѣрности. Богатыри—тѣже герои и слѣдовательно имѣютъ право быть дѣйствующими лицами эпической поэмы. Въ Освобожденномъ Иерусалимѣ, поэмѣ эпической, есть и волшебникъ, и волшебница, и волшебства. Съ другой стороны «Русланъ и Людмила» содержитъ въ себѣ описанія богатырей, чародѣевъ, сраженій, садовъ и многихъ другихъ предметовъ: почему же не принадлежать ей къ поэмамъ описательнымъ? Что же касается до забавной характеристики романтической поэзій, которая будто бы слагается изъ смѣси богатырскаго, волшебнаго и шуточнаго, то одинъ изъ защитниковъ Пушкина тогда же справедливо замѣтилъ, что критикъ не имѣетъ понятія о романтизмѣ и должно быть вовсе не читалъ Байрона. Отъ опредѣленія поэмы Воейковъ переходитъ къ изложенію ея содержанія и къ характерамъ ея сверхъестественныхъ существъ и героевъ. Любопытно, что къ героямъ причислена и голова Черноморова брата, причемъ въ характерѣ ея найдена постоянная и ровная выдержанность въ теченіи всѣхъ шести пѣсень. Далѣе говорится, что поэма безъ начала, ибо нѣтъ въ ней «воззванія», ни «изложенія», и «поэтъ какъ съ неба упадаетъ на Владиміровъ пиръ»; что переходы изъ тона въ тонъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ слишкомъ скоры, какъ у Аріоста; что повѣсть о любви Финна и Наины, разговоры Финна съ Русланомъ и эпизодъ о приключеніяхъ Ратмира было бы лучше замѣнить чѣмъ-нибудь другимъ, не столько низкимъ и грубымъ, ибо, по внушительному замѣчанію критика, вѣроятно забывшаго, на этотъ случай, и поэму Аріоста, и русскія былины,

эпический поэт обязан вести себя передъ слушателями вѣжливо и почтительно, и хотя основаніе поэмъ взято изъ народной сказки, но и между простымъ народомъ есть своя благопристойность, свое чувство изящнаго». О рѣчахъ героя произнесено слѣдующее, ничего не доказывающее мнѣніе: «рѣчи нѣйдутъ въ сравненіе съ Гомеровыми, но не надобно забывать, что Иліада — поэма эпическая, а Русланъ — романтическая», какъ будто кто-нибудь могъ забыть это и рѣшиться на сравненіе предметовъ, не подлежащихъ сравненію. Остроты въ лирическихъ прологахъ каждой пѣсни признаны натянутыми и плоскими. Отмечена и нравственная цѣль поэмъ, состоящая въ томъ, что злодѣйство наказано, а пороки торжествуютъ; но при этомъ укоряется авторъ за любовь къ двусмысленностямъ, намекамъ, употребленію эпитетовъ: «нагія», «полуднагія»; у него, говоритъ критикъ, и холмы «нагіе», и сабли «нагія», онъ томится какими-то желаніями, сладострастными мечтами, во снѣ и на яву ласкаетъ прелести дѣвъ, ввускаетъ восторги, и проч. и проч. Последняя (четвертая) статья занята критикой стиля. Воейковъ особенно остановился на этомъ пунктѣ, считая себя сильнымъ по части слога. Но какого свойства эта сила, легко видѣть каждому изъ нѣсколькихъ выписокъ, въ которыхъ стихи Пушкина сопровождаются стилистическими замѣтками.

Сердца ихъ гнѣвомъ стѣснены:

Гнѣвъ не стѣсняетъ, а расширяетъ сердце.

Съ сѣдла наѣздника срываетъ:

Слово «наѣздникъ» низко ⁽¹⁾ и выходитъ изъ общаго тона.

Питомцы бурные набѣговъ:

Неточное выраженіе: набѣгъ есть быстрое движеніе и никого не питать, ни воспитывать не имѣетъ времени.

...Вопрошаетъ мракъ вѣмой:

Это смѣло. Послѣ этого можно сказать: «говорящій» мракъ, «болтающій» мракъ и т. п.

Такова эта критика, не умѣвшая ничего разглядѣть и понять въ произведеніи, о которомъ вѣдалась судить.

§ 26. Соудѣйствіе усѣхамъ роднаго языка и словесности служило предметомъ занятій не однихъ отдѣльных лицъ, но и литературныхъ обществъ, официальныхъ и частныхъ.

¹⁾ Слово «басурманъ» также названо низкимъ.

Изъ нихъ на первомъ мѣстѣ должна быть поставлена Россійская Академія, какъ правительственное учрежденіе. При Александрѣ I она вступила во второй періодъ своего существованія, который, сравнительно съ первымъ, Екатерининскимъ, нельзя назвать временемъ ея возвышенія. Прежде всего это обнаруживается личнымъ академическимъ составомъ въ обѣ эпохи. Списокъ членовъ Академіи при Екатеринѣ представляетъ образованнѣйшихъ людей того времени, знаменитыхъ литераторовъ. Не то видимъ въ два послѣдовательныя президенства, Нартова (съ 1801 по 1813) и Шишкова (съ 1813 по 1840): Карамзинъ и Жуковский, по общему сознанію публики давно принадлежавшіе къ первокласснымъ писателямъ, были приняты Академіей только въ 1818 г., послѣ того, какъ въ ней уже засѣдали многія личности, и тогда извѣстныя всѣмъ своею посредственностью, а теперь потерявшія и это свое качество. Даже въ признаніи заслугъ Востокова Московское Общество любителей россійской Словесности предупредило Академію, которая избрала его въ свои члены уже послѣ того, какъ знаменитое его «Разсужденіе о славянскомъ языкѣ» явилось въ «Трудахъ» общества. Надобно жалѣть и удивляться, если Россійская Академія, вовсе не старая сравнительно съ другими тождественными ей иноземными учрежденіями, при оцѣнкѣ авторскаго значенія, такъ рано увлеклась примѣромъ Академіи Французской, которая открыла свои двери Вольтеру не прежде, какъ ему минуло пятьдесятъ лѣтъ, а Ж. Ж. Руссо и вовсе не удостоился этой чести. Причина странныхъ выборовъ и невыборовъ объясняется не покровительствомъ вліятельныхъ лицъ, какъ это имѣло мѣсто во Франціи, а односторонностью литературныхъ взглядовъ, доходившею до исключительности, что и повело неизбежно къ нетерпимости, замкнутости ученаго сословія.

Въ первые годы втораго періода Академіи происходилъ споръ о языкѣ, открытый разсужденіемъ Шишкова о старомъ и новомъ слогѣ россійскаго языка. Онъ отразился и на трудахъ Академіи, которая задумала изгонять изъ нашего языка общеупотребительныя иностранныя слова, замѣняя ихъ русскими, на что и посвящала часть своихъ засѣданій. При различіи взглядовъ на отношеніе языка церковно-славянскаго къ русскому и на существенныя достоинства литературной рѣчи, сообщество Карамзина и его послѣдователей равнялось бы для академиковъ отреченію ихъ отъ своего собственнаго ученія. Къ такому самоосужденію менѣе всѣхъ былъ способенъ Шишковъ, въ характерѣ котораго заключалась особенность, много способствовавшая раздраженію и долговременности полемики. При всемъ простодушіи и честности, онъ стра-

далъ упрямствомъ однажды принятаго мѣнѣя. Съ силой этого упрямства могла равняться только сила его трудолюбія. Онъ думалъ единственно о томъ, чтобы отбить противника, а не о томъ, чтобы выигнуть въ значеніе его доводовъ. Возраженія, самыя дѣльныя, нерѣдко принимались имъ какъ личныя обиды; они раздражали его, а въ раздражительности онъ, сознательно или безсознательно, становился недобросовѣстнымъ. Если Шишковъ, и при Нартовѣ, былъ, по своей дѣятельности, вліятельнѣйшимъ членомъ Академіи, то, занявъ въ ней предсѣдательское мѣсто, онъ, разумѣется, старался окружить себя лицами одного съ нимъ литературнаго направленія, болѣею частію членами «Бесѣды любителей русскаго слова».

Свѣдѣнія о своихъ засѣданіяхъ, равно какъ и труды своихъ членовъ Академіи сообщала публикѣ въ слѣдующихъ повременныхъ изданіяхъ: «Сочиненія и переводы», 7 ч. (1805—1823), «Извѣстія», 12 кн. (1815—1828), «Повременное изданіе», 4 ч. (1829—1832), «Краткія записки», 3 кн. (1834—1835). Наполнялись эти сборники преимущественно статьями Шишкова, которыми главнымъ образомъ и опредѣлялась сущность академической дѣятельности. Хотя означенныя статьи и не дали повода къ какому-либо научнымъ выводамъ, но все же справедливо вѣнчать ихъ въ заслугу автора, котораго трудолюбіе вытекало изъ искренней любви къ предмету.

Первое изданіе (Сочиненія и переводы Россійской Академіи) предназначалось для изслѣдованій богатства, силы и красоты русскаго языка. Такъ какъ эти коренныя свойства зависятъ отъ такихъ же свойствъ языка славянскаго, то Академія и выразила желаніе, чтобы послѣдній былъ разсматриваемъ въ подробности; кромѣ того предложила она заняться знаменованіемъ малоупотребительныхъ словъ и реченій, чрезъ что съ одной стороны открывается ихъ значеніе—собственное и переносное, а съ другой—выраженіе мыслей пріобрѣтаетъ высокую доброкачественность. Не худо, говорится въ предувѣдомленіи къ изданію, если «слова нынѣ вовсе неизвѣстныя будутъ отыскиваемы и объясняемы: ихъ нужно знать для чтенія старинныхъ книгъ и рукописей». Чтобы не наполнять каждую книжку одними сужденіями объ языкѣ, положено было помѣщать извѣстія объ упражненіяхъ Академіи и другія, приличныя изданію, сочиненія и переводы. Къ послѣднему отдѣлу отнесены объясненія русскихъ древностей, описанія достопамятностей русской исторіи и важнѣйшихъ происшествій новаго времени, похвальные слова русскимъ государямъ, знаменитымъ мужамъ или наукамъ, извлеченія, изъ классическихъ писателей, правилъ, до

словесности касающихся, стихотворении. Академія съ таритъ по-
чтеніемъ смотрѣла на похвальныя слова, что присудила задавать
темы для ихъ сочиненія и авторовъ, наилучше исполнявшихъ за-
дачу, награждать медалями. Вѣроятно, при этомъ имѣлись въ
виду или похвальныя слова Ломоносова, или примѣръ Француз-
ской Академіи: извѣстно, что такъ называемыя у французовъ *eloges*,
бывшія нѣкогда въ модѣ, составляютъ значительный отдѣлъ
ихъ литературы. Но эта мода, надобно замѣтить, имѣла смыслъ:
она лежала въ потребности времени. Краснорѣчіе, за неимѣніемъ
другихъ практическихъ способовъ, явилось какъ удобное средство
высказаться образованнымъ людямъ о тѣхъ или другихъ обще-
ственныхъ интересахъ. Недовольство современнымъ состояніемъ
дѣлъ, отсутствіе наличныхъ достославныхъ особъ заставили мыс-
лящихъ писателей отыскивать въ древности или въ чужихъ земляхъ
противоположныя дѣла и личности. Похвалы прошлому служили
въ тоже время косвенной критикой настоящаго, какъ это и видно
въ похвальномъ словѣ Маріу Аврелію, Тома (Thomas), главнаго
представителя французскаго академическаго краснорѣчія. Что у
французовъ было вызвано дѣйствительными обстоятельствами, то
у насъ обратилось въ простое подражаніе. къ этому существен-
ному различію присоединилось и другое, немаловажное: различіе
въ талантахъ. Тома владѣлъ несомнѣннымъ даромъ краснорѣчія,
тогда какъ П. Львовъ, авторъ похвальнаго слова царю Алексію
Михайловичу, награжденный отъ Академіи золотою медалью, при-
надлежалъ къ посредственностямъ, если не къ бездарностямъ. Изъ
работъ Шишкова въ «Сочиненіяхъ и переводахъ» укажемъ на раз-
сужденіе о краснорѣчій Св. Писанія, о звукоподражаніи, о сосло-
вахъ, о переводахъ съ одного языка на другой и переложеніе
Слова о полку Игоревѣ съ обширными къ нему примѣчаніями.

Вступивъ въ управленіе Академіей, Шишковъ намѣлъ, что
прежнія ея занятія, за исключеніемъ одного — преобразованія
изданнаго при Елизаветинѣ производнаго словаря въ алфавитный—
не отвѣчали цѣли ученаго сословія. Она, по словамъ вступитель-
ной статьи новаго изданія (Извѣстія), выпустила изъ виду настоя-
щую свою обязанность: «ислѣдованіе состава и разума словъ,
опредѣленіе правилъ и свойствъ языка, установленіе и огражденіе
его отъ порчи писателей, не знающихъ силы оного». По сему «Извѣ-
стія» должны были заключать въ себѣ предложенія, вопросы, исслѣ-
дованія и разсужденія о языкѣ. Самъ Шишковъ, въ каждой почти
книжкѣ Извѣстій, помѣщалъ «опытъ славянскаго словаря или объ-
ясненіе силы и знаменованія коренныхъ и производныхъ русскихъ
словъ, по недовольному истолкованію оныхъ жало извѣстныхъ и

потому мало употребительных», и «ислѣдованіе корней». На послѣдній предметъ обращено было особенное вниманіе, такъ какъ онъ — «главное средство, ведущее къ пользѣ языка, единственный ключъ, открывающій двери ко всемъ справедливымъ умствованіямъ о правилахъ языка и краснорѣчія»; короче: «наука словопроизводства есть важнѣйшая изъ всѣхъ словесныхъ наукъ». Такимъ образомъ задача Академіи болѣе отъснялась, дѣйствія ея членовъ болѣе специализировались. Кромѣ того при специализаціи руководствовались предвзятою мыслію и ставили передъ собою особую цѣль. Члены Академіи, въ своихъ изслѣдованіяхъ о языкѣ, должны были содѣйствовать пользамъ стараго слога и противодействовать развитію слога новаго, или Карамзинскаго. Эта идея была если и не выговаривается открыто, то ясно просвѣчиваетъ во всѣхъ работахъ Шишкова.

Какого же значенія былъ главный трудъ Шишкова—его изслѣдованіе корней, или наука словопроизводства? Она не могла представить удовлетворительныхъ результатовъ, главнымъ образомъ потому, что Шишкову недоставало надлежащей къ тому научной подготовки, которую онъ замѣнялъ своими соображеніями, лишеными твердой основы и потому произвольными. Извѣстно, что для возможно-правильнаго объясненія даннаго слова прежде всего слѣдуетъ отыскать его основную форму, опредѣлить смыслъ этой формы и наконецъ указать, какою видъ приняла она въ словахъ тѣхъ или другихъ родственныхъ языковъ для обозначенія одного и того же предмета или понятія. Меньшій кругъ сравненія для русскаго слова—славянскіе языки, начиная съ древне-церковно славянскаго; наибольшій кругъ—языки индоевропейскаго племени. Чтобы не ошибиться въ этомъ разслѣдованіи, необходимо знать, какіе звуки въ другихъ родственныхъ языкахъ соотвѣтствуютъ звукамъ одного изъ нихъ, подвергаемаго филологическому анализу. Но такое знаніе невозможно безъ знакомства съ фонетическими законами языка. А фонетика-то именно и не была знакома Шишкову. За неимѣніемъ прочнаго фундамента онъ прибѣгалъ или къ помощи своей нездравой логики, обольщавшей его доводами, по видимому правдоподобными, или къ помощи слуха, сводившаго, по сходству звуковъ, въ семейный кругъ такіа слова, которыя не состоятъ между собою ни въ близкомъ, ни въ дальнемъ родствѣ. Такъ существительное *звено* Шишковъ производилъ отъ глагола *звенѣть*, и свое производство подкрѣплялъ примѣромъ: *звенья* (отъ *цппи*), какъ будто кольца цѣпи, хотя бы и металлической, получили названіе отъ того, что каждое изъ нихъ можетъ звенѣть! Существительное *блота* сводилъ онъ съ глаголомъ *низать*, т. е. съ свойствомъ этого нѣскомаго

«пихать ногами» и такимъ образомъ прыгать, скакать. Справедливость этого мнѣнія доказывалась тѣмъ, что у поляковъ блоха называется *пхла*, *пхлака* (пикающая). Но и польское *пхла*, и церковно-славянское *блха*, находясь въ несомнѣнной связи съ литовскимъ *blusa*, латинскимъ *pulex*, приводятся къ одной основной формѣ—именно *pulasa* ⁽¹⁾, которая не имѣетъ ничего общаго съ глаголами *пинать*, *пихать*. И между тѣмъ Шишковъ былъ до того увѣренъ въ неогрѣшимости своего корнесловія, что смотрѣлъ на соображенія и выводы, сюда относящіеся, какъ на математическія истинны. Онъ совѣтовалъ и Востокову заняться этимъ умраженіемъ. Въ этой увѣренности, граничившей съ упрямствомъ и потому часто въ него переходившей, заключался второй недостатокъ Шишкова. Вообще одностороннее направленіе Академіи, при Нартовѣ и особенно при Шишковѣ, не допускавшее счетовъ и соглашеній съ современною литературою ⁽²⁾, породило неудовольствіе въ послѣдней, равно какъ и въ образованномъ кругу публики, которая справедливо обвиняла ученое сословіе въ непроизводительности трудовъ, даже въ застоѣ. Шишковъ сердился на недовольныхъ, называя ихъ «оцѣнщиками чужихъ трудовъ». Но если такъ, то онъ былъ долженъ сердиться и на Ганку, жалѣвшаго, что Академія, при весьма значительныхъ средствахъ, очень мало сдѣлала ⁽³⁾. Конечно, чешскій ученый разумѣлъ то время, въ которое предсѣдательствовалъ Шишковъ и которое, вмѣстѣ съ временемъ Нартова, по общности характера и направленія академическихъ трудовъ, мы соединили въ одинъ періодъ. Только съ третьяго періода, т. е. съ присоединенія Россійской Академіи къ Академіи Наукъ въ видѣ особаго, втораго, отдѣленія (1841), стала она на настоящую, твердую почву и начала въ строгомъ смыслѣ научные, плодотворные труды свои по русскому языку и словесности.

Кромѣ «Словаря, расположеннаго по азбучному порядку» (6 частей, 1806—1822), Академія издала составленную ея членами Д. и П. Соколовыми «Грамматику російскаго языка» (1802 г.). Книга эта, при ея третьемъ изданіи, была по достоинству оцѣнена Гречемъ ⁽⁴⁾: критикъ нашелъ ее неудовлетворительною по сбив-

¹⁾ Гадица (Ungeziefer). См. Fick: «Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen» (1871).

²⁾ Шишковъ отдѣлялъ писателей отъ академиковъ (О разности между академикомъ и писателемъ, въ Краткихъ Запискахъ 1834—1835).

³⁾ Письмо къ Востокову въ 1841 г. (Сборникъ статей 2-го отд. Ак. Н. т. V, вып. 2, стр. 350).

⁴⁾ С. Отеч. 1819, ч. 55.

чивости, неправильности многихъ опредѣленій и правилъ и по странному расположенію ея частей, обнаруженному особенно тѣмъ, что на первомъ мѣстѣ стоитъ правописаніе, а за тѣмъ уже слѣдуютъ этимологія и синтаксисъ, которые служатъ основою правописанія и безъ которыхъ слѣдовательно оно не можетъ быть объяснимо научнымъ образомъ. Изъ второстепенныхъ дѣлей Академіи заслуживаетъ вниманія заботливость ея доставить любителямъ русской словесности образцы различныхъ сочиненій, почему она и предлагала своимъ членамъ переводить древнихъ и новыхъ классическихъ писателей. Въ слѣдствіе этого и были переведены слѣдующія сочиненія: Путешествіе младшаго Анахарсиса по Греціи, 6 ч. (1804—1809), Тацитова лѣтопись, 4 ч. (1806—1809), Саллюстія о войнѣ Катилины и о войнѣ Югуренъ (1809), Ливей, или кругъ словесности, древней и новой, Лагарпа, 5 ч. (1810—1814), Разсужденіе о механическомъ составѣ языковъ и физическихъ началахъ этимологіи, Бросса, 2 ч. (1821—1822). Дѣятельность Академіи, въ этомъ отношеніи не безполезная, служила продолженіемъ занятій учрежденія, основаннаго кн. Е. Р. Дашковой и называвшагося «переводческимъ департаментомъ» (1).

Послѣ Россійской Академіи всего умѣстнѣе поставить «Бесѣду любителей русскаго слова», которая хотя была частнымъ литературнымъ обществомъ, но по уставу представляла полуофициальный характеръ. Шишковъ, какъ устроитель и предсѣдатель этого общества, задуманнаго имъ съ предвзятою мыслію, ничѣмъ ни отличался отъ Шишкова, какъ президента Академіи. Характеръ трудовъ той и другой корпораціи, направляемыхъ ихъ корифеемъ, большею частью обнаруживаетъ видимое сродство за немногими исключеніями. Другаго трудно было и ожидать, такъ какъ мы уже видѣли, что многіе бесѣдисты съ 1813 г. сдѣлались академиками. Первымъ правиломъ Бесѣды подожено было чтеніе произведеній предъ посѣтителями обоего пола, а вторымъ — изданіе трудовъ, которые дѣлились на два рода: произведенія словесности и судъ о языкѣ и словесности. Сборникъ общества, подъ названіемъ: «Чтеніе въ Бесѣдѣ любителей русскаго слова» (19 кн., 1811—1815) заключаетъ въ себѣ нѣсколько замѣчательныхъ статей: о лирической поэзіи (Державина); разсужденіе о любви къ отечеству (Шишкова); разсужденіе Филарета о нравственныхъ причинахъ неимоверныхъ успѣховъ нашихъ въ войнѣ съ французами 1812 года; переписка Уварова съ Гнѣдичемъ и Капнистомъ о гексаметрахъ; о Горациіи и переводъ нѣкоторыхъ его стихотвореній, Му-

1) Ист. Рос. Академіи, М. Сухомятина. Три выпуска (1874—76).

равьева-Апостола; басни Крылова. Особеннаго вниманія заслуживаетъ вопросъ о гексаметрахъ, такъ твердо поставленный Уваровымъ и такъ умно имъ рѣшенный.

Первымъ, по времени появленія, литературнымъ обществомъ было «Вольное общество любителей российской словесности, наукъ и художествъ». Оно основано въ 1801 г. шестью студентами, окончившими курсъ въ бывшей при Академіи Наукъ гимназій. Цѣлю своего собранія положили они взаимно совершенствоваться въ трехъ отрасляхъ человѣческой способности (словесности, наукъ и художествахъ) и содѣйствовать другимъ въ томъ же стремленіи. Первымъ предсѣдателемъ общества былъ Борнъ, авторъ «Краткаго руководства къ российской словесности» (1806); за нимъ слѣдовали Д. Языковъ, Д. Дашковъ и наконецъ А. Измайловъ (съ 1822 г.), при которомъ оно и рушилось (около 1825 г.). Кромѣ первой части «Періодическаго изданія» (1804), общество напечатало еще «Свитокъ музъ» (2 ч., 1802—1803 г.). Въ числѣ первопоступившихъ его членовъ находились Каменевъ, авторъ баллады «Громвалъ», Востоковъ, помѣщавшій въ сборникахъ общества свои первые стихотворенія, Д. Языковъ, переводчикъ Беккаріева разсужденія о преступленіяхъ и наказаніяхъ (1803). Въ 1812 г. общество издавало Санктпетербургскій Вѣстникъ, а въ предсѣдательство А. Измайлова своими трудами помогало ему, какъ издателю журнала «Влагонамѣренный».

«Общество любителей российской словесности при Московскомъ унивеситетѣ», основанное въ 1810 г., представляетъ, сравнительно съ Россійской Академіей, явленіе противоположное. Благодаря уму, такту и соотвѣтственной этимъ качествамъ распорядительности перваго своего предсѣдателя, А. А. Прокоповича-Антонскаго, оно не заразилось исключительностью, столь вредной въ дѣлѣ науки. Не принадлежа самъ къ ученымъ, въ строгомъ смыслѣ этого слова, Антонскій, по любви къ дѣлу, умѣлъ собирать спеціальныя силы и дружно направлять ихъ къ предположеннымъ цѣлямъ. Періодъ его управленія, особенно съ 1810 по 1825 г., составляетъ лучшій періодъ общества, послѣ чего, при другихъ предсѣдателяхъ, оно быстро понижалось въ своемъ значеніи. Въ это лучшее время издано 27 частей «Трудовъ» (1812—1828), которые показываютъ, что въ дѣятельности общества принимали участіе какъ извѣстнѣйшіе литераторы, такъ и ученье, основательно подготовленные къ своей спеціальности и потому имѣвшіе авторитетный голосъ.

Большая часть статей, помѣщенныхъ въ «Трудахъ», относится къ языкознанію. Между ними особенно замѣчательны: Востокова

«разсужденіе о славянскомъ языкѣ», служащее введеніемъ къ грамматикѣ этого языка и открывшее правильный путь къ изученію славяно-русской филологіи; Каченовскаго: «о славянскомъ и въ особенности о церковномъ языкѣ» и «историческій взглядъ на грамматику славянскихъ нарѣчій»; Болдырева: «разсужденіе о глаголахъ», изложившее ученіе о видахъ и упростившее спряженіе; К. Калайдовича: «о древне-церковномъ языкѣ славянскомъ» и о «бѣлорусскомъ нарѣчій». Теоріей словорасположенія въ русскомъ языкѣ занимался И. Давыдовъ; онъ же, наряду съ П. Калайдовичемъ и Саларевымъ, объяснял значеніе русскихъ синонимовъ. Кромѣ того общество составляло опытъ производнаго словаря и обратило вниманіе на весьма важный предметъ для основательнаго изученія русскаго языка, именно на собраніе областныхъ словъ, которыя и печатало почти въ каждой части «Трудовъ». По теоріи словесности и критикѣ литературныхъ произведеній преимущественно трудился Мерзляковъ, одинъ изъ дѣятельнѣйшихъ членовъ общества. Къ тому же отдѣлу относятся двѣ статьи Каченовскаго: «взглядъ на успѣхи Россійскаго витѣйства въ 1-ой половинѣ XVIII столѣтія» и «о похвальныхъ словахъ Ломоносова», и рѣчь Ватюшкова «о вліяніи легкой поэзіи на образованіе языка». Для изученія народной жизни и народной литературы остались небезполезными статьи: «о русскихъ пословицахъ» и «о лубочныхъ картинкахъ» (Снегирева), равно свѣдѣнія о старинныхъ русскихъ праздникахъ и о характерѣ русскихъ застольныхъ и хороводныхъ пѣсень. Конечно, нѣкоторые изъ указанныхъ трудовъ имѣли только относительное, временное значеніе, но другіе сдѣлались достояніемъ науки или по меньшей мѣрѣ способствовали къ разъясненію тѣхъ или другихъ вопросовъ по языку и словесности. Въ стихотворномъ отдѣлѣ «Трудовъ» являются почти всѣ лица тогдашняго поэтическаго круга: Мерзляковъ, В. Пушкинъ, Воейковъ, кн. Вяземскій, Гнѣдичъ, Ватюшковъ, О. Глинка, Д. Давыдовъ, Крыловъ, Жуковский, А. Пушкинъ, А. Измаиловъ, Милоновъ, Рапчъ, Капнистъ, кн. И. Долгорукій. Необходимо еще поставить въ заслугу обществу и то, что научное содержаніе его трудовъ излагалось всегда очень хорошимъ языкомъ, такъ что внутреннему значенію трудовъ отвѣчало и литературное ихъ достоинство.

Въ 1816 г. основано было «Общество соребнователей просвѣщенія и благотворенія», переименованное потомъ (1820 г.) въ «Вольное общество любителей Россійской словесности». Съ 1818 г. оно издавало журналъ, сперва (1818—1820) подъ названіемъ «Соребнователя просвѣщенія и благотворенія», а потомъ (съ 1820 г.) подъ названіемъ «Трудовъ Вольнаго общества любителей Россій-

ской словесности». Изданіе, продолжавшееся по ноябрь 1820 г., имѣло цѣль благотворительную: доходами съ него положено было помогать бѣднымъ и достойнымъ литераторамъ и художникамъ, равно ихъ вдовамъ и сиротамъ. Не смотря на болѣе свѣжія литературныя силы, дѣйствовавшія въ «Соревнователѣ», на имена уже извѣстныхъ писателей (Жуковского, Батюшкова, Д. Давыдова, Вяземскаго, Ѳ. Глинки, Гнѣдича) и многихъ молодыхъ талантливыхъ литераторовъ (Дельвига, Баратынскаго, А. и Н. Бестужевыхъ, Лажечникова, Рылѣева), не смотря на критики Плетнева, отступавшія отъ обычныхъ псевдо-классическихъ понятій и приѣмовъ, а также на переводы изъ Байрона и Мура, знакомившіе публику съ англійской поэзіей, журналъ, по отсутствію твердаго направленія и серьезнаго интереса, оказался ниже той мѣры, каковой бы можно было ожидать отъ исчисленныхъ его сотрудниковъ.

Одинъ изъ просвѣщеннѣйшихъ русскихъ нашего вѣка ⁽¹⁾ замѣтилъ, что «частныя, такъ сказать, домашнія общества, состоящія изъ людей, соединенныхъ между собою свободнымъ призваніемъ и личными талантами и наблюдающихъ за ходомъ литературы, имѣли не только у насъ, но и повсюду, ощутительное, хотя нѣкоторымъ образомъ невидимое, вліяніе на современниковъ, и что въ этомъ отношеніи академіи и другія официальныя учрежденія того же рода далеко не имѣютъ подобной силы, такъ какъ онѣ не даютъ знаменитымъ писателямъ, а скорѣе заимствуютъ отъ нихъ жизнь и направленіе». Вѣрность этой замѣтки, доказанная многими фактами, вытекаетъ изъ самой сущности двоякихъ литературныхъ обществъ: официальныхъ и частныхъ. Общество официальное, каковы бы ни были его силы, обязано дѣйствовать по начертаніямъ устава, который опредѣляетъ извѣстную, болѣе или менѣе специальную цѣль, болѣе или менѣе одинаковое направленіе, а такая опредѣленность съ одной стороны ограничиваетъ кругъ занятій, а съ другой связываетъ свободу, самостоятельность мнѣній. Между членами официальной корпораціи должна, волею-неволею, водвориться солидарность, необходимая какъ для единодѣйствія, такъ и для неуклоннаго слѣдованія установленнымъ положеніямъ. Когда Карамзинъ, по избраніи его въ члены Россійской Академіи, произнесъ рѣчь въ торжественномъ собраніи оной, Шишковъ увидалъ, въ нѣкоторыхъ мысляхъ новизбраннаго, противорѣчіе заѣтному своему взгляду, который раздѣлялся почти всѣмъ ученымъ собраніемъ, и не оставилъ ихъ безъ возра-

¹⁾ Гр. С. С. Уваровъ, въ своихъ «Литературныхъ воспоминаніяхъ» (Современникъ 1851, № 6).

женій, какъ бы желая остановить нарушителя академическаго единства. Академія же, конечно, по представленію Шишкова, поручила Востокову вмѣстѣ съ его сочленомъ П. Соколовымъ составлять сравнительный словарь всѣхъ славянскихъ нарѣчій, не сообразивъ, что такимъ распоряженіемъ связывались двѣ несвязуемыя силы или, вѣрнѣе, сила (Востоковъ) съ бесиліемъ (П. Соколовъ). По поводу упомянутой статьи Греча о грамматикѣ, изданной Россійскою Академіею, собраніе академиковъ увидѣло въ мнѣніи критика «дерзновеніе» и единогласно опредѣлило, что «по здравому разсудку, нѣтъ никакой пользы ни для нравовъ, ни для просвѣщенія и словесности, чтобъ изданныя отъ Академіи и слѣдовательно обвиненныя уже ею сочиненія были вновь переиздаваемы журналистами», и что поступокъ «Греча подлежитъ не суду Академіи, но суду правительства» ⁽¹⁾. Подобныя явленія не могли бы оказаться въ частномъ литературномъ обществѣ, котораго члены связаны единственною солидарностью — интересомъ къ литературѣ или наукѣ: каждый изъ нихъ выбираетъ предметы для занятій, руководствуясь только свойствомъ своего таланта и мѣрою своихъ знаній, а въ самостоятельномъ заявленіи мнѣній основывается только на уставѣ собственнаго убѣжденія. При большинствѣ голосовъ, случайномъ или предрѣшенномъ, которымъ опредѣляется выборъ членовъ, въ комплектъ сорока академиковъ французской академіи легко входили многія посредственности; въ частное общество, хотя бы оно состояло изъ двѣнадцати членовъ, трудно проскользнуть какойнибудь дюжинной личности. Да и сама личность воздержится отъ такого покушенія, зная, что ей въ кругу лицъ, сознающихъ за собою право и силу голоса, придется играть пассивную роль человѣка безгласнаго. Справедливость сказаннаго подтверждается примѣромъ даже такого частнаго общества, какъ «Бесѣда». Не смотря на ея полуофициальную постановку, труды нѣкоторыхъ ея членовъ не остались безъ замѣтныхъ послѣдствій для литературы. Благодаря совѣту гр. Уварова, мы имѣемъ переводъ «Иліады» гексаметромъ; благодаря ему же разъяснена — теперь извѣстная даже учащимся, а тогда не сознававшаяся даже многими учащими — необходимая, внутренняя связь между содержаніемъ и формою поэтическаго произведенія. Но высшій примѣръ назидательнаго вліянія какъ на своихъ членовъ, такъ, посредствомъ ихъ, и на современную имъ литературу представляло общество Арзамасъ.

⁽¹⁾ Бесѣды въ Обществѣ Любителей Рос. Словесности, вых. 3.

Кромѣ этихъ двухъ обществъ, литераторы и художники собирались въ домѣ А. Н. Оленина (†1842), президента Академіи художествъ. Вотъ что говоритъ объ этихъ, почти ежедневныхъ, собраніяхъ гр. Уваровъ: «Совершенная свобода въ общеденіи, непринужденная откровенность, добродушный приѣмъ хозяевъ давали этому кругу что-то патріархальное, семейное. Сюда обыкновенно привозились всѣ литературныя новости: вновь появившіяся стихотворенія, извѣстія о театрахъ и книгахъ, о картинахъ, словомъ все, что могло питать любопытство людей, болѣе или менѣе движимыхъ любовью къ просвѣщенію... Здѣсь въ первый разъ читались лучшія произведенія Крылова, извѣстности котораго не мало содѣйствовалъ Оленинъ, представившій его ко Двору и опредѣлившій его въ Публичную бібліотеку; здѣсь же была читана и первоначально репетирована трагедія Озерова «Эдинъ въ Аеннахъ». Къ числу друзей и пріятелей Оленина принадлежали: Гнѣдичъ, гр. Блудовъ, гр. Уваровъ, Капнистъ. Общество оживлялось и одушевлялось супругою Оленина, урожденной Полторацкой, — женщиной, одаренной яснымъ умомъ и кроткимъ нравомъ, въ которой Крыловъ находилъ не только участіе друга, но и попечительность доброй матери».

Любовь къ отечественной словесности, замѣтно обнаруженная со второй половины прошлаго вѣка и за тѣмъ болѣе и болѣе развивавшаяся, проникла и въ среду воспитывающагося юношества. Дирекціи учебныхъ заведеній, высшихъ и среднихъ, для упражненія своихъ питомцевъ въ словесной практикѣ, для возбужденія въ нихъ охоты къ знакомству съ лучшими писателями, русскими и иностранными, устраивали въ стѣнахъ заведенія собранія, подъ руководствомъ особаго лица, болѣею частію преподавателя словесности. На этихъ собраніяхъ учащіеся читали свои сочиненія и переводы, выслушивали критическія замѣтки руководителя и сами впріучались къ оцѣнкѣ литературныхъ достоинствъ и недостатковъ. Особеннымъ рвеніемъ отличались въ этомъ дѣлѣ воспитанники Университетскаго благороднаго пансіона (въ Москвѣ), благодаря заботливости директора Прокоповича-Антонскаго и сочувствію такихъ наставниковъ, каковыми были Подживаловъ и Мерзляковъ, горячо принимавшіе къ дѣлу успѣхи своихъ учениковъ. Литературное собраніе этихъ пансіонеровъ, съ 1787 по 1825 г., издавало слѣдующіе сборники своихъ трудовъ: «Распускающійся цвѣтокъ» (1787), «Полезное упражненіе юношества» (1788), «Утренняя заря» (6 кн., 1800—1808), «И отдыхъ въ пользу» (1804), «Калліона» (4 ч., 1815—1825), и кромѣ того отдѣльно: «Избранныя сочиненія изъ Утренней зари» (2 ч., 1809) и «Избранныя сочиненія и пе-

реводы въ прозѣ и стихахъ» (3 ч., 1824—1825). Между статьями этихъ сборниковъ, кромѣ сочиненій Мерзлякова, видимъ начальныя опыты лицъ, въ послѣдствіи сдѣлавшихся извѣстными на томъ или другомъ пути дѣятельности: Жуковского, Д. Дашкова, Милонова, Воейкова, А. и Н. Тургеневыхъ, ян. Одоевского. Въ 1818 г. напечатаны сочиненія и переводы студентовъ Харьковскаго университета, а въ 1819-мъ «Труды студентовъ—любителей отечественной словесности въ томъ же университетѣ». Кромѣ того мы видѣли, что шестеро гимназистовъ, по окончаніи курса, устроили, Вольное общество любителей словесности, наукъ и художествъ.

Эти и многія другія подобныя явленія свидѣтельствуютъ о томъ, что склонность къ занятіямъ отечественнымъ языкомъ и словесностью въ царствованіе Александра I была значительно распространена въ обществѣ. Литературный интересъ господствовалъ въ публикѣ и надъ публикой, потому что приходился ей по плечу и по сердцу. Съ нимъ не могли состязаться другіе интересы, изъ которыхъ иные еще вовсе не возникали, а иные, возникнувъ, развивались и вращались только въ ограниченномъ меньшинствѣ образованныхъ людей. Знакомство съ литературой, съ такою называемой вязанной словесностью служило признакомъ цивилизаціи, своего рода знакомъ умственного отличія. Собственные заслуги въ этой словесности еще болѣе возвышали личность. Даровитый писатель быстро становился общеизвѣстнымъ человекомъ. Специальные ученые не считали словесности дѣломъ для себя постороннимъ; напротивъ, они видѣли въ ней необходимость для выраженія своихъ знаній и на каедрѣ и въ книгѣ: они были чужды той странной мысли, что достоинство научнаго матеріала можетъ легко обойтись безъ литературнаго достоинства въ изложеніи онаго. Тоже настроеніе коренилось и въ средѣ университетскихъ слушателей. Къ какому бы факультету ни принадлежалъ студентъ, онъ цѣнилъ хорошее знаніе русскаго языка и любилъ русскую литературу. Въ этомъ отношеніи не было различія между юристами, филологами, математиками и даже медиками. Для всѣхъ и каждаго, кромѣ выбранной имъ спеціальности, существовалъ еще одинъ обязательный предметъ—русская словесность. Конечно, они занимались имъ не ex-officio, а по доброй волѣ; никто, кромѣ собственнаго побужденія, не толкалъ ихъ на эти занятія. Повинуясь единственно этому побужденію, они не пропускали ни одного замѣчательнаго произведенія литературы безъ вниманія, читали его, заучивали изъ него цѣлыя тирады, разговаривали и спорили о немъ. Наконецъ тотъ-же интересъ развивался и въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Если гимназій не устраивали литературныхъ

собраний, то нѣкоторые изъ нихъ заводили такъ называемые кабинеты для чтенія, куда допускались лучшіе ученики и гдѣ читались, частію ими самими, частію ихъ наставникомъ, прежніе или новыя образцы русской словесности. Такимъ средствомъ постепенно развивался молодой вкусъ и приобреталось умѣнье владѣть литературною рѣчью. Преподаватель словесности, какъ главнаго тогда предмета въ учебномъ курсѣ, большею частію стоялъ на видномъ мѣстѣ среди своихъ товарищей. На годичномъ актѣ произнесеніе рѣчи или стиховъ служило для посѣтителей болѣе пріятною частью гимназическаго торжества. Аттестация по русскому языку и словесности цѣнилась выше другихъ аттестаций; она выдвигала ученика впередъ; ради ея, даже извинялись ему меньшіе успѣхи въ другихъ наукахъ. Само собою разумѣется, что, указывая на развитіе изящной словесности въ эпоху Александра I и на выгодное положеніе, занятое ею какъ въ обществѣ, такъ и въ школѣ, я вовсе не имѣю намѣренія утверждать, что съ успѣхами словесности однообразно шли успѣхи и другихъ отраслей знанія и что достоинство выработаннаго литературнаго изложенія соответствовало достоинству излагаемаго содержанія. Нѣтъ, удѣльный вѣсъ послѣдняго (т. е. мыслей, содержанія) можетъ быть ниже или выше въ сравненіи съ удѣльнымъ вѣсомъ перваго (т. е. изложенія).

§ 27. Изъ «литературныхъ» журналовъ обозрѣваемой нами эпохи наиболѣе видны были Вѣстникъ Европы, существовавшій 29 лѣтъ (1802—1830), и Сынъ Отечества, основанный Гречемъ въ 1812 г. Они пережили многія другія періодическія изданія, появлявшіяся въ царствованіе Александра I, а потомъ пережили и свое прежнее значеніе. О лучшемъ времени перваго журнала, подъ редакціей Карамзина (1802 и 1803) и Жуковскаго (1808—1810) мы уже говорили. Съ 1811-го и до конца оставался онъ въ рукахъ Каченовскаго, который, согласно съ предметомъ своихъ ученыхъ занятій, началъ обращать вниманіе на исторію отечественнаго и родственныхъ ему языковъ, на дѣянія и обычаи народовъ славянскаго происхожденія, такъ что статьи историко-археологическаго содержанія оказались, во вторую половину изданія, преобладающими. Этимъ отдѣломъ журнала издатель принесъ не малую пользу русской исторіи. Въ Вѣстникѣ Европы, долгое время принимали участіе многіе извѣстные литераторы: Жуковский, Батюшковъ, кн. Вяземскій, Воейковъ, Мерзляковъ, Милоновъ, А. и В. Измайловы, В. Пушкинъ; здѣсь же появились первыя стихотворенія А. Пушкина. Уваженіе къ имени Карамзина какъ бы обязывало ихъ поддерживать журналъ, имъ основанный. Нѣ съ 1819 г., когда, по

выходѣ въ свѣтъ Исторіи государства російскаго, она подверглась критикамъ Каченовскаго и Арцыбашева, прежнее участіе замѣнилось охлажденіемъ и даже непріязнью. Издатель вскорѣ усилилъ эти чувства самыми неблагоприятными отзывами о первой поэмѣ Пушкина (Русланъ и Людмила) и о комедіи Грибоѣдова «Горе отъ ума». Отзывы журнала, шедшіе на полный переборъ не только живѣннѣе лучшихъ критиковъ словесности, но и общему признанію публики, ясно показывали застарѣлость понятій объ искусствѣ и отсутствіе всякаго живаго чувства къ новымъ явленіямъ въ его сферѣ. Чѣмъ далѣе, тѣмъ видимѣе дряхлѣлъ Вѣстникъ Европы и кончилъ свое существованіе не по причинамъ, отъ него независѣвшимъ, а по единственной причинѣ, въ немъ самомъ гнѣздившейся—старческому изнеможенію. Москва, со времени упадка «Вѣстника Европы» (съ 1819 г.), долгое время оставалась безъ прочнаго журнала, такъ какъ другіе, болѣе замѣчательныя изданія: П. Макарова «Московскій Меркурій» (1803), Мерзлякова «Амфіонъ» (1815) и В. Измайлова «Россійскій музеумъ» (1815) прекращались по окончаніи годичнаго срока, а «Современный наблюдатель російской словесности», П. Строева, выходилъ только въ теченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ 1815-го года. Каждое изъ этихъ изданій не безъ достоинствъ. Будучи однимъ изъ первыхъ послѣдователей Карамзина, П. Макаровъ защищалъ «новый» слогъ, требовалъ, чтобы просвѣщеніе было освобождено отъ педантизма, которое тогда считалось, да и дѣйствительно было, почти неизбѣжною принадлежностью каждаго, занимавшагося наукой, и настаивалъ на правахъ женщинъ не только заниматься литературой, но и обладать высшимъ образованіемъ, даже ученостью. Журналъ П. Строева выступилъ съ «критическимъ» направленіемъ. Это былъ любопытный фактъ, обнаружившій въ издатель-студентѣ своего рода мужество, которое онъ и доказалъ разборомъ Россіады. «Амфіонъ» и «Россійскій музеумъ», обильные выкладами лучшихъ нашихъ писателей какъ въ стихахъ, такъ и въ прозѣ, не представляють однакожъ стремленія къ какому нибудь опредѣленному пункту.

Перехода къ петербургскимъ журналамъ, замѣтимъ, что и изъ нихъ многимъ суждено было умирать вскорѣ послѣ ихъ рожденія. Лучшіе между такими кратковѣчными изданіями: «Цвѣтникъ» и «С.-п.-бургскій вѣстникъ» существовали—первый два года (1809 и 1810), второй меньше года (1812). Благодаря таланту одного изъ своихъ издателей, Бенитцаго (другими были А. Измайловъ и П. Никольскій), равно и сотрудничеству Гнѣдича, Батюшкова и Милонова, «Цвѣтникъ» нравился читателямъ живостью и разно-

образностью литературнаго содержанія и дѣльной критикой Дашкова, воевавшего съ славянофильскимъ направленіемъ. Дашкову же принадлежать лучшія статьи въ «С.-п.-бургскомъ вѣстникѣ», издававшемся отъ Общества любителей словесности, наукъ и художествъ.

Когда эти эфемерныя явленія журнализма сошли со сцены, на первый планъ выдвинулся «Сынъ отечества», журналъ сначала (1812) историческій и политическій, а потомъ (съ 1814-го) присоединившій къ первымъ двумъ титуламъ и третій—литературный. Издатель его, Н. Гречъ, увидѣлъ себя въ счастливомъ положеніи: всѣ наличныя литературныя силы, жалавшія публично заявлять свой голосъ или, простѣе, видѣть свои сочиненія напечатанными, должны были, раньше или поздѣе, приклонить къ нему, за неимѣніемъ другихъ органовъ журналистики. Отъ природы дароватый, владѣвшій перомъ, Гречъ принялся за дѣло, хотя безъ высшаго образованія, но не безъ литературныхъ свѣдѣній и не безъ предварительнаго опыта: до того времени онъ трудился, въ соредакторствѣ съ другими, надъ изданіемъ трехъ журналовъ: «Геній времени», «Журналъ новѣйшихъ путешествій» и «Европейскій музей». Кромѣ того, самый патріотизмъ, возбужденный войною съ Наполеономъ, навелъ на сочувствіе къ журналу, получившему названіе «Сына отечества». Все, по видимому, обѣщало успѣхъ—и обѣщаніе не обмануло. Десятилѣтній юбилей «Сына отечества» былъ отпразднованъ какъ общелитературный праздникъ, не отдѣлявшій интересовъ редактора и его сотрудниковъ отъ интересовъ всѣхъ другихъ писателей и образованной публики. Но количество силъ, дѣйствующихъ на пользу журнала, даже въ союзѣ съ издательской ловкостью, еще не служило ручательствомъ, что онъ станетъ на высотѣ, соответствующей достоинству литературы, и приобрететъ власть образовывать и направлять мнѣнія читающаго класса. Для достиженія этой почтенной цѣли необходимо обладать и болѣе широкимъ кругозоромъ, не мыслимымъ безъ высшаго образованія, и твердымъ сознаніемъ обязанности, хотя бы и добровольно на себя принятой, и разумною степенью характера. Издателю «Сына отечества» не доставало такихъ качествъ; особенно страдалъ онъ легкомысленнымъ отношеніемъ въ дѣлу, которому взялся служить. Все это мѣшало изданію приобрести уважительный внутренній вѣсъ. Невыгодно было и то внѣшнее обстоятельство, что «Сынъ отечества» выходилъ еженедѣльно небольшими книжками, листа въ три или четыре каждая; почему крупныя статьи тянулись долго, даваясь читателямъ въ мелкихъ пріемахъ, а при неинтересномъ составѣ нумера (подоб-

ные случаи могли встрѣчаться довольно часто) нечего было и читать. Не смотря на вышесказанное, журналъ Греча былъ сравнительно съ другими живѣе и разнообразнѣе, чѣмъ и объясняется его успѣхъ. Не могъ, конечно, съ нимъ конкурировать «Благонамѣренный» (1818—1826), во всѣхъ отношеніяхъ издававшійся крайне беззаботно и небрежно. Редакторъ его, А. Измайловъ, обращался съ публикой фамилиарно, какъ говорится на-распашку, не исполняя условленныхъ обязательствъ и откровенно, безъ малѣйшей конфузливости, принося свои извиненія; число годовыхъ нумеровъ, неизвѣстно по какой причинѣ, мѣнялось; книжки назывались выходомъ, соединялись по двѣ и по три въ одну, объемъ которой былъ меньше обѣщаннаго числа листовъ; въ концѣ года подписчики не получали остальныхъ нумеровъ. Чѣмъ дальше подвизался Измайловъ на журнальномъ поприщѣ, тѣмъ замѣтнѣе опускалась его редація и тѣмъ естественнѣе казался публикѣ такой цинизмъ небрежности. На редактора даже не сердились, думая, что такъ тому и должно быть, что иначе и быть не можетъ.

Существенный недостатокъ какъ указанныхъ, такъ и другихъ періодическихъ изданій, состоитъ въ томъ, что ни одно изъ нихъ (развѣ за исключеніемъ первыхъ двухъ лѣтъ Вѣстника Европы) не имѣло направленія, опредѣляемаго, въ литературномъ изданіи, твердо поставленнымъ взглядомъ на литературу, который и долженъ служить руководствомъ, какъ при обсужденіи, при уясненіи старыхъ вопросовъ, такъ и при рѣшеніи новыхъ и при оцѣнкѣ текущей словесности. Поэтому относительное ихъ достоинство измѣряется единственно большимъ или меньшимъ количествомъ хорошихъ статей, но разнообразнаго, часто разномыслящаго содержанія, а не руководящими сужденіями. Да и самая доброкачественность журнальнаго матеріала была дѣломъ случайнымъ. Авторъ помѣщалъ свои произведенія въ томъ или этомъ журналѣ не изъ сочувствія къ принципу, котораго не было ни тамъ, ни здѣсь, а по другимъ постороннимъ отношеніямъ, напримѣръ по знакомству или дружбѣ съ редакторомъ, по давности журнальной фирмы, по желанію видѣть свое имя въ почетной компаніи. Статьи, являвшіяся на страницахъ «Вѣстника Европы», вовсе не доказывала единства взглядовъ его издателя со взглядами того, кто писалъ статью: она могла съ одинаковымъ правомъ явиться и на страницахъ «Сына отечества» или «Благонамѣреннаго», не противорѣча ихъ программамъ, которыя ограничивались простымъ исчисленіемъ отдѣловъ каждаго нумера. Были, правда, предметы, возбуждавшіе общее вниманіе литературнаго круга и раздѣлявшіе журналистику на двѣ противныя стороны, но голоса, раздававшіеся

по тому или другому предмету, вовсе не походили на то, что означается именемъ направленія, образа мыслей, принципа. Нельзя же прилагать это имя, напримѣръ, къ мнѣніямъ за Карамзина или *противъ* Карамзина во время споровъ о старомъ и новомъ слоgѣ, ибо мнѣніе объ отдѣльномъ вопросѣ, какъ своего рода случайность, само по себѣ, а направленіе, дающее журналу отличительный цвѣтъ, само по себѣ. Какъ ни достойно уваженія общее сочувствіе періодическихъ изданій, которымъ они встрѣтили, въ 1817—19 гг., либеральныя заявленія и мѣры правительства, но и оно не должно быть смѣшиваемо съ характеромъ этихъ изданій: оно не вытекало изъ программъ, какъ логическое слѣдствіе неизбѣжно вытекаетъ изъ посылокъ.—Нѣкоторые журналы, каковы: «Сіонскій Вѣстникъ», Лабзина (1806, 1817 и 1818), «Другъ юношества», М. Невзорова (1807—1815) и «Русскій Вѣстникъ», С. Глинки (1808—1824), не подходятъ подъ нашъ приговоръ, ибо изъ нихъ первый специально, а второй преимущественно вращался въ сферѣ религіознаго мистицизма. Что касается «Русскаго Вѣстника», то о немъ было сказано выше.

Смотря съ этой точки зрѣнія на періодическую прессу, мы по справедливости должны отдать преимущество нелитературнымъ журналамъ, изъ которыхъ два: «С.-п.-бургскій Журналъ» (1804—1809) и «Сѣверная Почта» (1809—1820) издавались отъ министерства внутреннихъ дѣлъ, а другіе два: «Историческій, статистическій и географическій журналъ, или современная исторія свѣта» (1809—1828), Гавриловымъ, и «Духъ журналовъ» (1815—1821), Яценковымъ. Изъ официальныхъ изданій особенно замѣчательно первое.

Естественнымъ послѣдствіемъ вышеизложеннаго было то, что уровень «литературныхъ» журналовъ оказался ниже потребностей публики, которая могла повторить слова сатирика: журналовъ у насъ много, а книги ни одной. На возраженіе: развѣ журналъ не книга? самъ собою представлялся отвѣтъ: съ словомъ «книга» въ умѣ читателя соединятся понятіе о чемъ-либо поучительномъ или, по крайней мѣрѣ, интересномъ; но тогдашніе журналы не удовлетворяли ну простому любопытству, ни любознательности, желающей знать, что дѣлается въ свѣтѣ по наукѣ и словесности. Еще менѣе въ періодическихъ изданіяхъ могли находить литераторы какое-либо руководство въ своихъ взглядахъ, пособіе для своихъ работъ. Редакторы оказались не въ силахъ ни обсуждать вопросовъ, поставляемыхъ временемъ на очередь, ни признавать значеніе новыхъ явленій въ поэзіи, ни даже одѣнывать въ истинной мѣрѣ состояніе текущей литературы. Вмѣсто сочувствія

умныхъ людей, они вызывали колкія и правдивыя эпіграммы. Пушкинъ справедливо замѣтилъ, что «Сынъ отечества» и «Вѣстникъ Европы» (употребивъ эти собственныя имена какъ бы въ собирательномъ смыслѣ, обнимающемъ всю журналистику) бесполезны для ума. Однимъ словомъ, чувствовалась потребность въ иныхъ періодическихъ изданіяхъ, съ новыми программами, съ инымъ пониманіемъ дѣла. Переходомъ къ тому служилъ альманахъ «Полярная звѣзда» (1823 и 1824), послѣ котораго стали возникать новыя органы журналистики, относящіяся уже къ Пушкинскому періоду нашей литературы.

**AMERICAN COLLEGE
LIBRARY**

КОНЕЦЪ ВТОРАГО ТОМА.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

§§.	Стр.
1. Карамзинъ. Біографическій очеркъ	1
2. Письма русскаго путешественника и Московскій Журналъ	22
3. Сентиментализмъ, введенный въ нашу литературу Письмами рус. путешественника и повѣстями: Бѣдная Лиза и Наталья, боярская дочь	25
4. Вѣстникъ Европы	32
5. Образъ мыслей Карамзина въ литературный періодъ его дѣятельности (1791—1803)	40
6. Противники Карамзина	62
7. Споры о старомъ и новомъ слоgѣ. Шишковъ и его славянофильство. Реформа литературнаго языка, произведенная Карамзинымъ	66
8. Исторія Государства Россійскаго: а) съ научной точки зрѣнія; б) съ точки зрѣнія историко-литературной (со стороны идеаловъ автора и со стороны изложенія)	92
9. Школа Карамзина. Подражатели его слогу и сентиментализму. И. Дмитріевъ	116
10. Противодѣйствіе подражательной образованности. Требованіе самостоятельнаго развитія. Галломанія. Патриотическая литература: гр. Растопчинъ, С. Глинка и его «Русскій Вѣстникъ», «Чтеніе въ Бесѣдѣ любителей русскаго слова»	128
11. Прогрессивное направленіе въ журналахъ и отдѣльных сочиненіяхъ	147
12. Масонство и мистицизмъ	158
13. Обзоръ литературныхъ произведеній въ главныхъ отдѣлахъ поэзіи и прозы. Господство французскаго классицизма. Лирика: ода (И. Дмитріевъ, Мерзляковъ, Шатровъ, Ѳ. Глинка); пѣсни (И. Дмитріевъ, Нелединскій-Мелецкій, Мерзляковъ)	165

§§.	Стр.
14. Эпось: поэмы; романы Нарѣжнаго, повѣсти Беняцкаго, сказки и басни И. Дмитріева	172
15. Драма. Театръ. Успѣхи сценическаго искусства. Мѣщанская драма. Мелодрама. Водевиль. Кн. Шаховской, Озеровъ, Катенинъ, Кокоскинъ, Загоскинъ, Хмѣльницкій.	189
16. Жуковскій. Біографическій очеркъ. Произведенія его, какъ поэтическая лѣтопись его личной судьбы. Значеніе лирики Ж—го вообще. Преобладающій элементъ ея—элегическій. Характеръ элегій. Ж—ій, какъ переводчикъ. Ж—ій, какъ романтикъ. Внѣшняя форма его сочиненій — стихъ и проза	219
17. Литературное общество Арзамасъ	254
18. Ватюшковъ. Біографическій очеркъ. Раздѣленіе его сочиненій на отдѣлы. Характеристика его поэтической дѣятельности	260
19. Знакомство съ древне-классической поэзіей. Мерзляковъ, И. Мартыновъ, И. М. Муравьевъ-Апостолъ, Гнѣдичъ, гр. Уваровъ, Капнинъ. Переводъ Иліады.	272
20. Крыловъ. Біографическій очеркъ. Общій характеръ сочиненій Крылова. Крыловъ, какъ журналистъ, какъ драматическій писатель и какъ баснописецъ. Періоды въ развитіи басни. Лафонтенъ и Крыловъ. Свойство ихъ морали. Художественное значеніе и народность басенъ Крылова. Басни А. Измайлова	292
21. Сатира, какъ видъ дидактической лирики. Сатирики: И. Дмитріевъ, кн. И. Долгорукій, кн. Д. Горчаковъ, Маринъ, Милоновъ, Нахимовъ, Воейковъ, кн. П. Вяземскій	347
22. Грибоедовъ. Комедія его: Горе отъ ума	368
23. Проповѣдное слово: Іоаннъ Леванда, Михаилъ Десницкій, Августинъ Виноградскій, Амвросій Протасовъ, Филаретъ, митр. московскій	385
24. Мистическая литература	392
25. Литературная критика. Мерзляковъ	460
26. Литературныя общества	471
27. Литературныя періодическія изданія.	484

THE BORROWER WILL BE CHARGED
AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT
RETURNED TO THE LIBRARY ON OR
BEFORE THE LAST DATE STAMPED
BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE
NOTICES DOES NOT EXEMPT THE
BORROWER FROM OVERDUE FEES.

WIDE OR
BOOK DUE
NOV 9 1981
7168728